STRATUM plus

ВАШ — археологический журнал

Скифский квадрат

- **Греческая колонизация и греческая урбанизация**
- **Северопонтийский кризис III в. до Р.Х.**
- **Греко-варварские контакты в Северном Причерноморье**
- **Гетика, которую мы потеряли**
- **«Другая» чернолесская культура по Крушельницкой**
- **«Офицерские» фибулы римских легионов**
- **«Три кита» раннескифской культуры на волнах иллирийской экспансии**
- **Становление Херсонесского государства**
- **«Диспозиция против аланов» Арриана**
- **В поисках античной Одессы**
- **Культ Кибелы на Боспоре**
- **Функции археологической теории**
- **Заповеди и афоризмы о науке**

Санкт-Петербург • Кишинёв • Одесса

1999 №3

Журнал распространяется в розницу и по почте. Заказы, рукописи и вопросы направлять по адресу:

MD 2024. Республика Молдова, Кишинев, ул.Зимбрулуй 10 а,
Высшая антропологическая школа,
журнал STRATUM plus.
Тел./факс (3732) 438-342;
e-mail: root@rm.moldova.su; HAS@HAS.mldnet.com

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

И.А.Борзияк — канд.ист.наук (Институт археологии и этнографии АН, Кишинев, Молдова)
И.В.Бруяко — канд.ист.наук (Археологический музей, Одесса, Украина)
П.П.Бырня — докт.ист.наук (Высшая антропологическая школа, Кишинев, Молдова)
Л.Б.Вишняцкий — канд.ист.наук (Институт истории материальной культуры РАН, Санкт-Петербург, Россия)
А.П.Городенко — канд. ист. наук (Институт археологии и этнографии АН, Кишинев, Молдова)
Е.Ю.Гиря — канд.ист.наук (Институт истории материальной культуры РАН, Санкт-Петербург, Россия)
В.А.Дергачев — докт.ист.наук (Высшая антропологическая школа, Институт археологии и этнографии АН, Кишинев, Молдова)
А.О.Добролюбский — докт.ист.наук (Южноукраинский педагогический университет, Одесса, Украина)
В.Ю.Зуев — канд.ист.наук (Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург, Россия)
С.И.Коваленко — канд.ист.наук (Институт археологии и этнографии АН, Кишинев, Молдова)
И.В.Манзура — канд.ист.наук (Высшая антропологическая школа, Кишинев, Молдова)
К.К.Марченко — докт.ист.наук (Институт истории материальной культуры РАН, Санкт-Петербург, Россия)
Р.А.Рабинович — канд.ист.наук (Высшая антропологическая школа, Кишинев, Молдова)
Н.Д.Руссев — канд.ист.наук (Высшая антропологическая школа, Кишинев, Молдова)
М.Е.Ткачук — канд.ист.наук (Высшая антропологическая школа, Кишинев, Молдова)
О.В.Шаров — канд.ист.наук (Издательство “Фарн”, Санкт-Петербург, Россия)
О.А.Щеглова — канд.ист.наук (Институт истории материальной культуры РАН, Санкт-Петербург, Россия)
М.Б.Щукин — докт.ист.наук (Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург, Россия)
П.В.Шувалов — канд.ист.наук (Санкт-Петербургский государственный университет, Россия)

Ответственный секретарь — Л.А. Мосионжник (Высшая антропологическая школа, Кишинев, Молдова)

STRATUM *plus*

- **STRATUM *plus*** — международный археологический журнал. Издается университетом "Высшая антропологическая школа" в Кишиневе, Республика Молдова.
- Журнал выходит шесть раз в год на русском языке в виде тематических номеров, каждый из которых посвящается либо отдельной археологической эпохе, либо отдельной достаточно актуальной проблеме археологической науки.
- Тематика статей журнала не ограниченна ни регионально, ни хронологически.
- Все статьи содержат резюме на английском языке.

Редактор номера — Андрей О. Добролюбский
Заместитель редактора – Игорь В. Бруяко
Ответственный секретарь – Леонид А. Мосионжник

Редколлегия выпуска:
К.К.Марченко
В.Ю.Зуев
М.Е.Ткачук
О.В.Шаров
Р.А.Рабинович

При участии: А.А.Романчука и А.А.Липатова.

Санкт-Петербург • Кишинёв • Одесса

ISBN 9975-9559-2-4

Все права защищены!
© Высшая антропологическая школа
© Оригинал-макет: Л.А.Мосионжник
© Оформление обложки: Д.А.Топал, Л.А.Мосионжник

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Только археология! (От редколлегии) **6**

DE PRINCIPIIS

Клейн Л.С. *(С.-Петербург, Россия).* **Функции археологической Теории** **8**

МОНОГРАФИЯ В ЖУРНАЛЕ

Марченко К.К., Доманский Я.В. *(С.-Петербург, Россия).* **Два поселения Нижнего Побужья архаического времени (Опыт сравнительной характеристики материальной культуры памятников)** **26**
Введение 26
Глава 1. Античное поселение Старая Богдановка 2 28
Раздел 1. Строительные комплексы 28
Раздел 2. Комплекс вещественных находок 42
Раздел 3. Общая характеристика поселения 50
Глава 2. Античное поселение Куцуруб 1 53
Раздел 1. Строительные комплексы 53
Раздел 2. Комплекс вещественных находок 62
Раздел 3. Общая характеристика поселения 70
Заключение 72

ИССЛЕДОВАНИЯ И ПУБЛИКАЦИИ

Редина Е.Ф. *(Одесса, Украина).* **Скифский могильник у с. Неделково на севере Одесской области** **75**

Гаврилов А.В. *(Симферополь, Украина).* **Амфорный импорт на античном поселении Новопокровка в Юго-Восточном Крыму** **81**

Каменецкий И.С. *(Краснодар, Россия).* **К датировке Ново-Джерелиевского 111 городища** **96**

«ПИСЬМА С ПОНТА»

Виноградов Ю.А. *(С.-Петербург, Россия).* **Греческая колонизация и греческая урбанизация Северного Причерноморья** **101**

Рогов Е.Я. *(С.-Петербург, Россия).* **Некоторые проблемы становления и развития Херсонесского государства** **116**

Марченко К.К. *(С.-Петербург, Россия).* **К проблеме греко-варварских контактов в Северо-Западном Причерноморье V-IV вв. до н.э. (Сельские поселения Нижнего Побужья)** **145**

Нефёдкин А.К. *(С.-Петербург, Россия).* **Кампания Арриана по отражению аланского набега на Каппадокию в 135 г** **173**

Шаров О.В. *(С.-Петербург, Россия).* **О времени появления Т-образных шарнирных фибул в Северном Причерноморье** **189**

АРХЕОЛОГИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ

Шауб И.Ю. *(С.-Петербург, Россия).* **Культ Великой богини у местного населения Северного Причерноморья 207**

Горончаровский В.А. *(С.-Петербург, Россия).* **К вопросу о культе Кибелы на Боспоре в первые века н.э 224**

Рябцева С.С. *(С.-Петербург, Россия).* **Змеи и драконы. О продолжении одной античной традиции в ювелирном деле эпохи средневековья 228**

СОВРЕМЕННАЯ АНТИЧНОСТЬ

Добролюбский А.О. *(Одесса, Украина).* **В поисках античной Одессы 241**

СМЕНА КУЛЬТУР И КУЛЬТУРНЫЕ КАТАСТРОФЫ

Романчук А.А. *(Кишинев, Молдова).* **Три кита раннескифской культуры на волнах иллирийской экспансии 260**

Ткачук М. Е. *(Кишинев, Молдова).* **Гетика, которую мы потеряли. (Из антологии хронологических разрывов) 274**

Зуев В.Ю. *(С.-Петербург, Россия).* **О путях решения «проблемы III в. до н.э.» в периодизации археологических памятников сарматской эпохи 305**

Бруяко И. В. *(Одесса, Украина).* **От диорамы к панораме. (О перспективах на пути решения проблемы северопонтийского кризиса III в. до Р. Х.) 325**

ИСТОРИЯ НАУКИ И ИСТОРИОГРАФИЯ

Марченко К.К. *(С.-Петербург, Россия).* **Основные аспекты и результаты изучения греко-варварских контактов и взаимодействий в Северном Причерноморье скифской эпохи 333**

Тункина И.В. *(С.-Петербург, Россия).* **К истории изучения античных памятников Западного Причерноморья в 1828-1829 гг. 354**

Пармакли С.И., Руссев Н.Д. *(Кишинев, Молдова).* **К истории изучения античных памятников Бессарабии 359**

КРИТИКА

Кашуба М.Т. *(С.-Петербург, Россия).* **«Другая» чернолесская культура Среднего Днестра по Л.И.Крушельницкой 369**

«СВОБОДНАЯ ЗОНА»

Клейн Л.С. *(С.-Петербург, Россия).* **Заповеди. Афоризмы о науке..... 389**

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 393

CONTENTS 395

От редколлегии

ТОЛЬКО АРХЕОЛОГИЯ!

Короткое, почти мгновенное, постсоветское десятилетие подходит к концу. Теперь ясно, что для науки это был своеобразный инфаркт, за которым в лучшем случае — еще больший приступ, а в худшем — смерть, и ничего больше. Это был не кризис с последующим выздоровлением. Это было не косметическое «очищение» от угристых догм, уродующих лицо академического «Зверя лесного», внутри которого покоилась чистая и незапятнанная душа лаборанта-подвижника. Работа над внешним совершенством завершилась не только избавлением от догм, но и ликвидацией всего того, что хоть издали могло стать объектом догматизации, то есть от идей, теорий, гипотез. Из науки был вытеснен процесс размышления, а вокруг науки исчезли все предпосылки наличия хоть какого-либо времени для посвящения себя этому процессу. *То лучшее, что существует сегодня в науке, это — продолжающее существовать, а не возникшее*, поэтому не стоит себя успокаивать жалкими примерами чьей-то успешной научной карьеры. Успешная научная карьера, оказывается, вполне может сосуществовать с отсутствием науки, с отсутствием конкретной ценности, называемой таким словом. Самое главное и самое страшное то, что абсолютно не ясно: происшедшее — это трагедия или некое квазиисторическое обличие блага, доступное для смакования лишь благодарными потомками. Ведь наука как бы не исчезает повсюду, она самоустраняется только где-то к востоку от Прута и к западу от Владивостока. Кроме того, вся эта описанная реальность совсем не бесспорна. Особенно для тех, кто продолжает прочно сидеть на «грантовой игле» и плодить предсказуемые тексты для умиляющихся доноров. Не бесспорна она и для тех, кто связывает проблемы науки с финансовыми провалами, показателями индекса Доу Джонса или близорукостью агонизирующей власти. Но таковых меньшинство, абсолютное же большинство уже давно покинуло пределы досягаемости карающих десниц Ученых Советов, аттестационных комиссий и черных рецензентов. Большинство уже в нирване «первоначального накопления», под сенью иных авторитетов доказывая на свой манер бесспорность и печальную истинность отмеченной реальности.

Теперь, без сентиментальных аллюзий, окидывая взором научный горизонт постсоветского пространства, мы без сомнений можем констатировать гибель большинства гуманитарных дисциплин, в первую очередь так называемой исторической науки, не выдержавших испытания «сочинением на свободную тему». Начав донкихотское сражение за историческую истину, эта наука потерпела поражение от той самой ситуации, которая была порождена не без ее помощи, превратившись в лучших своих проявлениях из обличителя и морального наставника в ловкого контрагента по экспорту архивного сырья на Запад. Но не только прокрустово ложе «application form» наполнило гуманитарное знание звонкой безыдейной пустотой. Оказалось, что в самом этом знании отсутствовали элементарные механизмы самозащиты и развития — рефлексия, представление о сложной природе собственных источников, первичность (а не подражательность!) научного языка, а главное — невозможность дистанцирования от власти, если не сказать нежелание дистанцирования от власти.

Но, к счастью, когда умирает все, находится нечто такое, что все же возникает, существует и прорастает. Возникает и прорастает именно потому, что нечто высохло и вымерло. В соответствии с самой логикой вещей мы знаем, что, когда исчезает все, остается только одна реальная вещь — археология и соответствующий ее предмету культурный слой, stratum, так сказать. Без всяких преувеличений можно сказать, что все то, чего нет и не было в истории, активно возникает, поднимается и уже процветает именно в археологии. Археология на территории бывшего Советского Союза оказалась сегодня беднее всех, но только наша совковая археология смогла не только принять вызов безыдейности, но, по существу, не заметить его. Только археология выдержала международный интеллектуальный ритм, подключившись к нему где-то в конце 60-х, и продолжает существовать в нем сугубо по своим собственным правилам,

сохранив не только наступательный теоретический потенциал, но и весьма специфические, неотделимые от археологии образ жизни и нравственный канон. Если вчера коллеги-историки со свойственным им галстучно-костюмным снобизмом повторяли известное определение археологии как истории, вооруженной лопатой, то сегодня стало ясно, что сама наука истории — это в лучшем случае сложившая оружие археология, лишенная методов, законов, да и смысла дальнейшего существования. Отвлекаясь теперь от пространственных границ бывшей советской археологии и говоря об археологической науке в целом, можно предположить, что, в известном смысле, только в археологии сегодня рождаются самые свежие и непредсказуемые идеи, и только с археологии начнется новое гуманитарное знание следующего тысячелетия.

Наш журнал и возник как опровержение весьма рискованного утверждения о кризисе постсоветской археологии. Мы с таким диагнозом не согласны, хотя соглашаемся с самыми пессимистическими оценками состояния всей остальной науки. Именно поэтому сверхзадача журнала не только в том, чтобы объединить лучшие действующие творческие силы нашей науки, не только в том, чтобы мобилизовать тот культурный stratum, который продолжает творить, подчиняясь естественному циклу сомнений, терзаний, экспедиций, находок и удач, не замечая суетливую смену властей, знамен и правителей, но и начать движение археологии в будущее. Леви-Стросс говорил, что XXI век будет гуманитарным, либо его вообще не будет. Если следовать этому пророчеству, выходит, что у следующего века остается не так уж много шансов на самореализацию. Остается одна последняя надежда — только археология..!

Марк Ткачук
Ректор Высшей Антропологической Школы

DE PRINCIPIIS

Клейн Л.С.

ФУНКЦИИ АРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ

Klejn L.S. Functions of archaeological theory.

Is archaeological theory necessary? The answer is expected from the theoretical archaeology. Strange as it is, works devoted to this issue are nearly absent in archaeological literature. In this article various stages of full empirical archaeological inquiry are considered in order to detect whether in each of them archaeological theory plays any role, and if it does, which namely.

There are the following functions analysed: 1) identificative; 2) integrative; 3) selective; 4) descriptive; 5) systematising; 6) explanative; 7) predictive; 8) instrumental; 9) heuristic; 10) controlling; 11) synthesising; 12) enlightening.

Every of them is connected with difficulties, especially the explanative and predictive functions. So the sections devoted to these two functions are entitled not simply with the designation of the function but as «The problem of explanative function» or «The problem of predictive function». Properly speaking the explanative functions is expressed in archaeology as interpretative one (not in the sense which this word has in hermeneutics but rather which it has in translation practice). The predictive function (some theorists speak on retrodiction instead of prediction in archaeology) is expressed as reconstructive one.

1. Трудный вопрос. В статье «Философия археологии», предваряющей сборник работ Дэвида Кларка, Глин Айзек (Isaac 1979: 15) адресует сборник как заинтересовавшимся теорией, так и тем, кто задает вопрос: «К чему нам возиться с теорией?». «Разве мы плохо жили и работали до сих пор без теоретической археологии?» – подначивает и Я. А.Шер в предисловии к книге Ж.-К.Гардена «Теоретическая археология»(1983: 5), вкладывая этот вопрос в уста воображаемого археолога-эмпирика.

Ну, уж на этот-то вопрос Шер мог бы ответить сразу, сославшись на Д. Кларка. В «Аналитической археологии» (1968: XIII) Кларк показал, что хотя с давних пор «археологи не имеют согласия насчет центральной теории, однако независимо от места, периода и культуры они используют схожие молчаливо подразумеваемые модели и процедуры, основанные на схожих и различных объектах – признаках, артефактах, типах, комплексах, культурах и группах культур». И позже Кларк утверждал (1970: 29): «центральная теория, объединяющая археологию, имплицитно присутствует в том, что археологи делают, она составляет реальную центральную теорию, сколь бы слабым и неадекватным ни оказалось любое ее письменное изложение».

Археолог-эмпирик, полагающий, что всегда обходился без теории, напоминает мольеровского мещанина во дворянстве, не подозревавшего, что всю жизнь разговаривал прозой. Но подспудная теоретическая концепция неизбежно оказывается смутной, неполной, недостаточно разработанной и слабо обоснованной. Это плохая проза. Эксплицитное представление теории позволяет лучше использовать ее достоинства и раньше обнаружить ее недостатки.

Однако вопрос, четко сформулированный Айзеком и подразумеваемый в формулировке Шера, остается. Оба автора дистанцируются от скепсиса своих воображаемых оппонентов, но скепсиса, вполне реального, с которым они, конечно, не раз сталкивались. Польза от теории для археологии представляется им несомненной, и готовый ответ они видят в трудах Д. Кларка и Ж.-К. Гардена.

Между тем, сами эти авторитеты как раз высказывали свое сожаление по поводу того, что ответить позитивно и общедоступно на этот вопрос пока нельзя. Кларк, разделив археологов на признающих необходимость теории для археологии и тех, кто не видит такой необходимости, заявил (1968: 22), что его «Аналитическая археология» предназначена для первых, а вторые «несомненно, продолжат культивировать ... узкие аспекты узких проблем, закрывая глаза шорами». «Теоретическая археология все еще не доказала своей необходимости», – просто отметил Гарден (1983: 32).

В его словах сквозит понимание того, что доказательства ожидаются от теоретической археологии. Если же подходить к этому делу с позиций теоретика, то доказывать нужно не примерами принесенной пользы (сколько бы этих примеров ни было, всегда можно привести контрпримеры – бесполезности или даже вреда конкретных теоретических концепций), а строгой логикой, методологическим анали-

© Клейн Л.С., 1999.

зом. Вопрос о пользе от теорий для археологии в переводе на язык методологического анализа оборачивается вопросом о функциях археологической теории.

Работ, посвященных этому вопросу, в археологической литературе почти нет. Зарубежные работы такого рода мне просто неизвестны, а из работ на русском языке могу назвать небольшую статью В. В. Радилиловского (1985) и главу в книге В. Ф. Генинга «Структура археологического познания» (1989:156 – 193). Оба автора перенесли на археологию разработки, существующие в советской философской литературе и сделанные главным образом для естественных и точных наук (Печенкин 1972; Баженов 1973; Рузавин 1978). Разработки эти в свою очередь частично опираются на труды известных зарубежных специалистов по логике науки.

У Радилиловского функций археологической теории четыре: описательная, объяснительная, предсказательная и синтезирующая – этот список он заимствовал у Баженова. Генинг оставляет из них только две – описательную и объяснительную, но добавляет к ним систематизирующую, которую он взял от Рузавина. Оба автора старательно подыскивают аргументы для уподобления археологической теории теориям физическим, химическим, социологическим: все у археологов как у людей – и объяснения, и предсказания, и систематизация... Если мы будем исходить из интересов археологии, список функций будет гораздо более полным, а вот наиболее популярные функции – объяснительная и предсказательная – окажутся как раз под вопросом.

Рассуждения обоих археологов о функциях представляются не очень уместными.

У Радилиловского объяснительная функция выражается в классификациях, поиске аналогий, применении математических методов; с предсказательной функцией у него связан переход от частной гипотезы к фундаментальной. Логика подобных заключений от меня ускользает. У Генинга систематизирующая функция теории сводится к упорядочению материала – артефактов, то есть к типологии, картографии, статистике. Типология и картография, конечно, нужны, статистика полезна. Только вот роль теории в этих сферах так и не показана. Объяснение Генинг понимает как подведение конкретного археологического факта (экспланандум) под общее положение социологического характера (эксплананс) через некоторые археологические спецификации этого социологического положения. Вся эта социологизация для Генинга естественна: это его понимание предмета, задач археологии. А так как социология для него — это исторический материализм, часть марксистской философии, то столь же естественно для него и наложение философской теории на археологическую ситуацию, и прямое перенесение функций теории из философских разработок в археологические.

Поскольку я исхожу из другого понимания предмета и природы археологии (Клейн 1977а; 1978а; 1986; 1992), да и из другого представления о теории (Клейн 1978б), мне видится больше смысла в том, чтобы последовательно рассмотреть различные ступени конкретно-археологического исследования с целью обнаружить, играет ли какую-то роль на каждой из них археологическая теория и, если играет, то какую именно. При этом стоит проверить и традиционные общенаучные представления о функциях – сколь они значительны в археологии, сколь реализованы в ней.

2. Опознавательная функция (1). При таком подходе с самого начала придется ввести в список функцию, которой в общенаучных рассуждениях философов нет, – опознавательную. Дело в том, что само выделение поля для археологического изучения, а следовательно, и самое общее отграничение материалов для исследования, да и подход к ним, короче, определение предмета и целей археологии формируется в сфере теоретической. Что считать объектом археологии, в чем состоит археологичность, определяет теория. Если нет ясной теории, то прямым следствием является путаница и в отнесении тех или иных объектов к компетенции археолога. А следовательно, и споры о применимости к данным объектам ее методов.

Издавна археология стабилизировалась как изучение вещественных древностей. Под вещами понимаются объекты материальной культуры, материальные произведения человека. Таким образом, археологичность определяется двумя характеристиками: 1) принадлежностью к материальной культуре и 2) древностью. Оба понятия не столь просты, как может показаться. Оба требуют как эмпирического обоснования, так и теоретической разработки.

Принадлежность к материальной культуре устанавливается по наличию признаков человеческой обработки, выявляемых на основе обобщения результатов опыта и наблюдения. Но культура предполагает обработку если не целенаправленную, то, по крайней мере, целесообразную, соответствующую некоторым культурным нормам и традициям. Значит, требуется теоретический анализ понятия культуры и ее подразделения – материальной культуры, а также ее составляющих – норм и традиций.

Древность устанавливается также конкретным анализом, по отложившимся в длительном опыте науки признакам. Но никакие эмпирические обобщения не диктуют, какой именно возраст требуется для признания вещи

археологическим объектом, сколь древней должна быть эта вещь. Тут тоже требуется теоретический анализ проблемы.

Говоря об источниковедческом изучении исторических объектов, Г.А. Антипов (1987: 49 – 50) перечисляет возможные ошибки идентификации и сопровождает свой перечень только археологическими примерами. На каждую из двух моих характеристик археологичности (древность и принадлежность к материальной культуре) у него приходится по два возможных промаха в идентификации – переоценка (когда неархеологический объект принят за археологический) и недооценка (когда упущен археологический объект). Получилось четыре категории ошибок: ошибки 1) модернизации, 2) архаизации, 3) социализации (природные объекты приняты за культурные) и 4) натурализации (наоборот, культурные не распознаны, сошли за природные).

Примерами у него служат соответственно: раскрашенные гальки из Мас д'Азиль, кремневые детали молотилок нового времени, эолиты. Антипов не нашел примера для четвертого вида ошибок, но такой легко добавить: древние сосуды, которые в Польше в эпоху Возрождения принимались за произведения природы.

Таким образом, определение археологичности опирается на теорию, и в то же время это вполне конкретная задача, исходная для археологического изучения. Соответственно различно формулируемой теории, по-разному решалась и эта задача.

Когда археологическая теория, сколь бы расплывчато и неясно ни была она сформулирована, рассматривалась археологами как часть географии (а такое время было), археологическими объектами считались древности, способные быть достопримечательностями края, – курганы, городища, крепости и храмы. Когда археологическая теория формировалась в искусствоведческом ключе, статуса археологических памятников удостаивались главным образом памятники древнего искусства. Ориентировка на обслуживание истории породила представление об археологическом источнике и обратила археологов к изучению всяких древностей, не только эстетически выразительных, но все еще всерьез учитывались только уникальные, эффектные, красноречивые. Для включения массового материала (керамики, кремневых отщепов и т.п.) в сферу внимания археологов потребовалось осознание важности истории культуры и, как выражаются французские историки, истории структур. Именно тогда объектами археологического изучения стали не только собственно вещи, но и всякие материальные следы человеческой деятельности.

Споры о крайних хронологических границах сферы археологии – до какого века простирается ее компетенция и с какого момента начинается – носят обычно отвлеченный характер, очень большая точность здесь пока не требовалась. Однако споры такие велись и ведутся. В России прошлого века Санкт-Петербургское Археологическое Общество проголосовало единогласно за 1700 год (разумеется, нашей эры) как хронологический предел археологии – всё, что позже, не должно считаться археологическими объектами. Тем не менее то и дело раздаются голоса за расширение пределов археологии вплоть до наших дней. Отсюда обозначение ветви, ведающей раскопками только что оставленных индейцами поселений – этноархеология. Действительно ли это часть археологии? Проблема рассматривается более подробно в моей книге «Археологические источники» (1978: 48 – 53; 1995: 94 – 103).

Споры о вещественной специфике археологического материала (в какой мере и в каких случаях относятся к нему природные объекты, не созданные людьми, – древесина, пыльца, кости и т.п.) важнее, ибо затрагивает вопросы разграничения наук и характер их интеграции, вопросы профессиональной специализации и достаточной широты рассмотрения.

Все проблемы, связанные с опознанием своего материала в мире, то есть с установлением археологичности объектов или, иначе говоря, с формированием предмета и границ археологии горячо и подробно обсуждаются в отечественной науке вот уже два десятилетия (Григорьев 1973; Клейн 1977а; 1978; 1986; Генинг 1983; и др.). В польской археологии эта дискуссия началась еще раньше (Trudzik 1965; 1971; Zak 1968; Hensel 1971; Urbanczyk 1981). В англоязычной литературе эта тема занимала не столь видное место, но все же можно назвать ряд работ, в которых она представлена (Binford 1968; 1983; Trigger 1970; Dymond 1974).

3. Интегративная функция (2). Эта функция логически продолжает предыдущую в том смысле, что осуществляется на том же материале, на тех же констатациях и связана с формированием предмета археологии. Речь идет о проблеме единства археологии.

Во многих странах археология формировалась не как одна наука – ее отрасли оказывались самостоятельными дисциплинами, даже входящими в разные группы наук. Это оформлялось созданием для них особых, отдельных институтов, журналов, кафедр, обществ.

Так, почти по всей Европе античная (классическая) археология развивалась и развивается отдельно от первобытной. Первая формируется в русле искусствоведения и филологии, вторая – как часть биологии. В Германии несколько десятилетий ею руководил патологоанатом Вирхов с соратниками – тоже меди-

ками. Да ведь и в России первобытные древности собирались вначале Бэром в Анатомическом кабинете, тогда как с музеями была связана классическая археология. В США первобытная археология входит в состав антропологии как комплекса наук (наряду с физической и культурной антропологией, этнографией и лингвистикой), а классическая археология туда не входит, да и вообще относится не к науке, а к гуманитарному знанию. В Германии и США эти отрасли и называются по-разному: термин «археология» закреплен только за классической археологией, а первобытная называется «праисторией», «преисторией». Восточная археология развивается где вместе с классической, где отдельно от нее. Средневековая археология, везде ориентированная на историю, кое-где вне Средиземноморья смыкается с первобытной археологией, и обе они вместе образуют отечественную археологию, которая противостоит классической. В Германии столетие назад расхождение усугубилось конкуренцией и враждой этих двух дисциплин, достигнув уровня раскола.

От имени искусствоведов-классиков Кублер (Kubler 1961) и от имени первобытников Чжан Гуанчжи (Chang 1967) стараются обосновать это резкое разделение. «Столь глубоко в истории науки укоренилось это разделение археологии..., – пишет Чжан (Chang 1967: 137 – 138), что статус кво непреодолим, его рационализация безнадежна и всякий великий замысел объединения этих двух соперничающих подходов в одну главную дисциплину археологии очень рискован». Чжан знает о возможности отыскать нечто общее: «Это, однако, реальный вопрос – лежит ли общая методология в основе всех археологических школ. Или, менее амбициозно: не служат ли некие понятия, методы и терминологические структуры, по сути, сменными линзами для одной и той же главной камеры?» Он отвечает на этот вопрос отрицательно.

В Англии К.Хокс (Hawkes 1954), в России Рогачев (1975; 1978) выдвинули отсутствие письменных источников в качестве принципиального отличия первобытной археологии от археологии «исторической», как окрестил Рогачев все остальные ветви. Хокс не только разделил археологию на «ведомую текстами» (texttaided) и «не имеющую текстов» (textfree), но и ввел подразделения первой, придумав специальные термины для них: протоистория, параистория, телеистория. Подразделения и термины не привились (кроме первого, который существовал и раньше). «Но разве наличие или отсутствие письменных источников могут сказаться на содержании и специфике археологических исследований и их возможностей?» – резонно спрашивает Захарук (1978: 25).

Опыт России очень в этом плане интересен: здесь по традиции археология едина, и не испытывает от этого ни малейших затруднений. Примечательно, что в ряде стран в названии обеих «половин» все-таки сохраняется термин «археология». Все это побуждает задуматься об их родстве. Все работники этих дисциплин – археологи, и все они пользуются одними и теми же в принципе методами и основными понятиями. На дискуссии 1968 года Микляев отрицал приложимость понятия «археологическая культура» к палеолиту. Имела место следующая перепалка:

«ГРИГОРЬЕВ: Вы неолитчик, я палеолитчик. Но все мы археологи, и основные понятия у нас должны быть общие. Астрономы занимаются звездами, все – разными, но у них есть общее понятие «звезда».

МИКЛЯЕВ: У нас разные источники. У вас, палеолитчиков, ничего, кроме кремешков и стратиграфии, нет; нет керамики, многих орудий труда.

ЛЕБЕДЕВ: Когда вы классифицируете материал, ту же керамику, вы пользуетесь понятием «тип»?

МИКЛЯЕВ: Пользуюсь.

ЛЕБЕДЕВ: Вы вкладываете в него другое содержание, чем палеолитчик, или нет? Нет. Почему же на более высоком уровне систематизации, когда встает вопрос о культурах, не сохранится то же соотношение?

КЛЕЙН: Конкретные вещи у вас разные, но абстракции общие» (Клейн и др. 1970: 301).

Микляев мог бы ответить, что в культуру, в отличие от типа, по определению должны входить разные компоненты, из разных категорий. Однако количество разнородных компонентов в культуре ее определением не предписано жестко, а бедность палеолитических источников в высказывании Микляева была несколько преувеличена. Как мы знаем, культуры теперь успешно выделяются и в палеолите.

У всех этих отраслей, конечно, одна и та же теоретическая база. Когда Чайлд заявлял: «археология одна» (Childe 1957: VI), — он имел в виду именно это. Более того, исходя из того, что первобытная археология к этому времени опередила классическую и средневековую по пути развития концепций и методов, Чайлд заметил, что «если бы романисты и медиевисты могли перенять технику и категории, развитые для более древних периодов, многие проблемы истории были бы решены».

Эта проблема имеет и другой аспект. Поскольку теоретическое мышление в глазах многих должно быть тесно связано с идеологией, считается, что идеологические расхождения научных школ, национальных школ и т.п. должны приводить к резкой дивергенции теорий археологии, а следовательно, и вообще археологий. Указывая на распад «новой археологии», претендовавшей на то, чтобы быть куновской парадигмой для археологии, Б.Мюре (Myhre 1961: 161) констатировал: «Теперь уже не одна археология или одна преистория, а много, в за-

висимости от философской или политической теории археолога».

Особенно преуспели в этой раскольнической деятельности идеологи советской археологии. В Советском Союзе всячески насаждалось убеждение, что марксистская археология – это совершенно новая, иная наука, чем вся остальная археология, именовавшаяся в советском обиходе буржуазной, что у нее иная теория, иные понятия, иные методы. Обсуждался даже вопрос, стоит ли «для такой науки ... сохранять при новом содержании старый термин» (Равдоникас 1930: 20) – обдумывалась замена термином «история материальной культуры» (на короткое время это было осуществлено). В конечном счете термин был оставлен старый, но еще долго советский археологический истэблишмент продолжал уверять себя и всех, что советская археология коренным образом отличается от остальной: «восприятие ею марксистско-ленинского научного мировоззрения и развитие в условиях социалистического государства создали, по существу, совершенно новую науку, занявшую почетное место в ряду других разделов исторического знания...» (Рыбаков 1967: 583).

Все это настолько въелось в сознание ортодоксально-марксистских кадров, что ведущие теоретики истэблишмента считали возможным выпускать капитальные труды по теоретической археологии, совершенно не используя в них зарубежную литературу – не потому, что это запрещалось (в какой-то мере это было разрешено всегда), и не только потому, что не владели языками, но и потому, что исходили из убеждения: там – совершенно другая дисциплина, не достигшая уровня подлинной науки, поэтому заниматься ею незачем, разве что для обличения и разоблачения.

Западные археологи нередко отвечали тем же. Американцы в своих археологических трудах примерно так же игнорировали не только русскую, но и немецкую археологическую литературу, правда, по существенно иным основаниям. Но ведь их очередное направление тоже претендовало на то, чтобы называться «новой археологией»....

Это уже не «соперничающие археологии» Чжана Гуанчжи, это враждующие археологии. Но они спорят об одних и тех же понятиях, и нередко на одном и том же научном языке. Как правило, чем больше какая-либо школа отстаивает свою уникальность и единственность, свою монополию на право считаться наукой, чем больше ее обособленность, тем более она отстает и приходит в упадок.

Что у археологов много философских и политических ориентаций, это несомненно – их всегда было много. Но когда некоторые наблюдатели этого разноголосия говорят о многих археологиях, полезно подумать о том, сколь глубоко эти расхождения археологов проходят внутрь их дисциплины. Это различия интересов, и эти интересы могут обусловливать определенные предпочтения в выборе фактов и методов, да и определенные вероятности ошибок. Но методы приходится выбирать из одного и того же набора. И факты тоже. Несхожие по убеждениям археологи стремятся наполнить понятия разным смыслом, но это понятия из одной системы, и смысловые различия не столь значительны, чтобы археологи не понимали, о чем идет речь.

Помочь археологам ясно увидеть это и, несмотря на все различия, сохранить целостную науку, сохранить связи в ее рамках, должна теория археологии. Именно поэтому за все время не создано ни одной хоть сколько-нибудь значительной работы по теории античной археологии – теоретические работы античников были, но это работы об археологии вообще. Не создано и специальных работ, годных только для первобытной археологии. Поэтому также, когда выходит книга по теории археологии – о специфике ли источников, или о понятиях классификации, или о путях интерпретации, – за ней с равным интересом охотятся археологи всех отраслей.

4. Селективная функция (3). Прямым продолжением функции опознавательной оказывается селективная функция: даже после распознавания археологических материалов выбор и отбор материалов для каждого данного конкретного исследования производится соответственно теоретической установке.

Если принята нулевая теория, то есть принцип эмпиризма, то материал годится любой без разбора, а, по сути, незаметно для самого исследователя подбирается по его вкусовым и прочим пристрастиям. При этом, однако, считается желательным набрать побольше – чтобы обеспечить более широкую базу для обобщений. В основе – мысль: любой материал даст что-то новое. Вообще же, считают эмпиристы, нужно добиваться максимальной полноты, в идеале – собрать весь материал.

Если теория есть и в нее введены принципы статистики, то можно обойтись репрезентативными выборками. Если же теория руководствуется гипотезно-дедуктивной логикой и соответственно исследование ориентировано на проверку какой-то одной гипотезы, то сбор материала оказывается узко нацеленным: берется только то, что может подтвердить или опровергнуть данную гипотезу. Конечно, такой подход опасен, особенно при раскопках, так как раскопки разрушают памятник, и весь его остальной материал, со всей потенциальной информацией, ненужной в данный момент исследователю и потому оставшейся незафиксированной, просто погибнет. Наконец, если принять вместе с Д.Кларком, что существует некая генеральная теория, некий общий для всех ло-

кальных и хронологических подразделений археологии набор принципов, понятий, методов и процедур, то логично заключить, что есть и стандартный набор проблем и задач, которые нужно обеспечить материалом, информацией – как бы некая анкета, вопросник. По этому достаточно широкому кругу вопросов, рассчитанному в значительной мере на сбор «про запас», и есть смысл собирать информацию.

В последние десятилетия методология сбора материала как теоретическая проблема (sampling theory) интенсивно разрабатывалась в американской и английской археологии (Binford 1964; Mueller 1975; Cherry et al. 1978; и др.).

Зависимость же подбора материала от поставленной конкретной проблемы исследования и доказывать нечего, а проблема эта либо прямо проистекает из господствующей теории, либо вызвана фактом, который в чем-то противоречит господствующей теории и тем самым порождает проблему.

5. Дескриптивная функция (4). Эта функция отмечается обоими археологами, писавшими о функциях теории, и некоторыми философами. Археологи, правда, в основном только разъясняют, какое место занимает описание в археологических исследованиях и как оно проводится, тогда как задача заключается в ином – выяснить, составляет ли оно или какие-то его аспекты функцию археологической теории и, если составляет, то показать эту связь.

А связь есть. Ведь описание представляет собой перевод информации о материале в знаковую систему для фиксации, хранения, переработки и передачи. Такой знаковой системой для описания служит язык. Но исходным пунктом для опоры описания на теорию является то, что к тому времени, когда научное описание начнется, язык для него уже должен существовать. Существовать заранее, до того. Существовать со своими понятиями, в которых он способен отразить материал, его компоненты, свойства, меры, связи, изменения, движения и т.д. То есть заранее должна быть проведена достаточно развернутая категоризация.

Зависимость описания и даже первичной систематизации от языка, от существующих уже в нем категорий можно видеть на следующем примере. Как заметил Коз (Caws 1965: 33), «усвоение какого-либо определенного языка может повлечь за собой характерное для него деление и расчленение того, что непосредственно воспринимается». В самом деле, для англоязычных археологов «стоянки» (camptsites) отличаются от «поселений» (settlewments) тем, что на первых люди не жили подолгу, а вторые были долговременными. Русские же археологи традиционно отличают «селища» эпохи палеометалла от «стоянок» каменного века, хотя бы эти «стоянки» были столь же долговременными – в расчет принимается не длительность обитания, а только периодизация. Причем те и другие включаются в категорию «поселения».

Категоризация изначально существует в языке, растет и развертывается стихийно. Но археологический материал предъявляет к ней свои требования: во-первых, он имеет много объектов, уже не существующих в обиходе и потому не имеющих соответствий в действующей системе категорий, во-вторых, многие объекты испытали на себе действие времени и стихий, поэтому вообще имеют совершенно особый облик, в обычном обиходе не встречающийся; а в третьих, археологию интересуют свойства и связи, обычно не привлекающие внимания вне археологии (например, наличие патины, ударный бугорок, стратифицированность и т.п.). Поэтому с развитием науки (это касается и археологии) язык науки все время совершенствуется. Совершенствование идет главным образом именно по линии обогащения и рафинирования категорий, упорядочения их совокупности, дополнения ее многими абстракциями, уточнения их соотношений, организации их во все более строгую, стройную и богатую систему. А это, конечно, дело теории.

«Наш обычный язык заполнен теориями, – сказал Поппер (Popper 1965: 59). – ... Наблюдение всегда является наблюдением в свете какой-либо теории». Есть философы, которые сводят теорию к языку науки. Пусть они и не правы в своей абсолютизации, но разработка языка науки, в частности языка описания, несомненно, одна из задач теории, и язык этот – ее часть, ее компонент.

Сама смена ведущих теоретических концепций (-измов археологии) вводила в обиход все новые понятия и термины языка описания. Так, со времени прогрессистов, сторонников концепции «трех веков», в язык описания вошли понятия «замкнутый комплекс» (термин сложился потом),»in situ», «слой». Сторонники диффузионизма (включая миграционизм) не могли обойтись без понятий «локализация», «местонахождение», «ареал». Экологисты заговорили о «природной среде» и «нише». Таксономисты отработали понятие «признак». Менялось и представление об основном объекте археологии – сначала в этой роли фигурировал «антиквитет», потом «памятник» и «сувенир», ныне «артефакт» и «археологический источник».

Каковы этапы развития средств описания?

1. Языком науки прежде всего выступает естественный язык. Явления описываются обиходными словами и выражениями, обычно без указания количественных характеристик. На этой стадии описание в археологии находилось во времена Винкельмана. Для целей сравнительного анализа стилей (направленность

явно теоретическая!) Винкельман сформулировал некоторые правила научного описания памятников древнего изобразительного искусства средствами естественного языка, и эти правила – полнота описания, внимание к мелочам, личный осмотр (описывать in situ) и т.п. – действуют до сих пор не только по отношению к памятникам искусства. Однако при всем богатстве и при всей гибкости естественный язык обладает рядом недостатков для этой роли – он слишком многозначен, расплывчат, избыточен, эмоционально окрашен.

2. Поэтому в нем, в его ткани стали специально вырабатываться для целей научного обихода отраслевые специальные языки, своего рода научные жаргоны.

а) Одна из их особенностей – наличие специальных терминов для научных понятий, в том числе понятий, предназначенных для научного описания. В идеале эти термины взаимосогласованы и составляют единую систему, по крайней мере, в рамках данного исследования, а лучше – в рамках целой научной школы, в какой-то мере это распространяется на всю отрасль. Термины условны и, если они хорошо продуманы, отличаются однозначностью и четкостью, наличием ясных дефиниций.

б) Другая особенность специального языка науки – сухой, точный, лаконичный и нейтральный стиль, избегающий двусмысленности, неявных переносных значений, подмены убеждений эмоциями и т.п.

в) Третья особенность – употребление аббревиатур вместо часто употребляемых слов, терминов и выражений.

г) Четвертая особенность – применение формул для показа зависимостей и связей, особенно в тех случаях, когда возможны количественные измерения и расчеты.

В археологии такой стиль описания понемногу вырабатывался издавна в записях коллекционеров и участников научных путешествий, но вполне сложился во второй половине XIX века в каталогах музеев и полевых дневниках экспедиций. Он стал применяться и в публикуемых отчетах экспедиций. В России Городцов в начале XX в. применял и табличную форму представления данных. Во второй половине XX века крупные археологические труды в виду отсутствия единого языка описания нередко снабжаются терминологическими словарями с дефинициями важнейших специальных терминов (примеры см. в: Клейн 1980:104; 1991:343).

3. Наконец, в последнее время под напором компьютеризации создаются специально для целей научного описания дескриптивные (документальные, информационные) языки, которые отличаются сугубой формализацией, эксплицитностью и структурированностью. В них действует система редукции описания к простейшим операциям. Фиксация здесь производится специальными символами, по разработанному коду. Каталог медных изделий Южной Евразии между Дунаем и Индом и издан-то был в виде карточек с перфорацией и кодом (Desayes et Gardin 1956). Чтобы достичь единообразия в работе Гарден (Gardin 1963) предложил придерживаться трех наборов правил, определяющих ориентацию, сегментацию и дифференциацию объекта. Эти правила сами по себе – не теория, это методы. Но сама разработка этих правил, сама работа над усовершенствованием языка описания – дело теории.

На каждой ступени развития языка описания роль теории выступает все сильнее. Даже при описании на естественном языке мы укладываем то, что видим, в ту сеть категорий, ту сеть понятий, которой наука располагает к этому времени – соответственно наличной теоретической картине мира. Понятия эти еще не подлажены к нуждам археологии. Такая подладка, соответствующее взаимосогласование понятий внутри археологии, обзаведение их терминами ориентировано на принятое в данной концепции видение материала и понимание задач археологии, то есть руководствуется теорией. Еще яснее роль теории в создании дескриптивных языков, ибо вся эта работа заключается в дефинировании, согласовании, делении, разграничении абстракций, в логической организации идеальных объектов. Не случайно Гарден свою книгу, половина которой посвящена описанию, назвал «Теоретическая археология». Правда, эта шапка несколько великовата его книге: даже вместе со второй половиной это не «теоретическая археология», но это, несомненно, ее часть.

6. Систематизирующая функция (5). В какой-то мере она является логическим продолжением предыдущей, так как в силу категоризации всякое описание не только обобщает (это действие эмпирическое), но и подводит материал под категории, приведенные в некоторую систему, как-то, пусть даже очень примитивно упорядоченные. Строгое взаимосогласование и соподчинение этих категорий в соответствии со спецификой материала и задачами исследования создает научную схему упорядочения.

Если материал на основании сходств и различий распределяется по строго разграниченным ячейкам, подпадающим под стандартные категории, то это схема классификации. Если он группируется вокруг понятий, фиксирующих центры этих категорий, то это схема типологии. Как организовать совокупность классификационных или типологических понятий в должном соответствии специфике материала и задачам исследования, решает, конечно, та система положений, та программа действий, которая, собственно, и является теорией. В той части, которой общая археологическая теория

регулирует эти действия, она называется теорией археологической классификации (ср. Колпаков 1992) или теорией археологической типологии (Клейн 1991).

Нужно оговорить следующее: распределение эмпирического материала по ячейкам классификации или группировка его вокруг идеалов, называемых типами и стилями, это эмпирические действия – установление сходств и различий, идентификация, обобщение. А вот организация самой системы понятий, разнесение их по иерархическим уровням, разграничение и взаимосогласование, подчинение общим задачам исследования – это действия теоретические.

Тут есть целый ряд трудных вопросов: Можно ли совмещать задачи классификации и типологии в одной схеме? Насколько те ячейки, та группировка, те границы, которые мы устанавливаем в археологическом материале, присущи самому материалу, а насколько – зависят от произвола исследователя? Отражают ли они связи и разграничения, реально существовавшие в живой культуре? И т.д. Целый ряд подобных вопросов Чжан Гуанчжи выписал из работы Клакхона о типологии (Kluckhohn 1960; Chang 1967: 83), еще ряд можно увидеть в других работах (см. Hill and Evans 1973:231, 268; Клейн 1991: 13,31 – 32). Все это вопросы теории.

Точности ради в высказывании Гардена на этот счет нужно отчленить верную констатацию от преувеличения. «Ни один объект, – утверждает Гарден (1983: 62), – не может быть описан без хотя бы неявной опоры на существующие знания и без учета задач исследования, которые в свою очередь определяют надежную методологию описания по существу и по форме». Это, конечно, верно. Но Гарден продолжает: «Поэтому любой каталог, в особенности такой, который считается «толковым», является в той же мере теоретическим построением, как и любое историческое эссе». А вот это уже преувеличение или двусмысленность. Правильнее было бы сказать, что такой каталог опирается на теорию, использует ее, но это не теоретическое исследование, а эмпирическое, как, впрочем, и большинство исторических эссе. Иначе различение теоретических и эмпирических исследований просто утратило бы смысл.

Первые классификации создавали коллекционеры антиквитетов в эпоху Возрождения (да, вероятно, и в античности). Уже тогда среди их классификаций нередки были такие, которые сортировали вещи по функциональному назначению – ведь сами собой напрашивались аналогии с существующими в обиходе вещами: оружием, орудиями, украшениями. Винкельман добавил к этому классификацию по стилистическому принципу. Ко времени эволюционизма распределение по предполагаемым функциям стало основной формой классификации. Тогда же стали строиться типологии, в них материал группировался по стилистическим и вообще формальным сходствам и различиям только внутри категорий, выделяемых по предполагаемому функциональному назначению (и только за такими категориями в русской археологии закрепился термин «категории»).

Уже одно то, что приходится отмечать гипотетичность этой основы, говорит о вмешательстве теории. Дело не в том, что в потенции (т.е. после подтверждения) гипотеза представляет собой теорию. Это удел не всякой гипотезы – есть гипотезы, которые стремятся превратиться в факт и по подтверждении превращаются в факт. Гипотезы о функциях как раз таковы. Но сам процесс определения функционального назначения вещей производится на основе представлений о функциональном устройстве древней культуры и способах его познания, а это – теория.

В культуре связь функции с формой детерминирована не жестко. Обычно есть известная свобода выбора формы для некой функции. А так как мы вынуждены определять забытые функции по наличным, откопанным формам, то в каждом отдельном случае задача исключительно сложна, а ключ мы вынуждены искать в системе форм данной культуры и предполагаемой системе функций, этому составу по идее соответствующей. Мы должны предварительно иметь некоторое общее представление о данной культуре, некоторые ожидания относительно функций, в ней действовавших. То есть выявление древней культурной структурированности материала чисто эмпирической процедурой невозможно. Это главная мысль моих работ по типологии (Клейн 1977б; 1991; Klejn 1982), а впервые ее высказал Уолтер Тэйлор (Taylor 1948).

К этому наблюдению о зависимости первоначальных этапов исследования от дальнейших (о своего рода парадоксе опережения) можно еще добавить, что, становясь стандартными, классификационные ячейки быстро перекочевывают в профессиональный язык описания. И тогда уже нет надобности детально перечислять в описании признаки вещи – целый комплекс их, постоянно повторяющийся, можно заменить простым указанием на принадлежность к определенному ранее типу. Определенному ранее! – в этом разгадка парадокса опережения: первоначальные этапы исследования на поздней стадии изучения черпают информацию из завершающих этапов и результатов исследования, проведенного на предшествующей стадии изучения.

Роль теории подтверждается тем, что смена ведущих теоретических концепций в археологии немедленно отражалась на ее классификационных и типологических понятиях. Так,

Винкельман и его последователи сделали орудием классификации «стили», эволюционисты ввели «типы», миграционисты добавили «культурную провинцию», диффузионисты-трансмиссионисты (искатели влияний и заимствований) – «археологическую культуру» и понятия «мотива», «мода» (термин прижился чуть позже), таксономисты отдали предпочтение «классу», «таксону», «признаку»; и т.д.

Еще заметнее воздействие смены ведущих археологических концепций на высшем уровне систематизации – при обобщении огромных массивов материала, скажем, континентального, если не глобального охвата. Катастрофисты и прогрессисты объединяли материал в крупные блоки по эпохам, по «векам» (таков путеводитель Томсена по Копенгагенскому музею). Эволюционисты, не отказываясь от эпох, считали их условными ступеньками развития, а для удобства прослеживания его предпочитали объединять материал в глобальном охвате (как Г.Мортилье в своих трудах). Миграционисты рассматривали материал соответственно путям миграций – таковы книги Г.Коссины. Диффузионисты трансмиссионного толка раскладывали его по зонам последовательного распространения влияний – именно так построены карты в знаменитой книге Г.Чайлда «У истоков европейской цивилизации». Таксономисты строили свои блоки соответственно формальному принципу, стараясь максимально приблизиться к нормам систематики. Археологи экологической школы, естественно, изучали материал, охваченный границами природных зон. И т. д.

Систематизация присуща теории по ее природе, так сказать – по определению: ведь теория в некоторых существенных отношениях и есть система законов, понятий и выводов. Теория систематизирует не только понятия, но и эмпирические регулярности, законы, стремясь установить между ними отношения параллельности и выводимости, а ее наибольшая организованность достигается тогда, когда все свои законы она оказывается в состоянии вывести из одного общего принципа. Для этого все их надо связать с ним логической субординацией, то есть объяснить из него. Иными словами этот уровень систематизации недостижим без объяснения (опять феномен опережения) и, собственно, оказывается аспектом реализации объяснительной функции.

7. Проблема объяснительной функции (6). Эта функция в наличии у обоих археологов и у всех философов, причем ей у всех уделено наибольшее внимание – по-видимому, она считается основной. «С этой функцией, – пишет Радилиловский (1985: 18), – связано решение основных задач в области классификации, поиска аналогий (выявления формальных сходств), датировки, картографирования, интерпретации (исторической, культурологической, социологической)». Генинг (1989: 188) добавляет: «данная функция несомненно имеет приоритетное значение в научно-познавательной практике».

Связь объяснения с теорией трудно оспорить, если считать, что объяснение всегда прямо апеллирует к закону: ведь законы – ядро теории. «Потребность в объяснении – это потребность в теории», – афористично высказался социолог Зеттерберг (Zetterberg 1965: 11). Если, однако, понимать объяснение шире и поставить под вопрос приравнивание истории к социологии по их интересу к законам, то проблема усложняется.

Под объяснением Генинг (1983: 188 – 189) понимает «раскрытие сущности, обусловленности описанных наукой объектов, явлений связей и т.п.», полагая, что «через научное объяснение теория выполняет свою основную функцию – познает законы развития исследуемых явлений и процессов прошлой исторической действительности». Суть объяснения он излагает по К.Гемпелю и П.Оппенгейму: в экспланансе непременно должен быть хотя бы один закон науки, под который можно было бы подвести объясняемые факты – экспланандум. Наши философы, однако, понимают объяснение более широко – как постановку явления в систему связей, а объяснение через закон – лишь как разновидность объяснения (Никитин 1970). Из главных типов объяснения, отмечавшихся в литературе, – каузального (в терминах причины и следствия), структурно-функционального (нахождением места в структуре и определением функций), генетического (через закон) – Генинг оставляет два последних и оба раскрывает как объяснения через законы – законы устройства и законы развития. Итак, объяснение, по Генингу, – это подведение под закон.

Это вполне совпадает с тем, как понимают объяснение в наиболее ригористичном, наиболее неопозитивистском крыле американской археологии (см. Spaulding 1968; Fritz and Plog 1970; Watson et al. 1971), только там, как и везде на Западе, термин «генетическое» понимают как синоним термина «каузальное», а объяснение через закон называют номологическим или дедуктивно-номологическим. Позиция дедуктивистов подверглась разрушительной критике (Scuhuyler 1973; Morgnan 1973; Levin 1973; и др.) и не получила признания. Отвергая абсолютный детерминизм в культуре, часть исследователей склоняется к мысли, что в археологии применимо структурно-функциональное объяснение (M. Salmon 1982; Renfrew 1982), другая часть отстаивает каузальное объяснение как особый вид вероятностного объяснения, наиболее подходящий для исторических наук, в том числе и для археологии (W. Salmon 1982; B. Smith 1982; Eggert 1982;

Mellor 1982; Triiger 1982).

Но *что* подлежит объяснению в археологии? Бинфорд, одним из первых введший в археологию дедуктивно-номологический принцип, вначале считал, что объяснять надо события и процессы в социокультурных системах прошлого, и объяснять из теории культурного процесса, формулирующей его законы. Позже у Бинфорда появились мысли, что перед тем, как изучать культурный процесс по источникам, надо объяснить сами источники. Некоторое время он еще полагал, что объяснять их следует событиями и процессами прошлого, но тогда ведь получается замкнутый круг, и Бинфорд пришел к выводу, что нужна особая наука об археологическом источнике, нужна соответствующая теория (Binford 1982). Для него оба этапа познания – познание источников и познание прошлого – есть археология, но для Рауза, как и для меня (Rouse 1972; Клейн 1976; 1978а; 1991), археология – это наука, изучающая материальные древности как источники познания далекого прошлого, а изучение затем самого прошлого по отпрепарированным источникам есть палеоистория (преистория и древнейшая история).

Конечно, становясь наукой, археология научается рассматривать и объяснять не только каждый артефакт в отдельности, но и большие совокупности материала, охватывая в конечном счете весь материал обитаемого мира и по всем эпохам человечества в целом. Она выявляет связи, сходства и различия между материалами разных регионов и эпох. Она не теряет из виду культурно-исторический процесс. Но это все равно не изучение культурно-исторического процесса, а изучение источников для понимания процесса.

Нетрудно заметить, что в археологической литературе до сих пор все споры шли о том, каков характер объяснения в палеоистории, ибо под именем археологии как исторической науки понимался весь путь познания прошлого, а объяснение концентрировалось на втором этапе этого пути – на перипетиях культурно-исторического процесса. Коль скоро археология оказывается особой источниковедческой наукой, вопрос о характере объяснения в ней надо решать заново.

На этом, первом, этапе познания прошлого нас интересует, что за объект мы обнаружили, каково было его функциональное назначение в древней культуре, о каких древних событиях и процессах он свидетельствует. Эти вопросы прилагаются к материалу любого объема – один ли артефакт перед нами или комплекс, множество однотипных комплексов. В исследовательской процедуре археологии это задача культурно-исторической интерпретации памятников, которая сродни задачам перевода с одного языка на другой, а также (в другой своей части) задачам детектива. А вовсе не задачам историка. Таким образом, в применении к собственно археологии объяснительная функция оказывается функцией интерпретационной, и это выводит археологию из разряда исторических наук по ее непосредственным задачам и методам, по ее методологической природе (хотя и не по конечной цели).

Каков же характер объяснения в археологии, то бишь, механизм интерпретации?

Коль скоро события и процессы, способные послужить для объяснения облика и состава археологических источников, происходили в далеком прошлом и непосредственному наблюдению недоступны, основным типом объяснения в археологии следует признать объяснение по аналогии – модельное. Об аналогиях в археологии (в том числе об этнографических) написано меньше, чем они того заслуживают (см. Ascher 1961; Smolla 1964; Morwood 1975; и др.). С некоторым преувеличением, но не без основания Чжан Гуанчжи (1967: 109) заявил: «вся археология есть аналогия». Несмотря на огромное количество археологических книг и статей со словом «модель» в названии, о моделях в собственном смысле (Klejn 1973:75 – 77) написано еще меньше.

Из работ философов, методологов науки, известно, что объяснение по аналогии относится к числу индуктивных, вероятностных (Никитин 1970; Попов 1972: 181 – 183). Кроме модельного объяснения, применяются в археологии и другие. Коль скоро приходится определять функциональное назначение артефактов и сооружений, не обойтись без функционально-структурного объяснения. Оно также в основном строится индуктивно. А поскольку археологические объекты покоятся не в том состоянии и не в тех местах, которые были для них характерны в прошлом, когда они работали в культуре, и для понимания их функций нужно мысленно продвинуться от их нынешнего состояния и места к прошлым, мы выясняем, что привело их к нынешнему месту и состоянию, почему они оказались здесь и такими, – вступает в действие причинное объяснение. Причинное же относится к числу дедуктивных, хотя и не требует непосредственно универсального закона, не предполагает непременно абсолютного детерминизма.

Теперь можно выяснить, является ли такое объяснение функцией теории, т.е. какова роль теории в археологическом объяснении. И какой теории. Теория, как известно, предполагает наличие сильного закона или блока законов.

Начнем с причинного объяснения. За каждой причиной скрывается в конечном счете некая закономерность, пусть вероятностная (Кон 1969), а всякий исследователь стремится усилить вероятность, так что в пределе за причиной вырисовывается – как недостижимый идеал – абсолютный закон (Mellor 1982). Если

причинное объяснение предполагает законы динамики, то структурно-функциональное – законы статики (законы устройства, структуры). Наконец, объяснение по аналогии, апеллируя к частному случаю, казалось бы, обходит закон. Но ведь оно потому и возможно в науке, что предполагает наличие за явлением и его аналогом, за объектом и его моделью некоего комплекса сходств помимо тех, что легли в основание сближения, а следовательно, предполагает проявление в обоих объектах некой закономерности – той, что обусловила их сходство. Конечно, к этой закономерности явно апеллировать нельзя: она лишь подразумевается. Явно же в таком объяснении действуют другие закономерности, более общие, регулирующие выбор модели для данного объекта (конечно, вероятностные), и вообще отношения между всякими объектом и моделью.

В наше время уже очевидно, что основание для всех этих объяснений образует теория археологического источника и, более широко, теория интерпретации, опирающаяся на эмпирические обобщения из экспериментальной археологии, из этноархеологии и этнографии, а также на теорию синтеза, лежащую в основе так наз. исторической реконструкции и объединяющую все источниковедческие дисциплины как базу истории. Но ведь и в прежние времена объяснения делались тем же путем, только не так явно, не так строго и не так обоснованно. На месте теории была, так сказать, предтеория – нечто более расплывчатое и слабое. И все же можно проследить, как смена концепций в ней, вызванная общей сменой направлений, отражалась на господствовавших объяснениях.

Обозревая весь наличный материал своей науки и располагая его по шкале времени, археологи догадывались, что материал должен отражать непрерывную преемственность поколений. Однако таковой в материале не оказывалось, материал представал в виде самодовлеющих хронологических блоков со слабыми связями между ними. Происхождение каждой археологической культуры оказывается загадкой. Почему? Каждый очередной археологический -изм начинался с попытки ответить по-новому на этот проклятый вопрос археологии (Клейн 1975).

Катастрофисты-креационисты и прогрессисты этим вопросом не задавались: Бог мог после каждого потопа или другого бедствия создать все заново. Но для эволюционистов это была уже проблема. Они решали ее с помощью предположения о лакунах в наших знаниях; их ключ к восстановлению порядка – missing link. Миграционисты объясняли разрывы сменой населения, инвазией, трансмиссионисты – влиянием соседних культур. Стадиалисты в СССР, подобно катастрофистам или прогрессистам, считали разрывы естественным делом и объясняли их революциями. В Германии было разработано учение о латентном зарождении новых культур, недоступном археологическому выявлению. Приверженцы экологической школы упирали на изменения природной среды. Британские гиперскептики полагали, что это все результат условности наших заключений. И т.д.

Здесь совершенно очевидно, что эти объяснения связаны с теоретическими концепциями и имеют в них свое основание.

Остается еще добавить, что синдром методологического опережения работает и здесь: поскольку объяснение касается и функционального назначения вещей, полученные с его помощью определения в известной мере детерминируют последующие классификации, а следовательно и описания (ср. Trigger 1982:32).

8. Проблема предсказательной функции (7). Философы определяют предсказательную или прогностическую функцию как «важнейшую функцию всякой подлинно научной теории» (Рузавин 1978: 25). «Только благодаря наличию предсказательной функции, – поясняет Баженов (1973: 416), – теория перестает быть самодовлеющей, в себе замкнутой, становится практически полезной». Эта функция присутствует в списке у всех философов, а вот из археологов – лишь у одного, да и то в странном истолковании: как связанная с заменой частных теорий фундаментальными. Это явный нонсенс. Очевидно, в археологической реализации этой функции таится какая-то трудность.

Трудность эта, вероятно, проистекает из того, что предсказание обращено к будущему, а, по выражению Триггера, «будущее археологии есть прошлое» (Trigger 1970). Как же предсказывать, обращая предсказание в прошлое?

Одни ученые (например,Ракитов 1982: 289), стремясь сохранить для исторической и археологической теории в нерушимости функцию предсказания (должна же она быть у приличной теории!), «видоизменили» прошлое, оставив от него только какие-то намеки, и фактически подставили на его место будущее. Они говорят, что предсказать можно новые археологические открытия, места расположения новых находок, их облик. Но, во-первых, такие конкретные предсказания (их называют эвристическими) очень мало опираются на теорию и общие законы, больше – на эмпирические обобщения. Это просто расширение обобщенного факта, индукция. Во-вторых, ясно, что, хоть эти новые находки и относятся к прошлому, предсказан будет не их прошлый облик (он уже известен), а их новые обнаружения, то есть предсказывается не прошлое находок, а будущее исследования.

Другие ученые (например, Никитин 1966; 1970; Binford 1972: 333 – 334; Trigger 1973: 105; Оноприенко 1976) избрали противоположный путь – ради сохранения прошлого в месте на-

правленности функции они пожертвовали предсказанием как действием, обращенным в будущее, и стали вместо этого говорить о ретросказании или постсказании как о выводах, направленных в прошлое. Бинфорд (1972: 334) поясняет: «Единственный способ превратить ... современные наблюдения в утверждения о прошлом проистекает из нашей способности к ретросказанию – устанавливать на основе современных данных, какие условия в прошлом породили наблюдаемое в современности...». Но чем такие выводы отличаются от обычного объяснения прошлого?

Многие указывают на родство предсказания, соотв. ретросказания, и объяснения (Dray 1957:2; Hempel 1965: 176; Никитин 1970: 222 – 238; Trigger 1973: 105). Логическая структура их тождественна; то и другое есть вывод, причем вывод гипотетический. Объяснительную гипотезу проверяют через сопоставление ожиданий, выводимых из нее, с независимыми фактами. А что такое ожидание? Это ведь и есть предсказание или ретросказание, только с подчеркнутой неопределенностью (Zubrow 1973: 246). С другой стороны, предсказание или ретросказание, сделанное на основе одной лишь аналогии или корреляции, то есть на эмпирической основе, остается слабым, оно становится сильным, лишь если основа получила объяснение законом, из теории.

Но все же ретросказание и объяснение не совпадают. Отличие состоит в том, что если объяснение предполагает увязку одних объектов с другими, то ретросказание, как и предсказание, берется описывать, пусть и приближенно, предполагаемые объекты прошлого (или, соответственно, будущего).

Да ведь что значит описать предполагаемый объект прошлого на основе его видоизмененных остатков, фрагментов и следов в настоящем – так, как он выглядел в прошлом? Это значит осуществить его мысленную реконструкцию. Однако во многих случаях, а именно, когда фрагменты мелкие и их мало, можно их составить по-разному, а следы – по-разному истолковать. Значит, кроме фактов в реконструкции участвуют идеи, воображение, а если они строго организованы и обоснованы, то это – теория. Таким образом, в археологии предсказательная функция выступает как реконструктивная.

Роль теории тем выше, чем задача реконструкции шире, чем выше ее уровень, чем абстрактнее объект реконструкции – чем дальше от отдельного артефакта и ближе к событиям, к социальным связям, структурам и процессам. Но тем ограниченнее и детальность реконструкции, тем менее она конкретна.

Дело в том, что в культуре детерминация всегда неполна, ограничена, велики неопределенность, произвол личностей и коллективов, свобода выбора и, следовательно, роль случайностей. С таким материлом невозможны ни точное предсказание в деталях, ни полная адекватная реконструкция. Что ж, и в природе действуют не только абсолютные законы, но и законы вероятностные, статистические, тем не менее ученые делают на их основе достаточно надежные предсказания и (скажем, в геологии) реконструкции, отказываясь от ненужной детализации, отбрасывая излишнюю конкретику. Но специфика истории, которую обслуживает археология, как раз в том и состоит, что она не может слишком абстрагироваться от конкретики, не может вовсе отказаться от детализации. Она ориентирована не на выявление общих законов, а на установление конкретных фактов прошлого в их причинно-следственной связи (Dray 1957; Trigger 1973).

Поэтому собственно исторические реконструкции возможны лишь в редких случаях – когда дело касается недавнего прошлого, очень конкретной ситуации, очень хорошо обеспеченной источниками. В большинстве же случаев в истории фигурируют не исторические, а социологические или культурологические реконструкции. Что же касается археологических реконструкций, то они обычно не преследуют задач точного, детального восстановления индивидуального облика, удовлетворяясь – даже применительно к отдельным артефактам – восстановлением типовых особенностей. Так что в археологии реконструкции вполне реальны, но степень их полноты и адекватности обратно пропорциональна их приближенности к чисто историческим задачам.

9. Инструментальная функция (8). Под этим термином я имею в виду оборачиваемость теории методом. История науки учит, что теория, доведя свой операциональный аппарат до уровня стереотипности, становится методом (Овчинников 1968: 20 – 21). Ни в одном списке я этой функции не нашел. Между тем она тоже служит выходу теории в практику.

Так, Винкельман и Герхардт, исходя из теории (или, если угодно, предтеории), сопрягающей стиль с эпохой, разработали основы сравнительно-стилистического метода. Датские прогрессисты Томсен и Ворсе обратили свою схему «трех веков» в метод корреляции форм артефактов с эпохой и вышли к стратиграфическому методу. Эволюционист Монтелиус прославился изобретением типологического метода, основанного на принципе эволюции. Мигрционисты, разработав территориальный аспект археологического материала, ввели в археологию картографический метод прослеживания древнего расселения. Другая ветвь диффузионизма – трансмиссионизм – привела Софуса Мюллера к разработке комбинационного метода синхронизации, а позже Шахермейра и Милойчича – к их критериям синхронизации. Таксономисты, естественно, довели

до изощренности методику классификации, а дескриптивисты – принципы и методику объективного описания материала. Экологизм (в большой мере проявляется как географический детерминизм) обогатил археологию авиаразведкой, фосфатным методом и другими техническими средствами и методами естественных наук. Теория стадиальности, замешанная на интересе к производительным силам и боровшаяся с «формальным вещеведением», породила функционально-трасологический метод Семенова. Сопрягательный подход Тэйлора и родственный ему британский гиперскептицизм способствовали развитию внутренней критики археологических источников и провоцировали противников на применение статистических методов. Процессуальная археология ввела многофакторный анализ и компьютерную симуляцию. Бихевиорная археология означала интерес к отраслям, специально нацеленным на разработку методов интерпретации: этноархеологии, срочной археологии и экспериментальной археологии.

10. Эвристическая функция (9). Выделения этой функции я не нашел ни у философов, ни у археологов, занимавшихся специально функциями археологической теории. Зато другие философы и археологи то и дело обращают внимание на роль теории в расширении кругозора археологов и совершенствовании их способностей.

«Каждая теория, – пишет американский философ-науковед (Kaplan 1964: 268, 302), – служит отчасти исследовательской директивой: теория руководит сбором данных и их последующим анализом, показывая нам заранее, куда эти данные подойдут и что мы из них сделаем, когда получим их... Теория функционирует во время исследования,... она руководит поиском данных и поиском охватывающих эти данные законов».

Археологи также отмечают нечто подобное. В их высказываниях отмечается несколько эвристических направлений. Первое – так сказать, внутреннее, в рамках избранной теории. «Главное назначение теоретической модели, – пишет Редмэн (Redman 1973: 20), – это помогать исследователю отбирать значимые переменные и значительные гипотезы из большого числа возможных».

Другое направление – внешнее. Это поиск новых идей, новых теорий. В занятной статье о взаимодействии типичных фигур археологии в формировании всякой новой парадигмы Шварц (Schwartz 1978) выделил фигуру Искателя, который дает начало всей затее, находя новые, неожиданные данные, не подсказанные действующими в это время теориями. Потом результат поступает к главной фигуре – Гению, который предлагает новые идеи, новые объяснения, новую теорию и тем самым приводит в движение всю команду – Систематизатора, Защитников, Добытчиков, Учителей и Эклектиков. Очень славная схема, но начало изображено не совсем удачно.

Никто не может отрицать ценность новых данных, новых фактов, особенно если они неожиданны, но опыт учит, что их значение, по крайней мере в археологии, заключается скорее в проверке старой теории – с тем, чтобы ее поправить, видоизменить, ограничить или даже опровергнуть (кстати, ее противники – не обязательно новаторы, это могут быть и сторонники одной из старых теорий). Да ведь это вполне понятно: такой факт производит негативное воздействие – отрицает, опровергает, отводит, – но сам по себе он не является позитивным вкладом в теорию: он не создает новых идей, не дарует новых объяснений. А новая теория обычно зарождается иначе (теоретический анализ этой проблемы см. в: Клейн 1980). Принципиально новые идеи для новой теории должны прийти со стороны или быть произведены внутри данной дисциплины творческой личностью, способной комбинировать и перерабатывать массу информации – как поступившей извне, так и возникшей внутри дисциплины – тут уж из сопоставления ее существующих теорий.

Присмотримся к примерам, которыми Шварц проиллюстрировал свою фигуру Гения – Тэйлор и Бинфорд. «Льюис Бинфорд – это пример очевидного создателя парадигмы в современной американской археологии. Его работа привлекла многих молодых ученых в такой мере, что они мыслят о себе как о школе «новых археологов». Его роль – стимулировать работы других...» (Schwartz 1978: 158).

Однако в статье Шварца я не нашел конкретного Искателя, который бы поставлял Бинфорду непредсказанные факты с самого начала, и я не нашел там указаний на сами такие факты. Я не нашел их и вне статьи – нигде. Очевидно, их и не было. Более того, оказывается, что Гений был ориентирован изначально, в созидательный период, не на новые факты, а на старые идеи.

«Но сколь новы его идеи? – спрашивает Шварц о Бинфорде. – Они явно были предварены, по крайней мере, Стюардом и Зетцлером (1938), Клакхоном (1948), Стюардом (1949) и Колдуэллом (1958)» (Schwartz 1978: 158). Сам Бинфорд (Binford 1972: 2 – 19) указует на Уолтера Тэйлора, Олберта Сполдинга и Лесли Уайта как на источники инспирации своей новой программы. Можно добавить к списку его инспираторов еще и неопозитивистских философов Гемпеля и Нагеля. Я не хочу этим сказать, что Бинфорд не был самостоятелен или что он не создал ничего нового. Вовсе нет. Я лишь хочу подчеркнуть, что его новые идеи выросли из переработки старых идей, старых теорий.

А если мы обратимся к Уолтеру Тэйлору, то

увидим за ним фигуру его учителя Клайда Клакхона, инспирировавшего создание знаменитой книги Тэйлора, когда она была еще диссертацией... От Тэйлора заимствовали идеи не только «процессуальные» археологи, но и их противники – контекстуалисты (как Чжан Гуанчжи, Триггер), да и новые противники – постпроцессуалисты (как Ходдер).

Дэвид Кларк имел своих инспираторов и учителей в археологии и за ее пределами в лице Чайлда, философа Витгенштейна, в Новой Географии, Порядковой Таксономии, Теории Систем.

Таким образом, в очень большой мере теория порождает теорию.

Новая теория происходит из преобразования старых теорий. Как выразился Стюард (1949: 25), «теории не гибнут, разрушаемые фактами, они сменяются новыми теориями, которые лучше объясняют факты». Это происходит частично путем добавления новых идей из других дисциплин и социальной жизни, а частично – потому что рост самой дисциплины, развитие ее концепций имеет свою логику, так что их последовательность и смена – не просто игра случая. Винкельмановский принцип: «стиль – это эпоха», — перенесенный со скульптуры на формы орудий и оружия, помог прогрессистам осознать сопряженность материала и техники с эпохой (Томсен распределял ведь свои артефакты не просто по материалу!). Эволюционный типологический ряд, положенный на карту, становится диффузией. Марксистское учение о диалектическом скачке осмысливается в приложении к археологии как теория катастроф. Словом, в каждой теории заключено очень много для обусловливания путей к новой теории. Надо лишь знать эти теории и уметь работать с ними.

Об одной из теорий последнего времени Сполдинг (Spaulding 1973: 346) пишет: «Ценность общей теории систем и включенных в нее концепций из кибернетики по сути эвристическая: не открыто великих новых истин, но она на деле может стимулировать археологов исследовать свои данные новыми путями». У Рандсборга это заключение носит более общий характер: он предлагает «продвигаться индуктивно, используя различные теории как указатели возможных дальнейших направлений исследования и формировать не столько догматические статичные рамки..., сколько подходы» (Randsborg 1982: 425).

11. Контрольная функция (10). Однако выдвигать «догматические статичные рамки» – это тоже задача каждой новой теории, и никуда от нее не уйдешь. Дело здесь не столько в создании новой парадигмы для «нормальной» науки по Куну – это скорее следствие других задач. Дело в том, что любой закон науки тем более абсолютен или, если речь идет о вероятностных законах, тем более силен (вероятность тем выше), чем уже ограничена область и сфера его применимости. Законы не только диктуют или (вероятностные) разрешают, но и налагают запреты.

«Ограничительная роль закона, существенно влияющая на его предсказательные функции, в наибольшей мере раскрывается в теории», – пишет философ Виноградов (Попов 1972: 189). – Помимо классов допускаемых явлений, «теория задает также класс запрещаемых явлений... Теория, которая бы ничего не запрещала, ничего не может ни описать, ни предвидеть. Поэтому процесс увеличения принципов запрета в теории связан с расширением класса описываемых, объясняемых и предсказываемых явлений».

Так, прогрессистская теория «трех веков» запретила обнаружение железных предметов в слоях и комплексах с каменными боевыми топорами. Аналогично, если мы встретим бронзовый кинжал в комплексе с кремневыми ручными рубилами, мы отнесем это либо к фальсификации, либо к перекопу. И дело здесь не просто в нарушенной корреляции – мало ли, может быть, мы просто не знали это необычное явление; может быть, оно – редкостное. Суть в том, что теория объясняет, почему это явление невозможно.

Если же все-таки запрещенный факт надежно подтвердился, это основание для пересмотра теории, которая его запрещает – для ее ограничения или отмены. Так, существенно подорвало авторитет эволюционизма подтверждение палеолитического возраста пещерной живописи. Отстаивая очень постепенный прогресс человеческих способностей, эволюционизм запрещал палеолитическую древность пещерной живописи и потому объявлял ее фальсификацией, а она оказалась подлинной. Но пока доверие к данной теории не подорвано, пока ее основания широки и устойчивы, она служит критерием для проверки новых фактов и новых законов.

Итак, теория выступает как критерий научности новых открытий и направлений в археологии. Более того, как бы теории ни противоречили друг другу, они все же образуют некий теоретический фонд в виде вложений из разных теорий в теоретическую картину мира, на соответствие которой мы проверяем новые открытия. В теоретическую картину мира входят только очень устойчивые и очень надежные вклады разных теорий – принципы, понятия, методы проверки. Вот почему мы со спокойной душой отбрасываем все эти свидетельства о снежном человеке, об Атлантиде, о пришельцах и т.д. За этим спокойствием, за этой уверенностью стоит наше знание научной картины мира, пополнение и корректирование которой также входит в контрольную функцию археологической теории.

12. Синтезирующая функция (11). Из философов ее наиболее ясно описал Баженов. Из археологов Радилиловский указал ее, но не раскрыл, как же она выглядит в археологии.

Суть этого феномена заключается в следующем. Всякая теория синтезирует материал – конденсирует эмпирическую информацию и упрощает ее мозаику. Тенденция к принципиальной простоте выражается в том, что теория стремится объяснить как можно более широкий круг явлений из как можно меньшего числа предпосылок. Поэтому всякой теории присуща тенденция к экспансии: теория начинает проникать в сферу компетенции других теорий и дисциплин. Особенно заметно эта тенденция сказывается при возникновении новых теорий: новая должна показать свое преимущество именно в том, что она объясняет и те явления, которые прежняя объяснить не могла.

Но при этом действует и фактор удержания результатов.

Как пишет Регирер (1966: 95), «только на предварительных стадиях одни теории просто отбрасывают, освобождая место другим. Когда теория уже подтверждена многими опытными фактами, обычно ее видоизменяют так, что новая теоретическая концепция включает старую в виде частного случая со всеми ее подтвержденными опытом результатами. Когда в объяснении фактов достигнут уже некоторого успеха, переход к другой теории будет возможен лишь при условии, если число объясненных фактов не убавится, а напротив, увеличится: уже достигнутые объяснения так легко не отбрасываются наукой».

Поэтому меня всегда забавлял тот запал, с которым сторонники и противники миграций или автохтонного развития отстаивали свои объяснения как принцип и начисто отвергали конкурентное объяснение, тогда как надо было лишь определить условия, при которых оказывается актуальным то или иное.

Влияния и заимствования, с одной стороны, и миграции – с другой долго конкурировали друг с другом в качестве объяснений массового появления новых элементов в культуре, хотя с самого начала у некоторых исследователей эти объяснения применялись на выбор как равноценные – оба явления, в сущности, суть разновидности диффузии (поэтому я и рассматриваю диффузионизм как широкую концепцию, объединяющую в себе две ветви – трансмиссионизм, предпочитающий влияния и заимствования, и миграционизм).

Но и диффузия выступает лишь как одно из возможных объяснений смены культур наряду с другими объяснениями – эволюцией, культурной и социальной революцией, воздействием природной среды и проч. Поэтому теории эволюции, диффузии, экологического воздействия, неолитической и городской революций и проч., в сущности, не должны противоречить друг другу и могут рассматриваться как потенциальные части более общей теории смены культур – нужно лишь найти механизм включения этих объяснений как частных случаев в более общую схему объяснения. Мне думается, что идеи теории коммуникации предоставляют такие возможности (Клейн 1975; 1984). В свою очередь, эта теория может рассматриваться как часть более общей теории археологической интерпретации, и т.д. Попытки построить общую, центральную, как выражался Д.Кларк, теорию археологии, теорию общей археологии и т.п., вероятно, окажутся удачными тогда, когда будут осознаны как закономерное выражение синтезирующей функции всякой частной археологической теории и соответствующим образом ориентированы. Это избавит их от схоластичности, которая неизбежна, если они рассматриваются просто как проекция философской концепции на археологию.

13. Осветительная функция (12). Последняя по счету, но не по важности. Никто из приведенных исследователей ее не упоминал – вероятно, потому, что она самая очевидная. Как сказал один ученый (Регирер 1966: 101): «Теория подобна вышке, на которой устанавливают прожектора, освещающие площадку строительного участка».

В самом деле, без теории археолог, сколь бы опытен он ни был, вынужден во всех своих исследовательских операциях либо целиком подчиняться традиции, либо искать методом «тыка» (методом проб и ошибок). Теория, разворачивая перед ним схему соотношений в его материале и схему устройства его собственного инструментария, определяя цели и задачи, освещает ему пути продвижения и участок для работы. Конечно, обе схемы неполны, в чем-то искажают картину. Но из полевого опыта пользования несовершенными картами мы знаем, что лучше такая карта, чем ничего. Тем более, что «ничего» часто на деле означает слепое доверие к неопределенному и случайному путеводителю.

Археолог, вооруженный теорией, способен к сознательному творчеству, к дальнейшему развитию методики, к самостоятельному определению пути.

Как можно воспользоваться теорией в этом плане, показывает пример Мальмера, сумевшего усовершенствовать эволюционно-типологический метод «короля археологии» Монтелиуса.

Монтелиус велик не тем, что увидел эволюцию в типах (тут он не был первым), а тем, что открыл порожденную ею структуру в материале и связанные с этим возможности. Эволюция у него сосредоточилась в типологическом ряде типов, выраженных в типичных артефактах. Но один типологический ряд может быть и

случайным, показывать лишь кажущуюся эволюцию. Монтелиус проверял свои типологические ряды, находя параллельные линии развития – параллельные типологические ряды типичных артефактов и устанавливая между ними сопряженность посредством увязки некоторых звеньев из обеих линий развития замкнутыми комплексами. Эти комплексы скрепляют линии в некоторых местах и подтверждают их параллельность. Таким образом, без надежных замкнутых комплексов эволюционно-типологический метод Монтелиуса не работает. А ведь в археологии частенько встречаются ситуации, в которых надежные замкнутые комплексы отсутствуют.

Разобравшись в теоретической сути типологического метода, Мальмер увидел аналогии между замкнутым комплексом и артефактом – оба состоят из формальных элементов: первый – из вещей, второй – из деталей (или из признаков). Таким образом, он догадался, что в таком исследовании можно подставить на место замкнутого комплекса артефакт, а эволюцию, как сказал бы Рауз, модов (типов деталей) прослеживать вместо эволюции типов артефактов. Нужно лишь позаботиться о том, чтобы детали, выбранные на одном артефакте, были формально взаимонезависимыми. Заменив типичный артефакт типичной деталью, эволюцию типов эволюцией модов, связующие замкнутые комплексы связующими артефактами, Мальмер сохранил параллельность линий и сопряженность. Таким образом, он расширил возможности типологического метода, освободив его от обязательной связи с надежными замкнутыми комплексами.

Заключительные замечания. Археологи с сожалением отмечали существующий разрыв между теорией и практикой в своей науке (см., например, Adams 1988). Предложенное здесь рассмотрение функций археологической теории имеет две цели и, соответственно, два адресата.

Прежде всего, хотелось бы, чтобы оно помогло археологам-практикам увидеть в теории не пустую забаву, не пижонское умничанье, а нечто необходимое всем профессионалам. Я старался показать те направления, на которых практики могут извлечь пользу из теоретических разработок.

С другой стороны, статья написана и для теоретиков. Теоретикам полезно не упускать из виду, для чего вся маета. Наука ведь не сводится к теории, о чем теоретики охотно забывают. Теория проверяется практикой – это значит: реализуется в ней. Теория существует не ради собственного изящества – она должна работать, функционировать, выполнять свои функции. В чем это заключается, я и хотел показать.

ЛИТЕРАТУРА

Антипов Г. А. 1987. Историческое прошлое и пути его познания. Новосибирск, Наука.

Баженов Л. Б. 1973. Строение и функции естественно-научной теории. Синтез современного научного знания. М, Наука: 390 – 420.

Гарден Ж.-К. 1983. Теоретическая археология. М. Прогресс.

Генинг В. Ф. 1983. Предмет и объект в археологии. Киев.

Генинг В. Ф. 1989. Структура археологического познания. Киев.

Григорьев Г. П. 1973. О предмете археологии. // Тезисы докладов Сессии, посвященной итогам полевых археологических исследований 1972 г. в СССР. М.: 41 – 43.

Захарук Ю. Н. 1978. Археология или первобытная археология? (По поводу концепции первобытной археологии А. Н. Рогачева). // КСИА АН СССР, 152: 23 – 30.

Клейн Л. С. 1975. Проблема смены культур в современных археологических теориях. // ВЛУ, 8: 95 – 103.

Клейн Л.С.1976. Археология и преистория в системе И. Рауза. // СА, 1: 306 – 315.

Клейн Л. С. 1977а. Предмет археологии. // Археология Южной Сибири. Кемерово, изд. Кемеровского университета: 3 – 14.

Клейн Л. С. 1977б. Понятие типа в современной археологии. – Типы в культуре. Ленинград, изд. Ленинградского университета: 50 – 74.

Клейн Л. С. 1978а. Археологические источники. Ленинград, изд. Ленинградского университета.

Клейн Л. С. 1978б. Археологическая теория (Проблема статуса и дефиниции). // Проблемы археологии. Л, изд. Ленинградского университета: 8 – 17.

Клейн Л. С. 1980. Структура археологической теории. // Вопросы философии, 2: 99 – 115.

Клейн Л. С. 1981. Проблема смены культур и теория коммуникации. // Количественные методы в гуманитарных науках. Москва, изд. Московского университета: 18 – 23.

Клейн Л. С. 1986. О предмете археологии. // СА, 3: 209 – 219.

Клейн Л. С. 1991а. Археологическая типология. Ленинград, Академия наук СССР.

Клейн Л. С. 1991б. Рассечь кентавра: о соотношениях археологии с историей в советской традиции. // Вестник истории естествознания и техники, 4:3 – 12.

Клейн Л. С. 1997. Культурно-исторический процесс и теория коммуникации. // Грани культуры. Тезисы докладов и выступлений. Санкт-Петербург, б. и.: 107 – 110.

Клейн Л. С., Миняев С. С., Пиотровский Ю. Ю., Хейфец О. И.1970. Дискуссия об археологической культуре в Проблемном археологическом семинаре Ленинградского университета. // СА, 2: 298 – 302.

Колпаков Е. М. 1992. Теория археологической классификации. СПб., б. и.

Кон И. С. 1969. К спорам о логике исторического объяснения (схема Поппера – Гемпеля и ее критики). // Философские проблемы исторической

науки. М, Наука: 263 // 295.
Никитин Е. П. 1966. Метод познания прошлого. // Вопросы философии, 8.
Никитин Е. П. 1970. Объяснение – функция науки. М., Наука.
Овчинников Н. Ф. 1968. Методологическая функция философии в естествознании. // Материалистическая диалектика и методы естественных наук. Отв. ред. Омельяновский М.Э. М, Наука: 9 – 42.
Оноприенко В. И. 1976. Логика процедуры ретросказания в геологии. // Методология геологических исследований. Владивосток, Дальневосточный научный центр АН СССР: 154 – 167.
Печенкин А. А. 1972. Функции научной теории. // Философия. Методология. Наука. М, Наука: 202 – 218.
Попов П. В. (отв. ред.).1972. Методологические основы научного познания. М, Высшая школа.
Равдоникас В. И. 1930. За марксистскую историю материальной культуры (Известия ГАИМК, т.7, вып.III – IV). Ленинград.
Радилиловский В. В. 1985. К вопросу о построении научной теории в археологии. // Проблемы реконструкции в археологии. Новосибирск, Наука:16 – 23.
Ракитов А. И. 1982. Историческое познание. М, Политиздат.
Регирер Е. И. 1966. О профессии исследователя в точных науках. М, Наука.
Рогачев А. Н. 1975. О предмете и методе первобытной археологии. // Предмет и объект археологии и вопросы методики археологических исследований. Ленинград, Академия наук СССР: 11 – 14.
Рогачев А. Н. 1978. О предмете и методе первобытной археологии. // КСИА АН СССР, 52: 17 – 23.
Рузавин Г. И. 1978. Научная теория. Логико-методологический анализ. М, Мысль.
Рыбаков Б. А. 1967. Археология. // Октябрь и научный прогресс. Кн.2: М.
Adams W. Y. 1988. Archaeological classification: theory versys practice. // Antiquity 62: 40 – 56.
Ascher R. 1961. Analogy in archaeological interpretation. // Southwestern Journal of Anthropology, vol. 17: 317 – 325 (repr. in: Deetz J. (ed.). Man's imprint from the past. Boston, Little, Brown and Co: 262 – 271).
Binford L. R. 1964. A consideration of research design. // American Antiquity 29: 425 – 441.
Binford L. R. 1968. An archaeological perspective. // S. R. and L. R. Binford (eds.). New perspectives in archaeology. Chicago, Aldine: 5 – 32
Binford L. R. 1972. An archaeological perspective. New York and London, Seminar Press.
Binford L. R. 1982. Objectivity – explanation – archaeology 1981. // Renfrew A. C. et al. (eds.). Theory and explanation in archaeology. New York, John Wiley & Sons: 125 – 138.
Binford L. R. 1983. In pursuit of the past. Decoding the archaeological record. London, Thames and Hudson.
Caws P. 1965. The philosophy of science. Princeton.
Chang K. C. 1967. Rethinking archaeology. New York, Random House.
Cherry J. F., Gamble C., and Shennan S. 1978 (eds.). Sampling in contemporary British archaeology. Oxford, BAR (Brit. Ser. 50).
Childe V. G. 1957. Piecing together the past. London, Routledge and Kegan Paul.
Clarke D. L. 1968. Analytical archaeology. London, Mouton.
Clarke D.L. 1970. Analytical archaeology: Epilogue. // Norwegian Archaeological Review' 3: 25 – 34.
Desayes J. et Gardin J.-C. 1956. Le fichier mécanographique de l'outillage: outils du Bronze de Balkans a l'Indus. Beyrouth, Institut français d'archéologie.
Dray W. 1957. Laws and explanation in history. London, Oxford University Press.
Dymond D. P. 1974. Archaeology and history. A plea for reconciliation. London, Thamse and Hudson.
Eggert M. K. H. 1982. Comment I: On form and content. // Renfrew C. et al. Theory and explanation in archaeology. New York et al. Academic Press:139–146.
Fritz J. M. and Plog F. T. 1970. The nature of archaeological explanation. // American Antiquity 35: 405 – 412.
Gardin J.-C. 1963. Problémes d'analyse descriptive en archéologie. // Courbin P. (ed.). Études archéologiques. Paris, SEVPEN: 133 – 155.
Hawkes C.F.C. 1954. Archaeological theory and method: some suggestions from the Old World. // American Anthropologist 56: 155 – 168.
Hempel K. G. 1965. Aspects of scientific explanation. New York, The Free Press.
Hensel W. 1971. Archeologia a prahistoria. Wrocław, Ossolineum.
Hill J. N. and Evans R. K. 1973. A model for classification and typology. // Clarke D. L. (ed.). Models in archaeology. London, Methuen: 231 – 273.
Isaac G. Ll. 1979. The philosophy of archaeology. // Clarke D.L. Analytical archaeologist. Collected papers. London – New York – San Francisko, Academic Press: 15 – 20.
Kaplan A. 1964.The conduct of inquiry. San Francisco, Chandler.
Klejn L. S. 1973. Marxism, the Systemic approach and archaeology. // Renfrew C. (ed.). The explanation of culture change: models in prehistory. London, Duckworth: 691 – 710.
Klejn L.S. 1982. Archaeological typology. Oxford, BAR, Intern. ser., 157.
Klejn L. S. 1993. To separate a centaur: On the relationship of archaeology and history in Soviet tradition. // Antiquity 67 (255): 339 – 348.
Kluckhohn C. 1960. The use of typology in anthropological theory. // Wallace A. F. C. (ed.). Selected Papers of the Fifth International Congress of Anthropological and Ethnological Sciences,1956. Philadelphia, University of Pennsylvania Press: 141 – 151.
Kubler G. 1961. Rival approaches to American antiquity. // Three regions of Primitive art. New York, The Museum of Primitive art.
Levin M. 1973. On explanation in archaeology: A rebuttal to Fritz and Plog. // American Antiquity, 38: 387 – 395.
Mellor D. H. 1982. Probabilities for explanation. // Renfrew C. et al.(ed.). Theory and explanation in archaeology. New York et al., Academic Press: 57–63.
Morgan C. G. 1973. Archaeology and explanation. // World Archaeology, 4: 259 – 276.
Morwood M. J.1975. Analogy and the acceptance of theory in archaeology. // American Antiquity, 40: 111 – 116.
Mueller J. W. (ed.). 1975. Sampling in archaeology. Tucson, University of Arizona Press.
Myhre B. 1991. Theory in Scandinavian archaeology since 1960: A view from Norway. // Hodder I. (ed.).

Archaeological theory in Europe. The last 3 decades. London and New York, Routledge: 161–181.

Popper K. 1965. The logic of scientific discovery. New York, Harper torchbooks.

Randsborg K. Theoretical approaches to social change: An archaeological viewpoint. // Renfrew C. et al. (eds.). Theory and explanation in archaeology. New York et al., Academic Press: 423 – 430.

Redman Ch. L. 1973. Research and theory in current archeology: An introduction. // Redman Ch. L. (ed.). Research and theory in current archeology. New York et al., John Wiley: 5 – 20.

Rouse I. B. 1972. Introduction to prehistory. New York, McGraw Hill.

Salmon M. H. 1982. Models of explanation: Two views. // Renfrew C. et al.(eds.). Theory and explanation in archaeology. New York et al., Academic Press: 35–44.

Salmon W.C. 1982. Causality in archaeological explanation. // Renfrew C. et al.(eds.). Theory and explanation in archaeology. New York et al., Academic Press: 45 – 55.

Schuyler R.S. 1973. Review of Watson et al. // American Antiquity, 38: 372 – 374.

Schwartz D.W. 1978. A conceptual framework for the sociology of archaeology. // Dunnel R. C., Hall E. S. (eds.). Archaeological essays in honor of Irving B. Rouse. The Hague et al., Mouton: 149 – 176.

Smith B. D. 1982. Explanation in archaeology. // Renfrew C. et al. (eds.). Theory and explanation in archaeology. New York et al., Academic Press: 73 – 82.

Smolla G. 1964. Analogien und Polaritäten. // Uslar R. v. und Narr K. J. (Hrsg.). Studien aus Alteuropa. Bd.I. (Beih. d. Bonner Jahrbücher, 10/1). Köln – Graz: 30 – 35.

Spaulding A. C. 1968. Explanation in Archaeology. // Binford S. R. and Binford L. R. (eds.). New perspectives in archaeology. New York et al., Academic Press: 33 – 40.

Spaulding A. C. 1973. Archeology in the active voice: the New Anthropology. // Redman Ch. L.(ed.). Research and theory in current archeology. New York et al., John Wiley: 337 – 354.

Steward J. H. 1949. Cultural causality and law: A trial formulation of the development of early civilisation. // American Anthropologist 51: 1 – 27.

Taylor W. W. 1948. A study of archaeology. Menasha (American Anthropological Association Memoir 69)

Trigger B. G. 1970. Aims in prehistoric archaeology. // Antiquity, vol.44 (173): 26 – 37.

Trigger B. G. 1973. The future of archaeology is the past. // Redman Ch.L. (ed.). Research and theory in current archeology. New York et al., John Wiley: 95 – 111.

Trigger B. G. 1982. Archaeological analysis and concepts of causality. // Culture II (2): 31 – 42.

Trudzik Z. 1965. Zrodla archeologiczne na tle problematyki kultury. // Archeologia Polski, 10 (1): 42 – 47.

Trudzik Z. 1971. O przedmiocie archeologii i jej procesie badawczym. // Acta universitatis Wratislaviensis, Studia Archeologiczne. Wrocław, 4: 5 – 56.

Urbanczyk P. 1981. Archeologia wspólczesnosci. // Archeologia Polski 26 (1): 49 – 63.

Watson P. J., LeBlanc S. A., Redman C. L. 1971. Explanation in archaeology: An explicitly scientific approach. New York and London, Columbia University Press.

Zetterberg H. 1965. On theory and verification in sociology. Totawa, N. Y.

Zubrow E. 1973. Adequacy criteria and prediction in archaeological models. // Redman Ch. L. (ed.). Research and theory in current archeology. New York et al., John Wiley: 239 – 255.

Żak J. 1968. Archeologia w systemie nauk historycznych. // Archeologia Polski, 13 (2): 455 – 473.

МОНОГРАФИЯ В ЖУРНАЛЕ

Марченко К.К., Доманский Я.В.

ДВА ПОСЕЛЕНИЯ НИЖНЕГО ПОБУЖЬЯ АРХАИЧЕСКОГО ВРЕМЕНИ

(Опыт сравнительной характеристики материальной культуры памятников).

Светлой памяти Елены Ивановны Леви и Александра Николаевича Карасева (Карасям) посвящается.

Marchenko C.C., Domansky J.V. Two settlements of Low Bug area of the archaic time (The experience of the comparative characteristics of the material culture of monuments).

In the article the sphere of the material culture of two antique agricultural settlements of Low Bug area of the second half of VI – first quarter of V c.B.C. – Old Bogdanovka 2 and Kutsurub 1 is compared. The result of such comparison is the acknowledgement of a number of exiting differences including: in the field of goods – money relations with the local Greek centers Olbia and Berezani (Borysthenes) in quality, quantity and structure of the import, but mainly in nomenclature and specific gravity of aboriginal (is made by hand without using potter's wheel) ceramics, in the character of inner planning, in way and pace of development of building matter.

All these disparities are treated as evidence of serious cultural and ethnic differences of dwellers of the settlements. A conclusion is made that the settlement Kutsurub 1 had a more barbarian and at the same time homogeneous, in comparison with Old Bogdanovka 2, population structure, who mainly came into the Low Bug area from the region of Carpathian-Danube basin. This is mostly the reason for a weaker economic and cultural relations of this settlement with Olbia and Borysthenes in the late archaic time.

Введение

Успешное развитие в последние десятилетия археологических изысканий в Нижнем Побужье, проводимых периферийными отрядами Ольвийской экспедиции ИА НАН Украины (ранее — ИА АН УССР) и Нижнебугской экспедицией ИИМК РАН (ранее — ЛОИА АН СССР), привело к накоплению нового, обширного и разнообразного материала, убедительно характеризующего самые различные стороны истории населения этого интереснейшего района Северо-Западного Причерноморья античной эпохи. Особые успехи исследований во второй половине 1970-х — 1980-х гг. пришлись на долю наиболее ранних, архаических, памятников. По существу, впервые в археологической практике антиковедения появилась возможность представить в целом облик отдельных рядовых сельскохозяйственных поселений, располагавшихся в непосредственной близости от древнегреческих апойкий Северного Причерноморья.

Следует сразу же отметить, что сходство исторических судеб подавляющего большинства такого рода поселений и, прежде всего, поселений архаического времени, территориальная, культурная и хозяйственная связи последних с античной колонией на о.Березань (Борисфен) и Ольвией породили весьма распространенное мнение об «абсолютном доминировании эллинских элементов в составе их жителей» (Крыжицкий, Бураков, Буйских, Отрешко, Рубан 1980), «естественным» образом уживающееся ныне даже с признанием некоторой этнической гетерогенности населения Нижнего Побужья (Ср.: Крыжицкий, Буйских, Бураков, Отрешко 1989: 90, 94). С этой точки зрения практически все из так или иначе фиксируемых различий между отдельными памятниками середины VI — первой трети V вв. до н.э. до сих пор объясняются, как правило, либо недостаточным уровнем их изученности, либо функциональными и хронологическими отличиями, либо, наконец, степенью удаленности от греческих центров района, т.е. от Березани и Ольвии, и даже просто случайными отклонениями от среднестатистической картины.

Не отвергая методической оправданности такого подхода, особенно в период начального накопления информации, необходимо заметить все же, что его абсолютизация представляется пока, по меньшей мере, преждевременной, поскольку в настоящее время начинают вырисовываться целые комплексы, имеющие не только большое число количе-

© Марченко К.К., Доманский Я.В., 1999.

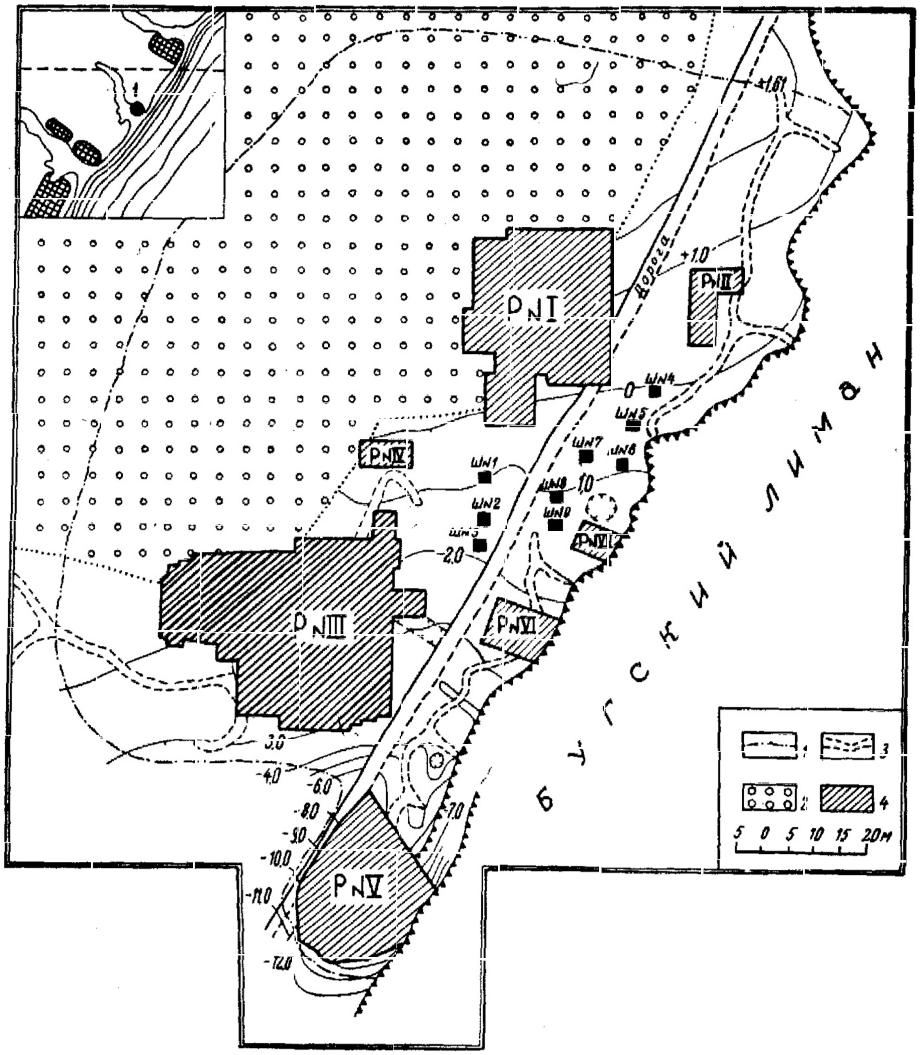


Рис. 1. Поселение Старая Богдановка 2. План: 1 - *граница поселения,* 2 - *виноградник,* 3 - *окопы военного времени,* 4 - *раскопы.*

ственных, но и значительные качественные (культурные) различия. К разряду таких комплексов, на наш взгляд, принадлежат два поселения сельскохозяйственной округи Ольвии, раскопанные Нижнебугской античной экспедицией ЛОИА АН СССР — Старая Богдановка 2 и Куцуруб 1. Примерно одинаковая удаленность указанных памятников от эллинских центров района, близость размеров, сходство мест расположения, датировок, исторических судеб и объемов изученности — все это заставляет предполагать априорно, как будто, и весьма близкий, если не тождественный, облик их материальной культуры. Фактически же дело обстоит иначе.

На поверку оказывается, что практически единственным действительно общим элементом материальной культуры, прочно связанным с бытом жителей этих поселений, являлась греческая кружальная керамика, представленная почти теми же группами и категориями, что и соответствующие материалы Березани и Ольвии. Разумеется, и в данном случае имеются количественные и, естественно, качественные расхождения, однако все они могут быть легко отнесены за счет несоответствий в жизненном (экономическом) уровне населения и степени развития торговых связей.

Что же касается общности всех остальных элементов материальной культуры этих же памятников, то она явно сомнительна даже в первом приближении.

Именно это последнее обстоятельство придает особый интерес публикуемым ниже наблюдениям и материалам, имеющим, с нашей точки зрения, прямое и самое непосредственное отношение к одной из основных и до сих пор весьма спорных проблем раннего железного века Северного Причерноморья — проблеме взаимодействий греческих колонистов с окружавшим их аборигенным миром.

Глава 1.
Античное поселение Старая Богдановка 2

Раздел 1. Строительные комплексы

Одним из памятников Нижнего Побужья архаического времени, облик материальной культуры которого может быть представлен в настоящее время с достаточной полнотой и определенностью, является, несомненно, поселение, получившее название Старая Богдановка 2 (Крыжицкий, Бураков, Буйских, Отрешко, Рубан 1980: карта, № 92). Памятник был открыт сотрудником Николаевского краеведческого музея В.В.Рубаном, который в 1974 г. и заложил здесь два первых квадрата (Доманский, Марченко, Рубан 1975). С 1976 по 1979 и с 1981 по 1983 гг. поселение изучалось Нижнебугской античной экспедицией ЛОИА АН СССР (Марченко, Доманский 1981: 63-74; они же 1983: 56-72; они же 1986: 48-60; они же 1991: 57-76; Марченко, Головачева 1985: 34 сл.; Марченко 1985: 312-313). В результате этих работ на памятнике раскрыта площадь, равная 2900 кв. м. Расположение отдельных раскопов и шурфов относительно друг друга, характер выявленной на их территории древней застройки и культурного слоя, уровень сохранности поселения в целом дают возможность считать полевые исследования в основном завершенными.

Поселение Старая Богдановка 2 находится в 14,5 км к северу от ольвийского городища, между современными селами Козырка и Старая Богдановка, на границе Николаевского и Очаковского районов Николаевской области Украины. Территория памятника занимает мыс, образованный северным склоном так на-

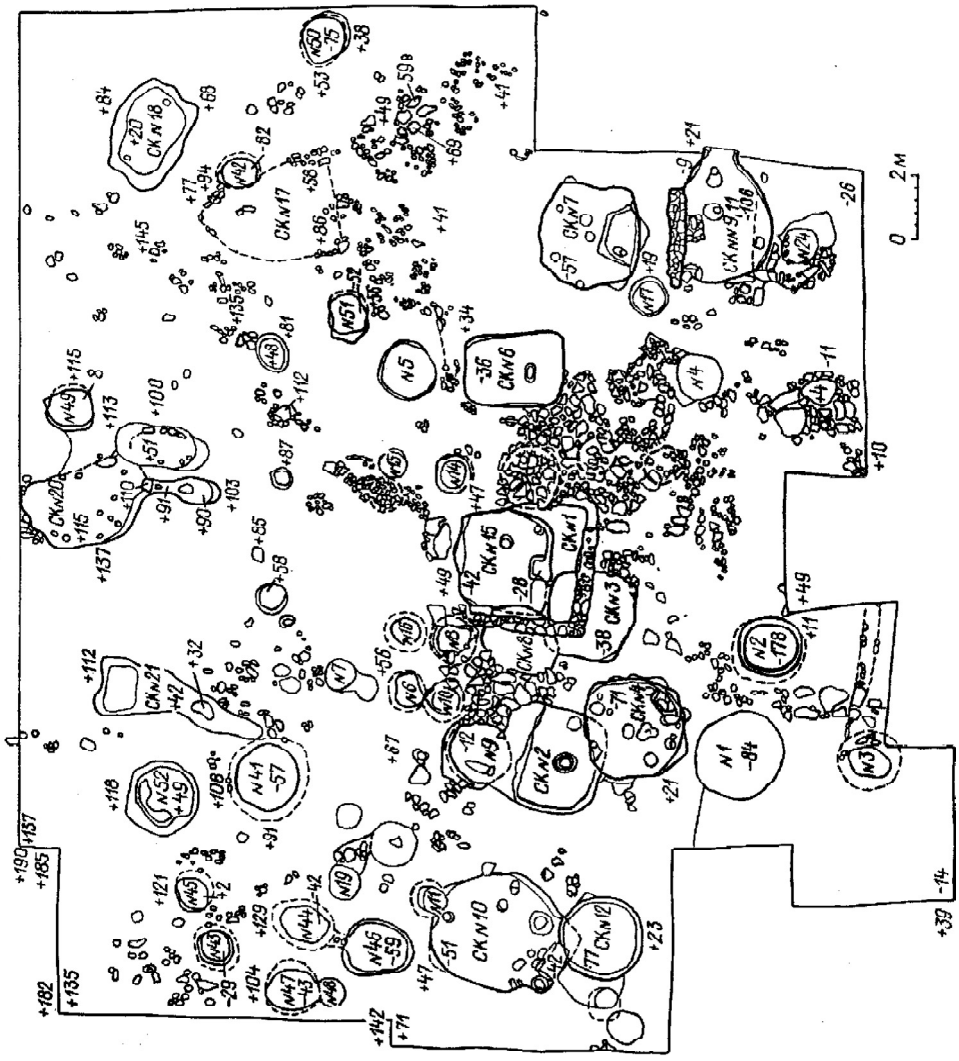


Рис. 2. Поселение Старая Богдановка 2. Раскоп 1. План.

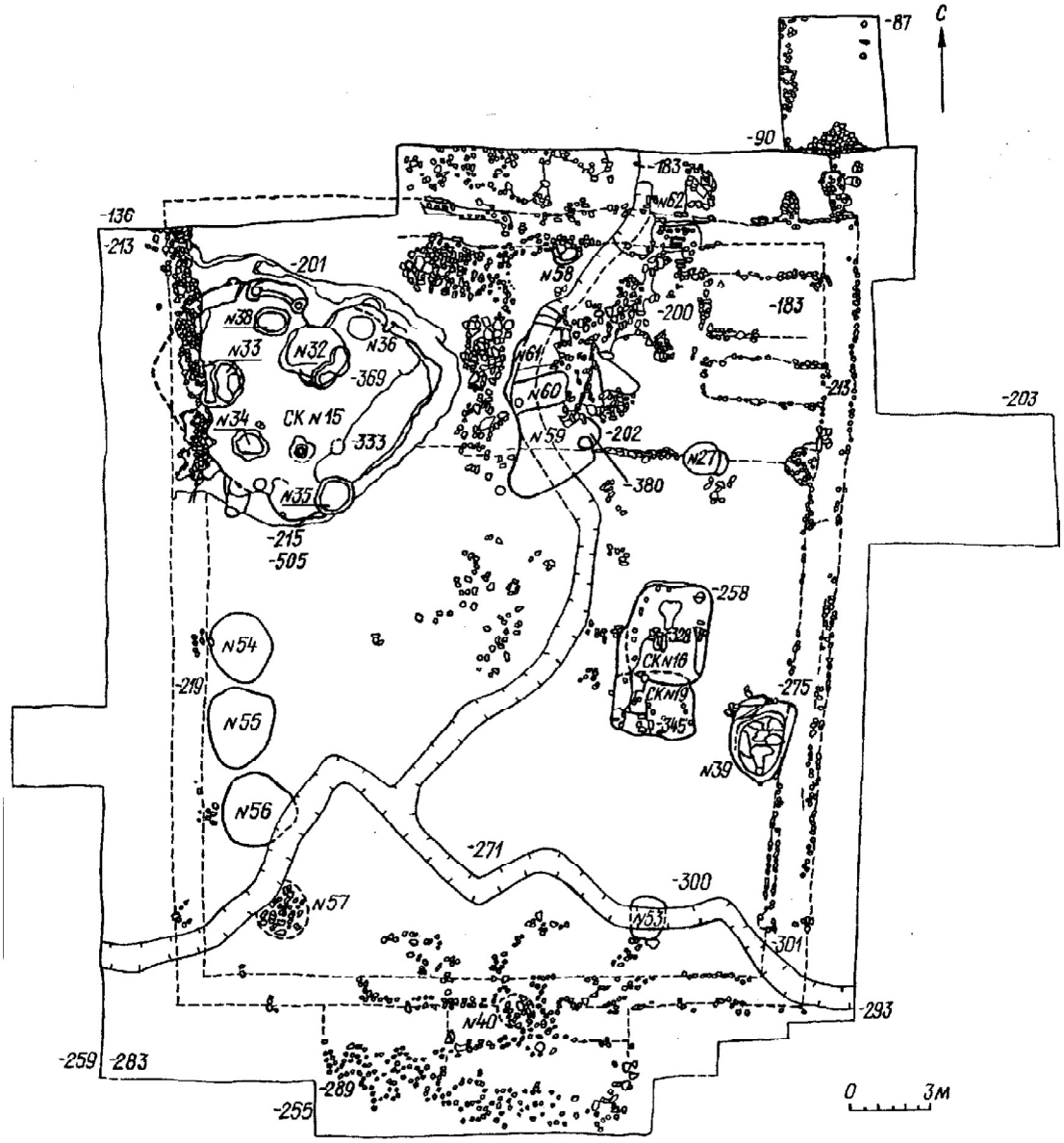


Рис. 3. Поселение Старая Богдановка 2. Раскоп III. План.

зываемой «Крутой балки», несомненно, древнего происхождения, и высоким, быстро разрушающимся берегом Бугского лимана (Рис.1). Примерно две трети территории поселения ныне занято общественным виноградником, что несколько затрудняет точное определение его истинно сохранившейся площади. Тем не менее, можно думать, что она не превышает 1,2 га.

Виноградник является практически непреодолимым препятствием на пути дальнейших раскопок поселения. Более того, даже в будущем он делает дальнейшие исследования весьма проблематичными, поскольку следует думать, что практически все наземные и слабо заглубленные в материк постройки в пределах зоны плантажной вспашки были полностью уничтожены. Но и это еще не все. Культурные напластования памятника оказались во многих местах серьезно нарушенными современными работами и окопами военного времени и за пределами территории виноградника, особенно в северо-восточной, прибрежной части.

Тем не менее, в результате многолетних раскопочных сезонов стратиграфия памятника предстает перед нами с достаточной полнотой. Расположение поселения на склоне древней балки привело со временем к значительному смыву верхней части культурного слоя, особенно ощутимому на его южной окраине, где мощность культурных напластований за пределами углублений в материке теперь не превышает 0,1-0,2 м (без учета дерна). Мощность же слоя в наиболее удаленном от балки районе

Рис. 4. Поселение Старая Богдановка 2. Строительные комплексы № 1, 3, 5, 8.

— северо-западном — существенно больше: от 0,4 до 0,6 м. Повсеместно под дерном (его мощность до 0,25 м) залегал плотный сероглинистый слой с примесью древесной золы, содержавший остатки строительной и хозяйственной деятельности людей: каменные кладки, развалы сырца и камней, обломки керамики, кости животных, рыб и т.д. Культурный слой всюду подстилался стерильным светло-желтым или красноватым лессовидным суглинком плейстоценового времени.

На основании датировок греческой импортной керамики, обнаруженной в культурных напластованиях и строительных комплексах памятника, основной период жизнедеятельности Старой Богдановки 2 падает на последнюю треть VI — первую четверть V вв. до н.э. Именно к этому времени относятся остатки 23 жилых, хозяйственных и общественных сооружений и целая серия ям различного назначения (всего 61 единица), открытые в пределах раскопов I-V (Рис. 2-4). Помимо этого, в 1983 году были выявлены остатки еще одного строительного комплекса — № 24, но уже несколько более позднего периода — последней трети V-начала IV вв. до н.э. К этому же позднему периоду могут быть отнесены две хозяйственные ямы, обнаруженные в непосредственной близости от юго-западного угла строительного комплекса № 24 (Марченко 1985: 312-313). Необходимо заметить, впрочем, что каких-либо заметных примесей вещественного материала последней трети V — начала IV вв. до н.э. в культурном слое поселения не зафиксировано, что, наряду с относительной малочисленностью, лучше сказать – «уникальностью», таких строительных и хозяйственных комплексов, определенно указывает на крайне ограниченные масштабы жизнедеятельности на территории Старой Богдановки 2 этого времени. Данное обстоятельство, с нашей точки зрения, позволяет считать описываемый памятник Нижнего Побужья практически однослойным.

Вместе с тем, количество открытых строительных комплексов позднеархаического времени, составляющих нашу выборку, их расположение на площади поселения и относительно друг друга, дает вполне серьезные основания полагать ее репрезентативной, т.е. достаточно полно характеризующей основные наиболее распространенные типы строений. Значительность же полностью исследованной площади (около одной четверти всей сохранившейся территории) дает возможность более или менее объективной реконструкции планировочной структуры памятника.

В конструктивном отношении строительные комплексы Старой Богдановки 2 позднеархаического времени могут быть разделены на три категории: сильно заглубленные в материковый суглинок структуры — землянки, наземные строения и постройки смешанного облика, т.е. состоявшие одновременно из двух частей — наземной и сильно заглубленной в материк. Впрочем, к третьей категории строительных комплексов памятника ныне вполне можно отнести лишь одно сооружение оригинальной конструкции — № 23.

Большинство строительных комплексов позднеархаического времени — землянки (15

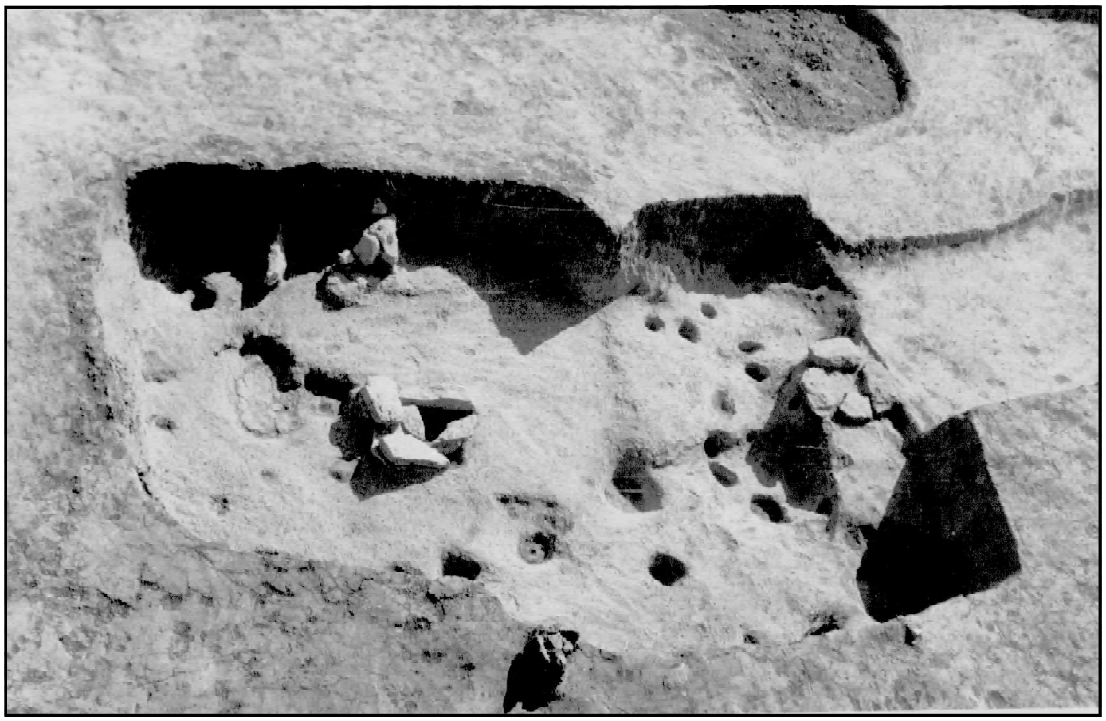


Рис. 5. Поселение Старая Богдановка 2. Строительные комплексы № 16 и 19.

единиц). К сожалению, их наземные части (стены, перекрытия) совершенно не сохранились. Единственная возможность членения выборки — форма. По этому признаку землянки Старой Богдановки 2 можно разделить на три типа: четырехугольные, круглые и овальные.

Наиболее многочисленны четырехугольные в плане структуры с округленными углами. Их десять. Девять из них (№ 2, 3, 5, 6, 7, 10, 16, 18, 19) — относительно небольшие однокамерные сооружения площадью от 7 до 13 кв. м. (Рис. 5). Все они впущены в материк с уровня древней дневной поверхности на глубину от 0,7 до 1,2 м. Борта котлованов ровные, почти вертикальные, без видимых следов специальной обмазки и т.п. Пол у всех землянок такого рода материковый, иногда со следами утоптанности и глиняной промазки. Помимо этих общих признаков, четырехугольные в плане комплексы объединяет отсутствие в них каких-либо остатков постоянных печей или очагов.

В восьми землянках этого типа обнаружены следы внутренних конструкций, хозяйственные и бытовые углубления и детали интерьера в виде небольших конических ямок от опорных столбов, поддерживавших ранее кровлю, разного рода ям, каменных выкладок, материковых возвышений-останцов и сооружений из сырца, позволяющих высказать ряд дополнительных замечаний о характере этой группы сооружений.

Эти наблюдения дают возможность предполагать, что большинство землянок — шесть — имело центральный опорный столб. В землянке № 16 основание такого столба было укреплено камнями. В ряде случаев центральный опорный столб сочетался, по всей видимости, еще с несколькими дополнительными, располагавшимися либо по периметру котлована, либо в его различных частях.

В четырех землянках этого типа выявлены остатки «столиков» — четырехугольных материковых останцов, находившихся у южного борта котлованов строительных комплексов № 5, 10, 19, и одного четырехугольного же каменного сооружения — у восточного борта котлована строительного комплекса № 16. «Столики» имели сравнительно небольшие размеры: в пределах 1,0 × 0,5 × 0,3 м — высота. При этом отмечены следующие детали. В землянке № 10 «столик» в древности был обложен деревянными плахами и сырцовыми кирпичами. В другом комплексе — № 19 — в восточной части материкового останца располагалась крестообразная выкладка из четырех плоских камней известняка. По боковым (узким) сторонам «столиков» находились округлые углубления, явно с ними функционально связанные. В некоторых случаях в углублениях фиксировались фрагменты сосудов. В землянке № 10, в углублении в полу, к западу от «столика», in situ обнаружен целый лепной горшок. У южного борта землянки № 7 зафиксировано четырехугольное углубление в полу, как бы негативно повторяющее описанные выше «столики».

Среди четырехугольных в плане землянок Старой Богдановки 2 несколько нестандартным обликом выделяется строительный комплекс № 2. Его северную часть занимает материковый уступ высотой около 0,3 м (при шири-

не 0,8 м), возможно, использовавшийся в качестве своего рода «лежанки». Почти в центре котлована этого сооружения, на материковом полу, находилось невысокое (0,08 м) «кольцо» из сырца диаметром 0,55 м и шириной бортика 0,1 м. «Кольцо» было заполнено древесной золой с мелкими обломками керамики и костями животных и, возможно, служило домашним алтарем.

Обращает на себя внимание своими необычно крупными размерами десятая и последняя землянка этого типа — № 15 (Рис. 6). Сохранность этого комплекса, к сожалению, крайне плохая. Данное обстоятельство серьезно затрудняет его описание. Все же нет никаких сомнений в том, что комплекс — остатки самой большой из до сих пор известных в Нижнем Побужье позднеархаического времени, четырехугольной в плане землянки, ориентированной своими скругленными углами по странам света. Восстанавливаемая длина сторон — 8,0 м и 8,5 м, внутренняя полезная площадь — около 84,0 м. Котлован впущен в материк с уровня погребенной почвы на глубину до 1,5 м. Пол — плотный материковый суглинок — местами сохранил следы тонкой глиняной промазки. Вдоль юго-восточного борта котлована находилось невысокое (0,15 м) материковое возвышение шириной в 1,5 м. В полу обнаружено семь неглубоких, главным образом, овальных ям, вероятно, хозяйственного назначения, и пять небольших конусовидных ямок, скорее всего, от опорных столбов, поддерживавших в древности перекрытие. Взаимное расположение последних, к сожалению, не позволяет ныне достаточно обоснованно реконструировать тип кровли этого объекта.

Ко второму типу землянок позднеархаического времени относятся всего лишь две круглые в плане постройки — строительные комплексы № 4 и 12. Естественно, что столь малое количество круглых структур в нашей выборке не позволяет дать этому типу столь же развернутое описание, как и предыдущему. Следует думать также, что такого рода построек на поселении было вообще сравнительно немного. Впрочем, что касается характеристики типа, то создается впечатление, что по общему облику, характеру заглубленности, виду бортов и конструктивным деталям эти землянки вполне близки четырехугольным в плане сооружениям. Землянка № 12 (площадь 5,5 кв. м, глубина котлована 1,1 м) оказалась лишенной остатков внутренних конструкций. Но в землянке № 4 (площадь 8,0 кв. м, глубина котлована 0,9 м) такие следы были обнаружены: у ее южного борта на материковом полу находилась невысокая (0,1 м) подчетырехугольная загородка из сырца (длина около 1,0 м, ширина стенки загородки 0,1 м). В полу — в центре и у бортов котлована — имелся ряд небольших конусовидных ямок, очевидно, от столбов, поддерживавших шатровую кровлю постройки.

Третьему типу землянок поселения Старая Богдановка 2 позднеархаического времени принадлежат овальные в плане сооружения, занимающие как бы промежуточное положение между четырехугольными и круглыми постройками. Их, по всей видимости, также две — № 8 и 11, что также явно указывает на относительную малочисленность такого рода построек среди сильно заглубленных в землю струк-

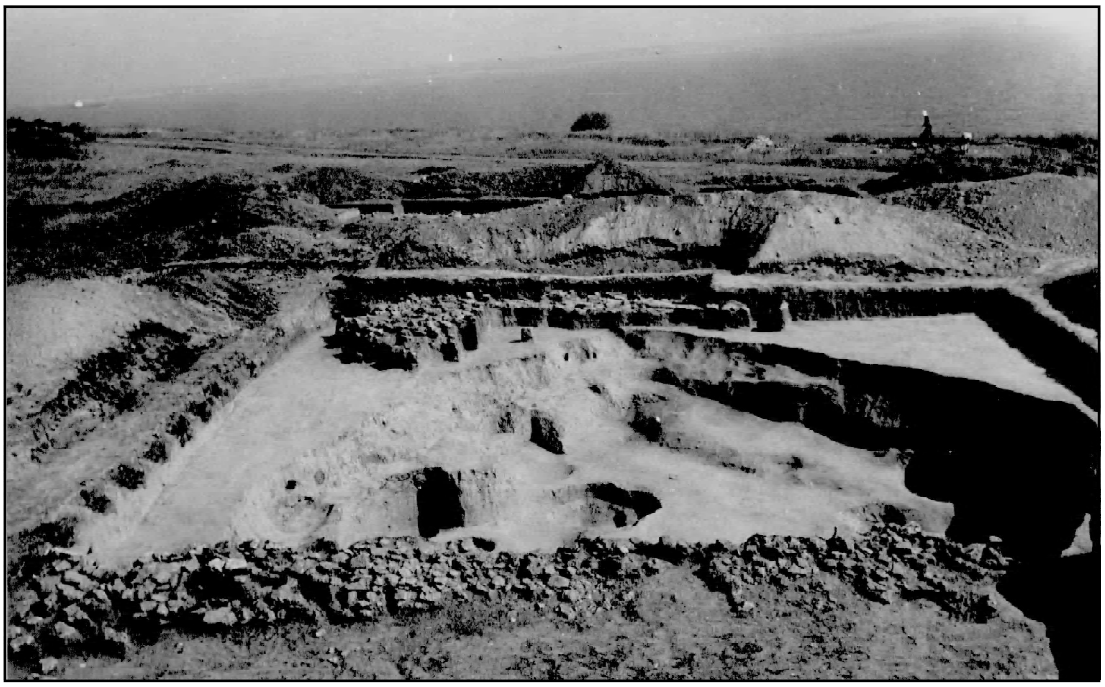


Рис. 6. Поселение Старая Богдановка 2. Строительный комплекс № 15.

Рис. 7. Поселение Старая Богдановка 2. Строительный комплекс № 14.

тур. Следы конструктивных деталей обнаружены лишь в одной из них — № 11. Это — три небольшие конусовидные ямки от опорных столбов перекрытия.

К структурам земляночного вида позднеархаического времени поселения примыкает и сооружение в виде небольшой траншеи подтреугольной в плане формы — строительный комплекс № 21 (Рис. 2). Его единичность в выборке, необычность формы для жилых и хозяйственных построек всего района Нижнего Побужья VI — первой трети V вв. до н.э., наконец, отсутствие конструктивных деталей и их следов в котловане не позволяет в настоящее время ни причислить эту структуру к описанным типам землянок, ни выделить ее в четвертый тип.

Категория наземных строений позднеархаического времени поселения включает семь комплексов, которые условно можно разделить на два типа: прямоугольные и круглые в плане сооружения.

К первому типу такого рода строений относятся шесть комплексов (№ 1, 9, 13, 14, 17 и, возможно, 22). Два из них (№ 1, 9) представляют собой небольшие постройки (площадь 16 и 9 кв. м соответственно), со слегка заглубленным относительно древней дневной поверхности (на 0,3-0,4 м) глинобитным полом. В строительном комплексе № 1 полностью оплывшие сырцовые стены на западной и южной сторонах неглубокого котлована были возведены на цоколях, выложенных из небольших уплощенных камней известняка в системе однорядной постелистой одно-, двух- и трехслойной кладки на два лица (Рис. 4). Ширина кладки 0,5 м, высота — около 0,3 м. Подобная же кладка образовывала и цоколь северной стены строительного комплекса № 9. На других сторонах названных строений каких-либо заметных остатков или даже просто следов каменных цоколей стен не обнаружено.

В строительном комплексе № 9, на полу у внутреннего фаса каменного цоколя, находились остатки каменного сооружения в виде столика (0,6 × 0,9 м), весьма схожего по своему внешнему виду со «столиками» землянок поселения. Здесь же в углу была выявлена небольшая загородка из поставленных на ребро двух плоских плит известняка.

Четыре наземные строения нашей выборки характеризуются отсутствием какой-либо заглубленности. Два из них (№ 13 и 17) — однодвухкамерные, небольшие по площади (7,0 — 9,0 кв. м), с каменными цоколями сырцовых стен. Судя по наиболее сохранившимся остаткам северной стены постройки № 13, цоколь, по крайней мере, некоторых из них образовывали два параллельных орфостатных ряда небольших уплощенных камней известняка. Таким же, может быть, являлся и крайне плохо дошедший до наших дней строительный комплекс № 22.

Совершенно исключительное место в этом ряду комплексов, да и вообще среди построек Нижнего Побужья архаического времени, занимает большое наземное сооружение с развитой внутренней планировкой — № 14 (Рис.7). Уникальность данного сооружения, его относительная сложность заставляют остановиться на его описании подробнее.

Остатки строительного комплекса № 14 открыты у южной границы поселения, на выступе, образованном изгибом древней глубокой балки и высоким абразионным берегом лимана, непосредственно к западу от невысокого приустьевого гребня, отделенного от места расположения описываемого сооружения древним эрозионным понижением. Объект раскрыт

полностью. Сохранность остатков комплекса в силу незначительной мощности — местами до 0,1 м — культурного слоя, частично смытого в балку, современной распашки его северо-западной трети и прохождения на этом участке поселения траншей военного времени, плохая. Вместе с тем, совокупность наблюдений не оставляет сомнений в том, что названное наземное строение имело форму, близкую правильному или даже правильного четырехугольника, восточная и западная стены которого равнялись 30 м. Протяженность северной и южной сторон, по-видимому, несколько меньше — 24-25 м. Общая площадь строительного комплекса № 14, таким образом, должна была составлять около 750 кв. м, а с прямоугольной пристройкой с юга (см. ниже) — примерно 795 кв. м.

Существенно подчеркнуть, что данный объект был возведен на погребенной почве, лежавшей на материке, и на площади предварительно забутованных рушенным материком, хозяйственным мусором и камнями жилых и хозяйственных построек более раннего строительного периода — комплексах № 15, 16, 19 и ямах № 27, 39, 40, 53-61 (Рис. 3).

От практически полностью расплывшихся в культурном слое внешних глинобитных стен строения — следы глины зафиксированы только по линии северной границы строения — дошли лишь сильно потревоженные участки каменных цоколей и их развалы. Впрочем, сохранность отдельных участков цоколей северной, южной и особенно восточной стен достаточна для восстановления всех их основных характеристик. Как установлено, ширина названных стен комплекса весьма значительна — 1,2 м. Они были возведены на двух параллельных цоколях (ширина каждого около 0,2 м) из небольших (от 0,05 × 0,1 м до 0,2 × 0,3 м) уплощенных камней известняка, поставленных орфостатно (Рис. 8). Впрочем, на некоторых участках внешних стен, в местах нахождения предварительно забутованных ям более раннего строительного периода, в цоколях использовались и более крупные — до 0,5 × 1,0 м — грубо околотые плиты.

Что касается западной внешней стены строительного комплекса № 14, то ее облик, к сожалению, достоверно не установлен: слишком велики утраты в этой части постройки, вызванные, по всей видимости, прежде всего сооружением здесь впоследствии, т.е. в третьей четверти V в. до н.э., огромной землянки — строительный комплекс № 24 (см. ниже). Как бы там ни было, здесь, на предполагаемой границе большого наземного здания, были обнаружены лишь отдельные камни известняка, возможно, от цоколя стены. Существенно отметить также, что далее к западу от этой границы никаких камней не обнаружено. Скорее всего, и эта стена была подобна остальным.

Организация внутреннего пространства описываемого объекта, по всей видимости, была предельно логичной. Можно думать, в частности, что вся постройка делилась на три функционально различные части. Северо-восточный угол строения площадью около 90 кв. м был занят рядом — не менее 6 единиц — сравнительно небольших — от 5,0-7,0 кв. м до 13,0-18,0 кв. м — прямоугольных в плане помещений. От глинобитных стен — перегородок между отдельными помещениями — частично дошли лишь узкие — 0,3 м — каменные цоколи из вертикально стоящих небольших плиток известняка.

С запада вплотную к названному блоку помещений примыкал примерно равный ему по площади внутренний двор, вымощенный уплощенными камнями. Сохранность вымостки крайне плохая: in situ дошли лишь два небольших участка замоста на восточной и западной границах; средняя же часть замоста оказалась уничтоженной современной плантажной вспашкой. Судя по просадке камней двора на его стыке с блоком помещений, он, возможно, был отделен от последних глинобитной стеной.

Последняя, третья часть постройки — примерно около двух третей внутренней площади комплекса — полностью или частично отделенная от первых двух стеной на каменном цоколе обычного типа, представляла, скорее всего, немощеную открытую площадь, лишенную ви-

Рис. 8. Поселение Старая Богдановка 2. Строительный комплекс № 14. Цоколь восточной стены.

димого внутреннего членения.

Как уже упоминалось выше, у южной внешней стены строительного комплекса № 14 были выявлены остатки четырехугольной пристройки. Топография, конфигурация и археологический контекст нахождения остатков этого сооружения, дошедшего до наших дней почти исключительно в виде аморфных развалов небольших камней известняка от цоколей глинобитных стен, позволяют высказать лишь два-три более или менее оправданных предположения: пристройка, несомненно, одновременна всему комплексу и составляла с ним органическое целое; в плане сооружение имело форму правильного четырехугольника общей площадью около 45 кв. м; внутреннее пространство пристройки, скорее всего, было разделено на несколько относительно небольших помещений.

Каких-либо вещественных находок in situ на полу или вымостках комплекса № 14 не обнаружено. Не выявлено здесь и сколько-нибудь специфического заполнения пространства между сохранившимися участками каменных цоколей. На всей площади строения под дерном до погребенной почвы залегал обычный культурный слой. Материал, полученный при зачистке погребенной почвы на материке и разборке завалов цоколей стен в целом может быть датирован концом VI — первой четвертью V вв. до н.э. В качественном отношении он оказался в общем тождественным находкам этой и других частей поселения.

В заключение описания комплекса № 14 отметим, что каких-либо иных достоверных следов внутренних конструкций (кроме описанных выше, разумеется) в пределах площади сооружения не обнаружено; не найдено здесь и остатков постоянных или временных печей или очагов.

Второй тип наземных построек поселения позднеархаического времени представлен в нашей выборке лишь одним сооружением (№ 20) — круглым, состоявшим, быть может, из двух частей: северной — ровной материковой площадки в 7,5 кв. м, окруженной рядом небольших конусовидных ямок от опорных столбов, и южной — в виде неглубокого овального углубления в материке площадью около 3,0 кв. м. Единичность этой постройки среди строительных комплексов выборки делает выделение ее в отдельный тип условным.

Последний из строительных комплексов позднеархаического времени (№ 23) представляет собой остатки монументального сооружения совершенно нового для Северного Причерноморья античного периода типа. Указанный комплекс обнаружен на южной окраине Старой Богдановки, в 15 м к юго-востоку от большого наземного здания (№ 14), в верхней прибрежной части склона древней балки, на невысоком (от 1,5 до 2,0 м) гребне, выделенном с напольной стороны эрозионным понижением.

Несмотря на значительные утраты, вызванные современной береговой абразией и постоянными смывами почвы по склону балки, есть все основания полагать, что данное сооружение занимало всю среднюю часть прибрежного гребня и охватывало площадь никак не менее 500-550 кв. м. Судя по стратиграфическим наблюдениям и остаткам каменной вымостки, обнаруженным in situ в различных частях этой площади, западный, южный и, возможно, восточный склоны гребня в процессе создания комплекса были, по всей видимости, искусственно доформованы и приподняты (на 0,2-0,6 м) с помощью специальной подсыпки гумированного материкового суглинка. Поверхность доформованных таким образом склонов сильно обожжена (на глубину до 0,1 м) и, наконец, покрыта (укреплена?) плотным замостом из небольших (не более 0,15 × 0,15 × 0,25 м) рваных камней известняка.

На предварительно уплощенной вершине гребня была создана монументальная каменная конструкция площадью около 100 кв. м — центральная часть комплекса (Рис. 9). Основным компонентом этой конструкции является, по всей видимости, врезанное в материковый суглинок на глубину до 1,2-1,4 м сооружение, ориентированное длинной осью по линии запад-восток с отклонением к югу на 30 градусов. Судя по дошедшим остаткам, сооружение состояло из прямоугольной камеры, разделенной продольной стеной на два, скорее всего, практически равные по площади помещения — северное и южное, и двух отходящих от нее на запад параллельных прямоугольных открытых «каналов», связанных с помещениями проходами, оставленными в мощной (ширина 1,4 м) западной стене камеры. Сохранившиеся размеры камеры: 4,0 × 5,5 × 6,0 м, внутренняя площадь — не менее 23-25 кв. м. Размеры продольной внутренней стены: 2,45 м — длина, 1,0 м — ширина. Ширина проходов в «каналы» — 0,75-1,0 м. Размеры «каналов» без учета мощности западной стены камеры: 0,75 × 4,0 м. Пол сооружения — тонкая (около 0,01 м) известковая промазка на материковом суглинке.

Вертикальные стены камеры и «каналов», вплотную примыкающие к материку, сложены вперевязь в системах постелистой и орфостатной тычково-ложковой однослойной однолицевой и трехслойной двулицевой кладок из грубо околотых, реже рваных камней местных пород известняка на глине. В целом иррегулярная схема кладки стен сооружения в отдельных местах содержит явные черты рядной системы. Наиболее четко эти черты выступают, пожалуй, в кладке западной стены камеры, возведенной на высоту 1,0 м из крупных (до 0,3 × 0,3 × 0,3 м) подпрямоугольных или полигональных блоков с относительно хорошей выкадровкой рядов, и в пределах «каналов», нижний ряд стен

которых образуют полигональные плиты, поставленные на ребро. Судя по характеру нижней части заполнения камеры — рушенному обожженному суглинку — верхняя часть западной стены, возможно, дополнялась на небольшую высоту сырцом. На каменных стенках и дне обоих «каналов» повсеместно фиксировались яркие следы длительного и, несомненно, многократного воздействия высоких температур в виде налета белой порошкообразной извести, покрывающей кладку, сильно прокаленной глины, материкового суглинка красного цвета и спекшейся до стеклообразного состояния золы камыша на нем.

Как показывают данные зондажа дна северного «канала» и пола связанного с ним помещения камеры, наиболее мощному воздействию таких температур подвергались западные, т.е. торцовые части «каналов». Отметим также, что прокаленность материкового суглинка здесь охватывала пласт мощностью до 0,4 м по вертикали. По мере удаления от торцовых стен «каналов» в восточном направлении, т.е. по направлению к камере, степень проявления высоких температур убывала и практически сходила на нет в пределах площади помещений.

Вторым компонентом центральной части строительного комплекса № 23, несомненно, конструктивно связанным с вышеописанным, является овальная площадка, расположенная над «каналами». Размеры последней: 7,8 × 10,0 м; площадь — около 73 кв. м. Ровная «рабочая» поверхности площадки — сильно прокаленный (до 0,3 м) материковый суглинок — несколько заглублена относительно синхронного дневного уровня гребня. Степень заглубленности, к сожалению, устанавливается лишь местами — на северо-восточной границе объекта, где раскопками выявлен небольшой участок обожженного материкового борта высотой около 1,0 м, и на западе, где она составляла 0,8 м.

На материковых бортах площадки, вокруг нее и соответственно «каналов», была сооружена каменная ограда (стена?) из рваных камней известняка. К моменту раскрытия комплекса от последней, к сожалению, дошел лишь развал камней, перекрывший по периметру всю внешнюю периферийную часть площадки, западную стену камеры и «каналы». Полное отсутствие участков кладки ограды in situ к моменту раскрытия сооружения не позволяет пока, т.е. до проведения дополнительных исследований, восстановить облик и основные параметры этого объекта. Судя по характеру развала и его размерам можно думать, однако, что наиболее крупные (до 0,3 × 0,35 × 0,5 м) камни находились в нижней части ограды, а ее высота вряд ли превышала 1,0 м.

В процессе зачистки верхнего уровня площадки и развала камней от ее ограды практически повсеместно фиксировались четкие следы горения в виде прокаленности верхнего горизонта материкового суглинка, причем степень прокаленности заметно убывала от торцовых стенок «каналов» к периферии площадки, прослоек золы серого цвета мощностью до 0,3 м и мелких обгорелых кусочков камыша.

Спектральный анализ стекловидных шлаков золы из северного «канала» (всего 3 пробы), проведенный в Лаборатории археологической технологии ИИМК РАН (аналитик В.А.Галибин), дал следующие обобщенные результа-

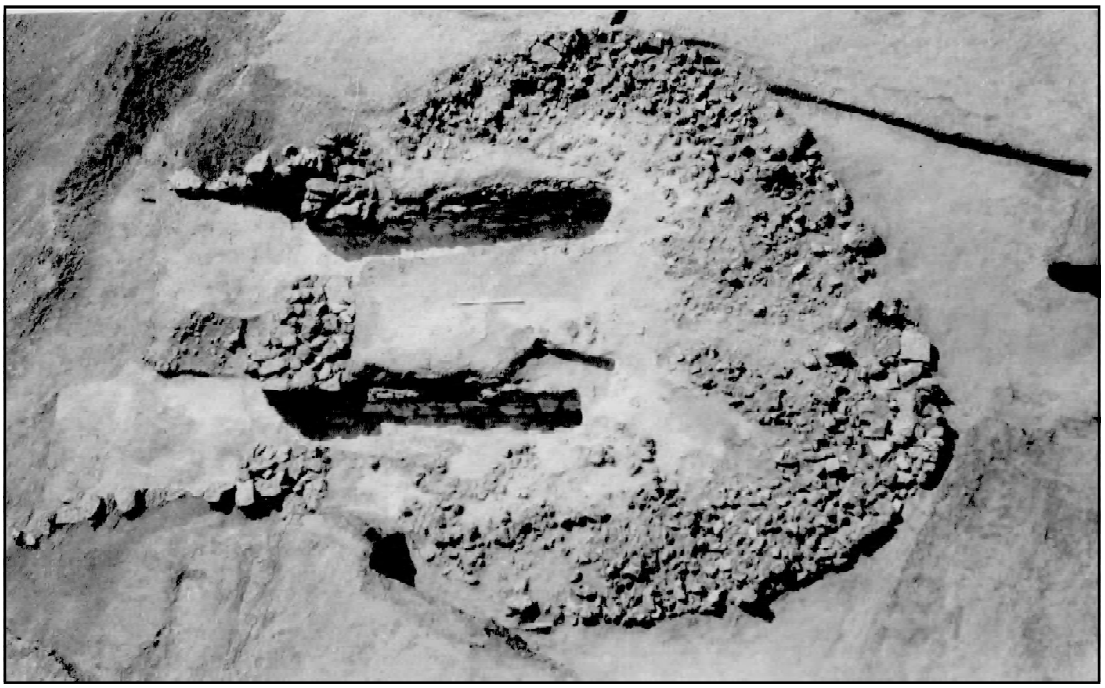


Рис. 9. Поселение Старая Богдановка 2. Строительный комплекс № 23. Центральная часть.

ты (основа SiO_2): Al_2O_3 -1,7%; Na_2O — 4,0%; K_2O — 11,O%; CaO — 14,O%; MgO — 4,5%; Fe_2O_3 — 0,9%; TiO_2 — 0,17%; MnO — 0,06%; CuO — 0,006%; P_2O_3 — 1,4%.

В заключение описания заметим, что каких-либо вещественных материалов или остатков производства (NB!) в пределах площади строительного комплекса № 23 практически не обнаружено. При расчистке площадки над «каналами» в развале камней ее ограды найден лишь один медный ольвийский дельфинчик. Еще одна находка, лишь предположительно связанная с комплексом, — бронзовый трехлопастной наконечник стрелы так называемого базисного типа — обнаружена на камнях замоста поверхности западного склона гребня.

Вместе с тем, несмотря на такое явно неблагоприятное положение с вещественными находками, отнесение самого сооружения к позднеархаическому времени в общем не вызывает сомнения. Весь археологический контекст: нахождение этого комплекса в структуре практически однослойного поселения, отсутствие на последнем и в ближайшей округе каких-либо культурных остатков более раннего времени и т.д. — позволяют уже в первом приближении отнести его к последней трети VI — первой четверти V вв. до н.э. В целом этой дате не противоречат и результаты палеомагнитного анализа материалов комплекса, давшие 540-460 гг. до н.э. Создается даже впечатление, что имеются вполне надежные основания заметно сузить указанную датировку. Открытие на площади комплекса под каменной вымосткой западного склона гребня небольшого углубления в материке, содержавшего два трехлопастных наконечника стрел базисного типа и пять ольвийских разменных монет в виде дельфинчиков, позволяет, на наш взгляд, отнести создание комплекса к заключительному этапу жизнедеятельности поселения позднеархаического времени — самому концу VI — первой четверти V вв. до н.э.

В процессе исследований поселения Старая Богдановка 2, в пределах раскопов I-III, была зафиксирована 61 вырытая в материке яма различного назначения — № 1-61. Все вышеупомянутые комплексы были созданы в позднеархаический период существования памятника.

Большая часть ям (32 единицы) раскрыта полностью. Неисследованными или недоследованными остались лишь объекты, перекрытые более поздними строительными остатками. Подавляющее большинство ям (31 единица) принадлежит к хорошо известному в Северном Причерноморье типу грушевидных, с плоским дном. По размеру они условно делятся на два варианта: ямы глубиной от 0,6 м до 2,0 м и от 2,5 м до 3,5 м. Все ямы второго варианта, т.е. наиболее глубокие, находились на южной окраине поселения, вблизи большой четырехугольной землянки № 15. Ямы первого варианта распространены повсеместно. Совершенно необычной по форме оказалась лишь одна яма выборки (№ 30) — грибовидная — в виде перевернутого шляпкой вниз гриба. Диаметры устьев всех ям колебались в пределах 0,5 — 0,8 м, что хорошо подтверждается и соответствующими размерами нескольких плоских круглых, массивных каменных крышек, найденных в культурном слое или заполнении отдельных углублений в материке.

На этом, собственно говоря, и можно закончить описание остатков строительных и хозяйственных комплексов поселения Старая Богдановка 2 позднеархаического времени.

Непродолжительность существования этого поселения в архаический период существенно затрудняет в большинстве случаев четкое определение хронологической позиции отдельных объектов на основании только вещественных находок. Последовательность смены одних комплексов другими устанавливается, главным образом, стратиграфическими наблюдениями. По совокупности этих данных и датировок греческой импортной керамики в истории жизни Старой Богдановки 2 последней трети VI — первой четверти V вв. до н.э. может быть выделено ныне, по меньшей мере, три строительных периода.

Первый, наиболее ранний строительный период, характеризуется, по всей видимости, наименьшим числом комплексов. К нему, бесспорно, следует отнести две круглые землянки (раскоп I, № 4, 12), одну большую четырехугольную (раскоп III, № 15) и, возможно, еще одну четырехугольную (раскоп I, № 5). К этому же периоду, но уже более предположительно, может быть отнесено и несколько ям различного назначения (прежде всего № 8, 9, 29, 30, 54-57). Впрочем, точное их количество не устанавливается — не хватает данных, но есть все основания полагать, что ям первого периода в целом было сравнительно немного.

Во втором, следующим по времени, строительном периоде на смену старым комплексам приходят новые строения. Их количество существенно возрастает. Сюда входят восемь четырехугольных землянок (раскоп I, № 2, 3, 6, 7, 10, 18; раскоп II, № 16, 19), две овальные (раскоп I, № 8, 11), одна подтреугольная (раскоп III, № 21) и, возможно, одно круглое наземное строение (раскоп I, № 20). Равным образом резко увеличивается и число хозяйственных ям. По существу, к этому периоду с большей или меньшей долей вероятности следует отнести все остальные раскрытые ямы поселения. Их количество оказывается столь велико, а насыщенность отдельных участков столь значительна, что некоторые сооружения такого рода врезаются друг в друга. В подобных случаях в местах соединения ям устраивались специальные глиняные или каменные перемыч-

ки-пробки.

Оценивая общее число комплексов второго периода как весьма значительное, следует принимать во внимание, что далеко не все они сосуществовали во времени, так как срок бытования отдельных землянок и ям зачастую оказывался короче продолжительности самого строительного периода. Это подтверждается, в частности, и стратиграфическими наблюдениями, например, разрушением северо-западного угла отжившей землянки № 8 строящейся землянкой № 3.

К третьему, заключительному строительному периоду в истории поселения позднеархаического времени относятся все семь оставшихся комплексов нашей выборки (раскоп I, № 1, 9, !7; раскоп II, № 13; раскоп III, № 14; раскоп IV, № 22 и, судя по всему, раскоп V, № 23). Существенно отметить, что все строительные комплексы последнего периода — наземные сырцово-каменные сооружения, либо, как № 23, органически сочетающие в себе наземные сырцово-каменные и сильно заглубленные в землю конструкции.

Часть из них (№ 1, 9, 17) была окружена вымосткой из уплощенных камней известняка. Плохая сохранность вымостки не позволяет точно установить ее размеры. Однако можно предположить, что ее площадь превышала 400 кв. м. Остатки еще одной каменной вымостки зафиксированы у северной границы большого наземного здания — № 14.

В третьем строительном периоде, одновременно с сооружением вымосток, нивелируется площадь поселения, камнями и хозяйственным мусором забиваются все ранее функционировавшие ямы, засыпаются и земляночные постройки, на месте которых в отдельных случаях возникают наземные сырцово-каменные дома. Сооружение новых ям хозяйственного и иного назначения в пределах исследованной площади поселения не отмечено.

Определение функционального назначения конкретных строительных комплексов и, прежде всего, отнесение хотя бы и части из них к жилым домам, к сожалению, сопряжено со значительными трудностями — недостатком диагностирующей информации — и поэтому достаточно условно. Указанное обстоятельство объясняется, главным образом, отсутствием в пределах площади комплексов остатков постоянных или временных очагов и печей и крайней малочисленностью показательных с функциональной точки зрения находок in situ. Недостаточно характерными в этом отношении являются и отмеченные выше различия архитектурно-планировочных схем всех выделенных серий и типов строений поселения.

И все-таки некоторые возможности функционального членения нашей выборки строительных комплексов Старой Богдановки 2 существуют. Они проистекают из факта ее несомненной территориальной, хронологической и культурной близости с многочисленными памятниками Нижнего Побужья архаического и раннеклассического времени, например, такими, как Березань, Ольвия, Ольвийское предместье (см., например: Доманский, Копейкина, Марченко 1978: 72 сл.; Крижицкий, Русяева 1978: 3 сл.; Козуб 1979: 3 сл.). Анализ всех опубликованных материалов этого времени позволяет предположить, что к категории жилых построек в первую очередь следует относить землянки, в пределах площади которых обнаружены остатки так называемых «столиков» — площадок в виде небольших четырехугольных останцов материка, глинобитных загородок, выкладок из камня и т.п., бытового или же, что менее вероятно, чисто ритуального назначения. Наше предположение основывается на устойчивости во времени использования «столиков» на многих и самых различных памятниках Нижнего Побужья VI — первой трети V вв. до н.э., отсутствии строительных комплексов с ними явно хозяйственного, по всей совокупности данных, назначения — с одной стороны, и наличия целого ряда построек, в которых «столики» сочетались с остатками очагов, очажными ямками с золой и вещественными находками in situ (дельфинчиками, терракотовыми статуэтками, кухонными горшками и т.д), определенно указывающими на жилой характер комплексов, — с другой.

Если наше предположение верно, то к категории жилых комплексов Старой Богдановки 2 позднеархаического времени в первую очередь следует отнести остатки семи строений — № 4, 5, 7, 9, 10, 16, 19, — принадлежащих разным строительным периодам.

Исходя из анализа совокупности всех характерных признаков этих семи комплексов, с известной степенью вероятности можно причислить к категории жилищ и некоторые строения, в которых такие «столики» отсутствуют. В данном случае следует учитывать относительно большие размеры построек, следы внутренней планировки, присутствие бытовой и кухонной керамики in situ или следов ее нахождения. В этом же плане дополнительными, разъясняющими моментами могут быть местоположение того или иного комплекса на территории поселения, обычность или своеобразие его архитектурно-планировочного решения и, наконец, степень основательности и тщательность исполнения самой постройки, выразившаяся в ее внешнем облике. Таким образом, к семи ранее названным жилым сооружениям поселения с большей или меньшей долей вероятности может быть добавлено, как минимум, еще четыре — № 1, 2, 6, 11).

Все остальные постройки позднеархаического времени (за исключением строительных комплексов № 14, 15, 23, о которых в дальнейшем будет сказано особо) следует понимать,

скорее всего, как хозяйственные или, в силу совершенно недостаточной сохранности, как, например № 22, строения неопределенного назначения.

Если наши предположения верны, то в центральной части поселения (раскопы I и II) для третьего, последнего, строительного периода можно выделить две функционально различные зоны — жилую и хозяйственную. Первую составляют два окруженных каменной вымосткой комплекса — № 1 и 9, хозяйственную же — как минимум, четыре — № 17, 18, 20, 21. Зоны довольно четко отделяются друг от друга: вторая как бы составляет периферию первой. В отношении более раннего времени можно полагать, что тогда такого определенного деления не существовало, и жилые постройки тесно соседствовали с хозяйственными.

Чрезвычайно важно отметить, что само по себе разделение центрального района поселения в третьем строительном периоде на две зоны, скученность построек тогда и в более раннее время на одном и том же участке, сплошь и рядом вызывавшая «наползание» поздних строительных и хозяйственных комплексов на более ранние (при наличии свободной площади по соседству), в целом некоторая обособленность этой территории обеих зон от остальной части поселения, наконец, непродолжительность отдельных строительных периодов заставляет предполагать, что здесь, вероятно, с момента возникновения Старой Богдановки 2 функционировал единый социально-экономический организм в его непрерывном и, по всей видимости, довольно быстром пространственном, хозяйственном и культурном развитии. Столь же оправдано в этой связи и другое предположение: существование изначальной регламентации площади поселения под жилую и хозяйственную застройку.

Однозначное определение функций оставшихся нерассмотренными строительных комплексов № 14, 15 и 23 — большого наземного здания с развитой внутренней планировкой, большой землянки и монументального каменного сооружения с овальной площадкой на вершине приустьевого гребня — в настоящее время, по всей видимости, невозможно. Все дело в том, что такие строительные комплексы раскрыты в Нижнем Побужье впервые. Не известны нам близкие аналогии этим сооружениям и среди синхронных памятников других районов греческой колонизации Северного Причерноморья. Единственная более или менее близкая по площади строительному комплексу № 14 постройка позднеархаического времени этого региона — так называемый Торик (Онайко 1976: 80 сл.) — имеет слишком большие архитектурно-планировочные отличия. Положение усугубляется еще одним обстоятельством — отсутствием вещественных находок in situ, безусловно связанных с этими комплексами. Все материалы, обнаруженные при их раскрытии, в качественном отношении оказались, в общем, вполне тождественными находкам из культурного слоя других частей поселения и ничего не проясняют относительно функции. Не выявлено в этом смысле существенных отличий и в соотношении отдельных категорий и групп вещественного материала.

Расширение ареала поиска прямых аналогий нашим сооружениям, к сожалению, также мало что меняет в создавшейся ситуации: для комплексов № 14 и 23 такие аналогии пока просто отсутствуют. Методически вполне оправданным, впрочем, представляется все же прямое сопоставление землянки № 15 нашей выборки со сходными с ней по площади и форме большими жилыми структурами правобережных лесостепных районов Поднепровья раннего скифского периода. Такое сопоставление в первом приближении, как кажется, дает некоторые основания полагать в старобогдановском комплексе остатки жилой по преимуществу постройки даже при отсутствии в ней следов очага или печи. В пользу такого вывода, как будто, говорит и наличие в пределах котлована этого комплекса нескольких хозяйственных углублений — ямы № 32-36, 38.

Вместе с тем, принимая во внимание указанное решение вопроса для строительного комплекса № 15, следует учитывать возможность и иного, непрямого, пути определения его базовой функции. Такая возможность проистекает из самого факта отсутствия в довольно-таки обширных материалах Нижнего Побужья архаического времени, да и других районов греческой колонизации Северного Причерноморья, остатков жилых или хозяйственных сильно заглубленных в землю структур столь значительных размеров. Сам по себе этот факт, скорее всего, может свидетельствовать в пользу вполне специфического назначения этой землянки. Но дело, конечно, не только или, точнее, не столько в этом. Обращает на себя внимание и то обстоятельство, что все необычно большие сооружения Старой Богдановки 2 позднеархаического времени группируются, по существу, в одном ограниченном районе поселения — на его южной окраине (раскопы III и V). Что это — случайность? Вряд ли. Против этого в первую очередь свидетельствует ранее установленный факт изначальной регламентации площади памятника под застройку. Допустимость такого сомнения становится еще более оправданной если мы примем во внимание и то, что остатки еще одной необычно большой постройки Старой Богдановки 2 — землянки № 24 площадью около 170 кв. м (при глубине котлована около 1,8 м), — о которой до сих пор почти не было речи, поскольку она относится к несколько более позднему времени, нежели все остальные комплексы, — также находятся в этом же районе поселения (Мар-

ченко 1985: 312-313). Таким образом, как кажется, у нас есть определенные основания полагать, что указанная территория памятника в течение всего периода его функционирования была отведена главным образом под сооружение необычно больших структур.

При определении функций всех этих «уникальных» построек весьма существенным, прежде всего, оказывается то обстоятельство, что они более или менее последовательно сменяют друг друга во времени — в 40-30 гг. VI в. до н.э. на южной границе поселения выкапывается большая землянка № 15, далее, на рубеже VI — V вв. до н.э. или же в самом начале V в. до н.э., прямо на ее месте возводится обширное сырцово-каменное здание — строительный комплекс № 15, практически одновременно с ним в непосредственной близости создается монументальный комплекс с «каналами» для возжигания огня — № 23 и, наконец, несомненно, уже после гибели наземного здания № 15, у его западной границы, выкапывается новая, еще более грандиозная по своим размерам землянка — строительный комплекс № 24. Такое последовательное замещение одного крупного сооружения другим в пределах одного и того же весьма ограниченного по площади района поселения представляется весьма симптоматичным. Можно предположить, что в том или ином виде оно отражает стремление жителей Старой Богдановки 2 постоянно иметь здесь постройки, предназначенные выполнять какую-то одну и, судя по большим размерам и облику строений, явно неординарную функцию. На эту же неординарность указывает, как будто, и сам факт сооружения столь крупных, требовавших, несомненно, весьма значительных затрат труда (быть может. даже заинтересованного участия полиса) строительных комплексов, на небольшом удаленном от центра государства сельскохозяйственном поселении ольвийской хоры. Тем самым допустимо думать, что по крайней мере три из четырех ныне рассматриваемых структур — № 14, 15 и 24 — могли быть созданы с одной целью. В этом случае различия между ними в размерах, типе и отдельных деталях, достаточно очевидные, чтобы их не учитывать в других отношениях, в данном приложении — признаки, по-видимому, в значительной степени внешние, во многом обусловленные, по всей видимости, развитием во времени строительных и хозяйственных возможностей местного населения.

Теперь, когда нам более или менее оправданно удалось выделить в составе рассматриваемой группы больших сооружений две части — строительные комплексы № 14, 15, 24, — с одной стороны, и строительный комплекс № 23 — с другой, — можно непосредственно приступить к определению их назначения. В силу отсутствия сколь-либо схожих структур в материалах синхронных памятников и полного отсутствия связанных с ними диагностирующих вещественных находок, о чем, впрочем, уже сообщалось выше, единственно оправданным представляется ограничиться на этом пути лишь отдельными замечаниями самого общего порядка, ни в коем случае не настаивая на окончательности предлагаемых решений.

Начать, по всей видимости, следует с анализа наиболее оригинального из всех сооружений Старой Богдановки 2 — строительного комплекса № 23. Нет никакого сомнения в том, что уже самое предварительное ознакомление с этой структурой начисто перечеркивает возможность ее отнесения к категории жилых комплексов. Совершенно очевидно также и то, что в морфологическом отношении центральная часть этого памятника более всего напоминает остатки печи, где прямоугольная камера должна была выполнять функцию топки, а оба «канала» являлись бы жаропроводящими «трубами». Как представляется, однако, указанное сходство охватывает не более чем внешнюю сторону комплекса, да и то лишь отчасти. В данной связи достаточно напомнить, что, во-первых, у центральной части старобогдановского сооружения не было обнаружено никаких следов свода, что, во-вторых, само горение камыша происходило не в прямоугольной камере, разделенной к тому же на два помещения, а в торцовых частях «каналов», и, что, наконец, в-третьих, сами-то размеры этой центральной части — около 100 кв. м — чересчур велики для печей античной эпохи. Если идти далее от противного, то все изложенное выше в сочетании с полным отсутствием каких-либо следов производств в пределах площади строительного комплекса № 23, да и вообще на территории всего поселения и в его ближайшей округе, заставляет отказаться и от чисто хозяйственного (производственного) назначения рассматриваемого сооружения.

Равным образом, кажется невероятным и применение этого комплекса в качестве маяка, в пользу чего может, как будто, свидетельствовать топографическое положение самого памятника — на приустьевом высоком мысу, образованном берегом Бугского лимана и склоном древней балки. Нельзя не учитывать в данном случае, однако, что единственным видом топлива, использовавшегося для поддержания огня в «каналах» сооружения, являлся камыш. Как установлено соответствующими экспериментами, одноразовая порция камыша, загруженная в «канал» центральной части «маяка» и заполнявшая его полностью до уровня овальной площадки, целиком прогорала за 13-15 минут. Совершенно очевидно, таким образом, что для поддержания более или менее регулярной работы «маяка» потребовалось бы поистине огромное количество расходного материала.

Завершая таким образом эту часть нашего

анализа, следует признать, что у нас нет никаких объективных данных для признания жилого или чисто хозяйственного (производственного) предназначения строительного комплекса № 23. Отсутствуют, по всей видимости, и убедительные основания использования этого сооружения в качестве маяка. В этих условиях единственной теоретически допустимой базовой функцией столь своеобразного памятника оказывается религиозная, так или иначе связанная с отправлением культа огня. В пользу такого предположения, помимо очевидных следов длительного или, точнее, многократного сожжения камыша в торцовых частях «каналов» центральной части сооружения, может свидетельствовать и сам внешний облик комплекса — его монументальность и, скажем, некоторая парадность, выразившаяся, в частности, в создании каменной облицовки предварительно обожженной поверхности гребня, на уплощенной вершине которого, скорее всего, и могла происходить какая-то ритуальная церемония. В пользу этого же предположения, быть может, свидетельствует и ориентация «каналов», позволявшая полностью избегнуть тени в момент нахождения солнца в самой верхней части небосвода.

Как представляется, функционирование с рубежа VI — V вв. до н.э. на юго-восточной окраине Старой Богдановки 2 столь монументального культового сооружения, каковым, вполне возможно, являлся строительный комплекс № 23, не могло не придать и особого функционального своеобразия этому району поселения в целом. Более того, вполне уместно допускать, что необычное значение этого района в ряду прочих могло возникнуть значительно ранее момента строительства данного культового комплекса, ибо в противном случае мы вынуждены были бы допустить, что выбор места под создание такого поистине грандиозного и весьма трудоемкого в рамках одного небольшого сельскохозяйственного поселения сооружения был в значительной мере случайным.

Если данные соображения верны, то вполне резонным представляется и другое допущение — последовательность создания всех остальных необычно больших и своеобразных построек Старой Богдановки 2 — № 14, 15 и 24, — по-видимому, связанная с той особой ролью, которую, как кажется, играл этот район в быту и сознании местных жителей, в той или иной степени отражает историю становления и развития во времени какого-то общественно-религиозного центра населения Нижнего Побужья (см. Головачева, Марченко, Рогов 1998: 99 сл.). Следует заметить все же, что последнее заключение отнюдь не означает, будто мы склонны связывать все наиболее крупные строительные комплексы Старой Богдановки 2 только или исключительно с религиозной деятельностью местных жителей. Разумеется, нет. Такое предназначение построек могло, по всей видимости, прекрасно и вполне органично уживаться и с другими, более прозаическими функциями. Так, к примеру, вполне резонно (о чем уже говорилось выше) предполагать в землянке № 15 место более или менее продолжительного проживания первых насельников поселения, на что, как будто, прямо указывает присутствие в ее пределах разного рода ям и углублений в материке. Совершенно иную «дополнительную» функциональную нагрузку, вероятнее всего, нес и обширный строительный комплекс № 14, мощные внешние стены которого и наличие большой свободной площади явно свидетельствуют в пользу его способности в минуты опасности выполнять роль убежища для жителей окрестных поселений и их скота (Марченко, Доманский 1981: 72-73). Констатируя такую возможность, следует все-таки полагать, что главное (базовое) предназначение всех этих необычных построек определялось, по-видимому, тем местом, которое они занимали в рамках деятельности единого организма — общественно-религиозного центра Старой Богдановки 2, или, учитывая более чем скромные размеры этого поселения, с одной стороны, и масштабность рассматриваемых сооружений, с другой, целого района Нижнего Побужья позднеархаического — раннеклассического периодов.

Заключая таким образом анализ функций строительных комплексов поселения, мы вправе предположить, что в пределах его территории, помимо жилых и хозяйственных зон, практически изначально существовал и район общественного назначения.

Описание и интерпретация строительных комплексов поселения Старая Богдановка 2 позволяет сделать некоторые выводы, имеющие отношение в целом к исторической судьбе памятника и его месту в системе поселений Нижнего Побужья. Естественно, без необходимого дополнения в виде анализа вещественного материала эти выводы будут иметь предварительный характер. Тем не менее попытаемся сформулировать те положения, которые непосредственно вытекают из рассмотрения сооружений — жилых, хозяйственных, общественных и культовых построек — Старой Богдановки 2.

Особенности этого памятника, в чисто археологическом выражении, по существу, являются его достоинствами в общем контексте изучения истории Нижнего Побужья и в сравнении с другими пунктами этого района. Памятник практически однослойный, почти не перекрывается культурными напластованиями более позднего времени и совершенно не содержит включений материалов эпохи поздней бронзы. Старая Богдановка 2 существовала довольно непродолжительный период. Это дает возможность не в каком-то растянутом, а

в сжатом отрезке времени, в конкретном, как бы концентрированном виде представить ее наиболее характерные черты. Наконец, поселение выделяет более или менее хорошая сохранность хотя бы части сооружений.

Последнее относится, прежде всего, к наземным сырцово-каменным постройкам. Их сохранность позволяет впервые представить полный план некоторых типов подобных сооружений архаической ольвийской округи.

Но этим фактом, естественно, не ограничивается та новая информация, которую дает исследуемый памятник. Не повторяя ряд положений и выводов, сделанных раннее, напомним лишь об открытии в южном районе поселения целого комплекса сооружений общественного и, возможно, культового назначения — № 14, 15, 23, 24. Необычно большой размер, оригинальный облик и уникальность большинства этих построек ставит указанный комплекс в особое положение, заставляя видеть в нем какой-то единый, совершенно несхожий с до сих пор известными в Нижнем Побужье, да и во всем Северном Причерноморье, общественный и культовый центр одного из районов ольвийской периферии.

Сказанное отнюдь не означает, что поселение Старая Богдановка 2 полностью выпадает из всей системы ранних памятников Нижнего Побужья. Напротив, большинство данных говорит о явном сходстве этого поселения по характеру строительной деятельности с некоторыми из ныне хорошо изученных поселений, например, такими, как Широкая Балка, Чертоватое 7 и т.д.

Уникальные возможности для воссоздания реальной картины хозяйственной и культурной жизни ольвийской округи начального периода освоения экономического потенциала Нижнего Побужья дает комплекс построек, открытый в центральной части поселения. С одной стороны, наблюдаемая здесь относительно быстрая смена одних строений другими, быстрый переход — и это главное — от строительства менее трудоемких типов землянок к более совершенным, но зато и требовавшим больших затрат труда, сырцово-каменным постройкам, окруженным к тому же обширными каменными вымостками, позволяет снова более основательно вернуться к наболевшему вопросу генезиса отдельных типов строительных комплексов на территории Нижнего Побужья архаического времени, а с другой стороны, указывает на ускоренное и, по-видимому, совершенно не отягощенное внешними факторами экономическое и культурное развитие поселения.

В этой же связи чрезвычайно интересным оказывается и тот факт, что наиболее совершенные строения на поселении создаются в последний, третий период, т.е. буквально в канун ухода жителей. Указанное обстоятельство наводит на мысль о непреднамеренности этого ухода, вызванного, скорее всего, давлением внешних сил — военно-политической экспансией новой волны скифов.

Раздел 2. Комплекс вещественных находок

Полевые исследования поселения ольвийской сельскохозяйственной округи Старая Богдановка 2 дали многочисленный и разнообразный вещественный материал, позволяющий в той или иной мере раскрыть быт обитателей этого памятника, их повседневные занятия, контакты с внешним миром, выяснить культурную и этническую принадлежность хотя бы части местных жителей и тем самым внести дополнительные штрихи в общую картину нижнебугского района Северо-Западного Причерноморья вообще и данного поселения в частности.

Разумеется, в этой работе нет никакого смысла подробно описывать абсолютно все категории находок и многочисленные отдельные предметы, безусловно, того заслуживающие. Такая задача должна стоять перед специальным исследованием. Наша же цель — только представить весь материал, все его группы, не вдаваясь в аналитический обзор или иное описание каких-либо разделов вещественного комплекса и уникальных, в данном случае, вещей. Именно общий обзор находок, выяснение типологического состава и удельного веса отдельных групп и категорий материала в общем балансе комплекса вполне достаточны для выявления его своеобразия.

Итак, в процессе раскрытия культурных напластований поселения Старая Богдановка 2, а также строительных — жилых, хозяйственных и общественных — построек памятника было обнаружено весьма значительное количество вещественного материала различных категорий, но при преобладании керамических находок. За все годы работ на поселении найдено около 81 700 единиц обломков и, в очень редких случаях, археологически целых сосудов. Подавляющая часть этого комплекса датируется на основании греческой импортной керамики в пределах 40-х годов VI в. до н.э. по первую четверть следующего столетия включительно. Значительно менее 1% обломков амфор, найденных к тому же в пределах одного строительного комплекса поселения — № 24, может быть отнесена к несколько более позднему времени — последней трети V — началу IV вв. до н.э. Данное обстоятельство позволяет легко вычленить из всей совокупности материалов позднеархаического времени немногочисленные обломки керамической тары классического периода и далее в тексте рассматривать весь комплекс как хронологически однородный.

Керамический комплекс поселения Старая Богдановка 2 состоит из античной круговой (гончарной) и местной лепной посуды. Статистический анализ всего массива позволяет выявить следующую, разумеется, весьма приближенную картину. На обломки греческих остродонных амфор приходится 82,6% всех керамических находок; на долю круговой посуды всех категорий — 14,2%; на лепные сосуды — 3,2%.

Соотношение круговой и местной лепной керамики (без учета обломков амфор) в этом массиве выглядит как 80,5% к 19,5%. Если же сравнить кухонную круговую посуду с лепной, то окажется, что соотношение между ними составляет 37,5% к 62,5%.

Такова общая статистическая оценка всей выборки керамического комплекса поселения в целом, примерно повторяющая ту же картину по отдельным участкам. Значительные отклонения от нее наблюдаются лишь в отдельных случаях. Так, например, необычно высокий процент содержания круговой кухонной посуды зафиксирован в составе находок из заполнения котлована землянки № 15 — 31% от общего числа обломков всей круговой керамики, разумеется, без учета фрагментов амфорной тары. Равным образом, совершенно исключительным представляется и соотношение удельных весов групп лепной и кружальной посуды в этом же комплексе — 40% к 60%. Еще один подобный пример: в заполнении серии ям (всего 12 единиц) на раскопе I, т.е. в центральной части поселения, соотношение групп лепной и круговой керамики составило 52% к 48%.

Впрочем, необходимо иметь в виду, что процентное соотношение различных категорий посуды в целом по поселению несколько отличается от такового в отношении культурного слоя и строительных комплексов (жилых, хозяйственных и общественных сооружений) в отдельности. Причем отличается главным образом по группе амфор. Как установлено, в культурном слое выше процент обломков тары (до 90% общего числа керамических находок); в комплексах же этот показатель существенно ниже — всего 75-77%. Соответственно с этим меняется и удельный вес других групп посуды.

Что касается доли импортной, главным образом, ионийской и аттической (чернолаковой и расписной) керамики, то она во всей группе круговой посуды колеблется в пределах 20-25%.

Как уже отмечалось выше, практически весь керамический материал (прежде всего импортная античная посуда) поселения Старая Богдановка 2 укладывается в рамки второй половины VI — первой четверти V вв. до н.э. Правда, если иметь в виду первую часть этого хронологического отрезка, то более основательно, несомненно, представлена последняя треть VI в. до н.э. Что же касается времени керамических изделий, обнаруженных в заполнениях отдельных строительных комплексов, то в этом случае наблюдаются некоторые отличия в пределах названной общей даты, отличия, обусловленные разновременностью создания и функционирования тех или иных объектов, что и служило одним из оснований отнесения их к определенным строительным периодам поселения. Так, например, материалы уже упомянутого строительного комплекса № 15 датируются лишь второй половиной VI в. до н.э., а комплекса № 1 — последней четвертью VI — первой четвертью V вв. до н.э.

Рассмотрим отдельные группы посуды, составляющие весь обширный керамический комплекс поселения Старая Богдановка 2. Начнем с тары — остродонных амфор. Как видно из приведенных выше цифр, подавляющее место в массиве керамических находок занимают амфорные обломки, главным образом фрагменты стенок. Ясно, что многочисленность обломков амфор — этих довольно-таки крупных изделий — не отражает реального числа тары древнего поселка. Более соответствующее действительному количеству сосудов, бывших в употреблении у его жителей, дают сведения о числе амфорных ножек — их на поселении найдено 248 единиц. К этой цифре следует добавить две археологически целые амфоры, обнаруженные в заполнении строительного комплекса № 6.

Относительно небольшое число профилированных частей амфор — венчиков и ножек (Рис. 10) — позволяет представить в достаточной полной мере типологический состав группы. Создается впечатление, что он вполне обычен для керамических комплексов Северного Причерноморья второй половины VI — первой трети V вв. до н.э.

Наибольший удельный вес в группе, как и повсюду, занимают обломки хиосской пухлогорлой тары; далее по мере убывания располагаются так называемые протофасосские амфоры и красноглиняные амфоры с узким стаканообразным дном, а затем уже единичные фрагменты тары ионийского, самосского или клазоменского, лесбосского и коринфского происхождения. Наконец, определенный, впрочем, крайне небольшой процент обломков тары принадлежит, очевидно, нескольким до сих пор не известным центрам Восточного Средиземноморья.

Среди амфорных находок обращает на себя внимание ряд экземпляров, требующих по тем или иным причинам особого внимания. Это прежде всего крайне немногочисленные фрагменты тары с разного рода раскраской по горлу и тулову (Марченко, Доманский 1983: 57-58, рис.2). Особый интерес, с нашей точки зрения, представляет тара, снабженная вдавленными клеймами. Среди последней категории материала отметим два клейма на ручках амфор протофасосского типа в виде буквы «Е» и клейм в виде кружков и крестов на горлах и ножках. Этим,

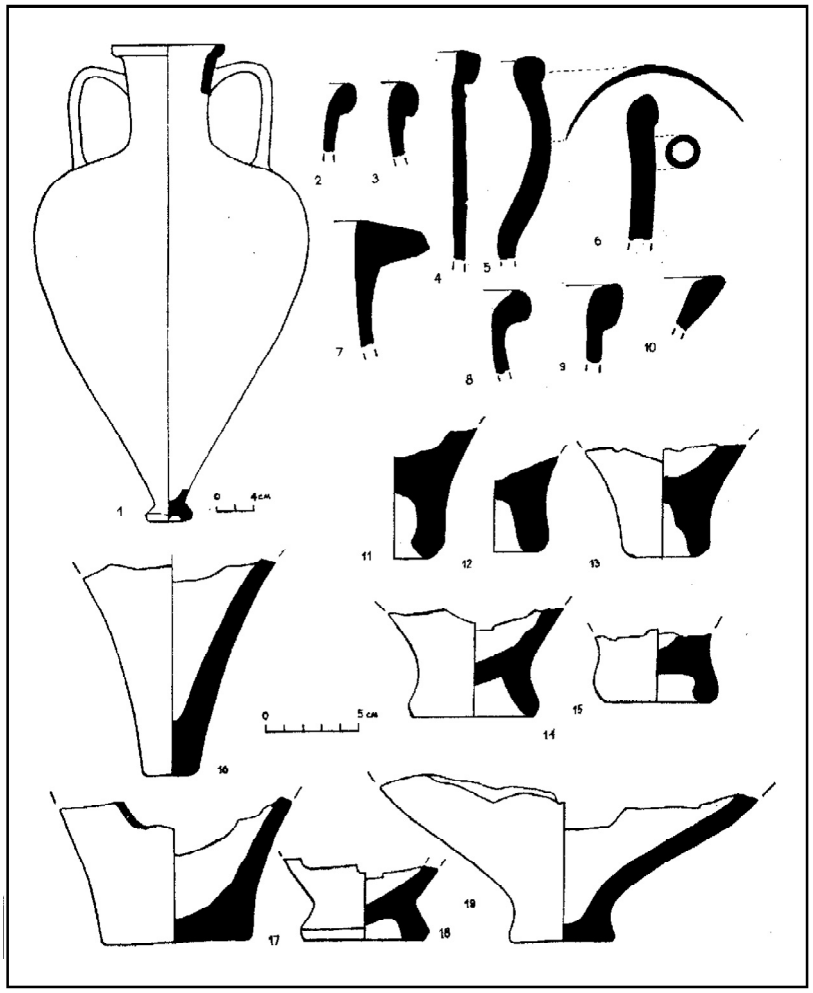


Рис. 10. Поселение Старая Богдановка 2. Амфоры.

по существу, и ограничивается набор клейменой тары поселения Старая Богдановка 2.

Крайне редко в материалах поселения выявляются обломки еще одного вида тары — пифосов. Один такой фрагмент края пифоса относительно небольшого размера был орнаментирован прочерченным орнаментом и имел свинцовую скрепу.

Определенное место в керамическом комплексе памятника занимает аттическая посуда, как расписная, так и простая чернолаковая. Расписная аттическая керамика, обычная для второй половины VI — самого начала V вв. до н.э., представлена, как правило, небольшими фрагментами чернофигурных сосудов различных форм (Марченко, Доманский 1983: 59, рис.3). Это прежде всего обломки скифосов с изображением сфинксов, датируемые самым концом VI — началом V вв. до н.э. К этому же времени, по всей видимости, могут быть отнесены фрагменты так называемых больших скифосов с фигурами менад, сатиров и сирены. Наиболее ранними экземплярами аттической керамики на поселении являются фрагменты чаш-киликов. Среди последних в первую очередь следует назвать обломки килика с изображениями оленей и петуха, принадлежащих к так называемой группе Друпа (Droop cup), датируемых еще 540-530 гг. до н.э.; к несколько более позднему времени — к 530-510 гг. до н.э. — могут быть отнесены край килика с изображением петуха и курицы (стиль мастера Тлесона) и часть лекифа с гоплитом, покидающим дом. Крайне редко в составе этой группы сосудов фиксировались обломки аттических кратеров. В одном экземпляре представлена категория фигурных сосудов.

Намного более многочисленной оказалась группа простой чернолаковой аттической посуды — скифосов, киликов и мисок. Другие формы чернолаковых сосудов этого же центра единичны. Это, например, целая солонка и целый же светильник, фрагменты леканы и аска. В составе группы отдельного упоминания заслуживает обломок края чернолакового килика с частью посвящения (Марченко, Доманский 1983: 59, рис.3, 4).

Иные, помимо Аттики, центры, изготовлявшие расписную посуду, представлены в нашем материале весьма незначительным количеством экземпляров. В их число входят коринфские сосуды, хиосские, самосские и клазоменские (Марченко, Доманский 1983: 60, 61, 63, рис. 4, 5 и 6).

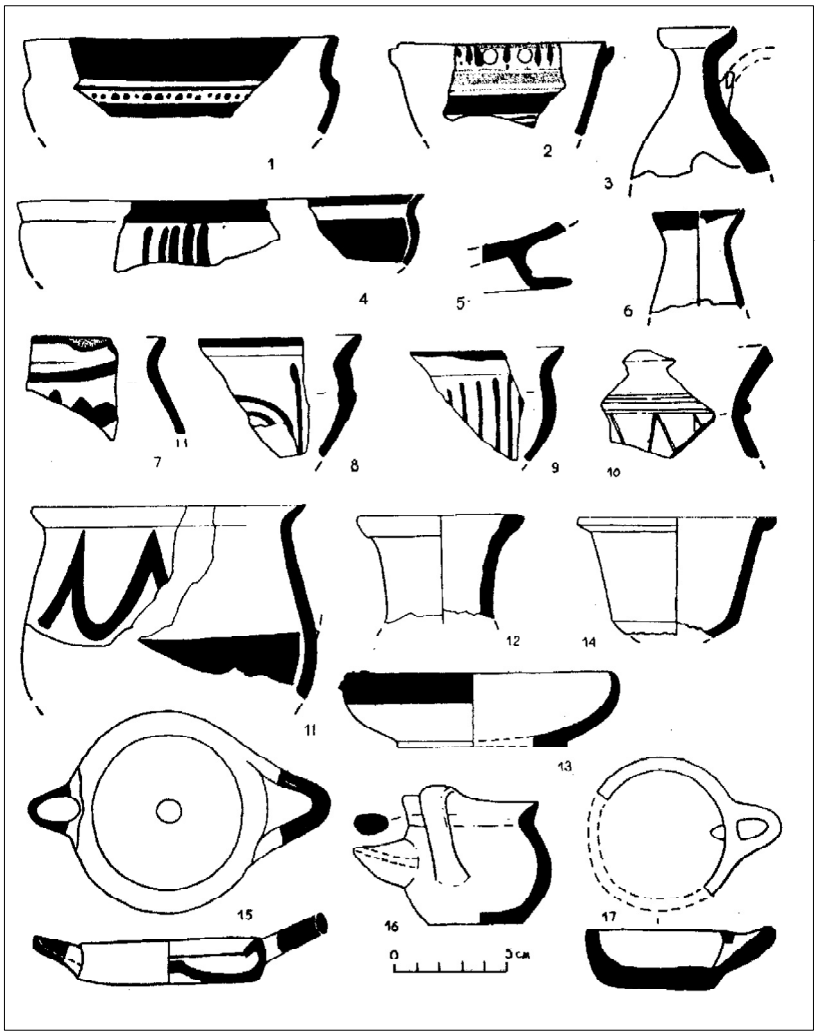


*Рис. 11. Поселение Старая Богдановка 2. Ионийская керамика (*1, 3-12, 15*); коринфский скифос (*2*); аттическая чернолаковая миска (*13*); простая посуда (*14, 16, 17*).*

Группа простой ионийской (возможно, отчасти кикладской?) керамики в коллекции состоит из сосудов довольно разнообразных форм и функций (Рис. 11). Большая часть такого рода сосудов орнаментирована горизонтальными ломаными, волнистыми и вертикальными полосками и линиями, Это — бытовая, столовая и вотивная посуда: килики, кувшины, миски, аски, флаконы, фляги, светильники. Орнамент на сосудах выполнен обычно в краске красного, коричневого, черного и пурпурного тонов, значительно реже — в рельефных и прочерченных линиях.

Вернемся, однако, к отдельным категориям старобогдановской посуды. Весьма многочисленна и разнообразна по формам и назначению обычная для поселений Нижнего Побужья позднеархаического времени простая неорнаменитрованная сероглиняная, красноглиняная и светлоглиняная бытовая, столовая и кухонная керамика (Рис. 12). Кухонная посуда содержит горшки и кастрюли различных форм, как красно-, так и сероглиняные, последние часто с подлощенной поверхностью в темном или черных тонах. Весьма значительно в этой группе посуды и количество мисок. Единичны образцы сероглиняных киликов, кубков, блюд, гуттусов и светильников. Толстостенная посуда представлена в коллекции обломками лутериев различной формы; здесь же имеются и фрагменты больших сосудов типа кратера.

Как уже упоминалось выше, группа лепной керамики в составе вещественных находок на поселении Старая Богдановка 2 занимает довольно скромное место, составляя всего 19,5% его керамического комплекса. К сожалению, едва ли не весь накопленный к настоящему времени массив такого рода посуды состоит из небольших обломков. Счастливое исключение составляют лишь два археологически целых горшка, один из которых, заметим кстати, обнаружен in situ в специальном углублении в полу строительного комплекса № 10, у так называемого «столика» (Рис. 13, 5). Данное обстоятельство естественным образом затрудняет развернутую характеристику группы сосудов, сработанных от руки без применения гончарного круга.

Не подлежит сомнению, впрочем, что лепная керамика Старой Богдановки 2 в технологическом отношении, по всей видимости, ничем существенным не отличается от подобной посуды, известной в Северном Причерноморье

по материалам могильников и поселений местных племен раннескифского времени. Здесь, как и в других районах Скифии, лепные сосуды выделывались из грубой плохо отмученной глины, содержавшей в качестве искусственных добавок-отощителей шамот и дресву. Подставку, на которой происходила формовка керамики, вероятно. посыпали песком, мелкорубленой соломой или покрывали куском грубой ткани. Наиболее употребительный вид лепки — последовательное наращивание отдельных лент на днище. Ряд горшков изготовлен начиная с венца.

Весьма важной технологической и одновременно, по всей видимости. хронологической чертой рассматриваемой керамики поселения является полное отсутствие в ее составе сосудов с лощеной или даже подлощенной поверхностью. Вся керамика группы носит на себе следы простого заглаживания поверхности пучком травы или мокрой тряпкой, причем заглаживания подчас весьма скверного качества.

В морфологическом отношении, по формальным отличиям, в группе выделяются только шесть типов. Следует сразу же подчеркнуть, что все они, будучи поневоле построенными на крайне ограниченном количестве признаков, весьма схематичны, условны и лишь в первом приближении отражают реальное разнообразие форм лепной посуды, бытовавшей на поселении.

Не подлежит сомнению, что наиболее распространенным (около 85% группы) типом лепной керамики Старой Богдановки 2 (тип первый, безусловно использовавшийся здесь в быту в течение всего времени существования поселения) являлись сосуды с более или менее отогнутым наружу заостренным, скругленным или, как вариант, плоско срезанным краем, более или менее выраженным горлом, округло выпуклыми боками и относительно небольшим плоским днищем (Рис. 13, 1-9, 13,15,21-23).

Судя по имеющемуся в нашем распоряжении материалу, виды профилей такого рода сосудов варьировали от почти прямого края, едва намеченного горла и покатых плеч до резко отогнутого края и сильно выпуклых плеч. Соответственно с этим, видимо, значительно отличались и соотношения основных широтных размеров изделий этого типа. Данное обстоятельство, несмотря на отсутствие возможности практически определить действительный размах отличий и их значимость для классификации, заставляет предполагать наличие в составе рассматриваемого типа как минимум двух вариантов форм — слабопрофилированных сосудов бочонковидной или близкой ей формы, диаметр устья которых был лишь чуть меньше или примерно равнялся большему

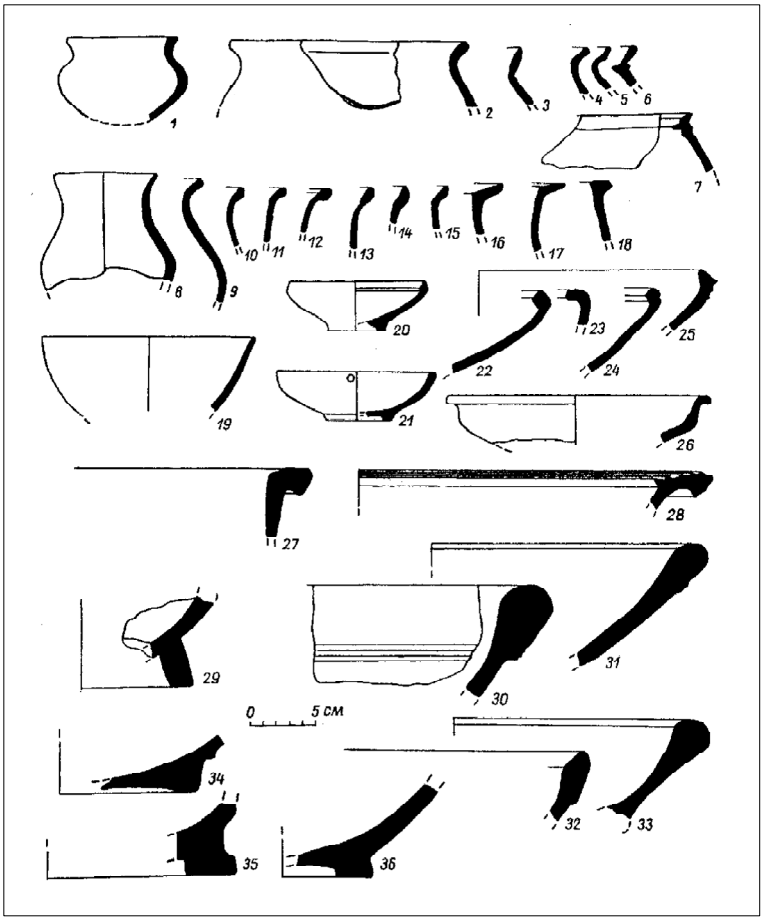


Рис. 12. Поселение Старая Богдановка 2. Простая сероглиняная, красноглиняная и светлоглиняная керамика.

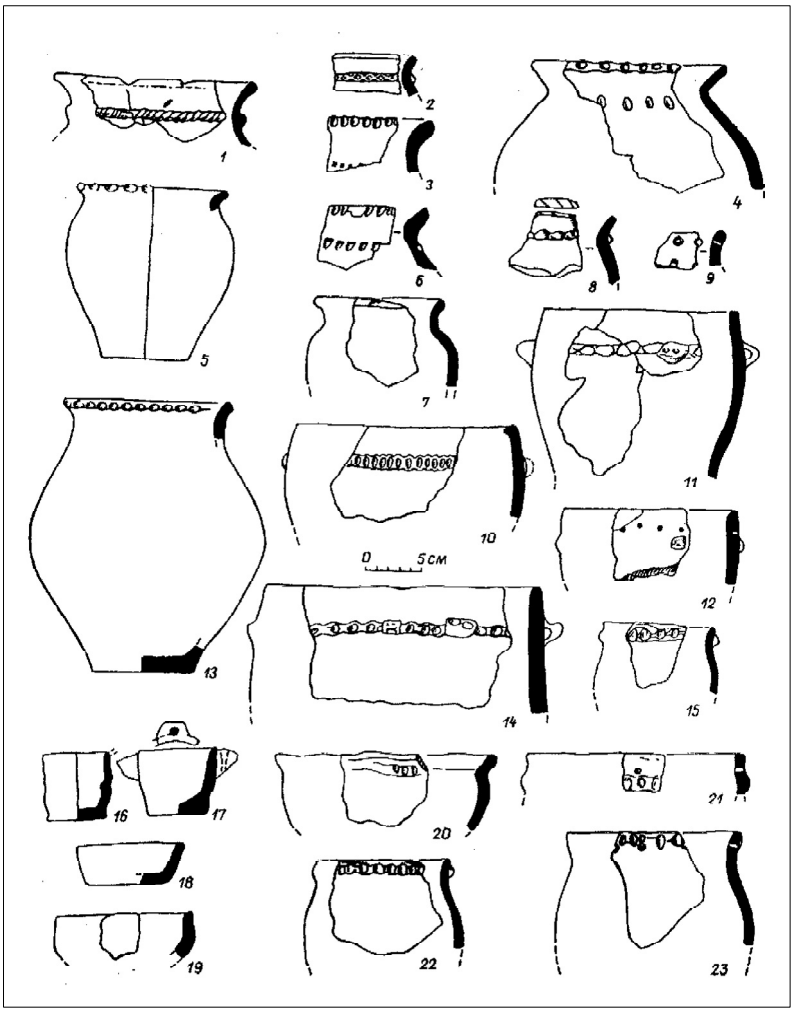


Рис. 13. Поселение Старая Богдановка 2. Лепная керамика.

диаметру тулова (Рис. 13, 15, 21-23), и горшков с четко выраженным горлом и широкими округлыми плечами (Рис. 13, 1-8, 13). К сказанному можно добавить, что, как представляется, подавляющее большинство сосудов первого типа имело в общем небольшие размеры, поскольку диаметры устьев поддающихся измерению экземпляров такого рода изделий ни разу не вышли за пределы 9—26 см.

Не менее 70% всех сосудов первого типа орнаментировано. Наиболее популярным видом украшений (около 67% орнаментированных обломков) были неглубокие пальцевые или ногтевые вдавления, нанесенные в линию по горлу или краю сосуда (Рис. 13, 4, 5, 13). Крайне редко такого рода орнаментация дополнялась вдавлениями же палочек-штампов, имевших круглую, подтреугольную или четырехугольную форму торца (Рис. 13, 3, 6).

Налепной, реже оттянутый, валик на керамике рассматриваемого типа фиксируется примерно на 33% фрагментов и, как правило, на наиболее ранних экземплярах. Практически во всех случаях валик, расположенный на горле или по краю, моделировался пальцевыми вдавлениями или защипами (Рис. 13, 2, 8, 15, 21, 22). Лишь в одном случае валик оказался расчлененным косыми вдавлениями веревочки.

Чрезвычайно существенным, с этнокультурной точки зрения, элементом декора, отмеченным не менее чем на 10% орнаментированных горшков первого типа, являются сквозные проколы по краю (Рис. 13, 9, 21, 22). Именно эти последние, на наш взгляд, позволяют с достаточной степенью достоверности устанавливать типологическую, а затем и генетическую связь определенной части керамики первого типа со сходной посудой лесостепной зоны Поднепровья и Побужья VI в. до н.э. Не подлежит сомнению присутствие в составе этой керамики и изделий (Рис. 13, 4, 5, 7, 13), имеющих прямые аналогии среди соответствующих материалов степных районов Северного Причерноморья, в том числе и самого Нижнего Побужья, включая Ольвию и Березань (Марченко 1976: 162-164, рис.3, 1-8).

Удельный вес второго типа посуды в группе лепной керамики поселения значительно ниже, чем предыдущего: всего около 11-12%. Его составляют так называемые фракийские банки (Рис. 13, 10-12, 14, 17), хорошо известные по материалам VI — V вв. до н.э. некоторых

районов степного и лесостепного Побужья и Поднестровья, но прежде всего — на территории Карпато-Дунайского бассейна. Известны они также и в составе лепной керамики VI в. до н.э. Ольвии и Березани (Марченко 1976: 162-163, рис.3, 9-11).

От сосудов первого типа их отличает полное отсутствие сколько-нибудь выраженного горла, прямые или даже слегка скошенные внутрь в верхней части стенки, а также наличие ручек-упоров в виде продолговатых налепов. Что касается основных размеров банок, бытовавших на поселении Старая Богдановка 2, то можно думать, что и в этом случае преобладали изделия средней величины. Как бы то ни было, диаметры устьев практически всех сосудов этого типа колеблются в пределах 12 — 16 см. Единственный случай отступления от этого правила — сравнительно небольшая баночка с ручками-упорами, имеющими сквозные отверстия для подвешивания (Рис. 13, 17), ничуть не меняет общего впечатления.

Около 63% всех банок орнаментировано. Основные виды орнамента в общем те же, что и отмеченные для сосудов первого типа. Можно думать, правда, о совершенно ином соотношении отдельных мотивов украшения. Так, например, создается впечатление, что банки значительно чаще (до 60% всех орнаментированных экземпляров) украшались в верхней части горизонтальными налепными валиками, моделированными пальцевыми вдавлениями или защипами. Равным образом несколько чаще валики дополнялись и сквозными проколами и наколами (Рис. 13, 12) — около 25% обломков орнаментированных банок. Следует, пожалуй, отметить и то, что в коллекции лепной керамики с нашего поселения совершенно отсутствуют изделия второго типа, украшенные отпечатками штампа.

Все остальные выделенные типы лепной посуды Старой Богдановки 2 — от третьего до шестого включительно — крайне малочисленны и в общем объеме группы едва ли составляют более 2-3% обломков. Это прежде всего лепные кастрюли — явная имитация наиболее расхожей формы греческой круговой кухонной керамики. К сожалению, в коллекции не оказалось ни одного целого сосуда такого рода. Наиболее показательным обломком керамики третьего типа, на наш взгляд, является фрагмент верхней части кастрюли с коротким отогнутым наружу краем, имеющим уступ под крышку, и покатыми, резко сходящимися к явно небольшому, возможно, круглому дну, стенками (Рис. 13, 20). Существенным, с этнокультурной точки зрения, элементом этой кастрюли кажется обычная именно для лепной керамики Северного Причерноморья орнаментация в виде небрежных пальцевых вдавлений по венчику.

Четвертый тип — небольшая кружка с прямыми стенками и, по всей видимости, простой петельчатой вертикальной ручкой (Рис. 13, 16). Внутри кружки фиксировались следы длительного воздействия огня на стенки. Наличие лепных сосудов с подобными ручками в составе группы лепной керамики поселения засвидетельствовано в коллекции еще одной круглой петельчатой ручкой.

Пятый тип — миски в виде перевернутого усеченного конуса (Рис. 13, 18).

Шестой тип — миски со сферическим туловом и чуть загнутым внутрь краем (Рис. 13, 19).

Завершая описание лепной керамики поселения, следует заметить, что, помимо указанных выше типов, здесь могли существовать еще какие-то более редкие и специфичные формы, по тем или иным причинам не попавшие в коллекцию или представленные в ней очень небольшими обломками, не позволяющими даже примерно представить себе тип изделия (например, фрагмент фигурной подставки сосуда).

Сопоставление выделенных типов посуды поселения Старая Богдановка 2 с керамикой синхронных памятников Северного Причерноморья и Карпато-Дунайского бассейна дает возможность рассматривать подавляющую часть группы в ряду остатков материальной культуры местного, автохтонного населения раннескифского времени. Вместе с тем, создается впечатление, что сама эта керамика в этнокультурном отношении неоднородна. В ней, как и в керамике Ольвии и Березани, могут быть выделены по меньшей мере четыре генетически различные части, а именно: керамика, связанная с населением лесостепных районов Правобережной Украины; керамика, аналогичная бытовавшей у жителей степной зоны Северного Причерноморья; баночные сосуды фракийского облика и, наконец, посуда, имитирующая в лепной технике наиболее популярные формы греческой кружальной кухонной и бытовой керамики.

Наконец, заметим, что наличие в составе второго типа сосудов довольно большого числа изделий, украшенных также сквозными проколами и наколами, — орнаментацией, характерной прежде всего и главным образом для посуды лесостепных районов Украины, — заставляет в данном случае усомниться в территории Карпато-Дунайского бассейна как непременном и прямом источнике проникновения сюда, на поселение Старая Богдановка 2, носителей керамики этого типа и расширить ареал поиска этого источника районами лесостепного Побужья и Поднестровья, где, как известно, аналогичная керамика с проколами составляла в VI в. до н.э. довольно заметный процент керамического комплекса местных жителей.

Кроме посуды, на поселении Старая Богдановка 2 встречен вещественный материал самого различного назначения и характера — от весьма малочисленных и невыразительных

групп до более или менее значительных категорий предметов, позволяющих составить определенное представление и о них самих, и об их роли в жизни поселка. Ниже рассматривается весь этот материал, начиная с изделий явно производственного характера (см. также: Марченко, Доманский 1983: 69, рис.10).

Предметы из камня: обломок кремневого орудия; фрагменты и целая зернотерка — плоская, вытянутая четырехугольная в плане и уплощенно-овальная в поперечном сечении плита; точильный песчаниковый брусок (Рис. 14, 41) и оселок (Рис. 14, 42); терочник; округлой формы грузила для рыболовных снастей; три плоских больших крышки от хозяйственных ям и одна от пифоса; обломок литейной формы, должно быть, для отливки каких-то украшений.

Железные предметы: часть обкладки с остатками заклепок (Рис. 14, 44); несколько обломков удлиненных пластин, возможно, лезвий ножей (Рис. 14, 36, 37) и фрагмент лезвия ножа с горбатой спинкой (Рис. 14, 35); обломки втоков (Рис. 14, 46) и, отметим особо, остатки большого орудия, может быть, мотыги (Рис. 14, 43).

Предметы из глины: обломки жаровен (тип не устанавливается); круглые, возможно, рыболовные или ткацкие грузила (Рис. 14, 40); многочисленные пряслица, в основном бочонковидной, круглой и биконической формы (Рис. 14, 22-26, 29-31).

Большинство перечисленных предметов — производственного (хозяйственного) назначения, орудия труда. К подобным вещам добав-

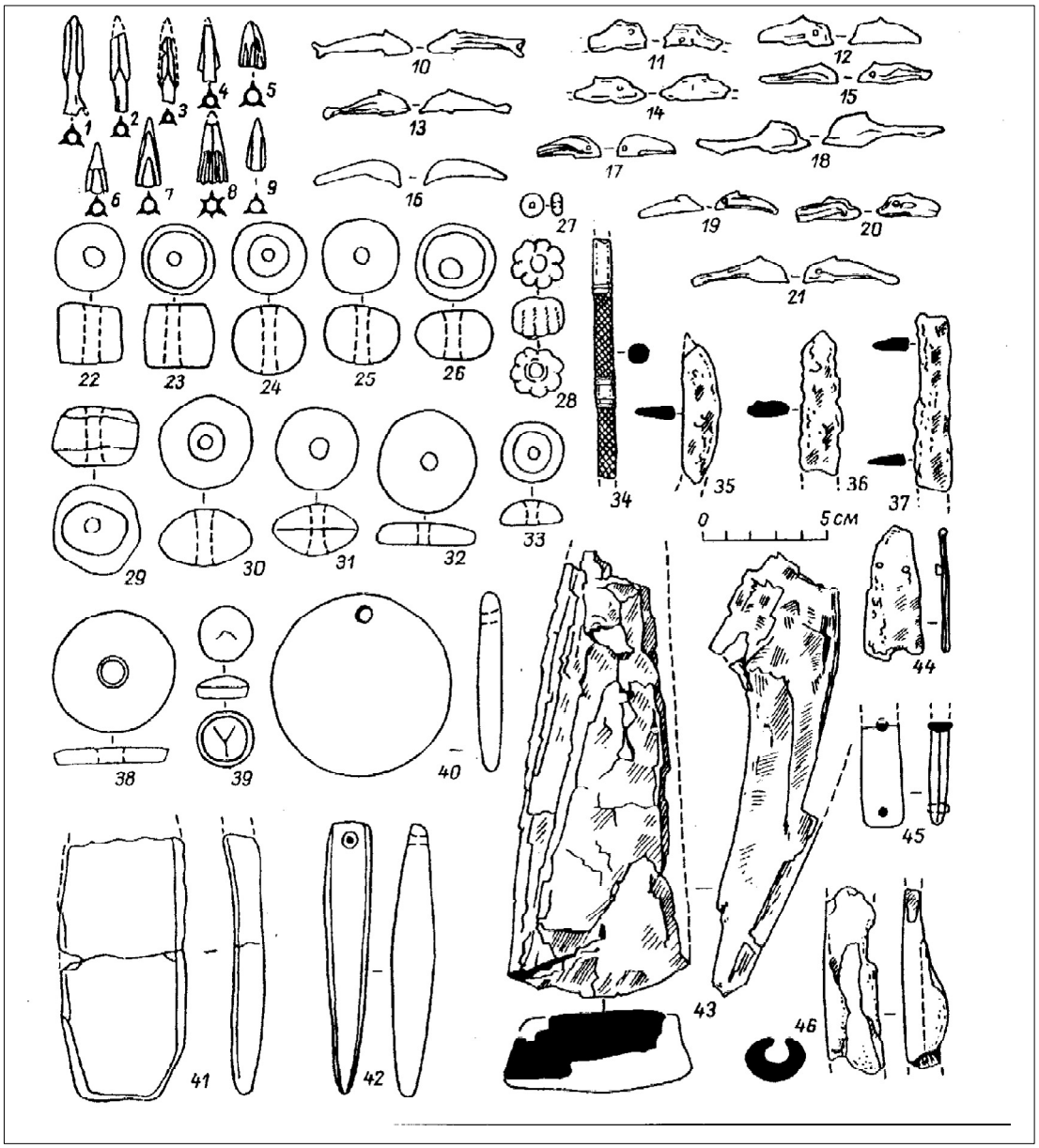


Рис. 14. Поселение Старая Богдановка 2. Изделия из железа, бронзы, свинца, кости, камня, глины и керамики.

ляются изделия, выполненные из стенок амфор, это — грузила и пряслица (Рис. 14, 32). Остальные вещи, упоминаемые ниже, как по своему назначению, так и по материалу, из которого они изготовлены, также весьма разнообразны.

Грузилами и пряслицами из амфорных обломков не ограничивается перечень предметов из обломков круговых сосудов. Сюда же относятся различные поделки из стенок амфор, чернолаковых, сероглиняных сосудов, о применении которых сказать что-либо определенное в настоящее время весьма затруднительно, это — так называемые намотки и, наконец, остракон из фрагмента чернолакового сосуда.

Предметы из кости: часть ручки ножа (Рис. 14, 45); обломок стержня, покрытый резным геометрическим орнаментом в виде густых пересекающихся под прямым углом прочерченных линий (Рис. 14, 34); круглая поделка со сквозным отверстием в центре (Рис. 14, 38); небольшая пронизка в виде кольца.

Предметы из разных материалов (по одной вещи): бронзовая гирька со знаками в виде букв «Щ» и «Ы» (по одной на каждой из сторон) весом в 23 г (Рис. 14, 39); свинцовое пряслице (Рис. 14, 33) и обломок терракотовой статуэтки (часть ноги и кресла).

Категория вещей-украшений почти целиком исчерпывается бусами. По материалу их две небольшие группы: пастовые и стеклянные. Пастовые: маленькие бусины (Рис. 14, 27) и крупная фигурная (Рис. 14, 28). Стеклянные: фигурная и округлая, полихромная, с синими глазками и желтыми «бородавками».

Предметы вооружения. Образуют эту группу вещей только наконечники стрел (может быть, упомянутые выше железные втоки относятся к данной категории вещей). Все наконечники бронзовые, за исключением одного, железного (Рис. 14, 3), все трехлопастные, большинство базисные, шесть экземпляров с более или менее длинной втулкой, два опорно-втульчатые (Рис. 14, 1-9). Старобогдановский набор наконечников стрел датируется второй половиной VI — началом V вв. до н.э. и принадлежит второй хронологической группе этого вида вооружения (Мелюкова 1964: 21).

Завершает этот обзор вещественных материалов серия нумизматических находок поселения Старая Богдановка 2. Это 23 бронзовые монеты-рыбки, так называемые ольвийские дельфинчики, характерные для Ольвии позднеархаического времени (Рис. 14, 10-21).

Раздел 3. Общая характеристика поселения

Итак, подведем некоторые итоги нашего обозрения материалов. Создается впечатление, что типологический состав керамического комплекса поселения Старая Богдановка 2 в общем и целом аналогичен неоднократно фиксированным соответствующим комплексам позднеархаического времени в Нижнем Побужье. Впрочем, совершенно очевидно даже в первом приближении, что он все-таки несколько беднее в сравнении с тем, что дают такие центры этого района, как Ольвия и Березань.

Состав вещественных находок иных категорий также мало чем отличается от находок на других синхронных памятниках района и, пожалуй, ничем не выдает специфики Старой Богдановки.

В составе генетически неоднородной лепной керамики представлены все основные типы посуды, отмеченные ранее для Ольвии и Березани второй половины VI — начала V вв. до н.э.

Этими соображениями открывается заключительный раздел обзора материальной культуры поселения, посвященный некоторым моментам и выводам исторического характера.

Античное поселение у с. Старая Богдановка, получившее в научной литературе условное наименование Старая Богдановка 2, возникло, видимо, в третьей четверти VI в. до н.э., скорее всего, в конце этого двадцатипятилетия. Факт существования в это время Ольвии, расположенной южнее, в 14,5 км от Старой Богдановки 2, и целого ряда поселений на территории ольвийской сельскохозяйственной округи заставляет предполагать решающую роль Ольвийского полиса в возникновении старобогдановского поселения и именно в ряду других пунктов района, т.е. в процессе формирования ольвийской хоры.

Нам уже приходилось говорить о трех строительных периодах в развитии поселения, которые в значительной мере отражают три исторических этапа его жизни. Думается, что два первых этапа, целиком укладывающиеся еще во вторую половину VI в. до н.э., в отношении как непосредственно строительного дела, так и всего быта поселка, очень схожи и во многом едины (разве что практически полностью исчезают круглые структуры). Те процессы, которые возникли еще на первом этапе, продолжали, возможно, существовать и сохранять свое значение и далее. С этой точки зрения, вполне вероятно, и следует оценивать хозяйственную деятельность жителей поселения во время, охватившее не менее двух третей его жизни.

Можно предположить, что основную роль в экономике Старой Богдановки 2 с момента основания этого поселения играло сельское хозяйство. Именно этот род хозяйственной деятельности, по всей видимости, во многом определял быт и облик поселка в течение первых двух-трех десятилетий его существования. Впрочем, что касается земледелия, то прямых данных на сей счет в нашем распоряжении немно-

го. Самое главное препятствие на пути изучения формы и масштабов землепользования того времени — практически полное уничтожение всех возможных следов межевания и т.п. в окрестностях поселения современной плантажной вспашкой под виноградники. Некоторые материалы прямого и косвенного характера дает лишь сама Старая Богдановка. Это прежде всего многочисленный комплекс (61 единица) различных хозяйственных ям и углублений в материке, хотя бы и частично, надо думать, использовавшихся для хранения земледельческой продукции и зерна. Очень важна, с этой же точки зрения, находка большого железного орудия для обработки земли — случай сам по себе чрезвычайно редкий для поселений архаического времени Северного Причерноморья. Как уже отмечалось выше, скорее всего это мотыга. Заметим, кстати, что мотыга была обнаружена в заполнении строительного комплекса № 15 — одной из наиболее ранних построек поселения.

О скотоводстве мы можем судить значительно полнее. За все годы раскопок на поселении было собрано более 7000 единиц костей различных животных, птиц и рыб. Подавляющее количество поддающихся определению костей коллекции — не менее 95% массива — принадлежало домашним животным. Первое место в стаде Старой Богдановки 2 — около 46% особей — занимал мелкий рогатый скот — овцы и козы; второе по численности место принадлежало крупному рогатому скоту, прежде всего быкам — около 36% особей; на третьем месте — около 10% особей — находилась свинья, и лишь на четвертом — около 8% особей — лошадь. Весьма разнообразны и многочисленны на поселении были собаки.

Судя по этим же данным остеологических остатков, лишь около 14% крупных домашних животных и не более 25% коз и овец погибало (забивалось) молодыми, т.е. в возрасте до двух лет, что определенно свидетельствует в пользу хорошо развитой кормовой базы, с одной стороны, и, возможно, не мясной по преимуществу направленности скотоводства на поселении, с другой. Данное обстоятельство, как, впрочем, и относительно большой процент взрослых особей крупного рогатого скота в стаде, создают впечатление, что животных жители поселения Старая Богдановка 2 разводили и использовали прежде всего и главным образом для получения шерсти, молока и как тягловую силу.

Среди относительно немногочисленных остатков диких животных выделены кости кабана, сайги, зайца-русака и, возможно, кулана; отмечено присутствие костей различных птиц. Небольшое количество костей диких животных явно указывает на весьма скромную роль, которую играла охота в пополнении мясного рациона жителей поселения.

Несомненно, жители Старой Богдановки 2 занимались рыболовством: грузила от ставных сетей из различных материалов довольно хорошо представлены в вещественном комплексе поселения. Судя по остеологическим материалам, объектами рыбной ловли были главным образом осетровые, карп и сом, т.е рыбы промысловые.

О ремесленных занятиях в Старой Богдановке 2 можно высказать лишь некоторые, весьма осторожные предположения. Очевидно, существовало прядение (судя по находкам весьма многочисленных пряслиц). Керамическое производство, но только в части изготовления в домашних условиях лепной посуды, как будто подтверждается зафиксированными в культурном слое и заполнении некоторых комплексов кусочками глиняных шлаков. Следует признать все же, что таких следов крайне мало. Подобное же суждение может быть высказано и о металлургическом деле — встречен всего один невыразительный обломок литейной формы. Правда, к нему можно добавить еще одну литейную форму, найденную среди подъемного материала в окрестностях памятника, но это и все.

По-видимому, сами жители поселения производили некоторые, если так можно выразиться, вторичные изделия и поделки, например, из обломков той же керамики — грузила, пряслица, «намотки» и т.п. Несомненно также, осуществлялись различные операции с легкодоступным сырьем, скажем, камнем.

Вернемся, однако, к керамическому комплексу поселения. Совершенно очевидно, что его большая часть — это привозные вещи. Таковыми была амфорная тара, аттические и ионийские сосуды, да и подавляющая часть (если не вся) круговой простой и кухонной посуды. Представляется более чем вероятным, что эти вещи попадали сюда, на поселение, из Ольвии, как импортированные этим городом, так и произведенные там на месте. Таким же, по-видимому, был путь и большинства некерамических изделий.

Скорее всего, не только к торговле сводились связи поселения с Ольвией. Вещи поступали сюда не только в виде товара, но прибывали с людьми, приехавшими из города и здесь поселившимися или же жившими в Ольвии, но владевшими чем-то в поселке. Это было неизбежно, поскольку буквально все развитие Старой Богдановки, и прежде всего всемерное расширение и совершенствование ее строительного дела, чрезвычайно схожи с изменениями, хорошо зафиксированными ныне в самом центре полиса — Ольвии и на Березани. Думается, сомневаться в такой ситуации в настоящее время не приходится. Многообразные и теснейшие связи — культурные, хозяйственные и, вполне возможно, политические в подобном случае были неизбежны — это контакты сто-

рон, входивших в единый экономический организм. Поселение поставляло городу продукты своего труда, и мы можем предполагать, что это была продукция сельского хозяйства.

Очевидно, так продолжалось приблизительно до рубежа VI — V вв. до н.э. В это время происходит серьезная и, вероятно, одноразовая перестройка сооружений всего поселения, превратившегося в комплекс сырцово-каменных строений, окруженных каменными же вымостками. Можно предполагать, что те тенденции и силы, которые зародились еще в первые периоды существования поселения, его прямая и теснейшая связь с Ольвией, привели к качественному изменению и некоторых, в том числе экономических, функций Старой Богдановки 2, одним из свидетельств чего явилось полное исчезновение хозяйственных ям на ее территории. С другой стороны, помимо монументального, скорее всего, культового сооружения на его юго-восточной окраине, в районе, вероятно, специально отведенном для этого, возникает огромное наземное здание, несомненно, особого, но никак не жилого назначения — строительный комплекс № 14.

Чтобы в полной мере оценить значение данной трансформации Старой Богдановки 2, следует, по-видимому, учитывать тот факт, что этот пункт был одним из наиболее северных, крайним местом обитания жителей ольвийской округи, и одновременно, быть может, своеобразным форпостом Ольвии. Вместе с тем, хорошо известно, что поблизости от этого поселения, чуть южнее его, на расстоянии от нескольких сот метров до 1,0 — 1,5 км. существовало тогда же более десятка мелких населенных пунктов. Все сказанное позволяет набросать следующую, разумеется, чисто гипотетическую картину сложившейся ситуации.

Есть веские основания полагать, что в рассматриваемый период в Нижнем Побужье в целом начинает возникать неспокойная обстановка, обусловленная развитием общей ситуации в Скифии, обстановка, естественным образом затрагивавшая прежде всего наиболее северные районы Нижнего Побужья (Марченко 1979: 136; Виноградов 1980: 107). Как можно догадываться, и Старая Богдановка 2, и Ольвия попытались приспособиться к новым условиям. В результате на поселении теряются какие-то элементы хозяйствования и возникают новые качества, обязанности, в том числе и по отношению к окружающему населению. Поселение превращается в общественный и культовый центр ближайшей округи. Одновременно он приобретает функцию убежища для местных жителей и их скота, для чего, по-видимому, возводится комплекс № 14. С другой стороны, соседние относительно небольшие пункты как бы перенимают некоторые хозяйственные функции Старой Богдановки 2, и на их территории начинают действовать огромные специализированные зернохранилища (Отрешко 1980: 317).

В сложившейся новой обстановке старобогдановское поселение достаточно устойчиво существует почти всю первую четверть V в. до н.э. В конце этого периода жизнь на территории Старой Богдановки 2 временно прекращается. Впрочем, следов внезапной и быстрой гибели этого памятника не обнаружено. Очевидно, жители имели возможность покинуть обжитые места в достаточно спокойной обстановке. Причиной тому могла стать все углубляющаяся тревожная ситуация в этом районе. Собственное убежище уже не могло гарантировать безопасность ни самих «старобогдановцев», ни окрестного сельскохозяйственного населения. Вместе с концом Старой Богдановки 2 замирает жизнь и на подавляющем большинстве близкорасположенных поселений ольвийской округи.

Первые признаки возрождения оседлой жизнедеятельности в этом районе приходятся на последнюю треть V в. до н.э. Именно в это время на ранее покинутой территории поселения Старая Богдановка 2 выкапывается новая огромная землянка — комплекс № 24, — сооружение которой призвано было, по всей видимости, вновь возродить особую роль этого населенного пункта в хозяйственной, культурной и, быть может, религиозной сферах деятельности населения Нижнего Побужья классического периода.

Глава 2.
Античное поселение Куцуруб 1

Раздел 1. Строительные комплексы

Вторым памятником Нижнего Побужья архаического времени, облик и материальная культура которого могут быть представлены в настоящее время с достаточной полнотой, является, несомненно, поселение получившее условное название Куцуруб 1 (Крижицкий, Бураков, Буйских, Отрешко, Рубан 1980: карта, № 46). Указанный памятник был основным объектом исследований Нижнебугской античной экспедиции ЛОИА АН СССР в 1980, 1981 и 1984 гг. (Марченко, Доманский 1986: 42 сл.; Марченко, Соловьев 1988: 49 сл.; Марченко, Доманский 1991: 57 сл.). В результате этих исследований здесь была раскрыта площадь, равная 2180 кв. м. Расположение отдельных раскопов относительно друг друга, уровень сохранности поселения в целом дают возможность считать полевые исследования в основном завершенными.

Поселение Куцуруб 1 расположено на восточной окраине села Куцуруб Очаковского района Николаевской области, в 20 км к юго-западу от Ольвии и в 7,5 км к северо-востоку от г. Очакова. Территория поселения занимает приустьевый мыс, образованный крутым восточным склоном древней балки и высоким, быстро разрушающимся берегом Днепровского лимана (Рис. 15). Значительная часть памятника уже погибла в результате береговых оползней. Сохранившийся участок имеет протяженность по береговому обрыву, с запада на восток, около 200 м, в глубь плато — до 125 м. Вся территория до недавнего времени полностью находилась, а северо-западная треть находится и до сих пор в зоне интенсивной строительной и хозяйственной деятельности людей, оставившей после себя развалины усадеб, разного рода заплывшие ямы, отчетливые следы огородов и виноградников, оплывшие окопы и щели времен Отечественной войны.

В результате позднейшей строительной и хозяйственной деятельности людей — многолетней копки и распашки современных огородов и виноградников — исторически сложившаяся «естественная» стратиграфия культурных напластований поселения оказалась практически полностью уничтоженной. Нетронутыми остались лишь небольшие участки в пределах бывших дворов отдельных усадеб. Тем не менее, есть все основания полагать, что первоначальная мощность культурного слоя памятника нигде не превышала 0,5-0,7 м и имела четко выраженную тенденцию к выклиниванию в западном направлении, т.е. в сторону древней балки.

Как уже отмечалось выше, за все годы работ на поселении Куцуруб 1 была раскрыта площадь, равная 2180 кв. м. Исследованию подверглись семь береговых участков — раскопы I-VII. На шести участках (раскопы I-III, V-VII) выявлены остатки 38 строительных комплексов и большая серия (всего 140 единиц) ям двух периодов существования поселения, а именно второй половины VI — первой четверти V вв. до н.э. — первый период, и последней трети V — начала III вв. до н.э. — второй период (Рис. 16; 17). На основании датировок греческой импортной керамики большинство открытых сооружений — 19 строительных комплексов (№ 1-3, 10-14, 16-19, 23, 26, 28-32) и 65 ям — может быть надежно отнесено к первому из указанных периодов, т.е. к позднеархаическому времени. Еще один строительный комплекс — № 9 — отнесен к этому же времени в силу его типологического сходства с хорошо датируемыми строениями. Десять строительных комплексов — № 4, 5, 8, 15 и 33-38, — а также 75 ям функционировали позднее, т.е во втором периоде. Остатки семи последних комплексов — № 6, 7, 20, 21, 24, 25 и 27 — из-за крайне плохой сохранности или недостаточной изученности пока не могут быть четко интерпретированы и в настоящей работе специально не рассматриваются.

Как представляется, количество строительных комплексов второй половины VI — первой четверти V вв. до н.э. поселения Куцуруб 1, их расположение на территории этого памятника и относительно друг друга позволяет считать нашу выборку вполне репрезентативной.

В конструктивном отношениии подавляющее большинство — 19 единиц — строительных комплексов позднеархаического периода существования поселения Куцуруб 1 принадлежит к одному типу круглых однокамерных заглубленных в землю структур. Размеры отдельных построек этого типа заметно варьируют. Как установлено, впрочем, амплитуда колебания площадей строений (14 единиц из 20-ти) сравнительно невелика — от 7,5 кв. м до 12,0 кв. м; три комплекса нашей выборки — № 14, 17, 32 — отличались крайне небольшими размерами — от 4,0 кв. м до 6,0 кв. м, а три других — № 29, 1 и 9 — имели площадь равную 16,5, 18,0 и 25,0 кв. м соответственно.

Существенные различия строительных комплексов описываемого типа фиксируются и в степени их заглубленности в землю, причем эта заглубленность, по всей видимости, прямо не коррелировала с размерами построек. Как бы

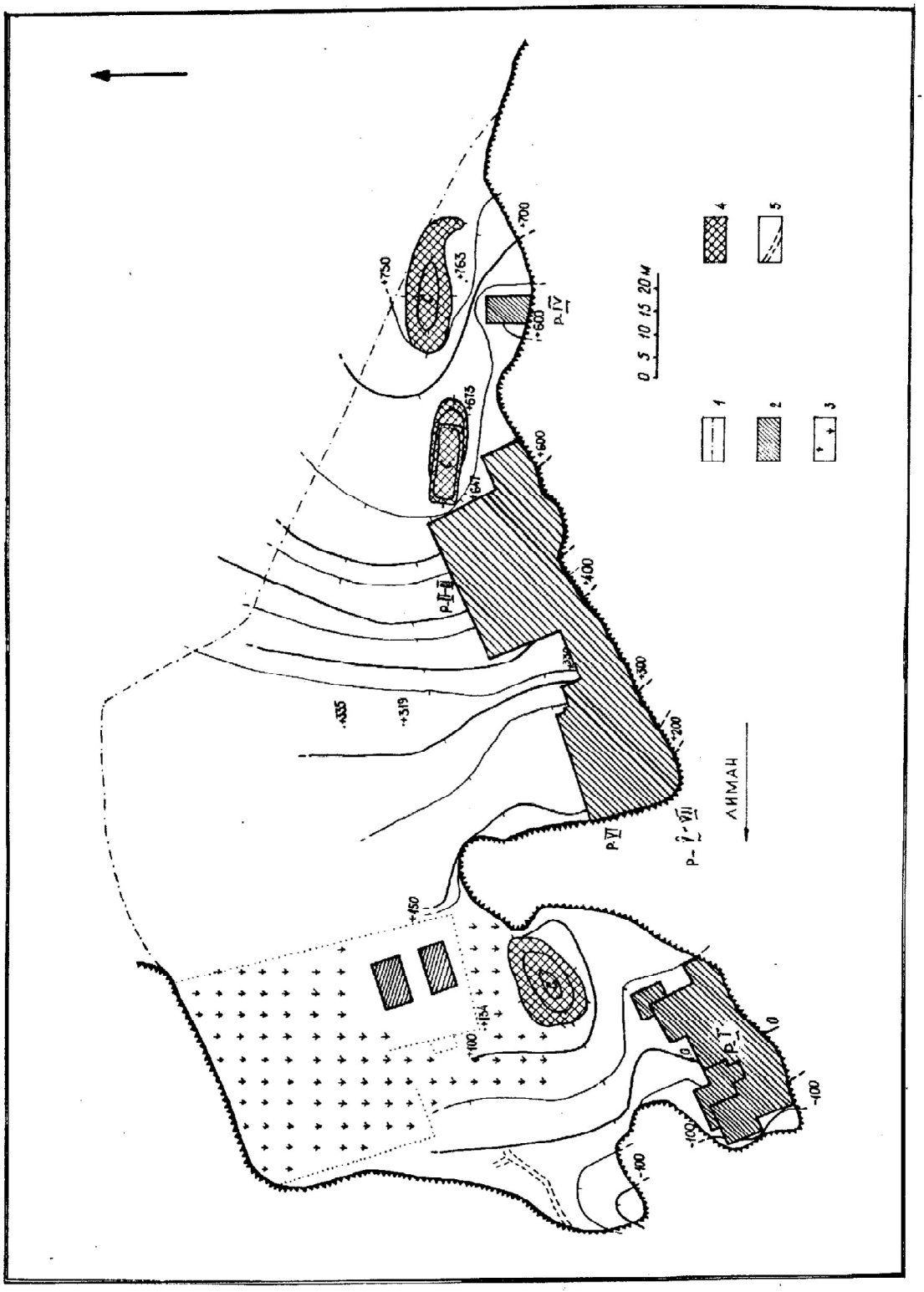


Рис. 15. Поселение Куцуруб 1. План: 1- *граница поселения;* 2 - *раскопы;* 3 - *современные огороды;* 4 - *современные постройки и их развалы;* 5- *окопы военного времени.*

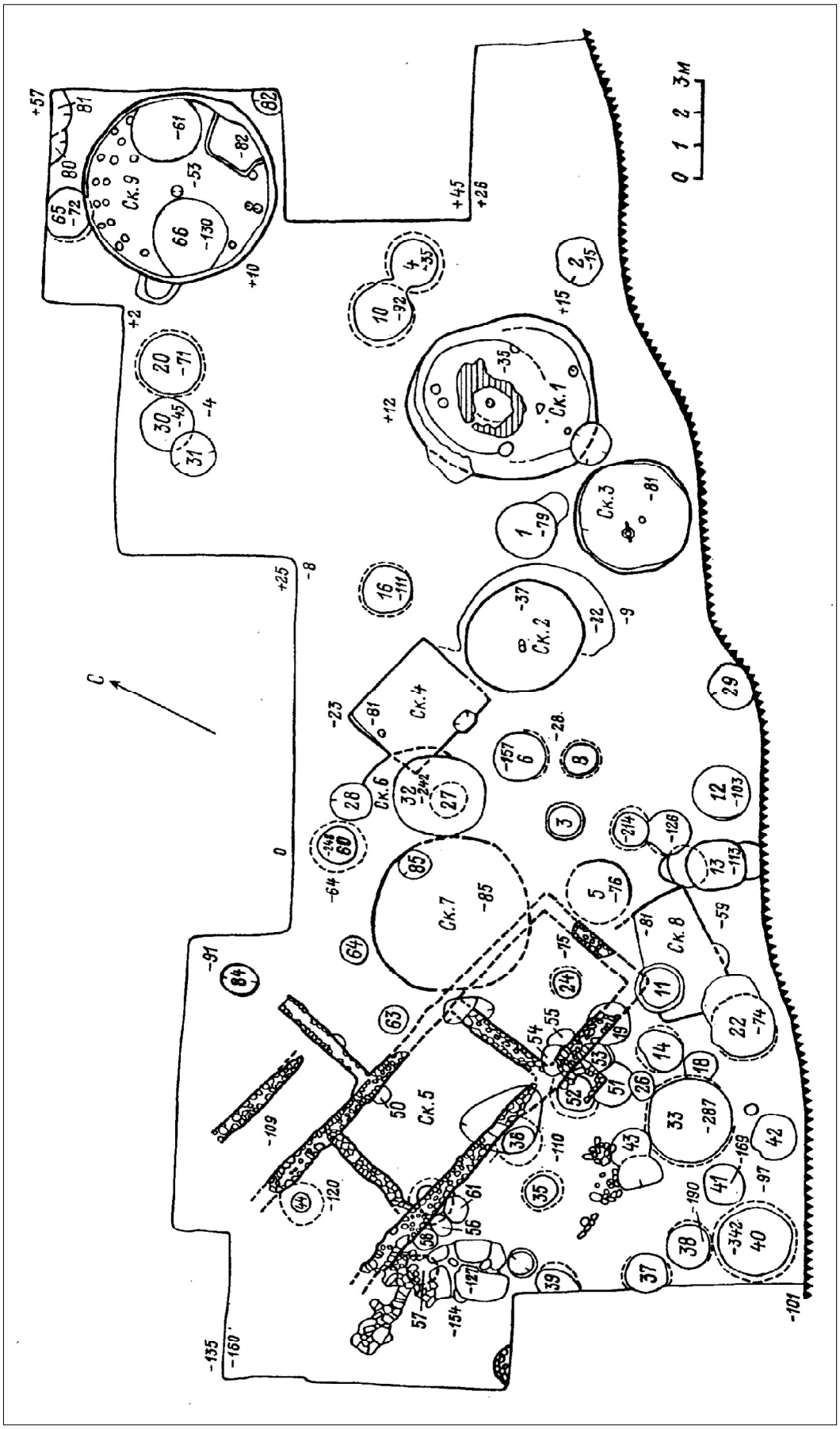


Рис. 16. Поселение Кущуруб 1. Раскоп 1. План.

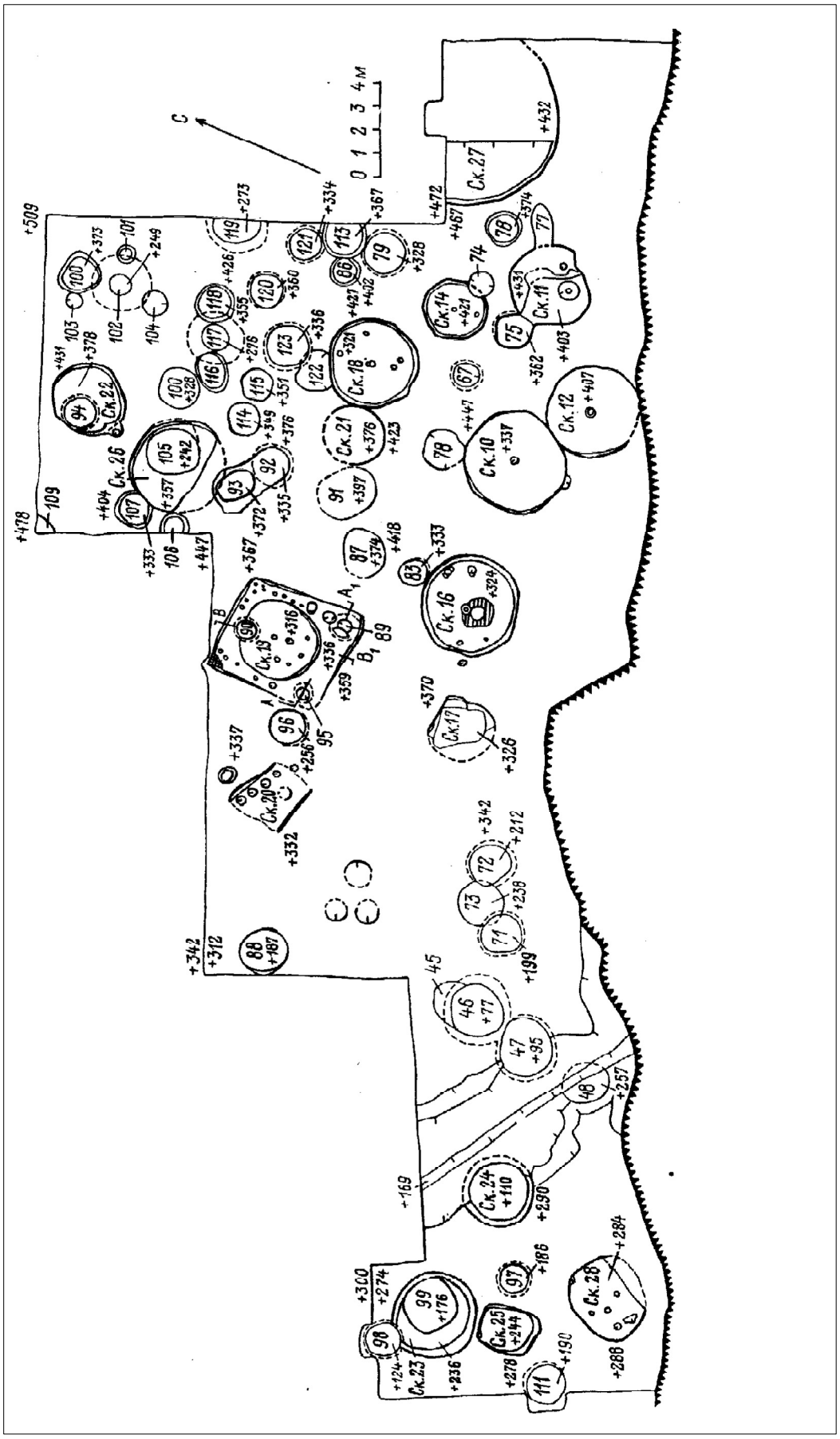


Рис. 17. Поселение Куцуруб 1. Раскоп II-III. План.

Рис. 18. Поселение Куцуруб 1. Строительный комплекс № 1.

там ни было, данное обстоятельство позволяет, на наш взгляд, выделить в составе этого типа как минимум два варианта сооружений: строения, впущенные в материк на глубину от 0,2 до 0,6 м, при которой большая часть стенок должна была возвышаться над поверхностью, условно называемые далее в тексте работы полуземлянками, — строительные комплексы № 1, 2, 11, 12, 14, 17, 22, 23, 26, 28, 29, 31, 32 (Рис. 18), и строения, пол, которых находился на глубине от 0,7 до 1,4 м от уровня синхронной поверхности, так называемые землянки — строительные комплексы № 3, 9, 10, 13, 16, 18. 30 (Рис. 19).

Борта котлованов всех наиболее сохранившихся землянок и полуземлянок поселения ровные, почти вертикальные, без видимых остатков штукатурки и т.п. Пол большинства построек материковый, иногда (строительные комплексы № 9, 10, 14, 16, 18, 26 и 30) со следами явной утоптанности и глиняными промазками. Помимо этих, только что упомянутых, характерных признаков, комплексы этого типа объединяет отсутствие в них каких-либо остатков постоянных печей или очагов для обогрева помещения и варки пищи.

В шестнадцати из двадцати строительных комплексов позднеархаического времени существования поселения обнаружены весьма немногочисленные следы внутренних конструкций, хозяйственные углубления и детали интерьера в виде небольших конических ямок от опорных столбов, разного рода ям, ниши в борту котлована, материкового останца и сырцово-глиняных сооружений, позволяющих высказать ряд дополнительных замечаний об облике данного типа построек.

Эти наблюдения дают возможность полагать, что большинство комплексов (землянок и полуземлянок) имело центральный опорный столб, поддерживавший, по-видимому, шатровое перекрытие. В ряде случаев (комплексы № 1, 9, 14, 16, 18 и 30) центральный опорный столб дополнялся еще несколькими, расположенными как по периметру котлована, так и в его различных частях, что как будто может служить указанием на каркасно-столбовую конструкцию стен, по крайней мере, у некоторых из построек.

В пяти строительных комплексах в полу было обнаружено по одному хозяйственному углублению. В четырех случаях (строительные комплексы № 22, 23, 26 и 32) ими оказались круглые в плане и глубокие (от 0,8 до 2,0 м) ямы грушевидной формы, расположенные у одного из бортов котлована; в пятом (землянка № 9) — небольшое подчетырехугольное углубление площадью в 2,0 кв. м у восточного борта котлована. В верхней части южного края котлована полуземлянки № 22 выявлена четырехугольная выемка (0,4 × 0,5 × 0,25 м – глубина) с небольшой конической ямкой от опорного столба. Всю северо-восточную треть площади строительного комплекса № 11 занимал высокий (до 0,4 м), но относительно узкий (около 1,0 м) материковый останец, своего рода «лежанка». В центре землянки № 16 на полу открыто невысокое (около 0, 1 м) «кольцо» из сырца диаметром около 1,3 м и шириной «ленты» до 0,3 м (Рис. 19). Еще одно сходное, но

значительно хуже сохранившееся сооружение из слабообожженной глины мощностью в 0,02 м на невысокой (в 0,05 м) золистой подушке выявлено в центре полуземлянки № 1 (Рис. 18).

На этом, собственно говоря, и заканчивается перечень деталей, отмеченных при раскрытии круглых однокамерных заглубленных в землю относительно синхронной поверхности строительных комплексов (землянок и полуземлянок) поселения Куцуруб 1 позднеархаического времени. К сказанному остается лишь добавить, что вещественные находки in situ были обнаружены только в двух из двадцати построек этого типа. Ими оказались: нижняя часть амфоры протофасосского типа, вкопанная в центр пола землянки № 3, содержавшая 8 небольших круглых поделок из амфорных стенок, возможно, культового назначения, и около 40 мелких обломков керамики второй половины VI в. до н.э., найденных между отдельными глиняными промазками пола землянки № 10.

Последний из строительных комплексов позднеархаического времени поселения Куцуруб 1 — № 19 — существенно отличается от вышеописанных прежде всего своей формой. Судя по сохранившимся остаткам, это — подпрямоугольная в плане врезанная в материк на 0,5 — 0,7 м полуземлянка со сторонами 4,2 × 5,1 м и площадью около 21,0 кв. м. Весьма существенно отметить также и то, что указанная полуземлянка состояла, по всей видимости, из двух разнофункциональных частей — центральной и периферийной. Центральная, наиболее заглубленная часть комплекса — круглое в плане помещение площадью около 8,0 кв. м, совершенно аналогичное остальным постройкам второй половины VI — первой четверти V вв. до н.э. нашей выборки. В центре этого помещения и вдоль его материкового борта, в полу, носившем четкие следы глиняных промазок мощностью около 0,01 м, выявлено 6 небольших (глубина до 0,25 м, диаметр от 0,1 до 0,25 м) конусовидных ямок от опорных бортов перекрытия. Основание центрального столба оказалось укрепленным камнями известняка.

Еще несколько — 17 единиц — подобных же ямок от опорных столбов зафиксировано вдоль материковых бортов четырехугольной, периферийной, части этого же комплекса, что в целом дает некоторые основания предполагать каркасно-столбовую конструкцию его внешних стен. В северо-западном углу периферийной части, на невысоком (около 0,2 м) материковом останце — своего рода «столике» четырехугольной формы (размеры останца — 0,4 × 0,5 м) обнаружено in situ покрытие из стенок специально раздавленной амфоры. В юго-западном и юго-восточном углах этой же части комплекса раскрыты две хорошо сохранившиеся грушевидные ямы для сброса золы (№ 89 и 95). Размеры ям: диаметры устья — 0,5 и 0,6 м, диаметры плоского дна — 1,1 и 0,9 м, глубина — 1,4 и 1,0 м. Рядом с ямой № 89, частично перекрыв ее горловину, лежала необработанная известняковая плита, служившая, по-видимому, ее крышкой. Третья яма — № 90 — такой же формы (0,65 × 1,0 × 0,8 м — глубина), но, скорее всего, иного хозяйственного назначения, открыта в южной половине котлована, на

Рис. 19. Поселение Куцуруб 1. Строительный комплекс № 16.

границе центральной и периферийной частей комплекса.

Как уже отмечалось выше, в процессе исследования поселения Куцуруб 1 в пределах площади раскопов I-III, V-VII было выявлено 65 вырытых в материке ям позднеархаического времени различного назначения. Семь ям из этой серии — № 89, 90, 94, 95, 99, 105 и 130 — структурно связаны со строительными комплексами № 19, 22, 23, 26 и 32. Из 58 оставшихся объектов такого рода — № 2, 3, 7, 8, 10, 16, 22, 45-48, 67-70, 72-78, 83, 86, 88, 91, 93, 97, 98, 100, 102-104, 107-123, 124-126, 132, 133, 135 (Рис. 16, 17) — 57 единиц раскрыто полностью. Недоисследованной осталась лишь одна яма — № 109, — большая часть которой выходила за пределы изученной площади раскопа.

Подавляющее большинство ям позднеархаического периода существования поселения, несомненно, принадлежало к хорошо известному в Северном Причерноморье и Нижнем Побужье античного времени типу круглых грушевидных в вертикальном сечении с плоским дном и весьма небольшой амплитудой глубин — от 0,6 до 1,5 м. Только четыре ямы нашей серии — № 32, 46, 47, 102 — имели значительно большие размеры: глубину от 1,8 м до 2,6 м и диаметр дна от 2,5 до 3,0 м. Гораздо реже речь может идти об иной — цилиндрической или овальной — форме вместилищ (ямы № 77, 86, 91, 102, 104, 116, 124, 132, 133 и 135). В последнем случае глубина ям, как правило, сравнительно невелика: от 0,2 до 0,8 м.

Безотносительно к форме и размерам ни у одного из открытых сооружений подобного рода не отмечено следов специальных обмазок стен или днищ. Не зафиксировано пока и каких-либо закономерностей в их расположении относительно друг друга и выявленных строительных комплексов поселения позднеархаического времени. Ко всему вышесказанному остается лишь добавить, что ни в одной из ям второй половины VI — первой четверти V вв. до н.э. не было обнаружено материала, дающего безусловные основания для определения их изначальной функции.

Непродолжительность существования большинства комплексов поселения Куцуруб 1 позднеархаического времени, отсутствие в них достаточно узко датируемых вещественных находок крайне затрудняет в подавляющем большинстве случаев надежное определение относительной хронологии отдельных объектов. Полностью отсутствуют возможности установления последовательности смены одних строительных комплексов другими и на основании стратиграфических данных, поскольку ни одна из до сих пор выявленных на поселении структур второй половины VI — первой четверти V вв. до н.э. не прорезает другую: все они с более или менее одинаковой плотностью расположены на территории памятника. Относительно узкие датировки возможны лишь в исключительных случаях. Так, следует думать, что большая часть землянок, т.е. сильно заглубленных в землю структур, а именно: № 10, 16, 18 и, весьма вероятно, № 3 и 30 функционировали только в пределах VI в. до н.э. К этому же времени, т.е ко второй половине — концу VI в. до н.э., можно, по всей видимости, отнести и полуземлянку № 1. Весьма вероятным временем существования и гибели полуземлянок № 12, 19, 22, 26 и 29 было начало-первая четверть V в. до н.э.

Если указанные относительно узкие даты отдельных строительных комплексов верны, то вполне вероятно, что здесь, на территории поселения Куцуруб 1, одновременно существовали как типично земляночные строения, так и полуземлянки. Вместе с тем, эти же данные создают впечатление постепенного роста во времени удельного веса полуземлянок, ставших в первой четверти V в. до н.э., т.е. в финальной части позднеархаического периода существования поселения, быть может, его основным видом жилых и хозяйственных построек. Весьма примечательно, с нашей точки зрения, и то, что единственный строительный комплекс более сложной конструкции — четырехугольная полуземлянка № 19 — появляется также в конце этого периода. Сам факт возникновения здесь более сложной, развитой структуры, как, впрочем, и вполне вероятный постепенный переход от создания сильно заглубленных структур к полуземлянкам, может быть истолкован как показатель некоторого, пусть даже весьма небольшого, изменения в строительном деле жителей поселения Куцуруб 1 позднеархаического времени.

Определение функционального назначения конкретных строительных комплексов второй половины VI — первой четверти V вв. до н.э. и, прежде всего, возможность их отнесения к жилым постройкам, к сожалению, сопряжено с почти непреодолимыми трудностями — совершенно очевидным недостатком диагностирующей информации — и поэтому во многом условно. Указанное обстоятельство объясняется, главным образом, отсутствием в пределах комплексов следов постоянных или временных очагов или печей, бытовых «столиков» — площадок в виде четырехугольных останцов материка, глинобитных загородок, выкладок из камня, кухонной и бытовой керамики in situ и т.д, — т.е. всего того, что, как установлено нами ранее, более или менее характерно именно для жилых сооружений Нижнего Побужья позднеархаического времени. Совершенно недостаточным в этом же отношении являются и отмеченные выше различия архитектурно-планировочных схем отдельных построек поселения. В первом приближении можно думать, что круглые землянки и полуземлянки, практически безраздельно господствовавшие на терри-

тории поселка в течение всего позднеархаического периода его существования, в равной степени могли использоваться и как жилые, и как чисто хозяйственные комплексы.

Несколько иное впечатление производит в этом смысле единственное исключение из правила — строительный комплекс № 19, с его более сложной, развитой и одновременно, как кажется, весьма показательной внутренней планировкой. В данном случае, очевидно, имеются более или менее надежные основания для выделения в его пределах сразу двух разнофункциональных зон – центральной, круглой, однокамерной, наиболее глубокой, с четкими следами глиняных промазок пола — явно жилой; и периферийной, с зольными ямами и четырехугольным материковым останцом — в основном хозяйственной.

Анализ этого комплекса, несомненно, генетически связанного с основным типом строений поселения позднеархаического времени, дает некоторые основания полагать, что круглые однокамерные постройки с глинобитными полами, шатровым перекрытием и каркасно-столбовой конструкцией стен вполне могли использоваться как жилые. Если данный вывод оправдан, то к такой категории строений в нашей выборке в принципе можно причислить прежде всего строительные комплексы № 1, 9, 10, 14, 16, 18, 30 и, не исключено, 26. К этой же категории построек, вероятно, могут быть отнесены и комплексы, в пределах площади которых обнаружены такие явно мало уместные для чисто хозяйственных сооружений «детали интерьера» как вкопанная в пол нижняя часть амфоры с небольшими круглыми поделками из стенок амфор, возможно, культового назначения, и материковая «лежанка». Таким образом, к семи-восьми ранее названным постройкам-жилищам можно добавить как минимум еще две — № 3 и 11.

Все сказанное выше отнюдь не означает, что сооружения, отнесенные нами прежде всего к категории жилых, не могли использоваться их обитателями одновременно и в совершенно иных целях, например, тех же хозяйственных и культовых. На это, помимо крайнего примитивизма (лучше сказать, однообразия) куцурубских построек позднеархаического времени, вполне определенно указывает, в частности, и находка в одном из таких комплексов — № 3 — нижней части амфоры с круглыми поделками. Сходное впечатление землянки, в которой могли происходить какие-то религиозные действия, производит и комплекс № 16 с глинобитным кольцом на полу, весьма напоминающим круглый алтарь землянки № 2 другого поселения Нижнего Побужья этого же времени — Старой Богдановки 2 (см. выше). Следует заметить все же, что все эти немногочисленные свидетельства отправления какого-то культа имеют скорее всего вид сугубо домашнего (частного) свойства. Специальных же сооружений общественного и культового назначения на поселении Куцуруб 1, по всей видимости, не существовало. Впрочем, одно исключение из правила, возможно, все-таки было. Речь идет о небольшом зольнике, обнаруженном в пределах площади одного из обычных строительных комплексов памятника — полуземлянки № 1 (см. Марченко, Доманский 1983: 37 сл.).

Судя по совокупности стратиграфических данных, характеру заполнения и датировкам импортной греческой керамики, указанная полуземлянка перестала функционировать еще в конце VI в. до н.э., а ее площадь в дальнейшем, вплоть до конца первой четверти следующего столетия, стала использоваться исключительно в культовых целях.

В центре неглубокого (около 0,5 м) котлована полуземлянки на невысокой (около 0,05 м) золистой подушке с включениями мелких обломков керамики позднеархаического времени, по всей видимости, очень скоро после гибели комплекса был сооружен жертвенник, от которого in situ сохранился лишь большой кольцеобразный слабообожженный под мощностью около 0,02 м. В процессе функционирования жертвенника, а затем и по мере сброса сюда, в полуземлянку, древесной золы и мусора над подом образовался золистый холм. Точные размеры последнего не устанавливаются: к моменту раскрытия зольное всхолмление сильно расплылось, почти повсеместно дойдя до бортов котлована. Наибольшая мощность зольника в настоящее время, приходящаяся на центральную часть комплекса, достигала 0,6 м. Структура насыпи слоистая, что с очевидностью указывает на многократность подсыпок.

Разборка насыпи зольника дала весьма обильный и разнообразный вещественный материал, носивший, как правило, на своей поверхности явные следы воздействия огня, в том числе 1020 обломков керамики, 178 костей животных и 3 рыбьих косточки. Здесь же, в центральной части котлована, над подом жертвенника, обнаружен развал обожженных кусков глиняной обмазки каких-то стенок (печина?). Вообще следует отметить, что насыщенность находками зольника оказалась значительно большей, чем окружающего его культурного слоя.

Статистическая оценка удельных весов отдельных составляющих указанного массива позволила тем не менее установить картину, в общем, чрезвычайно близкую для обычных культурных напластований поселения Куцуруб 1 второй половины VI — первой четверти V вв. до н.э. (см. ниже). Качественный анализ материалов зольника также показывает наличие в них практически всех основных видов находок, известных на памятнике этого времени. Равным образом обычным для поселения оказался и видовой состав животных, кости которых по тем

или иным причинам оказались в насыпи зольника. Наиболее важным, по существу определяющим функцию описываемого объекта, явилось присутствие среди находок предметов безусловно культового назначения. Сразу же заметим, что все они, во-первых, были обнаружены в центральной части зольной насыпи, над подом жертвеника, и, во-вторых, находки изделий аналогичного облика за пределами самого зольника, в культурных напластованиях поселения, единичны или просто отсутствуют. В их числе в первую очередь следует назвать небольшую антропоморфную статуэтку из светло-серой тщательно отмученной и хорошо обожженной глины высотой около 0,05 м (Марченко, Доманский 1983: 39, рис.2, 1). Изображение божка (?) выполнено в крайне условной манере — в виде «болванчика» с несколько приплюснутой с затылка головой, чуть намеченной шеей и короткими коническими выступами-руками на круглом удлиненном теле. На плоском лице идола острым инструментом нанесены глаза-наколы и выделен длинный, узкий нос; в верхней части тела, у правой руки, опять-таки острым предметом сделан глубокий накол.

Следующими по значению предметами явно культового назначения из зольника следует считать шесть маленьких (от 0,01 × 0,015 м до 0,015 × 0,025 м), несомненно, вотивных «хлебцев» различной форм, изготовленных из хорошо отмученной глины с растительной примесью. Заметим также, что находки подобных «хлебцев» на античных памятниках крайне редки. Здесь же, в зольнике поселения Куцуруб 1, обнаружено 17 круглых и уплощенных камней-голышей тех же размеров, что и вышеупомянутые «хлебцы», одна небольшая каменная плитка и две поделки в виде так называемых намоток из стенок чернолаковых аттических сосудов.

На этом, собственно, и можно закончить описание материалов нашего зольника. Сопоставление этого комплекса с кругом аналогичных зольников Северного Причерноморья (См.: Шрамко 1957: 178 сл.; Кругликова 1976: 65-68) позволяет, как кажется, отнести его к числу памятников местного, т.е не греческого, а варварского, земледельческого культа, равно связанного с культом огня и домашнего очага.

Описание и интерпретация строительных и хозяйственных комплексов позднеархаического периода существования поселения Старая Богдановка 1 позволяет сделать некоторые выводы, имеющие отношение к исторической судьбе памятника в целом и его месту в системе поселений античного времени Нижнего Побужья. Разумеется, как и в предыдущем случае, т.е. в отношении Старой Богдановки 2, без совершенно необходимого дополнения к этому описанию в виде анализа вещественных материалов памятника такие выводы будут иметь ограниченный характер. Тем не менее попытаемся сформулировать те положения, которые непосредственно вытекают из рассмотрения строительных и хозяйственных комплексов поселения.

В чисто археологическом выражении поселение Куцуруб 1 принадлежит к категории двуслойных памятников, перекрытых к тому же по большей части сравнительно недавними и вполне современными остатками строительной и хозяйственной деятельности людей. Несмотря на практически полное разрушение всей свиты культурных напластований античной эпохи, памятник все же характеризует довольно-таки хорошая сохранность целой серии сооружений позднеархаического периода, позволяющая достаточно полно представить себе внешний облик и характер построек этого времени.

Есть все основания полагать, что Куцуруб 1 принадлежит к числу памятников, чье возникновение и дальнейшая судьба теснейшим образом были связаны с историей возникновения и развития в Нижнем Побужье Ольвийского полиса. В пользу такого заключения, помимо почти полного совпадения хронологических границ отдельных периодов функционирования этого поселения с периодами расцвета строительной и хозяйственной деятельности на сельскохозяйственной округе Ольвии, бесспорно говорит и сам облик бытовавших здесь построек, — круглых однокамерных более или менее заглубленных в землю структур позднеархаического времени, находящих прямые и многочисленные аналогии среди синхронных материалов Ольвии, Березани и целого ряда сравнительно небольших, по преимуществу сельскохозяйственных поселений Нижнего Побужья (см. Крыжицкий, Русяева 1978: 15. прим.16).

Вместе с тем, констатируемое выше единство (лучше сказать, сходство) исторических судеб поселения Куцуруб 1 и других рядовых поселений античного времени Нижнего Побужья, сходство его жилых и хозяйственных сооружений с некоторыми постройками других памятников ольвийско-березанского ареала не должны закрывать от нас и его значительного своеобразия.

Это своеобразие проявляется прежде всего в хорошо установленном факте существования здесь в течение всего позднеархаического периода практически одного типа строительных комплексов в виде круглых землянок и полуземлянок с предельно примитивной организацией внутреннего пространства. Подобное однообразие строительного дела, его явная застойность — явления прямо-таки необычные в сравнении с теми, которые до сих пор фиксировались на территории целого ряда более или менее хорошо изученных памятников Нижнего Побужья VI — первой трети V вв. до н.э., в том числе, как мы видели выше, и на Старой Богда-

новке 2, поскольку для них характерно сосуществование различных типов построек и, что особенно важно, довольно быстрая смена круглых и четырехугольных структур наземными сырцово-каменными сооружениями.

Весьма существенным с этой же точки зрения, по-видимому, является и то, что сами постройки поселения Куцуруб 1 позднеархаического времени располагались примерно с одинаковой плотностью на его территории и, как установлено, нигде не прорезали друг друга. В силу этого явно нелимитированного (экстенсивного) вида использования площади под застройку можно предполагать и отсутствие здесь достаточно жесткой (четкой) регламентации пространственных границ отдельных (парцеллярных) хозяйств, что опять-таки находится в резком диссонансе с наблюдениями, полученными при раскопках некоторых других памятников VI — первой трети V вв. до н.э. Нижнего Побужья, например, той же Старой Богдановки 2. Весьма характерным в этом же смысле, наконец, оказывается и отсутствие внутреннего районирования территории поселения.

Этим, вполне вероятно, не ограничивается число «оригинальных» черт, выделяющих Куцуруб 1 среди иных поселений ольвийской аграрной округи (укажем, например, на явно более скудный, чем обычно, «интерьер» большинства строительных комплексов позднеархаического времени), однако и сказанного достаточно, чтобы обратить на них внимание и предположить их исключительную важность. Можно думать, что по крайней мере некоторые из них и, разумеется, в первую очередь очевидная консервативность — застойность и архаичность — строительной традиции, так или иначе отражает какой-то конкретный тип социально-психологического сознания, удивительная устойчивость которого к разного рода внешним воздействиям и инновациям, совершенно неизбежным в условиях быстрого экономического и культурного развития населения Нижнего Побужья второй половины VI — первой четверти V вв. до н.э., может быть объяснена, наряду с прочим, и значительной этнокультурной монолитностью жителей Куцуруба 1 позднеархаического времени.

Раздел 2.
Комплекс вещественных находок

Как и на Старой Богдановке 2, полевые исследования второго из интересующих нас поселения аграрной округи Ольвии — Куцуруб 1 — дали весьма многочисленные и разнообразные вещественные материалы, примерно раскрывающие быт обитателей этого памятника, их повседневные занятия, хозяйственные контакты с внешним миром. Эти же материалы, с нашей точки зрения, позволяют осветить вопросы культурной и даже отчасти этнической принадлежности значительной части жителей поселения, внося тем самым дополнительную существенную информацию в историю формирования оседлого населения Нижнего Побужья архаического времени.

Как и в предыдущем случае, перед нами стоит цель: не вдаваясь в детальный анализ и углубленное исследование абсолютно всех категорий и групп находок, дать по большей части лишь их общий обзор с непременным выяснением удельных весов отдельных групп керамического материала.

Итак, в процессе разборки культурных напластований и заполнений котлованов жилых и хозяйственных комплексов обоих периодов существования поселения Куцуруб 1 было найдено значительное количество вещественного материала, при полном преобладании керамических находок. За годы раскопок на памятнике обнаружено около 63.240 единиц фрагментов и, в очень редких случаях, археологически целых сосудов, что существенно меньше, чем при исследованиях Старой Богдановки 2. Подавляющая часть этого массива датируется на основании греческой импортной керамики второй половиной VI — первой четвертью V вв. до н.э. Значительно меньшее количество — около 10% находок — относится к последней трети V — началу III вв. до н.э., т.е. ко второму периоду функционирования поселения.

Совершенно очевидно, что указанное обстоятельство не позволяет рассматривать весь комплекс как хронологически однородный, заставляя даже после вычленения наиболее поздних материалов с особой осторожностью рассматривать те группы вещественных находок, которые в настоящее время еще не могут быть достаточно четко отнесены к интересующему нас сейчас первому, позднеархаическому, периоду. В этих условиях основной упор в данном обзоре будет сделан на те остатки, которые были обнаружены в хронологически чистых комплексах и участках культурного слоя, что, естественно, опять-таки снижает общее число сопоставляемого со Старой Богдановкой 2 материала.

Как бы там ни было, совершенно очевидно, что керамический комплекс поселения Куцуруб 1 второй половины VI — первой четверти V вв. до н.э. состоял из античной (круговой) и местной, т.е. туземной, лепной керамики. Статистический анализ всего массива находок этого времени позволяет выявить следующую, в общем, достаточно определенную картину. На обломки греческих остродонных амфор приходится около 83,2% всех керамических находок, что в общем и целом весьма близко соответствующей цифре, полученной для поселения Старая

Богдановка 2; гораздо менее заметен в этом же комплексе удельный вес фрагментов круговой посуды всех типов — 10,5% и гораздо более значителен — целых 6,3% — лепных сосудов.

Соотношение круговой и местной лепной керамики (без учета обломков амфорной тары) выглядит как 66% к 34%. Что же касается доли импортной, главным образом ионийской и аттической (расписной и чернолаковой) посуды во всей группе круговой керамики (без учета амфор), то она составляет только около 11,2%.

Такова общая статистическая оценка всей выборки керамического комплекса поселения Куцуруб 1 позднеархаического времени в целом.

Хотя, как отмечалось, весь керамический материал (в первую очередь импортная античная посуда) интересующего нас периода жизни поселения укладывается в рамки второй половины VI — первой четверти V вв. до н.э., в нашей выборке более всего представлена последняя треть VI — начало V вв. до н.э.

Что же касается датировок керамических находок в заполнениях отдельных жилых и хозяйственных комплексов, то в этом случае наблюдаются некоторые отличия в пределах названной общей даты, отличия, обусловленные некоторой разновременностью создания и гибели тех или иных объектов, что и послужило основанием отнесения их к более узким отрезкам времени (см. выше).

Перейдем к рассмотрению конкретных групп посуды поселения Куцуруб 1. Начнем с самой обширной группы — тары. Как очевидно из приведенных выше цифр, подавляющее место в комплексе занимают обломки амфор. Совершенно ясно, однако, что большая величина процента — 83,2 — нисколько не отражает в действительности истинное положение дел. Более соответствующую картину реального количества сосудов, предназначенных для перевозки и хранения пищевых продуктов в быту жителей Куцуруба 1, дают сведения о числе амфорных ножек. Их на поселении всего найдено 179 единиц. К этой цифре следует добавить три археологически целые амфоры, найденные в заполнении ямы № 48.

Относительно небольшое количество профилированных частей амфор позволяет все же с достаточной полнотой представить состав этой группы (См. Марченко, Доманский 1991: 58, рис.1, *1-9*). Есть все основания полагать, что он в целом вполне обычен для керамических комплексов второй половины VI — первой трети V вв. до н.э. Северного Причерноморья вообще и комплексов этого же времени Нижнего Побужья в частности. Единственным представителем более раннего периода в группе оказался один обломок ручки амфоры с белой обмазкой, датируемой, по всей видимости, еще второй четвертью VI в. до н.э.

Наибольший удельный вес в таре поселения позднеархаического времени занимают обломки хиосских пухлогорлых амфор с окрашенными краской или оставленными в цвете глины венцами. Среди изделий Хиоса наиболее ранними следует считать единичные сосуды с так называемым воронковидным горлом. Далее, по мере сокращения количества, идут протофасосские и красноглиняные амфоры с узким стаканообразным дном, а затем уже обломки тары ионийского, самосского и лесбосского происхождения.

В числе амфор позднеархаического времени относительно редко встречаются экземпляры, снабженные разного рода знаками, нанесенными краской или прочерченными по сырой глине на горле.

Как уже отмечалось выше, крайне небольшой объем в керамическом комплексе поселения Куцуруб первого периода занимает аттическая и ионийская расписная и чернолаковая посуда.

Расписная аттическая посуда второй половины VI — первой четверти V вв. до н.э. представлена в нашей коллекции довольно ограниченным набором форм и, к сожалению, к тому же в основном небольшими фрагментами чернофигурнх сосудов (см. Марченко, Доманский 1991: 63, рис.5, *1,3,4,6*). Это прежде всего обломки чаш-скифосов первой четверти V в. до н.э. с изображением пальметок, плюща и женских фигур у колесницы, проработанных резьбой (выполнены в манере мастера Хаймона). К несколько более раннему времени — концу VI — началу следующего столетия, — по-видимому, может быть отнесен фрагмент чернофигурной пелики с изображением Геракла, убивающего Немейского льва. Специальный интерес, несомненно, являет собой единственный представитель высокохудожественной продукции аттических керамистов и вазописцев позднеархаического времени — обломок килика с изображением молодого атлета в медальоне, выполненным в краснофигурной технике, датируемый еще последней четвертью VI в. до н.э. (Марченко, Доманский 1991: 64, рис.6).

Несколько более представительными в группе оказались обломки простой чернолаковой посуды конца VI — первой четверти V вв. до н.э. — киликов и мисок. На донышке одного из киликов, с внешней и внутренней стороны, нанесено граффито с бессодержательной надписью. Другие формы чернолаковых сосудов единичны.

Столь же редко на поселении встречается родосско-ионийская и ионийская полосатая керамика позднеархаического времени (Марченко, Доманский 1991: 65, рис.8, *1-4, 6*).

Наиболее ранним представителем этой категории материалов, очевидно, является часть родосско-ионийского чернолаковго килика с тонкой полоской пурпура на внутренней сторо-

не. К несколько более позднему времени могут относиться немногочисленные обломки ионийских полосатых киликов. Среди других форм керамики этой же группы зафиксированы миски с загнутым внутрь краем, украшенные полосками красной краски по венцу и внутренней стороне тулова, и целый гутус, покрытый черным лаком по ручке и носику.

Другие центры расписной посуды позднеархаического времени представлены единичными экземплярами (фрагментированный хиосский кубок).

Значительно более многочисленна и разнообразна по формам и назначению обычная для поселений второй половины VI — первой четверти V вв. до н.э. простая неорнаментированная сероглиняная, красноглиняная и светлоглиняная лощеная и нелощеная бытовая, столовая и кухонная керамика (Рис. 20). Кухонная посуда содержит в своем составе обломки хорошо известных типов горшков и кастрюль. В составе столовой керамики имеются фрагменты различных кувшинов, «лутериев», край чернолощеного кратера; здесь же выделены разного рода кружки, миски с загнутым внутрь краем и сероглиняный лощеный кувшин типа ойнохои. В составе бытовой керамики наиболее заметное место занимают разного рода открытые светильники; несколькими фрагментами представлены сосуды типа лекан. Назовем, наконец, также два светлоглиняных закрытых сосуда типа арибаллических лекифов, на донышке одного из которых нанесено граффито (Рис. 20, *8*).

Как уже отмечалось выше, группа лепной посуды в составе всего керамического комплекса поселения Куцуруб 1 позднеархаического времени численно менее значительна, нежели круговая, однако, без учета обломков амфорной тары, она составляет около 34% его объема. К сожалению, практически вся накопленная коллекция такого рода посуды состоит из небольших обломков, что затрудняет создание полноценной классификации группы и ее развернутую характеристику.

Не подлежит сомнению, что лепная керамика поселения Куцуруб 1 в технологическом отношении в общем и целом ничем существен-

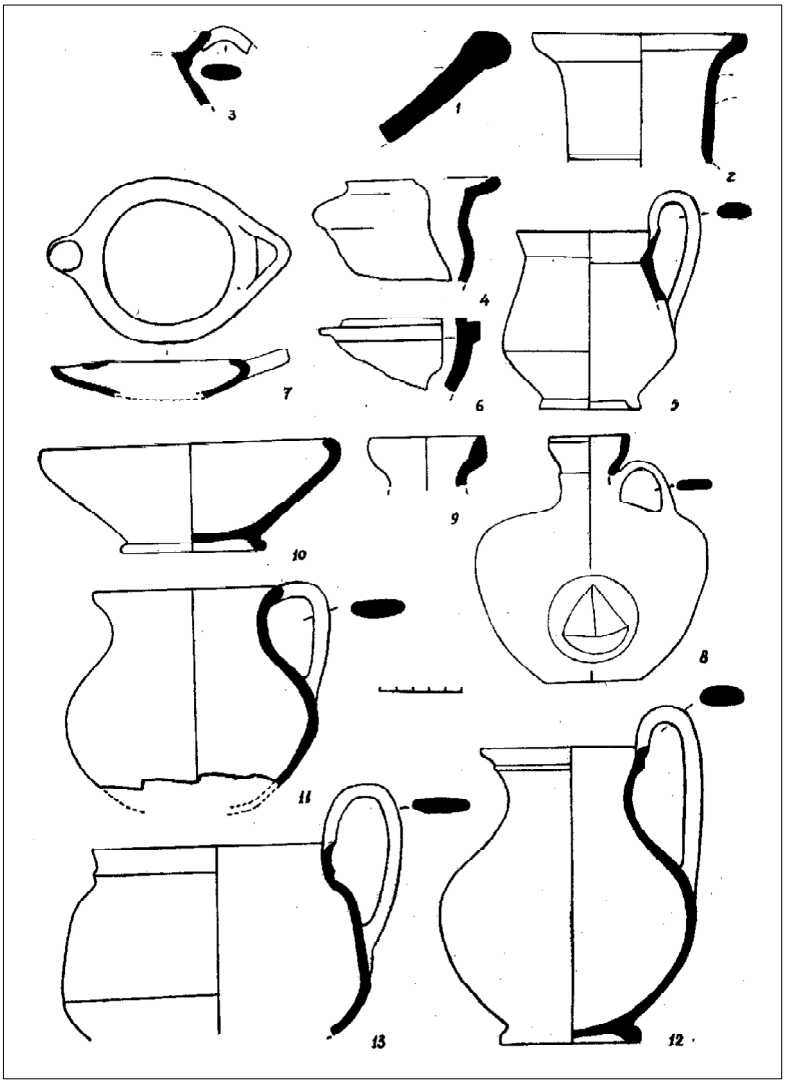


Рис. 20. Поселение Куцуруб 1. Простая сероглиняная, красноглиняная и светлоглиняная керамика.

ным не отличается от подобной же посуды, бытовавшей на варварских поселениях Северо-Западного Причерноморья в позднеархаическое время. Здесь, как и в других районах Скифии, сосуды, сработанные от руки без применения гончарного круга, выделывались из плохо отмученной глины, содержавшей в качестве искусственных отощителей шамот и дресву. Весьма важной технологической и одновременно хронологической чертой рассматриваемой керамики поселения является почти полное отсутствие в ее составе сосудов с лощеной поверхностью. Все фрагменты группы носят на себе следы простого, впрочем, подчас весьма качественного заглаживания. И только в единичных случаях на отдельных изделиях такого рода, прежде всего мисках, фиксируются следы слабого лощения серого цвета.

В морфологическом отношении, по формальным отличиям, в группе могут быть выделены, по крайней мере, шесть типов. Следует сразу же подчеркнуть, что все они, будучи выделенными по крайне ограниченному количеству признаков, весьма схематичны, условны и лишь в первом приближении отражают реальное разнообразие форм лепной посуды, бытовавшей на поселении.

Совершенно очевидно, однако, что наиболее распространенным (около 67,3% группы) типом лепной керамики Куцуруба 1 являются горшки с более или менее отогнутым наружу заостренным, скругленным или, как вариант, плоско срезанным краем, более или менее выраженным горлом, округло выпуклыми боками и сравнительно небольшим по отношению к диаметру устья плоским дном (Рис. 21). Судя по имеющемуся в нашем распоряжении материалу, виды профилей такого рода сосудов варьировали от почти прямого края, едва намеченного горла и покатых плеч до резко отогнутого (под углом около 45 градусов и даже более) края и сильно выпуклых плеч. Соответственно с этим, несомненно, существенно отличались и соотношения основных широтных размеров изделий этого типа. Указанное обстоятельство, несмотря на отсутствие возможности практически определить действительный размах отличий и их значение для классификации, заставляет предполагать наличие в составе рассматриваемого типа как минимум двух вариантов форм — слабопрофилированных сосудов бочонковидной или близкой ей формы,

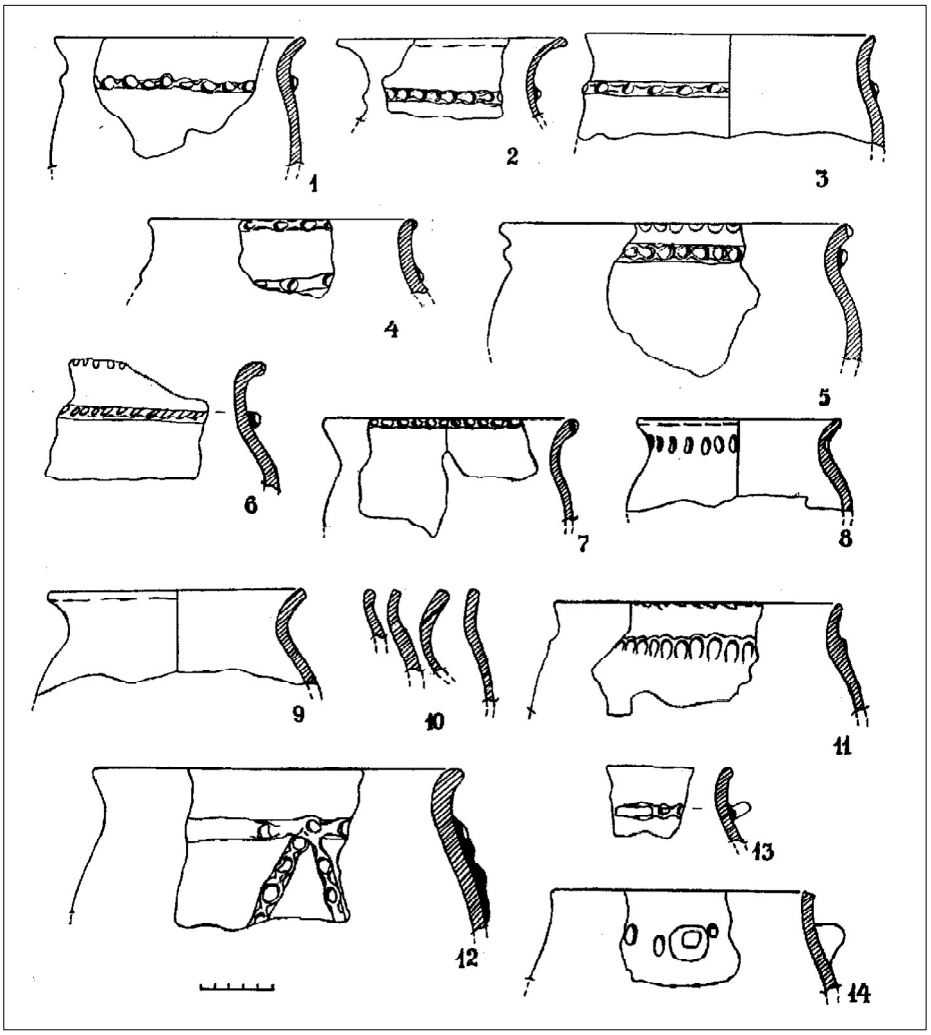


Рис. 21. Поселение Куцуруб 1. Лепная керамика.

диаметр устья которых был лишь ненамного меньше или примерно равнялся большему диаметру тулова (Рис. 21, *1, 3, 4, 11, 13, 14*), и горшков с четко выраженным горлом, широкими округлыми плечами (Рис. 21, *2, 5-9*).

К сказанному остается добавить, что подавляющее большинство сосудов первого типа имело в общем небольшие размеры, поскольку диаметры поддающихся измерению устьев этих изделий, как правило, не выходят за пределы 14-20 см, а толщина стенок не превышает 0,5-0,8 см. Лишь в относительно редких случаях в коллекции фиксируются экземпляры банковидных сосудов значительно более крупных габаритов — с диаметрами устьев до 25-30 см.

Не менее 78% всех сосудов первого типа орнаментировано. Наиболее распространенным видом украшений (около 41% всех обломков) являлись пальцевые вдавления, нанесенные в одну или реже две линии по горлу или краю сосуда. Почти столь же популярным на поселении Куцуруб 1 позднеархаического времени был и другой тип орнаментации керамики первого типа, а именно в виде налепного, реже оттянутого валика, моделированного пальцевыми вдавлениями или защипами, расположенного, как правило, на горле сосудов в пределах 1,8-4,5 см от края. Следует также заметить, что на горшках этого типа встречаются иногда и по два горизонтальных валика, один из которых проходит по краю, а другой по горлу или, в исключительно редких случаях, даже по наиболее широкой части тулова сосуда**.** Еще более редки изделия, украшенные целыми композициями из налепных валиков, образующих своего рода фестоны, спускающиеся вниз по тулову от горизонтального валика, расположенного в верхней части сосуда (Рис. 21, *12*). Фиксируется, наконец, в составе керамики этого типа и сочетание из обоих только что упомянутых видов орнаментации — налепного валика и горизонтальной линии пальцевых вдавлений. В этом случае валик всегда располагается на горле сосуда, т.е. ниже линии пальцевых вдавлений. Только в двух случаях зафиксировано сочетание валика или линии пальцевых вдавлений с так называемыми ручками-упорами в виде сосковидных налепов в верхней части тулова сосудов (Рис. 21, *13, 14*).

Каких-либо штампов для украшения подобного рода керамики поселения Куцуруб 1 не употреблялось.

Сопоставление сосудов первого типа с лепной керамикой различных памятников раннего железного века Северо-Западного Причерноморья позволяет придти к выводу, что два его варианта представляют собой, скорее всего, две генетически неоднородные части. К первой, типологически и культурно связанной с материалами степных районов раннескифского времени, в том числе и Нижнего Побужья VI — V вв. до н.э., следует прежде всего относить второй вариант сосудов — горшки с четко выраженным горлом и широкими округлыми плечами, украшенные пальцевыми вдавлениями.

Несколько более сложной оказывается интерпретация горшков и слабопрофилированных сосудов, орнаментированных валиками. Попытка сопоставления этого облика посуды первого варианта с морфологически близкой керамикой VI — начала V вв. до н.э. лесостепных районов Поднепровья и Побужья наталкивается, на наш взгляд, на непреодолимое препятствие в виде полного отсутствия на куцурубских изделиях такого характерного и широко распространенного в этих глубинных районах Северного Причерноморья приема орнаментации лепных сосудов, как сквозные проколы и наколы по краю. В силу такого различия можно предположить, что поиск более корректных аналогий указанным материалам следует вести среди соответствующих памятников более западных районов Северо-Западного Причерномоья, в зоне Карпато-Дунайского бассейна. В пользу прямой типологической и, несомненно, культурной связи значительной части керамики первого типа поселения Куцуруб 1 с посудой населения этого обширного района, бесспорно, свидетельствует и наличие в ее составе горшков с ручками-упорами и сосудов, украшенных сложными видами валиковой орнаментации.

Удельный вес второго типа лепной посуды нашего поселения существенно ниже, чем первого, — всего около 16,4%. Это — так называемые фракийские банки (Рис. 22), хорошо известные по материалам VI — V вв. до н.э. в некоторых районах степного и лесостепного Побужья и Поднестровья, но прежде всего на территории Карпато-Дунайского бассейна. Обнаружены они также и в составе лепной керамики Ольвии, Березани и некоторых правобережных сельскохозяйственных поселений их округи. От сосудов первого типа их отличают полное отсутствие сколько-нибудь выраженного горла, прямые или слегка скошенные вовнутрь в верхней части стенки, а также наличие ручек-упоров в виде конических и уплощенных налепов в верхней части тулова.

Что касается основных размеров банок, бытовавших на поселении Куцуруб 1, то можно предполагать преобладание сосудов средней величины. Во всяком случае, диаметры устьев подавляющего большинства изделий такого рода колебались в пределах от 10 до 25 см, при толщине стенок до 1,3 см. Впрочем, в составе второго типа имеется небольшое количество (около 3% экземпляров) банок и значительно более крупных размеров — с диаметром устья до 35-41 см.

Около 82% всех банок орнаментировано. Весьма примечательно, что фактически единственным видом орнаментации этих сосудов

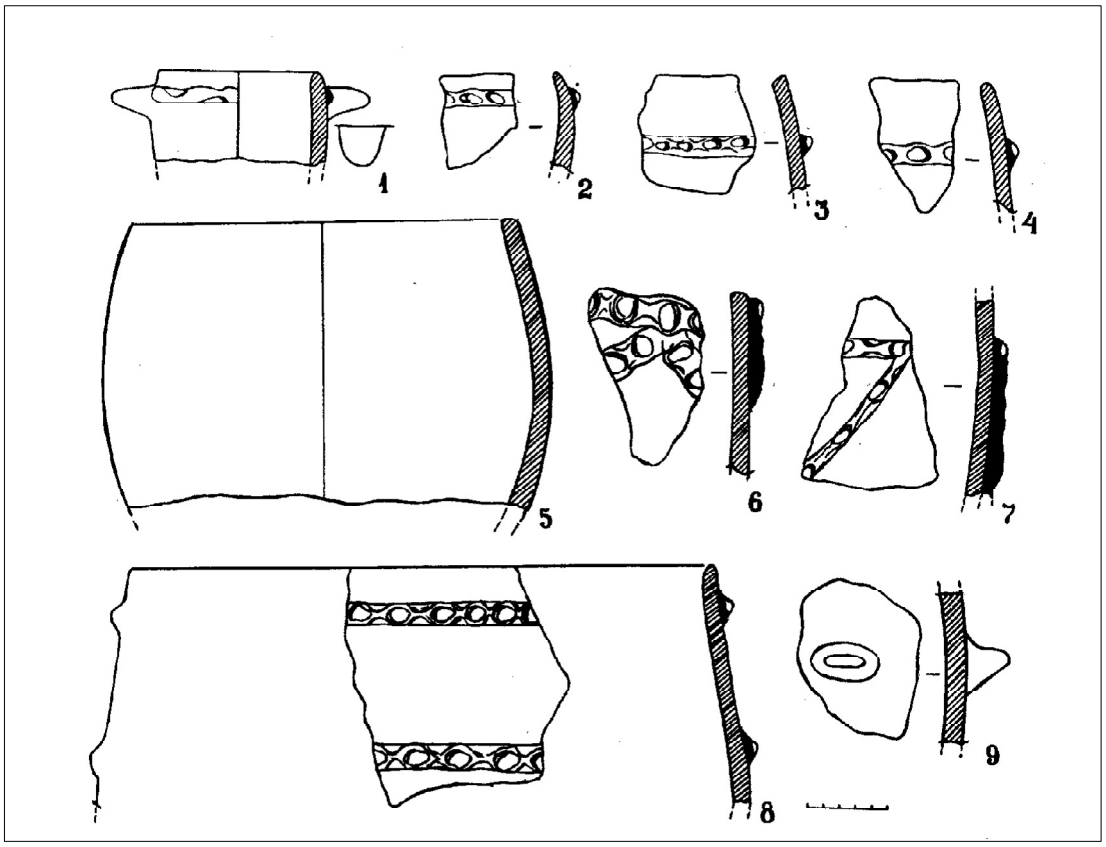


Рис. 22. Поселение Куцуруб 1. Лепная керамика.

является налепной валик, моделированный пальцевыми вдавлениями и защипами. Как правило, валик располагался в 1,5-4,5 см ниже края. В отдельных случаях банки украшались сразу двумя горизонтальными валиками, один из которых находился под краем, а другой проходил в средней части тулова (Рис. 22, *8*). Помимо этого, в составе второго типа хорошо фиксируются изделия, украшенные и более сложными видами валиковой орнаментации, в виде разного рода плетенок и фестонов (Рис. 22, *6,* 7). Существенно отметить, что последние виды орнаментации встречаются почти исключительно на наиболее крупных экземплярах фракийских банок.

Примерно 12,6% всего массива лепной керамики поселения Куцуруб 1 составляют обломки различных мисок. В этой группе может быть выделено сразу три отдельных типа — третий-пятый.

Наиболее распространенным (около 55% всех обломков мисок) типом керамики такого рода являются миски со сферическим туловом и чуть загнутым плоским, скругленным или заостренным краем, имеющие, как правило, хорошо заглаженную или даже подлощенную поверхность — тип третий (Рис. 23, *1, 4, 5*). Определимые диаметры устьев таких мисок колеблются в пределах 17-32 см, при толщине стенок от 0,7 до 1,1 см.

Четвертый тип лепной посуды нашего поселения образуют значительно менее многочисленные миски в виде усеченного перевернутого конуса без каких-либо следов дополнительной обработки поверхности (Рис. 23, *2*). Диаметры устьев сосудов этого типа колеблются в пределах 10-24 см, при толщине стенок 1,0-1,2 см.

Последний, пятый тип — миски с вертикальным скругленным краем, образующим при переходе к стенкам более или менее четкое горизонтальное ребро (Рис. 23, *3*). Помимо формы, эти миски, по-видимому, от прочих отличает значительно более качественная обработка поверхности — хорошо заглаженная или подлощенная.

Все вышеописанные миски хорошо известны как в материалах самого Нижнего Побужья позднеархаического времени, так и среди синхронной лепной керамики степной и лесостепной зон Северного Причерноморья. Несколько более узкий ареал, вероятно, охватывают изделия пятого типа. В данном случае, судя по всему, речь в первую очередь должна идти опять-таки о районе Карпато-Дунайского бассейна.

Шестой и последний из выделенных типов лепной керамики поселения Куцуруб 1 представлен в нашей коллекции одним небольшим обломком края кастрюли с закраиной для крышки, возможно, имитация одной из форм

греческой круговой кухонной керамики. Весьма показательным с этнокультурной точки зрения оказывается и то обстоятельство, что лепная кастрюля имела типично местный, туземный вид украшения — в виде ногтевых вдавлений по краю.

Следует заметить, что, помимо отмеченных выше типов лепной керамики, на поселении, вероятно, существовали еще какие-то более редкие и специфические типы, к числу которых, судя по всему, относятся обломок стенки подлощенного сосуда с горизонтальной петельчатой ручкой, украшенной в местах прикрепления коническими выступами, и нижняя (придонная) часть сосуда с частыми сквозными проколами — обломок дуршлага (?).

Крайне редко в составе лепной керамики поселения встречаются обломки лепных крышек сосудов.

Необходимо признать, что куцурубские материалы дают некоторые основания для их деления не только по морфологическому, но и функциональному признакам. Так, не приходится сомневаться, что большая часть рассматриваемой лепной керамики этого памятника предназначалась главным образом для использования ее на кухне. В пользу такого заключения, помимо характерных форм сосудов первого и второго типов нашей классификации, вполне определенно указывает и наличие на подавляющем большинстве обломков ярких следов длительного воздействия огня на их поверхность. Вместе с тем, в комплексе лепной посуды поселения вполне отчетливо выделяется и типично столовая керамика — в виде разного рода мисок. Весьма примечательной с этой же точки зрения кажется и довольно значительная вариабельность основных размеров горошков и банок. Априорно можно предположить, что наиболее крупные сосуды такого рода вполне могли служить в качестве емкостей для длительного хранения каких-то запасов, т.е. выполняли функцию корчаг. В пользу такого допущения, кроме больших размеров, может свидетельствовать и целый ряд дополнительных признаков и характеристик, в том числе и чисто технологического свойства. Так, например, создается впечатление, что по крайней мере часть наиболее крупных горшков и банок (около 4% объема всего комплекса лепной керамики) была изготовлена из однородной, хорошо отмученной глины с необычно большим количеством искусственного отощителя — шамота. Судя по плотности и излому черепков, имеющих кирпично-красный цвет, обжигу такой посуды придавалось особое значение: он проходил, скорее всего, не на открытых площадках, в кострах, а в специальных камерах при температуре значительно выше 700°С. Отметим также, что тщательно заглаженная ровная поверхность такого рода изделий не несет никаких следов закопченности, столь характерной для рядовой кухонной керамики.

Такими чисто технологическими признаками отнюдь не ограничивается своеобразие куцурубских корчаг. Оно шире и, по всей видимости, касается и их внешнего облика, поскольку именно для наиболее крупных сосудов комплекса лепной керамики поселения Куцуруб 1

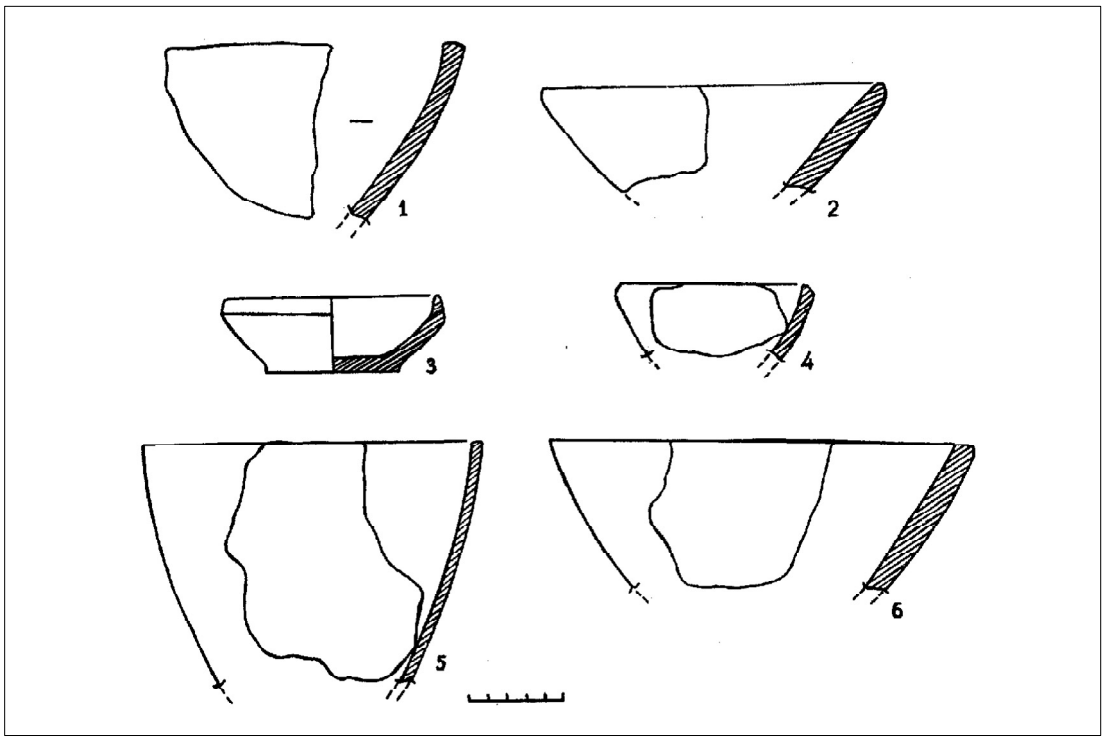


Рис. 23. Поселение Куцуруб 1. Лепная керамика.

характерны и наиболее сложные виды орнамента из налепных валиков, имитирующих, скорее всего, оплетку из органических материалов, призванную предохранять глиняную тару от боя.

Сам факт бытования корчаг в составе лепной посуды Нижнего Побужья позднеархаического времени не нов. К настоящему времени лепные корчаги удалось выделить в материалах трех памятников этого района: Ольвии, Березани и поселения Большая Черноморка II (Гаврилюк, Отрешко 1982: 81, рис.3, *1-6*). Во всех указанных комплексах удельный вес такого рода керамики крайне невелик. В этом смысле полученные данные вносят немногое в давно сложившееся мнение о весьма редком изготовлении и использовании специальных лепных сосудов для хранения припасов в быту местных жителей.

Гораздо более важным оказывается другое: возможность установления связи куцурубских корчаг с материальной культурой вполне конкретной группы населения ольвийской округи второй половины VI — первой четверти V вв. до н.э. — выходцами из Фракии. Такая возможность проистекает прежде всего из того обстоятельства, что все находки обломков этих сосудов на поселении Куцуруб 1 были обнаружены в слое и комплексах с относительно высоким содержанием материалов карпато-дунайского облика. Но важнее другое. Единственной областью Восточной Европы, в памятниках которой присутствует керамика раннежелезного века с тождественными или весьма близкими видами орнаментации на корчагах, является именно Карпато-Дунайский бассейн и тесно связанные с ним территории (См. Марченко, Соловьев 1988: 56 сл.).

Несколько слов в заключение нашего рассмотрения лепной посуды. Сопоставление выделенных типов лепной керамики поселения Куцуруб 1 с аналогичной посудой памятников Северного и Северо-Западного Причерноморья дает возможность утверждать, что эта керамика в этнокультурном отношении неоднородна. В ней, судя по всему, может быть выделено по меньшей мере три различные части. Наиболее значительную по объему часть группы, по всей видимости, образует посуда — горшки, слабопрофилированные сосуды, украшенные валиками, банки, миски с горизонтальным ребром, хорошо известные на территории Карпато-Дунайского бассейна и в смежных с ним районах, т.е. местах расселения фракийских племен. На втором месте по численности находится керамика — горшки, орнаментированные пальцевыми вдавлениями, и миски в виде перевернутого усеченного конуса — группа, генетически связанная с памятниками степной зоны Северного Причерноморья. Третью и самую малочисленную — едва заметную — часть представляет один образец сосудов, имитирующих в туземной технике греческие кухонные кастрюли.

Ко всему сказанному остается лишь добавить, что керамики, тождественной бытовавшей на поселениях лесостепных районов Поднепровья и Побужья раннескифского времени, на поселении Куцуруб 1 практически не обнаружено.

Помимо посуды, на поселении Куцуруб 1 найдено небольшое количество вещественного материала самого различного назначения и характера (см. также. Марченко, Доманский 1991: 74, рис.15). Перечислим эти находки.

Предметы из камня: пять кремневых орудий-вкладышей (Рис. 24, *17*); обломки четырехугольных каменных брусков для заточки стрел (?); точильный брусок и обломок небольшого пестика (Рис. 24, *16*).

Железные предметы: обломок втока; фрагмент лезвия ножа.

Предметы из обожженной глины: несколько десятков пряслиц боченковидной, биконической, конической и округлой форм (Рис. 24, *13-15*)**;** лепные «хлебцы», «бублик» и молотковидный предмет, возможно, культового назначения.

Очевидно, к культовым изделиям следует причислить три терракотовые статуэтки: в виде «куклы» с подвесными руками и ногами, так называемого «храмового мальчика» и уже упомянутой выше схематично выполненной фигурки «божка» явно местной работы. Очевидно, такого же назначения были частично и различные поделки из стенок амфор, чернолаковых и сероглиняных сосудов в виде постоянно встречаемых в строительных комплексах и культурном слое кружков и так называемых намоток.

Категория вещей-украшений почти исчерпывается несколькими бусинами. Правда, имеется одна височная подвеска из медной проволоки (Рис. 24, *10*) и орнаментированный частыми наколами кабаний клык.

Находки предметов вооружения ограничиваются семью бронзовыми наконечниками стрел (может быть, упомянутый ранее железный вток также относится к данной категории вещей). Все наконечники стрел (за исключением одного — трехгранного и, очевидно, более позднего — Рис. 24, *7*) трехлопастные, базисные и опорно-втульчатые, принадлежат второй хронологической группе (Рис. 24, *1-6*).

Предметы из кости единичны: часть ручки ножа; два струга для обработки кожи, изготовленные из лопаток крупного животного, и орудие неизвестного назначения из трубчатой кости.

К предметам домашних промыслов относятся два свинцовых пряслица: в виде колесика и пирамидальное (Рис. 24, *11, 12*)**.**

Завершая этот обзор вещественных находок позднеархаического времени существования поселения Куцуруб 1, упомянем две монеты в виде дельфинов (Рис. 24, *8, 9*).

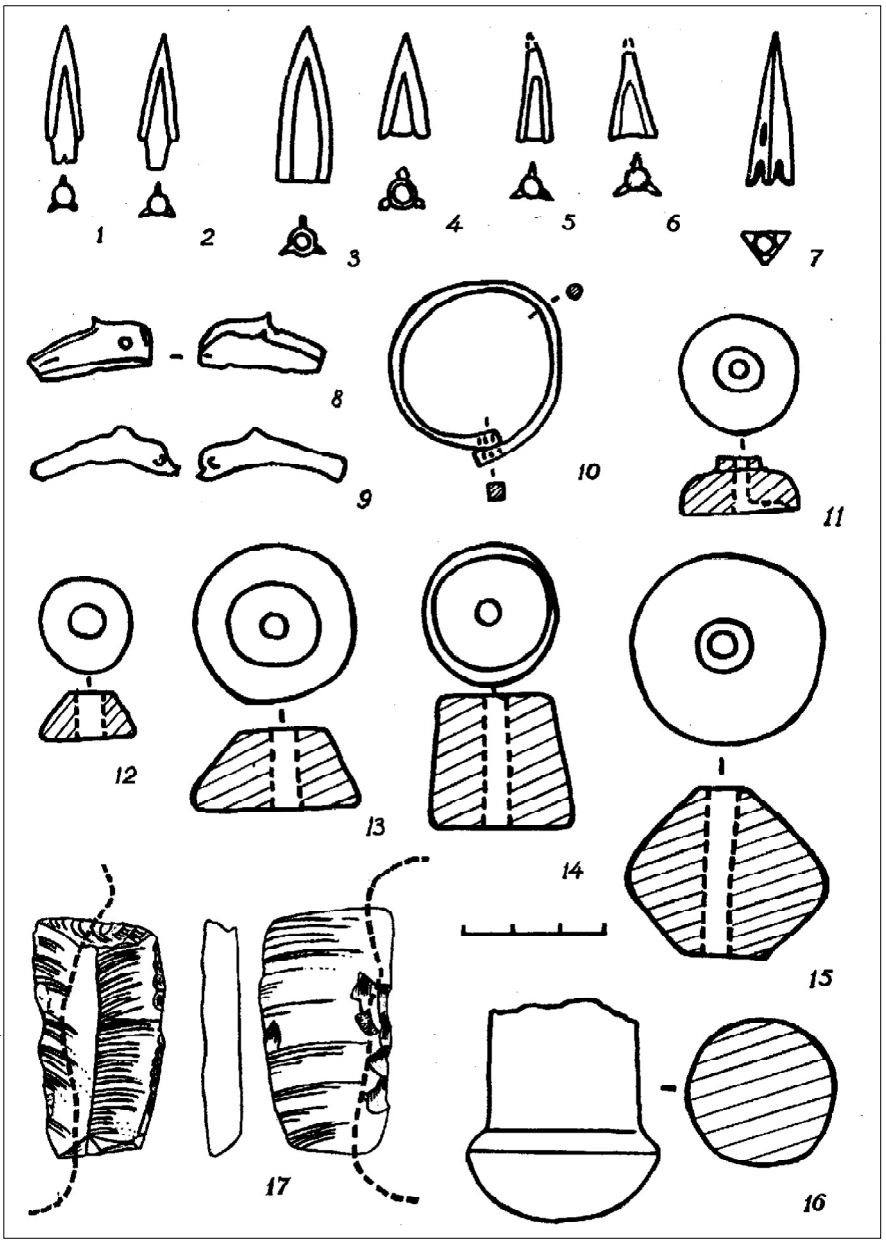


Рис. 24. Поселение Куцуруб 1. Изделия из бронзы, свинца, глины и камня.

Раздел 3.
Общая характеристика поселения

Итак, подведем некоторые итоги нашего обозрения комплекса вещественных находок. Создается впечатление, что типологический состав круговой керамики поселения Куцуруб 1 позднеархаического времени в общем во многом сходен с соответствующими синхронными материалами других античных памятников Нижнего Побужья, в том числе Ольвии и Березани. Вместе с тем, имеются все основания полагать, что он все-таки существенно беднее того, что дают не только комплексы наиболее крупных центров, но даже отдельных, столь же небольших, аграрных поселений этого района.

Но дело, в конечном счете, даже не в относительной скудости ассортимента типов круговой столовой и бытовой посуды нашего памятника. Гораздо явственнее относительная бедность его керамического комплекса проявляется буквально, т.е. в более чем скромном удельном весе относительно дорогих чернолаковых и расписных изделий из глины аттического и ионийского производства.

Сходное впечатление возникает и при анализе других категорий материала. Состав вещественных находок из металлов, кости и камня поселения Куцуруб 1 во многом повторяется на других рядовых памятниках Нижнего Побужья VI — первой трети V вв. до н.э. Однако и в

данном случае очевидна его сравнительная бедность, особенно четко проявляющаяся в почти полном отсутствии в собранной коллекции нумизматических находок, представленных лишь двумя ольвийскими дельфинчиками. Указанное обстоятельство в сочетании с зафиксированным выше своеобразием комплекса круговой керамики поселения вряд ли следует оценивать как случайное или зависящее исключительно от степени исследованности памятника. Можно предположить, что оно так или иначе отражает относительно низкий уровень развития торгово-денежного обмена между греческими центрами района — Ольвией и Березанью, с одной стороны, и поселением Куцуруб 1, с другой. Было ли это, однако, вызвано каким-то особым состоянием жителей Куцуруба 1, например, относительной бедностью, или определялось иными факторами хозяйственного, культурного и даже социально-политического уровней, установить в настоящее время, разумеется, крайне сложно. Впрочем, как кажется, из числа теоретически мыслимых причин такого рода вполне уверенно можно исключить фактор удаленности поселения от эллинских центров, поскольку в комплексах еще более, если так можно выразиться, периферийных памятников Нижнего Побужья VI — первой трети V вв. до н.э., например, поселений Бейкушского и Большая Черноморка 2, представлены материалы ничуть не скромнее, а явно богаче куцурубских.

Суть дела заключена, по-видимому, в следующем. Весьма любопытным является относительно высокий удельный вес лепной керамики нашего памятника. Сам по себе этот факт может быть расценен как опять-таки показатель весьма скромных экономических возможностей обитателей Куцуруба, вынужденных в домашних условиях изготавливать более значительное, нежели на других сходных поселениях округи Ольвии, количество посуды, сработанной от руки без применения гончарного круга, для восполнения недостатка качественной, но зато и более дорогой керамики греческих ремесленников. Равным образом следует предполагать, что этот же высокий процент лепной керамики является косвенным показателем и относительно большего удельного веса аборигенов в составе жителей поселения Куцуруб 1, составлявших, скорее всего, к тому же его наименее зажиточный слой.

Заключая этими соображениями итоговую часть обзора вещественных материалов поселения, коротко суммируем наши представления о его историческом, хозяйственном и культурном облике в целом.

Древнее поселение у с.Куцуруб Очаковского района Николаевской области, получившее в научной литературе условное название Куцуруб 1, возникло в третьей четверти VI в. до н.э. Сам по себе факт существования в это время Ольвии, Березани и целого ряда сельских населенных пунктов в ольвийской округе заставляет предполагать, что образование поселения так или иначе было обусловлено хозяйственной и социально-политической деятельностью Ольвийского полиса, направленной, надо думать, на всемерное освоение экономического потенциала Нижнего Побужья. Поэтому, скорее всего, базовая функция Куцуруба 1 уже изначально в значительной мере определялась потребностями греческой общины в продуктах сельского хозяйства. Именно этот род деятельности, вероятно, во многом определил быт и облик Куцуруба 1 в течение всего позднеархаического периода его существования. Впрочем, как обычно, прямых данных о земледелии в окрестностях памятника не обнаружено. Некоторые материалы косвенного характера дает лишь само поселение. Это прежде всего довольно большое количество (65 единиц) различных ям и углублений в материке, частично, можно думать, использовавшихся для хранения продуктов земледелия. Весьма любопытной, хотя и не бесспорной с этой же точки зрения, кажется находка и нескольких кремневых орудий — возможно, вкладышей от серпов.

О скотоводстве мы можем судить значительно полнее. За все годы раскопок на поселении было собрано более 5000 единиц костей животных, птиц и рыбы. Можно достаточно уверенно предполагать, что состав стада домашних животных поселения в позднеархаическое время мало чем отличался от надежно зафиксированного ранее для Старой Богдановки 2 (см. выше). Создается впечатление, что домашний скот здесь разводили главным образом для получения шерсти, молока и использовали как тягловую силу.

Теснейшая историческая связь поселения Куцуруб 1 с судьбой ольвийско-березанского экономического и политического образования вполне проявляется и в совпадении времени первого запустения памятника на рубеже первой и второй четвертей V в. до н.э. с общим запустением подавляющего большинства сельскохозяйственных поселений района. Констатируя данное обстоятельство, следует признать все же, что прямое, безоговорочное сопоставление Куцуруба 1 с другими наиболее изученными поселениями Нижнего Побужья позднеархаического времени вряд ли правомерно. Есть все основания думать, что по целому ряду существенных культурных признаков Куцуруб 1 все-таки отличается от синхронных аграрных пунктов ольвийской хоры. Эти отличия лежат прежде всего в сфере строительства, архитектуры и внутренней планировки поселения, о чем шла речь ранее.

Характерным отличием культуры нашего памятника является и весьма высокий удельный вес лепной посуды, обладавшей к тому же, судя по ее функциональной структуре (кухонные гор-

шки, миски, корчаги), всеми признаками самостоятельного, а не подчиненного по отношению к круговой керамике, значения. Судя по набору типов лепных сосудов и их соотношениям в группе, самый крупный компонент жителей туземного происхождения Куцуруба 1 образовывали фракийцы, а следом за ними — выходцы из степной зоны Причерномоья. Это свидетельствует о весьма определенном в этнокультурном отношении населении поселка, в пользу его своеобразной монолитности, но только в том смысле, что сводилась она к преимущественно варварскому составу жителей. Именно это последнее, на наш взгляд, в конечном счете и могло обусловить своеобразный, во многом застойный облик материальной культуры поселения Куцуруб 1, поставив какие-то преграды на пути ускоренного проникновения сюда разного рода влияний со стороны быстро развивавшегося Ольвийского государства.

Заключение

Теперь, когда мы достаточно подробно рассмотрели практически всю информацию, накопленную в результате многолетних раскопок двух поселений Нижнего Побужья позднеархаического времени — Старая Богдановка 2 и Куцуруб 1 — и установили хотя бы некоторые из существенных черт их материальной культуры, разумеется, в чисто археологическом выражении, перейдем к сравнению этих памятников.

Начать, по всей видимости, следует с констатации определенной близости исторических судеб этих поселений, выразившейся, в частности, в практической одновременности их появления в третьей четверти VI в. до н.э. и одновременности же гибели в конце первой-начале второй четвертей следующего столетия. Судя по совокупности данных, имеющихся в нашем распоряжении, сам факт одновременного возникновения Старой Богдановки 2 и Куцуруба 1 следует, скорее всего, рассматривать в контексте происходившего в то время освоения греческими колонистами экономического потенциала всего Нижнего Побужья, вызвавшего к жизни в этом районе несколько десятков населенных пунктов с аграрной по преимуществу ориентацией хозяйства.

Такое положение дел, как кажется, позволяет нам определить оба поселения как некую вполне органичную часть одного большого культурно-исторического образования, главной цементирующей силой которого, очевидно, являлся Ольвийский полис. Именно это, последнее обстоятельство делает, на наш взгляд, вполне целесообразным и методически оправданным проведение сравнения Старой Богдановки 2 и Куцуруба 1 сразу в двух тесно связанных между собой плоскостях — непосредственно и через сопоставление с хорошо изученной эталонной материальной культурой Ольвии и Березани (Борисфена) — общепризнанных экономических, политических и культурных центров Нижнего Побужья архаического времени. Заметим также, что, поскольку такое сопоставление по существу во многом уже проделано в соответствующих частях разделов глав 1 и 2 настоящей работы, нам остается лишь суммировать основные выводы проделанного анализа.

Итак, резонно предполагать, что весьма вероятное вхождение наших памятников вместе с другими аграрными поселениями Нижнего Побужья в единое культурно-историческое образование, возникшее вследствие колонизационной и хозяйственной деятельности эллинов Ольвии и Борисфена, должно было так или иначе наложить какой-то нивелирующий отпечаток на их материальную, а, возможно, и духовную сферы культур. И такой отпечаток, действительно, легко фиксируется в материальных остатках, дошедших до наших дней. Как показывает анализ собранной информации, наиболее ярким выражением культурной нивелировки представляется ныне использование в быту обитателей обоих пунктов довольно-таки большого количества разнообразной кружальной импортной и ольвийской посуды, включая, разумеется, и тару.

Судя по полному отсутствию сколь-либо заметных следов производства такого рода изделий на территории самих памятников, можно думать, что по крайней мере какая-то часть этой керамики поступала сюда извне в виде товара, обмениваемого на местные продукты земледелия и скотоводства. Весьма любопытным и показательным в этой связи представляется, кстати, и присутствие в составе вещественных находок с Куцуруба 1 и особенно Старой Богдановки 2 небольших серий ольвийских разменных монет в виде дельфинчиков, свидетельствующих, быть может, в пользу развития здесь уже в позднеархаическое время каких-то элементов денежного обращения.

Остановимся на последнем предположении подробнее, поскольку от четкости его решения во многом зависит определение степени близости рассматриваемых нами памятников эллинской культуре вообще и Ольвии в частности. Совершенно очевидно, к примеру, что сам по себе факт использования здесь денег в качестве эквивалента стоимости будет прямым указанием либо на этнически греческую по преимуществу принадлежность жителей Куцуруба 1 и Старой Богдановки 2, либо, на худой конец, на чрезвычайно высокий уровень их эллинизации.

Если теперь обратиться к рассмотрению соответствующих материалов, способных так или иначе прояснить характер торговых отношений жителей наших поселений с ольвиопо-

литами, то уже в первом приближении становится очевидным, что они предоставляют в наше распоряжение совершенно разные возможности.

Наиболее сложная ситуация, по всей видимости, складывается в случае с Куцурубом 1, где за все годы раскопок было обнаружено всего два дельфинчика, что при всех обстоятельствах вряд ли может служить надежным основанием для вывода о денежном характере торговых операций на этом поселении. Вместе с тем, сам факт нахождения на территории Куцуруба 1 этих разменных монет Ольвии явно не случаен и в принципе может быть истолкован как еще один показатель вхождения памятника в экономическую орбиту Ольвийского полиса. В этих условиях, судя по всему, было бы ошибочным думать, что за малочисленностью дельфинчиков обязательно кроется нечто совершенно не связанное с использованием здесь денежных знаков по их прямому назначению, а, к примеру, хранение монет в качестве «сувениров» и т.п. Дело, по-видимому, в другом, а именно — в крайне небольшом числе именно товарно-денежных операций в общем объеме торговли Ольвии с Куцурубом 1, носившей все-таки, надо полагать, преимущественно вид натурального (прямого) обмена. Вполне допустимым, наконец, представляется и «случайная» потеря дельфинчиков самими ольвиополитами, более или менее продолжительное время находившимися на территории поселения. В пользу присутствия какого-то небольшого числа греков в составе обитателей Куцуруба 1 может говорить, по-видимому, и наличие в составе вещественных находок с памятника двух эллинских культовых терракотовых статуэток.

Совершенно иную картину рисуют нам соответствующие материалы другого поселения — Старая Богдановка 2. В данном случае, как кажется, у нас есть более веские основания предполагать развитие здесь, на поселении, товарно-денежных отношений и, как следствие, более тесных хозяйственных и этнокультурных контактов местных жителей с ольвиополитами. Наиболее убедительным аргументом в пользу такого вывода будет сам факт находки на памятнике довольно-таки большого числа медных ольвийских монет в виде дельфинчиков — 23 единицы. Немаловажным обстоятельством оказывается и то, что все эти монеты были обнаружены в самых различных частях Старой Богдановки 2 — в культурном слое, строительных и хозяйственных комплексах, — что само по себе является вполне надежным указанием на их органическую связь с деятельностью местных обитателей. Учитывая же кратковременность функционирования поселения и относительную малочисленность его жителей, можно думать, что эти деньги представляли вполне обычное явление и имели здесь достаточно широкое хождение.

Вернемся теперь снова к комплексу импортной греческой и ольвийской кружальной керамики Куцуруба 1 и Старой Богдановки 2. Как было установлено выше, эта керамика поступала на поселения через посредство Ольвии и, быть может, Березани и дальше широко распространялась в среде местных жителей. Вместе с тем, было установлено и другое: привозная керамика Куцуруба 1 была в целом несколько беднее той, которая поступала в Старую Богдановку 2, причем эта бедность охватывала буквально все поддающиеся в настоящее время оценке стороны: величину удельного веса в общем балансе материалов, качество (дороговизну) и ассортимент изделий. Весьма важным выводом с этой же точки зрения стало признание факта отсутствия прямой зависимости между упомянутой относительной бедностью круговой посуды Куцуруба 1 и степенью удаленности этого памятника от поставщика продукции, т.е. от Ольвии или Березани. Наиболее вероятными факторами, влиявшими на величину удельного веса, качество и ассортимент импортной посуды, были признаны широта торговых контактов, культурная близость грекам Ольвии и, наконец, несоответствия в жизненном уровне обитателей обоих поселений. Во всех этих отношениях жители Старой Богдановки 2 выглядят несколько предпочтительней «куцурубцев».

Что же касается общности всех остальных выделенных нами элементов материальной культуры этих же памятников, то она представляется еще более сомнительной.

Так, например, очевидно, что сравнительно небольшая (всего около 19,5% объема комплекса) группа лепной керамики поселения Старая Богдановка 2 имеет довольно сложный в этнокультурном отношении состав. В ней вполне надежно выделяется по меньшей мере три или даже четыре генетически различных компонента — степной, лесостепной, карпато-дунайский и, может быть, крайне небольшой эллинский. Совершенно аналогичную картину дают и соответствующие материалы Ольвии и Березани. В то же время гораздо более обширная группа лепной посуды другого поселения — Куцуруб 1, достигающая 34% объема комплекса, значительно более гомогенна и содержит главным образом керамику карпато-дунайского облика с дополнением степной, но без заметных примесей сосудов лесостепных районов Украины.

Еще более серьезные различия этого же вида и уровня фиксируются нами в строительном деле поселений. Накопленные ныне данные рисуют предельно динамичную картину развития Старой Богдановки 2, на территории которой наблюдается удивительно быстрая смена во времени нескольких типов построек, переход от строительства относительно простых круглых, овальных и четырехугольных зем-

лянок и полуземлянок к более совершенным и, несомненно, трудоемким сырцово-каменным наземным сооружениям, в том числе и общественного назначения; одновременно с этим отмечается и довольно четкая регламентация площади поселения под новую застройку. Следует заметить также, что все это, вместе взятое, явно сближает Старую Богдановку 2 с Ольвией, Березанью и некоторыми другими памятниками Нижнего Побужья, где также фиксируется (с некоторыми хронологическими и культурными отличиями, разумеется) сходное развитие строительного дела.

Абсолютно иное впечатление в этом смысле производит Куцуруб 1. Строительное дело этого поселения отличают крайний примитивизм, консервативность, однообразие и экстенсивное использование территории. Есть все основания полагать, что здесь в течение всего позднеархаического времени функционировал практически лишь один тип жилых и хозяйственных построек — круглые землянки и полуземлянки.

Как представляется, эти и некоторые другие несоответствия «общих» элементов материальной культуры наших памятников являются следствием их серьезных культурных различий. Совершенно очевидно также, что в основе таких различий лежат, как правило, различия этнические. Можно думать, таким образом, что поселение Куцуруб 1 имело значительно более туземное и одновременно более однородное, нежели поселение Старая Богдановка 2, население, появившееся, по всей видимости, в Нижнем Побужье из какого-то района Карпато-Дунайского бассейна. Именно этим последним обстоятельством, т.е. варварским в своей основе составом жителей, может быть в конечном счете объяснен и более низкий, чем у Старой Богдановки 2, вид хозяйственных и культурных связей Куцуруба 1 с Ольвией и Березанью.

ЛИТЕРАТУРА

Виноградов Ю.Г. 1980. Перстень царя Скила. Политическая и династийная история скифов первой половины V в. до н.э. // СА — 3.

Гаврилюк Н.А., Отрешко В.М. 1982. Лепная керамика архаического поселения Большая Черноморка II // Древности степной Скифии. Киев.

Головачева Н.В., Марченко К.К., Рогов Е.Я. 1998. Уникальные сооружения северного района Ольвийской хоры // РА — 3.

Доманский Я.В., Копейкина Л.В., Марченко К.К. 1978. Из истории Нижнего Побужья в VII-V вв. до н.э. (Березань, Ольвия, ольвийская округа) // Проблемы археологии — 2. Л.

Доманский Я.В., Марченко К.К., Рубан В.В. 1975. Исследование поселений на берегах Бугского лимана // АО — 1974.

Козуб Ю.І. 1979. Предмістя Ольвії // Археологія — 29.

Крыжицкий С.Д., Буйских С.Б., Бураков А.В., Отрешко В.М. 1989. Сельская округа Ольвии. Киев.

Крыжицкий С.Д., Бураков А.В., Буйских С.Б., Отрешко В.М., Рубан В.В. 1980. К истории Ольвийской сельской округи // Исследования по античной археологии Северного Причерноморья. Киев.

Крижицький С.Д., Русяева А.С. 1978. Найдавніші житла Ольвії // Археологія — 28.

Кругликова И.Т. 1976. Сельское хозяйство Боспора. М.

Марченко К.К. 1976. Лепная керамика Березани и Ольвии второй половины VII-VI вв. до н.э. // Художественная культура и археология античного мира. М.

Марченко К.К. 1979. Взаимодействие эллинских и варварских элементов на территории Нижнего Побужья в VII-V вв. до н.э. // Проблемы греческой колонизации Северного и Восточного Причерноморья. Тбилиси.

Марченко К.К. 1985. Исследование поселения Старая Богдановка 2 // АО — 1983.

Марченко К.К., Головачева Н.В. 1985. Новый тип строительных комплексов позднеархаического времени в Нижнем Побужье // КСИА — 182.

Марченко К.К., Доманский Я.В. 1981. Античное поселение Старая Богдановка 2 // АСГЭ — 22.

Марченко К.К., Доманский Я.В. 1983. Комплекс вещественных находок на античном поселении Старая Богдановка 2 // АСГЭ — 24.

Марченко К.К., Доманский Я.В. 1983. Культовый зольник на поселении Куцуруб 1 // КСИА — 174.

Марченко К.К., Доманский Я.В. 1986. Античное поселение Куцуруб 1 // АСГЭ — 27

Марченко К.К., Доманский Я.В. 1991. Комплекс вещественных находок на античном поселении Куцуруб 1 // АСГЭ — 31.

Марченко К.К., Соловьев С.Л. 1988. Нова група ліпної кераміки Нижнього Побужжя пізньоархаічного часу // Археологія — 63.

Мелюкова А.И. 1964. Вооружение скифов // САИ — Д1-4.

Онайко Н.А.1976. Раскопки Торика // Археологія — 20.

Отрешко В.М. 1980. Раскопки периферийного отряда Ольвийской экспедиции // АО — 1979.

Шрамко Б.А. 1957. Следы земледельческого культа у местных племен Северного Причерноморья в раннем железном веке // СА — 1.

ИССЛЕДОВАНИЯ И ПУБЛИКАЦИИ

Редина Е.Ф.

СКИФСКИЙ МОГИЛЬНИК У С. НЕДЕЛКОВО НА СЕВЕРЕ ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ

Redina E.F. The Scythian burial by the village of Nedelkovo in the North of Odessa region.

The burial by the village of Nedelkovo is situated between the rivers Dniester and Southern Bug. This area is poorly investigated that is why the excavations of the burial are very important. Mounds 3,5,9 from this burial are referred to the Scythian times. A characteristic detail of the funeral rite consists in a grave pit of a rectangular shape with the long side oriented from West to East. The material is represented by the arrow-heads and spear-heads, by a bronze mirror, knives, Greek ceramics, glass beads. Basing mostly on the ceramics, the author thinks its possible to date the Scythian burial by the village of Nedelkovo with the first half of the IV c. B.C.

Вопросы скифской культуры постоянно привлекали внимание исследователей. За последние десятилетия разработка актуальных проблем скифологии была и остается одним из важных направлений украинской археологической науки. Однако неравномерность изучения скифских памятников на территории Украины до настоящего момента не позволяет дать нам полную историческую картину Великой Скифии. Введение в научный оборот материалов с малоизученных территорий представляет поэтому значительный интерес.

Предметом данного исследования является скифский могильник, находящийся на водоразделе рек Кодымы и Южного Буга у села Неделково Савранского района Одесской области. Могильник располагался двумя небольшими группами вдоль края плато правого берега безымянной балки к югу от села (Дзиговский 1990). Работы на памятнике были проведены в 1990 году Дунай-Днестровской археологической экспедицией Института археологии НАН Украины* (рис.1,1).

Основой могильника послужили курганы эпохи бронзы №1, № 18, вокруг которых впоследствии и сконцентрировались скифские погребения. Только три кургана (3, 5, 9) — определены как скифские, ещё четыре (№№2, 4, 6, 7) — из-за ограбленности оказались без исторической привязки. Однако расположение их в системе могильника, типы погребальных сооружений, ориентировка и незначительный вещественный материал (фрагменты железных изделий и красноглинянных амфор) дают нам возможность высказать предположение о скифской принадлежности и этих курганов.

В кургане № 5 и № 9 обнаружено по два одновременных погребения. Погребальные сооружения представляли собой значительные по размерам прямоугольные ямы со слегка закруглёнными углами. Только в одном случае (курган № 9, погребение № 1) вдоль длинных стен погребальной камеры отмечены заплечики. Ориентировка погребальных комплексов и самих погребённых — неустойчивая. В четырёх случаях это З-В с отклонениями и положением костяка головой на З, а в одном случае (курган №5), при ориентировке ямы З-В, погребённый положен головой на С. Напутственная пища располагалась в ногах умершего и содержала, помимо рёбер, нижние конечности крупного рогатого скота (копытную часть).

КУРГАН №3 (рис. 1, 2-3). Диаметр кургана до 10 м, при высоте насыпи 0.2—0,3 м. Погребение в центре курганов. Могильная яма прямоугольной формы с закруглёнными углами ориентирована по линии З/ЮЗ — В/СВ. Размеры 2,8 × 1,8 м, при глубине 1,3 м (+ 0,7 м до современной дневной поверхности). Погребение разрушено, по сохранившимся костным останкам определяется ориентировка погребённого головой на З/ЮЗ. Предположительно там же находился чернолаковый двуручный канфар. В ногах напутственная пища. В заполнении — кусочки дерева и фрагменты железных изделий.

Инвентарь: чернолаковый канфар, диаметр венчика 13 см, диаметр поддона 5 см, высота 7 см (рис 1,4).

КУРГАН №5. Диаметр кургана 20 м при высоте 0.4 м (рис 2, 1).

ПОГРЕБЕНИЕ 1 (рис. 2,2) расположено в центре кургана. Могильная яма прямоугольна, с закруглёнными углами, ориентирована длинной осью по линии З.-В. Размеры: 2,7 × 1,9 м, при глубине 1 м (+ 0,7 м до современной днев-

* Пользуясь случаем, автор приносит благодарность руководителю экспедиции Дзиговскому А. Н., за предоставленные к публикации материалы.

© Редина Е.Ф., 1999.

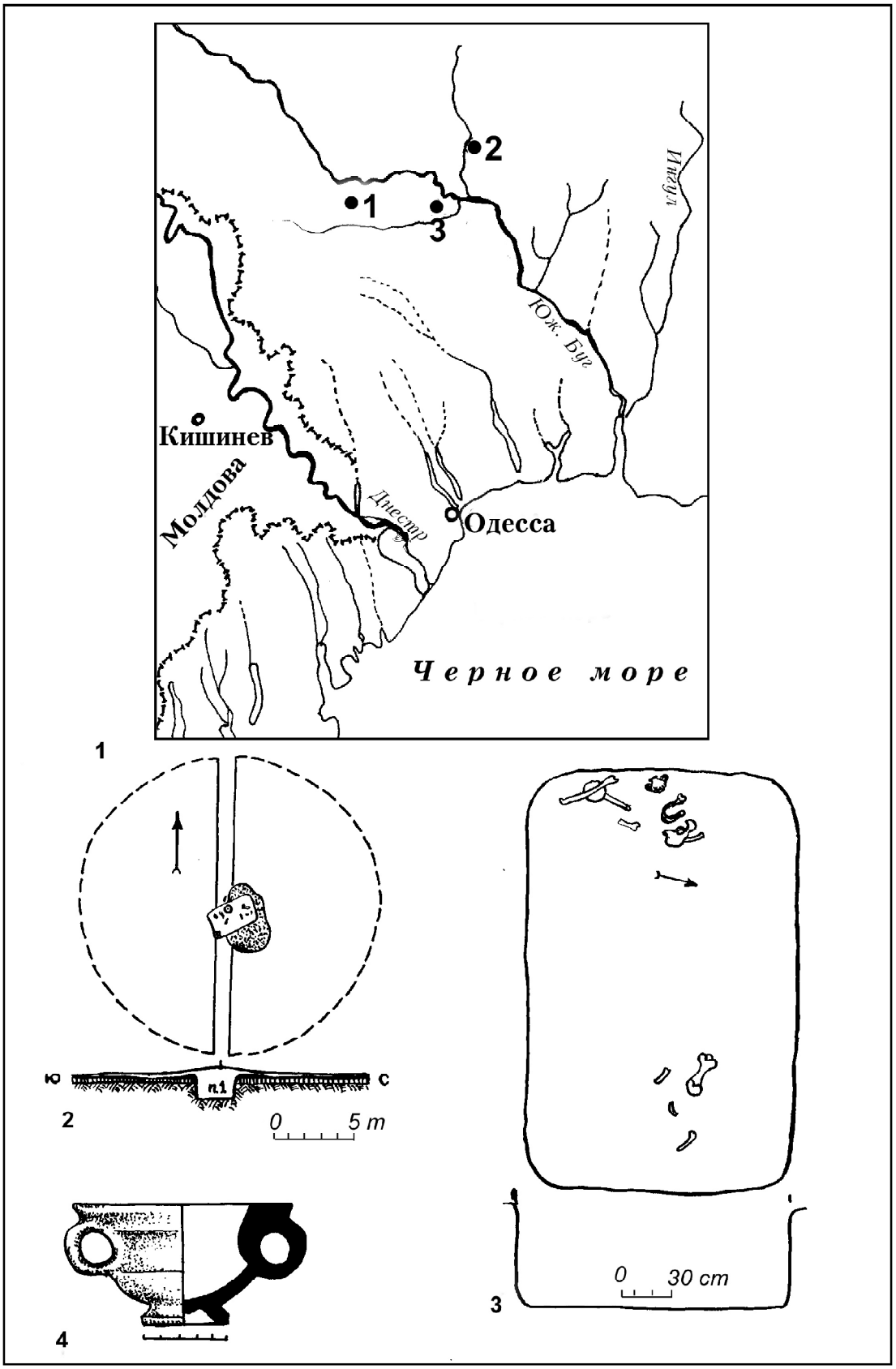


Рис. 1.

1. Местоположение памятника: 1 — Неделково; 2 — Ольшанка; 3 — Каменная Балка.

2. План кургана №3.

3, 4. План и погребальный инвентарь погребения №1 кургана №3.

ной поверхности). Погребение разрушено. По останкам погребённого определяется ориентировка головой на С., в вытянутом положении. В области груди найдены стеклянный бисер, бусы, астрагал. У длинной южной стены находились остатки напутственной пищи.

Инвентарь:

1. Нож железный, клиновидный в разрезе, с прямым лезвием и горбатой спинкой. Рукоять костяная двучастная, скреплённая четырьмя железными заклёпками. Общая длинна ножа 20 см. Ширина лезвия 2,6 см, длина рукояти 10,2 см (рис 2,3).

2. Бусы (8 экз.). В состав ожерелья входили мелкий бисер (не сохранившийся), а также две крупные синие цилиндрические бусины из глухого непрозрачного стекла с фестонным и волнистым орнаментом, несколько фаянсовых голубых ребристых бусин, и две крупные округлые бусины коричневого цвета с поперечными белыми полосами (рис. 2,4).

ПОГРЕБЕНИЕ 2 (рис. 2,5). Расположено в 5 м к юго — западу от центра. Погребальная яма прямоугольная, со слегка закругленными краями, ориентирована длинной осью на СЗ-ЮВ. Размеры: 2,65-1,9 м при глубине 0,4 м (+ 0,7 м до современной дневной поверхности). Погребённый лежал на деревянных носилках в вытянутом положении головой на СЗ. Носилки состояли из двух поперечных и нескольких продольных деревянных плах, шириной 0,1-0,15 м. Руки погребённого находились на животе, ноги первоначально были подняты коленями вверх, а затем распались ромбом. В ногах, у юго-восточной стенки, находилась напутственная пища, железный нож и сероглиняный кувшин. Слева от костяка в области колена выявлен ещё один нож и россыпь бронзовых наконечников стрел (остатки колчана). У юго-западной стенки были расположены два наконечника копий и наконечник дротика, направленные остриём на ЮВ. Дно могилы посыпано мелом.

Инвентарь:

1. Гончарный одноручный сероглиняный кувшин на кольцевом поддоне, с широким цилиндрическим горлом и округлым туловом. Горло рифленое. Высота — 22,5 см, диаметр венчика — 9,5 см, диаметр поддона — 8,5 см; поверхность слегка заглажена (рис. 2,6).

2. Нож железный с клиновидным в разрезе лезвием, слегка вогнутым. Спинка горбатая. Общая длина 13,5 см Рукоять костяная, двучастная, длиной 10,2 см, скреплена пятью железными заклепками (рис. 2,7).

3. Нож железный, с клиновидным в разрезе лезвием, слегка вогнутым. Спинка горбатая. Общая длина 17,5 см, ширина 2,1 см Рукоять костяная, двучастная, длиной 10,3 см. В разрезе каждая пластина трапециевидная, скреплена четырьмя железными заклепками (рис. 2,8).

4. Наконечник копья, железный, с лавролистным пером. Общая длина около 32 см, ширина лезвия 4 см. Длина втока 11 см при диаметре 3 см, вток слегка расширен к основанию (рис. 2, 10).

5. Наконечник копья, железный, с остролистным пером и слегка выделенным ребром. Общая длина около 26 см. Вток удлиненный, расширен к основанию. Длина втока 13 см, при диаметре 3,4 см (рис. 2,9).

6. Наконечник дротика, железный, с длинной, усеченно-конической втулкой. Лезвие не восстанавливается. Общая длина около 20 см.

7. Наконечники стрел (19 экз.), бронзовые, однотипные, трехлопастные, с выделенной втулкой. Отличаются размерами (рис. 2, 11).

КУРГАН 9. Диаметр кургана 25 м, при высоте 0,7 м. Исследовано 2 погребения (рис. 3,1).

ПОГРЕБЕНИЕ 1 (рис. 3,2) располагалось в 5,3 м к СЗ от центра. Погребальная камера прямоугольной формы с закругленными углами, ориентирована длинной осью по линии З-В. Размеры: 2,27 × 1,0 м, при глубине 0,7 м (+ 0,7 м от современной дневной поверхности). На глубине 0,2 м от верха могильной ямы выявлены уступы-заплечики, идущие вдоль длинных сторон погребального сооружения. Ширина заплечиков — 5-7 см. Погребенная женщина была положена головой на З, в вытянутом положении. В области шеи находились бусы, у виска — серебряное колечко-серьга, под левой лопаткой обнаружено бронзовое зеркало. В ногах — железный нож, пряслице, костяной амулет и морская галька. По дну могилы обнаружено присутствие мелких древесных угольков. Стены погребения обмазаны мелом.

Инвентарь:

1. Пряслице усеченно-конической формы, изготовлено из глины. Диаметр основания 2 см, вершины — 1 см (рис. 3,3).

2. Амулет — подвеска, изготовлена из верхнего клыка дикого кабана (рис. 3,5).

3. Серьга из круглой в сечении серебряной проволоки, со слегка заходящими друг за друга концами. Диаметр 1,7 см (рис. 3,4).

4. Бусы (41 экз.). Низка состоит из разнотипных бусин. Центральное место занимали три бусины — подвески из прозрачного стекла, выполненные в виде миниатюрных амфорок. Остальные бусины: усеченно-конические и округлые, желтого и синего цветов; продолговатые синие; одна округлая красная с белыми глазками; мелкие фаянсовые пронизи белого и голубого цвета (рис. 3,7).

5. Нож железный с горбатой спинкой и вогнутым лезвием. Общая длина 17 см, ширина — 2,4 см Рукоять костяная, двучастная, длиной 12,5 см, скреплена шестью заклепками (рис. 3,6).

6. Зеркало — бронзовое, плоское, дисковидное с боковой ручкой. Диск и ручка вырезаны из одного куска бронзы. Прямая ручка заканчивается овальным щитком. На зеркале отмечены следы починки — в месте разлома была наложена бронзовая пластинка, скрепившая диск с рукоятью при помощи сквозных бронзовых штифтов Диаметр зеркала 20 см, длина

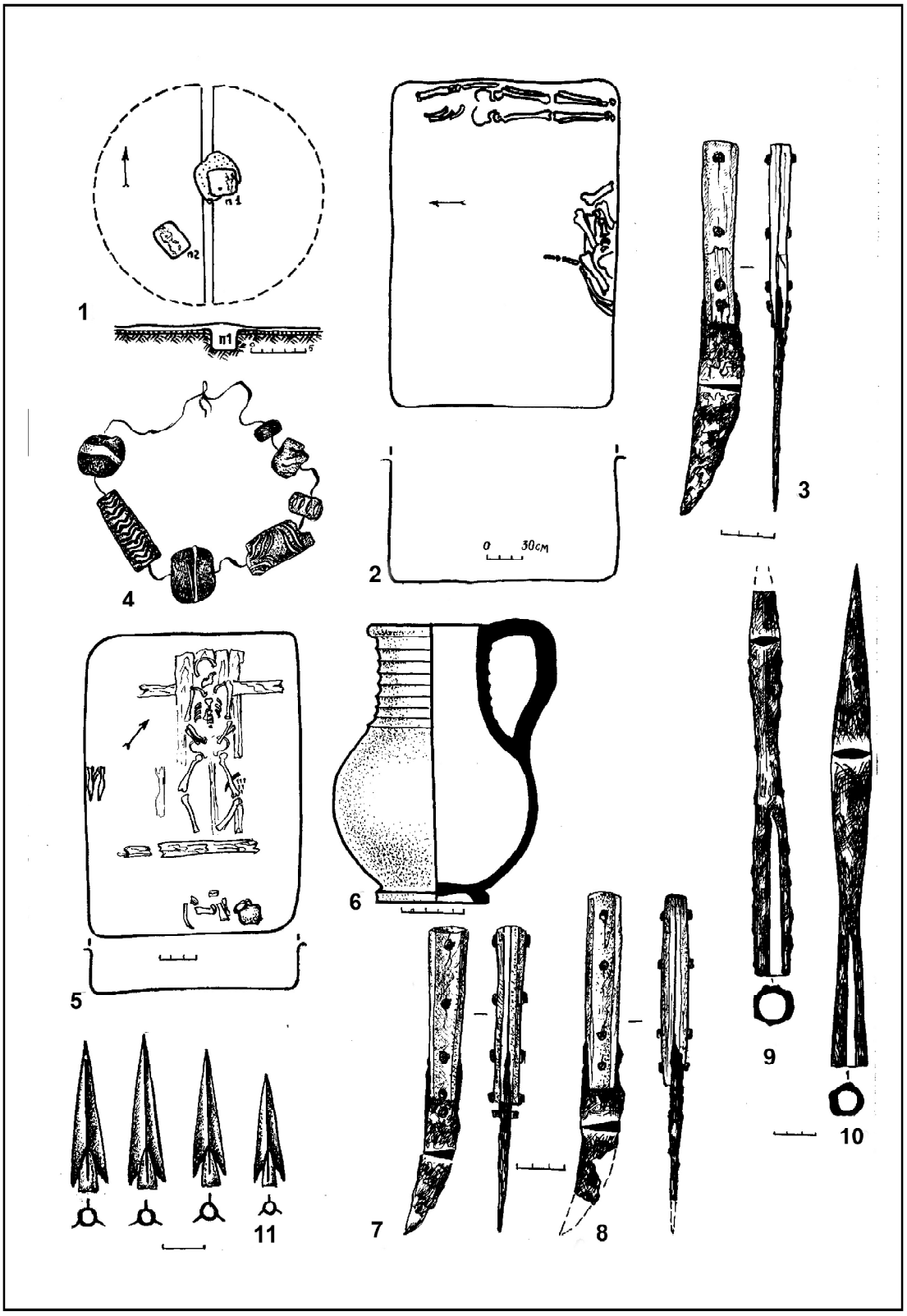


Рис. 2.
1. План кургана №5.
2-4. План и погребальный инвентарь погребения №1 кургана №5.
5-11. План и погребальный инвентарь погребения №2 кургана №5.

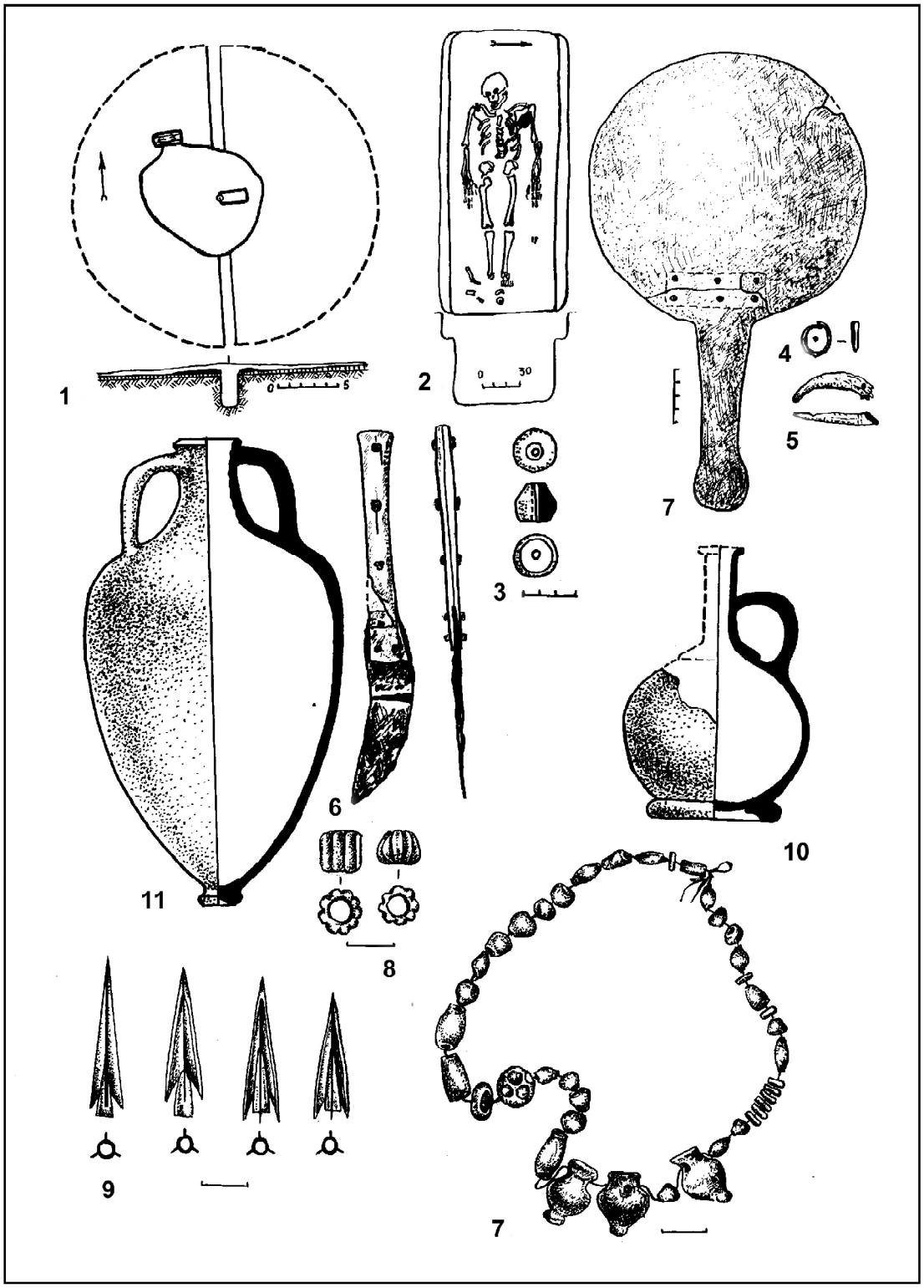


Рис. 3.
1. План кургана №9.
2—7. План и погребальный инвентарь погребения №1 кургана №9.
8—11. Погребальный инвентарь погребения №1 кургана №9.

рукояти — 13,5 см (рис. 3,7).

ПОГРЕБЕНИЕ 2. Обнаружено в центре кургана. Погребальная камера прямоугольной формы, ориентирована длинной осью по линии З-В. Размеры ямы: 2,3 × 1,2 м, при глубине 2м. (+ 1,4 м до уровня современной дневной поверхности). Погребение разрушено. В заполнении погребальной камеры, придонной части, были найдены кости человека, крупного рогатого скота, фрагменты красноглиняной амфоры, чернолакового сосуда, бронзовые наконечники стрел и две бусины.

Инвентарь:

1. Расписной чернолаковый лекиф с пальметой. Высота 10 см, диаметр венчика 1,7 см, поддона — 5 см. Лекиф с узким цилиндрическим горлом и округлым туловом (рис. 3,10).

2. Амфора — красноглиняная, фасосская. Восстановлена полностью. Высота 72 см (рис. 3,11).

3. Бусы (2 экз.) — ребристые, из голубого фаянса (рис. 3,8).

4. Наконечники стрел (21 экз.). Представлены несколькими типами (рис. 3,9):

а — трехлопастные бронзовые наконечники с выделенной втулкой;

б — трехлопастные, со скрытой втулкой и опущенными лопастями;

в — несколько экземпляров трехгранных башнеобразных наконечников стрел.

Основой датировки как отдельных погребений, так и могильника в целом может служить только античная керамика, поскольку остальной материал, а именно: бусы, зеркало, орудия труда и вооружение — имеют достаточно широкие хронологические рамки бытования.

Зеркала, аналогичные найденному у с. Неделково (кург. 9, погр.1), появляются в V в. до н.э., но ранние образцы оформлены характерным орнаментом. Упрощенные варианты без орнамента получают распространение в IV в. до н.э. (Петренко 1967: 35, табл. 24, 1). Что касается оружия, то представленные типы копий датируются V-IV вв. до н.э. (Мелюкова 1964: 40-42), однако сочетание копий и дротиков больше характерно для второй половины IV в. до н.э. Еще одна группа вооружения, дающая общую датировку — это наконечники стрел. Все представленные типы укладываются в разработанную А.И.Мелюковой типологическую таблицу (IV в. до н.э.) (Мелюкова 1964: 24-25). Комплекс кургана 9 может быть более ранним по отношению к погребению 2 кургана 5, поскольку в данном наборе встречены образцы стрел с внутренней втулкой и свисающими или выступающими лопастями, а также несколько башнеобразных стрел, встречающихся в комплексах V — первой половины IV вв. до н.э.

Стеклянные бусы получили большое распространение в Северном Причерноморье. Подвески в виде стилизованных амфорок из прозрачного бесцветного стекла появились, по мнению Е.М.Алексеевой, в V в. до н.э. (Алексеева 1975: 11-12), но продолжали употребляться в IV-III вв. до н.э. Остальные типы бус характерны для скифских памятников IV в. до н.э.

Более четкую датировку дают нам чернолаковый канфар и фасосская амфора. Подобные канфары относятся к группе аттических сосудов и широко известны в Северном Причерноморье. Они датируются второй-третьей четвертью IV в. до н.э. (Онайко 1967: 58, табл. VIII). Фасосская амфора укладывается в рамки первой половины IV в. до н.э. (Брашинский 1984: 237, табл. 18, 4; 28, 4-5).

Исходя из вышеизложенного, нам представляется возможным датировать могильник у с. Неделково первой половиной IV в. до н.э.

Скифский могильник у с. Неделково — один из немногочисленных исследованных памятников лесостепной зоны междуречья Южного Буга и Днестра. Исследования в этом районе не проводились. Ближайший массив исследованных памятников с востока — Побужская степная и лесостепная группы. Территориально и по времени близкими к могильнику у с. Неделково являются могильник Каменная Балка в районе г. Первомайска на правом берегу Южного Буга (рис. 1, 1 — №3) (Шапошникова, Фоменко, Гребенников 1977: 389-390), а также могильник у с. Ольшанка, исследованный Н.М.Бокий на Кировоградщине в бассейне нижнего течения р. Синюхи (рис. 1, 1 — №2) V-IV вв. до н.э. (Бокій 1972: 131-133).

Публикация материалов, связанных с неисследованной территорией, дает нам возможность углубить наши представления о скифском населении междуречья Южного Буга и Днестра в V-IV вв. до н.э., на границе степи и лесостепи. Это является важным дополнением для изучения зон расселения скифов, для разработок вопросов хронологии и культурно-исторических процессов на территории Северного Причерноморья.

ЛИТЕРАТУРА

Алексеева Е.М. 1975. Античные бусы Северного Причерноморья. САИ. Г1—12.

Брашинский И.Б. 1984. Методы исследования античной торговли. Л.

Бокій Н.М. 1972. Розкопки на Кіровоградщині. // АИУ в 1969. Київ.

Дзиговский А.Н. 1990. Отчет о работе Дунай-Днестровской новостроечной экспедиции ИА АН УССР в 1990 г. Архив ОАМ НАН Украины.

Мелюкова А.И. 1964. Вооружение скифов. САИ, Д1-4.

Онайко Н.А. 1967. Античный импорт в Приднепровье и Побужье в V-III вв. до н.э.// САИ, М. Вып. Д1-4.

Петренко В.Г. 1967. Правобережье Среднего Поднепровья. САИ. Д 1-4.

Шапошникова О.Г., Фоменко В.Н., Гребенников Ю.С. и др. 1977. Работы Ингульской экспедиции. // АО 1976 г., М.

Гаврилов А.В.

АМФОРНЫЙ ИМПОРТ НА АНТИЧНОМ ПОСЕЛЕНИИ НОВОПОКРОВКА В ЮГО-ВОСТОЧНОМ КРЫМУ

Gavrilov A.V. Amphorae import on the antique site of Novopokrovka in the south-east of the Crimea.

The antique site of Novopokrovka is in 23 kms to the north-west from Theodosia. For three field seasons of excavations 750 sq. m. were explored. On quantity of yielded materials the first place was borrowed by the amphorae sherds, that makes 72% from general number of the ceramic fragments found here. The analysis of this material has allowed to allocate the amphorae of different centers which production acted on the site from the late VI-the beginning of the V-th up to the first third of the III-rd centuries B.C. This material can form the basis for dating time of existence of the rural sites in region around Theodosia. The dynamic of wine import from the different centers of antique world on agricultural sites of the Polis is reflected as well.

At an early stage of the site in the first-second quarters of the V-th century B.C. production extremely Ionian centers of Lesbos, Chios, Mende, Samos, Miletus etc. came here. On an extend of the V-th – IV-th centuries B.C. the other centers in particular South Pont of Sinope, Heraclea, Kolkhidae were added to them and so Samothrace, Rhodos, Knid, Peparet. In insignificant amount Chersonesus Taurian did import of its wine here. In the IV-th century B.C. Heraclea is especially distinguished which in volumes of the deliveries has repeatedly blocked import from the other places of the antique world. During the all period of existence of the site Chios was the constant importer of its production here. In the end of the first third of the III-rd century B.C. the import on the site came to stop. It is obvious the site was left by the population in connection with the beginning of the military conflict between the Scythians and antique states and of the Sarmatians expansion upward the Crimea. The life on it does not renew, though separate finds of amphorae fragments manufactured in Chios and Rhodos in the second half-the end of the III-rd century B.C. much come across here but they only testify to visiting this place by the nomads.

В 1994-1996 гг. охранно-археологическая экспедиция при региональной инспекции Рескомитета АР Крым по охране и использованию памятников истории и культуры проводила раскопки античного поселения, находящегося в 1,3 км к западу от села Новопокровка Кировского района в 23 км к северо-западу от Феодосии (карта 1).

Поселение располагается на пологом склоне и в пойме широкой и неглубокой степной лощины, по которой пролегало одно из русел маленькой пересыхающей речки Кхоур Джилга. Оно состояло из отдельных домов-усадеб, число которых сейчас определить трудно. Однако, судя по пятнам зольников, их могло быть около девяти.

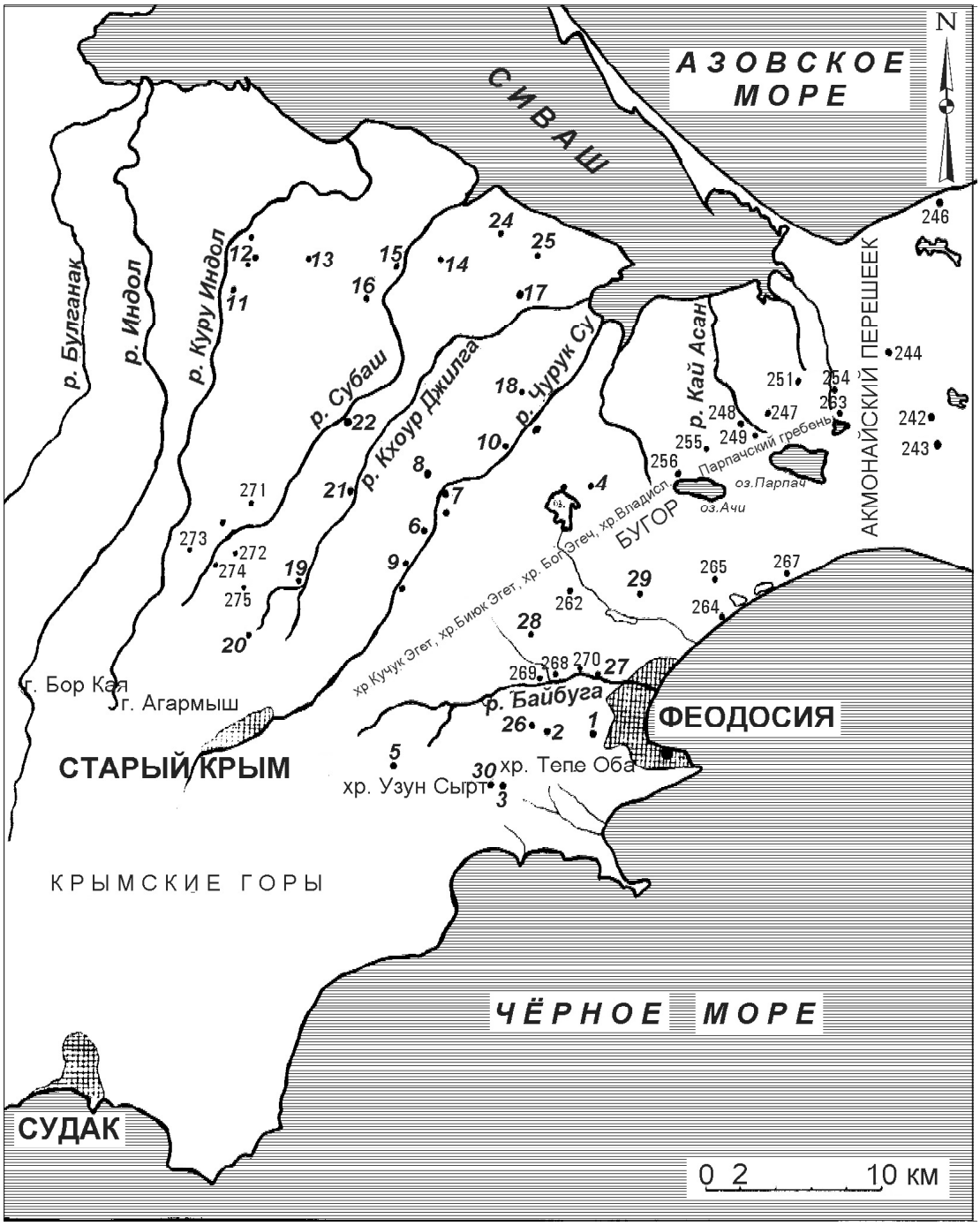
Постройки размещались без определенной системы, месторасположение некоторых из них определяется по наличию на поверхности пашни бутового известнякового камня. Площадь распространения подъемного материала составляет приблизительно 300×300 м. Верхняя часть культурного слоя неоднократно перепахивалась на глубину 0,4-0,6 м, его общая мощность до уровня древней дневной поверхности местами достигает 1,1 м.

Данный памятник, согласно типологии И.Т.Кругликовой, можно отнести к типу неукрепленной деревни — «комы» (Кругликова 1975: 149). Судя по площади распространения подъемного материала и количеству зольных пятен, поселение могло иметь кустовой характер плановой структуры, которому соответствовало несколько жилищ с расположенными вокруг них хозяйственными объектами (Крыжицкий, Буйских, Бураков, Отрешко 1989: 44; Буйських 1992: 29).

За три полевых сезона шурфами и раскопками было вскрыто 750 м^2. По количеству найденного материала первое место занимали фрагменты амфор, что оставляет 72% от общего числа найденных фрагментов керамики. Исходя из их анализа, и прежде всего, форм венчиков и ножек, было выделено несколько групп амфор разных центров, которые поставляли свою продукцию на поселение с конца VI — начала V в. до н.э. до конца первой трети III в. до н.э. через Феодосию (табл. 1). Этот материал может служить основой для датировки сельских поселений в регионе вокруг Феодосии, также отражает динамику поступления импортного вина из разных городов античного мира на сельскохозяйственную округу полиса.

Первый хронологический период включает амфоры первой — второй четверти V в. до н.э. Это фрагменты амфор на сложнопрофилированном кольцевом поддоне, которые условно

© Гаврилов А.В., 1999.



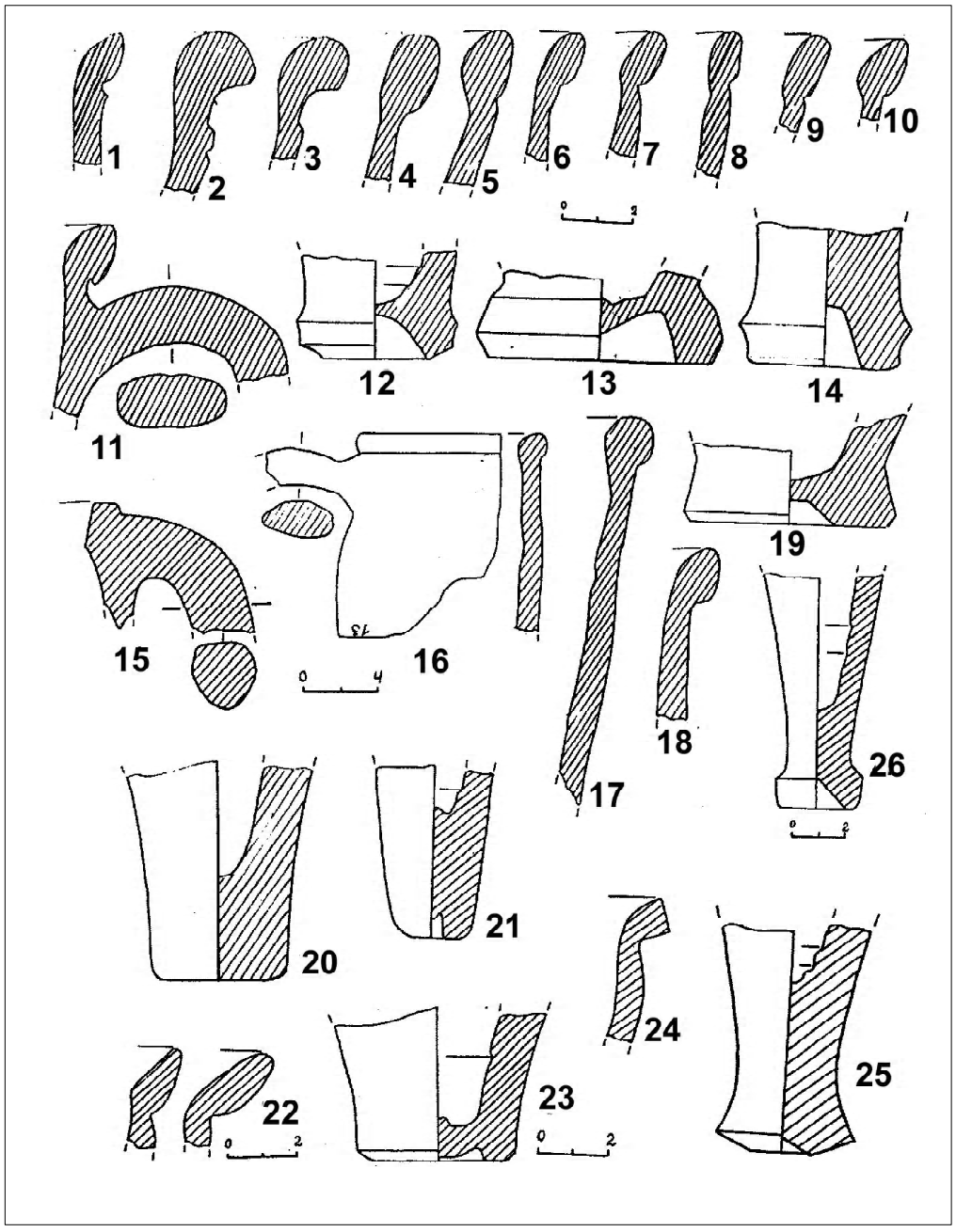
Карта 1.
*242–275 — поселения, 1950–1970 гг.; **1–30** — поселения 1970–1997 гг. (в т. ч. 8 — Новопокровка); р. — речки; оз. — озёра; хр. — хребты; г. — горы; б. — балки.*

относятся к протофасосским, самосским, милетским центрам производства, а также продукция островов Лесбос, Хиос, эолийских центров, Менды и амфор типа Q 12:3.

Ко второму хронологическому периоду относятся амфоры второй четверти — конца V в. до н.э. В это время увеличиваются поставки продукции в амфорах на сложнопрофилированном кольцевом поддоне, Менды и Хиоса и начинается импорт с острова Фасос и центров круга Фасоса, а также в амфорах типа с раздутым горлом.

В третий хронологический период входят амфоры первых трех четвертей IV в. до н.э. Продолжается поставка продукции Хиоса, Фасоса, Менды. Начинается импорт из Гераклеи и Колхиды, острова Самофракии, а также привозится вино в амфорах типа Солоха I (остров Родос), Солоха II (Пепарет), Муригиоль. Со вто-

Рис. 1.



рой четверти IV в. до н.э. появляется импорт из Синопы.

К четвертому хронологическому периоду относятся амфоры последней четверти IV — первой трети III вв. до н.э. Продолжают импорт своей продукции Хиос, Гераклея, Синопа. Начинают импорт вина Херсонес и Книд (амфоры типа Усть-Лаба).

Ранний импорт на поселении представлен фрагментами амфор на сложнопрофилированном кольцевом поддоне. Венчики амфор этого типа по форме округлые, валикообразные, вытянутые по вертикали, варьируют от клювовидного до приближающегося к прямоугольнику, чаще с хорошо выраженным нижним контуром, который может быть в виде прямого или вогнутого отрезка. С внешней стороны ниже венчика в некоторых случаях имеется врезной желобок (рис.1, 1-11) (Абрамов 1993: 30, 2.34, 2.35, 2.42, 2.44). Общей характерной чертой для всех фрагментов амфор этого типа является сочетание в большинстве случаев довольно массивного венца с относительно тонкой стенкой и его отогнутость наружу, что придает горлу амфоры сходство с воронкой.

Ножки амфор на сложнопрофилированном кольцевом поддоне представлены единичными находками и попадались в основном среди подъемного материала. Найден экземпляр ножки диаметром 69 мм, которая датируется второй половиной VI в. до н.э. (рис.1, 13) (Рубан 1991: 188, рис.5, 17; 6, 9). Имеются фрагменты

диаметром 44 мм, образующие линии внешнего контура ножки слегка вогнутой конфигурации, на подошве широкая и глубокая усеченно-сферическая выемка (рис.1, 2,14). Переход от нижней части корпуса амфоры к ножке плавный. Внешний вид и размеры позволяют датировать амфоры с такими ножками второй четвертью V в. до н.э. (Рубан 1991: 189, рис.7, 17-19). Существует предположение, что амфоры с такими типами венчиков и ножек относятся к производству Милета (Рубан 1991: 182). Это вполне допустимо, поскольку данный ионийский полис был метрополией Феодосии и на раннем этапе жизни апойкии и её сельской округи мог поставлять к ним продукцию в амфорах собственного производства.

Глина вышеуказанных фрагментов в большинстве случаев плотная, хорошо отмучена, не содержащая примесей. Однако обязательным для каждого имеющегося фрагмента являются включения слюды — от крупных золотисто-светлых блесток до мелких в незначительном количестве. Иногда в тесте встречается мелкий песок или мелкие белые частицы. Цвет глины варьирует от красных насыщенных оттенков до светло-коричневого и желтоватого. В центре скола иногда прослеживается серый закал, некоторые фрагменты ангобированы.

Среди амфорного материала встречаются фрагменты венчиков и ножек, которые по форме, цвету, составу глины условно можно отнести к Самосу, но совершенной уверенности в этом нет, потому что отсутствуют точные аналогии этим образцам (рис.1,16-19). Несомненным остается их ионийское происхождение, и датируются они в широких рамках середины VI — V вв. до н.э. (Лейпунская 1981: 24, табл.2).

Эолийские центры производства представлены фрагментом верхней части горла с венчиком и верхним прилепом ручки серо-глиняной лесбосской амфоры (рис.1, 15). Венчик в сечении подквадратной формы, ручка округлая, тесто с примесью мелкого песка и небольшого количества мелкой слюды. Датируются такие венчики в широких рамках второй половины VI — конца V вв. до н.э. (Абрамов 1993: 31, 2.55).

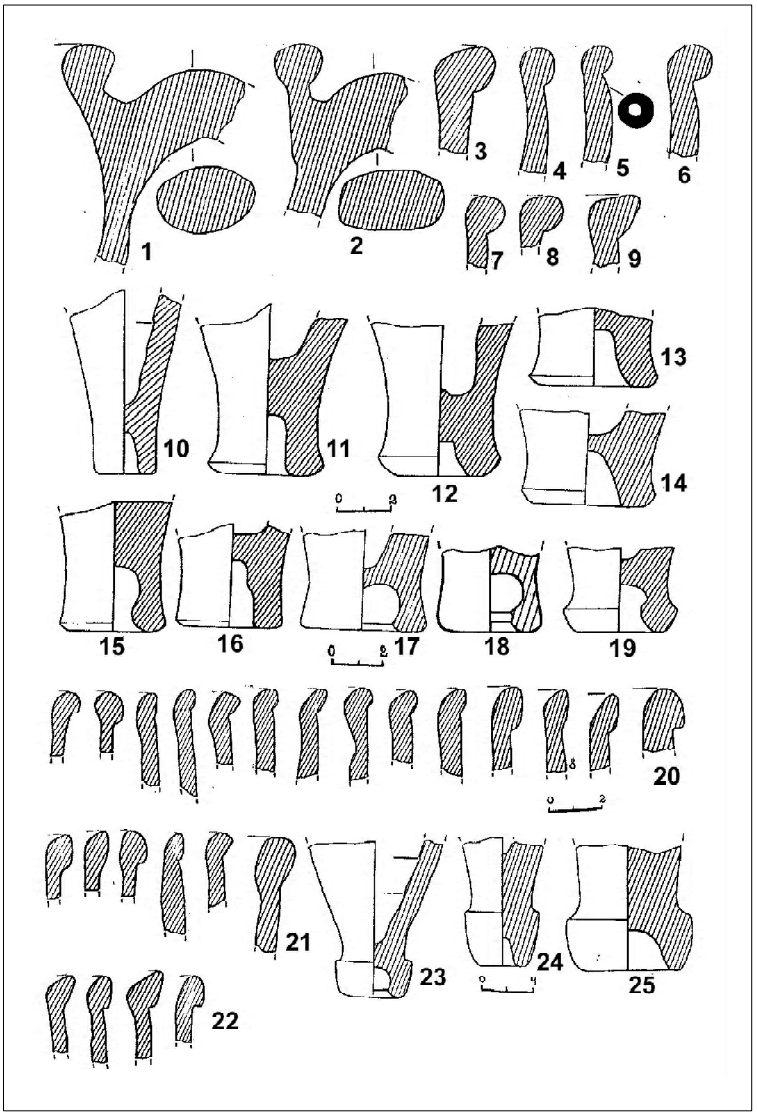


Рис. 2.

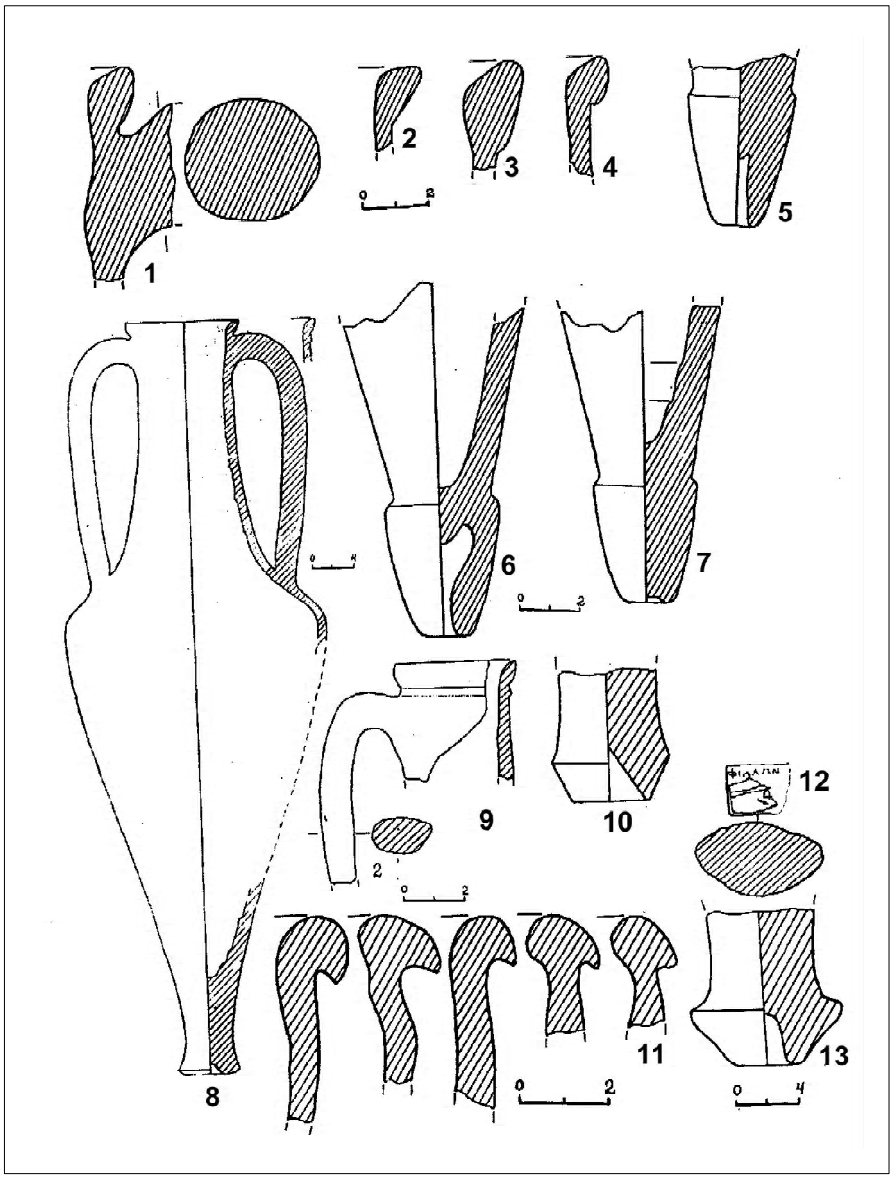


Рис. 3.

К эолийским центрам также относятся две стаканообразные или усечённо-конусовидные ножки цилиндрической и слегка суживающейся книзу формы, в одном случае с мелкой выемкой на подошве (рис.1, 20,21). Оба фрагмента имеют глину красноватых оттенков, тесто мелкозернистое с примесью большого количества золотистых и светлых блесток слюды. Их датировка определяется в довольно широких рамках: второй половины VI — первой половины V вв. до н.э. Исходя из таких хронологических показателей, как вытянутость по вертикали и толщина внутреннего заполнения ножки, наши экземпляры можно датировать концом VI — началом V вв. до н.э. (Рубан 1990: 18).

Два венчика (рис.1, 22), очевидно, принадлежат к амфорам типа Патрей (склад 1991 г.), принадлежащим эолийским центрам производства (Абрамов 1993: 32, 2.60). Венчики массивные, валикообразные, вытянуты по вертикали, сильно отогнуты наружу. Их глина красно-коричневых оттенков, тесто различной плотности с включением мелкого песка и блесток слюды. В центре скола наблюдается серый закал.

К неизвестным центрам производства относятся ножки амфор типа Q 12:3 и профильные части амфор типа с раздутым горлом. Ножка амфоры типа Q 12:3 (рис.1, 23) представляет собой цилиндрический кольцевой поддон с умбоновидным выступом в центре донной части. Глина темно-красного цвета, тесто слоистое, крупнозернистое, с примесью большого количества светлых блесток слюды и песка. Датируется, скорее всего, началом V в. до н.э. (Абрамов 1993: 37, 2.129).

Ножка и венчик амфоры типа с раздутым горлом (рис.1, 24,25) изготовлены из глины темно-розового цвета с примесью большого количества желтоватых включений и крупных блесток слюды. Поверхность всех имеющихся фрагментов покрыта светлым плотным ангобом. Ножка, расширяющаяся книзу, с ребром на ме-

сте максимального диаметра, подошва выпуклая с уплощенным нижним контуром, в центре неглубокая уплощенная конусовидная выемка. Венчик в сечении подпрямоугольной формы, сильно отогнут наружу, что подчеркивает раздутость горла. Образующие контуры уплощены. Датируется данный материал второй четвертью — концом V в. до н.э. (Зеест 1960: 90).

Несколько экземпляров ножек не отнесено к какому-либо из известных центров производства амфорной тары (рис.1, 26). Они имеют в нижней части невысокий налеп, почти цилиндрический по форме, уплощенную подошву с широкой и относительно глубокой конусовидной выемкой. Четко выражен переход от нижней части корпуса амфоры к налепу. Изготовлены из глины темно-коричневого и темно-розового цвета, тесто мелкозернистое, с примесью песка, белых включений и многочисленных светлых блесток слюды. В центре скола имеется серый закал. По составу глины эти ножки могут быть отнесены к эолийским центрам производства, однако подобная форма среди материала этих центров нам не известна.

Среди центров, поставляющих свою продукцию на поселение, особенно выделяется Хиос. Его импорт поступает на поселение с конца VI — начала V вв. до н.э. и представлен венчиками и ножками амфор ранних пухлогорлых вариантов. Венчики округлой формы, некоторые фрагменты имеют энглифические или нанесенные темной лакообразной краской кружки (рис.2, 4-6) (Абрамов 1993: 36, 2.110, 2.117). Встречаются фрагменты ручек хиосских амфор с нане-

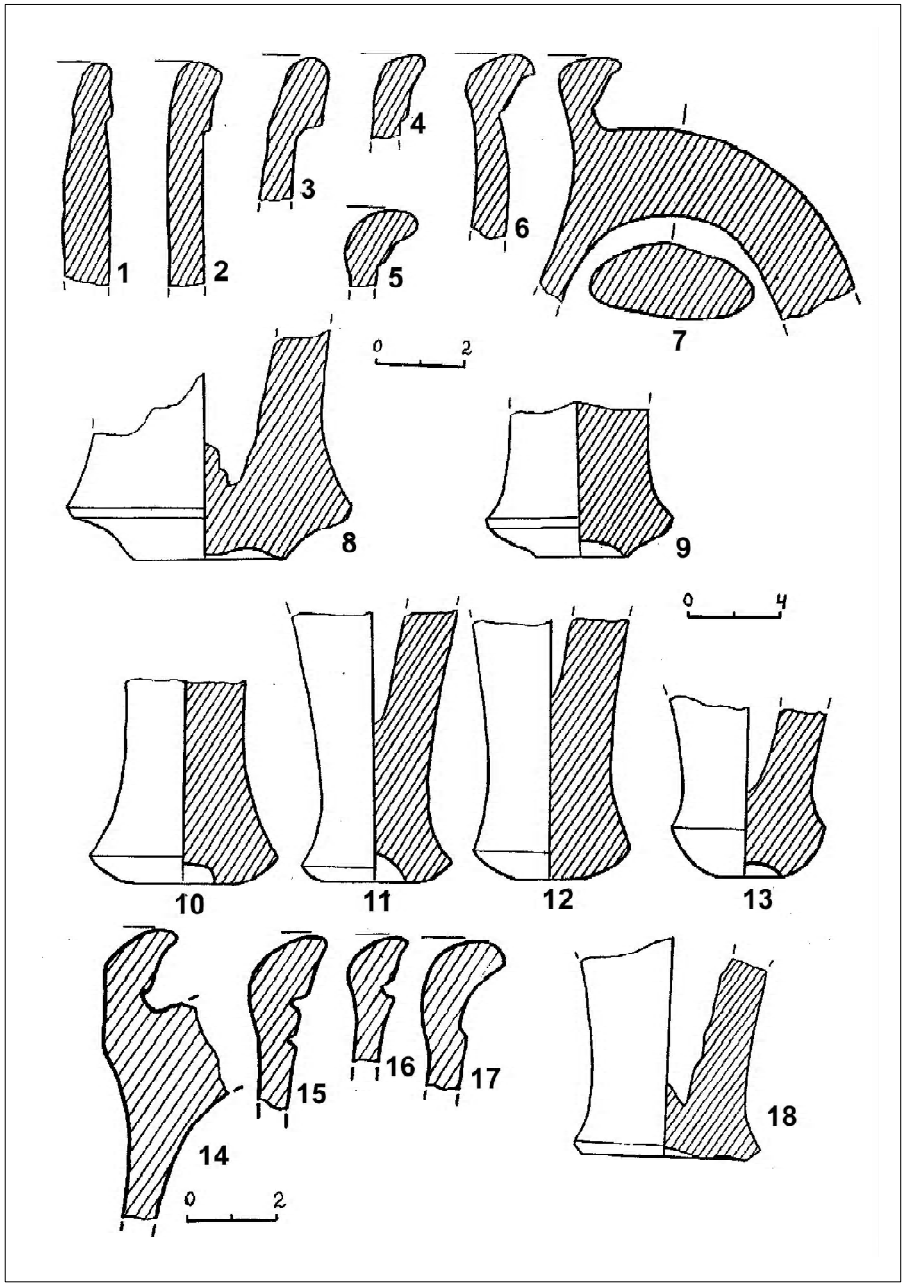
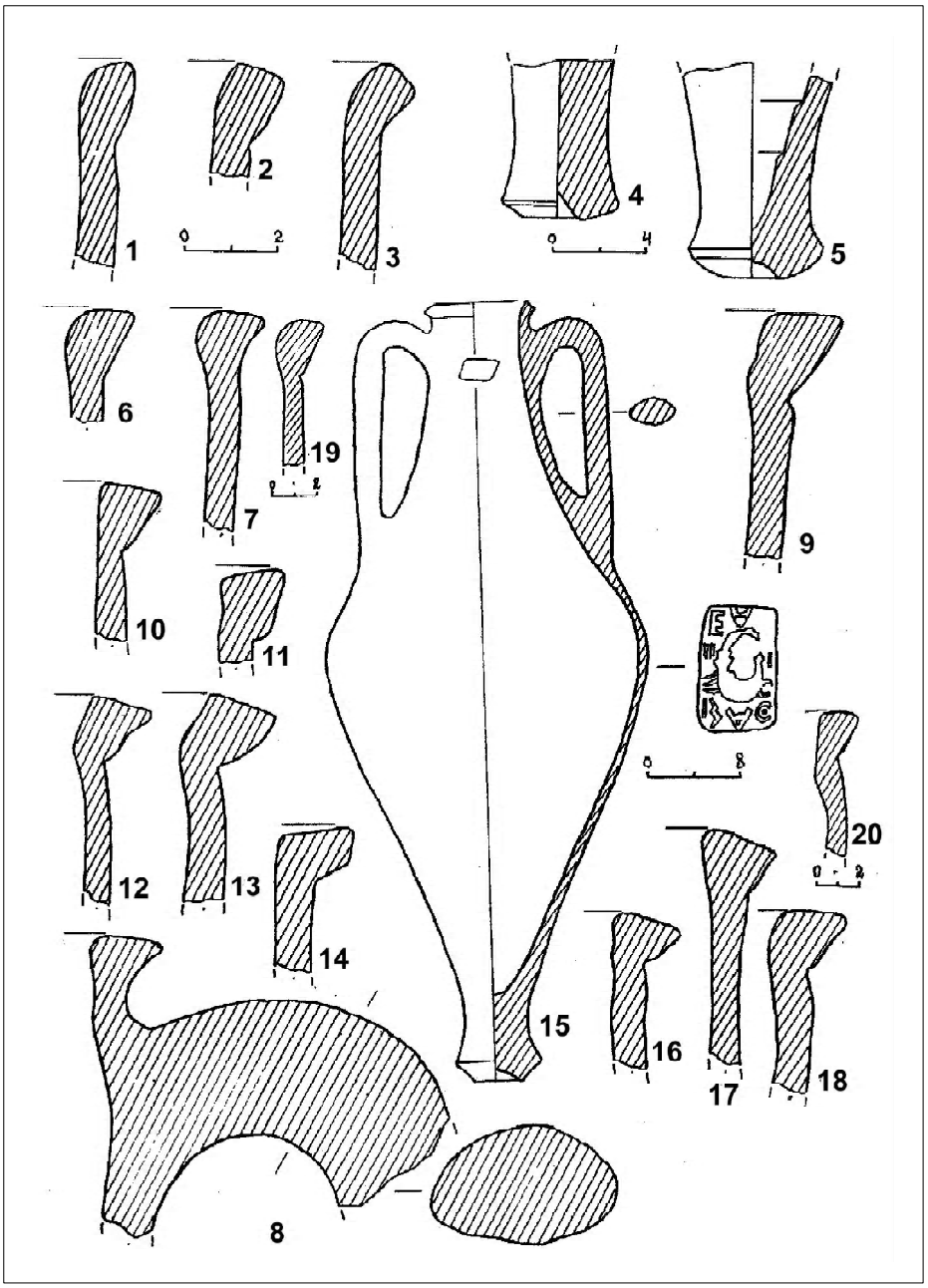


Рис. 4.

Рис.5.



сёнными на их внешнюю поверхность узкими вертикальными полосами. Ножки амфор раннепухлогорлых типов изготовлены в виде расширяющегося книзу массивного кольцевого поддона без чёткой профилировки. Выемка на подошве усечённо-конической, цилиндрической или усечённо-сферической формы (рис.2, 10-14). Амфоры с такими венчиками и ножками датируются концом VI в. до н.э. (Рубан 1982: 103, рис.1;2,3,4).

В первой — второй четверти V в. до н.э. поступают амфоры позднепухлогорлых типов с массивными венчиками округлой или подтреугольной формы (рис.2, 1-3,7-9) (Абрамов 1993: 28, 2.9, 2.13). Ножки этих амфор изготовлены в виде кольцевого поддона без четкой профилировки, слегка расширяющиеся книзу. Выемка на подошве глубокая, грибовидной или усеченно-конусовидной формы (рис.2, 15-19) (Рубан 1982: 106, рис.4; 6).

В это же время Хиос импортирует продукцию в амфорах прямогорлого типа (Абрамов 1993: 28, 2.11, 2.19). Их венчики валикообразные, вытянуты по вертикали, верхний образующий контур бывает округлый или уплощенный, слегка скошенный внутрь горла (рис.2, 20-22). Ножки в виде суживающегося книзу налепа с глубокой, различной профилировки выемкой на подошве (рис.2, 23-25).

С IV в. до н.э. хиосский импорт представлен амфорами с колпачковыми ножками. Венчики валикообразные, вытянутые по вертикали, на всех фрагментах венчиков прослеживается острый угол между выпуклым внешним и уплощен-

ным верхним образующими контурами (рис.3, 1-4) (Абрамов 1993: 37,3.2). Ножки в виде массивного, суживающегося книзу налепа, усеченно-конусовидной формы, с глубокой фигурной или цилиндрической выемкой на подошве, характерной для первой половины IV в. до н.э. (рис.3, 5,6). На ножках второй половины IV в. до н. э — начала III в. до н.э. выемка уменьшается (рис.3, 7) (Абрамов 1993: 37, 3.4, 3.5). Цвет глины хиосских амфор чаще красных оттенков, иногда встречаются фрагменты коричневого цвета, в тесте которых наблюдается большое количество крупных белых или желтых частиц. Тесто мелкозернистое, в большинстве случаев с примесью мелких блесток слюды.

Менда являлась одним из ведущих и постоянных импортёров вина на поселение с начала V в. до н.э. до начала последней четверти IV в. до н.э. Ранние амфоры этого центра представлены венчиками вытянутой по вертикали, подпрямоугольной формы, с внешней стороны они отделены от стенки горла амфоры уступом в виде небольшого горизонтального отрезка (рис.4, 1-4). Таким венчикам соответствуют ножки, слегка расширяющиеся книзу, с выпуклой подошвой и небольшой полусферической выемкой в центре, хотя попадаются экземпляры и без нее (рис.4, 12,13). Для этих ножек характерно плавное соединение с нижней частью корпуса амфоры, они датируются концом VI — началом V вв. до н.э. (Абрамов 1993: 34, 2.85). Наиболее массовым импорт Менды был в середине IV в. до н.э. и представлен фрагментами венчиков в виде отогнутой наружу и сужающейся в

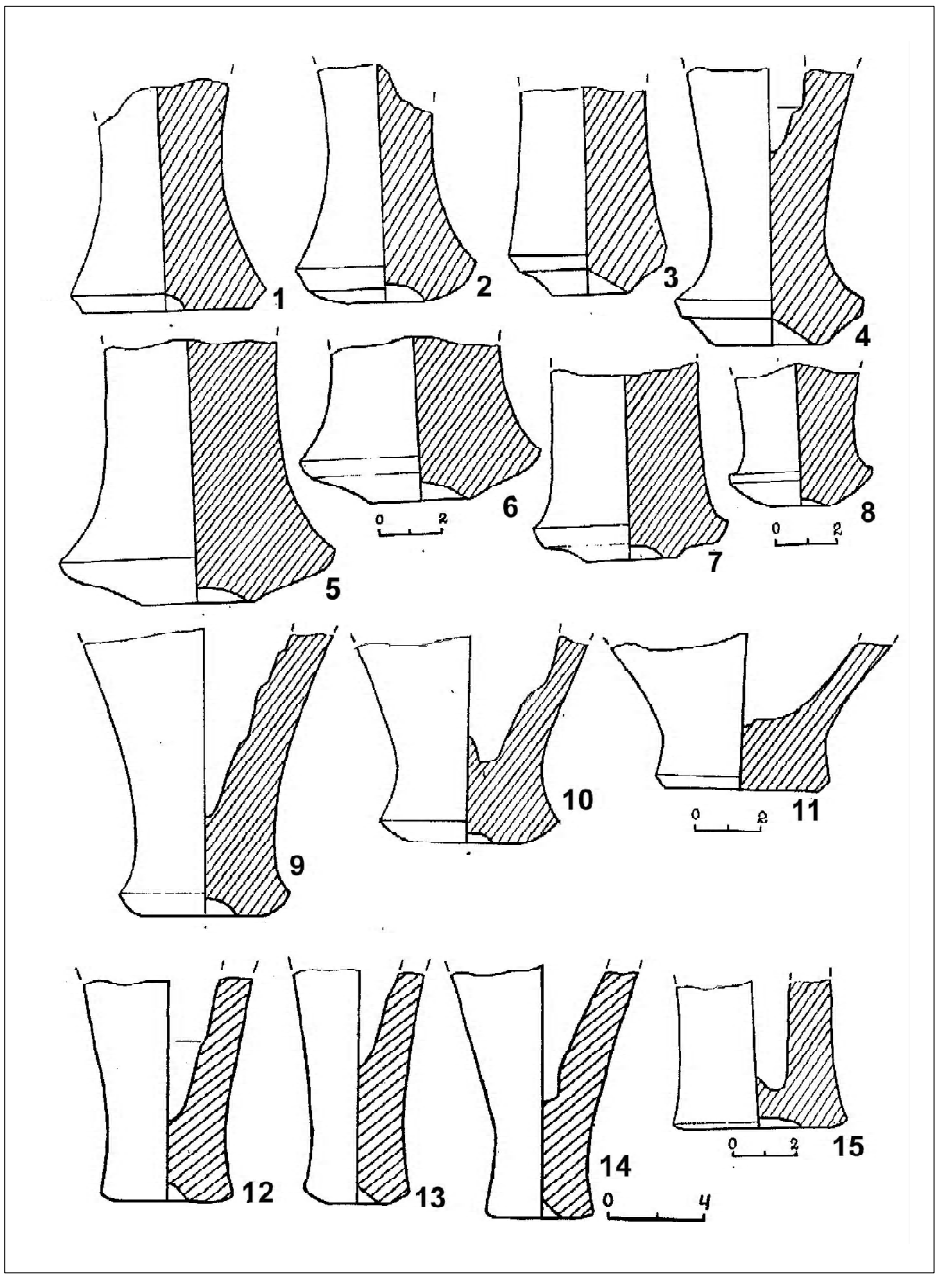
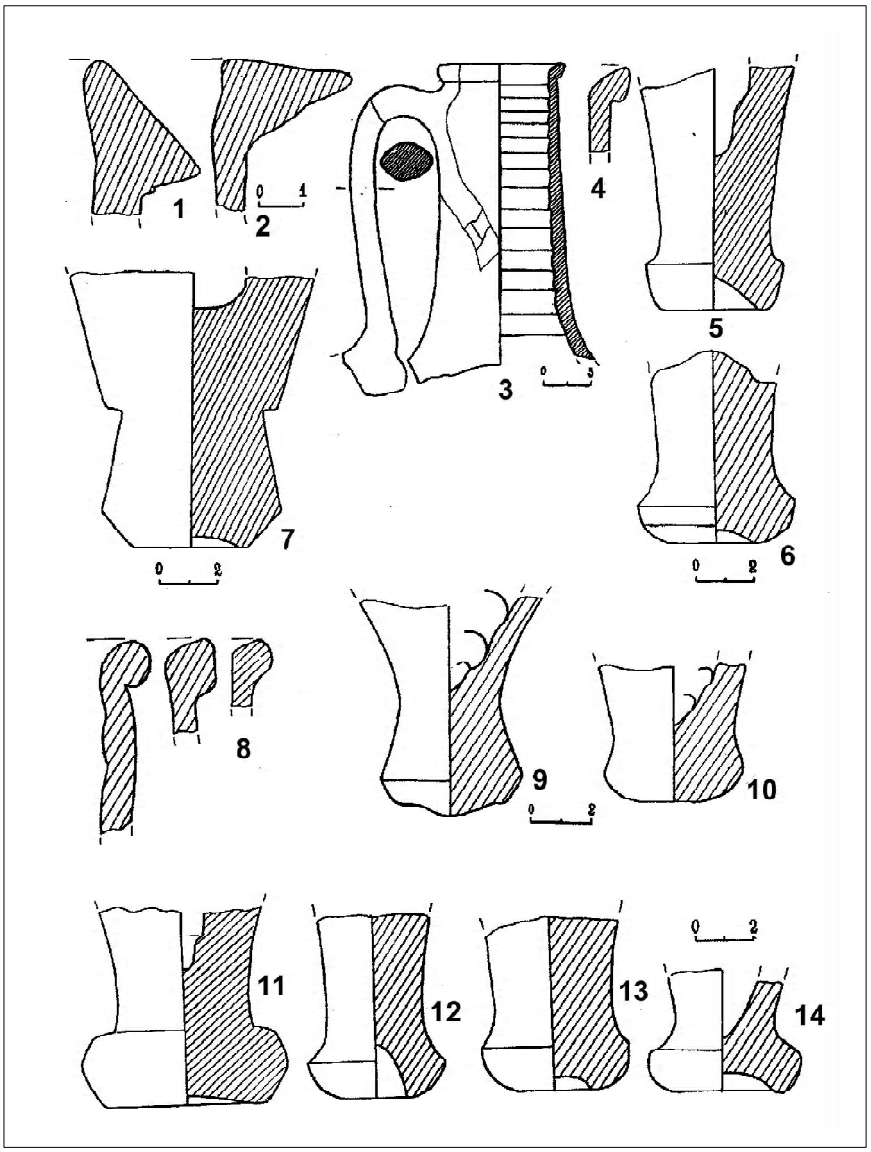


Рис. 6.

Рис. 7.



верхней части стенки горла амфоры. С внешней стороны венчики отделены неглубоким желобком (рис.4, 5-7,14-17). Следует отметить для венчиков всех периодов характерную черту — сочетание внешнего вогнутого контура с выпуклым верхним, что особенно выделяется в поздних типах амфор. Для мендейского импорта этого периода характерны ножки, сильно расширяющиеся книзу, большого диаметра, с подошвой выпуклой или выпукло-вогнутой (рис.4, 8-11,18). На месте максимального расширения ножки имеется грань или небольшой скошенный кольцевой поясок. Выемка на подошве широкая, полусферическая, часто уплощенная (Абрамов 1993: 34, 2.89, 2.92). Фрагменты амфор Менды, найденные на поселении, по цвету глины и составу теста четко делятся на два вида. Первый выделяется глиной ярко-красного насыщенного цвета, тесто плотное, мелкозернистое, с мелкими белыми включениями, поверхность гладкая. Второй — серых, светло-коричневых оттенков, тесто крупнозернистое, часто встречаются включения крупного кварцевого песка или блесток слюды.

Со второй половины V в. до н.э. на поселение начинает поступать продукция в амфорах фасосского производства. Венчики ранних фасосских амфор по форме приближаются к трапеции с наибольшим расширением в верхней части. Внешний образующий контур, как правило, прямой, отогнут наружу, верхний и внутренний контуры образуют плавную выпуклую линию (рис.5, 6-8,18-20) (Абрамов 1993: 33, 2.81). Им соответствуют ножки, сильно расширяющиеся в нижней части, большого диаметра с выпуклой или уплощенной подошвой и неглубокой полусферической выемкой (рис.6, 1,2,9,10). Массивные, отогнутые наружу венчики высотой до 20 мм (рис.5, 9,13) датируются последней четвертью V в. до н.э. (Абрамов 1993: 33, 2.82, 2.83). К этому же времени отнесена ножка (рис.6, 8), слегка расширенная книзу, с выпуклой подо-

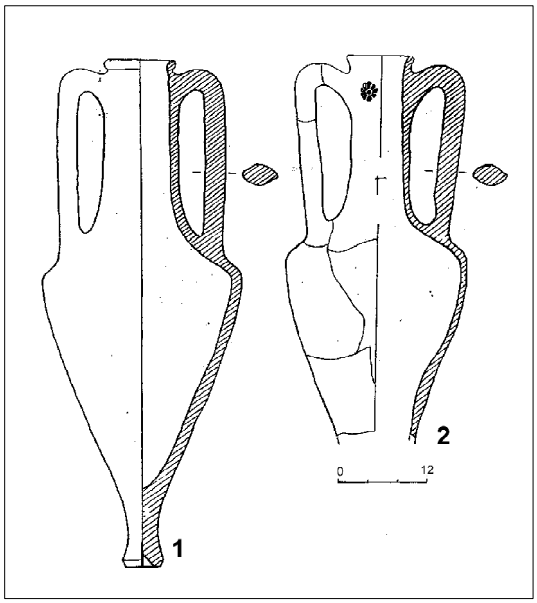


Рис. 8.

швой и вертикальным кольцевым пояском на месте максимального диаметра и небольшой полусферической выемкой на подошве (Абрамов 1993: 33, 2.84/.

Среди фасосского импорта преобладают венчики, имеющие уплощенные образующие контуры, по форме приближающиеся к трапеции, прямоугольнику, треугольнику. Верхний образующий контур иногда вогнутой конфигурации, может быть расположен горизонтально или слегка скошен (рис.5, 10-12, 14, 16, 17). Они относятся к первым трем четвертям IV в. до н.э. (Абрамов 1993: 37, 3.6).

Среди находок имеется целый экземпляр фасосской биконической амфоры (рис.5, 15). Морфологические признаки и клеймо позволяют датировать ее первой половиной IV в. до н.э. Для таких амфор характерны сильно расширяющиеся книзу ножки изящных пропорций с выпукло-вогнутой подошвой, скошенным кольцевым пояском на месте максимального диамет-

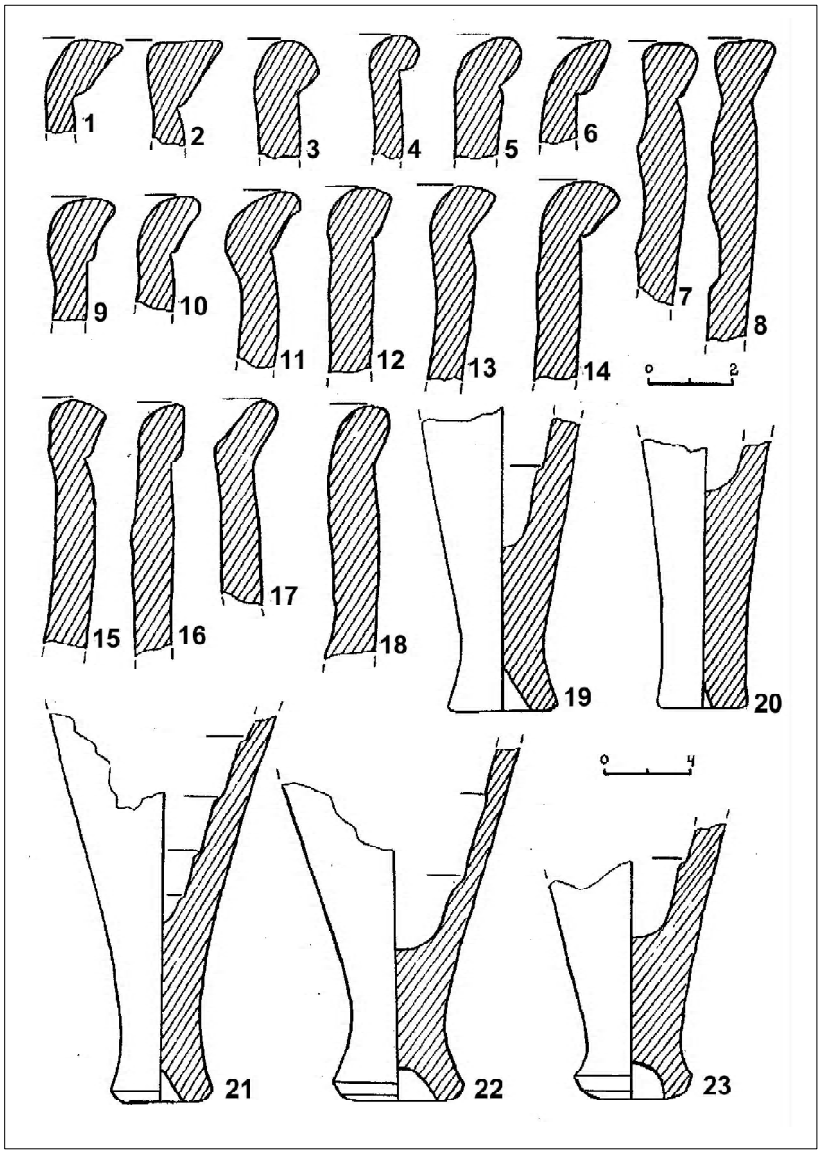


Рис. 9.

ра и широкой уплощенной конусовидной выемкой на подошве (рис.6, 3-7). Глина фасосских амфор во все периоды существенно не изменяется, она обычно светло-коричневых, бледно-красных, иногда розоватых оттенков. Тесто с примесью мелкого песка и большого количества крупных золотистых блесток слюды. Иногда поверхность покрыта светлым ангобом (Абрамов 1993: 37,3.8).

Следует отметить фрагменты венчиков (рис.5, 1-3) и ножек (рис.5, 4,5; рис.6, 11-15), принадлежащих неизвестным центрам производства круга Фасоса — амфорам типа Патрей (подводный комплекс №2). По своему внешнему виду они похожи на фасосские. Их глина красных, темно-коричневых оттенков, тесто с примесью белых включений и небольшого количества мелкой слюды. Данный материал относится к последней четверти V в. до н.э. (Абрамов 1993: 33, 2.103, 2.105, 2.106, 2.108/.

Период, охватывающий первые три четверти IV в. до н.э. отмечен поставками на поселение продукции в амфорах типов Солоха I, II; Муригиоль. Амфоры типа Солоха I Н.А.Лейпунская относит к производству острова Родос (Лейпунская 1981: 30). Для них характерны массивные, сильно отогнутые наружу, в сечении приближающиеся к треугольнику венчики (рис.7, 1,2). Ножек амфор этого типа на поселении не обнаружено. Глина обычно светлокоричневого цвета, хорошо отмучена, тесто плотное с примесью слюды, поверхность покрыта плотным бледножелтым ангобом (Абрамов 1993: 39,3.34).

Имеются находки двух венчиков, которые по форме, цвету и составу теста можно отнести к родосским амфорам (рис.10, 20,21). Они датированы второй половиной III в. до н.э., что в целом выходит за рамки массового поступления импорта других центров на поселение. Возможно, это связано с тем, что место бывшего поселения посещалось кочевниками.

Амфоры типа Солоха II в настоящее время относятся к производству Пепарета (Амперер, Гарлан 1992: 20). Они имеют небольшие венчи-

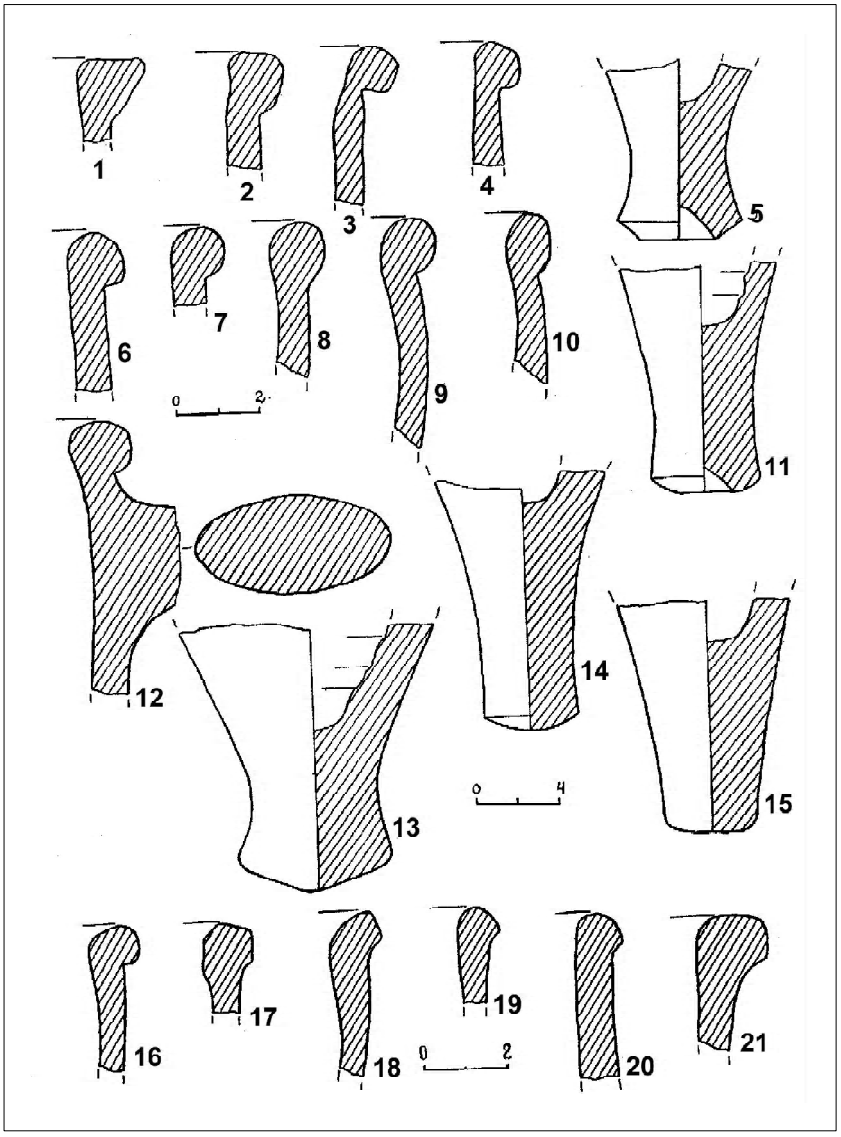


Рис. 10.

ки, по форме приближающиеся к прямоугольнику, вытянутому по вертикали, заостренному в верхней части с уплощенным и скошенным внутрь горла верхним образующим контуром. (рис.7, 3,4). Ножки амфор этого типа расширяются книзу. На месте максимального расширения ножки прослеживается слегка скошенный кольцевой поясок, подошва выпуклая с уплощенной полусферической выемкой (рис.7, 5,6). Глина красного, в центре скола розового цвета. Тесто мелкозернистое, с примесью песка, белых включений и многочисленных крупных, чаще золотистых блесток слюды. Встречаются ангобированные фрагменты (Абрамов 1993: 39,3.39,3.41).

Амфоры типа Муригиоль представлены фрагментами горла с прилепами ручек и отдельными находками фрагментов ножек (рис.3, 8-10). Центр производства этих амфор пока не определён, функционировал он в первой половине IV в. до н.э. (Монахов 1994: 14). Глина в изломе светло-коричневого, розового цвета, тесто мелкозернистое, с примесью мелкого песка, белых включений и многочисленных блесток слюды, хорошо заметных как на поверхности, так и в сколах. Венчики амфор этого типа валикообразные, вытянуты по вертикали, слегка отогнуты наружу, в верхней части заострены. Ниже валика с внешней стороны по окружности горла проходит небольшой горизонтальный уступ. Горло высокое, устье горла слегка сдавленное, подовальной формы. Ручки в сечении эллипсовидные. Ножки амфор типа Муригиоль расширяются книзу, выемка на подошве варьирует от небольшой усеченно-конусовидной до глубокой и широкой конусовидной формы. Встречаются образцы, у которых место максимального диаметра ножки расположено высоко. Поверхность амфор этого типа обычно хорошо заглажена (Абрамов 1993: 41,3.66). И.Б.Зеест определила их как «подражающие гераклейской таре» (Зеест 1960: 101).

В начале IV в. до н.э. начинается импортирование вина из Гераклеи, которое продолжается до первой четверти III в. до н.э. В первой половине-середине IV в. до н.э. поставки этого полиса значительно перекрывают импорт других центров и представлены как целыми амфорами (рис.8, 1,2) так и большим количеством фрагментов стенок, венчиков, ножек и клейм. Венчики гераклейских амфор весьма разнообразны по форме и размерам (рис.9, 1-18). Встречаются округлые, валикообразные, четырехугольной, прямоугольной формы, приближающиеся к сегменту и представляющие собой слегка отогнутую наружу стенку горла амфоры. Ранние образцы гераклейских венчиков имеют сходство с венчиками мендейских и фасосских амфор (рис.9, 1,2,9-11). Ножки гераклейских амфор по внешнему виду четко делятся на два типа. Первый — это ножки, расширяющиеся книзу (рис.9, 19,21-23), с хорошо выраженным сужением на месте соединения с нижней частью корпуса амфоры, их подошва может быть уплощенной или выпуклой. Часто максимально расширенная часть ножки отмечена гранью или кольцевым пояском, который может быть расположен вертикально или слегка скошен. Выемка на подошве обычно конусовидной формы, относительно большого диаметра, но встречаются и полусферические. Ножки такой формы датируются первой половиной IV в. до н.э. (Абрамов 1993: 39, 3.29). Среди ножек этого времени встречаются экземпляры, явно имитирующие фасосские образцы (рис.9, 22,23). Ко второму типу гераклейских ножек относятся фрагменты подцилиндрической формы с незначительным расширением книзу, подошва уплощенная или округлая с небольшой конусовидной выемкой (рис.9, 20). Эти ножки датируются второй половиной IV в. до н.э. (Абрамов 1993: 39,3.30). Глина гераклейских амфор неизменно красно-кирпичных оттенков, хотя встречаются образцы светло-коричневого цвета. Тесто крупнозернистое, с примесью большого количества песка и белых включений. В образцах светло-коричневого цвета наряду с песком отмечены примеси частиц пироксена. Поверхность грубая, шероховатая, часто ангобирована. Почти все фрагменты венчиков амфор имеют следы красной краски, нанесенной под ними с внешней стороны и на ручках.

В конце первой — начале второй четверти IV в. до н.э. начинает свой импорт Синопа. Венчики и ножки синопских амфор, относящиеся к этому времени, по форме очень похожи на фасосские. Венчики подтрапециевидной и подквадратной формы, а ножки — расширяющиеся книзу с выпуклой подошвой и конусовидной выемкой. Для ранних образцов ножек характерно выделение максимального диаметра ребром или гранью (рис.10, 1,2,5,11) (Монахов 1992: 167). Серединой IV в. до н.э. можно датировать венчики подокруглой формы (рис.10, 3,4,6) со слегка уплощенными образующими контурами и отделенные от стенки горла амфоры глубокой подсечкой, а также остроребернyю цилиндрическую ножку с выпуклой подошвой без выемки (рис.10, 14) (Монахов 1992: 169). Концом IV — началом III вв. до н.э. датируются венчики (рис.10, 7-12) округлой формы, иногда слегка вытянутые по вертикали и слабо отогнутые наружу, тем самым подчеркивающие небольшую раздутость горла. Ножки к этому времени становятся подцилиндрическими, слегка суживающимися книзу с плавным переходом к подошве, которая может быть уплощенной или слегка выпуклой без выемки. Среди ножек, отнесенных нами к этому же периоду, есть экземпляр (рис.10, 13), с четко выраженным перехватом на месте соединения ножки с нижней частью корпуса амфоры и выпуклой подошвой без выемки (Монахов 1992: 173).

Синопская глина в основном светло-корич-

Таблица процентного соотношения поступления амфорного импорта на античное поселение "Новопокровка" у села Новопокровка Кировского района Автономной республики Крым по материалам раскопок 1994-1996 гг.

№	Центр производства	проф. част.	первая четверть V в. до н.э.		вторая четверть-конец V в. до н.э.		первая половина IV в. до н.э.		вторая половина IV-начало III вв. до н.э.		всего за весь период	
1	Лесбос	в	1								1	
		н	-	2, 0%							-	0 ,03%
2	Амфоры типа Q 12:3	в	-								-	
		н	2	4,0%							2	0,07%
3	Эолийский центр	в	2		2						4	
		н	3	10,0%	2	0,9%					5	0,3%
4	Амфоры на сложнопроф кольцевом поддоне	в	2		54						56	
		н	-	4,0%	8	14,6%					8	2,5%
5	Менда	в	5		42		13				60	
		н	-	10,0%	53	22,1%	10	1,4%			63	4,6%
6	Хиос	в	22		147		109		34		312	
		н	13	70,0%	44	44,7%	18	7,6%	3	6,2%	78	14,3%
7	Фасос	в			21		48				69	
		н			14	8,1%	14	3,7%			28	3,6%
8	Круг Фасоса	в			11						11	
		н			23	8,0%					23	1,0%
9	Амфоры типа с раздутым горлом	в			5						5	
		н			2	1,6%					2	0,2%
10	Родос (амфоры типа Солоха I)	в					9		2		11	
		н					-	0,6%	-	0,3%	-	0,4%
11	Пепарет (амфоры типа Солоха II)	в					16				16	
		н					12	1,7%			12	1,0%
12	Гераклея	в					849		187		1036	
		н					523	82,4%	271	76,2%	794	66,6%
13	Синопа	в					10		61		71	
		н					17	1,6%	25	14,3%	42	4,2%
14	Амфоры типа Муригиоль	в					4				4	
		н					11	1,0%			11	0,5%
15	Самофракия	в					-				-	
		н					1	0,06%			1	0,03%
16	Колхида	в							-		-	
		н							2	0,3%	2	0,07%
17	Херсонес	в							3		3	
		н							9	2,0%	9	0,4%
18	Амфоры типа Усть-Лаба	в							-		-	
		н							4	0,7%	4	0,1%
	ВСЕГО	в	32		282		1058		287		1659	
		н	18	1,6%	146	15,7%	606	60,7%	314	22,0%	1084	2743

невого цвета с сиреневым закалом в центре скола. Тесто плотное, крупнозернистое с примесью большого количества крупных частиц пироксена. Поверхность амфор зачастую покрыта плотным белым или светло-желтым ангобом. Ранние типы венчиков и ножек как гераклейских (рис.9, 1,2,22,23), так и синопских амфор (рис.10, 1,5,11) весьма схожи между собой и отличаются только составом теста, а вместе и те и другие похожи на фасосские, что, возможно, является результатом влияния Фасоса на амфорное производство этих южнопонтийских центров.

Среди амфорного материала на поселении Новопокровка выделяется ножка амфоры, которую можно отнести к самофракийскому производству IV в. до н.э. (Καραδημα–Ματσα 1994: 268). Глина в изломе светло-коричневого цвета. Тесто мелкозернистое, с примесью песка и многочисленных блесток слюды. Ножка, расширяющаяся книзу, подошва выпуклая с уплощенным нижним контуром, в центре широкая уплощенная выемка. Наиболее расширенная часть ножки отмечена гранью. На месте соединения ножки с нижней частью корпуса амфоры имеется нависающий уступ в виде небольшого горизонтального отрезка (рис.7, 7).

Последний хронологический период отмечен появлением амфор Херсонеса, Колхиды и неизвестного центра, выпускающего амфоры типа Усть-Лаба. Существует предположение, что амфоры типа Усть-Лаба относятся к продукции мастерских Книда (Oguz Alpozen, Ozdas, Berkay 1995: 86). К книдским амфорам могут быть отнесены и так называемые «клювовидные» венчики (рис.3, 11). Они изготовлены из глины красных оттенков. Тесто мелкозернистое, с примесью песка, белых включений и мелких блесток

слюды. Ножки амфор этого типа, так называемые «кубаревидные», изготовлены в виде суживающегося книзу налепа с глубокой цилиндрической выемкой на подошве (рис.3, 13). В сечении налеп подтрапециевидной в сечении формы со слегка вогнутым внешним образующим контуром, который отделен от нижней части корпуса амфоры горизонтальным уступом. Глина коричневого цвета, тесто плотное, мелкозернистое, с примесью белых включений и золотистых блесток слюды (Абрамов 1993: 42, 3.68). К данному центру относится клеймо с «носом корабля» (рис.3, 12), которое датировано рубежом IV — III в. до н.э. (Амперер, Гарлан 1992: 17, рис.9; Ефремов 1992: 258).

Амфоры Колхиды (рис.7, 9,10) имеют расширяющуюся книзу ножку со слегка выпуклой или выпукло-вогнутой подошвой без выемки. На внутренней стороне ножки имеется рельефный спиралевидный завиток в виде «улитки». Глина серо-желтых тонов, тесто крупнозернистое, с примесью крупного песка, белых частиц и многочисленных включений пироксена. Эти фрагменты приближаются по форме к синопским и могут быть отнесены к образцам раннего периода производства колхидской тары, датированные серединой-второй половиной IV в. до н.э. (Цецхладзе 1992: 92).

В последней четверти IV в. до н.э. фиксируются незначительные поставки вина из Херсонеса. Венчики херсонесских амфор (рис.7, 8) по форме приближаются к кругу и четырехугольнику и датируются концом IV — первой четвертью III вв. до н.э. (Монахов 1989: табл. XIX, 49; табл.3, № 49; табл.XX, 87; табл. 10, № 87). Ножки расширяющиеся книзу, место наибольшего диаметра отмечено гранью, подошва выпуклая. Тип амфор с ножками (рис.7, 12) с глубокой конусовидной выемкой датируется второй половиной IV в. до н.э. (Монахов 1989: 73), с маленькой полусферической выемкой (рис.7, 11,13) относится к третьей четверти IV в. до н.э. (Монахов 1989: 138, табл. 12). Ножки, изготовленные в виде уплощенного налепа, округлого по форме, который отделен от нижней части корпуса амфоры горизонтальной подрезкой, с широкой уплощённой выемкой на подошве (рис.7, 14) датируются первой третью III в. до н.э. (Монахов 1989: 138, табл.12). Глина в изломе бледно-красных тонов, тесто плотное с примесью белых включений или небольшого количества пироксена. Таким образом, херсонесский импорт поступал на поселение в период второй половины IV — первой трети III вв. до н.э.

Есть также венчики, которые не отнесены к известным центрам производства. Они различны по форме и глине — округлой, квадратной, прямоугольной формы, изготовлены из глины красно-коричневых тонов, с примесью песка, белых включений и слюды. Поверхность покрыта ангобом светлого или красноватого цвета (рис.10, 16-19).

Кроме этого, на поселении найдено 662 амфорных клейма, из которых 9 принадлежит Хиосу, 3 — Менде, 2 — амфорам круга Фасоса, 21 — Фасосу, 465 — Гераклее, 157 — Синопе, 1 — Книду, 4 — Херсонесу, 1 — Косу. Если начало жизни на поселении определяется на основании датировок профильных частей амфор ионийских центров, то её прекращение датируется на основании синопских и херсонесских клейм. Их абсолютная хронология разработана относительно детально, что наряду с профильными частями амфор позволяет достаточно точно определить время угасания жизни на поселении (Федосеев 1994: 189; Кац 1994). В целом, их датировка подтверждает вывод о прекращении существования поселения в конце первой — начале второй четверти III в. до н.э.

Анализ амфорного импорта показывает, что на раннем этапе существования поселения в конце VI — начале V вв. до н.э. сюда поступает продукция исключительно ионийских центров. На протяжении V — IV вв. до н.э. в торговлю включаются Фасос, центры круга Фасоса, Менда и центры, выпускающие амфоры типа с раздутым горлом. В IV в. до н.э. особенно выделяется импорт Гераклеи, которая объемами своих поставок многократно перекрыла импорт из остальных мест античного мира. В это же время импортируют свою продукцию Родос, Пепарет, Самофракия, Синопа, Колхида, неизвестный центр в амфорах типа Муригиоль. В конце IV — первой трети III в. до н.э. наблюдаются незначительные поставки вина из Херсонеса и Книда. На протяжении всего периода существования поселения постоянным импортером своей продукции сюда был Хиос. Приблизительно в конце первой трети III в. до н.э. импорт вина в амфорах на поселение прекращается. Очевидно, оно было оставлено населением в связи с началом военно-политического конфликта между скифами и греческими государствами на территории Крыма (Ланцов 1991: 140), а также сарматскими грабительскими рейдами вглубь Крымского полуострова (Максименко 1986: 41; Пуздровский 1994: 397). Жизнь на нем не возобновляется, хотя отдельные находки фрагментов амфор и синопских клейм второй половины — конца III в. до н.э. здесь еще попадаются. Например, единичными являются находки фрагментов двуствольных ручек косских амфор и венчиков родосских амфор, но они не меняют общей хронологической картины и, по-видимому, свидетельствуют о посещении данного места кочевниками. Полное отсутствие среди материалов поселения так называемых «мегарских чаш» и амфор, характерных для второй половины III в. до н.э., лишь подтверждают дату его гибели. Сходная хронологическая ситуация наблюдается и на сельских поселения Боспора на Керченском полуострове (Масленников 1993: 61).

Таким образом, на основании анализа керамической тары и клейм с поселения Новопок-

ровка можно утверждать, что оно существовало в период с конца VI — начала V вв. до н.э. по конец первой трети III в. до н.э. Учитывая колебание датировок ранних образцов амфор ионийских центров в пределах конца VI — начала V вв. до н.э., а также отсутствие в керамическом комплексе памятника других материалов времени поздней архаики мы считаем более правильным определить нижнюю хронологическую границу началом V в. до н.э. и считать её временем возникновения поселения. Возможно, будущие исследования античных памятников региона дадут новые материалы, которые позволят откорректировать эту дату.

ЛИТЕРАТУРА

Абрамов А.П. 1993. Античные амфоры. Периодизация и хронология // Боспорский сборник. М. 1993. Вып. 4.

Амперер Ж.-И., Гарлан И. 1992. Греческие амфорные мастерские // Греческие амфоры. Саратов.

Буйських А.В. 1992. Деякі особливості планувальної структури пізньоархаічних поселень Нижнього Побужжя // Археологія. 1992. №2.

Ефремов Н.В. 1992. К истории торговых связей Книда с Северным Причерноморьем // Греческие амфоры. Саратов.

Зеест И.Б. 1960. Керамическая тара Боспора. М.

Кац В.И. 1994. Керамические клейма Херсонеса Таврического. Саратов.

Кругликова И.Т. 1975. Сельское хозяйство Боспора. М.

Крыжицкий С.Д., Буйских С.Б., Бураков А.В., Отрешко В.М. 1989. Сельская округа Ольвии. К.

Ланцов С.Б. 1991. Западный Крым в составе Херсонесского государства. Дис. канд. ист. наук: 07.00.06. — К.

Лейпунская Н.А. 1981. Керамическая тара из Ольвии (из опыта изучения амфор VI — IV вв. до н.э.). К.

Максименко В.Е. 1986. К вопросу о времени установления политического господства сарматов в Северном Причерноморье // Международные отношения в бассейне Чёрного моря в древности и средние века. Ростов-на-Дону.

Масленников А.А. 1993. Скифы на Боспоре в III — I вв. до н.э. // Скифия и Боспор. Новочеркасск.

Монахов С.Ю. 1989. Амфоры Херсонеса Таврического IV — II вв. до н.э. (опыт системного анализа). Саратов.

Монахов С.Ю. 1992. Динамика форм и стандартов синопских амфор // Греческие амфоры. Саратов.

Монахов С.Ю. 1994. Амфоры типа Муригиоль // Международные отношения в бассейне Чёрного моря в древности и средние века. Тез. докл. науч. конф. Ростов-на-Дону.

Пуздровский А.Е. 1994. О сарматах в Крыму // МАИЭТ, вып. IV. Симферополь.

Рубан В.В. 1982. О хронологии раннеантичных поселений Бугского лимана (по материалам хиосских амфор) // Материалы по хронологии археологических памятников Украины. К.

Рубан В.В. 1990. О хронологии красноглиняных амфор с коническими ножками VII-V вв. до н.э. // КСИА. Вып.197.

Рубан В.В. 1991. Опыт классификации так называемых милетских амфор из Нижнего Побужья // СА. №2.

Федосеев Н.Ф. 1994. Хронология синопских магистратских клейм // Проблемы скифо-сарматской археологии Северного Причерноморья. Тез. докл. межд. конф. — Запорожье.

Цецхладзе Г.Р. 1992. Производство амфорной тары в Колхиде // Греческие амфоры. Саратов.

Καραδημα–Ματσα Χ. 1994. Εργαστηριο παργωγης αμφορεων της Σαμοθρακη // Γ' επι στημονικη συναντηση για την ελληνιστικη κεραμικη. Αθηναι.

Oguz Alpozen T., Ozdas G., Berkay B. 1995. Commersial Amphoras of the Bodrum Museum of Underwater Archaeology // Bodrum-Ankara. P.128.

Каменецкий И.С.

К ДАТИРОВКЕ НОВО-ДЖЕРЕЛИЕВСКОГО III ГОРОДИЩА

Kamenetsky I.S. To the date of the site of Novo-Djerelievskaia III.

The article is dedicated to a more precise definition of the date of the site of Novo-Djerelievskaia III. The author has used the materials that he collected at the site and that were already collected by his predecessors. Basing on the finds of the fragments of a brown-clay amphora (type II according to G.Tsetshladze) the author thinks its possible to define the initial date of the site of the III c.B.C.

Городище расположено в западной части станицы Ново-Джерелиевской (рис.1) и известно давно. В 1890 г. в Имп. археологическую комиссию были доставлены «разноцветные стеклянные и каменные бусы, золотой гладкий браслет, золотой шейный обруч и золотая серьга» (ОАК 1890: 120). Указано, что они найдены в станице. Так как других городищ на территории самой станицы нет, то находку, не очень уверенно, можно связывать с могильником интересующего нас городища. В 1911 г. в этом районе работает Н.И.Веселовский, который знает о существовании четырех городищ. Правда, он считает их курганами (Бобринский 1914: 44). В 1928 г. разведки на Кирпилях производил М.В.Покровский (Покровский 1929; 1937), в результате чего в 1937 г. городище появилось на изданной им и Н.В.Анфимовым карте (Покровский, Анфимов 1937). В 1947 и 1948 годах на городище побывал Н.В.Анфимов и произвел сборы (Анфимов 1947; 1948), результаты которых хранятся в Краснодарском музее (коллекции КМ 2948 и КМ 3285). В середине 50-х годов сборы на городище провел один из ейских учителей, выезжавший на городище с экскурсией школьников. В 1958 г. я имел возможность познакомиться с этими материалами в Ейском музее. Я посетил памятник в 1970 г. и тоже произвел сборы. В 1989-1991 гг. значительные работы на городище предпринял Н.Ф.Шевченко, который в настоящее время и располагает наиболее полными данными о Ново-Джерелиевском III городище (Шевченко 1989; 1990; 1991; 1995). Публиковать после его раскопок результаты наших разведок в полном объеме нет смысла, но мне представляется целесообразным рассмотреть датирующий материал, так как существуют некоторые неясности в этом вопросе.

Материал 1947 года Н.В.Анфимов датировал «эллинистическим и римским временем». Особо он выделил находки в осыпях южного обнажения, где были подобраны фрагменты лепных лощеных сосудов, которые он отождествил с «чернолощеной скифской посудой» и датировал V-IV вв. до н.э.(Анфимов 1947: 44; 1950: 93; Крупнов 1977). Однако в коллекциях Краснодарского музея такая керамика отсутствует. Несколько чернолощеных черепков изготовлены на круге и, следовательно, должны относиться к сероглиняной керамике. Правда, мы теперь знаем, что гончарная сероглиняная керамика появляется не позднее начала V в. до н.э. Что же касается лепной лощеной керамики, то в западных районах она относится к более раннему времени, если не считать лепных лощеных мисок, которые встречаются и в первые века н.э. Н.Ф.Шевченко, насколько я понимаю, пока не провел серьезной работы по датировке памятника, а в отчетах приводятся несколько различающиеся даты. Наиболее ранние материалы первого года раскопок он датировал II в. до н.э., а конец отнес ко второй половине I или началу II в.н.э. (Шевченко 1989). В 1990 г. раскоп не был доведен до материка, и дата начала поселения, следовательно, не определялась. Последний же период жизни поселения определен как конец I-II вв.н.э. (Шевченко 1990). В третьем сезоне раскоп был доведен до материка, и, опираясь уже на все материалы, раскопщик предложил следующие датировки: время заселения — вторая половина II в. до н.э.; интенсивная жизнь до середины I в.н.э.; окончательный уход жителей — начало II в.н.э. (Шевченко 1991).

Среди сборов 1947 г. имеется венчик, ножка и ручка светлоглиняных амфор с двуствольными ручками (Ам-св-дв, рис.2, *1-3),* которые я датирую I в. до н.э. Амфорам с профилированными ручками принадлежат венчик Ам-св-пр-А (рис.2,4) и три фрагмента ручек: одна относится к ранним вариантам, среди которых наиболее поздние представлены вариантом Ам-св-пр-А (рис.2,5), а две могут относиться и к варианту Ам-св-пр-В (рис.2,*6,8).* К варианту В может от-

© Каменецкий И.С., 1999.

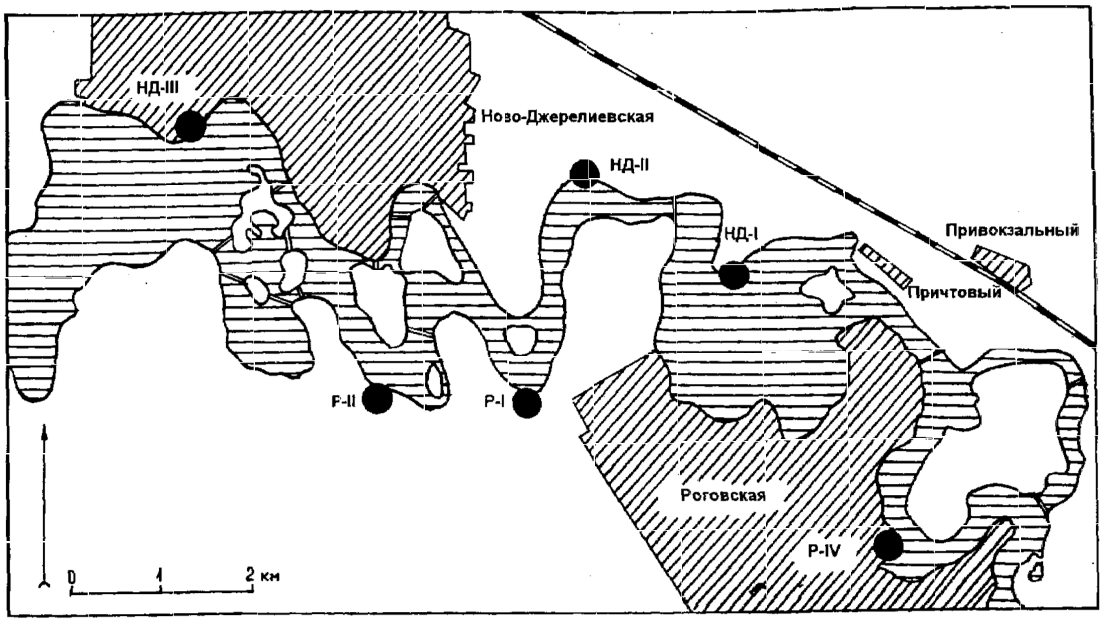


Рис.1. Схема расположения городищ в районе Ново-Джерелиевской и Роговской станиц.

носиться и фрагмент корня ручки, обычно деформированный в результате примазки (рис.2,7). Вариант А датируется I в.н.э. Этим же временем, с заходом во II в.н.э., датируется и вариант В. В коллекции имеется еще фрагмент корня ручки красной глины с включениями белых частиц, датировать который я затрудняюсь (рис.2,9). Кроме этого, имелось дно краснолаковой миски, внешняя поверхность которой сплошь покрыта бурым лаком, в цвете глины (оранжевой) оставлено только дно. Датируется I в. до н.э. (рис.2,*10).* Два венчика краснолаковых мисок имеют грубое, крупнозернистое тесто и плохой, только местами сохранившийся лак. Впечатление такое, что светлолощеные миски покрасили (рис.2,*11,12).* Представляется, что происходят они из боспорских мастерских, датировка изделий которых не разработана. Я бы не исключил и их местное производство, учитывая, что одна из мисок (рис.2,12) точно повторяет форму одного из вариантов серолощеных.

Среди 9 предметов, составивших коллекцию 1948 года, датирующего материала нет. Коллекция Ейского музея такой материал содержит. Не берусь сейчас датировать венчик краснолакового сосуда (рис.3,2). Как и в сборах 1947 г., присутствуют фрагменты Ам-св-дв (рис.3,*3,4,8)* и Ам-св-пр-А (рис.3,*2*). Среди амфорного материала имеется верхняя часть широкогорлой амфоры с профилированными ручками (рис.3,5) и ножка, принадлежащая, по-видимому, амфоре того же типа (рис. 3,7). С.Ю.Внуков датирует их последней четвертью I в. до н.э. — первой половиной I в.н.э. (Внуков 1988). Имеется и ножка светлоглиняной амфоры с желобком под венчиком (рис.3,6), которые встречаются в слоях второй трети I — начала II в.н.э. (Каменецкий 1969).

Мои сборы 1970 года, ввиду задернованности поверхности городища, невелики. Имеется всего 5 фрагментов амфор, но они дают даты, отличные от первых двух серий и от дат, предложенных Н.Ф.Шевченко. Имеется ножка буроглиняной («колхидской») амфоры со спиральным налепом внутри (рис.4,2). Буроглиняные или коричневоглиняные амфоры производились в Колхиде на протяжении весьма длительного времени. Появились они в середине или второй половине IV в. до н.э. (Брашинский 1980: 32; Цецхладзе 1992: 92) и существовали до первых веков н.э. А.П.Абрамов отмечает их присутствие в комплексах второй половины III — начала V вв.н.э.(Абрамов 1993: 25). За это время колхидские амфоры претерпели такие изменения, что некоторые исследователи считали их продуктами разных центров (Михлин 1974; Виноградов, Онайко 1975: 88). Выделение хронологических вариантов не закончено до настоящего времени, и потому узкая датировка нашего фрагмента представляет определенные трудности. Начнем с того, что поздние амфоры имеют тонкие и не очень прочные стенки, а ранние варианты отличаются нормальной для амфор массивностью (Зеест I960: 108; Каменецкий 1969: 153; Михлин 1974: 60; и др.). По этому признаку наш фрагмент относится к ранней группе, которую обычно датируют III-II или IV-III вв. до н.э. Все, кажется, согласны, что ножки ранних амфор имеют некоторое расширение в нижней части. У нашего экземпляра этого нет. И если с ранними ножками более или менее ясно, то с ножками без расширения разобраться трудно. И.Б.Зеест различает ножки длинные и ножки короткие, датируя первые III-II вв. до н.э., а вторые — I в. до н.э. — I в.н.э. (Зеест 1960: 108,таб.XXVI,*59,60).* И те, и другие имеют расширение, ножек без расширения она не приводит. Б.Ю.Михлин выделил три варианта. Среди

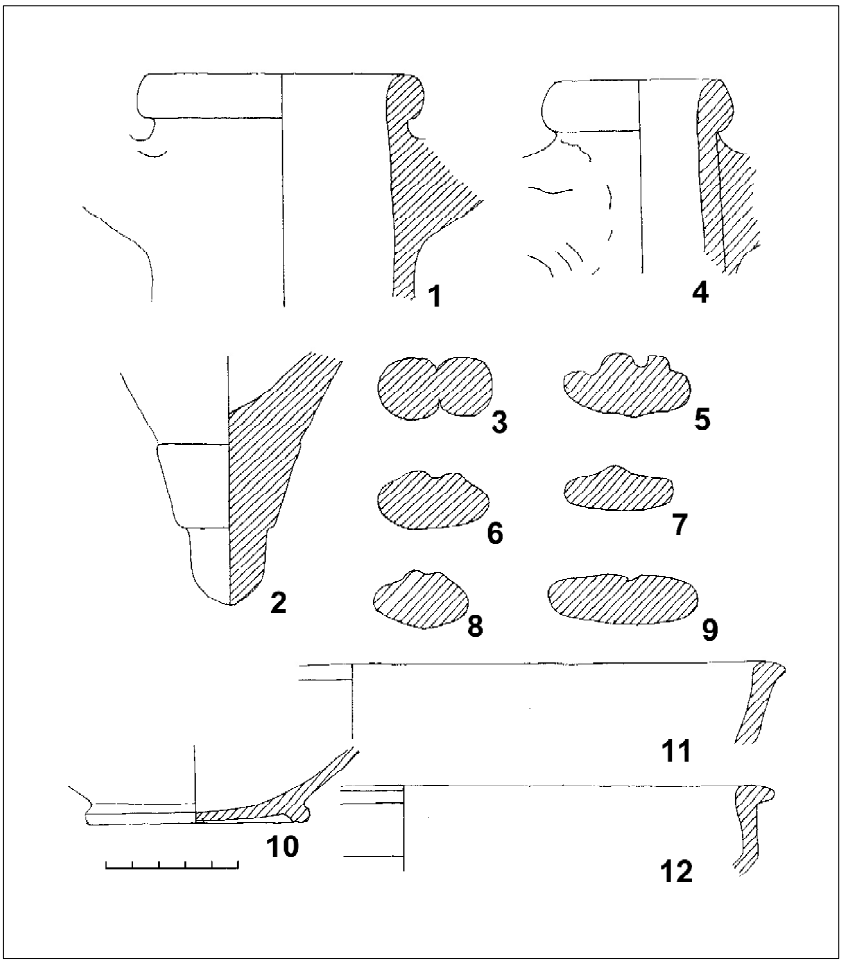


Рис.2. Материалы из сборов 1947 года.

приведенных им образцов очень близка нашему ножка, изображенная на рис.2,*12.* Он относит ее к типу III, указывая на его близость с образцами из Колхиды (Михлин 1974: 65). Он не называет дату этих образцов (Куфтин 1950: таб.1,*3;* Воронов 1972; образцы из Вани), но теперь мы знаем, что Б.А.Куфтин ошибался, датируя амфору римским временем, а среди материалов из Эшери присутствуют амфоры от III в.до н.э. до начала I в.н.э. (по определению Ю.Н.Воронова), и мы не знаем, какие из них имел в виду Б.Ю.Михлин. Отметим, что Ю.Н.Воронов и позднее придерживался этих дат, исключив только начало I в.н.э. (Воронов 1977). Б.Ю.Михлин датирует выделенные им типы I и II последними двумя веками до н.э. О дате наиболее интересного для нас типа III мы можем заключить только по указанию, что все три типа синхронны. Г.Р.Цецхладзе публикует несколько ножек, близких нашей (Цецхладзе 1992: рис.6,*4,9;* рис.7,*6),* датируя их I в.до н.э. — I в.н.э. и даже I — началом II вв.н.э. (Цецхладзе 1992: 101, 104). По известным мне материалам из Танаиса и окружающих его городищ, амфоры первых веков имеют ножку полую, с тонкими стенками. В одной ножке из Танаиса просверлено отверстие, и она превращена в воронку (Каменецкий 1969: 153). Ножки этого типа опубликованы Б.Ю.Михлиным (Михлин 1974: рис. 4,8) и Г.Р.Цецхладзе (Цецхладзе 1992: рис.7,3). Тип II Цецхладзе — это как раз этот вариант буроглиняных амфор, типы I и II более ранние. Отметим, что среди материала, опубликованного Ю.Н.Вороновым, рассматриваемого варианта нет, что подтверждает правильность его датировки. Только А.П.Абрамов попытался провести отдельную классификацию ножек, но и у него, судя по рисункам, ножки нашего типа отсутствуют. По описанию наиболее близки ножки 3.65 (Абрамов 1993: 41), но это ножки, совсем не отделенные от тулова (Абрамов 1993: рис.40). Если выстраивать эволюционный ряд, то нашу ножку следовало бы поместить на переходе от ножек с расширением к ножкам конусовидным и датировать началом III в. до н.э. Однако ножки с расширением живут и значительно позже — конусовидные являются как бы параллельным вариантом. Поэтому датировать нам приходится достаточно широко — III-I вв. до н.э.

Затем идет венчик синопской амфоры (рис.4,1). Амфоры Синопы появляются в начале IV в. до н.э. С.Ю.Монахов самый ранний вариант IA относит к первой — началу второй четверти IV в. до н.э. (Монахов 1992: 168). Известно предположение И.Б.Брашинского, что синоп-

ские «пифоидные» амфоры появились еще во второй половине V в. до н.э. (Брашинский 1984: 114), но эта гипотеза не нашла пока подтверждения. Конец их производства определяется поразному. И.Б.Брашинский и С.Ю.Монахов относят конец их производства к II в.до н.э. При этом первый оговаривает, что речь идет о синопских эллинистических амфорах, по-видимому, учитывая выделение И.Б.Зеест особого типа, который она датировала I в. до н.э. — I в.н.э.(Зеест I960: тип 31, с.91). А.П.Абрамов наиболее поздний известный ему экземпляр из погр. 237 Танаиса относит к 220-180 гг. до н.э. (Абрамов 1993: 23). При датировке нашего экземпляра мы можем ориентироваться на два признака: уплощенность края и боковой поверхности венчика (валика), а также некоторую припухлость горла. Если следовать И.Б.Зеест, то пухлогорлость встречается и у ранних, и у поздних экземпляров. Это амфоры IV-III вв. до н.э. (Зеест 1960: таб.XIII, 28; таб .XIV. 30) и амфора I в. до н.э.— I в.н.э. (Зеест 1960: таб.XIV,*31).* Уплощенность боковой поверхности венчика И.Б.Зеест отмечает только для поздних амфор (Зеест 1960: 91), но на рисунке видно, что у этой амфоры венчик совсем другого типа, чем у нас. Ряд близких венчиков приведен у С.Ю.Монахова: таб.4,ДО, который он относит к варианту IE и датирует второй половиной IV — первой третью III в. до н.э.; таб.7,40 варианта IIC, датируемого концом IV в. до н.э. — началом III в. до н.э.; таб.10,*63* варианта IIIA, датируемого концом III — началом II в. до н.э.; таб.11,*71* варианта HID, датируемого концом первой — второй четвертью II в. до н.э.; таб.12,77 второй половины III в. до н.э.(Монахов 1992). Таким образом, мы имеем аналогии от второй половины IV до середины II в. до н.э. или, если придерживаться узкой даты, то III — середины II вв. до н.э. У А.П.Абрамова по рисунку наиболее близки нашему венчику экземпляры таб.35,JIB, датируемый второй — третьей четвертью IV в. до н.э., и таб.42,*4.1* и *4.2,* датируемые второй половиной III — II вв. до н.э. (Абрамов 1993). Так как у А.П.Абрамова наиболее поздний экземпляр синопских амфор относится к середине II в. до н.э., то дата сужается до второй половины III — первой половины II вв. до н.э. Наш фрагмент А.П.Абрамов датировал III-II вв. до н.э., но в его распоряжении был только рисунок.

Фрагмент двуствольной ручки А.В.Сазонов определил как аналогичный встреченным в Тиритаке на участке 25 в 1984 году, где они шли с материалами IV-III вв. до н.э.

К этому же времени относится ножка боспорской амфоры, но эта дата не очень надежна, так как у ножки отбита нижняя часть.

Последний фрагмент — это венчик Ам-св-пр-А, который уверенно относится к I в.н.э.

Таков материал, находящийся в моем распоряжении. Небольшая коллекция 1970 года интересна с разных точек зрения. Во-первых, с методической. Как мы видели, она существенно отличается по набору типов от двух предшествующих, где преобладали Ам-св-дв. Здесь их нет совсем. Она отличается и хронологически. Если в предшествующих преобладал I в. до н.э., то здесь решительно преобладает более ранний материал. Чем объяснить такое расхождение, сказать трудно. Означает ли это, что не-

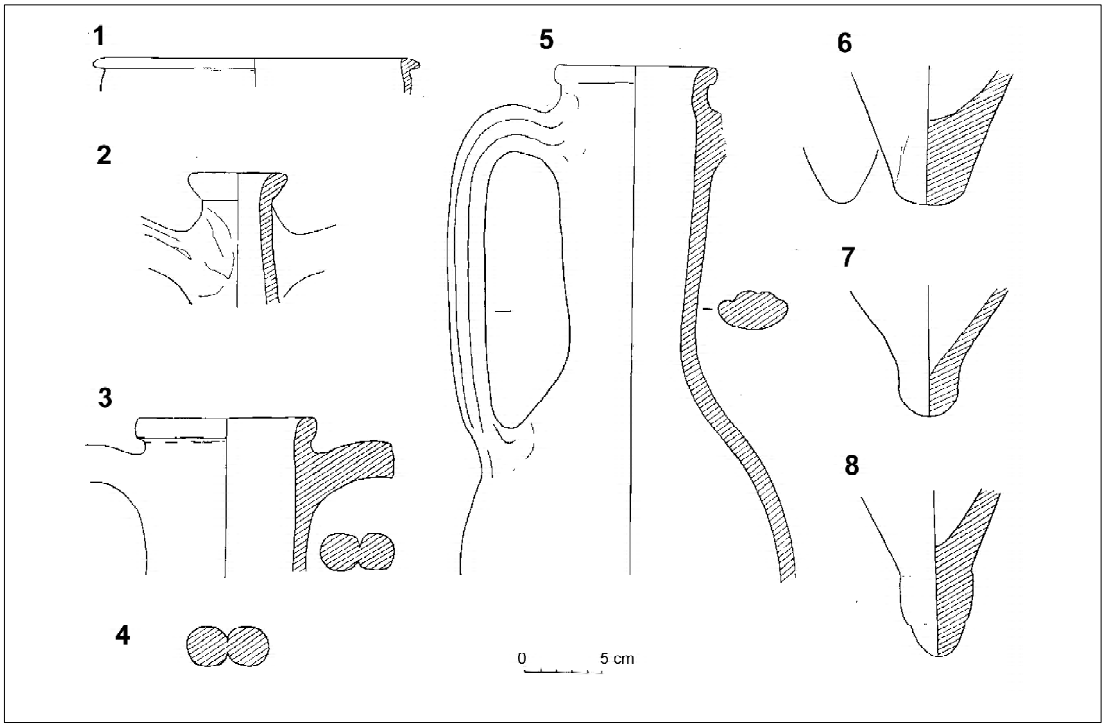


Рис.3. Материалы Ейского музея.

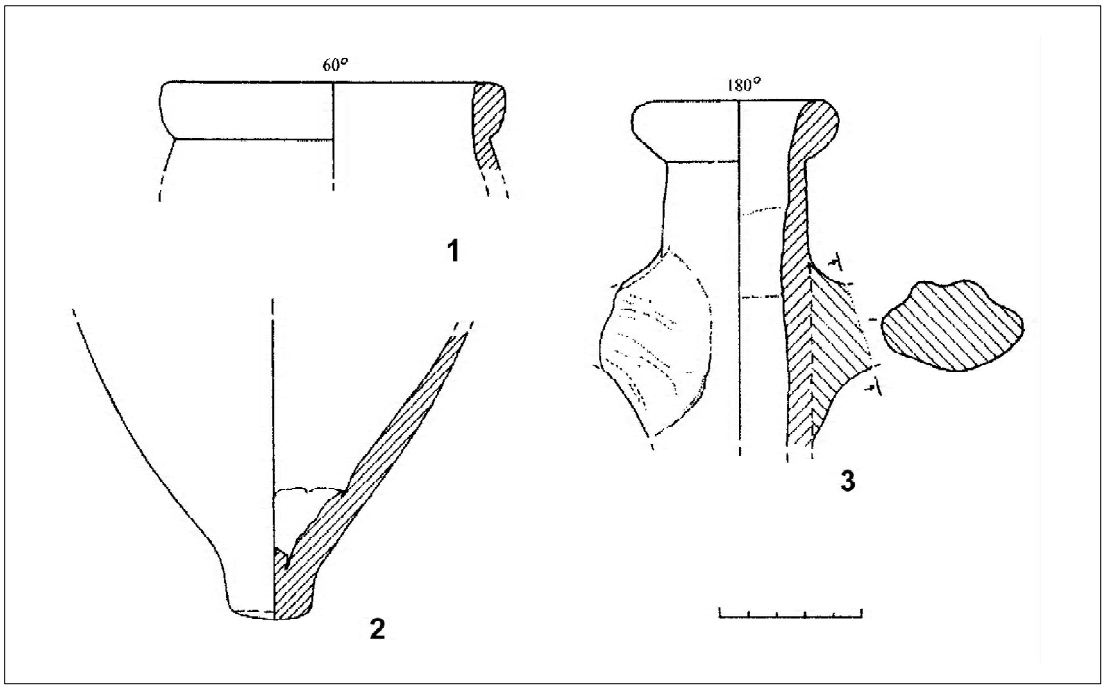


Рис.4. Материалы из сборов 1970 года.

большие серии из сборов не всегда дают правильное представление о памятнике? До сих пор я с этим не встречался, во всяком случае, в столь ярком виде. Мы имеем дело, как мне представляется, с уникальным случаем.

Во-вторых, эта небольшая серия вносит существенное изменение в вопрос о начальной дате поселения. Мы видели, что Н.Ф.Шевченко, в руках которого имеется большой материал по городищу, начало жизни на поселении относит к середине II в. до н.э. Правда, его отчеты не содержат детальной проработки датирующего материала, прежде всего амфор. Отметим попутно, что в его коллекциях имеется значительное количество фрагментов родосских амфор, которые в трех разобранных нами сериях не отмечены ни разу. Отметим также, что его датировка предполагает отсутствие достаточно выразительных ранних материалов. Я думаю, можно исключить IV в. до н.э., поскольку у нас нет фрагментов амфор, которые специфичны только для этого времени и не заходят в III в. до н.э. Что же касается III в. до н.э., то исключить его уже невозможно, и дату основания Ново-Джерелиевского III поселения следует отнести уже к этому времени. Уточнить дату на основании наших материалов не представляется пока возможным. Не подтвердилось утверждение Н.В.Анфимова о существовании материала V-IV вв. до н.э.

Что касается конечной даты, то наши материалы согласуются с выводом Н.Ф.Шевченко о прекращении интенсивной жизни в середине I в.н.э., но я бы исключил II в.н.э. Никаких специфических для этого времени находок у нас пока нет.

ЛИТЕРАТУРА

Абрамов А.П. 1993. Античные амфоры. Периодизация и хронология // Боспорский сборник. 3. М.

Анфимов Н.В. 1950. Мэотские поселения Восточного Приазовья (Сообщение о новых материалах) // КСИИМК, вып.XXXIV.

Бобринский А. 1893. Отчёт Императорской археологической комиссии за 1890 год. СПб.

Бобринский А. 1914. Отчёт Императорской археологической комиссии за 1911 год. Петроград.

Брашинский И.Б. 1980. Греческий керамический импорт на Нижнем Дону в V-III вв. до н.э. Л.

Брашинский И.Б. 1984. Методы исследования античной торговли (на примере Северного Причерноморья). Л.

Виноградов Ю.Г., Онайко Н.А. 1975. Об экономических связях Гераклеи Понтийской с Северным и Северо-восточным Причерноморьем в эллинистическое и римское время // СА, 1.

Внуков С.Ю. 1988. Светлоглиняные широкогорлые амфоры северо-западного Крыма // СА, 3.

Воронов Ю.Н. 1972. Об Эшерском городище // СА, 1.

Воронов Ю.Н.1977. К изучению керамического производства Диоскуриады // СА, 2.

Зеест И.Б. 1960. Керамическая тара Боспора // МИА, 83.

Шевченко Н.Ф. 1990. Отчёт о раскопках Новоджерелиевского городища N 3 Брюховецкого района Краснодарского края в 1990 году // Архив ИА, Р-1, Д.15006,15007.

Шевченко Н.Ф. 1991. Отчёт о раскопках Новоджерелиевского городища N 3 Брюховецкого района Краснодарского края в 1991 году // Архив ИА, Р-1, д.16499,16500.

Шевченко Н.Ф. 1995. Строительные традиции у меотов // Историко-археологический альманах. 1. Армавир-М.

«ПИСЬМА С ПОНТА»

Виноградов Ю.А.

ГРЕЧЕСКАЯ КОЛОНИЗАЦИЯ И ГРЕЧЕСКАЯ УРБАНИЗАЦИЯ СЕВЕРНОГО ПРИЧЕРНОМОРЬЯ

Vinogradov Yu.A. Greek colonization and Greek urbanization of the Northern Black Sea region.

In the article the thesis that the Greek colonization of the Northern Black Sea region was from the very beginning also the urbanization of the Northern Black Sea region. Having analyzed modern ideas about the essence and content of the notion «Polis» itself, the author, firstly, notes that settlements, founded by Greeks in the Northern Black Sea region could be «Poleis», not being towns. Secondly, the data of archaeology show that all these settlements were initially rural settlements, and only about 70-80 years (general regularity) after the founding part of them turned into towns. On the other hand, on Bosporos there are registered settlements, that are characterized by compact building and defensive constuctions. On these grounds they are often regarded as towns. The author disagrees with this point of view and thinks that on Bosporos about 6 or 7 Poleis centres were towns. The rest of the settlements were in a subordinate relation to them and were not towns.

Проблема, вынесенная в название статьи, ни в коей мере не может считаться новой для отечественного антиковедения, но, несмотря на огромные успехи в археологическом изучении греческих городов северного берега Понта, большой накопленный материал и имеющиеся конкретные разработки, она все еще далека от удовлетворительного понимания. Одной из причин такого положения представляется видимая простота решения: поскольку известно, что греческая цивилизация была городской, то таковой она должна была переместиться и в районы колонизации. “Высокое мастерство греческих строителей в архаический период и издавна сложившиеся в метрополии архитектурные традиции целиком были перенесены во вновь основанные города Северного Причерноморья,” — так писал по данному вопросу А.Н.Карасев (1955: 188).

Признавая известную правоту этого суждения, все-таки следует подчеркнуть, что последовательное проведение заключенных в нем идей на практике закономерно ограничивает сферу научного поиска. Исследователям остается лишь реконструировать облик того или иного из северопричерноморских греческих городов, опираясь на материалы раскопок, показать характер его застройки, наличие фортификации, храмов или святилищ, охарактеризовать развитие ремесла и т.д. Основной пафос таких повествований, как правило, сводится к демонстрации того факта, насколько здешние города схожи с центрами метрополии. Обозначенный подход, в общем, вполне закономерен и психологически объясним, но все-таки явно недостаточен, — ведь не стоит вновь и вновь доказывать то, что в особых доказательствах не нуждается.

Даже априорно можно полагать, что основной в изучении греческих городов региона должна стать проблема адаптации, то есть проблема приспособления греческой городской цивилизации к сложным климатическим, экологическим, демографическим, военно-политическим и пр. условиям Северного Причерноморья. При таком подходе внимание ученых должно концентрироваться уже не столько на сходстве, сколько на различии греческих колоний северного берега Черного моря с центрами метрополии.

Начать надо, собственно, с того, что греки не могли представить своего существования, с одной стороны, вне городской цивилизации, а с другой, — вне полиса, традиционно понимаемого как город-государство. Сам термин “полис”, как хорошо известно, означает и собственно “город”, и своеобразный тип государственного устройства Древней Греции, а если более точно, то укрепленную твердыню (первоначальное значение), город, страну и государство (Hansen 1993: 9 ff.; idem 1995: 26 ff.). Поскольку греческие колонии в основном конституировались как полисы (Graham 1964: 5; Snodgrass 1986: 49; Блаватский, Кошеленко, Кругликова 1979: 13), то необходимо хотя бы в первом приближении представить себе структуру этого феномена и уже в его рамках подходить к изучению вопросов урбанистики.

Проблема становления и развития полиса привлекала и привлекает внимание многих отечественных и зарубежных исследователей. В свое время большой научный интерес вызвала идея Г.А.Кошеленко о том, что устоявшееся понимание полиса как города-государства нельзя

© Виноградов Ю.А., 1999.

считать вполне удовлетворительным, оно шире, многогранней, чем просто город с принадлежащей ему сельской территорией. Прежде всего, это гражданская община землевладельцев, а от того, будет ли она иметь один, два городских центра или же не иметь ни одного, суть его не изменится (Кошеленко 1979: 5; Кошеленко 1983: 10-11). Опираясь на разработки западных ученых, он посчитал, что такой важнейший полис, как Афины, имел два городских центра (Афины и Пирей), а Спарта таковым вообще долго не обладала. Имеются и другие материалы, которые некоторым исследователям позволяют полагать, что в Древней Греции существовали полисы, лишенные выраженного городского центра (см. Kolb 1984: 59,66).

Критикуя эту концепцию, Э.Д.Фролов отмечал, что Пирей — это не город, а порт, пример же Спарты вообще не характерен, так что исходное социологическое значение полиса заключается именно в элементарном единстве города и сельской округи (Фролов 1988: 48). Но это, возможно, и верное теоретическое положение в плане археологического изучения древнегреческой цивилизации создает определенное затруднение, упирающееся в понимание города. Нетрудно представить, что при таком подходе любое исследованное археологически поселение городского типа, в принципе, можно трактовать как полис. К примеру, если предположить, что мы бы начали археологическое изучение Пирея, ничего не зная о структуре Афинского полиса, то это крупное, хорошо укрепленное поселение, застроенное по единому плану, следовало бы признать и городом, и полисом. Или пример совершенно противоположного свойства: Страбон сообщает о мисийском полисе Филадельфии, в котором город в силу частых землетрясений имел небольшое население, большинство же граждан проживало в селениях, занимаясь земледелием (Strabo 13. 4,10). Очень может быть, что, исследуя Филадельфию археологически, мы бы получили пример полиса, который не имел городского центра, или, во всяком случае, обоснованность его вычленения вызвала бы немалые споры. В этой связи, правда, будет уместным напомнить великолепный пассаж Фукидида о, так сказать, объективной ограниченности археологического знания. Древний историк справедливо считал, что, если бы Спарта и Афины представляли собой, выражаясь современным научным языком, городища, то в силе лакедемонян возникли бы огромные сомнения, а мощь афинян была бы в два раза преувеличена (Thuc. 1. 10,2). Не преувеличиваем ли и мы информативное значение археологии, когда любое античное городище именуем городом?

Очень большое значение для понимания становления и ранней истории полиса, как известно, имеет вопрос о синойкизме, когда из нескольких самоуправляемых общин путем сселения создавался один сравнительно крупный центр. Классический пример такой акции — синойкизм Аттики, проведенный легендарным Тесеем (Thuk. 2. 15,2). Известно также, что Родос был создан в конце Пелопоннесской войны из трех автономных общин (см. Thuc. 8. 44,2; Strabo 14. 2, 11), Мегара — из пяти деревень (Plut. Mor. 295 B-C). После поражения, нанесенного Спарте фиванцами, подобным образом был организован Мегалополь (Paus. 8. 27,1-2). Небезынтересно будет отметить, что в противовес синойкизму в греческой истории известен и диойкизм, то есть ликвидация города и расселение граждан полиса по деревням (Андреев 1998: 60; Hansen 1995: 75). К примеру, это произошло с Фокидой при Филиппе II (Diod. 16. 60,2; Paus. 10. 3,2), а Мантинея была подвергнута диойкизму спартанцами в 386 г. до н.э. (Xen. Hell. 5. 2,7), а в 370 г. до н.э. вновь восстановлена синойкизмом (Xen. Hell. 6. 5,3).

В отношении синойкизма следует подчеркнуть, что крайне сомнительным представляется его однозначное понимание как акции поголовного сселения жителей в один городской центр. В структуре Мегалополя, как свидетельствует Павсаний, оставались некоторые из прежних городов, которыми жители Мегалополя пользовались как своими поселками (8. 27,5). Сообщение Фукидида о тесеевом синойкизме Аттики также указывает на то, что люди продолжали жить на своих полях, как и раньше (2. 15,2). Э.Д.Фролов в связи с этим вполне обоснованно пишет, что тогда было покончено с автономией отдельных аттических городов и городков, но основная часть населения "оставалась жить в своих старинных селениях" (Фролов 1988: 87), то есть синойкизм в данном случае, а надо думать, что и в некоторых других, носил прежде всего политический, а не физический характер.

Приведенные факты позволяют предполагать, что в структуре Афинского полиса было несколько городков (Элевсин, Декелея, Марафон и др.) и к тому же еще один вполне урбанистический центр — Пирей. К сожалению, эти аттические городки практически не исследованы археологически, но сам факт их существования от этого не может вызывать особых сомнений. В связи с этим очень показательным представляется свидетельство Псевдо-Скилака, который в своем описании берегов Греции говорил о городах (полисах) афинян, среди них — Саламин (Ps.-Scyl. 57), или о городах (полисах) Мегар (Ps.-Scyl. 39). Не выходя из очерченного выше круга показательных примеров, следует обратить внимание, что Страбон в составе полиса Родос называл города, которые существовали до синойкизма (14. 2,11). К.М.Колобова по этому поводу писала, что "родосский синойкизм имел свои оригинальные черты: при полном политическом объединении всего острова, три древних города не превратились в поселки, но сохранили свое значение городов"

(1951: 89). Оригинальность, отмеченная К.М.Колобовой, тем не менее была достаточно типичной, а по этой причине в понятии "полис", как отмечал М.Х.Хансен, надо различать два смысла — урбанистический и политический (Hansen 1996: 7, 25-26, 32). Конечно же, в приведенных выше свидетельствах древние авторы вкладывали в это понятие урбанистический, а не политический смысл. Но что же в таком случае эти поселения, столь похожие на города, представляли из себя в плане политическом, какое положение они занимали в структуре полиса?

В высшей степени важным в этом отношении, на мой взгляд, является одно свидетельство Геродота. Имеется в виду эпизод с философом Фалесом, точнее, с советом, который тот дал ионийцам, опасавшимся персидского нападения (Herod. 1, 170,3). "Он предложил ионянам построить один общий дом для совещаний (булевтерион), именно на Теосе, так как Теос лежит в сердце Ионии. Отдельные города (полисы) тем не менее должны были сохранить самостоятельность, но только как местные общины (демы)" (перевод Г.А.Стратановского). План, как известно, не был реализован, но он дает пример образования нового полиса путем синойкизма, опять же политического, а не физического (ср. Вернан 1988: 154; Hansen 1995: 56). Входившие в новую структуру некогда самостоятельные полисы, как видим, теряли это свое качество, превращаясь в демы. Последнее очень важно, поскольку именно демы (комы) были основной ячейкой общественных связей в Древней Греции периода ранней архаики, на их базе происходила дальнейшая эволюция политического строя, формирование классического полиса (Яйленко 1990: 18; Schoeffer 1903: 1, 34; Rhodes 1993; Hansen 1995). Можно согласиться с М.Х.Хансеном и признать, что греческие общины в политическом смысле могли быть либо полисами, либо демами (Hansen 1996: 14). В отношении полиса, который предлагал создать Фалес, уместно будет добавить, что, всего скорей, его бы назвали Теос, а демами в нем были бы Клазомены, Эфес, Милет и другие важнейшие центры Древней Греции того времени. Необходимо подчеркнуть и то, что с теоретической точки зрения для греков было вполне допустимо существование полиса, состоявшего из нескольких не просто урбанистических центров, но и, как в данном случае, из настоящих городов, хотя подобное новообразование следовало бы, скорей, именовать не полисом, а "мегаполисом".

Среди таких, но уже реально существовавших "мегаполисов" можно назвать Афины, Коринф, Милет, Родос и др. Родос при этом начал создавать Перею, то есть собственные владения на материке, в состав которых входили и города, еще до синойкизма (Колобова 1951: 129, 138; Fraeser, Bean 1954: 95), тогда же были инкорпорированы и некоторые из близлежащих островов (Fraeser, Bean 1954: 139). Как видим, тенденция к созданию достаточно крупных государственных образований обозначилась в Древней Греции сравнительно рано, во всяком случае до эпохи эллинизма, хотя именно в эпоху эллинизма она раскрылась в полной мере. Тогда на основе синойкизмов и симполитий создавались весьма сложные структуры, отличающиеся от классических полисов. В их владения входили не только деревни, различные укрепленные поселения, но даже и другие полисы (Свенцицкая 1960: 92-93; Hammond 1972: 196 ff.). Очень показательный пример такого рода — конечно, Родос (Горлов 1990: 206-207), который, как говорилось, начал трансформацию в этом направлении значительно раньше.

Разумеется, следует признать, что такие крупные экономические и политические центры в количественном отношении в Греции архаической эпохи, да и позднее, отнюдь не доминировали. Большинство полисов имело микроскопические размеры (Андреев 1989: 72; он же 1998: 60 сл., 74-75;Hansen 1993: 14), которые вполне соответствуют требованию Аристотеля, чтобы население и территория полиса были легко обозримы (Polit. 7. 13227a). Идеальный полис Платона, как известно, должен был включать 5040 полноправных граждан (Legg. 737e, 745c). Большинство же реальных полисов, всего скорей, не имело и такого количества граждан, а древнегреческие города часто были меньшими по размерам, чем современные деревни (Hansen 1993: 14). Думается, что к этим поселениям с полным основанием можно отнести характеристику, которую Исократ дал городам Пелопоннеса. Знаменитый оратор в отношении здешних мелких местечек сказал, что местными жителями они назывались полисами, но их значение было меньшим, чем у аттических демов (Isokr. 12. 179). В общем, можно признать вполне справедливым заключение Э.Д.Фролова, что реальное воплощение полисного начала в Древней Греции было достаточно парадоксальным (1988: 53).

Речь выше шла о полисах метрополии, а в районах греческой колонизации ситуация, всего скорей, была еще сложней. Проблема колониального полиса, однако, исследована пока очень слабо, по большей мере на местные условия просто экстраполируются классические схемы метрополии, хотя логично ожидать, что на периферии античного мира эти схемы могли существенным образом трансформироваться. В этом плане, прежде всего, следует обратить внимание на своеобразие полисов Великой Греции. По свидетельству Страбона (6. 263) известно, что Сибарис правил четырьмя племенами и двадцатью пятью зависимыми городами. Совсем не случайно в научной литературе он порой именуется небольшой империей, которая частично состояла из территорий подчиненного местного населения, а частично — из коло-

ний, контролировавшихся этим центром (Dunbabin 1948: 153; Graham 1964: 91). Как представляется, подобным образом, то есть через выведение зависимых колоний, развивалась экспансия Сиракуз (Dunbabin 1948: 112; Graham 1964: 92).

В других районах греческой колонизации картина взаимоотношений метрополии со своими колониями предстает также весьма своеобразной. Так, имеются веские основания считать, что Массилия осуществляла контроль над своими колониями (Циркин 1981: 46; Козловская 1984: 50). Еще более отчетливо это своеобразие проявляется на берегах Черного моря. По сообщению Ксенофонта известно, что колонии Синопы (Котиора, Керасунт и Трапезунт) были подчинены метрополии и платили ей дань (Anab. 5. 5.7,10), а Котиора даже управлялась синопским наместником (Anab. 5. 5,19). М.И.Максимова считала, что это совершенно не укладывается в рамки нормальных для Греции отношений между метрополией и колониями (Максимова 1956: 76). Несмотря на эту информацию, А.Грэхем отмечал, что колонии Синопы в силу отдаленности от метрополии не могли быть частями единого государства (Graham 1964: 202). По его мнению, такая тесная зависимость проявлялась только при колонизации, так сказать, на близком расстоянии, которая по этой причине выделяется в особый феномен (Graham 1964: 90). Он подчеркивал, что в ситуации, когда колония и метрополия находились рядом друг с другом, их взаимоотношения иногда были столь тесными, что колонию можно назвать продолжением организующегося государства. Если даже это было не так, то метрополия все-таки могла осуществлять достаточно жесткий контроль над своей колонией (Graham 1964: 96, 117; ср. Козловская 1984: 45).

В отношении Северного Причерноморья следует признать, что схема структурной организации полиса из нескольких городов стала вполне типичной. Так, Ольвия состояла из двух центров — собственно города Ольвии и Березани (Виноградов Ю.Г. 1976: 75 сл.; он же 1989: 67-68). Дорический Херсонес достаточно скоро включил в свою политическую структуру еще два города — Керкинитиду и Калос-Лимен (Щеглов 1976: 77, 82-83; он же 1978: 120; Зубарь 1993: 27, 101; он же 1997: 25-26). Новая политическая структура нашла отражение в присяге херсонеситов, которая требовала от граждан всячески оберегать Херсонес, Керкенитиду, Калос-Лимен и прочие укрепленные пункты (IOSPE. I.[2] 401). А.В.Кутайсов считает, что Керкинитида первоначально была типичным эллинским городом (Кутайсов 1990: 143 сл., 156 сл.; он же 1992: 61-62, 110), и от вхождения в состав Херсонесского полиса в его экономике и тем более внешнем облике ничего не изменилось. Изменился лишь политический статус.

С полисами Боспора Киммерийского дело обстоит значительно сложней. Достаточно распространена точка зрения, что все известные здесь города и городки, а их, если судить по сведениям античной письменной традиции, было около тридцати (см. Латышев 1909: 61 сл.; Гайдукевич 1949: 154 сл.; Gajdukevic 1971: 32 ff., 170 ff.), до образования единого Боспорского государства были независимыми полисами (см. Шелов-Коведяев 1985: 51, 55). И.Г.Шургая в их составе выделял более крупные полисы — Пантикапей, Фанагория, Феодосия, а также сравнительно мелкие — Китей, Нимфей, Тиритака, Мирмекий и др. (Шургая 1977: 38). Если же подойти к имеющимся источникам строже и попытаться ответить на вопрос, какие же боспорские города действительно были полисами, то эта усредняющая картина окажется не столь очевидной. На мой взгляд, полисами в данном районе можно считать лишь те центры, сведения об основании которых сохранила античная письменная традиция, которые чеканили монету (ср. Martin 1995) и имели собственный этникон (ср. Fraser 1995; Hansen 1996a), то есть название граждан типа “феодосиец” или “пантикапеец”. Специальное исследование показало, что этим требованиям в той или иной степени удовлетворяют шесть центров: Феодосия, Пантикапей, Нимфей, Фанагория, Гермонасса и Кепы (Виноградов Ю.А. 1993: 79 сл.; он же 1995: 65 сл.).

Возможно, к этому списку следует добавить седьмой полис — Горгиппию, где сравнительно недавно были открыты показательные строительные комплексы второй половины VI в. до н.э. (Алексеева 1991: 69 сл.). Если верно широко распространенное отождествление Горгиппии с Синдской Гаванью (см. Завойкин 1998), то о последней известно, что она была “населена эллинами, пришедшими из соседних мест” (Ps.-Scymn. 869), а это можно рассматривать как свидетельство об основании поселения. Порой к чекану Синдской Гавани относили так называемые синдские монеты (см. Болтунова 1964: 148 сл.; Грач 1972: 133 сл.; Шелов 1981: 241), но это, в общем, сомнительно (Тохтасьев 1984: 141; Шелов-Коведяев 1985: 125). Зато не вызывает сомнения чеканка Горгиппией монеты в позднеэллинистическое время, а она имела этникон “горгиппийцев” (Шелов 1956: 176, табл. IX, 115; Анохин 1986: 72 сл., №№ 209-211). Из Горгиппии происходят к тому же такие важные и редкие на Боспоре эпиграфические документы, как списки граждан, относящиеся, правда, к эллинистическому и римскому времени (КБН 1137-1191). Если допустимо в этих поздних свидетельствах усматривать намек на особое положение поселения и в более раннее время, то можно согласиться с Е.М.Алексеевой и признать Горгиппию (Синдскую Гавань, Синд) еще одним боспорским полисом (Алексеева 1991: 19 сл.). Такую же методику вычленения полисов применил Г.Р.Цецхладзе и признал таковыми все обозначенные выше центры и ни одного бо-

лее (Tsetskhladze 1997: 44-59; см. также Молев 1997: 9).

Остальные так называемые “малые города” Боспора считать автономными центрами особых оснований нет. Всего скорей, они входили в состав того или иного полиса. В отношении северо-восточной части Керченского полуострова можно полагать, что она принадлежала одному полису — Пантикапею (Виноградов Ю.А. 1993: 91). Соответственно, в его состав входили такие “малые города”, как Тиритака, Мирмекий, Парфений, Порфмий и др. На всех из них, подвергавшихся археологическим раскопкам, засвидетельствовано наличие урбанистической системы застройки, а Мирмекий назван городом даже в письменных источниках (Ps.-Scyl. 68). Страбон, однако, именовал Мирмекий то городком (7. 4, 5), то деревней (11. 2, 6). В.Ф.Гайдукевич на этом основании даже предполагал, что в раннее время это поселение имело большее значение, чем позднее (Гайдукевич 1941: 97). Такое заключение, однако, вряд ли можно признать бесспорным.

Напомню, что Псевдо-Скилак, именовавший Мирмекий городом, писал также о городах Афин и Мегар (Ps.-Scyl. 39, 57), то есть политического смысла в этот термин он явно не вкладывал. Стремление некоторых исследователей продемонстрировать известную надежность терминологии этого автора, в общем, далеко не бесспорно (см. Hansen 1996: 30 ff; Flensted-Jensen, Hansen 1996: 147 ff.). Псевдо-Скилак все-таки составлял географический труд для мореплавателей, а не политический трактат, и термин “полис” он вполне мог употребить в физическом, то есть урбанистическом смысле. Страбон же, как представляется, стремился подходить к терминологии более строго (Грацианская 1988: 124-125), к примеру, он резко возражал против существовавшего в античной традиции отождествления с городами иберийских больших деревень (3. 4,13). Информация Страбона дает основания предполагать, что Мирмекий и другие названные поселения являлись комами в составе Пантикапейского полиса, хотя и имели признаки городской застройки. Такая система расселения на Боспоре, вызванная, как надо полагать, особенностями демографической и военно-политической ситуации в районе, сложилась достаточно рано во время так называемой вторичной колонизации, исходящей, как в данном случае, от Пантикапея. О своеобразии этих “малых городов” в структуре полиса речь пойдет ниже.

Сейчас же следует обратить внимание на то, что в последнее время выкристаллизовались две точки зрения по вопросу о реальном статусе ранних греческих поселений на Боспоре в сравнении с центрами Нижнего Побужья. Г.Р.Цецхладзе считает, что первоначально боспорские колонии не были полисами, а лишь апойкиями (Tsetskhladze 1997: 59, 81), до уровня полисов они, так сказать, доросли позднее, при этом после Ольвии. Вторая точка зрения сводится как раз к противоположному. Выдающийся отечественный антиковед Д.Б.Шелов в одной из последних своих работ выразил это мнение таким образом, что боспорские колонии с самого начала были организованы как полисы, а Ольвия такой организации какое-то время не имела (Шелов 1994: 102, 104).

Вторая гипотеза, которая, как видим, уже достаточно укоренилась в научной литературе, обязана разработкам киевских исследователей, которые в совокупности порой называются “теорией синойкизма” Ольвийского полиса. Обозначенный подход восходит к трудам В.В.Лапина и, в общем, заключается в том, что на начальном этапе освоения греками Нижнего Побужья все здешние поселения (в том числе и Ольвия) представляли собой деревни, состоявшие из заглубленных в землю жилых и хозяйственных комплексов типа полуземлянок (Лапин 1966: 176). По мнению В.В.Рубана, Ольвия как город сформировалась в первой половине V в. до н.э., и связано это с синойкизмом, то есть с переселением в Ольвию населения всех окрестных деревень (Рубан 1977: 43; ср. Козуб 1979: 316). С некоторыми модификациями эта точка зрения бытует и сейчас, обогащаясь все новыми теоретическими выкладками. К примеру, С.Д.Крыжицкий и В.М.Отрешко пишут, что “Ольвийское поселение до конца третьей четверти VI в. до н.э. полисом или иным автономным политическим образованием являться не могло” (Крыжицкий, Отрешко 1986: 8). Но тогда чем же оно являлось?

Для ответа на этот вопрос возвводится еще одна теоретическая конструкция, в соответствии с которой в освоении греками северного берега Черного моря можно выделить две линии:

1. Организованная, целенаправленная колонизация полисного типа (Березань, Пантикапей).

2. Стихийная, сугубо аграрная колонизация, которая выразилась в организации так называемых агломераций Нижнего Побужья, то есть сельских поселений, застроенных полуземлянками (Крижицький, Буйских 1988: 6-7; Крижицький 1989: 44 сл.).

Любопытно, правда, что и Березань, и Пантикапей, как будет сказано ниже, на раннем этапе развития были застроены теми же самыми полуземлянками, что и агломерации, так что эта концепция, в общем, лишена серьезной фактологической базы. Критикуя ее, К.К.Марченко указал на недопустимость ставить знак равенства между такими явлениями, как древнегреческое государство и город (Марченко 1994: 96). А.С.Русяева, приводя конкретные данные о существовании апойкии в Нижнем Побужье по крайней мере с начала VI в. до н.э., считает, что вряд ли процесс колонизации района носил стихийный характер (Русяева 1994: 103). Ю.Г.Виноградов даже полагает, что имеющиеся материалы по-

зволяют говорить об Ольвии как о заранее запрограммированном городском и административном центре (Виноградов 1989: 47).

Отвлекаясь от деталей дискуссии, следует признать, что методологической или, скорей, мировоззренческой основой концепции о стихийной линии колонизации является представление о полисе как о городе-государстве, а значит, если нет города, то нет и полиса. Подобный взгляд, правда, не чужд и для некоторых противников этой концепции, о чем будет сказано ниже. Однако уравнивание Ольвии с другими сельскими поселениями района представляется абсолютно недопустимым. Многие факты заставляют считать Ольвию центром полиса с самого момента возникновения. Среди них — размеры поселения, существование на территории Верхнего города уже в 80-60 гг. VI в. до н.э. теменоса со святилищами Аполлона Врача и Матери Богов (Русяева 1991: 124 сл.; она же 1998: 164). Второй половиной VI в. до н.э. или, может быть, третьей его четвертью датируется любопытный эпиграфический документ, связанный, очевидно, с полученным в Дидимах пророчеством, в котором, в частности, имеется пожелание мира "Ольвийскому полису" (см. Русяева 1986: 26, 50 сл.; она же 1987: 146; она же 1998: 168; Виноградов 1989: 65-66; Буркерт 1990: 155, 160). Иными словами, Ольвия уже в это время безусловно была полисом, но урбанистического центра этот полис не имел. Такое положение, разумеется, необходимо как-то объяснить, конкретизировать, и попытка такого объяснения будет дана ниже, когда речь пойдет о становлении греческих городов Северного Причерноморья. Сейчас же хотелось бы обратить внимание на сложность полиса как формы политической организации Древней Греции.

В связи с этим приведу хорошо известное свидетельство Павсания о фокейской Панопее: "Стадиях в 20 от Херонеи находится фокидский город Панопей, если его вообще можно назвать городом, так как нет в нем ни правительственных зданий, ни гимнасия, ни театра, ни площади, ни водоема, куда бы собиралась вода, но жители обитают здесь вдоль горного потока, в полуземлянках, более похожих на горные лачуги. Однако у них есть границы их области с соседями, и на всефокейское собрание они тоже посылают своих представителей" (10. 4, 1; перевод С.П.Кондратьева). Вряд ли можно сомневаться, что Павсаний здесь описывает полис без выраженного городского центра. Почему бы не предположить, что, к примеру, и Ольвия на начальном этапе представляла собой что-то подобное. Следует обратить внимание, правда, что в научной литературе существует весьма критическое отношение к информационным возможностям столь позднего источника, как "Описание Эллады" Павсания, точнее, к возможности перенесения этой информации на более раннее время (Alcock 1995; Rubinstein 1995). Понимая безусловную специфику источника, все-таки не нахожу возможным игнорировать его информацию, поскольку ранние греческие полисы, как представляется, имели облик, более близкий Панопее, чем Афинам V в. до н.э. (см. Андреев 1976: 13-32; Snodgrass 1981: 31).

Еще один пример из Геродота: перед Саламинской битвой коринфянин Адимант обвинил Фемистокла в том, что тот не имеет родины и полиса, так как Афины были уже захвачены персами, а значит, он не должен был иметь права голоса. Фемистокл доказал, что имеет и полис, и родную землю, поскольку афиняне располагали самой большой эскадрой, состоявшей из 200 кораблей (Herod. 8. 61). Признавая полемическую заостренность этого суждения Фемистокла, все-таки следует признать, что для него в тот момент афинский полис находился на кораблях, то есть представлял собой, так сказать, чистый вариант гражданской общины. В унисон этому звучит утверждение Никия в "Истории" Фукидида: "Ведь полис — это люди, а не стены и не порожние корабли" (7. 77.7). Можно привести и не менее авторитетное суждение Аристотеля, писавшего, что "полис есть совокупность граждан" (Pol. 3. 1.2, 1275a).

Возвращаясь к северопричерноморским материалам, еще раз напомню, что Ольвия, изначально являясь полисом, то есть коллективом граждан, некоторое время обходилась без городского центра. И, надо сказать, ее пример очень типичен. По существу следует признать, что апойкии Северного Причерноморья на начальном этапе, как правило, не представляли собой городских центров, что можно рассматривать как своего рода местную особенность. Общий, так сказать, руральный, деревенский облик этих поселений не может вызывать серьезных сомнений. Но признания этого факта все-таки недостаточно, за ним кроется еще одно любопытное явление, на которое редко обращается внимание.

Как принято считать, самая ранняя греческая апойкия, выведенная в Северное Причерноморье на о.Березань, возникла не позднее последней четверти VII в. до н.э. (Виноградов, Доманский, Марченко 1990: 82). Долгое время она была застроена различными типами полуземлянок, переход к наземному домостроительству и создание здесь городской структуры, как показал С.Л.Соловьев, относится к концу третьей четверти VI в. до н.э., через 70-80 лет после основания поселения (Соловьев 1994: 93; он же 1995: 157, 161). Этот исследователь считает, что поселение на Березани возникло на рубеже VII-VI вв. до н.э., то есть позднее, чем это представляется многим другим. По этой причине буде уместно несколько расширить хронологические рамки периода земляночного домостроительства на данном памятнике до 80-90 лет.

Ольвия, всего скорей, была выведена в 590-

580 гг. до н.э. (Виноградов, Доманский, Марченко 1990: 84; Русяева 1998: 167). Кардинальная перестройка, связанная с переходом к наземному домостроительству происходит здесь лишь в начале V в. до н.э. (Крыжицкий 1982: 30; он же 1987: 8 сл.; он же 1993: 42-43), то есть приблизительно через 80 лет существования.

Долгое время считалось, что земляночное домостроительство на ранних греческих поселениях было характерно лишь для Северо-Западного Причерноморья, сравнительно небогатого камнем, а в районе Боспора Киммерийского и особенно Восточного Крыма греки сразу стали возводить наземные здания с использованием камня (см.Блаватский 1957: 13, 24; он же 1964: 28). Исследования последних лет не подтвердили этого представления: земляночные конструкции были открыты в Пантикапее, Мирмекии, Тирамбе, Фанагории, раннем поселении на месте Анапы, то есть, всего скорей, в Синдской Гавани (см. Виноградов Ю.А. 1995а: 157-158; Виноградов, Рогов 1997: 67; Зубар 1998: 133). Сравнительно давно они были открыты в Нимфее, но явно ошибочно отнесены к скифскому поселению, существовавшему здесь до выведения греческой апойкии (Скуднова 1954: 309 сл.; Худяк 1962: 13 сл.), раскопки последних лет вполне подтвердили вывод о наличии на городище полуземлянок архаического времени (Butjagin 1997). Исключением из общего правила являются наземные постройки Торика, возведенные не позднее середины VI в. до н.э. (Онайко 1980: 94). Эти постройки демонстрируют определенную специфику освоения греками предкавказской области, но вряд ли позволяют сомневаться в обоснованности обозначенной выше закономерности.

Открытие архаических полуземлянок на Боспоре вызвало негативную реакцию В.Д.Кузнецова (1995: 99 сл.). Этот исследователь вообще отрицает феномен земляночного домостроительства на античных памятниках Северного Причерноморья, мотивируя свою точку зрения, в частности, методическими ошибками археологов, а также плохой сохранностью ранних строительных остатков вследствие их разборки в более позднее время. В связи с этим следует с полной определенностью заявить, что любой специалист, хотя бы раз в жизни раскапывавший полуземлянку, никогда не спутает ее ни с ямой, ни с подвалом. Смущает и уверенность В.Д.Кузнецова в том, что все ранние каменные кладки наземных зданий непременно разбирались. В Торике они почему-то сохранились. Непонятным остается и то, что, к примеру, в Мирмекии были полностью разобраны стены домов второй половины VI в. до н.э., но часто прекрасно сохранились стены начала V в. до н.э. Всего скорей, во второй половине VI в. до н.э. их просто не существовало. Точнее — не существовало каменных кладок наземных зданий, но существовали другие каменные кладки, и они, кстати, неплохо сохранились. В районе мирмекийского акрополя открыта целая серия мощных каменных стен (толщина — 1 м), относящихся к второй половине VI в. до н.э., и, как представляется, в совокупности составляющих самую раннюю оборонительную систему поселения (Виноградов Ю.А.1995а: 157).

Несмотря на открытие этой весьма показательной системы укреплений, ранний Мирмекий не представляется возможным интерпретировать как город. Абстрагируясь от некоторых характеристик, можно предполагать, что городом по внешним параметрам на этом этапе не был даже Пантикапей, будущая столица Боспорского государства. Названные поселения, скорей, имели вид больших деревень, застроенных к тому же примитивными, полуварварскими по облику жилыми и хозяйственными комплексами.

В Мирмекии наземные здания греческого типа с сырцовыми стенами на каменных цоколях, мощеными каменными плитами дворами, улицами с тротуарами и т.п. стали строиться только с начала V в. до н.э. По времени это совпадает с аналогичным явлением в Ольвии и опять же происходит приблизительно через 80 лет после возникновения поселения (Виноградов Ю.А. 1992: 105). В Пантикапее урбанистическая структура формируется несколько раньше — в последней или третьей четверти VI в. до н.э. (Толстиков 1989: 42; он же 1992: 62), что на сей раз приблизительно совпадает по времени с аналогичными переменами на березанском поселении. Но, всего скорей, Пантикапей возник раньше Мирмекия, — как считается, в начале VI в. до н.э. (Блаватский 1964: 15 сл.; Сидорова 1962: 107 сл.; но ср. Кузнецов 1991: 33; Толстиков 1992: 59 сл.). В таком случае опять можно признать, что кардинальная перемена в жизни будущей боспорской столицы происходит через 70-80 лет с момента ее основания.

Очень показательные, на мой взгляд, результаты были получены при раскопках Керкинитиды в Западном Крыму. Наиболее ранними исследованными здесь строительными комплексами являются опять же полуземлянки, которые были возведены на рубеже VI-V вв. до н.э. (Кутайсов 1990: 70). Однако находки архаической керамики позволяют заключить, что поселение было основано в середине — третьей четверти VI в. до н.э. (Кутайсов 1990: 70; он же 1992: 44-46). Важным моментом в развитии Керкинитиды, как считает В.А.Кутайсов, оказались 70-60 гг. V в. до н.э. “В это время, приблизительно через 70 лет существования открытого поселения, его территория была обнесена мощными каменными стенами, а пространство внутри них разбито по четко выраженной и регулярной планировочной схеме на кварталы. Последние, в свою очередь, были поделены на приблизительно одинаковые участки, застроенные затем жилыми домами типично греческого облика” (Кутайсов 1992: 50; ср. он же 1990: 70, 124). Обрисо-

ванная картина дает наглядный образец развития апойкии от поселения полуварварского облика к структуре урбанистического типа.

Отмеченные особенности, как представляется, весьма показательны и по-своему типичны. Во-первых, они демонстрируют становление (именно становление, а не единовременное строительство!) греческих городов в различных районах Северного Причерноморья. Во-вторых, эти греческие поселения, основанные в различное время (Березань — в последней четверти VII в. до н.э., Мирмекий — во второй четверти VI в. до н.э., Керкинитида — в середине или третьей четверти VI в. до н.э.), демонстрируют определенное сходство в темпах и направлении эволюции. Городская структура на них формируется приблизительно через 70-80 лет с момента возникновения поселения. Нельзя согласиться с Г.Р.Цецхладзе, когда он указывает на отсутствие такого сходства и подчеркивает, что переход к наземному домостроительству в Ольвии имел место через 10-20 лет после основания апойкии, а на Боспоре Киммерийском — через 50-75 лет (Tsetskhladze 1997: 59). Если последнее хронологическое определение в известной мере удовлетворительно (ср. Виноградов Ю.А. 1995а: 158), то первое вызывает полное недоумение, поскольку не отвечает никаким археологическим реалиям.

Чем же можно объяснит этот загадочный 80-летний цикл в ранней истории греческих апойкий района? Главное здесь, очевидно, заключается в чрезвычайно низком экономическом и демографическом потенциале коллективов переселенцев. Немногочисленные общины колонистов, попавшие в сложные, непривычные для них условия Северного Причерноморья, должны были пройти определенный период адаптации, связанный, в частности, и с использованием традиции земляночного домостроительства, идея которого была заимствована у местных варварских племен (см. Крыжицкий 1982: 30; он же 1993: 41; Виноградов, Рогов 1997: 67; Tsetskhladze 1997: 59). Вероятно, этот адаптационный период и составлял приблизительно 80 лет, что соответствует жизни двух поколений (Кутайсов 1990: 144; он же 1992: 54; Виноградов, Рогов 1997: 70-71). Если предположить, что на новые земли, в основном, переселялись молодые неженатые мужчины, которые обзаводились семьями уже на месте, находя невест преимущественно среди туземных племен региона (ср. Murray 1982: 147), то нетрудно подсчитать, что на жизнь третьего поколения придется резкое увеличение населения колонии, которое по масштабам можно сопоставить с демографическим взрывом (Рогов 1996: 84). Может быть, не удивительно, что именно тогда на греческих поселениях Северного Причерноморья происходят масштабные перестройки.

Хочется подчеркнуть, что эти кардинальные перестройки имели принципиальное значение, знаменуя собой завершение периода адаптации колонистов на новом месте и начало следующего этапа развития организованных здесь колоний. Совершенно неверно, на мой взгляд, трактует этот исторический факт С.Л.Соловьев, который разделяет весьма спорную точку зрения, что северопричерноморские полисы уже с момента выведения могли быть только городами (см. выше). Изучив систему архитектурно-пространственного развития Березани, он пришел к выводу, что в ранней истории этого поселения можно выделить три этапа (Соловьев 1993: 42). Его концепция представляется весьма показательной, поэтому приведу ее более подробно:

1. Вторая половина VII в. до н.э. — этап сезонных контактов греков и варваров на месте будущего поселения.

2. Конец VII — третья четверть VI вв. до н.э. – существование стационарного поселения, населенного, в основном, выходцами из местных варварских племен и немногочисленными греческими купцами.

3. Конец третьей четверти VI — конец первой трети V вв. до н.э. — основание эллинской апойкии с застройкой городского типа.

Прежде всего бросается в глаза, что приведенная гипотеза удивительным образом напоминает эмпориальную теорию греческой колонизации Северного Причерноморья, чрезвычайно популярную в советской научной литературе в 50-60-х гг. Как известно, она сводится к трехчленной схеме развития, — от спорадических заходов греческих кораблей к выведению торговых факторий (эмпориев) на варварские поселения и, наконец, образование на их месте апойкий, которые, конечно, понимались как города (Блаватский 1954: 7-19; Гайдукевич 1949: 11). Преувеличенная трактовка торгового фактора в освоении греками северного берега Черного моря вызвала справедливую критику многих ученых (см. Доманский 1965; он же 1970; Лапин 1966; Брашинский, Щеглов 1979: 34 сл.; Noonan 1973), поэтому концепция С.Л.Соловьева, в общем, лишена серьезного теоретического и фактологического обоснования.

Возникновение Ольвийского полиса он связывает с появлением новой волны переселенцев из Ионии в конце VI в. до н.э. (Соловьев 1993: 41). Вполне очевидно, что это событие опять же увязывается с созданием урбанистической структуры на поселении, которое относится, как уже говорилось, к началу V в. до н.э. С.Л.Соловьев при этом не придает никакого значения тому, что в Ольвии на территории Верхнего города уже в 80-60-х гг. VI в. до н.э. существовал теменос со святилищами Аполлона Врача и Матери Богов, а также и находке граффито второй половины VI в. до н.э. с упоминанием Ольвийского полиса, о чем говорилось выше. Эти факты, однако, позволяют признать, что политическая организация в Ольвии, а надо

думать — и в других северопричерноморских центрах, опережала в своем развитии процесс урбанизации (ср. Kolb 1984: 110).

Не секрет, что обозначенная закономерность в становлении греческих городов Северного Причерноморья весьма существенно отличается от привычной схемы греческой колонизации, прежде всего, от западной ее волны. Достаточно надежно установлено, что греческие колонии на Юге Италии и в Сицилии сравнительно быстро были застроены по типу городских поселений, часто даже имеющих регулярную планировку. В качестве примера можно привести общеизвестный факт такой застройки в Мегаре Гиблее и некоторых других городах (Ward-Perkins 1974: 11, 22-24; Vallet, Villard, Auberson 1976; Kolb 1984: 105 ff.; Di Vita 1996: 266 ff.). В общем, данные центры вполне соответствуют теоретической модели выведения колонии, которую нарисовал В.П.Яйленко. По его мнению, выведение колонии начиналось с сооружения городской стены и нарезания земельных участков внутри стен (ойкопедон) и вне их, на хоре (Яйленко 1982: 242). Но распространение этой модели на Северное Причерноморье и бытующее мнение, что система городской планировки Древней Греции сложилась в результате колонизации в том числе и северопричерноморских областей (Fischer-Hansen 1996: 319), никак нельзя признать адекватным имеющимся археологическим материалам (Крыжицкий 1993: 34).

Любопытно, что и в истории греческих апойкий Великой Греции в последние годы удалось выделить начальный период, охватывающий жизнь двух-трех поколений колонистов (Snodgrass 1981: 157; Greco 1996: 236; Di Vita 1996: 264; ср. Murray 1982: 144). На этом этапе греческие переселенцы обитали в достаточно примитивных жилищах, возведенных, однако, в пределах специально спланированных кварталов, часть площади которых оставалась свободной от застройки (Mertens, Greco 1996: 248). В этом отношении следует еще раз обратить внимание, что апойкии Великой Греции стали формироваться в виде городских структур, явно опережая свои метрополии (Snodgrass 1981: 42; idem 1986: 49-51; Kolb 1984: 111; Hansen 1993: 11; Di Vita 1996: 264), а ко времени начала колонизации Северного Причерноморья в Греции уже вполне сложились основные градостроительные и домостроительные принципы, которые могли, так сказать, экспортироваться на новые земли (Крыжицкий 1982: 143-144). Так что при некотором вполне объяснимом сходстве двух направлений колонизации, в плане создания урбанистических структур в них имеется принципиальное различие.

Кратко резюмируя изложенное выше, я хотел бы сказать, что развитие греческих полисов и городов Северного Причерноморья следует считать явлениями, безусловно, связанными, но все-таки отнюдь не тождественными. Всего скорей, небольшие коллективы колонистов, которые появились в различных частях региона, сразу структурировались в виде полисов (гражданских общин). Конечно, в дальнейшем полисы развивались, принимали те или иные формы политической, социальной, экономической организации, но все это происходило в рамках уже существовавших полисов. В этом отношении развитие колониального полиса можно уподобить дереву, которое, вырастая из саженца и во многом изменяя свою форму, все-таки сохраняет сущность, которая заложена изначально. А вот городами греческие выселки региона изначально не были, конечно, при одной оговорке, что городами нельзя считать поселения, застроенные примитивными землянками. Городами они становились приблизительно через 70-80 лет истории в результате экономического и демографического роста полиса. Вряд ли случайно этот вывод совпадает с заключением Г.А.Кошеленко о рождении греческого города в недрах уже существовавшего полиса (Кошеленко 1983а: 220). И в греческой метрополии раннего времени, и в более поздних колониях северного берега Понта, как представляется, происходили типологически близкие процессы социально-экономического развития.

По этой причине никак не могу согласиться с Г.Р.Цецхладзе, который полагает, что до середины VI в. до н.э. северопричерноморские колонии не были полисами, а лишь апойкиями (Tsetskhladze 1997: 59, 81). Конечно, он абсолютно прав, когда указывает на важность таких структурообразующих для полиса элементов, как теменос, агора, ремесленные кварталы и пр., но их появление на обозначенном этапе знаменовало собой, всего скорей, не рождение нового колониального полиса, а важный этап его внутреннего прогрессивного развития. Признавая ранние поселения региона автономными, следует признавать и их полисный статус. В противном случае остается неясным, от кого зависели колонисты, — от метрополии они были отделены слишком большим расстоянием, а скифы на этом этапе вряд ли интересовались внутренним устройством колоний, вполне удовлетворяясь получением дани, которая, скорей, выступала в виде даров вождям (Виноградов, Марченко 1991: 149)

Сугубо предположительно, конечно, можно допустить, что в общий колониальный поток вовлекались небольшие группы, может быть, даже отдельные семьи, которые предпочитали селиться вне крупных коллективов колонистов на хуторах и быть свободными от любого внешнего принуждения. В условиях северного Причерноморья такое явление, однако, вряд ли получило сколько-нибудь заметное развитие или, во всяком случае, такие анахореты наверняка не сыграли заметной роли в освоении греками этого региона. Жизнь на краю ойкумены требо-

вала от колонистов создания сплоченных коллективов — общин землевладельцев, пусть первоначально очень немногочисленных и просто устроенных, но способных к адаптации и дальнейшему количественному и качественному росту. Без осознания своего единства в рамках созданных полисов греки вряд ли могли надеяться на успех в освоении северного берега Понта.

Итак, если судить по хорошо изученным археологически памятникам (Березань, Ольвия, Пантикапей, Мирмекий, Керкинитида), урбанистические структуры формируются здесь через определенный, отнюдь не случайный промежуток времени. Но являлись ли все эти центры с городской застройкой равнозначными и равноценными образованиями? В отношении Ольвии, Березани или Керкинитиды этот вопрос не имеет особой остроты, поскольку все они были центрами полисов, по крайней мере, определенный этап своей истории. В этих полисных центрах, конечно, концентрировались все институты политической власти, культовые святыни, ремесленные мастерские и т.д. Значительно сложней ситуация была в районе Боспора Киммерийского. Выше уже говорилось, что, несмотря на значительное число греческих поселений здесь, в том числе и с урбанистической системой застройки, полисами среди них можно назвать только 6 или 7: Феодосию, Пантикапей, Нимфей, Фанагорию, Кепы, Гермонассу и, возможно, Горгиппию.

В отечественном боспороведении традиционно сложилось разделение всех греческих городов района на столицы (Пантикапей и Фанагория) и так называемые “малые города”. В отношении первой дефиниции возражений быть не может, поскольку она соответствует сведениям письменной традиции (Strabo 11. 2.10; 7. 4). Вторая же относится к категории научной мифологии, поскольку сложилась стихийно, без увязки понятия с какими-либо специально проанализированными письменными источниками и археологическими данными. “Малыми городами”, к примеру, именуются Кепы, колония Милета (Ps.-Scymn. 896; Plin. NH. 6. 18) и Порфмий, выступающий в сообщениях античных авторов как деревня (Anonym. P.Pont. 69,76,117); Мирмекий, имеющий площадь 6 га, Илурат — 2 га и тот же Порфмий — 0.65 га. Всех их, однако, объединяет наличие компактной застройки, а также оборонительных сооружений. Выражая неудовлетворение сложившейся ситуацией, Г.Р.Цецхладзе предложил вообще отказаться от термина “малый город”, а на место его поставить “зависимый полис” (Tsetskhladze 1997: 60, 68). Предложенный им выход, на мой взгляд, вряд ли можно признать удачным, поскольку он базируется лишь на общих соображениях и простой перемене терминов, когда на место одной аморфной дефиниции ставится другая, при этом еще более аморфная и сложная для изучения.

Данная весьма значительная в количественном отношении группа древних памятников Боспора Киммерийского в силу состояния источников может быть исследована прежде всего археологическими методами, и археология позволяет обрисовать их специфику достаточно отчетливо. По мнению Ю.В.Горлова и И.М.Безрученко, малыми городами Боспора можно считать поселения с урбанистическим типом застройки, наличием укреплений и многообразием хозяйственной деятельности. Численность населения таких городов может колебаться от нескольких сотен до нескольких десятков человек (Горлов, Безрученко 1991: 37). В связи с последним тезисом уместно будет поставить вопрос о том, сколько же домов должен насчитывать город, если его общее население составляет, скажем, 50-100 человек. Своеобразный ответ на этот вопрос можно найти в работе А.А.Масленникова, посвященной результатам изучения Зенонова Херсонеса (поселение на азовском побережье Керченского полуострова). Описывая ранний этап его истории, автор заключает, что площадь поселения тогда составляла 0.3-0.4 га, а население могло составлять 100-120 человек. Если средняя греческая семья состояла из 4-6 человек взрослых и детей, то получается, что в этом городе одновременно обитало около 15-18 семей, а скорее всего, и того меньше (Масленников 1992: 136). Такой боспорский город трудно назвать даже “малым”, и автор находит для него наиболее подходящее определение — “крохотный” (Масленников 1992: 138). Дефиниция, конечно, не научная, но сам факт ее появления заставляет задуматься над вопросом об отличии “крохотного” городка от средних размеров деревни.

Приведенные факты, на мой взгляд, показательны в нескольких отношениях. Прежде всего, они демонстрируют явную неразработанность проблемы древнегреческого города в районе Боспора Киммерийского, отсутствие четких критериев, базирующихся на анализе письменной традиции и всей совокупности археологических данных, для вычленения городских центров. Вероятно, будет необходимо разработать более четкие, более реалистические количественные критерии, ибо город с населением в 100 человек представляется чем-то почти невероятным. Это казалось невероятным и в древности. В качестве примера можно указать, что Филипп Македонский расселил фокейцев по деревням, которые должны были иметь не более 50 домов (Diod. 16. 60,2), а значит, имелись и более крупные поселения такого рода. По свидетельству Павсания, 60 человек ютились в развалинах города Марпесса (10. 12,2), а Ледонт, в котором сохранилось 70 жителей, городом уже не считался (10. 33,1). Любопытно правда, что полисом он, как и Панопея, по всей видимости, был и имел право посылать своего представителя на общее собрание фокейцев.

При теоретическом осмыслении таких поселений, вероятно, уместнее будет употреблять не устоявшиеся общеисторические понятия, а более специальные термины типа "урбанистической структуры" или предложенного Ю.В.Андреевым "квазигорода" (Андреев 1987: 7 сл.; он же 1989: 12). В отношении количественных критериев можно указать на разработку В.М.Отрешко и С.Б.Буйских, которые считают, что малые города Ольвийского государства первых веков н.э. имели население 1000-1500 человек (1989: 110).

С другой стороны, даже пример с Зеноновым Херсонесом демонстрирует один важный факт, о котором уже говорилось выше: боспорские поселения, пусть первоначально весьма небольшие и примитивные по структуре, могли разрастаться и со временем превращаться в городки и города, во всяком случае, по своим внешним признакам. Но чем они являлись по своей сущности, какие функции выполняли в системе социально-экономических связей района, пока еще остается не вполне ясным. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, который представляется принципиально важным, можно даже сказать — фундаментальным, необходимо обратиться к результатам археологического изучения этих городов, хотя сразу необходимо подчеркнуть, что изучены они отнюдь не в равной степени. Несмотря на все это, своеобразие "малых городов" Боспора даже на имеющихся материалах выявляется достаточно рельефно.

Прежде всего, о малых городах как о центрах ремесленного производства нам почти ничего не известно. Несколько эллинистических литейных форм из Мирмекия (Пругло 1965: 72 сл.), обломки матриц для изготовления "мегарских чаш" (Гайдукевич 1958: 209, рис.66; он же 1959: 78, рис. 85; Гайдукевич, Михайловский 1961: 131, рис.3), а также штамп из Тиритаки для изготовления бляшек (Гайдукевич 1940: 298 сл.) не дают оснований для слишком большого оптимизма в этом вопросе. Материалы о ремесленном производстве в полисных центрах, начиная с самых ранних этапов их развития, напротив, известны сравнительно неплохо. Мастерская VI в. до н.э. по производству расписной керамики открыта в Нимфее (Скуднова 1957: 73 сл.; Худяк 1962: 45). Аналогичная мастерская известна в Пантикапее (Марченко 1967: 146 сл.), в этом же центре производилась и простая керамика (Кругликова 1957: 96 сл.). Кроме того, в Пантикапее открыта металлообрабатывающая мастерская VI в. до н.э. и мастерская оружейника (Марченко 1957: 160 сл.; она же. 1971: 146 сл.), имеются данные о художественной обработке металла (Трейстер 1984: 156). Весьма любопытна находка литейной формы конца VI в. до н.э. для изготовления предметов в скифском зверином стиле (Марченко 1962: 51 сл.), в которой, вероятно, отливались детали парадных скифских мечей (Трейстер 1992: 74-75). Несмотря на некоторое отставание от Ольвии в плане развития бронзолитейного производства (Блаватский 1959:50) — к примеру, там открыто уже около ста литейных форм (см. Фурманська 1963; Лейпуньска 1984; Денисова 1994:78), то есть значительно больше, чем на Боспоре, — следует согласиться с М.Ю.Трейстером, который считает, что бронзолитейное производство Пантикапея переживало расцвет во второй половине VI — начале V вв. до н.э. (1992: 73).

Особое значение Пантикапея и Нимфея на европейском Боспоре в плане развития ремесла в VI-V вв. до н.э. на основании приведенных фактов представляется вполне очевидным. На азиатской стороне столь же явно выделяется Фанагория. С конца VI в. до н.э. здесь фиксируется производство простой расписной керамики и терракот (Цветаева 1972: 21 сл.; Долгоруков 1990: 34), с V в. до н.э. — архитектурной терракоты (Сорокина 1956: 171 сл.). На городище к тому же открыты остатки мастерской конца VI — первой половине V вв. до н.э. с бронзолитейной печью. В этой мастерской наряду с другими материалами был найден обломок глиняной формы для отливки бронзовой скульптуры (Долгоруков 1986: 145 сл.).

Если говорить о культовой жизни боспорских городов, то наиболее информативные материалы по этому вопросу, как известно, открыты при раскопках Нимфея, где был исследован целый комплекс святилищ (Худяк 1952: 232 сл.; он же. 1958: 83 сл.; он же. 1962: 18 сл., 36 сл.). Совсем недавно здесь к тому же было обнаружено скопление архитектурных деталей ионического ордера, относящихся, как считает О.Ю.Соколова, к храму в антах, который был построен в Нимфее во второй половине V в. до н.э. (Соколова 1997: 143 сл.).

О монументальных культовых постройках Пантикапея прежде всего можно судить по архитектурным остаткам. В первую очередь, это храм Аполлона Врача, возведенный в первой половине V в. до н.э., и святилище Деметры (Пичикян 1984: 156 сл., 173 сл.). Есть основание предполагать существование здесь храма Артемиды Эфесской (Розанова 1960: 132; Трейстер 1990: 41). Находка капители ионического ордера в Гермонассе, датировку которой трудно отодвигать за рубеж VI-V вв. до н.э. (Арзаманов 1989: 53), позволяет предполагать, что монументальное здание здесь было построено еще раньше, чем храм Аполлона в Пантикапее.

В Фанагории были изучены остатки храма в антах, относящегося к V в. до н.э., в котором, вероятно, почиталась Афродита (Кобылина 1983: 56 сл.). В Кепах остатков ранних храмов не открыто, но весьма вероятно, что они существовали. Во всяком случае, археологические материалы, прежде всего, граффити указывают на широкое почитание здесь Афродиты начиная с VI в. до н.э. (Сокольский 1973: 86 сл.).

Материалы малых боспорских городов, свидетельствующие об их культовой жизни VI-V вв. до н.э., гораздо менее представительны. Конечно, и в них имелись святилища отдельных божеств. Так, в отношении Мирмекия есть основания предполагать, что здесь уже в первой половине V в. до н.э. существовал священный участок, где почитались Аполлон Врач, Геракл, нимфа и, может быть, другие божества (Виноградов, Тохтасьев 1998: 25, 36). Однако наиболее показательными культовыми памятниками здесь являются так называемые зольники, которые исследовались в Мирмекии и Китее (Гайдукевич 1965: 28 сл.; он же. 1987: 65 сл.; Молева 1995: 42 сл.). Почитание этих любопытных памятников, вероятно, в определенной степени было связано с религиозными представлениями местного варварского населения (Денисова 1981: 111; Виноградов Ю.А. 1992: 110-113).

Резюмируя изложенное, необходимо подчеркнуть, что в районе Боспора Киммерийского, наиболее сложном для изучения греческой колонизации и греческих городов Северного Причерноморья, городами были отнюдь не все известные в научной литературе поселения городского типа. Городами в полном смысле этого слова, всего скорей, следует считать лишь названные выше 6-7 полисных центров, а остальные так называемые “малые города” представляли собой своеобразную систему организации сельской территории (хоры) этих полисов. Такая система, по всей видимости, сложилась как ответ на своеобразную демографическую ситуацию района, связанную с периодическими передвижениями через пролив какой-то части скифской кочевой орды, а также близостью к Боспору такого опасного соседа, как Предкавказская Скифия. В этой ситуации безопасней было селиться сравнительно крупными коллективами в местах, удобных для обороны, на небольшом расстоянии друг от друга. Эти первые поселения на хоре полисов со временем превратились в своего рода аграрные городки (Виноградов Ю.А. 1993: 94; он же 1995: 68; Tsetskhladze 1997: 72, 81).

В других районах греческой колонизации северного берега Понта картина рисуется не столь запутанной по одной причине, — здесь просто было выведено меньшее число колоний. От этого проблема развития колониальных полисов и греческих городов в ее внутреннем, сущностном выражении, разумеется, представляется не менее сложной, и данная работа, конечно, ни в коей мере не может претендовать на сколько-нибудь полное, систематическое раскрытие этой грандиозной темы. Задача ее скромней: продемонстрировать те аспекты проблемы, которые представляются актуальными, важными в настоящее время, в разработку которых может внести вклад наука сегодняшнего дня.

ЛИТЕРАТУРА

Алексеева Е.М. 1991. Греческая колонизация Северо-Западного Кавказа. Москва: Наука

Андреев Ю.В. 1976. Раннегреческий полис. Л.: Изд. ЛГУ

Андреев Ю.В. 1987. Ранние формы урбанизации // ВДИ 1: 3-18

Андреев Ю.В. 1989. Островные поселения эгейского мира в эпоху бронзы. Ленинград: Наука.

Андреев Ю.В. 1989а. Гражданская община и государство в античности // ВДИ 4: 71-74

Андреев Ю.В. 1998. Цена свободы и гармонии. СПб.: Алетейа.

Анохин В.А. 1986. Монетное дело Боспора. Киев: Наукова думка

Арзаманов Г.Ф. 1989. Архаическая капитель из Тамани // ВДИ 4: 49-54

Блаватский В.Д. 1954. Архаический Боспор // МИА СССР 33: 7-44

Блаватский В.Д. 1957. Строительное дело Пантикапея по данным раскопок 1945-1949 и 1952-1953 гг. // МИА СССР 56: 5-95

Блаватский В.Д. 1959. О боспорском ремесле VI-I вв. до н.э.// СА 29-30: 42-57

Блаватский В.Д. 1964. Пантикапей. Очерк истории столицы Боспора. Москва: Наука

Блаватский В.Д., Кошеленко Г.А., Кругликова И.Т. 1979. Полис и миграции греков // Проблемы греческой колонизации Северного и Восточного Причерноморья: 7-29. Тбилиси

Болтунова А.И. 1964. Проксенический декрет из Анапы и некоторые вопросы истории Боспора // ВДИ 3: 136-149

Брашинский И.Б., Щеглов А.Н. 1979. Некоторые проблемы греческой колонизации Северного и Восточного Причерноморья // Проблемы греческой колонизации Северного и Восточного Причерноморья: 29-46. Тбилиси

Буркерт В. 1990. Аполлон Дидим и Ольвия // ВДИ 2: 155-160

Вернан Ж.-П. 1988. Происхождение древнегреческой мысли. Москва: Прогресс

Виноградов Ю.А. 1992. Мирмекий // Очерки археологии и истории Боспора: 99-120. Москва: Наука

Виноградов Ю.А. 1993. К проблеме полисов в районе Боспора Киммерийского // Античный мир и археология. Вып. 9: 79-96. Саратов

Виноградов Ю.А. 1995. О полисах в районе Боспора Киммерийского // Античные полисы и местное население Причерноморья: 65-69. Севастополь

Виноградов Ю.А. 1995а. Некоторые дискуссионные проблемы греческой колонизации Боспора Киммерийского // ВДИ 3: 152-160

Виноградов Ю.А., Марченко К.К. 1991. Северное Причерноморье в скифскую эпоху. Опыт периодизации истории // СА 1: 145-155

Виноградов Ю.А., Рогов Е.Я. 1997. Некоторые закономерности становления и развития греческих государств в Северном Причерноморье // Stratum+. Петербургский археологический вестник: 66-72. СПб., Кишинев

Виноградов Ю.А., Тохтасьев С.Р. 1998. Новые посвятительные граффити из Мирмекия // Hyperboreus.

Vol.4. Fasc. 1: 22-47 (St.-Petersburg)
Виноградов Ю.Г. 1976. О политическом единстве Березани и Ольвии // Художественная культура и археология античного мира: 75-84. Москва: Наука
Виноградов Ю.Г. 1989. Политическая история Ольвийского полиса VII-I вв. до н.э. Москва: Наука
Виноградов Ю.Г., Доманский Я.В., Марченко К.К. 1990. Сопоставительный анализ письменных и археологических источников по проблеме ранней истории Северо-Западного Причерноморья // Причерноморье в VII-V вв. до н.э.: 75-98. Тбилиси
Гайдукевич В.Ф. 1940. Находка античного бронзового штампа в Тиритаке // СА 6: 298-301
Гайдукевич В.Ф. 1941. Археологическое изучение Мирмекия // МИА СССР 4: 96-109
Гайдукевич В.Ф. 1949. Боспорское царство. Ленинград — Москва.
Гайдукевич В.Ф. 1958. Раскопки Тиритаки и Мирмекия в 1946-1952 гг. // МИА СССР 85: 149-218
Гайдукевич В.Ф. 1959. Мирмекий. Варшава
Гайдукевич В.Ф. 1965. Мирмекийские зольники-эсхары // КСИА 103: 28-37
Гайдукевич В.Ф. 1987. Античные города Боспора. Мирмекий. Ленинград: Наука
Гайдукевич В.Ф., Михайловский К. 1961. Мирмекий в свете советско-польских исследований 1956-1958 гг. // Исследования по археологии СССР: 127-138. Ленинград
Горлов Ю.В. 1990. Эллинистический Родос // Эллинизм: экономика, политика, культура: 186-222
Горлов Ю.В., Безрученко И.М. 1991. Малые города Боспора (к постановке проблемы) // Проблемы истории Крыма. Тез. докл. конф. 1: 36-38. Симферополь
Грацианская Л.И. 1988. “География” Страбона. Проблемы источниковедения // Древнейшие государства на территории СССР. 1986: 6-175. Москва: Наука
Грач Н.Л. 1972. К находке синдской монеты в Мирмекии // ВДИ 3: 133-141
Денисова В.И. 1981. Коропластика Боспора. Ленинград: Наука
Денисова В.И. 1994. Литейная форма мастера Гигесия из Ольвии // АВ. № 3: 78-87
Долгоруков В.С. 1986. Литейная форма из Фанагории // Проблемы античной культуры: 145-149. Москва: Наука
Долгоруков В.С. 1990. Некоторые вопросы истории и топографии ранней Фанагории // КСИА 197: 30-37
Доманский Я.В. 1965. О начальном периоде существования греческих городов Северного Причерноморья // АСГЭ 7: 116-141
Доманский Я.В. 1970. Заметки о характере торговых связей греков с туземным миром Северного Причерноморья в VII в. до н.э. // АСГЭ 12: 47-53
Завойкин А.А. 1998. Синдская Гавань (Синд) — Горгиппия // ВДИ 3: 134-145
Зубарь В.М. 1993. Херсонес Таврический в античную эпоху (экономика и социальные отношения). Киев: Наукова думка
Зубарь В.М.1997. Херсонес Таврический. Основные этапы исторического развития в античную эпоху. Киев: Наукова думка
Зубар В.М. 1998. З приводу інтерпретації житлово-господарських комплексів в ранніх шарах античних міст Північного Причорномор’я // Археологія 1: 129-136
Карасев А.Н. 1955. Архитектура // Античные города Северного Причерноморья: 188-214. Москва-Ленинград
Кобылина М.М. 1983. Страницы ранней истории Фанагории // СА 2: 51-61
Козловская В.И. 1984. Греческая колонизация Западного Средиземноморья в современной зарубежной историографии. Москва.
Козуб Ю.И. 1979. Предместье Ольвии // Проблемы античной истории и культуры 2: 316-325. Ереван
Колобова К.М. 1951. Из истории раннегреческого общества (о. Родос IX-VII вв. до н.э.). Ленинград: изд. ЛГУ.
Кошеленко Г.А. 1979. Греческий полис на эллинистическом Востоке. Москва: Наука
Кошеленко Г.А. 1983. Введение. Древнегреческий полис // Античная Греция I: 9-36. Москва: Наука
Кошеленко Г.А. 1983а. Полис и проблема развития экономики // Античная Греция I: 217-246. М.
Кругликова И.Т. 1957. Ремесленное производство простой керамики в Пантикапее VI-III вв. до н.э. // МИА СССР 56: 96-138
Крыжицкий С.Д. 1982. Жилые дома античных государств Северного Причерноморья. Киев: Наукова думка
Крыжицкий С.Д. 1987. Основные этапы развития // Культура населения Ольвии и ее округи в архаическое время: 5-8. Киев: Наукова думка
Крижицький С.Д. 1989. До історії колонізації Нижнього Побужжя // Археологія 3: 40-50
Крыжицкий С.Д. 1993. Архитектура античных государств Северного Причерноморья. Киев: Наукова думка
Крижицький С.Д., Буйских С.Б. 1988. Структура архаічного поселення Нижнього Побужжя // Археологія 63: 1-8
Крыжицкий С.Д., Отрешко В.М. 1986. К проблеме формирования Ольвийского полиса // Ольвия и ее округа: 3-17. Киев: Наукова думка
Кузнецов В.Д. 1995. Ранние типы греческих жилищ в Северном Причерноморье // Боспорский сборник 6: 99-126. Москва
Кутайсов В.А. 1990. Античный город Керкинитида VI-II вв. до н.э. Киев: Наукова думка
Кутайсов В.А. 1992. Керкинитида. Симферополь
Лапин В.В. 1966. Греческая колонизация Северного Причерноморья. Киев: Наукова думка
Латышев В.В. 1909. Краткий очерк истории Боспорского царства // Латышев В.В. ΠΟΝΤΙΚΑ: 60-128. СПб.
Лейпунська Н.О. 1984. Ливарні форми з Ольвії // Археологія. 45: 68-74
Максимова М.И. 1956. Античные города Юго-Восточного Причерноморья. Москва-Ленинград
Марченко И.Д. 1957. Материалы по металлообработке и металлургии Пантикапея // МИА СССР 56: 160-173
Марченко И.Д. 1962. Литейная форма конца VI в. до н.э. из Пантикапея // КСИА 89: 51-53
Марченко И.Д. 1967. Местная расписная керамика Пантикапея VI-V вв. до н.э. // СА 2: 146-154
Марченко И.Д. 1971. Позднеархаическая мастерская оружейника в Пантикапее // СА 2: 146-156
Марченко К.К. 1994. “Стихийная линия” греческой колонизации или к вопросу о характере и путях формирования сельского населения Северо-Западного Причерноморья позднеархаического периода // ВДИ 4: 92-99
Масленников А.А. 1992. Зенонов Херсонес — город на Меотиде // Очерки археологии и истории Боспора: 120-173. Москва: Наука
Молев Е.А. 1997. Политическая история Боспора VI-

IV вв. до н.э. Нижний Новгород: Изд. Нижегородского университета
Молева Н.В. 1995. Китейское святилище // Ритуал и ритуальный предмет: 42-48. Санкт-Петербург
Онайко Н.А. 1980. Архаический Торик. Античный город Северо-Восточного Понта. Москва: Наука
Отрешко В.М., Буйских С.Б. 1989. Малые города Ольвийского государства // Проблемы скифо-сарматской археологии. Тез. докл. конф., посвященной 90-летию со дня рождения Б.Н.Гракова. I: 110. Запорожье
Пичикян И.Р. 1984. Малая Азия — Северное Причерноморье. Античные традиции и влияния. Москва: Наука
Пругло В.И. 1965. Литейная форма из Мирмекия // КСИА 103: 104-107
Рогов Е.Я. 1996. Экология Западного Крыма в античное время // ВДИ 1: 70-84
Розанова Н.П. 1960. Посвятительная надпись Артемиды Эфесской, найденная в Пантикапее в 1949 году // ВДИ 3: 130-132
Рубан В.В. 1977. Некоторые аспекты изучения процесса формирования античных городов Северо-Западного Причерноморья // Древние города. Материалы к Всесоюзной конференции "Культура Средней Азии и Казахстана в эпоху раннего средневековья": 42-44. Ленинград
Русяева А.С. 1986. Милет-Дидимы-Борисфен-Ольвия. Проблемы колонизации Нижнего Побужья // ВДИ 2: 25-64
Русяева А.С. 1987. Эпиграфические памятники // Культура населения Ольвии и ее округи в архаическое время: 134-154. Киев
Русяева А.С. 1991. Исследования западного темеоса Ольвии // ВДИ 4: 123-138
Русяева А.С. 1994. Основные черты и особенности культурно-исторического развития Нижнего Побужья в период колонизации // ВДИ 4: 99-106
Русяева А.С. 1998. К вопросу об основании ионийцами Ольвии // ВДИ 1: 160-170
Свенцицкая И.С. 1960. Земельные владения эллинистических полисов Малой Азии // ВДИ 3: 89-104
Сидорова Н.А. 1962. Архаическая керамика из Пантикапея // МИА СССР 103: 94-148
Скуднова В.М. 1954. Скифские памятники из Нимфея // СА 21: 306-318
Скуднова В.М. 1957. Местная расписная керамика Нимфея VI в. до н.э. // КСИА АН УССР 7: 73-75
Соколова О.Ю. 1997. Новые находки из Нимфея // Боспор и античный мир: 143-147. Нижний Новгород
Сокольский Н.И. 1973. Культ Афродиты в Кепах конца VI-V вв. до н.э. // ВДИ 4: 88-92
Соловьев С.Л. 1993. О формировании городской и полисной структуры Березанского поселения // ПАВ 3: 30-43
Соловьев С.Л. 1994. Новые аспекты истории и археологии античной Березани // ПАВ 8: 85-95
Соловьев С.Л. 1995. Периодизация жилого строительства античной Березани // АВ 4: 153-163. СПб.
Сорокина Н.П. 1956. Архитектурная терракота из Фанагории // МИА СССР 57: 171-175
Толстиков В.П. 1989. Некоторые пути изучения центральной части Пантикапея и проблема эллино-скифских отношений в VI-V вв. до н.э. // Скифия и Боспор. Археологические материалы к конференции памяти М.И.Ростовцева: 59-60. Новочеркасск
Толстиков В.П. 1992. Пантикапей — столица Боспора // Очерки археологии и истории Боспора: 45-99. Москва: Наука
Тохтасьев С.Р. 1984. Scythica в "Трудах II Всесоюзного симпозиума по древней истории Причерноморья" (Цхалтубо, 1979) // ВДИ 3: 133-143
Трейстер М.Ю. 1984. Новые данные о художественной обработке металла на Боспоре // ВДИ 1: 146-160
Трейстер М.Ю. 1990. Древнейший предмет этрусского производства в Северном Причерноморье и некоторые проблемы ранней истории Пантикапея // КСИА 197: 37-44
Трейстер М.Ю. 1992. Бронзолитейное ремесло Боспора // Сообщения Гос. Музея изобразительных искусств 10: 66-110. Москва
Фролов Э.Д. 1988. Рождение греческого полиса. Ленинград: Изд. ЛГУ.
Фурманська А.І. 1963. Бронзоливарне ремесло в Ольвії // Археологія 15: 61-70
Худяк М.М. 1952. Раскопки святилища Нимфея // СА 16: 232-281
Худяк М.М. 1958. Два святилища на акрополе Нимфея // Труды Гос. Эрмитажа 2: 83-93
Худяк М.М. 1962. Из истории Нимфея. Ленинград
Цветаева Г.А. 1972. Производство расписной керамики в Фанагории в VI-V вв. до н.э. // КСИА 130: 21-23
Циркин Ю.Б. 1981. Массалия и окружающее население // Демографическая ситуация в Причерноморье в период Великой Греческой Колонизации: 42-50. Тбилиси
Шелов Д.Б. 1956. Монетное дело Боспора в VI-II вв. до н.э. Москва
Шелов Д.Б. 1981. Синды и Синдика в эпоху греческой колонизации // Демографическая ситуация в Причерноморье в эпоху Великой греческой колонизации: 232-247. Тбилиси
Шелов Д.Б. 1994. Проблемы греко-варварских контактов в эпоху греческой колонизации Северного Причерноморья // ВДИ 2: 100-106
Шелов-Коведяев Ф.В. 1985. История Боспора в VI-V вв. до н.э. // Древнейшие государства на территории СССР, 1984: 5-187. Москва: Наука
Шургая И.Г. 1977. Динамика исторического развития боспорских городов // Древние города. Материалы к Всесоюзной конференции "Культура Средней Азии и Казахстана в эпоху раннего средневековья": 37-39. Ленинград
Щеглов А.Н. 1976. Полис и хора. Симферополь
Щеглов А.Н. 1978. Северо-Западный Крым в античную эпоху. Ленинград: Наука
Яйленко В.П. 1982. Греческая колонизация VII-III вв. до н.э. Москва: Наука
Яйленко В.П. 1990. Архаическая Греция и Ближний Восток. Москва: Наука
Alcock S.E. 1995. Pausanias and the Polis: Use and Abuse // Sources for the Ancient Greek City-State. Acts of the Copenhagen Polis Centre. Vol. 2: 326-344. Copenhagen
Butjagin A.M. 1997. Archaic Dug-outs at Nymphaion // Archeologia. XLVIII: 61-70. Warszawa
Di Vita A. 1996. Urban Planning in Ancient Sicily // The Western greeks. Classical Civilization in the Western Mediterranean: 263-308. Thames and Hudson
Dunbabin T.J. 1948. The Western Greeks. Oxford. 504 p.
Fischer-Hansen T. 1996. The Earliest Town-Planning of the Western Greek Colonies, with special regard to Sicily // Introduction to an Inventory of Poleis. Acts of Copenhagen Polis Centre. Vol. 3: 318-332. Copenhagen
Flensted-Jensen P., Hansen M.H. 1996. Pseudo-Skylax' Use of the Term Polis // More Studies in the Ancient

Greek Polis: 137-167. Stuttgart
Fraser P.M. 1995. Citizens, Demesmen and Metics in Athens and Elsewhere // Soucers for the Ancient Greek City-State. Acts of the Copenhagen Polis Centre. Vol. 2: 64-90. Copenhagen
Fraser P.M., Bean G.E. 1954. The Rodian Perea and Islands. Oxford
Gajdukevic V.F. 1971. Das Bosporanische Reich. Berlin
Graham A.J. 1964. Colony and Mother City in Ancient Greece. Manchester
Greco E. 1996. City and Countryside // The Western Greeks. Classical Civilizaton in the Western Mediterranean: 233-242. Thames and Hudson
Hammond M. 1972. The City in the Ancient World. Cambridge
Hansen M.H. 1993. The Polis as a Citizen-State // The Ancient Greek City-State. Acts of the Copenhagen Polis Centre. Vol. I: 7-29. Copenhagen
Hansen M.H. 1995. Kome. A Study of How the Greeks Designated and Classified Settlements which were not Poleis // Studies in the Ancient Greek Pols: 45-81. Stuttgart
Hansen M.H. 1996. ΠΟΛΛΑΧΩΣ ΠΟΛΙΣ ΛΕΓΕΤΑΙ (Arist. Pol. 1276a 23). The Copenhagen Inventory of Poleis and the Lex Hafniensis de Civitate // Introduction to an Inventory of Poleis. Acts of the Copenhagen Polis Centre. Vol. 3: 7-72. Copenhagen
Hansen M.H. 1996a. City-Ethnics as Evidence for Polis Identity // More Studies in the Ancient Greek Polis: 169-196. Stuttgart
Kolb F. 1984. Die Stadt im Altertum. München
Martin T.R. 1995. Coins, Mints and the Polis // Sources for the Ancient Greek City-State. Acts of the Copenhagen Polis Centre. Vol. 2: 257-291. Copenhagen
Mertens D., Greco E. 1996. Urban Planning in Magna Graecia // The Western Greeks. Classical Civilization in the Western Mediterranean: 243-262. Thames and Hudson
Murray O. 1982. Das frühe Griechenland. München
Noonan T.S. 1973. The origins of the Greek colony at Panticapeum // American Journal of Archaeology 77: 77-81
Rubinstein L. 1995. Pausanias as a Source for the Classical Greek Polis // Studies in the Ancient Greek Polis: 211-219. Stuttgart
Schoeffer. 1903. Demoi // RE. V.9: 1-131
Snodgrass A. 1981. Archaic Greece. The Age of Experiment. Berkley and Los Angeles
Snodgrass A. 1986. Interaction by design: the Greek city-state // Peer polity interaction and socio-political change: 47-58. Cambridge
Tsetskhladze G.R. 1997. A Survey of the major urban Settlements in the Kimmerian Bosporos (With a Discussion of their Status as Poleis) // Yet More Studies in the Ancient Greek Polis: 39-81. Stuttgart
Vallet G., Villard F., Auberson P. 1976. Mégara Hyblaea. I. Le quartier de l'agora archażque. Ecole française de Rome.
Ward-Perkins J.B. 1974. Cities of Ancient Greece and Italy: planning in classical antiquity. New York
Woodhead A.G. 1962. The Greeks in the West. London.

Рогов Е.Я.

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ХЕРСОНЕССКОГО ГОСУДАРСТВА

Rogov E.I. Some problems of foundation and development of the Chersonesus state.

The article is dedicated to the Greek colonization of the North-Western part of the Crimea. A number of rather important and disputable questions is being thoroughly analyzed: the date of foundation of Chersonesus, the interpretation of the settlement on the peninsula of Maiachni, attribution and dating of curled up burials of the Chersonesus necropolis, the participation of Olbia in the colonization of the North-West of the Crimea, political inter-relations of Scythians of Chersonesus and Kerkinitide. A wide use of initial records, historiography of the end of the XIX – beginning of the XX c. And of the newest one, and also a critical approach to the traditional points of view makes the work extremely interesting and topical.

Существующие ныне представления о процессе и характере заселения эллинами Юго-Западного Крыма полностью находятся в рамках т.н. дорийской модели колонизации (Щеглов 1986; 1994; Виноградов, Щеглов 1990). Суть модели сводится к насильственному внедрению дорийских колонистов на какую-либо территорию, захвату земель, занятых местными жителями, и обязательному подчинению последних с установлением одной из форм зависимости от гражданской общины.[1]

Спору нет, многочисленные примеры внедрения дорийских гражданских коллективов в среду местных жителей и их взаимоотношения демонстрируют, за редким исключением, именно такой путь освоения новых территорий (см., например: Виноградов, Щеглов 1990).Однако при этом следует иметь в виду, что сама схема или модель дорийской колонизации могла возникнуть и возникла исключительно из анализа письменных источников, но на археологическом материале еще ни разу не была продемонстрирована. Не опираясь на конкретный археологический материал, модель, естественно, не учитывает особенностей становления и развития дорийских общин на новых территориях.

С другой стороны, существует опасность и другого рода: модель изначально может задавать направление в осмыслении и интерпретации археологических материалов, которые «подгоняются» под готовую историческую конструкцию, лишь ее иллюстрируя. При этом неизбежно факты оказываются упрощенными, противоречия между ними сглаживаются или не учитываются вовсе.

Добавим к этому также и то, что целый ряд пассажей, содержащихся в письменных источниках и положенных в основу модели, не может быть интерпретирован однозначно, и это естественным образом приводит исследователей к различным выводам (ср.: Фролов 1981; Свенцицкая 1967; Сапрыкин 1986: 30-35). Важно при этом подчеркнуть, что все эти сведения не относятся к деятельности дорийцев в Юго-Западном Крыму и могут привлекаться в качестве аналогий лишь с известными оговорками.

Попытаемся взглянуть на ход колонизационной деятельности эллинов в этом районе Крымского полуострова, не ограничиваясь рамками моделей.

Среди современных исследователей менее всего вызывает сомнений вопрос о времени основания Херсонеса. Согласно гипотезе А.И.Тюменева, развившейся из замечания немецкого ученого Г.Шнайдервирта, событие это скорей всего могло случиться в 422/421 г. до н.э. (Schneiderwirth 1887: 5; Тюменев 1938). Предложенная дата получила признание в отечественной и зарубежной историографии, хотя никогда и не подвергалась критике. Между тем, несмотря на всеобщее признание, основание города Херсонеса в последней четверти V в. до н.э. остается все же гипотезой (Щеглов 1976: 13). При этом невозможно не замечать резкого противоречия между гипотезой, сформулированной исключительно на исторических источниках, и реальной ситуацией, опирающейся на источники археологические, материальные, согласно которым ни в самом Херсонесе, ни в его округе

[1] О дорийской модели см.: дискуссия на симпозиуме «Демографическая ситуация в Причерноморье в период Великой греческой колонизации» // «Демографическая ситуация в Причерноморье в период Великой греческой колонизации». Тбилиси 1981: 273-291; Щеглов 1986: 174-176; Виноградов, Щеглов 1990: 369 сл.; Фролов 1981: 29. Библ.

© Рогов Е.Я., 1999.

в последней четверти V в. до н.э., равно как и в начале IV в. до н.э. не происходит никаких существенных изменений, свидетельствующих о прибытии переселенцев и основании ими города. По сути дела, приходится допускать, что город, основанный гераклеотами и делосцами для освоения (как показывает его дальнейшая история) Юго-Западной Таврики, почти половину столетия не имел своей сельскохозяйственной территории.

До недавнего времени дискуссионным оставался вопрос о существовании на месте дорийского Херсонеса более раннего поселения. Наличие в культурных слоях города материалов более ранних, чем последняя четверть V в. до н.э., заставляло предполагать существование на берегу Карантинной бухты раннего ионийского поселения — фактории или морской станции (Ростовцев 1918: 89; Гриневич 1927: 21), торговой фактории (Блаватский 1949: 145; Жебелев 1953: 77, 80) или временной якорной стоянки (Стржелецкий 1959: 68; Зедгенидзе 1979: 30).

Исследования в восточной части Херсонесского городища, проводившиеся в последние десятилетия (Золотарев 1986; 1986а; 1988), а также ревизия и анализ ранних материалов некрополя Херсонеса (Монахов, Абросимов 1993) ставят существование раннего поселения на месте дорийского Херсонеса на твердую почву неоспоримых фактов.

Иное дело, что по-прежнему во многом загадочным остается облик этого поселения, его структура и основные функции. Лакуну в наших знаниях не заполняет анализ серии остраконов, изготовленных из обломков амфорной и черлаковой керамики, датируемых издателями V в. до н.э. (Виноградов, Золотарев 1990). Предполагается, что поселение на берегу Карантинной бухты было основано в конце VI в. до н.э. гераклеотами совместно с ионийцами и с самого начала полис имел все необходимые полисные структуры (Золотарев 1995).

Тем не менее остается целый ряд неясных вопросов, среди которых на первое место мы должны поставить вопрос о том, почему же новый полис не получил развития, подобно Ольвии или Керкинитиде, а так и оставался в зачаточном состоянии на протяжении всего V в. до н.э., до тех пор, пока в него не вселилась новая волна колонистов из Гераклеи и Делоса. В отличие от упомянутых выше греческих городов Северного Причерноморья, этот полис на месте будущего Херсонеса находился в явно более благоприятных условиях — он не испытывал постоянного и мощного давления со стороны степных варваров.

Значительные изменения как в самом Херсонесе, так и во всем Юго-Западном Крыму наступают только в IV в. до н.э., уже после выведения сюда гераклеотами совместно с делосцами новой колонии.

О первых десятилетиях существования города данных почти нет. Возможно, что уже в первой четверти IV в. до н.э. Херсонес каким-то образом участвует на стороне Гераклеи в войне за Феодосию (Золотарев 1984: 82-92) или, по меньшей мере, служит опорным пунктом гераклеотов на крымском побережье (Сапрыкин 1986: 74, 83).

Судя по всему, Херсонес в это время занимал ту же территорию, что и более раннее дохерсонесское поселение — в северо-восточной части возвышенности, вытянутой с северо-запада на северо-восток. С юга возвышенность ограничивалась глубокой балкой или существовавшим в древности заливом Карантинной бухты (Бертье-Делагард 1907: 124. Табл.П), а с северо-запада и запада — обширной западиной, занятой некрополем, который в конце IV в. до н.э. был застроен жилыми кварталами. Таким образом, даже с прибытием новых поселенцев в последней четверти V в. до н.э. территория поселения не увеличилась.

К середине IV в. до н.э. город все еще занимал небольшую площадь: разные исследователи оценивают ее по-разному — от 10-11 гектаров (Беляев 1984: 49) до 15 (Стржелецкий 1959: 69) и даже 20 га (Щеглов 1976: 14). Несмотря на разницу в оценках, отметим, что границы города этого времени надежно фиксируются расположением погребений некрополя и местами керамических свалок (Беляев 1984 Табл.VII; Зедгенидзе 1979: 30-31).

Первые неоспоримые и наиболее ранние следы деятельности по устройству сельскохозяйственной территории фиксируются на Маячном полуострове в 9 км к юго-западу от Херсонесского городища. Это глубоко вдающийся в море трапециевидной формы полуостров, соединяющийся с материком (Гераклейским полуостровом) узким перешейком. Площадь Маячного полуострова в современном виде без учета прошедшей за тысячелетия абразии берега составляет около 380 га. Надо полагать, что в древности его площадь была несколько больше. По данным А.Н.Щеглова, она составляла не менее 470-480 га, которые были поделены на 110 наделов по 4,41 га каждый (Щеглов 1993: 33). На площади полуострова в начале нашего столетия Н.М.Печенкиным было зафиксировано около сотни мест, которые он считал развалинами усадеб (Печенкин 1911; ср. Стржелецкий 1961: 30-32).

Именно Маячный полуостров, размежеванный на наделы, и рассматривается обычно в качестве ранней сельской территории Херсонеса (Стржелецкий 1961: 157; Яйленко 1982: 127 и сл.; Сапрыкин 1986: 61; Щеглов 1986: 158-159).

От обрывистого морского побережья до верховий Казачьей бухты полуостров перегораживают две крепостные стены, расположенные почти параллельно друг другу. Наружная стена, обращенная в сторону Гераклейского полуост-

рова, толщиной 2,75 м, была укреплена 10-ю оборонительными башнями; внутренняя, более тонкая, толщиной 1,75 м, имела 12 башен, обращенных в сторону Маячного полуострова (Стржелецкий 1959: 72). По заключению такого знатока херсонесской фортификации, каким был .Л.Бертье-Делагард, кладка стен выполнена из некрупного штучного камня без раствора, «подобная древняя кладка нигде в Херсонесе не зафиксирована» (Бертье-Делагард 1907: 195).

Оборонительные стены отстоят друг от друга на расстояние 200-210 м, пространство, заключенное между ними (площадью около 18 га), было занято жилой застройкой, которая, однако, судя по шурфовке Н.М.Печенкина, отсутствовала в более возвышенной западной части (Печенкин 1911: Л.9).

Въезд на поселение был фланкирован оборонительными башнями. У одной из башен — первой со стороны моря — во время работ в 1890 году К.К.Косцюшко-Валюжиничем был открыт небольшой храм, посвященный Дионису (Стржелецкий 1948: 97-106).

Как размежевка площади Маячного полуострова, так и закладка крепостных стен были осуществлены единовременно, поскольку дороги, разделяющие наделы, непосредственно связаны с воротами внутренней крепостной стены (Стржелецкий 1961: 30). Таким образом, и наделы, и укрепление на перешейке составляли единую пространственную и строительную структуру (Виноградов, Щеглов 1990: 317; Щеглов 1993: 11).

Уже неоднократно отмечалось, что среди материалов Гераклейского полуострова наиболее ранняя группа связана с Маячным полуостровом (Стржелецкий 1961; Щеглов 1986: 160; 1981: 213). Анализ всей совокупности датирующих находок с территории Гераклейского полуострова, включая и материалы Маячного, предпринятый недавно Е.Я.Туровским, однозначно подтверждает эти наблюдения (Туровский 1995). Этим автором отмечается, что многочисленные фрагменты чернолаковых сосудов (отдельные экземпляры датируются еще первой четвертью IV в. до н.э.) составляют специфику памятников Маячного полуострова. Обломки чернолаковых сосудов второй и третьей четвертей IV в. до н.э. составляют уже массовый керамический материал. На остальной территории Гераклейского полуострова лишь единичные фрагменты чернолаковых сосудов могут быть датированы временем не ранее середины IV в. до н.э.; основной массив обломков сосудов этой категории датируется не раньше последней четверти IV в. до н.э. — первой трети III в. до н.э. (Туровский 1995).

Абсолютно адекватно эта картина отражена и в других категориях датирующих находок. Так, гераклейские клейма 2 и 3 групп, синопские клейма 1 и 2 групп, фасосские 1 группы встречены только на усадьбах Маячного полуострова, в то время как на остальной территории Гераклейского полуострова ни одного амфорного синопского клейма на ручках 1 и 2 групп не известно, фасосские клейма встречаются только 3 и 4 групп. И это при том, что усадьбы Гераклейского полуостров изучены намного лучше. Целый ряд типов ранних амфор — хиосские колпачковые, гераклейские, синопские, фасосские биконические, херсонесские типа 1-А-1 — не встречаются на усадьбах остальной территории Гераклейского полуострова, а известны только с территории Маячного.

Все это надежно обосновывает дату проведения работ по строительству укрепления на перешейке и размежевке наделов на Маячном полуострове — вторая четверть IV в. до н.э., возможно даже говорить о начале второй четверти IV в. до н.э. (Виноградов, Щеглов 1990: 317). Сравнительный анализ материала приводит к выводу, что усадьбы на Маячном полуострове возникают на 40-50 лет раньше, чем усадьбы на остальной территории Гераклейского полуострова (Туровский 1995: 80).

Место укрепления на перешейке Маячного полуострова довольно точно указано Страбоном (Strabo., VII,4,2), который называет его Старым Херсонесом, причём из контекста однозначно следует, что речь идёт именно о городе, древнем городе. Название, сохранившееся в пассаже географа, прочно вошло в археологическую. литературу — Старый, или Страбонов Херсонес.

Если географические сведения относительно укрепления на перешейке Маячного полуострова довольно точны и ясно его название, то все, что касается назначения поселения, его статуса, оставляет простор для самых разных предположений.

Исходя из того, что двойная линия крепостных стен защищала наделы, расположенные на Маячном полуострове, укрепление рассматривается как убежище для владельцев клеров на случай опасности (Сапрыкин 1986: 63; Жеребцов 1985). Одной из безымянных малых крепостей Херсонеса, упомянутых в херсонесской присяге (teich), считал Страбонов Херсонес Э.Р.Штерн (Штерн 1908: 40), против чего резонно и аргументированно возражал А.Л.Бертье-Делагард (Бертье-Делагард 1907: 190). После работ 1910-1911 гг. Н.М.Печенкин пришел к заключению, что Страбонов Херсонес — это военно-сельскохозяйственное поселение херсонесцев (Печенкин 1911: Л.15). Эту точку зрения в последнее время развивает А.Н.Щеглов (Щеглов 1986: 158; 1984.: 54-55). Страбонов Херсонес предлагается трактовать как первое военно-хозяйственное поселение херсонесцев, форпост, выдвинутый на западную оконечность Гераклейского полуострова с целью приобретения стратегической позиции для захвата всего Гераклейского полуострова, что, по мнению авто-

ра, и произошло около середины IV в. до н.э. (Виноградов, Щеглов 1990: 318, 320 и сл.). Что касается даты захвата полуострова, то, как мы видели выше, она не находит опоры в массовом керамическом материале. Напомним еще раз, что укрепление на перешейке Маячного полуострова — не просто безымянная крепостца, а совершенно определенно город, называемый Страбоном Херсонесом, хоть и лежащий в развалинах, а потому нет необходимости ставить его в один ряд с безымянными укреплениями. Ни с одним из них, хорошо известных в Северо-Западном Крыму и отождествляемых с teich херсонесской присяги,[2] у этого укрепления нет признаков типологического сходства. Это единственное, уникальное укрепление, выпадающее из ряда стандартизованных укрепленных поселений херсонесской хоры.

Теперь о стратегической позиции. Как на планах, так и на местности хорошо видно, что основное назначение укрепления на перешейке — это не только защита Маячного полуострова, но главным образом, того пространства, которое заключено между оборонительными стенами (Гайдукевич 1949а.: 142 и сл.). Трудно назвать стратегически выгодной для контроля за всем Гераклейским полуостровом позицию, если она располагается в самом западном, наиболее удаленном углу Гераклейского полуострова, откуда невозможно ни контролировать потенциального неприятеля, ни воспрепятствовать его передвижениям по изрезанному глубокими балками плоскогорью. Совсем не случайно, видимо, при сплошной размежевке Гераклейского полуострова в последней четверти IV в. до н.э. был избран совершенно иной способ защиты территории — строительство укрепленных усадеб, а не выдвижение форпостов.

Нельзя не присоединиться к замечанию А.Н.Щеглова и Ю.Г.Виноградова по поводу существующих точек зрения на характер и назначение укрепления на Маячном полуострове: ни одна из них «не в состоянии сколько-нибудь удовлетворительно объяснить ни необходимости организации специально защищенной хоры Херсонеса на значительном удалении от города, ни смысла строительства мощного укрепления в глубине (! — Е.Р.) Гераклейского полуострова» (Виноградов, Щеглов 1990: 317).

Действительно, устройство хоры города на таком от него удалении — случай в античной практике беспрецедентный. Если даже исходить из соображения о стремлении надежно защитить укреплением поля граждан от враждебных варваров (Щеглов 1986: 158), то наиболее уязвимым и беззащитным остается основной путь доставки продовольствия в город — девятикилометровая ничем не защищенная дорога из Страбонова Херсонеса в Херсонес. Несомненно, что для того, чтобы пойти на выделение горожанам участков земли на таком удалении от города, нужны были совершенно необычные, веские и серьезные причины. Между тем, даже такая важная причина, как боязнь соседних варваров, и та, как мы видели, критики не выдерживает.

Имеется и целый ряд других обстоятельств и противоречий.

Прежде всего, отметим достаточно продолжительный, а в рамках насыщенного событиями IV в. до н.э. и просто большой хронологический разрыв между возникновением наделов, укрепления на Маячном полуострове и началом размежевки и строительством усадеб на Гераклейском полуострове. Эти события отделены друг от друга почти половиной столетия. Уже само по себе это не позволяет их ставить в зависимость одно от другого, тем более рассматривать как последовательные элементы некоего грандиозного плана по захвату Гераклейского полуострова (ср.: Виноградов, Щеглов 1990: 320).

Заслуживает внимательного рассмотрения и сама возможность строительства херсонеситами укрепления на Маячном полуострове. Выше уже приводилось заключение А.Л.Бертье-Делагард о древности кладок Маячного укрепления, не имеющих аналогов в самом Херсонесе. И хотя подобные кладки в городе как будто имеются (Щеглов 1970: 173 и сл.), вопрос о наличии в Херсонесе оборонительных стен однозначно не решается. Отдельные фрагменты кладок, интерпретированные как остатки древнейшей оборонительной стены города, не только не указывают на единую оборонительную систему, но и не имеют твердых хронологических привязок. Таким образом, вопрос о наличии в начале IV в. до н.э. монументальных оборонительных сооружений в Херсонесе остается открытым.

Если и далее продолжить этот ряд сопоставлений, то следует обратить внимание на площади, занимаемые Херсонесом и Маячным укреплением. Площадь Страбонова Херсонеса, т.е. то, что было заключено между двумя оборонительными стенами, составляла не менее 18 га (Щеглов 1984: 54). Даже учитывая, что не все пространство было занято жилой застройкой, то и в этом случае площадь укрепления на Маячном полуострове вполне сопоставима с размерами самого Херсонеса первой половины IV в. до н.э.

Непросто понять, каким образом крошечный даже по меркам того времени полис, с явно ограниченными людскими ресурсами, мало заботясь о безопасности и благополучии собственного поселения, решился на возведение монументального укрепленного поселения городского типа на значительном от города расстоянии.

---

[2] Если исходить из трактовки этого термина, предложенной А.Н.Щегловым, то Страбонов Херсонес наряду с Калос Лименом, Керкинитидой и Херсонесом мог обозначаться этим термином (Щеглов 1978: 75-77).

Уже обращалось внимание (Щеглов 1975: 135; 1986: 157), что месторасположение Страбонова Херсонеса с редкой последовательностью сочетает в себе все необходимые требования к географической ситуации при выборе места для основания новой колонии: полуостровное положение, узкий перешеек, который удобно перегородить стеной, гавань и наличие плодородных земель. Что касается последнего условия, то заметим: именно Маячный полуостров отличается наиболее плодородными землями по сравнению со всем Гераклейским плато (Бабенчиков 1941).

Вряд ли можно что-либо существенное возразить против того, что все признаки поселения городского типа у Страбонова Херсонеса выражены достаточно отчетливо. Надо полагать, что именно это обстоятельство и заставляло исследователей, начиная с К.К.Косцюшко-Валюжинича, считать развалины на перешейке Маячного полуострова остатками города (Косцюшко-Валюжинич 1891: 61; Бертье-Делагард 1907: 177-201; Стржелецкий 1959: 71; Щеглов 1975: 137). Любопытно, но только такая трактовка этого поселения наилучшим образом объясняет многочисленные противоречия. Быть может, настало время вернуться к идее А.Л.Бертье-Делагарда об основании Херсонеса первоначально на перешейке Маячного полуострова (Бертье-Делагард 1886: 269-270; 1907: 180 сл.) и переносе его через несколько десятилетий на хорошо обжитое, как это теперь известно, место на берегу Карантинной бухты (Бертье-Делагард 1907: 200).[3]

Все еще актуальным остается и наблюдение о том, что в полном смысле Херсонесом, т.е. полуостровом, является именно Маячный полуостров, в то время как город на берегу Карантинной бухты располагается отнюдь не на полуострове (Бертье-Делагард 1907: 190).

Между тем, как бы мы ни рассматривали возникновение Херсонеса в Юго-Западной Таврике — сразу у Карантинной бухты или сначала на перешейке Маячного полуострова, — ясно, что не это определяет специфику колонизационного процесса района. Согласно дорийской модели колонизации, особенность ее лежит в области отношений с местными жителями: как и каким путем проходило внедрение и утверждение новых поселенцев. Существуют ли какие-либо данные на этот счет?

Еще до начала обустройства хоры города на Гераклейском полуострове, по гребню Сапун-горы, а также в Инкерманской и Балаклавской долинах возникает целая сеть варварских поселений, как бы окаймлявших Гераклейский полуостров со стороны гор (Савеля 1974: 238; 1975: 100-102). Судя по импортной керамике, этот процесс начинается не ранее второй четверти IV в. до н.э. (Савеля 1979: 172-179). Вполне естественным было связать этот процесс появления варварских поселений по кромке Гераклейского полуострова с какими-то мероприятиями херсонеситов по вытеснению варварского населения с самого Гераклейского полуострова (Савеля 1975: 101; Щеглов 1981: 215; 1986: 162).

Действительно, на Гераклейском полуострове зафиксировано более десятка поселений кизил-кобинской культуры (Стржелецкий 1959: 66; Савеля 1979: 171; Щеглов 1981: 213), два из них существовали непосредственно на Маячном полуострове. Однако до сих пор неясно время прекращения жизни этих поселений, поскольку надежно датированных греческой керамикой комплексов на них не встречено (Савеля 1979: 171). Остается в силе дилемма, намеченная в свое время О.Я.Савелей: либо поселения исчезают в результате прямого давления общины херсонеситов, либо варварское население Гераклейского полуострова резко сократилось незадолго до основания дорийского Херсонеса (Савеля 1979: 171-172). В последнем случае это совпадает с прекращением существования в V в. до н.э. большинства поселений горного и предгорного Крыма и угасанием традиции хоронить умерших в каменных «мегалитах» (Крис 1981: 56; 1989: 29 и сл.). И хотя веских аргументов в пользу той или иной альтернативы не высказано, обратить внимание на два косвенных замечания все же следует.

Сравнение лепной керамики кизил-кобинских поселений и керамики варварских поселений, возникших в IV в. до н.э. по гребню Сапун-горы, склонам Байдарской и Инкерманской долин, демонстрирует известную степень различия, а именно: в составе керамического комплекса поселений периферии Гераклейского полуострова, в Байдарской и Инкерманской долинах заметную долю наряду с керамикой, близкой к кизил-кобинской, составляет керамика степных типов, т.е. скифская. Это означает, что население поселков было смешанным, гетерогенным (Савеля 1979: 173), в отличие от того, которое проживало на Гераклейском полуострове в более раннее время. Появление поселений со смешанной скифо-кизил-кобинской керамикой фиксируется в IV в. до н.э. не только по кромке Гераклейского полуострова, они открыты и на северной стороне Севастопольской бухты, а также вплоть до низовьев реки Бельбек (Савеля 1975: 101). Подобные поселения появляются в это время и по склонам внешней гряды Крымских гор (Храпунов, Власов 1994: 251 и сл; 1995), в Восточном Крыму в районе Феодосии (Кругликова 1975: 72-73). Таким об-

[3] О переносе города говорит и Бертье-Делагард, относя это событие к 115-110 гг. до н.э.: Бертье-Делагард 1907: 200. Однако, если такое событие и имело место, то скорее всего, его следует относить ко времени вскоре после середины IV в. до н.э. Многочисленные примеры переноса вновь основанных колоний были приведены недавно Вонсович (Вонсович 1994. С.28-30).

разом, появление варварских поселений можно рассматривать и со стороны процессов, протекавших в среде туземных племен горного и предгорного Крыма, вне связи с деятельностью конкретного греческого полиса.

Между тем факт нахождения туземных поселений на границах Гераклейского полуострова все чаще становится археологической иллюстрацией агрессивной политики дорийских колонистов в Юго-Западном Крыму (Щеглов 1986; Виноградов, Щеглов 1990; Сапрыкин 1986). Более того, население этих поселков считается эллинизированным зависимым или полузависимым, составлявшим часть структуры аграрной территории Херсонеса (Савеля 1975: 102; Виноградов, Щеглов 1990: 319-320; Сапрыкин 1986: 106). Как же обосновывается столь важное заключение?

Первооткрыватель и исследователь этих поселений О.Я.Савеля, первым сформулировавший тезис о зависимом характере поселений, аргументировал его так: «...размещение поселений свидетельствует об элементе принудительности в выборе мест для них, хотя некоторые экологические принципы расположения указанных поселений и соответствуют принципам выбора местоположения для кизил-кобинских и позднескифских поселений в Юго-Западном Крыму» (Савеля 1975: 101; 1979: 172). Между тем совсем не очевидно, что при отсутствии какой-либо зависимости местоположение этих поселений было бы иным. Сомнения в доказательности аргумента явно не напрасны.

Подкрепление высказанного предположения находят в факте существования в Балаклавской долине типичных для хоры Херсонеса укрепленных сооружений. Однако господствующее над долиной положение этих укреплений может быть истолковано и как охрана этими укреплениями границ хоры города от возможных варварских вторжений. Наконец, еще один аргумент, который приводится для обоснования зависимости варваров, проживавших по кромке Гераклейского полуострова (Щеглов 1986: 163). Речь идет о заслугах Диофанта перед Херсонесом (IPE, I,352), в числе которых, согласно переводу В.В.Латышева, было подчинение окрестных тавров. Д.Пиппиди предложил исправление, меняющее смысл текста: Диофантом были возвращены Херсонесу тавры-паройки (Pippidi 1959: 91, 93). Это небольшое исправление оказывается весьма важным, поскольку в случае его принятия оно прямо указывает на наличие у херсонеситов зависимого населения. Не вдаваясь в тонкости перевода, заметим, что все варварские поселения, о которых шла речь выше и с которыми связываются зависимые тавры-паройки, гибнут еще в конце первой трети III в. до н.э. одновременно с запустением Гераклейского полуострова и более уже не восстанавливаются. Даже если считать, что в декрете в честь Диофанта и упоминаются тавры-паройки, то, надо полагать, совсем не те, что жили на поселениях по кромке Гераклейского полуострова столетием раньше, поскольку ко времени Диофанта их давно не существовало.

Таким образом, вряд ли можно сомневаться в декларативном характере утверждения о зависимости окрестных варваров от херсонесской общины; по крайней мере, очевидно, что аргументы, в основу которых положены археологические материалы, не свидетельствуют однозначно о существовании такой зависимости. Наряду с этим не следует, по-видимому, отвергать саму принципиальную возможность развития отношений херсонеситов с окружающими варварами в этом направлении, но для ее обоснования нужно искать другие, более серьезные аргументы, имея в виду также и то, что складывание подобных отношений в Херсонесе могло иметь место только в весьма ограниченный временной промежуток: вторая половина IV — первая треть III вв. до н.э. — и что завершения этот процесс не мог получить, поскольку был прерван известными событиями в конце первой трети III в. до н.э.

Если имеющиеся в нашем распоряжении источники не позволяют проследить отношения дорийских колонистов с местным населением, возможно ли в этом случае говорить об особой дорийской модели греческой колонизации Юго-Западного Крыма? Думается, что да, и материалов, на которые, утверждая это, можно опереться, все-таки достаточно. Сопоставление систем организации сельских территорий городов Боспора, Ольвии и Херсонеса не оставляет сомнений в резком своеобразии последнего. Своеобразие обустройства ближней хоры Херсонеса выражается в строгой сетке примерно равных по своей площади наделов, отделенных друг от друг магистральными дорогами, проложенными под прямым углом через всю площадь размежевки, в единстве строительных приемов и методов, а также в высокой степени стандартизации. Все эти признаки прослеживаются не только на ближней хоре на Гераклейском полуострове, но и в самом городе, распланированном в соответствии с принципами Гипподамовой системы.

Все основные компоненты системы организации ближней хоры города были применены с поправкой на своеобразие района и в процессе обустройства сельской территории в Северо-Западном Крыму. Именно в обустройстве, в строго регламентированной организации собственного местообитания, собственного жизненного пространства и проявляются своеобразные отличительные черты дорийской модели колонизации, именно это отличает единственный в Северном Причерноморье дорийский полис Херсонес от всех остальных греческих апойкий этого региона.

Что же касается способов внедрения дорийцев на новые территории и тем более отноше-

ний зависимости местных племен от греческих общин, в данном случае от общины херсонеситов, то средствами археологии эти вопросы, относящиеся к сфере социальных отношений, решить чрезвычайно трудно и едва ли вообще возможно.

Коснувшись отношений греков-колонистов с племенами Юго-Западного Крыма, мы, по существу, уже начали тему о греко-варварских взаимодействиях в этом районе. Этим вопросам посвящен следующий раздел нашего исследования.

Проблему взаимодействия херсонеситов с варварами Юго-Западного Крыма, а с образованием Херсонесского государства — и всего Крымского полуострова, нельзя назвать новой. Давно и устойчиво она привлекает внимание исследователей Херсонеса. Эпиграфические документы, найденные в процессе раскопок города, подкрепляемые сведениями античной литературной традиции, рисуют сложную картину отношений Херсонеса и местных варваров уже после образования Малой Скифии в Крыму — эти сведения относятся к III-I вв. до н.э. Что же касается более раннего времени, то здесь единственными реальными показателями отношений и связей жителей города и его варварского окружения, в отсутствие эпиграфические и литературных источников, остаются только данные археологии.

Речь прежде всего должна идти о находках импортных вещей на варварских поселениях Юго-Западного Крыма, которые, скорее всего, в силу географической близости, могли попасть туда через Херсонес, и, наоборот, анализ варварских вещей, найденных на территории Херсонесского городища, а также традиций, которые не могут быть объяснены, интерпретированы в рамках греческого культурного поля.

Мнимая простота задачи осложняется полным или почти полным отсутствием импортных античных вещей, по крайней мере, до начала IV в. до н.э. в горном Крыму, что уже отмечалось ранее.

Обломки импортных сосудов VI-V вв. до н.э. в Юго-Западном Крыму единичны (Щеглов 1981: 211), можно предположить, что они отражают какие-то эпизодические вялые контакты жителей раннего поселения на месте будущего Херсонеса с туземными племенами. Примечательно, что и на поселениях, и в могильниках горного и предгорного Крыма ранний античный импорт полностью отсутствует. Картина постепенно меняется только в IV в. до н.э.[4]

Судя по клеймам и обломкам амфор, уже в первой половине столетия в горный Крым начинает поступать в небольших количествах вино. Объем его поставок не идет ни в какое сравнение с теми объемами, какие направлялись в Скифию, однако центры-экспортеры представлены здесь все те же: Гераклея, Хиос, Фасос, Менде, Синопа, а после середины IV в. до н.э. и Херсонес. Иные категории импорта античной посуды встречаются значительно реже и только после середины IV в. до н.э. Этим, пожалуй, и ограничивается весь скудный репертуар импортных изделий, встречающихся на ближней к Херсонесу территории, заселенной варварами. Складывается впечатление, что последние медленно и с большим трудом втягивались в орбиту греко-варварских взаимоотношений.

Однако, как уже указывалось, у этой проблемы есть и вторая сторона — находки варварского облика на площади самого Херсонесского городища. К сожалению, с давних пор, точнее, начиная с 30-х годов, анализ материальных находок такого рода постоянно подменялся бесплодными попытками этнической атрибуции этих находок.

Находки лепной керамики и каменных орудий в большом количестве, как отмечал Г.Д.Белов, встречаются «в самой нижней части культурного слоя, лежавшего непосредственно на материковой скале» при раскопках 1935-1936 гг. на севере Херсонесского городища (Белов 1948: 32). Это обстоятельство, а также интерпретация скорченных захоронений северного участка некрополя как принадлежавших таврам легли в основу утверждения о том, что Херсонес был основан на месте существовавшего до него таврского поселения, точнее, что «основание Херсонеса греками было по существу присоединением их к уже существовавшему туземному поселению» (Белов 1948: 33).

Этим утверждением Херсонес вводился в круг северопричерноморских полисов, основанных на местах туземных поселений в строгом соответствии с эмпориальной теорией, сформулированной В.Д.Блаватским (Блаватский 1954: 7 и сл.).

Последующая ревизия лепной керамики из раскопок Херсонеса показала, что, во-первых, количество ее, вопреки утверждениям, весьма невелико, и, во-вторых, что она датируется временем не ранее основания Херсонеса (Савеля 1970).

Заметим, что в этих работах речь шла о лощеной керамике с гребенчатым орнаментом второго позднего типа, выделенного О.Д.Дашевской (Дашевская 1963: 205 и сл.), которая безусловно связывается с культурой племен горного Крыма. Более ранней кизил-кобинской керамики с резным орнаментом в Херсонесе известно не было.

Лишь сравнительно недавно в процессе исследования северо-восточной части Херсонесского городища при разборке культурного

[4] Сенаторов С.Н. Каталог таврских памятников IV-III вв. до н.э. и греческого керамического импорта VI-II вв. до н.э. в горном и предгорном Крыму. (Рукопись хранится у автора). С.Н.Сенаторов любезно ознакомил меня со своей работой, за что выражаю ему искреннюю признательность.

слоя конца VI — первой половины V вв. до н.э. были найдены обломки лепных чернолощеных кубков, украшенных орнаментом первого типа (Сенаторов 1988: 100), который известен на лепной посуде VI в. до н.э. из других греческих городов (Кастанаян 1981: 12-19; Марченко 1988а: 87-88). Довольно высокий процент лепной керамики — около 11,7% от общего числа находок — позволил поставить вопрос о наличии местных этнических элементов в составе населения древнейшего греческого поселения на берегу Карантинной бухты (Виноградов, Золотарев 1990: 56). Как бы там ни было, но, несомненно, что в это раннее время община эллинов на берегу Карантинной бухты так же, как и большая часть других северопричерноморских эллинских общин, не была закрытой по отношению к местному варварскому населению

Известно, что памятники степных скифов фиксируются в междуречье Альмы и Качи еще в конце VI-V вв. до н.э. (Ольховский 1982: 76). Однако обломки посуды степных типов появляются в Херсонесе только в первой половине IV в. до н.э. Редко, но все же встречаются обломки подобной посуды и в более позднее время при раскопках самого Херсонесского городища, а также в редких случаях они входили в состав погребального инвентаря.[5] Однако в целом количество обломков как сосудов чернолощеных с гребенчатым орнаментом, так и посуды степного скифского облика чрезвычайно мало по отношению ко всем остальным категориям керамических сосудов. Подчеркнем особо, что в IV в. до н.э. лепная посуда представлена не только чернолощеными сосудами, но и образцами посуды скифского облика, точно так же, как и на варварских поселениях, вблизи Херсонеса.

Теоретически можно допускать, что варварский компонент был выше на Гераклейском полуострове, где варвары могли быть заняты обработкой наделов граждан и где в керамическом комплексе это должно было найти более четкое отражение. Однако и здесь керамический комплекс оказывается адекватным городскому. Судя по данным раскопок, особенно широко проводившихся в последние годы, лепная керамика составляет вместе с кухонной всего около 4%,[6] а в действительности, учитывая, что она считалась вместе с кухонной, процент ее еще ниже. Для сопоставления приведем данные по керамическому комплексу зданий У7 на хоре Херсонеса в Северо-Западном Крыму этого же времени. Здесь лепная керамика в керамическом комплексе составляет от 40 до 52%, на сельских поселениях хоры Ольвии — от 20 до 40% без учета амфор.[7]

Если же сравнивать долю лепной керамики в керамическом комплексе Херсонеса, Ольвии и Березани (в двух последних она составляет от 4 до 14% без учета амфор), то становится совершенно ясно, что как в Херсонесе, так и на его ближайшей округе доля лепной керамики была столь невелика, что вряд ли может рассматриваться как серьезное свидетельство наличия в составе населения города сколько-нибудь существенного варварского компонента.

Наше заключение резко контрастирует со все еще бытующими представлениями о присутствии в среде городского населения достаточно представительной прослойки варварского населения. В значительной степени эти представления опираются на материалы северного участка Херсонесского некрополя. Как отмечалось выше, Г.Д.Белов — автор раскопок этого участка — относил скорченные захоронения, открытые здесь, к погребениям тавров, а вытянутые — к погребениям греков и считал, что «местное население ... пользовалось в начальную пору существования города равноправным положением», поскольку оба вида погребений находились на одном кладбище (Белов 1938: 192; 1981: 178).

На первый взгляд, вывод абсолютно логичен и единственно возможен, если исходить из указанных посылок, поскольку никаких данных для иной интерпретации различного положения костяков (скажем, об имущественном или социальном неравенстве) материалы некрополя не дают.

Варварским, но, в отличие от Г.Д.Белова, не таврскими, а скифскими предлагала считать скорченные костяки С.И.Капошина (Капошина 1941: 172). Однако с нею не согласился автор раскопок некрополя (Белов 1948: 32. Прим.1), а вместе с ним и большинство исследователей (Тюменев 1949; Пятышева 1949; Шульц 1959), которые вслед за Г.Д.Беловым считали скорченные погребения северного участка Херсонесского некрополя таврскими. С.Ф.Стржелецкий, проводивший работы на некрополе в 1945 г., пришел к заключению, что весь этот участок является таврским (Стржелецкий 1948: 95).

В противоположность этой точке зрения получила распространение и иная, впервые высказанная В.В.Лапиным (Лапин 1966: 212 и сл.) и поддержанная В.И.Кадеевым (Кадеев 1973: 108 и сл.; 1995), который выступил с критикой таврской принадлежности скорченных погребений. Они попытались интерпретировать эту группу захоронений как захоронения греков, что нашло поддержку со стороны некоторых ученых (Козуб 1974: 21; Сапрыкин 1986: 65).

[5] Нам известны только 2 могилы, в состав погребального инвентаря которых входили лепные сосуды — 2348 и 7/1936, оба сосуда скифского степного типа.

[6] Данные взяты из отчетов Гераклейской экспедиции Херсонесского заповедника, хранящихся в архиве ИИМК РАН.

[7] Данные взяты из отчетов Тарханкутской и Нижнебугской экспедиций ИИМК РАН, хранящихся в архиве ИИМК РАН.

Попытку перенести решение проблемы в социальную плоскость предпринял В.Д.Блаватский, который считал скорченные захоронения погребениями рабов, правда, тавров (Блаватский 1953: 163). Близкую позицию в последние годы занимает В.М.Зубарь. Судя по всему, придя к выводу о невозможности однозначной атрибуции захоронений северного участка некрополя, этот исследователь считает, что скорченность после смерти является показателем зависимости человека при жизни и склоняется к мысли, что погребенные в таком положении были домашними рабами и хоронились вместе со своими хозяевами (Зубарь 1988: 52-54).

Не останавливаясь подробно на критическом разборе всех изложенных выше позиций, трудно все же удержаться от одного замечания по поводу последней. Если принять эту трактовку, то окажется, что во всем Северном Причерноморье домашние рабы были исключительно в Херсонесе. А поскольку, по заключению автора, скорченные захоронения рабов сопровождают вытянутые захоронения хозяев, то, надо полагать, наличие в доме домашних рабов автоматически должно было определять место захоронения их хозяев, и именно на северном городском кладбище.

Подводя итог краткой истории исследования вопроса о скорченных захоронениях северного участка Херсонесского некрополя, необходимо констатировать следующее: решение его с самого начала получило совершенно неоправданный крен в сторону выяснения этноса погребенных. Споры об этносе погребенных как в вытянутом, так и в скорченном положении все больше приобретают схоластический характер, напоминая спор Остапа Бендера с ксендзами в известном романе И.Ильфа и Е.Петрова, что со всей очевидностью свидетельствует о том, что в такой постановке вопроса и в рамках тех знаний, которыми мы располагаем, проблема решения не имеет.

Наше заключение основывается также и на том, что все высказанные по этой проблеме точки зрения опираются на одну и ту же сумму фактов, причем без детальной и глубокой их проработки.

Чтобы приблизиться к пониманию характера северного участка некрополя Херсонеса в создавшейся ситуации, необходимо прежде всего вернуться к анализу самого исходного материала — погребений и сопровождающего их инвентаря, сопоставить его со всеми участками городского некрополя этого времени, устраняя при этом наметившуюся тенденцию, отмеченную А.А.Зедгенидзе и О.Я.Савелей, о формировании представлений обо всем городском некрополе на материалах лишь одного из участков (Зедгенидзе, Савеля 1981: 191).

Как известно, массовые захоронения на северном берегу Херсонесского городища были обнаружены Г.Д.Беловым в 1935-36 годах в процессе исследования эллинистических и средневековых кварталов города. Отдельные находки, связанные с некрополем, а также и сами погребения попадались в этом районе и ранее (IOSPE, I^2, 463; Белов 1972).

Работы Г.Д.Белова и С.Ф.Стржелецкого в основном выявили границы участка с захоронениями: погребения располагались к западу от VIII поперечной улицы, наиболее высокая концентрация их отмечалась между VIII и X поперечными улицами. Наряду с этим отмечается, что далеко к ЮЗ погребения не распространяются (Белов, Стржелецкий 1953: 33).

В последней своей работе по северному участку Г.Д.Белов оперировал массивом из 160 погребений, найденных в этом районе (Белов 1981: 164), однако в публикациях и отчетах содержатся сведения лишь о 140 погребениях, которые обычно и привлекаются для характеристики участка; вероятно, какая-то часть могил, которые учитывались Г.Д.Беловым, остается недоступной.

В отличие от других участков Херсонесского некрополя, на северном берегу зафиксированы только простые грунтовые ямы для совершения погребений, очень редко борта ям облицовывались камнем. Ямы, как правило, впускались в насыпной культурный слой и иногда доводились до скалы, реже дно ям было заглублено в скалу. Поскольку большинство ям было впущено в культурный слой, размеры их проследить не удавалось, но, судя по нижним частям ям, заглубленных в скалу, они были обычных размеров. Важнее было бы проследить глубины ям, точнее, уровни, с которых они были впущены, что дало бы возможность стратифицировать погребения, но из-за сильной нарушенности свиты культурных напластований это было невозможно.

Умерших помещали в могилы без гробов, нередко на подсыпку из золы, угля или морской гальки. В двух могилах найдены гвозди, что привело к утверждению о наличии в могилах гробов (Белов 1981: 166; Зедгенидзе, Савеля 1981: 203); между тем это не единственно возможная интерпретация находок гвоздей в могилах, гвозди, скорее всего, были не от гробов, а от деревянных перекрытий. Наличие перекрытий над могилами подтверждается целым рядом наблюдений.[8]

Необычным, что, собственно, и привело к многочисленным дискуссиям, является на этом участке положение костяков в могилах. Наряду

[8] В могилах 36/1936, 30/1937, 73/1936, 3/1945 и др. погребения были совершены на спине с коленями, поднятыми вверх. При захоронении в такой позе ноги после разложения связок падают либо в одну, либо в другую сторону, иногда — одна нога в одну сторону могилы, другая в другую. Однако возможно это только в том случае, если могила не засыпана землей, а имеет перекрытие.

с вытянутыми захоронениями в могилах довольно часто встречаются захоронения в скорченном положении, последние составляют, по подсчетам исследователей, около 40% (Белов 1938: 199; Зедгенидзе, Савеля 1981: 195).

Анализ отчетов и проверка описаний погребений по генеральному плану раскопок 1936 г., хранящемуся в ИИМК РАН, приводят к заключению, что в свое время Г.Д.Беловым, а вслед за ним и другими авторами в подсчеты необоснованно введена значительная группа погребений, положение костяков в которой не может быть истолковано однозначно. Это касается как скорченных, так и вытянутых погребений. Попытку определить некоторые погребения как предположительно скорченные или как «погребения с элементами скорченности» нельзя признать приемлемой. Совершенно не ясны и полностью субъективны основания для отнесения того или иного плохо сохранившегося погребения в определенный разряд, поскольку совершенно непонятно, чем же погребения с «элементами скорченности» отличаются от погребений с «элементами вытянутости». Для устранения путаницы все плохо сохранившиеся погребения должны быть отнесены к группе погребений с недостаточными данными и выведены из подсчетов. Результаты подсчетов показывают, что в процентном отношении скорченные погребения составляют только 23%, т.е. почти вдвое меньше, чем считалось ранее.

Г.Д.Беловым показано устойчивое преобладание ориентировки погребений восточного румба для всего северного участка. Этот вывод подтверждается полностью. Подтверждается и другой его вывод — о близости ориентировки скорченных и вытянутых захоронений: доля погребений, ориентированных в восточном направлении, среди первых составляет 72,5%, а среди вторых 84,2%. Полученная картина не должна заслонять небольших, но все же имеющихся различий. Так, количество костяков, ориентированных **не** в восточном направлении, среди скорченных почти вдвое выше (27,1%), чем среди вытянутых захоронений (15,2%). Если не учитывать при этом детские амфорные захоронения, то соотношение получается еще более показательным — 27,1 : 9,9%, т.е. доля скорченных с не-восточной ориентировкой превышает долю соответствующих вытянутых почти втрое. Это различие выражено вполне определенно и свидетельствует, думается, о меньшей устойчивости ориентировки именно скорченных захоронений.

Уже неоднократно отмечалось, что городской некрополь Херсонеса в целом и северный его участок в частности заметно отличается от одновременных некрополей других городов Северного Причерноморья бедным, малочисленным и редко встречающимся инвентарем (Белов 1981: 171). Наблюдения показывают, что погребальный инвентарь на северном участке некрополя имели только 22,2% захоронений; чаще сопровождались инвентарем детские погребения (36,6%). Если не учитывать детские амфорные могилы, то только 24,6% вытянутых и 16,6% скорченных захоронений сопровождались каким-либо погребальным инвентарем. Это означает, что вещи при погребениях встречаются редко как в одном, так и в другом случае, но все же вытянутые захоронения сопровождались инвентарем несколько чаще.

Состав погребального инвентаря и его размещение в могилах подробно характеризовались в различных работах (Белов 1938; 1948; 1981; Зедгенидзе, Савеля 1981), поэтому нет необходимости останавливаться на этом специально, ограничимся лишь несколькими замечаниями.

Анализ погребального инвентаря показывает отсутствие серьезных различий как по количеству предметов, так и по их составу между погребениями, совершенными вытянуто, и погребениями скорченными. Всюду инвентарь одинаково беден. В отличие от других участков некрополя, на северном берегу в могилах совершенно отсутствуют лекифы и, хотя на других делянках городского кладбища эти сосуды для масла встречаются тоже не столь уж часто, полное их отсутствие здесь вызывает удивление. Для сравнения напомним, что в некрополе, например, Пантикапея этого же времени было найдено более трех сотен лекифов. Отметим и еще одну деталь погребального инвентаря: в могилы на северном участке, как, впрочем, и во всем некрополе города, никогда не ставили амфор в качестве сопровождающего умерших инвентаря.

В первой публикации материалов некрополя Г.Д.Белов датировал северный участок концом V — первой половиной IV вв. до н.э. (Белов 1938: 194). Позднее, очевидно, под влиянием датировки С.Ф.Стржелецкого, предложившего для участка дату середина IV — начало III вв. до н.э. (Стржелецкий 1948: 93), он отодвинул верхнюю границу к концу IV в. до н.э. (Белов 1981: 177). Корректив, внесенный Г.Д.Беловым, как видим, не коснулся нижней границы, хотя основания для пересмотра датировки имелись и в то время. В принципе, датировка Г.Д.Белова является общепризнанной, хотя и никогда не подвергалась проверке.

Анализ погребального инвентаря позволяет утверждать, что северный участок содержит два пласта погребений — ранний и поздний, причем погребения раннего пласта датируются еще первой половиной — серединой V в. до н.э., т.е. временем, предшествующим принятой дате основания дорийского Херсонеса. Не может быть никаких сомнений о связи ранних погребений с поселением, существовавшим на берегу Карантинной бухты до 422/421 г. до н.э. (Монахов, Абросимов 1993: 140 и сл.).

Однако для нас сейчас гораздо важнее вто-

рой, поздний, пласт погребений, принадлежащий городу гераклеотов. Заметим сразу, что весь комплекс материалов из могил этого периода не выходит за пределы IV в. до н.э. При этом верхняя хронологическая граница надежно фиксируется жилой застройкой последней четверти-конца IV в. до н.э.: именно в это время на площади бывшего некрополя начинают возводиться жилые кварталы.

До сих пор не уделялось должного внимания стратиграфии этого участка. Как известно, северный некрополь располагался в обширной низине, заполненной мусорными напластованиями. Г.Д.Белов не оставил подробного описания стратиграфии участка, но все же отмечал, что мусорный слой лежит на слое желтой надскальной материковой глины (Белов 1938: 24, 164). С.Ф.Стржелецкий выделил здесь три слоя: 1. Желто-коричневая надскальная материковая глина; 2. Слой угля и пепла, смешанный с землей; 3. Собственно насыпь некрополя, состоящая из земли со значительным количеством черепков и камней (Стржелецкий 1948: 95 и сл.). Задача состоит в том, чтобы установить, с какого времени этот мусорный слой начал накапливаться. По своей структуре слой аморфный, содержит многочисленные перекопы и хронологически неоднородный материал от начала V в. до н.э. и до эпохи позднего средневековья. Таким образом, стратификации слой не поддается.

И все же, зная, что погребения на этом участке совершались еще в первой половине V в. до н.э., можно попытаться установить ту группу погребений, которая была впущена в грунт еще до того, как здесь стала образовываться мусорная свалка. Засыпь таких погребений не должна содержать мусорного слоя, т.е. они должны быть перекрыты слоем чистой глины.

Такие погребения были открыты в процессе раскопок и в 1936, и в 1937 годах. Г.Д.Белов в отчетах специально отметил, что ряд погребений был перекрыт чистой глиной со щебенкой без мусора (Белов 1938: 165). Всего таких погребений зафиксировано 11, в шести могилах вещей не содержалось, три могилы относятся к V в. до н.э.[9] и, наконец, еще в двух могилах найдены вещи, датирующие эти могилы второй четвертью-серединой IV в. до н.э.[10]

Из этого можно сделать вывод, что мусорная свалка стала накапливаться здесь не ранее второй четверти IV в. до н.э. Даже в том случае, если свалка представляет собой результат единоразового сброса или нескольких крупных сбросов мусора, то и в этом случае полученная нами дата близка к действительности.

Наш вывод весьма важен потому, что все без исключения скорченные захоронения были впущены в мусорный слой и ни одно подобное захоронение не относится к раннему пласту погребений. Это означает, что мы не только можем ограничить такие погребения узкими хронологическими рамками, но и утверждать, что сама традиция помещения в могилу умершего в скорченном положении появляется отнюдь не с самого начала существования города, т.е. с последней четверти V в. до н.э., много позднее — не ранее второй четверти IV в. до н.э., а быть может, и середины столетия.

Следовательно, эта традиция существует в городе не более 40-50 лет, или приблизительно на протяжении жизни двух поколений. Нет никаких сомнений в том, что, по-видимому, не позже рубежа IV-III вв. до н.э. эта традиция пресекается. Исчезновение традиции можно объяснить либо естественной убылью группы населения, которой она была принесена, либо тем, что эта группа населения во втором-третьем поколении ассимилируется, утрачивая при этом свои прежние погребальные традиции.

Судя по тому, что на протяжении по крайней мере двух поколений продолжает сохраняться традиция скорченных захоронений, можно думать, что появившаяся во второй четверти IV в. до н.э. новая группа населения некоторым образом обособляла себя от остальной массы жителей города, что выражалось прежде всего в своеобразии позы умерших. Можно даже допустить, что в какой-то мере она была замкнутой, быть может, даже корпоративной, но вместе с тем и не изолированной полностью, поскольку хоронила своих умерших вместе с остальными горожанами на одном из древнейших участков городского некрополя.

Думается, что нет никаких препятствий вслед за Г.Д.Беловым рассматривать как скорченные, так и вытянутые захоронения на этом участке как захоронения равноправных свободных граждан города.

Наряду с захоронениями на северном берегу продолжали функционировать и другие одновременные участки городского некрополя, расположенные по периметру границ города. Сопоставив материалы северного участка с материалами других делянок городского кладбища, мы тем самым ответим на второй вопрос о своеобразии некрополя на северном берегу и своеобразии некрополя города в целом, а также на вопрос о том, в какой мере здесь представлены варварские материалы.

Наиболее близок к северному участку некрополь у монастырской оранжереи. Здесь в 1913 году был заложен Р.Х.Лепером небольшой треугольной формы раскоп между монастырским двором и оранжереей на монастырской усадьбе (ОАК 1913-1915: 60). Судя по суммарному описанию, было открыто несколько погребений, в том числе и 3 амфорных, которые находились за «стенами из прекрасно тесаных плит». Автором раскопок погребения отнесены к IV в. до н.э., вещи из раскопок оказались депаспортизованы, описания погребений отсутствуют. Может быть,

[9] Могилы 1/1937; 12/1937; 15/1937.
[10] Могилы 1/1936; 17/1937.

именно отсюда происходит ряд вещей IV в. до н.э. — солонки, ойнохоя, терракоты.

К сожалению, отсутствие подробной информации об этом интереснейшем участке не позволяет в должной мере выявить его особенности, между тем сам факт открытия могил в этом месте представляется чрезвычайно важным.

Далее к югу в районе городского театра, построенного в III в. до н.э., при исследовании северо-западной стороны его энфилеммы в слое, отнесенном ко времени, предшествующему строительству театра, была выявлена серия погребений, синхронных погребениям на северном берегу (Зедгенидзе 1976: 28). Погребения располагались в древней балке, по склону которой со стороны города открыта оборонительная стена (Домбровський 1957). Здесь же в балке была открыта мусорная свалка, состоящая, в основном, из керамического боя. Таким образом, как свалка, так и некрополь находились за пределами городской оборонительной стены.

Всего открыто восемь погребений, все они совершены в простых грунтовых ямах с бутовой обкладкой стен, некоторые могилы перекрыты выкладками из камня, что естественным образом предполагает наличие под выкладками деревянного перекрытия. Погребения одиночные, за исключением одного скорченного, вытянутые на спине. Превалирует ориентировка восточного румба. Инвентарь в могилах, как и на северном участке, очень скромный: гуттусы, бусы, монеты, обломок светильника. Судя по инвентарю, участок датируется третьей четвертью IV в. до н.э.

Надо заметить, что этот и северный участки весьма близки, они имеют больше черт сходства, чем различия.

Отсюда, из района будущего театра, некрополь продолжался, скорее всего, в юго-восточном и южном направлении. Несмотря на то, что, по выражению К.К.Косцюшко-Валюжинича, город захватил и уничтожил некрополь этого времени, остатки его все же фиксируются в районе 15 куртины главной оборонительной стены города. Прежде всего, имеется в виду семейная усыпальница 1517-1522, открытая в 1903 году, функционировавшая с конца V или с начала IV в. до н.э., а также несколько погребений третьей четверти-второй половины IV в. до н.э. Среди них есть как грунтовые могилы, обложенные камнем, так и черепичные могилы. Из шести могил, относящихся к интересующему нас времени, в двух захоронения совершены по обряду кремации. Сопровождающий инвентарь небогат, в могилы клали монеты, иногда по чернолаковому сосуду. К числу семейных гробниц этого участка принадлежит и склеп 1012, встроенный в главную оборонительную стену, захоронения в склепе совершались со второй половины IV в. до н.э. до начала III в. до н.э., все погребения совершены по обряду кремации, как и в семейной могиле 1517-1522. Вполне вероятно, что этот район городского кладбища, расположенный вблизи главных городских ворот, был участком, где погребались лица самого высокого социального ранга — городская элита.

Погребения IV в. до н.э. имеются и на восточном участке некрополя, вытянутом вдоль Карантинной бухты от башни Зенона. Для захоронений эта местность стала использоваться с самого начала IV в. до н.э., если не с конца предыдущего столетия, но столь ранние погребения здесь редки. По тем или иным основаниям к IV в. до н.э. на восточном участке можно отнести около 70 погребений, чуть больше 20 из них синхронны второму пласту погребений северного некрополя, поскольку могут быть датированы серединой-третьей четвертью IV в. до н.э.

Подавляющее число захоронений совершено в простых грунтовых ямах, вытянуто на спине. Данные об ориентировке сохранились всего для восьми погребений, поэтому судить по столь незначительной выборке об этой детали погребального обряд крайне сложно, отметим лишь, что единообразия в ориентировке у этих погребений нет.

Нормой обряда было помещать в могилу одного умершего, однако иногда в могилы подхоранивали детей[11] или умерших позже взрослых членов семьи,[12] но такие случаи, надо признаться, редки.

Что касается погребального инвентаря, то и на этом участке он чрезвычайно малочислен и весьма скромен. Обычно он ограничивается одним, двумя или тремя очень простыми и, надо полагать, очень дешевыми предметами, из которых наиболее часто встречаются простые или чернолаковые тарелки, килики или канфары, лекифы, из украшений — бусы, серьги, перстни, очень редко — лепные сосуды.

На первый взгляд может показаться, что различия между участками Херсонесского некрополя проявляются главным образом в погребальном инвентаре. Действительно, большая часть могил северного участка, как мы помним, погребального инвентаря не содержала, в то время как могилы на других участках, с которыми мы сравниваем северный, все же, хоть и очень скромный погребальный инвентарь, но содержат. Из этого вполне резонно может последовать вывод о более низком имущественном и, вероятно, социальном уровне погребенных на северном берегу. На самом деле все обстоит значительно сложнее. Как на южном участке, так и на восточном у Карантинной бухты в выборку включались только те могилы, которые содержали хоть какие-то вещи, по которым можно было бы установить дату погребения. Таким образом и получилась выборка из могил, в которой безынвентарных погребений нет. Однако на обоих участках таких погребений открыто

[11] Могила № 1357.
[12] Могила № 1046, 1943.

очень много, но, поскольку захоронения в этих участках совершались и во все последующие эпохи жизни города, отнести эти безынвентарные погребения к какому-то определенному времени возможности нет. Весьма вероятно, что часть этих могил, и можно предполагать, немалая, относится и к рассматриваемому времени. Сказанное можно подтвердить одним, но убедительным примером — так могила 1045 у Карантинной бухты с монетой третьей четверти IV в. до н.э. перекрывала более ранее безынвентарное погребение 1046.

В связи с восточным участком некрополя у Карантинной бухты хотелось бы обратить внимание на одну компактную группу захоронений. Речь идет об 11 безынвентарных скорченных захоронениях, открытых в 1908 и 1909 годах вблизи башни Зенона. В.М.Зубарь, исходя из небольшой глубины могил, отнес их к римскому времени и связал их появление в некрополе города с сарматским влиянием (Зубарь 1982: 41). Нелишне напомнить, что в Херсонесе глубина могил — ненадежный хронологический показатель, поскольку, как правило, она зависит от близости скалы и мощности насыпного слоя. Глубина могил со скорченными костяками различна, но не превышает 1,1-1,2 м, между тем единственное точно датированное скорченное погребение, относящееся к римскому времени,[13] открытое, кстати, к западу от башни Зенона отдельно от всей компактной группы, было впущено глубже всех. В позднеантичное и римское время скорченная поза костяков встречается исключительно редко и не может рассматриваться как характерная для этого времени, в противоположность времени раннего эллинизма. Сознавая, что вполне определенных однозначных указаний на принадлежность этой серии погребений к тому или иному времени нет, приведем косвенные аргументы в пользу раннеэллинистического времени.

Прежде всего, следует обратить внимание на то, что почти все погребения, за исключением одного, открытого в 1909 году, найдены в раскопочную компанию предыдущего года, это означает, что все они находились на одном небольшом участке вблизи 20-й куртины и башни Зенона. Далее вдоль Карантинной бухты за все годы раскопок таких погребений больше не встречалось.

Любопытно, что на раскопках 1908 и 1909 годов как раз и были найдены наиболее ранние на всем восточном участке некрополя захоронения. Характерную картину дает расположение могил с монетами середины-третьей четверти IV в. до н.э., а также детских захоронений в амфорах — наибольшее их количество открыто на раскопе 1908 года и на непосредственно примыкающем к нему раскопе 1905 года. Таким образом, складывается впечатление, что именно территория вблизи 20-й куртины и башни Зенона является наиболее ранней на всем восточном некрополе. Не исключено, что появление здесь скорченных погребений следует связывать с прекращением функционирования северного участка Херсонесского некрополя в последней четверти IV в. до н.э. К сожалению, изложенные нами соображения не обладают необходимой доказательной силой, и настаивать на предложенной интерпретации веских оснований нет.

Как видим, резких различий между участками Херсонесского некрополя нет. Разумеется, каждый из районов городского кладбища обладает определенным набором своеобразных черт, однако при этом черты сходства создают настолько яркое своеобразие некрополя в целом, что на этом стоит остановиться специально.

К их числу без всяких натяжек относится грунтовый характер городского кладбища. За все годы раскопок здесь не было открыто ни одной курганной насыпи, и это, надо полагать, не случайное явление. Отсутствие в Херсонесе традиции хоронить умерших под курганной насыпью не может быть объяснено ни отсутствием для этой цели благоприятных природных условий, ни тем, что эта традиция на всем протяжении истории города оставалась херсонеситам неизвестной. По крайней мере один пример того, что сооружение курганов здесь было возможно, у нас есть. В 1872 году в 3-х верстах от Херсонеса у Стрелецкой бухты на земле полковника Шверина был раскопан курган высотой 4 сажени. Насыпь кургана состояла из камня, в основании насыпь окружала крепида, состоящая из тесаных известняковых блоков, уложенных в два ряда, верхний ряд сложен из рустованных блоков. В 1908 г. курган был доследован Н.М.Печенкиным. Под насыпью кургана обнаружена бронзовая урна с пеплом, обследовавший содержимое урны А.В.Орешников не сомневался в погребальном характере сосуда, поскольку на дне его им были обнаружены кальцинированные кости человека.[14] По своему характеру, архитектуре, облику погребения, содержавшегося в кургане, весь этот комплекс целиком находился в русле погребальных традиций причерноморских греков. Если мог быть сооружен Шверинский курган, следовательно, херсонеситы были близко знакомы с этой традицией, и следовательно, местные природные условия не были главным препятствием для их сооружения. Заметим попутно, что Шверинский курган был построен не вблизи города на городском кладбище, а в некотором от него удалении.

Нет сомнений в том, что невосприимчивость жителей города к влиянию не только варварского окружения, но и погребальной практики соседних эллинских городов, где традиция захоронения в курганах получила устойчивое и повсеместное распространение, коренится в

[13] Могила № 2816.

[14] Письмо В.А.Орешникова Н.М.Печенкину от 8.XII.1908. Архив ИИМК РАН. Ф.27. № 1. Л.4.

строгости погребальных норм, их консервативности, опиравшихся, скорее всего, на какие-то внутриполисные представления, быть может, даже оформленные законодательно.

На протяжении всего рассматриваемого времени, да, пожалуй, и позднее представления жителей города в отношении сопровождающего умерших инвентаря почти не изменялись. Многие погребения были безынвентарными, там, где сопровождающий инвентарь имелся, он представлен немногочисленными простыми и дешевыми вещами. В числе предметов погребального инвентаря отсутствуют вещи, связанные с варварским окружением города. Исключение составляют две могилы, в которых было найдено по одному лепному сосуду «скифского» облика. В одной из могил (7/1936), кроме лепного сосуда, другого инвентаря не было, зато в могиле 2348, кроме лепного сосуда, были поставлены чернолаковое блюдце и гуттус. К числу исключений можно, пожалуй, отнести небольшую бронзовую бляшку с изображением крылатой богини с растительными побегами вместо ног, найденную в каменном разграбленном гробу.[15] Сюжет находит многочисленные параллели среди скифских степных памятников. К числу подобных изображений относится и золотой медальон с изображением скифа и грифона, найденный в некрополе в 1907 году (Пятышева 1956: 14. № 13). Однако особого внимания заслуживают вещи подстенного склепа 1012. Судя по всему, это погребальное сооружение принадлежало семье, занимавшей в городе особое социальное положение, поскольку оно единственное было сооружено в городской стене рядом с главным въездом в город. Выдающимся на фоне большинства херсонесских могил оно оказывается и по богатству содержавшихся в нем вещей. Как это ни странно, но именно здесь, в этом богатом подстенном склепе мы встречаемся с вещами, аналогии которым легко найти среди вещей из скифских царских захоронений и захоронений боспорской знати. К их числу прежде всего относятся пара золотых витых серег, оканчивающихся львиной мордой, очень близких серьгам из Куль-Обы, бараньи головки, аналогичные головкам из Гайматовой могилы, золотые нашивные бляшки с изображением цветка лотоса, мужской бородатой головы, крылатой змееногой богини. Бляшки с изображением змееногой богини чрезвычайно близки аналогичным из Куль-Обы, возможно, они даже изготовлены с одной матрицы (Manzewitsch 1932: Taf. I, П).

Между тем сам склеп, все погребения в нем, совершенные по обряду кремации, а также сосуды для хранения праха, один из которых получен в качестве приза на празднике Анакий, не содержат ничего, что бы можно было связать с влиянием со стороны варваров. Учитывая уникальный для всего Херсонесского некрополя характер комплекса, появление вещей, близких тем, которые встречаются в степных царских курганах и курганах боспорской знати, видимо, следует объяснять какими-то необычными, экстраординарными событиями. Скорее всего, они отражают какие-то семейные связи, быть может, обусловленные политической необходимостью. Однако, судя по датировке вещей комплекса, связи эти были весьма непродолжительными.

Возвращаясь к погребальному инвентарю могил Херсонесского некрополя, необходимо подчеркнуть, что они по своему составу, богатству, «качеству» резко отличаются от инвентаря захоронений в других городах Северного Причерноморья: как уже отмечалось, он необычно малочислен, скромен и даже беден. Вряд ли эту его особенность следует объяснять скромным достатком жителей города или их скупостью; ответ, скорее всего, надо искать в специфике погребальных традиций и погребальных норм, неукоснительно соблюдаемых гражданами полиса.

Как видим, ни лепная керамика, ни погребальные сооружения, ни погребальный обряд не позволяют сделать вывод о присутствии сколько-нибудь значительных групп варварского населения в городе, равно как и о наличии долговременных и устойчивых связей Херсонеса с варварским окружением.

Присутствие в Херсонесе значительных групп варваров обосновывалось также и наличием негреческих имен в просопографическом фонде города. «Имена херсонеситов негреческого происхождения ... свидетельствуют о том, что некоторые варвары могли входить в число правящей верхушки города« (Даниленко 1966: 168). Наличие в клеймах таких имен, как Σκυθας и Νανων, свидетельствует о том, что выходцы из туземной среды наряду с греками занимались в городе гончарным ремеслом и что некоторые из них могли занимать должности астиномов (Борисова 1949: 92). Сомнения в обоснованности подобных выводов возникали и ранее (Кадеев 1974), но для доказательства их несостоятельности необходимо было проанализировать весь просопографический фонд Херсонеса. К счастью, в последние годы такая работа была проделана В.Ф.Столбой (Столба 1991). Было проанализировано около 1000 антропоономастических единиц, сохранившихся на монетах, керамических клеймах, в лапидарных надписях, граффити и др. В результате проделанного анализа выясняется, что число негреческих имен в городе IV-III вв. до н.э. чрезвычайно мало. По языковой принадлежности они делятся на группы: 1. Группа малоазийских личных имен и предположительно малоазийских; 2. Группа личных имен фракийского происхождения. «Иранских имен, происхождение которых можно было бы связать со скифским языком, в Херсонесе IV-II вв. до н.э. не от-

[15] Могила № 326.

мечено» (Столба 1991). Последний вывод весьма для нас важен.

Если считать, что лепная керамика, в принципе, отражает проникновение в греческие города низших слоев негреческого населения, а просопография — проникновение представителей эллинизированной негреческой верхушки (Виноградов Ю.Г 1981б: 137), то в отношении Херсонеса IV — первой трети III вв. до н.э. ответ получается одинаково отрицательный.

И, наконец, еще одно, последнее, наблюдение. Рассматривая процесс и характер взаимодействия окружающих варварских племен и греческих гражданских коллективов в Северном Причерноморье, невозможно миновать заключения о том, что процесс проникновения варварских культурных элементов носит не дискретный, а перманентный характер. С самого начала жизни греческих апойкий — будь то Березанское поселение, Ольвия или города Боспора — везде наблюдается постоянная диффузия варварских компонентов в эллинские общины; происходит постоянная подпитка культуры, остающейся в своей основе греческой, варварскими традициями. Малейшее изменение в способах орнаментации лепной керамики в степной части Северного Причерноморья сразу же или в течение очень короткого времени находит адекватное отражение в лепной посуде, происходящей из греческих городов. Изменение конструкции или появление новых типов погребальных сооружений на территории ближайшего варварского окружения влечет за собой немедленные изменения и в городских некрополях.

Приведенные примеры не единичны, этот ряд можно продолжать весьма долго, однако и этих примеров, по-видимому, достаточно, чтобы констатировать: в Херсонесе эти тенденции проявляются очень слабо.

Все эти обстоятельства, которые мы рассмотрели выше, заставляют скептически относиться к возможности присутствия в среде жителей города значительных групп варварского населения. Необходимо признать также, что при отсутствии в материальной культуре города достаточно ясных хорошо различимых проявлений культуры варварского окружения и влияний со стороны последних на весь круг эллинских культурных традиций херсонеситов, сама постановка такой проблемы — присутствие варварского населения в Херсонесе — лишается всякой опоры.

Очевидно, и вряд ли с этим возможно спорить, что какие-то отдельные выходцы из варварской среды в составе населения города могли присутствовать и присутствовали. Однако либо в силу своей малочисленности, либо под влиянием каких-то иных причин такой культурной «критической массы», которая могла бы восприниматься гражданским коллективом и заимствоваться хотя бы на уровне отдельных традиций, в Херсонесе не образовалось. По-видимому, в городе не существовало субкультуры варваров, способной наложить отпечаток на культуру коренного населения города.

Наряду с этим существует достаточно данных о том, что гражданский коллектив Херсонеса не был изолирован от контактов с ближними и дальними варварскими племенами. Хорошо известно место Херсонеса в экономике Северного Причерноморья — достаточно вспомнить, что поставки вина в Скифию из Херсонеса на рубеже IV-III вв. до н.э. достигали весьма солидных размеров. Надо полагать, что и город в обмен за вино получал интересующие его товары. Так что контакты, и весьма тесные, конечно же, существовали, однако при этом они не вели к проникновению в город инородных культурных традиций и, по всей видимости, носителей таких традиций. Речь идет о специфическом, пожалуй, уникальном во всем Северном Причерноморье способе взаимодействия с варварским окружением, при котором влияние со стороны варваров на культуру горожан если и не исключалось полностью, то сводилось до минимума. Быть может, и в этом проявляется особенность дорийской гражданской общины.

Нельзя не вспомнить слова Плиния о Херсонесе, который, по его мнению, «был самым блестящим пунктом на всем этом пространстве благодаря сохранению греческих обычаев» (Plin. N.H., II,85).

Греки и варвары в Северо-Западном Крыму: проблема взаимодействий

Первая греческая колония на побережье Северо-Западного Крыма — Керкинитида, время ее основания — вторая половина VI в. до н.э. Немногочисленные материалы середины-третьей четверти VI в. до н.э., встречающиеся при раскопках городища Керкинитиды, как будто позволяют связать появление поселения на берегу Каламитского залива с миграционной волной из Ионии после разгрома ее персами в 545 г. до н.э. (Кутайсов 1990: 143). Обнадеживает, что эти ранние материалы происходят из стратиграфического горизонта конца VI — начала V вв. до н.э., который перекрывает первые землянки, но предшествует наземному домостроительству (Кутайсов 1990: 39). Учитывая, что наиболее древние напластования Керкинитиды подтоплены грунтовыми водами и пока недоступны для исследований, следует признать вероятность датировки основания города третьей четвертью VI в. до н.э. реальной.

Во всяком случае, раскопки Керкинитиды, проводившиеся в 80-е годы, не оставляют сомнений в том, что ко времени составления Гекатеем Милетским «Землеописания», где упоминается Керкинитида, город действительно уже существовал. Можно считать окончательно

закрытой дискуссию о времени возникновения этого поселения.

Важным обстоятельством является признание Керкинитиды ионийской апойкией, это следует из анализа граффити, выполненных на ионийском диалекте, и подтверждается некоторыми другими данными: характером денежного обращения, приемами застройки, культами (Кутайсов 1992: 47).

О раннем периоде жизни поселения на Карантинном мысу известно немного, нижние наиболее древние слои поселения, как уже указывалось, подтоплены грунтовыми водами и по этой причине недоступны для изучения. Установлено, что с момента основания и до конца первой трети V в. до н.э. Керкинитида, так же как и ранняя Ольвия, была застроена грунтовыми жилыми и хозяйственными сооружениями — землянками и полуземлянками. Причем в обоих центрах исследователи отмечают в пределах городской территории определенную регламентацию в размещении такого рода сооружений (Крыжицкий 1982: 11-12; Кутайсов 1992: 48).

Радикальные изменения фиксируются в Керкинитиде в 70-60-е годы V в. до н.э.: в это время возводятся первые крепостные стены города, пространство внутри них разбивается на кварталы по строго регулярной планировочной схеме, близкой к гипподамовой. В этом отношении Керкинитида наряду с Березанским поселением демонстрирует один из ранних и очень показательных примеров регулярной застройки площади города (Крыжицкий 1993: 56). В указанное время завершается переход от грунтовых жилищ и хозяйственных структур к возведению сырцово-каменных наземных многокамерных зданий.

Судя по всему, Керкинитида до конца V в. до н.э. оставалась единственным эллинским пунктом на всем северо-западном побережье Крымского полуострова — одновременных ей памятников в этом районе пока не известно. Этот ранний период освоения эллинами Северо-Западного Крыма изучен явно недостаточно. Можно строить лишь догадки о размерах и степени освоения ближайшей к городу округи, о том, как далеко простирались экономические интересы гражданской общины керкинитов; однако несомненным остается тот факт, что в условиях Северо-Западного Крыма для Керкинитиды существовали неограниченные возможности расширения границ полиса. Между тем вплоть до конца V в. до н.э. мы не располагаем никакими сведениями об освоении ближайшей к городу территории, не говоря уже о расширении полисных границ. Разумеется, необходимо учитывать скромные возможности самого гражданского коллектива города, но не исключено, что росту территории полиса препятствовали внешние факторы, в частности, его варварское окружение, контролировавшее основную территорию полуострова.

Керкинитида, так же, как и Ольвия, располагалась на крайней южной границе Скифии. Оба эти полиса в силу своего географического положения были непосредственно связаны с миром кочевников и не могли оставаться в стороне от событий и процессов, происходящих в степной зоне Северного Причерноморья (Виноградов, Марченко 1991). В этом отношении весьма показательна история Ольвийского полиса в V в. до н.э.: здесь после бурного расцвета сельской округи в конце VI — начале V вв. до н.э. в конце 70-х годов V в. до н.э. происходит резкая редукция хоры и запустение подавляющего числа сельских поселений (Крыжицкий, Буйских, Бураков, Отрешко 1989: 94).

Восстановление сельской территории Ольвийского государства начинается только в последней четверти V в. до н.э. Указанные события вполне обоснованно увязываются с изменениями, происходящими в степной Скифии (Доманский 1981: 157-162), иными словами, именно «варварский фактор» сдерживал на протяжении 50-70 лет V в. до н.э. развитие Ольвийского полиса.

Надо полагать, что в подобной или очень близкой ситуации могла быть и Керкинитида.

В отличие от Ольвии, где нет прямых свидетельств зависимости города от варваров, в Керкинитиде такое свидетельство имеется. Речь идет о недавно найденном эпиграфическом документе — письме Апатурия Невмению, где содержится упоминание об уплате дани скифам (Соломоник 1987; Кутайсов 1992). Текст процарапан на черепке фасосской амфоры третьей четверти V в. до н.э. Условия находки и палеография указывают на последнюю четверть V в.-рубеж V-IV вв. до н.э. как на наиболее вероятное время нанесения надписи. Ввиду несомненной важности приведем текст документа полностью в переводе Э.И.Соломоник с дополнениями Ю.Г.Виноградова: «Апатурий Невмению. Соленую рыбу свези домой и равное количество связок для нее; и пусть никто не занимается твоими делами; и, конечно, тщательно следи за волами; и узнай, кто будет платить дань скифам».

Для нас в числе повседневных хозяйственных распоряжений чрезвычайно важными являются сведения о выплате дани скифам. Правда, неизвестно, как часто и в какой форме производились выплаты, но то, что они имеют место, заставляет допускать наличие определенного рода соглашений, договоренностей на этот счет. Следовательно, предположение о существовании некоей зависимости греческих городов от местных варваров в виде протектората или в какой-то иной форме, как видно на примере Керкинитиды, отнюдь не беспочвенно (см., например: Виноградов 1989: 90-109).

Какое-то количество выходцев из варварской среды проживало непосредственно и в самом городе, о чем свидетельствуют находки в

культурных слоях поселений лепной керамики. Напомню, что именно обнаружение обломков лепных чернолощеных сосудов с резным и гребенчатым орнаментом в процессе исследования жилого дома начала V в. до н.э. в центральной части Евпаторийского городища и привело к заключению о существовании на месте Керкинитиды предшествовавшего ей варварского поселения (Наливкина 1957: 267; 1959: 184; 1963: 55). Впоследствии было показано, что обломки лепных чернолощеных сосудов с резным и гребенчатым орнаментом связаны исключительно со строительными комплексами античной Керкинитиды (Голенцов 1981: 230-231; Кутайсов 1987: 24-40) и что, следовательно, предположение о догреческом варварском поселении на месте города не соответствует реальной археологической ситуации.

Специальное исследование этой группы керамики показывает, что, вопреки распространенным представлениям, количество обломков посуды такого рода не так уж и велико — всего за годы раскопок учтено 219 обломков от 63-65 условно целых сосудов, они составляют «ничтожное количество в сравнении с общим объемом античного материала из раскопок Керкинитиды» (Кутайсов 1987: 35). Весьма важны и два других наблюдения. Из достаточно обширной номенклатуры категорий сосудов кизил-кобинской керамики, распространенной на памятниках горного и предгорного Крыма, в керамическом комплексе Керкинитиды представлены все категории: горшки, сосуды реповидной формы, чашки, черпаки, кубки, кувшины (Кутайсов 1987: 29). Это позволяет характеризовать связи города с областью расселения таврских племен как непосредственные. Второе наблюдение хронологического порядка — подобная керамика встречается преимущественно в ранних слоях города: с начала V в. до н.э. и до третьей четверти IV в. до н.э., в более позднее время обломки ее единичны (Кутайсов 1987: 35). Логично связать сокращение присутствия лепной лощеной керамики кизил-кобинских типов в слоях Керкинитиды с начавшейся в это время экспансией Херсонеса в Северо-Западный Крым, повлекшей за собой изменения в традиционных связях города.

Повышенный интерес к кизил-кобинской керамике привел к тому, что из поля зрения исследователей как бы выпала лепная керамика скифского облика, которая, кстати сказать, встречается в тех же слоях и комплексах, что и чернолощеная керамика. Более того, с исчезновением с конца IV в. до н.э. таврских образцов в лепной керамике доминирует скифская степная (Кутайсов 1991: 75). Таким образом, в керамическом комплексе Керкинитиды фиксируется два вида лепной керамики: керамика степных форм, традиционно связываемая с кочевыми скифами, и чернолощеная керамика с резным и гребенчатым орнаментом, распространенная в горном и предгорном Крыму, где обитали тавры письменных источников.

Следующий период освоения эллинами побережья Северо-Западного Крыма начинается в конце V или на рубеже V-IV вв. до н.э.; он продолжается до времени включения этих территорий в состав Херсонесского государства, происшедшего не ранее конца третьей четверти IV в. до н.э.

Несмотря на то, что для сколько-нибудь полной характеристики этого периода материалов пока тоже недостаточно, тем не менее его основные черты обозначить можно уже сегодня.

Прежде всего, необходимо отметить изменения, происходящие вокруг Керкинитиды и в самом городе. Если верны датировки авторов раскопок, то можно говорить о появлении в ближайшей округе Керкинитиды целой серии поселений, возникающих в конце V — первой половине IV в. до н.э. Самый южный из этих памятников — поселение Ново-Федоровка, где отмечены материалы конца V — первой половины IV вв. до н.э. (Ланцов 1994: 92). К указанному времени относят возникновение таких поселений, как Кара-тобе, Маяк 2 (Колесников 1985; Колесников, Яценко 1989: 58). К числу ранних нужно причислить сельскую усадьбу с круглой башней, открытую П.И.Филонычевым и доследованную М.А.Наливкиной, где найдены материалы конца V — начала IV вв. до н.э. (Наливкина 1953: 133). Усадьба гибнет не позже третьей четверти IV в. до н.э. (Колесников 1985).

Второй четвертью IV в. до н.э. датируется возведение «фактории» на поселении Чайка. Однако строительные остатки, открытые в районе 4-й башни, со всей очевидностью показывают, что здание фактории возведено на развалинах более ранних строительных комплексов, относящихся, скорее всего, еще к V в. до н.э. (Карасев 1967: 215; Карасев 1966: Л.40, 50), а быть может, и к еще более раннему времени, если учитывать находку родосской тарелки середины-третьей четверти VI в. до н.э. на дне моря напротив памятника (Карасев 1965: Л.30).

В настоящее время нет никаких серьезных оснований связывать появление всех этих памятников с деятельностью каких-то иных полисов (ср.: Колесников, Яценко 1989; Щеглов 1986), за исключением Керкинитиды. Думается, что их появление отражает начальный этап сложения керкинитидской сельскохозяйственной области. Этот вывод следует не только из того, что эти памятники расположены вблизи полисного центра, но и в несомненной общности некоторых строительных приемов.[16]

Надо полагать, перестройка крепостных

[16] Стена № 4 1-го строительного периода на поселении Ново-Федоровка покоится на слоевом основании; ближайшие аналогии этому строительному приему для этого времени можно найти только в Керкинитиде (Кутайсов 1990). Отметим, что возведение стен на слоевых основаниях не получило развития в херсонесской строительной практике ни в самом городе, ни на памятниках хоры.

стен, расширение территории, интенсивное строительство в городе и одновременное (или вскоре вслед за этим) появление поселений на ближайшей к городу земледельческой округе связаны с процессами изменений как во внутренней жизни самого полиса, так и в его взаимоотношениях с варварским окружением.

Об изменении общей ситуации говорит и начавшееся на рубеже V-IV — в первой половине IV вв. до н.э. заселение северного побережья Тарханкутского полуострова. Среди памятников этого региона назовем прежде всего Калос Лимен, точнее, то небольшое поселение, которое существовало на его месте.Предположение о более ранней начальной дате Калос Лимена уже высказывалось в литературе, правда, без опоры на конкретный археологический материал (Щеглов 1986: 166. Прим.35; 1990: 39). Давно известны находки из некрополя Калос Лимена, правда, большей частью случайные, но они старше общепринятой даты основания города как минимум на 30-40 лет. Исследования этого памятника Западнокрымской экспедицией ИА НАН Украины, проведенные в последние годы, открывают возможность обоснованного пересмотра хронологии Калос Лимена (Кутайсов, Уженцев 1997: 46). Исследователи отмечают, помимо всего, близость строительной техники и толщины восточной куртины Калос Лимена с оборонительной стеной середины IV в. до н.э. на западной окраине Керкинитиды (Кутайсов, Уженцев 1994: 51).

Скорее всего, в круг ранних памятников нужно включать и Караджинское городище, из некрополя которого происходили ранние вещи (Щеглов 1986: Прим.35). Разумеется, что это только догадка, поскольку сами вещи утрачены, но, судя по облику погребальных сооружений некрополя этого городища, по подкурганным склепам из камня, которые хорошо сохранились до настоящего времени, они принадлежат действительно ко времени не позже середины-третьей четверти IV в. до н.э., позднее подобные сооружения в Северо-Западном Крыму уже неизвестны. Вместе с тем, если подтвердится локализация на месте этого городища Дандаки, восстанавливаемой в последней строке списка Понтийского податного округа (Кутайсов 1990: 149), то возможно, что поселение нужно будет относить к еще более раннему времени.

На рубеже V-IV вв. до н.э. на берегу Ярылгачской бухты в Северо-Западном Крыму основывается поселение Панское I. Как установлено, поселение и могильник, расположенный рядом, существуют на протяжении всего IV в. до н.э. и первую треть III в. до н.э., в конце указанного периода поселение гибнет, и жизнь на нем уже более не возобновляется.

Естественно, что наиболее важным представляется начальный период в жизни поселения, к сожалению, остающийся почти не изученным. Тем не менее, следует отметить наличие небольшого, но отчетливо выраженного временного разрыва между наиболее ранними комплексами некрополя и материалом из древнейшего слоя поселения: серия наиболее ранних могил некрополя датируется в пределах рубежа V-IV вв. до н.э. — первой четверти IV в. до н.э., что по меньшей мере на четверть века старше вещей из древнейшего слоя поселения. Отмеченный разрыв в датировке представляет собой необычное, пожалуй даже, исключительное явление, поскольку целая серия памятников в Северном Причерноморье демонстрирует обратную картину — материал из наиболее ранних погребальных комплексов всегда несколько позднее материалов из древнейших слоев поселений. Имеющиеся хронологические несовпадения между ранними комплексами поселения Панское I и его могильника, скорее всего, говорят о том, что наиболее ранние строительные комплексы поселения пока еще не открыты.

Возведение четырехбашенного форта на поселении относится, думаю, к концу первой четверти IV в. до н.э. Первая существенная перепланировка здания, возможно, связанная с устранением последствий пожара, может быть датирована достаточно точно материалами колодца, функционировавшего на протяжении всего первого строительного периода в одном из помещений, засыпанного и перекрытого стеной во время перепланировки. В керамическом комплексе из колодца к числу наиболее поздних принадлежат обломки скифосов (типа АА, 352), а также несколько обломков сетчатых лекифов с орнаментом характерным для сосудов не ранее середины — конца второй четверти IV в. до н.э. Именно эти наиболее поздние вещи и заставляют датировать первую перестройку четырехбашенного укрепления У7 временем не ранее конца второй четверти IV в. до н.э. (ср.: Щеглов 1985: 85; 1986: 166).

Такая датировка событий хорошо коррелирует с изменениями, фиксирующимися в погребальном обряде некрополя, которые происходят также во второй четверти столетия (Рогов 1989: 102).

Материалы некрополя позволяют ответить и еще на один чрезвычайно важный вопрос о происхождении первопоселенцев Панского I. К самому раннему пласту погребений некрополя принадлежит серия подбойных могил, которые по своему устройству, размерам, характеру размещения погребального инвентаря, типам закладов подбоев имеют прямые аналогии в городском некрополе Ольвии. Надо заметить, что в могильниках сельской округи Ольвии этот тип погребальных сооружений становится известен сравнительно поздно — не ранее второй четверти IV в. до н.э., хотя некоторые исследователи относят появление подбоев на хоре Ольвии даже ко 2-й половине IV в. до н.э. (ср.: Снытко 1988: 103). Отмеченное обстоятельство, а

также ряд других наблюдений (Щеглов, Рогов 1985) позволяют связать появление поселения Панское I непосредственно с деятельностью в этом районе Крыма выходцев из самого города Ольвии.

Постепенное накопление материалов конца V — первой половины IV вв. до н.э., свидетельствующих об освоении побережья Северо-Западного Крыма в это время, подводит к постановке и попыткам решения вопроса о том, какими полисами проводилось заселение побережья. Прямых свидетельств, за исключением упомянутых нами выше в отношении поселения Панское I, не существует, однако догадки и предположения, основанные на соображениях общего порядка, высказывались.

Что касается памятников, открытых вблизи Керкинитиды, то, как уже упоминалось, есть серьезные основания связывать их с деятельностью именно этого полиса.

Вместе с тем, некоторые исследователи связывают появление поселений Маяк-2, Чайка, Кара-тобе с экспансией Херсонеса в этот район. Правда, в этом случае приходится допускать, что освоение Северо-Западного Крыма Херсонесом началось со второй четверти IV в. до н.э. и с земель этого района (Колесников, Яценко 1989: 58). К этому же времени относит начало проникновения Херсонеса в Северо-Западный Крым и А.Н.Щеглов (Щеглов 1986; Виноградов, Щеглов 1990). К этому вопросу мы вернемся ниже, а пока сжато изложим точку зрения, предложенную сравнительно недавно и отражающую заинтересованность Гераклеи в хлебных равнинах Северо-Западного Крыма. Согласно ей, херсонесскому этапу освоения Северо-Западного Крыма предшествовал гераклейский, с ним связано возведение гераклейского эмпория в конце V — начале IV вв. до н.э. на месте поселения Чайка с целью распространения гераклейского влияния на племена Западной Таврики (Сапрыкин 1986: 93). Заинтересованность Гераклеи в землях Северо-Западного Крыма могла появиться вследствие неудач Феодосии в войне с Боспором и утратой влияния Гераклеи в Восточном Крыму (Сапрыкин 1986: 96). Интерес Гераклеи к событиям, происходящим в Таврике, равно как и во всем Северном Причерноморье, судя по многочисленному импорту из этого полиса, не мог не иметь места, поэтому логично допустить, что после утраты Гераклеей возможности получать хлеб из Восточного Крыма через Феодосию, она была вынуждена искать иные источники удовлетворения своих нужд. В этой ситуации земли Западного Крыма могли и, пожалуй, должны были рассматриваться гераклеотами в качестве потенциального поставщика хлеба.

Эти вопросы заслуживают самого серьезного внимания и углубленной проработки, однако сегодня для более или менее удовлетворительного ответа на них данных все же недостаточно.

Вернемся все же к проблеме освоения Северо-Западного Крыма ольвиополитами. Можно, пожалуй, согласиться с предостережениями о чрезмерно расширительной трактовке участия Ольвии в освоении Северо-Западного Крыма (Ланцов 1994: 93). Ввиду отсутствия на всех остальных ранних памятниках Северо-Западного Крыма бесспорных свидетельств присутствия ольвиополитов выделение «ольвийского этапа» в освоении земель северо-западной Таврики, по-видимому, пока преждевременно. К этому можно добавить и другие соображения.

Общеизвестно, что так называемая реколонизация хоры Ольвии, т.е. возрождение жизни на большинстве сельских поселений ольвийской округи, приходится на первое десятилетие IV в. до н.э. (Крыжицкий, Буйских, Бураков, Отрешко 1989: 99), хотя первые признаки возрождения относятся к более раннему времени — V в. до н.э. Имеются серьезные основания отодвинуть начало процесса даже в третью четверть V в. до н.э. Наиболее ранние вещественные находки и строительные комплексы на поселениях Старая Богдановка 2, Козырка 12-южная, Чертоватое 7 показывают, что робкие ростки возрождения ольвийской сельской округи начинаются именно в третьей четверти V в. до н.э. Этот постепенно набиравший силу процесс достигает наибольшего размаха на рубеже V-IV вв. до н.э. — в начале IV в. до н.э. На фоне активного освоения как ближайшей к Ольвии территории, так и земель, удаленных от города на 30-40 км к северу и югу, учитывая отсутствие каких-либо ограничений расширения земельного фонда города, возможность, а главное, необходимость приобретения дополнительного земельного фонда в Северо-Западном Крыму, куда менее плодородном, нежели Нижнее Побужье, выглядит крайне сомнительно

Нельзя пройти мимо и другого чрезвычайно важного обстоятельства: четырехбашенный форт на берегу Ярылгачской бухты ни по планировке, ни по своим строительным приемам не имеет параллелей на памятниках ольвийской хоры. Более того, он демонстрирует полную противоположность всему тому, что мы знаем о сельских памятниках Ольвии этого времени.

Разведки и стационарные раскопки ольвийских сельских поселений показывают, что с самого начала возрождения жизни на них — в V в. до н.э. и на протяжении всей первой половины IV в. до н.э. — они застраивались в основном грунтовыми жилыми и хозяйственными сооружениями — землянками и полуземлянками. Только около середины IV в. до н.э. намечается переход к наземному сырцово-каменному строительству (Головачева, Марченко, Рогов, Соловьев 1991: 71). Однако ни в первой, ни даже во второй половине IV в. до н.э. ничего подобного четырехбашенному укреплению Панского на

хоре Ольвии нет. Именно поэтому приходится признать исключительный, особый характер этой четырехбашенной постройки, никак не связанной с процессами формирования земледельческой базы Ольвии.

Скорее всего, возникновение форта на Панском следует рассматривать в контексте бурных политических событий, происходивших в Ольвии в конце V — начале IV вв. до н.э.

Итак, как мы видим, существуют различные предположения о том, кто и как осваивал Северо-Западный Крым в первой половине IV в. до н.э. Однако, какую бы точку зрения мы ни приняли, в любом случае придется признать: колонизация побережья не была сплошной, поселения, появившиеся в Северо-Западном Крыму в это время, были небольшими и были удалены друг от друга на значительное расстояние. Вопрос же о том, каким из полисов проводились мероприятия по освоению побережья, в настоящее время не может быть решен однозначно: для этого пока слишком мало достоверных данных. Безусловно, его решение осложняется еще и тем, что исследователи вольно или невольно рассматривают этот регион как единое целое, в то время как таковым он становится только в конце IV в. до н.э. в составе Херсонесского государства. Проецирование на первую половину IV в. до н.э. ситуации конца столетия не может не заслонять действительное положение вещей. Не исключено, что Северо-Западный Крым был областью интересов сразу нескольких полисов, и все они в какой-то мере причастны к освоению его земель.

Следующий, третий и последний, период освоения эллинами Северо-Западного Крыма несомненно связан с интенсивной колонизационной деятельностью Херсонесского полиса.

Еще совсем недавно начало проникновения Херсонеса в этот район датировалось большинством исследователей последней четвертью и даже концом IV в. до н.э. и ставилось в связь с событиями в степной Скифии (Щеглов 1976: 82). Считалось, что благоприятные условия для колонизации Северо-Западного Крыма Херсонесом сложились после гибели скифского царя Атея и последовавшим за этим ослаблением Скифской державы (Щеглов 1978: 119). Правда, как тогда, так и теперь нет полной уверенности в том, что владения Атея охватывали всю степную зону Северного Причерноморья, и в том числе Северо-Западный Крым (см.: Шелов 1971. Здесь изложены две точки зрения на величину державы Атея и соответствующая библиография).

В последнее время все чаще звучит утверждение о том, что экспансия Херсонеса в этот район началась значительно раньше — еще во второй четверти IV в. до н.э. (Колесников, Яценко 1989: 58; Щеглов 1986) и что, по всей видимости, Херсонес столкнулся в Северо-Западном Крыму не со Скифией, а с Ольвией, вооруженный конфликт с которой, закончившийся победой Херсонеса, произошел около середины IV в. до н.э. (Виноградов, Щеглов 1990: 323-324).

Остановимся на этой проблеме более подробно. Начнем с последнего из предположений — конфликта между Херсонесом и Ольвией. Выше уже было показано, что присутствие ольвиополитов в Северо-Западном Крыму достоверно установлено лишь для одного памятника, поэтому, если допускать вероятность конфликта, то его заранее следует ограничить рамками только этого поселения.

В процессе исследования четырехбашенного здания форта на Панском было выделено два стратиграфических горизонта, каждый из которых включает по два строительных периода. Только во втором, позднем стратиграфическом горизонте фиксируются типично херсонесские особенности (Щеглов 1985: 84). Следовательно, вопрос смены раннего стратиграфического горизонта поздним весьма важен. Оба строительных периода раннего стратиграфического горизонта, а также и сами стратиграфические горизонты отделены друг от друга слоями пожаров, правда, в обоих случаях из-за небольшой величины исследованных площадей невозможно сказать определенно, были ли пожары общими для поселения или локальными. Как было показано выше, первый пожар и смена строительных периодов должны быть отнесены не к рубежу первой и второй четвертей IV в. до н.э., а к концу второй четверти этого столетия. Учитывая продолжительность второго строительного периода, время второго пожара и соответственно смена стратиграфических горизонтов в таком случае приходится на середину или даже конец третьей четверти IV в. до н.э.Таким образом, третья четверть, а скорее — ее конец, является тем рубежом, после которого херсонесское присутствие начинает явно ощущаться в материале (ср. одновременный этому слой пожара в Калос Лимене: Кутайсов, Уженцев 1997: 46). Этот вывод находит прямое подтверждение и в материалах некрополя, где херсонесские погребальные традиции проявляются только в последней четверти IV в. до н.э. (Рогов 1988: 89; 1989: 102; 1998).

О том, что поселение Панское I находилось под юрисдикцией Ольвии, а не Херсонеса, свидетельствует выписка из ольвийского декрета в честь двух афинян (НО 5), сделанная на обломке чернолаковой чаши, найденной при раскопках зольного холма на западной окраине У7 (Виноградов 1990: 57-64). Сам документ, из которого сделана выписка, датируется издательницей временем не ранее середины IV в. до н.э. (Леви 1958: 234. Табл. I.1; НО 5). Близкая датировка — 40-30-е годы — разносторонне обоснована Ю.Г.Виноградовым (Виноградов 1990: 58). Издатель граффито справедливо отметил, что сама чаша по форме и тусклому лаку с большой натяжкой может быть отнесена к третьей

четверти IV в. до н.э.: такие сосуды более характерны для конца этого столетия и для начала следующего, и что выписка имела raison d'être только в том случае, если на эту территорию распространялась юрисдикция Ольвии (Виноградов 1990: 56, 59).

Перечисленные выше доводы заставляют склоняться к мысли, что если конфликт между Ольвией и Херсонесом и имел место, то, во всяком случае, не ранее конца третьей четверти IV в. до н.э., и вряд ли в него был вовлечен весь Северо-Западный Крым.

Все свидетельства, приводимые для обоснования экспансии Херсонеса в Северо-Западный Крым еще во второй четверти IV в. до н.э., при ближайшем рассмотрении оказываются несостоятельными. Наиболее значимые из них — херсонесская фактория на Чайке, раннее размежевание земель в районе Евпаторийского маяка и новый период строительства в Керкинитиде с характерными херсонесскими признаками (Виноградов, Щеглов 1990: 322).

В действительности, здание «фактории», открытое А.Н.Карасевым на Чайке, никогда и никем не было убедительно атрибутировано как херсонесское. Анализ отчетов, хранящихся в архиве ИИМК РАН, показывает, что стратиграфия здания не проста и не однозначна — это неоднократно подчеркивалось А.Н.Карасевым, и что первоначально здание «фактории» (термин, употребляемый автором раскопок условно) жилым не было, имело общественный характер. Ясно, что херсонесским оно именовалось первооткрывателем тоже условно.

Серьезным доводом херсонесского присутствия в Северо-Западном Крыму, казалось бы, является открытие в 1983-1985 гг размежевки в районе Евпаторийского маяка. Между тем авторы раскопок отмечают значительный разброс в датах и невозможность стратиграфически установить синхронность раннего материала устройству виноградника, поскольку керамические обломки происходят из подсыпок, грунт для которых брался из зольника поселения, существовавшего где-то поблизости (Колесников, Яценко 1989: 58). Однако главное препятствие для атрибуции этого виноградника как херсонесского состоит в том, что «по способу устройства и функциям он не имеет ничего общего с виноградниками Гераклейского и Тарханкутского полуостровов» (Колесников, Яценко 1989: 58). В подробной публикации материалов раскопок хоть и отмечается, что по планировке маякский виноградник имеет много аналогий на Гераклейском и Тарханкутском полуостровах и интерпретируется как херсонесский (Колесников 1998: 128), однако анализ выявляет его резкое отличие от плантажей, распространенных на Гераклейском полуострове. Более того, если принимать дату его возникновения — вторая четверть IV в до н. э., — то он синхронен размежевке Маячного полуострова, а учитывая высокую степень стандартизации, свойственную херсонеситам при обустройстве своего земельного фонда, имеющиеся различия становятся просто необъяснимыми. Равным образом серьезные различия выявляются и в сортах произраставшего здесь винограда, семена которого «по величине главных параметров существенно отличаются от семян, обнаруженных на усадьбах Гераклейского полуострова» (Колесников 1998: 136).

Противоречие не устраняется предположением о том, что освоение Северо-Западного Крыма производилось «силами переселенцев из Малой Азии и других областей греческого мира», которые и принесли иные, чем в Херсонесе, сорта винограда, а помимо этого — и «многие элементы материальной и духовной культуры (в сельском хозяйстве, производстве, погребальной обрядности, культах и пр.)», неизвестные в самом Херсонесе.

В действительности никаких данных ни о самих переселенцах, ни о принесённых ими элементах «новой» культуры не существует

В противоположность этому, виноградные плантации в окрестностях Калос Лимена и у мыса Ойрат демонстрируют удивительное единство как агротехнических приемов, так и семян именно с наделами Гераклейского полуострова (Щеглов 1978: 111-112; Янушевич и др.1982: 307 и сл.). Все это заставляет признать очевидный факт: виноградник у Евпаторийского маяка был устроен в иных, нежели распространенные в Херсонесе, агротехнических традициях и ещё до времени активного освоения херсонеситами побережья Северо-Западного Крыма.

И, наконец, остановимся на тезисе о новом периоде строительства в Керкинитиде с характерными херсонесскими признаками. В датировке начала этого периода не следует все же пренебрегать данными, полученными В.А.Кутайсовым в последние годы раскопок памятника. Специальное исследование этого вопроса показывает, что нарастание херсонесских черт в материальной культуре Керкинитиды происходит со времени не ранее конца третьей четверти IV в. до н.э. (Кутайсов 1990: 157), что корреспондирует и с материалами Калос Лимена (Кутайсов, Уженцев 1997: 46).

Попутно отметим, что постоянно упоминаемые в литературе херсонесские черты, херсонесские признаки в приложении к первой половине — середине IV в. до н.э. весьма призрачны, о таковых по существу можно говорить не ранее последней трети — последней четверти IV в. до н.э. Памятники Северо-Западного Крыма более раннего времени в Херсонесе просто не с чем сравнивать.Напомним, что в наиболее хорошо изученном северо-восточном районе Херсонеса в конце V и всю первую четверть IV в. до н.э. существуют заглубленные в скалу жилые и хозяйственные сооружения, подобные земляночным структурам (Золотарев 1990: 68-76). Строительные остатки наземных сооруже-

ний второй четверти IV в. до н.э. дошли в столь плачевном состоянии, что ни о каких сопоставлениях со зданиями, подобными фактории на Чайке в Северо-Западном Крыму, не может быть и речи (ср.: Золотарев 1988: 50-52). И только с последней четверти IV в. до н.э., когда окончательно формируется облик города, ведется массовое строительство усадеб на Гераклейском полуострове, становится возможным выявление специфически херсонесских признаков. То же самое мы наблюдаем при анализе погребального обряда некрополей Северо-Западного Крыма, где вплоть до последней четверти IV в. до н.э. никаких погребальных традиций, присущих некрополю Херсонеса, не выделяется (Рогов 1988; 1998; Кутайсов, Ланцов 1989: 33-34).

К сказанному выше добавим, что большую часть IV в. до н.э. Херсонес оставался весьма небольшим как по площади, так и по числу проживающих в нем жителей полисом и вряд ли был способен на сколько-нибудь активные и серьезные самостоятельные мероприятия в достаточно удаленном Северо-Западном Крыму.

Для подтверждения раннего присутствия Херсонеса в Северо-Западном Крыму и его военного конфликта с Ольвией приводятся свидетельства нумизматики как Херсонеса, так и Керкинитиды (Щеглов 1986: 170; Виноградов, Щеглов 1990: 326; Столба 1990). Это и является побудительной причиной для краткого анализа и этой группы материала.

Обращение к столь большой, сложной и давно изучаемой теме, как монеты Херсонеса и Керкинитиды, требует определенных ограничений. Мы не станем останавливаться на монетных выпусках Керкинитиды V в. до н.э., ограничимся лишь констатацией того, что на протяжении всего этого столетия монетное дело этого полиса развивалось и эволюционировало в том же направлении, что и в других городах Северо-Западного Причерноморья, прежде всего, Ольвии (Кутайсов 1992: 138). Выпуск собственной монеты в Керкинитиде прекращается, очевидно, в последней четверти V в. до н.э., хотя литые монеты, выпущенные ранее, продолжают находиться в обращении еще и в начале IV в. до н.э. (Кутайсов 1992: 140; Анохин 1989: 82).

С начала IV в. до н.э. денежный рынок Керкинитиды заполняют иногородние монеты, ведущее место среди которых принадлежит монетам соседнего Херсонеса.

Прекращение выпуска собственных денег не может трактоваться иначе, как утрата полисом самостоятельности. При каких обстоятельствах и по каким причинам это происходило, не ясно.

Прекращение выпуска полисных монет и нарастающее поступление денег из Херсонеса пытаются рассматривать как политическое подчинение Керкинитиды Херсонесу (Анохин 1989: 84). Однако такое объяснение нельзя считать удовлетворительным, во-первых, потому, что литье монет в Керкинитиде прекращается еще до того, как Херсонес начинает бить собственную монету. Кроме того, хотя в структуре денежной массы Керкинитиды представлены монеты многих выпусков Херсонеса, тем не менее анализ показывает, что поступление их началось не ранее второй четверти столетия. И, во-вторых, не следует забывать, что Херсонес всю первую половину IV в. до н.э. по причине своей слабости и неразвитости вряд ли был в состоянии подчинить Керкинитиду.

Как известно, в конце V в. до н.э. город платил дань скифам. Логичнее всего связать утрату политической независимости Керкинитиды в конце V в. до н.э. с ужесточением зависимости от какой-то местной скифской орды. Нельзя ли рассматривать предпринятую в это время реконструкцию оборонительных сооружений города как неудавшуюся попытку противостоять утрате независимости?

Возобновление выпуска монет относят ко времени не ранее середины IV в. до н.э. Чеканных серий монет Керкинитиды известно в настоящее время всего пять, последовательность их такова: Крылатая Ника с пальмовой ветвью, надпись KAPK/Лев, терзающий быка, под сценой терзания палица Геракла и надпись HEPAKΛ; голова богини (Тихе?)/всадник на лошади, в руке копье, за спиной лук и колчан, внизу надпись KAPKINI и одно из имен магистратов HEPAK, HPONY, POΛYX; голова Геракла в львиной шкуре/орел на молнии, внизу надпись KAPKINI, над орлом одно из имен магистратов HEPAK, HPONI; бородатый скиф, сидящий на скале, надпись KEPKI/конь, под которым одно из имен чиновников; голова Артемиды, надпись KEP/олень с поднятой ногой и в сокращении имя чиновника.

В результате анализа серии чеканных монет города в одну нумизматическую серию из двух номиналов были объединены монеты двух последних выпусков (Карышковский 1953), впоследствии в такую же серию объединены монеты Тихе/всадник и голова Геракла/орел (Анохин 1989: 83; Столба 1989: 49-50; подробнее см.: Кутайсов 1990: 154-155). Таким образом, ныне выделяется всего три монетные эмиссии, причем большинство исследователей согласны с тем, что стилистически и технологически монетный чекан Керкинитиды неоднороден и состоит из двух эволюционно не связанных между собой групп — двух ранних эмиссий и одной поздней; между этими группами был хронологический разрыв (Кутайсов 1990; 1992; Столба 1990; ср.: Анохин 1989: 82-85).

Отмеченная выше особенность монетного дела Керкинитиды — не единственная. Помимо дискретного характера чеканки монет, необходимо отметить и еще один давно известный факт, а именно — отражение в сюжетах монет варварской тематики (Зограф 1951: 160). Наряду с этим, замечена зависимость монетного дела Керкинитиды от нумизматики Херсонеса

(Бурачков 1884: 90; Орешников 1892: 6 и сл.; Зограф 1951: 160), допускается даже возможность чеканки керкинитидских монет на монетном дворе Херсонеса или в Керкинитиде, но под контролем херсонесских чиновников (Медведева 1984: 47-49). Впрочем, типологические параллели в монетных чеканках обоих городов, очевидно, сильно преувеличиваются, по существу, они ограничиваются одним-единственным монетным типом (Анохин 1989: 85), в то же время влияние монетной чеканки Гераклеи на монеты обоих городов остается оцененным недостаточно.

Как в датировке двух ранних выпусков монет Керкинитиды, так и в трактовке их сюжетов содержится немало противоречий. Отметим только некоторые из них.

Первый, наиболее ранний выпуск керкинитидских монет с богиней победы Никой и львом, терзающим быка, очевидно, был немногочисленным. А.Н.Зограф обратил внимание на тождество фактуры этих монет с херсонесскими монетами серии из двух номиналов: квадрига/воин, двуликая голова/лев, терзающий быка (Зограф 1951: 161). Отталкиваясь от этого наблюдения, А.М.Гилевич предположила, что упомянутые монеты обоих городов выпущены по случаю победы над скифами в ходе подчинения Северо-Западного Крыма Херсонесом после поражения и смерти Атея в 339 г. до н.э. (Гилевич 1970: 6 сл.). Однако, придя к заключению, что притязания на Северо-Западный Крым встретили противодействие не скифов, а Ольвии, А.Н.Щеглов рассматривает одновременный выпуск монет с победными сюжетами в обоих городах как результат победы Херсонеса над Ольвией, причем на стороне первого выступила и Керкинитида (Щеглов 1986: 170-171; Виноградов, Щеглов 1990: 326).

Между тем очевидно, что начало чеканки Керкинитидой собственной монеты не означает ничего иного, как обретение полисом политической самостоятельности. В таком случае получается, что именно Ольвия, победа над которой с помощью Херсонеса принесла независимость Керкинитиде, и была виновницей утраты самостоятельности полиса. Вывод логичный, но совершенно не соответствующий исторической ситуации, тем более, что ни в сюжетах монет, ни в остальном археологическом материале нет даже намека на подобное развитие событий.

Пожалуй, стоит подробнее рассмотреть упоминавшиеся выше серии монет Керкинитиды и Херсонеса.

В херсонесской серии монеты старшего номинала несут на лицевой стороне изображение квадриги с возницей, держащим в руке бич, а на оборотной стороне помещен коленопреклоненный воин со щитом. Изображения на обеих сторонах монеты не оригинальны, а заимствованы, как установлено еще А.В.Орешниковым. Изображение лицевой стороны имеет параллели в сицилийских монетах, а сюжет оборотной имеет близкие соответствия в монетах Оронта и Кизика (Зограф 1927: 380 сл.). А.Н.Зограф считал связь лицевой и оборотной сторон очевидной, поскольку для них выбраны наиболее яркие типы агонистического характера, выпуск монет был осуществлен в связи с какими-то играми, проводившимися в городе по поводу неких торжеств (Зограф 1927: 391).

В смысловом отношении младший номинал не связан со старшим. Истолкование изображения двуликой головы, по словам А.Н.Зографа, вообще представляет значительные трудности, он допускал возможность видеть в нем изображение какого-то местного двуликого божества. Типу оборотной стороны — сцене терзания львом быка — давались самые разнообразные толкования: эпизод боя животных на состязаниях, аллегорическое изображение; однако наиболее вероятно видеть здесь, по мнению А.Н.Зографа, реальный, может быть, легендарный мотив (Зограф 1927: 396). Сопоставление сцены терзания на младшем номинале херсонесской серии с монетами Аканфа, Велии, династов юга Малой Азии и Кипра «убеждает в том, что при всей близости мотивов эти типы не дают полных аналогий херсонесским монетам ... Гораздо более решительные аналогии дают золотые четырехугольные бляшки из Чертомлыка» (Зограф 1927: 396). Думается, что это наблюдение нумизмата чрезвычайно важно.

Заметим, что вся серия монет совсем не обычна для херсонесской нумизматики: на обоих номиналах монет отсутствуют традиционно херсонесские монетные символы, зато имеющиеся изображения неизвестны в более раннее время и не повторяются в более позднее. Более того, одновременное или почти одновременное появление сюжета «благого» терзания на монетах сразу двух соседних городов — Керкинитиды и Херсонеса — при том, что этот сюжет в монетах городов Северного Причерноморья более не повторяется, представляет собой явление в высшей степени исключительное. Указание А.Н.Зографа на теснейшую стилистическую и композиционную связь изображений на керкинитидских и херсонесских монетах с бляшками из Чертомлыка открывает направление поиска смысловых аналогий.

Если сюжет терзания в греческом искусстве и нумизматике — явление эпизодическое, связанное главным образом с восточными влияниями, то в искусстве скифов, скифском зверином стиле, издревле это один из самых популярных и основных сюжетов, встречающихся на множестве вещей самого разного рода (Кузьмина 1976; 1976а.: 57, 61).

Думается, что обращение монетариев к кругу наиболее излюбленных скифских сюжетов, сочетание сцены «благого» терзания на оборотной стороне с изображением богини победы Ники на лицевой стороне монет первого выпуска Керкинитиды, возвещающего об обретении

городом независимости, ясно и однозначно указывает, над кем одержана победа и от чьей зависимости город освободился. Повторение этого сюжета на монетах младшего номинала херсонесской серии, учитывая, что это единственный случай обращения херсонесских монетариев к варварской тематике, заставляет рассматривать Херсонес в качестве основного союзника и, быть может, участника освобождения Керкинитиды.

Возможно, что имеющееся под сценой терзания на монетах Керкинитиды изображение палицы Геракла, символа постоянно присутствующего на монетах Гераклеи и Херсонеса, а также прямые заимствования изображений с монет Гераклеи времени тирана Сатира для второй серии керкинитидских монет (подробнее см.: Кутайсов 1992: 149) указывают на заинтересованность, поддержку и, быть может, участие в освобождении Керкинитиды от варварской зависимости не только Херсонеса, но и Гераклеи.

При определении даты монет первой серии в Керкинитиде, а следовательно, и возвращения городу независимости, связь их с монетной серией Херсонеса имеет первостепенное значение. Херсонесские монеты с квадригой и связанные с ними монеты младшего номинала всеми без исключения исследователями относятся ко второй половине IV в. до н.э., однако в пределах этого временного отрезка более точная хронологическая привязка определяется поразному.

Первоначально монеты с квадригой А.Н.Зограф относил к началу последней четверти или к предпоследнему десятилетию IV в. до н.э. (Зограф 1927: 387). Впоследствии он отодвинул начало их выпуска на одно-два десятилетия назад, т.е. ближе к началу второй половины IV в. до н.э. (Зограф 1951: 150). Этим же временем — 40-ми годами IV в. до н.э. — датировала упоминаемые монеты А.М.Гилевич (Гилевич 1970). В последние годы все большее признание находит датировка их серединой IV в. до н.э. (Анохин 1977: 22-25; Щеглов 1986: 170-171; Столба 1990; Кутайсов 1992), хотя некоторые нумизматы продолжают настаивать на более поздней датировке (Грандмезон 1982: 35). Как видим, бесспорной хронологической привязки в пределах второй половины IV в. до н.э. для этих монет нет.

Говоря о выпуске монет с квадригой в Херсонесе в честь спортивных игр, проводившихся по поводу каких-то праздничных торжеств, А.Н.Зограф считал их выпуск недолговременным, но обильным (Зограф 1951: 148), и это удачно подкрепляло его предположение об их праздничном характере. Дальнейшее изучение этой группы монет показало, что их чеканка осуществлялась на протяжении не менее двух десятков лет (Анохин 1977: 24). Отсюда возникают вполне справедливые сомнения в том, что их победный характер связан с победой над Ольвией и подчинением Северо-Западного Крыма. Вряд ли даже самая блестящая победа сохраняла свою актуальность на протяжении почти четверти века. Скорее можно предполагать, что торжества и связанные с ними состязания проводились по какому-то иному поводу, сохранявшему свою значимость на протяжении длительного времени. Таким поводом могло быть заключение союза между Херсонесом и Керкинитидой, в котором какое-то участие могла принимать и Гераклея.[17]

На наличие союзных отношений (симмахии) между Херсонесом и Керкинитидой обращается в последнее время самое пристальное внимание (Столба 1990; Виноградов, Щеглов 1990). Действительно, только в таком контексте становятся понятными строки 18-20 присяги херсонеситов, в которых говорится о злоумышляющих, или предающих, или склоняющих к отпадению Херсонес, Керкинитиду, Калос Лимен и пр. Упоминание в этом перечне Херсонеса, отпадение которого, наряду с прочими пунктами, допускается как потенциально возможное, делает предположение о наличии некоего союза весьма вероятным (Столба 1990: 152-153).

Вернемся все же к монетным выпускам Керкинитиды и Херсонеса. Как установлено, монеты с квадригой выпускались на протяжении длительного времени. Первоначально были выпущены монеты без буквенных обозначений, затем осуществлено три выпуска с сокращенными именами магистратов — НР; ΛΥ; ΣΑ, последовавшие за этим выпуски несут на себе буквенные обозначения от Α до Σ (Анохин 1977: 44). Младший номинал серии выпускался очень короткое время, на этих монетах известны сокращенные имена тех же чиновников, что и на монетах старшего номинала (Зограф 1927; Анохин 1977: 22). Это означает, что совместный выпуск монет старшего и младшего номинал осуществлялся только при этих чиновниках, притом очень короткое время и, что весьма важно, не с самого начала чеканки монет с квадригой. Если верна последовательность выпуска монет старшего номинала и верны наши рассуждения, то оказывается, что начало чеканки монет старшего и младшего номиналов не только не совпадают по времени, но и отчеканены они, вполне вероятно, по поводу разных событий.

С херсонесскими монетами младшего номинала в типологической и смысловой взаимосвязи находятся монеты Керкинитиды первого вы-

[17] Херсонес и Керкинитида — не единственные полисы в Северном Причерноморье, где в монетной чеканке отмечается влияние Гераклеи. Появление на монетах атрибутов или сюжетов, заимствованных с гераклейских монет, отмечается для монет Синдики, Фанагории, Феодосии, Тиры. Тесные параллели в монетной чеканке, по мнению исследователей, допускают наличие союзных отношений между Гераклеей и этими городами (см.: Максимова 1956: 164; Minns 1913: 559).

пуска с Никой и сценой терзания. По существу, они и только они являются победными монетами, поскольку в их сюжетах содержится недвусмысленное указание на то, по какому поводу они выпущены и над кем одержана победа, херсонесские же монеты лишь дублируют сюжет. Если монеты с квадригой отмечают заключение союза, то монеты с Никой в Керкинитиде и монеты с двуликой головой и сценой терзания в Херсонесе отражают первые реальные плоды деятельности этого союза.

В нумизматической литературе неоднократно подчеркивалась стилистическая близость монет Керкинитиды и Херсонеса, между тем она вполне понятна и объяснима. Приступая к возобновлению монетных выпусков, Керкинитида, естественно, не имела ни собственных мастеров, ни собственных резчиков штампов для монет. Весьма вероятно, что штампы для монет первых серий были заказаны уже известному и опытному резчику, не исключено, что тому же, кто резал штампы и для монет Херсонеса.

Таким образом, и монеты двух причерноморских городов не являются ясным и однозначным доказательством раннего проникновения Херсонеса в Северо-Западный Крым. Напротив, анализ монетных эмиссий показывает, что в середине — третьей четверти IV в. до н.э. Керкинитида и Херсонес выступали как союзники, очевидно, равные как по своему потенциалу, так и по своему значению.

Как бы там ни было, но последняя четверть IV в. до н.э. — важное время в истории Северо-Западного Крыма. Именно в это время все побережье от озера Кизил-Яр на юге и практически до Перекопского перешейка на севере покрывается сетью приморских поселений (Щеглов 1978: Рис.8). Типологически они отличаются друг от друга, но топографически зависимость их от качества пригодной для обработки земли и от морского побережья бесспорна (Щеглов 1978: 32). По-видимому, одновременно размежевываются значительные площади плодородных земель как в приморской части, так и в глубине Тарханкутского полуострова, которые, по суммарным оценкам, составляют около 200-300 кв. км, втрое превышая площадь, поделенную на участки вблизи самого Херсонеса (Щеглов 1986: 173). При всей близости, отмечаемой для размежевки Гераклейского и Тарханкутского полуостровов, система расселения в Северо-Западном Крыму была все же принципиально иной.

С последней четверти IV в. до н.э. в материальной культуре поселений Северо-Западного Крыма прослеживаются многочисленные черты и культурные влияния, которые бесспорно связываются с Херсонесом. Не ранее последней четверти этого столетия проявляются херсонесские погребальные традиции и в некрополях Северо-Западного Крыма (Рогов 1989: 102-103; 1998: 14). Причем херсонесское влияние заметно нарастает к концу столетия, и особенно в начале III в. до н.э.

Если опираться на массовый археологический материал, на твердо установленные факты, то, безусловно, придется признать, что экспансия Херсонеса в Северо-Западный Крым начинается не ранее конца третьей четверти IV в. до н.э., причем под термином «экспансия» в данном случае следует понимать активное и широкомасштабное освоение земель Северо-Западного Крыма. Этот последний этап освоения эллинами Тарханкутского полуострова, который без сомнения может именоваться херсонесским, закончился в конце первой трети III в. до н.э. гибелью и разорением большинства сельских поселений.

ЛИТЕРАТУРА

Анохин В.А. 1977. Монетное дело Херсонеса. Киев.

Анохин В.А. 1988. Монетное дело и денежное обращение Керкинитиды (по материалам раскопок 1980-1982) // Античные древности Северного Причерноморья. Киев.

Анохин В.А. 1989. Монеты античных городов Северо-Западного Причерноморья. Киев.

Бабенчиков В.П. 1941. Гераклейский полуостров, его географическая и экономическая среда // Гераклейский сборник. Архив ИИМК РАН. Ф.35. Оп.2. Д.452.

Белов Г.Д. 1938. Отчет о раскопках Херсонеса за 1935-36 гг. Гос. изд-во Крымской АССР.

Белов Г.Д. 1948. Херсонес Таврический. Л.

Белов Г.Д., Стржелецкий С.Ф. 1953. Кварталы XV и XVI (Раскопки 1937 г.) // МИА. № 34.

Белов Г.Д. 1972. Ионийская керамика из Херсонеса // ТГЭ. № XIII.

Белов Г.Д. 1981. Некрополь Херсонеса классической эпохи // СА. № 3.

Беляев С.А. 1984. Херсонес // Античные государства Северного Причерноморья. Археология СССР. М.

Бертье-Делагард А.Л. 1907. О Херсонесе. Древнейший Херсонес по Страбону и раскопкам // ИАК. Вып. 21.

Білецький А.О. 1957. Про власні імена з Ольвійських написів // Археологія. Т.XI.

Блаватский В.Д. 1949. Рец. на кн.: Белов Г.Д. Херсонес Таврический. Л.,. 1948 // ВДИ. № 3.

Блаватский В.Д. 1950а. Рец. на кн.: Каллистов Д.П. Очерки по истории Северного Причерноморья античной эпохи. Л., 1949 // ВДИ. № 3.

Блаватский В.Д. 1950. Античная культура в Северном Причерноморье // КСИИМК. Вып.XXXV.

Блаватский В.Д. 1953. Земледелие в античных государствах Северного Причерноморья. М.

Блаватский В.Д. 1954. Рабство и его источники в античных государствах Северного Причерноморья // СА. Т.XX.

Бонч-Осмоловский Г.А. 1926. Доисторические культуры Крыма // «Крым». № 2.

Борисова В.В. 1949. Амфорные ручки с именами астиномов древнего Херсонеса // ВДИ.

Буйських С.Б., Нікітін В.І. 1989. Охоронні розкопки могильника IV-III ст. до н.е. Лагерна Коса // Археологія. № 63.

Бураков А.В., Отрешко В.М., Буйских С.Б., Назарчук В.И. 1975. Работы периферийного отряда Ольвий-

ской экспедиции // АО 1974 года.
Бурачков П.С. 1884. Общий каталог монет, принадлежащих эллинским колониям, существовавшим в древности на северном берегу Черного моря. Одесса.
Виноградов Ю.А., Марченко К.К. 1991. Северное Причерноморье в скифскую эпоху. Опыт периодизации истории // СА. № 1.
Виноградов Ю.Г. 1980. Перстень царя Скила. Политическая и династическая история скифов первой половины V в. до н.э. // СА. № 3.
Виноградов Ю.Г. 1981. Варвары в просопографии Ольвии в VI-V вв. до н.э. // Демографическая ситуация в Причерноморье в период Великой греческой колонизации. Тбилиси.
Виноградов Ю.Г. 1989. Политическая история Ольвийского полиса VII-I вв. до н.э. Историко-эпиграфическое исследование. М.
Виноградов Ю.Г. 1990. Ольвиополиты в Северо-Западной Таврике // Древнее Причерноморье. Одесса.
Виноградов Ю.Г., Золотарев М.И. 1990. Древнейший Херсонес // Причерноморье в VII-V вв. до н.э. Тбилиси.
Виноградов Ю.Г., Щеглов А.Н. 1990. Образование территориального Херсонесского государства // Эллинизм: экономика, политика, культура. М.
Вонсович А. 1994. Перемещение главного населенного пункта в микрорегионах греческой колонизации // Международные отношения в бассейне Черного моря в древности и средние века. Тез. докл. Ростов-на-Дону.
Гайдукевич В.Ф. 1949. Боспорское царство. М.-Л.
Гайдукевич В.Ф. 1949а. Рец. на кн.: Г.Д.Белов. Херсонес Таврический // ВДИ. № 3.
Гайдукевич В.Ф. 1966. Некоторые вопросы экономической истории Боспора // ВДИ. № 1.
Гайдукевич В.Ф. 1981. Загородная сельская усадьба эллинистической эпохи в районе Мирмекия // Гайдукевич В.Ф. Боспорские города. Л.
Гайдукевич В.Ф., Капошина С.И. 1951. К вопросу о местных элементах в культуре античных городов Северного Причерноморья // СА. Т.XV.
Гилевич А.М. 1970. Кучук-Мойнакский клад херсонесских монет IV-III вв. до н.э. // НЭ, т.8.
Голенцов А.С. 1981. К вопросу о существовании дорегического поселения на территории Керкинитиды // Демографическая ситуация в Причерноморье в период Великой греческой колонизации. Тбилиси.
Головачева Н.В., Марченко К.К., Рогов Е.Я., Соловьев С.Л. 1991. Античное поселение Нижнего Побужья Козырка 12 (классический период) // КСИА. Вып.204.
Граков Б.Н. 1947а. Термин «Σκυθαι» и его производные в надписях Северного Причерноморья // КСИИМК. Вып.XVI.
Грандмезон Н.Н. 1982. Заметки о монетах Херсонеса Таврического // Нумизматика античного Причерноморья. Киев.
Грацианская Л.И. 1988. «География» Страбона. Проблемы источниковедения // Древнейшие государства на территории СССР,. 1986. М.
Гриневич К.Ф. 1927. Древнейшая оборонительная стена в Херсонесе, обнаруженная разведкой 1927 г. // II конференция археологов СССР в Херсонесе 10-13 октября 1927. Севастополь.
Гриневич К.Э. 1952. Юз-Оба (Боспорский могильник IV в. до н.э.) // АИБ. I.
Даниленко В.П. 1966. Просопография Херсонеса IV-II вв. до н.э. // Античная древность и Средние века. Вып.4.
Дашевская О.Д. 1963. О таврской керамике с гребенчатым орнаментом // СА. № 4.
Дашевская О.Д. 1970. О происхождении названия города Керкинитиды // ВДИ.№ 2.
Дашевская О.Д. 1971. Скифы на северо-западном побережье Крыма в свете новых открытий // ПСА. М.
Дашевская О.Д. 1981. О скифах Северо-Западного Крыма в период греческой колонизации // Демографическая ситуация в Причерноморье в период Великой греческой колонизации. Тбилиси.
Доватур А.И., Каллистов Д.П., Шишова И.А. 1982. Народы нашей страны в «Истории» Геродота. М.
Домбровський О.І. 1957. Розкопки античного театру в Херсонесі // Археологія.№ 10.
Дьяков В.Н. 1940. Древняя Таврика до римской оккупации // ВДИ. № 3.
Ельницкий Л.А. 1983. Интерес к скифам, скифская тема в искусстве и скифское культурное влияние в Греции // Klio. 65. 1.
Ена В.Г. 1983. Заповедные ландшафты Крыма. Симферополь. «Таврия».
Жебелев С.А. 1933. Счастливые города // ИГАИМК. Вып.100.
Жебелев С.А. 1953. Северное Причерноморье. М.-Л.
Жеребцов Е.Н. 1985. Материалы к периодизации античных памятников Маячного полуострова // КСИА. Вып.182.
Зедгенидзе А.А. 1959. О времени основания Херсонеса Таврического // КСИА. Вып.159.
Зедгенидзе А.А. 1976. Исследования северо-западного участка античного театра в Херсонесе // КСИА. Вып.145.
Зедгенидзе А.А., Савеля О.Я. 1981. Некрополь Херсонеса V-IV вв. до н.э. как источник изучения этнического и социального состава населения города // Демографическая ситуация в Причерноморье в период Великой греческой колонизации. Тбилиси.
Зедгенидзе А.А. 1993. К вопросу об удревнении даты основания Херсонеса Таврического // РА. № 3.
Зельин К.К., Трофимова М.К. 1969. Формы зависимости в Восточном Средиземноморье в эллинистический период. М.
Зограф А.Н. 1927. Две группы Херсонесских монет с заимствованными типами // ИРАИМК. V.
Зограф А.Н. 1945. Статеры Александры Македонского // ТОАМ. I.
Зограф А.Н. 1951. Античные монеты. МИА // Вып.16.
Золотарев М.И. 1984. Два типа редких монет Феодосии IV в. до н.э. // ВДИ. № 1.
Золотарев М.И. 1986. Херсонес и Ольвия в конце VI-II вв. до н.э. Автореф. дис. ... канд. ист. наук.
Золотарев М.И. 1986 б. Раскопки в северо-восточном районе Херсонеса // АО 1985 года.
Золотарев М.И. 1988. Северо-восточный район Херсонеса в античное время // Проблемы исследования античного и средневекового Херсонеса. Севастополь.
Золотарев М.И. 1993. Херсонесская архаика. Севастополь.
Зубарь В.М. 1988. Еще раз по поводу интерпретации захоронений в скорченном положении на некрополе Херсонеса IV в. до н.э. // Проблемы исследования античного и средневекового Херсонеса. Севастополь.
Кадеев В.И. 1973. Об этнической принадлежности скорченных погребений Херсонесского некрополя // ВДИ. № 4.
Кадеев В.И. 1974. Об этнической принадлежности име-

ни Σκυθας в Херсонесе Таврическом // СА. № 3.
Кадеев В. И. 1995. Ещё раз об этнической принадлежности скорченных захоронений в раннем некрополе Херсонеса // Проблемы археологии древнего и средневекового Крыма. Симферополь.
Каллистов Д.П. 1949. Очерки по истории Северного Причерноморья античной эпохи. Л.
Каллистов Д.П. 1952. Северное Причерноморье в античную эпоху. М.
Капошина С.И. 1937. Проблема состава населения Ольвии по материалам архаического некрополя. Тез. канд. дис. Л.
Капошина С.И. 1941. Скорченные погребения Ольвии и Херсонеса // СА. Т.VII.
Капошина С.И. 1945. Пережитки ритуального окрашивания костяков в Ольвийском некрополе и в погребениях Приднепровских скифов // КСИИМК. Вып.XII.
Карасев А.Н. 1965. Отчет о раскопках городища Чайка в 1965 г. // Архив ИИМК. Ф.35/1965. Д.100.
Карасев А.Н. 1966. Отчет о раскопках поселения у санатория «Чайка» в 1966 г. Архив ИИМК. Ф.35/ 1966. Д.100.
Карасев А.Н. 1967. Раскопки городища Чайка в Евпатории // АО.
Карышковский П.О. 1953. Еще раз о книге А.Н.Зографа «Античные монеты» // ВДИ. № 1.
Кастанаян Е.Г. 1981. Лепная керамика боспорских городов. Л.
Книпович Т.Н. 1956. Население Ольвии в VI-I вв. до н.э. по данным эпиграфических источников // МИА. № 50.
Козуб Ю.І. Некрополь Ольвії V-IV ст. до н.е. Київ.
Колесников А.Б. 1985. Греческие сельскохозяйственные усадьбы в районе г.Евпатория. Автореф. дис. ... канд. ист. наук. М.
Колесников А.Б., Яценко И.В. 1989. Античный виноградник на Евпаторийском мысу // Проблемы истории античных городов. Тез. докл. М.
Колесников А. Б. 1998 К интерпретации источников по античному виноградарству. // Древности Боспора. Т.I
Колотухин В.А. 1987. Население предгорного и горного Крыма в VII-V вв. до н.э. // Материалы к этнической истории Крыма. Киев.
Корпусова В.М. 1972. Про населення хори античної Феодосії // Археологія. № 6.
Косцюшко-Валюжинич К.К. 1891. Важные археологические открытия в Крыму // ИТУАК.. № 13.
Крис Х.И. 1971. О таврах и кизил-кобинской культуре // ВДИ. № 4.
Крис Х.И. 1981. Кизил-кобинская культура и тавры // САИ. Вып. Д I-7. М.
Крис Х.И. 1989. Культура тавров // Археология СССР. Степи Евразийской части СССР в скифо-сарматское время. М.
Кругликова И.Т. 1959. Сельская территория Боспора // ПИСП.
Кругликова И.Т. 1963. Исследования сельских поселений Боспора // ВДИ. № 2.
Кругликова И.Т. 1975. Сельское хозяйство Боспора. М.
Крыжицкий С.Д. 1982. Жилые дома античных городов Северного Причерноморья. Киев.
Крыжицкий С.Д. 1985. Ольвия. Киев.
Крыжицкий С.Д. 1993. Архитектура античных государств Северного Причерноморья. Киев.
Крыжицкий С.Д., Буйских С.Б., Бураков А.В., Отрешко В.М. 1989. Сельская округа Ольвии. Киев.
Кузьмина Е.Е. 1976. Скифское искусство как отражение мировоззрения одной из групп индоиранцев // Скифо-сарматский звериный стиль в искусстве народов Евразии. М.
Кузьмина Е.Е. 1976а. О семантике изображений на Чертомлыкской вазе // СА. № 3.
Кутайсов В.А. 1987а. Кизил-кобинская керамика из раскопок Керкинитиды // Материалы к этнической истории Крыма. Киев.
Кутайсов В.А. 1990. Античный город Керкинитида VI-II вв. до н.э. Киев.
Кутайсов В.А. 1991. Население Керкинитиды // Проблемы истории Крыма. Тез. докл. Вып. 1. Симферополь.
Кутайсов В.А. 1992. Керкинитида. Симферополь.
Кутайсов В.А., Ланцов С.Б. 1989. Некрополь античной Керкинитиды. Киев.
Кутайсов В.А., Уженцев В.Б. 1994. Археологические исследования Калос Лимена // Археологические исследования в Крыму в 1993 г. Симферополь.
Кутайсов В. А., Уженцев С. Б. 1994а. Восточные ворота Калос Лимена // Северо-Западный Крым в античную эпоху. Симферополь.
Кутайсов В. А., Уженцев С. Б. 1997. Раскопки Калос Лимена (. 1988-1995) // Археология Крыма. № 1/97
Ланцов С.Б. 1994. Античное поселение Ново-Федоровка и некоторые вопросы истории Херсонесской хоры // Северо-Западный Крым в античную эпоху. Киев.
Лапин В.В. 1966. Греческая колонизация Северного Причерноморья. Киев.
Леви Е.И. 1958. К истории торговли Ольвии в IV-III вв. до н.э. // СА. XXVIII.
Лесков А.М. 1961. Об остатках таврской культуры на Керченском полуострове // СА. № 1.
Лесков А.М. 1965. Горный Крым в I тыс. до н.э. Киев.
Липавский С.А. 1990. О времени появления курганных погребений в Ольвии // Материалы по археологии Ольвии и ее округи. Киев.
Липавский С.А., Снытко И.А. 1990. Курганы раннеантичного времени в урочище Чертоватое и некоторые проблемы населения Ольвийской хоры // Материалы по археологии Ольвии и ее округи. Киев.
Марченко К.К. 1972. Концентрация лепной керамики в Ольвии второй половины VI-I вв. до н.э. // СА. № 4.
Марченко К.К. 1988а. Варвары в составе населения Березани и Ольвии во второй половине VII-первой половине I в. до н.э. Л.
Медведева Л.И. 1984. Монеты Керкинитиды //НЭ.
Монахов С.Ю., Абросимов Э.Н. 1993. Новое о старых материалах из Херсонесского некрополя // АМА. Вып.9.
Наливкина М.А. 1957. Раскопки Керкинитиды и Калос Лимена (1948-1952) // История и археология древнего Крыма. Киев.
Наливкина М.А. 1959. Торговые связи античных городов Северо-Западного Крыма // ПИСП.
Наливкина М.А. 1963. Керкинитида и Калос Лимен (некоторые итоги изучения) // Античный город. М.-Л.
Ольховский В.С. 1977. Скифские катакомбы в Северном Причерноморье // СА. № 4.
Ольховский В.С. 1978. Погребальные обряды населения степной Скифии (VII-III вв. до н.э.). Автореф. дис. ... канд. ист. наук. М.
Ольховский В.С. 1982. О населении Крыма в скифское время // СА. № 4.
Ольховский В.С., Храпунов И.Н. 1990. Крымская Скифия. Симферополь. »Таврия».

Орешников А.В. 1892. Материалы по древней нумизматике Черноморского побережья. М.

Печенкин Н.М. 1911. Археологические разведки в местности Страбоновского Старого Херсонеса // ИАК. Вып.42.

Печенкин Н.М. 1911а. Археологические раскопки в местности Страбоновского Старого Херсонеса. Архив ИИМК. Ф.27. Д.14.

Пятышева Н.В. 1949. Тавры и Херсонес Таврический // КСИИМК. XXIX.

Пятышева Н.В. 1956. Ювелирные изделия из Херсонеса // ТГИМ. Вып. XVIII.

Раевский Д.С. 1968. О местонахождении древнего Евпатория // ВДИ. № 3.

Репников Н.И. 1927. О предполагаемых древностях Тавров // ИТОИАЭ. № 1.

Рогов Е.Я. 1988. Херсонесский некрополь и некрополь Панское I — опыт сопоставления // Проблемы исследования античного и средневекового Херсонеса. Тез. докл. Севастополь.

Рогов Е.Я. 1989. О хронологии могильника Панское I // Проблемы исследований античных городов. Тез. докл. М.

Рогов Е.Я. 1998. Некрополь Панское 1 и его место среди некрополей IV-III вв. до н. э. в Северном Причерноморье. Автореф. Дисс. СПб.

Романченко Н.Ф. 1896. Материалы по археологии Евпаторийского уезда // ЗРАО. 1-2. Нов. серия. М.

Ростовцев М.И. 1918. Эллинство и иранство на юге России. Пг.

Ростовцев М.И. 1925. Скифия и Боспор. РАИМК.

Савеля О.Я. 1970. О керамике с врезным орнаментом из Херсонеса // КСИА. № 124.

Савеля О.Я. 1974. Раскопки и разведки в окрестностях Симферополя // АО -. 1973 года.

Савеля О.Я. 1975. К проблеме взаимоотношений Херсонеса Таврического с варварами Юго-Западного Крыма в V-III вв. до н.э. // Новейшие открытия советских археологов. Тез. докл., ч.II. Киев.

Савеля О.Я. 1979. О греко-варварских взаимодействиях в Юго-Западном Крыму в VI-IV вв. до н.э. // Проблемы греческой колонизации Северного и Восточного Причерноморья. Тбилиси.

Сапрыкин С.Ю. 1986. Гераклея Понтийская и Херсонес Таврический. М.

Свенцицкая И.С. 1967. Положение зависимого населения Малой Азии V-IV вв. до н.э. // ВДИ. № 4.

Сенаторов С.Н. 1988. О керамике с гребенчатым орнаментом из Херсонеса // Проблемы исследования античного и средневекового Херсонеса. Тез. докл. Севастополь.

Снытко И.А. 1986. Грунтовой некрополь IV-III вв. до н.э. в урочище Дидова хата // Хозяйство и культура доклассовых и раннеклассовых обществ. Тез. докл. III конф. молодых ученых ИА АН СССР. М.

Снытко И.А. 1988. Погребальные сооружения античных некрополей Нижнего Побужья и Северо-Западного Крыма IV в. до н.э. — I в.н.э. // Проблемы исследования античного и средневекового Херсонеса. Тез. докл. Севастополь.

Снытко И.А. 1990. Исследования некрополя античного времени в урочище Сиверсов маяк // Проблемы археологии Северного Причерноморья (к 100-летию основания Херсонского музея древностей). Тез. докл. юбил. конф., ч.2. Херсон.

Снытко И.А. 1994. Еще раз о миксэллинах Ольвийского декрета в честь Протогена // Тез. докл. Международной конф. «Проблемы скифо-сарматской археологии Северного Причерноморья». Запорожье.

Соломоник Э.И. 1962. Эпиграфические памятники Неаполя Скифского // НЭ. III.

Соломоник Э.И. 1987. Два античных письма из Крыма // ВДИ. № 3.

Столба В.Ф. 1989. Еще раз о керкинитидских монетах IV-III вв. до н.э. // Древнее Причерноморье. Тез. докл. Одесса.

Столба В.Ф. 1990. Монетная чеканка Керкинитиды и некоторые вопросы Херсонесо-Керкинитидских отношений в IV-III вв. до н.э. // Древнее Причерноморье. Одесса.

Столба В.Ф. 1991. Херсонес и скифы в V-II вв. до н.э. (Проблема взаимоотношений). Архив ИИМК РАН. Ф.33. 2Д № 474.

Столба В.Ф. 1993. Демографическая ситуация в Крыму в V-II вв. до н.э. (по данным письменных источников) // ПАВ. № 6.

Стржелецкий С.Ф. 1948. Раскопки таврского некрополя в. 1945 г. // ХС. Вып. IV.

Стржелецкий С.Ф. 1948а. Раскопки. 1939 года у Карантина вблизи Херсонеса Таврического // ХС. Вып.IV.

Стржелецкий С.Ф. 1948б. Жертвенник Гераклу // ХС. Вып. IV.

Стржелецкий С.Ф. 1959. Основные этапы экономического развития и периодизации истории Херсонеса Таврического в античную эпоху // ПИДО.

Стржелецкий С.Ф. 1959а. Очерки истории Гераклейского полуострова и его округи в эпоху бронзы и раннего железа. Автореф. дис. ... канд. ист. наук. М.

Стржелецкий С.Ф. 1961. Клеры Херсонеса Таврического // ХС. Вып. VI.

Туровский Е.Я. 1995. Хронология сельских усадеб на Гераклейском полуострове в IV-II вв. до н.э. Автореф. дис. ... канд. ист. наук. СПб.

Тюменев А.И. 1938. Херсонесские этюды. I. К вопросу о времени и обстоятельствах возникновения Херсонеса // ВДИ. № 2(3).

Тюменев А.И. 1949. Херсонесские этюды. III. Херсонес и местное население: Тавры // ВДИ. № 4.

Фролов Э.Д. 1981. Гераклейские мариандины // Демографическая ситуация в Причерноморье в период Великой греческой колонизации. Тбилиси.

Фролов Э.Д. 1988. Рождение греческого полиса. Л.

Храпунов И.Н., Власов В.П. 1994. Раскопки кизил-кобинского поселения Шпыль //Археологические исследования в Крыму в. 1993 г. Симферополь.

Храпунов И. Н., Власов В. П. 1995. Кизил-кобинское поселение Шпиль // Проблемы археологии древнего и средневекового Крыма. Симферополь.

Шелов Д.Б. 1971. Скифо-македонский конфликт в истории античного мира // Проблемы скифской археологии. М.

Штерн Э.Р. 1908. О местонахождении древнего Херсонеса. Одесса.

Шульц П.Н. 1959. О некоторых вопросах истории тавров // ПИСП.

Щеглов А.Н. 1970. Рец. на СХМ. Вып. IV // ВДИ. № 3.

Щеглов А.Н. 1975. «Старый» Херсонес Страбона // 150 лет Одесскому археологическому музею АН УССР. Тез. докл. Киев.

Щеглов А.Н. 1976. Полис и хора. Симферополь.

Щеглов А.Н. 1978. Северо-Западный Крым в античную эпоху. Л.

Щеглов А.Н. 1981. Тавры и греческие колонии в Таврике // Демографическая ситуация в Причерноморье в период Великой греческой колонизации. Тбилиси.

Щеглов А.Н. 1984. «Старый» Херсонес и его округа // Археология СССР. Античные государства Северного Причерноморья. М.

Щеглов А.Н. 1986. Процесс и характер территориальной экспансии Херсонеса в IV в. до н.э. // Античная гражданская община. Л.

Щеглов А.Н. 1988. Тавры в VII — первой половине IV вв. до н.э. и греко-таврские взаимоотношения // Местные этнополитические объединения в Причерноморье в VII — IV вв. до н.э. Тбилиси.

Щеглов А.Н. 1990. О времени и обстоятельствах возникновения Калос Лимена // Проблемы археологии Северного Причерноморья. Тез. докл., ч.II. Херсон.

Щеглов А.Н. 1993. Основные структурные элементы античной межевой системы на Маячном полуострове (Юго-Западный Крым) // История и археология Юго-Западного Крыма. Симферополь.

Щеглов А.Н., Рогов Е.Я. 1985. Погребения в подбойных могилах в Нижнем Побужье, Нижнем Поднестровье и Северо-Западном Крыму // Проблемы исследования Ольвии. Тез. докл. Парутино.

Яйленко В.П. 1982. Греческая колонизация VII-III вв. до н.э. М.

Manzewitsch A. 1932. Ein Grabfund aus Chersones // Verhandlungen der Akademie für Geschichte der materiallen Kultur. II. Leningrad.

Pippidi D.M. 1959. Sur un passage obscur du décret en l'Honneur de Diophante fils d'Asclepiodore // Archeologia. Warszawa. IX.

Марченко К.К.

К ПРОБЛЕМЕ ГРЕКО-ВАРВАРСКИХ КОНТАКТОВ В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ ПРИЧЕРНОМОРЬЕ V-IV ВВ. ДО Н.Э. (СЕЛЬСКИЕ ПОСЕЛЕНИЯ НИЖНЕГО ПОБУЖЬЯ)

Marchenko K.K. To the problem of Greek-Barbarian contacts in the North-Western Black Sea region of the V-IV c. B.C. (rural settlements of the Low Bug area).

The article is dedicated to the problem of deserting of the rural territories of the North-Western Black Sea region in the beginning of the second quarter of the V c. B.C. The author believes that the most important reason there was a military threat from the part of a new wave of nomads – Scythians from the East. Together with this the author emphasizes that the point should be not a powerful simultaneous attack but also a gradually increasing pressure. However, after deserting of the chora (agricultural neighbourhood) of Olbia we note a strange thing. Firstly, Olbia (as other Poleis of the North-Western Black Sea region) continues to develop rapidly and, moreover, the epoch of its prosperity comes. Secondly, there appears an unprotected settlement near Olbia itself – «Suburb». The author supposes that there were the inhabitants of the suburb who provided Olbia in new conditions with agricultural products, having changed the population of chora. But why the inhabitants of the suburb didn't settle in Olbia itself where there was a lot of space. The author thinks that the suburb was populated by hellenized Barbarians. They were in dependence of the inhabitants of Olbia. Later, when the political situation in the region did not change, the recolonization of rural territories took place. One of its main members became the inhabitant of the suburb. Touching upon their social-economic status, the author supposes that in the decrete in honour of Protogenus they were called «oikets» – «rural slaves».

В структуре античного Причерноморья обычно выделяют шесть-восемь отдельных культурно-исторических или экономико-географических регионов. В числе последних в настоящее время уверенно называется и Северо-Западное Причерноморье (Марченко 1992: 6-22). Само по себе выделение этого региона среди прочих не вызывает ныне никаких возражений среди антиковедов. Неоспоримым фактом является и другое — границы регионов, их лабильность и своеобразие во времени и пространстве в значительной степени должны определяться не только в сфере сходства экономического, культурного и исторического развития самих центров эллинской диаспоры, но и с учетом роли воздействия на их развитие со стороны варваров. Вместе с тем, следует признать, что наличие обширных лакун в области знаний особенностей характера греко-варварских взаимодействий в различных частях «пограничья» до сих пор в целом ряде конкретных случаев ставит серьезные преграды на пути вполне сбалансированной реализации такого подхода. В немалой степени это касается и региона Северо-Западного Причерноморья V в. до н.э., поскольку все еще остаются не до конца понятыми причины и конкретно-историческое содержание событий, приведших к радикальным переменам в жизни местных эллинских центров и изменению характера их взаимоотношений с варварским миром. По существу, в историографии все эти трансформации либо продолжают дискутироваться, либо рассматриваются крайне обще и односторонне, либо, наконец, даются просто в искаженном виде.

Своеобразным ключом к решению возникшей проблемы может стать, на мой взгляд, факт запустения сельскохозяйственной территории Нижнего Побужья и Нижнего Поднестровья с рубежа первой и второй четвертей V в. до н.э. Как установлено ныне, в это время прекращается жизнь на подавляющем большинстве рядовых селищ позднеархаического периода названных районов греческой колонизации. Равным образом есть некоторые основания полагать, что весьма близкая, если даже не тождественная, ситуация складывается тогда же и в окрестностях Истрии, где, судя по всему, также прерывает свое существование ряд сельских поселений Северной Добруджи, например, Тариверде (Condurachi şi col. 1953; Vulpe 1955: 543-549; Avram 1990: 23), Саринасуф (Alexandrescu 1976: 122, 126), Истрия Под (Zimmermann, Avram 1987: 10-11, 27) и происходит заметная редукция или даже хронологический разрыв в жизнедеятельности на терри-

© Марченко К.К., 1999.

тории «предградья» этой колонии (Dmitriu 1966; ср.: Zimmermann, Avram 1987: 27).

Следует напомнить сразу, что причины, повлекшие за собой указанное явление, все еще дискутируются. (См., например: Крыжицкий, Лейпунская 1997: 23-25). Одни исследователи объясняют уход жителей с незащищенных поселений резким обострением военно-политической ситуации в Северном Причерноморье, вызванным усилением кочевых скифов (Марченко 1980: 143; Виноградов 1980а: 107; Карышковский, Клейман 1985: 44; Секерская 1989: 45; Виноградов, Доманский, Марченко 1990; Охотников 1990: 69-70; Alexandrescu 1990: 68). Другие, не отрицая полностью возникновения угрозы со стороны скифов, указывают на возможность существования, что касается Нижнего Побужья во всяком случае, еще по меньшей мере двух, в их построениях едва ли не главных, причин этого события, а именно: большой потребности самой Ольвии в притоке рабочей силы для сооружения оборонительных стен вокруг города и развертывания интенсивного строительства сырцово-каменных общественных и жилых сооружений (Русяева, Скржинская 1979: 27-28) или же перехода от стихийно сложившейся сельской территории к менее обширной, но зато и более упорядоченной хоре полиса (Крыжицкий, Отрешко 1986: 15). Третьи же исследователи связывают фиксируемый отлив сельского населения то с синойкизмом отдельных общин ионийцев Нижнего Побужья, приведшим, по их мнению, к образованию Ольвии как города (Рубан 1977: 43-44), то с реэмиграцией ионийцев «на свою обезлюдевшую родину после обретения ею независимости вследствие поражения персидской армии при Эвримедонте и особенно после Каллиева мира» (Рубан 1988: 18).

Каковы же истинные причины, вызвавшие относительное запустение сельских территорий Северо-Западного Причерноморья? Какую из ныне существующих на сей счет точек зрения предпочесть?

Сразу же заметим, что по поводу одной из них — о синойкизме аграрных поселений — в печати уже высказана отрицательная оценка, указывающая на явную уязвимость ее конкретно-исторического обоснования (Марченко 1980: 142; Виноградов 1980: 107). Не менее сомнительным, впрочем, представляется и другое решение вопроса, связывающее запустение окрестностей колоний с массовой реэмиграцией, поскольку оно исходит из исключительно ионийского характера аграрного населения. Практически столь же малоприемлемым, наконец, кажется и суждение о сокращении (коллапсе) сельской территории в связи с организацией Ольвийским полисом своей хоры, поскольку находящийся в его основе тезис о стихийной линии колонизации вызывает серьезные возражения (Марченко 1994: 92 сл.).

Значительно более убедительными, на первый взгляд, представляются две оставшиеся, частично связанные между собой, точки зрения: о потребности Ольвии в рабочей силе по причине возросшего объема строительства, в том числе и фортификационных сооружений, и о военной угрозе со стороны кочевников. Рассмотрим их.

Итак, нет никаких сомнений в том, что переход ольвиополитов от заглубленных в землю жилищ — землянок и полуземлянок — к массовому сооружению наземных сырцово-каменных построек произошел где-то в конце VI — начале V вв. до н.э. Во временном отношении этот решительный переворот в строительном деле одновременен или, скорее, несколько опережает начало отлива с периферии в город. Примерно в это же время, вероятнее всего, Ольвия опоясывается каменными оборонительными стенами (Карасев 1948; Крыжицкий, Лейпунская 1997: 23, 85, рис. 76). Таким образом, хронологическая и причинная связь появления в Ольвии большого числа рабочей силы и переход к широкому строительству наземных сооружений эллинских типов кажется не только допустимой, но и вполне естественной. Совсем иное дело, однако, когда само стремление и потребность строить в городе более совершенные, требовавшие больших затрат труда здания жилого и общественного назначения трактуются как один из важнейших стимулов, побуждавших обитателей Нижнего Побужья позднеархаического периода покидать сельскохозяйственные угодья — основной, если не единственный, источник благосостояния большинства вчерашних колонистов. С такой постановкой вопроса согласиться трудно даже в первом приближении.

Что касается нижней части Ольвии, т.н. нижнего города, то, если быть точным, возведение здесь наземных построек могло быть и вынужденным, поскольку диктовалось специфическими гидрологическими условиями — наличием относительно мощных, близко расположенных к поверхности водоносных пластов, просто не позволявших создавать сильно заглубленные структуры. Однако в целом дело, конечно, не сводилось ни к этому обстоятельству, ни тем более к запрограммированному или незапрограммированному появлению излишков рабочей силы.

При рассмотрении причин новых веяний в строительном деле ольвиополитов совершенно необходимо, во-первых, расчленить два почти полностью различных по своей направленности и значению события — переход к широкому строительству сырцово-каменных сооружений в городе и начало возведения мощных городских укреплений, и, во-вторых, принять во внимание, что сам-то переход к наземным типам построек в Нижнем Побужье начался значительно раньше запустения берегов лиманов и был, несомненно, подготовлен всем ходом колонизации этого района — сравнительно бы-

стрым расширением и укреплением экономической и культурной базы эллинской общины в середине-второй половине VI в. до н.э. в целом. Чтобы не быть голословным, напомню, что первые наземные сооружения Ольвии возникают не позднее третьей четверти этого столетия (Копейкина 1975: 194-195); примерно в это же время на Березанском поселении создается как минимум уже целый участок подобных построек (Копейкина 1975: 188 сл.; 1981), а с конца VI или самого начала V вв. до н.э. наземные жилые, хозяйственные и, вполне вероятно, общественные строения начинают возводить даже на некоторых наиболее удаленных от Ольвии и Березани и в общем вполне рядовых сельскохозяйственных поселениях (см., например: Марченко, Доманский 1981; Головачева, Марченко, Рогов 1998).

Сделанные замечания, разумеется, не означают, что нужно полностью отрицать влияние возможных излишков рабочей силы на увеличение масштабов городского строительства в первой половине V в. до н.э. Вовсе нет. Этим хочется только поставить указанный фактор на подобающее ему, несомненно, второстепенное место. И если одной из действительных причин перехода к массовому строительству сырцово-каменных домов в какой-то мере и мог оказаться наплыв большого числа новых, стремящихся побыстрее обосноваться в городе жителей, то быстрое возведение фортификационных линий Ольвии — предприятие, потребовавшее, конечно же, поистине огромных усилий и большого напряжения хозяйственных и физических возможностей полиса, должно было быть вызвано к жизни, разумеется, куда более масштабной и одновременно прозаической силой — опасностью военного нападения. Осуществилось ли хоть раз такое нападение в это время или нет — в данном случае совершенно не важно. Суть в другом — в ее очевидной реальности (Карасев 1948: 28-29).

Именно эта опасность, по всей видимости, и привела в запустение большую часть обжитых, но совершенно не укрепленных, относительно небольших поселений Нижнего Побужья, Нижнего Поднестровья и, скорее всего, Северной Добруджи. Налицо явная вынужденность отказа греков от прямой эксплуатации сельскохозяйственного потенциала Северо-Западного Понта. Ко всему вышесказанному остается лишь добавить, что единственной реальной силой, способной практически одновременно обострить военно-политическую обстановку на столь обширной территории района могли быть только новые волны появившихся с востока номадов (Виноградов, Марченко 1991: 149-151).

Помимо вполне резонной в данном случае теоретической посылки о коренном различии хозяйственно-культурного типа кочевников, с одной стороны, и оседлого земледельческого населения окрестностей греческих колоний, с другой, естественным образом создававшего состояние перманентного конфликта между ними, сторонники последней точки зрения исходят из достаточно надежных справок античной литературной традиции (Herod,, IV, 76, 78-80) и эпиграфики (Vinogradov 1981: 14, 17; Виноградов 1989: 87-89), свидетельствующих о реальности враждебных отношений степняков к грекам по крайней мере в конце VI - первой половине V вв. до н.э.

В подкрепление указанного тезиса обычно привлекаются и некоторые характерные факты археологии интересующего нас времени. При этом замечу, однако, что при окончательной оценке этих фактов необходимо считаться с тем более или менее очевидным обстоятельством, что война и военные столкновения далеко не всегда находят вполне адекватное отражение в археологических материалах. Как бы то ни было, перечислю их. Это, во-первых, перерыв с первой трети V в. до н.э. до конца этого же столетия в функционировании сельских некрополей Нижнего Побужья и хронологически связанная с этим перерывом трансформация погребальных сооружений — переход от четырехугольных ям с деревянными конструкциями к ямам с подбоем и катакомбам (см.: Ebert: 1913); во-вторых, появление во второй четверти V в. до н.э. на территории Нижнего Побужья целой серии погребений кочевых скифов (Ковпаненко, Бунятян 1978; Гребенников, Фридман 1985); в-третьих, наличие в Ольвийском и особенно Березанском некрополях конца VI - первой половины V вв. до н.э. заметного количества погребений, содержащих убитых скифским оружием — явление, бесспорно, необычное для комплексов более раннего периода (см.: Скуднова 1960: 68; Доманский, Виноградов, Соловьев 1989: 59-60); в-четвертых, открытие на нижнебугском поселении Большая Черноморка 2 в одном из наиболее поздних комплексов первой четверти V в. до н.э. скелета насильственно умерщвленного жителя (Ганжа, Мошкова, Отрешко 1978); в-пятых, создание в самом конце VI или начале V вв. до н.э. на другом открытом селище ольвийской округи — Старая Богдановка 2 — большого наземного сооружения с необычно мощными внешними стенами, возможно, выполнявшего функцию убежища для местного населения (Марченко, Доманский 1982; ср.: Крыжицкий, Буйских, Бураков, Отрешко 1989: 55); в-шестых, исчезновение в составе лепной керамики Нижнего Побужья с начала V в. до н.э. фракийского и лесостепного компонентов, что наиболее резонно объяснять перекрытием номадами традиционных путей пополнения сельского населения этого района (Марченко 1988 а: 121-123); и, наконец, в-седьмых, так называемое первое разрушение Истрии в начале этого же столетия (Alexandrescu 1990: 67-68).

Последнее, на что, быть может, следует обратить внимание в связи с рассматриваемой

точкой зрения, — на заметное пополнение антропонимического фонда Ольвии негреческими и полугреческими именами, происшедшее вследствие концентрации на ее территории окрестного населения (Виноградов 1981: 134-135), а также значительную редукцию площади Березанского поселения (Копейкина 1975: 193 сл.).

Подводя, таким образом, итог краткому обзору существующих представлений на события начала V в. до н.э., я, как кажется, имею достаточно веские основания присоединиться к мнению исследователей, связывающих относительное запустение прибрежных районов северо-западной части Понта, и прежде всего Нижнего Побужья, с действиями кочевников.

Вместе с тем, признавая это, нельзя не заметить, что в настоящее время в современном антиковедении явный перевес над другими получила позиция, согласно которой непосредственным побудительным мотивом, своего рода катализатором, столь радикального изменения всей военно-политической и демографической обстановки в Северном Причерноморье была победа номадов, точнее, царских скифов, в войне с персидским царем Дарием, вызвавшая усиление их «национального» самосознания и политических амбиций (см., например: Карасев 1948: 29; Марченко 1980: 142; Виноградов 1989: 84). Такая точка зрения представляется ныне неубедительной хотя бы по хронологическим соображениям. Археологические материалы, и прежде всего хорошо датируемые комплексы сельскохозяйственных поселений Северо-Западного Причерноморья, отчетливо фиксируют нам наступление серьезных перемен в районах колонизации минимум через сорок (NB!) лет после Скифского похода Дария. Эти же данные определенно свидетельствуют и в пользу относительно медленного, т.е. растянутого во времени и пространстве, развития неблагоприятных тенденций в отношении степняков со своими соседями. Весьма примечательным в данной связи представляется и то, что первые признаки нестабильности военно-политической и демографической ситуации появляются сначала, по всей видимости, как раз на крайнем востоке степного коридора, где уже в последней трети VI в. до н.э., т.е. значительно раньше относительного запустения берегов Нижнего Побужья и Нижнего Поднестровья, прекращает существование так называемое Таганрогское поселение греков (Копылов, Ларенок 1994: 6), а затем за пределами дельты Дона практически полностью исчезают погребения кочевников (Житников 1987). Но дело не только или, точнее, не столько в этом. Сам факт отсутствия сколь-либо выраженного в археологическом отношении центра кочевых скифов в степной части Северного Причерноморья вплоть до середины V в. до н.э. во всяком случае (Ильинская, Тереножкин 1983: 359), равно как и отсутствие каких-либо следов военных действий (пожаров, разрушений и т.п.) на площади всех мало-мальски раскопанных сельскохозяйственных поселений конца VI в. до н.э. Нижнего Поднестровья и Нижнего Побужья вообще ставит под большое сомнение правдоподобность глубокого и массированного проникновения армии Дария в степную зону региона (см.также: Граков 1947: 23; Полин 1987; Виноградов 1989: 81), а следовательно, в конечном счете, и предполагаемую силу воздействия военных действий номадов на их общество (ср.: Виноградов 1989: 81, 84-85). Напомню, наконец, что краткая версия похода персов в Скифию находит свою поддержку и в сообщении Страбона (VII, 3, 14).

Еще более дискуссионным представляется взгляд на события начала V в. до н.э. в русле целенаправленной и чуть ли не планомерной политики так называемого Скифского царства (Виноградов 1983: 399-400; ср.: 1989: 85; Шелов-Коведяев 1985: 66). Естественно, не следует исключать того, что на отдельных этапах степь или же ее значительные части могли объединяться под руководством одного вождя или рода. Следует подчеркнуть, однако, что такое объединение в условиях явного отсутствия сколь-либо значительной социально-экономической стратификации скифов степной зоны Северного Причерноморья VI и большей части V вв. до н.э. вряд ли было долговременным. Иными словами, существование политически единой кочевой Скифии от Дона до Дуная на сколько-нибудь продолжительных хронологических отрезках представляется в этой ситуации, по меньшей мере, весьма проблематичным.[1] Речь в данном случае чаще должна идти, пожалуй, о другом — о военно-политическом преобладании одной орды номадов над другими. Вполне возможно предположить также, что археологическим, материальным, если так можно выразиться, отражением именно такого, т.е. относительно раздробленного, состояния кочевого общества Северного Причерноморья этого и даже более позднего периода является наличие в степи нескольких больших более или менее компактных культурно близких, но отнюдь не тождественных групп памятников скифов, например: в дельте Дона, Северо-Восточном Приазовье и в Поднепровье.

Вернемся, однако, к событиям V в. до н.э. в Северо-Западном Причерноморье. Как представляется ныне, появление новых волн номадов с востока, дестабилизировав ситуацию в целом и приведя к запустению сельскохозяйственные окрестности апойкий этого района, против ожидания, не повлекло за собой сколь-либо глубокого ухудшения экономического положения местных греков. Напротив, есть некоторые основания полагать, что по крайней мере

[1] Напомним, кстати, что об отсутствии единства у скифов по крайней мере во второй половине V в. до н.э. сообщает Фукидид (П, 79).

Истрия, Никоний и особенно Ольвия ничуть не замедлили своего дальнейшего развития. Они отнюдь не производят впечатления постоянно осаждаемых варварами городов, собиравших последние силы для отражения агрессии, терпевших нужду в предметах первой необходимости. Более того, в V в. до н.э. на их территории наблюдается явный расцвет строительной и хозяйственной деятельности (см., например: Секерская 1989: 49; Леви 1984: 36; Крыжицкий 1985: 63; Крыжицкий, Буйских, Бураков, Отрешко 1989: 94). Не отвергая в целом попытку объяснить столь удивительное на первый взгляд развитие событий решительной переориентацией экономики той же Ольвии на коммерческие рельсы (см., например: Лейпунска 1979: 129; Русяева, Скржинская 1979: 28; Виноградов 1989: 107-108), нельзя не предположить одновременно, что одна только торговля могла, по всей видимости, лишь отчасти компенсировать эллинам их утрату сельскохозяйственной продукции с заброшенных территорий. Нельзя забывать также, что в период всеобщей дестабилизации обстановки в Северном Причерноморье объем торговых операций греческих купцов с земледельцами лесостепной зоны вряд ли мог быть особенно большим. Не случайно поэтому исследователи фиксируют заметный упадок интенсивности экономических контактов ионийцев с хинтерландом этого района в середине - второй половине V в. до н.э. (Онайко 1960: 37; 1966: 11, 41-42, 52, 82-83).

Практически столь же сомнительным представляется ныне возможность решения этой загадки и за счет признания факта относительности запустения сельских территорий греческих колоний. Впрочем, археологические изыскания последних лет обнаружили немало разрозненных следов существования какой-то жизни на целом ряде бывших поселений окрестностей Ольвии позднеархаического времени и в середине-второй половине V в. до н.э. Более того, в настоящее время есть некоторые основания считать, что отдельные аграрные селища северо-западной части Понта продолжали функционировать без сколько-нибудь значительных (археологически улавливаемых) перерывов даже в наиболее экстремальных условиях. В числе такого рода пунктов можно назвать, к примеру, поселение Нунташ 2, расположенное в 12 км к западу от Истрии (Avram 1990: 22) и сразу три памятника в округе Ольвии, а именно: Широкую балку (Русяева, Мазарати 1986: 52), Козырку 12 [2] и, по всей видимости, Закисову балку (Отрешко 1975 а: 130). Таким образом, следует предполагать априорно, что сельскохозяйственное сырье продолжало поступать в эллинские города извне и по завершении процесса редукции оседлой жизнедеятельности в Северной Добрудже и Нижнем Побужье. Все дело, однако, состоит в том, что даже при самых оптимистических расчетах действительный объем этой продукции явно не мог идти ни в какое сравнение с производимым на сельских поселениях более раннего периода, т.е. во время их наивысшего расцвета. Тем самым допустимо думать, что и указанное выше обстоятельство не было в состоянии обеспечить грекам не только дальнейшее повышение их стандарта жизни, но даже поддержать его на прежнем более чем скромном уровне. Как представляется, таким образом, единственным реальным выходом из крайне затруднительного положения, возникшего в результате запустения приморских территорий Северо-Западного Понта, могло стать только создание собственной базы производства необходимых продуктов земледелия под защитой крепостных стен колоний.

Итак, мы вновь возвращаемся к уже ранее отмеченной и, казалось бы, напрочь отброшенной нами идее появления в ближайших окрестностях греческих центров V в. до н.э. относительно небольшой, но хорошо организованной и в силу этого, несомненно, особенно эффективно эксплуатируемой хоры. Нетрудно заметить, однако, что на сей раз данная идея основывается на совершенно иных посылках. Она исходит из признания примата не внутри-, а внешнеполитических факторов, приведших к так называемому коллапсу аграрных поселений и к тому же явно не нуждается в опоре на платформу «стихийности» характера колонизации этого района (ср.: Крыжицкий, Отрешко 1986: 15). И это, разумеется, принципиально важно.

Какие же, однако, имеются конкретные доказательства наличия в V в. до н.э. сколь-либо обширных обрабатываемых угодий у ионийских городов Северо-Западного Причерноморья?

К сожалению, их крайне немного и, замечу, в отсутствие надежных хронологических привязок так или иначе выявленных древних следов размежевания окрестностей Истрии, Никония и Ольвии, все они косвенные. Исключение, пожалуй, до некоторой степени составляет лишь ольвийский декрет третьей четверти V в. до н.э., изданный в честь двух синопейцев — тирана Тимесилея и его брата Теопропа, дарующий им в числе привилегий и право на приобретение земли, что, по мнению издателя этой псефизмы, «в условиях крайней редукции ольвийской хоры обеспечивало политическим изгнанникам из Синопы гарантию занятости в той же, что и прежде, сфере хозяйственной деятельности» (Виноградов 1989: 109-111). Как бы то ни было, но исследователи в этой связи обычно обращают внимание лишь на два факта археологии Нижнего Побужья интересующего нас времени, а именно: появление на территории Ольвии в V в. до н.э. большого количества зерновых ям, что, по их мнению, «свидетельствует о том, что население самого города, помимо ремесел,

[2] Материалы памятника не опубликованы. Любезное сообщение автора раскопок Е.Я.Рогова.

было вынуждено достаточно активно заниматься сельским хозяйством, очевидно, в связи с ликвидацией широкой хоры» (Крыжицкий 1979: 14; см.также: Лейпунская 1986: 44), и возникновение ольвийского предградья, население которого, будто бы, было призвано играть значительную роль в обработке ближайших к городу земель (Русяева, Скржинская 1979: 28).

Вместе с тем следует признать, что даже этот более чем скромный перечень доводов в пользу существования интенсивно используемых сельскохозяйственных угодий в окрестностях Ольвии должен быть изначально, по всей видимости, сокращен. Нельзя не заметить, что сам по себе факт наличия значительного количества зерновых ям на территории названной колонии еще не дает права для утверждения особой активности ее гражданского населения в непосредственном производстве хлеба и других видов продуктов питания для собственных нужд и на экспорт, поскольку товарный хлеб в принципе мог поступать в местные хранилища и в результате удачных коммерческих сделок ольвийских купцов, заключенных с варварами хинтерланда. Другое дело — энергичное участие в сельскохозяйственных работах жителей предградья. В последнем случае следует предположить уже априорно, что указанная точка зрения при некоторых обстоятельствах может оказаться вполне резонной. Остановимся на этом вопросе подробнее.

Что же нам известно об ольвийском предградье? Согласно опубликованным данным (Козуб 1979 а; 1979 б), непосредственно к западу от Ольвийского городища за пределами его оборонительных стен, на плато, ограниченном с юга 6-й юго-западной, с севера — 1-й западной дорогами, а с востока — западным склоном так называемой Заячьей балки, в V в. до н.э. существовало поселение, определяемое автором раскопок — Ю.И.Козуб — как proasteion Ольвии, т.е. место, где, по свидетельству Геродота (IV, 78), скифский царь Скил оставлял свое войско («свиту») при посещении города борисфенитов. Площадь предградья точно не установлена: до сих пор четко не определена его западная граница. Впрочем, нет никакого сомнения в том, что оно занимало весьма обширную территорию — от 10 до 15 га (Козуб 1979 б: 7).

К настоящему времени здесь, на памятнике, раскрыто около 30 строительных комплексов, целая серия хозяйственных и зерновых ям, погреба-хранилища, несколько наземных печей и две цистерны. Из указанного количества остатки 5 строительных комплексов отнесены к концу VI - началу V вв. до н.э. (Козуб 1979 б: 4). Четыре из них — круглые или овальные землянки площадью около 8 кв. м — обнаружены на прилиманной возвышенности, в южной части Заячьей балки, где, по мнению Ю.И.Козуб, функционировало поселение этого времени, составлявшее, быть может, одно целое с Ольвией, лишенной «*точно регламентированных границ*» (Козуб 1979 б: 3). Пятый же — четырехугольный комплекс поселения площадью 15 кв. м — так называемое святилище, раскрыт на значительном расстоянии от первых, на противоположной северной части территории предградья (Козуб 1975).

Несмотря на крайне плохую сохранность названных объектов, есть все основания полагать, что они, включая и «святилище», в морфологическом и функциональном отношениях представляли собой вполне обычные жилые и хозяйственные землянки и полуземлянки позднеархаического времени, хорошо известные по опубликованным материалам не только Ольвии и Березани, но и целого ряда относительно небольших сельскохозяйственных поселений Нижнего Побужья. Данное обстоятельство не позволяет мне вслед за автором раскопок считать их непременно составной частью застройки Ольвии VI в. до н.э., тем более что и сама датировка этих сооружений представляется несколько заниженной (Крижицький, Русяева 1978: 23).

Теперь вернемся к самому предмету нашего рассмотрения. Как свидетельствуют результаты археологических исследований, в первой половине V в. до н.э. или, точнее, ближе к середине этого столетия вся вышеозначенная территория предградья довольно плотно застраивается жилыми и хозяйственными постройками. С этого времени и вплоть до рубежа V-IV вв. до н.э. или даже конца первой четверти IV в. до н.э. (судя по опубликованным материалам, последняя дата кажется даже более предпочтительной) здесь функционируют однокамерные, главным образом подпрямоугольные в плане землянки и полуземлянки, в общем, вполне сходные с более ранними.

В этой связи особого внимания заслуживает еще одно обстоятельство. Создается полное впечатление, что жители предградья в течение всего как минимум 75-летнего периода его функционирования совершенно не использовали в строительстве камень; не обнаружено здесь и остатков наземных сооружений — явление в высшей степени странное и на первый взгляд трудно объяснимое, особенно если учесть большую продолжительность жизни на западном склоне Заячьей балки, с одной стороны, наличие довольно разнообразных и многочисленных наземных построек с каменными цоколями на рядовых сельскохозяйственных поселениях Нижнего Побужья уже с конца VI или самого начала V вв. до н.э., с другой, и близость самой Ольвии, где, по крайней мере, также с начала V в. до н.э. началось широкое строительство сырцово-каменных наземных сооружений различного назначения (Крижицький, Русяева 1978: 22), с третьей.

К сожалению, все эти важнейшие особенности памятника, по существу, были оставлены

без внимания. Как полагает Ю.И.Козуб, перед нами «реликтовая форма древнейших построек первых колонистов» (Козуб 1979 а: 317). Таким априорно вполне резонным объяснением, но объяснением чрезмерно кратким, а главное, совершенно не проясняющим причину устойчивости бытования относительно примитивных, архаичных структур в условиях предградья и ограничивается вся интерпретация этих фактов.

Итак, максимум жизнедеятельности на территории предградья падает на V в. до н.э., точнее, на середину-вторую половину столетия. Именно этим временем датируется и подавляющая масса культурных остатков, обнаруженная в довольно мощных (до 1,5 м) напластованиях памятника (Козуб 1979 б: 7). Нет сомнения, что полученный здесь в процессе исследований комплекс вещественных находок может дать вполне сбалансированное представление об облике и своеобразии материальной культуры жителей предградья. В настоящее время приходится констатировать, однако, что в нашем распоряжении имеется лишь суммарная количественная оценка отдельных категорий находок, данная к тому же в терминах живого языка, из которой закономерно вытекает совершенно рядовая для любого античного или подвергнувшегося сильному воздействию античной культуры поселения V в. до н.э. картина (см.: Козуб 1979 б: 27-29).

Аналогичное впечатление возникает и при рассмотрении типологического состава опубликованного вещественного материала (см.: Козуб 1979 б: 27-29). Совершенно очевидно, что сделанный на таком общем основании чрезвычайно ответственный вывод о безусловно греческом характере материальной и духовной культуры обитателей предградья (Козуб 1979 б: 29), нуждается, как минимум, в дополнительной аргументации, поскольку подобное соотношение и качественный состав групп находок известны в Северном Причерноморье не только на «чисто» эллинских памятниках, но и на поселениях с явно гетерогенным составом жителей (см., например: Щеглов 1978: 126).

Как представляется далее, суммарная характеристика материалов и сделанный на ее основе вывод об исключительно греческом характере комплекса предградья одновременно весьма затруднили, если не сделали невозможным, и поиск столь необходимого для нас ответа на кардинальный вопрос историко-культурной интерпретации — вопрос о базовой функции памятника.

В своих работах Ю.И.Козуб пытается подойти к решению этой проблемы от противного. По ее мнению, предградье V в. до н.э. не имело оборонительного и производственного назначения (Козуб 1979 б: 29). И это — все. Нетрудно заметить, что интересный и, по всей видимости, правильный сам по себе вывод ничего, собственно говоря, не проясняет. И причины возникновения, длительного функционирования и несомненного своеобразия жизни под стенами города так и остаются неразгаданными. А вместе с тем такие причины, несомненно, существовали и были достаточно серьезными, чтобы заставить часть населения Ольвийского полиса — греков, по мнению Ю.И.Козуб, — ютиться в относительно примитивных жилищах на совершенно незащищенном от вражеского нападения поселении.

Остановимся на вопросе о базовой функции предградья несколько подробнее и попытаемся рассмотреть имеющиеся в нашем распоряжении довольно скудные данные. Если исходить из опубликованных материалов, то, как уже отмечалось выше, отсутствие у предместья оборонительной и производственной функций представляется вполне доказанным. Несколько сложнее, пожалуй, решается вопрос о возможности считать базовой сельскохозяйственную деятельность обитателей землянок и полуземлянок, поскольку отсутствие здесь ярко выраженных следов земледелия или скотоводства в виде остатков специфических орудий труда, сушильных печей, особенно большого количества зерновых ям, костей животных и т.п. еще не показательно: такие следы относительно редко фиксируются и на бесспорно аграрных селищах северо-западной части Понта VI-V вв. до н.э. И все-таки ответ на поставленный вопрос в рамках предложенной Ю.И.Козуб этнокультурной интерпретации памятника будет, скорее всего, отрицательным, ибо принятие иного вывода ставит перед нами необходимость разрешить явно неразрешимую загадку: почему, собственно говоря, для особенно интенсивного ведения сельского хозяйства именно в V в. до н.э. части греческих колонистов необходимо было обязательно селиться и жить на совершенно открытом поселении за пределами города, на расстоянии всего лишь одной-трех сотен метров от его стен? Не проще ли и спокойнее было бы заниматься этим же делом, проживая в самой Ольвии?

Отрицательный результат поиска базовой функции памятника в сфере его экономики заставляет обратить более пристальное внимание на события военно-политической и демографической истории Нижнего Побужья позднеархаического и классического периодов. С этих позиций наиболее правдоподобными и равноценными кажутся на первый взгляд объяснения появления поселения на западном склоне Заячьей балки в силу естественного постепенного (Козуб 1979 б: 3) или резкого искусственного увеличения числа жителей города за счет новой миграционной волны из разрушенного персами Милета (Русяева 1979: 9), либо населения его сельскохозяйственной округи (Крижицький, Русяева 1978: 23-24).

Нет нужды специально останавливаться на первом из названных вариантов объяснения

образования предместья, поскольку его основательная критика уже высказана в печати (Крижицький, Русяева 1978). Равным образом малоубедительным, хотя, конечно, и не невозможным, представляется и следующий, второй вариант, базирующийся, по всей видимости, исключительно на логическом допущении появления в начале V в. до н.э. в Нижнем Побужье эпойков из метрополии и вынужденном поселении их за пределами переполненного города, тем более что принятие этого варианта нисколько не приближает нас к объяснению длительности функционирования и устойчивого своеобразия предместья. Обратимся к рассмотрению последнего предположения.

Как уже отмечалось выше, в настоящее время едва ли не общим местом стало признание факта прекращения жизни в первой трети V в. до н.э. на большей части поселений Нижнего Побужья позднеархаического времени. В связи с этим фактом предполагается, что если не все, то уж во всяком случае большинство вчерашних жителей аграрных поселений Ольвийской округи ушло в город (см., например: Рубан 1975: 131). Существует, правда, мнение, согласно которому какая-то часть переселенцев могла обосноваться на Березани (Отрешко 1975 б; Крижицький, Русяева 1978: 24). С такой коррекцией событий согласиться, однако, трудно. Как установлено Л.В.Копейкиной, Березанское поселение в V в. до н.э. не только не расширяет своей площади, но даже сокращается в своих размерах (Копейкина 1975: 193-194). Другое дело — Ольвия. В данном случае действительно фиксируется явное увеличение территории города, и прежде всего — застройки в его нижней части. Одновременно возникает и предградье. Как полагают С.Д.Крыжицкий и А.С.Русяева, часть переселенцев по тем или иным причинам не смогла найти себе места в пределах границ города и была вынуждена поселиться на западном склоне Заячьей балки, где в результате и образовалось целое поселение (Крижицький, Русяева 1978: 23; Крыжицкий 1979: 14).

Полностью принимая указанную точку зрения, нетрудно заметить, что предградье в рамках предложенной этнокультурной атрибуции оказывается чем-то вроде временного района города и нам, как будто, остается лишь выяснить природу причины или причин, заставивших ольвиополитов пойти на создание такого района. Итак, функция временного района — заключение, несомненно, интересное, но, к сожалению, также далеко не все проясняющее в истории с предградьем, а посему нуждающееся в уточнении.

В самом деле, как объяснить и в этом случае относительно примитивный облик района города не только на момент его возникновения, но и сохранившийся в течение всего периода существования, или, например, саму продолжительность функционирования временного района за пределами оборонительных стен города. Необъяснимым остается и то долготерпение, с которым граждане Ольвийского полиса на протяжении трех поколений, т.е. в течение минимум 75 лет, мирились со столь очевидными неудобствами, как незащищенность целого района от вполне возможных посещений буйных скифов-кочевников, отсутствие близкорасположенных источников питьевой воды, относительная удаленность от центра общественной и религиозной жизни и т.д. И все это, заметим, в период несомненного экономического и культурного расцвета Ольвии.

Как представляется, единственная возможность устранения названных несообразностей находится в плоскости переосмысления принятой в настоящее время этнокультурной, либо социальной интерпретации памятника, либо той и другой вместе. Только таким образом, по-видимому, и могут быть сняты отмеченные противоречия и понята «оригинальность» некоторых характеристик предградья.

Прежде, однако, желательно хотя бы коротко, в самом общем виде, представить условия, в которых происходило образование поселения у западной границы города. Главное, на что необходимо обратить внимание в этой связи, — на вынужденность ухода большинства населения с хорошо обжитых, но совершенно неукрепленных, относительно небольших сельских селищ Нижнего Побужья позднеархаического времени. Естественно предположить, что возможности внешне немотивированного, свободного выбора места для нового поселения у какой-то части перебравшихся в Ольвию людей в создавшейся экстремальной ситуации могли оказаться довольно ограниченными, будучи обусловлены целым рядом различных факторов, и прежде всего величиной свободной от застройки городской территории.

Обращаясь теперь к вопросу о достаточности или недостаточности свободной площади в Ольвии в пределах ее естественных природных рубежей для размещения вновь прибывшей волны переселенцев, следует отметить значительность размеров пригодной для этих целей нижней, прилиманной части города. Согласно данным исследований последних десятилетий, жилая застройка Ольвии к началу V в. до н.э. охватывала в лучшем случае большую часть верхнего плато, ограниченного с юга, запада и севера Заячьей и Северной балками, а с востока крутыми склонами, ведущими к так называемому нижнему городу. Свободными в верхнем городе, вероятнее всего, оставались относительно небольшая территория к северу от раскопа АГД и «кургана Зевса» и, возможно, какая-то часть «цитадели» (Крижицький, Русяева 1978). Совершенно иная картина вырисовывается на территории прилиманной части апойкии. Здесь, если не считать все еще до некоторой степени гипотетичных причалов и подсоб-

ных припортовых сооружений, до сих пор вообще не обнаружено сколь-либо существенных следов жилых построек позднеархаического времени (Крижицький, Русяева 1978; Лейпунская 1979: 128). Подсчеты размеров этой, в принципе, вполне пригодной для заселения площади, произведенные с учетом величины современной трансгрессии вод Днепро-Бугского лимана, позволяют оценить ее в пределах 16-28 га (Шилик 1975: 12). Было ли этого достаточно для того, чтобы разместить всех желающих обосноваться в пределах городской черты, сказать, разумеется, трудно. Следует заметить все же, что приблизительная оценка предельно допустимого числа жителей нижнего города, произведенная на основе экстраполированных данных плотности застройки верхней части Ольвии второй половины VI - начала V вв. до н.э. (см.: Крижицький, Русяева 1978: 24), дает число, едва ли не превышающее население всего города позднеархаического времени.

Не менее примечательным с этой точки зрения оказывается и то обстоятельство, что свободные, правда, существенно меньшие по размерам площади верхнего города в столь напряженный момент так и не были использованы для нужд недавних жителей аграрных селищ Нижнего Побужья и что северная граница Ольвии так и не продвинулась в это время к своему позднейшему естественному рубежу, т.е. к южному склону Северной балки. Таким образом, все вышеизложенные допущения и соображения, не давая окончательного ответа, позволяют все же полагать, что среди причин, заставивших часть переселенцев с берегов лиманов обосноваться на длительное время за пределами границ собственно Ольвии, у ее стен, скорее всего не было такой, как недостаток пригодной для жилой застройки площади.

Теперь, когда обрисованы некоторые обстоятельства, при которых, вероятнее всего, и происходило создание предградья, — опасность военного нападения со стороны номадов, вызванное этой опасностью переселение значительной части сельского населения в город, возможность его расселения в пределах естественных границ Ольвии, — и обращено внимание на своеобразные, труднообъяснимые в пределах существующей интерпретации характеристики памятника, можно, наконец, перейти и к его этнокультурное атрибуции. Как представляется ныне, на сей счет вполне допустимо высказать следующие более или менее вероятные суждения, всячески подчеркивая их гипотетичность.

1. Внешнее сходство предградья с обликом позднеархаических сельскохозяйственных поселений Нижнего Побужья, с одной стороны, и совпадение во времени начала запустения хоры Ольвии с развитием жизни на западном склоне Заячьей балки, с другой, дает некоторые основания полагать, что какая-то часть покинувших берега лиманов жителей не осела в черте города, а поселилась у его стен.

2. Наличие в пределах естественных границ Ольвии V в. до н.э. весьма значительных свободных, годных под жилую застройку площадей делает выбор места этого поселения вполне сознательным.

3. Относительные неудобства стационарной жизни на территории предградья, связанные с отсутствием легко доступных источников питьевой воды, относительной удаленностью от центра общественной, хозяйственной и религиозной жизни, но главное, с отсутствием искусственных и естественных рубежей обороны в условиях существования потенциальной опасности военного нападения кочевников, ставили его жителей в несколько более сложное, худшее по сравнению с самими ольвиополитами положение. Такое же впечатление неравных условий и возможностей возникает и при сопоставлении относительно более скромного, архаичного, правильнее сказать, примитивного быта обитателей предградья с жизнью в самом городе.

4. Отсутствие видимых серьезных причин продолжительной жизни полноправных граждан на территории предградья в сфере его экономики, отсутствие заметных попыток Ольвийского полиса на протяжении всего V и начала IV вв. до н.э. хоть как-то изменить, улучшить условия существования жителей этого поселения приводит к мысли, что в основе констатируемого бытового неравенства могло лежать неравенство социальное, в том числе связанное и с этническим происхождением. Иными словами, создается впечатление, что район к западу от Ольвии в V в. до н.э. мог быть заселен группой (категорией) лиц, находившихся на сравнительно низкой ступени социальной лестницы античного общества Нижнего Побужья позднеархаического — раннеклассического периодов.

5. Поскольку, однако, эта социальная группа (категория) людей пришла сюда, под стены Ольвии, скорее всего, из сельскохозяйственных селищ Нижнего Побужья, где достаточно четко прослежены следы присутствия гетерогенного варварского элемента, будет логично предположить в ее составе прежде всего наличие ближайших потомков представителей различных аборигенных племен Северного и особенно Северо-Западного Причерноморья, по тем или иным причинам попавших в орбиту действия экономики и культуры греческой общины и в силу этого подвергшихся эллинизации.

6. Довольно большие размеры и интенсивный характер жизни предградья на протяжении середины V - начала IV вв. до н.э. позволяют примерно оценивать удельный вес предполагаемой социальной группы (категории) как весьма значительный.

7. Компактное проживание эллинизованных туземцев за городскими стенами заставляет думать, что речь в данном случае может идти о какой-то форме коллективной зависимости. При

этом главным, если не единственным, родом занятий обитателей предградья должна была являться работа по обеспечению продуктами сельского хозяйства полноправного греческого населения Ольвии. Тем самым, как кажется, у нас появляются некоторые основания предполагать в ближайших окрестностях города V в. до н.э. наличие достаточно обширных и энергично обрабатываемых земельных участков, принадлежавших гражданскому коллективу этого полиса.

8. Практическая синхронность прекращения жизни на территории предградья с развитием нового этапа внутренней колонизации Ольвией Нижнего Побужья, падающем на начало IV в. до н.э., равно как и большой размах этой колонизации, создают впечатление, что Ольвийскому полису, несмотря на значительную временную протяженность неблагоприятного периода, все же удалось сохранить часть своих сельскохозяйственных рабочих и использовать их в процессе создания новых аграрных поселений.

9. Возвращаясь, таким образом, к вопросу о базовой функции предградья, можно определить ее одним словом — резервация.

10. И последнее. Следует учитывать, что любая этнокультурная интерпретация предградья, вероятно, не позволяет видеть в нем место, где многочисленная «свита» скифского царя Скила пребывала продолжительное время в ожидании своего повелителя. Такое определение памятника представляется крайне дискуссионным, поскольку, во-первых, нет никаких оснований пересматривать достаточно корректный комментарий В.В.Латышева, трактовавшего слово το προαστειον как «просто открытую местность перед городом» (Латышев 1887: 41-42, прим. 8), и, во-вторых, вызывает сомнение само стремление, да и возможность длительного пребывания конного войска скифов в относительно жестких, непривычных условиях стационарного поселения, к быту и занятиям жителей которого они явно должны были испытывать род презрения.

Итак, мы завершили рассмотрение материалов предградья и, по всей видимости, имеем теперь право предположить, что даже при вполне вероятной диверсификации экономики Ольвии в первой половине V в. до н.э., обусловленной необходимостью поисков новых источников продуктов, ее надежной основой являлось, скорее всего, все-таки сельское хозяйство, базировавшееся на вновь созданной (или реорганизованной?) собственной хоре, расположенной в ближайших окрестностях этого города. Таким образом, одним из основных итогов анализа событий этого времени становится окончательное признание факта дальнейшего ускоренного развития Ольвии, да, почти несомненно, и всех остальных эллинских центров Северо-Западного Причерноморья в период резкого обострения военно-политической и демографической обстановки в регионе. Совершенно очевидно, однако, что столь явное проявление поистине удивительной жизнеспособности колоний ионийцев в данной ситуации требует специального объяснения.

Первое, на что следует обратить особое внимание в этой связи, — опять-таки на отсутствие следов военных разрушений открытых селищ Нижнего Побужья, Нижнего Поднестровья и, вполне вероятно, Северной Добруджи. Можно предположить, таким образом, что их обитатели по большей части имели возможность беспрепятственно, т.е. в более или менее спокойной обстановке, покидать обжитые места, унося при этом с собой весь мало-мальски ценный скарб. Замечу также, что отсутствие бесспорных следов мощного одноразового удара кочевых орд может быть, по-видимому, отмечено и во всех остальных областях Северного Причерноморья, в том числе и в районах проживания скотоводческо-земледельческих племен Среднего Поднепровья. Речь, скорее, должна идти о несколько растянутом и все нарастающем во времени давлении степняков. Более того, есть достаточно веские основания полагать, что многочисленное и, судя по погребальному обряду, весьма воинственное население лесостепной зоны Днепровского Левобережья вполне успешно и без серьезных потерь для своей культуры отразило натиск кочевников (Шрамко 1987: 19; Моруженко 1989: 33). Аналогичная ситуация, наконец, должна быть отмечена и по отношению к объединившимся перед лицом скифской угрозы городам Боспора (Виноградов 1983: 348 сл.; Толстиков 1984). Словом, нельзя не думать, что появившиеся в степном коридоре Северного Причерноморья с востока в самом начале V в. до н.э. номады изначально, видимо, не обладали достаточной пробивной силой для нанесения сокрушительного удара по прежним хозяевам региона.

Вместе с тем, отмечая это, с моей точки зрения, весьма вероятное обстоятельство, резонно предположить, что даже относительная слабость новоявленных обитателей степи сама по себе решительно ничего не может прояснить в случае, когда дело касается стабильности развития небольших, географически изолированных друг от друга греческих опорных пунктов Северо-Западного Причерноморья, а тем более существования в их окрестностях какого-то фонда постоянно обрабатываемых земельных угодий и пусть одиночных, но фактически совершенно беспомощных аграрных поселений. Вряд ли их безбедное функционирование могло быть обеспечено силами лишь одного гражданского коллектива колоний, даже если они и попытались в той или иной степени объединить свои усилия (ср.: Виноградов 1989: 91). Суть дела, по-видимому, в ином — в опоре греков на военную мощь и авторитет той части самих варваров, которые были в наибольшей степени за-

интересованы в поддержании и дальнейшем развитии с ними самых тесных взаимовыгодных экономических и иного рода контактов. Как полагает Ю.Г.Виноградов, именно в это время Ольвия и, по всей видимости, все остальные эллинские апойкии северо-западной части Понта впервые отдают себя под протекторат правителей Скифского царства (Виноградов 1989: 90-109).

Нет нужды детально останавливаться на рассмотрении конкретно-исторического содержания весьма плодотворной в своей основе идеи варварского протектората в представлениях названного автора. Гораздо важнее другое — вновь обратить внимание на факт отсутствия в степной зоне Северного Причерноморья конца VI - первой половины V вв. до н.э. сколь-либо явственных следов (в археологическом выражении, разумеется), подтверждающих существование здесь единого и политически стабильного во временном отношении общественного образования номадов — так называемого Скифского царства, обладавшего к тому же, якобы, «мощным экономическим и военным потенциалом» (Виноградов 1989: 84; ср.: Хазанов 1975: 229). Археологические реалии этого периода отражают, скорее, состояние крайней неустойчивости, раздробленности и баранты в регионе. Таким образом, речь, по всей видимости, может идти в лучшем случае о правителях какого-то более или менее крупного подразделения кочевников, которые за определенную плату (форос) взяли в этих условиях под свою защиту греческие центры интересующей нас территории, например, тех же царских скифов Геродота, с большим или меньшим правом считавших остальных обитателей Северного Понта своими рабами (Herod, IV, 20).

Но этого мало. Есть некоторые резоны полагать, что в своей основе проблематична сама вероятность отношений протектората именно со стороны номадов этого времени, во всяком случае, в том развитом облике стабильной внеэкономической эксплуатации греческих полисов, которые в этих отношениях вполне справедливо усматривает Ю.Г.Виноградов. Нельзя забывать, что в первой половине V в. до н.э. новые группы пришельцев с востока находились еще на стадии завоевания родины. Они только что появились в степном коридоре Северного Причерноморья и в силу этого обстоятельства просто не могли обладать достаточно длительным опытом культурных контактов с местными колониями, способным пробудить действительный интерес туземной знати к столь упорядоченному контролю над хозяйством ионийцев. Впрочем, судя по тому, что нам известно о материальной культуре вновь появившихся обитателей степной зоны первой половины указанного столетия, кочевники этого времени, по всей видимости, даже не имели достаточно четко выраженной социальной стратификации своего общества. И то и другое пришло к ним позже — начиная с последней трети V в. до н.э. Зато такой стратификацией и таким опытом контактов с эллинами в полной мере обладали прежние хозяева региона — полуоседлое население лесостепной зоны Северного Причерноморья и северной части Добруджи.

Итак, не перечеркивая полностью стремление ряда исследователей видеть в защитниках греков V в. до н.э. от нападений мелких групп варваров, по тем или иным причинам не объединенных «под эгидой царственных наследников победителей Дария», вождей более крупных объединений номадов, тех же царских скифов (Виноградов, Доманский, Марченко 1990; Виноградов 1989: 91), мы тем не менее оказываемся перед необходимостью выяснить возможность выбора на эту специфическую роль новых кандидатов из числа автохтонных жителей Причерноморья. При этом, очевидно, из этого ряда претендентов изначально следует исключить, по-видимому, обитателей Днепровского лесостепного Правобережья, поскольку в первой половине V в. до н.э. они, судя по всему, довольно быстро утратили свое былое значение и, попав в зависимость от номадов, наверное, сами нуждались в активной поддержке (ср.: Скорый 1997: 69 сл.). Несколько более сложным представляется на первый взгляд решение вопроса о воинственных племенах Днепровского Левобережья. Как отмечалось выше, это население, в общем, довольно успешно отразило натиск кочевников с юга. Однако надо признать, что в данном случае у нас просто нет никаких реальных материалов, которые можно было бы истолковывать в качестве свидетельства прямого или хотя бы косвенного участия местных жителей в событиях первой половины V в. до н.э., протекавших в степной зоне северо-западной части Понта. Таким образом, в нашем распоряжении остается лишь одно — обратиться к рассмотрению соответствующих фактов археологии раннего железного века Северной Добруджи.

Первое, на что, пожалуй, необходимо обратить самое пристальное внимание в данной связи, — на более чем вероятное вхождение этого района в зону расселения кочевников скифской архаики. Во всяком случае, именно этим обстоятельством логичнее всего объяснять прекращение существования в первой половине - середине VII в. до н.э. поселений так называемой культуры Бабадаг III, приписываемой гетам (см.также: Alexandrescu 1990: 49, 63; ср.: Avram 1990: 18). Равным образом допустимо предположить, что здесь, как, по-видимому, и во всех остальных случаях, номады в результате насильственного захвата новой родины образовали верхний пласт, своего рода элиту, в социальной структуре местных скотоводческо-земледельческих образований. Вполне естественно также думать, что с этого времени в Истро-Пон-

тийской зоне на полную мощность был включен механизм культурной интеграции относительно небольшого числа завоевателей в иноэтничную среду туземного населения. Именно это последнее обстоятельство крайне затрудняет, а подчас просто делает невозможным сколько-нибудь четкое выделение северопричерноморского культурного элемента в Северной Добрудже интересующего нас времени. Особые сложности при этом, однако, возникают в связи с тем, что степень изученности памятников варварской части населения этого района оставляет до сих пор желать много лучшего.

Тем не менее вполне определенные данные на сей счет все-таки имеются. Наиболее показательными в их числе, несомненно, являются материалы курганного могильника Валя-Чиликулуй (Челик-Дере) VI-V вв. до н.э. (у с. Телица на правом берегу Нижнего Дуная), демонстрирующие нам многочисленные параллели и аналогии с туземными памятниками скифской архаики Северного Причерноморья (Simion 1992: 26 şi urm.). Примечательно и то, что в состав погребального инвентаря этого комплекса, наряду с прочими вещами скифской культурной принадлежности, входили бронзовые втульчатые наконечники стрел келермесского и жаботинского типов, костяные грибовидные застежки колчанов или горитов, образцы лепной керамики типов, характерных прежде всего для памятников лесостепной зоны Северного Причерноморья, фрагменты восточногреческой импортной посуды. Все это вместе взятое позволяет датировать древнейшие захоронения кочевников временем не позднее конца VII в. до н.э.

В этом же ряду данных укажем на наличие в составе вещественных находок с ранних поселений округи Истрии лепной посуды, совершенно аналогичной керамике лесостепной зоны Северного Причерноморья (см., например: Pippidi, Berciu 1965: 91, fig.16; Moscalu 1983: 54, 170-171). Напомним также, что обломки типично североп онтийской посуды VI - начала V вв. до н.э. составляют довольно заметную долю керамического комплекса так называемого предградья, или поселения extra mures этой колонии (Dimitriu 1966: 55-56, 498. p1. 66, №№ 874, 878, 885, 887, p.499, p1.67, №№ 897-899, 900, 902, 906). Равным образом известно, что, кроме лепной посуды, на территории «предградья» Истрии и поселения Тариверде (в 18 км к западу от Истрии) обнаружены детали конской сбруи скифского облика VI в. до н.э. (Berciu 1963; Мелюкова 1976: 108, рис.1, 1, 2; Alexandrescu 1990: 65), а также наконечники скифских боевых стрел этого же времени (см., например: Berciu, Preda 1961:.fig. 5, 1; Мелюкова 1979: 106; ср.: Никулицэ 1987: 38-40). Крайне любопытно отметить, наконец, в связи со всем вышеизложенным, что до сих пор единственная небольшая серия подкурганных захоронений туземной знати середины VI - начала V вв. до н.э., открытая рядом с «предградьем» на месте будущего некрополя Истрии, по совершенно справедливому замечанию автора раскопок П.Александреску, вполне определенно содержала целый ряд черт обряда и предметов из состава погребального инвентаря, в том числе, кстати, и фрагменты лепной керамики, прежде всего свойственной для североп онтийского племенного мира варваров (Alexandrescu 1990: 65-66).

Таким образом у нас, как кажется, есть некоторые основания предполагать пребывание скифов в Добрудже еще задолго до начала V в. до н.э. (ср.: Мелюкова 1979: 239). При этом нет никаких сомнений в том, что по крайней мере внешний облик культуры этой группы бывших завоевателей уже во многом отличался от принесенного ими с собой и, по всей видимости, более всего напоминал гетский. Однако столь же очевидно и то, что сам факт наличия отмеченных и, бесспорно, скифских признаков в ее структуре позволяет говорить о том, что еще далеко не все элементы традиции были утрачены ими к моменту появления в степном коридоре Северного Причерноморья новой волны номадов. Не случайно поэтому, быть может, придунайские геты даже в V в. до н.э. все еще более всего напоминали грекам кочевников-скифов (Thuc., II, 96, 2; 98, 4; см.также: Weiss 1912: sp.1932).

В заключение данного пассажа нам остается лишь еще раз напомнить о существовании самой тесной и весьма продолжительной связи туземцев ближайшей округи Истрии с ее греческим населением. Заметим также, что наиболее ярким показателем глубины этой связи, на наш взгляд, является использование греками северо-западной части Понта, жителями Истрии прежде всего, в торговле с местными варварами весьма своеобразной формы протоденег, выполненных в виде двулопастной стрелы скифов VI в. до н.э. (ср.: Avram 1990: 24).

Вернемся, однако, к исходному пункту нашего поиска наиболее вероятных претендентов на роль протекторов ионийцев в первой половине V в. до н.э. Как представляется ныне, одним из важнейших результатов только что проведенного рассмотрения археологических материалов позднеархаического времени Северной Добруджи становится возможность включения в их число какого-то объединения туземцев Истро-Понтийской зоны. Совершенно очевидно, впрочем, что само по себе такое включение, проведенное нами лишь на уровне интерпретации крайне скудных и к тому же далеко не однозначно трактуемых современными исследователями фактов археологии раннего железного века, по существу является не чем иным, как просто осторожным предположением. Тем не менее, оно все-таки допустимо и, главное, в его пользу могут быть найдены дополнительные и независимые от археологических материалов аргументы, способные, как кажется, придать занятой

нами позиции вид более или менее обоснованной гипотезы.

Солидным подкреплением высказанной точки зрения на сей раз оказываются прежде всего данные античной литературной традиции, содержащиеся в IV книге Геродота. Первое, на что необходимо обратить внимание в этой связи, — на само название северной части Добруджи: старая, или древняя Скифия (Herod., IV, 99, 2), свидетельствующее, быть может, также в пользу относительно раннего проживания скифов на этой территории (см.также: Марченко, Вахтина 1997: 178 сл.; ср.: Куклина 1985: 58-59). Равным образом нельзя не обратить внимание и на то, что буквально все (NB!) сообщения отца истории о наиболее вероятных, с точки зрения Ю.Г.Виноградова, протекторах ионийцев первой половины V в. до н.э. — скифских «царях» Ариапифе, Скиле и Октамасаде (Herod. , IV, 78-80) — географически ограничены лишь одной областью Северного Причерноморья — его западной, а отнюдь не восточной, частью, где, по всей видимости, располагались кочевья так называемых царских скифов Геродота (IV, 20); этой же областью, как известно, ограничиваются и все находки монет V в. до н.э., приписываемых «царям» скифов и их наместникам (Карышковский 1984; 1987; Виноградов 1989: 93-94, 106-107). Но и это еще не все. Как показывает даже беглый анализ все тех же глав текста «Скифского логоса», большинство событий, так или иначе связанных с жизнедеятельностью названных выше туземных династов, происходило на еще более узком участке степей — в районе Подунавья. Напомню, наконец, что здесь же, в окрестностях Истрии, где находилось единственное из до сих пор известных нам родовых кладбищ правителей местного населения, был обнаружен и вполне материальный свидетель этих событий — золотой перстень Скила и, возможно, одного из его венценосных предшественников — Аргота (Виноградов 1980). Тем самым можно думать, что именно Северная Добруджа с примыкавшими к ней с севера степями являлась основной территорией пребывания скифов, возглавляемых Ариапифом-Скилом-Октамасадом.

В заключение данного сюжета нам остается лишь дать небольшую корректуру версии скифского протектората первой половины V в. до н.э., разработанную Ю.Г.Виноградовым. Сразу же замечу, что предлагаемая коррекция событий ни в коей мере не затрагивает саму идею и основное содержание зависимости ионийских полисов Северо-Западного Причерноморья этого времени от варваров. Речь идет о другом — о внесении ряда более или менее оправданных изменений в наши представления о конкретном носителе властных функций и, отчасти, самом ходе развития процесса отношений подчинения.

Начать следует, по-видимому, с самого начала — с напоминания факта отсутствия сколь-либо значительных групп скифов в степном коридоре Северного Понта в момент появления здесь первых постоянных выселков ионийцев. Напомним также, что наиболее вероятными зонами расселения кочевников скифской архаики стали прежде всего территории обитания разнокультурных оседлых и полуоседлых скотоводов и земледельцев этого и соседних с ним регионов. В число последних, вполне вероятно, входил и район Северной Добруджи. Такое, до известной степени раздробленное, расселение номадов VII в. до н.э. явно не способствовало созданию в Северном Причерноморье политически монолитного долговременного общественного образования варваров.

Как представляется далее, вскоре после основания греками своего древнейшего поселения в дельте Дуная здесь, рядом с Истрией, довольно быстро, не позднее самого начала VI в. до н.э. во всяком случае, начинает формироваться более или менее крупное потестарное объединение туземцев, возглавляемое скифской аристократией, вступившей в длительные и самые непосредственные взаимодействия с колонистами. Основой этих взаимодействий являлось, скорее всего, некое соглашение, так или иначе регулирующее отдельные стороны жизнедеятельности выходцев из Эгеиды (см.также: Avram 1990: 24-25). Нельзя не учитывать во всяком случае, что только вполне доброжелательное отношение к переселенцам со стороны варваров могло создать достаточно надежные условия для перехода греков уже во второй четверти VI в. до н.э. к непосредственному освоению экономического потенциала близрасположенных территорий путем создания здесь небольших и, по-видимому, неукрепленных селищ. Более того, именно покровительственное отношение туземной элиты, так или иначе контролировавшей прилегавшие к Добрудже с севера степные пространства, позволило Истрии во второй половине названного столетия распространить свое экономическое влияние далеко на восток, вплоть до территории Нижнего Поднестровья по крайней мере, где как раз ею, быть может, и был создан один из основных опорных пунктов ионийцев Северо-Западного Понта позднеархаического времени — Никоний (Avram 1990: 24). Таким образом, как кажется, не будет слишком уж большой смелостью предположить, что сам институт протектората скифов по отношению к грекам, основанный на какой-то, но, несомненно, обоюдоприемлемой для обеих сторон договорной основе, мог зародиться гораздо раньше, нежели это было отмечено Ю.Г.Виноградовым, — еще в первой половине VI в. до н.э. (см.также: Preda 1985: 265-266). Другое дело, что в начале V в. до н.э. ему, по-видимому, невольно был придан прежде всего характер ярко выраженного оборонительного союза.

Первым вполне вероятным толчком, способным повлечь за собой радикальные изменения

в устоявшемся характере отношений греков и варваров в районе Подунавья, в принципе уже мог стать так называемый скифский поход Дария I Гистаспа, обычно датируемый исследователями 519 г. до н.э. (см., например: Виноградов 1989: 81; Alexandrescu 1990: 66, 86, Anm., 146 bis; ср.: Черненко 1984: 11). Впрочем, следует допускать, что кратковременность этого мероприятия должна была лишь ненадолго динамизировать военно-политическую обстановку в Истро-Понтийской зоне. Как явствует из дошедших до наших дней справок античной литературной традиции, основной удар персов пришелся, скорее всего, все-таки в пустоту и в целом не затронул местных жителей (см.: Herod,, IV, 120-142; Strab., VII, 3, 14).

Значительно более масштабные последствия в этом смысле имели события начала следующего века, когда туземное население Северной Добруджи, по всей видимости, вынуждено было развернуть упорную и не во всех случаях удачную борьбу с только что возникшим и ставшим стремительно расширять свои владения на север, в сторону Истра, молодым царством одрисов Тереса и его сына Ситалка.[3] Напомним также, что примерно в это же время с другой стороны, на востоке, в зоне жизненных интересов обитателей Истро-Понтийского района, начали появляться первые группы новой волны воинственных номадов, а на северо-западных рубежах у скифов, судя по замечанию Геродота (IV, 78, 2), возникли серьезные трения с агафирсами Спаргапифа. Словом, создается вполне отчетливое впечатление, что жители Подунавья первой половины - середины V в. до н.э. в конечном счете оказались в плотном кольце окружения враждебных и по большей части весьма сильных в военном отношении соседей. Нетрудно заметить, таким образом, что в результате этого окружения здесь, в северо-западной части Понта, образовалось нечто, довольно близко напоминающее по своим историко-географическому, этнокультурному и военно-политическому состояниям так называемую Малую Скифию Страбона (VII, 4, 5). Именно в этой критической ситуации и должно было произойти всемерное упрочение связей постоянных обитателей «Малой» (или правильней сказать — «Древней») Скифии — скифов Ариапифа-Скила-Октамасада и греческих общин района, и именно в это время их отношения должны были принять облик оборонительного, а при случае, быть может, и наступательного союза, главенствующей и, надо полагать, далеко не бескорыстной силой которого, безусловно, являлись варвары.

Нет нужды специально останавливаться на рассмотрении конкретных проявлений и самом содержании явно неравноправного в своей основе союза греков и варваров в Северо-Западном Причерноморье первой половины V в. до н.э.: такая работа, как уже отмечалось выше, в полной мере проделана недавно Ю.Г.Виноградовым. Гораздо важнее для нас в данном случае обратить внимание на то, что как раз в это время здесь, на территории «Древней Скифии», в процессе создания отношений протектората был достигнут наивысший уровень культурных взаимодействий и взаимовлияний ионийцев и скифов, выразившийся, в частности, в появлении в среде местной аристократии первых вполне эллинизованных представителей туземной элиты, выпуске отдельными греческими полисами серий монет, удостоверяющих сюзеренитет скифских династов, и, главное, в формировании целостной системы вполне упорядоченного контроля варваров над экономической сферой жизнедеятельности колоний (Виноградов 1989: 93-109). Впрочем, как представляется ныне, почти весь накопленный опыт взаимодействий греков и варваров в этом районе был вскоре утерян. Не позднее начала второй половины V в. до н.э. старая скифская аристократия Подунавья, по всей видимости, полностью утратила свое былое значение и либо распалась под ударами своих грозных противников, либо была подчинена одрисами Ситалка и окончательно растворилась в иноэтничной среде гетов. С этого момента и вплоть до начала экспансии сарматских племен на запад единственными хозяевами северо-западной части Понта, за исключением Добруджи, становятся кочевые орды скифов, пришедшие в степной коридор Приднепровья еще в первой-второй четвертях названного столетия. Тем самым была окончательно закрыта первая (архаическая) и открылась новая (классическая) страница в истории развития греко-варварских отношений в этом районе. Наиболее ярким и одновременно, на мой взгляд, наиболее существенным следствием кардинального изменения военно-политической и демографической обстановки в Причерноморье явилась реколонизация сельских территорий Нижнего Побужья и Нижнего Поднестровья.

Начало нового, второго по счету подъема оседлой жизни на сельской территории Нижнего Побужья в настоящее время определяется несколько по-разному: от 400 г. до н.э. (Рубан 1978: 41; 1985: 34-35) до начала и даже первой половины IV в. до н.э. (Рубан 1975: 131; 1988: 18; Доманский 1981: 162-163; Отрешко 1982: 37-

[3] Вполне допустимо предполагать вслед за Ю.Г.-Виноградовым, кстати, что хронологический отсчет этой конфронтации следует вести от момента военного набега скифов на Фракию (Виноградов 1989: 85-86), предпринятого ими, как полагает большинство специалистов, в 496-435 гг.до н.э. (см., например: Доватур, Каллистов, Шишова 1982: 389-390, ком.317, 319; Виноградов 1989: 85; Alexandrescu 1990: 67). Равным образом, нельзя исключать и того, что так называемое первое разрушение Истрии, датируемое ныне П.Александреску также первым десятилетием V в. до н.э. (1990: 67), может быть опять-таки связано с началом кровопролитной борьбы скифов с фракийцами.

38; Виноградов 1989: 138). Сразу же замечу, что имеющиеся в нашем распоряжении археологические данные (см., например: Марченко 1983; 1985; 1987; Виноградов, Марченко 1986: 66-67; Марченко, Доманский 1986: 48, 55) позволяют внести существенный корректив в уже высказанные на сей счет в печати соображения и догадки. Они заставляют думать, что первые признаки нового оживления сельскохозяйственной деятельности в округе Ольвии, да, по-видимому, и остальных греческих центров северо-западной части Понта, следует относить к значительно более раннему времени — последней трети V в. до н.э. (см.также: Виноградов, Марченко 1985; Крыжицкий, Буйских, Бураков, Отрешко 1989: 99). Впрочем, столь же очевидно, пожалуй, и другое — постепенность нарастания процесса заселения берегов древних лиманов этого района, принявшего действительно большие размеры лишь в первой трети следующего столетия.

Что касается самих масштабов реколонизации, охватившей в целом весьма продолжительный период — от последней трети V до первой трети III вв. до н.э. по крайней мере, — то, судя по опубликованным материалам (см., например: Крыжицкий, Бураков, Буйских, Отрешко, Рубан 1980: карта; Охотников 1983: 103; Крыжицкий, Буйских, Бураков, Отрешко 1989: 98, рис. 35; Крыжицкий, Буйских, Отрешко 1990: 44 сл.), они явно и намного превосходили соответствующие параметры освоения аграрных территорий позднеархаического периода. Достаточно сказать, что только в Нижнем Побужье археологическим путем ныне зафиксированы следы функционирования более чем 150 населенных пунктов этого времени; несколько меньшее, но все-таки тоже весьма впечатляющее количество сельских поселений — около 85 единиц — было, по-видимому, основано тогда же и в Нижнем Поднестровье. Следует заметить, правда, что значительная часть памятников такого рода скорее всего представляла собой лишь временные или сезонные стоянки рыбаков, скотоводов или земледельцев (Крыжицкий, Буйских, Бураков, Отрешко 1989: 101-102). Тем не менее можно считать, что и в данном случае речь идет опять-таки о достаточно крупном хозяйственном, культурном и, безусловно, демографическом явлении в истории античного населения Северо-Западного Причерноморья.

В числе главных причин, вызвавших указанное явление к жизни, исследователи обычно называют несколько, а именно: реорганизацию земледельческой территории Ольвии (Рубан 1978: 41; 1988: 18), интенсивное оседание туземцев на землю (Доманский 1981: 162-163), появление эпойков из метрополии (Отрешко 1982: 37-38; Рубан 1988: 18), уничтожение скифского протектората над Ольвией и другими греческими городами Северо-Западного Причерноморья и связанное с этим уничтожением свержение местной тирании, повлекшее за собой «стремление обновленного Ольвийского государства восстановить одну из главных отраслей своей экономики, нормальное функционирование которой было некогда нарушено диктатом варваров» (Vinogradov 1981: 26; 1989: 138), и, наконец, просто экономическую активность этого полиса в конце V — III вв. до н.э. (Крыжицкий, Буйских, Бураков, Отрешко 1989: 100).

Переходя теперь к оценке существующих точек зрения и изначально признавая за ними в той или иной степени право на существование, — особенно что касается мнения о заинтересованности греческих колоний в деле оптимизации своих сельскохозяйственных владений, являвшихся основой их благосостояния, — замечу все же, что ни одна из них не может, на мой взгляд, считаться полностью удовлетворительной.

Наименее вероятным, хотя, разумеется, и не невозможным, выглядит предположение о появлении в районе Ольвии новой волны эпойков из метрополии. Будучи основано почти исключительно на логическом допущении, оно к тому же, по всей видимости, исходит из абсолютизации явно дискуссионного тезиса о преимущественно эллинском составе обитателей многочисленных аграрных селищ. При этом, как кажется, совершенно не учитываются по меньшей мере еще два немаловажных обстоятельства: одновременный подъем оседлой жизнедеятельности во всех остальных районах греческой колонизации Северного Причерноморья, в том числе, кстати, в Северной Добрудже (см., например: Zimmermann, Avram 1987: 27) и на Боспоре (см., например: Масленников 1987; 1998), но главное — значительную хронологическую растянутость нарастания темпов заселения сельских территорий Нижнего Побужья, максимум которого приходится уже на раннеэллинистический период (Крыжицкий, Буйских, Бураков, Отрешко 1989: 100).

Значительно более приемлемым (доказанным), но все-таки также односторонним решением задачи представляется и другой подход, ставящий во главу процесса реколонизации оседание номадов на землю. В данном случае, как очевидно, вне поля зрения анализа существа дела во многом оказывается довольно многочисленная группа разнообразных археологических фактов, прямо свидетельствующих в пользу не только опосредованного (культурного и экономического), но и прямого (физического) участия эллинов в освоении целого ряда новых аграрных поселений в окрестностях собственных колоний. Отмечу также, что, судя по всей совокупности материалов степной зоны Северного Причерноморья, указанное явление, т.е. оседание туземцев, приняло интенсивный характер гораздо позднее начала второго этапа заселения сельских районов Нижнего Побужья и Нижнего Поднестровья — в середине-второй поло-

вине IV в. до н.э.

В значительной степени мимо цели бьет, наконец, и идея о стремлении Ольвийского полиса восстановить свою запустевшую хору только после радикального преобразования своей политической системы — перехода к демократии, происшедшего, по-видимому, лишь в начале IV в. до н.э. (Vinogradov 1981: 26; Виноградов 1989: 135 сл.; ср.: Рубан 1985: 34; 1988: 18). Как уже упоминалось выше, имеющиеся на сей счет в настоящее время данные однозначно показывают, что первые признаки нового оживления сельскохозяйственной деятельности на территории Нижнего Побужья, причем не только в непосредственной близости от Ольвии, но и на значительном удалении от ее стен, следует относить к более раннему времени — последней трети V в. до н.э. Тем самым ставится под сомнение вероятность прямой связи начала этого явления только с надежно установленными внутриполитическими событиями в самом полисе, поскольку последние, по всей видимости, могли в лучше случае лишь способствовать ускорению уже начавшегося ранее процесса, т.е. придать ему большую, чем прежде, энергию и организованность.

Вернемся, однако, к исходному пункту поиска наиболее вероятных причин реколонизации и, с учетом положительных сторон только что рассмотренных нами точек зрения на проблему, попытаемся найти наиболее приемлемое решение этой задачи. Начать, по-видимому, следует еще раз с подтверждения факта прямой заинтересованности греческих полисов Северо-Западного Причерноморья в максимальном расширении своих сельскохозяйственных владений, являвшихся главной опорой их благосостояния. Равным образом столь же очевидным представляется и то, что размеры этих владений изначально во многом определялись количеством трудоспособного населения колоний и наличием или отсутствием свободного фонда легкодоступных и вполне пригодных для обработки земельных участков в их окрестностях; не менее важным условием достижения оптимальных размеров хоры должна была являться, наконец, и соответствующая, т.е. достаточно благоприятная, военно-политическая обстановка в регионе, позволяющая грекам в полной мере использовать наличествующие на данный момент ресурсы.

Оценивая под указанным углом зрения ситуацию в Нижнем Побужье и Нижнем Поднестровье в канун нового подъема оседлой жизнедеятельности, свидетельствующую в пользу заметного роста народонаселения эллинских центров и крайне малой заселенности аграрных территорий, можно уверенно предположить, что основным, если даже не единственным, камнем преткновения на пути максимального освоения экономического потенциала названных районов являлась все еще существующая угроза военных акций со стороны кочевников. Именно это последнее обстоятельство, на мой взгляд, и определяло в дальнейшем замедленный темп и специфический облик развития начального этапа реколонизации. Переходя теперь к непосредственному рассмотрению содержания этого этапа, напомню, что в начале второй половины V в. до н.э. в степной зоне Северо-Западного Причерноморья произошла, по-видимому, смена хозяев. С уходом с исторической арены старой скифской аристократии Подунавья единственной силой, способной в той или иной мере диктовать условия существования местных греческих полисов, становятся номады Приднепровья. Как представляется далее, столь радикальное изменение в расстановке главных действующих лиц уже само по себе должно было способствовать зарождению очередного периода относительной стабилизации военно-политической обстановки в этом районе Понта. Возникли реальные предпосылки для перехода практически всего комплекса греко-варварских контактов на более упорядоченную (договорную) основу.

Нет сомнений, впрочем, что как ранее, так и теперь главным стимулом упрочения этих контактов служила кровная заинтересованность элиты варваров в получении возможно большего количества высококачественной и, несомненно, престижной продукции греческих ремесленников и виноделов. Получив в свои руки контроль над «излишками» продуктов земледелия приведенной в зависимое состояние части оседлого населения лесостепных районов Северного Причерноморья, новые хозяева региона одновременно получили и прекрасные возможности для налаживания широкомасштабных торговых операций с эллинскими центрами. Весьма существенную роль в организации стабильной поставки элите вожделенных изделий была призвана сыграть, надо думать, и внеэкономическая эксплуатация самих греков, вынужденных для обеспечения собственной безопасности выплачивать в это время номадам на более или менее постоянной основе какой-то трибут.[4] Вместе с тем не приходится сомневаться также и в том, что на начальной фазе раскручивания очередного витка отношений с кочевой знатью новый механизм контактов иногда мог давать определенные сбои в своей работе. Социальная психология вчерашних завоевателей, способных при благоприятных условиях в любой момент нанести неожиданный удар в спину, еще длительное время, вплоть до перехода к массовой седентаризации туземцев, в середине IV в. до н.э. во всяком случае, должна была неустанно подпитывать у греков чувство

[4] Достаточно надежным свидетельством установления скифами конца V в. до н.э. податей для греков Северо-Западного Причерноморья является, как кажется, информация, содержащаяся в частном письме на обломке амфоры из Керкинитиды (см.: Соломоник 1987; ср.: Виноградов 1989: 91)

некоторой неуверенности в своем завтрашнем дне. Не случайно поэтому, быть может, эпиграфические памятники именно первой половины указанного столетия демонстрируют нам постоянную заботу ольвиополитов о всемерном укреплении обороноспособности их города (Виноградов 1989: 138-139).

Наиболее убедительные доказательства отсутствия достаточно благоприятной военно-политической обстановки для прямого перехода к крупномасштабной реколонизации свободных земель обнаруживаются, однако, как всегда, за пределами городских стен, на хоре. В их числе в первую очередь следует опять-таки обратить внимание на чрезвычайно растянутое, постепенное, так и хочется сказать — робкое, развитие хода второго этапа освоения территорий. Достаточно заметить, что к начальной фазе этого процесса даже в относительно хорошо изученном районе Нижнего Побужья на сегодняшний день с большей или меньшей долей вероятности могут быть отнесены остатки всего лишь двух-трех строительных комплексов последней трети V в. до н.э. — наземной усадьбы № 27 и большой землянки № 24, прежде всего, — зафиксированных на площади ранее покинутых позднеархаических поселений Чертоватое 7 и Старая Богдановка 2 (Марченко 1985; Крыжицкий, Буйских, Бураков, Отрешко 1989: 122-123). Все же остальные свидетельства нового подъема оседлой жизнедеятельности в Нижнем Побужье, да, по-видимому, и в Нижнем Поднестровье до сих пор приходится связывать с присутствием в культурных напластованиях отдельных селищ сравнительно небольших серий керамических материалов и единичных хозяйственных ям этого времени.

Другим, с моей точки зрения, вполне вероятным показателем ожидания враждебных поползновений со стороны скифов может служить и факт отсутствия на территории новых и в структуре возобновленных сельских населенных пунктов северо-западной части Понта даже первой половины IV в. до н.э. сколь-либо значительного числа долговременных, т.е. относительно дорогих и требующих больших затрат труда, наземных сырцово-каменных построек греков. Анализ старых и только что появившихся археологических материалов ни в коем случае не позволяет ныне соглашаться с до сих пор все еще широко бытующим среди специалистов мнением, согласно которому здесь уже «в течение первой четверти IV в. до н.э. возникает целый ряд урбанизированных поселков с развитым домостроением» (Крыжицкий, Буйских, Бураков, Отрешко 1989: 99, 150; ср.: 106-123, 149). Напротив, есть все основания полагать, что подавляющее большинство жилых и хозяйственных строительных комплексов, функционировавших на территории этих памятников в первой половине указанного столетия, принадлежало к категории весьма примитивных и, как правило, довольно простеньких в своем изготовлении землянок и полуземлянок (см., например: Мелюкова 1975: 9-19; Марченко, Доманский 1986: 55-57; Головачева 1987: 79; Марченко 1988; Марченко, Соловьев 1988: 49; Крыжицкий, Буйских, Бураков, Отрешко 1989: 104-106; Буйских 1989; Головачева, Марченко, Рогов, Соловьев 1991).

Наконец, третьим, и конечно же, самым очевидным свидетельством реальной возможности военных столкновений является наличие, по крайней мере, у некоторой части поселений последней трети V - первой половины IV вв. до н.э. искусственно созданных линий защиты. Уже одна из самых первых постоянных построек этого времени — упоминавшаяся выше усадьба № 27, расположенная в непосредственной близости от Ольвии, имела «относительно мощные обводные стены всего здания» и внутреннее квадратное помещение, «по-видимому, башенного типа», что, по мнению исследователей, может быть расценено в качестве элементов обороны (Крыжицкий, Буйских, Бураков, Отрешко 1989: 122-123, 124). Значительно более солидной системой укреплений, вполне вероятно, обладал другой памятник Нижнего Побужья этапа реколонизации — Софиевка 2, на территории которого, согласно наблюдениям С.Б.Буйских, были обнаружены остатки «каменной крепостной стены и выкопанного с ее напольной стороны рва» (Буйских 1989). Однако, безусловно, наиболее достоверное доказательство существования фортификационных сооружений у ранее считавшихся совершенно открытыми аграрных поселков района было недавно получено при тотальном обследовании площади еще одного рядового селища этого времени — Козырка 12, где удалось полностью открыть следы сразу двух последовательно сменявших друг друга рубежей обороны, каждый из которых включал в свою структуру мощную ограду из глубоко вкопанных в материк деревянных столбов и небольшой конусовидный ров у ее внешней щеки.[5] В этом же смысле, наконец, может быть расценено и предполагаемое выведение ольвиополитами на рубеже V-IV вв., или, что наиболее вероятно, в начале IV в. до н.э., в район Северо-Западного Крыма нескольких своих форпостов — небольших, но хорошо укрепленных поселений-фрюрионов типа Панское 1, Караджинское и «Чайка» (Щеглов 1986: 166, 168, прим.35; Виноградов, Щеглов 1990: 313-314).

Какие же силы приняли участие в процессе реколонизации сельских территорий Северо-Западного Причерноморья? Кто основал и заселил новые поселения в окрестностях греческих центров этого района?

Исходным пунктом поиска ответа на постав-

---

[5] Раскопки Нижнебугской античной экспедиции ЛОИА АН СССР 1989-1990 гг. под руководством Е.Я.Рогова. Материалы работ не опубликованы

ленные вопросы, как и ранее, будет признание факта исторической обусловленности очередного подъема и дальнейшего развития оседлой жизни в Нижнем Побужье и Нижнем Поднестровье экономической деятельностью местных ионийских государственных образований. Именно это обстоятельство, надо думать, во многом и предопределило хозяйственный и культурный облик самих поселений. Значит ли это, однако, что речь в дальнейшем безусловно должна идти только об эллинах как о единственных и самых непосредственных участниках процесса реколонизации? Отнюдь.

Обращаясь теперь к рассмотрению наиболее показательных с этнической точки зрения элементов материальной культуры новых памятников, мы наряду с вполне естественным в таком случае весьма значительным греческим компонентом обнаруживаем в их числе и несомненные свидетельства физического присутствия выходцев из туземной части населения Северного Понта. При этом замечу сразу, что накопленная на сегодняшний день информация в принципе позволяет выделять отдельные комплексы с относительно большим, иногда даже подавляющим, и относительно небольшим, едва уловимым, содержанием этих черт.

Среди последних прежде всего следует назвать лепную керамику. Как установлено ныне, обломки посуды, сработанной от руки без применения гончарного круга, имеются в составе керамических материалов буквально всех из до сих пор так или иначе изученных поселений интересующих нас районов. Равным образом достойно внимания также и то, что удельный вес такого рода изделий, используемых в быту обитателями сельских территорий, значительно превышая количество аналогичной посуды, изготовляемой жителями городских центров, имел к тому же статистически достоверные и весьма существенные колебания в конкретных комплексах — от 12-36, а иногда и более процентов (без учета амфорной тары) на большинстве поселений Нижнего Побужья (см.также: Крыжицкий, Буйских, Бураков, Отрешко 1989: 127-128; Буйских 1989: 23) до 30-80% на побережье Одесского залива и в Нижнем Поднестровье (см., например: Дзис-Райко 1961: 38; Мелюкова 1975: .23; Диамант 1976: 211). Тем самым можно предположить, что число туземцев на отдельных поселениях этого времени было весьма различно. Впрочем, нельзя не согласиться и с мнением, высказанным целым рядом исследователей, согласно которому отмеченные выше несоответствия удельных весов могут в какой-то степени отражать и уровень зажиточности (благосостояния) обитателей тех или иных населенных пунктов (Крыжицкий, Буйских, Бураков, Отрешко 1989: 128). Логично думать, что гораздо более качественная продукция греческих гончаров-профессионалов должна была быть одновременно и менее доступной для приобретения, нежели сработанная в домашних условиях. При этом, однако, в первую очередь следует исходить из того, в высшей степени оправданного, допущения, что именно в силу этого, последнего обстоятельства подавляющая часть необходимой в повседневной жизни бытовой и кухонной керамики как раз и должна была изготавливаться самими варварами, вряд ли в массе обладавшими такими же возможностями, как и граждане полиса, для удовлетворения своих потребностей в явно более престижных, но вместе с тем и более дорогих товарах ремесленного производства. Не случайно поэтому, быть может, в составе материалов лепной посуды этапа реколонизации впервые вполне отчетливо фиксируется довольно представительная группа изделий (не более 10% объема комплексов), имитирующая наиболее расхожие формы греческой кружальной кухонной, бытовой и столовой керамики (см., например: Русяева 1968: 212; Мелюкова 1975: 56; Доманский, Марченко 1980: 31-32, рис.10, 5-7, с.35; Марченко 1988 а: 125-126; Крыжицкий, Буйских, Бураков, Отрешко 1989: 134). Будучи по сути своей прежде всего показателем более чем скромного имущественного состояния сельских жителей, это явление с другой стороны, по-видимому, может быть истолковано в качестве прямого свидетельства глубокого воздействия античной культуры на быт хотя бы и части местного населения окрестностей эллинских центров (Доманский, Марченко 1980: 33).

Вместе с тем не приходится сомневаться и в том, что даже в условиях значительно более развитого, нежели в предыдущее время, внутреннего и внешнего рынков Ольвийского, да, пожалуй, и всех остальных греческих полисов Северо-Западного Причерноморья, и теснейших культурных контактов с ними подавляющее количество туземного населения сельских районов продолжало изготавливать и использовать в своем обиходе разнообразную посуду чисто варварского облика. Судя по морфологическому набору типов, основой комплекса этого времени являлась лепная керамика, находящая себе самые непосредственные аналогии прежде всего в материалах скифских памятников степного коридора Северного Понта, что, однако, на мой взгляд, не обязательно указывает на номадов как на единственный источник пополнения туземной части оседлого населения Нижнего Побужья и Нижнего Поднестровья. Нельзя забывать, что по сути дела тождественная посуда тогда же была распространена и в ряде районов лесостепной зоны этого региона, например, у жителей Днепровского Правобережья. Замечу также, что в пользу некоторой диверсификации этнокультурного состава варваров прямо свидетельствует и наличие типично гетской посуды в слоях IV в. до н.э. аграрных поселений Нижнего Поднестровья (см., например: Мелюкова 1975: 51-53). Впрочем, нельзя не при-

знать и того, что соответствующие материалы первой половины названного столетия другого района реколонизации — Нижнего Побужья, в этом же смысле выглядят явно более однородными. Только со второй половины IV и особенно в начале следующего века здесь после длительного хронологического перерыва вновь появляются более или менее отчетливые следы пребывания выходцев из западных областей варварского хинтерланда (Марченко 1974: 157-159; 1988 а: 83-85, 126-127; Доманский, Марченко 1980: 31, рис.10, 1-3).

Вторым элементом материальной культуры новых памятников, способным, на мой взгляд, также вполне надежно удостоверить присутствие туземного по своему происхождению компонента в составе оседлого населения приморской полосы северо-западной части Понта оказываются опять-таки археологические реалии аграрных селищ — так называемые землянки и полуземлянки. Напомню сразу, что именно этот вид жилых и хозяйственных сооружений практически полностью доминировал в застройке если не всех, то уж, во всяком случае, подавляющего большинства поселений, расположенных на территории земледельческой округи эллинских центров Нижнего Побужья и Нижнего Поднестровья вплоть до середины - начала второй половины IV в. до н.э. Только с этого времени здесь начался переход к массовому строительству многокомнатных наземных сырцово-каменных домов греческих типов. При этом, однако, строительство землянок и полуземлянок полностью не прекратилось и далее. Более того, в настоящее время есть все основания утверждать, что, по крайней мере, в некоторых случаях такого рода постройки все еще продолжали образовывать ядро отдельных частей аграрных селищ вплоть до начала следующего столетия (Марченко, Соловьев 1988).

Что касается внешнего облика земляных сооружений второго этапа заселения сельских районов Северо-Западного Причерноморья, то в данном отношении необходимо обратить внимание на существенное обеднение числа морфологически различимых типов этих построек. Анализ имеющегося археологического материала однозначно показывает, что, в отличие от позднеархаического периода, излюбленной формой жилищ новых поселенцев отныне становятся почти исключительно прямоугольные в плане структуры. Обычные размеры землянок — от 3-4 до 10-12 кв. м. Впрочем, на территории единичных поселений известны и гораздо более крупные постройки — до 45-60 и даже 170 кв. м (Мелюкова 1975: 9; Марченко 1985; Марченко, Соловьев 1988: 52-53). Подавляющая часть комплексов — однокамерные структуры. Крайне редко и, как правило, в эллинистическое время землянки имели внутреннее членение на отдельные помещения. Судя по дошедшим до наших дней остаткам, основными видами строительных материалов при возведении внешних стен и внутренних перегородок являлись глина, дерево и турлук. Ко всему сказанному остается лишь добавить, что безусловное большинство землянок IV в. до н.э. в своем интерьере не имело постоянных очагов и печей и, по всей видимости, должно было отапливаться в холодные времена года переносными жаровнями.

Вместе с тем нельзя не отметить, что практически все эти в общем-то весьма примитивные («архаичные») сооружения до сих пор обычно рассматриваются в литературе в качестве временного или, точнее, переходного типа построек. Ничего не меняет в этой оценке и факт сосуществования на некоторых памятниках углубленных в землю жилищ с наземными домами: ведь всегда имеется возможность отнести первые к категории хозяйственных или подсобных помещений. Как полагает ныне значительная часть исследователей, «использование переселенцами на начальных этапах земляночного строительства является исторической закономерностью», поскольку-де «в ходе вторичного освоения Нижнего Побужья земляночный тип должен был снова войти в употребление как наиболее экономичный и доступный новым поселенцам» (Крыжицкий, Буйских, Бураков, Отрешко 1989: 104; ср.: Рубан 1985: 33). При этом, очевидно, под самими переселенцами подразумеваются почти исключительно одни лишь эллины.

Нет нужды в полном объеме останавливаться на оценке достоверности указанной точки зрения. В данной связи важно заметить, пожалуй, лишь то, что, господствующая на сегодняшний день культурная интерпретация «архаичных» структур этапа реколонизации не может быть признана удовлетворительной сразу же по нескольким причинам. Она прежде всего фактически не учитывает наличие прямой генетической связи таких жилищ и, что особенно важно, отдельных деталей их внутреннего устройства с соответствующей строительной традицией обитателей бесспорно варварских селищ Северного Причерноморья. Единственная оговорка на сей счет делается пока лишь только в отношении уже упоминавшейся выше большой землянки № 24, обнаруженной в Нижнем Побужье в структуре позднеархаического поселения Старая Богдановка 2 (см.: Крыжицкий, Буйских, Бураков, Отрешко 1989: 147). Совершенно необъяснимым в этих же рамках остается и другое — факт чрезвычайно длительного использования сельскими жителями почти исключительно земляночных сооружений. На поверку как бы оказывается, что греческие поселенцы (эпойки или же граждане полиса — неважно!) вынуждены были вместе со своими домочадцами в течение жизни трех или даже более поколений вновь довольствоваться крайне примитивными условиями быта. И это, заметим, в

период радикальной демократизации общественно-политического строя колоний и небывалого расцвета строительной и культурной деятельности на территории собственно ионийских центров Северо-Западного Понта. К сказанному остается добавить, что весьма вероятное создание выходцами из Ольвии уже в начале IV в. до н.э. в северо-западной части Крыма серии фрурионов, выполненных в типично эллинской культурной традиции, в принципе вообще ставит под большое сомнение презумпцию об исторической обусловленности сколь-либо широкого использования греческими переселенцами столь примитивных сооружений, каковыми, несомненно, являлись земляночные структуры.

Впрочем, основной недостаток рассматриваемой позиции находится в иной плоскости. Анализ всей совокупности накопленных на настоящий момент археологических материалов свидетельствует в пользу вполне самостоятельной, т.е. во многом независимой от строительной традиции греков, линии типологического развития этих «архаичных» построек в культуре рядовых памятников интересующего нас времени. Есть веские основания полагать, что господствующие на начальной фазе реколонизации обычные однокамерные землянки и полуземлянки при изменении военно-политической ситуации в регионе к лучшему не были просто автоматически и полностью заменены в середине - второй половине IV в. до н.э. на значительно более комфортабельные наземные сырцово-каменные дома ионийцев, а, продолжая существовать и далее, постепенно начали трансформироваться в рамках одного и того же типа в более сложные по своему конструктивно-планировочному решению сооружения. Необходимо подчеркнуть также, что только в раннеэллинистическое время, т.е. по прошествии не менее трех четвертей столетия, при создании такого рода построек впервые в заметных размерах начинают применяться и новые наиболее прогрессивные строительные материалы, в том числе камень и сырец, что логичнее всего связывать с воздействием на местных туземцев более развитой культуры греков.[6] В этот же период, наконец, несомненно усиливается и дифференциация землянок по их функциям, ведущая, в свою очередь, к увеличению вариабельности типа в целом.

В заключение замечу, что наиболее наглядные иллюстрации только что сделанным замечаниям и суждениям дает одно из недавно изученных рядовых поселений сельской округи Ольвии — Куцуруб 1, в пределах основного ядра которого, на искусственной террасе, устроенной в верхней части склона небольшой береговой балки, были обнаружены остатки, по сути дела, практически всех из до сих пор известных вариантов «архаичных» структур Северо-Западного Причерноморья второй половины IV - начала III вв. до н.э., в том числе: небольшая однокамерная землянка площадью около 4,0 кв. м с постоянной печью, вырезанной в материковом борту котлована; четырехугольное же в плане однокамерное жилище с наземным входом в виде длинного (около 4,0 м) мощеного каменными плитами коридора, одна из стен которого была возведена из сырца на каменном цоколе, а вторая являлась турлучной, квадратная в плане постройка площадью около 12 кв. м с материковой лежанкой у борта и турлучной перегородкой, делившей внутреннее пространство котлована на две, возможно, изолированные комнаты, наконец, трех- или, скорее, четырехкамерный строительный комплекс общей площадью около 45-50 кв. м, одна из частей которого также имела следы внутреннего членения на отдельные помещения (см.: Марченко, Соловьев 1988: 52-53).

Третьим и последним компонентом культуры оседлого населения эпохи реколонизации, способным в принципе подтвердить факт самого прямого участия туземцев в создании стационарных поселений в окрестностях греческих апойкий Северо-Западного Причерноморья, являются, на мой взгляд, данные местных некрополей (см.: Ebert 1913: 23ff.; Мелюкова 1975: 108-151; Снытко 1986; 1990; Буйських, Нікітін 1988; Былкова 1989; Диамант 1989). Несмотря на крайнюю скудость и по большей части неразработанность материалов могильников, равно как и чрезвычайную сложность надежной этнической атрибуции подобных памятников в условиях «пограничья», есть веские основания предполагать все же достаточно высокую степень обусловленности формирования облика погребальной обрядности сельских жителей этого района воздействием на религиозные воззрения поселенцев со стороны не только собственно эллинской культуры, но и культуры варваров хинтерланда — прежде всего номадов степной зоны. Нельзя не видеть, к примеру, что лишь с появлением новой волны кочевников в регионе в начале V в. до н.э. и постепенным усилением военно-политического контроля последних над своими южными соседями в некрополе Ольвии и на ее периферии, в частности, ко второй половине названного столетия практически полностью выходят из употребления четырехугольные ямы с деревянными конструкциями лесостепного облика и начинают получать распространение совершенно иные, ранее почти неизвестные в Северном Причерноморье, но зато несомненно связанные с пришельцами, типы могильных сооружений в виде ям с подбоями, а затем и катакомбы (ср.: Мурзин 1990: 31-33).

[6] Интересно отметить, что совершенно аналогичные нововведения в строительную практику туземцев фиксируются в это же время и в глубине региона, на территории наиболее тесно связанных с эллинами варварских поселений Северного Причерноморья (см., например: Житников, Марченко 1984: 164-166).

Наличие же в целом ряде подбойных и катакомбных погребений следов положения с умершим заупокойной (жертвенной) пищи животного происхождения, ножей, оружия скифского типа, а иногда и лепной керамики уже сейчас, т.е. до проведения дополнительных исследований, дает принципиальную возможность рассматривать это воздействие хотя бы и отчасти в неразрывной связи с постоянным присутствием в пределах зон расселения оседлых жителей Нижнего Побужья и Нижнего Поднестровья IV-первой трети III вв. до н.э. самих варваров.

Какими же, однако, путями шло формирование туземной части сельского населения периферийных районов Северо-Западного Понта интересующего нас времени? Совершенно очевидно, что при полном отсутствии конкретных сообщений письменных и эпиграфических памятников одни только археологические материалы не в состоянии дать однозначного ответа на этот важнейший вопрос проблемы греко-варварских взаимодействий. Именно поэтому мне остается лишь высказать на сей счет несколько более или менее оправданных предположений.

Первое, на что, быть может, необходимо обратить самое серьезное внимание в данной связи, — на синхронность исчезновения Ольвийского предградья с началом второго этапа заселения берегов Днепро-Бугского лимана. Напомню также, что по нашему убеждению, это селище extra mures было в свое время основано, скорее всего, какой-то группой зависимого от эллинов, главным образом варварского по своему происхождению населения, призванного снабжать гражданский коллектив ольвиополитов продуктами земледелия. Нельзя ли предположить таким образом, что греки, будучи кровно заинтересованы во всемерном развитии своей сельскохозяйственной базы, при первых же благоприятных возможностях использовали жителей предградья в процессе реколонизации аграрных территорий Нижнего Побужья (ср.: Крыжицкий, Буйских, Бураков, Отрешко 1989: 149)?

Впрочем, гораздо более очевидным представляется другое — отсутствие достаточно большого количества зависимых туземцев, имевшихся в распоряжении эллинских общин Северо-Западного Понта перед очередной «реорганизацией» своей хоры, для проведения такого мероприятия в жизнь в сколь-либо значительных масштабах. В силу данного обстоятельства должны были существовать и иные пути привлечения необходимой рабочей силы, например: покупка военнопленных у воинственных номадов или же переселение какой-то части земледельцев и скотоводов из числа оседлых жителей лесостепной зоны региона на договорной основе. Не случайно поэтому, быть может, отдельные комплексы Нижнего Побужья — поселение Козырка 12, в частности, — к своей структуре содержат элементы бытовой сферы культуры, в том числе: весьма характерные детали внутреннего устройства землянок и полуземлянок в виде небольших четырехугольных углублений в полу, занимавших от одной до двух третей площади постройки, и вполне специфичный облик оборонительных линий, основой которых являлись ограды из глубоко вкопанных в землю деревянных столбов, явно указывающие на их генетическую связь с местной традицией жителей именно лесостепных районов Северного Причерноморья (Головачева, Марченко, Рогов, Соловьев 1991). Однако важнейшим и, надо полагать, далеко не во всех случаях напрямую связанным только с одной заинтересованностью греков источником формирования варварской части населения «пограничья» должна была стать, скорее всего, все убыстряющаяся во времени седентаризация кочевников, наиболее яркие свидетельства которой в виде остатков целой серии стационарных селищ IV - первой трети III вв. до н.э. исследователи фиксируют ныне как раз в районе Нижнего Поднепровья (см., например: Гаврилюк 1989; 1990; Былкова 1990).

Последнее, на чем совершенно необходимо остановить самое пристальное внимание в связи с рассматриваемым вопросом, — на выяснении социально-правового статуса туземцев Нижнего Побужья и Нижнего Поднестровья. К сожалению, имеющихся в нашем распоряжении археологических материалов явно недостаточно для сколь-либо удовлетворительного разрешения этой задачи. Они в лучшем случае лишь позволяют предполагать какую-то степень зависимости от греков определенной части гетерогенного по своему происхождению местного населения многочисленных аграрных селищ, возникших в процессе реколонизации окрестностей эллинских центров Северо-Западного Причерноморья. Единственным реальным выходом на столь желаемую в данном случае историческую конкретику может, по-видимому, стать только прямое сообщение на сей счет античной литературной традиции или эпиграфики. И такое сообщение, как кажется, есть. Рассмотрим его.

Итак, одним из наименее разработанных аспектов социально-экономической истории греческих полисов Северо-Западного Причерноморья IV - первой трети III вв. до н.э. является вопрос об их зависимом земледельческом населении. Заметим сразу, что обычно именно к этой категории жителей сельских территорий интересующей нас части Понта относят только так называемых миксэллинов знаменитого декрета ольвиополитов в честь Протогена (IPE, I^2, 32B. 20).[7] При этом миксэллины, как правило,

[7] Еще одно упоминание о миксэллинах содержится, видимо, в тексте декрета ольвиополитов в честь Антестерия, датированного Ю.Г.Виноградовым третьей четвертью III в. до н.э. (Виноградов 1989: 178; ср.: Яйленко 1990: 273-274, прим.69).

рассматриваются современными исследователями в духе идей Н.В.Шафранской (1956), а именно: либо в качестве неполноправной группы эмигрантов (метэков) из Средиземноморья, «которую ольвиополиты использовали в своих военных отрядах» (Крыжицкий, Буйских, Бураков, Отрешко 1989: 148-149), либо, что представляется мне более сбалансированным, как «зависимое военно-земледельческое население, типа клерухов, катэков или периэков, посаженное некогда для обработки ольвийской хоры и охраны границ полиса» (Виноградов 1989: 183, прим. 18; ср.: Карышковский, Клейман 1985: 74).[8] К сказанному необходимо добавить, что ни тот, ни другой вариант данной трактовки полностью не исключает, по-видимому, и какого-то участия аборигенов в процессе формирования именно этой категории жителей сельских районов Нижнего Побужья. Более того, на поверку может статься, что такое участие в действительности было даже более значительным, нежели это предполагается ныне. Во всяком случае, так называемые коллективные усадьбы раннеэллинистического времени, появление которых специалисты чаще всего приписывают деятельности миксэллинов, содержат, как полагают, в своем керамическом комплексе существенно больший процент лепной посуды, чем другие типы аграрных поселений в окрестностях Ольвии (Крыжицкий, Буйских, Бураков, Отрешко 1989: 151). Со своей стороны, отмечу также наличие в составе лепной посуды именно этой группы памятников особенно заметного числа кратеровидных сосудов — ваз на высокой ножке (см.: Рубан 1980: 287-288; Крыжицкий, Буйских, Бураков, Отрешко 1989: 134), имитирующих обычные походные котлы скифов-кочевников, что, быть может, наряду с прочим является не только свидетельством участия варваров в сложении бытовой сферы культуры строителей коллективных усадеб, но и косвенно указывает на вполне специфичный — военизированный в своей основе — образ жизни их обитателей.

Вместе с тем, говоря о зависимых варварах, неизмеримо более пристального внимания, нежели миксэллины, заслуживает, на мой взгляд, еще один, ныне почти забытый персонаж названного декрета — вся ойкетия Ольвии (IPE, I^2, 32B. 20), подкупленная, совращенная или, как полагал В.В.Латышев (1887: 97, прим. 6), просто находившаяся в изменническом состоянии ума в канун военного нападения на город галатов и их союзников скиров. Напомню, впрочем, содержание соответствующего пассажа этой псефизмы полностью: «Еще же, когда наибольшая часть города со стороны реки, где герой Сосия, не была окружена стеной, а перебежчики извещали, что галаты и скиры составили союз и собрали большие силы, которые и явятся зимою, а сверх того еще фисаматы, скифы и савдараты ищут укрепленного места, точно так же боясь жестокости галатов, и когда вследствие этого многие впали в отчаяние и приготовились покинуть город, а вместе с тем в стране случилось много и других печальных событий, все рабы (τὴν οἰκετείαν ἅπασαν) и пограничные миксэллины, числом не менее 1500, бывшие в прошлую войну союзниками в городе, были подкуплены врагами, и выселились многие иностранцы и немалое количество граждан; вследствие этого собравшийся народ, придя в уныние и представляя себе угрожающую опасность и ужасы, приглашая всех зажиточных людей помочь и не допустить, чтобы отечество, с давних пор оберегаемое, попало под власть врагов и, между тем как никто не предлагал своих услуг ни для всего, ни для части того, о чем просил народ, Протоген обещал сам выстроить обе стены и наперед предложил все расходы за них».[9]

Итак, основная задача данного раздела нашей работы — определить конкретно-историческое содержание выражения τὴν οἰκετείαν ἅπασαν декрета в честь Протогена. К настоящему времени, как ни странно, имеются лишь две серьезные разработки этого сюжета, созданные к тому же еще 50-х годах. Я имею в виду концепции В.Д. Блаватского (1953: 194-195; 1954: 39-40) и Д.М.Пиппиди (1958; 1959). С тех пор, насколько мне известно, ни один из исследователей больше не обращался специально к выяснению реального наполнения термина «ойкетия» знаменитого декрета. В литературе фиксируются лишь отдельные замечания касательно возможной формы выступления ойкетии, не имеющие самостоятельного значения.

В чем же суть упомянутых концепций? По мнению В.Д.Блаватского, речь в 20-й строке псефизмы идет об одном из первых крупных движений рабов в Северном Понте (Блаватский 1954: 39). Поскольку-де рабы фигурируют в тексте как «ойкетия», в них якобы следует видеть по преимуществу категорию домашних городских рабов-слуг. Такая трактовка, как полагал исследователь, находит свое подтверждение и в отсутствии у Ольвии III в. до н.э. сколько-нибудь значительной собственной сельскохозяйственной территории (Блаватский 1953: 51-53, 194-195). В силу этого, а также в силу относительно небольших размеров самой Ольвии, количество рабов, участвовавших во враждебном ольвиополитам выступлении, не могло быть большим (Блаватский 1953: 194-195). Таким образом, заключает автор, характер этого первого движения был сравнительно пассивным: совращенные галатами и скирами, ольвийские ойкеты, подобно рабам из Лаврионских рудников Аттики времен Пелопоннесской войны, мас-

[8] Совершенно отличную и, очевидно, практически неприемлемую позицию по этому же вопросу занял лишь один Яйленко (1989).

[9] Перевод В.В.Латышева.

сами бежали от своих господ к их врагам (Блаватский 1954: 40).

Совершенно с иных позиций к объяснению этого же термина подошел Д.М.Пиппиди, упорно отрицавший самую возможность сколь-либо широкого развития рабовладения в сельском хозяйстве припонтийских греческих городов (см.также: Pippidi 1961: 99-100). Уже одна только неосуществимость фактического контроля над сельскими покупными рабами в условиях Причерноморья заставляет, с его точки зрения, предполагать в ойкетии декрета род зависимого автохтонного по своему происхождению населения Ольвии, жившего и работавшего на хоре этого полиса.

Какую же из двух ныне существующих концепций предпочесть? Начнем с анализа положений наиболее развернутой из них и, насколько я понимаю, наиболее распространенной, — концепции В.Д.Блаватского .

Первое, что сразу же обращает на себя внимание, — ошибочность мнения, будто Ольвия в течение всего III в. до н.э. не обладала сколь-либо основательной собственной аграрной базой. Разумеется, как ранее, так и сейчас исследователи истории этого города в силу отсутствия соответствующих письменных источников не имеют возможности достаточно точно определить границы его хоры, и в данном вопросе все еще существует значительный разнобой в оценках. Однако, как кажется, это в нашем случае и не суть важно. Существенно иное: накопленные ныне разнообразные историко-археологические материалы однозначно свидетельствуют в пользу самой энергичной и, совсем не исключено, непосредственной эксплуатации Ольвийским полисом в первой трети указанного столетия сельскохозяйственных ресурсов весьма обширной даже по современным меркам территории, включавшей в себя прибрежные районы Николаевской и Херсонской областей от г.Николаева на севере до с. Станислав и Березанско-Сосицкого лимана на юго-востоке и юго-западе.[10] Не менее существенным оказывается и то, что количество открытых в очерченном регионе аграрных поселений раннеэллинистического времени исторически, экономически и, весьма вероятно, политически связанных с Ольвией, не может не быть оценено при любых сравнениях как весьма значительное (см.: Крыжицкий, Бураков, Буйских, Отрешко, Рубан 1980: карта; Крыжицкий, Буйских, Бураков, Отрешко 1989: 98, рис.35). Равным образом, весьма значительным, надо думать, мог быть и удельный вес самодеятельной части населения Ольвийского государства, так или иначе занятого в сфере сельскохозяйственного производства. Весьма спорным представляется и другое положение концепции, определенно относящей ойкетию декрета главным образом к категории домашних городских рабов-слуг. Такое толкование ольвийской ойкетии неоправданно односторонне. Как показывают результаты целой серии исследований, реальное смысловое наполнение близкого ей по смыслу «ойкеты» существенно шире и не ограничивалось значением, на которое ссылался В.Д.Блаватский. Нет нужды сейчас специально останавливаться на чрезвычайно подвижной семантике этого термина, отмечу лишь принципиальную возможность его трактовки в смысле «сельскохозяйственные рабы» или «социально зависимое не эллинское по своему происхождению население», проживавшее на сельскохозяйственной территории греческого государства, в данном случае — Ольвийского полиса. Именно в таком или близком ему значении мы встречаем этот или производные от него термины в трудах Фукидида (III, 73; V, 82; VIII, 40), Платона (Leg. , VI, 760 e), Ксенофонта (Oec., VII, 35; XIV, 4, 6), Демосфена (XLII), Исократа (VI, 88, 96), Афинея (VI, 263 d-e, 271b) и других авторов. Существенно подчеркнуть также, что хотя такое понимание термина и ставит на повестку дня вопрос о форме эксплуатации ойкетов в сельском хозяйстве ольвиополитов, тесно связанный с более общим вопросом — о характере землепользования в Ольвийском государстве эллинистического времени, оно отнюдь не приближает нас к его разрешению, поскольку даже прямая связь ойкетов с ойкосом не обязательно свидетельствует в пользу частной собственности на эту рабочую силу. Имеется немало примеров, в том числе и для эллинистического времени, когда ойкетами называли лиц, живших в своих домах и обрабатывавших земельные участки, на которых сидели их отцы и даже деды (см.: Голубцова 1969: 146). Само собой разумеется, что и в этих случаях речь идет о хозяйствах, расположенных на территории античных государств.

Наконец, последнее — явная некорректность той единственной аналогии, с помощью которой делается попытка раскрыть ход одного из первых «выступлений» рабов в Северном Причерноморье. Указанная аналогия не может не вызвать ряд недоуменных вопросов типа: как и к кому, собственно говоря, могла бежать массами городская прислуга Ольвии? Следует помнить, что галаты и скиры лишь только еще собирались зимой напасть на город. Они отнюдь не находились во время конструируемого бегства ойкетов в пределах владений своих противников, как это было в случае с пелопоннесцами. Более того, есть все основания полагать, что территория обитания готовившихся к военному набегу галатов, как, впрочем, по-видимому, и их союзников скиров, находилась на весьма значительном удалении от ольвийской хоры,

[10] Замечу также, что в последнее время стало постепенно формироваться мнение, согласно которому эта непосредственно эксплуатируемая Ольвией территория была значительно больше и на юго-западе, к примеру, доходила до района современной Одессы (см., например: Рубан 1988: 18).

вероятнее всего, за Дунаем, и на пути ее достижения существовало множество труднопреодолимых препятствий, в том числе в виде врагов галатов — савдаратов, фисаматов и скифов

Но дело не только, или, точнее, не столько в этом. Серьезные сомнения вызывает сама возможность какого-либо восстания, возмущения или просто пассивного выступления именно городских рабов против своих господ, хотя бы и пребывавших в состоянии крайней растерянности перед лицом смертельной опасности. Конечно, argumentum ex silentio non est argumentum, но все же нельзя не обратить внимание на обескураживающее отсутствие в литературной традиции, освещающей события античной истории раннеэллинистического времени, положительных данных, свидетельствующих в пользу возможности такого рода движений. Едва ли не все и, надо заметить, довольно многочисленные случаи выступления ойкетов в качестве реальной общественной силы четко связываются главным образом с сельскохозяйственными рабами или какими-то конкретными группами автохтонного зависимого населения, обычно работающими за пределами оборонительных стен городов, на хоре. Не является исключением из этого правила и привлеченная аналогия.

Прежде чем оценить степень предпочтительности точки зрения Д.М.Пиппиди на ольвийскую ойкетию, необходимо попытаться установить, с каким конкретно периодом истории Ольвии должно быть сопоставлено интересующее нас событие. Желательность такой синхронизации очевидна. Вместе с тем следует признать, что возможности жесткой хронологической увязки ограничены и дискуссионны. И все-таки они существуют. Это, во-первых, естественно, дата создания самого декрета. На сей счет, как известно, имеется несколько различных точек зрения.[11] Какую же из ныне существующих датировок предпочесть? По-видимому, ту, которая наиболее непротиворечиво учитывает данные палеографического и исторического анализов текста псефизмы. С этих позиций самой приемлемой сейчас кажется вторая половина или даже, точнее, третья четверть III в. до н.э., т.е. время, позднее которого теряются реальные следы деятельности коллегии Семи — одного из главных инициаторов издания декрета (Карышковский 1976).

Итак, третья четверть III в. до н.э. Это, разумеется, только исходная дата. Она дает нам terminius ante quem многочисленных и, несомненно, охватывающих значительный промежуток времени событий, описываемых в декрете. Terminus post quem для них нам дают уже независимые материалы археологии, нумизматики и эпиграфики, однозначно свидетельствующие в пользу полного отсутствия в первой трети указанного столетия каких-либо следов серьезных негативных явлений в экономической, социальной и военно-политической жизни Ольвийского полиса.

Но это еще не все. Имеются дополнительные соображения, позволяющие заметно конкретизировать искомый отрезок времени. В их числе в первую очередь следует назвать вероятность отождествления галатов декрета с галлами — кельтами — галатами нарративных источников, создавшими в 279 г. на Геме так называемое государство в Тиле, длительное время тревожившее своими набегами греческие города Левого Понта и варварские племена Фракии. Замечу также, кстати, что именно с этим временем, согласно новейшим датировкам археологических материалов Латена B_{2a} и $B_{2б}$, в полной мере совпадает и период массового распространения кельтских импортов в Скифии к востоку от Карпат (Еременко, Зуев 1989; Щукин 1989). Существенным в данном случае является и то, что период экспансионистской политики общественно-политического образования галатов обрывается где-то в середине III в. до н.э., хотя само оно, как известно, гибнет под ударами гетов только около 213-212 гг. этого столетия.

Наиболее важным, однако, принципиальным решением вопроса о синхронизации оказывается редчайшая возможность едва ли не прямого сопоставления информации, содержащейся в декрете в честь Протогена, с фактами археологии. Все дело в том, что упоминание миксэллинов числом не менее 1500 безотносительно к их интерпретации заставляет думать, что речь идет о времени, когда в Нижнем Побужье или где-то поблизости от него, на границе с ольвийской хорой, функционировало одно очень крупное, либо несколько относительно небольших стационарных поселений — тех же коллективных усадеб типа Дидова Хата II, к примеру (см.: Виноградов 1989: 183, прим.18), — в пределах которых только и могли проживать вышеозначенные миксэллины.

Вместе с тем, как установлено археологическими исследованиями, практически все ныне известные нам сельскохозяйственные и торгово-ремесленные поселения степной зоны Северного Причерноморья от Дона до Днестра прекращают свое существование не позднее начала второй трети III в. до н.э. Тем самым появляется возможность сравнительно жесткой хронологической увязки интересующего нас факта с финальной стадией существования в Ольвии раннеэллинистического времени собственной обширной сельскохозяйственной территории. Нельзя не видеть, таким образом, что данное заключение заметно смещает terminus ante quem события, предельно сужая время, в течение которого только и могло возникнуть «изменническое», по образному выражению

[11] Основную литературу вопроса смотрите в работах П.О.Карышковского (1968) и Ю.Г.Виноградова (1989: 181-182, прим.16).

В.В.Латышева, настроение умов у ольвийской ойкетии.

Следующий основной этап нашей работы — определение конкретного содержания самого термина «ойкетия», но, разумеется, не вообще — такая работа, как я уже отмечал выше, в значительной мере проделана — а применительно к данному конкретному случаю.

В силу отсутствия свидетельств о сколько-нибудь существенных выступлениях городских рабов-слуг и социальной истории античного мира раннеэллинистического времени и наличия таких данных для различных групп зависимого населения, в том числе и ойкетов, живших и работавших на своих господ за пределами городских стен в разного рода ойкосах, нам остается, как кажется, лишь выявить следы пребывания таких зависимых в составе жителей аграрных поселений округи Ольвии первой трети III в. до н.э.

Возвращаясь теперь к точке зрения Д.М.Пиппиди, напомню, что в теоретическом плане на сложный в социально-правовом отношении состав жителей хоры Ольвии, включавший в себя, помимо полноправных граждан полиса и неполноправных греков, еще и некоторое количество местного зависимого населения, в том числе и рабов, указывалось уже не раз (см., например: Крыжицкий, Буйских, Бураков, Отрешко 1989: 146-150). Дело теперь за соответствующими археологическими реалиями. И они, как было установлено выше, в результате анализа материалов лепной керамики, строительных комплексов и отчасти данных погребального обряда могильников, есть и вполне определенно указывают на присутствие весьма значительного числа разноэтничных варваров в составе жителей аграрных поселений, расположенных в окрестностях греческих центров Северо-западного Причерноморья раннеэллинистического времени.

Кем же были эти представители аборигенного мира? Какое место они занимали в иерархичной социально-экономической структуре Ольвийского государства? Вправе ли мы, наконец, включать их хотя бы отчасти в ойкетию Ольвии? Прямых ответов на эти принципиальные вопросы одни только археологические источники дать, естественно, не могут. В силу этого нам придется удовлетвориться пока вероятностным решением, основанным на следующих допущениях и констатациях.

1. Поскольку прямая культурная, экономическая и историческая связь аграрных поселений Нижнего Побужья раннеэллинистического времени с Ольвией сомнений не вызывает, поскольку также основным видом деятельности жителей этих многочисленных поселений являлось производство сельскохозяйственной продукции, можно думать, что именно в этой сфере экономики Ольвийского полиса была занята и основная масса осевших там варваров.

2. Поскольку материальная культура населения Нижнего Побужья раннеэллинистического времени, но особенно данные эпиграфики, нумизматики и просопографии однозначно свидетельствуют в пользу относительной этнической и даже культурной целостности и относительной замкнутости эллинской общины этого района, следует думать, что исторически вполне оправданной формой отношений между автаркичным Ольвийским полисом, с одной стороны, и аборигенной частью жителей его хоры, с другой, являлось отношение социальной зависимости.

3. Поскольку греческий термин «ойкетия» по своей природе есть прежде всего не что иное, как просто определение зависимости, причем зависимости весьма широкого диапазона, поскольку, наконец, ойкетия декрета четко связывается в самом тексте с хорой (страной), нет никаких видимых препятствий к тому, чтобы зависимых разноэтничных варваров сельских поселений Нижнего Побужья отнести именно к этой категории населения Ольвийского государства III в. до н.э.

Вот, пожалуй, и все, что касается возможного решения поставленных выше вопросов. В заключение следует высказать одно-два соображения общего порядка относительно самого характера «выступления» ольвийской ойкетии.

Главное, что совершенно обязательно следует отметить в данной связи, — отсутствие видимого действия. Составитель декрета лишь констатирует состояние враждебности зависимого населения по отношению к ольвиополитам, а отнюдь не его реализацию. Проявилась ли эта враждебность в конкретных действиях при нападении галатов и скиров, как это, например, произошло в 278 г.до н.э. в сходных условиях на хоре Приены (Голубцова 1972: 56), остается совершенно неизвестным. Совершенно неизвестным для нас, впрочем, остается и другое — осуществилось ли это нападение вообще.

Следующее, что сразу же бросается в глаза, — тривиальность сообщенного в декрете факта. Изменническое состояние умов ольвийской ойкетии, по существу, ничем не отличалось от настроений, широко распространенных в это или более раннее время в среде наиболее жестоко эксплуатируемых групп зависимого населения античного общества. Такое состояние ойкетии не обязательно являлось следствием какого-то специального совращения или тем более подкупа со стороны врагов, оно вполне естественным образом вырабатывалось в процессе повседневной социально-экономической практики того времени.

Гораздо интереснее во всем этом, быть может, другое, а именно — сама возможность проявления со стороны зависимой группы населения Нижнего Побужья явной враждебности по отношению к Ольвии в тот самый момент, когда непосредственная опасность существо-

ванию города еще отсутствовала и у ольвиополитов имелось достаточно времени для обуздания непокорных. Весьма существенно, быть может, и другое: откровенно изменническим настроением в этой ситуации оказалась охвачена вся ольвийская ойкетия, именно вся, а не какая-то ее часть. Что это — особое словоупотребление, стиль составителя декрета, случайность? Вряд ли. Такого пренебрежения своим долгом перед хозяевами не могли себе позволить разобщенные домашние слуги. Отсюда вопрос: не является ли только что указанное обстоятельство косвенным свидетельством наличия у зависимого автохтонного сельского населения Ольвийского государства рода организации?

ЛИТЕРАТУРА

Блаватский В.Д. 1953. Земледелие в античных государствах Северного Причерноморья. М.

Блаватский В.Д. 1954. Рабство и его источники в античных государствах Северного Причерноморья. // СА. Т.XX.

Буйских С.Б. 1989. Исследования в ур.Глубокая Пристань // Проблемы скифо-сарматской археологии Северного Причерноморья: Тез. докл. областной конф. Запорожье,

Буйських С.Б., Нікітін В.І. 1988. Окоронні розкопки могильника IV — III ст. до н.э. Лагерна Коса // Археология. № 63.

Былкова В.П. 1989. Белозерское поселение и курганы в его окрестностях // Проблеми історії та археології давнього населения Українськоі РСР. Киів.

Былкова В.П. 1990. Население низового Днепра в IV — II вв. до н.э. // Проблемы археологии Северного Причерноморья (к 100-летию основания Херсонского музея древностей): Тез. докл. юбил. конф. Ч.2. Херсон,

Виноградов Ю.А., Марченко К.К. 1985. О начале второго этапа развития сельскохозяйственных поселений Нижнего Побужья античного времени // Проблемы исследования Ольвии: Тез. докл. и сообщ. семинара. Парутино,

Виноградов Ю.А., Марченко К.К. 1986. Античное поселение Лупарево 2 // Ольвия и ее округа. Киев.

Виноградов Ю.А., Марченко К.К. 1991. Северное Причерноморье в скифскую эпоху. Опыт периодизации истории. // СА. № 1.

Виноградов Ю.Г. 1980. Перстень царя Скила. Политическая и династическая история скифов первой половины V в. до н.э. // СА. № 3.

Виноградов Ю.Г. 1981. Варвары в просопографии Ольвии в VI — V вв. до н.э. // Демографическая ситуация в Причерноморье в период Великой греческой колонизации. Тбилиси.

Виноградов Ю.Г. 1983. Полис в Северном Причерноморье // Античная Греция. : Т.1. М.

Виноградов Ю.Г. 1989. Политическая история Ольвийского полиса VII — I вв. до н.э. Историко-эпиграфическое исследование. М.

Виноградов Ю.Г., Доманский Я.В., Марченко К.К. 1990. Сопоставительный анализ письменных и археологических источников по проблеме ранней истории Северо-Западного Причерноморья // Причерноморье в VII — V вв. до н.э. Письменные источники и археология. Тбилиси.

Виноградов Ю.Г., Щеглов А.Н. 1990. Образование территориального Херсонесского государства // Эллинизм: экономика, политика, культура. М.

Гаврилюк Н.А. 1989. Каменское городище и его округа // Проблемы скифа-сарматской археологии Северного Причерноморья: Тез. докл. областной конф. Запорожье.

Гаврилюк Н.А. 1990. Два вида кочевого скотоводства у скифов // Проблемы археологии Северного Причерноморья: Тез. докл. юбил. конф. Ч.2. Херсон.

Ганжа А.И., Машкова Л.В., Отрешко В.М. 1978. Раскопки архаического поселения на Березанском лимане // АО 1977. М.

Головачева Н.В. 1987. Исследование памятников IV в. до н.э. на периферии Ольвии // Задачи советской археологии в свете решений XXVII съезда КПСС: Тез. докл. М.

Головачева Н.В., Марченко К.К., Рогов Е.Я. 1998. Уникальные сооружения северного района Ольвийской хоры // СА. № 3.

Головачева Н.В., Марченко К.К., Рогов Е.Я., Соловьев С.Л. 1991. Античное поселение Нижнего Побужья Козырка 12 (классический период) // КСИА. Вып.204.

Граков Б.Н. Скіфи. 1947. Київ.

Гребенников Ю.С., Фридман М.И. 1985. К вопросу о населении ольвийской периферии в середине V в. до н.э. // Проблемы исследования Ольвии: Тез. докл. и сообщ. семинара. Парутино.

Голубцова Е.С. 1969. Рабство и зависимость в эллинистической Малой Азии // Рабство в эллинистических государствах в III-I вв. до н.э. М.

Голубцова Е.С. 1972. Сельская община Малой Азии в III в. до н.э. — III в.н.э. М.

Дзис-Райко Г.О. 1961. Раскопки Надлиманского городища в 1960 г. // КСОГАМ.

Диамант Э.И. 1976. Поселение и могильник V — III вв. до н.э. на месте Приморского бульвара в Одессе // МАСП. Вып.8.

Диамант Э.И, 1989. Погребальные сооружения Кошарского некрополя // Проблеми історії та археології давнього населения Українсько1 РСР, Киев.

Доватур А.И., Каллистов Д.П., Шишова И.А. 1982. Народы нашей страны в «Истории» Геродота. М.

Доманский Я.В. 1981. Ольвия и варвары в V в. до н.э. // Демографическая ситуация в Причерноморье в период Великой греческой колонизации. Тбилиси.

Доманский Я.В., Виноградов Ю.Г., Соловьев С.Л. 1989. Некоторые итоги работ Березанской экспедиции // Проблеми історії та археології давнього населения Українськоі РСР. Киев.

Доманский Я.В., Марченко К.К. 1980. Поселение Ольвийской хоры Козырка 2 // АСГЭ. Вып. 21.

Еременко В.Е., Зуев В.Ю. 1989. М.И.Ростовцев и проблема кельто-скифских контактов // Скифия и Боспор. Археологические материалы к конф. памяти М.И.Ростовцева. Новочеркасск.

Житников В.Г. 1987. Политическая и демографическая ситуация конца VI — начала V вв. до н.э. на Нижнем Дону и возникновение Елизаветовского поселения // Античная цивилизация и варварский мир Подонья — Приазовья: Тез. докл. к семинару. Новочеркасск.

Житников В.Г., Марченко К.К. 1984. Новые данные о строительных комплексах Елизаветовского городища на Дону // СА. № 3.

Ильинская В.А., Тереножкин А.И. 1983. Скифия VII — IV вв. до н.э. Киев.
Карасев А.Н. 1948. Оборонительные сооружения Ольвии // КСИИМК. Вып.XXII.
Карышковский П.О. 1968. До питання про дату ольвійського декрету в честь Протогена // Археологія. Т.XXI.
Карышковский П.О. 1976. Монеты ольвийской коллегии Семи // Художественная культура и археология античного мира. М.
Карышковский П.О. 1984. Новые материалы о монетах Эминака // Ранний железный век Северо-Западного Причерноморья. Киев.
Карышковский П.О. 1987. Монеты скифского царя Скила // Киммерийцы и скифы: Тез. докл. семинара. Ч.I. Кировоград.
Карышковский П.О., Клейман И.Б. 1985. Древний город Тира. Киев.
Ковпаненко Т.Г., Бунятян Е.П. 1978. Скифские курганы у с.Ковалевка Николаевской области // Курганы на Южном Буге. Киев.
Козуб Ю.И. 1975. Древнейшее святилище Ольвии // Ольвия. Киев.
Козуб Ю.И. 1979 а. Предместье Ольвии // Проблемы античной истории и культуры. Т. 2. Ереван.
Козуб Ю.І. 1979 б. Передмістя Ольвії // Археология. № 29.
Копейкина Л.В. 1975. Новые данные об облике Березани и Ольвии в архаический период // СА. № 2.
Копейкина Л.В. 1976. Некоторые итоги исследования архаической Ольвии // Художественная культура и археология античного мира. М.
Копейкина Л.В. 1981. Особенности развития поселения на о.Березань в архаический период (по результатам раскопок на северо-западном участке) // СА. № 1.
Копылов В.П., Ларенок П.А. 1994.Таганрогское поселение. Ростов-на-Дону.
Крыжицкий С.Д 1979.. Основные итоги работы Ольвийской экспедиции // КСИА. Вып.159.
Крыжицкий С.Д. 1985. Ольвия. Киев.
Крыжицкий С.Д., Буйских С.Б., Бураков А.В., Отрешко В.М. 1989. Сельская округа Ольвии. Киев.
Крыжицкий С.Д., Буйских С.Б., Отрешко В. М. 1990. Античные поселения Нижнего Побужья (Археологическая карта). Киев.
Крыжицкий С.Д., Бураков А.В., Буйских С.Б., Отрешко В.М,, Рубан В.В. 1980. К истории Ольвийской сельской округи // Исследования по античной археологии Северного Причерноморья. Киев.
Крыжицкий С.Д, Лейпунская Н.А. 1997. Ольвия. Николаев.
Крижицький С.Д., Русяева А.С. 1978. Найдавніші житла Ольвії // Археологія. № 28.
Крыжицкий С.Д., Отрешко В.М. 1986. К проблеме формирования Ольвийского полиса // Ольвия и ее округа. Киев.
Куклина И.В. 1985. Этногеография Скифии. Л.
Латышев В.В. 1887. Исследование об истории и государственном строе города Ольвии. СПб.
Леви Е.И. 1984. Ольвия // Археология СССР. Античные государства Северного Причерноморья. М.
Лейпунская Н.А. 1979. О роли торгово-ремесленных отношений в экономике Ольвии второй половины VI в. до н.э. // Проблемы греческой колонизации Северного и Восточного Причерноморья. Тбилиси.
Лейпунская Н.А. 1986. Жилой район Ольвии к юго-западу от агоры (1972 — 1977 гг.) // Ольвия и ее округа. Киев.
Марченко К.К. 1974. Фракийцы на территории Нижнего Побужья во второй половине VII — середине I вв. до н.э. // ВДИ. № 2.
Марченко К.К. 1980. Модель греческой колонизации Нижнего Побужья // ВДИ. № 1.
Марченко К.К. 1983. Исследование памятников античного времени в Нижнем Побужье // АО 1981. М.
Марченко К.К. 1985. Исследования поселения Старая Богдановка 2 // АО 1983. М.
Марченко К.К. 1987. Раскопки поселений античного времени в Нижнем Побужье // АО 1985. М.
Марченко К.К. 1988 а. Варвары в составе населения Березани и Ольвии во второй половине VII — первой половине I в. до н.э. Л.
Марченко К.К. 1988 б. Раскопки античного поселения Козырка 12 // АО 1986. М.
Марченко К.К. 1992. Северо-Западное Причерноморье античного времени (историко-географическое определение) // ПАВ. № 2.
Марченко К.К. 1994. «Стихийная линия» греческой колонизации или к вопросу о характере и путях формирования сельского населения Северо-Западного Причерноморья // ВДИ. № 4.
Марченко К.К., Вахтина М.Ю. 1997. «Древняя Скифия» в Северо-Западном Причерноморье // Hyperboreus. Vol.3. Fasc.1.
Марченко К.К., Доманский Я.В. 1981. Античное поселение Старая Богдановка 2 // АСГЭ. Вып.22.
Марченко К.К., Доманский Я.В. 1982. Древнейшее общественное сооружение в Нижнем Побужье // КСИА. Вып.172.
Марченко К.К., Доманский Я.В. 1986. Античное поселение Куцуруб 1 // АСГЭ. Вып.27.
Марченко К.К., Соловьев С.Л. 1988. К типологии строительных комплексов Нижнего Побужья IV в. до н.э. // КСИА. Вып.194.
Масленников А.А. 1987. Основные этапы этнической истории европейского Боспора // Киммерийцы и скифы: Тез. докл. семинара. Ч.II. Кировоград.
Масленников А.А. 1998. Эллинская хора на краю Ойкумены. Сельская территория европейского Боспора в античную эпоху. М.
Мелюкова А.И. 1975. Поселение и могильник скифского времени у села Николаевка. М.
Мелюкова А.И. 1976. К вопросу о взаимосвязях скифского и фракийского искусства // Скифо-сибирский звериный стиль в искусстве народов Евразии. М.
Мелюкова А.И. 1979. Скифия и фракийский мир. М.
Моруженко А.А. 1989. Историко-культурная общность лесостепных племен междуречья Днепра и Дона в скифское время // СА. № 4.
Мурзин В.Ю. 1990. Происхождение скифов: основные этапы формирования скифского этноса. Киев.
Никулицэ И.Т. 1987. Северные фракийцы в VI — I вв. до н.э. Кишинев.
Онайко Н.А. 1960. Античный импорт на территории Среднего Поднепровья (VII — V вв. до н.э.) // СА. № 2.
Онайко Н.А. 1966. Античный импорт в Приднепровье и Побужье в VII — V вв. до н.э. // САИ. Вып.Д1-27.
Отрешко В.М. 1975 а. Архаические и классические слои на поселении у Закисовой балки // 150 лет Одесскому археологическому музею АН УССР: Тез. докл. юбил. конф. Киев.
Отрешко В.М. 1975 б. Западный район ольвийской периферии в позднеархаическое время // Новейшие открытия советских археологов: Тез. докл. конф. Ч.II. Киев.

Отрешко В.М. 1982. З історії Ольвіського поліса в IV — I ст. до н.е. // Археология. № 41.
Охотников С.Б. 1983. Археологическая карта Нижнего Поднестровья в античную эпоху (VI — III вв. до н.э.) // Материалы по археологии Северного Причерноморья. Киев.
Охотников С.Б. 1990. Нижнее Поднестровье в VI — V вв. до н.э. Киев.
Полин С.В. 1987. О походе Дария в Причерноморскую Скифию // Киммерийцы и скифы: Тез. докл. семинара. Ч.II. Кировоград.
Рубан В.В. 1975. О периодизации античных памятников Северо-Западного Причерноморья дорийского периода // 150 лет Одесскому археологическому музею АН УССР: Тез. докл. юбил. конф. Ч.II. Киев.
Рубан В.В. 1977. Некоторые аспекты изучения процесса формирования античных городов Северо-Западного Причерноморья // Древние города. Материалы к Всесоюзной конференции «Культура Средней Азии и Казахстана в эпоху раннего средневековья». Л.
Рубан В.В. 1978. Динамика территориальных границ Ольвийского полиса на протяжении догетского времени // Авторско-читательская конференция журнала «Вестник древней истории» по проблеме «Полис и хора. Вопросы экономики, политики и культуры»: Тез. докл. М.
Рубан В.В. 1980. Раннеэллинистические лепные кратеры из Нижнего Побужья // СА. № 1.
Рубан В.В. 1985. Проблемы исторического развития Ольвийской хоры в IV — III вв. до н.э, // ВДИ. № 1.
Рубан В.В. 1988. Основные этапы пространственного развития Ольвийского полиса (догетское время): Автореф. дис. канд. ист. наук. Киев.
Русяєва А.С, 1968. Поселения Петухівка 1 біля Ольвії // Археологія. Т.21.
Русяева А.С. 1990. Духовная культура населения Ольвийского государства: Автореф. дис. ... доктора ист. наук. Киев, 1990.
Русяева А.С., Мазарати С.Н, 1986. Археологические исследования у Широкой балки близ Ольвии // Ольвия и ее округа. Киев.
Русяева А.С., Скржинская М.В. 1979. Ольвийский полис и каллипиды // ВДИ. № 4.
Секерская Н.М. 1989. Античный город Никоний и его округа в VI-IV вв. до н.э. Киев.
Скуднова В.М. 1960. Погребения с оружием из архаического некрополя Ольвии // ЗОАО. Т.I. (34).
Скорый С.Л. 1997. Стеблев: скифский могильник в Поросье. Киев.
Снытко И.А. 1986. Грунтовый некрополь IV — III вв. до н.э. в урочище Дидова хата // Хозяйство и культура доклассовых и раннеклассовых обществ: Тез. докл. III конф. молодых ученых ИА АН СССР. М.
Снытко И.А. 1990. Исследования некрополя античного времени в урочище Сиверсов маяк // Проблемы археологии Северного Причерноморья (к 100-летию основания Херсонского музея древностей): Тез. докл. юбил. конф. Ч.II. Херсон.
Соломоник Э.И. 1987. Два античных письма из Крыма // ВДИ. № 3.
Толстиков В.П. 1984. К проблеме образования Боспорского государства (Опыт реконструкции военно-политической ситуации на Боспоре в конце VI — первой половине V в. до н.э.) // ВДИ. № 3.
Хазанов А.М. 1975. Социальная история скифов. М.
Чернеко Е.В. 1984. Скифо-персидская война. Киев.
Шафранская Н.В. 1956. О миксэллинах // ВДИ. № 3.
Шелов-Коведяев Ф.В. 1985. История Боспора в VI — IV вв. до н.э. // Древнейшие государства на территории СССР. М.
Шилик К.К. 1975. Изменение уровня Черного моря в позднем голоцене (по материалам геоморфологических и археологических исследований в северо-западной части бассейна): Автореф. дис. ... канд. геолог. наук. Л.
Шрамко Б.А. 1987. Бельское городище скифской эпохи (город Гелон). Киев.
Щеглов А.Н. 1978. Северо-Западный Крым в античную эпоху. Л.
Щеглов А.Н. 1986. Процесс и характер территориальной экспансии Херсонеса в IV в. до н.э. // Античная гражданская община. Л.
Щукин М.Б. 1989. О галатах и дате декрета Протогена // Скифия и Боспор. Археологические материалы к конф. памяти М.И.Ростовцева. Новочеркасск.
Яйленко В.П. 1989. Локализация и происхождение каллипидов-миксэллинов // Прблемы історії та археології давнього населення Українськоі РСР. Київ.
Яйленко В.П. 1990. Ольвия и Боспор в эллинистическую эпоху // Эллинизм: экономика, политика, культура. М.
Alexandrescu P. 1976. Pour une chronologie des VI-IV siècles // Thraco-Dacica.
Alexandrescu P. 1990. Histria in archaicher Zeit // Xenia. 25.
Avram A. 1990. Die histrianische Territorium in griechisch-römiischer Zeit // Xenia. 25.
Berciu D., şi Preda C. 1961. Săpăturile de la Tariverde // MCA. Vol.VII.
Berciu D. 1963. Neue skythische Funde aus Rumänien und Bulgarien // PZ. Bd.XLI.
Condurachi Em. şi col. 1953. Şantierul Histria // SCIV. 1-2. Anul IV.
Dimitriu S. 1966. Cortielul de locuinte din zona de vest a cetăţii în epoca arhaică // Histria. 11.
Ebert M. 1913. Ausgrabungen auf dem Cute Maritzyn // PZ. Bd.V.
Moscalu E. 1983. Ceramica traco-getică. Bucureşti.
Pippidi D. 1958. În jurul relaţiilor agrare din cetăţile Pontice în epoca preromană // SCIV.
Pippidi D. 1959. Sur un passage obscur du decret en l"honneur de Diophante file D, Asclepodore // Archeologia. IX.
Pippidi D. 1961. Die Agrareverhältnisse in der griechischen Stadten der Dobrudscha in vorrömischer Zeit // DAW SA. № 28.
Pippidi D., Berciu D. 1965. Din istoria Dobrogei. Vol.1. Bucureşti.
Preda C. 1985. Über die Bezichungen zwischen Histria und Geten im 6 und 5 Jh. v.u.Z. // Thracia Pontica. III.
Simion G. 1992. Geţii de la Dunărea de jos şi civilizaţia lor. Probleme actuale ale istoriei naţionale şi universale. Chişinău. Universitas.
Vinogradov Yu.G. 1981. Olbia. Geschichte einer altgriechischen Stadt am Schwarzen Meer // Xenia. 1.
Vulpe R. 1955. Şantierul arheologic Histria (1954) // SCIV. T.VI. N 2, 3-4.
Weiss J. 1912. Getae // RE. VII. 13.
ZImmermann K., Avram A. 1987. Archäologische Ausgrabungen in Histria Pod., SR. Rumänien // Klio. 69.

Нефёдкин А.К.

КАМПАНИЯ АРРИАНА ПО ОТРАЖЕНИЮ АЛАНСКОГО НАБЕГА НА КАППАДОКИЮ В 135 Г.[1]

Nefiodkin A.K. Arrian's campaign against the Alans' foray in Cappadocia in 135 AD.

The publication is a first scientific translation from ancient Greek into Russian the *Dispositions against the Alans* of famous historian Arrian. The translation is made practically literal. It pays a special attention to the military terminology.

In the end of the 135 AD, the Alans invaded the Transcaucasia and penetrated up to Cappadocia. For repulse of the invasion, the governor of the Roman province Arrian collected about 18000 soldiers and, probably, came to meet the Alans. The frightened nomads did not take a fight and retreated. This work of Arrian arose from the expedition against the Alans.

The work according to the context is divided into the four parts. In the first part (§ 1-10) the Roman army going in march column of the length more of 10 km is shown. Arrian was careful not to be attack in the front, and so he stationed in the front rank the bowmen and the train behind the troops. The second part of the work (§ 11) tells us about a preparation of array. The third part (§ 12-24) describes a disposition of the army. The formation was form up on a valley bordered by heights. On the latter the archers and javeliners, covering the heavy-armed infantrymen were placed, whereas two legions were in the centre of the array. A legionary was armed with kontus (heavy pilum) or lancea. Thus, it is obviously, the weapon of the legionary was usual in this time. The formation of the Arrian's army was the typical Roman one: the legions in the centre, the auxilia on the flanks. The commander understood his horsemen cannot resist the Alans, rider from the childhood, neither on number, nor on quality, therefore he correctly placed his hors behind the foot. The general with the reserve stood behind the centre of battle-formation. The fourth part of the work (§ 25-31) shows us the possible description of a future battle. According to it, Arrian was as opponents the Sarmatian mounted lancers, mainly, without armour. To assume the Sarmatian charged in this case by wedge is unfounded. The general recommends to approach the enemies on the range of bow shot and then to deafen them with the war-cry and, at the same time, to throw them a volume of missiles. It might exert a psychological influence on the opponents and to force to retreat them. However, Arrian also assumes other variant, i.e. the Alans nevertheless will approach the foot formation. In this case he recommends the latter to be close and to receive the enemy with the wall of shields: just this way an infantry usually repulse a charge of cavalry. Then the nomads should take to flight. Arrian assumes to pursue the opponents by the light horsemen of cohorts which will reach forward through the opened infantry. The fight of the hors should be covering fire by light-armed footmen. The general is afraid of recommence of the flight attack, therefore he orders the legions fast to come, in case of need, again to withdraw them in front. So, in the work Arrian confirms his reputation of the professional soldier, showing itself as a military expert of close co-ordinated action of armed forces.

The work is just a fragment as there is not the beginning, which an aim of the work was, and the end. The uniqueness of the fragment is it that only one shows the Roman tactics of the 2nd century AD in detail. The first part of the work has a concrete character. Arrian names the names of commanders, knows who, in the time, led the troops, it is not necessary those which should be according to a «list of staff». The description of the fight is more abstract, i. e. there have not neither the names of districts, nor specific description of arms and tactics of the Alans. It is the descriptive phrases (§ 10; 15; 16; 23) which, in principle, are not necessary in a military disposition. All this speaks us that the specific campaign underlay the work. Certain plan of actions and disposition were worked for the campaign. They then were literary dressed. Probably, the *Disposition* originally was a separate work of Arrian which then, in an overworked form, might be a member the lost *Alanica* or it was the separate work. The *Disposition* might be a member the lost Arrian's *Tactics* of Roman infantry in which, as *Art of Tactics*, the personal military observations of Arrian were put.

1. Флавий Арриан и его «Диспозиция против аланов»

«Итак, война с иудеями в то время закончилась, а другая *война* была поднята от аланов (являющихся массагетами) Фарасманом, она сильно потревожила и Албанию, и Мидию, а Армению и Каппадокию *лишь* затронула, но затем, когда, с одной стороны, аланы дарами Вологеза были подкуплены и *когда*, с другой стороны, они были устрашены Флавием Аррианом, правителем Каппадокии, *война* прекратилась», — так пишет о вторжении аланов в Закавказье римский историк Дион Кассий в изложении византийского монаха Иоанна Ксифилина (LXIX,15,1). Таким образом, в политическом плане вырисовывается такая картина (подробнее см.: Кузнецов 1984: 16-17; Debevoise 1938: 242-243; Bosworth 1977: 228-230). После парфянской войны Траяна (115-117 гг.) установился политический паритет между двумя противобор-

1 Работа выполнена при поддержке Group Research Support Scheme Grant № 1720 / 841 / 1998.

© Нефёдкин А.К., 1999.

ствующими державами. В Армению вместо римского префекта вернулся аршакидский царь. Вместе с тем усилилась Иберия, пользуясь ослаблением армян и дружбой с аланами. В самом конце 135 г. иберийский царь Фарасман II, вероятно, для борьбы с Албанией призвал на помощь своих традиционных союзников — аланов, а албанский правитель, в свою очередь, обратился за содействием к династу Атропатены, вассалу Парфии. В результате чего аланы разгромили как албанов, так и мидян. Попытки армянского царя Вологеза II обратиться за содействием к Риму, которому номинально подчинялась Иберия, не привели к успеху (Dio. LXIX, 15, 2); впрочем, он откупился от кочевников. Аланы в то же время вторгаются в Армению и в Каппадокию. Легатом последней провинции был уже пятый год историк Флавий Арриан (131-137 гг.). Наместник действовал энергично. Сознавая угрозу вторжения и к тому же имея время, он стянул большую часть своих сил в одну армию, к которой добавил ополченцев. Всю армию Каппадокии Э. Риттерлинг оценивает в 23 тыс. человек (Ritterling 1902: 371). Собранное же легатом войско насчитывало примерно 18 тыс. человек. Так, по нашим очень приблизительным подсчетам, пехота Арриана насчитывает 15 тыс. человек, из них 5 тыс. дротикометателей и 1 тыс. лучников; конница — 3200 всадников, из них лучников — 1 тыс. Эта армия двинулась к восточной границе провинции, видимо, по существующим уже дорогам, ведь инженерные войска для прокладки пути не упоминаются. Полководец рассчитывал, что, найдя подходящую долину, шириной около 1 км, он построит войско в боевой порядок, перекрыв тем самым дорогу аланам. Происходит, выражаясь современным языком, демонстрация силы. Аланы, уже достаточно награбившие, не стали рисковать и бой не приняли.

В результате столкновения с аланами у нашего автора родился интерес к своим противникам. Вследствие чего появилось произведение, которое сам автор озаглавил «Аланика» (Phot. Bibl. 58. 17a. 23). Об этом сочинении ничего не известно, ведь кроме Фотия, его упоминает лишь Иоанн Лид (De mag. III, 53). Часть исследователей считает, что «Диспозиция» входила в состав «Аланики» (Крюгер 1993: 13; Bachrach 1973:126; Wheeler 1979: 303, n. 1). Другие им возражают. Так, Э. Шварц полагает, что «Диспозиция» — это легатский отчет Арриана (Schwartz 1895: 1234). Ф. Стадтер рассматривает фрагмент как практическую добавку к тактикам Арриана, тогда как А. Босворт думает, что сочинение являлось отдельным произведением (Stadter 1980: 46; Bosworth 1977: 248). Вероятно, «Аланика» была небольшим произведением, всего из одной книги, а само название напоминает «Индику» Арриана, являющуюся сочинением во многом этнографическим (Ind. 1-17). Видимо, и «Аланика» должна была познакомить жителей Империи с их новым врагом, его происхождением, обычаями, историей и войнами с соседями и римлянами. Чтобы решить, входила или нет «Диспозиция» в «Аланику», нужно рассмотреть само произведение.

Первое, что бросается в глаза, — это уникальный в античной литературе стиль изложения: весь фрагмент написан повелительным наклонением (imperativus третьего лица либо nominativus / accusativus cum infinitivo pro imperativo). Подобное мы встречаем в официальных документах типа Амфипольского устава или дидактических военных сочинениях типа «Стратегики» Никифора Фоки. Такого стиля мы не найдем в обычном историческом сочинении. Само произведение является именно фрагментом, поскольку у него нет ни вступления, ни заключения, которые, как правило, имеются в античных сочинениях.

Фрагмент по контексту делится на четыре части. В первой части (§1-10) показано войско, идущее обычной для римлян походной колон-

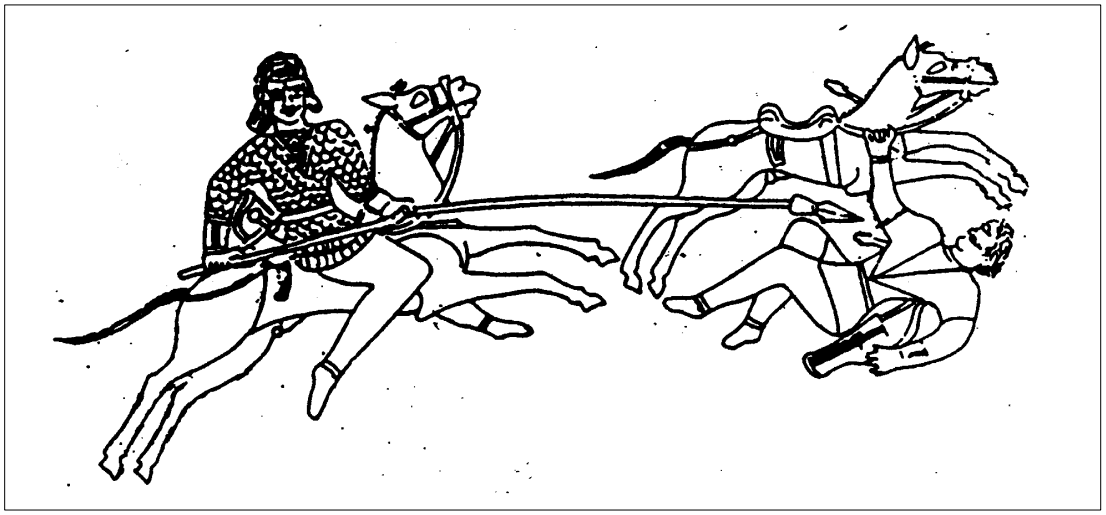


Рис. 1. Сарматский катафракт, поражающий контусом упавшего с коня противника. Изображение на сосуде из Косики. I в.

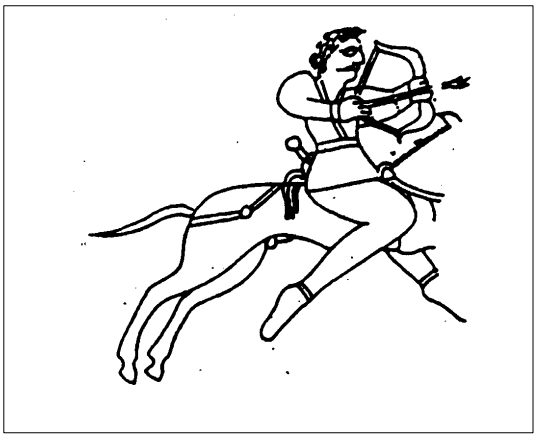


Рис. 2. Сарматский конный лучник-охотник. Изображение на сосуде из Косики. I в.

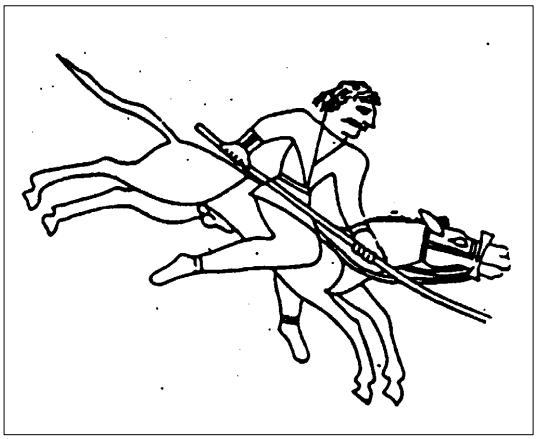


Рис. 3.Сармат, охотящийся на кабана с помощью контуса. Изображение на сосуде из Косики. I в.

ной длиной более 10 км (ср.: Jos. B.J. III,115-120; V, 47-50). Значительную часть войска Арриана составляет легкая конница и стрелки, что, видимо, характерно для восточных провинций Империи. Впереди скачет разведка, за которой следуют конные отряды, поддерживаемые когортами вспомогательных (auxilia), причем у последних впереди построены лучники. Затем идет сам военачальник с гвардией, за которой везут артиллерию, после чего следуют легионы и ополченцы, прикрываемые с флангов конницей, а с тыла тяжеловооруженными. Судя по всему, Арриан опасался неожиданной атаки с фронта, о чем свидетельствует выдвижение стрелков и положение обоза позади (ср.: Asclep. Tact. 11,8; Onas. 6; Ael. Tact. 39,2; Arr. Tact. 30, 2; Veget. III,6).

Вторая часть сочинения (§11) рассказывает о приготовлении к построению. Заметим, что Арриан ничего не говорит об устройстве лагеря. Третья, центральная, часть (§12-24) описывает диспозицию армии. Легат предполагает выбрать местом для боя равнину, окаймленную по бокам возвышенностями, на которых он поставит стрелков и дротикометателей под прикрытием тяжеловооруженных, тогда как в центре построятся легионы. Это типичное римское построение с легионерами в середине и auxilia на флангах (рис. 6). Арриан понимает, что его конница не может противостоять аланской ни по численности, ни по качеству, поэтому он совершенно правильно размещает её позади пехоты. Сам полководец с резервом стоит за центром боевого порядка.

Четвертая, последняя, часть сочинения (§25-31) дает возможное описание будущей битвы. Враг римлян — это вооруженные пиками всадники, вероятно, имеющие в походе заводных коней. Арриан рекомендует подпустить врага на расстояние выстрела, после чего оглушить его боевым криком и в то же время пускать метательные снаряды, что, возможно, заставит противника отступить. Однако автор предполагает и другой вариант, а именно: аланы все же приблизятся к пешему строю. В этом случае он рекомендует последнему сплотиться и встретить врага стеной щитов, через которую конница вряд ли пробьется — как раз таким образом пехота обычно отбивает конную атаку. После этого кочевники должны обратиться в бегство. Арриан знает, что во время бегства происходит значительное избиение живой силы врага, и он предполагает преследовать его легкими всадниками когорт, которые будут выведены вперед через разомкнувшуюся пехоту. Действия конницы должны поддержать легковооруженные. А так как полководец опасается возобновления атаки отступающими, он приказывает легионам быстро идти вперед, чтобы, в случае надобности, снова вывести их в переднюю линию. Таким образом, в данном произведении Арриан показывает себя знатоком естественного взаимодействия родов войск.

Уникальность этого фрагмента состоит в том, что только он подробно показывает римскую армию и ее тактику во II в. Первая часть сочинения (§1-10) носит совершенно конкретный характер. Арриан называет по именам командиров, знает, какие чины руководят в данное время отрядами, причем не обязательно те, которые должны быть по «штатному расписанию». Автор описывает не какое-то абстрактное войско, а свое, каппадокийское, показанное в определенный временной момент. Описание боя более абстрактно: нет ни названий местностей, ни конкретного описания вооружения и тактики аланов. Если первая часть фрагмента представляет собой довольно нудное, в стиле делового документа, перечисление отрядов, идущих в походной колонне, то третья и четвертая части являются достаточно живым, иногда риторизированным, описанием будущих действий. Сюда же вставлены описательные фразы (§10; 15; 16; 23), которые, в принципе, не нужны в диспозиции. Все это говорит за то, что в основе сочинения лежала конкретная кампания, для которой был разработан определенный план действий и конкретная диспозиция. Затем они были литературно обработаны.

Итак, можно предположить, что «Диспозиция» — это первоначально отдельное произведение Арриана, которое, затем, в переработанном виде, могло как входить в «Аланику», так и составлять отдельное небольшое сочинение. Возможно, фрагмент даже входил в несохранившуюся тактику римской пехоты (Arr. Tact. 32,2), куда, как и в «Тактическое искусство», были вставлены наблюдения из личного опыта Арриана. Видимо, не так уж далёк от истины Ф. Стадтер, полагая, что, по замыслу автора, «Диспозиция» должна была показать, как можно практически использовать эллинистическую «Тактику» Арриана в современных писателю условиях, ибо в обоих произведениях много общего в военной теории (Stadter 1980: 46).

2. Арриан. Диспозиция против аланов

(1). Пусть возглавляют все войско всадники-разведчики, построенные по два, с собственным командиром. А за этими — петрайские конные лучники, *притом* и эти по два, а ведут их пусть декурионы[3]. А за этими же пусть будут построены те, кто из алы, каковой название +Аврианова[4]. Пусть же вместе с ними будут построены те, кто из четвертой когорты ретов[5], префект[6] которой Дафнес Коринфянин[7]. А за этими — те, кто из алы, название которой колоны[8]. Пусть же будут построены вместе с ними итуреи[9], и как киренцы[10], так и те, кто из первой ретийской когорты[11]. Всеми этими пусть руководит Деметрий. (2). А за этими *пусть построятся* кельты-всадники[12], *также* и они по два, а у этих пусть командует центурион, который при лагере[13].

(3). А за этими пешие пусть будут построены, имея перед собой поднятые значки[14], как италийцы[15], так и имеющиеся из киренцев. Всеми же пусть командует Пульхр, который руководит италийцами. Пусть же идут за этими пешие боспорцы[16], выставив от себя командиром Лампрокла, а нумидийцы, подчиненные Беросу, собственному префекту, — за этими[17]. (4). Строй же пусть будет в четыре тяжеловооруженных воина. А впереди них самих пусть идут все лучники[18]. Фланги же строя пусть охраняют с обеих сторон собственные всадники[19]. За этими пусть идут отборные всадники[20], а за этими — всадники от легиона[21], (5) затем катапульты[22], затем значок[23] пятнадцатого легиона[24], а около него легат легиона Валент[25] и префект легиона[26], и трибуны[27], которым назначено, и центурионы, возглавляющие первую когорту[28]. Опять же впереди значка пеших пусть будут построены дротикометатели[29]. А самим пешим *нужно* идти, построившись по 4. (6). За 15 легионом пусть будет поставлен значок двенадцатого легиона[30], а около него и трибуны, и центурионы. И сей легион также пусть идет построенным по 4.

(7). За тяжеловооруженными пусть будут построены союзники[31]: и те, кто из Малой Армении[32], и тяжеловооруженные трапезундцев[33], и колхи[34], и ризиане-копьеносцы[35]. Пусть будут построены позади них +аплановы-пехотинцы[36]. Командиром же всех союз-

Рис. 4.Сарматские катафракты, преследуемые римской конницей. Прорисовка рельефа колонны Траяна. Начало II в.

Рис. 5.Римские вспомогательные. Прорисовка рельефа колонны Траяна. Начало II в.

ников пусть будет Секундин, который +апланами командует. (8). За этими обозы пусть следуют. Пусть же замыкает *все войско* ала даков[37] и её префект.

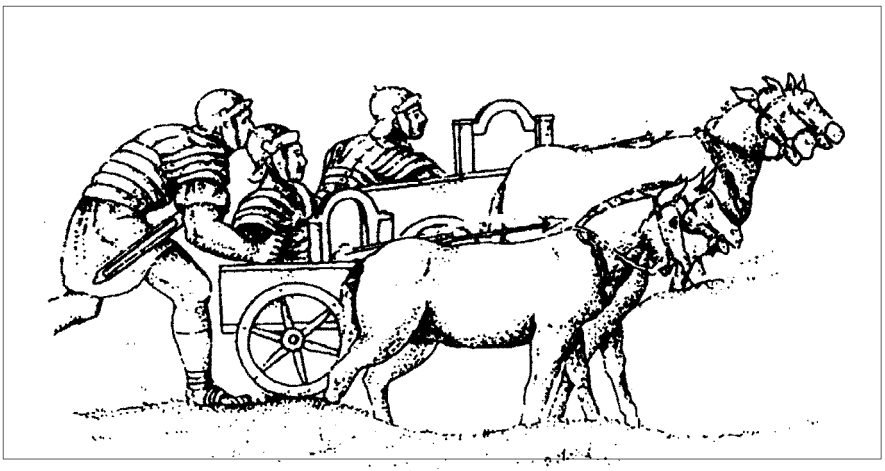
(9). Фланги же пехоты пусть приводят в порядок также и центурионы, при ней построенные[38], а для охраны пусть скачет вблизи с обеих сторон +галльская ала[39], построенная в один ряд и *еще* всадники италийцев. Префект[40] же их пусть наведывается на фланги.

(10). Командир же всего войска, Ксенофонт[41], пусть командует по большей части перед значками пехоты[42], но пусть он наведывается и ко всему строю и осматривает, как построенные идут, и *притом* не соблюдающих дисциплину в строй пусть возвращает, а идущих в порядке пусть хвалит.

(11). Вот так построенные *пусть* идут. Придя же в назначенное место, *нужно*, *чтобы* вся конница расположилась по периметру в квадратном строю[43], а разведчики были посланы на возвышенные места ради наблюдения за врагами. Здесь же, по сигналу[44], *нужно* вооружаться в молчании, а вооружившимся — в строй становиться. (12). Строй[45] же пусть будет следующий. Каждое крыло[46] пеших пусть занимает возвышенности местности, потому что в такой *местности* будет диспозиция. Пусть же будут построены позади правого крыла армяне с Васаком и Арбелом, занимающие самый край крыла, потому что все они являются лучниками. (13). А впереди них пусть будут построены пешие италийской когорты. Всеми же пусть командует Пульхр, который также руководит италийской когортой. И ему пусть будут поручены и сам Васак, и Арбел, как конница, так и пехота обоих.

(14). На левом *крыле* пусть будут построены и те, кто займет самую возвышенность крыла: и союзники из Малой Армении, и гимнеты[47] трапезундцев, и ризиане-копьеносцы. Впереди же и этих также пусть будут построены двести +апланов и сотня киренцев так, чтобы тяжеловооруженные являлись защитой впереди дротикометателей, а те — метали дротики с возвышенности поверх голов. (15). Все же правое *крыло* в середине пусть займет пятнадцатый пеший легион, *заходящий* за центр всего места, потому что эти [*легионеры*] являются более многочисленными по количеству, а остаток левого *крыла* пусть заполнят вплоть до вершины левого крыла пешие двенадцатого легиона. Пусть они будут построены по восемь, и плотное пусть будет у них +соединение[48]. (16). *При этом* в первых четырех шеренгах пусть стоят контоносцы, ведь у их +контосов[49] вытягиваются большие и сужающиеся наконечники[50]. И *притом* впередистоящие пусть имеют эти [*контосы*] для защиты *с тем*, что-

Рис. 6.Карробалисты римских легионов. Прорисовка с рельефа колонны Траяна. Начало II в..



бы, если будут приближаться к ним враги, *то* примерно на уровне груди коней поместить наконечники контосов; (17) <***> а +второстоящие[51] также и те, кто из третьей и четвертой шеренги пусть выставят для метания контосы, как придется, с тем, *чтобы* и коней испугать, и наездника +убить, а *когда* в щит, в катафракту, в панцирь[52] вонзится контос и из-за большой мягкости наконечника загнется[53], *тогда* ездок сделается бесполезным. (18). Поочередно пусть стоят шеренги копьеносцев[54]. А девятой за ними пусть будет шеренга пехотинцев-лучников: те, кто из нумидийцев, киренцев, боспорцев и итуреев. (19). Машины[55] же пусть стоят за каждым крылом и *еще* позади всей фаланги[56], чтобы весьма далеко стреляли, *когда* враги приближаются.

(20). Вся конница, построенная вместе по алам и восьми отрядам[57], пусть стоит за пешими, частью за каждым крылом, *чтобы* тяжеловооруженные и лучники являлись защитой впереди них, *а именно* : два отряда, частью же за серединой фаланги, *а именно:* шесть отрядов[58] <***>[59]. (21). Из них же все конные лучники пусть стоят вблизи фаланги, чтобы стрелять поверх неё, а все копьеносцы[60], или контоносцы[61], или меченосцы[62], или секироносцы[63] — пусть присматриваются на фланги с обеих сторон или *еще* и ожидают условленный сигнал[64]. (22). Отборные же всадники пусть стоят возле самого Ксенофонта и *еще* от пеших из фаланги примерно около двухсот, телохранители[65], и все центурионы, построенные вместе с отборными, или[66] командиры телохранителей и деканы отборных[67]. (23). Пусть стоят около него [*Ксенофонта*] <***>[68] сто легких копьеносцев[69], чтобы *он* наведывался ко всей фаланге, где *он* заметит какую-либо необходимость, туда бы *он* шел и помогал[70]. (24). Пусть командует всем правым крылом вместе с конницей Валент, который является и легатом пятнадцатого легиона, а левым *крылом* — трибуны двенадцатого *легиона*. (25). Когда *они* так построятся, пусть будет молчание до тех пор, пока враги *не* приблизятся на расстояние выстрела[71]; а *когда они* приближаются, *то* теперь всем, как можно сильнее и страшнее, издать клич[72] Эниалию[73] и *притом* пускать стрелы и камни из машин и *еще* стрелы — из луков, а копьеносцы пусть метают копья, как легковооруженные, так и +пельтасты[74]. Также пусть несутся камни во врагов от союзников с возвышенностей, и вообще пусть метание будет отовсюду, как можно гуще, для замешательства коней и гибели врагов. (26). И *есть* надежда, *что*, из-за невыразимого множества снарядов, атакующие скифы[75] более и не приблизятся к пешей фаланге; а если всё же приблизятся[76], *то*, упершись щитами и подперев *их* плечами, *надо* выдержать *это* нападение, как можно упорнее, напирая на них, как можно сильнее, наиплотнейшей сомкнутостью трёх первых шеренг; четвертая же *шеренга* пусть метает поверх голов копья, а третья пусть беспощадно разит или метает контосы и в лошадей, и в их *всадников*. (27). А *когда враги* будут отражены, *то*, если бегство станет очевидным, пусть расступятся именно пешие шеренги и атакуют всадники не целыми отрядами, но половинами *их*; первыми же *пусть* будут построены те, кто первыми и станут атаковать. (28). Вторые же половины *пусть* последуют за атакующими также в строю, но не придаваясь полному преследованию, *с тем*, чтобы, если бегство станет сильным, следовать за первой погоней *своими* неутомленными конями, а если со стороны *врагов* некий поворот случится, *то* напасть на повернувших[77]. (29). Одновременно и армяне-лучники, атакуя верхом, пусть стреляют, чтобы не дать повернуться обратно бегущим, и копьеносцы-гимнеты бегом пусть следуют; и пеший строй *пусть* более не остается на *своем* месте, но выступает вперед быстрее, чем шагом[78], чтобы, если *преследование* столкнется с каким-то большим сопротивлением со стороны врагов, снова быть *ему* защитой впереди всадников.

(30). *Вот* такое *пусть* происходит, если после первого нападения бегство овладеет неприятелями, а если, повернув по кругу, за крылья проскакать *они* захотят, *то надо* растянуть еще на большие возвышенности крылья самих легковооруженных стрелков[79]; поскольку я не признаю[80], что *враги*, увидев, как ослабли крылья от растяжения, когда-либо прорвутся через них и прорубят пехоту. (31). Итак, *когда они* окружают оба или одно крыло, *то* теперь неизбежно поперечными у них станут кони, поперечными же — контосы[81]. Именно тогда пусть бросятся на них всадники, сражаясь более не метанием, но своими спатами, а иные — секирами. Скифы же, будучи незащищенными и коней имея незащищенных[82] <***>[83]

3. Комментарии

Практически буквальный перевод с древнегреческого сделан по изданию: Flavii Arriani quae exstant omnia ed. A.G. Roos. Vol. II. Lipsiae, 1968. P. 177-185. Также были использованы следующие издания текста: Arriani Nicomediensis scripta minora recognovit R. Hercher curavit A. Eberhard. Lipsiae, 1885; Flavius Arrianus. ΤΕΧΝΗ ΤΑΚΤΙΚΑ (Tactical Handbook) and ’ΕΚΤΑΞΙΣ ΚΑΤΑ ’ΑΛΑΝΩΝ (The Expedition against the Alans) / Transl. by J.D. DeVoto. Chicago, 1993. Само произведение сохранилось в трех деривантах XV-XVII вв., восходящих к одному архетипу (также сохранившемуся): Codex Mediceo-Laurentianus Gr. LV. 4.

Этот перевод был мной опубликован под названием «Арриан. ”Диспозиция против аланов”» [Введение, перевод, примечания] // Para bellum. Военно-историческое обозрение. Санкт-Петербург. № 3. Февраль-март 1998. С. 4-11. Однако данный перевод носил предварительный научно-популярный характер и был снабжен лишь небольшим количеством примечаний, а не комментариями. Перевод, публикуемый сейчас, несколько переработан и снабжен комментариями. Однако я надеюсь в дальнейшем еще более расширить последние и издать этот трактат вместе с тактиками Асклепиодота, Арриана и Элиана, видимо, в виде отдельного сборника.

Переводчик хочет выразить признательность профессору Э.Д. Фролову за помощь в начальной работе над переводом.

Слова, добавленные переводчиком для понимания смысла, выделены курсивом или стоят в прямоугольных скобках [...]; угловые скобки <...> говорят о лакунах в тексте; а крест + обозначает порчу слова в рукописи.

1. Таких разведчиков — exploratores могло быть в войске 24-30.

2. Полное название этих всадников Э. Риттерлинг восстанавливает, как equites cohortis III Ulpiae Petraeorum miliariae equitatae sagittariorum (Ritterling 1902: 368). После аннексии Набатейского царства, Траян, между 111 и 114 гг., набрал тут шесть смешанных когорт, которые были укомплектованы, вероятно, столичными солдатами бывшей царской армии. Название эти когорты получили от столицы бывшего царства, города Петра. Определение Ulpiae показывает, что отряд был основан Траяном, от nomena которого (Marcus Ulpius Trajanus) и происходит эта часть наименования.

3. Всадниками этой двойной когорты руководят декурионы (у Арриана — δεκαδάρχαι: десятники). Трибун — командир этой когорты (см.: CIL XI, 6010) не упомянут. Видимо, это конная vexillatio данного отряда, ведь о ее пешей части не говорится. Возможно, последняя осталась в лагере в Метите (Not. Dig. Or. XXXVIII, 27).

4. В манускрипте ειληση την ισαυριανοι, но еще Г. Гротефенд атрибутировал это подразделение как Ala II Ulpia Auriana (Grotefend 1867: 22). Она создана в Испании, базировалась в Паннонии и в Реции, откуда переведена в Даскусу (Каппадокия) в 69 г. (Not. Dig. Or. XXXVIII,22). Ала отличилась при Траяне, откуда и происходит ее название Ulpia.

5. Всадники из cohors IV Raetorum equtatae. Реты — народность в Альпах, подчинены Августом в 15-13 гг. до н. э. Когорта переведена с Дуная на Восток Траяном. Пешая часть когорты отсутствует. Возможно, она оставлена в месте дислокации подразделения, в Аналибе (Not. Dig. Or. XXXVIII, 28).

6. Префект — обычное название начальника у римлян, которое Арриан здесь обозначает посредством греческого эквивалента ἄρχων. Префект руководил и когортой (Tact. Agr. 37), и алой (Plin. Epist. III, 5,3; Tac. Hist. II,100 etc.). В последнем случае у Арриана εἰλάρχης — иларх (§8; 9).

7. Все персонажи, упоминаемые Аррианом, неизвестны, исключая Валента (§5; 24) и Ксенофонта (§10; 22).

8. Ala I Augusta gemina Colonorum. Это подразделение базировалось в Хиаке (совр. Хермук) в Малой Армении (Not. Dig. Or. XXXVIII,21). Название колоны объясняется по-разному. Э. Риттерлинг, опираясь на надпись из Сирии (Hauran), где говорится о ἱππεῖς κολωνεῖται иудейского тетрарха Ирода Агриппы II, сын которого Аристобул получил в управление от Нерона Малую Армению, связывает название колоны с иудейской auixilia, перемещенной в Понт (Ritterling 1902: 361-362). Этот отряд, видимо, сражался во Второй иудейской войне, как показывает послужной список префекта алы Секста Корнелия Декстера, который получил от Адриана дары во время этой кампании (CIL VIII,8934). Поэтому, возможно, Арриан имел при себе не целую алу.

9. Всадники из cohors Ityraeorum sagittariorum equitatae. Номер когорты, возможно, 3. Итуреи — семитская народность в горах Антиливана. В этом подразделении пешие и конные лучники (§18). На марше пешая часть этого отряда не упомянута. В Notitia Dignitatum данной когорты нет.

10. Всадники из cohors III Augustae Cyrenaicae sagittariorum equitatae. Эта когорта смешанная из тяжеловооруженных пехотинцев (§3, 14), конных (§1) и пеших (§3, 18) лучников. Она создана при Августе, переведена из Мёзии на Восток, видимо, при Нероне (54-68 гг.). Данное подразделение не упомянуто в Notitia Dignitatum.

11. Всадники cohors I Raetorum equitatae. У Арриана эта когорта без пехоты. Данный отряд переведен с Дуная (где он был ещё в 108 г.), видимо, при Траяне. Этой когорты также нет в

Notitia Dignitatum, но она присутствует в надписях (CIL VI,1625 a,b; VIII,9990; XII,4532).

12. Всадники из cohors I miliaria Germanorum. Первоначально когорта была набрана в Верхней Германии, откуда и ее название. Э. Риттерлинг указывает, что авторы II-III вв. иногда употребляли вместо Germani — Galli, что и делает в данном случае Арриан (Ritterling 1902: 364). Когорта, хотя и называлась германской, но, вероятно, в ней большинство составляли галлы. Пехота во главе с трибуном когорты, видимо, оставлена в Сисиле, где квартировалось это подразделение (Not. Dig. Or. XXXVIII, 30).

13. Видимо, начальник лагеря этой когорты (Domaszewski 1908: 119). Обычно римский центурион назначался в cohors auxilia (ср.: Tac.Agr. 28).

14. Значок когорты — длинное, с перекладиной у верха, древко, на которое крепились венки, фалеры и другие награды. См.: Cichorius 1896-1900. Taf. X.

15. Cohors I Italica voluntariorum civium Romanorum. Известны две когорты римских граждан-добровольцев из Италии, остальные когорты добровольцев — не италийские (Ritterling 1902: 336). Это подразделение, вероятно, имело всадников, прикрывающих фланги (§4). В Notitia Dignitatum этой когорты нет .

16. Cohors II Bosporanorium (Bosporiana) miliaria equitata sagittariorum. Эта когорта в армии Арриана частично состоит из пеших (§4; 18), а, возможно, и из конных лучников (§4). Она переведена из Паннонии в Араурак (Каппадокия) в первой трети II в. (Not. Dig. Or. XXXVIII,29).

17. Cohors I Numidarum equitata. Нумидийцы (по-гречески: Νομάδες) славились как дротикометатели, однако тут пешая часть когорты имеет еще и луки (§18). В Notitia Dignitatum этой когорты нет.

18. Впереди каждой из четырех вышеперечисленных когорт идут лучники из этих же подразделений. Вряд ли сами италийцы были лучниками в своей когорте, возможно, последние набирались из других народов. Так, стрелки на колонне Траяна в большинстве представлены, как считает К. Цихориус, пальмирцами (Cichorius 1896-1900: Taf. XLVII, L, LXXX, LXXXI, LXXXVI; Textband. II: 305, 328-329; Textband. III: 238). Заметим, что в описании построения лучники италийцев не упомянуты.

19. В обычной конной (quinquinaria) когорте было 120 всадников и 600 пехотинцев (Jos. B.J. III,67), в двойной (miliaria) — 240 всадников и 760 пехотинцев (Hyg. De met. castr. 26-27).

20. Οἱ ἐπίλεκτοι ἱππεῖς, equites singulares — всадники, отобранные из auxilia войск провинции, стоявшие в ее столице, в данном случае — Кесарии. Их число могло быть 240 (Domaszewski 1908: 35-36).

21. Букв.: «всадники от фаланги». Каждый легион имел 120 всадников (Jos. B.J. III,120), исполняющих в основном роль караула при штабе (Domaszewski 1908: 29).

22. В этот период катапульта — это торсионная машина, метающая стрелы (Vitruv. X,11,3; Jos. B.J. III,167; V,269-270; Tac. Hist. III,23). См. рис. 6. Однако позднее стреломет стали называть баллистой (Amm. XXIII,4; De reb. bell. 7; 18). Древняя артиллерия не была самостоятельным родом войск, она приписывалась к легионам (Jos. B.J. V,269; Tac. Hist. III,23). Согласно Вегецию (II,25), у каждого легиона было 55 карробаллист, т. е. катапульт, установленных на повозках и метающих тяжелые стрелы. Их везли мулы и обслуживали 11 человек. Такие орудия мы видим и на колонне Траяна (Cichorius 1896-1900: Taf. XXXI, XLVI, XLVII).

23. Значок легиона — позолоченный орел (ср.: Jos. B.J. III,121-122; Tac. Ann. II,17).

24. Букв.: «значок пятнадцатой фаланги». Legio XV Appolinaris (Аполлонов) основан Августом, стоял в Карнунте (Паннония), откуда переведен Траяном в 115 г. на Восток (Dio. LV,23,5). Префектура легиона находилась в Сатале (Малая Армения) — стратегическом пункте на восточной границе империи (Not. Dig. Or. XXXVIII,13).

25. Букв.: «командир фаланги Валент». Известен по надписи из Аримина (CIL XI,383). Легат легиона, как правило, из сенаторского сословия (Veget. II,8), назначался императором. Не случайно для обозначения его должности Арриан употребляет слово ἡγεμὼν— обычно командир высокого ранга (Arr. An. II,7,3; 16,8; III,9,3).

26. Ὕπαρχος — видимо, префект легиона (помощник легата), должность более высокая, чем префект лагеря легиона (Veget. II,9). А. фон Домашевский считает обе должности равнозначными (Domaszewski 1908: 120).

27. Χιλίαρχαι (тысячники) — обычное обозначение военных трибунов у греческих авторов (Jos.B.J. II,11; 335; 544 etc.; Hdn. II,7,7; 9,7; 12,7). Тут идут не все 6 трибунов, а меньше. Т. Моммзен предполагает, что их было 2 (см: Hercher 1885: XLVII).

28. В первую когорту легиона, как указывает Вегеций (I,5; II,6), отбирали образованных, родовитых и высоких — ростом 5,8-6 футов (172-178 см; ср.: средний рост римлян около 165 см). Эта когорта была двойная — 1150 человек, ее возглавляли не центурионы, а трибун. В ней же несли значок легиона, около которого и шли командиры (ср.: Tacit. Hist. II,89,2). В данной когорте было пять центурионов.

29. Ἀκοντισταὶ. Вряд ли так названа часть легиона с пилумами, не случайно же Арриан употребил слово «опять» (αὖ), сопоставляя с лучниками (§4), возможно, это гимнеты трапезундцев (§14), которые не упомянуты на марше (ср.: Arr. An. III,12,3).

30. Legio XII Fulminata (Молниеносный) известен еще в 40 г. до н. э., в 70 г. установлен в Каппадокии, его префектура находилась в Ме-

литене (совр. Малатья) на юго-восточной границе провинции (Not. Dig. Or. XXXVIII,14; Procop. De aedif. I,7,3). Видимо, здесь речь идет о вексилляции XII легиона, часть которого участвовала во Второй иудейской войне и, как указывает А. Босворт, еще не возвратилась в Каппадокию (Bosworth 1977: 233, n. 66). Однако также возможно, что часть легиона вместе с легатом была оставлена в Мелитене для охраны территории от аланов. Там же, вероятно, был и легат. В таком случае, значок (σημεῖον) означает тут не орла легиона, как в §5, а значок вексилляции, как в §3 (ср.: Arr. An. VII,14,10).

31. Эти союзники (τὸ συμμαχικόν) не являются foederati из вассальных государств, это просто гражданское ополчение из бывшего Полемонова Понта, на юго-восточном побережье Черного моря.

32. Малая Армения — государство на северо-востоке Анатолии, присоединено к Риму в 72 г. В древности армяне были известны как конные лучники (§13; 29; Arr. Tact. 4,3; 44,1). Кроме пеших и конных лучников, Арриан имел еще и армян с дротиками (§14; 29).

33. Трапезунд (совр. Трабзон) —милетская колония, основанная во второй половине VII в. до н.э., окончательно присоединена к Риму в 64 г. Здесь стояли вексилляции XII и XV легиона (CIL III, suppl. 6745; 6747). Полис направил в ополчение как гоплитов, так и гимнетов.

34. Колхи подчинены Риму в 64 г. вместе с Полемоновым Понтом, в состав которого входила их страна, разделенная на княжества. Традиционное вооружение колхов приближается к пельтастскому.

35. Название «ризиане» (Ῥιζιανοὶ) происходит от реки Ризей (совр. Рохис-су), впадающей в юго-восточную часть Черного моря в районе современного турецкого города Ризе. Ризиане пользовались внутренним самоуправлением, платя Риму лишь дань (Arr. Perip. 11,1-2; Procop. Bel. Pers. I,15,19-20).

36. Ἀπλανοὶ — единственный не отождествленный отряд. Предлагаются два основных варианта атрибутации: 1). Cohors Apuleia civium Romanorum, которую возводят к cohors Apulae времени Августа (Bosworth 1977: 233, n. 64) и, соответственно, в Notitia Dignitatum (Or. XXXVIII, 34) ее рассматривают как cohors Apuleta (Hercher 1885: XLVIII). За такое отождествление свидетельствует то, что когорта идет вместе с ополчением из Понта (ср.: §14). Однако Э. Риттерлинг сопоставляет cohors Apuleia с cohors I Italica civium Romanorum voluntariorum (Ritterling 1902: 366). Большинство исследователей принимают этот вариант. 2). Cohors I Lepidiana equitata civium Romanorum (Grotenfend 1867: 26; Ritterling 1902: 368). Видимо, вторая атрибутация может опираться на то, что италийская конница упоминается в качестве прикрытия флангов у auxilia (§9), а cohors Apuleia, судя по названию, без конницы. Вряд ли италийцы в §9 — это всадники из cohors I Italica, так как последние прикрывают фланги своей когорты (§4).

37. Ala I Ulpia Dacorum создана Траяном. Даки названы Аррианом обычным греческим эквивалентом «геты» (ἡ εἴλη τῶν Γετῶν). См.: Plin. H.N. IV,80. Ала переведена в Свиссу (Каппадокия: Not. Dign. Or. XXXVIII,23), видимо, при Адриане (117-138 гг.).

38. Центурионы на марше наблюдали за тем, чтобы строй не разорвался и солдаты не разбредались (Jos. B. J. III,124)

39. В рукописи: εἴλη ἡ ἀλλακτικὴ. Э. Риттерлинг полагает, что это Ala II Gallorum, базировавшаяся в Элиане (Not. Dig. Or. XXXVIII,27; Ritterling 1902: 362). Галлы (Galli) же, по его мнению, названы Аррианом обычным греческим эквивалентом галаты (Γαλάται). Однако Арриан в своих произведениях называет галлов не Γαλάται, а Κελτοὶ (§2; An. I,4,6-8; Tact. 33,1; 44,1; ср.: An. II,4,1).

40. Это префект (εἰλάρχης) галлов, а не италийцев.

41. Ксенофонт — псевдоним, взятый Арианом. Его выбор не случаен. Наш автор подражал классику как в стиле, так и в жанре (Arr. Cyn. 1,4), возможно, отсюда и прозвище Флавия Арриана — «Новый Ксенофонт» (Phot. Bibl. cod. 58. 4,5; Suid. s.v. Ἀρριανός). Однако Ф. Стадтер полагает, что прозвище Ксенофонт получил ещё отец Арриана за свое увлечение философией, а затем это имя стало cognomen нашего автора (Stadter 1980: 2-3). Впрочем, в официальных надписях, где упомянут Арриан, этот когномен не встречается (Roos 1968: frg. 10, 11, 17, 25). Заметим, что Арриан как пропреторский легат августа провинции Каппадокия сам командует своей армией. Ведь легионы стояли лишь в императорских провинциях, а на должность легата назначался обычно консуляр с военным опытом.

42. Таким образом, место Арриана в колонне рядом с отборными всадниками (§4), перед легионарной конницей (ср.: описание колонны войск Тита в Самарии: Jos. B.J. V,47). Около полководца должны находится копьеносцы (§23) и отборная пехота (§22), не упомянутые на марше. В этом месте колонны военачальник контролирует строй auxilia впереди легионов.

43. Букв.: «по кругу в квадратном строю» (ἐν κύκλῳ εἰς τετράγωνον). Это сделано с целью охраны пехоты от неожиданного нападения вражеской конницы, ибо пешие будут вооружаться в это время (ср.: Bel. Afr. 69). См. такие же выражения: Arr. Tact. 11,5; 12,10; 16,7; 9.

44. Σημεῖον — обычное название сигнала (Arr. An. III,2,1; Plut. Alc. 27; Polyaen I,45,2; II,5,2; VII,39). Обычно сигнал к бою подавался поднятым пурпурным полотнищем (ср.: Caes. B.C. II,20; III,89).

45. Тут употреблено многозначное у нашего автора слово ἡ τάξις— это и строй, и шеренга, и отряд фаланги в 128 человек, и большое под-

разделение войска. Нужно также отметить несогласованность перечисления отрядов в первой и третьей части «Диспозиции». Так, на марше не упомянуты пешие итуреи, гимнеты трапезундцев, конница армян, телохранители и копьеносцы. Тогда как в построении не оказалось одной конной когорты, гоплитов трапезундцев, колхов, легионарных всадников, стрелков италийцев. Возможно, все эти подразделения оставлены для защиты лагеря.

46. Крылом у греческих авторов считалась половина построенного войска, от края до середины.

47. Гимнеты (γυμνῆτες — «голые», «незащищенные») — синоним легковооруженных (ψιλοὶ). Последнее название — обычное для Арриана (An. I,7,9; 13,2; 16,1 etc.; Tact. 3,3; 9,1-2; 13,1-2). Возможно, следует отличать гимнетов от стрелков тем, что первые вооружены копьями (§14; 25) и легкими щитами, которых нет у лучников. Гимнетами в §29 названы не только трапезундцы, но армяне и ризиане.

48. Вегеций (III,14) рассказывает, что легионер по фронту занимал три фута (ср.: Polyb. XVIII,30,6-8). Из них около двух уходило на щит, то есть между двумя щитами переднего ряда было около 30 см, откуда вперед торчал пилум под углом снизу вверх (Couissin 1926: 360). Такая стойка солдата левым боком со щитом, направленным к врагу, тогда как пилум подобным образом зажат в правой руке, показана на алтаре в Сен-Реми (около 14 г.). См.: Reinach 1906: 483, fig. 5683; ср.: Petersen 1896: Taf. 41B; 42A. Плотное построение (πυκνὴ ... ἡ ξύν<ταξις>) в данном случае означает сокращение интервала как в шеренгах, так и между рядами. Последнее расстояние обычно составляло 6 футов (1,8 м) — для удобства метания (Veget. III,14). В то же время пилумы могли использоваться и в рукопашном бою: Plut. Camil. 40; Polyaen. VIII,7,2; Plut. Anton. 45; ср.: Strab. X,1,12).

49. По поводу того, какое оружие называет Арриан κοντός, существуют различные мнения. Обычное значение этого слова — пика (Serv. ad Verg. Aen. VII,664; Veget. III,24; Isid. Or. XVIII,7,2). Причем далее и Арриан употребляет это название для собственно пики (§21; 31). Ранее считалось, что тут подразумевается тяжелый пилум (Reinach 1906: 482; Couissin 1926: 360; Schulten 1950: 1363). Однако исследователи никак не аргументировали свою точку зрения. Позднее Э. Уилер высказал мнение, что κοντός у Арриана — это копье hasta, тогда как А. Босворт считал это оружие пикой (Wheeler 1979: 311; Bosworth 1977: 241). Однако в источниках I в до н.э. — I в. встречаются случаи, когда под словом κοντός / contus также можно видеть пилум. 1) В поэме Вергилия (Aen. IX,510) троянцы обороняют укрепления от италийцев копьями, стрелами, камнями и контусами. 2) В эпическом описании сражений Силий Италик (VI,277; IX,329) упоминает среди прочих копий и контусы. 3). Примипил XII легиона Сцева обороняет этим оружием ворота лагеря в боях у Диррахия в 48 г. до н.э. (Lucan. VI,174). 4) Вителлианцы защищают свой укрепленный лагерь от флавианцев в 69 г., используя контусы и ланцеи (Tac. Hist. III,27). 5) Солдаты каппадокийского войска в произведении, написанном Лукианом около 160 г., также вооружены контусом или ланцеей (Lucian. Alex. 55). Таким образом, можно предположить, что для обозначения пилума имелся, наряду с обычным греческим эквивалентом ὑσσός, еще менее распространенный термин —κοντός (а также ξυστόν: Jos. B.J. III,95). Судя по тому, что pilum-contus употреблялся при обороне укреплений, возможно, что это тяжелый пилум, может быть, pilum muralium (Tac. Hist. IV,51; ср.: Polyb. VI,23,9-11; Caes. B.G. V,40). Похоже, такое словоупотребление становится характерным для I-II вв., ведь Авл Геллий среди 18 названий метательных копий, которые он встречал в древних книгах, не упоминает contus (X,25,2).

50. Длинный (в среднем 65-75 см) узкий наконечник — характерная черта пилума, а не пики, имеющей небольшой бронебойный наконечник (Serv. ad Ver. Aen. VII,664; Grat. Cyn. 117-118). Напомним, что pilum — это тяжелый римский дротик длиной около двух метров, весом около 2 кг, метался, судя по проведенным опытам, на 25 м (Reinach 1906: 484).

51. После οἱ δέ до конца строки лакуна в 20 букв, а в следующей строке стоит ὑπεροστάται δὲ. К. Мюллер заполнил лакуну, соединив начало первой строки со следующей, сделав οἱ δευτεροστάται δὲ («второстоящие»).

52. Довольно неконкретно выглядит описание защитного вооружения аланов. Это, вероятно, связано с тем, что текст был написан до предполагаемого столкновения Арриана с врагами. Так, щит (у Арриана — θυρεός, т. е. овальный щит, scutum), судя по изображениям, не является типичным оружием сарматов (ср.: Tac. Hist. I,79), хотя, возможно, он использовался в более раннюю эпоху: плетеные щиты роксолан упоминает Страбон (VII,3,17: γέρφρον). Но чтобы согнуться, пилум должен воткнуться, по крайней мере, в сплошное дерево. Панцири сарматов обычно чешуйчатые, о чем говорят и источники, и изображения, и археология (Paus. I,21,8; Amm. XVII,12,2; Ростовцев 1913-1914: 337; Таб. LXIV,2; LXXVIII,1; LXXIX; LXXXV,5; LXXXVIII,2; Хазанов 1971: 58-62; Cichorius 1896-1900: Taf. XXIII; XXVIII; Textbd. II: 150, 183). См. рис. 1. Арриан называет доспехи сармат катафрактой или панцирем (καταφράκτῳ θώρακι), причем отсутствие артиклей при этих существительных, очевидно, говорит об абстрактных предполагаемых видах брони. Возможен и другой вариант перевода: «... а когда в щит, в покрытие панциря ...» (так у Дж. Де Вото). Однако довольно нетипично выглядит отсутствие артиклей и союзов kam между данными словами. Такое строение фразы иногда встречается у Арриана именно при

перечислении однородных членов предложения (Tact. 10,8; 14,5; 25,7).

53. Еще одна характерная черта пилума — сгибание наконечника от удара (Caes. B.G. I,25,2-4; App. Celt. 1,1), так как железная часть этого копья состояла из стального наконечника (4-6 см длиной) и длинной шейки из мягкого железа (Couissin 1926: 367). Небольшой загиб появляется у пилума в месте соединения стали и железа. Это задумано для того, чтобы враги не могли повторно его использовать (ср.: Caes. B.G. II,27; Liv. X,29,6; XXIV,34,5).

54. Λογχοφόροι — воины с λόγχη — греческим эквивалентом латинского lancea: Fest. De sign. 118M. Данное легкое копье испанского происхождения (Aul. Gel. XV,30,7), возможно, позднее, иногда с ремнем для метания посередине (Isid. Or. XVIII,7). Длина lancea — около 1,5 м, вес — 600-1000 гр (Jukelmann 1992: 142). Первоначально оно было оружием auxilia (Tac. Hist. I,79), затем распространилось и в легионах. Его в основном метают (Girt. B.G. VIII,48,5; Verg. Aen. XII,374; Tac. Hist. I,79), но им же и колют (Plut. Marcel. 29; ср.: Arr. Tact. 4,9). Это важное свидетельство Арриана о том, что легион делился на воинов с ланцеями и с пилумами. Ср.: Lucian. Alex.55 (воины с κοντός и λόγχη); Veget. III,14 (солдаты со spiculum и lancea). У Вегеция spiculum = pilum (II,15).

55. Машины (μηχαναὶ) — обычное название военной техники у Арриана (An. I,8,8; 19,2; IV,2,3; 4,4; 30,1; ср.: Jos. B. J. III,166). Здесь речь идет о катапультах, которые Арриан упомянул на марше (§5). Полевую артиллерию употреблял уже Александр Македонский (Arr. An. I,8,8; IV,4,4). Использовались переносные катапульты и в эллинистический период (Polyb. XI,12,4). Однако в Риме еще при Цезаре не применялись мобильные метательные машины (возможно, исключая один эпизод — бой с белловаками: Hirt. B.G. VIII,14,5). Артиллерия на поле боя распространилась лишь в императорский период. О дальности стрельбы можно привести следующие данные. Так, по опытам Ж.-Б. Вершера де Реффи, наибольшая дальнобойность катапульты со стрелой длиной 1,2 м — 340 м, тогда как дальность стрельбы реконструированной баллисты II в. до н.э., остатки которой найдены в Ампуриас (Каталония), со стрелой 70,7 см — 305 м против ветра (Harmand 1967: 94).

56. Φάλαγξ — многозначное слово. У Арриана — это и легион (§5; 6; 15), и строй или войско (An. I,14,4; V,16,4; VI,22,7), и собственно македонская фаланга (An. I,28,6; II,8,6; III,11,10 etc.). В данном случае: плотный, нерасчлененный строй легионеров.

57. Λόχος — обычное греческое название пехотного взвода. Однако, тут лох, скорее всего, обозначает конную часть когорты (Bosworth A. 1977: 250; ср.: Jos. B. J. VII,225). Заметим, что из девяти конных когорт Арриан упоминает лишь восемь.

58. Реконструировать эту часть построения можно так. В центре за фалангой строятся четыре конные части когорт, вооруженных луками (арабы, итуреи, киренцы, боспорцы), а по их бокам и еще за auxilia на флангах поставлено по одному конному подразделению с разнообразным оружием для преследования бегущего врага. Причем и в конно-лучных отрядах не все лучники (§21). Алы также стоят за пехотой, видимо ближе к флангам, но за артиллерией.

59. Лакуна в две буквы, после чего в манускрипте стоит непонятное ...μημιον.

60. Копьеносцы (λογχοφόροι) —видимо, наиболее распространенный вид всадников, вооружение которых Арриан описывает в «Тактике» (4,7-9) : они носят шлем, кольчугу, небольшие поножи, меч, овальный щит и копье — lancea, которое как метают, так и сражаются им в рукопашной. Видимо, так вооружены даки, галлы, реты (ср.: Arr. Tact. 44,1), возможно, и италийцы. См.: Petersen 1896: Taf. 34A 1; 35A 6-8; 80B; 87A-B; 98A-B; 108A-B.

61. Контофоры-пиконосцы (κοντοφόροι) вооружены кавалерийской пикой, заимствованной у сарматов уже во время Траяна, когда появилась ala I Ulpia contariorum miliaria. Такую пику держали по сарматскому образцу двумя руками, что показывает надгробие из Типасы в Алжире конца II в. (Vigneron 1968: Pl. 105). Впрочем, римская конница обучалась атаковать с пикой и по галльскому обычаю, видимо, держа ее в одной руке (ср.: Arr. Tact. 44,1).

62. Меченосцы — μαχαιροφόροι. С периода эллинизма μάχαιρα становится синонимом слова ξίφος, т. е. обозначает меч вообще. Арриан придерживается более строгой терминологии. Так, прямой македонский меч у него в «Анабасисе» только ξίφος (Arr. An. II,3,7; VI,9,3; 6; VII,10,2). Тогда как в «Тактике» этот же меч обозначен как μάχαιρα, видимо, по эллинистической терминологии (Tact. 3,2; 12,4; ср.: Asclep. Tact. 3,5). Вместе с тем Арриан (Tact. 4,8) сообщает, что в его время конница носила спату (σπάθη) — обоюдоострый меч кельтского происхождения, длиной лезвия 60-70 см, шириной клинка 3,5 см. Автор акцентирует внимание на этом оружии ближнего боя, однако данные всадники, видимо, имели еще и легкие копья.

63. Πελεκοφόροι — букв.: «секироносцы», но по смыслу: «булавоносцы». Так, сам Арриан специально описывает эту «секиру», «имеющую повсюду кругом острия» (Tact. 4,9). Такое пояснение современного римского оружия автор дает, как представляется, не случайно, писатель хочет, чтобы его термины были верно поняты, ведь он упоминает и настоящую секиру у амазонок, в обычном значении этого слова (An. VII,13,2). Видимо, это оружие было недавно введено в армии и терминология еще не устоялась, ведь палица появляется в легионах в I-II вв. (Couissin 1926: 387-388). Лев VI (886-912 гг.) в своей «Тактике» (6,33) также описывает подобные «секи-

ры, повсюду имеющие острые выступы, отточенные, словно зубы».

64. Ξύνθημα — слово, означающее заранее условленный сигнал (Arr. An. I,6,1; IV,26,3), пароль, а в римском контексте — tessera. Видимо, речь идет о словесном приказе (ср.: Arr. An. I,6,1; IV,26,3). Такая команда передаётся глашатаем, стоящим около полководца, начальникам подразделений (Onas. 25).

65. Арриан употребляет здесь слово σωματοφύλακες, которое обычно в римском контексте обозначает преторианцев (Hdn. V,4,8). Принимая во внимание, что далее эти солдаты названы отборными (ἐπιλέκτοι), во главе которых стоят центурионы, они являются pedites singulares legati Augusti pro praetore provinciae Cappadociae, т. е. отобранными из auxilia пехотинцами, состоящими при наместнике провинции.

66. Разделительное ἤ — «или», по-видимому, говорит о предполагаемой ситуации.

67. Δεκάρχαι — очевидно, деканы (decanes) — десятники пехоты, командиры палатки, а не декурионы — командиры отборных всадников (δεκαδάρχαι: §1; Arr. Tact. 42,1).

68. Перед словом «сто» лакуна в 8-9 букв, оканчивающихся на -ας.

69. Копьеносцы (λογχοφόροι) — обычное название бенефициариев (см.: Veget. II,71), как и у Иосифа Флавия (B. J. III,120; V,47; VI,262). Другое обозначение этих воинов — δορυφόροι (ср.: Jos. B. J. II,645; Hdn. I,10,6; V,4,8). Само название «копьеносцы», видимо, дань эллинистической традиции, где дорифор — весьма приближенная к правителю должность спутника-стражника. У Арриана этот отряд вооружен lancea = λόγχη, отсюда следует и их название не dorujyroi, а λογχοφόροι.

70. Арриан стоит с резервом в 300 пехотинцев и около 200 всадников позади строя. Причем полководец обычно только руководит боем (Onas. 33). Лишь в очень опасных ситуациях он может сам принять участие в битве (§23). Обычное место военачальника — на правом фланге (Veget. II,18), однако там руководит Валент (§24), в то же время на левом фланге командуют трибуны XII легиона. Видимо, Арриан, следуя описанию Ксенофонта Афинского (Xen. An. I, 8, 22-23; Arr. An. II, 8, 11), поставил себя на второе по значимости у римлян место (Veget. II,18) — в центре строя, точнее, за центром.

71. Расстояние полета стрелы — обычное у греческих авторов весьма приблизительное определение расстояния при сближении войск противников. Прицельная стрельба из композитного лука могла эффективно вестись на расстоянии от 50-60 до 160-175 м, но не более 350-400 м (McLeod 1965: 6, 8).

72. Древние хорошо понимали психологическое значение клича, устрашающего врага и придающего уверенность кричащим, да еще в сочетании с метательным залпом. См.: Caes. B. G. V,8; VII,80; Jos. B.J. III,259; 265; Onas. 29; Arr. An. III,9,7; Plut. Crass. 23; Aul. Gel. I,11; Amm. XVI,12,43; XXXI,7,11; Veget. III,18.

73. Эниалий (Ἐνυάλιος) — греческий бог войны, сопоставляется с Аресом (Tzetz. Chiliad. XII,793; Eustath. ad Hom. Il. VII,166. (P. 673,45)). Именно Эниалию кричали греки военный клич (Arr. An. I,14,7). Сложно сказать, действительно ли легионеры, большинство из которых набирались во II в. из грекоязычного населения провинции (Philostrat. Vitae soph. II,13; Vita Apoll. I,7), кричат клич Эниалию, или это просто стандартное перефразирование любимого нашим автором Ксенофонта (An. I,8,17; Hell. II,4,17-18), хотя Арриан ничего не говорит об обычном в таких случаях пэане. Менее возможен другой вариант: римляне кричат клич Квирину (мирному воплощению Марса), первоначально богу-копью, греческим эквивалентом которого и был Эниалий (Plut. Romul. 29). См.: Jessen. 1905: 2651-2653.

74. В рукописи стоит непонятное θειασταί. Принимаю исправление Р. Герхера —πελτασταὶ. Возможно, пельтастами здесь названы гимнеты (§14; 25).

75. В заглавии фрагмента враги Арриана названы аланами, а тексте — «скифами» (Σκύθαι: §26; 31). «Скифия» становится в I-II вв. не этнонимом, а топонимом (Кулаковский 1899: 8). Названия скифы — сарматы — аланы были взаимозаменяемыми. Эти два этнонима эквивалентны и у Арриана. Так, он два раза говорит о коннице савроматов и аланов (Tact. 4,3; 7) а в третьем месте заменяет последнее название на скифов (Arr. Tact. 11,2).

76. В.Д. Блаватский, а вслед за ним — А.М.Хазанов и В. А.Горончаровский полагают, что сарматские катафрактарии атаковали клином, ссылаясь при этом на Арриана (Блаватский 1954: 120, 122; Хазанов 1971: 74; Горончаровский 1993: 79)[2]. В частности, Арриан пишет (Arr. Tact. 16,6): «Мы слышим, что именно клиновидными строями (ταῖς ... ἐμβολοειδέσι τάξεσι) скифы особенно пользовались (κεχρῆσθαι) и фракийцы, научившись от скифов. А Филипп Македонянин и македонян обучал пользоваться (χρῆσθαι) этим строем»[3]. Ср.: Асклепиодот (Tact. 7,3): «Говорят, что клиновидные *строи* скифы и фракийцы изобрели, а позднее и македоняне использовали (χρήσασθαι) их, как пригодные более, *чем* квадратные»; Элиан (Tact. 18,4): «Считают, что клиновидными *строями* скифы и фракийцы пользовались (κεχρῆσθαι), а македоняне *их* использовали (ἐχρήσαντο), когда Филипп этот *вид* ввёл». Как полагает С.М. Перевалов, в этом контексте, судя по временным рамкам, скифы названы своим именем, ведь вряд ли в IV в. до

[2] Как недавно показал В.П. Никоноров, термин catafractarii применялся в античности только к всадникам римлян, тогда как название cataphracti обозначало тяжеловооруженную конницу различных этносов (Nikonorov 1998: 131-138).

[3] Перевод «Тактического искусства» Арриана подготавливается к печати.

н. э. речь шла о савроматах, непосредственно не соприкасавшихся с фракийцами (Перевалов 1997: 133). Действительно, все три тактика считали Σκύθαι в своем общем первоисточнике именно скифами. Это особенно ясно по сообщению Асклепиодота. Однако у Элиана и Арриана глагол χράομαι стоит в перфекте. Это может свидетельствовать и о том, что, по мнению данных авторов, скифы как использовали, так и продолжают в их время использовать клин. Скифами же тут названы сарматы[4]. У собственно скифских конных лучников, не переходящих в рукопашную, клиновидный строй мог получиться, очевидно, вследствие того, что вождь с дружиной сражался впереди основной массы всадников. Очевидно, следует в сочинениях древних отличать геометрическое и военное значения слова «клин» (ἔμβολον, cuneus). У Геродота и Фукидида «клином» называется лишь таран триеры (Buckler 1985: 135). Данное слово впервые использовал Ксенофонт для обозначения построения пехоты и конницы Эпаминонда при Мантинее (Xen. Hell. VII,5,22; 24). Причем сам историк сравнивает это построение с триерой, указывая на область, откуда пришло сопоставление (Xen. Hell. VII,5,24; ср.: Xen. Lac. pol. 11,10). Арриан, говоря о построении фиванцев при Левктрах (371 г. до н.э.) и беотийцев при Мантинее (362 г. до н.э.), также употребляет слово ἔμβολον (Arr. Tact. 11,2). Как видно из сопоставлений с другими источниками, здесь имеется в виду глубокий и узкий строй (Xen. Hell. V,4,12-13; VII,5,23; Diod. XV,54-56; 84-87; Plut. Pelop. 23). Более того, Ливий (XXXII,17,11), Курций Руф (III,2,13) и Арриан (Tact. 12,10) называют даже македонскую фалангу клином. Видимо, геометрическое значение слово «клин» приобретает в тактических трудах конца II-I вв. до н.э. (см.: Asclep. Tact. 7,3; Ael. Tact. 19,5; Arr. Tact. 17,3; ср.: Veget. III,19). Ведь ещё Полибий называет ἔμβολον лишь построение кораблей (I,26,13; 16). Сам Арриан в сохранившихся произведениях употребляет ἔμβολον несколько раз. Причем в шести случаях клин, очевидно, обозначает D-образное построение: атаки македонской и персидской конницы с целью прорыва строя врага (Arr. An. I,15,7; III,14,2; Tact. 16,6; Succ. frg. 1284); объяснения формы клина (Arr. Tact. 17,3; 29,6). Старший современник Арриана, Тацит, также употребляет слово cuneus, но в смысле «глубокое построение, колонна». Так строятся римляне из-за узости или пересеченности местности (Ann. I,51; XIV,37; Hist. II,42) либо когда нужно войти в брешь (Hist. III,49). Видимо, треугольное построение чаще использовала конница, ведь и, по объяснению византийского дополнения середины X в. к тактике Элиана, пеший клин произошел от конного (Ael. Tact. 47,3). Этот строй удобен для маневрирования конницы на поле боя (Arr. Tact. 16,7). Возможно, Арриан думал о наступлении аланов развернутым фронтом, ведь он отдает приказы сразу всему строю, не выделяя тех, на кого ударит клин первым. О клине см.: Дельбрюк 1994: 30-39.

77. В этом сообщении обычно видят тактику ложного отступления. Такой приём обычно характерен для легкой конницы кочевников, а не для катафрактов (Bachrach 1973: 8-9, 24; против: Перевалов 1997: 132).

78. Согласно Вегецию (I,9), отряд, идущий обычным «военным шагом» (militari gradu), проходит примерно 4,7 км/ч, а «полным шагом» (pleno gradu) — 5,7 км/ч.

79. Растягивание флангов — обычный маневр при угрозе окружения (Hdn. IV,15,4).

80. Довольно неожидан переход Арриана на первое лицо. Видимо, наш автор забыл, что в данном произведении (впрочем, как и в «Кинегетике»), он выступает под именем Ксенофонта.

81. Κοντός (латинское: contus) — обычное у античных авторов название пики — основного оружия сарматов (Sil. Pun., XV,685; Flac. Argon., VI,162; Stat. Achil., II,131-132; Tac. Ann., VI,35,1; Hist., I,79,3; Arr. Tact., 4,3; 7; 44,1; Lucian. Tox., 55; Amm., XVII,12,2; Claud., XXI,1,111). По мнению исследователей, пика сарматов, а значит и аланов, достигала 4-4,5 м, впрочем, А. М. Хазанов говорит и о меньшей длине — 3,4 м (Блаватский 1954: 117; Хазанов 1971: 50; 73). Однако сарматский катафракт, изображенный на серебряном сосуде из Косики, судя по пропорциям, имеет контос длиной примерно 2,7 м. 2,5 м в длину представляют остатки копья в кургане 7 / 11 у хутора Ляпичева (Трейстер 1994: 180-181. Рис. 7-9; Хазанов 1971: 49; см.: рис. 1, 3). Свои контосы сарматы держали двумя руками: левой — впереди, правой — ближе к заднему концу (см. рис. 1, 3). В.Д. Блаватский ещё в 1949 г. указывал на то, что при сильном ударе пикой, чтобы не вылететь из седла, всадник должен был развернуть свой торс на три четверти, левым плечом вперед, сгибая при этом ноги. Однако против этого выступили В.А. Горончаровский и В.П. Никоноров, говоря о том, что такую пику держали лишь в правой руке, тогда как в левой у всадников были поводья. Многочисленные же изображения конников, держащих пики в двух руках, они объясняли данью иконографии (Блаватский 1949: 97-98; Горончаровский, Никоноров 1987: 209-210). Впрочем, изображение из Косики ещё раз показало катафракта, держащего пику двумя руками, повернувшегося на три четверти и расставившего широко ноги, чтобы не вылететь из седла при ударе. Причем вожжи прикреплены у седла. Действительно, при такой посадке легко слететь с коня, придавая удару пики силу всего корпуса, поэтому можно, согласится с А.М. Хазановым, что контос всадник держал в правой руке и, соответственно, только ею наносил удар, тогда как левая лишь придерживала и направляла пику (Хазанов 1971:

[4] Хочу поблагодарить профессора А.И. Зайцева за консультацию по данному вопросу.

49; ср.: Блаватский 1949: 97).

82. А. Босворт, опираясь на Плутарха (Lucul. 28 — sic!), предлагает дополнить эту фразу «... нигде, кроме как по бедрам и животам» (Bosworth 1977: 235; ср.: Перевалов 1997: 131). Заметим, что подобные выражения Арриан не употребляет в своих сохранившихся произведениях, да и смешение бедер всадников и животов лошадей выглядит странно. Судя по изображениям и археологическим находкам, конский доспех был не очень распространен у сарматов (Хазанов1971: 87; Горончаровский, Никоноров 1987: 209; Малашев 1988: 81-82). Впрочем, см.: рис. 4. Хороший чешуйчатый панцирь также был довольно дорог, и его имела лишь знать, о чем говорит Тацит (Hist. I,79), указывая, что из 9000 роксолан лишь у вождей и знати было защитное вооружение (Id principibus et nobilissimo cuique tegimen). Хотя в §17 Арриан указывает на панцири, которые, возможно, имелись у скачущих впереди, тогда как последующие всадники доспехов могли не иметь (ср.: Ростовцев 1914: 342). Легкость аланского вооружения отмечают Аммиан Марцеллин (XXXI,2,21: armorum levitate) и Дион Кассий (LXXI,7,5: κουφότεροι). См. рис. 2, 3.

83. В конце манускрипта не хватает около 20 строк.

ЛИТЕРАТУРА

Блаватский В.Д. 1949. О боспорской коннице // КСИИМК 29: 96-99.

Блаватский В.Д. 1954. Очерки военного дела в античных государствах Северного Причерноморья. М.

Горончаровский В.А. 1993. Катафрактарии в истории военного дела Боспора // Скифы. Сарматы. Славяне. Русь (Петербургский археологический вестник 6): 79-82.

Горончаровский В.А., Никоноров В.П. 1987. Илуратский катафрактарий (К истории античной тяжелой кавалерии) // ВДИ. 1: 201-213.

Дельбрюк Г. 1994. История военного искусства в рамках политической истории / Пер с нем. Т. II. СПб.

Крюгер О.О. 1993. Арриан и его труд «Поход Александра» // Арриан. Поход Александра / Пер. М.Е. Сергеенко: 5-46. М.

Кузнецов В.А. 1984. Очерки истории алан. Орджоникидзе.

Кулаковский Ю. 1899. Аланы по сведениям классических и византийских писателей. Киев.

Малашев В.Ю. 1988. Сарматы на колонне Траяна // Материальная культура Востока. I: 69-88. М.

Ростовцев М.И. 1913-1914. Античная декоративная живопись на юге России. Атлас. Текст. СПб.

Перевалов С.М. 1997. Военное дело у аланов II в. н. э. (по трактатам Флавия Арриана «Диспозиция против аланов» и «Тактика») // Историко-археологический альманах: 129-134. Армавир — М.

Трейстер М.Ю. 1994. Сарматская школа художественной торевтики (К открытию сервиза из Косики) // ВДИ. 1: 172-203

Хазанов А.М. 1971. Очерки военного дела сарматов. М.

Bachrach B.S. 1973. A History of the Alans in the West. Minneapolis.

Bosworth A.B. 1977. Arrian and the Alani // Harvard Studies in Classical Philology 81: 218-255.

Buckler J. 1985. Epameinondas and the Embolon // Phoenix 39 (2): 134-143.

Cichorius C. 1896-1900. Die Reliefs der Traianssäule. Textband I-III. Tafelband I-II. Berlin.

Couissin P. 1926. Les armes romaines. Paris.

Debevoise N.C. 1938. A Political History of Parthia. Chicago.

Domaszewski A. von. 1908. Die Rangordung des römische Heeres // Bonner Jahrbücher 17: 1-278.

Grotefend G.L. 1867. Die Truppencorps in Arrian's Marschordnung gegen die Alanen // Philologus 26: 18-28.

Hercher R. 1885. Praefatio // Arriani Nicomediensis scripta minora recognovit R. Hercher curavit A. Eberhard: V-LXXVI. Lipsia.

Harmand J. 1967. L'Armée et le soldat à Rome de 107 à 50 avant notre ère. Paris.

Jessen. 1905. Enyalios // RE. 5: 2651-2653.

Jukelmann, M. 1992. Die Reiter Roms. T. III. Mainz am Rhein.

McLeod W. 1965. The Range of the Ancient Bow // Phoenix 19 (1): 1-14.

Nikonorov V.P. 1998. Cataphracti, Catafractarii and Clibanarii: Another Look at the Old Problem of Their Identification // Военная археология. Оружие и военное дело в исторической и социальной перспективе. Материалы Международной конференции 2-5 сентября 1998 г. СПб.: 131-138.

Petersen E., Domaszewski A. von, Calderini G. 1896. Die Marcus-Säule auf Piazza Colonna in Rom. Bd. I-II. München.

Reinach A.-J. 1906. Pilum // Daremberg Ch., Saglio E. Dictionnaire des antiquités grecques et romaines. IV (1): 481-484.

Ritterling E. 1902. Zur Erklärung von Arrians Ἔκταξις κατ' Ἀλανῶν // Wiener Studien 24: 359-372.

Roos A. 1968. Testimonia de vita Arriani // Flavii Arriani quae exstant omnia ed. A.G. Roos. Vol. II: LVIII-LXVII. Lipsia.

Schulten A. 1950. Pilum // RE. XX (40): 1333-1369.

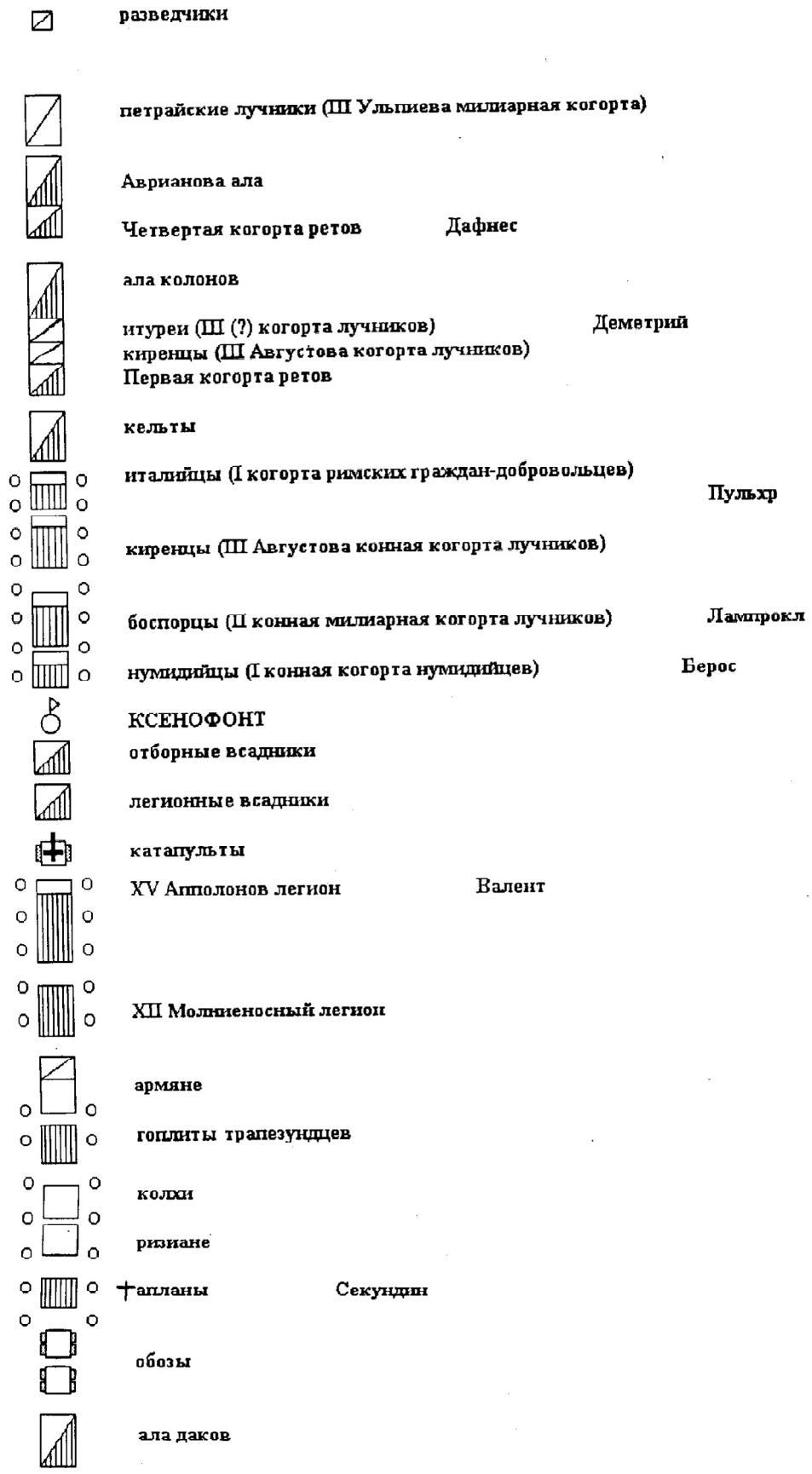
Schwartz E. 1895. Arrianus. 9 // RE II (3): 1230-1247.

Stadter Ph.A. 1980. Arrian of Nicomedia. Capel Hill.

Vigneron P. 1968. Le cheval dans l'Antiquité Greco-Romaine. T. I-II. Nancy.

Wheeler E.L. 1979. The Legio as Phalanx // Chiron 9: 303-318.

Походный порядок каппадокийской армии Арриана (135 г.)



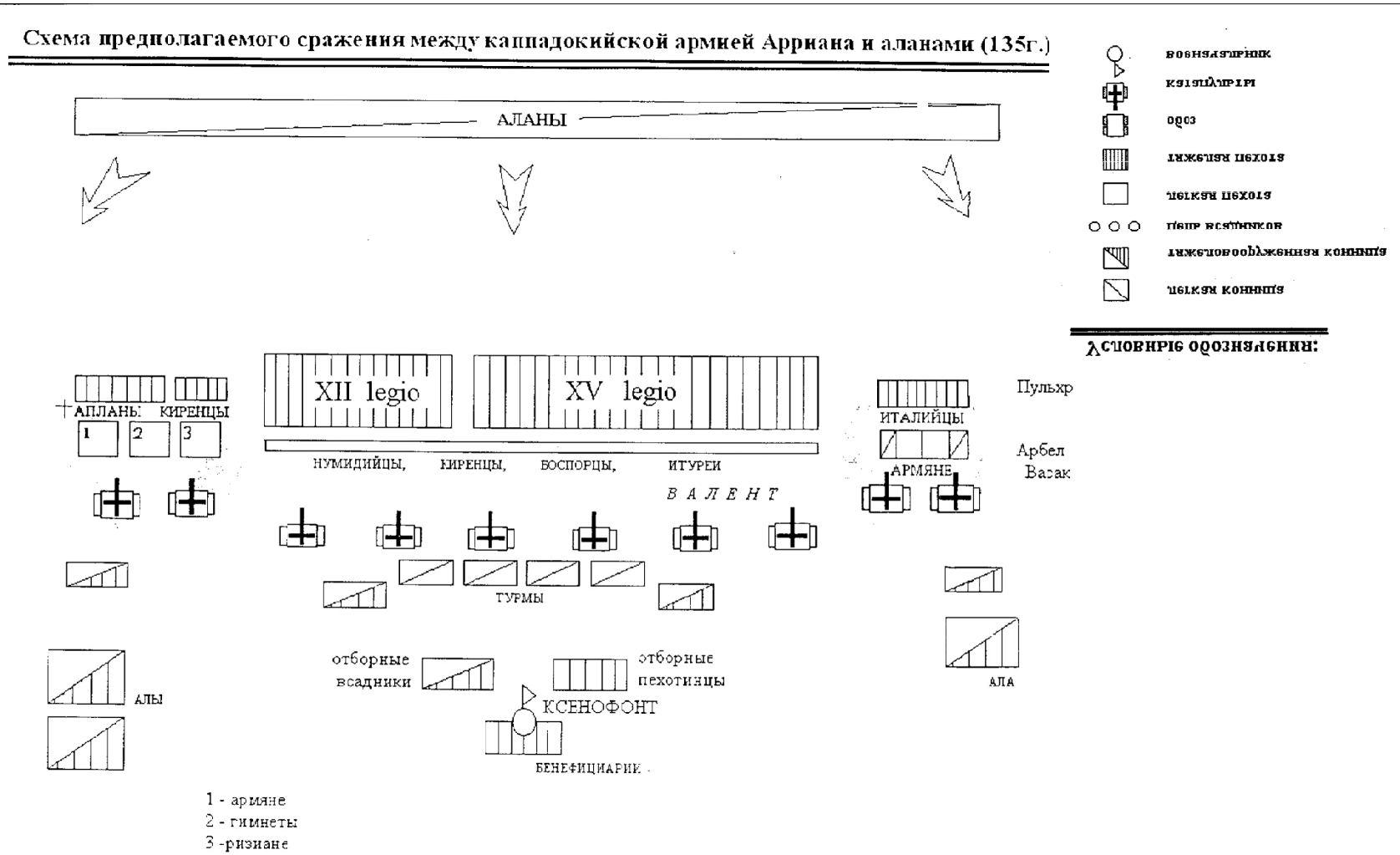


Схема предполагаемого сражения между каппадокийской армией Арриана и аланами (135г.)
АЛАНЫ
АПЛАНЫ
КИРЕНЦЫ
1
2
3
XII legio
XV legio
НУМИДИЙЦЫ,
КИРЕНЦЫ,
БОСПОРЦЫ,
ИТУРЕИ
В А Л Е Н Т
ТУРМЫ
ИТАЛИЙЦЫ
АРМЯНЕ
Пульхр
Арбел
Вазак
АЛЫ
АЛА
отборные всадники
отборные пехотинцы
КСЕНОФОНТ
БЕНЕФИЦИАРИИ
1 - арияне
2 - гимнеты
3 -ризиане

Шаров О.В.

О ВРЕМЕНИ ПОЯВЛЕНИЯ Т-ОБРАЗНЫХ ШАРНИРНЫХ ФИБУЛ В СЕВЕРНОМ ПРИЧЕРНОМОРЬЕ

Перед орлами шагали все в белом, префекты лагерей, трибуны и первые центурионы первых десяти манипул; остальные центурионы, сверкая оружием и знаками отличия, шли каждый впереди своей центурии; фалеры и торквесы солдат блестели на солнце.
(Tacit, Hist, II, 89)

Sharov O.V. About the time of appearance of T-shape hinge fibulas* in the Northern Black Sea region.

The article is dedicated to the amplification of the time of appearance of T-shape hinge fibulas in the Northern Black Sea region. They are mass finds in the burial complexes with coins and in the monetary treasures of the Central Europe and their typology is elaborated in details. For each type there are defined chronological limits that are narrow enough. That is why T-shape hinge fibulas are very important for the late-antique burials of the Northern Black Sea region where they are present as well. According to A.K.Ambroz the earliest representatives of these fibulas (their II type) in the Northern Black Sea region are dated by the late III – early IV c. A.D. However, the author's attention was attracted by a silver fibula from Chersones (No 31336-25). In his opinion its closest analogy is the fibula from the internment 2 burial of Leune in Saxony J.Werner connected the finding of fibulas of these types in free Germany with the returning to the native land of noble Germans who served Gall Usurpers. They were dissolved by Aurelianus after the year 273 A.D. Basing on the fact that in the internments with T-shape hinge fibulas of this type there were present the coins of Diocletian only till his monetary reform of 293 A.D., J.Werner proposed that given internments should be dated not late than by the year 300 A.D. In author's opinion the mentioned Germans not only served in Romans legions but also occupied there high positions – up to prefects of cohorts.

The author also amplifies the typology of T-shape hinge fibulas and the time of their existence. Fibulas of type I by Keller-Pröttel he subdivides into 3 variants each of which has a different time of existence. In his opinion the mentioned fibula from

Chersones is referred to the second variant out of three that he distinguished in type I Keller-Pröttel. Fibulas of this variant come out of use in the years 260-280 A.D. This is the time to which the appearance of T-shape hinge fibulas in the Northern Black Sea region should be refered.

1. Фибула из Херсонеса

Для хронологии позднеантичных могильников Северного Причерноморья большую ценность имеют находки в погребениях провинциально-римских шарнирных Т-образных фибул с так называемыми «луковичными кнопками» (в европейской литературе применяется термин: Zwiebelknopffibel или Scharnier- Dreiknopffibel). Это объясняется тем, что шарнирные фибулы являются массовыми находками в погребальных комплексах с монетами и монетных кладах Центральной Европы и детально разработана их типология (рис. 1), с учетом которой типы фибул бытуют лишь в течение достаточно узкого отрезка времени (см.: Behrens 1919; Kovrig 1937; Беляев 1929; Амброз 1966; Van Buhem 1966; 1973; Keller 1971; Noll 1974; Pröttel 1991). Они найдены во всех удаленных уголках Римской империи, где в III-IV веках н. э. дислоцировались римские легионы или находилась гражданская администрация высокого ранга. Самая большая коллекция этих фибул из региона Северного Причерноморья (рис. 2 — 1, 3; 6 — 3; 7: 8, 11, 15) происходит из материалов раскопок Херсонеса (рис. 5 — 1), среди которых, самые ранние — второго типа с небольшими шаровидными или биконическими кнопками по А. К. Амброзу (конец III-начало IV вв.н.э.) представлены находками трех бронзовых фибул (Амброз 1966: 74, табл.13-6). В фондах Херсонесского музея в 1992 году наше внимание привлекла маленькая серебряная фибула с круглыми кнопками и орнаментированной дужкой (рис. 2 — 1; 7 — 8) из раскопок К. К. Косцюшко-Валюжинича (№ 3136-25). Дужка этой фибулы украшена по обеим сторонам орнаментом в виде бегущей волны, нанесенным грави-

* In the European literature they are known under the term «Zwiebelknopffibeln» or «Scharnier-Dreiknopffibeln».

© Шаров О.В., 1999.

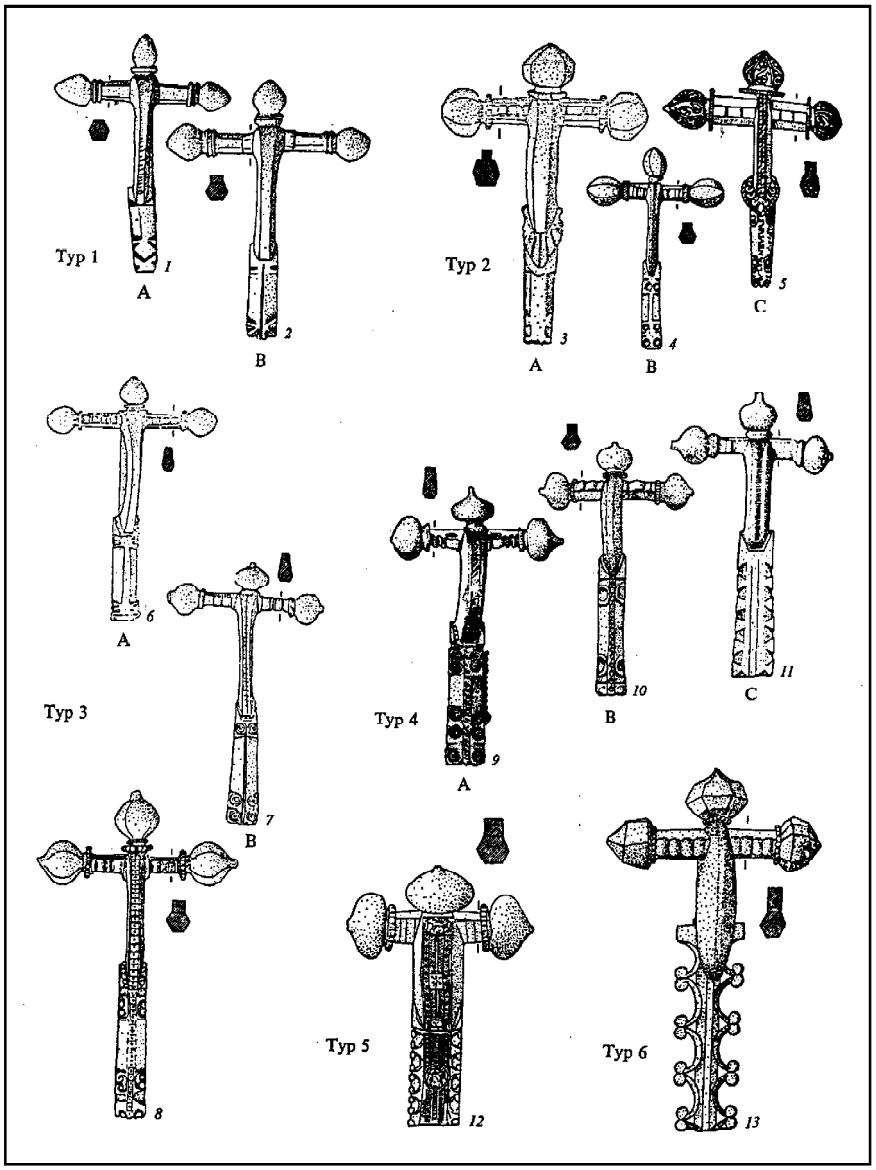


Рис.1. Типология и хронология шарнирных фибул с луковичными кнопками (по Keller, 1971).

ровкой с последующим чернением. Сечение дужки фибулы шестигранное. Верхняя и одна из боковых кнопок отсутствуют, на верхней части шарнира, круглого в сечении, находится небольшой треугольный выступ. Передняя часть ножки украшена мелкими фасетками, боковые — орнаментом в виде стилизованной ветки, нанесенным также гравировкой с чернением. Близких аналогий этой серебряной фибуле по типу декора среди просмотренных нами материалов раскопок Херсонеса и Керчи, а также из материалов публикаций по Северному Причерноморью нам не удалось обнаружить, и мы обратились к материалам дунайских и рейнских провинций, а также к находкам подобного типа застежек в Свободной Германии.

2. Германцы Лейны — офицеры римских легионов

Наше внимание, ввиду типологического сходства деталей конструкции фибул и орнаментации, привлекла римская шарнирная фибула из погребения 2 могильника Лейна в Саксонии (рис. 5 - 12), открытого в 1917 году (рис. 2-4; 3-3; 7-6). На основании находки в погребении золотой монеты галльского узурпатора Тетрика (270-273 гг.) и всего набора римских импортных изделий (рис. 3 — 1, 4, 5, 12, 14) издатель комплекса Вальтер Шульц относил его ко времени «около 300 г.н.э.» (Schulz 1953: 68). Эрвин Келлер, создавая систему абсолютной хронологии для Юго-Западной Германии, датировал эту фибулу 290-320 гг. н. э. и отнес ее по своей классификации к первому типу Zwiebelknopffibel (рис. 1-1А). Й. Вернер заинтересовался богатыми находками из княжеских погребений Средней Германии. Еще в 1938 году он предложил связать эти погребения с воинами-германцами, участвовавшими в прорыве лимеса 259/260 гг.

и вернувшимися на родину с захваченной добычей (Werner 1938: 259). В статье Й. Вернера 1973 года картина несколько изменилась, появились новые и неожиданные детали. На основании находок в погребениях ауреусов галльских узурпаторов Постума, Викторина Лоллиена и Тетрика автор пришел к выводу, что княжеские погребения в Средней Германии были оставлены воинами-германцами из района Заале-Унштрут, набранным в специальное подразделение «ingentia auxilia Germanorum» XXX легиона Ульпия Траяна (Werner 1973: 25-26). Речь в данном месте, вероятно, идет об усилении галльских легионов при Марке Пиавонии Викторине, бывшем трибуне преторианцев и консуле 267 года Галльской империи, который становится императором в 268 году, сменив Лоллиена. Викторин привлек «огромное количество вспомогательных отрядов из германцев» (SHA, Vita Victorinus, VI, 2). Германцы служили галльским узурпаторам до пленения Тетрика в 273 году, затем были распущены Аврелианом и вернулись на родину. Эта гипотеза осталась практически неизменной и только уточнилась и приобрела большую законченность в 1989 году, когда вышла 3 статья, посвященная специально находкам римских фибул в погребениях этой группы (Werner 1989: Abb. 2). На основании стилистического анализа римских шарнирных фибул «с тремя луковичными кнопками» из погребений 2 1917 г. и 5 1926 года могильника Лейна (рис. 2-4, 7) по типу декора дужки и использованию позолоченного серебра и позолоченной бронзы Й. Вернер отнес умерших к офицерам римской армии германского происхождения, при этом юношу 25-30 лет из погребения 2 с серебряной позолоченной фибулой причислил к рангу центуриона (Werner 1989: 126). Он уточнил дату погребения на основании сравнения с комплексом 1863 года из Буды (Аквинкума — рис. 5-6), в котором наряду с серебряной фибулой, украшенной черненым орнаментом (рис. 2-6), напоминающим орнамент на фибуле из Лейны, были положены 39 антонинианов от Гордиана III (238-244 гг.) до Диоклетиана и Максимиана (284-305 гг.). Но самое существенное состояло в том, что последние монеты соправителей были чеканены в 287 году, т.е. до начала монетной реформы Диоклетиана 293 года и эпохи первой тетрархии (Werner 1989: 129). Таким образом, погребения с фибулами с округлыми кнопками и черненым орнаментом должны были быть совершены, по Й. Вернеру, самое позднее в конце 280 — 290 гг. и не выходить за 300 г. н. э (Werner 1989: 130-131, 133). На наш взгляд, идея разграничения комплексов с монетами до и после монетной реформы 293 года как возможная граница двух ступеней фазы C2 очень изящна. Тем не менее, нам кажется,

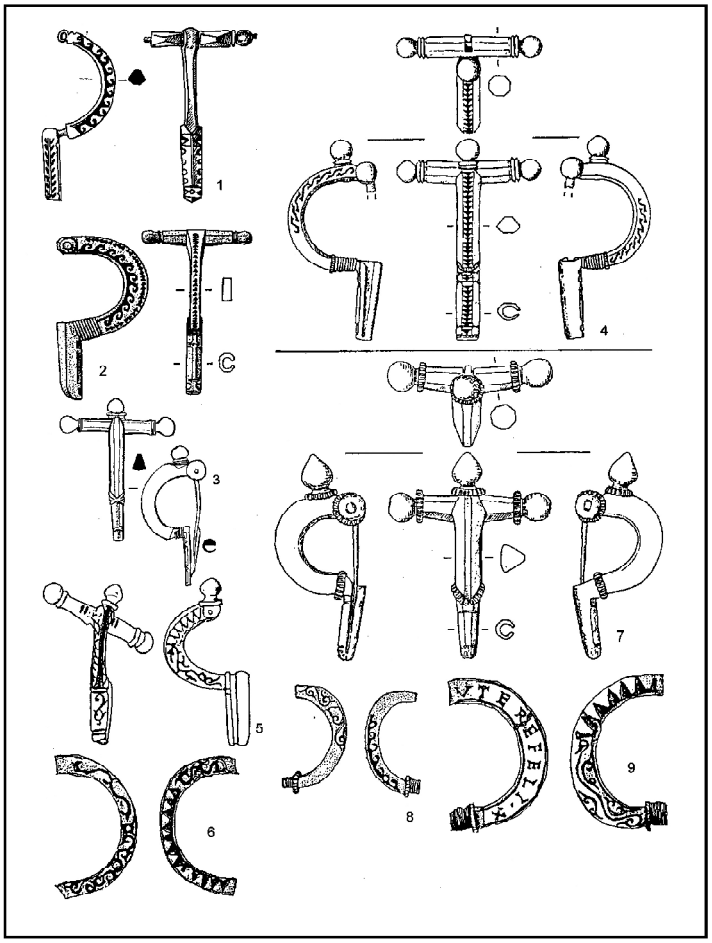


Рис.2. Шарнирные фибулы с луковичными кнопками: 1 — Херсонес, №3136/25; 2 — Майнц; 3 — Херсонес, 1853г. (ГЭ, X, 1853); 4 — Лейна, погр. 2/1917; 5 — Мандейра; 6 — Аквинк; 7 — Лейна, 5/1926; 8 — Бригеццио; 9 — Интерцисса. (№ 3 по Амброз, 1966, табл.13-6; №№ 2,4-9 по Werner, 1989, Abb.2-3).

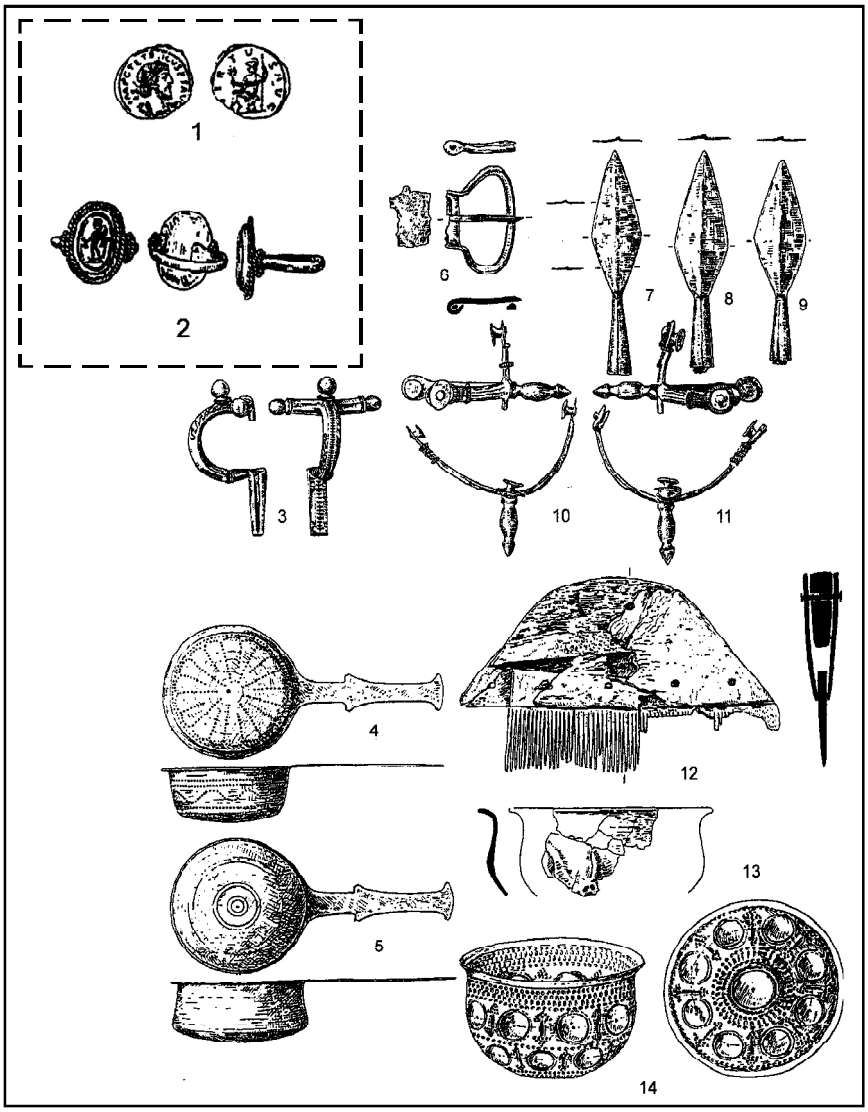


Рис. 3. Погребение 2/ 1917 могильника Лейна (по Schmidt, 1982, DDR9).

эту идею нужно подкрепить еще другими, более весомыми доказательствами, чем наличие черненого орнамента на дужках, кстати, разного по рисунку у этих 2 фибул, что отметил далее и сам Й. Вернер (1989: 130). Находки серебряных позолоченных фибул в этих погребениях позволили ему выдвинуть гипотезу, что в данном случае мы имеем дело с захоронениями знатных варваров со знаками отличия центурионов римской армии, а в Буде дополненными еще одним существенным офицерским знаком отличия — положением в могилу серебряного пояса cingulum militare (Fischer,1988; Werner 1989: 126, 132).

3. Ordo equester и hasta pura?

При исследовании состава богатого инвентаря погребения 2, открытого в 1917 на могильнике Лейна и анализе функционального назначения отдельных типов предметов из серебра и бронзы выделяется особая, «символическая» группа серебряных изделий, которые, по нашему мнению, так же как и позолоченная серебряная фибула, являлись знаками отличия, говорящими еще более точно об офицерском ранге погребенного. Это три серебряных наконечника (рис. 3 — 7-9), лежащие у правой руки юноши, обозначенные в описании В. Шульцем как наконечники стрел (Pfeilspitze). Они сделаны из очень тонкого серебряного листа, и их длина составляет 8-9 см, что, конечно, не позволяет нам рассматривать их в качестве стрел, а скорее наконечников дротиков-копий (Schmidt 1982: DDR 9, 4 (2)). То, что наконечники не использовались по прямому назначению, показывает их изготовление из хрупкого серебряного листа. Во втулках сохранились остатки деревянного стержня: по исследованию В. фон Штокара, наконечники были насажены на древки, изготовленные или из тополя, или из вербы (Schulz 1953: 14) Среди наград римской армии эпохи Империи упоминаются награждения офицеров высокого ран-

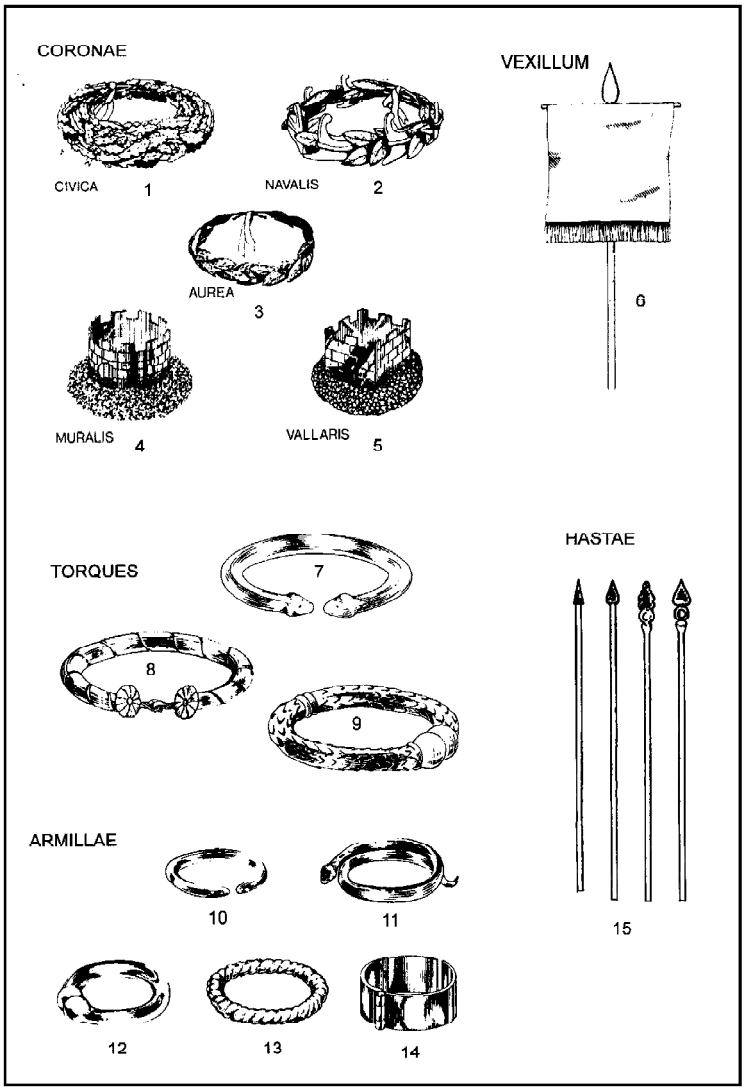


Рис.4. Знаки воинского отличия, dona militaria (по Maxfield, 1981, Pl.12).

га особыми знаками отличия — «почетными копьями — hasta pura» (см. Domaczewski 1908: 112-118; Steiner 1906: 10, 81-89; Fiebiger 1912: 2508; Büttner 1957: 142-144; SHA, Avrelianus, XIII, 3; Probus, V, 1; Санчурский 1995: 162). Это почетное копье — hasta или, по Полибию, gaisos (Polibius, VI, 39), являлось самой древней римской военной наградой, и ею награждали первоначально и солдат, и офицеров за ранение врага при особых обстоятельствах (Steiner 1906: 6; Fiebiger 1912: 2508; Büttner 1957: 127;). До сих пор в античной историографии существует точка зрения, что этот знак воинского отличия представлял собой копье без острия или наконечника (Санчурский 1995: 162; Кондратьев 1992, SHA: 272, 301). Эта трактовка основана на месте у Сервия: «Ille vides, pura iuvenis qui nititur hasta» (Aen, VI, 760), где, как полагали комментаторы текста, речь шла о наградном деревянном копье (hasta donatica) без железного наконечника, «id est sine ferro» (Steiner 1906: 9; см. также: Fiebiger 1912: 2508). Еще в 1906 году Пауль Штайнер показал, что упомянутое в этом месте копье является не наградой — «praemium virtutis», а речь идет о знаках власти— о белом скипетре «insignum regium» (Steiner 1906: 9-10; Büttner 1957: 142-143, Anm. 91). Некоторые разночтения вызывало и добавление эпитета «pura», который появился в надписях и текстах только с эпохи поздней Республики (Steiner 1906: 6-10). Сочетание этого слова вместе с «hasta» обозначало, по мнению Пауля Штайнера, — чистое, новое, не используемое копье, в отличие от ранней награды — hasta donatica, когда для особо отличившихся использовались копья, захваченные у врага или взятые из военной добычи. Примерно с реформ Мария стали изготавливать, специально для этой цели, уменьшенные почетные копья (Steiner 1906: 9-10). Анита Бютнер, подведя итоги этих дискуссий в 1957 году, отметила, что первоначально в эпоху Полибия для этих целей употреблялись деревянные копья (см. Helbig 1908), но впоследствии, в эпоху Империи, стали делать уменьшенные реплики копий с металлическими наконечниками, а в ряде случаев они изготавливались

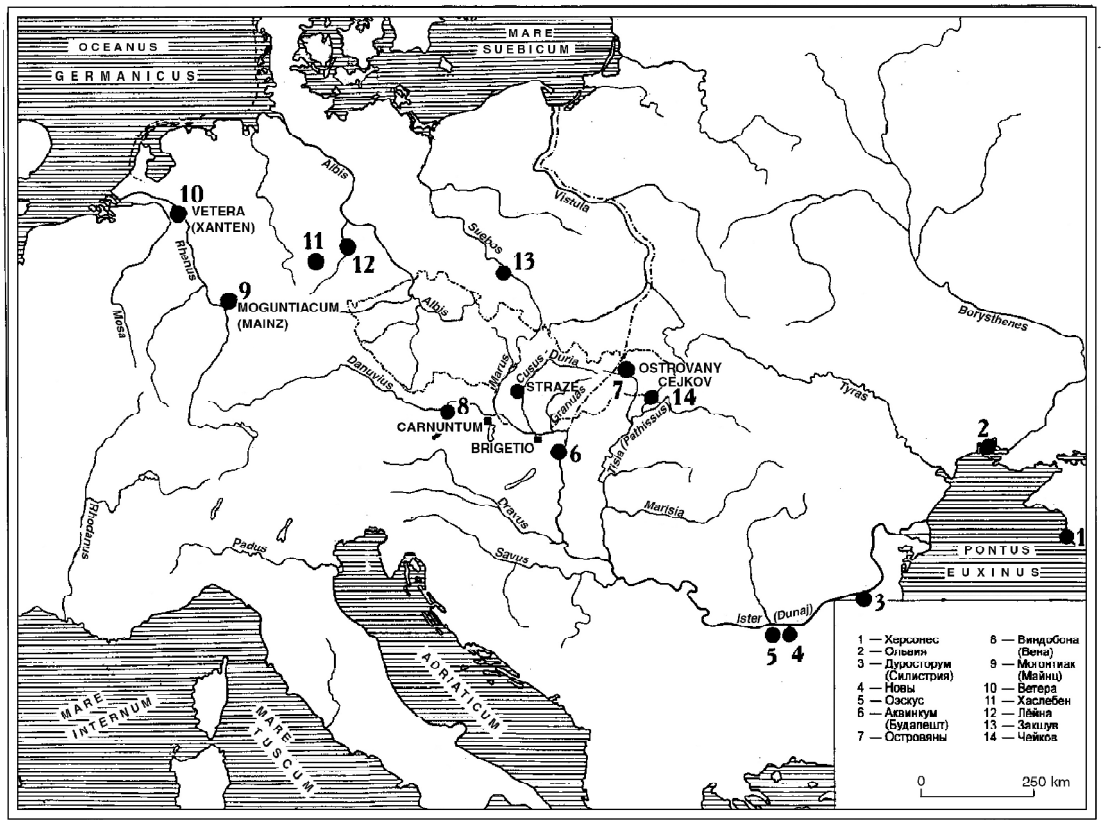


Рис.5. Карта основных находок шарнирных фибул, упомянутых в тексте. Места стоянок легионов (по Die Germanen, Bd. 2, Abb. 2): 3 — Дуросторум (XI Claudia); 4 — Новы (I Italica); 5 — Оэскус (V Macedonica); 6 — Аквинкум (II Adiutrix); 8 — Виндобона (X Gemina); 9 — Могонтиакум (XXII Primigenia); 10 — Ветера (XXX Ulpia Traiana).

полностью из благородных металлов — серебра и золота (Büttner 1957: 179-180). Изображения таких hasta pura, приведенные В. Максфилдом (Maxfield 1981, Pl.12b), имеют различные уменьшенные наконечники копий на древках (рис. 4-15). Среди почетных наград на надгробном камне примипила и префекта castrorum Вибия Галла изображены 5 копий с ромбовидными наконечниками, над которыми выбита надпись «hastae purae» (Steiner 1906, Fig. 23).

Мы привели этот краткий историографический обзор, чтобы показать, что найденные в погребении 2,1917 могильника Лейна уменьшенные серебряные образцы железных наконечников копий не использовались по прямому назначению ввиду их хрупкости и размеров и вполне могут считаться этой высокой воинской наградой – hasta pura, предназначенной для отличившихся офицеров. Ценность этого своеобразного ордена (dona militaria) зависела от количества присуждаемых за различные успешные военные действия почетных копий согласно рангу офицера и принадлежности его к всадническому или сенаторскому сословию. Если исходить из анализа эпиграфических надписей, проведенного Альфредом фон Домашевским, эта награда присуждалась в эпоху поздней Империи, начиная только со звания примипила — первого из 60 центурионов каждого римского легиона, старшего центуриона первой центурии первой когорты милиариев (Centurio primi pili prior), который также командовал по своему старшинству первой манипулой триариев (Domaczewski 1908: 112, 117-118). При отличии ему назначались еще низшие воинские награды: torques, armillis, phaleris (рис. 4 - 7-14), но уже полагались и высшие: hasta pura и corona aurea (рис. 4 – 3, 15). На одном из надгробий (Steiner 1906: 70, № 142; Domaczewski 1908: 265, n.95, 1900) среди перечисленных наград примипила Сабина Сатурнина упоминаются (h)asta pura argent(ea) (Domaczewski 1908: 118). Надпись относится к эпохе Септимия Севера. С последним отличием (hasta pura argentea) было связано возвышение во всадническое сословие (*ordo equester*) и открывалась дорога к высшим должностям в римской армии и магистратуре (Domaczewski 1908: 118). Но в погребении 2, 1917 могильника Лейна мы видим сопровождающие офицера 3 копья с серебряными наконечниками — награда, которая назначалась еще более высокому рангу офицеров: префектам когорты или алы вплоть до легатов легионов (Steiner 1906-1906: 85-86). В данном случае речь может идти, вероятно, на основании находок серебряных шпор в комплексе (рис. 3-10,11), о погребении германского воина, пожалованного во всадническое

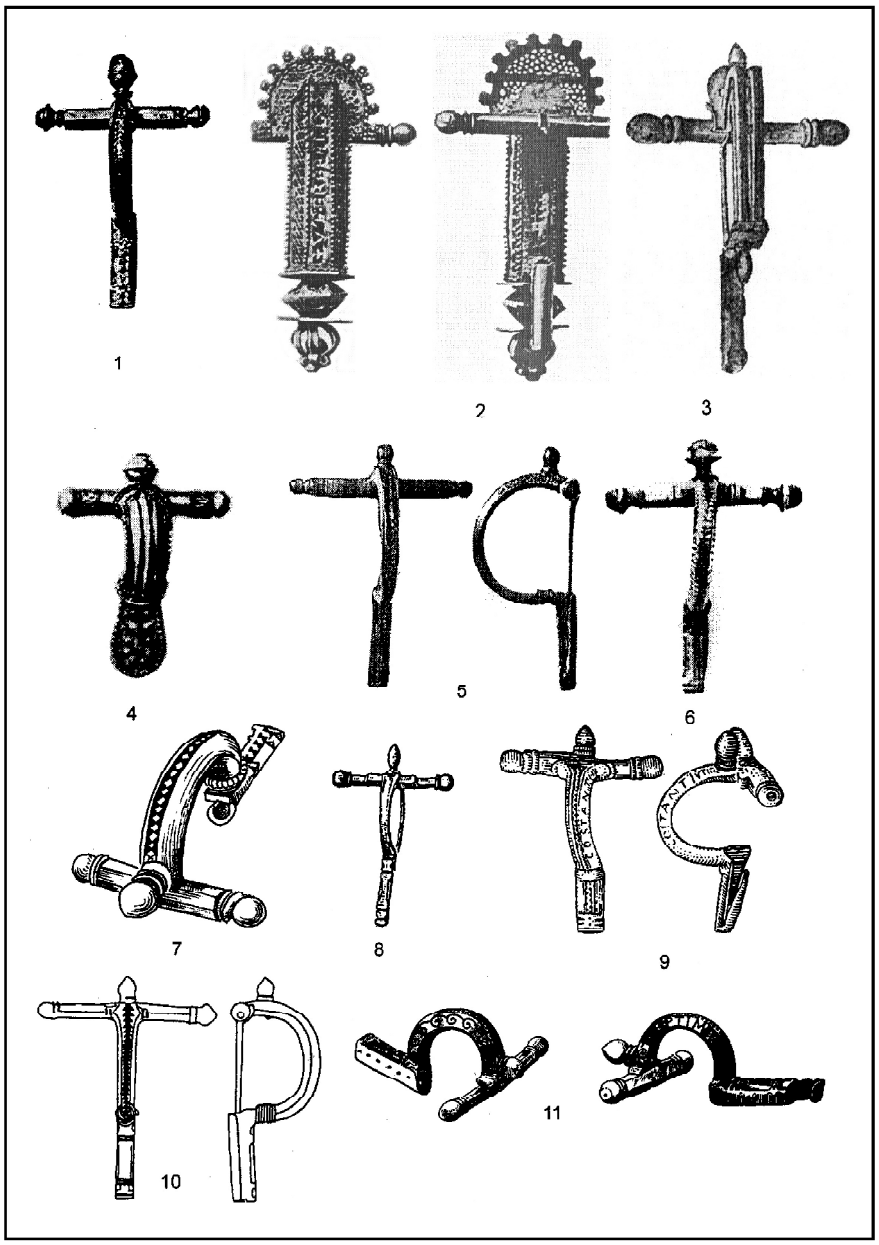


Рис.6. Шарнирные фибулы первого типа по Келлеру-Прёттелю: 1 — Шалашка; 2 — Островяны; 3 — Херсонес, 1892; 4 — Островяны; 5 — Атель; 6 — Николаево; 7 — Силистрия; 8 — Дура-Европос; 9 — Вена; 10 — Проште Мичь; 11 — Лачи; (по Амброз 1966; Buchem, 1973; Pröttel,1991).

сословие, занимавшего пост префекта алы (praefectus equitum alae) одного из легионов, возможно XXX, стоящего в Vetera Ulpia Trajana (рис. 5 - 10). Это погребение не является уникальным для Свободной Германии по набору офицерских знаков отличий и наград, полученных на службе в римских легионах. В том же могильнике Лейна в погребении 1 1926 года рядом с юношей 25-30 лет положены два серебряных наконечника длиной 6 см, серебряные шпоры и серебряная фибула (Schulz 1953: 17-18, Taf.IX-X). В соседнем погребении 3 1926 года у правой руки лежали 2 серебряных наконечника длиной 12,5 и 11,5 см, у ног серебряные шпоры. В погребении 1834 года найдены 2 серебряных наконечника, серебряные шпоры и серебряная фибула (Schulz 1953: 32-34, XXXI). На «княжеском» могильнике Хасслебен в погребении 4 зафиксированы 3 серебряных наконечника, серебряная пряжка, серебряная позолоченная шайба от фибулы Макепранг IX (Schmidt 1982, DDR10, 3, 5-8). В качестве обола Харона здесь был использован ауреус Викторина. В погребении Флюрштедт этого же горизонта Лейна—Хасслебен с ауреусом Галлиена в качестве обола Харона наряду с золотой гривной лежали 3 серебряных наконечника и 2 серебряные фибулы (Schmidt 1982, DDR 7, 2-5). Особняком стоит только погребение 1 могильника Эмерслебен, в котором были найдены 3 серебряных наконечника длиной 14,2-14,8см, один позолоченный бронзовый наконечник длиной 14,5 см и серебряная позолоченная фибула (Schmidt 1982, DDR 5, 3 (3): 12,14,15). В данном случае речь может идти как о 2 последовательных наградах (3+1), так и награде очень высокого ран-

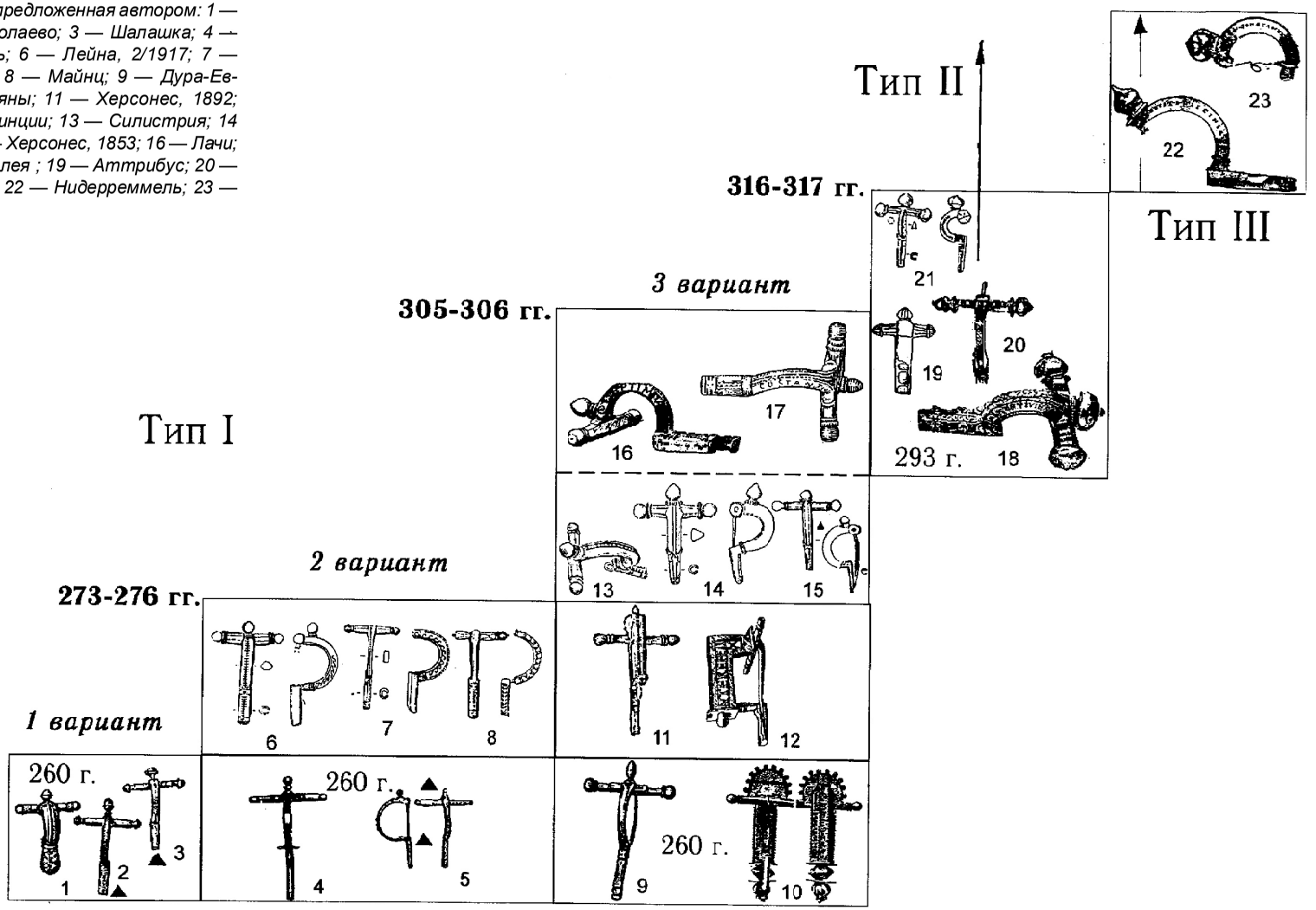


Рис. 7. Типология и хронология фибул 1—3 типов по Келлеру-Прёттелю, предложенная автором: 1 — Островяны; 2 — Николаево; 3 — Шалашка; 4 — Чаушево; 5 — Ательь; 6 — Лейна, 2/1917; 7 — Херсонес, №3136/25; 8 — Майнц; 9 — Дура-Европос; 10 — Островяны; 11 — Херсонес, 1892; 12 — Дунайские провинции; 13 — Силистрия; 14 — Лейна, 5/1926; 15 — Херсонес, 1853; 16 — Лачи; 17 — Вена; 18 — Аквилея ; 19 — Аттрибус; 20 — Турин; 21 — Таранес; 22 — Нидерреммель; 23 — Лувр.

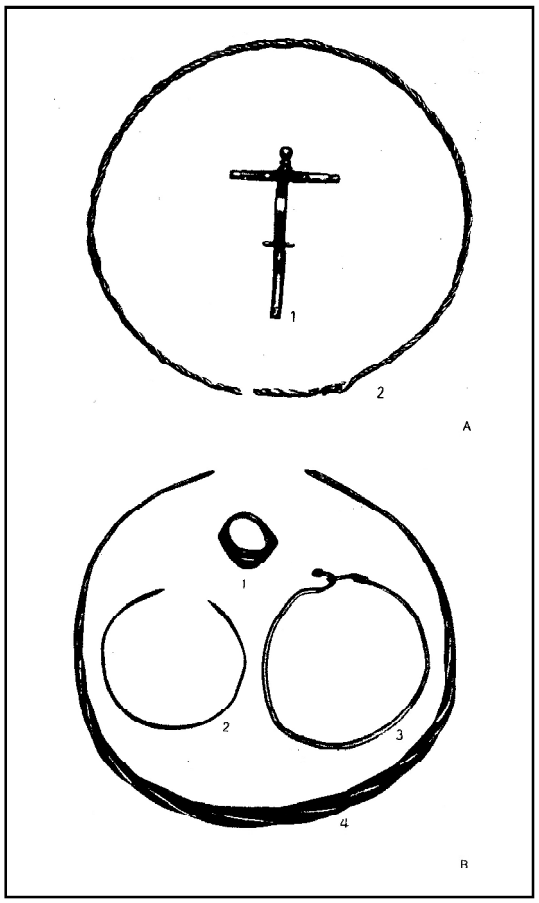


Рис. 8. Знаки отличия из клада Чаушево в Болгарии (по Fischer, 1988)

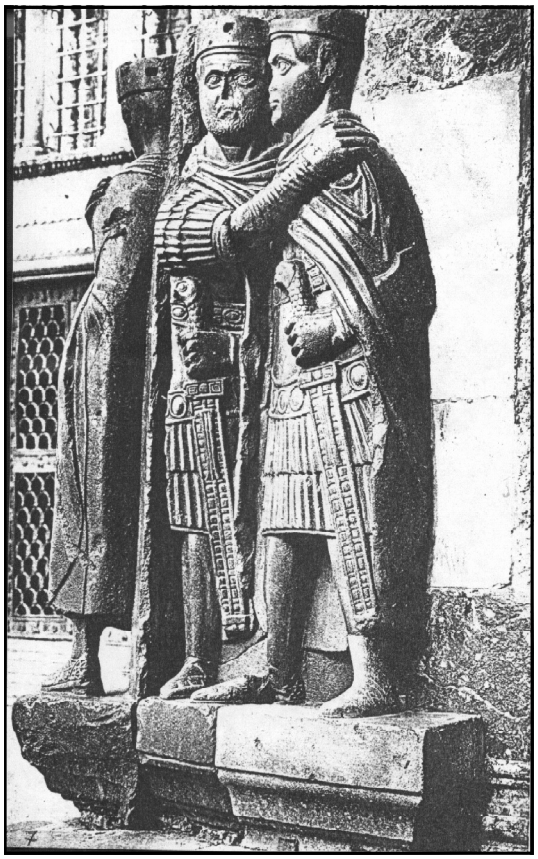


Рис.10. Статуи тетрархов в церкви святого Марка в Венеции — Диоклетиан и Максимиан (по Delbrueck, 1935, Fig. 31).

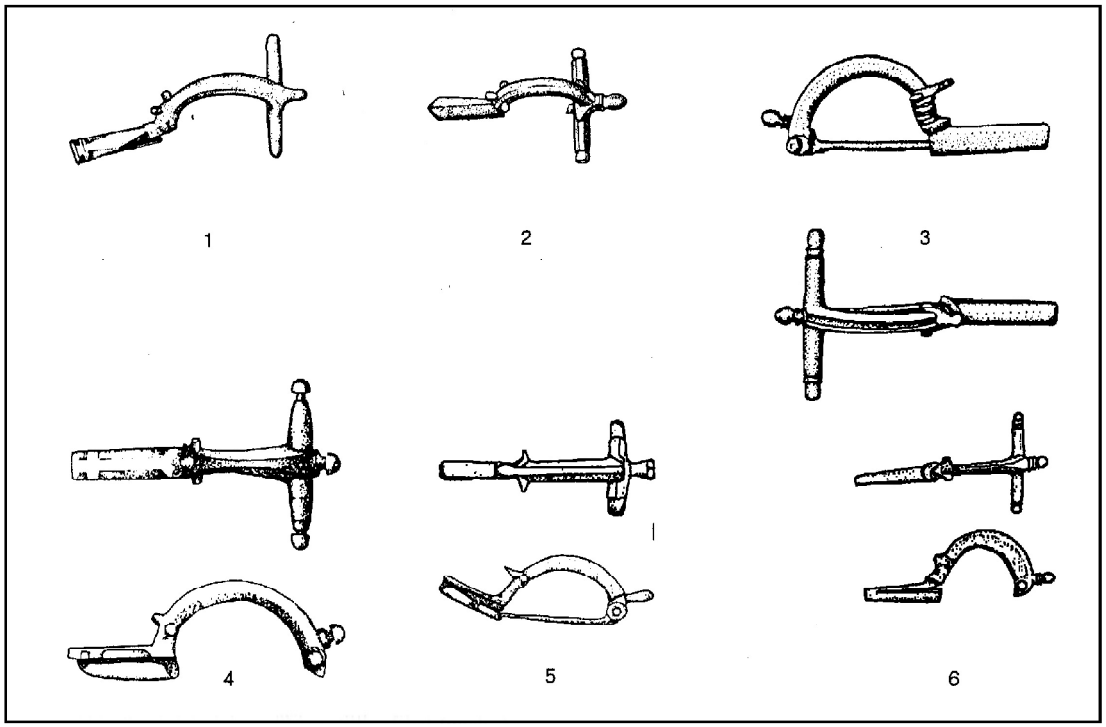


Рис.9. Солдатские шарнирные фибулы (по Böhme, 1972, Abb. 3)

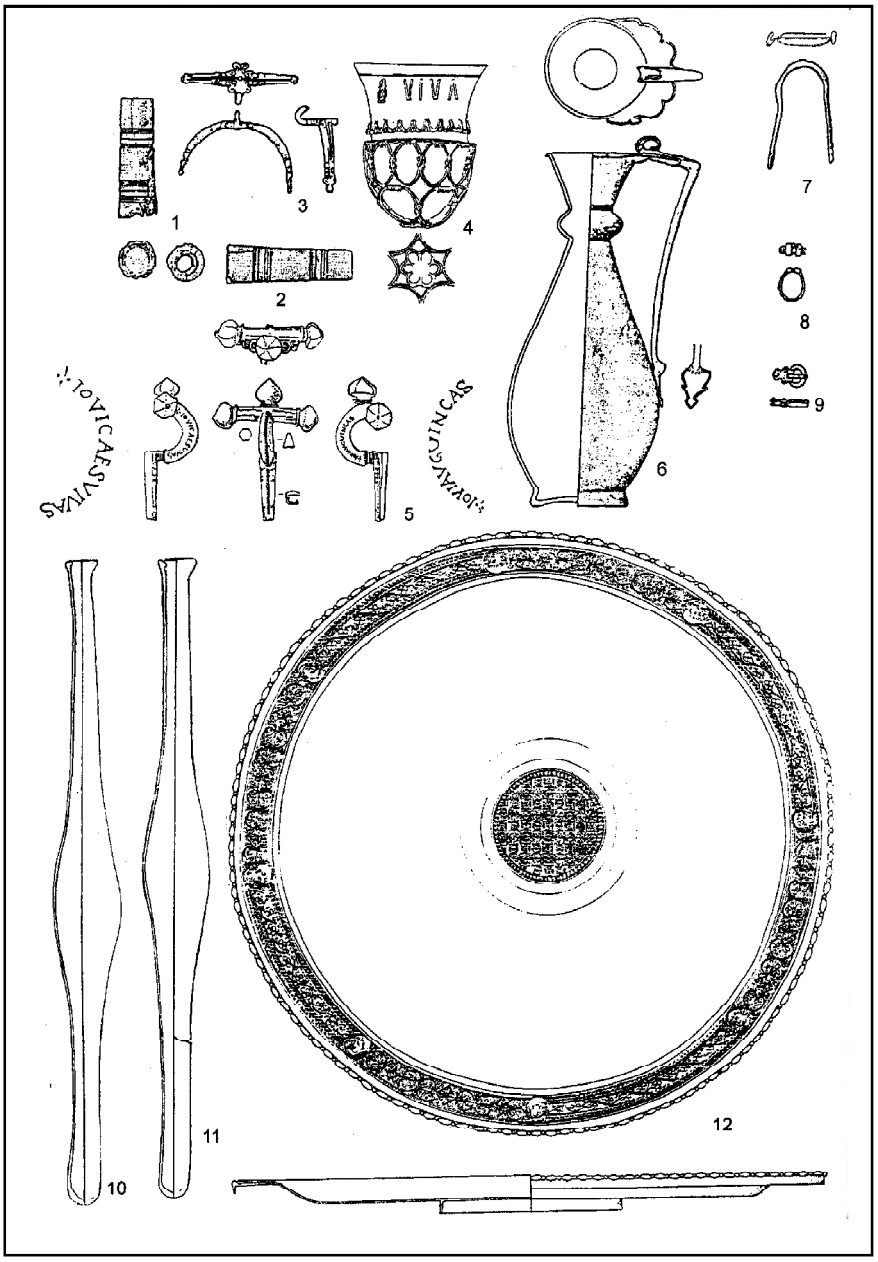


Рис.11. Комплекс из Таранеса в Югославии (по Ivanovski, 1987).

га, предназначенной для трибунов и легатов легиона (Steiner 1906: 86-88).

Мы можем сегодня выдвинуть следующую гипотезу: исходя из приведенного выше анализа достаточно однородных по составу категорий инвентаря «княжеских» погребений Средней Германии, речь может идти о захоронениях знатных германцев, возведенных за свои заслуги во всадническое сословие и занимавших посты примипилов или префектов когорт и ал в римских легионах. Наличие в инвентаре этих богатых варварских погребений золотых перстней также может говорить в пользу этой гипотезы (рис. 3 — 2). Дело в том, что внешними знаками отличия всадников как сословия, помимо туники с узкой красной полосой на груди, был золотой перстень (anulus aureus) на правой руке (Санчурский 1995: 58). Также употребление в погребальном обряде греческого обычая «обола Харона» было распространено в эпоху Поздней Римской Империи только у лиц высокого сана (Санчурский 1995: 132). Получение высоких должностей в армии даже очень знатными варварами (principes?) могло произойти, скорее всего, после военных реформ Галлиена. В 260-262 гг. им была создана новая военная знать в виде офицерского корпуса протекторов — императорских телохранителей, из которых вербовались высшие чиновники и армейские командиры. Из иллирийцев, мавров, сирийцев и германцев были созданы крупные части отборной кавалерии. Возможно, такими частями или их подразделениями могли командовать и офицеры-германцы. Об усиленном привлечении германцев в римскую армию нам известно при императоре Аврелиане, когда в 270 году, после сво-

его поражения, вандалы должны были дать 2000 всадников для постоянной службы (Ковалев 1986: 650). У Флавия Вописка в биографии Аврелиана есть, как нам кажется, примечательный факт, относящийся еще к его службе заместителем полководца Ульпия Кринита при императоре Валериане. При перечислении легионов и вспомогательных войск в своем письме Валериан упоминает особо, как важных лиц: Гариомунда, Гальдагата, Гильдомунда и Кариовиска, которые будут рядом с Аврелианом (SHA, Aurelianus, XI, 5). Мы полагаем, что речь, скорее всего, может идти об известных Аврелиану и Валериану знатных германцах — начальниках отдельных подразделений римской армии. Лицам всаднического сословия из западных провинций и Италии при Септимии Севере (Domaczewski 1908: 133-134), и сенаторского сословия при Галлиене, была запрещена военная служба и соответственно затруднена их административная карьера (Ковалев 1986: 644). Поэтому варвары, дослужившиеся до офицерских должностей, могли получить знаки всаднического сословия и пополнить корпус протекторов, либо знатные варвары могли быть сразу приняты в штат телохранителей императора.

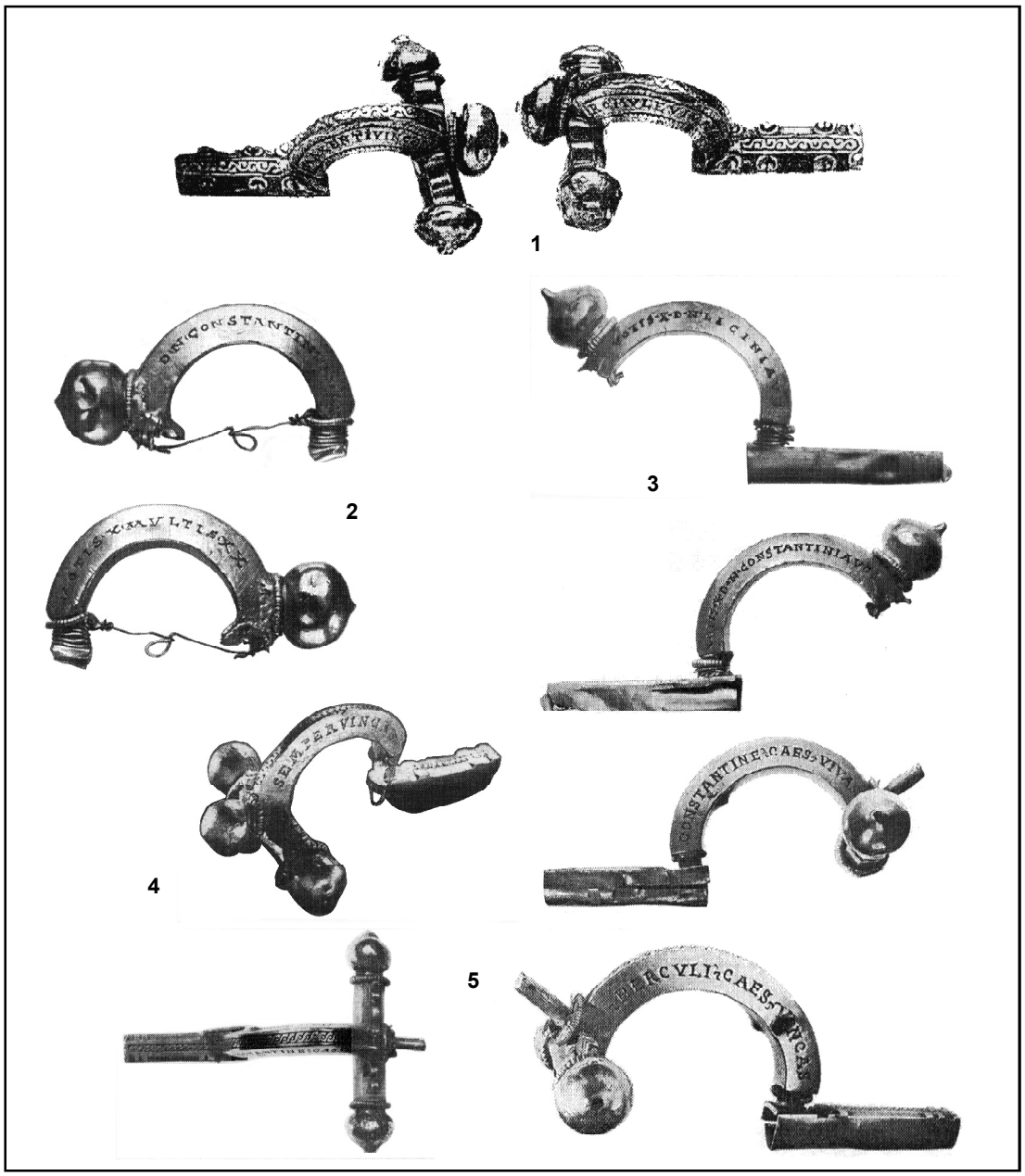


Рис.12 Золотые императорские фибулы второго — третьего типов с почетными надписями на сторонах дужки (по Noll, 1974): 1 — Аквилея (MAXENTI VINCAS — ROMYLE VIVAS — 308/309 гг. н. э.); 2 — Лувр (DN CONSTANTINI AVG — VOTIS X MYLTIS XX — 325/326 гг.н.э.); 3 — Нидерреммель (VOTIS X DN CONSTANTIN AVG — VOTIS X DN LICINI AVG-316г.н.э.); 4 — Нью-Йорк (HERCYLI AYGYSTE -SEMPER VINCAS — 306/307 гг.н.э.); 5 — Турин (CONSTANTINE CAES VIVAS — HERCYLI CAES VINCAS — 306/307 гг. н. э.)

4. Клады и погребения: terminus ante quem и terminus post quem?

После этого небольшого отступления, уточнившего, как мы полагаем, статус похороненного в Саксонии офицера римской армии, вернемся к проблемам хронологии рассматриваемых выше фибул. Нам кажется, что проведенный Й. Вернером сравнительный анализ только декора дужек фибул является слабым аргументом, чтобы только на его основании считать погребения из Аквинкума и Лейны одновременными. Нам остались неизвестны формы кнопок и декор ножки будапештской фибулы (рис. 2-6), признаки, очень существенные для определения ее типа, и возможно, мы сравниваем фибулы разных типов ввиду сходства орнамента. Поэтому попробуем провести дополнительный анализ фибул с круглыми или яйцевидными кнопками, используя работы Г. Беренса 1919 года, Х. ван Бухема 1966 и 1973 гг., А.К.Амброза 1966 года, Р. Нолля 1974 года, Е. Тота 1980 года, Ф. М. Прёттеля 1991 года, а также обширный материал, собранный в статье 1989 года Й. Вернером.

Фибула из могильника Лейна с 6-угольной в сечении дужкой, короткой ножкой, с круглыми, «еще не оформленными» луковичными кнопками (G.Behrens 1919: 12) и 8–угольным в сечении шарниром относится к типу А по Г. Беренсу, I группе по М. Н. Беляеву, типу IA по Е. Келлеру, типу Николаево или группе II по Х. ван Бухему, типу I по Ф. М. Прёттелю и 2 типу по А. К. Амброзу (рис. 2-4; 7-6). Время бытования этого типа фибул по Х. ван Бухему (240-320 гг.) достаточно существенно отличается от дат, предлагаемых Е. Келлером (290-320 гг.) и Ф. М. Прёттелем (280-320 гг).

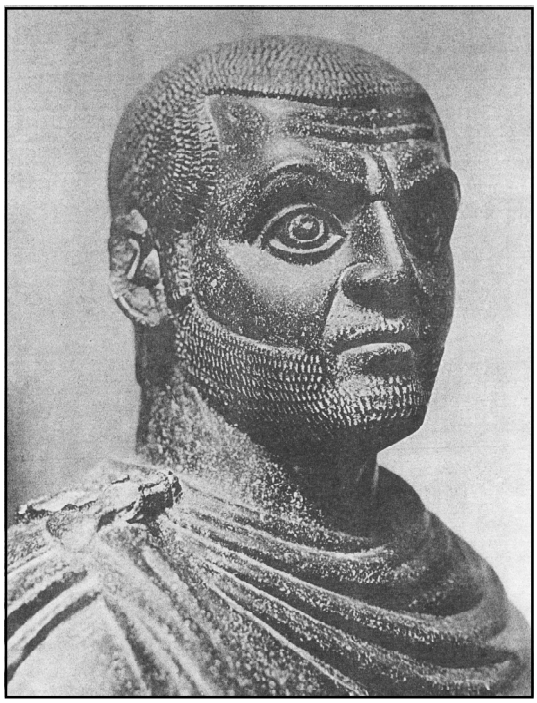


Рис. 13. Бюст Галерия из Аттрибуса с императорской фибулой на правом плече (Delbrueck, 1935, Taf. 39).

Это расхождение объясняется тем, что Х. ван Бухем опирался в своей хронологии на находки этого типа фибул в кладе Николаево в Болгарии (рис. 6: 1; 7-2), где из 933 монет самая поздняя — монета Филиппа Араба (244-249 гг.), на находки 2 золотых фибул в погребении 1 из Островян в Словакии (рис. 6: 2, 4; 7: 1, 10) с ауреусом Эреннии Этрусциллы, жены императора Деция (249-251 гг.) и находку такой фибулы в погр.2 1917 г. могильника Лейна (рис. 2-4; 7: 6) с монетой Тетрика (268-273 гг.) (van Buchem 1973: 145-146, Abb. 2-4).

Э. Келлер привлекал в своей работе только закрытые комплексы из римских провинций и не использовал клады и находки из погребений, где неизвестен весь спектр монет. Он исходил при отборе используемых в работе комплексов из принципа, что клады образуются по другим законам, чем погребальный инвентарь, а находки кладов (Ленгерих) и погребений (Лейна) из Свободной Германии привлекать к датировке фибул из римских провинций неправомочно, так как неясно, образуют ли римские и германские комплексы синхронные горизонты находок (Keller 1971: 32). Хронология его типа 1 построена на восьми комплексах из Паннонии и одном комплексе из Италии, причем лишь 2 комплекса могут датироваться до монетной реформы 293 года и начала чеканки монет первой тетрархии (Keller 1971: 33, № 1, 2).

Ф. М. Прёттель соединил в своей работе оба подхода своих предшественников и использовал при датировке римских фибул материалы кладов, погребения с монетами, как из римских провинций, так и из Свободной Германии. Он пополнил список Е. Келлера еще 5 римскими комплексами, из которых погребения R/170 из Печа и погребение А из Буды содержат монеты соответственно 283/285 и 287 гг., т. е. до времени первой тетрархии (Pröttel 1991: 350, № 1, 5). Ф. М. Прёттель указал на возможность привлечения к датировке римских фибул с луковичными кнопками кладов с подобными фибулами из Николаево (Болгария) с конечной монетой Филиппа Араба (244-249 гг.) и Шалашки (Венгрия) (рис. 6: 6; 7: 3) с последней монетой Галлиена (259-260 гг.). Он также обратил внимание на находки позднелимесных шарнирных фибул из слоя разрушения Дура-Европос и клада из Ателя в Семиградье, содержащего 375 серебряных монет (рис. 6: 5, 8; 7: 5, 9). Известно, что евфратские укрепления были разрушены в 256 году, а самая поздняя монета клада чеканена в 244 году (Pröttel 1991: 352, Anm. 48). Ф. М. Прёттель

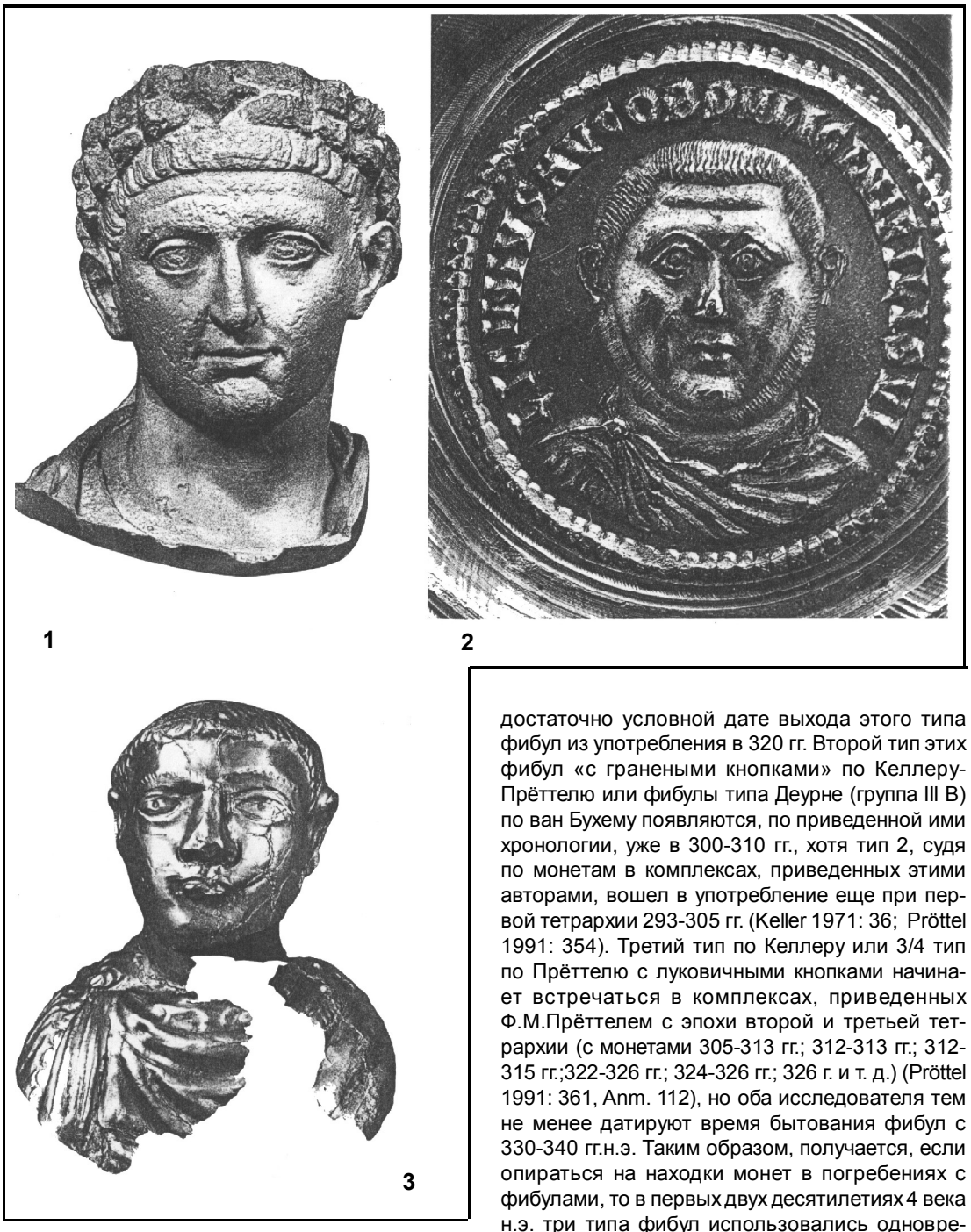


Рис. 14. Изображения Константина (1) и Лициния (2,3) (по Garbsch, Overbeck, 1989, Abb.1-5).

также увеличил список варварских комплексов с такими фибулами, в которых были встречены монеты 238-244 гг. и 268-270 гг. Считая, на основании приведенных выше комплексов, что появление типа 1 можно относить уже как минимум к 260 гг., автор, тем не менее, датирует тип по максимуму его появления «около 300, т. е. примерно 280-320 гг.» (Pröttel 1991: 352-353).

Как можно видеть из краткого историографического обзора основных работ, посвященных данной проблематике, все авторы сходятся на достаточно условной дате выхода этого типа фибул из употребления в 320 гг. Второй тип этих фибул «с гранеными кнопками» по Келлеру-Прёттелю или фибулы типа Деурне (группа III B) по ван Бухему появляются, по приведенной ими хронологии, уже в 300-310 гг., хотя тип 2, судя по монетам в комплексах, приведенных этими авторами, вошел в употребление еще при первой тетрархии 293-305 гг. (Keller 1971: 36; Pröttel 1991: 354). Третий тип по Келлеру или 3/4 тип по Прёттелю с луковичными кнопками начинает встречаться в комплексах, приведенных Ф.М.Прёттелем с эпохи второй и третьей тетрархии (с монетами 305-313 гг.; 312-313 гг.; 312-315 гг.;322-326 гг.; 324-326 гг.; 326 г. и т. д.) (Pröttel 1991: 361, Anm. 112), но оба исследователя тем не менее датируют время бытования фибул с 330-340 гг.н.э. Таким образом, получается, если опираться на находки монет в погребениях с фибулами, то в первых двух десятилетиях 4 века н.э. три типа фибул использовались одновременно в мужском служебном и официальном костюме, а не сменялись последовательно каждые 20 лет, как можно это наблюдать по схемам Келлера—Прёттеля (Keller 1971, Abb. 4; Pröttel 1991, Abb. 11).

На основании приведенных выше фактов попробуем уточнить даты появления этих типов фибул и соответственно определить время бытования фибул типа Лейна 2,1917 г., к которому относится серебряная фибула из Херсонеса. При этом мы хотели бы принять в своей работе несколько иные методические принципы для определения времени бытования фибул, чем

предложенные Келлером-Прёттелем. Двадцать лет назад венгерский археолог Эндрю Тот подытожил в отношении хронологии таких фибул свои наблюдения:

1) монеты в погребениях могут показывать приблизительно как terminus post quem лишь время совершения самого погребения, но не фибул и другого инвентаря, который может быть изготовлен на несколько десятилетий раньше.

2) Самая поздняя монета в кладах, где встречены фибулы и другие предметы, наоборот, покажет дату зарывания этого клада и будет для него terminus ante quem (Toth 1980: 148-149).

Таким образом, двойная датировка по находкам в кладах и погребениях является более реальной для оценки времени бытования типов фибул. Находки фибул в монетных кладах фиксируют по последней монете в кладе время их использования с момента первого появления.

5. Фибулы эпохи крушения Римского лимеса

Нам кажется, что в каталог фибул 1 типа по Келлеру-Прёттелю, которые можно считать именно прототипами фибул с луковичными кнопками, включены морфологически разные фибулы. Исследователи используют достаточно много различных признаков для выделения первого, раннего типа. В частности, в ранний тип включены фибулы с такими признаками: с круглыми, яйцевидными и биконическими кнопками, с уступом и без уступа на шарнире, с гладким и многогранным шарниром, с украшенной и неукрашенной дужкой. Мы предлагаем, с сохранением основных ведущих признаков для выделения этого типа (небольшие гладкие кнопки, короткая узкая ножка), разделить эти фибулы на разные варианты на основании формы кнопок и декора: 1 вариант — с биконическими кнопками, с кольцевым перехватом; 2 вариант — с тремя круглыми кнопками, 3 вариант — с центральными шлемовидными кнопками, и учитывать при этом приемы декора на дужке: А) — типа «бегущей волны», Б) — треугольников, В) — орнамента в виде «бегущих собак» («laufende Hund» — Werner 1989: 130), Г) — с надписями и Д) — ромбов.

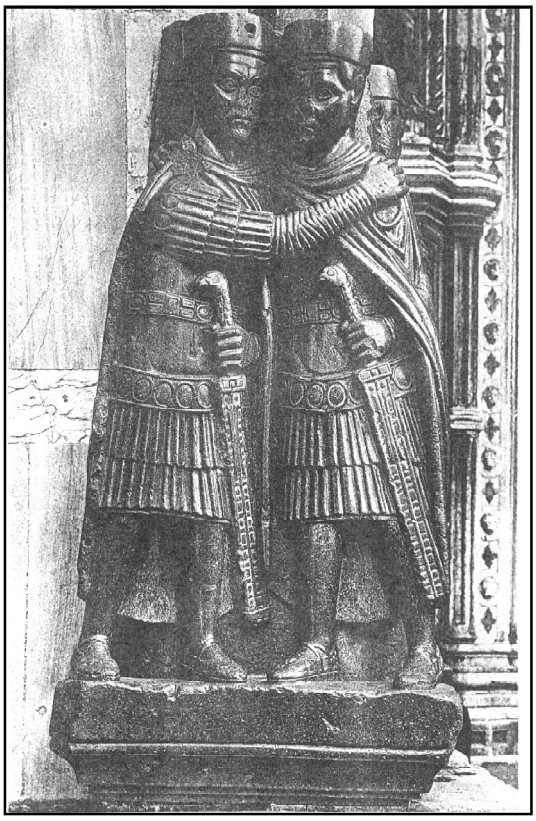


Рис. 15. Статуя тетрархов в церкви святого Марка в Венеции. Августы второй тетрархии — Констанций I и Галерий (по Delbrueck, 1935, Taf. 32)

Первый, самый ранний вариант составляют серебряные фибулы с центральными биконическими кнопками с кольцевым перехватом из кладов Николаево (посл.монета /п.м./ — 244-249 гг.), Шалашки (п.м. — 259-260гг) и золотая застежка из Островян (249-251 гг.) (рис. 7: 1-3). Мы не знаем фибул этого варианта, датированных после разрушения лимеса. Скорее всего, эти фибулы больше не производились после 259/260 гг. н.э. и являлись в более позднее время архаизмом.

Ко второму варианту фибул с тремя круглыми кнопками относятся фибулы из клада Чаушево (рис. 7 — 4; 8 — 1) в Болгарии (п.м. — 238-244 гг.), клада из Ателя (п.м. — 244г.) (рис. 6 — 5; 7 — 5), погребения Барбоши (рис. 6 — 7) в Семиградье (268-270 гг.), фибулы из Майнца (рис. 2 — 2;7 — 7), Херсонеса (№ 3136/25 — рис. 2-1; 7-8), и конечно, из погр.2 1917 года (270-273 гг.) могильника Лейна (рис. 1: 4-8). Фибула из клада Чаушево (рис. 8 — 1) послужила для ван Бухема основой при выделении самой ранней группы фибул-прототипов, которую он датировал между 200 и 250 гг. Отличительной особенностью фибул типа Чаушево является наличие 2-3 кнопок на нижней части дужки, признак, который уже не встречается в горизонтах находок после разрушения лимеса в 259/260 гг. (рис. 9). В качестве декора употребляется гравированный черненый орнамент типа А и В: в виде бегущей волны и «бегущих собак» на боковых сторонах, и типа Б- на спинке дужки. Время изготовления этого варианта, судя по находкам из кладов, также можно отнести к периоду до разрушения лимеса, а время бытования, вероятно, можно продлить до 70-80 гг. III в.н.э., т.е. до начала эпохи Диоклетиана и первой тетрархии.

К третьему варианту с боковыми круглыми и шлемовидной центральной кнопкой относят-

Рис. 16. Септимий Север с сыновьями Каракаллой, Гетой и женой Юлией Домной (по Delbrueck, 1935, Taf. 81)

ся бронзовые фибула из слоя разрушения Дура-Европос (рис. 7 — 9), т. е. бывшая в обращении до 256 г., бронзовая позолоченная из Лейны, погр. 5 1926 г. (рис. 7 — 14), золотая фибула из погребения в Силистрии (Гетов 1985; рис. 7 — 13), датированная монетой Проба (276-282 гг.), бронзовая из раскопок А. С. Уварова в 1853 году Херсонеса (рис. 2-3; 7-15), серебряная из кургана Лачи в Албании с надписью «SEPTIMIV.» (рис. 6 — 11; 7 — 16), датированная по последней монете эпохой Диоклетиана (284-305 гг. н.э.) и золотая фибула из Вены с надписью «CONSTANTI VIVAS» (рис. 6 — 9; 7 — 17), которую можно отнести ко времени Констанция Хлора (293-306 гг.). На основании этих же признаков формы кнопок мы отнесли серебряную фибулу из слоя раскопок Херсонеса 1892 года (Косцюшко-Валюжинич 1894: 123, № 75; рис. 6-3; 7-11) и вторую золотую фибулу из погребения 1 Островян к тому же 3 варианту (рис. 6: 2; 7-10). У фибул третьего варианта используется черненый орнамент по верхнему краю дужки в виде маленьких треугольников типа Б и ромбов типа Д, а по боковым сторонам типа В в виде «бегущих собак». В декоре этих фибул также применяются зерненые кольца на местах крепления кнопок. Этот вариант фибул, скорее всего, не изготавливался уже при второй-третьей тетрархии, так как нам не известно ни одного комплекса с монетами после 306 года н.э., в котором встречены фибулы с боковыми круглыми кнопками и гладкой центральной шлемовидной кнопкой.

Таким образом, фибулы 1 типа по Келлеру-Прёттелю или группы II по ван Бухему разделились на 3 варианта, имеющие различное время бытования. Рассмотренные фибулы всех вариантов восходят к римским шарнирным легионным фибулам первой половины III века н.э., которые найдены во всех кастеллах дунайского и рейнского лимеса, разрушенных либо в 233 году, либо в 259-260 гг. Можно резюмировать, что, скорее всего, фибулы нашего первого и второго варианта (с биконическими кнопками с кольцевым перехватом и тремя круглыми кнопками) больше не изготавливались после 260 г.н.э., как и многие типы бронзовой и стеклянной посуды рейнских и дунайских мастерских (terra sigillata галльских мастерских перестала выпускаться еще в 233-235 гг. н.э. (Eggers 1936: 401; 1955: Abb.10). Клады фиксируют время активного использования ранних Т-образных шарнирных фибул еще в 238-244 годах, т.е. время их изготовления можно отнести к первым десятилетиям III века. Астрид Бёме полагает, что «солдат-

ские» Т-образные шарнирные фибулы появились уже в слоях кастеллов, построенных или перестроенных в 193 году (рис. 9). Использование фибул 1 и 2 варианта после 260 г. можно рассматривать как анахронизм, как и римский импорт, попавший в погребения Свободной Германии. Лишь третий вариант с центральной шлемовидной кнопкой послужил прототипом для появления фибул с граненными и луковидными кнопками. Судя по их отсутствию в кладах первой половины III века н.э. и находкам только в слоях разрушения 250-260 гг., фибулы выделенного нами третьего варианта типологически развились из фибул второго варианта, и появились лишь в середине — второй половине III века н.э., существуя до 305-306 гг. Несомненно, что золотая «императорская» фибула из Шимлеу Сильваней, украшенная на дужке вставками драгоценных камней (рис. 17), относится к нашему 3 варианту первого типа шарнирных фибул, и находки золотых медальонов тетрархов в этом кладе подтверждают предложенную нами дату (Soupault-Becquelin 1997, Fig.1-1). Вероятно, эти типы изделий эпохи тетрархов составляют единый комплекс украшений, попавших в клад более позднего времени.

6. Фибулы эпохи тетрархов

Фибулы 2 типа по Келлеру-Прёттелю или группы III по ван Бухему с граненными шлемовидными кнопками появляются только с эпохи тетрархов и фиксируют появление новой моды. Найдено очень значительное количество драгоценных золотых и позолоченных серебряных и бронзовых фибул с парадными надписями в честь имперских праздников: возведение в ранг цезаря и августа, юбилеи царствований, заключение мира между воюющими сторонами. К этому типу можно отнести бронзовую позолоченную фибулу из Пармы с надписями серебром по сторонам дужки «IOVIORUM» и «EHRCYLIORY» (Noll 1974: B 1, Abb. 10-12). Эти титулы в качестве сыновей Юпитера и Геркулеса Диоклетиан и Максимиан приняли после 293 года (рис. 10), и фибула была изготовлена соответственно между 293 и 305 годами. Она имеет уже длинные боковые шлемовидные фасетированные кнопки. На фибуле со вставками драгоценных камней (рис. 7-19), украшавшей правое плечо Галерия (293-311 гг.) на скульптуре из Атрибиса в Каире (рис. 13), уже видны четкие граненные боковые кнопки и граненая шлемовидная центральная. На золотой фибуле из Таранеса (рис. 11 - 5) с надписями в честь сыновей Юпитера: «IOVI AVG VINCAS» -Августа Диоклетиана и «IOVI CAES VIVAS» — Цезаря (Галерия?) 293-305 гг. также видны граненые кнопки (рис. 7: 21). Уже у золотой фибулы из Вены с надписью о возведении в ранг цезаря Ромула, сына Максенция 308-309 гг. (рис. 7: 18; 12-1), у золотой фибулы из Турина с надписью в честь возведения в ранг цезарей Константина и Максимиана и женитьбы на дочери Максимиана Фаусте 306-307 гг. (7: 20; 12-5), присутствуют граненые или фасетированные кнопки с маленьким выступом (рис. 7: 20) — прообразом луковидных кнопок, украшавших следующий третий тип фибул (Noll 1974: Abb. 1-18). В эти же годы в погребения попадают и серебряные и бронзовые фибулы III типа, вероятно, обычная деталь служебного костюма IV века н. э. Комплексы с монетами диапазона 305-326 гг. (см. выше), фиксируют начало их изготовления в римских мастерских. Первые точно датированные императорские фибулы с настоящими луковичными кнопками — третьего типа (из Niederremmel и Лувра) появляются в 316-317 гг. в честь мира между Константином и Лицинием (Рис 14 — 1-3) и их десятилетнего возведения на трон (рис. 7-22,23; 12-2,3).

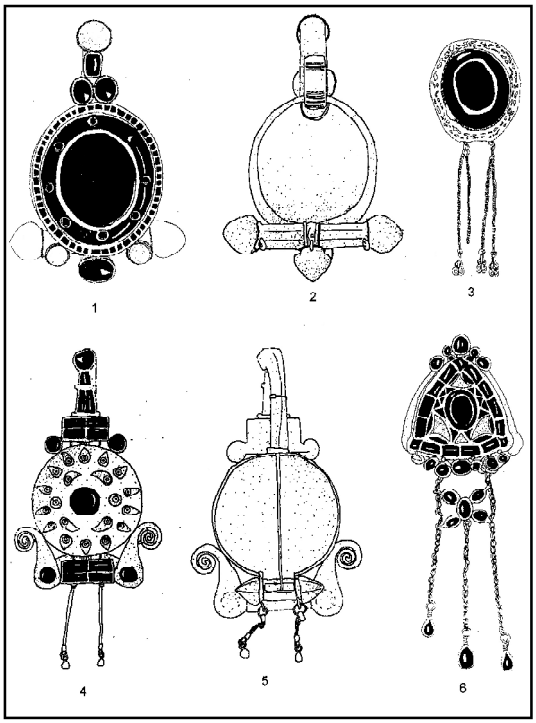


Рис. 17. Золотые «императорские» фибулы из «княжеских» погребений и кладов Барбарикума. (по Soupault-Besquelin, 1997, Fig.1-2): 1 — Шимлей Сильваней (Szylagy — Somlyo); 2 — Островяны (Ozstropataka); 3 — Петросса (Petroassa); 4 — Ребрин (Rebrin).

Резюмируя вышеизложенное, можно сказать, что только фибулы нашего третьего варианта 1 типа Келлера-Прёттеля, возможно, еще производились после крушения лимеса и в начале эпохи 2 тетрархии, при августах Галерии и Констанции (рис. 15) они выходят из моды.

Фибулы 2 типа по Келлеру-Прёттелю только

начинают производиться в мастерских с эпохи первой тетрархии (293—305 гг.) и используются еще достаточно долго в течение IV в.н.э (см., например, золотую фибулу с надписью «IVLIANUS» из Вены). На основании маленьких граненых кнопок без выступа мы бы отнесли золотую шарнирную фибулу из Петроссы (рис. 17 — 3) к ранним «императорским» фибулам 2 типа по Келлеру-Прёттелю, датируя ее, начиная с эпохи первой тетрархии.

Фибулы 3 типа по Келлеру—Прёттелю начинают использоваться уже с эпохи второй–третьей тетрархии (305—307 гг.) и бытуют также очень долго в течение IV в.н.э. Первые, датированные одним годом, императорские золотые фибулы этого типа фиксируют время их использования как почетных даров императорского двора в 316—317 гг. н. э.

7. От центуриона до трибуна легиона

Таким образом, серебряная фибула из Херсонеса (№31336-25) относится скорее всего ко 2 варианту первого типа шарнирных фибул (типа Лейна 2, 1917), которые развиваясь из легионных Т-образных фибул типа Чаушево, скорее всего, перестают производиться в мастерских в связи с разрушением лимеса и полностью выходят из употребления где-то в течение 60-80-х годов третьего века н.э. Херсонесская фибула по материалу и характеру орнаментации дужки принадлежит к особой группе фибул, которые можно рассматривать как знаки офицерского ранга. После военных реформ Септимия Севера, завершенных Каракаллой (рис. 16) в 212-213 годах, в армии появились новые знаки отличия, увеличилось число наград, причем тип металла для наград строго нормировался по чинам и рангам, и серебряные элементы амуниции: шарнирные фибулы и пояса cingulum militari — принадлежали офицерам (Martin-Kilcher 1986: 168). Требеллий Поллион приводит в биографии императора Клавдия письмо императора Валериана по поводу назначения еще молодого Клавдия трибуном пятого Марсова легиона. В этом послании, направленном прокуратору Сирии Зосимиону, упомянут один примечательный для нашей темы факт. Речь идет о содержании Клавдия как трибуна из императорской казны и выдаче согласно его рангу продовольствия, фуража, штата прислуги и амуниции, среди которой упомянуты две серебряные позолоченные застежки и серебряный позолоченный пояс (SHA, Claudius, XIV, 5). Таким образом, если можно доверять сообщениям историков Августов, речь может идти на основании находок серебряных позолоченных фибул в комплексах о погребениях офицеров высокого ранга римской армии эпохи поздней Империи (Heurgon 1958). После 213 года все свободные неиталики получили права римского гражданства и могли теперь дослужиться до высших офицерских чинов: префекта когорты или эскадрона и даже трибуна легиона (Ковалев 1986: 609). Исходя из этого, серебряную фибулу из Херсонеса, украшенную черненым орнаментом, возможно, мог носить один из старших офицерских чинов дислоцированных в Херсонесе вексилляций V Македонского, XI Клавдиева и I Италийского мезийских легионов (рис. 5- 3-5).

ЛИТЕРАТУРА

Амброз А.К. 1966. Фибулы юга европейской части СССР. // САИ. Выпуск Д1-30.

Беляев М.Н. 1929. Очерки по византийской археологии. Фибула в Византии. «Seminarium Kondakovianum», v. III. Prague.

Гетов Л. 1985. Антична находка от Дуросторум. София.

Зубарь В.М. 1998. Северный Понт и Римская империя. Киев.

Ковалев С. И. 1986. История Рима. Ленинград.

Косцюшко-Валюжинич К.К. 1894. Перечень древностей, найденных в 1892 году в могильнике у южной городской стены Херсонеса. // ОАК за 1892 год.

Berens G. 1919. Germanische Kriegergräber des 4. bis 7. Jahrhundert in Stadtischen Altertumsmuseum zu Mainz. In: Mainzer Zeitschrift, Jahrgang XIV, S. 1-17.

Behrens G. 1950. Römische Fibeln mit Inschrift. In: Reinecke-Festschrift, Mainz.

Böhme A. 1972. Die Fibeln der Kastelle Saalburg und Zugmantel. In: Saalburg-Jahrbuch, 29,S. 5-112.

Buchem van H. 1966. De gouden speld van Julianus. In: Numaga, 13, S. 49-104.

Buchem van H.J. 1973. Bemerkungen zu den Dreiknopffibeln des vierten Jahrhunderts. In: Bulletin Antieke Beschaving, Jaargang XLVIII, S. 142-157.

Büttner A. 1957. Untersuchungen über Ursprung und Entwicklung von Auszeichungen im römischen Heer. In: Bonner Jahrbücher, Hf. 157, S.127-180.

Delbrueck R. Katalog der Porhyrwerke.

Domaszewski A. von. 1908. Die Rangordnung des römischen Heeres. In: Bonner Jahrbücher, Hf.117, S. 1-278.

Eggers H.J. 1951.Der römische Import im freien Germanien. Hamburg.

Eggers H.J. 1955. Zur absoluten Chronologie der römischen Kaiserzeit im freien Germanien // Jahrbuch des Römisch-germanischen Zentralmuseums Mainz. Jhrg. 2.

Fischer T. 1988. Römische Offizierausrüstung im 3. Jahrhundert n. Chr. In: Bayerische Vorgeschichtsblätter, 53, S. 167-190.

Garbsch J, Overbeck B. 1989. Spätantike zwischen Heidentum und Christentum. Katalog. München.

Garbsch J. 1990. Ehrenzeichen. Kaiserfibel des Maxentius. In: Von Constantin zu Karl dem Grossen. Denkmäler des Heidentums und Christentums aus der Spätantike. Mainz, S. 18-19.

Grempler W., Der I. Fund von Sackrau, Breslau, 1887;

Grempler W., Der II. und III. Fund aus Sackrau, Breslau, 1888.

Helbig R. 1908. Zur Geschichte der hasta donatica. In: Abhandlungen der königlicschen Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, Nr. 3

Heurgon J. 1958. Le Trésor de Tenes. Paris.

Ivanovski M. 1987. The grave of a warrior from the period of Licinius i found at Taranes. In: Archaeologia Jugoslavica, 14, S. 81-90.

Keller E. 1971. Die spätromischen Grabfunde in Südbayern, München.

Keller E. 1974. Zur Chronologie der jüngerkaiserzeitlichen Grabfunde aus Südwestdeutschland und Nordbayern, Münchner Beiträge zur Vor- und Frühgeschichte, München, Bd.I, S.

Kovrig I. 1937. Die Haupttypen der kaiserzeitlichen Fibeln in Pannonien. Budapest.

Lund-Hansen U. 1987. Römischen Import im Norden, Kopenhagen.

Madyda-Legytko R. 1986. Die Gürtelschnalle der Römischen Kaiserzeit und der frühen Völkerwanderungszeit in mitteleuropäischen Barbaricum.//BAR Int. Ser. 360.

Martin-Kilcher S. 1985. Ein silbernes Schwertortband mit Niellodekor und weitere Militärfunde des 3. Jahrhunderts aus Augst. In: Jahresbericht aus Augst und Kaiseraugst, 5, S. 147 – 203.

Maxfield V. 1981. The military Decorations of the Roman Army.

Noll R. 1974. Eine goldene «Kaiserfibel» aus Niederremmel vom Jahre 316. In: Bonner Jahrbuch, 174

Pröttel P.M. 1991. Zur Chronologie der Zwiebelknopffibel. In: Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentralmuseums Mainz. Jhrg. 35, Th.1, S. 347-371.

Toth E. 1980. Römische Metallgegenstände mit Inschriften in Ungarischen Nationalmuseum: Instrumenta Domestica. In: Folia archaologica, XXXI, Budapest, S. 131-156.

Sarov O. 1995. Danceny und Leuna-Hassleben // La noblesse Romaine et Les Chiefs Barbares du III-e au VII-e siècle. Paris.

Schmidt B. 1982. Die münzdatierte Grabfunde der spätrömischen Kaiserzeit im Mittelelbe-Saale-Gebiet. In: Inventaria Archaeologia. DDR. Hf.1, (Bl.1-12), Berlin.

Schulz W. 1933. Das Fürstengrab und das Grabfeld von Hasleben // Römisch-germanischen Forschungen.

Schulz W. 1953. Leuna. Ein germanischer Bestattungssplatz der spatrömischen Kaiserzeit. Berlin.

Soupault-Besquelin V. 1997. Les fibules dites «imperiales». Attribution et perspectives de recherche. In: Antiquita nationale 29.

Steiner P. 1906. Dona militaria. In: Bonner Jahrbücher: Hf. 114-115, S. 1-99.

Werner J. 1936. Zur Herkunft und Zeitstellung der Hemmoorer Eimer und der Eimer mit gewellten Kanneluren. In: Bonner Jahrbücher, Hf. 140-141- S. 395-410.

Werner J. 1938. Die römischen Bronzegeschirrdepots des 3. Jahrhunderts und die mitteldeutsche Skelettgräbergruppe. In: Marburger Studien, hrsg. v. E. Sprockhoff, Darmstadt.

Werner J. 1973. Zur mitteldeutschen Skelettgräbergruppe Hassleben-Leuna, Festschrift für Walter Schlesinger, Bd. I, Köln-Wien, S. 1-30.

Werner J. 1989. Zu den römischen Mantelfibeln zweier Kriegergräber von Leuna, Jahresschrift von mitteldeutscher Vorgeschichte, Hf. 72, S. 121-134.

АРХЕОЛОГИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ

Шауб И.Ю.

КУЛЬТ ВЕЛИКОЙ БОГИНИ У МЕСТНОГО НАСЕЛЕНИЯ СЕВЕРНОГО ПРИЧЕРНОМОРЬЯ

Shaub I.Yu. The Cult of the Great Goddess among the local population of the Northern Black Sea region.

On the basis of a great number of facts the author proves that in the Northern Black Sea region at the Scythian age the cult of the Great Goddess was widely spread. She appeared under various names, including in her Image features of many other female divine beings of Greek and Near East origin: Aphrodite, Gaia, Rhea, Kybele, Astarte.

However, in the Northern Black Sea region dominated the Image of a "goddess with snaky feet" – foremother of Scythians. The tradition of sacrificing dogs that was widely spread in the Northern Black Sea region at that time was connected with the cult of the Great Goddess. In the Greek-Scythian art at that time a female image was absolutely dominant so significant was the cult of the Great Goddess for the aborigins of the Northern Black Sea region.

Как известно, письменные источники, освещающие религиозную жизнь местного населения Северного Причерноморья, крайне скудны. Несмотря на эту скудость свидетельств античных авторов, глубокий и всесторонний анализ археологических памятников в сочетании с данными письменных источников позволил М.И.Ростовцеву сделать вывод о том, что Южная Россия стояла в длинном ряду тех областей, где культ Великого женского божества был «первобытным и господствующим» (Rostovtzeff 1921: 465). Прежде чем подробно остановиться на аргументации выдающегося русского ученого и изложить ряд соображений, которые, на наш взгляд, могут служить дополнительными данными в пользу правоты его гипотезы о наличии у варварского населения Северного Причерноморья культа Великого женского божества, приведем высказывание Б.А.Рыбакова, которое наглядно демонстрирует то явление религиозной жизни. которое понимается под Великой богиней. «Почитание Высшего женского божества не было хронологически замкнутой стадией. Начинаясь где-то в незапамятные времена, этот культ Великой богини постепенно приобретает черты культа земли, земного плодородия и в этом виде живет на протяжении тысячелетий, сосуществуя и с культом Зевса, и с митраизмом, и с христианством как народный земледельческий комплекс воззрений и магических обрядов.

Возможно, что еще в неолите наряду с образом космической матери возник культ земледельческих богинь, так сказать, мелкомасштабных, расценивавшихся как божества данного куска земли, отдельного вспаханного участка, богини земли-пашни, земли-нивы. Постепенно, с расширением разного рода связей и осознанием единства судеб всех земледельцев (общий для всех урожай или общий недород), образ богини земли приобретает более широкий, общенародный характер. Богиню земли рассматривают уже как всеобщую мать всей природы, всего, чем пользуется человек: поля, растения, деревья, звери. Она становится богиней природы и воспринимается как мать всего живого» (Рыбаков 1981: 366; ср. Gimbutas 1974, 1990).

Данный феномен объясняется тем, что его психологической основой является «архетип высшего женского существа, воплощающий психологическое ощущение смены поколений, преодоление власти времени, бессмертие» (Аверинцев 1980: 111)[1].

«Нет ни одной религиозной формы, — пишет М.Элиаде, — которая не стремилась бы приблизиться к архетипу, т. о. избавившись от исторических наносов и слоев. Каждая богиня стремится стать Великой Богиней, взяв на себя все атрибуты и функции, принадлежавшие архетипической Великой Богине» (Eliade 1971: 462).

Что касается Греции, Б.А.Рыбаков отмечает следующее: «Процесс осознания единства землевладельческих судеб шел повсеместно; в каждой крупной области новые представления группировались вокруг того или иного локального женского божества. Поэтому к классическому времени в греческой мифологии появляется большое количество богинь, в той или иной мере облеченных правами Великой Матери. Это и Гея, и Рея, и Деметра. Черты Великой Матери есть и у Артемиды; иногда они проявляются у Афродиты и даже у Афины. К греческим богиням, воплощавшим в той или иной мере идею великого земного материнства, следует добавить малоазийскую Кибелу. Кроме Кибелы, в

© Шауб И.Ю., 1999.

греческую мифологию вплетались культы других богинь, почитаемых разными народами. Можно назвать Астарту (Иштарь)[2] и египетскую Изиду.

Все это многообразие имен свидетельствует не столько о различии представлений, сколько о повсеместности их, о втягивании локальных божеств в создание образа Великой Матери» (Рыбаков 1981: 367).

По словам А.Ф.Лосева, в образе Великой Матери получает свое обобщение и завершение «стихийно-чудовищная мифология матриархата». «Эта мифология и этот дикий культ в классические времена Греции, конечно, был оттеснен на задний план, и о нем едва помнили. Но в глубинах догомеровской истории, а также в эллинистическо-римский период, когда происходила реставрация архаики, эта мифология и этот культ имели огромное значение» (Лосев 1957: 64). Представления об этом всеедином божестве сохранились и у античных авторов, начиная с Гесиода (Theog. 411-452; см. также: Lucian. De Dea Syr. 31-32; Plut. Crass. 17, 6. Apul. Metam. XI, 5 и др.).

Для своеобразной диалектики религиозного мышления вообще характерно представление о тождественности единичности и множественности на божественном уровне бытия. Классический пример этого явления — Троица христианской теологии (сущность Бога едина, но бытие — личностное отношение трех ипостасей). Подобные представления присущи различным религиозно-мифологическим системам. Однако ипостаси христианской Троицы — это «не взаимозаменимые двойники или маски единой безличной стихии, их единство не есть ни разноположенность, ни слитность, неразличенность личностей, не до конца вычленившихся из родовой бессознательности политеистического божественного коллектива... Различие между триадами язычества и Троицей христианства — это различие между взаимопереходом стихий и взаимоотражением личностей, между двойничеством и диалогом...» (Аверинцев 1982: 527).

Древние представления о Великой богине до сих пор сохранились у шактистов Индии (см. Гусева 1977: 98-101). «В индийских мистических учениях женское начало рассматривается как активный принцип, благодаря ему бог-супруг манифестирует свои потенциальные качества» (Гринцер 1982: 636). «Шакти — это бог в образе Матери, как высшая сила, которая создает, сохраняет и разрушает все существующее...» (Woodroff 1920: 95). Л.Я.Штернберг считает шактизм одним из типов сексуального избранничества, которое осуществляется Великой матерью посредством полового общения со своими избранниками, но «не индивидуально и не непосредственно, а через земных женщин, в которых она воплощается. Каждая женщина, с которой кандидат в избранники имеет такое общение согласно ритуалу, в свою очередь называется шакти» (Штернберг 1936: 162). Сходные представления лежали в основе института священной проституции — характернейшего элемента ритуалов многоименной Великой богини Малой Азии и всего Ближнего Востока (см. Frazer 1922: 36)[3].

В основе культа Великой Богини в Сев. Причерноморье должны были лежать не только идеи, подобные ближневосточным, но и сходный ритуал. Очень показательно, что имя (или одно из имен) этой богини на Боспоре было Астара (КБН №1015).

Возвращаясь к упомянутой выше гипотезе Штернберга о сексуальном избранничестве, отправной точкой для которой послужили его исследования сибирского шаманизма, отметим, несколько забегая вперед, что богатейшие ритуальные одеяния со множеством нашитых золотых бляшек, обнаруженные в погребениях цариц-жриц Скифии и Боспора, очень напоминают шаманские одеяния (ср. Лелеков 1987). Разнообразные по манере исполнения бляшки этих одежд, тем не менее, содержат устойчивый набор сюжетов и образов, главные и наиболее распространенные из которых связаны с символикой Великой богини[4]

По мнению М.И.Ростовцева, традиция почитания Великого женского божества на Кубани восходит, судя по находкам терракот, еще к III тыс. (Rostovtzeff 1921: 462-463). Киммерийцы, подчинившие своей власти меотов на заре железного века, вероятно, восприняли культуру и религию побежденных (Rostovtzeff 1921: 463). Возможно, на это намекает глосса Гесихия: «Киммерийская богиня: мать богов».

Что касается скифов, то, по свидетельству Геродота, верховным божеством их пантеона было женское божество (Табити) (Hdt. IV, 59); этот факт М.И.Ростовцев считал указанием на некогда существовавший у скифов матриархат (Ростовцев 1918: 73, 124, 170; ср. Жебелев 1953: 34; Артамонов 1961: 86 след.; Абаев 1962: 450). По мнению Абаева, скифский пантеон является своего рода компромиссом между матриархальной идеологией недавнего прошлого и идеологией победивших патриархальных отношений. Как бы то ни было, тот факт, что во главе скифского пантеона стояло женское божество, говорит сам за себя.

В скифских курганах обнаружено огромное количество разнообразных предметов (в основном бляшек) с изображением женского божества, относительно идентификации которого с одной из трех известных нам из Геродота скифских богинь среди исследователей не существует единодушного мнения. Например, в богине, представленной на пластине от головного убора из кургана Карагодеуашх, многие ученые видят изображение Табити (Толстой, Кондаков 1889: 44; Граков 1971: 83 и др.). Однако С.С.Бессонова (Бессонова 1976: 24—25) высказала справедливое сомнение в возможности антро-

поморфных воплощений этой богини, с чем трудно не согласиться, поскольку даже греческий аналог Табити, Гестия, не имела культовых изображений, а была лишь «бледной персонификацией» (Nilsson 1940: 76). М.И.Ростовцев (Ростовцев 1913: 14) истолковал главную сцену на пластине как приобщение молодого скифа к власти или к самой богине и считал, что это Анахита или иранская Иштар[5]. По мнению В.П.Яйленко, здесь представлены все три ипостаси некогда единого божества Митра-Анахита-Фарн (Яйленко 1995: 250). С.Ю.Сапрыкин и А.А.Масленников в главном персонаже нижнего регистра пластины видят синкретическое божество «с чертами Анахиты-Астарты-Артемиды» (Сапрыкин, Масленников 1998: 404). А.С.Лаппо-Данилевский (Лаппо-Данилевский, Мальмберг 1894: 8) считал центральную сцену на Карагодеуашхской пластине жанровой. А.П.Манцевич (Манцевич 1964: 128 след.) видит здесь не женское божество и моменты его культа, а заупокойный пир, в котором принимает участие сидящая женщина и двое юношей. Сопоставление ею сюжетов на рассматриваемом памятнике с мотивами росписи Казанлыкской гробницы весьма интересно, однако нет сомнений в том, что главный персонаж нашей пластины представляет богиню. Об этом говорит не только характер сцены, но и наличие ритуального круглодонного сосуда в руках у одного из мужских персонажей и священного ритона, за который держится другой мужчина, в руке у центральной фигуры. Мы еще возвратимся к пластине из Карагодеуашха, а пока отметим только, что ряд исследователей считает этот памятник не скифским, а (синдо-)меотским (Иванова 1953: 81-82; Блаватский 1964: 27-28; Анфимов 1977: 114-115). Приведем еще два примера различных толкований изображений местного женского божества.

В богине с зеркалом (бляшки из Куль-Обы, Верхнего Рогачика, Чертомлыцкого, Мелитопольского, Носаковского и I Мордвиновского курганов, см. Онайко 1974) видят либо Табити (Шрамко 1962: 167; Граков 1971: 83; Ростовцев 1977: 95 след.), либо Аргимпасу (Ростовцев 1913: 16; Артамонов 1961: 65; Бессонова 1983: 106), а в змееногой богине — «наиболее сложном образе скифской религии и изобразительного искусства» (Бессонова 1983: 106) — прародительницу скифов Ехидну (Пятышева 1947: 215; Иванова 1951: 189; Маразов 1976: 46 след.), Апи (Раевский 1977: 57), синкретическое женское божество (Доватур, Каллистов, Шишова 1982: 294), «хтоническую разновидность Владычицы зверей типа Реи, Кибелы и т.д.» (Бессонова 1983: 94).

На наш взгляд, прав М.И.Артамонов (Артамонов 1961: 71), предполагая, что женские божества скифского пантеона (Табити, Апи и Аргимпаса) первоначально представляли собой ипостаси одной и той же древнейшей богини, «воплощавшей в себе и культ предков, и вместе с ним домашнего очага, огня, и идею жизни и размножения». В процессе развития этот единый образ стал разделяться на самостоятельные образы, которые несли в себе те же представления, но с более узкой специализацией и с более тесной связью с определенными явлениями природы[6].

Однако процесс этот, даже невзирая на воздействие более высоко развитой религиозной системы греков-колонистов, не получил окончательного завершения, чем, как нам кажется, и объясняется невозможность или, во всяком случае, крайняя сложность точного определения имени женского божества, представленного на том или ином предмете искусства.

Явления, в некотором роде аналогичные предполагаемым для Скифии, наблюдаются и в Греции, где образ Великой минойской богини, ипостазируясь, порождает целый ряд божественных персонажей, но продолжает существовать в народной религии, прежде всего в обличии Владычицы зверей[7].

Знаменательно, что древнейшими изображениями божеств, обнаруженными на территории Боспора и притом в «царских» Келермесских курганах[8], являются изображения именно Владычицы зверей на зеркале и ритоне (об иконографии см. Вахтина 1998); это же божество представлено на золотой пластине (возможно, от деревянной чаши) из кургана Шахан (Манцевич 1966: 34-35, рис. 7, 11). С представлениями о том же божестве может быть связана и литая бляшка с изображением геральдических барсов из одного из древнейших погребений (Прушевская 1917: 48 след.). Издательница этой бляшки прозорливо предположила, что представленные на ней барсы «имели какое-нибудь религиозное, а не исключительно декоративное значение» (Прушевская 1917: 53). На аналогичных композициях, встречающихся среди луристанских бронз, иногда появляется и сама богиня (или ее голова) (Ghirshman 1964: 46, Fig. 54)[9].

Древнейшим же изображением божества, происходящим из скифских памятников, является изображение богини Иштар на обойме отдышла повозки, обнаруженное в кургане середины — третьей четверти VII в. до н. э. у хутора Красное Знамя в Ставропольском крае (Петренко 1980). Отметим, что на Ближнем Востоке Иштар получила статус «хозяйки колесницы» в позднебронзовом веке (Leclant 1960).

Что касается вышеупомянутых зеркала и ритона из Келермеса, то в данном случае не столь важно, делал ли их скифский мастер по греческим образцам (Пиотровский 1959: 252) или греческий мастер, который «работал, сообразуясь с требованиями заказчика, может быть, даже по прямым его указаниям» (Максимова 1954: 301). В любом случае несомненно, что эти предметы были предназначены специально для скифского потребителя, причем в их форме и декоре явно

учтены его запросы (Раевский 1985: 95).

Вышесказанное относится и к предмету с изображением Иштар, который был изготовлен из местной бронзы (Петренко 1980: 18).

Совершенно справедливо предполагая идеологическую обусловленность появления греческих и переднеазиатских мотивов на скифских предметах, Д.С.Раевский, ссылаясь на пестроту их репертуара, энергично оспаривает точку зрения В.Г.Петренко, согласно которой воспроизведение инокультурных образов на скифских древностях отражает усвоение скифами чужеземных религиозных концепций. По мнению Д.С.Раевского, более резонно видеть здесь проявление того же процесса, который, согласно гипотезе В.Г.Луконина, характеризовал сложение искусства древнего Ирана, а именно, что «начальный процесс формирования скифского искусства состоял в отборе из древневосточного репертуара определенных образцов и в их переосмыслении, реинтерпретации в русле собственно скифской мифологии» (Раевский 1985: 95-95). Эта точка зрения выглядит достаточно убедительной, однако, на наш взгляд, нельзя исключать возможность заимствования скифами и чужеземных религиозных представлений.

Очень распространенное с IV в. в разных вариантах и на различных предметах, происходящих из погребений скифов и синдо-меотов, изображение змееногой богини М.И.Ростовцев определил как контаминацию восточной крылатой Великой богини с также восточным типом змееногой богини. Поскольку это соединение нигде не получило такого распространения, как в южной России, М.И.Ростовцев резонно предположил, что популярность змееногой богини обусловливалась местными верованиями, которые отразились в разных версиях легенды об этой богине.

Наиболее репрезентативными памятниками, на которых представлена змееногая богиня, являются совершенно одинаковые конские налобники из курганов Большая Цимбалка и Толстая Могила (Мозолевський 1979: 39, рис. 23). Эти изображения соединяют в себе два варианта иконографии одного и того же божества — змееногого и с растительными побегами вместо ног (Rankengöttin, по немецкой терминологии). Главным аргументом в пользу идентификации данного изображения с Великой богиней является тот факт, что оно «представляет собой самое полное из известных нам в изобразительном искусстве древности воплощение реконструируемого лингвистами и филологами древнего индоарийского образа мирового древа, тождественного образу великой женской богини, заместителем которой чаще всего выступает конь» (Мачинский 1978: 135).

«По общепринятому мнению... в Причерноморье этот образ служил для воплощения мифологической скифской прародительницы, полуженщины, полузмеи, земного порождающего начала» (Раевский 1985: 172-173).

Самой формой налобника подчеркивается членение изображения на три уровня: хтонический, обозначенный ногами, оканчивающимися змеями в самом низу и львино- и орлиноголовыми грифонами несколько выше, а также перевернутой пальметтой, выходящей из лона богини; земной, представленный телом богини, и космический, который символизируется роскошной пальметтой, выходящей из головы, вернее, полоса богини. Другие изображения змееногой богини также ассоциируются исследователями с мировым древом вследствие Ж-образной схемы их изображения (Бессонова 1983: 95). Отметим, что на другом коне, погребенном в Большой Цимбалке, был точно такой же по форме налобник, что и на первом, но с весьма грубым изображением геральдических грифонов у столба (см. Артамонов 1966: табл.187) — символом эгейской Великой богини и ее наследницы — Владычицы зверей (см. Christou 1968).

Заканчивая сюжет с конскими налобниками, на которых представлена змееногая богиня, отметим, что М.И.Ростовцев считал этот образ результатом смешения Потнии Терон с полуперсидской Анахитой, делая отсюда вывод, что данная богиня в религиозных представлениях скифов выступала одновременно как водная, так и в качестве покровительницы лошадей (Rostowtzew 1913: 229, 230). Напомним, что вместе с налобниками в убор лошадей, погребенных в Большой Цимбалке и Толстой Могиле, входили нащечники в виде стилизованных рыб или семантически тождественных им дельфинов[10].

Доказательством того, что на Ближнем Востоке Великое женское божество типа Иштар выступало в качестве покровителя коней, может служить, например, скульптурная голова лошади из Зенджирли, относящаяся к IX в. до н. э., на которой изображен налобник в виде нагой богини (Burkert 1979: 115, fig. 10).

Относительно происхождения иконографии змееногой богини М.И.Ростовцев (Rostovtzeff 1922: 108) предположил, что ее источником является древний ионийский мотив Медузы Горгоны. Это, безусловно, правильно, т. к. именно змееногая Горгона представлена на ряде бронзовых позднеархаических ручек кратеров[11]. Кроме того, на экземпляре из Лувра она имеет чешуйчатое тело (Reinach 1910: fig. 239,3), на очень схожей ручке кратера из Мюнхена — чешуйчатое одеяние (Neugebaner 1923-1924: 384, Fig. 18), а на кратере из Требениште она в дополнение к своему чешуйчатому одеянию еще и крылата (Filov 1927. Taf. VIII). Крайне интересны еще два памятника: ручка кратера из собрания де Клерка, где представлена крылатая Горгона в позе коленопреклоненного бега, находящаяся на поверхности, от которой отходят две змеи, оканчивающиеся грифоньими головами, а также ручка бронзовой гидрии, под которой

находится изображение горгонея, из головы которого выходят два коня (Neugebaner 1923-1924: 380, Fig. 16).

Однако М.И.Ростовцев, как и многие другие исследователи, объяснял исключительную популярность горгонеев[12] в Скифии (и на Боспоре) тем апотропеическим значением, которое приписывалось им в Греции (Ростовцев 1925: 382). На наш взгляд, абсолютно прав Д.С.Раевский, полагающий, что, поскольку «чисто греческая семантика сама по себе не могла обеспечить такой популярности горгонейона у скифов — требовалась еще интеграция в местную мифологию», скифы осмысляли его как изображение своей богини-прародительницы.

В доказательство своей гипотезы Д.С.Раевский (Раевский 1985: 174, 175) приводит тот факт, что в конском уборе из кургана Большая Цимбалка изображение змееногой богини и горгоней образуют единую композицию. Кроме того, голова, схожая с той, которую держит змееногая богиня на бляшках из Куль-Обы (см. ниже), представлена в комплексе с горгонеями и головой Геракла на бляшках конского убора из кургана Чмырева Могила[13]. Явно не случайно и совместное изображение личин Медузы и бородатых голов на золотой ритуальной фиале из Куль-Обы.

Кроме этих примеров, указанных Д.С.Раевским, можно привести еще целый ряд комплексов, подтверждающих его гипотезу, самым ярким из которых является курган Большая Близница, где в погребениях, наряду с золотыми бляшками и костяными украшениями саркофага, на которых представлена стилизованная змееногая богиня, наличествуют изображения как бородатой головы, идентичной изображенным на бляшках из Куль-Обы, так и горгонеи.

Осмысление туземным населением Боспора изображения Горгоны как своей Великой богини (в ипостаси змееногой богини-прародительницы) тем более вероятно, что Горгона Медуза («Владычица») первоначально сама была ипостасью Великой богини (Frothingham 1911: 349 sq; 1922; Marinatos 1927-8: 7 сл.; Christou 1968: 147)[14]. Важно отметить, что наиболее яркие черты Медузы Горгоны (которая представлялась некогда владычицей всех стихий)[15] — хтонизм, связь с водой и конями — не менее характерны и для змееногой богини-прародительницы[16]. И тот и другой образ равно связаны со змеями (змееногость или змееволосость, а также змеиный пояс у Горгоны)[17] и с грифонами[18].

Возможно, не случайна и связь обоих персонажей с мотивом обезглавливания; некогда медуза могла обезглавливать сама, как и змееногая богиня, представленная на идентичных бляшках из Куль-Обы, с Тамани и из Херсонеса.

Как уже отмечалось выше, к толкованию изображений на пластине из Карагодеуашха обращались многие исследователи. Наиболее обстоятельное рассмотрение памятника было предпринято С.С.Бессоновой (Бессонова 1983: 107-111). Вот ее выводы: «...общая композиция и сюжеты карагодеуашхской пластины обнаруживают сходство, с одной стороны, с эллинистическими сюжетами (пиршество богини и Диоскуров, вознесение на колеснице, богиня судьбы), которые в целом характерны для погребальных и меморативных памятников, объединенных темой апофеоза; с другой — налицо сходство с дакийскими иконками, где этот набор сюжетов является каноническим, а содержание объясняется из восточных культов с большим удельным весом иранского компонента. Для композиции нижнего яруса вполне вероятно индоиранское содержание, относящееся к свадебному пиршеству богини и двух богов-близнецов... Языком мифа о бракосочетании солнечной богини и богов-близнецов, о ее путешествии в солнечной колеснице передается мысль об апофеозе умершей, ее путешествии на небо в обитель богов».

На наш взгляд, однако, назначение изображений на пластине было не в «передаче мысли об апофеозе умершей», поскольку неизвестно, была ли эта пластика изготовлена специально для погребального головного убора, но в прославлении верховной богини-повелительницы всех трех областей мироздания. (Правда, в погребальном контексте могли возникать и идеи апофеоза героизированной умершей, но только через ассоциацию с изображенной здесь богиней).

Несомненно, что трехчленное деление композиции пластины по вертикали (с соответствующими семантически значимыми тремя орнаментальными зонами) соответствует трем космическим зонам[19]. Это членение характерно для выражения идеи мирового древа (Топоров 1980а: 399), которое, как уже указывалось, ассоциируется с женским божеством (см. Иванов 1974: 98 след.). На нижней зоне пластины изображена, как отмечал Ростовцев, скорее всего, сцена приобщения богине. Этой земной (и хтонической) зоне соответствует орнамент под ней, где изображены чередующиеся горгонеи и букрании, соответствующие символике нижней зоны. В средней зоне, символизирующей атмосферу[20], представлена та же богиня на колеснице (ср. с изображением богини или героизированной умершей в повозке на рельефе из Трехбратнего кургана (см. Бессонова, Кирилин 1977), а также с упряжью из склепа №1 жрицы Великой Богини, погребенной в Большой Близнице) (см. Шауб 1987б). Как кони мыслились связующими космические зоны (Иванов 1980а: 66), так и грифоны, изображенные под средним ярусом пластины, выступали в подобной же медиационной роли в мифологических представлениях, а фемиатерий, изображенный между грифонами, — в ритуале. В верхнем ярусе, символизирующем небо, изображена стоящая богиня; под этим изображением — полоса ов, которые сим-

волизируют жизнь и (воз)рождение. Необходимо отметить, что символика Великой богини проявляется как в геральдических грифонах средней зоны, так и в горгонеях в сочетании с букраниями нижней. Кроме того, горгонеи двух типов были пришиты вместе с пластиной к головному убору погребенной царицы (Лаппо-Данилевский 1894: 7-8).

Кроме горгонеев, к пластине на головном уборе царицы были пришиты 16 золотых пластинок в виде голубей, наличие которых может служить доказательством предположения В.Д.Блаватского, согласно которому изображенная на пластинках местная богиня ассоциировалась с Афродитой Уранией (Блаватский 1964: 28). Но еще более весомым аргументом в пользу этого предположения может служить неопределенность пола (андрогинность) правого от богини персонажа, что подчеркнуто «женским» округлым сосудом (Бессонова 1983: 103-104)[21] в его руках в противоположность «мужскому» ритону в ее[22]. Возможно, это энарей.

Прежде чем перейти к рассмотрению других изображений Великой богини, отметим замечательный серебряный ритон с изображением двух противостоящих всадников из мужского погребения кургана Карагодеуашх. Если на пластине от головного убора из женского погребения этого кургана представлена Великая богиня, причем на нижнем поле этой пластины она изображена в головном уборе с аналогичной пластиной, что позволяет говорить о погребенной царице как об олицетворении верховной богини, то на самом большом ритоне из мужского погребения (всего ритонов найдено три: см. Виноградов 1993) представлен с ритоном и скипетром в руках конный бог. На наш взгляд, совершенно правы те исследователи, которые вслед за М.И.Ростовцевым видят в этой сцене инвеституру царя, причем инвеституру мистическую, заключающуюся в приобщении к власти через вкушение священного напитка, по аналогии с мистериями Митры (Блаватский 1974: 44; Бессонова 1983: 116). Используя для священных возлияний ритон с этой сакральной сценой, его обладатель магически приобщался божеству и даруемому им благу.

В.А.Городцов (Городцов 1926: 25), по нашему мнению, весьма остроумно предположил, что, хотя персонально Великой богини на карагодеуашхском ритоне нет, она представлена здесь своим постоянным символом — стилизованным «древом жизни», изображенным позади бога (добавим, что, возможно, и растительными побегами над головами всадников, как можно заключить по аналогии с орнаментом на золотой пластинке из Куль-Обы (ДБК: табл. II, 1), где представлена богиня, выходящая из подобных пальметок).

Одним из самых репрезентативных памятников культа Великой богини у местного населения Боспора является серебряная позолоченная пластина от ритона из Мерджан, изображение на которой (Артамонов 1966: табл. 331) может служить блестящей иллюстрацией к целому ряду положений известной статьи В.В.Иванова (Иванов 1974).

Здесь представлена богиня, сидящая на троне со священным округлым сосудом в руках, по правую сторону от которой изображен ее эквивалент — мировое древо с тремя (!) стилизованными ветвями с каждой стороны, по левую же — столб с конским черепом, что свидетельствует о принесении ей в жертву коня, а также подъезжающий к ней бородатый всадник с ритоном, что дает возможность рассматривать бога-всадника карагодеуашхского ритона в качестве паредра Богини[23]. Интересно, что совершенно аналогичное изображение сидящей в кресле богини, держащей в руке священный округлый сосуд, имеется на терракотовой статуэтке из Семибратнего кургана (Анфимов 1977: 115).

Изображением Великой богини считал М.И.Ростовцев сидящий женский персонаж с птицей и собакой на золотых бляшках из Чмыревой Могилы. Эти изделия торевтики, происходящие с территории, находившейся в тесных контактах с Боспором, помогли В.И.Денисовой интерпретировать ритуальные захоронения собак в мирмекийском зольнике и встреченную там же терракотовую фигурку собачки в качестве элементов культа Великого женского божества, а сам алтарь — как порождение обрядовой традиции, связанной именно с данным культом (Денисова 1981: 111).

В.И.Денисова связывает практику приношения в жертву собаки в дромосе склепа Васюринского кургана и в Змеином кургане с религиозными представлениями, занесенными в Причерноморье эгейскими мореплавателями. Не исключая такой возможности, отметим, что подобная жертва (совместно с конской головой) была зафиксирована при раскопках зольника VI-V в. до н. э. в с. Пожарная Балка близ Полтавы. Принесение в жертву коня и собаки было общим обычаем в данной области (Рыбаков 1981: 309). К тому же времени относятся и жертвоприношения собак (вместе с быками, овцами, козами и конями), отмеченные в святилище, обнаруженном на восточном укреплении Бельского городища (Рыбаков 1981: 334).

Что касается жертвоприношения собак, то эта культовая практика у греков была распространена мало и бытовала (за исключением Ареса) только в обрядах, связанных с женскими божествами, прежде всего с Гекатой (Gruppe 1906: 732, 804 u.a.). Культовые же захоронения этих животных у греков неизвестны. Отсутствие данного обычая у греков и существование его в лесостепной зоне, а также к северу и западу от нее (Емец, Масленников 1991: 118), позволяет предположить, что обряд захоронения собак как в Ольвии, так и на Боспоре, где эти захороне-

ния были явно связаны с культом местного женского божества плодородия (Денисова 1981: 111), появился под воздействием культовой практики племен Лесостепи. Знаменательно, что в одной из самых богатых архаических могил ольвийского некрополя (Скуднова 1988. N, 160, с. 106 след.), где, без сомнения, была погребена жрица[24], происходившая из варварской среды[25], были обнаружены и кости собаки (Скуднова 1988: 106).

Жертвоприношения собак на Западном теменосе Ольвии, о которых свидетельствуют их кости в ботросах VI — 1-й пол. V в., а также обнаруженное под западной оградой культового комплекса жертвенное захоронение собаки, по мнению А.С.Русяевой (Русяева 1992: 47), семантически соотносятся с украшениями, выполненными в зверином стиле, в виде свернувшегося в кольцо волка (литейная форма с о. Березань)[26] и его морды[27] и связаны с культом Аполлона Ликея (Волка). Однако это мнение не выдерживает критики. Все должно было быть гораздо сложнее. Во-первых, несмотря на генетическое родство волка и собаки, греки (как и другие народы древности) их достаточно четко различали. Во-вторых, если определенная мифологическая (реже культовая) связь с обоими этими животными у Аполлона и просматривается, то жертвоприношения — нет. Любопытно, что по одной из версий, Лето, родившая Аполлона в виде волчицы, пришла в таком образе, сопровождаемая волками, из страны гипербореев (Arist. Hist. anim. VI, 35 и др.), т. е. здесь ярко выступают северные связи Аполлона (см. Шауб 1998).

Возвращаясь к предполагаемой связи жертвоприношения собаки с культом Великого женского божества на Боспоре, отметим знаменательную находку в так называемом «святилище Деметры» Нимфея черепа собаки (на что обратила внимание В.И.Денисова: Денисова 1981: 113), животного, не имеющего абсолютно никакого отношения к Деметре[28]. В связи с этим фактом, вероятно, не случайно наличие среди приношений в это святилище сосуда с изображением собак (см. Худяк 1962: табл. 34,1).

Кости собак (среди небольшого количества костных остатков) были найдены и в святилище на Майской горе. Этот факт, наряду с характером других находок[29] в святилище, а также само его местоположение (см. Марченко 1974: 31) позволяют видеть здесь одно из мест культа Великой местной богини, которую греки отождествляли как (прежде всего) с Афродитой Уранией, так и с другими женскими божествами своего пантеона (Деметрой, Корой, Персефоной, Артемидой, Афиной).

Очень интересный культовый комплекс был обнаружен в Мирмекии. Его описание и в главных чертах правильная интерпретация даны В.И.Денисовой (Денисова 1981: 105 след.).

В.Ф.Гайдукевич полагал, что этот комплекс был связан с культом Деметры, однако В.И.Денисова справедливо указывает на отсутствие среди граффити, терракот и других категорий вещественного материала, обнаруженного в Мирмекии, предметов, которые свойственны исключительно культу этой богини.

Видя ключ к раскрытию культа богини, почитавшейся здесь, в ее связи с собакой (находка в зольнике II ритуальных захоронений собак, а также вылепленной от руки терракоты, изображающей собаку), В.И.Денисова, на наш взгляд, совершенно обоснованно связывает раннеэллинистический зольник Мирмекия с «великой матерью, древним женским божеством плодоносящих и животворящих сил природы, владычицы всего сущего», принимавшей разные обличья, и склонна усматривать в нем проявление местной обрядовой традиции (Денисова 1981: 108).

Кроме доказательств, приведенных В.И.Денисовой для обоснования гипотезы о связи мирмекийского зольника II с культом Великой местной богини, отметим еще два момента, могущие служить дополнительными данными для ее подкрепления: это — употребление рыбных блюд в ритуале в честь богини, а также явная варваризация зольника (в зольнике I встречено посвящение Афродите, в зольнике II ни одно граффито не указывает имени богини).

Зольник, схожий по конструкции и по характеру с мирмекийским (правда, гораздо более бедный находками), обнаружен также в Китее (Молев 1985: 49 след.). По мнению Е.А.Молева, материалы китейского зольника (раскопки которого еще очень далеки от завершения) позволяют говорить о существовании его как культового сооружения с последней четверти V в. до н.э. по IV в. н.э., что, возможно, было связано с функционированием в этом районе нескольких святилищ (Молев 1985: 54). Однако ни граффити, ни терракоты не позволяют пока сделать каких-либо определенных выводов относительно божества или божеств, с которыми был связан китейский зольник[30]. Интересно, что среди находок расписной и чернолаковой посуды в зольнике найдено значительное количество фрагментов рыбных блюд (Молев 1985: 50), что характерно и для мирмекийского зольника.

Человеку, не задумывающемуся над спецификой религиозности античной эпохи, памятники типа мирмекийского или китейского зольника могут показаться просто помойками, однако то, что выглядит помойкой по современным представлениям, отнюдь не являлось таковой в древности: даже зола и кости принесенных в жертву животных считались собственностью бога; все, что принадлежало богам, изымалось из профанической сферы и должным образом почиталось (Nilsson 1925: 79).

Важно отметить характерность зольников для культовой практики племен лесостепной Скифии, причем здесь площадки под зольники

готовились специально (Рыбаков 1981: 308), как и в Мирмекии и Китее (Молев 1985: 50). Не менее существенным является и распространенность в зольниках лесостепной Скифии жертвоприношения собак (Рыбаков 1981: 309), которые после свиньи были здесь самыми частыми жертвенными животными (Андриенко 1975: 19).

Судя по находкам свыше 200 терракот (в основном местного производства), близ Тиритаки в конце VI-III вв. до н.э. существовало святилище женского божества (Марти 1941). Издавшая часть терракот из этого комплекса В.И.Пругло (Пругло 1970: 92) относит его к святилищу Деметры. Однако наличие среди терракот этого комплекса изображений Артемиды во фригийском колпаке с ланью в руках (Марти 1941: 27, рис. 25)[31], а также этой же богини верхом на лани (Марти 1941: 32, рис. 37), Афродиты в раковине, фигур юноши с ремнем через плечо (скорее всего, адоранта), заставляет думать о том, что в святилище, из которого происходят эти терракоты, поклонялись либо нескольким божествам, либо, что нам кажется более вероятным, женское земледельческое божество, которому принадлежало это святилище, соединяя в себе черты Деметры, Артемиды и Афродиты, было очень близко по духу Великой богине местных племен[32]. Необходимо отметить, что функционально близкие божества могли почитаться в одном и том же святилище греками как свое, а варварами — как их локальное божество (Свенцицкая 1985: 44).

Возвращаясь к Чмыреву кургану, отметим, что в набор бляшек, собранных на месте разграбленного погребения, наряду с вышеупомянутыми бляшками с богиней и собакой, которых было большинство, также найдены бляшки с горгонеем и борющимся со львом Гераклом, а также бляшки с изображением льва, терзающего копытное. В тайнике также была обнаружена золотая фиала с изображением крылатой Rankengöttin (см. ОАК 1909-1910: 127 след.).

На сочетание бляшек в виде голов Горгоны, Геракла и Пана в данном кургане обратил внимание Д.С.Раевский (Раевский 1985: 112), интерпретировав его как символику скифской генеалогической легенды. Правда, Пан наличествует только в одном погребении лошади, где другие персонажи не встречены. Однако этот факт, на наш взгляд, нисколько не ослабляет такого толкования, поскольку символично уже повторение сочетания бляшек с горгонеем и головой Геракла, как это наблюдается в уборах двух лошадей, погребенных в кургане Чмырева Могила. То же сочетание бляшек, причем с налобниками в виде змееногой богини, встречено в кургане Толстая Могила (Мозолевський 1979: 35 след.).

Одним из главных аргументов в пользу существования в Причерноморье культа Великой богини можно считать предания об амазонках (подробнее см.: Шауб 1993). Справедливо критикуя крайности гипотезы Леонхарда об амазонках-хеттах (Leonhard 1911), М.И.Ростовцев (Rostovtzeff 1921: 468 sv.) убедительно доказал, что легенды об этих женщинах-воительницах связаны с теми областями, где существовал культ Великой богини. Этот малоазийский культ, восходящий еще к традициям неолитического Чатал-Хююка, не мог не произвести на греков сильного впечатления своими многочисленными большими храмами с тысячами иеродул обоего пола и жрецами, которые то, как мегабизы и галлы, были евнухами, одетыми в женское платье, то вооруженными женщинами, исполнявшими военные танцы. Грекам должны были быть известны священные предания о военных деяниях Великой богини и ее служительниц, деяниях того же рода, что и подвиги херсонесской Девы, зафиксированные Сириском в его историческом труде.

Подобные легенды греки включали в свои мифы, соединив с отечественными героями, которые стали совершать свои подвиги в областях женщин-воительниц. Возможно, в некоторых местах Причерноморья греки еще застали племена, социальная структура которых сохранила то, что греки назвали гинекократией (Граков 1947).

Л.А.Ельницкий, справедливо полагающий, что перенесение греками представлений об амазонках на реальные припонтийские племена производилось не только по чисто бытовым, но и по культовым признакам, вычленяет на Тамани ряд амазонских топонимов, скопление которых, по его мнению, было обусловлено наличием там древнего святилища Афродиты Апатуры, «в ритуале которой, несомненно, имелись черты, характерные для культа женского божества плодородия, породившие и амазонскую легенду (Ельницкий 1961: 33). По мнению Ельницкого, само название «амазонки» может восходить к арамейскому эпитету сирийской Афродиты «amm azzon `сильная, великая мать'», что близко по значению к эпитету Санерга из известного боспорского посвящения этому богу и Астаре, в которой М.И.Ростовцев видит имя Великой меотской богини, некогда безымянной (Rostovtzeff 1921: 463).

Из сообщений античных авторов известно, что амазонки почитали двух богов — Ареса и Артемиду (Toepffer 1984: 1764). В Аресе, которого они считали своим прародителем, скорее всего, можно видеть персонификацию их воинственности, что же касается Артемиды, то это, конечно, то негреческое божество, святилище которого было, по преданию, основано амазонками в Эфесе, т. е. малоазийская Великая мать.

В изобразительной традиции об амазонках фиксируется и еще один факт, связывающий их с кругом представлений о Великой богине. Это характерное для амазонок оружие — двойная секира, которая в эгейскую эпоху была одним из основных символов культа Великой богини.

«Конная рать амазонок» (Eurip. Her. 408), естественно, теснейшим образом связана с конем. Возможно, что здесь сказалось малоазийское представление о женском божестве на коне. Пока отметим, что хеттское конное божество Пирва, к которому могут восходить некоторые элементы предания об амазонках, выступало то в мужской, то в женской ипостаси (подобно хурритской Иштар-Шавушке) (Иванов 1980: 666).

Вышесказанное подводит нас к еще одной особенности амазонок – андрогинизму, характернейшей черте ближневосточных культов плодородия.

Андрогинизм амазонок, столь ярко проявляющийся в их занятиях мужскими делами и ношении мужской одежды, очень тонко прослежен Д.А.Мачинским на материале склепа №1 Б. Близницы, в котором, на наш взгляд, погребены жрицы Великого местного женского божества, синкретизировавшегося с греческими Афродитой, Деметрой и Артемидой (см.: Шауб 1987б).

Амазонки хтоничны и связаны с загробным миром и смертью. На Боспоре изображение амазонок — один из главных сюжетов росписи погребальных пелик, на которых они выступают, вероятно, в качестве символа синкретической Великой богини, в том числе и тогда, когда речь идет об изображении их битв с греками. Очень похоже, что сюжет амазономахии близок по значению к мотиву терзания, возможно, является даже его аналогом.

Не удивительно поэтому, что именно к Великой богине, «азиатско-греческой Матери» (Зелинский 1922: 30) всего сущего, владычице жизни и смерти (а, следовательно, и цикличности, символика которой заключена в сценах терзания) относится молитва хора из «Филоктета» Софокла, где упомянут ее символ — символ растерзания быка львом:

«Царица гор, ключ жизни вечный,
Зевеса матерь самого,
Что златоносного Пактола
Блюдешь течение — Земля!
Чьей волей над быком могучим
Ретивый торжествует лев...»
(ст.391 сл.; пер. Ф.Ф.Зелинского).

Хтоничность и связь амазонок с загробным миром выступает в их неотделимости от коня, символика которого многозначна, но хтоническая доминанта фиксируется бесчисленными погребальными жертвоприношениями (Malten 1914; ср. Кардини 1987).

И, наконец, одним из важнейших, на наш взгляд, свидетельств существования у причерноморских варваров культа Великого женского божества является схожая структура преданий, связанных с главными женскими персонажами северопричерноморской мифологии: змееногой прародительницей скифов, таманской Афродитой и херсонской Девой (см. Шауб 1979).

Перечисляя города, лежавшие близ Кородамитского озера (ныне Таманского залива), Страбон упоминает Апатур, святилище Афродиты. И чуть ниже рассказывает, что «есть и в Фанагории знаменитое святилище Афродиты Апатуры. Объясняют же прозвание богини, приводя следующий миф: когда напали там на нее гиганты, богиня, призвав Геракла, спрятала его в некой пещере, затем, принимая каждого гиганта поодиночке, передавала Гераклу, чтобы коварно умерщвлять их посредством обмана» (Strab. XI, 2, 10). Свидетельство Страбона повторяет Стефан Византийский (Steph. Byz. v. Apatouron).

Еще М.И.Ростовцев (Rostovtzeff 1922: 73) обратил внимание на удивительное сходство мифа об Афродите Апатуре с этногонической легендой скифов, известной нам из сообщений Геродота (Hdt. IV 8-10), Диодора Сицилийского (Diod. II 43) и Tabula Albana (IG XIV N 1293A, 94-97). Эту связь отмечали также И.И.Толстой (Толстой 1966: 236 след.), Л.А.Ельницкий (Ельницкий 1960: 49), М.И.Артамонов (Артамонов 1961: 65), Д.С.Раевский (Раевский 1977: 56-57); однако эти авторы (как и М.И.Ростовцев) только зафиксировали свои наблюдения, оставив этот интересный сюжет неразработанным.

В наиболее развернутой версии легенды о происхождении скифов, изложенной Геродотом (Hdt. IV 8-10), повествуется, что Геракл прибыл в Скифию, гоня быков Гериона. Во время сна героя его коней похищает обитавшая в Гилее (Полесье) в пещере змееногая дева, которая возвращает их назад только после того, как Геракл вступает с нею в брак. Отдавая коней, она сообщает, что у нее от Геракла родится три сына, и вопрошает, что делать с ними, когда они вырастут. Геракл советует отдать во владение землю тому, кто натянет его лук и опояшется его поясом так, как делает это он сам; при этом герой натянул один из двух своих луков, показал способ опоясывания и передал ей лук и пояс с золотой чашей, а затем удалился.

После работ целого ряда исследователей (см.: Доватур и др. 1982: 213-214) нет надобности доказывать, что в основе геродотовой легенды о змееногой прародительнице скифов и Геракле лежит исконно скифское предание, правда, подвергшееся эллинской обработке. Д.С.Раевский убедительно показал, что все другие варианты легенды о происхождении скифов представляют собой разные редакции одного и того же скифского генеалогического мифа.

«В общение с богиней Геракл у Геродота вступает вслед за совершением подвига борьбы с Герионом. И хотя фигура Гериона никакого отношения к скифской легенде не имеет, сам по себе мотив борьбы героя как момент, предшествующий мотиву соединения пришлого героя с демонической девой может, однако же, принадлежать к числу основных компонентов сюжета. У Геродота этот мотив искажен привнесением в него чуждой ему фигуры греческого Ге-

риона. Но в более чистом виде он сохранен для нас эпиграфической версией, согласно которой Геракл становится мужем Ехидны, лишь одолев отца девушки, царя Аракса» (Толстой 1966: 236).

Таким образом, мы видим, что миф об Афродите Апатуре и предание о змееногой гилейской деве очень схожи: обе богини обитают в пещерах; паредром обеих выступает Геракл; в обоих преданиях важным их элементом является борьба (в первом случае с гигантами, во втором — с отцом богини), наградой же победителю служит брак с богиней (в случае с Афродитой он только подразумевается, но по ряду косвенных данных можно предполагать, что этот важный момент мифа должен был присутствовать в недошедших до нас его вариантах: см. Шауб 1981).

Находка в одном из разграбленных таманских курганов золотой бляшки с изображением, абсолютно идентичным змееногой богине с бородатой головой в руке из кургана Куль-Оба (Анфимов 1987: рис. на с. 127)[33], а также уже отмеченное наличие в погребениях Большой Близницы бляшек со змееногой богиней в сочетании с бляшками в виде бородатой головы, наряду с изображением натягивающего лук Геракла на синдских монетах, — все это, на наш взгляд, является блестящим подтверждением гипотезы М.И.Ростовцева о бытовании и в синдо-меотской среде этногонической легенды, аналогичной скифской.

В научной литературе, как зарубежной, так и отечественной, распространено мнение, что уникальный эпитет богини Афродиты на Боспоре — Апатура — является греческим и происходит от общеионийского родового праздника Апатурий. Такой точки зрения придерживались О.Группе (Gruppe 1906: 1365), Л.Фарнелл (Farnell 1896: 657), М.Нильссон (Nilsson 1967: 188 ff.); отстаивали эту гипотезу В.Ф.Гайдукевич (Гайдукевич 1949: 212 след.) и некогда В.П.Яйленко (Яйленко 1977: 221 след.; ср. Яйленко 1995: 238 след.).

Однако можно с уверенностью утверждать, что происхождение этого эпитета Афродиты не имеет никакого отношения к празднику Апатурии, и вот почему. Во-первых, еще Гекатей Милетский (ок. 500 г. до н.э.) знал «залив Апатур в Азии» (Steph. Byz. v. Apatouron) (т.е. где-то в районе Тамани). Уже одного этого факта достаточно, чтобы утверждать, что название святилища Афродиты — Апатур, так же как и название залива, являются местными топонимами и, следовательно, эпитет богини происходит от названия святилища, а не наоборот.

Во-вторых, праздник Апатурии в греческом мире никогда не был связан с Афродитой, но всегда либо с Афиной, либо с Зевсом (Paus. II, 33, 1) (Gruppe 1906: 1368).

В-третьих, в Теосе, метрополии Фанагории, культ Афродиты не засвидетельствован, хотя пантеон его достаточно полон (Ruge 1934: 560 ff.). Кстати, в Милете — метрополии города Кеп (где культ Афродиты, несомненно, был главным городским культом), находившегося близ Фанагории, — культ Афродиты в период основания колоний отсутствовал, он засвидетельствован там источниками, восходящими к III в., и играл второстепенную роль в жизни города (Яйленко 1977: 221).

Кроме того, если возводить эпитет Афродиты — Апатура — к названию праздника Апатурии, «остается неясным, почему Страбон (Strab. XI, 2, 10) для объяснения этого эпитета прибегал к псевдоэтимологическим выкладкам (он возводил его к слову «апатэ» — «обман»), основанным на сугубо местном предании (Раевский 1985: 57; ср. Толстой 1966: 237).

Вышесказанное позволяет предположить, что все персонажи мифа об Афродите Апатуре скрывают за греческими именами свою исконную местную основу. Афродита — это Великая богиня синдо-меотских племен, Геракл — герой-победитель, паредр богини[34], гиганты — природные демоны (похотливость роднит их с сатирами и силенами).

Наиболее соответствуют образам прародительницы скифов и Афродиты Апатуры многочисленные изображения змееногой богини, которые были популярны и в синдо-меотской среде Приазовья, и на Боспоре. и в Крыму (Петров, Макаревич 1963: 24 след., рис. 1; Высотская 1976: 58, рис.5).

Возможно, иллюстрацией мифа об Афродите Апатуре являются золотые бляшки из кургана Куль-Оба (см. Артамонов 1966: табл. 230). Это изображение напоминает о культе богини Девы в Херсонесе, где змееногая богиня запечатлена на целом ряде памятников (Пятышева 1947; Петров, Макаревич 1963: 26 след.), в том числе и на бляшках, аналогичных кульобским и несколько другого типа, без бородатой головы в руках, но в сочетании с бляшками, представляющими эту голову.

«Разнообразие типов змееногого божества в Херсонесе очень показательно, так же как и близость херсонесских и кульобских образцов, — оно может свидетельствовать о принадлежности этих персонажей мифологии местного, тавроскифского населения» (Бессонова 1983: 95).

Известно, что отрубленная голова играла важнейшую роль в таврском жертвоприношении богине Деве (Hdt. IV, 103, см. также: Грач 1952: 174 след.). Что касается Боспора, то изображения змееногой богини с отрезанной головой в руках можно сопоставить по смыслу как с изображением воинов с отрубленными головами на золотом колпачке из кургана Курджипс (см.: Галанина 1980: 93, рис. 51; Булава 1987)[35], так и с материалами культового комплекса, обнаруженного на Елизаветовском городище, где отрубленные головы найдены вместе с кружальными вотивными блюдцами (Brasinsky, Marcenko 1984:

65 ff.). Очень заманчиво соотнести эти головы в сочетании с блюдцами с известным евангельским сказанием об усекновении главы Иоанна Предтечи и передаче ее на блюдце танцовщице Саломее (Матф. 14, 6-11); в этом предании В.И.Иванов видел отголосок оргиастических женских культов Восточного Средиземноморья, для которых было характерно почитание отрубленной человеческой головы (Иванов 1923: 120; ср. также Фрейденберг 1936: 101; Антонова 1979: 18). Отрубленной голове, брошенной в воду или чудесно обретенной в воде, придавалось особое значение: «В этом образе бог умерший почитается как мужское начало подземной растительной мощи и нового возврата из сени смертной на лицо земли» (Иванов 1923: 120)[36].

Свидетельством продолжения традиции является находка в илуратском «святилище» жертвенника с отрубленной мужской головой. В.Ф.Гайдукевич высказал весьма вероятное предположение, что ритуал, засвидетельствованный этим жертвенником, был связан у населения Илурата с культом «женского божества, олицетворявшего производительные силы природы, образ которого представлен на глиняном штемпеле, найденном в Илурате в ближайшем соседстве с культовым комплексом (Гайдукевич 1958: 47; 1950: 192 след.; Gajdukevic 1971: 410-411; Грач 1949). Богиня, представленная на штампе для оттискивания рельефных изображений на культовых лепешках, по справедливому замечанию В.Ф.Гайдукевича, хотя и изображена в иконографии античной Владычицы зверей, безусловно, было в основе своей местным божеством. Это изображение местной «великой богини растительного и животного царства, матери всего сущего, богини, органически слившейся со священным древом жизни» (Гайдукевич 1958: 83, рис. 76). Таким образом, та ассоциация богини с мировым древом, которая угадывалась на эллинских и сильно эллинизированных памятниках IV в., наглядно воплотилась на варваризованном культовом предмете II-III вв. н.э.: богиня в иератической позе с грифонами по сторонам имеет руки в виде ветвей, а голову в виде кроны дерева, т.е. сама является деревом[37].

К сожалению, до нас не дошло ни одного местного мифа о херсонесской богине Деве: все имеющиеся в нашем распоряжении варианты связанных с нею мифов являются либо чисто греческими, либо греческими переосмыслениями, из которых крайне трудно извлечь местный варварский элемент[38]. Однако тот факт, что в Херсонесе имелась пещера Девы[39], а также весьма вероятная связь этого божества с Гераклом (вторым по значению после Девы божеством Херсонесского государства: Сапрыкин 1978: 131 след.; кстати, Херсонес некогда назывался Гераклеей (Plin. N. h. IV, 85) — так же, как и его метрополия), дает возможность сделать вывод о близком родстве таманской Афродиты Апатуры и херсонесской Девы.

Роднит Деву с Афродитой и змееногой прародительницей скифов и наличие в ее культе связи с водой. Так, тавры приносили в жертву богине только потерпевших кораблекрушение или захваченных на море; святилище богини находилось на скале, откуда сбрасывали (в море) обезглавленные тела (Hdt. IV 103); по словам Страбона (VII, 4, 2), в Херсонесе «есть святилище Девы, какой-то богини , по имени которой и мыс, находящийся перед городом на расстоянии 100 стадий, называется Парфением. Здесь имеется храм божества и его статуя». Интересно, что военнопленных в жертву Деве не приносили, хотя им также рубили головы для того, чтобы сделать из воткнутых на колья голов «стражей» таврских жилищ (Hdt. IV 103).

Кроме того, не только змееногая скифская богиня и Афродита (см.: Laumonier 1958: t. X) могли изображаться с растительными побегами вместо ног, что являлось эквивалентом змееногости (Curtius 1957: 194; ср. Moebius 1968: 716), но и Артемида (Toynbee, Perkins 1950: t. II, 1, 2; Kahil 1984: 629), с которой идентифицировалась богиня Дева.

Наконец, прародительницу скифов, Афродиту Апатуру и херсонесскую Деву сближает общая для всех этих богинь связь с загробным миром, и не только благодаря их пещерам[40], но и факту находки почти всех их изображений в могилах. В этой связи необходимо напомнить о появлении в одной из пантикапейских гробниц «склепа Деметры» (I в. н.э.), еще одного персонажа, связанного с пещерой и загробным миром, — нимфы Калипсо (Ростовцев 1911: 120 след.), древней богини, образ которой восходит к Великой богине Эгеиды (Christou 1967: 179ff.).

Наличие на Боспоре культа Девы фиксируется топонимом Парфений (возможно, не случайно неподалеку от него располагался Гераклий); теофорное наименование этого селения позволяет предполагать, что здесь существовало святилище Девы.

Предположение М.И.Ростовцева о том, что появление культа Девы у тавров могло быть связано с проникновением в Причерноморье доэллинских мореплавателей — ахейцев и карийцев, походы которых нашли отражение в предании об аргонавтах (Rostovtzeff 1921: 465-466), находит себе поддержку в свидетельствах почитания анонимной богини Девы (то, что это божество негреческое. показал еще Т.Рейнак (Reinach 1908: 498 sv.) в тех областях Малой Азии, где сохранились древние карийские культы (Laumonier 1958: 626)[41]. Эта Партенос представляла собою не что иное, как великую эгейско-карийскую богиню (Данилова 1981: 110).

Культ Девы у тавров и, по-видимому. на Боспоре, а также существование на Кавказе, в стране мосхов, святилища Левкотеи[42], по преданию, основанного еще Фриксом до похода аргонавтов (Strab. XI, 2, 17, 18), можно рассматривать

как следы доэллинских религиозных представлений, занесенных в Причерноморье эгейскими мореходами (Данилова 1981: 111). К этим представлениям относит В.И.Денисова и жертвоприношение собаки (о чем уже упоминалось), хотя она и не исключает местных истоков этого обряда. В данной связи необходимо упомянуть, что Л.А.Лелеков отмечает индоарийские корни практики принесения в жертву собак (Лелеков 1980: 125 след.)[43]

Чрезвычайно интересным является тот факт, что локализация трех важнейших северопричерноморских религиозно-мифологических персонажей, сходство которых мы пытались обрисовать выше, совпадает с территориями, на которых О.Н.Трубачев прослеживает следы индоарийского пласта в северном Причерноморье (Трубачев 1976; 1977; 1979). Что касается иконографических корней змееногого божества, то они ведут, по всей вероятности, к переднеазиатскому государству Митанни (Курочкин 1976: 65 след.; 1984: 37 след.), где выделены значительные индоарийские элементы.

Подведем итоги. О существовании у местного населения Северного Причерноморья культа Великого женского божества свидетельствуют не только соображения общего порядка, но и, насколько нам это удалось показать, весьма многочисленные факты. Об этом говорит не только главенство женского божества в скифском пантеоне Геродота, но главное — абсолютная доминанта женского образа в греко-скифском искусстве. С культом Великой богини, вероятно, связаны древнейшие памятники с изображением Иштар, Потнии Терон и ее символов, а также Горгоны, в которых скифы и синдо-меоты могли видеть образы своей Великой богини. Уже тот факт, что образ наследницы Великой богини Эгеиды — Владычицы зверей — послужил прототипом для иконографии змееногой богини, весьма красноречив. Анализ показывает, что именно этот наиболее сложный и многогранный образ можно считать самым адекватным воплощением идей, ассоциировавшихся у причерноморских варваров с их Верховной богиней. Религиозные верования, связанные с этим божеством, в частности. нашли свое выражение в одном из самых популярных мотивов боспорского искусства — изображении амазонок. О существовании в Северном Причерноморье культа Великой богини[44] может свидетельствовать также одинаковая структура верований, связанных с важнейшими женскими персонажами причерноморской мифологии (гилейской змеедевой, боспорской Афродитой Апатурой и херсонесской Девой).

Вслед за Ш.Пикаром можно предполагать, что наличие местного культа Великой богини подготовило почву для проникновения в Причемрноморье культов Северной Ионии (Picard 1922: 158)[45]. Как и в случае фракийской Великой богини-матери, пантеистическая природа Великой богини варваров Северного Причерноморья обеспечила благоприятную основу для ее синкретизма с главными женскими божествами греков.

Близость (или родство) скифской (говоря условно) Великой богини не только с фракийской Богиней-матерью, но и с малоазийско-греческой Матерью богов проявляется как в принятии ее иконографии (частичной или полной; см. Junger 1997), так и в ее связи с дионисийским кругом[46].

Примечания

[1] Гениальные прозрения К.Г.Юнга, в частности, наличие в человеческой психике этого архетипа, «великого женского образа» матери, которая некогда была для всех нас единственным миром, а впоследствии стала символом всей вселенной» (Юнг 1884: 248; см. также Юнг 1997), экспериментально подтверждаются наблюдениями из ЛСД-терапии (см., например: Гроф 1993: 212 и др.).

[2] «Все женские образы вавилонского пантеона воплощены в конечном счете в ней (Иштар. — И.Ш.)» (Jeremias 1906: 113; ср.: Mapp 1927).

[3] Следует отметить, что галл, служитель Кибелы, назывался «кибебос», т.к. его рассматривали как мужское воплощение богини Кибелы (Кибебы), а верховный жрец в Пессинунте сам считался Аттисом (Polyb. 22, 20; James 1959: 162).

[4] Об этой символике, во многом аналогичной символике Владычицы зверей, см. Christou 1968; passim.

[5] В дальнейшем М.И.Ростовцев, отказавшись от попыток подыскать имена для богинь, представленных на этом и других памятниках из скифских курганов, стал называть их просто «Великая богиня» или «Великая доарийская богиня-мать» (см., напр., Ростовцев 1990: 193).

[6] Эту точку зрения разделяет и А.А.Нейхардт (Нейхардт 1982: 191-192); возражения Д.А.Ольдерогге и Ю.К.Поплинского (Ольдерогге, Поплинский 1984: 154) не выглядят убедительными.

[7] Об этом популярном иконографическом типе и стоящем за ним образе универсальной богини см. глубокое интересное исследование Хр. Христу (Christou 1968).

[8] До сих пор неизвестно, скифами или меотами оставлены эти курганы (Мелюкова 1980: 124).

[9] Культуру луристанских бронз Р.Гиршман датирует VIII в. до н.э. и связывает с киммерийцами, которых считает близко родственными скифам. Однако, по мнению Д.Херцфельда (близкой точки зрения придерживается и Э.Порада), луристанские бронзы произошли от митаннийских печатей типа Киркук (см.: Членова 1971: 330). На этих печатях (ср. Флиттнер 1939), как и на луристанских бронзах, встречаются изображения змееногой богини, причем на бронзах она иногда очень напоминает кульобскую (см. Potratz 1939-1940: 181, Fig. 5).

[10] Кстати, рыба (дельфин) семантически очень близка змее (ср.: скальдический кеннинг рыбы «змея воды» (см. Гуревич 1972: 72).

[11] На ручке бронзового кратера первой половины VI в. до н.э. из кургана Мартоноша крылатая Горгона

хотя и не змеенога, но опирается на подставку, оканчивающуюся змеями (см.: Онайко 1966: табл. XIV).

[12] «Горгонеи — самый частый мифологический образ среди греческих по происхождению изобразительных мотивов на памятниках Скифии» (Раевский 1985: 173).

[13] «Иными словами, здесь практически в одном тексте соединены три персонажа, которые не связаны между собой в эллинской мифологии, но изображения которых по другим данным уже были истолкованы как осмысляемые в Скифии в качестве воплощений действующих лиц одного и того же местного мифа. Совпадение это представляется не случайным» (Раевский 1985: 175).

[14] Прекрасной иллюстрацией гипотезы о Горгоне — Великой богине может служить греческая икона XIX в., где над изображением нереиды (это — позднейшее развитие образа Горгоны, см.: Ziegler 1912: 1640) написано: GORGO PANAGIA (см.: Vermeule 1979: 196, fig. 20), т. е. Горгона названа «Всесвятой» (эпитет Богородицы!).

[15] Горгона ярко хтонична, связана с растительностью (см. Веселовский 1918: табл.1) и водной стихией (см.: Ziegler 1912: 1640, 1641), на изображениях очень часто крылата, связана с солнцем (нередко изображается в центре символа Гелиоса — трискелеса) и луной (см.: Ziegler 1912: 1644). Кроме того, Горгона связана с конями (она — мать Пегаса и кентавресса на памятниках искусства, см.: Тахо-Годи 1980: рис. на с. 315).

[16] О ее хтонизме наглядно свидетельствует змееногость (см.: Иванов 1980: 469, 470) и пещерное жилище (см.: Топоров 1982: 312); по одной из версий мифа, она — дочь речного божества; на уздечном уборе с ее изображениями сочетаются изображения рыб, которые могут ее изображение заменять (как на налобнике из Солохи). Валерий Флакк (VI, 58) называет змееногую прародительницу скифов Орой; любопытно, что Оры, которые являются богинями времени года, покровительницами урожая и живительных сил природы, а также блюстительницами закономерного течения человеческой жизни (см.: Тахо-Годи 1980а: 316), у Гомера заботятся о колеснице Геры и кормят ее коней (Jl. VIII, 432-435).

[17] См. также изображение Горгоны со змеями, выходящими из ее плеч (Marinatos 1927-8: 29, рис. 12); ср. с изображением на бляшках из Куль-Обы.

[18] Связь Горгоны с грифонами фиксируется изображением на ручке кратера из коллекции де Клерка; возможно, изображением на келермесском ритоне.

[19] Сама треугольная форма пластины могла иметь символическое значение (Бессонова 1983: 108; о символике треугольника см.: Топоров 1980: 272).

[20] Классическим является деление космических зон на подземную, земную и небесную, но возможна и та, которую мы предполагаем в данном случае (см.: Иванов 1974: 104).

[21] Прототипы этих округлых сосудов в раннескифское время богато орнаментированы символами солнца, земли, растительности, женского начала (Андриенко 1975: 14 сл.).

[22] Быть может, несколько отличными от скифских меотскими религиозными представлениями объясняется наличие ритона в руках у большой каменной статуи верховной богини меотов, найденной близ ст. Преградной (Шульц, Навротский 1973: 200, рис. 5).

[23] Мотив сидящей женщины (героизированной умершей в виде Богини) и подъезжающего к ней всадника распространен на поздних боспорских надгробиях (см.: Иванова 1951).

[24] О чем свидетельствуют, например, уникальные ритуальные алебастровые сосуды (интерпретацию см.: Фармаковский 1914: 4 сл.) и куски смолы.

[25] Об этом говорят, например, разнообразные золотые бляшки, в том числе в виде свернувшейся пантеры.

[26] Подобные изделия обнаружены в скифских курганах близ Ольвии и в Крыму (см.: Островерхов, Отрешко 1986: 64).

[27] Литейные формы и разнообразные костяные предметы из Ольвии и ее округи (см. Там же).

[28] О неверности интерпретации Худяком раскопанного им памятника в качестве святилища Деметры см.: Alexandrescu 1963.

[29] Следует отметить немногочисленность и маловыразительность граффити (подробнее см.: Марченко 1963).

[30] Среди граффити нет ни одного бесспорного посвящения (см.: Молев 1986: 43, рис. 8).

[31] Аналогичная терракота обнаружена на Майской Горе (см.: Марченко 1962: 128).

[32] Ср. с мирмекийским зольником и святилищем на Майской Горе.

[33] В этом же комплексе (разрушенном погребении кургана ст. Ивановской) найдены бляшки с изображением Геракла (Анфимов 1987: 129).

[34] Судя по тому, что этот герой носил также имя Санерга, идентичного Сандону (см.: КБН, №1015), можно предполагать наличие в этом образе малоазийских элементов (Gajdukevic 1971: 214).

[35] Н.А.Онайко (Онайко 1984: 283) предполагает какую-то связь этого изображения с легендой об Афродите Апатуре, однако для такого предположения в данном случае нет оснований.

[36] Судя по изображениям на памятниках искусства, у причерноморских варваров существовала наряду с оргиастической женской формой культа отрубленной головы, сопоставимой с аналогичными культами Восточного Средиземноморья, еще одна — воинская мужская (колпачок из Курджипса, ритон из Карагодеуашха, где под ногами лошадей бога и царя лежат обезглавленные тела). Вероятно, за этой формой рассматриваемого культа скрывается широко распространенная у первобытных народов вера в возможность получения магической силы, заключенной в голове, для захватившего ее в качестве трофея.

Интересно отметить, что ряд параллелей к комплексу идей, связанных с отрубленной головой у скифов, наблюдается у кельтов, у которых отрезание головы было национальным обычаем (см., например: Reinach 1913: 411 sv.; Lambrechrs 1954: 29 sv.). Так, отрубленные человеческие головы у кельтов легко могли трансформироваться в маски сатиров (Reinach 1913: 46); в этой связи любопытна и скульптурная группа (имеется несколько ее вариантов), где представлен бог-всадник, борющийся со змееногим гигантом, имеющим огромную голову (Lambrechts 1954: 91-92. fig.38), причем эта голова то бородата, то безборода (ср. с головами сатиров на пантикапейский монетах). Кстати, у кельтов существовала и этногоническая легенда, аналогичная скифской (см.: Fontenroze 1959: 149).

[37] См.: Гайдукевич В.Ф. Илурат... С.83, рис. 76. Аналогичная богиня с руками в виде ветвей представлена на фронтоне самого большого пантикапейского надгробия (I-II вв. н.э.) (Шкорпил 1914: 19; Гайдукевич 1958: 84, рис. 77). Богиня, которая очень напоми-

нает богиню, выходящую из растительных побегов на фронтоне саркофага из Тамани (см.: Стефани 1869: 177), изображена здесь в процессе анода. Ср. также очень популярные на Боспоре в начале нашей эры гипсовые налепы саркофагов в виде той же самой богини.

[38] Что побуждает некоторых исследователей к попыткам отрицать таврское влияние на культ херсонесской Девы (см., напр., Мещеряков 1979; ср. справедливую критику его позиции: Свенцицкая 1985: 46-47; см. также Шауб 1988).

[39] Ср. с известием Помпония Мелы (II, 3) о существовании в Херсонесе «нимфейской пещеры, посвященной нимфам».

[40] Пещера роднит всех этих богинь с Великой малоазийской богиней Кибелой, которая не только владела пещерными святилищами в Пессинунте, но само имя которой этимологизируется от слова «полость», пещера (см. Fauth 1968: 384; ср. Risler 1909).

[41] Показательно, что остров Самос, когда им владели карийцы, назывался Парфением (Strab. X, 2, 17). Это название связано с культом Геры, под именем которой на Самосе продолжала существовать одна из форм культа Великого женского божества Эгеиды (Томсон 1958: 281). По весьма правдоподобному предположению А.Б.Кука, существование на Самосе реки Парфений могло быть связано с преданием о возобновлении Герой своей девственности; подобная легенда существовала в Аргосе, где рассказывали, что богиня ежегодно восстанавливает свою девственность, омываясь в источнике Канат близ Навплии (Cook 1940: 1043).

[42] Древняя эгейская богиня, следы культа которой прослеживаются в Карии (см. Laumonier 1958: 558, 672).

[43] Ср. принесение в жертву собак таврами (см.: Лесков 1965: 186 сл.).

[44] Археологические данные и (косвенно) свидетельства письменных источников позволяют говорить о наличии этого феномена не только у скифов, но и у сарматов (см., напр., Граков 1947; Смирнов 1964: 202 след.; Раев 1984: 133-135).

[45] «Множественность культов, с одной стороны, была следствием стремления получить покровительство самых разных богов, а с другой, как отмечал еще Тарн, желанием, быть может, не всегда рационально осознанным (вернее, почти всегда неосознанным. — И.Ш.) видеть во множестве богов ипостаси одного могущественного божества» (Свенцицкая 1985: 48).

[46] Знаменательно, что в надписях столь родственной Фракии Фригии, большая часть которых посвящена Великой Богине-матери, из прочих богов надежно засвидетельствованы только Сабазий и Аполлон (см.: Василева 1990: 94, 99).

ЛИТЕРАТУРА

Абаев В.И. 1962. Культ «семи богов» у скифов. // Древний мир. Сб. статей, посвященный акад. В.В.Струве. М., с. 445-450.

Аверинцев С.С. 1980. Архетипы. // МНМ, I, с. 110-111.

Аверинцев С.С. 1982. Троица. // МНМ, II, с. 527-528.

Андриенко В.П. 1975. Земледельческие культы племен лесостепной Скифии (VII-V вв. до н.э.) // Автореф. канд. дис. Харьков.

Антонова Е.В. 1979. О характере религиозных представлений неолитических обитателей Анатолии. // Культура и искусство народов Средней Азии в древности и средневековье. М, с. 12-35.

Анфимов Н.В. 1977. Религиозные верования у меотов. // Сборник трудов по археологии Адыгеи. Майкоп, с. 111-128.

Анфимов Н.В. 1987. Древнее золото Кубани. Краснодар.

Артамонов М.И. 1961. Антропоморфные божества в религии скифов. // АСГЭ, 2, с. 57-87.

Артамонов М.И. 1966. Сокровища скифских курганов. Л. Прага.

Бессонова С.С. 1976. Культ Табити-Гестии у скифов. Открытия молодых археологов Украины, I, Киев, с. 24-25.

Бессонова С.С. 1983. Религиозные представления скифов. Киев.

Бессонова С.С., Кирилин Д.С. Надгробный рельеф из Трехбратнего кургана. // Скифы и сарматы. Киев, с. 128-139.

Блаватский В.Д. 1964. Воздействие античной культуры на страны Северного Причерноморья (IV в. до н.э. — III в. н.э.) // СА, 4, с. 25-35.

Блаватский В.Д. 1974. Сцена инвеституры на карагодеуашхском ритоне. // СА, I, с. 3844.

Булава Л.А. 1987. К атрибуции золотого колпачка из Курджипского кургана. // СА, I, с. 254-257.

Василева М. 1990. Гора, бог и имя: о некоторых фрако-фригийских параллелях // ВДИ, 3.

Вахтина М.Ю. 1998. К вопросу об иконографии женских божеств на келермесских зеркале и ритоне // Боспорское царство как историко-культурный феномен. СПб., с. 67-71.

Веселовский Н.И. 1918. Бронзовый панцирный нагрудник с изображением головы Медузы. // ИАК, 65, с. 1-8.

Виноградов Ю.А. 1981. К вопросу о мирмекийском зольнике. // «Актуальные проблемы археологических исследований в УССР». ТД республиканской конференции молодых ученых. Киев, с. 79-80.

Виноградов Ю.А. 1993. О ритонах из кургана Карагодеуашх // ПАВ 6, с. 66-71.

Гайдукевич В.Ф. 1949. Боспорское царство. М.; Л.

Гайдукевич В.Ф. 1950. Боспорский город Илурат. // СА, 13, с. 173-204.

Гайдукевич В.Ф. 1958. Илурат. Итоги археологических исследований 1948-1953 гг. // МИА, 85, с. 9-148.

Галанина Л.К. 1980. Курджипский курган. Л

Городцов В.А. 1926. Дако-сарматские религиозные элементы в русском народном творчестве. // ТГИМ I, с. 7-36.

Граков Б.Н. 1947. Пережитки матриархата у сарматов. // ВДИ, 3, с. 100-121.

Граков Б.Н. Скифы. М.

Грач А.Д. 1949. Человеческие жертвоприношения в эпоху распада Боспорского царства. // Природа, 9, с.81-82.

Грач А.Д. 1952. К вопросу о позднем этапе «тавроскифских» культовых представлений. // СЭ, 4, с. 174-181.

Гринцер П.А. 1982. Шакти. // МНМ, II, с. 636.

Гроф С. 1993. За пределами мозга. М.

Гуревич А.Я. 1972. Категории средневековой культуры. М.

Гусева Н.Р. 1977. Индуизм. М.

Денисова В.И. 1981. Коропластика Боспора. Л.

Доватур А.И., Каллистов Д.П., Шишова И.А. 1982. Народы нашей страны в «Истории» Геродота. М.

Древности Боспора Киммерийского, хранящиеся в

музее Эрмитажа. (ДБК) 1854, 1-2, СПб.
Ельницкий Л.А. 1960. Из истории древнескифских культов. // СА, 4, с. 46-55.
Ельницкий Л.А. 1961. Знания древних о северных странах. М.
Емец И.А., Масленников А.А. Культовые захоронения животных на позднеантичных поселениях европейского Боспора // Реконструкция древних верований. СПб, 1991.
Жебелев С.А. 1953. Северное Причерноморье. М-Л.
Зелинский Ф.Ф. 1922. Религия эллинизма. Пг.
Иванов В.В. 1974. Опыт истолкования древнеиндийских ритуальных и мифологических терминов, образованных от asva «конь». // Проблемы истории языков и культуры древней Индии. М.
Иванов В.В. 1980. Змей. // МНМ, I., с. 468-471.
Иванов В.В. 1980а. Конь. // МНМ, I, с. 666.
Иванов В.В. 1923. Дионис и прадионисийство. Баку.
Иванова А.П. 1951. Местные мотивы в декоративной скульптуре Боспора. // СА, 15, с. 188-203.
Иванова А.П. 1951а. Керченская стела с изображением всадника и сидящей женщины. // КСИА, 39, с. 27-34.
Иванова А.П. 1953. Искусство античных городов Северного Причерноморья. Л.
Кардини Ф. 1987. Происхождение средневекового рыцарства. М.
Корпус боспорских надписей (КБН). 1965. М.-Л.
Курочкин Г.Н. 1975. К вопросу о переднеазиатском этапе в развитии скифского искусства. // Конференция «Ранние кочевники Средней Азии и Казахстана. ТД, Л., с. 65-67.
Курочкин Г.Н. 1984. Индоиранские элементы в искусстве Древнего Востока и исторические корни скифо-сибирского искусства. Конференция «Скифо-сибирский мир». ТД, Кемерово, с. 37-39.
Курочкин Г.Н. 1993. Богиня с зеркалом и герой с секирой // Скифия и Боспор. Новочеркасск, с. 68-79.
Лаппо-Данилевский А., Мальмберг В. 1894. Курган Карагодеуашх. // МАР, 13, СПб.
Латышев В.В. 1913. Жития свв. епископов Херсонских в грузинской минее. // ИАК, 49, с. 75-88.
Лелеков Л.А. 1980. Дискуссионные проблемы отечественной скифологии. // НАА, 5, с. 125-128.
Лелеков Л.А. 1984. К символизму погребальных облачений скифо-сакского мира («золотые люди»). // Конференция «Скифо-сибирский мир». ТД, Кемерово, с. 39-41.
Лесков А.М. 1965. Горный Крым в I тыс. до н. э. Киев.
Лосев А.Ф. 1957. Античная мифология в ее историческом развитии. М.
Луконин В.Г. 1977. Искусство древнего Ирана. М.
Максимова М.И. 1954. Серебряное зеркало из Келермеса. // СА, 21, с. 281-305.
Максимова М.И. 1956. Ритон из Келермеса. // СА, 25, с. 215-235.
Манцевич А.П. 1964. О пластине из кургана Карагодеуашх. // АСГЭ, 6, с. 128-138.
Манцевич А.П. 1966. Деревянные сосуды скифской эпохи. // АСГЭ, 8, с. 23-38.
Марр Н.Я. 1927. Иштар (от богини матриархальной Афревразии до героини любви феодальной Европы). // ЯС. V, с. 109-178.
Марти Ю.Ю. 1941. Разведочные раскопки вне городских стен Тиритаки. // МИА, 4, с. 25-36.
Марченко И.Д. 1960. К вопросу о культах азиатского Боспора. // ВДИ, 2, с. 101-107.
Марченко И.Д. 1962. Новые данные об античном святилище вблизи Фанагории. // 50 лет ГМИИ им. А.С.Пушкина. М., с. 121-133.
Марченко И.Д. 1963. Некоторые итоги раскопок на Майской Горе. // КСИА, 95, с. 86-90.
Марченко И.Д. 1974. Терракоты из святилища на майской Горе (Блеваке). // ТСП, IV, М., с. 31-35.
Мачинский Д.А. 1978. Пекторалъ из Толстой Могилы и великие женские божества Скифии. // Культура Востока. Л., с. 131-150.
Мелюкова А.И. 1980. Дискуссионные проблемы отечественной скифологии. // НАА, 5, с. 123-125.
Мещеряков В.Ф. 1979. О культе богини Девы в Херсонесе Таврическом. // Актуальные проблемы изучения истории религии и атеизма. Л., с. 104-118.
Мозолевський Б.М. 1979. Товста Могила. Киев.
Молев Е.А. 1985. Археологические исследования Китея в 1970-1983 гг. // Археологические памятники Юго-Восточной Европы. Курск, с. 40-67.
Молев Е.А. 1986. Боспорьске місто Кітей IV-III ст. до н. э. (за матеріалами розкопок 1970-1981 рр.) // Археологія, 54, с. 33-46.
Молева Н.В. 1998. Собака в религиозных представлениях боспорян // Боспорское царство как историко-культурный феномен. СПб., с. 60-62.
Нейхардт А.А. 1982. Скифский рассказ Геродота в отечественной историографии. Л.
Ольдерогге Д.А., Поплинский Ю.К. 1984. Проблемы скифологии в перспективе истории и этнографии (А.А.Нейхардт. Скифский рассказ Геродота в отечественной историографии. Л., Наука, 1982). // ВДИ, 4, с. 149-159.
Онайко Н.А. 1966. Античный импорт в Приднестровье и Побужье в VII-V вв до н. э. М.
Онайко Н.А. 1974. Заметки о технике боспорской торевтики. // СА, 3, с. 78-86.
Онайко Н.А. 1984а. Рец. на кн.: Галанина Л.К. Курджипский курган. Л., Искусство, 1980. // СА, I, с. 280-285.
Островерхов А.С., Отрешко В.М. 1986. Новый образец звериного стиля, найденный в Ольвии // ПДИСЗП, К.
ОАК. 1909-1910 (1913).
Петренко В.Г. 1980. Изображение богини Иштар из кургана в Ставрополье. // КСИА, 162, с. 15-19.
Петров В.П., Макаревич М.Л. 1963. Скифская генеалогическая легенда. // СА, I, с. 20-31.
Пиотровский Б.Б. 1959. Ванское царство (Урарту). М.
Пругло В.М. 1970. Терракоты из Тиритаки. // ТСП, II, М., с. 90-94.
Прушевская Е.О. 1917. Родосская ваза и бронзовые вещи из могилы на Таманском п-ове. // ИАК, 63, с. 31-58.
Пятышева Н.В. 1947. Культ греко-тавро-скифского божества в Херсонесе. // ВДИ, 3, с. 213-218.
Раев Б.А. 1984. Пазырык и «Хохлач»: некоторые параллели. // Конференция «Скифо-сибирский мир». ТД, Кемерово, с. 133-135.
Раевский Д.С. 1977. Очерки идеологии скифо-сакских племен. Опыт реконструкции скифской мифологии. М.
Раевский Д.С. 1985. Модель мира скифской культуры. М.
Ростовцев М.И. 1911. Роспись керченской гробницы, открытой в 1891 г. // Сб. археологических статей, поднесенный графу А.А.Бобринскому. СПб., с. 119-154.
Ростовцев М.И. 1913. Представления о монархической власти в Скифии и на Боспоре. // ИАК, 49, с. 1-62.
Ростовцев М.И. 1918. Эллинство и иранство на юге

России. Пг.
Ростовцев М.И. 1925. Скифия и Боспор. Л.
Ростовцев М.И. 1990. Иранский конный бог и Юг России // ВДИ, 2, с. 192-200.
Русяева А.С. 1992. Религия и культы античной Ольвии. К.
Рыбаков Б.А. 1981. Язычество древних славян. М.
Савостина Е.А. 1990. Фронтон античного храма: образ универсума // медуза Горгона // Образ // смысл в античной культуре. М., с. 134-150.
Сапрыкин С.Ю. 1978. О культе Геракла в Зерсонесе и Гераклее в эпоху эллинизма. // СА, I, с. 38-52.
Сапрыкин С.Ю., Масленников А.А. 1998. Люди и их боги. Религиозное мировоззрение в Понтийском царстве // Человек и общество в античном мире. М.. с. 363-397.
Свенцицкая И.С. 1985. Некоторые особенности религиозного синкретизма в эпоху эллинизма. // Причерноморье в эпоху эллинизма. Тбилиси, с. 41-49.
Скуднова В.М. 1988. Архаический некрополь Ольвии. Л.
Смирнов К.Ф. 1964. Савроматы. М.
Стефани Л. 1869. Объяснение некоторых вещей, найденных в 1868 г. в Южной России. ОАК, с. 3-216.
Тахо-Годи А.А. 1980. Горгоны. // МНМ, I, с. 315-316.
Тахо-Годи А.А. 1980а. Горы. МНМ, I, с. 316.
Толстой И., Кондаков Н. 1889. Русские древности в памятниках искусства. Классические древности южной России. СПб.
Толстой И.И. 1966. Статьи о фольклоре. М.-Л.
Томсон Д. 1958. Исследования по истории древнегреческого общества. Доисторический эгейский мир. М.
Топоров В.Н. 1971. О структуре некоторых архаических текстов, соотносимых с концепцией «мирового дерева». // Труды по знаковым системам, 5, Тарту, с. 9-61.
Топоров В.Н. 1980. Геометрические символы. // МНМ, I, с. 272-273.
Топоров В.Н. 1980а. Древо мировое. // МНМ, I, с. 398-406.
Топоров В.Н. 1982. Пещера. // МНМ, II, с. 300-302.
Трубачев О.Н. 1976. О синдах и их языке. // ВЯ, 4, с. 39-63.
Трубачев О.Н. 1977. Лингвистическая периферия древнейшего славянства. Индоарийцы в Северном Причерноморье. // ВЯ, 6, с. 13-29.
Трубачев О.Н. 1979. «Старая Скифия» Геродота (IV, 99) и славяне. Лингвистический аспект. // ВЯ, 4, с. 29-45.
Фармаковский Б.В. 1914. Архаический период в России. // МАР, 34, с. 15-78.
Флиттнер Н.Д. 1939. Сиро-хеттские памятники Эрмитажа. // Труды отдела Востока ГЭ, I, Л., с. 21-43.
Фрейденберг О.М. 1936. Поэтика сюжета и жанра. Л.
Худяк М.М. 1962. Из истории Нимфея VI-III вв. до н. э. Л.
Членова Н.Л. 1071. Памятники I тыс. до н. э. Северного и Западного Крыма в проблеме киммерийско-карасукской общности. // Искусство и археология Ирана. М., с. 323-339.
Шауб И.Ю. 1979. Миф об Афродите Апатуре и его местная основа. // Материалы III Всесоюзного симпозиума по древней истории Причерноморья на тему «Местное население Причерноморья в эпоху Великой греческой колонизации». Цхалтубо, 1979, ТД, Тбилиси, с. 85-87.
Шауб И.Ю. 1981. Пантикапейский Эрот-Геракл. // КСИА, 168, с. 42-43.
Шауб И.Ю. 1987. К вопросу о культе великого женского божества у меотов и скифов. Конференция «Религиозные представления в первобытном обществе». ТД, М., с. 215-217.
Шауб И.Ю. 1987а. Культы и религиозные представления населения Боспора VI-IV веков до н.э. Автореф. канд. дисс. Л.
Шауб И.Ю. 1987б. Погребения кургана Большая Близница как источник по истории религиозных представлений жителей Боспорского царства. // КСИА, 191, с. 27-33.
Шауб И.Ю. 1987в. К вопросу о культе отрубленной человеческой головы у варваров Северного Причерноморья и Приазовья. // Античная цивилизация и варварский мир в Подонье-Приазовье. ТД. Новочеркасск, с. 16.
Шауб И.Ю. 1988. О происхождении культа богини Девы в Херсонесе // Проблемы исследования античного и средневекового Херсонеса. ТД. Севастополь, с. 128-130.
Шауб И.Ю. 1991. Образ Медузы Горгоны в Северном Причерноморье // Древние культуры и археологические изыскания. СПб., с. 70-72.
Шауб И.Ю. 1993. Амазонки на Боспоре // Скифия и Боспор. Новочеркасск, с. 79-88.
Шауб И.Ю. 1998. Варварские элементы в культе Аполлона на Боспоре // Клио, 1(14), с. 67-74.
Шкорпил В.В. 1914. Отчет о раскопках в г. Керчи и на Таманском полуострове в 1911 г. // ИАК, 56, с. 1-74.
Шрамко Б.А. 1962. Древности Северского Донца. Харьков.
Штернберг Л.Я. 1936. Первобытная религия в свете этнографии. Л.
Шульц П.Н. 1953. Мавзолей Неаполя Скифского. М.
Шульц П.Н., Навротский Н.И. 1973. Прикубанские изваяния скифского времени. // СА, 4, с. 189-204.
Юнг К.Г. 1994. Либидо, его метаморфозы и символы. СПб.
Юнг К.Г. 1997. Психологические аспекты архетипа матери // В кн. Юнг К.Г. Душа и миф. К.-М.
Яйленко В.П. 1977. Заметки по греческой лексике и ономастике. // ИКАМ, М., с. 216-224.
Яйленко В.П. 1995. Женщины, Афродита и жрица спартокидов на новых боспорских надписях // Женщина в античном мире. М., с. 204-273.
Alexandrescu P. 1963. Рец. на кн.: M.M.Hudiak. Из истории Нимфея VI-III вв. до н. э. Leningrad, 1962/ // StCl, 5, с. 429-430.
Brasinskij J.B., Marcenko K.K. 1984. Elisavetovskoje. Skythische Stadt im Don-Delta. München.
Burkert W. 1979. Structure and History in Greek Mythology and Ritual. Berkley-Los Angeles-London.
Chrisrou Ch. 1968. Potnia Theron. Thessalonike.
Cook A.B. 1940. Zeus. A Study in Ancient Religion, III, Cambr.
Curtius L. 1957. Torso. Stuttgart.
Eisler R.1909. Kuba-Kybele. // Philologus, 68, с. 118-151.
Eliade M. 1971. Patterns in Comparative Religion. London-Sydney.
Farnell L.R. 1896. The Cults of the Greek States. II, Oxford.
Fauth W. 1968. Kybele. // KlP, 3, стб. 383-389.
Filow B. 1927. Die archaische Nekropole von Trebenischte. Berlin-Leipzig.
Fontenrose H. 1959. Python: A Study of Delphic Myth and its Origins. Berkeley.
Frazer J.C. 1922. Adonis, Attis, Osiris. London.
Frothingham A.L. 1911. Medusa, Apollo and the Great Mother. // AJA, 15, 3, с. 349-377.
Gajdukevic V.F. 1971. Das Bosporanische Reich. Berlin-

Amsterdam.
Ghirschman R. 1964. Iran, Protoiraner, Meder und Achämeniden. München.
Gimbutas V. 1974. The Gods and Goddesses of Old Europe. London.
Gimbutas M. 1991. The Civilization of the Goddess. San-Francisco.
Gruppe O. 1906. Griechische Mythologie und Religionsgeschichte. München.
James E.O. 1959. The Cult of the Mother Goddess. London.
Jeremias A. 1906. Das Alter Testament im Lichte des alten Orients. Leipzig.
James F. 1997. Dentungsvorschläge zur sog. «Sitzenden Göttin» // Eikon, Bd. IV, München, c. 49-60.
Kahil L. 1984. Artemis. // LIMC, II, c. 618-753.
Lambrechts P. 1954. L'exaltation de la tête dans la pensée et dans l'art des celtes. Brugge.
Laumonier A. 1958. Les cultes indigenes en Carie. P.
Leclant. J. 1960. Astarte à cheval. // Syria, 57, c. 1-67.
Leonhard W. 1911. Hettiter und Amazonen. Leipzig-Berlin.
Malten L. 1914. Das Pferd im Totenglauben. // JdI, 29, c.179-256.
Manzewitsch A. 1932. Ein Grabefund aus Chersonnes. Leningrad.
Marinatos S. 1927-1928. GORGONES KAI GORGONEIA. // AE, c. 7-41.
Moeblus H. 1968. Die gratulierende Rankenfrau Festschrift C.v.Lueken. Rostock, c. 715-719.
Neugebauer K.A. 1923-1924. Reifarchaische Bronzevasen mit Zingenmuster. // RM, 38.39, c. 341-440.
Nillson M.P. 1925. A History of Greek Religion. Oxford.
Nillson M.P. 1967. Geschichte der griechischen Religion. I, 3 Aufl., München.
Picard Ch. 1922. Ephese et Claros. Paris.
Potratz H. 1939-1940. Die Luristanbronzen des Staatlichen Museums für Vor- und Frühgeschichte zu Berlin. // PZ, 30-31, 1/2, c. 169-198.
Reinach A. 1913 a. Les têtes coupées chez les celtes. // RHR, 68, 1, c.41-48.
Reinach A. 1913 b. L'origine des amazones. // RHR, 68, 3, c. 277-307.
Repnach S. 1910. Repertoire de la statuaire grecque et romaine, IV, Paris.
Reinach Th. 1908. PARFENON // BCH, 32, c. 498-513.
Rostowzew M. 1913. Fische als Pferdeschmuck. // Opuscula archaeologia O.Montelio dicata. Stockholm, c. 223-232.
Rostovtzeff M. 1921. Le culte de la Grande Déesse dans la Russie méridionale. // REG, 32, c. 462-481.
Rostovtzeff M. 1922. Iranians and Greeks in South Russia. Oxford.
Ruge W. 1934. Teos. RE, IX, стб. 539-570.
Toepffer J. 1894. Amazones. // RE, I, 2, стб. 1754-1771.
Toynbee J.M.C., Perkins J.B.W. 1950. Peoples Scrolls. A Hellenistic Motif in Imperial Art. // Papers of the British School at Rome, 18, c.1-43.
Vermeule E.T. 1979. Aspects of Death in Early Greek Art and Poetry. Berkeley-Los Angeles-London.
Woodroffe J. 1920. Shakti and Shakta. London.
Ziegler K. 1912 Gorgo. // RE, VII, 2, стб. 1630-1655.

Горончаровский В.А.

К ВОПРОСУ О КУЛЬТЕ КИБЕЛЫ НА БОСПОРЕ В ПЕРВЫЕ ВЕКА Н.Э.*

Goroncharovsky V.A. To the question of the cult of Kybele on Bosporos in the first centuries A.D.

The article is dedicated to the place of cult of Kybele in the religious views of the population of Bosporos in the first centuries A.D. Having analyzed sculptural images of this goddess that were found on Bosporos, the author comes to the conclusion that they come from the prototype of Asia Minor. However, the cult of Kybele have not got wide spreading here, her image mingles with the images of Aphrodite, Demeter and Artemis into one female deity – Great Mother. This is a reflection of the general tendency to the syncretism of certain divine beings in the old ancient world.

Среди разнообразных находок, сделанных во время многолетних раскопок городища Мирмекий отрядом Боспорской экспедиции под руководством Ю.А.Виноградова, художественные изделия из мрамора были достаточно редки. Поэтому обнаруженная здесь в 1992 г. мраморная статуэтка Кибелы (Рис. 1) размерами 26×15,5×10 см, безусловно, заслуживает специального внимания[1].Она происходит из помещения XVII, являющегося частью крупного здания, вскрытого на площади около 40 кв. м (раскоп Р). Не исключено, что это помещение могло играть роль домашнего святилища, поскольку в слое над ним найден фрагмент другой мраморной скульптуры.

Сюжетно и композиционно статуэтка мало чем отличается от многочисленных вотивных скульптур и небольших рельефов (Ср.: Саверкина 1986: 132,133. № 55,56; Catling, Waywell 1977: 93-94; Camp 1990: 65. Fig. 30). Кибела представлена сидящей на троне с высокой спинкой, без подлокотников. Она облачена в высоко подпоясанный хитон, поверх которого накинут плащ, окутывающий левую руку и нижнюю часть фигуры. На плечи спускаются пряди волос. В несохранившейся правой руке (имеется отверстие для ее крепления), судя по аналогиям, находилась фиала. В этой связи интересно отметить происходящий из Мирмекия хорошо отшлифованный небольшой фрагмент мраморной кисти правой руки с фиалой диаметром 6 см. Он был найден в осыпи южного борта раскопа 1986 г. и хранится в Керченском лапидарии (инв. № 1783).

Ниже левой руки статуэтки, сбоку, вырезан паз в виде ласточкина хвоста (5,5×3,5×1,5 см), скорее всего, предназначенный для крепления тимпана. Под ногами богини скамеечка с резко выступающей верхней планкой и ножками, при этом правая нога слегка выдвинута вперед. На коленях у нее маленькая фигурка львенка, представленная в весьма обобщенной манере. Такая композиция, как принято считать, восходит к малоазийскому оригиналу последней четверти V в. до н.э. (Саверкина 1986: 133).

Данное скульптурное изображение явно предназначалось для установки у стены или в нише и было рассчитано на обозрение спереди, т.к. тыльная сторона его имеет неровную, бугристую поверхность. Выявлены следующие утраты: голова, кисть правой руки и носок правой ноги. Имеются свежие сколы на груди, предплечье, колене, хитоне и туловище львенка. Поверхность скульптуры местами сильно окатана, с белыми пятнами известкового налета.

Описываемая статуэтка, судя по материалам комплекса, в котором она была найдена, относится к I-II вв. н.э., когда на Боспоре наблюдается рост популярности ряда женских божеств, связанных с плодородием. Основным местом почитания Кибелы на Боспоре в это время, несомненно, была столица царства, Пантикапей, где этот культ известен с III в. до н.э. (КБН: № 21,23). Очевидно, только давними местными традициями можно объяснить появление такого засвидетельствованного Гесихием эпитета Кибелы, как «киммерийская богиня» (SC. I: 853). Новый импульс развитие этого культа, по-видимому, получило в период принципата Клавдия, когда в рамках империи проводится его реорга-

* Данная статья подготовлена при финансовой поддержке Research Support Scheme (грант № RSS 1194/1997).

[1] Пользуюсь случаем выразить свою благодарность Ю.А.Виноградову за предоставленную информацию и возможность опубликовать данную находку

© Горончаровский В.А., 1999.

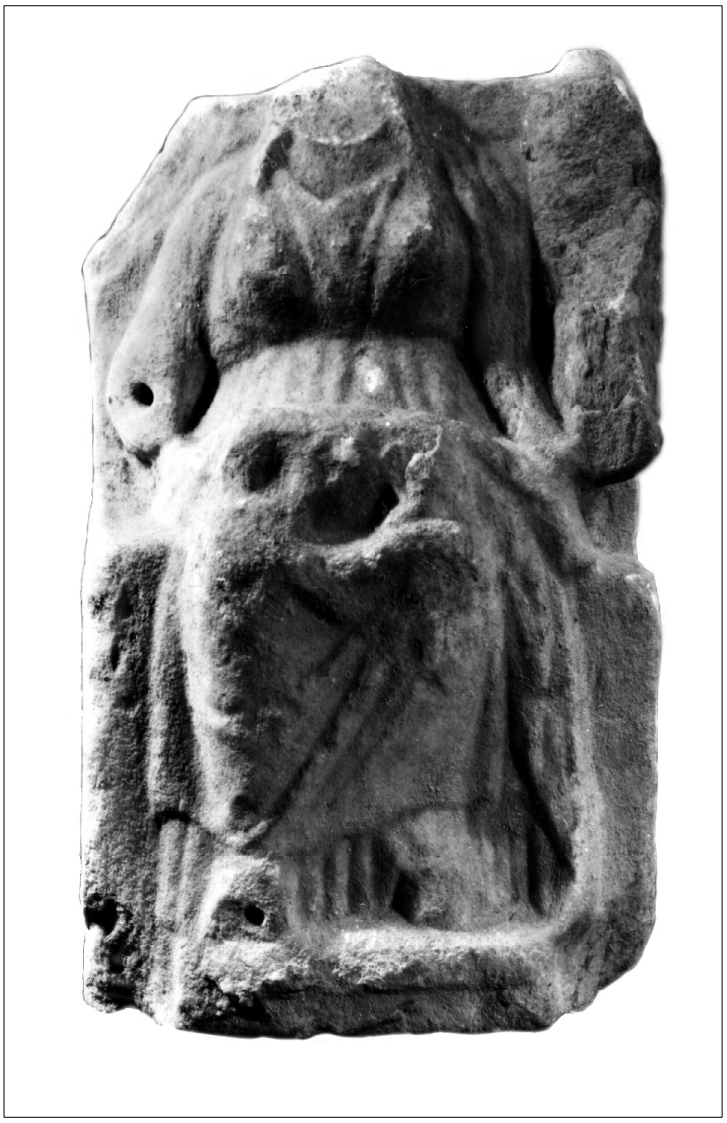


Рис. 1. Мраморная статуэтка Кибелы I-II в.в. н.э. из раскопок Мирмекия.

низация, связанная с введением почитания Аттиса (Богатова 1998: 21)[2] или даже чуть ранее. Вряд ли Боспор, как вассальное по отношению к Риму государство, мог остаться в стороне от имперской религиозной политики (Škorpil 1913: 202). Именно в это время на медных боспорских монетах Кесарии (Пантикапея), Гипепирии и Митридата VIII (39/40-44/45 гг.) появляется изображение головы богини в калафе и покрывале вправо (Анохин 1986: 151, табл. 12: 322, 326). Еще В.В.Шкорпил предположил, что здесь представлена Кибела в характерном для нее головном уборе (Škorpil 1913: 196), и данная гипотеза, безусловно, заслуживает внимания. Не исключено, что уже в это время на акрополе Пантикапея в честь Кибелы был воздвигнут храм, с которым связана мраморная статуя богини высотой 1,06 м, обнаруженная в период до 1826 г. на северном склоне г. Митридат (Кобылина 1978: 33-34. № 5; Саверкина 1986: 128-130. № 53; Škorpil 1913: 197). Она изображена сидящей на высоком троне со скамеечкой под ногами. Опущенная левая рука ее придерживала тимпан, правая — лежала на голове льва. Прототипом для этой статуи, вероятно, послужила скульптура Матери богов из Афин, приписываемая Агоракриту (Plin. Nat. Hist., XXXVI, 17), ученику и любимцу Фидия, и относящаяся к третьей четверти V в. до н.э. (Salis 1913: Abb. 1,2). В то же время укороченные пропорции и тщательная полировка мраморной поверхности позволяют считать ее работой копииста II в. н.э. (Максимова, Наливкина 1955: 306, рис. 17). Это единственный для Боспора пример воплощения образа Кибелы в монументальной скульптуре.

Усилившаяся индивидуализация религиозного сознания в позднеантичный период способствовала увеличению числа домашних святилищ, в том числе и на Боспоре. Очевидно, для них и предназначались небольшие мраморные статуэтки сидящей Кибелы первых веков н.э.

[2] Ср. с распространением на Боспоре именно в I-III вв. н.э. теофорного имени Аттас (КБН № 77, 83, 343, 660, 1018, 1134, 1138, 1186, 1189, 1191, 1243, 1264, 1277).

Некоторые из них являются вольной интерпретацией уже упоминавшегося прототипа, например, статуэтка Кибелы в собрании ГИМа высотой 0,32 м, считающаяся происходящей из Керчи (Соколов 1972: 75, рис. 64*)*. В данном случае богиня с калафом на голове опирается согнутой левой рукой на голову льва, сидящего у края трона, а в правой — держит фиалу. Другие статуэтки, как и мирмекийская, повторяют хорошо известный традиционный тип Кибелы с львенком на коленях, воспроизводившийся наиболее часто. Можно указать на поврежденную — отсутствуют голова и левая рука — мраморную статуэтку (размеры по фасу 0,155×0,11 м), найденную в 1891 г. в районе предполагаемого святилища богини на горе Митридат (Škorpil 1913: 200. Obr. 7). Из Пантикапея происходит и частично сохранившаяся (без головы и обеих рук) мраморная статуэтка размерами 0,46×0,39×0,36 м, обнаруженная в засыпи с боспорскими монетами I-II вв. н.э. (Шкорпил 1914: 20, рис. 9). Среди находок этого времени представлен также фрагмент сильно поврежденной сколами мраморной головы Кибелы в башенной короне из Тиритаки размерами 11,5×9×8 см (раскопки О.Д.Чевелева 1984 г., инв. № КЛ 1803). Край головного убора выделен здесь рельефным валиком. Прическа богини, состоящая из мельчайших завитков, разделена посередине прямым пробором. В ушах сохранились отверстия для крепления серег. По пропорциям она вполне соответствует вышеописанным скульптурам, т.к. общая высота статуэтки вряд ли была меньше 0,6 м.

Вышеупомянутые скульптурные изображения Кибелы, в основном, восходят к тем образам богини, которые сложились в Малой Азии эллинистического периода и, скорее всего, являются привозными (Кобылина 1978: 10). К произведениям местных мастеров вполне определенно можно отнести только известняковые вотивные рельефы I в. н.э. из Пантикапея и некрополя Нимфея (Марти 1934: 64-66, рис. 4,5), где представлены три персонажа — Кибела в калафе на троне и Гермес и Кора с двумя факелами. Образ богини в сходном виде воспроизводился на Боспоре и в более позднее время. Примером этого может служить рельеф из Пантикапея II-III вв. н.э. со схематично изображенной фигурой Кибелы с львенком на коленях между двумя львами и плохо различимыми фигурами в обрамлении (Кобылина 1978: 13, рис. 14). В целом такая композиционная трактовка характерна для малоазийского и фракийского искусства I-III вв. н.э. (Тачева-Хитова 1982: 210-218).

Судя по всему, в своих традиционных формах культ Кибелы, носивший на Боспоре первых веков н.э. официальный характер, не получил широкого распространения. В этой связи обращает на себя внимание тот факт, что рассмотренные типы изображений Кибелы совершенно не представлены среди изделий коропластов, доступных широким слоям населения позднеантичного Боспора. В редких случаях сохраняются только отдельные характерные черты: богиня восседает на троне с чашей и тимпаном в руках (ТСП 1974: 35, табл. 48, 1*)*. Все же такой образ достаточно обезличен и, очевидно, является следствием синкретизма целого ряда женских божеств в религиозных представлениях боспорян I-III вв. н.э. В первую очередь это касается Кибелы[3] , Афродиты, Деметры и Артемиды. Слияние их функций придало женскому божеству, которое могло выступать в зависимости от ситуации под разными именами, черты Великой матери и владычицы всего сущего (Кругликова 1966: 110). Не исключено, что именно такая трактовка скрывается за посвящением «великой богине» на фрагменте краснолакового сосуда, найденном, как и упоминавшаяся культовая статуя Кибелы, на северном склоне г. Митридат (Шкорпил 1901: 163. № 2). В этой связи заслуживает упоминания посвящение II в. н.э. богине Ма и распространение на Боспоре в I-III вв. до н.э. теофорных имен Ма и Маей (Лурье 1948: 204 сл.*)*. Имя Ма можно рассматривать как сокращенную форму. В качестве параллели в данном отношении следует отметить, что в Ионии, Малой Азии и Ольвии встречается такое наименование Кибелы, как просто Ма или Ме (МН = МНТНR) (Русяева 1972: 37; 1992: 146). Те же явления наблюдаются и относительно круга мужских божеств, где наряду с сохранением ряда традиционных культов появляется почитание анонимного Бога Высочайшего. В образе последнего отдельные исследователи видят слияние черт греческого Зевса, иудейского Яхве, Сабазия и иранского конного бога (Блаватский 1964: 197; Соломоник 1973: 56).

Таким образом, в религиозных представлениях населения позднеантичного Боспора, как это можно видеть на примере культа Кибелы, нарастает тенденция к синкретизму отдельных божеств, связанная с отходом от устоявшейся иконографии и приданием им универсальных функций.

[3] Любопытно отмеченное для городов Северо-Западного Причерноморья первых веков н.э. присвоение Кибеле эпиклесы Афродиты Урании (Русяева 1992: 148). Для Боспора, где культ Афродиты Урании имел более глубокие корни, следует предполагать скорее обратный процесс, когда иконография и обрядность, связанные с культом Афродиты, носившим государственный характер, заимствуют некоторые характерные особенности почитания Кибелы.

ЛИТЕРАТУРА

Анохин В.А. 1986. Монетное дело Боспора. Киев.
Блаватский В.Д. 1964. Пантикапей. М.
Богатова О.В. 1998. Культ Великой Матери богов Кибелы в греко-римской древности (К проблеме религиозного синкретизма в античности). Автореф. дисс. …канд. ист. наук. СПб.
Кобылина М.М. 1978. Изображения восточных божеств в Северном Причерноморье в первые века н.э. М.
Кругликова И.Т. 1966. О культе верховного женского божества на Боспоре во II-IIIвв. н.э. // Культура античного мира. М.
Лурье С.Я. 1948. Культ Матери и Девы в Боспорском царстве // ВДИ. № 3.
Максимова М.И., Наливкина Н.А. 1955. Скульптура // АГСП. М.-Л.
Марти Ю.Ю. 1935. Новые эпиграфические памятники Боспора // ИГАИМК. Вып. 104.
Русяева А.С. 1972. Культ Кібелы в Ольвіі // Археологія. № 7.
Русяева А.С. 1992. Религия и культы античной Ольвии. Киев.
Саверкина И.И. 1986. Греческая скульптура V в. до н.э. в собрании Эрмитажа. Оригиналы и римские копии. Л.
Силантьева П.Ф. 1974. Терракоты Пантикапея // ТСП.
Соколов Г.И. 1973. Античное Причерноморье. Л.
Соломоник Э.И. 1973. Религиозная жизнь в северопонтийских городах // ВДИ. № 1.
Тачева-Хитова М. 1982. История на източните култове в Долна Мизия и Тракия V в. пр. н.е.- IV в. н.е. София.
Шкорпил В.В. 1902. Отчет об археологических раскопках в г. Керчи и его окрестностях в 1901 г. // ИАК. Вып. 3.
Шкорпил В.В. 1914. Отчет о раскопках в г. Керчи и на Таманском полуострове // ИАК. Вып. 56.
Camp J. Mc. 1990. The Athenian Agora. Athens.
Catling H.W., Waywell G.B. 1977. A Find of Roman Marble Statuettes at Knossos // The Annual of the British School at Athens. N 72.
Salis v. A. 1913. Die Gottermutter des Agorakritos // JDI. XXVIII.
Škorpil V. 1913. Kybelin kult v risi Bosporske // Sbornik praci filologickych dvornimu radovi professoru Josefu Kralovi. Praha.

Рябцева С.С.

ЗМЕИ И ДРАКОНЫ. О ПРОДОЛЖЕНИИ ОДНОЙ АНТИЧНОЙ ТРАДИЦИИ В ЮВЕЛИРНОМ ДЕЛЕ ЭПОХИ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

Reabtseva S.S. Snakes and dragons. About the continuation of one antique tradition in the jewelry craft in the Middle Ages.

Appeared in the antique period the tradition of decoration of bracelets, torque's and chains by the snake's heads didn't lose its popularity in the Middle Ages. This phenomenon can be explained both by the stability of the classical tradition in the jewelry craft and by the semantic load of images of snake and dragon in the world outlook and folklore of many peoples. The decorating suitability of these images for ornamenting torque's and bracelets is also important. In the ancient period there were distinguished some basic jewelry schools that used there images for decorating jewelry articles. The articles of these schools are different in form and in iconography of representations. Starting with VI c. B.C. various torque's and bracelets with snakes' and dragons' heads were made by Thracians. Scythians also made bracelets, decorated with snakes' heads, and on the early stage they seemed to be oriented to Thracian images. In the later period Scythian and Sarmatian fashion is influenced by Greek single- and multi spiral bracelets with snakes' heads, spread in the Black Sea region in III c.B.C. – III c.A.D. At the end of the first millenium B.C. – beginning of the first millenium A.D. plaited neck chains, ended with snakes' heads are wide spread. Various bracelets and torque´s with snakes' and dragons' heads get the greatest spreading in the end of IV-V c. A.D. among Germans, certain articles are found among Huns as well. Later in the course of some centuries on the territory of Eastern Europe this kind of decoration loses its popularity. And it appears again already in X-XI c., probably in the result of cultural contacts with the countries of Baltic region and Northern Europe.

Средневековое ювелирное ремесло Восточной и Северной Европы впитало в себя ряд традиций античного ювелирного искусства. Это касается как использования таких технических приемов, как, например, зернь или скань, так и изготовления некоторых типов ювелирных украшений (трехбусинные серьги, круглые подвески, лунницы, браслеты со звериными головками на концах и др.). Основная роль в сохранении античных традиций бесспорно принадлежит Византии, активно использовали и перерабатывали античное ювелирное наследие и мастера Карпато-Дунайского региона. Еще одно направление распространения античных ювелирных традиций – северное. Причем здесь влияние было обоюдное. Так, например, из стран Балтийского региона на Русь приходит мода на ношение браслетов и цепей со змеиными и драконьими личинами, а в Скандинавию с Руси попадают зерненые украшения и сама техника зерни (Дучко 1987: 77-86).

Наша работа посвящена рассмотрению нескольких типов ювелирных украшений, появившихся в период античности (браслеты, гривны и диадемы, украшенные звериными головками). Эти украшения интересны тем, что традиция изготовления и ношения их не прервалась с концом античной эпохи, а нашла продолжение в ювелирном деле средневековья.

Из всего набора звериных образов (грифоны, львы, змеи, драконы, бараны, кабаны, птицы), присутствовавших на подобных украшениях в античный период, обратим внимание на змей и драконов. Только эти образы античного «Бестиария» активно использовались ювелирами и в последующее время. Изображения змей и драконов, по всей видимости, взаимно заменяют и дополняют друг друга. Украшения, декорированные ими, встречаются подчас на одних и тех же памятниках.

Популярность образа змеи в декорировке ювелирных украшений связана, по видимому, и с ее покровительственной символикой в архаическом сознании. Да и сама форма браслета, гривны или цепи, весьма напоминает свернувшееся змеиное тело. У многих народов бытовало представление о змее как хранительнице дома, двора, благоденствия семьи (Власова 1995:158-162). Змея практически во всех мифологических системах выступает и как «символ, связываемый с плодородием, землей, женской производящей силой, водой, дождем, с одной стороны, и домашним очагом, огнем, особенно небесным, а так же с мужским производящим началом, с другой» (Иванов 1980).

Украшения, завершенные драконьими голов-

© Рябцева С.С., 1999.

ками, по сравнению с изделиями со змеиными, как правило, отличаются более сложной и трудоемкой техникой исполнения, тщательной проработкой деталей, большим разнообразием типов самих украшений, на которых они использовались (это не только разнообразные браслеты, но и шейные цепи и гривны, диадемы).

Мордочки драконов отличаются от змеиных головок, на которых, как правило, изображены только круглые глаза и рот (иногда — ноздри и чешуя), рядом характерных черт. К ним можно отнести часто встречающуюся миндалевидную форму выпуклых глаз, графическое или чаще объемное выделение носа, как правило, переходящего в брови. У дракончиков зачастую изображены и ушки (обычно они прижаты к голове), выделен переход от головы к шее животного (иногда отмечена шерстистость или чешуйчатость тела), на некоторых образцах видны и зубы.

В период античности украшения, оканчивающиеся звериными головками, разрабатывались греческими, фракийскими, скифскими, сарматскими, персидскими и римскими ювелирами. Необходимо отметить, что для античного времени более характерны украшения, заканчивающиеся змеиными головками. Вещи с драконьими головками встречаются гораздо реже, и в основном на памятниках, связанных с иранской или фракийской традицией (тогда как для Греции и Причерноморья более характерны одно- и многоспиральные браслеты со змеиными головками).

Пожалуй, особой привязанностью к образу змеи и дракона в античном мире отличались фракийцы. Наибольшее количество разнообразных браслетов со стилизованными змеиными головками происходит с территорий Южной Словакии, Трансильвании, Восточной Венгрии и Болгарии, где они бытуют, начиная с VI в. до н. э. (Susek 1966: 34). У фракийцев образ змеи был чрезвычайно популярен, его вводили в орнаментацию не только браслетов, но и фибул, диадем, перстней и височных колец. О почитании змеи свидетельствует и серебряная бляшка из Летницы (Болгария), на которой изображена женщина в длинном одеянии, положившая руку на шею огромной трехглавой змее (Фракийские золотые сокровища б.г.). Змея изображена в драконьем обличии – ясно выделены уши.

Примером работы фракийских мастеров могут послужить браслеты, найденные на территории Сербии и Трансильвании. Из Пека Байя из погребения VI — V вв. до н. э. происходит серебряный дротовый браслет, украшенный заостренными змеиными головками (рис.1,5)[1]. Гравировкой проработаны глаза, рот и чешуя змеи. Поверхность браслета украшена гравированными крестиками (Argintul antic 1996: Cat. 6). С IV в. до н. э. в античном мире распространяется мода на пластинчатые браслеты. Фракийские мастера в их декорировку так же зачастую вводили образ змеи. Таков широкий пластинчатый серебряный браслет IV в. до н. э., хранящийся в коллекции Национального музея в Белграде (Argintul antic 1996: Cat. 15). Концы браслета оформлены в виде отогнутых в противоположные стороны змеиных головок. Видимо под влиянием греческого ювелирного дела исполнен спиральный браслет IV в. до н. э., выполненный в виде свернувшегося змеиного тела, происходящий из Аитос (Трансильвания) (Florescu, Miclea 1979: 26, fig. 22).

К кругу фракийских древностей относятся и украшения, завершающиеся драконьими и змеиными головками, обнаруженные в составе случайных находок на территории Молдовы. В 1956 г. у с. Лэргуца Леовского района в местности «Орлиная гора» был обнаружен клад античного времени. Известно, что в состав клада входили фрагменты (концы) двух золотых дротовых гривен, оканчивавшихся драконьими головками, держащими в пасти кольца (Нудельман, Рикман 1957: 250). В 1963 г. в том же месте был обнаружен золотой сосуд и двадцать одна античная монета (16 статеров Филиппа II (359-336), четыре Александра III Македонского (336-323) и один Филиппа III Арридея (323-317) (Нудельман 1969: 129, рис.1).

Весьма схожими драконьими головками украшена и золотая диадема, найденная в 1984 г. во время раскопок на гетском городище IV — II вв. до н. э. у с. Бунешть (Румыния). Диадема изготовлена из золотого дрота, концы которого оформлены в виде драконьих головок и застегиваются при помощи колец, продетых в пасти животных (Goldhelm Schwert 1984: 168). К сожалению, фрагменты упоминавшейся гривны из Лэргуца утрачены, но нам удалось ознакомиться с материалами из другого клада этого же времени, найденного на гетском поселении у с. Матеуцы (Музей этнографии и природы, г. Кишинев) [2]. Клад содержит в себе серебряную гривну, два серебряных браслета, золотое и два серебряных височных кольца. Гривна небольшого диаметра, выполненная из низкопробного серебра, с заходящими слегка утолщенными концами, оформленными в виде стилизованных змеиных головок. На головках хорошо читаются глаза, ноздри, пасти. Браслеты выполнены из круглого дрота, концы расплющены и оформлены при помощи гравировки в виде весьма стилизованных змеиных головок. Украшения из Матеуц были отнесены Г.В. Петренко к кругу фракийских древностей (Петренко 1978: 35).

В скифском ювелирном уборе образ змеи,

[1] При составлении иллюстраций были использованы работы М. Артамонова, Н. Кондакова, Г. Корзухиной, В. Петренко, С. Руденко, К. Скалон, И. Бона, Й. Хампеля, Р. Хассона, К. Джонса и Т. Поттера, И. Раша, Л. Раухута.

[2] Приношу благодарность за возможность ознакомиться с материалами с. н. с. Музея природы и этнографии Табулько Р.Д

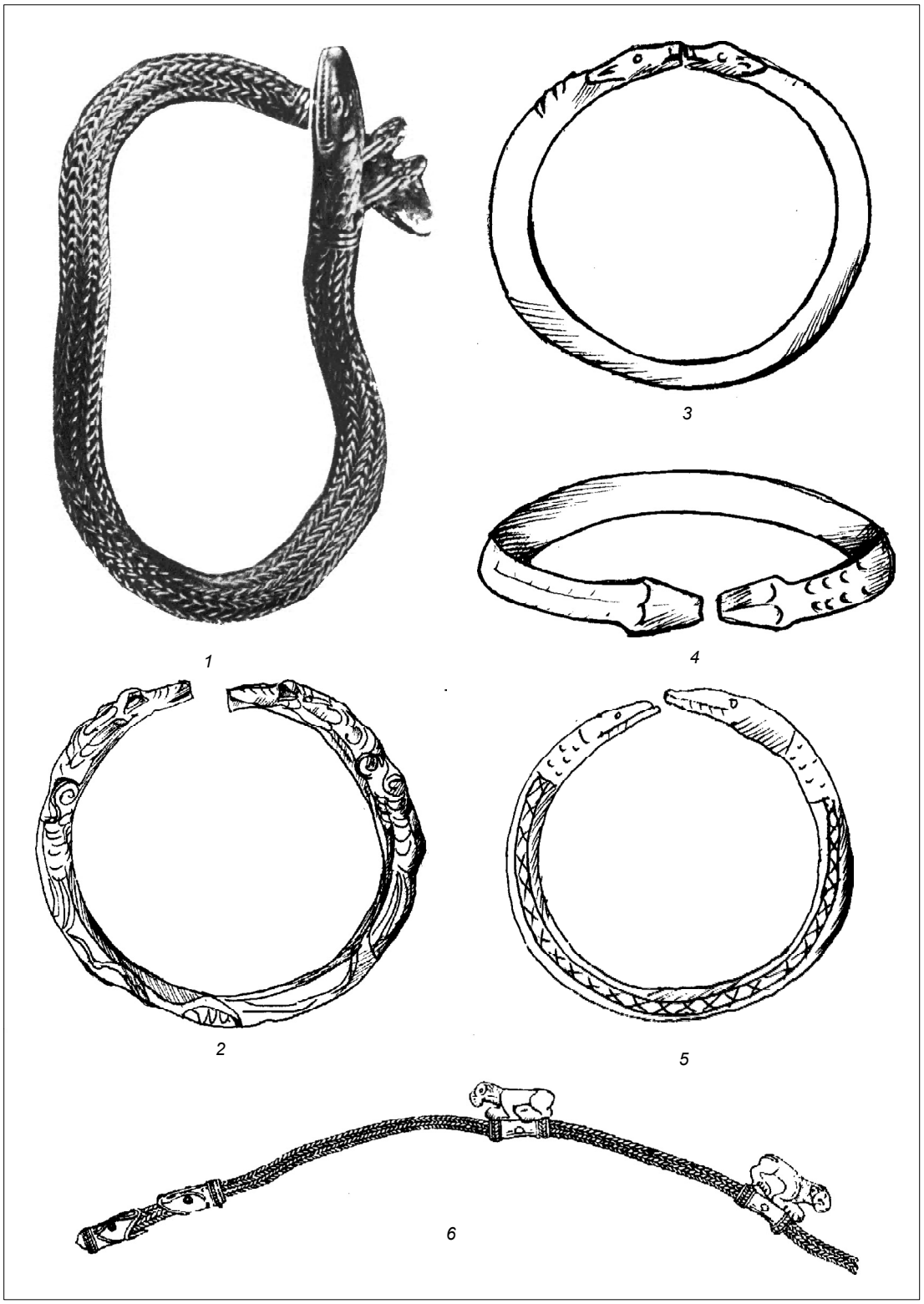


Рис. 1. *1. Браслет. Золото. 4 Семибратный курган (Тамань) V в. до н.э.; 2. Браслет. Золото. Амударьинский клад; 3. Браслет. Бронза (?). Коллекция Львовского исторического музея (скифы); 4. Браслет. Бронза (?). Елизаветовский мог.(скифы); 5. Браслет. Серебро. Пека Байя (Сербия). VI-V вв. до. н. э.; 6. Цепочки фрагмент. Золото. Цольдгаломпуста (Венгрия). VII в. до н. э. Масштабы разные.*

как правило, применялся для декорировки дротовых браслетов. Их массовое производство начинается с VI в. до н. э. под влиянием фракийцев Трансильванского очага металлообработки и существует до позднескифского времени (Петренко 1978: 53). На скифских памятниках, как правило, находят простые браслеты, выполненные из круглого, сегментовидного или овального в сечении дрота, концы которых расклепаны в виде змеиных головок. С VI в. до н. э. эти браслеты встречаются в Правобережной, Ворсклинской и Посульской группах скифских памятников. Кроме того изредка встречаются браслеты со скульптурными головками змей (рис.1, 3-4), на которых обозначены глаза и рот (подобный браслет происходит из одного из курганов Роменской группы) (Петренко 1978: 62). Браслет из коллекции Львовского исторического музея украшен головкой дракона или какого-то реального зверя – ясно выделены ушки (рис.1, 3).

В IV-III вв. до н. э. браслеты со змеиными головками встречаются и в Степной группе скифских памятников (Петренко 1978: табл. 39, рис. 15). На Нижнем Дону в V-III вв. до н. э. бытуют довольно массивные бронзовые и железные браслеты, один из концов которых оформлен в виде стилизованной змеиной головки с выделенными глазами и ртом (Петренко 1978: таб. 39, рис. 21, 22). С IV в. до н. э. в скифском ювелирном уборе распространяются спиральные и пластинчатые браслеты, среди которых так же встречаются и орнаментированные змеиными головками. Таков, например, браслет из кургана 4 Елизаветовского могильника (рис.1,4), на котором при помощи гравировки показаны рот, глаза и чешуя змеи (Петренко 1978: 57). Кроме браслетов змеиными головками иногда украшали и многовитковые спиральные перстни. Известна также и одна находка перстневидной серьги (происходит из кургана N5 группы «Частых»), один конец которой украшен скульптурным изображением змеиной головки (Петренко 1978: табл.27, рис.16).

Кроме массовых находок дротовых браслетов со змеиными головками на скифских памятниках встречаются и уникальные изделия, декорированные змеиными головками. Так в Цольдгаломпуста (Венгрия) была найдена цепочка, плетеная в виде объемного шнура (Манцевич 1959: рис. 37). На цепочку нанизаны две обращенные пастями друг к другу змеиные (или драконьи) головки. Глаза змеек выложены зернью, нос и шея — сканью и гладкой проволокой. На цепочку нанизаны также две трубочки, увенчанные фигурками сидящих львов (рис.1,6). Если верна атрибуция этой цепочки, как фрагмента диадемы, датируемой раннескифским периодом (предлагаемая А.П. Манцевич), то мы имеем дело с одним из наиболее ранних, принадлежавших скифам, украшений, декорированных змеиными головками. Аналогичные цепочка шнурового плетения была найдена в Келермесском кургане, а диадема — в Литой могиле и Мельгуновском кургане (Манцевич 1959: 57-79). Подобные диадемы шнурового плетения характерны только для раннего периода скифской культуры и подчеркивали сакральный и сословный статус их владельца.

Мода на ношение этих налобных украшений связана, очевидно, с восточным влиянием, под которым находились скифы в VII в. до н.э. Так на позднехетском изображении царя Тарахунази представлена точная аналогия скрепленной розетками шнуровой диадемы из Мельгуновского кургана (Клочко 1982: 38)

В виде толстого объемного шнура плетен и золотой браслет с наконечниками в виде змеиных головок, найденный в четвертом Семибратнем кургане на Тамани (Goldschätze den Skythen 1970: Abb. 133). На литых наконечниках весьма реалистично переданы глаза, зубастая пасть и чешуя змеи (рис.1,1). Изготовлялся этот браслет скорее всего мастером-греком.

Своеобразная иконография образа дракона была создана и персидскими мастерами. Целая подборка «звериноголовых украшений» представлена, например, в кладе, найденном в 1877 году на Амударье. В составе клада содержатся украшения, датируемые серединой V — IV вв. до н. э. (Jewelry 7000 years 1991: 67-69; Руденко 1962: рис. 12-13). В составе этого клада найдена пара массивных золотых (по всей видимости церемониальных) браслетов, украшенных протомами рогатых грифонов с птичьими клювами. Браслеты выполнены в традициях ассирийского искусства. Подобные скульптурные образы грифонов разрабатывались персидскими мастерами еще с IX в до н.э. Звериными же (козлиными) головками в составе упомянутого клада украшена золотая тордированная гривна, скрученная в три оборота. В аналогичной манере украшены и небольшие золотые браслеты: дротовый, оканчивающийся львиными головками, и узкий пластинчатый – с утиными. В составе Амударьинского клада есть и два золотых браслета с драконьими мордочками на концах (ясно выделены миндалевидные глаза и прижатые ушки животных). У одного экземпляра глаза, уши и шерсть животного разработаны в технике перегородчатой эмали. У второго браслета орнаментальные завитки шерсти выделены рельефно (рис.1,2). Выпадение Амударьинского клада связано, вероятно, с военными действиями Александра Македонского.

В этот же период предметы ахеменидского облика (среди которых и гривны с наконечниками в виде драконьих головок) попадают к сарматам. Находки подобных гривен из курганов в Курджипсе и 1 Прохоровского кургана датируются последней четвертью IV в. до н. э. (Берлизов 1997: 102, рис. 1, 5). Гривна из Курджипса — узкопластинчатая с литыми несомкнутыми наконечниками; прохоровская – дротовая, скрученная в 2,5 оборота. Появление предметов

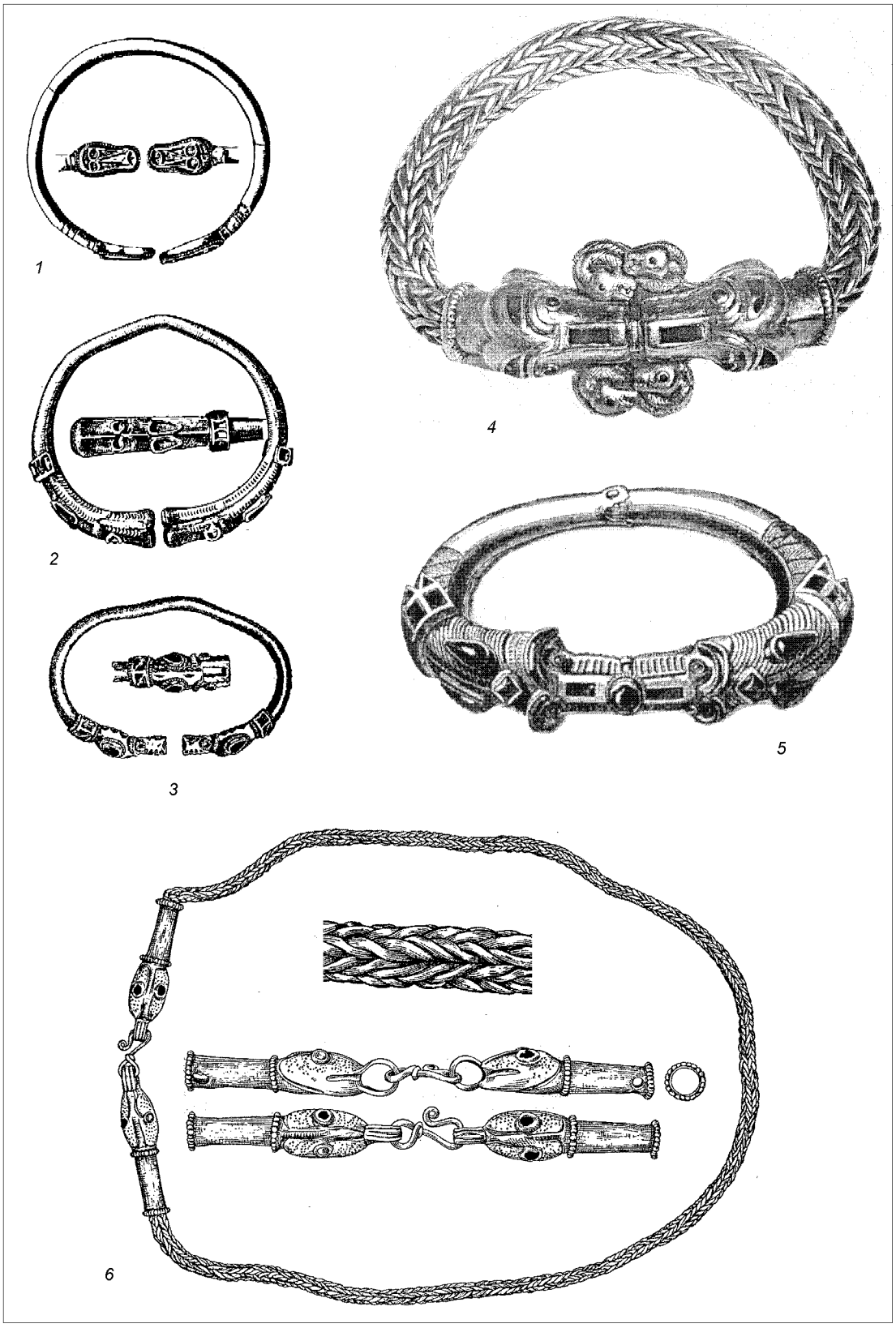


Рис. 2. *1. Браслет. Золото. Тиса-Бура (Венгрия); 2-3. Браслеты. Золото. Венгрия; 4. Браслет. Золото. Северное Причерноморье. V в. Колл. Оружейной палаты; 5. Браслет. Золото. Бакодпуста. (Венгрия). V в.; 6. Цепь.Золото. Сетфорд (Англия). Конец IV-V вв. Масштабы разные.*

ахеменидского происхождения у сарматов связывается Н.Берлизовым с участием последних в военных действиях в качестве наемников как на стороне македонцев, так и персов (Берлизов 1997: 102).

Если мастера материковой Греции изготовляли замысловатые змеиноголовые спиральные браслеты, иногда выполненные виде двух змей, затягивающих декорированный кабошоном Гераклов узел (Русанова 1988: Рис. 4), то в античных центрах Причерноморья с III в. до н. э. до III в. н. э. стойко бытуют более простые одно- и многоспиральные браслеты, оканчивающиеся змеиными головками. Так в Заветнинском могильнике змеиноголовые браслеты составляют 30% от всех найденных браслетов (Гудкова, Русова 1980: 129). Аналогичные украшения распространены и у позднескифского и сарматского населения (Степи 1989: табл. 55, рис. 26, 27;табл. 62, рис. 2, 4).

Римские ювелиры так же использовали образ змеи для декорировки браслетов. Узкий пластинчатый браслет провинциально-римской работы был найден, например, в Испании (Кордове) в составе богатого клада серебряных ювелирных украшений и сосудов, датируемого I в. до н. э. (Jewelry 7000. 1991: 177). В литье выделены удлиненные глаза, ноздри и уши дракона, затем эти детали обведены гравировкой. Гравировкой выделен также и нос, и переход от шеи к тулову (полоской косых крестов).

В I в. до н.э. — I в. н.э. были весьма распространены цепочки, оканчивающиеся змеиными головками. Встречаются такие цепи и в более позднее время. Подобная золотая семигранная цепь шнурового плетения была обнаружена в Англии в составе Сетфордского клада позднеримского времени (Johns, Potter 1983:101, fig. 35). Змеиные головки служат на этих цепях своеобразными карабинами для соединения концов цепочек и крепятся к ним при помощи штырей. Ко ртам змеек были припаяны колечки, сквозь которые продета проволочная восьмерковидная застежка, один конец которой закручен, а второй оставлен свободным и согнут в виде крючка. Глаза змеек заполнены синим стеклом (рис.2, 6). В этом кладе содержалось так же еще три подобные золотые цепи, но без змеиных головок.

Максимального пика популярности мода на украшения с драконьими и змеиными головками достигла, пожалуй, во время Великого переселения народов у германцев. С территории Венгрии происходят многочисленные находки дротовых и пластинчатых браслетов, декорированных стилизованными драконьими и змеиными головками (Hampel 1905 : Fig. 1181-1185). У некоторых экземпляров дротовых браслетов глаза, нос и уши животных выделены только с помощью напаянной проволоки, у других — глаза дополнительно украшены гранатовыми вставками (рис. 2, 1-3).

Подобные дротовые браслеты находят и в готских захоронениях в Крыму. К первой половине V в. н.э. относится пара серебряных браслетов из Керчи, заканчивающихся переданными в литье головами животных (Germanen, Hunnen und Awaren. 1988: 99, Abb.3). Выделены выпуклые круглые глаза, украшенные гранатовыми вставками, нос, переходящий в брови, шея обозначена двумя рельефными валиками (рис.3,4). Золотой браслет, заканчивающийся драконьими головками, был найден и в станице Сенной на Тамани (Скалон 1966 : 43). Так же как и на керченском экземпляре глаза и уши фантастического существа украшены гранатовыми вставками, но переход к шее не выделен, и «тело» дракона украшено гравировкой (рис.3,2). Схож с экземпляром из Сенной, но выполнен декоративно более просто, литой украшенный гравировкой браслет с драконьими головками, найденный в одном из Керченских склепов (Якобсон 1984: табл. I) (рис.3,1). Аналогичными драконьими головками заканчиваются и концы золотой гривны, происходящей из склепа на Госпитальной улице в Керчи (Скалон 1966: 42). В зубастые пасти чудовищ вставлены петельки, являющиеся застежками гривны (рис.3,3).

С остготским населением связываются, вероятно, и находки браслетов, украшенных драконьими головками, происходящие с памятников черняховской культуры. Подобные браслеты были обнаружены, например, в «княжеской могиле» у деревни Большой Каменец на р. Суджа (Казанский 1997:184).

В составе погребального инвентаря этого захоронения были найдены золотая гривна с декором клуазонне, два золотых плетенных браслета, оканчивающихся драконьими головками и золотая цепь. Браслеты выполнены в виде цепочек шнурового плетения. Подобным образом плелись и античные ожерелья, и диадемы. На концах браслета из Большого Каменца цепочки укреплены полосками металла, сквозь которые продет штырь, крепящий головки драконов. Браслет сомкнутый, по обе стороны драконьих морд припаяны маленькие фигурки свернувшихся в виде восьмерок двухголовых дракончиков. На основных больших головках выделены в рельефе и украшены эмалевыми вставками глаза, нос и брови, на маленьких – зубастые пасти, глаза с эмалевыми вставками, гравировкой проработана шкура. Идентичный браслет был обнаружен в Северном Причерноморье (хранится в коллекции. Оружейной палаты Московского Кремля) (рис.2,4).

Л.А. Мацулевич датирует погребения из Большого Каменца временем ок.400 г. (Мацулевич 1934). М.М. Казанский связывает этот комплекс с королевством Винитария, центр которого, по мнению исследователя, находился в верховьях Ворксы и Псла (Казанский 1997:184).

К вещам дунайского круга относятся и шар-

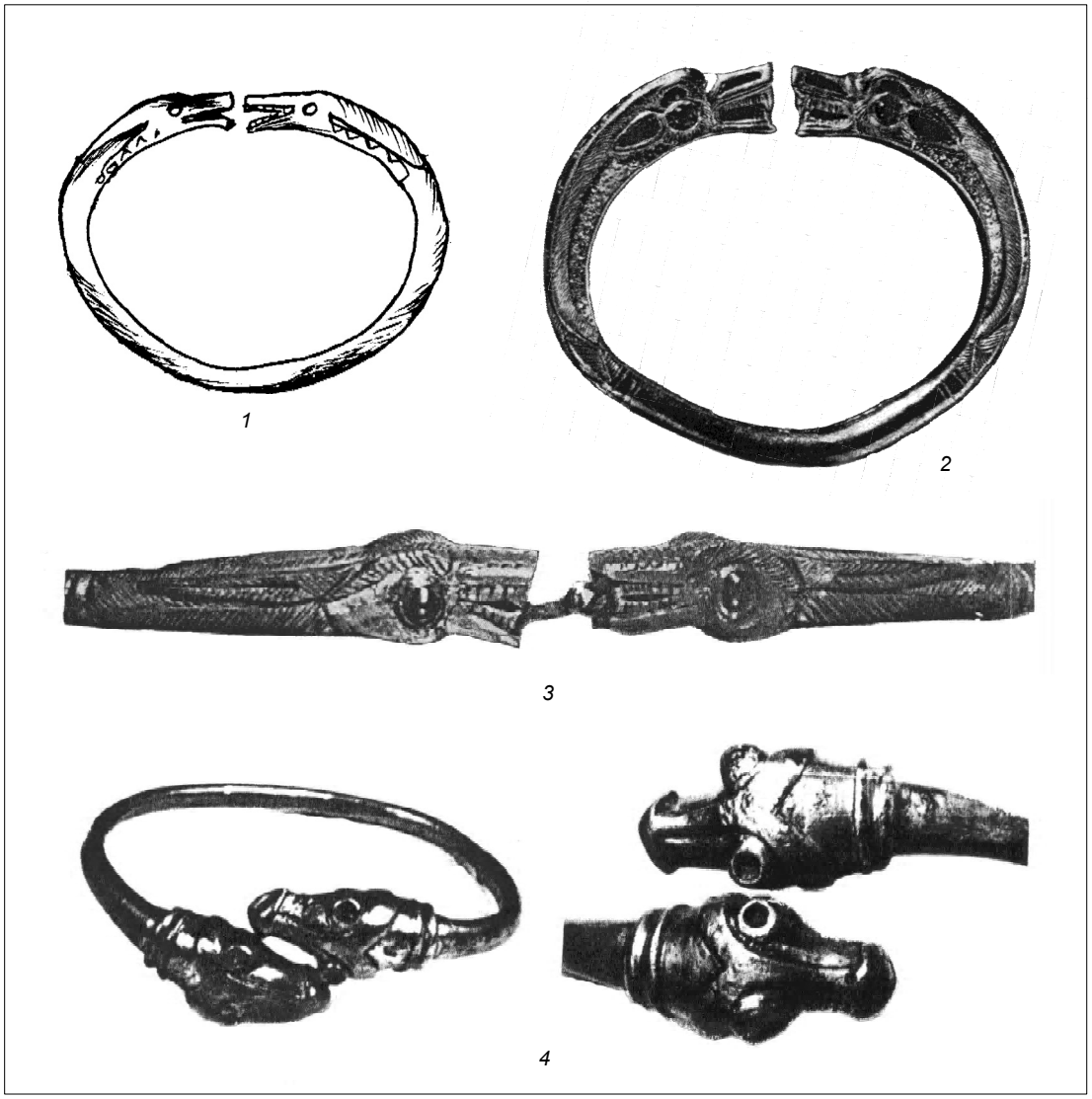


Рис. 3. *1. Браслет. Золото. Керчь. Конец IV-V в. 2. Браслет. Золото. Станица Сенная (Тамань). Конец IV-V в. 3. Концы гривны. Золото. Керчь (Склеп на Госпитальной улице). Конец IV-V в. 4. Браслет. Серебро. Керчь. Первая половина V в. Масштабы разные.*

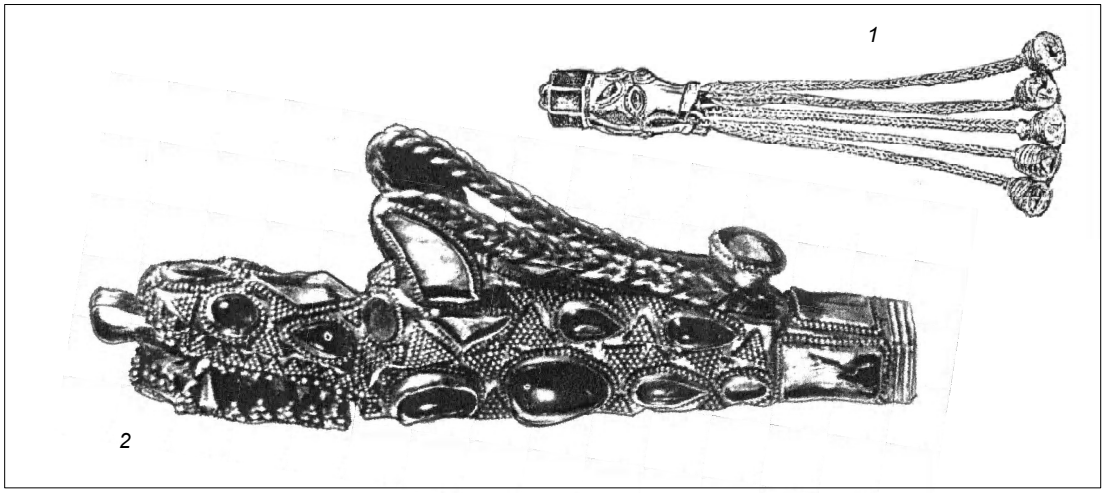


Рис. 4. *1. Цепочка. Золото. Апахида (Румыния). V в. 2. Наконечник гривны. Золото. Каряжское городище у с. Татаровка близ Ставрополя. Конец IV-V вв. Масштабы разные.*

нирные браслеты, украшенные драконьими головками. Браслеты замкнутые, круглые в сечении, расширяются к «шеям» драконов. На месте соединения морд фантастических животных расположена застежка с винтовой нарезкой, завершающаяся шатоном с гранатовой вставкой. Тела драконов украшены насечкой и миндалевидными и прямоугольными гранатовыми вставками. Тыльная сторона браслета, на которой находится шарнир, гладкая. Подобный браслет происходит из Киева (Казанский 1997: 193, рис. 8,10). Пара аналогичных браслетов была найдена в Венгрии в могильнике Бакодпуста (Bona 1991) (рис.2, 5). Три женских захоронения из Бакопуста И. Бона датирует 430-470 г. и интерпретирует как погребения княгини, княжны и придворной дамы. По мнению исследователя, женщины принадлежали к племени скиров и исповедовали арианство (A magyar régészet regénye 1968: 115-123).

Возможно под влиянием готской моды появляются украшения с драконьими головками и у гуннов. В гуннском погребение V в., открытом в 1897 г. в Апахиде (Румыния) (Germanen, Hunnen und Awaren 1988: Taf. 18; Goldhelm Schwert und Silberschätze1994: Taf. 102,1), содержатся уникальные золотые подвески с драконьими головками. Глаза и уши животных выполнены в виде гранатовых вставок. Шатоны для вставок обведены сканью (рис.4,1). И.П.Засецкая отнесла подвески из Апахиды к VI группе гуннских вещей с эмалями, отметив при этом западное происхождение всей этой группы украшений (Засецкая 1982:22, 30).

Были видимо среди гуннских украшений и гривны, оканчивающиеся драконьими головками. Сохранилось три наконечника от таких гривен. Один был найден на Каряжском городище близ Ставрополя и два в кургане в урочище Кара-Агач в Центральном Казахстане (Скалон 1966: 40-43). Наконечники были отнесены И.П. Засецкой к первой стилистической группе гуннских украшений, распространенной от Казахстана до северо-восточной Румынии и представляющей собой синтез традиций боспорских ювелиров и вкусов кочевой знати (Засецкая 1982: 16, 23-24). От изделий готского периода эти наконечники отличает обильное использование гранатовых вставок, зерневых треугольников и скани (рис. 4,2). Уши у этих драконов не прижаты, а подняты кверху и заполнены перламутром, зубы выполнены в виде треугольников зерни. Во рту дракончика с Каряжского городища укреплена петелька, указывающая на его использование в качестве карабина шейной гривны.

Если конец IV-V вв. характеризуется обилием браслетов и гривен, декорированных драконьими головками, то следующий всплеск инте-

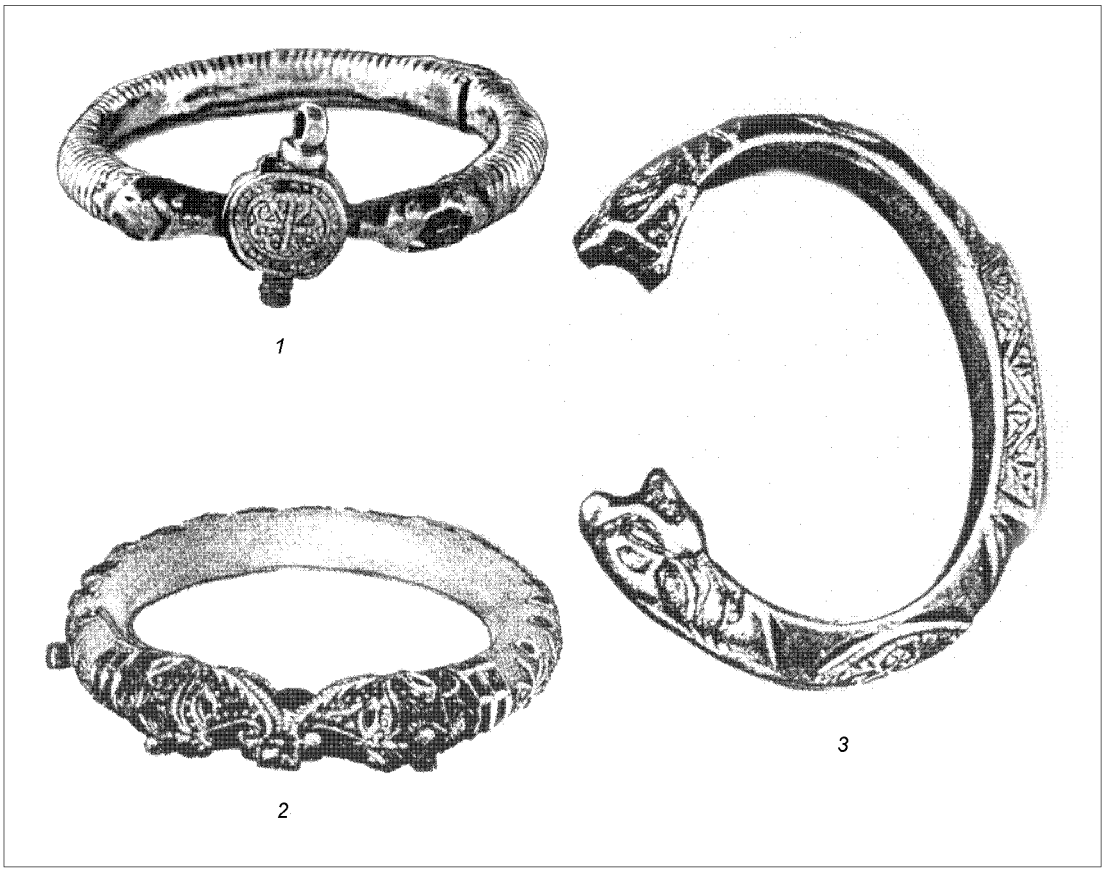


Рис. 5. *1. Браслет. Серебро. Египет или Сирия. XII-XIII вв.; 2. Браслет. Нефрит, золото, эмаль. Индия. XVIII-XIX вв.; 3. Браслет. Серебро. Иран. XV в. (?). Масштабы разные.*

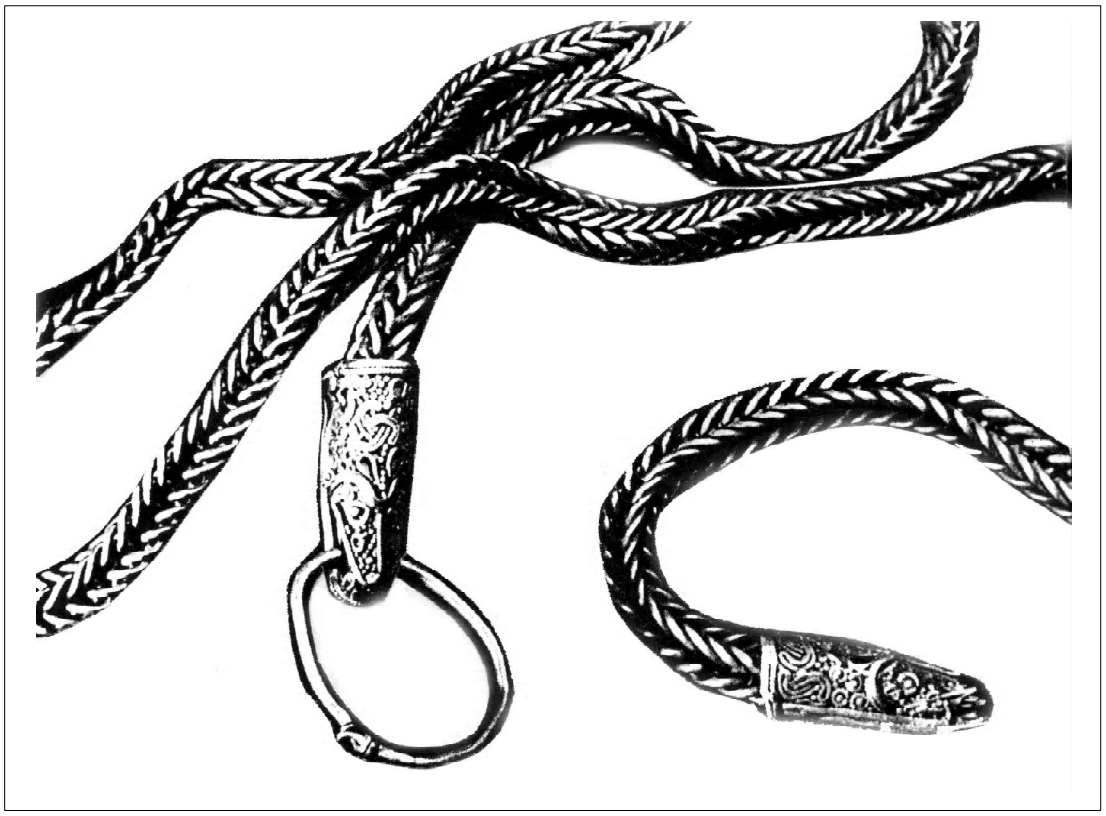


Рис. 6. Цепь. Серебро. Эланд (Швеция).

реса к этим образам отмечается уже только в XI-XII вв. Останавливаясь на происхождении браслетов со змеиными и драконьими ликами, В. П. Левашова в качестве прототипа для древнерусских украшений предлагает упомянутый выше золотой браслет V в. из Керчи (рис.3,1). Исследовательница отмечает, что данный мотив, восходящий к античности, был сохранен в византийском ювелирном искусстве и в конце I тыс. был занесен на территорию Восточной и Центральной Европы и в Скандинавию (Левашова 1967: 216).

Действительно, разнообразные браслеты с драконьими головками изготовлялись византийскими мастерами и для кочевой знати в эпоху великого переселения народов, и в более позднее время. Так с территории Ирана происходит находка витого серебряного браслета с припаянными к концам литыми драконьими головками, фланкирующими круглый позолоченный медальон с черненным изображением розетки (рис.5,1). Браслет был изготовлен предположительно в Египте или Сирии в XII-XIII вв. (Hasson 1987, fig. 56).

В Иране существовало и собственное производство браслетов, завершающихся драконьими головками. Этот мотив здесь вероятно был очень популярен и, зародившись еще в ахеменидскую эпоху, продолжал существовать в период позднего средневековья. Предположительно XV в. датируется литой браслет, украшенный на концах разинувшими пасти драконьими головами (Hasson 1987, fig. 55) (рис.5,3).

В отличие от В.П.Левашовой мы полагаем, что находимые же на территории Восточной Европы плетеные шейные гривны и браслеты, украшенные драконьими головками, восходят не к византийской, а к североевропейской ювелирной традиции. В XI-XII вв. в Скандинавских странах были весьма распространены витые и плетеные браслеты и шейные цепи, украшенные драконьими головками (рис.6) (на цепях стилизованные драконьи головки иногда служили карабинами для крепления колечка с нанизанным на него христианским крестиком) (Rácz 1990: fig.132, 114). В качестве импорта подобные украшения попадают и на территорию Прибалтики, Руси и Польши (Duczko1995, Корзухина1954, Rauhut 1955).

На Руси целая серия цепей и браслетов, оканчивающихся драконьими головками, происходит из кладов, датируемых XI – первой половиной XIII вв. Наконечники на них, как правило, литые, с односторонним, двусторонним или четырехсторонним изображением драконов.

Цепи и браслеты с драконьими головками происходят на Руси из следующих кладов:

Мироновский фольварк (Каневский у. Киевской губ.) – серебряная цепь из толстой проволоки, головки драконов двусторонние литые, орнамент подражает скани и зерни (Корзухина 1954: 91, N 32);

Киев (усадьба И. Лескова) – две серебряные цепи (рис.7,3), одна плетена из крупной проволоки, сквозь круглые отверстия в драконьих головках продето колечко, завязанное двойным узлом, вторая цепь небольшая объемного четырехгранного плетения, наконечники украшены чернью (Корзухина 1954:112, N 80);

Киев (в обрезе Михайловской горы) – золотой полый плетеный вокруг стержня браслет (рис. 7,1), оканчивающийся литыми головками драконов (Корзухина 1954:125, N 110);

Киев (усадьба Райковского У.Ф.) – витой серебряный браслет с наконечниками в виде стилизованных драконьих головок (Корзухина 1954: 117, N7);

д. Лески (Орловская губ.) — серебряная плетеная цепочка, оканчивающаяся стилизованными звериными головками, держащими во ртах кольцо, на цепь были нанизаны серебряные звездчатые колты (Корзухина 1954:139, N 153);

Тверь – серебряная цепь, составленная из рубчатых пластинчатых звеньев с полыми тисненными наконечниками в виде драконьих головок, украшенных сканью, в глазах – стеклянные вставки (Корзухина1954:148, N 170);

Чернигов – тонкая золотая цепь, оканчивающаяся золотыми головками (колл. Музея Исторических драгоценностей, г. Киев) (рис.7,2);

Москва (Большой Кремлевский клад 1988 г.) – витой браслет со сканной перевитью и литыми наконечниками в виде голов драконов (колл. Оружейной палаты).

Кроме первого комплекса из перечисленных, датируемого XI в., все остальные — более поздние и датируются XII – серединой XIII вв. Кроме того в коллекции ГИМ хранится плетеная серебряная цепь неизвестного происхождения, оканчивающаяся односторонними головками драконов, соединенными колечками. Отверстие для кольца – рты дракончиков. Орнамент на головках драконов выложен проволокой. «Шея» дракона выполнена отдельно, ограничена про-

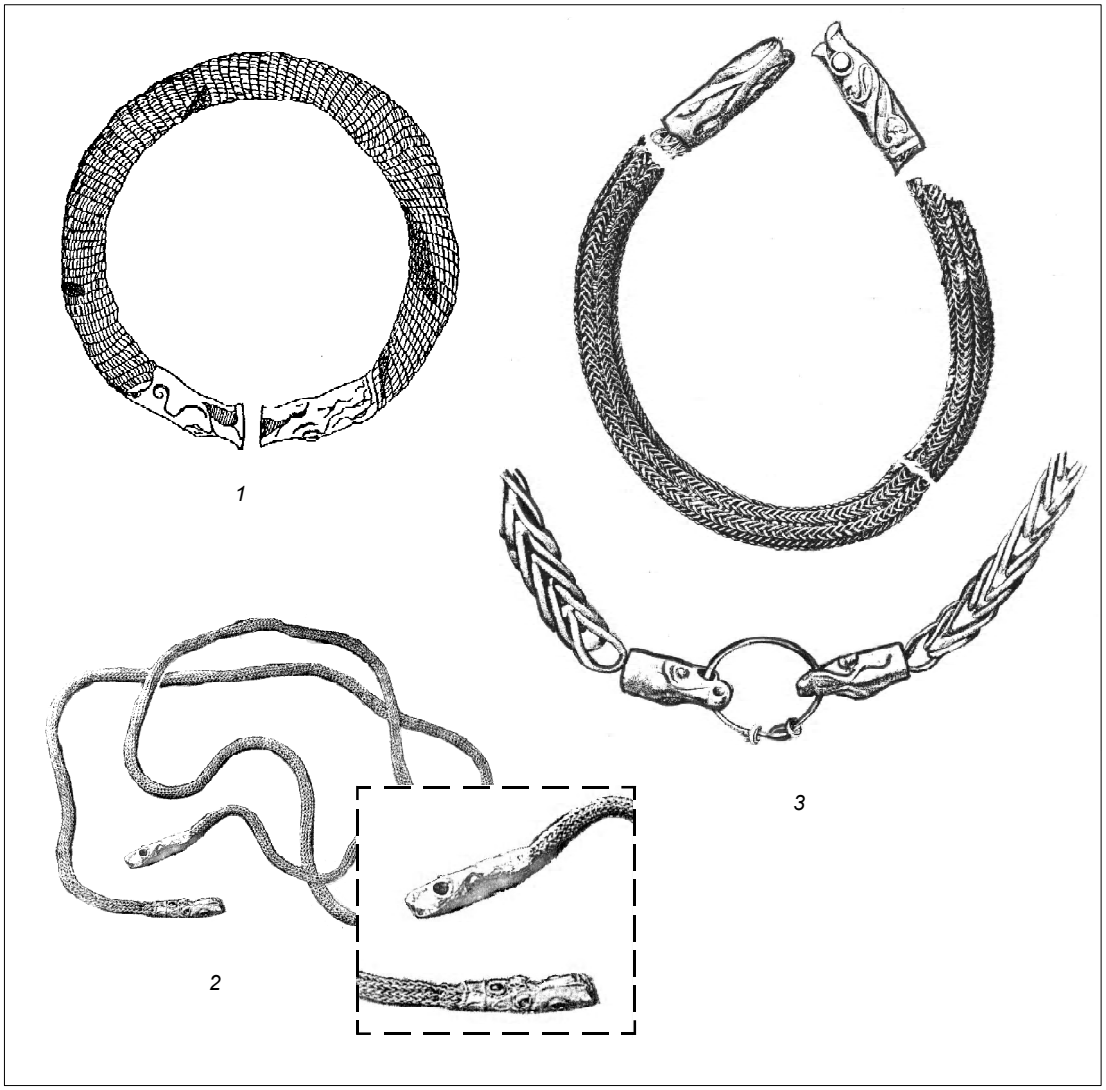


Рис. 7. *1. Браслет. Золото. Клад Михайлова гора (Киев) XII-XIII вв.; 2. Цепь. Золото. Чернигов. XI-XII вв.; 3. Две цепи. Серебро. Усадьба Лескова (Киев). XII-XIII вв. Масштабы разные.*

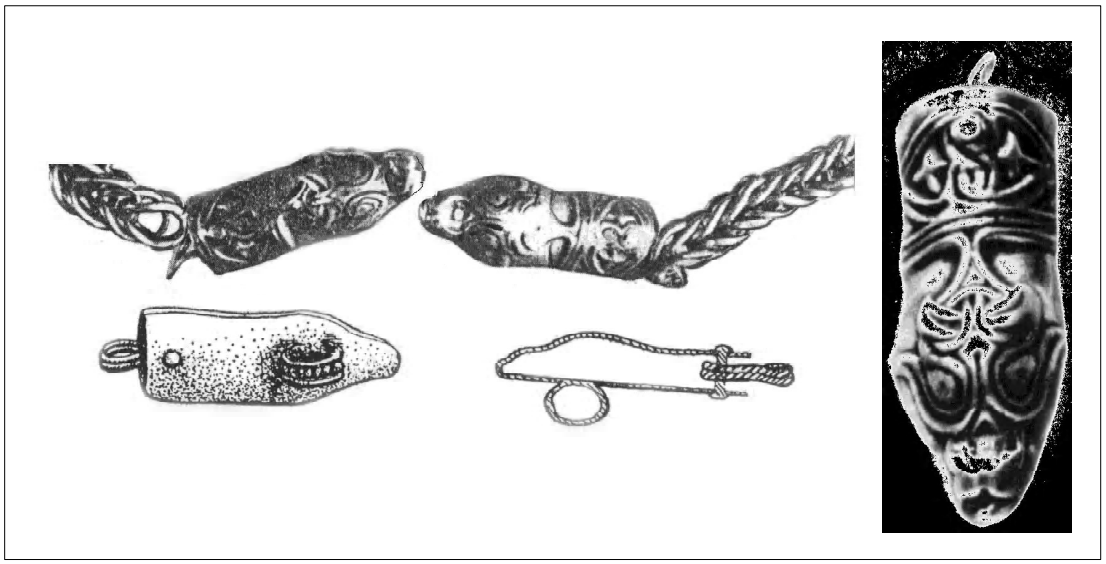


Рис. 8. *Цепь. Серебро. Боруцин (Польша). XI в.*

волочными колечками, сквозь нее продет штырь, на который нанизано первое звено цепочки.

На территории Польши цепь и браслет (ныне утрачен), оканчивающиеся драконьими головками, были обнаружены в составе клада XI в. в местечке Боруцин (Rauhut 1955: 55-64, tab. XI). Цепь с односторонними драконьими головками найдена вместе с лунницами, бусинами, украшенными зернью, проволочными и сканными кружками и фестонами, скандинавскими круглыми литыми подвесками и др. славянскими и скандинавскими вещами. Головки драконов выполнены из двух частей. Верхняя часть — выпуклая литая, представляет собой украшенную плетенкой голову дракона. Нижняя – плоская с припаянным к ней ушком для крепления кольца. Верхняя и нижняя части соединены штырем, сквозь который продета первая петелька цепочки (рис.8).

На территории Прибалтики цепь, оканчивающаяся драконьими головками, была найдена в составе клада XII в. в Валбо (Duczko1995: fig. 1). В состав клада так же входили и другие вещи скандинавской работы – круглые фибулы, украшенные сканью серебряные бусы и круглые полусферические подвески, серебряный крестик.

Кроме указанных выше витых и плетеных браслетов, заканчивающихся драконьими головками, на территории северо-запада и северо-востока Руси были широко распространены и дротовые, узкопластинчатые и ложновитые браслеты, заканчивающиеся змеиными и звериными (драконьими) головками (Левашова 1967: 216), имеющие довольно широкий круг аналогий в Прибалтике (Гуревич 1947: 68, рис. 39-41). В Прибалтике зверино- и змеиноголовые браслеты появляются в IX -XI вв. в могильниках люцинского типа (Соловьева 1971:124-132). Кроме браслетов подобными змеиными и звериными головками здесь украшали и подковообразные пряжки. В более ранних прибалтийских материалах подобные украшения отсутствуют, но есть арбалетовидные фибулы, украшавшиеся змеиными головками. Наибольшая концентрация украшений со звериными головками приходится на территорию Латвии, встречаются они и в Литве, и Пруссии (Гуревич1947: 68).

Литые звериноголовые браслеты являются довольно распространенной находкой и на славянской территории, их находят во Владимирских курганах, Южном Приладожье, Ярославском и Костромском Поволжье, Волго-Окском междуречье (Левашова1967: 216). В качестве примера наиболее реалистично выполненных образцов подобных украшений В.П.Левашова приводит бронзовый браслет из кургана у с. Весь (Владимирской обл.) и аналогичный ему, происходящий из венгерских древностей X-XII вв. (могильник Халимба). Находимые на славянской территории подобные браслеты Г.Ф.Соловьева делит на две группы – технологически более сложные – привозные из Прибалтики, и более простые – произведенные на месте (Соловьева 1971:130).

Коснемся вопроса о семантической нагрузке средневековых украшений со змеиными головками, происходящих с территории Восточной Европы. Письменные источники XIV-XVII вв. изобилуют сообщениями о почитании змеи в Прибалтике, поклонении ей наряду с громом и священными деревьями, и кормлении змей возле дома и в священных рощах. В XVII в. в Латвии выпекали большие хлебы в виде змеи с разинутой пастью и подносили их богам в священных рощах. Общее для всех прибалтийских племен название змеи «гивота» переводится как жизнь, а сама змея воспринималась вечно обновляющейся (сбрасывающая кожу), способной умереть только насильственной смертью (Гуревич1947: 68).

Если для Прибалтики образ змеи носит ис-

ключительно покровительственный характер, то на Руси дело обстоит сложнее. Выделяется несколько ее образов — от огромной змеи до фантастического существа, чудовища. Если змей-дракон – противник богатырей и повелитель мировых стихий — персонаж скорее отрицательный (с принятием христианства его образ сливается с проклятым богом библейским змеем) (Гуревич 1947), то дворовая змея, являющаяся одной из ипостасей домового, носит покровительственный характер (Власова1995:158-162). Так же как в Прибалтике, живущих у человеческого жилья змей подкармливали молоком, уход такой змеи со двора, по поверью, предвещал несчастие, а убийство змеи расценивалось как грех. Рассматривались змеи и как всеведущие, вещие существа, способные исцелять от болезней (как средство от лихорадки применялось ожерелье из змеиных головок или ужовая, или змеиная шкурка на шее) (Власова1995:158-162). Можно предположить, что аналогичной целительно-охранной функцией наделялись и змеиноголовые браслеты, и гривны.

Можно подвести некоторые итоги. Зародившаяся и получившая широкое распространение в период античности традиция декорировки браслетов, шейных гривен и цепей змеиными головками не утратила своей популярности и в период средневековья. Этот феномен может быть объяснен как стойкостью античной традиции в ювелирном деле, так и семантической нагрузкой образов змеи и дракона в миросозерцании и фольклоре многих народов, приводящей к самостоятельному появлению подобных украшений. Немаловажна также и декоративная приспособленность этих образов для оформления гривен и браслетов. В период античности выделяется несколько основных ювелирных школ, использовавших эти образы для украшения ювелирных изделий. Изделия этих школ подчас отличаются как формой, так и иконографией изображений. Начиная с VI в. до н.э. разнообразные шейные гривны и браслеты со змеиными и драконьими головками изготовлялись фракийцами. Скифы так же изготовляли браслеты, украшенные змеиными головками, причем на раннем этапе они ориентировались, по-видимому, на фракийские образцы. В более позднее время на скифскую и сарматскую моду оказывают влияние, вероятно, греческие одно- и многоспиральные браслеты со змеиными головками, распространенные в Причерноморье в III в. до н.э. — III в. н.э. В конце I тыс. до н.э. — начале I тыс н.э. получают распространение плетеные шейные цепи, заканчивающиеся змеиными головками. Но наибольшее распространение разнообразные браслеты и гривны с драконьими змеиными головками получают в конце IV-V вв. у германцев, отдельные изделия встречаются и у гуннов. В последующее время, в течении нескольких столетий, на территории Восточной Европы подобные украшения утрачивают свою популярность. И появляются вновь уже в X-XI вв., по всей видимости в результате культурных контактов со странами Балтийского региона и Северной Европой.

ЛИТЕРАТУРА

Берлизов Н.И.1997.К интерпретации ахеменидского импорта в раннепрохоровских погребениях.// Stratum + Петербургский археологический вестник. Санкт- Петербург -Кишинев. 101-105.

Власова М. 1995. Новая абевега русских суеверий. СПб. 158-162

Гудкова А.В. Русова А.В. 1980. Металлические украшения из могильника римского времени Молога II // Исследования по античной археологии юго-запада Украинской ССР. Киев. 122-135.

Гуревич 1947. Украшения со звериными головами из прибалтийских могильников (к вопросу о культе змеи в Прибалтике) // КСИИМК, вып. XV М.

Дучко В. 1987. Славянские ювелирные изделия с зернью и филигранью в Скандинавии эпохи викингов. // Труды V Международного конгресса славянской археологии. Киев. 18-25 сентября 1985 г. Т. III, вып. 1а, М. 77-86.

Засецкая И. П. 1982. Классификация полихромных изделий гуннской эпохи по стилистическим данным.// Древности эпохи великого переселения народов V-VIII веков. М. 14-30

Иванов В.В. 1980. Змей. // Мифы народов мира. Т. 1. М.

Клочко Л.С. 1982. Скифские налобные украшения VII — III в. до н. э.// Новые памятники древней и средневековой художественной культуры. Киев. 37-53.

Казанский М.М. 1997. Остготские королевства в гуннскую эпоху: рассказ Иордана и археологические данные. // Stratum + Петербургский археологический вестник. Санкт-Петербург — Кишинев. 181-193.

Корзухина Г.Ф. 1954. Русские клады IX-XIII вв. М.-Л.

Левашова В.П. 1967. Браслеты. // Труды ГИМ Вып. 43. М. 207-247

Манцевич А.П. 1959. Золотой венец из кургана на р. Калитве. // Известия на археологическия институт. София. Книга XXII, 57-79.

Мацулевич Л.А. 1934. Погребение варварского князя в Восточной Европе. Ленинград.

Нудельман А. Рикман. Э. 1957.Новые археологические находки в Молдавии // СА. 1957, N 3

Нудельман А. 1969. Античный клад из с. Лэргуца // Труды Кишиневского Историко-краеведческого музея. Кишинев. Вып. 2. 129-134

Петренко В.Г. 1978. Украшения Скифии VII-III вв. до н.э. САИ Д 4-5. М.

Руденко С.И. 1962. Сибирская коллекция Петра I. САИ Д 3-9. М-Л.

Русанова Л.М. 1998. Историческое сложение композиции ювелирных украшений. М.

Скалон К. 1966. Изображения дракона в искусстве IV-V вв. СГЭ. Вып. 27. 40-43.

Степи 1989 — Степи европейской части СССР в скифо-сарматское время. 1989. Археология СССР.М.

Соловьева Г.Ф. 1971. О балтском субстрате в истории славянских племен Верхнего Поднепровья.// СА N2. 124-132.

Фракийские золотые сокровища. б.г., б.м.

A magyar régészet regénye. 1968. Budapest.
Argintul antic din Serbia. 1996. Expozitie a Muzeului Naţional din Belgrad. Bucureşti Cat. 6.
Bona I. 1991. Das Hunnen – Reich. Stuttgart.
Duczko W. 1995. Contacts between Estonia and Scandinavia in the Light of the 12-th century. Hoard from Vablo // Archaeology East and West of the Baltic. Stockolm.
Florescu R, Miclea I. 1979. Tezaure Transilvane. Bucureşti.
Germanen, Hunnen und Awaren. 1988. Germanisches Nationalmuseum, Nürnberg.
Goldhelm Schwert und Silberschätze. 1984. Frankfurt am Main.
Goldschätze den Skythen in der Hermitage. 1970. Leningrad.
Hampel J. 1905. Alterthümer des frühen Mittelalters in Ungarn. Braunschweig. Bd. I
Hasson R. 1987. Early Islamic jewelry. L.A. Mayer. Memorial Institute For Islamic Art.
Jewelry 7000 years. 1991. New York
Johns K, Potter T. 1983. The Thetford treasure. London.
Rácz I. 1990. A vikingek öröksége. Képzömüvészeti kiadó.
Rauhut L. 1955. Wcześnośredniowieczny skarb ze wsi Bocucin, pow. Aleksandrów Kujawski // Wiadomości archeologiczne. Tom (Vol) XXII, I. Warszawa. 55- 64.
Susek M. 1966. Thrakisches gräberfeld der Hallstattreit in Chotin. Bratislava.

СОВРЕМЕННАЯ АНТИЧНОСТЬ

Добролюбский А.О.

В ПОИСКАХ АНТИЧНОЙ ОДЕССЫ

Dobrolubsky A.O. About searchings of ancient Odessa.

The article offers a hypothesis that in VI-V centuries B.C. on the place of modern Odessa there was situated a big ancient town – Harbour of Histrians. It was an outpost of Histria in the Northern Black Sea region. But by the II c., when it is mentioned by Arrian, it turned into a small fishing village. Only a small part of the town is kept till present, this its necropolis. The town itself is now at the bottom of the sea.

Первая улыбка Судьбы. Осенью 1995 года мы с Олегом Губарем, писателем и краеведом, задумали устроить археологические раскопки в сквере у Оперного театра в Одессе. Мы не собирались искать на месте Одессы что-нибудь более древнее, чем она сама. Нам лишь хотелось покопаться в мусорных ямах знаменитой ресторации Отона, прославленной Пушкиным. Мы надеялись, что такие ямы сохранились до наших дней, и уповали на то, что в них будут содержаться предметы пушкинского обихода. Ранее Олег написал книгу о том, как великий поэт проводил время в Оперном театре и его окрестностях, и нам хотелось уточнить детали этого времяпрепровождения.

Мы полагали, что искомые мусорники должны быть археологически особенно обильными, если образуются при гостиницах и ресторанах. Их посетители порой выясняют отношения, бьют посуду, ломают мебель и пр. Все это неминуемо попадает на ближайшую мусорную свалку и может храниться там до тех пор, пока пытливые археологи будущего не откопают эти обломки — бесценные свидетельства быта и образа жизни минувших эпох. И тогда мы в музеях сможем с гордостью показывать своим детям тот самый бокал или же ту самую тарелку, которую **САМ ПУШКИН**, пригубивши лафита, запустил в голову заезжему карточному шулеру в казино отеля Рено.

Столь честолюбивая цель наполняла наш археологический замысел еще и глубоким культурно-педагогическим смыслом. И хотя научное обоснование его могло бы показаться сомнительным, все же удалось убедить городские власти дать разрешение на эту затею. И нам с некоторым недоумением позволили разнообразить (или обезобразить) прелестный городской пейзаж близ театра пыльным котлованом, окруженным кучами земли и всевозможного строительного мусора.

Наши раскопки широко освещались в прессе и по телевидению. Общественность города нам симпатизировала. Вряд ли здесь есть смысл повторяться. Скажу лишь, что мусора, который бы остался непосредственно от Александра Сергеевича, отыскать пока не удалось. Зато мы обнаружили ступеньки дворца графа Ланжерона, по которым ступали и Пушкин, и государь Александр I, и граф Каподистрия, и другие знаменитые люди того времени. Предметом нашей особой гордости явились также следы ритуала закладки Одессы на дне упомянутого котлована. Этот ритуал совершили 22 августа 1794 года вице-адмирал Иосиф де Рибас со своим другом, генерал-поручиком Григорием Волконским. За три дня до этого, 19 августа, де Рибас вручил Волконскому «Открытый лист №1» — право на владение участком, который мы раскапывали. Затем они торжественно выпили у закладной траншеи и разбили на грядущее счастье будущего города свои бокалы об кирпичный фундамент первого одесского дома — дома Волконского. Археологические остатки этого возлияния в виде обломков бокалов, хрустального подноса, бутылочной пробки и закладной монеты — пятака 1784 года чекана, уложенного в траншею для фундамента и обозначающего место основания Одессы — выставлены сейчас в историко-краеведческом музее. И мы действительно можем их с гордостью показывать своим детям (Губарь, Добролюбский 1996: 17).

Разумеется, найти ритуал закладки города самим Иосифом де Рибасом — это больше, чем везение — это Улыбка Судьбы. А Судьба редко улыбается дважды и подряд. Поэтому нужно было прекратить раскопки. И мы, с многочисленными помощниками и болельщиками, в честь своей археологической победы с радос-

© Добролюбский А.О., 1999.

тью выпили вслед за де Рибасом и Волконским на том же самом месте, 2О1 год спустя. Мы разбили свои бокалы об открытую нами кирпичную отмостку первого одесского фундамента и ознаменовали этим новую эру в историко-археологическом изучении Одессы.

Раскоп законсервирован и засыпан. Здесь снова растут цветы. Быть может, еще через два столетия кто-нибудь также раскопает на этом месте следы и нашего ритуального возлияния и получит такое же удовольствие.

Культурный слой Одессы в месте раскопок представлял собой строительные напластования конца XVIII — середины XX в. и стратиграфически расчленялся преимущественно по сооружениям. С глубины 4 м среди находок стали попадаться обломки чернолаковой античной посуды, датировавшиеся V-III вв. до н.э. Это было удивительно и неожиданно. Тогда мы не поняли, что Судьба улыбается нам вторично.

Вторая улыбка Судьбы. Чернолаковым находкам мы вначале не поверили. Они были «слишком» античными, а мы — люди искушенные. Было ясно, что нам их подсунули. Такие шутки распространены в археологической среде и, несмотря на свой почтенный возраст, почитаются едва ли не самыми остроумными. Их цель — представить своего коллегу-раскопщика полуграмотным идиотом. Для этого лишь нужно тайно подложить какую-либо вещь в слой, который будет обрабатываться раскопщиками в ближайшее время. Любой археологически осведомленный человек может это сделать достаточно незаметно. По идее, мы должны найти эти подкидыши, убедиться в их подлинности, обрадоваться, как дети, и раструбить о новом открытии. А шутники смогут злорадно предвкушать публичное разоблачение нашего махрового невежества.

Но нам не хотелось оказаться в дурацком положении. К тому же обломков было не много — около двух десятков фрагментов. Они были красивы: донышки чернолаковых киликов с изящными пальметками, фрагменты краснофигурных стенок. Но известно, что чернолаковая посуда в греческом мире была предметом роскоши. И вероятность ее обнаружения в многократно перелопаченном слое XIX -XX вв. была ничтожна. Это усиливало нашу подозрительность. Ведь если бы мы действительно натолкнулись на остатки античного культурного слоя, то скорее бы следовало ожидать массового материала: обломков амфор, лепных сосудов и т.п. А их не было. Поэтому мы решили, что подлог вероятен, и не спешили радоваться этим фрагментам.

С другой стороны, находки, конечно же, могли оказаться и подлинными — они были разнообразны и не единичны. Тем более что недалеко от места раскопа, на Приморском бульваре еще в XIX в. были обнаружены античные изделия. Они связывались с существованием здесь Гавани Истриан, отмеченной Флавием Арианом, который в 134 г. н.э. составил «Перипл Понта Эвксинского» и описал расположение прибрежных населенных пунктов. У нынешней Лузановки им отмечен другой поселок, который многие антиковеды (Карышковский, Клейман 1985: 35-40) связывают с Гаванью Исиаков [исиаки (асиаки) — скифское (?) племя, населявшее окрестности нынешнего Тилигула-Исиака (Асиака)]. Там также известно античное поселение, которое изучалось одесским археологом Э.И. Диамантом. Оно датируется IV-III вв. до н.э.*

Четверть века тому назад Эммануил Израилевич попытался найти культурный слой и Гавани Истриан на Приморском бульваре, где заложил шурф. Находки в шурфе подтвердили существование на этом месте в V-III вв. до н.э. небольшого античного поселка, что не противоречило сведениям Арриана (Диамант 1976: 204-212).

Обнаружение в нашем раскопе обломков роскошной посуды казалось странным — такая посуда могла содержаться лишь в напластованиях крупного и богатого города. Эти обломки никак не вписывались в представление о Гавани Истриан как о маленьком заштатном поселке. И они никак не могли сохраниться в столь многократно перекопанном слое. Да и было их слишком мало, чтобы о чем-то говорить.

Именно это я сказал самому увлеченному участнику раскопок, школьнику Андрею Красножону, который, желая стать археологом, решил написать сочинение о наших достижениях у Оперного театра. Он попросил меня дать ему сведения по теме «Античная Одесса» в связи с новыми находками. Я счел это занятие мало осмысленным, поскольку материала почти нет. А тот, что есть, — сомнительный. Однако мы все же решили, что для школьного сочинения это сойдет. И я механически стал ему подбирать литературу к сочинению на заданную тему — обычная работа учителя.

Устами младенца порой глаголет истина. Но мало кто этих младенцев слушает. В самом деле, историк-профессионал, хорошо представляющий себе научную ситуацию с изучением античности в Северном Причерноморье, никогда не стал бы этим заниматься всерьез. Работы Диаманта считались, мягко говоря, «игрой ума», не имеющей особого научного смысла. Наверное, нужно было увидеть ситуацию глазами заинтересованного ребенка. Так Судьба улыбнулась нам повторно — просто мы не сразу это заметили.

Просматривая разбросанные по различным изданиям сведения о находках античного времени на территории Одессы, я все более удивлялся их многочисленности. Эти сведения по-

* Локализация Гаваней Истриан и Исиаков спорна. Здесь мы, вслед за П.О.Карышковским и И.Б.Клейманом, помещаем Гавань Истриан на Приморском бульваре в Одессе.

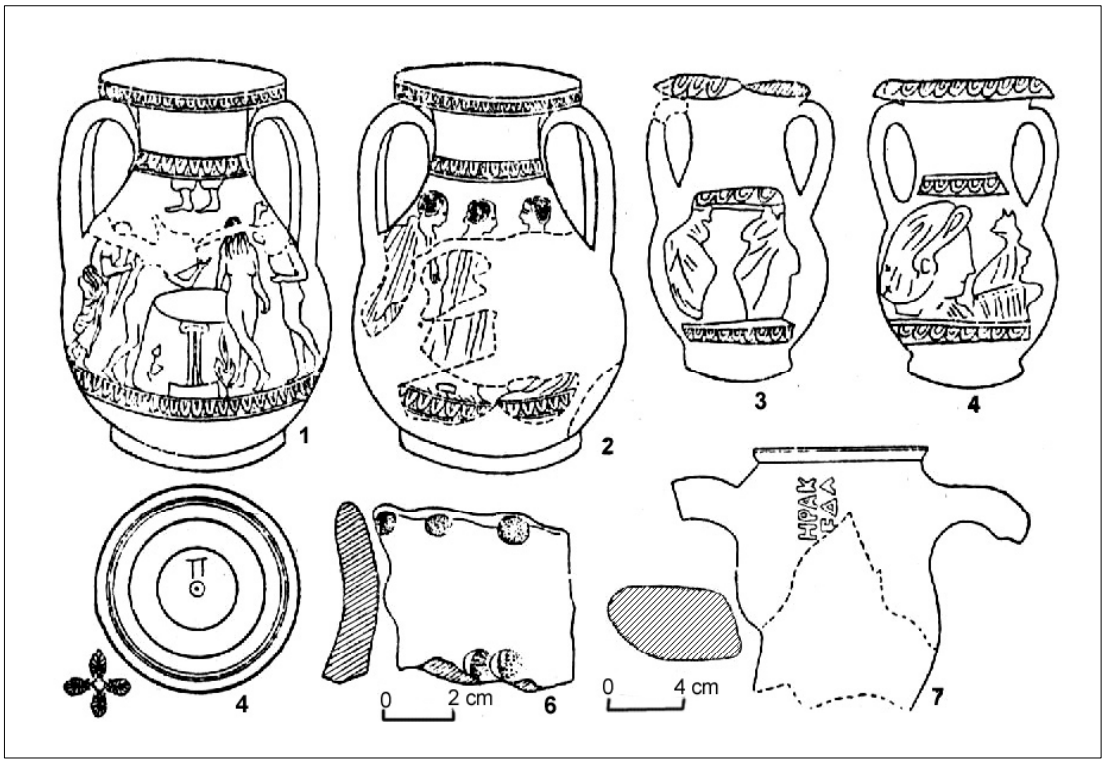


Рис.1. Находки V-III вв. до н.э. из Театрального переулка

являются уже с конца XVIII в. Позднее, в 1820-30-х гг., об этом писали И.П.Бларамберг и И.А.Стемпковский — основатели Одесского музея древностей. Сообщения о них публиковались в одесских газетах на протяжении всего XIX в. И если нанести эти находки на современный план Одессы, то окажется, что они почти повсеместны на территории между Военной и Карантинной балками от моря вплоть до улицы Греческой. Преимущественно, это фрагменты богатой чернолаковой и краснофигурной посуды. Особенно выделяется район Оперного театра. Здесь в 1826-31 гг. при строительстве обнаружены древние захоронения с медными и бронзовыми украшениями, амфоры с клеймами, расписные сосуды. На них изображены прелестные умывающиеся женщины (рис.1). Как сказано в «Одесском вестнике» (1827 г.), «...окрестности нашего театра составляют истинно классическую часть Одессы. Всякий раз, когда там роют землю, находят новые остатки греческих древностей». Упоминаются и срытые при постройке домов курганы.

Примечательно, что на территории к юго-западу от Приморского бульвара нигде не отмечено строительных и хозяйственных остатков древнего культурного слоя — только богатые находки и могилы. Остатки же самого слоя известны только под бульваром. Это могло лишь означать, что центральная часть Одессы располагается на территории обширного античного могильника. На участке нашего раскопа этот могильник был потревожен еще при строительстве первых одесских домов. Первые строители Одессы вполне могли бы в свое время увидеть античные обломки. Но с нашей стороны искать здесь остатки древнего культурного слоя было просто глупостью.

И вот почему. Строительство первого дома Волконского разрушило предшествующий культурный слой (если он там был). Затем этот дом перестраивался его следующим хозяином, бароном Рено. Сюда же вклинился флигель дворца Ланжерона. Позднее, в 187О-е гг., на этом месте был построен трехэтажный дом. Этот дом дожил до 1941 г., когда в него попала авиабомба. В конце 1940-х гг. остатки стен этого дома растащили. Здесь был разбит сквер. В 196О-х гг. тут размещалась скважина для подкачки жидкого стекла под Оперный театр. И, наконец, после реставрации театра сюда был завезен чернозем, образовавший поверхность ныне существующего сквера, которую мы решились потревожить. Очень трудно представить, чтобы предшествующий культурный слой, каким бы он ни был, мог здесь сохраниться после всех описанных событий.

Однако античный могильник, видимо, был настолько богат, что нам все же достались фрагменты содержавшихся в нем вещей. Несмотря ни на что. Удивительно не то, что находок было мало — напротив, странно, что их здесь сохранилось так много. И тогда сколько же их может обнаружиться, если копать на менее потревоженных одесскими строителями участках — под улицами, в скверах, во дворах и т.п.?

Ясно, что такой обширный могильник (не менее 4О га) мог быть оставлен лишь населением большого города. И от этого города должен был сохраниться мощный культурный слой. Между тем остатки такого слоя, изученные Э.И.Диамантом, указывают на существование здесь лишь небольшого поселка. И крупный некрополь (по территории он сопоставим с некрополем Ольвии) никак не мог быть оставлен скромными сельскими поселенцами. В таком случае, куда же этот город подевался?

Казалось, что он «уплыл в море». Действительно, морское побережье изменчиво, и район Одессы давно изучается палеогеографами. Известно, что берег в районе Одессы неуклонно отступает, а уровень моря — поднимается. Так, в середине 1 тыс. до н.э. этот уровень здесь был на 10-12 м ниже современного. Береговая же линия в районе нынешнего Приморского бульвара проходила примерно в 500 м мористее. Пересыпь в районе Хаджибейского лимана существовала лишь периодически, она временами размывалась — полностью или частично. Основная же часть древнего города вполне могла находиться на поглощенном ныне морем участке шириной около 0,5 км перед нынешним Приморским бульваром. Такая территория была достаточной для размещения на ней крупного по античным представлениям населенного пункта (рис.3).

Сказанное согласуется с имеющейся научной литературой (Бруяко, Карпов 1992: 87-97). Значит, здесь действительно существовал древнегреческий город с некрополем на степной окраине. Он всплыл в моем воображении ожившей реальностью. Это было сильное впечатление (Добролюбский, Красножон 1997: 91-94).

Впечатления следует проверять. Мы понимали, что наша догадка — лишь повод для размышлений. Если она верна, то как могло случиться, что мы первыми до этого додумались? Тем более что находки изделий античного времени, как выяснилось, ранее встречались едва ли не повсеместно при любых работах в Одесском порту. Пределы их распространения в целом соответствовали предполагаемой территории поглощенного морем древнего города — приблизительно 500 м от современной береговой линии. Получается, что все сведения согласуются и наши наблюдения обоснованы.

Оставалось непонятным и то, что такой большой город не был замечен его современниками, если не считать сообщения Арриана о Гавани Истриан. Но это сообщение оставлено в начале II в. н.э., примерно на 500-600 лет позднее того времени, на которое указывали археологические материалы. Оно не синхронно интересующему нас времени. Ведь Арриан составлял карту Понта Эвксинского для нужд своей эпохи. Принято считать, что он использовал более ранние сведения из ныне утраченных периплов. Эти соображения позволяют лишь предполагать более давнее существование гаваней Истриан и Асиаков. Ныне же ясно одно — при Арриане Гавань Истриан была небольшим приморским поселком. Каким он был раньше — неизвестно.

Искушение Овидием и Геродотом. Действительно, наше впечатление о крупном городе V-III вв. до н.э. на месте Одессы никак не увязывается с другим впечатлением — об обстоятельной изученности античной эпохи в Северном Причерноморье.

Античные памятники привлекли к себе внимание еще с конца XVIII в. — со времени колонизации Россией причерноморских земель. Эти древности воспринимались русским образованным обществом, воспитанным на культуре классицизма, как что-то свое, почти родственное. Обаяние античной культурой оказалось всепроникающим. Всем хотелось поселить на отвоеванных у Турции территориях как можно больше античных героев. Первым сюда поселили Одиссея. Так, поэт В.В.Капнист был убежден, что Одиссей странствовал не в Средиземном, а в Черном и Азовском морях. Доказательство этому пытались найти и в начавшихся здесь археологических поисках. Сначала ими занялись военные, которых вскоре сменили увлеченные любители и ученые. Сложилась плеяда знатоков античного Причерноморья — таковыми были уже упоминавшиеся И.П.Бларамберг и И.А.Стемпковский, который в 1823 г. подал новороссийскому генерал-губернатору М.С.Воронцову записку: «Мысли относительно изыскания древностей в Новороссийском крае». Он писал: «Ничто не может быть утешительнее для ума просвещенных людей, как стараться спасти от забвения существующие в Отечестве нашем остатки образованности народов отдаленной древности, ничто не может доставить им более удовольствия, как находить... памятники, которые могут дать самые достоверные свидетельства относительно религии и правления, наук и художеств, деяний и нравов поколений, столь давно угасших».

Это отражало общее умонастроение. Уже со времен основания Одессы начались поиски гробницы Овидия. Напомню, что в 8 году н.э. Овидий был выслан императором Августом на далекую окраину античного мира — в город Томы на западном берегу Черного моря. Здесь он создал «Скорби» и «Послания с Понта». В Томах, кроме греков и римлян, жили скифы, геты, сарматы. Овидий как будто пробовал сочинять стихи на гетском языке. Не дождавшись амнистии, в 17 или в начале 18 года н.э. он умер и, вероятно, был похоронен на одном из городских кладбищ. Судьба Овидия была близка ссыльному Пушкину, который жаловался Н.И.Гнедичу: «Живу меж гетов и сарматов, никто не понимает меня». Об Овидии говорится и в первой главе «Евгения Онегина»:

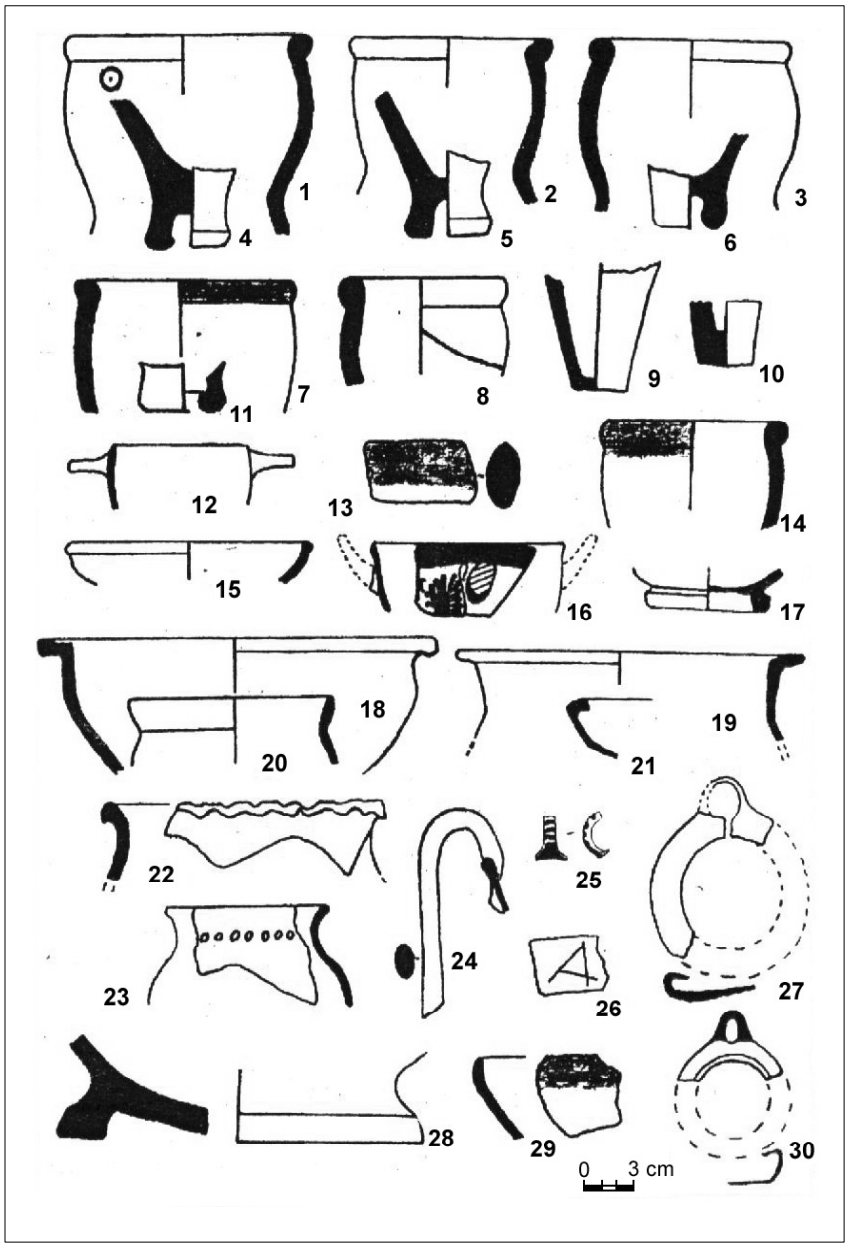


Рис.2. Находки VI-V вв. до н.э. из раскопа у Воронцовского дворца

« ...Страдальцем кончил он
Свой век блестящий и мятежный
В Молдавии, в глуши степей,
Вдали Италии своей».

Если общество требует гробницу Овидия, то ее нужно найти. Так и сделали. В 1795 г. первый строитель Одессы Франц Деволан, при строительстве крепости на месте турецкого поселка Хаджидер на Днестре, наткнулся на древнюю могилу. Она была немедленно объявлена могилой Овидия. О сенсационной находке русских солдат на Днестре оповестили мир петербургские и парижские газеты, доктор М. Гетри послал об этом три научных доклада обществу антикваров в Лондоне. Естественно, новая русская крепость получила имя ссыльного римского поэта. Хотя еще тогда академик Паллас доказал, что Овидий жил и умер значительно западнее. Но ни для Пушкина, ни для всей литературной традиции эти доказательства никакого значения не имели. Всем было приятно думать, что Овидий жил именно здесь. И его имя сохранилось в названии современного нам городка-райцентра.

Это пример показывает острое желание соотносить легенды об античности с археологическими памятниками (Формозов 1979: 70-115). Так научные мифы закрепляются в культурном сознании, сохраняются в нем и сегодня. И вот почему.

В обиходном восприятии античная эпоха предстает ярким культурным явлением, цельным и характерным. Но при конкретном ее изучении цельность восприятия рассыпается. Ее продолжительность только в Причерноморье — более тысячелетия: первые греческие колонисты здесь появились с VII в. до н.э. А последние

остатки античных городов здесь были сметены в конце IV в. н.э. гуннским нашествием.

Письменные сведения обо всем этом тысячелетии в Северном Причерноморье содержатся в описаниях немногих древних авторов. Если эти данные распределить по периодам внутри античной эпохи, то они оказываются либо заимствованными друг у друга, либо оставленными задним числом, много столетий спустя после упоминаемых событий. Все эти сообщения требуют хронологической проверки и локализации.

Наши представления о Причерноморье в античную эпоху основаны на трудах Геродота, Страбона, Помпония Мелы, Птолемея, Арриана и др. Каждый из них привлекает к себе повышенное внимание ученых-антиковедов. Например, вряд ли можно сосчитать число трудов, посвященных Геродоту. Наследие «Отца истории» истолковано столь тщательно, что читать его самого стало как бы не обязательным. В этом я убедился и как преподаватель древней истории, и как член научной среды, которая воспроизводит такую традицию. Эта традиция заменила Геродота и, вольно или невольно, приписала ему те сообщения, которые в его тексте не содержатся.

Общеизвестно, что в «Истории» Геродота книга 4 «Мельпомена» посвящена, в частности, описанию Скифии. Это единственный дошедший до нас нарративный источник V в. до н.э. Повышенный интерес к его изучению породил (как и в случае с Овидием) «искушение Геродотом» — острое желание сделать «Отца истории» очевидцем едва ли не всех происходивших здесь событий. Так, его заставили посетить Ольвию — миф, давно перекочевавший даже в учебную литературу. Хотя в тексте «Мельпомены» об этом решительно ничего не говорится.

Ольвия — законная гордость отечественного антиковедения. Она была обнаружена в конце XVIII в., первые попытки ее археологического исследования были предприняты в 1801 г. О ней стали писать И.П.Бларамберг, Д.Рошетт, П.Кёппен и В.В.Латышев, издавший ее греческие и латинские надписи. Развалины Ольвии оставались почти нетронутыми на протяжении всего X1X в. А с 1901 г. Б.В.Фармаковский начинает их планомерные исследования, которые и сегодня продолжаются его преемниками. Ольвия давно стала образцовым памятником для изучения всей истории античного мира в Северо-Западном Причерноморье. Трудно удержаться от желания поселить сюда Геродота. И его поселили туда в связи с новеллой о скифском царе Скиле.

Другие свидетельства куда более поздние и более опосредованы. К ним можно отнести лишь вступление к речи Диона Хрисостома — бродячего оратора и философа I в. н.э. и, пожалуй, малоинформативный отрывок из сочинения ольвийского писателя Дионисия. Ольвия также упоминается в «Сатурналиях» писателя V в. н.э. Макробия в связи с осадой города полководцем Александра Македонского Зопирионом. Вряд ли этот провинциальный сюжет попал бы в поле зрения Макробия, если бы Зопирион не исполнял широко задуманные планы великого царя (Виноградов 1989: 17).

Здесь перечислены все нарративные сведения об Ольвии. Сходная картина и с другими античными городами Северного Причерноморья. Геродот, таким образом, — единственный автор, оставивший нам о них синхронные для V в. до н.э. известия.

Что же это за известия? Нигде в тексте «Мельпомены» не содержится прямых упоминаний о греческих городах. Кроме «Торжища Борисфенитов», откуда Отец истории ведет свое повествование и «... которое находится в середине приморских земель всей Скифии». Здесь «первые живут каллипиды, кои суть эллино-скифы, а выше их другой народ, алазонами именуемый» — пишет Геродот. «...На другой же стороне Борисфена первая от моря земля есть Гилея; выше оной обитают скифы-земледельцы, коих эллины, живущие у реки Гипаниса и зовущие себя ольвиополитами, называют «борисфенитами» (Геродот, 4, 17-18). Это — единственный случай упоминания «ольвиополитов». Далее по тексту, в упомянутой новелле о Скиле, речь идет о городе Борисфенитов (Борисфене), который толкователи Геродота отождествили с Ольвией. Такое отождествление стало общепринятым и легло в основу всех последующих исследований. Так с Ольвией связали историю самого Скила. Ее уместно напомнить:

«... Был у скифского царя Ариапифа между прочими сыновьями сын Скил, родившийся не от туземки, но от истрианки, которая сама научила его эллинскому языку и наукам. По прошествии времени Ариапиф изменою был убит Спаргапифом, царем агафирсов; и Скил принял после него престол... Но и царствуя над скифами, Скил никак не любил скифского образа жизни, а склонялся больше к эллинским обычаям по причине данного ему воспитания... всякий раз, как ходил он со скифским войском в город борисфенитов (тех борисфенитов, кои называют себя милетянами), войско оставлял он в предместии города, а сам входил в город, запирал ворота и, скинув с себя скифскую одежду, надевал эллинскую и в ней ходил по торжищу без оруженосцев и без всякого спутника, а у городских ворот ставил стражу, чтобы кто из скифов не увидел его в сем наряде; равным образом и в прочем он держался эллинских обычаев и богам приносил жертвы по уставам эллинов. Проведя там месяц или более, он возвращался назад, опять надевши скифское платье. Это делал он многократно, даже дом себе построил в Борисфене и жену в него взял из тамошних уроженок».

Очевидно, что об Ольвии здесь не сказано

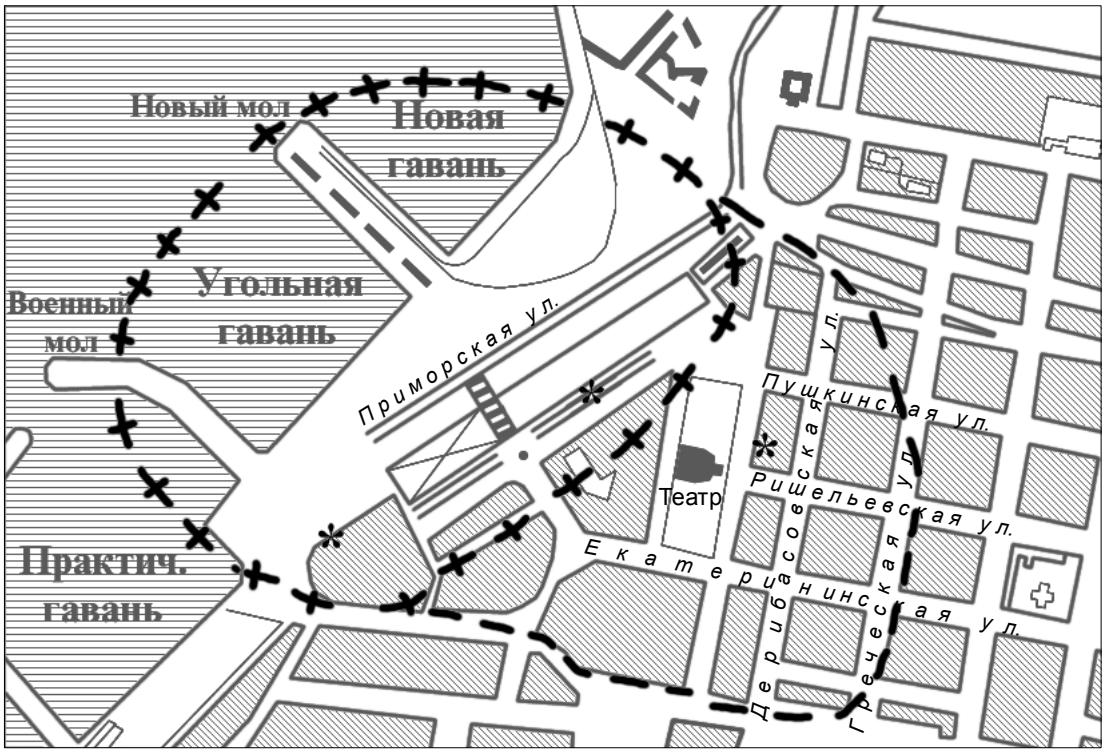


Рис.3. Схема распространения находок античного времени под исторической частью Одессы
Приблизительные контуры:

города — Гавани Истриан;

могильника

Места раскопок

ни слова — речь идет лишь о торжище Борисфенитов. Именно в нем находился Геродот. Город же Борисфенитов сейчас едва ли не однозначно связывается с поселением на о. Березань. Сказанное лишь означает, что Геродот находился на Березани.

Получается, что переселение Геродота с Борисфена в Ольвию — историографическое недоразумение, из-за которого царь Скил вынужден предаваться своим вакханалиям и эллинофильству именно в Ольвии. Но Геродот не описывает Борисфениту вообще — для него она служат лишь декорацией, перед которой разыгрывается драма скифского царя. Тогда нет оснований искать прямые указания на существование и какого-либо иного города. Указания могут быть только косвенными и истолковываться лишь в едином контексте с иными сведениями о греческих городах V в. до н.э. Они нам даны эпиграфикой, нумизматикой, археологией. Но если Ольвия, Тира и прочие античные центры давно исследуются, то городу на месте Одессы просто не повезло.

Действительно, к концу XVIII в. большая часть античного города здесь была уничтожена морем. Поэтому здесь не было его руин. Антиковеды в период начальной городской застройки лишь обратили внимание на яркие античные находки в Одессе — это следует из научных и газетных сообщений. И никто тогда не мог знать современных данных об отступлении берега в районе Одессы с античных времен. К тому же раскопки античных памятников, после первого бума на рубеже XVIII-XIX вв., более нигде не проводились. Систематическое изучение Ольвии началось Б.В.Фармаковским лишь в 1901 г. — археология снова стала входить в моду. Но к тому времени вся центральная часть Одессы уже была застроена в почти современном виде (рис.3). Старая информация забылась, оказалась невостребованной.

Однако наш город явно существовал во времена Геродота. Тогда его историческое место может обозначиться лишь при пересмотре всех имеющихся данных об истории греческой колонизации Причерноморья. Если Ольвия или Борисфен для Геродота были лишь очевидным фоном рассказа о Скиле, то таким же фоном могла служить и Гавань Истриан. Неужели «Отец истории» нигде об этом не проговорился?

Эллины и варвары между Истром и Борисфеном. Как известно, первыми греческими колонистами Северо-Западного Понта были

выходцы из Милета, основавшие ранее всего (середина VII в. до н.э.) Истрию на острове к югу от дельты Дуная-Истра, а несколько позднее — торжище Борисфенитов (Борисфен) на острове (тогда полуосторове) Березань в устье Днепро-Бугского лимана. Эти поселки стали пунктами дальнейшей колонизации греками западных и северопонтийских берегов, которая становится наиболее интенсивной к VI в. до н.э., особенно ко второй его половине. Так, борисфенитами на правом берегу Южно-Бугского лимана была основана Ольвия. Позднее, во второй половине VI века, возник и «город победы» Никоний на левом берегу Днестровского лимана. Примерно в то же время появилась Тира.

Накануне и в эпоху колонизации степные пространства между Нижним Дунаем и Днестром были заселены фракийцами. К востоку от Днестра жили скифы, племена которых перечисляет Геродот. Междуречье Дуная и Днепра было зоной скифо-гето-фракийского взаимодействия. Гето-фракийские элементы в материальной культуре этого времени прослеживаются на восток, до Ольвии. С другой стороны, скифские элементы наблюдаются здесь далеко на запад, вплоть до Добруджи. Города и поселки греческих колонистов, куда стало стремиться варварское население, превращаются в центры смешения перечисленных этносов — эллинов, гетов, фракийцев, скифов. При этом в VI в. ни одна из этнических общностей не обладала достаточными силами для завоевания здесь господствующего положения (Андрух 1995: 51-71).

Обстановка меняется к рубежу VI-V вв. до н.э., после похода Дария в 512 г. до н.э. (рис.4), который был начат с фракийской территории, а потому вряд ли осуществлялся без участия фракийцев (Щукин 1991: 103). Естественно, скифо-фракийские отношения осложнились, несмотря на многочисленные родственные связи тех и других. Самым мощным объединением фракийцев было царство Одрисов к югу от Дуная.

После победы над Дарием скифы усиливаются, их западная активность возрастает. Низовья Дуная, бывшие ранее только местом редких кочевий скифов, становятся зоной их интенсивного проникновения. Поход скифов в 496 г. до н.э. на Балканы был предпринят, согласно Геродоту, для отмщения персам и, видимо, фракийцам. Однако Одрисское царство сумело организовать отпор, скифы вынуждены были возвратиться на левый берег Дуная, а быть может, и отступить за Днестр.

Скифо-фракийское противостояние после похода Дария длилось до 480 г. до н.э. и закончилось взаимным признанием границ влияния и заключением династического брака между Ариапифом — царем скифов и дочерью одрисского царя Тереса. Тогда же был заключен еще один брак Ариапифа — с истрианкой. От этого брака и родился тот самый Скил, происхождение и судьба которого нас здесь занимают. Ведь по времени рассказ Геродота соответствует расцвету древнегреческого города на месте Одессы. Если город существовал, то Скил не мог о нем не знать.

Нам ничего не известно о поведении греческих городов на понтийском побережье между Истром и Борисфеном во время нашествия Дария. По археологическим наблюдениям, в начале V в. до н.э. на сельских поселениях Побужья и Поднестровья жизнь замирает, начинается строительство оборонительных стен в Ольвии и Никонии. Это может означать ухудшение скифо-греческих отношений. Скифы разрушают сельскую округу, а сами города попадают от них в экономическую и политическую зависимость. Над ними устанавливается «*варварский протекторат*» (Виноградов 1989: 116-121). Городами стали управлять ставленники скифских царей либо сами цари.

Такими царями были и Ариапиф, и его сын Скил — «протекторы» Борисфениды, Ольвии, Никония и, видимо, города на территории Одессы — Гавани Истриан. Подтвердить ее существование могли лишь новые раскопки на сохранившихся участках античного культурного слоя. Такой участок следовало найти.

Третья улыбка Судьбы. Казалось, что самым перспективным районом для поисков является Приморской бульвар. Лишь здесь были прослежены строительные остатки уничтоженной морем Гавани Истриан. Мы полагали, что культурный слой древнего города мог сохраниться здесь лишь в самой окраинной своей былой части, которая, видимо, непосредственно примыкала к некрополю, прослеживавшемуся уже в Театральном переулке. Это подтверждало и топографическое распределение находок, сделанных в XIX в., и сравнительно недавние работы Э.И.Диаманта.

Полностью сохранялась, таким образом, лишь территория некрополя (рис.3). Это — часть города между Военной и Карантинной балками. Она застроена, улицы замощены и заасфальтированы. Древние могилы можно искать лишь вслепую, а это ненадежно. Поэтому опасно было беспокоить городские власти очередной авантюрой. Искать следовало лишь с высокими шансами на успех. Просто так снова вырыть безобразный котлован в самом красивом месте Одессы нам никто более не позволит.

К тому же не было ясно, где его следует вырывать. Ведь Приморский бульвар неоднократно перестраивался, его склоны не раз нивелировались. Наименее потревоженным выглядел склон обрыва у Воронцовского дворца. На рисунках 20-30-х гг. XIX в., сделанных со стороны моря, можно видеть верхнюю часть склона — каменную стену под зданием дворца и колоннадой. Они выглядят так же, как сегодня. Значит, именно этот район берега не изменялся со времени строительства Воронцовского дворца.

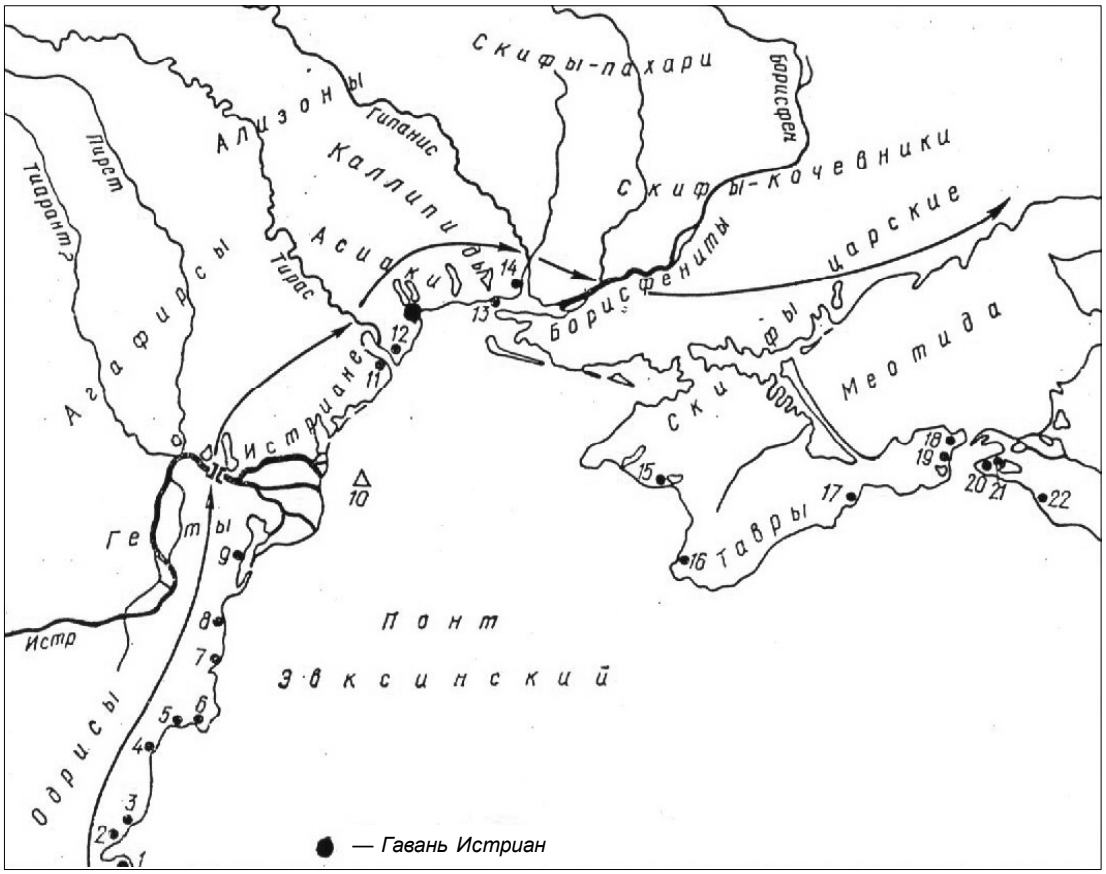


Рис.4. Северо-Западное Причерноморье во времена Дария и Скила (по П.О.Карышковскому).

Место для поисков культурного слоя здесь казалось самым привлекательным. Тем более что в районе дворца и ранее находили обломки античных сосудов. Об этом мне двадцать лет назад рассказал мой учитель, П. О. Карышковский, когда мы с ним сидели на этом обрыве и, прячась в кустах от милицейских патрулей, пили вино из бутылки, любуясь акваторией Одесской бухты. У Петра Осиповича была изумительная историческая интуиция. Тогда он мне сообщил, что две с половиной тысячи лет назад, на этом же месте, такие же, как мы, только древние греки, так же сидели и пили вино из амфоры, любуясь дивной акваторией своей Гавани Истриан. Но патрули их не гоняли.

Профессор П.О.Карышковский не ошибался никогда. Значит, город был здесь. Здесь и следовало копать.

Впрочем, и это место могло оказаться неудачным — именно здесь находилась та самая Хаджибейская крепость, которая была захвачена Иосифом де Рибасом в 1789 г. и впоследствии разрушена. Это могло означать, что крепость должна была уничтожить искомый античный слой. И при раскопках мы столкнемся лишь с разрушениями турецкого Хаджибея, что нас в данном случае слабо возбуждало.

Наши хрупкие надежды питали также откровения одесских коллекционеров. Этих несчастных обычно гонят прочь от раскопов, поскольку они склонны украсть самое ценное. И это бывает. Но в наших условиях гнать их глупо и бесполезно — раскопы никак не охраняются, они общедоступны, и каждый желающий может в них ковыряться сколько угодно после окончания археологического «рабочего дня». Поэтому мы с Олегом давно решили не бороться со стихией, а пытаться ее использовать.

Коллекционеры — владельцы бесценной и неведомой информации. Они внимательно следят за всеми строительными и реставрационными работами в Одессе. По качеству сведений частные коллекции порой немногим уступают музейным (Коциевский 1995). Нам даже подарили множество обломков античной посуды VII-VI вв. до н.э. и показали истрийские монеты V-IV вв. до н.э. с территории Одессы.

По слухам, при недавнем строительстве памятника Глушко перед Воронцовским дворцом был вырыт котлован, где обнажился культурный слой, содержавший обломки античной посуды, а также клад истрийских монет-«колесиков». На это строители памятника, естественно, не обратили никакого внимания. Коллекционеры стали их собирать. Никто эту деятельность никогда не афишировал — формально она считается почти уголовной, хотя происходит прямо «на глазах у изумленной толпы». В Тире и Никонии — грабеж повальный и организованный. Поэтому раскопки под памятником

Глушко могут считаться невинными играми.

Поэтому мы решили искать счастье между Воронцовским дворцом и памятником Глушко. И Судьба нам снова улыбнулась. На том самом месте, где некогда сидел профессор Карышковский и рассказывал о Гавани Истриан, мы нашли обломок расписного сосудика, и, зачистив верхнюю часть склона, обнаружили непотревоженный античный слой. Он сохранился в виде нескольких хозяйственных ям, которые в свое, еще античное, время были заброшены жителями и превращены в мусорники.

Античный слой перекрывался строительными остатками XVIII в., содержавшими фрагменты поливной турецкой посуды. Их датировка соответствовала времени существования здесь Хаджибейской крепости. Эти остатки защитили античный слой от позднейшего строительства, они частично перерезалась слоями мусора XIX и XX вв.

Так павшая Хаджибейская крепость сберегла для нас мусорные ямы античного времени, содержавшие более 3000 разнообразных обломков античной посуды VII-IV вв. до н.э. Встречено много амфорного боя, в том числе и с граффити. Большинство изделий было произведено в Ионийской Греции, на островах Лесбос и Хиос, встречаются вещи из Синопы и Аттики. В целом состав находок довольно обычен для крупного северопонтийского центра того времени — это фрагменты киликов, скифосов, мисок, тарелок, кубков, кратеров, пелик, светильников, кувшинов, лутериев и т.п. Широко представлена чернолаковая (и расписная) керамика, столовая светлоглинянная и лепная — «скифского» и «фракийского» облика. Датирующие находки позволяли отнести время образования наших мусорников ко второй половине VII — VI в. до н.э. Среди находок попадались обломки кувшинов с высокоподнятой ручкой. Такая посуда характерна для производства Истрии (Красножон 1997: 161-165) (рис.2). Ямы были вырезаны в материке. Значит, искомая Гавань Истриан здесь возникла не позднее второй половины VII в. до н.э. Она была, таким образом, старше Ольвии, Тиры, Никония, ровесницей Борисфена и, видимо, дочерью придунайской Истрии.

Полученные сведения означали, что античный город на месте Одессы возник в самом начале греческой колонизации. Состав находок из слоя позволял предполагать его изначальное истрийско-фракийское происхождение. Расцвет города приходится на вторую половину VI — первую половину V в. до н.э. Видимо, истриане и фракийцы продолжали сохранять здесь свое влияние и позднее — об этом, помимо керамики, говорят истрийские монеты V-IV вв. до н.э. Однако сохранение такого влияния не увязывалось с впечатлением о резком усилении здесь скифов после разгрома Дария и установлением их господства над Ольвией и другими греческими полисами.

Бегство Скила из Гавани Истриан. Снова попытаемся представить себе место Гавани Истриан на фоне исторической обстановки между Истром и Борисфеном. Сведения туманны, они извлекаются из рассказа Геродота о Скиле и переплетаются с отрывочными археологическими и нумизматическими наблюдениями. Связь фактов и событий не очевидна, кажется парадоксальной, улавливается с трудом и всегда неожиданно. Видимо, здесь требуется детективное источниковедческое мышление.

Рассказ о Скиле хронологически соответствует первой половине V в. до н.э. — времени «варварского протектората». Это время скифо-фракийского противостояния, которое примерно к 480 г. закончилось примирением Тереса с Ариапифом и династическими браками последнего с фракиянкой и истрианкой. Вероятно, встретив сопротивление на юго-западе, скифы переориентируются и нападают на земли агафирсов, с которым они и ранее враждовали. Геродот сообщает, что Ариапиф — отец Скила — погиб от руки Спаргапифа, царя агафирсов, которые были соседями скифов, начиная от Истра [4,100]. Находки в Молдове скифских погребений и оружия конца VI-V вв. до н.э. свидетельствуют о проникновении сюда скифов. Видимо, во время похода Дария агафирсы были на стороне персов. После его разгрома они оказались как бы в политической изоляции (Андрух 1995). Как бы там ни было, ясно, что агафирсы соседили с востока со скифскими племенами алазонов и каллипидов (по Геродоту). Эти племена входили в царство Ариапифа, которое и унаследовал Скил. Его владения располагались между Тирасом и Гипанисом (рис.4).

Пребывание Скила в Борисфене (неважно, был ли Борисфен Березанью или Ольвией) подтверждает эту локализацию: каллипиды были для греков-борисфенитов ближайшими соседями. Они же, видимо, осуществляли над Борисфеном свой «варварский протекторат». Другие, западные пределы владений Скила находились у Тираса. Так, в Никонии были найдены монеты с его именем. На аверсе этих монет изображена сова и имя Скила, а на реверсе — колесо, один из древнейших солярных символов. Эти монеты позволяют утверждать, что Скил властвовал не только над Борисфеном, но и над Никонием. Они датируются второй четвертью V в. до н.э. (рис.6). Другим свидетельством деятельности Скила является его перстень, найденный в Добрудже, близ Истрии, места его гибели (Виноградов 1980). Попытаемся соотнести все эти сведения.

Установлено, что в Истрии, Борисфене и Ольвии в VI-V вв. до н.э. функции денег выполняли электровые монеты, главным образом, чеканки города Кизика — «кизикины», а на местных рынках обращались бронзовые монеты необычных для Эллады видов — анонимные

литые наконечники двухлопастных стрел, ольвийские дельфиновидные слитки, круглые истрийские монеты с изображением колеса — такого же, как и на монетах царя Скила из Никония (Карышковский 1988: 27-49).

Выпуск монет Скила в Никонии, находка его перстня близ Истрии и истрийское происхождение Скила по матери — это достаточно прямые сведения о тесной связи этого скифского царя с истрийско-фракийским миром, которая предполагает и соответствующую культурно-политическую ориентацию. И мы знаем, что Скил был обвинен скифами в эллинофильстве. «...И когда после сего Скил возвратился во владения свои, — пишет Геродот, — то скифы восстали против него, избравши предводителем брата его Октамасада, что рожден был от дочери Тереевой. Скил, узнав о случившемся и о причине, почему сие сделалось, бежал во Фракию. Октамасад, о сем уведомясь, пошел на Фракию войною. Когда достиг он Истра, вышли ему навстречу фракияне и готовы уже были вступить в битву, как Ситалк послал сказать Октамасаду: «Что нам испытывать счастие? Ты сын моей сестры; у тебя находится мой брат, отдай мне его, и я отдам тебе твоего Скила. Опасностям же войны не будем подвергать себя ни ты, ни я»... Октамасад одобрил предложение и, отдав Ситалку своего дядю по матери, получил от Ситалка брата своего Скила. И Ситалк удалился с братом, а Октамасад там же, немедленно отрубил Скилу голову». Это, видимо, произошло недалеко от того места, где был найден перстень Скила.

Налицо этнокультурная коллизия — истрийско-эллинская ориентация Скила не соответствовала общескифским умонастроениям. К власти вместо Скила — сына истрианки — приходит Октамасад, его единокровный брат и сын фракиянки. Мы видим сглаживание скифо-фракийских отношений и ухудшение скифо-истрийских на фоне лояльных взаимоотношений скифов с Борисфеном и, видимо, Ольвией.

Выше отмечалось, что к началу V в. до н.э. обрывается жизнь на сельских поселениях Побужья и Поднестровья, начинается строительство оборонительных стен в Ольвии и Никонии. Скифы стремятся установить над ними свой «протекторат». В Ольвии выпускаются монеты с именами ΑΠΙΞ, ΕΜΙΝΑΚΟ, в которых можно видеть варварских ставленников скифских царей (Карышковский 1988: 49-57).

Эмиссия первых серебряных монет Ольвии с именем Эминака отразила ее потребность в собственной монете. Она явилась ответом на предшествующий ей по времени выпуск серебряных монет Истрии, которые ко второй половине V в. до н.э. широко распространились в Северо-Западном Понте. На аверсе монет Эминака изображен коленопреклоненный Геракл, а на реверсе — солярное колесо, окруженное четырьмя дельфинами. Если в колесе и дельфинах можно видеть одну из эмблем этого полиса, то на аверсе представлен основной эпизод скифской этногонической легенды — «натягивание» лука или приведение его в боевую готовность

Греческое происхождение легенды о Скифе, сыне Геракла, натягивающего лук, изображенной на ольвийской серебряной монете, а также негреческое имя Эминака позволяют полагать, что Эминак был царем или предводителем одного из скифских племен, живших со второй трети V в. до н.э. близ Ольвии. Значит, монеты Эминака доказывают усиление скифского протектората над Ольвией и, видимо, Борисфеном после казни Скила, которая произошла примерно в 450 году (Виноградов 198О).

В Никонии же, наряду со строительством оборонительных стен, распространены монеты Скила — скифского царя с истрийской ориентацией. Сова на аверсе может означать ориентацию на Афины, причем в годы формирования Афинского морского союза. Эллинофильство Скила обусловлено не только происхождением и воспитанием, оно проявляется в определенной, антискифской политике. Протекторат Скила над Никонием оказывается не таким уже «варварским» — он отражал истрийско-афинскую политическую линию, которой Ольвия тогда, видимо, не придерживалась.

Истрийские симпатии Скила уже обратили на себя внимание. «Скил намеревался строить на базе греческого Никония свою, независимую от Ольвии, торговую и финансовую политику...», а потому он «стал жертвой интриг ольвиополитов, договорившихся со скифской верхушкой о замене его «настоящим скифом» (Андрух 1995: 61). Опора Скила на Никоний выглядит естественной при учете, что этот город был основан Истрией во второй половине VI в. до н.э. Тогда при его правлении город должен был противопоставлять себя Ольвии. Не исключено, что именно против скифов в Никонии были построены оборонительные сооружения.

Сказанное означает, что в Скифии около 450 г. до н.э. произошел государственный переворот — свержение истрийско-эллинской «партии» скифо-ольвийской оппозицией, которая при этом сумела замирить сочувствующих Скилу фракийцев в лице их царя Ситалка. Скифы закрепляются в Ольвии и Борисфене. Это выразилось в серебряных монетах Эминака — ольвийском ответе на эмиссию серебряных монет Истрии.

Действительно, к тому времени истрийские монеты, известные в Северном Причерноморье с рубежа VI-V вв. до н.э., распространяются здесь еще более широко. Зонами их концентрации являются районы Истрии и Никония. Такая ситуация характерна для всего V в. до н.э. Наблюдается она и в дальнейшем.

Большинство истрийских монет — медные «колесики», наибольшее число которых найде-

Рис.5. Истрийские монеты в Северо-Западном Причерноморье. Типы истрийских серебряных монет с Диоскурами-Кабирами

1 — Истрия, 2 — Гавань Истриан, 3 — о. Левке.

4, 5, 6 — Орловский, Дороцкий, Висунцовский и Камышанский клады.

А — морской путь между Истрией и Гаванью Истриан через о. Левке.

Б — направление похода Зопириона.

но в Истрии и Никонии, а также в различных пунктах черноморского побережья вплоть до Ольвии (рис.5). Таков же ареал и серебряных монет (с Диоскурами), выпуск которых в Истрии начался значительно раньше, чем в Ольвии. Именно они играли едва ли не самую существенную роль в торговле Северо-Западного Причерноморья. Этим монетам даже стали подражать на местах, они глубоко проникали в варварскую среду.

Монеты же других городов — Ольвии или Тиры — проникали в гето-фракийскую и скифскую среду лишь изредка — Истрия играла ведущую роль в экономике и торговле региона. В связи с этим понятен выпуск ольвийской серебрянной монеты как ответ на истрийскую монетную «экспансию». Такой ответ стал возможен лишь под сильным скифским протекторатом и после свержения «истриофильского» царя Скила.

Концентрация упомянутых «колесиков» и серебряных драхм в приморской части междуречья Днестра и Ю.Буга предполагает существование здесь достаточно крупных истрийских центров. Таковым был Никоний, где найдено несколько сотен медных «колесиков» и серебряные драхмы. Между тем обнаруженная нами Гавань Истриан, по самым скромным подсчетам, оказывается по размеру куда больше Никония. Кроме того, здесь также были найдены истрийские «колесики» под памятником Глушко. В частных коллекциях оказались и экземпляры редких истрийских серебряных драхм с Диоскурами, найденные в Одессе. Это значит, что и здесь располагался один из крупнейших центров истрийского влияния в Северо-Западном Понте.

Итак, территория распространения монет Истрии наполняется реальным историко-политическим, экономическим и этнокультурным содержанием. Опорными пунктами «граждан города Истрии» к востоку от Днестра были основанные ими ранее Никоний и Гавань Истриан. Видимо, здесь был восточный рубеж истрийско-фракийского влияния. Это совпадает с заключениями археологов о западной границе Ольвийского полиса в V-IV вв. до н.э. — она находилась у нынешнего Хаджибейского лимана.

Обнаружение истрийских опорных пунктов в царстве Скила объясняет возможность его стремительного бегства во Фракию. Вряд ли он мог бежать сухопутным путем — его неминуемо бы поймали люди Октамасада. Но Скил имел сторонников в Гавани Истриан, которые тайно переправили его морем в Истрию, под защиту фракийцев Ситалка. Логично предположить, что Скил бежал от своих преследователей именно отсюда. Гавань Истриан, крупный город в цент-

ре его владений, мог надежно укрыть царственного беглеца от скифской погони. Но он не смог уберечь его от судьбы.

Две Истрии под знаком Диоскуров. Предположение о существовании второй, дочерней Истрии на берегу нынешнего Одесского залива допускают значительные размеры открытого нами города VII-IV вв. до н.э., который лишь ко II в. н.э. превратился в захудалую Гавань Истриан. Его расположение в центре Скилова царства и, видимо, немалое значение могут объяснить и матримониальный выбор Ариапифа — брак с истрианкой, но не туземкой, как подчеркивает Геродот, но эллинкой, горожанкой. В таком случае, очень вероятно, что она происходила из «одесской» Истрии. Если это так, то, с точки зрения «одесского патриотизма», Скил родился и вырос в Одессе, где получил соответствующее воспитание. Оно его впоследствии и погубило.

Морской путь из Гавани Истриан, или дочерней Истрии в материанскую Истрию в пролегал через остров Змеиный (Левке), где располагалось святилище Ахилла. Не исключено, что Скил при своем бегстве там побывал. Ясно, что военно-политический контроль над островом, освящаемый именем самого Ахилла, был чрезвычайно важен для торговцев и мореплавателей (рис.5). Флавий Арриан хорошо знал, что на Левке заезжали не только случайно заплывающие моряки, но и специально для поклонения герою. «... Некоторые рассказывают, — пишет Арриан, — что Ахилл является им наяву на мачте или в конце реи, подобно Диоскурам. Ахилл только в том, говорят они, уступает Диоскурам, что последние воочию являются плавающим повсюду и, явившись, спасают их, а Ахилл является только приближающимся уже к острову» (Охотников, Островерхов 1993: 107).

В этом свидетельстве Арриана, описавшего защитные (сотерические) функции Ахилла по отношению к мореплавателям, названы и Диоскуры, изображение которых украшает аверсную сторону серебряных истрийских монет. И, если это так, то мы столкнулись с очень важным совпадением.

Общеизвестно, что аверс монеты представляет герб города или государства, его смысл, назначение и символику. Если на аверсе истрийских серебряных монет V-IV вв. до н.э. изображены именно Диоскуры, то ясно, что именно они олицетворяли в сознании истриан основные сущность и функции их полиса. Естественно, что и в этом случае функции Диоскуров также были сотерическими — защищающего божества.

Миф о Диоскурах символизирует смену и органичную взаимосвязь жизни и смерти, света и тьмы. Их культ в классическую эпоху носил всегреческий характер — именно эти герои пользовались наибольшей благосклонностью Зевса (Грейвс 1992: 193-195). В этом смысле Диоскуры превосходили Геракла в эллинском сознании. Ощущение такого превосходства можно обнаружить в аверсной символике двух соперничавших полисов — Истрии и Ольвии — на серебряных монетах V в. до н.э. Взаимная оппозиция налицо — Диоскуры на истрийских монетах противостоят Гераклу на ольвийских. Изначальное превосходство Диоскуров над Гераклом может казаться очевидным каждому эллину — ведь не кто иной, как Кастор обучил Геракла искусству рукопашного боя.

Противопоставление сотерических функций Диоскуров и Геракла показывает и их взаимную заменяемость. Диоскуры считались самыми искусными укротителями коней, кулачными бойцами, покровителями в битвах и спасителями при кораблекрушениях. Изображались Диоскуры прекрасными юношами, в овальных шапках, часто с конями. Ясно, что их могущество было достаточным для защиты любой полисной государственности. И, в случае соперничества Истрии и Ольвии, противопоставление Диоскуров Гераклу могло вполне отражать и политическое противостояние.

Между тем аверсные изображения на истрийском серебре V-IV вв. до н.э. отличаются от канонических изображений Диоскуров. Здесь — головы двух безбородых молодых мужчин, соединенные между собой таким образом, что одна из них (обычно находящаяся справа от зрителя) изображена в перевернутом положении (рис.5).

Гипотезы о семантике истрийских голов разнообразны. Предполагалось, что головы являются изображениями разных устьев Истра, что это река и Черное море, куда она впадает; или два течения близ устьев Дуная; или два вида плавания — по бурному морю и по спокойной реке. В связи с нашим сюжетом отметим мнение, что головы на монетах символизируют отдельно город Истрию и отдельно ее гавань — в нашем случае, Гавань Истриан (Алексеев 1982). Давались и другие объяснения — это Аполлон-Гелий, олицетворявший двумя головами восходящее и заходящее солнце, или двуликий Борей, или безымянные боги ветров, господствующих в устьях Дуная, неизвестные гето-фракийские небожители. Однако большинство предположений основано на том, что на аверсах истрийских монет изображены именно божества-близнецы Диоскуры.

Очевидно, что, как и другие боги, Диоскуры вполне отвечали едва ли не любым требованиям, в зависимости от ситуации. И неудивительно, что в Истрии, находившейся на фракийских землях, Близнецы-Диоскуры стали приобретать местные черты — фракийских богов-близнецов Кабиров (Алексеев 1982: 106-114).

Кабиры, или «самофракийские» боги, считались сыновьями Гефеста. Они были связанны с подземным огнем, рудными богатствами, кузнечным делом, покровительствовали виног-

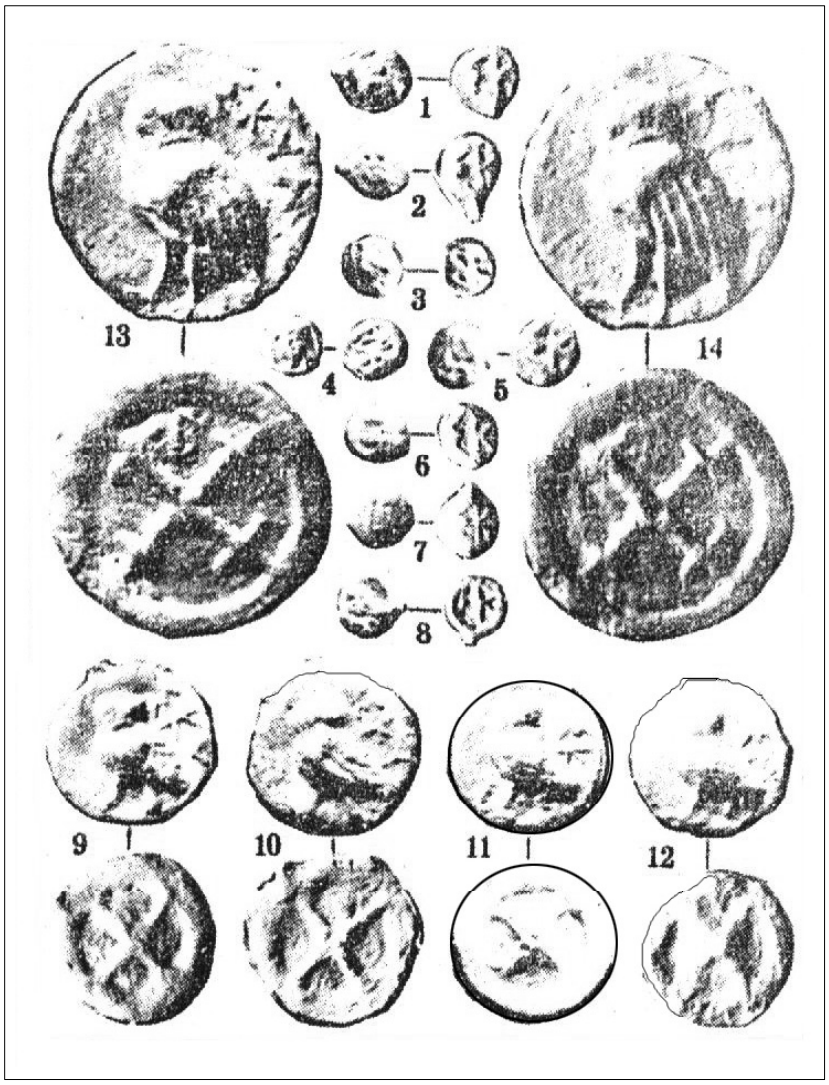


Рис.6. Монеты царя Скила из Никония и образцы истрийских монет-«колесиков».

радарству и мореплаванию. Кабиров сближали в древности — образы этих божественных пар иногда сливались полностью. Кабиры часто изображались на монетах городов тех областей, которые были центрами металлургии. Истрия была одним из таких центров, и изображение Кабиров-Диоскуров на аверсе ее монет кажется вполне естественным и объяснимым.

На истрийских монетах разных групп головы юных божеств часто изображены контрастно: одно лицо грозное, волосы на голове вздыблены, другое лицо спокойно, даже безразлично, волосы моделированы в виде локонов или расчесаны. Не исключено, что облик одного из богов — устрашающий — оформился под воздействием местной гето-фракийский традиции. Эта особенность подчеркнута вертикально-антиподальной композицией голов Кабиров-Диоскуров на истрийском серебре — они, как парные, перевернуты на 180° по отношению друг к другу. Другим памятникам фракийского искусства первой половины I тыс. до н.э. также свойственна антиподальная композиция. Это топорики-амулеты с раздвоенным обухом, заканчивающиеся головами баранов, коней, птиц, украшения конской сбруи — бляхи, в основе композиции которых лежит солярный крест со сломленными концами — лошадиными головами. Такой крест повсеместен на истрийских монетах-»колесиках» (рис.6).

Очевидно, что семантика изображений на истрийских монетах отражает не только некий греко-фракийский ментальный симбиоз, но и конкретные историко-политические реалии. Сравнение аверсов серебряных монет Ольвии и Истрии указывает на противостояние двух греко-варварских объединений — скифско-ольвийского и фракийско-истрийского. Эта оппозиция в ольвийской чеканке серебра ясно выразилась в изображении Геракла как основного героя скифской этногонической легенды. Скифский Геракл, готовящий оружие к бою, противостоит Кабирам-Диоскурам. Такое толкование соответствует приведенным выше историко-археологическим наблюдениям.

Вернемся к двум Истриям — материнской,

к югу от Дуная, и, дочерней — Гавани Истриан. Напомню предположение, что двойное изображение на монетах означает две разных Истрии — город и его гавань. В нашем случае Гавань Истриан, превратилась к V в. до н.э. в крупный город на восточных границах гето-фракийского мира — во вторую Истрию. Двойное изображение истрийских голов конкретно на это указывает. Равно как и неодинаковость выражений их лиц. Так, устрашающий лик одного из близнецов символизирует и соответствующую военно-политическую функцию Гавани Истриан — готовность дать гневный отпор вооружающемуся Гераклу, т.е. скифам и Ольвии. Такой гнев естественен в условиях усиления скифского давления на запад.

На карте можно видеть, что о. Левке со святилищем Ахилла находится едва ли не точно в середине морского пути между двумя Истриями. Они симметричны друг другу и, при движении вокруг оси этой симметрии на о.Левке, оказываются в антиподальной оппозиции — в такой же, как и головы юношей на истрийских монетах. Эти юноши — Диоскуры — оберегают оба участка морского пути, которые сходятся у острова. Здесь мореплавателей, по свидетельству Арриана, защищает уже Ахилл. Покровительство Диоскуров усиливает на всем этом пути сотерические функции Ахилла, семиотически увеличивает надежность мореплавания в Северо-Западном Понте (рис.5).

Военный контроль над островом Ахилла был исключительно важен и для истриан, и для ольвиополитов. Но, видимо, осуществляли этот контроль именно истриане, причем на протяжении всего периода чеканки монет с Диоскурами-Кабирами — до 330-х гг. до н.э. После этого времени такая чеканка прекращается.

Истрия и Ольвия на весах судьбы Зопириона. Возможности воссоздания исторической ситуации в степях между Истром и Борисфеном во второй половине V и большей части IV вв. до н.э. столь же туманны, как и для времен Скила. Контуры событий по-прежнему размыты, неопределенны, они с большим напряжением научных усилий и воображения историков проглядываются при сопоставлении скупых сведений.

Мы не располагаем какими-либо нарративными источниками о Северо-Западном Причерноморье от момента казни Скила около 450 г. и до 331 г. — времени похода македонского военачальника Зопириона против Ольвии и скифов. Известие о походе, как уже упоминалось, донесено до нас Макробием — писателем первой половины V в. н.э. — более чем через восемь столетий после случившегося события.

Археологическая экспозиция междуречья Днестра и Дуная — это поселения гето-фракийцев. Восточнее Днестра продолжают жить скифы. Их политическое влияние на западе было достаточно сильным. Фукидид писал, что с ними «не только не могут сравниться европейские царства, но даже в Азии нет народа, который мог бы один на один противостоять скифам, если они будут единодушны; но они не выдерживают сравнения с другими в отношении благоразумия и понимания житейских дел». Очевидно, и после смерти Скила в Скифии продолжались династические распри. Смягчается, а затем и ликвидируется скифский протекторат над Ольвией.

С 440 гг. в Ольвии усиливается власть греческих тиранов (Виноградов 1989: 121 сл.), прекращается выпуск монет с Гераклом. Город становится членом Афинского союза. В 400-390 гг. происходит свержение ольвийской тирании и ликвидация скифского протектората. К власти приходят демократы. Возобновляется чеканка монет — литых оболов с изображением Горгоны и надписью **ΟΛΒΙΟ**. Ольвийская хора начинает возрождаться, возникает множество аграрных поселений. Очевидно стремление обновленного Ольвийского государства восстановить свое сельское хозяйство.

Скифы снижают свою активность в Побужье, зато она увеличивается на западе от Днестра. К концу V в. здесь появляются крупные могильники, которые существуют до начала III в. до н.э. Очевидно, в IV в. тут начинается оседание скифов на землю, усиливаются их контакты с фракийским населением Подунавья. Эти археологические наблюдения отражают ситуацию, сложившуюся к началу мощного движения скифов на запад во главе с царем Атеем во второй четверти IV в. до н.э.

Движение скифов на запад объясняется их вытеснением из причерноморских степей сарматами, памятники которых обнаруживаются на левобережье Днепра уже со второй половины IV в. до н.э. Возможно, из-за этого контроль над Ольвией был ими временно утрачен. При этом к западу от Днестра продолжают преобладать гето-фракийские поселения. Видимо, фракийское влияние здесь не ослабляется, несмотря на давление скифов. А если фракийское влияние связано с истрийским, то оно оказывается куда значительнее. Это ясно из наблюдений над топографией монетных находок.

Из всех крупных городов Северо-Западного Понта именно Истрии принадлежит ведущее место в монетной чеканке для середины V — второй трети IV в. до н.э. Истрийские монеты распространены на Нижнем Дунае и прибрежной полосе Черного моря вплоть до Днепра. Их картографирование позволяет видеть широкое проникновение истрийских монет в глубь всего этого региона (рис.5).

Если торгово-экономический контроль Истрии над прилегающими территориями кажется естественным, то широкое распространение истрийских монет к востоку от Днестра пока не получало удовлетворительного объяснения. Такое объяснение также станет естественным пос-

ле обнаружения нами крупного истрийского центра — Гавани Истриан. Однако сведения о монетных находках здесь документированы не вполне надежно.

Зато они надежны для Никония. Монеты Истрии V-IV вв. до н.э. явно преобладают. Из известных 800 экземпляров (Хейфец 1991: 106-108) более 700 — истрийские. Тира представлена 58-ю экземплярами, Ольвия — лишь 18-ю. При этом все истрийские монеты (в большинстве своем — «колесики») относятся к так называемому «автономному периоду», который датируется 360-330 гг. до н.э.

Окончание автономного периода (330 г.) совпадает с прекращением обращения истрийских монет к востоку от Днестра. С этой же датой связаны и тезаврации крупнейших кладов с истрийскими монетами — Орловского (у переправы через Дунай), Дороцкого (у переправы через Днестр) и двух кладов под Херсоном — Камышанского и Висунцовского (близ переправы через Днепр). Глядя на карту, легко убедиться, что все они зарыты примерно на одинаковом расстоянии от Никония и Гавани Истриан почти одновременно и также около 33О г. до н.э. (Загинайло 1976: 70-84) (рис.5).

Раскопками Никония установлено, что в конце третьей четверти IV в. до н.э. его жилые кварталы погибли в огне, а оборонительные сооружения были разрушены (Секерская 1989). Дата разрушений совпадает с датами тезаврации всех названых крупнейших кладов с истрийскими монетами, с исчезновением «колесиков» в Никонии и во всем регионе к востоку от Днестра. Ясно, что клады сохраняются, если спрятавшие их люди за ними не возвращаются. Видимо, не удалось вернуться и беженцам-истрианам из Никония и Гавани Истриан. Им не повезло. Зато повезло нам через два с половиной тысячелетия. Клады оказались не востребованными их владельцами, наверное, погибшими.

Вернемся к третьей четверти IV в. до н.э. Отмеченная западная активность скифов резко усиливается при царе Атее, который обратил на себя внимание древних авторов в связи со своей воинственностью — он воевал с царством Одрисов, с трибаллами, истрианами, пытался подчинить некоторые города западного Понта. В Истрии прослежены следы разрушений, произведенных, видимо, именно Атеем. Это не улучшило отношение истриан к скифам. Сдался скифам и город Каллатис, что подтверждается выпуском здесь в 343 году до н.э. монеты с изображением скифского всадника и именем Атея (Щукин 1991: 115).

Атей оказался во Фракии, когда на престол Македонии вступил Филипп II. При их военном столкновении в 339 году скифы были разбиты и покинули Добруджу, Атей погиб. Македония подчинила все фракийские земли к югу от Дуная. С приходом к власти Александр в 335 г. совершает поход против гетов и трибаллов на левобережье Дуная. Скифов здесь к тому времени уже не было. Александром был замирен весь гето-фракийский этнокультурный массив, в который входили и истриане. Последние вряд ли сохранили благодарность к скифам после разгрома Атеем их города. Истрия, как и другие западнопонтийские города, подчинилась Александру и его фракийскому наместнику Зопириону. Она стала союзником македонян. Это, в частности, позволило Александру начать свой великий поход на Восток уже в следующем, 334 г. до н.э.

Другой поход — вдоль северного побережья Черного моря — был задуман Александром, видимо, как встречный. Македонский царь сначала планировал создать свою империю, объединив все земли вокруг Черного и Каспийского морей. Поход на Восток через евразийские степи возглавил Зопирион. Он выступил в 331 г. до н.э., когда сам Александр уже был в Месопотамии.

Задача, стоявшая перед Зопирионом, видимо, была аналогична задаче Александра, который, прежде чем двинуться вглубь Азии, должен был замирить ионийские города. Это ему удалось — один лишь Милет, материнский город понтийских полисов, оказал сопротивление. Однако Александр взял его штурмом, открыв себе дорогу на Восток.

Судя по всему, Зопирион в своем движении вплоть до Гипаниса и осады Ольвии не встречал сопротивления. Это объяснимо лишь предположением, что истриане, союзники македонян, контролировали весь путь от Дуная до Гавани Истриан на суше и на море — до западной границы Ольвийского полиса.

Еще ранее македоняне установили антиольвийские сношения с Херсонесом. В середине IV в. до н.э. отмечается македонское влияние на нумизматику Херсонеса и Керкинитиды на фоне их конфликта с Ольвией. В третьей четверти IV в. ольвиополиты изгоняются из Крыма. Не исключено, что антиольвийская деятельность Херсонеса и Истрии была взаимосвязана (Павленков 1996: 80-82).

К началу похода Зопириона Ольвия, таким образом, оказывается окруженной греческими полисами, союзными македонянам. Ее единственными союзниками оставались лишь отброшенные еще Филиппом от Дуная скифы. Одна лишь Ольвия стояла на пути Зопириона на Восток в 331 году. Видимо, это препятствие не казалось ему существенным — он не мог не знать о победе Александра над Милетом.

Топография истрийских монет к востоку от Днестра перед походом Зопириона — нумизматическая иллюстрация подготовки македонской экспансии. Их количество в Никонии столь велико, что производит впечатление истрийского «плацдарма» и показывает направление македоно-истрийского удара против Ольвии, планируемого к концу 330-х гг. Очевидно, плацдармы готовятся в Никонии и в Гавани Истриан. Они

Рис.7. Письмо Зопириону на остраконе от изменников из осажденной Ольвии

обеспечивали беспроблемное продвижение македонской армии к Ольвии (рис.5).

Но у Зопириона ничего не получилось. Макробий пишет, что «борисфениты, осаждаемые Зопирионом, отпустили на волю рабов, дали права гражданства иностранцам, изменили долговые обязательства и смогли выдержать осаду врага».

Свидетельство Макробия подтверждается экстраординарным декретом в честь Каллиника, который, «будучи мужем прекрасным и добрым», награждается огромной денежной суммой в 1000 золотых и постановкой бронзовой статуи за выдающиеся деяния и услуги, оказанные городу в крайне тяжелое время. Благодаря действиям Каллиника — отмене долгов и обложения, освобождения рабов — были мобилизованы все силы на оборону и Ольвия спасена от македонского завоевания (Виноградов 1989: 152).

Во время осады положение Ольвии было отчаянным. Помимо дипломатической и военной блокады, в городе действовала «пятая колонна». Это подтверждается находкой близ Ольвии амфорного остракона — письма, переданного через ольвийского изменника Никофана, в котором некто дарит Зопириону коня и просит инструкций от осаждающих в блокадный город (Виноградов, Головачева 1990: 15-29) (рис. 7). Измена была раскрыта — сохранились археологические следы расправы с предателями в виде коллективного захоронения из 52 человек (включая детей), побитых камнями и расстрелянных из лука (Виноградов 1989: 163).

Славная победа ольвиополитов, видимо, потрясла их самих. Это подтверждает другой декрет, сохранившийся на постаменте от конной статуи с о. Левке. Этот декрет синхронен предыдущему и относится к 30-20 гг. IV в. до н.э. Он также связан с награждением некого лица (Каллиника?). Это лицо изгнало захвативших священный остров [кого-то] и бывших с ними, затем прибыло в Ольвию и оказало много важных услуг ее народу. Для составителей декрета главным деянием в жизни умершего было очищение острова — именно за это народ ольвиополитов ставит на Левке его конную статую. В содержании декрета сквозит гордое желание показать всем грекам, как самоотверженно печется о благополучии священного острова Ольвия, которая считает при этом Левку священной землей и храмом всех эллинов.

В дошедшей до нас части декрета не указывается, от кого именно был очищен остров. Ю.Г.Виноградов полагает, что от пиратов. Однако победа лишь над пиратами не может так высоко оцениваться. Более вероятно, что владели островом именно македоняне и союзные им истриане. Победе именно над ними обязан Каллиник таким почестям. Они беспрецедентны — огромная сумма в 1000 золотых, бронзовая статуя в Ольвии и высшая мыслимая честь — конная статуя во всеэллинском святилище Ахилла. По уровню социальной оценки заслуг перед государством такую честь можно сравнить разве что с мавзолеем В.И.Ленина на Красной площади. Ясно, что заслуги Каллиника были для Ольвии исключительными — он спас свой город и народ в ситуации, быть может, самой опасной за всю его историю.

Выясняя все эти обстоятельства, трудно невольно не восхититься подвигами Каллиника. Действительно, шансы Ольвии на спасение были ничтожны. К тому же город тогда еще не имел стен вдоль Гипаниса. Поэтому ольвийский флот должен был нейтрализовать флот противника, основной базой которого могла быть Гавань Истриан. Ясно, что во время осады ольвиополитам было не до острова Левке. Однако, как только они с помощью Каллиника сумели отстоять независимость отечества от страшного врага, они первым делом ринулись вызволять святыню, отправив на остров Ахилла экспедицию военных кораблей во главе с доблестным ольвиополитом.

По словам римского писателя II в. н.э. Юстина, Зопирион погиб, «поплатившись за необдуманное начатие войны с неповинным народом», где-то на Дунае. Вероятным археологическим свидетельством его гибели может служить находка парадного оружия с метками его греческих владельцев у с. Олэнешть, которое могло принадлежать офицерам македонского военачальника (Виноградов, Головачева 1990: 16).

Другим археологическим свидетельством гибели Зопириона является и упоминавшийся выше клад кизикских статеров у села Орловка, также близ дунайской переправы. 330-е годы до н.э. — наиболее вероятное время его зарытия. В этом же время зарыты и клад с истрийскими монетами у с.Дороцкое у переправы через Днестр, и два клада истрийских монет под Хер-

соном, у переправы через Днепр. Тогда же мог быть разрушен и Никоний — опорная база истриан и Зопириона в войне против Ольвии.

Гавань Истриан, видимо, разделила участь Никония. После поражения Зопириона и разгрома от ольвиополитов под Левке, город потерял флот и оставался беззащитным. Однако его разрушение, как впрочем, и Никония, было для ольвиополитов бессмысленным — им было гораздо выгоднее получить готовые опорные пункты на западе. Вероятно, что Никоний и Гавань Истриан разграбили союзные с ольвиополитами скифы. Такая месть победителей за смерть Атея и последующие унизительные поражения кажется наиболее естественной.

Несчастные жители Гавани Истриан и Никония оставили клады у переправ через Днестр, Дунай и Днепр — они бежали от скифской расправы к гетам, фракийцам и в Крым, к херсонеситам, былым союзникам македонян. Эти беглецы не сумели вернуться за своими сокровищами. А отношения Ольвии и Херсонеса после гибели Зопириона налаживаются, сама же Ольвия расцветает. Очевиден ее экономический и политический подъем. Победа над врагом отразилась и в монетной чеканке — в эмиссии золотых статеров с изображениями бога Борисфена и скифского оружия. Этой символикой Ольвия наглядно противопоставляет свою совместную со скифами победу над Истрией — над Диоскурами, и над Македонией — над олимпийской символикой монет Филиппа и над крылатой Никой статеров Александра. Такая чеканка — своеобразная декларация независимости города, устоявшего перед армией, превышавшей количество его населения. Послезопирионовский период стал апогеем развития Ольвийского полиса.

Поражение Зопириона определило и выбор Александра Македонского, который отказался от своих прежних эйкуменических планов. Теперь он направился в Индию. Начинаются переговоры со скифами, которые также были заинтересованы в прекращении конфликта, поскольку затеяли войну с Боспором. Скифские послы посещают восточную ставку Александра. Ответное посольство побывало в Северном Причерноморье. Находки здесь наборов скифского золотого оружия — ножен мечей и горитов, выполненных греческими мастерами, связываются с подарками, которые послы Александра раздавали скифской знати.

Судьбы побежденных Никония и Гавани Истриан туманны. Археологические исследования Никония показывают, что город после разгрома восстанавливается, но уже никогда не достигает своего прежнего расцвета. Видимо, с Гаванью Истриан произошло нечто подобное. Тем более, что море неуклонно наступало на разрушенный скифами город. Однако жители в нем оставались вплоть до II в. н.э., когда он был отмечен в Перипле Арриана. Находки же обломков посуды римского и черняховского времени в наших раскопах пока позволяют предполагать, что поселок здесь существовал до конца IV в. н.э. Видимо, он окончательно погиб во времена гуннского нашествия, разделив тем самым участь остальных северопонтийских античных городов.

Удивление неожиданностью. Впечатление от неожиданной находки — считанных обломков античной посуды на месте основания Одессы — породило попытку дать им удовлетворительное объяснение. В нашем случае оно могло быть единственным — это остатки богатого некрополя. Такой некрополь мог образоваться лишь при богатом и крупном городе. Этот город можно было искать только в море — и действительно, палеогеографические наблюдения за изменениями береговой линии в районе Одессы удовлетворительно объясняют его былое существование. Вся археологическая ситуация становится упорядоченной, она может быть проверена в связи с изложенной гипотезой. Частично это удалось сделать под Воронцовским дворцом.

Так античный город под Приморским бульваром стал фактом. И об этом городе прекрасно знали его современники.

В своей «Автобиографии» Р.Дж.Коллингвуд делится опытом обращения с источниками. Это опыт «палача». Ученый должен «пытать» свою жертву, задавать ей парадоксальные вопросы, устраивать «очные ставки» с другими источниками. Если «пытать» умело и профессионально, то источник обязательно «сознается». Его нужно лишь настойчиво «истязать», не доверять и не оставлять в покое (Коллигвуд 1980: 237-268, 321-415). Речь идет о детективном стиле исторического рассуждения, который на языке современной поэтики именуется «метонимическим» — изучение деталей, замещающих целое. Значимость каждой детали превращает ее в существенную часть исторической обстановки, деталь как бы подается крупным планом. Это позволяет воссоздавать прошлое на основании лишь некоторых, не замеченных ранее подробностей .

Так, «пытая» Геродота, можно увидеть, почему он «не заметил» Гавань Истриан: она была для него такой же очевидностью, как и Ольвия, которую он, как выясняется, тоже не очень заметил. Геродот описывает лишь удивительные события и деяния. А греческие города для него ничем не удивительны — как и для всех его читателей. Поэтому он вообще не уделил им внимания. Для Геродота было совершенно ясным все то, что мы сегодня выясняем с таким трудом — мотивы поведения Скила, его истрийская и проафинская ориентация, соперничество Истрии и Ольвии, скифов и фракийцев, династическая борьба за власть в Скифии, коварство ольвиополитов, бегство Скила из Гавани Истриан во Фракию, поведе-

ние Ситалка и Октамасада. Все это — повседневный исторический фон, естественный для современников «Отца истории».

Лишь на этом фоне соперничества Истрии и Ольвии, скифов и фракийцев получает удовлетворительное объяснение и изображение Диоскуров-Кабиров на истрийских монетах, и скифская символика на серебряных ольвийских монетах. Восточная экспансия истриан объясняет широкое распространение истрийских монет к востоку от Днестра. Понятно, почему именно Никоний и Гавань Истриан становятся истрийско-македонскими опорными пунктами в войне против Ольвии и скифов и, видимо, военно-морскими базами Зопириона. Также удовлетворительно объясняется одновременность тезаврации Орловского, Дороцкого и Висунцовского кладов, гибель Никония, битва за остров Левке, прекращение обращения истрийских монет к востоку от Днестра после 33О года до н.э., расцвет Ольвии и выпуск ею золотых статеров с антимакедонской символикой. Как и мы, древние греки мыслили совершенно конкретно в своей системе культурных предпочтений, симпатий и политических ориентаций. Очевидно, следует стараться задавать им вопросы не в нашей, а в их системе культурного мышления. Тогда и ответы на них станут вразумительными.

Опыт археологических исследований в других городах показывает, что даже при непрекращающейся веками перестройке сохраняется до 30-40% древнейших культурных напластований. Это, например, доказано в Лондоне. Одесса в этом смысле более перспективна — здесь строительство ведется лишь два столетия, причем планировка городских кварталов осталась почти без изменений. И вероятность сохранности предшествующих культурных слоев очень высока.

Видимо, не случайно будущие одесситы екатерининских времен выбрали для своего города то оптимальное место, где более чем два тысячелетия тому назад расцветал его античный предшественник. Как не случайно, что подготовка школьного сочинения по истории Греции стала поводом удивиться неожиданным археологическим находкам. Это привело к началу раскопок античного города под Приморским бульваром.

ЛИТЕРАТУРА

Алексеев В.П. 1982. Семантика аверсного типа серебряных истрийских монет V-IV вв. до н.э. // Нумизматика античного Причерноморья. Киев..

Андрух С.И. 1995. Нижнедунайская Скифия в VI — начале I в. до н.э. Запорожье.

Бруяко И.В., Карпов В.А. 1992. Древняя география и колебания уровня моря (на примере северо-западной части Черноморского бассейна в античную эпоху // ВДИ. №2.

Виноградов Ю.Г. 1980. Перстень царя Скила // СА. N3.

Виноградов Ю.Г. 1989. Политическая история Ольвийского полиса. VII-I вв. до н.э. М.

Виноградов Ю.Г., Головачева Г.В. 199О. Новый источник о походе Зопириона //Нумизматические исследования по истории Юго-Восточной Европы. — Кишинев.

Геродот. 1972. История в 9 книгах. Л.

Грейвс Р. 1992. Мифы древней Греции. — М.

Губарь О.И., Добролюбский А.О. 1996. Ритуал основания Одессы // Роль музеев в развитии исторического краеведения в городе Одессе и крае. ТД конференции. Одесса.

Диамант Э.И. 1976. Поселение и могильник V—III вв. до н.э. на месте Приморского бульвара в Одессе //Материалы по археологии Северного Причерноморья. Вып.8. — Киев.

Добролюбский А.О., Красножон А.В. 1997. Древнегреческий город — Гавань Истриан — на месте Одессы // Археологические изыскания, вып.42. — Новые исследования археологов России и СНГ. — Материалы Пленума ИИМК РАН. Санкт-Петербург.

Загинайло А.Г. 1976. К вопросу об экономических связях Западного и Северо-Западного Причерноморья в VI—IV вв. до н.э. по нумизматическим данным // Материалы по археологии Северного Причерноморья. — Вып.8. — Киев.

Карышковский П.О. 1988. Монеты Ольвии. Киев.

Карышковский П.О., Клейман И.Б. 1985. Древний город Тира. Историко-археологический очерк. Киев.

Коллингвуд Р.Дж. 1980.Идея истории. Автобиография. М.

Коциевский А.С. 1995. О коллекциях и коллекционерах. Одесса.

Красножон А.В. 1997. Раскопки на Приморском бульваре в Одессе // Никоний и античный мир Северного Причерноморья. Одесса. ОАМ НАНУ.

Охотников С.Б., Островерхов А.С. 1993. Святилище Ахилла на острове Левке (Змеином). Киев.

Павленков В.И. 1996. Начало македонской экспансии в Причерноморье // Древнее Причерноморье. III чтения памяти П.О.Карышковского. Одесса. С.80-82.

Секерская Н.М. 1989. Античный Никоний и его округа в VI-IV вв. до н.э. Киев.

Формозов А.А. 1986. Страницы истории русской археологии. М.

Хейфец С.В. 1991. Некоторые вопросы экономических связей Никония по нумизматическим данным // Древнее Причерноморье. II Чтения памяти проф. П.О.Карышковского. Одесса,

Щукин М.Б. 1991. Машина времени и лопата. Кишинев.

СМЕНА КУЛЬТУР И КУЛЬТУРНЫЕ КАТАСТРОФЫ

Романчук А.А.

ТРИ КИТА РАННЕСКИФСКОЙ КУЛЬТУРЫ НА ВОЛНАХ ИЛЛИРИЙСКОЙ ЭКСПАНСИИ

В основании всякого «знания», хотя бы самого точного, лежит религиозная вера.
О. Шпенглер

Romanchuk A.A. Three whales of Early Scythian Culture on the waves of Illirian expansion.

The basic postulate of contemporary science is that the Scythes-nomads conquered the aborigines of forest-steppe areas of Northern Pontic Region. The spreading of so called «Scythian triad», anthropomorphic statues and changes of funeral rite in early Scythian times in the forest-steppe areas are in the fundament of this theory. But analyses of all these facts contradict not only the «theory of conquering», but generally the idea of «triad» as a whole complex – an indicator of some concrete ethnos. What can we say about united Scythian culture, if some Scythian types existed in the steppe, but others – in the forest-steppe area only? The «triad» is the abstract image, made by scientists, not Scythes. But the decisive reason is spreading of the Scythian statues, which were called one of the most important indicators of the Scythian culture, only in the steppe area of Northern Pontic Region. The funeral rite does not unite the Northern Pontic Region too, moreover, we clash with a problem of choice – what type of funeral rite is really a Scythian? However, we have some categories of material culture, which is not connected with Scythian conquering and these categories, on the contrary, just unites the Northern Pontic Region in one whole. And if we pay attention to these categories, we'll see very strong influence from the west, from Hallstatt cultures, especially Illirians, to the Ukrainian forest-steppe areas in the early Scythian times. We are talking about polished ceramics, ornaments and sacrificed grounds. Western influence in the Northern Pontic Region in the early Scythian times was very strong, and was more important than that from the east. But the question about concrete mechanisms and their nature remains, so that a simple change of eastern priorities to westerns ones didn't appear in the evaluation of the archaic Scythian phenomenon and instead of the theory about the Scythian invasions from the east didn't appear the theory about the Illirian invasions from the west. However, this is only a preliminary outline to the decision of these problems, an attempt to attract your attention and an invitation for discussion.

Среди множества проблем, стоящих перед исследователями архаической Скифии, трудно назвать самую интересную или самую важную. Сегодня внимание ученых приковано к взаимоотношениям ранних скифов и государств Передней Азии, происхождению раннескифского комплекса, созданию относительной хронологии раннескифской культуры, упорные дискуссии разворачиваются вокруг удревнения абсолютных датировок раннескифской культуры (Погребова, Раевский 1992; Эрлих 1994; Еременко 1997; Мансфельд 1992; Медведская 1992).

В этой толпе грандов весьма достойное место должна занимать и проблема, которую в первом приближении можно сформулировать как проблему локализации архаической Скифии. В современной российской историографии эта проблема реализуется, как правило, в виде топоса о локализации раннескифской культуры только в северопричерноморской лесостепи, степь же в раннескифское время якобы не интересовала кочевников ни как место обитания, ни даже совершения погребений.

По мнению К. К. Марченко и Ю. А. Виноградова, предложивших на основе всего накопленного к началу 90-х годов скифологией опыта целостную концепцию истории Северного Причерноморья в скифскую эпоху, в архаическое время «кочевники захватывают все наиболее благоприятные в природно-климатическом и демографическом отношении районы, не встречая серьезного сопротивления. Важно отметить, что все эти районы находятся за пределами собственно степного коридора. Степи Северного Причерноморья во второй половине VII и большей части VI вв. до н. э. были местом обитания небольших групп скифов. Основные центры Скифии в это время находились в Предкавказье и северопричерноморской лесостепи» (Виноградов, Марченко 1991: 148-149).

В этих словах авторы выразили некое общее мнение исследователей скифской культуры, которое, быть может, и не всегда произносится, но всегда присутствует в предлагаемых гипотезах и интерпретациях. Доказательством этому служит и прошедшая на страницах «Российс-

© Романчук А.А., 1999.

кой Археологии» дискуссия по проблеме раннескифской хронологии, участники которой, начиная с И. Н. Медведской (Медведская 1992), ограничили свое внимание памятниками лесостепи.

И действительно, по сводке В. Ю. Мурзина, количество памятников его первой, древнейшей группы архаических степных скифских погребений, собственно и составляющих скифскую архаику (во вторую группу он включает памятники конца VI—V вв. до н.э.), можно сосчитать по пальцам, и они рассредоточены по всей северопричерноморской степи (Мурзин 1984: 46). Мурзин также считает, что степи Северного Причерноморья в ранний период скифской истории не играли большой роли, в отличие от Предкавказья (Мурзин 1984: 98). Последние сводки степных памятников, хоть и приводят более значительные цифры – до 54 комплексов (Полидович 1994: 189), на кардинальное изменение традиционной картины скифской истории архаического периода не претендуют.

Таким образом, вопрос о причинах размещения раннескифских памятников только (или преимущественно) в лесостепи органически присущ современной концепции истории архаической Скифии и, соответственно, является весьма злободневной темой для дискуссий и раздумий.

Но не в меньшей, если не в большей степени интересно то обстоятельство, что отправной точкой современной скифологии служит постулат о покорении скифами населения лесостепи и формировании в результате этого синкретической общности архаической Скифии, в которой «скифы образовали правящий класс, своего рода аристократию» (Виноградов, Марченко 1991: 149) и являлись структурообразующей силой возникшей общности.

Здесь мы оказываемся на стадии второго приближения к проблеме. Вопрос, почему же скифы не хотели жить в степи, традиционен и пользуется значительной популярностью в историографии. Достаточно традиционны и предпочитаемые ответы (Скорий 1996: 6).

Но насколько обоснован сам исходный постулат поиска ответов? Действительно ли кардинальной осью развития анализируемой этнокультурной ситуации служило завоевание скифами лесостепи, были ли скифы структурообразующей силой возникшего культурного феномена и доминирующим политическим фактором в регионе? Эти сомнения имеют принципиальное значение. Не разрешив их, двигаться далее невозможно.

Однако в современной скифологии они никому не мешают, она не может о них даже подумать, поскольку сам исходный постулат для критики недоступен, он принят как данность, как аксиома. Перед нами, несомненно, одно из проявлений исходной априорности, неизбежно лежащей в начале начал любой науки (Шпенглер 1997: 565, Ткачук 1996: 23-42). Но наука время от времени все же перетряхивает свои аксиомы и, избавляясь от старых, приобретает новые, в чем, по меткому замечанию Шпенглера, и состоит ее развитие.

И если браться за перетряхивание аксиом скифологии, то проблема локализации трансформируется в проблему интерпретации архаической Скифии.

Причины дискретной локализации раннескифской культуры могут крыться в самой раннескифской культуре, а суть происшедших в Северном Причерноморье с началом скифского времени изменений — не исчерпываться в смысловом поле парадигмы рождения скифской культуры. Подчеркнем — археологической культуры, то есть искусственном феномене, созданном археологией с помощью специфического мировидения, а потому относительном, зависящим от существующей сегодня парадигмы. Это свойство археологической культуры делает необходимостью время от времени подвергать ее критической рефлексии и проверять на прочность и внутреннюю непротиворечивость наше представление о ней.

Подобная операция была применена Л.С.Клейном к катакомбной культуре и показала ее фантомный характер (Клейн 1970). В отношении же раннескифской культуры ее необходимость может подтвердиться только в процессе критики.

Но, во всяком случае, здесь возникает любопытный парадокс: мы находим архаическую Скифию только в лесостепи, и вместе с тем лесостепь в историографии выступает как нечто чуждое, независимое и упорно сопротивляющееся скифам –кочевникам, лесостепь – это не Скифия (Мелюкова, Яценко 1990: 14; Скорий 1996: 6; Шрамко 1971: 96).

Получается, что степь — не Скифия, и лесостепь — не Скифия в это время.

Но если степь не Скифия в силу малочисленности и разбросанности скифских памятников этого времени, то культура лесостепи выступает в роли двуликого Януса, и хотя каждый исследователь поворачивает его к себе то той, то этой стороной, внутренняя сущность самого Януса ускользает даже не от понимания, но от внимания интерпретаторов. Это показывает, что проблема территориальной дискретности раннескифской культуры может быть разрешена именно в процессе критики существующей парадигмы раннескифской культуры. Вопрос, почему архаическая Скифия существует только в лесостепи, таит в себе другой вопрос: что кроется за скифизацией культуры лесостепи и насколько происходившие в Северном Причерноморье перемены вписываются в концепцию рождения раннескифской культуры в результате подчинения скифами населения лесостепи?

Необходимо разоблачение Януса.

Прежде чем приступать к этой процедуре и пытаться ответить на поставленные вопросы,

следует отметить, что пример раннескифской культуры не уникален, более того, мы можем сказать, что он является развитием и продолжением предшествующей археологической ситуации, а проблема территориального размещения памятников этой культуры повторяет проблему локализации памятников новочеркасского типа, ставших одним из субстратных компонентов раннескифской культуры (Медведская 1992: 87; Погребова 1993: 85).Так же, как и памятники последней, памятники новочеркасской культуры расположены только в лесостепной зоне Северного Причерноморья, а в степи представлены, по мнению О. Р. Дубовской, кладами и случайными находками (Дубовская 1989: 63-89), хотя последний вывод принимается и не всеми исследователями (Скорий 1991: 14-25). Соответствует раннескифской и общая парадигма этой культуры как возникающей в результате завоевания кочевниками населения лесостепи, а по мнению ряда исследователей, скифы, собственно, и были носителями новочеркасской культуры (Эрлих 1994: 29; Мурзин, Скорый 1994: 145-146).

Значит, такое положение родилось раньше Скифии, хотя насколько раньше – отдельный вопрос; если в целом исследователи склонны удревнить начало новочеркасской культуры до IX в. до н. э. (Махортых 1994: 149), то время существования новочеркасской культуры в приднепровской лесостепи определяется сегодня сроком около 30 лет, или как период жизни одного поколения (Скорий 1996: 3).

В отличие от раннескифской культуры, феномен памятников новочеркасского типа пытались объяснить и иными причинами, в основном опираясь на отчетливые следы кавказского влияния в их облике (Иессен 1953: 69; Клочко 1979: 36; Эрлих 1994: 34). Кавказское влияние достигало в это время даже Камы (Членова 1988: 8), но в памятниках новочеркасского типа оно особенно сильно, и А. А. Иессен, анализируя состав Новочеркасского клада 1939 г., определял топор, удила и псалии из него как кобанские (а наконечники стрел —раннескифские) (Иессен 1953: 69). Из представления об этой кавказской вуали над Северным Причерноморьем закономерным результатом стало появление гипотезы о надкультурном характере элементов, определяющих лицо памятников новочеркасского типа (Дубовская 1989: 87).

Эта гипотеза позволяет снять значительную долю недоумений по поводу пространственной дискретности новочеркасской культуры. Правда, остается вопрос о предрасположенности к восприятию кавказского влияния и конкретных механизмах процесса. Тем не менее, идея весьма плодотворна и привлекательна, а для нашей проблемы весьма важна. Если феномен новочеркасской культуры является предысторией раннескифской и комплементарной частью общей проблемы локализации этих культур, логично предположить и необходимость общего решения. Сама же постановка вопроса о надкультурности оказывается на подступах к анализируемой ситуации. Распространение надкультурных элементов нет нужды связывать с завоеванием одного народа другим и, более того, говорить о возникновении новой культуры.

Однако насколько приемлема гипотеза о надкультурности, тем более, что для памятников новочеркасского типа она сразу же была подвергнута острой критике (Скорый 1991: 160-161)? Применимо ли это понятие к раннескифской культуре?

Ясно, что эти вопросы нуждаются прежде всего в ответе, что такое раннескифская культура вообще, то есть, что представляют собой те инновации в материальной культуре, которые означают начало скифской эпохи в Северном Причерноморье.

Круг их достаточно широк, но если попытаться обобщить наше представление, эти инновации состоят в появлении новых типов оружия, конской узды, замене спирально-геометрического стиля орнаментации скифским звериным стилем и изменениях в погребальном обряде.

Список инноваций можно продолжить, но перечисленные выше являются определяющими и занимают привилегированное положение, особенно оружие, конская узда и скифский звериный стиль, получившие название «скифской триады», которая подменяет нередко собой весь раннескифский комплекс (Алексеев 1996: 11; Медведская 1992: 88-91; Мансфельд 1992: 110-111).

В. Ю. Мурзин, рассматривая вопрос происхождения раннескифской культуры, пишет, что «к числу основных категорий, которые собственно и определяют облик раннескифской культуры, мы относим оружие, конскую узду, каменные блюда, антропоморфные изваяния и еще некоторые элементы» (Мурзин 1984: 66).

Поэтому нам следует начать именно с триады. Она действительно стала символом скифской эпохи и чрезвычайно яркой чертой материальной культуры населения Северного Причерноморья, а ее распространение явилось событием грандиозным. Однако, еще в 50-е годы была поднята проблема надкультурного характера основных элементов триады (Граков, Мелюкова 1954: 92).

В качестве аргументов обращалось внимание и на ее чрезвычайно широкое распространение, выходящее даже за пределы евразийских степей, и на то, что триада образована элементами, чрезвычайно легко заимствуемыми. И оружие, и конская узда, и украшения в зверином стиле — все это вещи престижные, относящиеся к парадной сфере культуры, и их распространение можно связывать прежде всего с механизмом моды; к тому же эти «портативные элементы, легко переходящие из одной культуры в другую», достаточно вариативны и непо-

хожи в различных частях евразийских степей (Граков, Мелюкова 1954: 92).

В близкой форме выразил эту же идею А. М. Лесков, считая, что оружие и конская узда должны использоваться сугубо для решения задач хронологии, но не этнокультурной преемственности и культурной идентификации (Лесков 1971: 90).

В современной историографии надкультурный, космополитичный характер триады не только признается (Погребова, Раевский 1992: 50), но даже подчеркивается ее внедрение в заведомо разные культуры (Алексеев 1996: 11). Наряду с этим, правда, сохраняется представление о триаде как диагностирующем показателе неких скифской культуры и этноса (Белозор 1991: 170-172), причем оба представления парадоксально сосуществуют не только вообще в историографии, но нередко у одного и того же автора (Алексеев 1996: 11).

Однако отсюда следует, что раз триада лишена того культурообразующего значения, которое приписывается ей в существующей археологической парадигме, то и раннескифская культура, если выделять ее на основании присутствия триады, превращается в фикцию.

Вторым следствием является то, что парадигма «завоевания» вовсе не служит условием sine qua non распространения триады.

Скифизация может отражать вовсе не явление симбиоза и доминации скифов, но только восприятие моды. Тем более что распространение «скифских типов» ослабевает к северу в приднепровской лесостепи еще в пределах скифской культуры – в каневской группе в памятниках, синхронных старшежуровским, «мало предметов оружия, конской узды, скифского звериного стиля, отсутствуют навершия и бронзовые котлы» (Ильинская, Тереножкин 1983: 276). Более того, С. А. Скорый указывает на концентрацию и новочеркасских, и раннескифских памятников на Правобережье Среднего Поднепровья, где существовало, по его мнению, сильное военно-политическое образование аборигенного населения, и их сравнительную малочисленность в других областях украинской лесостепи (Скорый 1994: 151).

Парадокс заключается в том, что скифизируется наиболее мощная в военном отношении этнокультурная группа лесостепи, а в более слабых эти процессы менее заметны.

В этом же ключе работает и то, что на территории Азербайджана, по сведениям Геродота, служившего «скифской дорогой» для нашествий в Переднюю Азию (Геродот IV, 12), в скифское время продолжает существовать без значительных изменений ходжалы-кедабекская культура, скифское влияние на которую слабо ощутимо и ограничивается восприятием отдельных элементов триады (Халилов 1971: 183-187). Еуджен Москалу отмечает, что в памятниках типа Сентеш-Векерзуг и Чиумбруд, наличие элементов триады в которых послужило основанием для ряда исследователей говорить о завоевании скифами этих территорий, 99% и даже 100% керамического комплекса составляет местная керамика, а между тем, пишет он, «никто не говорит о кельтах в Трансильвании без кельтской керамики» (Москалу 1991: 162).

Тезис о том, что кочевники не приносят с собой своей керамики, а пользуются местной, послуживший, в частности, одним из контраргументов С. А. Скорому в полемике с О. Р. Дубовской о надкультурном характере новочеркасских памятников (Скорый 1991: 160-161), не так уж бесспорен. Кочевники вовсе не находятся в состоянии постоянного доминирующего симбиоза с оседлым населением, и в такие периоды они вынуждены изготавливать себе посуду сами. Речь, несомненно, должна идти о домашнем производстве, и, вероятнее всего, это был удел женщин и детей. Поэтому, даже завоевав какое-то оседлое население, кочевники вряд ли были так уж заинтересованы в местной керамике, разве что в ее парадных, престижных формах. Отказ от этого положения должен был диктоваться весьма серьезными причинами, а скорее всего одной – гибелью своих жен и детей. Такие варианты тоже возможны, но смешно считать, что кочевники постоянно и сознательно обрекали их, родную кровь, на гибель, устремляясь в походы и завоевания новых земель. Не стоит забывать и о сакральной функции некоторых категорий керамики. О том, что кочевники приносили с собой свою керамику, свидетельствует, в частности, и то, что мы находим скифскую керамику в памятниках Добруджи, на территории так называемой «малой Скифии» (Москалу 1991: 162).

Так что факта присутствия триады явно недостаточно для утверждения о завоевании скифами какой-либо территории.

С другой стороны, обращает на себя внимание и факт отсутствия единого архетипа триады даже в границах Северного Причерноморья (Шрамко 1971: 95), выраженный в том числе и в значительном разнообразии и «отсутствии стандарта» в оформлении отдельных элементов триады даже в одном могильнике (Галанина 1994: 96). По словам В. Г. Петренко, «для каждого региона скифской культуры характерны все же свои особенности развития материальной культуры, и, в частности, типов наконечников стрел», сохраняется только «общая тенденция в развитии форм» (Петренко 1990: 73). В некоторых локальных группах отсутствуют отдельные элементы триады, даже весьма яркие, как, например, зооморфные псалии, выступающие в периодизационной схеме раннескифской культуры, предложенной И. Н. Медведской, хронологическим индикатором прихода новой волны скифов и начала второго этапа раннескифской культуры (Медведская 1992: 87), отсутствуют в запад-

ноподольской группе (Смирнова 1993: 117).

Отметим также, что если рассматривать степные памятники как конденсат среды, в которой происходил генезис триады, то в них отсутствует ряд таких ее важных элементов, как навершия, шлемы кубанского типа (Мурзин 1984: 66), зеркала с боковой ручкой (Кузнецова 1990: 87), а каменные блюда все-таки представлены в незначительном количестве – четыре экземпляра (Мурзин 1984: 87).

Все это не согласуется не только с концепцией завоевания лесостепи скифами – носителями триады, но и вообще с идеей триады как целостного комплекса, присущего конкретному этносу. Триада – собирательный, абстрактный образ, созданный не скифами, а скифологами. Поэтому бессмысленны и поиски некоего гипотетического очага генезиса триады, не увенчавшиеся, кстати, до сих пор успехом (Алексеев 1996: 9).

Из проявившегося полицентризма происхождения элементов триады возникает мысль о принципиально ином механизме ее распространения и, шире, иной модели реконструкции событий. Не завоевания скифов, а взаимодействие культур, в ходе которого вырабатываются общие стереотипы, не затрагивающие, в принципе, основ существования этих культур.

Несколько диссонирует с этим утверждением, пожалуй, только наличие в триаде (с ними – пентаде) таких элементов, как каменные блюда и бронзовые жертвенные ножи – вещи явно сакрального, ритуального характера. (Впрочем, ряд исследователей отрицает сакральный характер каменных блюд: Мурзин 1984: 87). Но мы имеем и другие примеры распространения вещей подобного рода на огромные расстояния и внедрения в «заведомо разные культуры», весьма труднообъяснимые, как распространение в позднебронзовое время от Северного Причерноморья до Сибири чернолощеной керамики, «образующей в памятниках Кобани, Тагискена, Дындыбай-Бегазы и карасукских разную по удельному весу, но чрезвычайно яркую группу» (Грязнов 1966: 31-34), или распространение «топоров с крылышками» во всем Средиземноморье, Малой Азии, Северном Причерноморье, Гальштате, Поволжье и Казахстане (Гернес 1914: 15).

Видимо, здесь мы имеем дело с какими-то глобальными изменениями идеологии в масштабе Евразии (степень сакрального единства которой мы, вероятно, недооцениваем: Мачинский 1998), хотя суть их мы и не вполне улавливаем.

Распространение скифской триады также вписывается в контекст подобного глобального изменения, особенно если иметь в виду ее важнейший элемент – скифский звериный стиль. Возникая, он сменяет (частично: Шрамко 1971: 96) в Северном Причерноморье т. н. спирально-геометрический стиль орнаментации, характерный для предскифского времени. Но северопричерноморский геометрический стиль только часть более значительного явления – европейского геометрического стиля, и его вырождение начинается практически одновременно в Северном Причерноморье, Греции и Италии; эти синхронии в развитии разных культур были замечены еще в начале века (Гернес 1914: 16).

Впрочем, надлом старого искусства в это время охватил гораздо более широкие пространства, одним из проявлений его стал кризис расписной керамики Сиалка В, структурная формула орнаментации которой идентична структурной формуле аттической вазописи позднегеометрического стиля, а датировка Сиалка В совпадает с временем существования позднегеометрического стиля в Греции (Медведская 1983: 28-30). При этом в Средиземноморье причиной распада геометрического стиля становится «ориентализирующее влияние» переднеазиатского искусства (Гернес 1914: 18; Coldstream 1968). Именно в результате ориентализации в среднеевропейском гальштате возникает в VII в. до н. э. так называемый стиль Кляйн-Кляйн (Parzinger 1991: 17), одновременно в Италии, в памятниках Эсте появляется звериный стиль ориентализирующего характера (Parzinger 1991: 12). Умолчим о набившей оскомину проблеме фракийского звериного стиля.

Происходит своеобразное «озверение» Евразии, «озверение» весьма широкомасштабное – чрезвычайно популярный в это время сюжет «шествия зверей» с характерным набором участников встречается от Башадара на Алтае (Баркова 1987: 23) до памятников группы Эсте в Северной Италии (Parzinger 1991: 19), причем решающую роль в «озверении» сыграли не скифы, а импульс со стороны цивилизаций Ближнего Востока.

Так, Д. Г. Савинов отмечает, что в первых веках I тыс. до н. э. «весьма близкие, а иногда и идентичные изображения фантастического хищника встречаются в самых разных культурах от Китая эпохи Западного Чжоу до Балкан и Греции (где они присутствуют, в частности, на серебряных беотийских фибулах IX-VIII вв. до н. э.)», но «истоки этого сюжета следует искать в искусстве высоких цивилизаций Ближнего Востока и его среднеазиатской периферии» (Савинов 1998: 163).

На фоне этого «озверения» и с учетом значимости фактора ориентализации в рождении звериных стилей в различных регионах Евразии, в том числе и на Алтае (Ильинская 1976: 9-30; Баркова 1987: 26), чрезвычайно интересно, что и сам скифский звериный стиль представляет, по существу, именно переработку переднеазиатских мотивов (Артамонов 1971: 26; Переводчикова 1979: 14; Баркова 1987: 23-26; Кисель 1996: 6; Канторович 1998: 147), то есть доминантой возникновения в Северном Причерноморье нового стиля является тоже ориентализация.

Любопытной иллюстрацией вписанности скифского звериного стиля в контекст глобальной культурной флуктуации выступает феномен такого яркого элемента триады, как скифские зеркала с боковой ручкой. Выделяются две основные группы – с головой барана на ручке и с фигуркой кошачьего хищника; встречается и фигура оленя (Кузнецова 1990: 82). Распространяются они преимущественно в Ольвии и других античных полисах Северного Причерноморья (16 экземпляров из комплексов), одно происходит с территории Венгрии из погребения с кремацией, три – с территории савроматов, два – кобанской культуры, два – западноподольской группы, из комплексов с невыразительным составом инвентаря, два – с территории остальной украинской лесостепи; в степи их нет (Кузнецова 1990: 87). Одно такое зеркало найдено в Северной Африке, в Кирене (Кузнецова 1990: 92). Эти зеркала большинство исследователей традиционно связывает со скифами (Кузнецова 1990: 90), и в этом убеждает и их оформление в зверином стиле.

Но баран – символ Диониса, кошачий же хищник – его второй половины – Аполлона. Лев был покровителем и хранителем Лидийского царства и конкретно Сард (Геродот I, 84), служил гербом Милета, чеканился на его монетах, монетах Пантикапея и «колхидках», и особо почитался в Дидимах, так же как баран в Дельфах. Олень являлся одновременно символом и Диониса и Аполлона (Кузнецова 1990: 85). Мы видим, насколько значимы для греков, и не только, эти персонажи звериного стиля, немаловажно и то, что зеркала, происходя от чаш-патер, вообще причастны культу Диониса (Кузнецова 1990: 82).

Однако если Т. М. Кузнецова приходит на основании вышеизложенных фактов к выводу, что находки зеркал указывают на священные пути греков, то нам больше по вкусу точка зрения Д. А. Мачинского, считающего, что это общие священные пути и греков, и тех гипербореев, что приносили дары в святилище Аполлона на острове Делос (Мачинский 1998: 86), и, надо полагать, многих других народов, как родственных, так и весьма далеких друг от друга в плане этнокультурной общности.

Правда, по мнению Д. А. Мачинского, скифы стали как раз причиной нарушения нормального функционирования этих путей и прекращения «девичьих посольств» на Делос (Мачинский 1998: 86). Но этому противоречат как изложенные выше факты, так и упомянутое им самим свидетельство Павсания о том, что именно скифы доставляли дары гипербореев в Синопу, а далее их несли эллины (Мачинский 1998: 86). Кроме того, и сами скифы посылали дары в святилища чужеземных богов, как о том свидетельствует находка в числе вотивных даров из святилища Геры на острове Самос и так называемых скифских зеркал «с петлей на обороте» (Мачинский 1998: 90), более ранних, чем зеркала с боковой ручкой (Медведская 1992: 87).

Звериный стиль – не единственный компонент триады, соотносимый с глобальными культурными процессами. Одним из подобных компонентов выступает и такой типичный признак раннескифской культуры, как стремечковидные удила. Одновременно с ними в Европе распространяется так называемый среднеевропейский тип удил, для которого также характерно оформление концов в виде стремени, но повернутого широкой стороной внутрь (Иессен 1953: 90; Мелюкова 1964: 78; Chochorowski 1993: 49). Представляется, что это только разные вариации одной и той же модели, вариации самостоятельные и обусловленные оригинальной интерпретацией общей идеи.

Далее, крестовидные бляхи, в отечественной историографии называемые бляхами новочеркасского типа, как и синхронные им бубенчики-привески к конской узде, распространяются от Северного Китая до Португалии, причем наибольшая концентрация и блях и бубенчиков наблюдается на Балканах, в памятниках иллирийского гальштата (Chochrowski 1993: 87-88).

Если же говорить о псалиях, то нужно начать с точки зрения Н. Л. Членовой, продолжающей в этом вопросе идеи А. А. Иессена (Иессен 1953: 90) и И. В. Яценко (Яценко 1959: 40), о том, что псалии аржано-черногоровского типа (как и восьмерковидные бляхи) распространяются не с востока на запад, как обычно считают, а с запада на восток (Членова 1997: 39). Эта гипотеза весьма привлекательна, однако в той системе аргументации, которую использует Наталья Львовна, все упирается в датировку Аржана. Судя же по всему, этот вопрос лучше пока считать открытым (см.: Членова 1997).

Но, по данным Я. Хохоровского, псалии собственно черногоровского типа представлены в Центральной Европе всего тремя экземплярами, основную же массу составляют производные от этого типа местные вариации (Chochorowski 1993: 55). Это не позволяет согласиться с Н. Л. Членовой в вопросе происхождения данного типа псалий. С другой стороны, псалии типа Камышеваха представлены в Центральной Европе весьма широко, а в Восточной просто редки (Chochorowski 1993: 59-60). Самую же многочисленную группу псалиев в памятниках «фрако-киммерийского» круга составляют разнообразные варианты типа Дунакомлод, который в Восточной Европе не встречается вовсе (Chochorowski 1993: 61).

То есть, даже если считать, что псалии аржано-черногоровского типа послужили исходным прототипом для средневропейских типов псалиев, что не так уж бесспорно,то мы имеем опять-таки картину оригинальной и самостоятельной трактовки в каждом регионе некой общей идеи, а не перемещения в пространстве готовых типов.

Кроме того, если посмотреть на собственно европейские типы псалиев, так называемые «греко-италийские луковидные», то они также очень похожи на предскифские и раннескифские типы евразийских степей и формой, и завершением концов в виде шишечек, а простота и лаконичность манеры, в которой выполнены, к примеру, псалии типа Болонья, могут поспорить с аржано-черногоровскими (Chochorowski 1993: 142-144). Можно даже говорить о некотором предвосхищении и опережении европейскими типами той тенденции, которая приведет в степях к появлению скифских видов псалиев; это проявляется и в форме псалиев, и в том, что в комплексе из Штильфрида среди вещей предскифских типов появляются уникальные зооморфные псалии, завершения которых оформлены в виде лошадиных голов (Chochorowski 1993: 57, rys. 2: 12).

На фоне изложенного становится ясным истинное место такого события, как распространение триады, и идея завоевания скифами лесостепи как причины этого явления все более теряет свою привлекательность.

Но, пожалуй, решающим доводом должно послужить то, что скифские антропоморфные изображения, которые сегодня признаются одним из важнейших признаков скифской культуры, этнокультурным индикатором, не уступающим по значимости скифской триаде (Белозор 1991: 171), распространяются только в степной части Северного Причерноморья (Белозор 1991: 171; Петренко 1986: 176).

Насколько они отражают хотя бы единство культуры степи, сказать трудно. Ряд исследователей считает, что и в степи они не едины, распадаясь на локальные варианты (Шульц 1976; Ольховский 1990: 101) и наводя на мысль о том, что это тоже не признак культуры одного этноса, а скорее отражение процессов военизации евразийских обществ в это время и формирования у них культа военных вождей. Отсутствие стандарта в изготовлении этих изваяний у жителей Северного Причерноморья, по мнению П. Н. Шульца, настолько велико, что «нет ни одного изваяния, которое бы повторяло другое» (Шульц 1976: 224), и что «изваяний канонического облика Скифия не создала» (Шульц 1976: 229), но можно говорить только о существовании общей тенденции развития от фаллических изображений к портретным; в ранних чувствуется влияние переднеазиатской скульптуры (Шульц 1976: 227-229).

Тем не менее, П. Н. Шульц выделяет восемь локальных групп скифских антропоморфных изваяний (Шульц 1976: 224), что, разумеется, не особенно согласуется с идеей единства скифской культуры.

Однако, с другой стороны, В. Г. Петренко категорически отрицает существование локальных вариантов скифских изваяний и видит чрезвычайно высокую степень стандартизации в изготовлении этих вещей, существование единого канона на всем протяжении северо-причерноморских степей «от Дуная до Предкавказья» (Петренко 1986: 172).

Наличие столь диаметрально противоположных точек зрения не позволяет решить вопрос простым предпочтением одной из них. Но в наши цели и не входит попытка его решения в рамках данной работы, поскольку разноголосица в данном вопросе нисколько не влияет на принципиальную значимость уже отмеченного вывода исследователей об отсутствии скифских каменных изваяний на территории культур украинской лесостепи.

Итак, анализ тех категорий материальной культуры, «которые, собственно, и определяют облик скифской культуры», приводит к мысли о том, что они определяют вовсе не облик этой культуры, а ситуацию конвергентного развития разных культур.

Это конвергентное развитие обусловлено, в понятиях синергетики, принадлежностью этих культур к полю притяжения одного суператтрактора – глобального изменения идеологии в масштабе Евразии и существования с весьма ранних времен информационного единства Евразии – своеобразной нервной системы, чутко реагирующей даже на незначительные периферийные раздражения, которые в соответствии с закономерностями существования самоорганизующихся (нелинейных или неравновесных, как говорят физики) систем могут привести к полному перерождению всей системы (подробнее о синергетической теории культурогенеза см.: Ткачук 1996).

Происходит распространение идей, а не вещей, и масштабные, массовые перемещения людей здесь вовсе не обязательны.

Категории, объединяемые в рамках раннескифской культуры, являются надкультурными, а иногда и разнокультурными феноменами и не составляют даже относительно единого целого. Отсутствие же в лесостепи одних категорий «раннескифской культуры», а в степи — других не только разрушает само это понятие, но и отрицает истинность постулата о завоеваниями скифами лесостепи.

Культура, или, вернее, культуры лесостепи оказываются в раннескифское время независимым миром, внешним по отношению к миру степей. Во всяком случае, если исходить из анализа подчеркнутых В. Ю. Мурзиным категорий.

Но у нас остался еще один кит раннескифской культуры – погребальный обряд. Он традиционно считается основным этно- и культурообразующим признаком, и к надкультурным явлениям его отнести трудно. Тем не менее, изменения в погребальном обряде, произошедшие в лесостепи с началом скифского времени, имеют некоторые особенности, которые коррелируют с надкультурным характером скифской триады и также выбиваются за пределы традиционной

модели архаической Скифии, противореча концепции завоевания скифами лесостепи.

Прежде всего, даже в пограничных со степью районах новые формы погребального обряда внедрялись достаточно медленно на протяжении всего жаботинского этапа раннескифской культуры (Ильинская, Тереножкин 1983: 230). Но и в старшежуровское время, когда процесс резко ускорился, сохраняется высокий удельный вес обряда кремации – доскифской, чернолесской традиции, а в более северных областях лесостепи он остается доминирующим (Ильинская, Тереножкин 1983: 256; Петренко 1967: 58). Нужно отметить и значительное количество реминисценций кремации в новых типах погребального обряда – как полное или частичное сожжение погребальной конструкции, очищение погребальной камеры огнем, использование углей при захоронении, огненная тризна. Эта ситуация сохраняется до конца скифской архаики (Ильинская, Тереножкин 1983: 256). Сохраняется и традиция грунтовых могильников, особенно в более северных группах (Петренко 1967: 57; Ильинская, Тереножкин 1983: 276).

Такая характеристика процесса внедрения новых типов погребального обряда показывает относительность, постепенность и неполноту «скифизации» культуры приднепровской лесостепи на фоне массового сохранения прежних традиций.

Но и сами эти новые типы погребального обряда отличаются большим разнообразием. Это разнообразие позволило М. И. Артамонову положить в основу этногеографического разделения Скифии именно погребальный обряд и сооружения (Артамонов 1949: 127-179). Действительно, отличия между выделяющимися сегодня отдельными скифскими группами по этому показателю весьма заметны. Можно даже сказать, что различий больше, чем сходства. Однако полученные локальные группы представляют только один уровень этого разнообразия. Критикуя выдвинутую М. И. Артамоновым концепцию этногеографии Скифии, Б. Н. Граков и А. И. Мелюкова писали, что «на Киевщине и в северной части Кировоградской области нередко в одно и тоже время, в одной и той же курганной группе наблюдается весьма значительная пестрота погребального обряда. Ненамного однообразнее ситуация на Ворскле и Среднем Дону» (Граков, Мелюкова 1954: 61).

В памятниках тясминской группы «погребальный обряд на протяжении всего скифского времени остается очень разнообразным, малоустойчивым и плохо поддается обобщению. От предыдущего времени сохраняется обычай сожжения погребального сооружения. Также на протяжении всего скифского времени продолжают бытовать скорченные погребения. Ориентация погребенных весьма разнообразна и неустойчива» (Ильинская, Тереножкин 1983: 256-257). В близких выражениях В. А. Ильинская и А. И. Тереножкин характеризуют погребальный обряд практически всех локальных групп украинской лесостепи, за исключением Посулья, которое характеризуется как раз высокой стойкостью и единством погребального обряда и отсутствием в ранней фазе кремации и ее деривата – сожжения погребальной конструкции (Ильинская, Тереножкин 1983: 314). Впрочем, эта группа возникает только в старшежуровское время и вообще является «наиболее скифской» (Ильинская, Тереножкин 1983: 330). Но выделять на ее основе типично скифский погребальный обряд вряд ли корректно, она стоит наособицу и даже от курганов Предкавказья – «первоначального центра Скифии» (Петренко 1983) – отличается очень сильно и отсутствием пережитков кремации, и отсутствием таких важных «скифских» черт, как погребения коней и «слуг»; ориентация погребенных в ней устойчиво южная, что весьма нетипично для других территорий Северного Причерноморья (Ильинская, Тереножкин 1983: 314).

Попутно заметим, что и в тясминской группе погребения коней появляются не ранее младшежуровского времени (Ильинская, Тереножкин 1983: 257), то есть уже после того, как архаическая Скифия прекращает существование (Алексеев 1998: 118, 125).

Неунифицированность погребального обряда – как раз того элемента культуры, который традиционно выступает ее унифицирующим, структурирующим началом, – весьма показательна. Чем объясняется «разброд и шатание» в обычно столь четко регламентированной и монолитной сфере жизни, сказать трудно, и это вопрос отдельный. Но в этой пестроте расплываются черты предполагаемого скифского этноса, подчиняющего и скифизирующего лесостепь.

Тем более, что и в степи погребальный обряд архаического времени «достаточно сложен» и можно выделить не менее семи типов погребальных конструкций, «которые отличаются размерами, устройством, использованными материалами; для погребального обряда присущи разнообразная ориентировка, поза погребенного (скорченная, вытянутая, ничком), использование как курганного, так и бескурганного способа погребения» (Мурзин 1984: 56). Тема же диссертации В. С. Ольховского именно и сформулирована как «погребальные обряды населения степной Скифии» (Ольховский 1978).

Так что степь вряд ли можно рассматривать как генератор единого, хотя бы относительно, скифского погребального обряда, заимствованного затем лесостепью. Нельзя сказать и так, что именно степь стала источником упомянутой «вавилонской» пестроты погребального обряда лесостепи, поскольку эта пестрота для лесостепи – наследие еще предскифского времени (Клочко, Скорый 1993: 54).

Более вероятен процесс обратного влияния,

проявившегося в появлении в степи огненного ритуала и деревянных гробниц (Мурзин 1984: 55).

Такова ситуация в степи. Если же вернуться к лесостепным памятникам и, в частности курганам Предкавказья – «центра архаической Скифии», то здесь уместно будет вспомнить о дискуссии вокруг Ставропольских курганов, Красное Знамя, Обильное, Новозаведенное и ряда других, вопрос об этнокультурной принадлежности которых В.И. Козенкова предлагает считать открытым, отмечая их сложный характер, но сама склоняется к мысли об отнесении этих памятников к кобанской культуре (Козенкова 1989: 16). Я не собираюсь выступать арбитром в этом споре. Но погребальный обряд скифских памятников Предкавказья столь же неупорядочен, как и в степи. Можно выделить не менее восьми типов погребального обряда (Махортых 1991: 20-23), ориентация погребенных неустойчива (Махортых 1991: 38).

Попутно заметим, что, по словам одного из оппонентов В. И. Козенковой, «керамика в скифских могильниках Предкавказья не скифская» (Махортых 1991: 19).

Ряд исследователей, и в частности Б. Н. Граков, отрицали и скифскую принадлежность курганов Прикубанья, таких как Келермесский, Костромской, Ульский (Мелюкова, Яценко 1990: 11-12). Все эти памятники сегодня считаются эталонными для раннескифской культуры и играют важную роль в обосновании гипотезы «первоначальной Скифии» на Кавказе (Петренко 1983: 43-58; Петренко 1990: 75; Махортых 1991: 18), так что сомнение в их скифской принадлежности – факт чрезвычайно занимательный.

Весьма примечательно и мнение А. И. Мелюковой и И. В. Яценко о том, что северокавказские памятники, относящиеся ко времени после переднеазиатских походов скифов, «несут в себе много смешанных черт, которые не позволяют выделить собственно скифские погребения» (Мелюкова, Яценко 1990: 13). А Д. С. Раевский пишет, что «разграничение на Северном Кавказе памятников раннескифского и местного населения в значительной мере условно и приблизительно», объясняя, правда, это тем, что «в это время сама раннескифская культура имеет неустоявшийся характер, в том числе и в погребальном обряде» (Раевский 1995: 92). Неясно, правда, насколько условно и приблизительно. И когда раннескифскую культуру можно назвать устоявшейся.

Такая характеристика ситуации с погребальным обрядом хорошо согласуется с выводами о надкультурности скифской триады и иллюзорном характере ее единства, фактической аннигиляции понятия раннескифской культуры даже для Северного Причерноморья. Погребальный обряд тоже не объединяет Северное Причерноморье в единую культуру, более того, перед нами встает проблема выбора – какой тип (или типы) погребального обряда, собственно, принадлежит скифам.

Даже ингумацию и подкурганный обряд погребения как таковые невозможно считать скифским нововведением для лесостепи. По данным С. А. Скорого и В. И. Клочко, в чернолесское время погребальный обряд населения лесостепи был очень сложен, и кремация вовсе не являлась безусловно доминирующей. В Поросье преобладала ингумация в вытянутом на спине положении (с неустойчивой ориентацией) под курганными насыпями, в бассейне Тясмина наблюдается равное соотношение кремации и ингумации. Заметим, что все это более северные, удаленные от степи районы, а для более близкого к степи киевского региона характерна как раз только кремация с последующим захоронением в урнах. В Поднестровье безусловно преобладала ингумация в скорченном положении под курганами, а на левом берегу Днепра, в междуречье Орели и Самары, тоже преобладала ингумация, но положение и ориентация погребенных были неустойчивы (Клочко, Скорый 1993: 54-65).

Как видим, логичнее считать ситуацию с погребальным обрядом скифского времени результатом развития чернолесских традиций, а не завоевания скифами лесостепи.

Кроме того, стоит упомянуть, что в конце эпохи бронзы — начале железного века переход от кремации к ингумации, а зачастую и подкурганному обряду захоронения происходит практически повсеместно на территории от Центральной Азии до Пиренеев (см. Монгайт 1974; Итина, Вишневская 1971). И не всегда есть возможность объяснить эти перемены деятельностью скифов.

Но остается еще одна категория материальной культуры Северного Причерноморья в скифское время, которая не связывается с инвазией скифов, но является весьма яркой чертой архаической Скифии, и она-то как раз объединяет Северное Причерноморье. Речь идет о лощеной керамике, которая «почти тождественна и на Кубани, и в Приднепровье, особенно в грунтовых могильниках и на поселениях» (Граков, Мелюкова 1954: 91).

Такая несогласованность тенденций развития разных категорий материальной культуры весьма любопытна и сама по себе является проблемой. Тем более что керамика является весьма значимой категорией. Уже упомянутый А. М. Лесков считал керамику основной вещевой категорией для решения задач этнокультурной преемственности и идентификации (Лесков 1971: 90). Она изготавливается для себя и не обладает летучестью элементов триады. К тому же лощеная керамика, видимо, имела ритуальное значение. Поэтому ее общность традиционно считается показателем культурного единства оставившего ее населения.

Однако, обратившись к керамике, мы замечаем то, что заметил еще А. А. Спицын (Спи-

цын 1918: 101), а с тех пор это замечали не раз – сильное западное, гальштатское влияние на культуру северопричерноморской лесостепи в скифское время.

Причем речь идет о неоднократных, разновременных и разнородных импульсах. Но в отличие от степного фактора, которому придавалось первостепенное значение в рождении Скифии, эти западные импульсы оставались на уровне констатации факта и в интерпретации феномена архаической Скифии практически не учитывались. Такой подход вряд ли оправдан, делая наше видение ситуации неполноценным. Оценить значение восточных импульсов можно только вместе с западными и на одних весах.

О каких же западных импульсах идет речь?

Прежде всего нужно отметить явление так называемого «жаботинского орнаментального взрыва» – невиданного расцвета керамического производства и орнаментации в севернопричерноморской лесостепи в раннескифское время (сравните – ранне- и позднежаботинские наконечники скифских стрел (Іллиньська 1973: 13-26)). В историографии общепринято видеть в нем результат Басарабь-Шолданештского культурного влияния (Мелюкова 1979: 73, 82; Бруяко 1996: 280-285). Причем любопытно, что такая керамическая форма, как вазы-миски на полом коническом поддоне, характерна именно для западного, олтенского варианта культуры Басарабь (Смирнова 1985: 60).

Но басарабьское влияние не исчерпывалось керамикой, оно проявилось также в появлении в украинской лесостепи глинобитных площадок, орнаментированных меандром, спиралью и «бегущей волной» — специфическим басарабьским орнаментом (Ильинская, Тереножкин 1983: 260; Мелюкова 1979: 85; Vulpe 1986: Anm. 224), известных под названием раннескифских жертвенников жаботинского типа (Покровская 1962). По данным Предрага Медовича, жертвенники подобного типа характерны для культуры Басарабь, и, в частности, несколько близких аналогий жаботинским присутствуют на басарабьском поселении Феудвар в среднем Подунавье (Воеводина), но вообще они «распространены от Украины до Сирмия» (Hansel, Medovic 1991: 148-149; Taf.50). Эти жертвенники проникают и на левый берег Днепра, в ворсклинскую группу (Ильинская, Тереножкин 1983: 346).

Ворсклинская группа вообще выделяется в отношении отчетливости в ней басарабьского влияния, что, видимо, должно расцениваться как его консервация в силу каких-то причин. Керамика этой группы отличается очень широким применением сложной геометрической композиции и инкрустации белой пастой. Кроме этого, одну из особенностей этой группы составляют черпаки с раздвоенным выступом на ручке – «рожками» (Ильинская, Тереножкин 1983: 346). В других локальных культурных группах украинской лесостепи тоже с началом скифского времени появляются (причем, по мнению исследователей, распространение идет с запада на восток) черпаки с одинарным, правда, выступом или «рожком» на ручке (Мелюкова 1964: 77).

Но «рожки» – реализация чрезвычайно интенсивной гальштатской традиции, они присутствуют в большинстве культур гальштатского круга на самых разных типах керамики и отражают культ козла – символа Диониса, «фракийского», как известно, по происхождению бога. Особенно они характерны для иллирийского гальштата (Crişan 1969: 54), где нередки даже комбинации из трех рожек (Terzan 1990). Интересно, что на территории Западного Бельского городища, расположенного на территории ворсклинской группы, найден также бронзовый котел с ручками, моделированными в виде голов козла (Ильинская, Тереножкин 1983: 346).

Как видим, речь должна идти о весьма широком идеологическом, религиозном воздействии и, главное, высокой восприимчивости к нему населения северопричерноморской лесостепи. Инновацией жаботинского времени становится и распространение в лесостепи жилищ каркасно-глинобитного типа, происхождение которых А. И. Мелюкова связывает с фракийским миром (Мелюкова 1979: 85). Они характерны даже для посульской группы, «самой скифской из всех», правда, соседствуя с каркасно-глинобитными же, но юртообразными в плане жилищами (Ильинская, Тереножкин 1983: 331).

О том, что в это время западные влияния достигали также Кубани и Предкавказья, свидетельствует появление и там с началом скифского времени черпаков с «рожком» на ручке (Анфимов 1971: 172). О гальштатском характере этой традиции уже говорилось, она признана и в отечественной историографии (Мелюкова 1964: 77; Мелюкова 1979: 80).

В керамике кобанской культуры на рубеже VII-VI веков до н. э. тоже происходят значительные перемены, суть которых в том, что «типичными формами керамического комплекса становятся сосуды зеркального лощения со сложным геометрическим орнаментом, затертым белой пастой» (Козенкова 1989: 18). В этих же словах можно выразить и характеристику басарабьского керамического феномена (Мелюкова 1979: 80).

Степные памятники, бедные керамикой, тем не менее тоже отражают восприятие гальштатского влияния, пусть даже в опосредованной форме, из лесостепи. В кургане у г. Днепрорудного присутствует миска-ваза на коническом поддоне – подражание лесостепному типу (Мурзин 1984: 33). Этот тип, вероятно, имел ритуальное значение, поскольку он есть и в посульской группе, не очень восприимчивой к западным *влияниям* в керамике, и это единственная категория посуды, для которой в Посулье применялось лощение (Ильинская, Тереножкин

1983: 332).

Закат Басараби не означал прекращения гальштатских импульсов для Северного Причерноморья.

Г. И. Смирнова, изучая керамический комплекс Немировского городища, пришла к выводу о последовательном влиянии на него сначала Басараби, а затем группы Фериджеле-Бырсешть (Смирнова 1996: 196). Сильное влияние Фериджеле ощущается и в памятниках западноподольской группы (Crişan 1969: 53-54; Смирнова 1993: 112), а среднегальштатский горизонт городища Глинжены 2 (Р. Молдова, северная зона), по мнению авторов раскопок, «можно отнести как к группе Фериджеле, так и западноподольской группе раннескифской культуры» (Гольцева, Кашуба 1994: 166).

Здесь мы сталкиваемся с любопытной проблемой так называемой иллирийской экспансии, достигавшей долины Сирета и северо-востока Болгарии. Результатом ее стало появление на территории современной Румынии памятников типа Фериджеле-Бырсешть, Балта-Верде и Гогошу (Vulpe 1967; Crişan 1969: 54). Кроме того, по мнению З. Марича, культура Сентеш-Векерзуг, в генезисе которой большое значение отводится скифскому или северопричерноморскому фактору (Хохоровски 1991: 153-156), также испытывала чрезвычайно сильное влияние, выраженное в погребальном обряде, керамике и металлических изделиях, со стороны одной из культурных групп иллирийского гальштата – Доньи-Долины (Maric 1964: 42).

Но все это, так сказать, ближнее зарубежье для носителей культур иллирийского круга. Однако их влияние ощущалось и в дальнем, в частности, достигая во второй половине VII-VI вв. до н. э. Ольвии и Березани. Из пяти типов лепной столовой керамики на этих поселениях, выделенных К. К. Марченко, первый распространен от Балкан до Кавказа, а остальные четыре связываются им с группами Фериджеле-Бырсешть, Балта-Верде и Гогошу; в кухонной лепной керамике 40% составляют бочонковидные горшки и 35 % — баночные, тоже являющиеся гальштатскими формами (Марченко 1976: 157-166).

Вообще же в украинской лесостепи в старшежуровское время появляются и становятся ведущими формами керамики корчаги типа Вилланова, иногда с сосковидными налепами на корпусе, миски с загнутым внутрь краем и бочонковидные горшки (Ильинская, Тереножкин 1983: 236) – все западные, гальштатские по происхождению типы (Мелюкова 1979: 81). Генезис восточноподольской, или побужской локальной группы культуры лесостепи связывается Ю. В. Бойко с переселением в середине – второй половине VII в. до н. э. на территорию Побужья носителей культуры Гава (точнее будет говорить о постгавских культурных элементах: Хохоровски 1996: 210), влияние которых остается доминирующим на протяжении всего раннескифского времени (Бойко 1994: 187-188). Особенно любопытна отмеченная им аналогия сюжетной росписи на сосуде местного изготовления в виде головок фаллических человечков (поселение Вишенка-2) росписи на сосуде из могильника календербергской культуры Дунайска Лужна, к.1, которая опять-таки указывает на связь с Иллирией (Бойко 1994: 188).

Список гальштатских керамических инноваций можно пополнить, но сути дела это не изменит.

Впрочем, западные импульсы в это время не ограничиваются гальштатским кругом культур. По мнению С. Е. Светличной, в конце VII – начале VI вв. до н. э. происходит переселение довольно значительной группы населения из области лужицко-высоцкой культуры, приведшее к появлению в Поднепровье вплоть до левобережья Днепра новых форм керамики, в частности, тюльпановидных и бочонковидных горшков, ритуальных блюдечек, антропоморфной и зооморфной пластики, а также украшений (Светличная 1996: 153-161).

Затронув вопрос об украшениях, нельзя обойти вниманием то обстоятельство, что подавляющее большинство украшений лесостепной Скифии являются вариациями гальштатских и лужицких типов, причем также можно выделить несколько волн их распространения (Петренко 1978).

Традиционное объяснение этого феномена влиянием некоего гипотетического очага металлургии в Иллирии (заметим, опять Иллирии) (Петренко 1978: 66), вряд ли приемлемо, тем более что не раскрывает причин и механизма этого влияния. Гипотеза же В. Е. Еременко об угоне скифами мастеров как причине данного явления (Еременко 1997: 53) чрезмерно упрощает ситуацию и не учитывает как вышеизложенного, так и того, что гальштатские типы украшений присутствуют также в милоградской, подгорцевской, среднеокской и юхновской культурах (Петренко 1978: 69), а распространение скифских типов ослабевает к северу уже в пределах скифской культуры (Ильинская, Тереножкин 1983: 276). Однако в украшениях гальштатского происхождения, наоборот, проявляется поразительное единство – «от Западной Подолии до Северского Донца распространяются единые типы булавок, серег, гривен и браслетов» (Петренко 1978: 66).

Это единство украшений и керамики лесостепи – элементов, отражающих западное влияние, составляет разительный контраст с триадой и погребальным обрядом.

Западное влияние выражено и в распространении в украинской лесостепи такого элемента триады, как кинжалы семиградского типа, центром производства которых была Трансильвания (Граков, Мелюкова 1954: 78; Sulimirski 1936: tab.9 1,2). Также одним из крупных цент-

ров производства была Трансильвания и для так называемых зеркал «ольвийского типа» (Ольговскій 1992: 14-21).

Западные параллели прослеживает С. С. Бессонова для такого уникального памятника раннескифской культуры (храма-мавзолея, по ее мнению), как курган Перепятиха. Причем эти параллели наблюдаются не только в инвентаре, среди которого присутствует двулезвийная секира-лабрис, распространенная от Этрурии до Карпат, а также четырехгранный наконечник копья и нож, имеющие сходный ареал распространения, но особенно характерные для иллирийского мира. Однако, помимо этого, и в погребальном обряде и конструкции этого сооружения вообще самой ближайшей аналогией Перепятихе оказывается к.1 иллирийского могильника Ромайя (Бессонова 1994: 168-171).

Итак, западные импульсы в культуре Северного Причерноморья в скифское время весьма ощутимы, и в формировании культурной ситуации в регионе были не менее, если не более важны, чем степные, при том, что они выражаются в наиболее значимой сфере культуры.

Но остается вопрос о конкретных механизмах этих импульсов, их природе и получившемся результате, чтобы не произошло простой смены приоритетов с восточного на западный в оценке феномена архаической Скифии, и вместо тезиса о волнах кочевников с востока, завоевывающих Северное Причерноморье, возник тезис о волнах иллирийских нашествий с запада. Нуждается в прояснении и роль иллирийского и протоиллирийского культурного массива как перманентного генератора импульсов для Северного Причерноморья, и отношение к этому античной цивилизации. Ясно только, что феномен архаической Скифии гораздо сложнее и не может быть сведен к идее организующего внешнего влияния – западного или восточного. По всей видимости, должна быть пересмотрена и концепция завоевания скифами лесостепи.

Нужно добавить, что по данным палеогеографии местность в ареале распространения раннескифских памятников «сохраняла степной характер долгое время спустя после запустения чернолесского городища» (Тереножкин 1961: 14), то есть возможно, что «культура лесостепи» существовала на самом деле в степи (к сожалению, более свежие результаты палеоботанического анализа остались для меня недоступны). В этой связи стоит отметить, что в жаботинское время происходит переход от обитания в укрепленных чернолесских городищах к жизни в селищах открытого типа (Ильинская, Тереножкин 1983: 236). Согласно концепции Я. Хохоровского, выработанной на основе анализа культуры Гава, такой переход совпадает с периодом расцвета культуры и ее экспансии, а интенсивная фортификационная деятельность свидетельствует как раз о кризисе и боязни внешней опасности (Хохоровски 1996: 211-221).

Так что в начале раннескифского времени население лесостепи, похоже, не подозревало о скифской зкспансии из степи, и именно оно было доминирующей силой в Северном Причерноморье.

С этим согласуется и то, что варварская керамика Березани и хоры Ольвии с момента возникновения этих поселений и до конца VI в. до н. э. представлена «лесостепными и фракийскими типами» (Марченко 1974: 153, 154). Ранее же в степи появляются погребения, основным диагностирующим признаком которых выступает жаботинская керамика (Мурзин 1984: 11). И только в старшежуровское время лесостепь ощетинивается мощными укреплениями против степи (Ильинская, Тереножкин 1983: 260), свидетельствуя о начале кризиса, который достиг максимума к концу VI в. до н. э. и привел к угасанию архаической Скифии – после «смутного времени» происходит переход к классической, геродотовой Скифии (Алексеев 1996: 9; Алексеев 1998: 125). Будет ли для нас удивительным, что одновременно исчезает и лощеная керамика (Граков 1954: 80).

Все это только предварительные наметки к решению затронутых проблем, попытка обратить на них внимание и приглашение к дискуссии. Возможно, приведенные оценки культурной ситуации в Северном Причерноморье в раннескифское время не всех удовлетворят, покажутся недостаточно взвешенными – оставляю это на усмотрение читателей. В заключение же хочу привести слова А. А. Спицына о том, что «скифы и сарматы – совершенно разные народы, и кто такие скифы, мы еще не знаем» (Спицын 1911: 156). Кажется, они еще не утеряли своей актуальности.

ЛИТЕРАТУРА

Алексеев А. Ю. 1996. Хронография Европейской Скифии VII-IV вв. до н. э. (автореферат дисс…. доктора ист. наук). СПб.

Алексеев А. Ю. 1998 Периодизация истории Европейской Скифии: традиция и современное состояние. // Проблемы археологии. Вып. 4 СПб.

Анфимов 1971. Сложение меотской культуры и связи ее со степными культурами СП. // ПСА М. С. 170-177.

Артамонов М. И. 1949. Этногеография Скифии. Л.

Артамонов М.И. 1971. Скифо-сибирское искусство звериного стиля. // Проблемы скифской археологии. М.

Баркова Л. Л. 1987. Образ орлиноголового грифона в искусстве древнего Алтая. // АСГЭ. Вып. 28. С. 5-29

Белозор В. П. 1991. Скифская триада и каменные изваяния (проблема этнокультурной атрибуции). // Древнейшие … (мат. конф.,1). Киев. С. 170-172

Бессонова С. С. 1994. К вопросу об этнокультурной

специфике кургана Перепятиха. // Древнейшие общности земледельцев и скотоводов СП (5 тыс. до н. э. – 5 века н. э.) (мат. конф., 2) Тирасполь. С. 168-171
Бойко Ю. Н. 1994. К вопросу о формировании восточноподольской (побужской) группы памятников предскифского и раннескифского времени. // Древнейшие … С. 187-188
Брояко И. 1996. Финал горизонта «штампованной» керамики раннего железного века в украинской лесостепи. // ЗБГ… Полтава. С. 280-285
Виноградов Ю. А., Марченко К. К. 1991. Северное Причерноморье в скифскую эпоху. Опыт периодизации истории. // СА №1. С. 145-155
Галанина Л. К. 1994 К проблеме хронологии Келермесских курганов. // РА №1. С. 92-108
Гернес М. 1914. Культура доисторического прошлого. Т.3
Геродот 1971. История. Л.
Гольцева Н. В., Кашуба М. Т. 1994. О культурно-хронологической стратиграфии городища Глинжены 2. // Древнейшие … (мат. конф., 2)
Граков Б.Н.1954. Каменское городище на Днепре. М.
Граков Б. Н., Мелюкова А. И. 1954. Об этнических и культурных различиях в степной и лесостепной областях европейской части СССР в скифское время. // ВССА М.
Грязнов М. П. 1966. О чернолощеной керамике Кавказа, Казахстана и Сибири в эпоху поздней бронзы. // КСИА. Вып.108. С. 31-34
Дубовская О. Р. 1989. К интерпретации комплексов типа Новочеркасского клада // СА № 1.С. 63-69
Еременко В. Е. 1997. Относительная и абсолютная хронология европейской Скифии: взгляд со стороны. // STRATUM + ПАВ. СПб.-Кишинев. С. 44-61
Иессен А. А. 1953. К вопросу о памятниках VIII-VII вв. до н. э. на юге европейской части СССР (Новочеркасский клад 1939 г.). //СА. Вып. 18.С. 49-111
Иллиньска В. А. 1973. Бронзови наконечники стрил так званого жаботинського и новочеркасського типив. // Археология. Вып.12. С. 13-26
Ильинская В. А. 1976. Современное состояние проблемы скифского звериного стиля. // Скифо-сибирский звериный стиль. М. С. 9-30
Ильинская В. А., Тереножкин А. И. 1983. Скифия VII-IV вв. до н. э. Киев.
Итина М. А., Вишневская О. А. 1971. Ранние саки Приаралья. // ПСА, М. С. 177-203
Канторович А. Р. 1998. К вопросу о переднеазиатском влиянии на звериный стиль степной Скифии. // ВДИ №3. С. 146-167
Кисель В. А. 1997. Священная секира скифов. СПб.
Клейн Л. С. 1970. Катакомбная культура или катакомбные культуры. // Статистические и комбинаторные методы в археологии. М.
Клочко В. И. 1979. Некоторые вопросы происхождения бронзовых наконечников стрел Северного Причерноморья VIII-VII вв. до н. э. // Памятники древних культур Северного Причерноморья. Киев.
Клочко В. И., Скорый С. А. 1991. К исследованию позднечернолесского погребального обряда. // СА. № 4: 54-65
Козенкова В. И. 1989. Кобанская культура. Западный вариант. //САИ В2 – 5 М.
Кузнецова Т. М. 1990. Торговые или священные пути греков? // ПССА. С. 82-98
Лесков А. М. 1971. Предскифский период в степях Северного Причерноморья. // Проблемы скифской археологии. М.
Мансфельд Г. 1992. Опыт периодизации скифских древностей. //СА №3: 108-113
Марченко К. К. 1974. Фракийцы на территории нижнего Побужья во второй половине VII – I вв. до н. э. // ВДИ №2
Марченко К. К. 1976. Лепная керамика Березани и Ольвии второй половины VII – VI века до н.э. (по материалам раскопок 1953-1970 гг.). // Художественная культура и археология античного мира. М. С. 157-166
Махортых С. В. 1991. Скифы на Северном Кавказе. Киев
Махортых С. В. 1994. О начальном периоде киммерийской истории. // Древнейшие … (мат. конф., 2) С. 148-150
Мачинский Д. А. 1998. Сакральные центры Скифии близ Кавказа и Алтая и их взаимосвязи в конце IV — середине I тыс. до н. э. // Стратум: структуры и катастрофы. Сборник символической индоевропейской истории. СПб. С. 73-94
Медведская И. Н. 1983. Хронологические параллели между вазописью геометрического стиля Греции и росписью керамики Сиалка В. // Древние культуры Евразии и античная цивилизация. Л.
Медведская И. Н. 1992. Периодизация скифской архаики и Древний Восток. // СА №3: 86-108
Мелюкова А. И. 1964. Памятники скифского времени лесостепного среднего Поднестровья. // МИА №64. С. 5-143
Мелюкова А. И. 1979. Скифия и фракийский мир М.
Мелюкова А. И., Яценко И. В. 1990. Б. Н. Граков и некоторые проблемы современного скифоведения (к 90-летию со дня рождения). // ПССА М.
Монгайт А. Л. 1974. Археология Западной Европы. Бронзовый и железный века. М.
Москалу Е. 1991. Некоторые аспекты скифской проблемы в Северной и Южной Фракии в VI-V вв. до н. э. // Древнейшие … (мат. конф., 1) С. 161-163
Мурзин В. Ю. 1984. Скифская архаика Северного Причерноморья. Киев.
Мурзин В. Ю., Скорый С. А. 1994. Современное состояние киммерийской проблемы (историко-археологический аспект). // Древнейшие … (мат. конф., 2). С. 145-146
Ольговский С. Я. 1992. Походження дзеркал «ольвийского» типу. // Археология. Вып. 3. С. 14-21
Ольховский В. С. 1978. Погребальные обряды населения степной Скифии (VII-IV вв. до н. э.). (Автореферат дисс… канд. и. н.) М.
Ольховский В. С. 1990 Скифские изваяния Крыма. // ПССА М. С. 98-116
Переводчикова Е. 1979. Келермесская секира и формирование скифского звериного стиля. // Проблемы истории античности и средних веков. М.
Петренко В. Г. 1967. Правобережье Среднего Поднепровья в V-III вв. до н. э. // САИ Д1-4 М.
Петренко В. Г. 1978. Украшения Скифии VII-III вв. до н. э. // САИ Д4-5 М.
Петренко В. Г. 1983. Скифская культура на Северном Кавказе. // АСГЭ Вып.23
Петренко В. Г. 1986. О юго-восточной границе распространения скифских каменных изваяний. // Новое в археологии Северного Кавказа. М. С. 158-177
Петренко В. Г. 1990. К вопросу о хронологии раннескифских курганов Центрального Предкавказья. // ПССА С. 60-82
Погребова М. Н., Раевский Д. С. 1992. Ранние скифы и Древний Восток М.
Погребова М. Н. 1993 О принципах датировки скифской архаики. //РА №2: 84-89

Покровская Е. Ф. 1962. Жертвенник раннескифского времени у с. Жаботин. // КСИА АН УССР вып.12

Полидович Ю. Б. 1994. К вопросу о хронологии раннескифских памятников степной зоны Северного Причерноморья. // Древнейшие ... (мат. конф., 2) С. 189-191

Раевский Д. С. 1995. Ранние скифы: среда обитания и хозяйственно-культурный тип. // ВДИ №4. С. 87-96

Савинов Д. Г. 1998. Образ фантастического хищника в древнем искусстве Евразии (в свете переднеазиатской теории М. И. Артамонова). // Проблемы археологии. Вып. 4. СПб.

Светличная С. Е. 1996. О связях населения Бельского городища и Днепровского левобережья с лужицко-высоцкими племенами. // Західне Більске городище в контексті вівчення пам`яток раннего зилизного віку Европи. Полтава: 153-161

Скорий С. А. 1991 Допитання про культурну належность старожитностей типу Новочеркаського скарбу 1939 р. // Археология №1. С. 14-26

Скорый С. А. 1991. К вопросу о «надкультурном характере» древностей типа Новочеркасского клада. // Древнейшие … (1). С. 160-161

Скорый С. А. 1994. О причинах проникновения киммерийцев в украинскую лесостепь. // Древнейшие … (2). С. 150-152

Скорий С. А. 1996. Кочовики предскифської та скифської доби в Днипровському правобережному лисостепу (питання етнокультурной истории) Київ.

Смирнова Г. И. 1985. О формировании позднечернолесской культуры на Среднем Днестре. // АСГЭ № 25. С. 43-64

Смирнова Г. И. 1993. Памятники среднего Поднестровья в хронологической схеме раннескифской культуры. // РА №2: 101-118

Смирнова Г. И. 1996. Проблемы изучения Немировского городища. // ЗБГ… С. 190-201

Спицын А. А. 1911. Скифы и Гальштатт. // Сборник в честь графа Бобринского. СПб. С. 155-168

Спицын А. А. 1918. Курганы скифов-пахарей. // ИАК. Вып.65 Пг. С. 87-143

Тереножкин А. И. 1961. Предскифский период на Днепровском правобережье. Киев

Ткачук М. Е. 1996. Археология свободы. Кишинев.

Халилов Д. А. 1971. Археологические находки «скифского» облика и вопрос о «скифском царстве» на территории Азербайджана. // МИА №177: 183-187

Хохоровски Я. 1991. Восточные влияния на территории Средней Европы в конце эпохи бронзы и в начале железного века. // Древнейшие … (1). С. 153-156

Хохоровски Я. 1996. Городища эпохи поздней бронзы восточной части Карпатской котловины – показатель развития или кризиса общественно-культурных структур. // ЗБГ... Полтава. С. 211-221

Шпенглер О. 1997. Закат Европы. Т.1. М.

Шрамко Б. А. 1971. К вопросу о значении культурно-хозяйственных особенностей степной и лесостепной Скифии. // ПСА М.

Шульц П. Н. 1976. Скифские изваяния. // Художественная культура и археология античного мира. М. С. 218-231

Членова Н. Л. 1988. О культурной принадлежности Старшего Ахмыловского могильника, новомордовских стелах и «отделившихся скифах». // КСИА. Вып. 194. С. 3-9

Членова Н. Л. 1997. Центральная Азия и скифы. Ч.1. М.

Эрлих В. Р. 1994. У истоков раннескифского комплекса. М.

Яценко И. В. 1959. Скифия VII-V вв. до н. э. М.

Chochorowski J. 1993. Ekspansja kimmeryjska na tereny Europy Środkowej. Kraków.

Coldstream J. 1968. The Greece Geometric Pottery. London

Crişan I. N. 1969. Ceramika dako-getica. Buk.

Hansel B., Medovic P. 1991. Vorbericht über die jugoslawisch-deutschen Ausgrabungen in der Siedlung von Feudvar bei Mosorin (Gem Titel Voevodina) von 1986-1990 Bronzezeit-Vorrömishe Eisenzeit. // Bericht Römisch-Germanischen kommischen. Band 72 Frankfurkt a. M. P.45-205

Maric Z. 1964. Donia Dolina. // Glasnik zemaliskog muzeia u Saraievo. Archeologiia// nova serriia //, sv 19

Parzinger H. 1991 Inandiktepe – Este – Pozo Moro. // Bericht Band 72 p.5-45

Sulimirsky T. 1936. Scytowie na Zachodniem Podolu. Lwów

Terzan B. 1990. The Early Iron Age in Slovenian Styria. Lubleana

Vulpe A 1967 Nekropola hallstatiana de la Ferigele. Bucureşti

Vulpe A 1986. Die Basarabi-Kultur. // Dacia NS 19. P.49-90.

Ткачук М. Е.

ГЕТИКА, КОТОРУЮ МЫ ПОТЕРЯЛИ. (ИЗ АНТОЛОГИИ ХРОНОЛОГИЧЕСКИХ РАЗРЫВОВ)

Историки присоединяют к этим рассказам об изменениях сообщения о переменах, происшедших в результате переселений, чтобы отучить нас излишне «изумляться».

Страбон. **«География»**.

Из вихрей и противоборств возник
Мир осязаемых
И стойких равновесий.
И равновесье стало веществом.
Но этот мир, разумный и жестокий, -
Был обречен природой на распад.

Максимилиан Волошин.
«Путями Каина. Трагедия материальной культуры».

Что-то начинается, чтобы прийти к концу:
приключение не терпит длительности: его смысл — в его гибели.

Жан-Поль Сартр. «**Тошнота».**

Tkachuk M.E. Getica that we have lost. (From the antology of chronological breaks).

The goal of the article is to give the arguments of apocryphality and groundlessness of the autochthonous ideology of the cultural development of Moldova that is dominant today. In the suggested reconstruction for the autochthonous versions of the development of the Getian culture there is no room. There is noticed a rather precise coincidence of the information from written and material records. The main territory of formation process of historical Getians of the early VI-V c. B.C. is to the south of Danube in the region of Dobrudja. The first monuments of the Getian culture appeared to the North of Danube not before the end of the VI c. B.C. while the mass settlement of the Carpathian-Dniester lands takes place in the end of the V c. B.C. Somewhere in the middle of the III c. B.C. the Carpathian-Dniester Getica is dying. A part of Getians is leaving under the pression of Scyro-Galatians in the Low Dnieper area and the Crimea, the other part is leaving to the West. That is why Dacians are really "descendents of Getians" or "young branch" of the Carpathian-Dniester Getians. They are coming, they are migrating to Transilvania in the end of the First Quarter of the II c. B.C. and not continue to live there from the Age of Bronze.

Цель данной статьи — представить аргументы недостоверности и необоснованности господствующей ныне автохтонной идеологии культурного развития в Молдове.

То, что это именно *идеология,* а не какая-нибудь там версия или гипотеза, сомнений не возникает. Во-первых, назвать этот взгляд на культурное развитие версией было бы оскорбительно для его сторонников. Версия — всегда нечто сослагательное, допускающее иной вариант реконструкции. Ясно, что в данном случае никаких таких иных вариантов сторонниками этой идеи не предполагается. Во-вторых, автохтонная идея применительно к Молдове выступает этаким национально-ориентированным монолитом, с абсолютно прозрачным политическим подтекстом. Ей отведена решающая роль в формировании современной национальной идентичности. Она стала неотъемлемой частью школьных программ, за ее незнание ставят в учебных заведениях отрицательные оценки. И потому это именно идеология.

Отрицательные оценки ставят и за незнание таблицы умножения. Но культурогенез — не таблица умножения, а вещь куда более сложная и не столь однозначная. Тем не менее, сделано все для того, чтобы эта форма знания воспри-

© Ткачук М.Е., 1999.

нималась максимально легко и быстро. Она избавлена от «избыточной» этно-культурной информации (присущей любой истории), доведена до совершенства отсечениями всего лишнего и предложена для проглатывания без особого интеллектуального напряжения. И, правда, наш автохтонизм несложен в усвоении. Он состоит из двух простых частей: фрако-гето-дакийской и дако-романской. Части плавно перетекают одна в другую, несмотря на назойливые и досадные помехи в облике проносящихся мимо мигрантов-чужеродцев.

Такое упрощение, безусловно, в чем-то облегчает задачи потенциальных критиков автохтонизма, хотя и усложняет им жизнь. С другой стороны, не все так просто. Далеко не всегда в подобных рецидивах автохтонизма мы сталкиваемся с идеологической конъюнктурой, как *причиной*. Если мы окинем взором «фрако-гето-дакийскую» историографию, то ее поразительный концептуальный консерватизм и верность принципам континуитета (осознанную или неосознанную) сами по себе могут рассматриваться в качестве источников появления не только автохтонной идеологии, но и современных моделей этнической идентичности. Более того, полное отсутствие критики этой версии автохтонизма указывает на то, что она негласно принята научным сообществом. По частям, по фрагментам она, конечно же, оспаривается, но обычно с позиций каких-либо соседних вариантов континуитета. Иногда кажется, что фрако-балканский автохтонизм оказывается некоей комфортной отдушиной даже для самых непримиримых миграционистов. Здесь, среди карпатских планин, «отдыхает» их логика и аргументация. Для них так называемое «местное население» тоже уже стало стабильной и неподвижной деталью интерьера Карпато-Балканского региона чуть ли не для всех археологических эпох, удобной интерпретационной «затычкой». Примерно такой же, как проносящиеся бездомные мигранты для автохтонистов. Складывается впечатление, что под гипнотическими чарами фрако-балканской фольклорной непрерывности умолкает любая трезвая научная критика, что именно здесь она готова признать фактографическую обоснованность автохтонной идеологии, абсолютную адекватность этой идеологии культурному наследию. Именно здесь научная критика почему-то заражается архаическими мотивами «вечного возвращения», изменяет своим принципам и традициям. *Ее общий, не высказанный ни разу вывод: фрако-дако-романский автохтонизм уязвим только лишь в деталях и нюансах, в некоторых перехлестах, которые всегда легко корректируются, в целом же он не имеет и не может иметь никаких альтернатив.* Повторяю, вывод этот никогда не декларировался в историографии столь однозначно, но никогда не выдвигалось и обратных утверждений. Общее впечатление, складывающееся после знакомства с безбрежным морем фракологической историографии: для нее уже давным-давно все ясно, общая картина существует, нужно лишь внести несколько штришков для вящей полноты и подробности.

Такая *недосказанность* и *недоказанность,* безусловно, нуждается в каком-то объяснении, выходящим за пределы собственно археологии. Но и без такого объяснения интерпретационная невменяемость историографии кажется вполне достаточным основанием для сомнений. Сомнений в истинности «носящихся в воздухе», всем понятных и логичных реконструкций. Следует преодолеть соблазняющие чары балканской этно-культурной непрерывности и признать: никакой общей и однозначной картины развития культур Карпато-Балканского региона пока нет. Существует лишь набор наукообразных, но мифологических по сути, банальностей. Мы почти ничего не знаем! Именно по этой причине, казалось бы, самая доступная для решения проблема — проблема места и времени появления первых восточно-романских культурных образований остается загадкой, причем загадкой, довольно непростительной для науки, вынужденной решать этногенетические ребусы для эпохи XI-XIII вв. И эта проблема останется в разряде курьезов и загадок до тех пор, пока не начнется демифологизация историографии, пока с новых позиций не будет прослежена вся цепочка культур эпохи железа.

Данная статья посвящена одному из звеньев в этой цепи — так называемой гето-дакийской культуре, соответственно — первому и основному периоду, с которого начинается мерный отсчет на часах континуитета. Хронологические границы этого периода — VI — II вв. до н.э. Именно тогда, при посредничестве античной историографии, были названы основные этно-культурные персонажи региона, и, таким образом, была представлена историзированная фактура для последующих геополитических и национально-государственных соблазнов и ложных форм идентичности.

Несмотря на то, что некоторые современные автохтонисты удревняют начало непрерывного культурного развития в Молдове вплоть до XIV века до н.э. (Niculiță 1994: 282). Основным и незыблемым хронологическим плацдармом для них остается период VI-II вв. до н.э. Подобные ретро-экстраполяции не внове. Они уже были опробованы в свое время Б. А. Рыбаковым, углубившимся в проблематику Эпохи средней и поздней Бронзы для доказательства праславянства славянской (?) скифской культуры VI-II вв. до н.э. (критику см.: Ткачук 1991; Клейн 1993). Не внове и «освященность» интервала VI-II вв. до н.э. у автохтонистов всех разновидностей. Первые этнографические наблюдения античных авторов, пришедшиеся именно на это время, оказались щедрым подарком для всех тех, кто

спустя тысячелетия маялся от отсутствия великих предков.

Предлагаемая реконструкция событий и процессов охватывает четыре столетия. Следовательно, при таком хронологическом охвате она оказывается достаточно уязвимой для критики. Но для критики она, собственно, и предложена (вариант более полной и систематизированной концепции культурного наследия в Молдове см.: Gukin, Manzura, Rabinovich, Tkachuk 1995; Ткачук 1996; 1997).

I. Письменные источники

Фрако-гето-дакийская почва приземления молдавского (отчасти румынского и болгарского) автохтонизма подсказана письменными источниками. Но уже письменные источники не дают серьезных оснований для абсолютизации исторической роли какого-либо одного из упомянутых в них этносов. Более того, несмотря на кажущуюся фрагментарность сведений древних авторов, они группируются в достаточно четкие пространственно-временные блоки. То есть упорядочивание всех разрозненных сведений античных авторов о регионе и населяющих его народах дает отнюдь не эклектичную и несуразную картину, а целый ряд тенденций. Подробная реконструкция этих информационных блоков-тенденций уже была мною описана (Tcaciuc 1994; Ткачук 1998). Это дает возможность более лаконично повторить основные выводы, не останавливаясь еще раз обстоятельно на их аргументации.

Геты, на период похода Дария против скифов, согласно данным Геродота, *размещаются только южнее низовьев Дуная* («Не доходя до Истра, Дарий сперва покорил гетов…»: IV. 93). «Таковы были верования гетов, когда их покорили персы и они должны были присоединиться к остальному войску в походе. Между тем Дарий с сухопутным войском подошел к Истру» (VI. 97). К северу от Дуная идет область, в которой господствуют скифы. О гетах севернее Истра Геродот ничего не сообщает. Фукидид воспроизводит сходное положение вещей для 30-х годов V века. Геты, по Фукидиду, находясь под властью одрисского царя Ситалка, обитают по южному берегу нижнего течения Истра («по сю сторону Истра, ближе к Эвксинскому Понту»). Их северными соседями опять оказываются скифы (II. 96). Длительный период от рубежа VI-V вв. до н.э. по 30 гг. IV века до н.э. характеризуется упоминанием к северу от Нижнего Дуная *только скифов* (Геродот, IV. 40, 47, 48, 99; Страбон, VII. 3. 14; Фукидид, II. 96). *Информационное доминирование* скифов для этого времени и для данного региона сомнений не вызывает.

Начиная с 50-х годов IV века этнонимия Южного Подунавья несколько усложняется — появляются *истриане* (Юстин, IX; Оросий, III. IV, 47). За скифо-истрианским конфликтом следует война скифов Атея с новым персонажем для нижнего Подунавья — *трибаллами* (Фронтин, II, 4, 20; Полиэн, IV, 12, 3; VII. 44, 1), оказавшимися к 339 году в устье Истра. На это же время приходится конфликт Атея и Филиппа Македонского, завершившийся поражением скифов и последующим поражением Филиппа в столкновении с трибаллами (Юстин, IX, 3, 1-3). В этот период скифы неоднократно вторгаются на правобережье Дуная, доходя до Византия (Аристократ, I. 4).

Трибаллы. Основная фигура умолчания в региональной истории. Из противоречивых данных о трибаллах ясно только одно. К середине IV века до н.э. они контролируют правобережье Нижнего Подунавья, а на период похода Александра Македонского в их владения входят и области за Дунаем, то есть левобережье Нижнего Дуная.

Впервые геты упоминаются на левом берегу Дуная спустя четыре года после скифо-македонского конфликта, то есть в 335 году, на который приходится поход Александра Македонского к Дунаю. Согласно Страбону и Арриану, пересказывающим мемуары непосредственного участника событий Птолемея Лага, трибаллы обитают в Нижнем Подунавье, вплоть до острова Певка (Арриан, 1, 2-4; Страбон, VII, 3, 8), а область их господства включает и территории за Истром, заселенные гетами (Страбон, VII, 3, 8). Александр подчиняет трибаллов, переправляется через Истр и захватывает город гетов, находящийся поблизости (Страбон, VII, 3, 8; Арриан, 1, 4, 1-5), вынуждая его обитателей уйти в пустынные степи (Арриан, 1, 4, 1-5). Упоминание о пустынных степях, в которые устремились побежденные геты, можно соотнести с «гетской пустыней» Страбона, ровным и безводным пространством, лежащим «между гетами и Понтийским морем, от Истра по направлению к Тире» (VII, 3, 14). Как и во время экспедиции Александра против трибаллов, на период похода Зопириона геты оказываются, наряду со скифами, хозяевами левобережья Дуная (Курций Руф, X, 1, 44; Юстин, II, 3, 4; XII, 1, 4; XII, 2, 16; Оросий, III, 18, 14). Кампания Лисимаха, бесславно закончившаяся его пленением, сводится исключительно к столкновениям на северном берегу Дуная с одним противником — с гетами Дромихета (Страбон, VII, 3, 14; 3, 8; Диодор, XXI, 12, 1-6). Локализуется конфликт Страбоном в «гетской пустыне», то есть опять к северу от Истра. Надежно датируемая информация обрывается этими событиями. Далее следуют с трудом поддающиеся датировке упоминания Страбона о фракийцах и гетах, вытесняемых скифами, бастарнами и савроматами (VII, 3, 13). Еще одно письменное упоминание о гетах и трибал-

лах принадлежит Аппиану. Он писал, что скордиски и трибаллы так истощили друг друга войнами, что если что-либо и осталось от трибаллов, то они бежали за Истр к гетам, и племя, процветавшее до Филиппа и Александра, является теперь угасшим (X, I, 3). Это упоминание не поддается четкой датировке.

Таким образом, периоду от похода Александра Македонского против трибаллов (335 г. до н.э.) до времени переселения за Тиру и Истр скифов (Страбон VII, 4, 5), датированного приблизительно III веком до н.э. (Ростовцев 1925), уже соответствует иная ситуация. Гетам к северу от Нижнего Дуная отводится роль не меньшая, чем скифам. На этот период приходится информационный пик о скифах и гетах левобережья. Но этим интервалом он, собственно, и завершается.

К последним десятилетиям III века до н.э. следует отнести начало упоминаний в источниках совершенно нового для Нижнего Подунавья народа — бастарнов. Самое раннее их упоминание, как бастарнов-«пришельцев» относится к 216 году до н.э. Упоминает их впервые Деметрий из Каллатиса, информация которого до нас дошла через Псевдо-Скимна (Пс.Скимн 797). Труд Деметрия входил в круг источников Страбона (ссылка на Деметрия у Страбона: I, 3, 20; см. также: Грацианская 1988: 91), поэтому вполне вероятно, что информация о гетах, вытесняемых бастарнами, о бастарнах, переселяющихся во Фракию, относится именно к событиям этой поры, то есть до 216 года (см.: Латышев 1993: 299/213).

В определенном смысле коррелирует с этим упоминанием о бастарнах, вытесняющих гетов, пассаж из Помпея Трога (сходный страбоновскому VII, 3, 13), дошедший до нас в сокращенной версии Юстина, о поражении даков, потомков гетов (или же «молодой ветви гетов»), возглавляемых Оролом в войне с бастарнами (Юстин XXXII, 3, 16). Помпей Трог в пересказе Юстина так излагает суть происшедших изменений: «Даки же потомки гетов. Когда они при царе Ороле несчастливо сражались с бастарнами, царь в наказание за трусость заставил их, ложась спать, класть голову на то место, куда обычно кладут ноги, и прислуживать своим женам так, как до того им прислуживали жены. И это было отменено не раньше, чем они доблестью смыли бесчестие» (XXXII. 3. 16).

Что это за экстравагантное наказание, которому подверг своих подданных Орол? Следует ли понимать его буквально, или мы должны видеть в этом фрагменте некий свернутый иносказательный конструкт?

Большинство исследователей, обращавшихся прямо или косвенно к интерпретации фрагмента «о наказании», к которому приговорил даков Орол, видят в нем исторический анекдот (Crişan 1977; Daicoviciu 1972; Russu 1947: 137) В действительности же конструкция этого упоминания несет в себе отпечаток какого-то грандиозного события. Положить голову на место ног и прислуживать своим женам — означает перевернуть ценностную систему вверх ногами, поменять местами «верх» и «низ». Такая аксиологическая катастрофа не может быть простым отражением военного поражения, за ней должен скрываться иной, более глубинный план содержания.

Датируют это событие достаточно умозрительно временем около 200 года до н.э. (Daicoviciu 1969: 128), или II веком до н.э. (Никулицэ 1987: 231). Варианты локализации событий: северные районы Молдовы (Никулицэ 1987: 231) или внутрикарпатский регион (Daicoviciu 1969: 128-129).

Сам по себе пассаж этот чрезвычайно любопытен не только тем, что в нем упоминается конфликт потомков гетов с бастарнами, но и потому, что в нем впервые упоминается народ даков. Не выходя за круг письменных свидетельств, попробуем продатировать это упоминание, учитывая, конечно, тот факт, что мы имеем дело не с полным текстом, а с его сокращенным вариантом.

Упоминание о несчастной войне даков Орола с бастарнами помещено в очень интересный контекст. Его смысловой осью является война Филиппа и Персея, царей Македонии, с Римом. Краткому пересказу войны бастарнов и даков предшествует подробное повествование об интригах Персея против своего отца Филиппа, о кельтах-скордисках, которых Филипп склонил вступить с ним в союз. Сразу после перипетий дако-бастарнского конфликта следует: «Итак, когда Персей наследовал власть отца Филиппа, он стал склонять все эти племена к военному союзу против римлян» (Юстин XXXII, 4, 1).

Трудно избежать соблазна и не сопоставить эти данные с другим источником о бастарнах. Тит Ливий ничего не говорит о возможном союзе даков и Персея, но подробно излагает обстоятельства попыток Филиппа и Персея заручиться военной помощью бастарнов (XL, 5, 10; XXXIX, 35, 4; XLIV. 26, 2-7). Первый раз они упоминаются в тексте как «приистрийские варвары» (XXX, 35, 4), к которым Филипп посылает послов, чтобы склонить их к вторжению в Италию. В результате «возвратились люди, которых царь посылал к бастарнам за помощью, и они привели с собою оттуда знатных юношей, некоторых даже царского рода, и один из них обещал свою сестру в жены сыну Филиппа. Союз с этим народом вдохнул в царя уверенность» (XL, 5, 10) И вот бастарны, «давно побуждаемые к войне, оставив свои жилища, огромным полчищем пехоты и конницы переправилось через Истр» (XL, 57, 2), но смерть Филиппа и сокрушительное поражение от фракийцев в битве у горы Донука (предположительно гора Рила в Болгарии) изменили весь ход событий. Часть

бастарнов решила вернуться к городам Аполлонии и Месембрии, «откуда и вышли» (XL, 58, 8), другая часть бастарнов — «около 30 тысяч человек, предводимые Клондиком», пошли вперед. События эти относятся к 179 г. до н.э. (Щукин 1993: 91). Ушли бастарны, судя по всему, в Дарданию, располагавшуюся на территории современной Сербии (XL, 58, 7).

Следующий поход бастарнов в 175 г. до н.э. (Орозий IV: 20, 34) опять сорвался из-за неудачного форсирования Истра.

И вот, когда в 168 г. до н.э. Персей в очередной раз «стал склонять все эти племена к военному союзу против римлян», появились некие галлы, «бродившие по Иллирии», возглавляемые Клондиком. Пришло их около десяти тысяч всадников и столько же пехотинцев (XLIV, 26, 2-13). Но что интересно — теперь Клондик назван «галльским царьком», а все его воинство ни разу не упомянуто как бастарнское, что, впрочем, не мешает видеть в Клондике того самого предводителя бастарнов, который за одиннадцать лет до этого уже появлялся в пределах Македонии (Щукин 1993: 91). «Договор с галлами был такой: по прибытии каждый конный получал десять золотых, пеший пять, а вождь тысячу» (XLIV. 26. 4). Персей договор нарушил, пытаясь уплатить не золотом, а дарами военачальникам — конями, конскими уборами, плащами. Клондик потребовал выплаты по договору. Персей через своего парламентера Антигона передал, что ему нужно всего пять тысяч всадников, а остальных он не держит. Узнав, что Персей не собирается немедленно расплатиться золотом хотя бы с пятью тысячами всадников, галлы «воротились к Истру, опустошив по пути придорожные области Фракии» (XLIV, 27, 3).

Интересно то, что галлы воротились к Истру, после того как бродили по Иллирии, судя по всему, достаточно долго (может быть, со 179 г.?). Настолько долго, что Клондик стал именоваться «галльским царьком», а его многочисленные сподвижники — галлами. Кроме кельтов-скордисков, в регионе Среднего Подунавья Страбону была известна область кельтов, смешавшихся с фракийцами и иллирийцами, а также области, заселенные бойями и таврисками, частично уничтоженными и вытесненными со своих земель во времена Буребисты (VII, 3, 11). Где-то в этих западно-балканских и среднедунайских областях и провел время Клондик. Именно к этим областям и примыкает территория, заселенная, согласно Страбону, даками: «Но существует и другое деление Гетской земли, остающееся с древних времен: одну часть этого племени называют даками, другую — гетами. Гетами называют тех, которые живут у Понта в восточной части страны, а даками — тех, которые живут в противоположной части, со стороны Германии и истоков Истра» (VII, 3, 12).

О том, что Клондик мог провести время как раз в этих пограничных областях и подчинить себе не только галлов, но и гетов, ставших впоследствии даками, свидетельствует еще один источник о римско-македонской войне.

Аппиан ничего не говорит о союзе бастарнов и Македонии. В его изложении упоминается только то, что римские послы, отправленные к «бастернам», «сообщили, что видели сильно укрепленную Македонию» (XI, I). Бастерны, по Аппиану, жили около земли гетов, которая была болотиста и необитаема (X, I, 4). Но зато Аппиан говорит о союзе Персея и гетов: «Однако он (Персей — М. Т.) послал к гетам, жившим за Истром». В результате к Персею пришло десять тысяч всадников и десять тысяч пехотинцев. Далее Аппиан излагает следующие подробности: «Когда геты перешли Истр, то было договорено дать Клойлию, их предводителю, тысячу золотых статеров, каждому всаднику десять, пехотинцу половину этого» (XVIII, II). Но Персей послал несколько хламид, золотые ожерелья, коней в подарок предводителям. Однако Клойлий отказался от подарков, узнав, что обещанного золота Персей не дает. Когда же и второй раз прибывшие послы не принесли с собой золото, Клойлий, как пишет Аппиан, «увел назад свое войско» (XV, III).

В качестве гипотезы, в качестве вопроса археологическому материалу можно предположить, что именно с этими бастарнами-галлами, руководимыми Клондиком, столкнулся предводитель даков, потомков гетов — Орол. Произошло это, скорее всего, в регионе среднего Подунавья или в Трансильвании. (См. упоминание более позднего автора II в. н.э. Флора: «даки к горам привязаны» (II. 98. 18). Вероятно, именно после этих событий Клондик-Клойлий оказывается уже не только бастарнским вождем, не только «галльским царьком», но и «предводителем гетов». Возможная датировка события колеблется в пределах от 179 г. до н.э. (уход Клондика в Дарданию) до 168 г. (появления галльско-гетского войска у границ Македонии). Дальнейшие упоминания о бастарнах, принадлежащие Страбону, уже приводились. К югу от Истра Страбон отмечает бастарнов-певкинов, к северу, между Истром и Борисфеном, — атмонов и сидонов (VII, 3, 17)

К интервалу между 80-ми и 44 годами до н.э. относится целый ряд письменных свидетельств о гетах и их царе Буребисте (Страбон VII, 3, 5; 3, 11; Иордан 6; 67) Активная внешняя политика Буребисты, начавшаяся с разгрома Ольвии (Дион Хризостом XXXVI, 1) и продолженная к западу и югу от Гетики, обернулась внутренними неурядицами среди гетов, заговором против Буребисты, вследствие которого он и был убит (Страбон VII, 3, 11).

29-м годом до н.э. датируется неудачный рейд бастарнов под предводительством их короля Дельбо (Делдо) за Дунай. Бастарны были разгромлены проконсулом Македонии Марком Лицинием Крассом (Дион Кассий 1, 23-25).

Таким образом, если географическое соответствие бастарнов региону северного части Нижнего Подунавья не вызывает сомнений, то временные границы этого соответствия установить достаточно сложно. Вероятно, к 216 году бастарны-пришельцы не только появились у стен Каллатиса, но и изгнали то гетское население, которое было известно к северу от Истра с 335 г. по 291 г. до н.э. Предположительно в первой четверти II века бастарны ведут войну с даками, потомками гетов. А к рубежу II-I вв. до н.э. становятся автохтонными обитателями низовьев Дуная.

Итак, проанализировав поведение этнонима «геты» в пространстве и во времени, следует признать, что складывается весьма непростая картина, своеобразная *траектория этнонима*. В эту траекторию вплетается целый ряд других этнонимов, других народов — скифы, трибаллы, бастарны, всякий раз изменяя направление этой траектории в пространстве. Изолированное от данных археологии рассмотрение письменной информации заставляет видеть в этой траектории не просто результат лакунарности источников, а определенную тенденцию, *начало которой отмечено интервалом 512 — 430 гг. до н.э. с локализацией гетов в Добрудже, середина — 335-281 гг. с локализацией к северу от Дуная, а финал смутно маркирован точкой в границах первой четверти II в. до н.э., с вероятной локализацией «потомков гетов» где-то в Трансильвании.*

Конечно же, это наблюдение можно попытаться оспорить утверждением о неадекватности информации письменных источников той «правде жизни», которая демонстрируется археологией. Но археология, кажется, не противоречит этой картине.

II. Как найти гетскую культуру?

Происхождение гетской культуры в определенной степени остается загадкой. Из указаний античной письменной традиции о принадлежности гетов к общему стволу фракийских племен как бы логично вытекает, что их археологическая идентификация должна строиться на выявлении такого ствола уже в облике конкретной археологической культуры с последующим определением ее (его) гетской ветви. Но парадокс заключается в том, что пока мы уверенно можем говорить лишь о самой гетской ветви. Общий же фракийский ствол в облике какой-либо археологической культуры остается пока неведом, если, конечно же, не учитывать известные мнения о фракийской атрибуции всех без исключения археологических культур Северо-Восточных Балкан от VII века и ранее. Но и с гетской ветвью не все выглядит так благополучно, как хотелось бы. Как будет показано ниже, этих «гетских» ветвей несколько. И что, пожалуй, самое важное — все они разной длины.

Но как определяется сама гетская культура? Где та подсказка, благодаря которой мы можем с той или иной степенью вероятности приписать этнонимический ярлык археологическому материалу? Являются ли такой подсказкой только пространственно-временные совпадения информации письменных источников и данных археологии, траектории этнонима и пространственно-временной траектории археологической культуры? Последний момент, конечно же, чрезвычайно важен и принципиален, без него не обойтись. Но он является лишь одним из аргументов этнического определения культуры. Вторым аргументом, не уступающим по важности, является еще одно соотношение — с другими археологическими культурами, с другим этнонимами. Только из двух этих соотношений одновременно может проступить относительно достоверный контур культуры «самых честных и мужественных среди фракийцев».

1. Бессарабская Гетика. Третье колено. Или седьмая вода на киселе.

В силу высказанных соображений на время забудем, что самые ранние упоминания о гетах приходятся на регион Добруджи. Наиболее продуктивным будет начать рассмотрение археологической ситуации с противоположного берега Истра, где синхронно гетам VI-V вв. до н.э. упоминаются скифы, где в IV веке геты и скифы, согласно письменным данным, уже сосуществуют.

Итак, интервал датированных письменных свидетельств о скифах Днестро-Дунайского региона охватывает период от конца VI до конца IV вв. Но определение облика скифской археологической культуры региона оказывается не только в зависимости от соотнесения с данными письменных источников о скифах Подунавья, но и от степени разрешенности проблем, собственно, самой скифологии. Ее же пространственные интересы на востоке достигают Поволжья и Предкавказья (а во многих случаях Заволжья и Закавказья). Многие из этих проблем, как, впрочем, и их разрешение, как бы автоматически переносятся на регион Карпато-Поднестровья, дополняя общую ситуацию рядом региональных деталей и поправок. Среди них: проблемы хронологии скифской культуры (Смирнова 1993), преемственности архаической лесостепной Скифии VII-VI вв. до н.э. и Скифии степной V-IV вв. до н.э. (Бруяко, Ткачук 1994: 27-31), являющихся как бы откликами на работы, зат-

рагивающие более обширные регионы (Медведская 1992; Алексеев 1992: 104).

Применительно к Карпато-Днестровским землям эта скифоведческая проблематика «обогащается» рядом дополнительных сложностей, которые уже преподносятся фракологией. Историография свидетельствует о том, что основные затруднения в определении скифских древностей, их вычленении из нескифских возникают при рассмотрении ранних памятников. Например, если для А. Вулпе погребение Чимбала в южной Молдове является связанным с трансильванской группой Чиумбруд, оставленной, по его мнению, скифами-агафирсами (Vulpe 1970: 162), то для И. Т. Никулицэ это погребение раннегетское (Никулицэ 1987: 56). Если для А. И. Мелюковой поле могильника Данчены (центральная Бессарабия) явно содержит скифские погребения, а захоронение воина у Суручен атрибутируется как скифское (Мелюкова 1979: 144), то для В. Л. Лапушняна оба памятника также раннегетские (Лапушнян 1979: 88).

Менее конфликтен в подборе этнических ярлыков период V-IV вв. В это время в степной зоне Бессарабии распространяются классические скифские древности, типологически сопоставимые с остальными областями Причерноморской Скифии (Мелюкова 1979: 141-163). Картография скифских памятников этого времени дает несколько зон их сгущения: Буджак, левобережное Приднестровье (районы Тирасполя, Григориополя, Дубоссар). То есть преимущественно степная зона. Общее количество скифских памятников (поселений и могильников) в настоящее время установить сложно. Число их (прежде всего погребений) пополняется ежегодно. В статье Е. Ф. Рединой 1989 года приводится список из 66 пунктов степной зоны региона (Редина 1989: 26). Этот список может быть пополнен рядом новых комплексов, открытых в степной и лесостепной Бессарабии (Субботин, Островерхов, Охотников, Редина 1992; Андрух, Чернов 1990; Кетрару, Серова 1987; Кетрару, Серова 1990; Чеботаренко, Яровой, Тельнов 1989; Хахеу 1990; Антипенко 1992).

Учитывая эти материалы, а также наметившуюся модернизацию хронологической системы скифской культуры, пространственно-временной портрет Дунайско-Днестровской Скифии выглядит следующим образом.

После снижения ранней ступени скифской культуры в начало VII века (Медведская 1992) неизбежным оказывается удревнение даты погребения у с. Старые Куконешты, открытого в среднем Попрутье (Дергачев 1979). Материалы погребения содержали 8 бронзовых наконечников стрел, из которых 4 — двухлопастные с листовидной головкой и 4 — трехлопастные длинновтульчатые с остролистной в плане головкой. Отсутствие в стрелковом наборе треугольно-сводчатых наконечников позволило Г. И. Смирновой отнести погребение ко 2-му этапу раннескифской культуры, то есть к периоду в пределах первой четверти-середины VII в. до н.э. (Смирнова 1993: 108). С этим инвентарем можно уверенно синхронизировать целый ряд комплексов, погребений и случайных находок, сводка и картография которых была представлена О. Г. Левицким и Т. И. Демченко (Левицкий, Демченко 1995: 41-53). Из них обращают на себя внимание прежде всего погребения у с. Чобручи, Рэскэеций Ной и пгт. Страшены. Погребения в Чобручи (впускное) и из разрушенного кургана у пгт. Страшены содержали по бронзовому дисковидному зеркалу с петлей на обороте, а комплекс из Страшен дополняется и колчанным набором из 12 бронзовых наконечников стрел (два двухлопастных с лавролистной головкой и шипом, один трехлопастный с остролистной головкой и шипом). Этот тип зеркал является четким индикатором именно второго этапа раннескифской культуры (Медведская 1992: 87). О. Г. Левицкий и Т. И. Демченко, опираясь на разработки И. Н. Медведской и уточнения Г. И. Смирновой, определяют датировку погребения в Чобручи серединой-второй половиной VII века (Левицкий, Демченко 1995: 45), а комплекс из Страшен — серединой VII века (Левицкий, Демченко 1995: 49). Несколько более поздним временем О. Г. Левицкий и Т. И. Демченко продатировали погребение в Рэскэеций Ной. Странное сочетание керамики (двух кубков с прочерченным орнаментом, характерных для позднекиммерийских и раннежаботинских комплексов) с ажурной бронзовой бляхой с изображением свернувшегося хищника (нижняя дата подобных находок отсчитывает свое начало с рубежа VII века) позволило авторам рассмотреть данный комлекс в хронологическом интервале второй половины VII — рубежа VII-VI вв. (Левицкий 1995: 48).

К этой же группе, вероятно, относится погребение, обнаруженное еще в конце прошлого века у с. Сату-Маре в верхнем течении Сучавы (Запрутская Прикарпатская Молдова) (Ignat 1976: 106). По восстановленным Мирчей Игнатом данным, погребение совершено по обряду сожжения, остатки его были выявлены под небольшим курганчиком. В состав инвентаря входили два бронзовых наконечника, один из которых двухлопастный с шипом и листовидной головкой (Ignat 1976: fig. 3/6, 7).

Такая хронологическая позиция позволяет синхронизировать эти самые ранние проявления скифской культуры к северу от Дуная с финальной фазой среднегальштатских памятников культуры Басарабь-Шолдэнешть, расположенных в лесостепной Бессарабии. Но это только в том случае, если памятники этой культуры, охватывающей регионы Румынии, Северо-Восточной Югославии и северной Болгарии (Vulpe 1965: 105-132; Vulpe 1970: 183-187; Tonceva 1980) действительно доживают в Бессарабии до начала VII века (Демченко, Левицкий 1990: 111-

119; Levitchi 1992: 121). Единственное исключение — могильник Селиште, который, по мнению И. В. Бруяко, опирающегося в датировке памятника на хронологию однокольчатых удил, может датироваться позднее середины VII века (Бруяко 1999). Но в целом речь может идти о непосредственном следовании раннескифских памятников за басарабско-шолдэнештскими (Levițki 1996: 180) и, возможно, лишь частичном сосуществовании обеих групп древностей. В пользу частичного сосуществования обеих групп памятников свидетельствует не только некоторая расплывчатость хронологии поздних фаз басарабско-шолдэнештских памятников Бессарабии, но и отличия в их пространственной локализации в сравнении с раннескифскими. Последние занимают несколько иную территорию, тяготея к Западу, Попрутью, в то время как шолдэнештские, наоборот, выглядят этаким наиболее восточным анклавом в Бессарабии (см. Levițki 1996).

Размещение раннескифских погребений в лесостепной зоне типично для архаической Причерноморской Скифии (Алексеев 1992: 104). Однако уже около 600 г. до н.э. первые скифские памятники появляются и в степной зоне, в Нижнем Подунавье (погребение 5 кургана 9 у с. Огородное) (Субботин, Шмаглий 1970: 6: 151). Далее намечается некоторый хронологический разрыв. Новая серия скифских погребений второй половины VI — рубежа VI-V вв. возникает на пограничье степи и лесостепи. Это погребения-сожжения у Дубоссар, Коржово, грунтовое погребение у Суручен, содержащее акинак с брусковидным навершием и бабочковидным перекрестием (Сергеев 1960: 137; Мелюкова 1979: 144; Лапушнян 1979: 115).

Особый интерес среди всех этих новых комплексов представляют прежде всего материалы раскопок погребения 7 кургана 43 и погребение 1 кургана 46 у Дубоссар (Кетрару, Серова 1990: 169). По мнению авторов раскопок, первоначально оба захоронения были совершены в деревянных гробницах, которые затем были сожжены на поверхности курганов. Эти детали обряда сближают рассматриваемое погребение с раннескифскими комплексами Украины (Мурзин 1984: 51), а учитывая датировку погребений по самосским амфорам второй половины VI — начала V вв., и с погребением I кургана 7 у с. Коржово (центральная лесостепная Бессарабия). В погребении у с. Коржово был также обнаружен частично кальцинированный скелет в сопровождении амфоры со стаканообразным дном, датирующей погребение второй половиной VI века до н.э. (Борзияк, Манзура, Левицкий 1983: 26; Серова 1984: 159)

К этому же горизонту, вероятно, относятся случайные находки акинаков в Бессарабии (Требужены, Лукашевка) и находка бронзового навершия, выполненного, по мнению А. И. Мелюковой, в традициях скифо-фракийского «звериного» стиля (Мелюкова 1958: 90; Лапушнян 1979: 119). К кругу скифских древностей этого времени тяготеют многочисленные случайные находки акинаков в Центральной Молдове (около 30) (Mihailescu-Bîrliba 1976: 109-116; Buzdugan 1976: 239-273; Capitanu 1984: 51-53). Весьма сходны по набору инвентаря (акинаки, бронзовые наконечники стрел рубежа VI-V вв.) погребению у Суручен четыре воинских грунтовых погребения лесостепной Запрутской Молдовы (Palada, Ciuca 1972: 285; Palada 1976: 549-555).

В таком случае получается, что с отмеченными скифскими памятниками VI-V вв. типа сожжений у Коржова и Дубоссар, ингумацией у Суручен и т. д. синхронизируется весьма любопытная группа древностей: погребения Пыржолтены, Олонешты, Данченский некрополь, ранний горизонт городищ Стынчешть и Бутучен. Именно этим памятникам отводится роль переходного звена от басарабско-шолдэнештских к гетским (Никулицэ 1977: 132). С этим выводом солидарна А. И. Мелюкова, полагающая, что открытие могильника у с. Данчены конца V — начала IV вв. до н.э. и погребения начала V века у с. Пыржолтены позволяют наметить переходный этап от культуры Басарабь к собственно гетской IV в. до н.э. «Обряд трупосожжения, преобладающий в данных памятниках, а также найденная в них керамика, — пишет А. И. Мелюкова, — ясно свидетельствует об их генетической связи с более ранними памятниками типа могильников у с. Селиште и Шолданешты» (Мелюкова 1979: 142).

Частично эти памятники описаны В. Л. Лапушняном (Лапушнян 1979). Типологически они достаточно своеобразны. Одиночные погребения у Пыржолтен (центральная Бессарабия) и Олонешт (степные районы Бессарабии) — сожжения, а поле Данченского могильника (всего 42 погребения; также центральная Бессарабия) представлено, как сожжениями, так и трупоположениями (15 погребений). Все погребения бескурганные. Урновые и безурновые сожжения в Данченах погребались в ямах округлой формы, иногда в сопровождении жертвенных сосудов, а трупоположения — в прямоугольных ямах (10 погребений) либо в больших прямоугольных камерах с деревянно-глинобитным перекрытием. Два погребения были совершены в ямах с подбоем (20-23). Эти детали обрядности указывают на культурный синкретизм памятников, что было отмечено как В. Л. Лапушняном, нашедшим аналогии конструкции погребений с деревянно-глинобитным перекрытием в скифских курганных некрополях Поднестровья (Лапушнян 1979: 58-59), так и А. И. Мелюковой (1979: 144).

Инвентарь из погребений столь же различен по своему происхождению. Кроме наконечников стрел и копий скифского типа, в погребении у Пыржолтен обнаружены костяные изделия, изготовленные в скифском зверином стиле, в той же стилистике оформлено завершение рукоятки железного ножа. И в Пыржолтенах, и в Оло-

нештах есть мечи-акинаки, а в погребениях Данченского могильника присутствует скифская керамика (горшок погр. №86, миска с проколами по внутренней стороне венчика из разрушенного погребения). Но основная часть керамических изделий преимущественно представлена разнообразными вариантами горшков «мешковидной» формы, относящихся к IX типу по классификации Е. Москалу.

Нижняя дата этого горизонта памятников — конец VI-первая половина V века Лапушняном определяется по базисным и опорно-втульчатым наконечникам скифского типа из Пыржолтен (Лапушнян 1979: 20), по фрагментам скифоидной керамики (с проколами по внутренней стороне венчика). Верхняя дата «раннегетской» культуры — V-IV вв. — основана на находках гетской керамики, но, прежде всего, на удлиненных, базисных, башнеобразных наконечниках стрел, относящихся к IX типу по классификации А. И. Мелюковой (Мелюкова 1979: 20).

К списку памятников, появившихся в Молдове и Бессарабии в конце VI — первой половине V века, кроме Пыржолтен, Данчен, Олонешт, городищ Стынчешты и Бутучены (И. Т. Никулицэ не опубликованы фрагменты пухлогорлых хиосских амфор, найденных на городище, поэтому его ранней датировке памятника приходится верить на слово), можно отнести поселение Алчедар, в культурном слое которого также были обнаружены фрагменты пухлогорлых хиосских амфор (Хахеу 1987; 1997), погребения Трестиана и Чимбала (Capitanu 1968: 69; Păpuşoi 1969: 87). В состав инвентаря погребения-ингумации у с. Чимбала входили гривна, два височных кольца с округлыми шляпками, пропеллерообразные навершия булавок. Из погребения Трестиана (обряд не известен) происходят две фибулы типа Глассинак и черпак с обломанными ручками. С точки зрения А. Вулпе, оба погребения в культурном и хронологическом отношении (в пределах VI века) могут быть сопоставлены со скифоидной группой Чиумбруд из Карпатской котловины (Vulpe 1970: 202**).**

Рассмотрение этих древностей в синхронии позволяет говорить о некоем гето-скифском горизонте древностей, сходных лишь своей разнородностью и типологической хаотичностью. Ни один из признаков этого горизонта не оказывается ведущим: ни погребальный обряд, ни керамика, ни оружие. Дополнительным объединяющим моментом является то, что ни скифские, ни гетские элементы этого горизонта не могут считаться автохтонными. Между ними и самой первой группой скифских погребений региона (Старые Куконешты, Страшены, Сату-Маре) зияет хронологическая лакуна более полутора столетия. А в случае с погребениями у Пыржолтен, Олонешт, погребениями Данченского могильника, содержащими гетскую керамику, эта лакуна — еще и культурного порядка. Она отрезает самые ранние проявления гетской культуры от культуры Басарабь-Шолданешты, развитие которой к востоку от Карпат прекратилось на рубеже VIII-VII вв., в начале VII века. *Можно говорить лишь о том, что горизонт Олонешты-Пыржолтены-Данчены-Суручены-Коржово внес определенный вклад в культуру гетов IV-III вв., но видеть в нем некое свидетельство автохтонности гетов в Карпато-Поднестровье, а заодно независимый очаг формирования их культуры нельзя.*

Наиболее прозрачным с точки зрения этнокультурной атрибуции оказывается интервал с IV по III вв. до н.э. Резко увеличивается и общее количество памятников, глубже проступают их типологические различия. Именно на этот период приходится основная масса скифских погребений степной зоны (Андрух 1995: 51-71). Узко-датированные вещи из скифских комплексов практически не выходят за пределы этого столетия. Однако, в отличие от территории к востоку от Днестра, Днестро-Дунайская Скифия не прекращает полностью своего существования в конце IV в. до н.э. Датировка тризн могильника Курчи родосскими амфорами конца III — начала II вв. до н.э., кургана 48 у с. Кочковатое (Нижнее Подунавье) железными наконечниками стрел и трехручным гончарным сосудом III в. до н.э. указывают на возможность продолжения существования скифской культуры в регионе и после IV века (Андрух, Чернов 1990: 161). Как полагают С. И. Андрух и С. И. Чернов, на левобережье Нижнего Днестра с этими памятниками синхронизируются: клад у с. Великоплосское, курганы Тираспольщины, курган у с. Николаевка, а на правобережье — комплекс вещей из насыпи кургана 20 у с. Семеновка (Андрух, Чернов 1990: 161-162). К последним можно было бы добавить материалы поселения Граденицы V (Мелюкова 1979: 163). Но все эти признаки указывают лишь на посткатастрофическое, инерционное существование скифской культуры к северу от Дуная в III веке и совершенно несопоставимы с массовостью и яркостью их культуры предшествующего времени.

Если сопоставить схему письменных упоминаний о скифах Карпато-Днестровских земель и цикл их культуры, прослеженный археологически, то можно убедиться в определенном совпадении данных обоих типов источников. Пространственно-временные траектории этнонима и культуры в принципиальных моментах повторяют друг друга.

Из схемы письменных упоминаний о гетах видно, что второй пик этих упоминаний приходится на интервал от третьей четверти IV века до первой половины-середины III века до н.э. Пространственно этот пик локализуется к северу от Истра. Задача фокусировки этого всплеска упоминаний о гетах на археологические материалы была успешно реализована исследованиями А. И. Мелюковой (1969), Т. Д. Златков-

ской и Л. Л. Полевого (Златковская, Полевой: 1969). Наиболее всестороннее типологическое описание культуры гетов IV-III вв. до н.э. дано в работах И. Т. Никулицэ (1973; 1974; 1977; 1983; 1987). В 1974 г. И. Т. Никулицэ писал: «В результате археологических разведок и раскопок были выявлены городища, селища и могильники, которые относятся, судя по керамике, к гетской культуре IV-III вв. до н.э.» (Лапушнян, Никулицэ, Романовская 1974: 33).

Общее количество известных теперь гетских памятников Карпато-Днестровских земель составляет 242 пункта, из которых 154 расположены в Днестровско-Прутском междуречье (Никулицэ 1987: 84). Картография древностей гетов показывает, что распространены они были как в степной, так и в лесостепной зоне. Однако наибольшая плотность поселений наблюдается в центральной части лесостепной Молдовы.

В пределах Карпато-Поднестровья выявлено 61 городище (Никулицэ 1987: 85). К настоящему времени раскопкам подвергнуты городища Пояна (Vulpe 1952), Рэкэтэу (Capitanu 1984; 1987), Стынчешть (Florescu, Raţa 1969), Котнарь (Teodor 1988), Бунешть (Bazarciuc 1980; 1983), Бутучены (Смирнов 1949a; 1954; Никулицэ 1987; 1991), Большая и Малая Сахарна (Смирнов 1949b; Мелюкова 1958), Машкауцы (Никулицэ 1987), Новосельское (Бруяко, Кожокару 1990), Пивденное (Сальников 1961; 1963), группа поселений у с. Ханска (Никулицэ 1987: 110), у с. Алчедар (Хахеу 1987). Городища и поселения гетов — это, несомненно, очень важные признаки, определяющие культуру, ее оседлый тип. Но в случае с гетами не они оказывается ее этнонимическим «паспортом».

Погребальный обряд в той же мере не может служить в данном случае подспорьем. На исследованном А. Д. Александреску в устье Олта могильнике Зимнича над погребениями сооружались невысокие курганы (Alexandrescu 1980: 19-20). Отличительной чертой могильников гетов Днестровско-Прутского междуречья является отсутствие курганных насыпей. Все известные здесь могильники относятся к грунтовым (Никулицэ 1973; Лапушнян, Никулицэ, Романовская 1974: 38). Единственным признаком погребальной обрядности, достаточно точно вписывающимся в ареал гетской культуры, является абсолютное преобладание трупосожжений над трупоположениями (Никулицэ 1987: 25). Погребальный инвентарь, включающий в себя украшения (фибулы латенского — как правило, духцовского — и фракийского типов, браслеты, зеркала, стеклянные и пастовые бусы), оружие (наконечники стрел скифского типа), пряслица, железные ножи, в той же мере является очень невыразительным этно-культурным свидетельством. За одним банальным археологическим исключением.

Речь идет о керамике. Да, именно керамика, как это часто наблюдается в археологии, оказывается тем структурообразующим признаком определения гетской археологической культуры. Хотя, например, для скифской культуры отнюдь не керамика оказывается таким признаком.

Керамика гетов — горшки, миски, фруктовницы, кувшины — в большинстве случаев представлена лепными сосудами. И. Т. Никулицэ выделяет следующие типы горшков: горшки с низким или расширяющимся к устью горлом, покатыми плечиками и небольшим расширением тулова в средней части; горшки-корчаги с хорошо выраженным, расширяющимся кверху и переходящим к устью в раструб горлом; горшки-корчаги с высоким расширяющимся к устью горлом и выпуклыми плечиками; горшки без выделенного горла и с широким устьем; горшки с едва намеченным горлом и покатыми плечиками. Все эти типы горшков украшены налепами в виде розеток, схематичными ритонами, ручками-упорами (Никулицэ 1987: 119-122). Наличие горшков с ручками-упорами является, пожалуй, единственным признаком, на основании которого можно уверенно говорить о гетской культуре, на основании которого можно атрибутировать памятники во время разведок и сбора подъемного материала.

Анализируя гетскую керамику, И. Т. Никулицэ приходит к заключению, что на памятниках между Днестром и Балканами, Карпатами и Черным морем в IV-III вв. распространялись одинаковые типы керамических изделий (Никулицэ 1987: 123). Этот, безусловно, справедливый вывод получил более солидную аргументацию в монографическом исследовании Емила Москалу. Е. Москалу для керамической культуры гетов, характеризующейся поразительной униформизацией, вводит специальное название «аспект Канлия», которому в его классификации соответствует IX тип горшков (Moscalu 1983: 57). Этот тип, подразделяясь на ряд вариантов, дает ассоциированное представление о наиболее специфических проявлениях культуры гетов. Ион Горациу Кришан называл горшки этого типа «колоколовидными», Москалу называет их более прозаически — «мешковидные», полагая, что сосуды именно этой формы являются «фундаментальными для определения культуры фракийцев вообще и в частности гето-даков» (Moscalu 1983: 57).

Из схемы письменных упоминаний выходит, что с гетами к северу от Истра можно сопоставить лишь второй информационный всплеск, приходящийся на вторую половину IV-начало III вв. Возникает естественный вопрос: в какой мере этот всплеск отражает реальное положение вещей?

Рассмотрим хронологический контур гетской культуры Карпато-Днестровского региона, а заодно постараемся отыскать тот типологический нуль, с которого можно было бы проследить ее развитие.

Региональный аспект проблемы происхож-

дения гетской культуры рассматривался И. Т. Никулицэ. Проанализировав серию таких вещей, как македонские монеты, монеты западнопонтийских городов, фибулы фракийского латенского (духцовского) типов, браслеты, скифские наконечники стрел, античную чернолаковую керамику, амфорный материал, И. Т. Никулицэ в своем первом монографическом исследовании приходит к выводу, что все датирующиеся вещи, найденные в закрытых комплексах, относятся к началу IV или к концу III века до н.э. Единственной категорией находок, датирующейся второй половиной V века, по И. Т. Никулицэ являются хиосские пухлогорлые амфоры с городищ Стынчешть и Бутучень (Никулицэ 1977: 24).

Впоследствии И. Т. Никулицэ отказывается от своей прежней датировки хиосских амфор из Стынчешть, удревняя их дату до конца VI века, ссылаясь на авторов публикации (Никулицэ 1987: 45; Florescu, Raţa 1969. Справедливость такой датировки не вызывает сомнения у А. Вулпе. См.: Vulpe 1970: 201). Но и такое удревнение не меняет принципиально ситуации. От Стынчешть до Басарабь-Шолдэнештской культуры остается непреодолимый хронологический разрыв, пунктирно заполненный лишь разрозненными (возможно, даже стыкующимися во времени) погребениями (Данчены-Пыржолтены-Олонешты). Яркая, узнаваемая гетская культура Карпато-Днестровья IV-III вв. не стыкуется напрямую с древностями культуры Басарабь, которые, несмотря на их явно иллирийское происхождение, безусловно претендуют на роль исходного ствола многих фракийских культур. В Карпато-Поднестровье эта культура не оставила прямых наследников. Гетская культура Карпато-Днестровья, визуально являясь типологической ветвью культуры Басарабь, возникла где-то в иных местах, между нею и Басарабью не хватает целого «хронологического колена», протяженностью лет в двести. Но из этого вывода следует, что где-то в этом хронологическом интервале гетская (или же раннегетская) культура уже существовала.

2. Гетика между Карпатами и Дунаем. Самое первое колено

В отличие от Карпато-Днестровских земель, в Южном Прикарпатье, Мунтении и Южной Трансильвании типологическое развитие культуры Басарабь выразилось в формировании группы древностей типа Бырсешть-Фериджили-Тигвень (Vulpe 1967; 1970; 1977; Morinţ 1957; 1961; 1962; Мелюкова 1979: 91-100). Подкурганные трупосожжения этой группы после передатировки могильника Фериджили датируются в пределах VII-первой половины V века (Vulpe 1977: 85-91). Нижняя дата первой фазы могильника (вторая половина VII века) синхронизируется Вулпе с верхним пределом культуры Басарабь-Шолданешты в Молдове (Vulpe 1977: 91). Но, демонстрируя непосредственную преемственную связь с культурой Басарабь Южного Прикарпатья, погребения группы Бырсешть-Фериджиле-Тигвень отличаются определенным культурным синкретизмом. Он сказывается, прежде всего, в появлении в конце VII и существовании на протяжении VI века мечей-акинаков и удил типа Сентеш-Векерзуг-Хотин, многочисленные аналогии которым находятся в «Западной Скифии», в ареале культуры Чиумбруд и Векерзуг (Vulpe 1977: 96). Кроме этих скифоидных черт, в материалах погребений Фериджиле отмечается явное влияние со стороны синхронных раннему периоду существования могильника (фазы I, II, III) иллирийских древностей типа Балта-Верде и Гогошу (Vulpe 1977: 91).

В последней, V фазе могильника Фериджиле, датирующейся первой половиной V века, все эти скифоидные и иллирийские элементы уже не прослеживаются. Корреляция комплексов, проделанная Вулпе, демонстрирует отсутствие типологической преемственности по всем категориям находок, включая керамику, между V фазой и предшествующей фазой могильника (Vulpe 1977: 96).

Тот факт, что эти погребения (№№106, 107, 40, 9) группируются на плане могильника отдельно, в северной его части, может быть аргументом в пользу того, что речь, вероятно, должна идти о приходе новой культурной группы и прекращении концу VI века до н.э. существования группы Фериджиле. Типологически материалы V фазы могильника Фериджиле аналогичны другому кругу древностей — второму горизонту могильника Равна, размещенного в Южной Добрудже (Vulpe 1970: 193-194; 77: 91).

Мы не можем однозначно утверждать, что развитие этой группы памятников скоропостижно прервалось, что постбасарабьские традиции как бы ничем не завершились к северу от Дуная. Это было бы весьма скоропалительным выводом. Но и оснований для утверждения о несомненности рождения исторических гетов к северу от Дуная у нас тоже нет. Может быть, пока…

3. К югу от Дуная. Второе колено. Рождение традиции

В Добрудже хронологическая и культурная ситуация зеркально противоположна той, которая была прослежена на северном берегу: в лесостепной Бессарабии и Южном Прикарпатье.

Вероятно, относительно синхронно исчезновению группы Басарабь-Шолданешты в Бессарабии, в Северной Добрудже отмечаются признаки какой-то культурной катастрофы. Буквально в огне гибнет городище Бабадаг (III горизонт) (Simion 1992: 37). Гаврила Симион полагает, что катастрофа произошла в середине VII или во второй половине VII века (Simion 1992: 44). Согласно тому же автору следует, что к концу VII века, в первой половине VI века Северная Добруджа заселяется «номадами» из северо-понтийских степей. Аргументируя этот вывод, Симион ссылается не только на давно известные материалы скифоидного облика с поселения Тариверде (Berciu, Preda 1961; Preda 1972), нижний рубеж существования которого по П. Александреску приходится на первую четверть VI века (Alexandrescu 1976: 123). Раскопки могильника Валя Чиликулуй (Чилик-Дере) выявили группу подкурганных трупоположений, сопровождавшихся часто акинаками и бронзовыми ромбическими двухлопастными или трехлопастными наконечниками (часто с шипом) (Simion 1992: 27). К сожалению, по выборочной публикации материалов могильника трудно составить представление о его хронологическом положении, однако, не исключено, что скифские вещи (прежде всего двухлопастные наконечники) свидетельствуют в пользу более низкой даты могильника, а заодно и той катастрофы, виновниками которой, по предположению Симиона, являлись северо-понтийские номады. К. К. Марченко и М. Ю. Вахтина считают, что комплексы Чилик-Дере хронологически близки Келермесским курганам, относящимся к 660-620 гг. до н.э., а по инвентарю наиболее сходны с памятниками типа Темир-Горы, «характерными для северо-причерноморских степей последней четверти VII — конца VII в. до н.э.» (Марченко, Вахтина 1997: 181).

В конце VII века, то есть синхронно II и III фазе могильника Фериджиле, в Южной Добрудже появляются курганные могильники Добрина (47 погребений) и Крыгулево (20 погребений) (Мирчев 1965; Бобчева 1975; уточнение датировки Добрины см.: Hänsel 1974: 210; Alexandrescu 1976: 118-119). Обряд сожжения, «биконические урны, горшки, миски и большинство черпаков находят прямые параллели в керамике группы Бырсешты-Фериджиле или имеют лишь незначительные отличия в деталях» (Мелюкова 1979: 116), хотя «керамика не дает такого разнообразия и обилия форм, что в Фериджиле, нет в ней и орнаментации, свойственной последней и ведущей свое происхождение от орнаментальных мотивов на керамике культуры Басараби» (Мелюкова 1979: 116). В Северной Добрудже, в районе Тулчи зафиксировано еще два погребальных комплекса с материалами типа Фериджиле (Simion 1974: 204).

Могильник Равна, также открытый в Южной Добрудже (Мирчев 1962), продатированный Б. Хенселем VI-V вв. (Hänsel 1974: 212), оказывается тем самым переходным звеном, которое позволяет связать постбасарабьско-шолданештские традиции группы Бырсешты-Фериджиле с культурой гетов. Правда, звено это существует только в Добрудже.

Действительно, наиболее серийное, а не спорадическое проявление керамики, причисляемой Е. Москалу к аспекту Канлия (тип IX/c) (Moscalu 1983: 189), наблюдается в материалах второго горизонта Равны. В культурно-хронологическом отношении оба горизонта представляют собой две фазы непрерывного существования могильника.

Первый горизонт, или Равна-I, и по конструкции погребальных сооружений и по набору инвентаря идентичен могильникам Добрина и Крыгулево (Мелюкова 1979: 116; Vulpe 1970: 193-194). Господствующим типом сосудов-урн этого горизонта, как и в Добрине, и в Фериджиле, являлись биконические, двусоставные корчаги с цилиндрическим горлом (I тип по Е. Москалу) (Moscalu 1983: 15-31).

Горизонт Равна II характеризуется отсутствием этих сосудов. Если проанализировать совстречаемость сосудов I и IX типа, то окажется, что они никогда не пересекаются в одних и тех же комплексах. При этом комплексы не разрываются, а соединяются посредством других керамических типов. Это убеждает, что переход произошел в границах одной культуры, что просто один тип погребальных урн был заменен на другой. Но если сопоставить на материалах некрополей Добрина, Крыгулево, Равна-I, II оба типа на предмет сходства, то окажется, что IX тип, или тип Канлия, — это модификация I-го типа. Это та же корчага, только без цилиндрического горла. Это заставляет видеть именно в круге древностей типа Добрина, Крыгулево, Равна исходную область формирования керамического стиля гетской культуры.

Но рождение этого стиля уверенно соотносится с еще одним существенным изменением в культуре Южной Добруджи VI века. Изменяется погребальный обряд. Вместо урновых подкурганных погребений, совершаемых в неглубоких ямках или на древней дневной поверхности, появляются урновые подкурганные захоронения в каменных ящиках-цистах. Корреляция комплексов Равны показывает, что с новым керамическим стилем еще некоторое время сосуществует старый обряд погребения (№№ по-

гребений: 14а, 12, 28, 29), однако большинство погребений Равны II синхронизируется с новой погребальной конструкцией.

Новый погребальный обряд только в Равне проявился столь ярко. В могильниках Южной и Северной Добруджи конца VI-V вв. погребения в цистах встречаются часто, но отнюдь не превалируют над остальными погребениями-сожжениями. Они известны на могильниках Муригиол I, II, Телица, Сата Ноуа, Енисала, Буджак-Остров (Никулицэ 1973), в могильнике Чукурова (Simion 1992: 32).

Но, так или иначе, с конца VI века в Добрудже появляются многочисленные поселения и могильники, хронологическое положение которых совпадает, с одной стороны, с самыми ранними упоминаниями гетов, приходящимися на южное Подунавье, а, с другой стороны, типологически и хронологически стыкуется с древностями гетов IV-III вв., распространенными к северу от Дуная. Это могильники: Енисала (Simion 1976) — 300 захоронений, Буджак (Irimia 1968; 1992) — 125 захоронений, Канлия (не опубликован) — 76 захоронений (количество погребений по: Москалу 1991: 163), Муригиол — 60 погребений (Bujor 1955; 1956; 1959; Бужор 1958); городища: Чилик-Дере, Бейдауд и Бештепе, датирующиеся концом VI века по хиосским пухлогорлым амфорам (Simion 1992: 27, fig. 4/g). Характеризуя памятники Румынии и Северной Болгарии конца V-III вв., А. И. Мелюкова писала, что более всего памятников этого времени известно на территории Добруджи и Северо-Восточной Болгарии (Мелюкова 1979: 121).

Добруджа оказывается единственным регионом, в котором можно достоверно зафиксировать само начало Гетики. Именно в этом регионе произошло рождение новой традиции.

4. Как это все могло случиться? Событийная реконструкция.

Марк Борисович Щукин, исследуя культурные процессы в Европе на рубеже эр, нашел очень привлекательный образ — образ культурных миров. Именно их взаимодействие определяло в I тысячелетии ход истории в Европе. Миров, согласно М. Б. Щукину, было семь: греко-римский, кельтский, «третий мир» варварских племен Восточной и Северной Европы, мир культур зоны смешанных лесов, мир культур хвойных лесов (от Финского залива до Приуралья), кочевнический скифо-сарматский мир, фракийский мир (Щукин 1989: 57).

Но если мы обратимся к отправной точке событий, приведших к становлению культуры гетов, то мы вряд ли столкнемся с «готовыми» мирами. Это будет время становления миров.

Вторжение скифов Мадия в 3 четверти VII века в Переднюю Азию (Алексеев 1992: 59), сокрушение Мидийского царства заложили начало совершенно нового цикла европейской истории. Относительно синхронно скифской агрессии в Азии происходит их стремительное движение на Запад. Ян Хохоровский, отмечая агрессивный характер этого продвижения, указывает на находки скифских наконечников стрел на городищах Средней Европы, в слоях, носящих следы завоевания и внезапных разрушений (Хохоровский 1991: 155).

Следствием именно этого броска на Запад вероятно оказывается появление отдельных скифских погребений VII века в Бессарабии и Молдове (Старые Куконешты, Чобручи, Рэскэеций Ной, Сату Маре, Страшены). Учитывая обстоятельства внедрения скифов в регион, можно предположить, что именно они оказались виновниками прекращения поступательного развития древностей типа Шолдэнешть в Бессарабии и Бабадаг III в Северной Добрудже. Но скифские памятники этого времени в Бессарабии демонстрируют не столько прочное освоение скифами региона, сколько осуществление ими контроля в области, пограничной между Скифиями Западно-Подольской и Трансильванской. В Трансильвании постепенно складывается скифоидная культура Чиумбруд (Vasiliev 1980), а в долине Тисы, в Венгерской низменности и вплоть до региона Нижней Крайны формируется культура Сентеш-Векерзуг-Хотин (Chochorowski 1984). Культуру Чиумбруд не без оснований связывают с агафирсами письменных источников (Vulpe 1970), а культуру Векерзуг Хохоровский очень убедительно связал с сигинами (1987), народом, согласно Геродоту, одевающимся в мидийские одежды, считающим себя потомками мидийских переселенцев и живущим «почти до области энетов на Адриатическом море» (V. 9).

Скифская или же «скифоидная» культура начинает задавать тон на обширных пространствах. Далеко на Западе, в Северной Италии на второй стадии культуры Эсте (750-575) (Fologary 1960; Frey 1960), ближе к концу этой стадии (Barfield 1971: 125) отмечается проникновение так называемого «ориентального» стиля. Его связывают не только с продвижением этрусков на север Апеннин, но и с влияниями, исходящими из Восточного Средиземноморья (Barfield 1971: 115). Впоследствии этот стиль развился в широко известный горизонт ситул «чертозского типа» (Lucke, Frey 1962). Учитывая тот факт, что культура энетов — Эсте находилась в непосредственном контакте с сигинами Нижней Крайны и Далмации (Chochorowski 1987: 192-197), а ареал чертозских ситул охватывал и области культуры Векерзуг, не исключено, что именно сигины — народ мидийский — являлись одним из источников этих влияний. Кроме известных восточных мотивов на фризах чертозских ситул, можно обратить внимание на антропоморфную стелу VI века до н.э. из мо-

гильника Салета ди Бентовильо (Barfield 1971: pl. 43), рельефное изображение которой (два горных козла, «объедающих» листья мирового дерева) идентично изображению на пластине из Зивие (Porada 1963: 69). Неожиданно находят аналогии в Далмации и на полуострове Истрия «оленные камни» Кавказа и Центральной Азии, иногда вплоть до мельчайших совпадений (изображение секиры, «домиков» в нижней части стелы — Kukoc 1987: 47-67). Очень близки изображения птиц на ситуле из Ватча (Lucke, Frey 1962: № 33) «хищным птицам» жаботинских гравировок (Погребова, Раевский 1991: 151; Зуев 1993: 44).

Все эти моменты процесса ориентализации на границах Северной Италии и Западной Крайны всплывут в истории Нижнего Подунавья позднее, в конце V века. Но сама фиксация такого культурного импульса, некой волны скифизации Центральной Европы достаточно красноречиво свидетельствует о том, насколько были близки по характеру и по времени культурные процессы, разворачивавшиеся между Падуанской долиной и Передней Азией. Взаимная открытость культурных регионов, «размах» и свобода перемещений, влияний — все это радикально отрезало становящуюся эпоху от прежнего наследия.

Именно к этому времени Греция выбирается из «темных веков» хаоса и забвения и подбирается к варварскому миру и миру переднеазиатских цивилизаций как бы со стороны, противоположной той, которую во многом определяли номады. Латентная «архаическая революция» (Андреев 1991: 158, 159) привела к рождению мобильной полисной цивилизации, ставшей чутким регистратором синхронных процессов во всем Средиземноморье. В 647/48 гг. в Северо-Западное Причерноморье выводятся колонии Борисфен (Виноградов, Марченко 1991: 148), и видимо, в то же время Истрия (Алексеев 1992: 59; Вахтина 1993: 53), через полстолетия основывается Одессос (Hänsel 1974: 210). И когда в конце VII века в орбиту скифского влияния втягиваются продолжатели «басарабьских» традиций Южного Прикарпатья, носители культуры Бырсешты-Фериджиле, какая-то часть этой культуры перемещается в Добруджу. Там возникают некрополи Добрина и Крыгулево. Они попадают в зону активного эллинского влияния, о чем свидетельствует массовое появление в Добрине и в Равне греческой сероглиняной гончарной керамики, ставшей прототипом для начала местного гончарного производства (Alexandrescu 1977).

Видимо, во второй половине VI века происходит смена керамических стилей в Южной Добрудже, возникает горизонт Равна II. Появляется культура исторических гетов. К концу этого столетия в лесостепной и отчасти в степной Бессарабии отмечается новая волна номадов (Суручены, Коржово, Дубоссары, Огородное), а также продвижения каких-то групп населения из района скифов-агафирсов (культура Чиумбруд). Следы этого продвижения — находки акинаков в Восточном Прикарпатье, погребения Чимбала и Трестиана.

Вторжение Мадия аукнулось в регионе спустя более чем столетие ответной акцией персов. Около 514/512 гг. до н.э. войско Дария направляется в Скифию. Не доходя до Истра, Дарий покоряет гетов и включает их в свое войско.

Конфликт дестабилизировал обстановку. Толчок. И как в калейдоскопе, картина изменилась. Уже для начала V века мы можем точно зафиксировать проникновение гетов к северу от Дуная (горизонт Пыржолтены-Данчены-Олонешты). Геты, будучи включены в войско Дария, оказались вовлечены не просто в военные действия, а прежде всего в передвижения по относительно пустынной территории. Их культура на короткое время оказалась в условиях высокой мобильности, оказалась способной преодолеть комплекс освященного и освоенного пространства и выйти за его пределы. В этом движении за Дунай в культуру гетов влились, вероятно, и все те культурные группы, которые существовали в Молдове и Бессарабии. Возникает синкретичная, однозначно этнически неопределяемая культурная ситуация. Но тенденция набирает ход. На середину V века приходится начало завоевательной политики одрисских царей. Одним из результатов ее стала экспансия одрисов в район Нижнего Подунавья и превращение гетов в подданных царя Фракии Ситалка, в участников его военных авантюр. Вполне вероятно, что именно эта экспансионистская политика одрисов заставила гетов активнее переселяться на другой берег Истра.

Судя по небольшому количеству скифских погребений V века в Буджаке, скифы вряд ли могли оказаться серьезным препятствием для продвижения гетов. Освоение региона и скифами, и гетами шло параллельно, обе культуры занимали разные «экологические ниши». Скифы расселялись в степи, геты — преимущественно в лесостепной Кодровой зоне Бессарабии, на плато Бырлад в Молдове, в Южном Прикарпатье и Олтении. Пользуясь терминологией В. С. Бочкарева, можно сказать, что в результате всех этих событий к началу IV века сформировался четкий, археологически уловимый скифо-гетский блок культур. К этому времени образовавшиеся культуры скифов и гетов необратимо утрачивают ту культурную неупорядоченность, в силу которой так трудно было различить их погребения в предшествующее время, степная Скифия утрачивает лесостепную, а культура гетов — вариативность и разнообразие гальштатских традиций. Дискретный типологический контур обеих культур, ограничивавшихся взаимодействием только в пограничных областях, открывал эпоху детерминированной траектории этих культур, открывал эпоху установившейся власти традиции, эпоху равновесия и последующего почти синхронного исчезновения обеих культур к востоку от Карпат.

III. «Жизнь без гетов». Трибаллы — фигура умолчания

Геты не упоминаются на территории Карпато-Дунайских земель вплоть до 30-х гг. IV века до н.э. И можно было бы смириться с этим фактом и сосредоточиться исключительно на материалах археологических, если бы истории региона не существовало бы без истории гетов. А она существовала. Были греки, скифы, фракийцы. Миры продолжали свой культурный диалог. Правда, за прошедшее время изменились несколько его принципы. Пересечение миров фокусировалось на иных народах, историческая активность которых несколько «заслонила» «самых честных и мужественных среди фракийцев», делая их всего лишь «немыми» соучастниками диалога. Но ведь соучастниками! И тогда реконструкция этой самой истории будет не чем иным, как косвенной реконструкцией истории гетов.

1. Первый поход Александра Македонского

В 335 г. до н.э. ранней весной новый царь Македонии — Александр выступает в свой первый поход. Еще впереди переправа на малоазийский берег, сражение у Граника, покорение Персии. Пока Александр решает навести порядок у себя в тылу. «...Он считал, что, отправившись в дальний путь от дома, не следует оставлять у себя за спиной соседей, которые до конца не усмирены», — пишет Арриан Флавий, пересказывая мемуары Птолемея Лага, непосредственного участника событий (I, 1, 4). Труд Птолемея до нас не дошел, но ссылки на него, связанные с обстоятельствами войны с трибаллами, есть и у Страбона, и у Арриана. Но, в отличие от Страбона, Арриан более полно пересказал перипетии экспедиции Александра к Дунаю.

Перипетии сводятся к следующему. Вышел Александр из Амфиполя. Перейдя реку Несс (современная Места), он на десятый день дошел до горы Гем. Здесь произошло его первое удачное сражение с так называемыми «независимыми» фракийцами. Захваченных в плен Александр поручает Филоте и Лисанию доставить в приморские города. После этого он переходит Гем и вторгается в земли трибаллов.

Сначала Александр подошел к реке Лигину (не идентифицирована), которая отстояла от Дуная в трех днях пути. При поддержке конницы, управляемой Филотой, Александр выигрывает битву с трибаллами у Лигины. Царь трибаллов — Сирм укрывается на одном из дунайских островов. Арриан сообщает название острова — это Певка (I, 2, 1). Спустя три дня после битвы у Лигины Александр подошел к Истру. Там его ждали пять судов из Византия. Посадив на них лучников, македонский царь решил высадиться на Певку. Но ему не удалось найти подходящего места для высадки. Всюду его подстерегали трибаллы, готовые сразиться, а кроме того, мешало сильное течение реки. Тогда Александр решается форсировать Дунай и напасть на гетов, живущих на другом берегу. Геты выставили около четырех тысяч всадников и более десяти тысяч пехотинцев. Но Александр ночью переправляется через реку, используя плоты и византийские корабли. Геты не ожидали столь дерзкого нападения. Сначала они бросились в свой город, отстоящий от Дуная примерно на парасангу (5,5 км), но затем оставили плохо укрепленное укрытие и устремились в пустынные степи. Александр захватил город, разрушил его и, принеся жертву спасителю Зевсу, Гераклу и самому Истру, еще засветло привел всех в лагерь целыми и невредимыми.

После этого в лагерь Александра стали прибывать посольства от самых разных народов, обитавших возле Истра. Здесь же был заключен союз с Сирмом. Трибаллы были покорены.

Так, но с еще большим количеством деталей, описывает поход Арриан. В более лаконичной форме дается изложение событий Страбоном. Из его цитирования труда Птолемея мы узнаем, что геты, жившие на северном берегу Истра, были подчинены трибаллам и входили в их царство (VII, 3, 8), что жили трибаллы вплоть до самого устья Дуная, до острова Певки и на нем (VII, 3, 8). О последнем, казалось бы, пишет и Арриан, но значение дополнительного сообщения Страбона чрезвычайно велико.

Отчего?

Да оттого, что согласно сложившейся историографической традиции считается, что никогда царство трибаллов не достигало устья Дуная, что под Певкой — островом, известным всей античной традиции в устье Дуная, следует понимать какой-нибудь иной остров на реке, примерно в средней части его нижнего течения (Pârvan 1926: 46; Daicoviciu 1972: 91); что Александр переходил Дунай не в районе нынешней Исакчи (район Тулчи), а визави пункта Зимнича в нижнем течении Олта. Вблизи Зимничи было обнаружено крупное гетское городище. Его-то и брал, по представлению многих авторитетных исследователей, Александр (Pârvan 1926: 46; Moscalu 1983: 205).

Эта точка зрения покоится на достаточно серьезных аргументах. Главным из них является представление о границах трибаллов на период, предшествующий походу Александра Македонского. Геродот в «Мельпомене» упоминает трибалльскую равнину, где пересекаются реки Ангр и Бронг (Морава с притоками) (IV, 49). Фукидид сообщает более подробные сведения о земле трибаллов. Она находилась к северо-за-

паду от царства одрисов периода правления Ситалка, на границе с землями треров и тилатеев (II, 96, 4). То есть пределы их территории в середине — последней четверти V столетия находились где-то между землями фракийских и иллирийских племен. Стефан Византийский (по: Vulpe 1970: 208) и Аппиан (X, I, 2) вообще относили трибаллов к иллирийцам.

2. Археологическая Трибаллика. Всем известная версия.

Упомянутая фрако-иллирийская двойственность была отождествлена впоследствии с рядом археологических памятников, известных в настоящее время под названием Врацкой группы (район болгарского города Врака / Враца) (Vulpe 1970: 198; Nicolov, Mashov, Ivanov 1988: 109). Для этой группы характерен исходный фрако-иллирийский культурный синкретизм (Vulpe 1970: 197). В IV веке эта группа представлена исключительно погребальными сооружениями. Они отличаются необыкновенным обилием вещей из драгоценных металлов, своеобразием устройства погребальной камеры и самим обрядом захоронения.

Одним из наиболее ярких сооружений этого типа является гробница у г. Враца. Она была сооружена под курганом и, в сущности, представляла из себя три усыпальницы, располагавшиеся одна над другой. Каждая из них содержала по несколько мужских и женских погребений. Судя по вещам (кубкам, кнемидам, золотому венку, фиалам), сопровождающих погребенных, это была гробница каких-то трибалльских князьков, а может быть, и фамильный склеп самого правящего рода (Николов 1967; Венедиков 1966; 1975). К погребениям из Врацы мы еще вернемся, а пока стоит задаться некоторыми вопросами, которые возникают при чтении текста Арриана.

3. Загадки похода Александра

Например, непонятно: почему царь трибаллов Сирм подчиняется Александру не после поражения у Лигины, а после разгрома гетского города на северном берегу Дуная? Из текста видно, что геты не оказывали поддержки Сирму, они были готовы защищать только себя. Сирм не переправлялся на северный берег Дуная и не искал у них защиты, а Александр не стал брать остров теми силами, которыми вдруг отважился форсировать Дунай. Складывается впечатление, что сам Сирм Александра беспокоил мало.

Но вот геты покорены, и в лагерь Александра прибывают различные посольства, в том числе и Сирм с дарами. Конечно же, можно было бы не принимать всерьез этот факт и отнести его к тем бесчисленным загадкам, разгадать которые нам не дано. Но эта загадка — не единственное «темное» место в тексте Арриана.

После победы над «независимыми фракийцами» Александр отсылает Филоту с добычей в приморские города. Но уже в битве при Лигине Филота — активный участник сражения. Если все эти события происходили в трех днях пути от Дуная, в средней части его нижнего течения (район впадения реки Искры), то Филоте пришлось бы проделать огромный путь туда и обратно. Он вряд ли бы успел к сражению. Далее, после разгрома македонянами гетского города геты со всем своим имуществом ушли в пустынные степи. Что это за пустынные степи? Где их можно локализовать убедительнее всего?

Последние две загадки поддаются решению, если согласиться с Птолемеем Лагом в том, что остров, который он видел собственными глазами, на котором укрылся Сирм, был той самой Певкой, которая всегда была известна в устье Дуная (Polaschek 1938: 1382-1390), а не каким-нибудь иным островом. О том, что именно Птолемей писал о Певке, что это не домысел его последующих верификаторов, говорит то, что два автора — Страбон и Арриан, независимо друг от друга, повторили эту информацию.

В таком случае Филота мог достаточно оперативно избавиться от добычи в Каллатисе, Одессосе или в той же Истрии, находящихся от Восточных Балкан на расстоянии дневного перехода. Тогда Гем — это вовсе не обязательно Шипкинский перевал, а именно Восточные Балканы. Тогда пустынные степи — это не что иное, как «гетская пустыня» Страбона, лежащая против острова Певка. И, наконец, гетским городом, атакованным македонскими фалангами, будет уже не Зимница, а, на выбор, два мощных гетских городища, стоящих от Дуная на полпарасанги (у Арриана «примерно на парасангу») — Новосельское или Орловка (Бруяко, Кожокару 1990: 142).

4. Археологическая культура царства трибаллов

Но чтобы ответить на вопрос о том, почему трибаллы подчиняются Александру после покорения гетов, необходимо более аргументированно рассмотреть возможность столь «невозможного» на первый взгляд расширения к востоку царства трибаллов. При этом напрашивается вопрос о возможности археологической идентификации трибаллов во всех пределах этого царства. Но, приступая к поиску таких археологических свидетельств, все же следует иметь в

виду, что речь, вероятно, должна идти об археологических признаках не столько массовой культуры этого народа, сколько о признаках его господства (Tkaciuc 1996). Область поисков задана от впадения Моравы в Дунай («трибалльская равнина», район «Железных ворот») «до острова Певки, на нем, а затем до области за Истром, занятой гетами» (Страбон VII, 3, 8).

Если открыть последнюю книжку И. Т. Никулицэ (1987), то на 126 странице мы столкнемся с очень интересной картой. На ней отмечено распространение предметов так называемого фракийского искусства. Петря Александреску посчитал возможным рассмотрение этой серии предметов в качестве самобытной «северо-балканской группы» (Alexandrescu 1983; 1984). Все они, без исключения, укладываются в отмеченную область поисков археологических признаков господства трибаллов, тяготея к самому руслу Нижнего Дуная (см. карты по: Alexandrescu 1983: fig. 1; Hoddinot 1989: 92, fig. 5b) Причем вещи отличаются поразительным сходством стилистики. Самые западные из них — шлем, кубок, свастикообразные бляхи из клада у Железных ворот (Berciu 1969: 89) — почти идентичны самым восточным, обнаруженным в царском погребении у с. Аджигиол (район Тулчи) (Berciu 1969: 41). При этом между ними находятся пункты Перету и Коцофенешть с взаимоаналогичными шлемами (Moscalu 1989), а также клад из Летницы (Venedicov 1965). Антропоморфный наколенник из того же наиболее восточного пункта — Аджигиола находит единственную аналогию в гробнице трибалльской знати у г. Врака. Изображение всадника на одной из блях Летницы, голень которого защищена наколенником типа Врацкого и Аджигиольского, является связующим звеном между двумя находками (Маразов 1986: 88). Кубки из района Железных ворот весьма близки тем, что обнаружены в Рогозенском кладе и в Аджигиоле (Nicolov, Mashov, Ivanov 1988).

Но если перейти от самих вещей к контексту, в котором они обнаружены, то окажется, что в Аджигиоле и во Врацкой усыпальнице, несмотря на некоторое отличие погребальных сооружений, очень близок обряд погребения: трупоположение в сопровождении коней (три во Враце и Аджигиоле). Оба кургана несколько различаются по датам. Врацкий датируется между 380 и 350 гг. (Венедиков 1975), а Аджигиол, после его передатировки Петрей Александреску, датируется теперь первой половиной IV века (Alexandrescu 1983: 48). Рассматривая хронологию всей «северо-балканской группы» кладов и погребений врацкого типа, Александреску приходит к заключению, что большинство датирующих вещей из этих комплексов укладывается в интервал от середины IV до начала III века до н.э. (Alexandrescu 1983: 48).

Курган у Аджигиола считается погребением гетским (Berciu 1969: 33), но упомянутые аналогии помещают его в четкий контур традиции, к гетам отношения не имеющей. Подобное сходство между всеми упомянутыми памятниками не может быть случайностью. За ним не прослеживается длительного становления единого обряда захоронения на всей указанной территории. Мы видим расширение на восток субкультуры одной царской династии.

Интересно отметить, что контекст обнаружения вещей на северном берегу Дуная существенным образом отличается и от Врацкого кургана, и от Аджигиола. Здесь нет подобных погребальных комплексов. Единственным близким оказывается погребение в Перету (Moscalu 1989: 131-189). Во всех остальных случаях находки предметов так называемого фракийского искусства являются случайными и происходят из кладов (Berciu 1969: 89, 123).

Исходя из этого наблюдения, складывается любопытная картина, в деталях совпадающая с той, что приводится Страбоном. До Певки и на нем (от Врацкой группы до Аджигиола) идет область царства трибаллов, а на северном берегу Истра идут земли гетов. Там подобных погребений нет, но туда проникают отдельные вещи, попадающие уже в иной культурный контекст.

5. От Бронга до Певки. Событийная реконструкция.

Если предложенная выше археологическая ситуация действительно отражает результат продвижения трибаллов к устью Дуная, то мы вправе задаться вопросом о причинах такого продвижения. Необходимо попытаться выяснить историческую обстановку, благоприятствующую ему.

Первое упоминание о трибаллах принадлежит Фукидиду. Оно посвящено событиям 424 г. до н.э. Царь фракийского племени одрисов — Ситалк гибнет в сражении с трибаллами (IV, 101, 5).

Ситалка по праву можно признать основателем огромного фракийского государства, занимающего всю северо-восточную часть Балкан. Говоря о размерах державы одрисов, Фукидид полагает, что она простиралась вдоль морского побережья от города Абдер до Евксинского Понта, «именно до реки Истра» (II, 97). Действительно, к 30-м годам V века восточные границы одрисов вплотную подошли к границам Скифии. Это ясно вытекает из уже цитированного фрагмента о гетах, подчиненных Ситалку, живших «по сю сторону Истра» и бывших соседями скифов. Можно утверждать, что в последней четверти V века над гетами была надстроена определенная вертикаль этно-классов. К югу от Дуная — одрисы, к северу — скифы.

Но власть одрисов над гетами, о которой столь однозначно пишет Фукидид, была не вечна. Ситалк гибнет, и гибнет от рук трибаллов. И

этот факт можно считать отправным пунктом экспансии трибаллов из Среднего Подунавья. Но в отличие от миграционных волн, которые исходили из этого региона в период раннего и среднего Гальштата, это была, прежде всего, экспансия власти. Ситалка на одрисском престоле сменяет его преемник Севт I, известный тем, что предельно повысил дань с греческих городов (Невская 1953: 34-38). Затем Севт умирает, и во Фракии на рубеже IV-III вв. наступает своеобразное смутное время. Из-под власти одрисских царей освобождается одно фракийское племя за другим, наследники Севта поглощены борьбой за престол, стимулируя этой борьбой хаос центробежного развития (Златковская 1971: 221-224).

Таким ослаблением трибаллы не могли не воспользоваться и не расширить пределы своего царства (Данов 1968: 106). Мы обладаем только данными о результатах такого расширения, сам же процесс пока неуловим. Косвенно его подтверждает известный рейд трибаллов в количестве 30 тысяч человек, включая стариков, женщин и детей, через всю Фракию до Абдер (Данов 1968: 386). Произошло это в период правления Котиса I, то есть примерно в 80-70 гг. IV века. Масштабность похода указывает на то, что трибаллы в это время были способны к переселениям. Следствием этих операций и стал их выход к устью Дуная. Продвижение по долине этой реки, как по периферии одрисского царства, охваченного смутой, было наиболее естественным развитием событий.

Но в таком случае получается, что в руках трибаллов оказались два важнейших стратегических пункта: переправа у «Железных ворот» и нижнедунайская переправа, расположенная у Исакчи и Орловки. Значение последней трудно переоценить. Еще в 512 году до н.э. Дарий чуть не оказался в западне, когда скифы почти убедили ионийских греков разрушить понтонный мост из кораблей и, таким образом, отрезать Дарию путь к отступлению из Скифии. Но прошло уже более столетия со времен похода Дария, и скифы, их царство усилились настолько, что они сами стали угрозой для Балкан. Проникновению их в эти земли мог препятствовать только надежный «дунайский замок» (Бруяко, Гизер 1990: 120). Так или иначе, но к середине IV века ключ от этого замка находился в руках у трибаллов. И к этому заключению приводит не только погребение у Аджигиола и свидетельства Арриана со Страбоном. Известно (было отмечено выше), что когда Атей решился прорваться в северные Балканы, на нижнем Дунае ему пришлось вести войну не только с царем загадочных истриан, но и с трибаллами.

Власть скифов времен Атея к югу от Дуная, в Добрудже была недолговечна. Уже в 339 году скифы терпят поражение от Филиппа Македонского. На этом, вероятно, завершается период абсолютного политического господства скифов в Подунавье, но переправа не оказалась в руках у македонян. Результат их победы над скифами был перехвачен трибаллами, которые нападают на возвращающееся в Македонию войско Филиппа. Можно предположить, что переправа опять переходит в руки трибаллов. И тут проясняются истинные мотивы похода Александра к Дунаю.

Готовясь к реализации грандиозного плана — общегреческого похода на восток, Александр не просто не мог оставить у себя в тылу неусмиренных противников, он не мог оставить противников, обладающих таким важным стратегическим пунктом, как переправа, способная в любой момент вновь пропустить «орды» скифов на Балканы. Поэтому война с трибаллами, их покорение во многом для Александра связывались с возможностью создания некоего южнодунайского плацдарма против скифов. Упоминание о том, что план похода против трибаллов предусматривал именно такую цель, можно найти у Плутарха, который пишет, что Александр «разбил иллирийцев и угрожал племенам соседних скифов, задумавших восстание» (I, 3). Действительно, разгром иллирийцев, под которыми следует понимать трибаллов, оказался серьезной угрозой для скифов. Уже через четыре года после войны с трибаллами в Скифию вторгается македонское войско под предводительством Зопириона.

Трудно сказать, являлось ли вторжение македонян в Скифию частью общего замысла покорения Азии. Ясно лишь одно — ближайшей целью Александра была переправа. Именно поэтому он направляет свои силы не на захват Певки, а на разгром подвластных трибаллам гетов, на уничтожение их города, являвшегося форпостом на северном берегу дунайской переправы. Как только город был взят, Сирм капитулирует и заключает союз с Александром. Остатки этого города, как уже говорилось выше, можно видеть в двух городищах — Орловке или Новосельском. Исследователи этих памятников, в частности И. В. Бруяко, уже давно высказываются о том, что оба городища контролировали дунайскую переправу (Бруяко, Гизер 1990: 120). Представленная историческая реконструкция позволяет вписать их в достаточно яркий событийный контекст, который, в свою очередь, может быть дополнен уже новыми данными раскопок на городищах.

Трудно оценить с ходу историографические последствия данной реконструкции. Она, безусловно, нуждается в критике и детализации. Но некоторые перспективы становятся очевидными и искушают дальнейшими исследованиями в этом направлении.

Во-первых, локализация трибаллов в низовьях Дуная перемещает сюда и место их столкновения со скифами, а скифов с истрианами, в которых уже без труда можно разглядеть известных среднедунайских соседей трибаллов —

истров, упомянутых среди народов Иллирии Аппианом. Не исключено, что в орбиту движения трибаллов к устью Дуная могли попасть и более мелкие племенные группы, к каковым истриане, безусловно, относились.

Во-вторых, трибалльская атрибуция вещей Северо-Балканской группы заставляет по-другому оценить значение подобных находок в погребениях скифской знати (серия уздечных наборов из Огуза, Краснокутского кургана, Козла, Хоминой Могилы, Чмыревой Могилы и др.). Эти вещи, названные А. И. Мелюковой скифо-фракийскими, являются безусловно «трибалльскими», относящимися к Северо-Балканской группе по П. Александреску. Е. Е. Фиалко полагает, что эти уздечные наборы были сделаны фракийскими мастерами по заказу скифов с учетом их вкусов и преподнесены в дар (Фиалко 1994: 209). Но в этой ситуации логично предположить, что были преподнесены в дар не уздечные наборы, а лошади вместе с уздечными наборами. И поводом для подобного дарения могла стать ситуация замирения скифов — последствие неудачной войны трибаллов со скифами Атея. В таком случае в облике вещей этой серии из погребений скифской знати мы сталкиваемся как с дополнительным хроноиндикатором, отбивающим дату от 350 до 339 гг. до н.э., так и с возможным индикатором более четкой локализации самой державы Атея (по захоронениям участников скифо-трибалльской войны). Хотя последний вывод не совсем корректен, поскольку заставляет включить в границы Атеева царства и Мастюгинские курганы, содержащие вещи Северо-Балканской серии (Манцевич 1959: 315-333), географическая удаленность которых от границ царства Атея кажется сама собой разумеющейся. Расширение ареала Атеева царства, безусловно, приходит в противоречие с современными взглядами на его масштабы (Алексеев 1987), но не исключает и компромиссных вариантов интерпретации.

В любом случае, трибалльская страница в истории Северных Балкан пока только начинает проступать среди тяжелых и неподъемных томов гето-центристской литературы. Названные Страбоном *наиболее могущественным племенем из фракийцев* (VII, 5, 6), а Аппианом *племенем, процветавшим до Филиппа и Александра* (X, 1, 3), трибаллы стали одной из основных фигур умолчания в региональной истории. Спорная этническая атрибуция, спорная территория (между современными Румынией, Югославией и Болгарией) распространения трибалльских древностей сделали их неуместными этно-культурными персонажами. Безусловно, трибаллы нуждаются в определенной реабилитации. Случай с ними очень напоминает историографическую тяжбу по поводу роли и значения в истории Гетики еще одного народа-изгоя — бастарнов, а вместе с ними историю еще одного, почти неизвестного хронологического разрыва.

IV. От гетов к дакам

1. Три загадки Помпея Трога

Безусловно, что Эпитома Помпея Трога, дошедшая до нас в сокращенной версии Юстина, содержит немало темных мест, неясностей, с трудом поддающихся пониманию. Загадок, естественно, не три, а намного больше. Непосредственное внимание привлекает уже упомянутый пассаж о столкновении даков, возглавляемых Оролом, с бастарнами, о наказании, к которому были приговорены даки (XXXII, 3, 16).

Загадка первая. Где и когда произошло столкновение даков, «потомков гетов» (или же «молодой ветви гетов») с бастарнами? Ведь, кроме пассажа VII, 3, 13 «Географии» Страбона, это единственное дошедшее свидетельство о столкновении бастарнов с местным населением Карпато-Дунайского региона. Датировка этого столкновения и его локализация поэтому приобретают чрезвычайную важность в представлении о том, какой могла быть этнокультурная ситуация в регионе после вторжения бастарнов.

Загадка вторая. Упоминание Помпея Трога является, кроме того, единственным источником, в котором даки упомянуты как потомки гетов. Поэтому важно установить время, когда даки воспринимались именно в такой хронологической зависимости, установить те реалии, которые скрывались за этой зависимостью. Ведь есть источники, для которых различие между даками и гетами сводится к различию исключительно пространственному (см. уже упоминаемый фрагмент из Страбона: VII, 3, 14), или к различию, порожденному только двумя нарративными традициями — греческой и римской. Вторая называла даками тех, кто для первой, греческой традиции, был гетами (Страбон VII, 3, 14).

Загадка третья. Что это за наказание — «ложась спать, класть голову на место ног, прислуживать своим женам, как до того жены прислуживали им»? Ливиу Франга считает, что в этой фразе как бы закодирована информация о символической смерти этноса. Структура символической смерти во фрагменте Трога—Юстина, согласно Франге, просматривается в триаде: военное поражение (degradation militaire) (инверсия); мужская деградация (degradation virile); оккультация и эпифания (некоторый сценарий смерти) (Franga 1992: 162).

Каким же может быть полный археологический ответ на эти вопросы?

2. Геты или бастарны?

В 1970 году в «Memoria Antiquitatis» вышла статья «Даки и бастарны». Это была одна из самых ранних и, несомненно, удачных работ Мирчи Бабеша. За прошедшую четверть века она во многом утратила свою свежесть, но проблемы, поставленные в ней, актуальны до сих пор. М. Бабеш тогда задался достаточно неожиданным вопросом — о взаимоотношении носителей поянешть-лукашевской культуры с местным, «гето-дакийским» населением. То есть Бабеш не только не застрял на полемике с автохтонистами, полагающими, что поянешть-лукашевская культура гетами-то как раз и оставлена, но пошел дальше, по пути разгадки тех проблем, которые возникают уже при исключительно миграционистском взгляде на вещи. Уже тогда, в конце 60-х, возникла явная потребность в более динамичной и многомерной картине объяснения культурных изменений в III-II вв. до н.э.

Безусловно, что потребность выхода за пределы «простых, но неправильных решений» существует всегда. Очевидно, что рассуждения типа «местная культура под неместным влиянием» либо «неместная культура с местными пережитками» равноправны в своей ущербности. Конечно же, миграционные версии всегда выглядят более импозантно и менее провинциально, нежели идеи этно-культурной непрерывности, но, концентрируясь исключительно на феномене возникновения культуры, они остаются, как правило, «континуитетом на колесах» (А. П. Городенко). То есть они оказываются столь же односторонними и полуобъясняющими. Все время забывается, что проблема возникновения новой культуры — это еще и проблема исчезновения культуры предшествующей. Пока эти проблемы будут решаться порознь, от нас будет ускользать масса нюансов, из которых может проступить абсолютно неожиданная картина, палитра которой уже не ограничится возможностями черно-белого изображения. Правда, беда еще в том, что далеко не всегда удается примирить представления о том, что же является стержнем той или иной культуры, а что в ней присутствует на правах периферийного субстрата. Далеко не всегда подобная непримиримость является следствием зашоренности взгляда одной из сторон. Сама источниковедческая основа зачастую противится однозначным выводам. Поянешть-лукашевская культура как раз и является таким весьма противоречивым, органически неупорядочиваемым источником, представляющим собой сплав самых разнообразных культурных компонентов.

Первооткрыватель культуры — Раду Вулпе основные параллели ей увидел в древностях Центральной и Северной Европы. Просматривались они, прежде всего, в столовой керамике (в черно- и желтолощеных мисках, двучастных горшках, кувшинах с подграненным, фацетированным венчиком и иксовидными ручками), в наборе средне- и позднелатенских фибул, поясных крючках, в погребальном обряде (Vulpe 1953; 1955). Раду Вулпе считал правомерным соотнесение открытой им культуры с активностью бастарнов в Северном Причерноморье, с их миграцией в III-II вв. до н.э. из районов современных Польши и Германии (Vulpe 1955: 6-8). Более определенно исходную область миграции бастарнов обозначил Д. А. Мачинский, предположивший, что таким районом был бассейн Среднего Одера (Мачинский 1966). Р. Хахман, продемонстрировав типологическое восхождение перечисленных признаков аспектов поянешть-лукашевской культуры к культуре ясторфской, не решился атрибутировать их как бастарнские (Hachmann 1961: 117-124).

Если столовая керамика и украшения «поянештцев» воспринимались как свидетельства их миграционного происхождения, то кухонная керамика оказывалась, по убеждению сторонников автохтонной версии, местной, «гето-дакийской» (Федоров 1960; Романовская 1962; Teodor 1967; 1969). Фракийские элементы ими распознавались в различных способах орнаментации сосудов: ручках-упорах, валиках с пальцевыми вдавлениями, пуговичных налепах, в «дакийских чашах». На этом основании Г. Б. Федоров, М. А. Романовская, а позднее и С. Теодор полагали, что поянешть-лукашевская культура принадлежала местному населению Карпато-Поднестровья, испытавшему в материальной культуре лишь некоторое воздействие со стороны бастарнов.

Таким образом, получалось, что полемизирующие стороны фактически не оспаривали аргументов друг друга. Их трудно было оспаривать. Они были выстроены на различных материалах. Могла оспариваться только степень значимости тех или иных фактов. Предпринятая Д. А. Мачинским попытка объяснить наличие «гетских» форм на поселении Лукашевка II небрежностью стратиграфической фиксации керамики многослойного поселения ни к чему не привела (Мачинский 1966: 90), она не объясняла присутствие этих форм на остальных поселениях культуры (Романовская 1965).

Подобраться к ответу на вопрос можно было, только выяснив удельный вес выявленных культурных компонентов. Столь очевидная и необходимая работа была впервые предпринята М. Бабешем в статье «Даки и бастарны». Тщательно проанализировав кухонную керамику с поселений, Бабеш пришел к выводу, что далеко не вся она может быть отнесена к «гето-дакийским» традициям. Собственно фракоидные формы образуют периферийное явление в

керамическом комплексе культуры. Основная же масса кухонной посуды имеет то же происхождение, что и парадная посуда с фацетированными венчиками. Бабеш привел убедительные аналогии в северо-европейском Латене не только горшкам с хроповатой (нарочито ошершавленной) поверхностью, но и налепам в виде шишечек, валикам с вдавлениями (Babeş 1970: 244). Действительно, подобное сходство демонстрирует керамика предримского времени Ютландии, на которую сослался Бабеш (Becker 1961).

Бабеш предложил далее различать поселение двух типов. К первому из них он отнес те поселения, на которых просматривается преобладание «германской» керамики (столовой и кухонной) над «гетской». Среди них оказались памятники: Боросешть, Брэхэешть, Ульма, Лукашевка, Бранешты, Лунка-Чурей. Ко второму типу относятся поселения: Бэйчень, Думбрава-Яшь, второй горизонт поселения Кукорэнь, где гето-дакийские черты преобладают, а германские составляют арифметическое меньшинство (Babes 1970: 225-227). Немного забегая вперед, можно отметить, что в одной из последних работ Бабеш, ссылаясь на заключение Родики Попович, решительно опроверг возможность отнесения к подобному типу поселения Борниш, исследованного С. Теодор (Teodor 1984), где «местная» керамика, изготовленная на круге, является на самом деле керамикой карпов II-III вв. н.э. (Babeş 1985: под сноской №5).

Главный вывод, к которому пришел Бабеш, заключался в том, что процесс образования культуры Поянешть-Лукашевка оказался более сложен, чем это полагали авторы автохтонной или миграционной гипотез. Гетских элементов оказалось немного, но они все же присутствуют, и это присутствие должно быть как-то объяснено.

В последующие годы изучения поянешть-лукашевских древностей таким образом формулирующийся вопрос был фактически проигнорирован в историографии. Удивляться нечему. Реминисценции предшествующей культуры в культуре последующей — явление заурядное. Но именно исследования последующих лет и заставляют отнестись к этим «реминисценциям» иначе.

3. Новые уточнения — дополнительные сложности

М. Бабеш и В. Михайлеску-Бырлиба, рассмотрев серию таких предметов, как поясные крючки, глиняные подставки для очага, гривны-короны, нашли им убедительные аналогии в междуречье Эльбы и Одера, в ареале ясторфской культуры (Babeş, Mihailescu-Bîrliba 1970-71; Babeş 1983; 1985).

С. П. Пачкова, исследуя керамический комплекс поселения Горошова, пришла к заключению о его близости керамике Губинской группы Ясторфской культуры (Пачкова 1983; 1985). М. Б. Щукин, во многом основываясь на детальных микрохронологических разработках К. В. Каспаровой (1978; 1981), но, прежде всего, на массированном сопоставлении археологических и исторических событий, сумел получить картину становления зарубинецкой и поянешть-лукашевской культуры, вписанную в «широкоформатное» общеевропейское полотно (Shchukin 1989; Щукин 1991; 1993; 1995). Связав эти культуры с бастарнами, он перешагнул границы проблематики этих культур и выдвинул смелую гипотезу о бастарнском вкладе в формирование исторических славян (1987; 1991; 1995).

Для М. Б. Щукина начало существования зарубинецкой и поянешть-лукашевской культур оказалось процессом, имеющим далеко идущие последствия. Отправная точка оказалась более чем корректна. Она основывалась на хронологическом хиатусе между культурами бастарнов и культурами, предшествующими их вторжению в Северное Причерноморье, Поднепровье и Карпато-Днестровские земли. В. Е. Еременко, полемизируя с И. Т. Никулицэ по поводу верхней даты гетской культуры Пруто-Днестровского междуречья (Никулицэ 1987), указал на недопустимость использования дат Я. Филипа для духцовских фибул и браслетов (Еременко 1990). На это же обратил внимание и Щукин (1989). Модернизация латенской хронологической системы не позволяет, согласно Щукину и Еременко, поместить эти хронологические индикаторы выше середины III века до н.э. Именно этим временем определяется финал культуры гетов. Время же сложения культуры Поянешть-Лукашевка приходится, по мнению тех же авторов, на самое завершение III века.

Временной разрыв между культурой гетов и культурой Поянешть-Лукашевка, безусловно, по иному представляет проблему их соотношения. Хиатус как бы логически запрещает видеть в «гетских» элементах поянештской культуры простой пережиток, анахронизм. Но, с другой стороны, следует вывод, что (при всей аргументированности этого разрыва) без объяснения судьбы населения, оставившего памятники IV-III вв. до н.э. между Днестром и Карпатами, проблема соотношения культур будет оставаться открытой.

Ко всем этим сложностям, следует отнести еще одну. В Карпато-Прутском регионе, в отличие от Пруто-Днестровского, ситуация хронологического разрыва между гетской и поянештской культурой не наблюдается. На городище Котнарь обнаружены фрагменты косских амфор конца III — начала II века (Teodor 1989). То есть верхний рубеж культуры гетов мог быть различным в Молдове и Бессарабии.

Наряду с исследованиями такого рода, продолжались публикации новых материалов раскопок. Среди них особенно заметными оказались результаты изучения С. П. Пачковой поселения Горошова (Тернопольская область). Главной особенностью керамики этого поселения, кроме упомянутых аналогий губинской группе, является отсутствие так называемых «гето-дакийских» черт (Пачкова 1983: 49). Пачкова пришла к заключению, что сложение этого комплекса является отражением движения бастарнов не дунайским, а днестровским путем, что именно этим обусловлена специфика памятника.

М. Б. Щукин сделал ряд хронологических уточнений относительно времени существования поселения Горошова. Основанием для датировки послужили прежде всего обломки сапропелитовых браслетов. Если Пачкова, ссылаясь на Филипа и Бенадика, датирует период их максимального бытования второй половиной II века до н.э., то М. Б. Щукин, основываясь на узких датах распространения этих изделий, предложенных в корреляционных таблицах Буйны (Bujna 1982), считает возможным существование поселения где-то в интервале перехода от Латена С-1b к Латену С-2, то есть в первой половине II века (Щукин 1987b).

Из этой хронологической детали вырастает целая проблема. Не является ли наличие так называемых гето-дакийских, фракоидных форм в культуре Поянешть-Лукашевка явлением хронологическим? При этом явлением, в меньшей степени связанным с самыми ранними этапами поянештской культуры? Но ведь тогда невозможно представить себе то, каким образом гетские реминисценции проникли в культуру бастарнов, не только перескочив через хронологическую лакуну, но и через целый этап (конец III — первая четверть II в.) в существовании этой культуры.

4. Фракоидные формы

Прежде чем ответить на эти вопросы, следует рассмотреть поподробнее эти фракоидные формы.

Достаточно сложно отыскать какое-либо серьезное типологическое описание этих форм у приверженцев автохтонной версии. В настоящее время она высказывается в еще более упрощенном виде, нежели это происходило в период внедрения данной концепции в историографию. Так, И. Т. Никулицэ из соотношения чернолощеной («бастарнской») и груболепной («гетской») керамики приходит к выводу о процентном преобладании на поселениях коренного населения над чужеродным (Никулицэ 1987: 206), хотя за этой статистикой скрывается лишь преобладание кухонной керамики над столовой. Среди первой, безусловно, доминируют типы керамики, генетически восходящие к керамике культур северо-европейского Латена.

Возможность убедиться в правоте подобного соотношения типов керамики была у автора при исследовании поселения Требужены (Центральная Бессарабия). В Требуженских комплексах сосуды с «хроповатой» поверхностью, подлощениями у дна и венчика, сосуды с утолщенным венчиком, вертикальными расчесами по тулову образуют основную категорию кухонной керамики (Ткачук 1991). Вместе с этим, на поселении Требужены была обнаружена керамика, которую невозможно отнести к культурам латенского круга, но которая, несмотря на ее незначительный удельный вес, образует два весьма устойчивых типа. Эти типы известны и на других поселениях культуры.

Тип первый. Это небольшие сосуды (чаще фрагменты сосудов) — горшки баночных пропорций, с вертикальным или слегка отклоненным венчиком. Стенки горшков ближе к плечикам украшены пуговичными налепами или маленькими ручками-упорами (Ткачук 1991: рис. 2/8, 9; 3/13). От лжефракоидных форм, обнаруженных Бабешем в монографии Бекера, их отличают прежде всего пропорции. Ясторфские горшки, обнаруживающие некоторое сходство в декоре с гетскими, как правило, более вытянуты, тяготея функционально к корчагам. Аналогии сосудам этого типа есть в Требуженах (Ткачук 1991: рис. 1/13), а также в Бранештах (Романовская 1965). Что же касается упомянутых сосудов баночных пропорций, орнаментированных налепами в виде шишечек и пуговиц, то внутрикультурные аналогии им образуют целую серию подобной керамики. Эти откровенно небастарнские горшки присутствуют на поселениях: Сокол (Вакуленко, Пачкова 1978: рис. 7/2, 3), Круглик (Пачкова 1977: рис. 2/4, 5, 9, 10, 12; рис. 3/9), Лукашевка II (Федоров 1960: табл. 4а/1; 4/9), Ульма (Romanovscaja 1987: des. 8/2, 3, 6, 8; 14/13), Кукорэнь (Teodor 1967: des. 2/4), Лунка-Чурей (Teodor 1967: des. 8/4; Teodor 1987: des. 11/7).

Этот тип горшка и дает, собственно, основную массу фракоидных ассоциаций, заставляя видеть в поянешть-лукашевской культуре некоторое продолжение гетских традиций. Это впечатление может усилиться после замечания об отсутствии аналогий этому типу в ясторфской культуре. Но все дело в том, что этот тип керамики существенным образом отличается и от керамики гетской. В фундаментальном монографическом исследовании гетской керамики, принадлежащем Е. Москалу (Moscalu 1983), мы не найдем убедительных аналогий этому типу. Основное отличие его от гетских горшков в отсутствии крупных упоров, место которых занято пуговичными налепами, а также различие в пропорциях. Подобные невысокие, банковидные горшки с отклоненным венчиком в гетской куль-

туре IV-III вв. до н.э. неизвестны.

Что же получается? Фракоидные формы не находят фракийских прототипов?

Прототипы отыщутся, если обратиться к не менее фундаментальному труду И. Г. Кришана, посвященному керамике предримского времени Трансильвании. Окажется, что этот тип горшка поянешть-лукашевской культуры является одной из ведущих форм в керамическом комплексе дакийской культуры Трансильвании II-I вв. до н.э. (Crişan 1969: Pl. LXXII, LXXIII, LXXIV, LXXV, LXXVI; см. также: Macrea, Floca, Lupu, Berciu 1968: des. 46, 51). Особенно большую серию непосредственных аналогий дают материалы исследованного в Трансильвании поселения Арпашу де Сус (Macrea, Glodariu 1976: des. 15/10, 11, 12; 19/2, 14; 44/10).

Вторым типом керамики, восходящим к этому же кругу аналогий, являются «дакийские чаши», фрагменты которых известны на всех вышеуказанных поселениях, а среди не указанных — на поселении Ботошань (Teodor 1980). Отсутствие и этого типа в культуре гетов IV-III вв. до н.э. заставляет радикально изменить отношение к так называемому «гетскому» наследию как источнику некоторых фракоидных традиций в культуре Поянешть-Лукашевка.

О том, что речь идет не о наследии, свидетельствует нижняя дата появления обоих типов керамики. Весьма удачно зафиксировано их сочетание в одном комплексе с кельтской графитированной керамикой и фрагментом клейменой родосской амфоры (поселение Скела Кладовей, землянка №1, район Турну Северин, см.: Boroneant, Davidescu 1968: 254-256, des. 1, 2). Клеймо преота Калликратида, известного также по материалам пергамского комплекса, датируется авторами раскопок в интервале 220-180 гг. (Boroneant, Davidescu 1968: 254). То есть достоверное присутствие банковидных горшков и чаш в дакийской культуре прослеживается примерно с рубежа III-II вв. до н.э. Но в таком случае оказывается, что фракоидные формы проникают в культуру бастарнов не из предшествующей, а из синхронно существующей культуры. На это обстоятельство косвенно указывают материалы поселения Горошова. Ранняя дата поселения, быть может, свидетельствует о том, что таких дакийских типов у «поянештцев» просто еще не было в первой четверти II века. Следовательно, где-то после этого периода и произошло внедрение в керамический комплекс культуры Поянешть-Лукашевка дакийских элементов.

5. Три вопроса по следам культурной катастрофы

Мы достаточно далеко отдалились от первых трех загадок-вопросов. Теперь, чтобы вернуться к ним, необходимо ответить на три других вопроса. Вопрос первый — причина исчезновения в середине III века до н.э. гетской культуры Пруто-Днестровья и судьба населения. Вопрос второй — причины исчезновения и судьба населения Карпато-Прутского региона, оставившего такие памятники, как городище Котнарь. Вопрос третий — обстоятельства внедрения в культуру бастарнов дакийских черт.

Как обычно, к ответу можно приблизиться, если попытаться выйти за узко-региональные границы и провести ряд историко-археологических сопоставлений. Прежде всего, с двумя регионами — Нижним Поднепровьем (и Крымом) и Трансильванией. Именно в этих взаимоудаленных областях неожиданно проявляются результаты культурной катастрофы, происшедшей в Карпато-Днестровских землях в III- II вв. до н.э.

Нижнее Поднепровье и Крым. На рубеже IV-III вв. до н.э. под ударами сарматов гибнет Великая Скифия (Мачинский 1971). Исчезают царские курганы скифов, исчезают могильники рядового населения. В начале III века гибнет крупнейшее поселение степняков на восточном рубеже Скифии — Елизаветовское городище (Виноградов, Марченко 1991: 153). И на фоне этого катастрофического процесса наблюдается совершенно противоположная картина. В Нижнем Поднепровье и в Крыму возникают так называемые «позднескифские городища» (Погребова 1958; Вязьмитина 1969). Их нижняя дата (городища Гавриловское, Знаменское, Золотая Балка) пока не имеет общепринятых контуров. Хотя Н. Е. Берлизов попытался внести некоторую ясность в этот вопрос. По его наблюдениям, нижнеднепровские городища существовали как бы в два этапа. Начало первого из них приходится на III век (Берлизов 1991: 211). Этому периоду в существовании городищ Берлизов не находит синхронных погребальных комплексов. Они возникают в облике катакомбных, грунтовых могильников где-то в середине I века до н.э. (Берлизов 1991: 211). В это же время происходит разрушение городищ, а затем их повторное использование, начиная с рубежа эр.

Н. Е. Берлизов выдвинул смелую гипотезу о том, что появление погребальных комплексов в середине I в. до н.э. не связано с эволюцией местной, скифской традиции, а является проявлением западного варианта аланской культуры. Именно носители этой культуры приняли участие в разрушении Нижнеднепровских городищ, а потом в их повторном использовании.

Если Н. Е. Берлизов прав, то окажется, что скифскими нижнеднепровские городища были только до середины I века до н.э. Но и это утверждение может быть несколько поспешным. Во-первых, возникновение малых городищ — явление весьма неожиданное для культуры номадов. Во-вторых, оказывается, что скифы становятся изобретателями новой культурной традиции в условиях культурной катастрофы.

А. Н. Щеглов, прослеживая сходное становление позднескифской культуры в Крыму, полагает, что такого рода новации необъяснимы только с позиций внутреннего развития скифской культуры. Он пишет: «В топографии городищ и фортификации, планировочной структуре и типах жилищ и общественных построек, наконец, в технике строительства сочетаются, с одной стороны, упрощенные греческие элементы, а с другой — не греческие, но и не скифские. Строители крепостей, жилых и общественных построек из камня должны были обладать определенной строительной традицией, присущей не кочевому, но оседлому населению» (Щеглов 1998: 150). Щеглов подчеркивает, что уже в начальном периоде, около середины II в. до н.э. варварское население Крыма было по преимуществу земледельческим, а не кочевническим («с сохранением признаков кочевого/полукочевого быта»), о чем свидетельствует, по его мнению, «внедрение в севооборот голозерных пшениц и винограда, то есть культур, типичных для греческого земледелия, но совершенно не характерных для степной (в том числе крымской) и лесостепной Скифии предшествующего времени» (Щеглов 1998: 150).

Можно было бы пофилософствовать по этому поводу и поискать то или иное объяснение наблюдаемому, если бы не одно обстоятельство. Культура Нижнеднепровских городищ и Крыма, прежде всего, керамика демонстрирует достаточно большое отклонение от классического облика скифских древностей. Это отклонение выражается в присутствии гетских форм и орнаментальных мотивов в керамическом комплексе городищ.

Гетские аналогии позднескифской керамике приводились еще Н. Н. Погребовой (1958). Отдельную статью им посвятила М. И. Вязьмитина (1969). Количественное соотношение этих форм с остальными типами керамики определить достаточно сложно. Но интересно то, что «негетские» формы также зачастую не оказываются скифскими. Они представлены уже знакомыми нам типами поянешть-лукашевских мисок с подграненными венчиками (Вязьмитина 1969: 127).

Складывается впечатление, что в облике культуры нижнеднепровских городищ мы сталкиваемся с затейливым переплетением утерянных гетских керамических и архитектурных традиций с традициями скифской культуры и элементами каких-то латенизированных культурных групп. И это затейливое переплетение очень удачно заполняет отмеченный хронологический хиатус между гетской и поянешть-лукашевской культурой Пруто-Днестровья. Правда, заполняет оно его в регионе Нижнего Поднепровья и отчасти Крыма. Отсюда вытекает два вопроса. Каким образом гетская культурная традиция проникла в Нижнее Поднепровье и Крым? Какого рода контрагент латенского происхождения вступил во взаимодействие со скифами и гетами?

Трансильвания. Здесь в конце первой четверти II века до н.э. возникает новая культура — дакийская. Наиболее ранними дакийскими памятниками Трансильвании можно считать пункты: Сигишоара (Horedt, Seraphin 1971), Арпашу де Сус (Macrea, Glodariu 1976), Мойград (Macrea, Russu 1960), Морешть (Horedt 1965). Но из этих памятников самыми надежными данными для определения нижней даты культуры обладает поселение Морешть, где была зафиксирована фибула среднелатенской схемы, относящаяся, по убеждению З. Возняка, еще к фазе Латена С-1 (Wozniak 1974). Именно эта группа памятников и сменила в Трансильвании существовавшую еще с Латена В-2а кельтскую культуру.

Но, по убеждению некоторых исследователей, речь идет не о смене кельтской культуры дакийской, а о постепенном превращении дако-кельтской культуры в дакийскую. Происходило это путем сложных мутаций, в результате которых даки все-таки переварили существовавший в их культуре с середины IV века кельтский компонент (Crişan 1971: 554; Zirra 1975: 49).

Такой взгляд на латенскую культуру Трансильвании и на процесс ее смены подвергался обоснованной критике. Зенон Возняк указал на отсутствие преемственности между латенскими древностями Трансильвании и предшествующей фрако-иллиро-скифской культуры Сентеш-Векерзуг-Хотин (Wozniak 1974: 68-60). Фракоидные элементы, имеющиеся в кельтских древностях Трансильвании, не определяют облик культуры и носят «спорадический характер» (Wozniak 1974: 68-60).

Таким образом, получается, что на рубеже фаз С-1/С-2 в Трансильвании происходит смена культур. Кельтов сменяют даки. По крайней мере, в фазе С-2 кельтов в Трансильвании уже нет (Bujna 1982; Shchukin 1989: 80-81). Абсолютные даты этого процесса определить достаточно сложно. Дендродаты, приводимые Х. Поленцем и А. Мироном, различны. Это, соответственно, 185-170 гг. до н.э. или 190 гг. (Об этом см.: Babeş 1988: 23).

Так или иначе, но этот процесс синхронен появлению в поянештской культуре дакийских черт. Этот процесс оказывается столь же синхронен противоположному явлению — появлению поянешть-лукашевской керамики в керамике даков Трансильвании. Проникновение поянештской культуры в дакийскую можно проследить на самых ранних памятниках. И. Т. Никулицэ, правда, пишет, что «следы пребывания бастарнов в Карпатской котловине не обнаружены», что «до сих пор в этом районе не известны памятники поянешть-лукашевского облика, содержащие бастарнский материал» (Никулицэ 1987: 231). Приходится только сожалеть по поводу столь категоричного заявления. Еще в 1965 году Куртом Хоредтом были опубликованы материалы посе-

ления Морешть, на котором были обнаружены многочисленные фрагменты мисок с фацетированными венчиками так называемого лукашевского типа (Horedt 1965: Abb 9-10). С поянештской культурой можно связать лепной горшок из Мойград (Macrea, Russu 1960: 213, abb. 11), украшенный типичным пшеворским орнаментом, аналогии которому есть и в Губинской группе, в частности, в Любошицком могильнике (Domanski 1975: табл. XX/e).

Но, кроме этих классических проявлений бастарнской культуры в Трансильвании, можно отметить и проявление ее влияния на складывание керамического стиля дакийской культуры. Поверхность сосудов «украшается» беспорядочными расчесами и прорезными линиями. Такую стилистику в оформлении тулова мы не найдем в культурах IV-III вв. до н.э. в Карпато-Дунайском регионе. Зато она очень близка поянештской.

Таким образом, параллельно появлению дакийских элементов в культуре Поянешть-Лукашевка, в Трансильвании происходил процесс противоположный. Можно предположить, что мы имеем дело с двумя сторонами одного и того же единого во времени процесса. Но развернулся он уже после того, как произошло становление обеих культур.

Время образования дакийской культуры можно сопоставить с прекращением функционирования городища Котнарь в Молдове, гетской культуры в Пруто-Карпатской зоне. Возняк предположил, что именно носители этой культурной группы, вытесненные в конце III века бастарнами, в свою очередь вытеснили кельтов из Трансильвании, заложив таким образом основы дакийской культуры (Wozniak 1974: 64). Трудно решить, исходя из имеющихся данных, кто кого вытеснил, но пришлый для Трансильвании характер культуры даков указывает на то, что события могли развиваться примерно в таком направлении.

6. Маятник миграций и «молодая ветвь гетов»

Если задаться вопросом о причинах катастрофы Гетики, то стоит обратить внимание на то, что, в отличие от VI-V вв., в IV-III вв. до н.э. Карпато-Днестровский регион — это область наивысшей концентрации памятников гетской культуры. Их здесь более 250, что составляет, по подсчетам И. Т. Никулицэ, 2/3 от их общего числа (Никулицэ 1987: 84). При такой статистике мы вправе говорить о перенаселенности земель, занятых гетами. Причем решить проблему избыточного населения геты не могли на протяжении всего IV века. На западе этому препятствовали Карпаты, за которыми находились кельты, только вошедшие во вкус своей «исторической экспансии». На востоке и юге таким непроходимым барьером были скифы. Противостояние с последними отразилось в системе городищ, оконтуривающих всю восточную и юго-восточную периферию Гетики (Мелюкова 1969). Все это закладывало предпосылки последующего взрыва, спонтанной миграции, а не постепенного расширения ареала культуры.

И вот — в конце IV века Скифия гибнет. Несчастный случай в облике сарматского вторжения разрушил внезапно всю сложившуюся структуру привычных культурных оппозиций. Маятник трансформационных процессов начал раскачиваться. Это был именно маятник — движение с неограниченным выбором перемещений, миграций, выходов из катастрофических состояний. Качнувшись с востока на запад, движение маятника изменений обрело большую амплитуду. Именно поэтому не удивительны явления культурной рокировки, встречных миграционных волн. Скифы уходят в Крым и Добруджу. Геты Пруто-Днестровья начинают перемещаться в восточном направлении, по излюбленному маршруту фрако-балканских племен (Марченко 1974; 1988). «Герметичность» Гетики на востоке нарушается, и необходим лишь внешний толчок, чтобы развернулись далеко идущие культурогенетические реакции.

Не исключено, что такой «механический», внешний фактор действительно сыграл определенную роль в истории гетов. Если согласиться с К. К. Марченко и М. Б. Щукиным в том, что информация декрета в честь Протогена об угрозе Ольвии со стороны скиров и галатов относится не к рубежу III-II вв. (Книпович 1966; Карышковский 1968; 1971), а отражает события, происшедшие в интервале 70-20 гг. III века (Щукин 1991: 11; 1993: 93; Марченко 1985), то именно скиро-галаты могли оказаться таким «провоцирующим» внешним фактором. Наблюдения М. Б. Щукина по хронологии кельтских находок в Молдове (фибула из Калфы, клад у Бубуечь) (Чеботаренко, Щербакова, Щукин 1987), выводящих на указанные даты, некоторые новые материалы (шлем типа Монтефортино A/B (Бруяко, Росохатский 1993) свидетельствуют в пользу этого предположения.

Вероятнее всего, скиры и галаты не только сдвинули в восточном направлении ареал Пруто-Днестровской Гетики, но и возглавили это продвижение в Нижнее Поднепровье и Крым. В результате именно такого развития событий могла сложиться столь синкретичная и типологически неустойчивая гето-латено-скифская культура нижнеднепровских городищ (Tkachuk 1992; Tcaciuc 1994; Ткачук 1995; 1997; Бруяко, Ткачук 1994). А. Н. Щеглов, поддерживая эту гипотезу, предлагает включить в число несомненных аргументов миграции части гетов на восток, в Нижнее Поднепровье и Крым, Карпато-

Днестровские аналогии позднескифским городищам (Щеглов 1998: 151).

В отличие от традиционно-катастрофической Пруто-Днестровской Гетики, Гетика Прикарпатская или Пруто-Карпатская могла дожить до прихода бастарнов. Быть может, что именно этих гетов вытесняли бастарны с одного берега Дуная на другой (Страбон VII, 3, 13). Быть может, именно эти геты перемещались под натиском бастарнов в Трансильванию. М. Б. Щукин предполагает, что кельтов из Трансильвании вытеснили бастарны периода их походов во главе с Клондиком в Македонию (Shchukin 1989: 80-81). Но, выдвигая эту версию, М. Б. Щукин не использовал материалы поселения Морешть, включающих в себя бастарнскую керамику, правда, с преобладанием дакийской. Такой контекст заставил бы привлечь к трансильванским событиям еще и пришлых даков. История с Клондиком-Клойлием, три раза мелькнувшим в письменных источниках в качестве то предводителя бастарнов, то «галльского царька», то предводителя гетов, очень красноречиво иллюстрирует прослеженную ситуацию. Бастарно-дакийские отношения, отразившиеся археологически в появлении к западу от Карпат нового керамического стиля (горшки с прорезными линиями, расчесами по тулову), а к востоку — в проникновении в поянештскую культуру дакийских черт, также вписываются в эту картину. А все вместе эти наблюдения позволяют сделать вывод о том, что единственным регионом, в котором могло произойти столкновение даков — потомков гетов с бастарнами, единственным регионом, в котором геты превратились в даков, является Трансильвания. Возможный интервал событий: 179-168 гг. до н.э.

7. Смена культур или сакральная катастрофа?

Изучение смены культур, происшедшей в Трансильвании, убеждает в том, насколько не случайно оказался сохраненным в юстиновском сокращении фрагмент о наказании даков. То, что произошло в конце первой четверти II века до н.э. на территории, становящейся Дакией, подводит более чем логический итог всем смысловым изменения культуры «самых честных и мужественных среди фракийцев».

Даки — «потомки гетов», или же в иных переводах — «молодая ветвь гетов», действительно были сурово наказаны. По имеющимся археологическим уликам, у них «исчез» погребальный обряд. То есть он, конечно же, не исчез, а стал абсолютно неуловим археологическими средствами. Поселения существуют, а погребений нет (Babeş 1988: 17-22).

Нечто похожее произошло несколько позднее в Кельтике, на рубеже Латена C-2/D-1. То есть около 120-100 гг. до н.э. В период кельтской «промышленной революции», расцвета цивилизации оппидумов у кельтов «исчезает» обряд погребения. Происходит это не во всей Кельтике. Неведомая сакральная трансформация охватила области Баварии, Тюрингии, Гельвеции и отчасти Богемии (Babeş 1988: 23-29).

Бабеш видит в этих процессах просто результат какой-то религиозной реформы (Babeş 1988: 22). Иное объяснение изменению обряда у кельтов предложили В. Е. Еременко и М. Б. Щукин. Они обратили внимание на следующий пассаж из Плиния Старшего: «В древности самым явным признаком победы считалась передача зеленого стебля. Она означала отказ от обладания землей, от пользования производящей и питающей силой почвы, даже от погребения в земле: этот обычай, как я знаю, до сих пор сохранялся у германцев» (XXII, 8). Завоевание южной части Кельтики кимврами и тевтонами, по мнению Еременко и Щукина, могло привести к тому, «что значительная часть кельтов была вынуждена отказаться от «права пользования производящей и питающей силой почвы»» (Еременко, Щукин 1992: 87). Военная активность ближайших «родственников» кимвров и тевтонов — бастарнов и последующее поражение даков Орола, вероятно, привело к сходной инверсии, за которой Ливиу Франга увидел все признаки «символической смерти этноса». Изменяется эсхатологическая концепция потомков гетов. И это изменение подводит некоторый итог диалогам культурных миров скифов, фракийцев, кельтов, гетов, греков. Миров, большая часть из которых находила в новой эпохе только лишь те или иные формы символической и реальной смерти.

В Подунавье пробирается Рим, а вместе с ним новая эпоха, для которой уже очень скоро станет добрым правилом знаменитый евангельский совет: «Предоставь мертвым погребать своих мертвецов».

Стрела времени. (Заключение)

Подведем некоторые итоги.

Во-первых, как мы видим, в предложенной реконструкции для автохтонных версий развития гетской культуры места не остается. С другой стороны, места предостаточно, если исходный пространственный масштаб анализа проблемы будет несколько шире современных государственных границ, а динамичные и естественные перемещения внутри этого пространства будут признаны столь же естественными, как разгуливания по комнатам собственной квартиры. То есть сторонники автохтонной идеологии будут становиться тем более правыми, чем большую часть суши они будут в силах признавать родной.

Во-вторых, наблюдается достаточно точное совпадение данных письменных и вещественных источников. Но подобное совпадение стало очевидным только при поликультурном взгляде на региональную историю, только при самом общем взгляде на культурное развитие, исключающем этноцентристские реконструкции. Для Гетики это совпадение выразилось в том, что основной очаг формирования культуры исторических гетов начала VI-V вв. до н.э. находился к югу от Дуная, в районе Добруджи; в том, что первые памятники гетской культуры появились к северу от Дуная не раньше конца VI века, а массовое заселение гетами Карпато-Днестровских земель приходится на конец V века; в том, что где-то в середине III века до н.э. карпато-днестровская Гетика гибнет; в том, что даки — это действительно «потомки гетов» или же «молодая ветвь» карпато-днестровских гетов, в том, что они *приходят, мигрируют* в Трансильванию в конце первой четверти II века до н.э., а не продолжают там жить с эпохи Бронзы.

В-третьих, прослеженные этнокультурные ситуации демонстрируют совсем иную эмпирическую закономерность в развитии культур региона, совсем иную модель процесса, чем та, которая предлагается автохтонистами. В этой модели без труда наглядно проступает своеобразная «стрела времени», стрела культурного старения, диагностический индикатор способности культур к длительному выживанию либо, наоборот, к гибели, к катастрофе. Мы видим, как *от этнической и культурной неопределенности*, *«барочного» разнообразия* (группы: Пыржолтены-Данчены-Олонешты, Бырсешты-Фериджиле) *гетская культура эволюционировала к четкому, узнаваемому контуру.* В процессе этой эволюции становящаяся Гетика потеряла почти весь потенциал разнообразия VII-VI вв. В керамике это видно достаточно наглядно. К IV веку в археологической культуре гетов уже не отыскать следов влияния керамических традиций скифов и иллирийцев. И именно на этой стадии абсолютной узнаваемости гетская культура Карпато-Поднестровья исчезает. И, спустя половину столетия, вновь воссоздалось состояние определенной неупорядоченности, некоторого хаоса, этнической размытости признаков. Это состояние охватило огромные территории. Достаточно привести примеры «бастарнизированной» дакийской культуры, культуры Поянешть-Лукашевка, культуры «позднескифских» городищ Нижнего Поднепровья и Крыма. Вновь формируется совершенно новая культурная ситуация. В очередной неупорядоченности складывались уже другие культуры, другие народы. В это время формировалась уже новая Гетика. О ней заговорят только в I веке до н.э. Эта Гетика — Гетика-рецидив, это Гетика Буребисты.

Из рассмотренных реконструкций напрашивается простой вывод*: чем культура разнообразней по своим исходным слагаемым, тем выше ее потенциал, тем устойчивей ее последующее развитие. С другой стороны, чем она уравновешенней и стерильней, тем менее завидна ее недалекая судьба.* Потеря исходного культурного разнообразия, развитие в сторону униформизации — это и есть упомянутая «стрела времени». Именно она вызывает инстинктивное раздражение всех тех, для кого культурное разнообразие, хронологические и типологические разрывы — либо следствие плохой изученности проблемы (материала), либо признак злостной научной фальсификации. С автохтонистской точки зрения, разнообразие культур, этнонимов, культурных ситуаций, форм перемещения в пространстве — это все то, что должно быть отброшено как некая помеха, информационный шум. Это все то, что может быть, с их точки зрения, без сожалений потеряно.

В свою очередь, изменение ситуации в сторону актуализации такого «информационного шума», признание за ним статуса объекта культурного наследия также приводит к некоторым потерям, а не к одним лишь радостным обретениям. К такого рода потерям, в известном смысле, приводит и предложенная реконструкция.

Какую же Гетику «мы потеряли»?

Та Гетика, «которую мы потеряли», была хронологически аморфна. У нее не было ни начала, ни конца. Ее пространства населяли какие-то вечные, бессмертные, а значит, неживые гето-даки. В потерянной Гетике с трудом находилось место лишь для скифов, и то на правах агрессивных завоевателей, с которыми приходилось считаться в древние времена и с курганами которых приходится считаться в нынешнее время. Эта вязкая и абсурдная Гетика потеряна. Между ней и культурой современного археологического исследования вырастает лакуна непонимания, а хронологический разрыв начинает отсчет с любой археологической эпохи.

В той Гетике, которую мы приобретаем, наряду со скифами, возникают новые персонажи: трибаллы, кельты, бастарны. Причем все они возникают не на правах статистов исторической сцены Карпато-Подунавья или случайных прохожих по коридору между Карпатами и Черным морем. Скифы, трибаллы, кельты и бастарны видоизменяют облик Гетики, изменяют направление ее развития в самых радикальных точках. Они же «задают» новые вопросы, на которые только предстоит ответить. Эти вопросы-проблемы перекидывают своеобразные смысловые «мостики» от исчезнувшей Гетики в будущее, в настоящее. Благодаря им новая Гетика открыта для диалога. Остается только его продолжить.

ЛИТЕРАТУРА

Алексеев А. Ю. 1987. Хронография Скифии второй половины IV в. до н.э. // АСГЭ, Вып. 28.

Алексеев А. Ю. 1992. Скифская хроника. Санкт-Петербург.

Андреев Ю. В. 1991. Археологическая культура в контексте реального исторического процесса // Археологические культуры и культурная трансформация. Л.

Андрух С. И. Чернов С. И. 1990. Новые скифские памятники Дунай-Днестровского междуречья // СА, №2.

Андрух С. И. 1995. Нижнедунайская Скифия в VI — начале I в. до н.э. Запорожье.

Антипенко Е. О. 1992. Скифские курганы на Нижнем Днестре // Археологический вестник. Запорожье, №3.

Берлизов Н. Е. 1991. О соотношении позднескифских городищ и катакомбных могильников Нижнего Днепра // Древнейшие общности земледельцев и скотоводов Северного Причерноморья V тыс. до н.э. — V в. н.э. Кишинев.

Бобчева Л. 1975. Тракийски некрополи при селата Крыгулево и Черна, Толбухински окръг // ИНМВ, XI XXVI.

Борзияк И. А., Манзура И. В., Левицкий О. Г. 1983. Коржевские курганы // АИМ в 1979 — 1980 гг. Кишинев.

Бруяко И. В., Кожокару В. А. 1990. Новый фракийский памятник на Нижнем Дунае и некоторые вопросы политической истории региона в I тысячелетии до н.э. // АИМУМ. Кишинев.

Бруяко И. В., Гизер С. Н. 1990. Фракийская керамика из раскопок городища Новосельское — II на Нижнем Дунае // Охранные историко-археологические исследования на Юго-Западе Украины. Одесса-Запорожье.

Бруяко И. В., Росохатский А. А. 1993. Кельто-италийский шлем из коллекции Белгород-Днестровского музея // ПАВ, №7.

Бруяко И. В., Ткачук М. Е. 1994. Бессарабия VII-I вв. до н.э. Цикл кросскультурных диалогов // Проблемы скифо-сарматской археологии Северного Причерноморья. ТДК., Запорожье.

Бужор Э. 1958. О гето-дакийской культуре в Муригиоле // Dacia, II. Bucureşti.

Вакуленко Л. В., Пачкова С. П. 1979. О культурной принадлежности поселения позднелатенского времени у с. Сокол // Славяне и Русь. Киев.

Вахтина М. Ю. 1993. К вопросу о влиянии демографической ситуации на становление и развитие греко-варварских связей в различных районах Северо-Западного Причерноморья // ПАВ, №6.

Венедиков И. 1966. Новооткрито тракийското могилно погребение във Враца // Археология, VIII, №I.

Венедиков И. 1975. Съкровището от Враца. София.

Венедиков И., Фол А. 1970. Мегалитите в Тракия. София.

Виноградов Ю. А., Марченко К. К. 1991. Северное Причерноморье в скифскую эпоху. Опыт периодизации истории // СА, №I.

Вязьмитина М. И. 1969. Фракийские элементы в культуре населения городищ Нижнего Днепра // Древнейшие фракийцы в Северном Причерноморье. МИА, Вып. 150.

Грацианская Л. И. 1988. «География» Страбона. Проблемы источниковедения // Древнейшие государства на территории СССР. М.

Данов Х. 1968. Древна Тракия. София.

Демченко Т. Левицкий О. Г. 1990. К вопросу о шолданештских памятниках на территории Молдавии // АИМУМ. Кишинев.

Дергачев В. А. 1979. Раннескифское погребение на Среднем Пруте // СА, №3.

Еременко В. Е. 1990. Процесс латенизации археологических общностей позднего предримского времени Восточной Европы и сложение зарубинецкой культуры // Автореф. дисс. канд. ист. наук. Л., 1990.

Еременко В. Е., Щукин М. Б. 1992. Кимвры, тевтоны, кельтоскифы и некоторые вопросы хронологии рубежа среднего и позднего латена // Проблемы хронологии эпохи латена и римского времени. Санкт-Петербург.

Златковская Т. Д. 1971. Возникновение государства у фракийцев. М.

Златковская Т. Д., Полевой Л. Л. 1969. Городища Прутско-Днестровского междуречья IV-III вв. до н.э. и вопросы политической истории гетов // МИА, вып. 150

Зуев В. Ю. 1993. Изучение жаботинских гравировок и проблема развития звериного стиля в европейской Скифии на рубеже VII-VI вв. до Р. Хр. // ПАВ, N6.

Карышковский П. О. 1968. До питання про дату ольвийского декрету в честь Протогену // Археологія, т. 21.

Карышковский П. О., Клейман И. Б. 1985. Древний город Тира. Киев.

Каспарова К. В. 1978. О фибулах зарубинецкого типа // АСГЭ, вып. 18.

Каспарова К. В. 1981. Роль юго-западных связей в процессе формирования зарубинецкой культуры // СА, №2.

Кетрару Н. А., Серова Н. Л. 1987. Скифские курганы в Дубоссарском районе // Молдавское Поднестровье в первобытную эпоху. Кишинев.

Кетрару Н. А., Серова Н. Л. 1990. Исследование скифского кургана 21 у г. Дубоссары // АИМ в 1985 г. Кишинев.

Клейн Л. С. 1993. Феномен советской археологии. Санкт-Петербург.

Книпович Т. Н. 1966. К вопросу о датировке ольвийского декрета в честь Протогена // ВДИ, №2.

Лапушнян В. Л. 1979. Ранние фракийцы X — начала

IV в. до н.э. в лесостепной Молдавии. Кишинев.
Лапушнян В. Л., Никулицэ И. Т., Романовская М. А. 1974. Памятники раннего железного века // АКМ №4.
Латышев В. В. 1993. Известия древних писателей греческих и латинских о Скифии и Кавказе. Санкт-Петербург.
Левицкий О. Г. Демченко Т. И. 1995. Памятники скифской архаики на территории Молдовы // Древности степного Причерноморья и Крыма.
Марченко К. К. 1974. Фракийцы на территории Нижнего Побужья во второй половине VII-I вв. н.э. // ВДИ, №2.
Марченко К. К. 1975. Ойкеты декрета в честь Протогена IosPE, I-2, 32. К вопросу о зависимом населении Ольвии эллинистического времени // Материалы III Всесоюзного симпозиума по древней истории Причерноморья. Тбилиси.
Марченко К. К. 1988. Варвары в составе населения Березани и Ольвии во второй половине VII-первой половине I в. до н.э. Л.
Марченко К. К. Вахтина М. Ю. 1997. «Древняя Скифия» и Северное Причерноморье // HYPERBOREUS. Studia classica / Vol. 3. Petropoli.
Мачинский Д. А. 1966. К вопросу о датировке, происхождении и этнической принадлежности памятников типа Поянешты-Лукашевка // Археология Старого и Нового Света. М.
Мачинский Д. А. 1971. О времени первого активного выступления сарматов в Поднепровье по свидетельствам античных письменных источников // АСГЭ, вып. 13.
Медведская И. Н. 1992. Периодизация скифской архаики и Древний Восток // РА, №3.
Мелюкова А. И. 1958. Памятники скифского времени лесостепного Поднестровья // МИА, Вып. 64.
Мелюкова А. И. 1969. К вопросу о границе между скифами и гетами // МИА, Вып. 150.
Мелюкова А. И. 1979. Скифия и фракийский мир. М.
Миков В. 1943.. Произходъ на надгробните могили въ България // Годишник на народния музей. София, кн. VII.
Мирчев М. 1962. Раннотракийският могилен некропол при с. Равна // ИАИ, XXV.
Мирчев М. 1965. Тракийският могилен некропол при с. Добрина // ИНМВ, 1/XVI.
Москалу Е. 1991. Некоторые аспекты скифской проблемы в северной и южной Фракии в VI — V вв. до н.э. // Древнейшие общности земледельцев и скотоводов северного Причерноморья V тыс. до н.э. — V в. н.э. Кишинев.
Николов Б. 1967. Гробница III от Могиланската могила във Враца // Археология, IX.
Никулицэ И. Т. 1973. Погребальный обряд гетов в IV-III вв. н.э. // СА, №2.
Никулицэ И. Т. 1977. Геты IV-III вв. до н.э. в Днестровско-Карпатских землях. Кишинев.
Никулицэ И. Т. 1985. Изучение северофракийских поселений в Ханском микрорайоне // АИМ в 1981. Кишинев.
Никулицэ И. Т. 1987. Северные фракийцы в VI-I вв. до н.э. . Кишинев.
Никулицэ И. Т. 1991. Исследование археологических памятников на скальном мысу у с. Бутучень // Древнейшие общности земледельцев и скотоводов Северного Причерноморья V тыс. до н.э. — V в. н.э. Кишинев.
Пачкова С. П. 1977. Поселення поблизу с. Круглик на Буковині // Археологія, №23.
Пачкова С. П. 1983. Археологические исследования многослойного поселения у с. Горошова Тернопольской области // Археологические памятники Среднего Поднестровья. Киев.
Пачкова С. П. 1985. Культура Поянешть-Лукашевка // Этнокультурная карта территории Украинской ССР в I тыс. н.э. Киев.
Погребова Н. Н. 1958. Позднескифские городища на Нижнем Днепре // М., вып. 64
Погребова Н. Н., Раевский Д. С. 1992. Ранние скифы и Древний Восток. М.
Редина Е. Ф. 1989. Погребальный обряд скифов Днестро-Дунайских степей, Поднестровья и Подунавья // Археологические памятники Поднестровья и Подунавья. Киев.
Романовская М. А. 1962. Селище Лукашевка II // СА, №2.
Романовская М. А. 1965. Раскопки в Бранештах в 1962 г. // КСИА, вып. 102.
Ростовцев М. И. 1925. Скифия и Боспор. Л.
Сальников А. Г. 1961. Раскопки поселений IV-III вв. до н.э. у с. Пивденное в 1961 г. // КСОГАМ. Одесса.
Сальников А. Г. 1963. Здание «А» на поселении у с. Пивденное // КСОГАМ. Одесса.
Сергеев Г. П. 1960. Скифский кинжал из Олонештского района МССР // ЗОАО. Одесса. Том I 31.
Серова Н. Л. 1984. Греческая керамическая тара из курганов Молдавии // АИМ в 1984 г. Кишинев.
Смирнов Г. Д. 1949a. Итоги археологических исследований в Молдавии в 1946 г. // Ученые записки ИИЯЛ, т. II. Кишинев.
Смирнов Г. Д. 1949b. Скифское городище и селище «Большая Сахарна» // КСИИМК, вып. XXVI.
Смирнов Г. Д. 1954. Археологические исследования Старого Орхея // КСИА, вып. 54.
Смирнова Г. И. 1993. Памятники Среднего Поднестровья в хронологической схеме раннескифской культуры // РА, №1.
Страбон. 1964. «География» в 17 книгах. Л.
Субботин Л. В., Островерхов А. О., Охотников С. Б., Редина Е. Ф. 1992. Скифские древности Днестро-Дунайского междуречья. Киев.
Субботин Л. В., Шмаглий Н. М. 1970. Курганы у села Огородное // МАСП, вып. 6.
Ткачук М. Е. 1991a. Континуитет и стадиальность. Некоторые альтернативы идее этно-культурной непрерывности // Древности Юго-Запада СССР. Кишинев.
Ткачук М. Е. 1991б. Новые данные к исследованию памятников типа Поянешть-Лукашевка по материалам Старого Орхея. // Археологические исследования в Старом Орхее. Кишинев.
Ткачук М. Е. 1995. Гетика. Культурогенез и культурная трансформация в Карпато-Дунайских землях в VII-II вв. до н.э. // Автореф. канд. ист. наук. Санкт-Петербург.
Ткачук М. Е. 1996a. Тень трибаллов. Из антологии хронологических разрывов. // История, экономика, культура молдаван к востоку от Прута. Кишинев.
Ткачук М. Е. 1996б. Контактная зона и этнокультурная идентичность // Культурные взаимодействия в условиях контактных зон. ТДК — Санкт-Петербург .
Ткачук М. Е. 1997. Nerusskaja идея // Стратум. Структуры и катастрофы. Санкт-Петербург.
Ткачук М. Е. 1998. Гетика. Археология имени // Revista arheologica. Nr 2. Chişinău
Федоров Г. Б. 1960. Население Прутско-Днестровского междуречья в I тысячелетии н.э. // МИА, вып. 89.

Фиалко Е. Е. 1994. Еще раз о происхождении уздечных украшений скифо-фракийского типа // Древнейшие общности земледельцев и скотоводов Северного Причерноморья V тыс. до н.э. — V в. н.э. Тирасполь.

Хахеу В. П. 1987. Предварительные данные о раскопках на гетском поселении у с. Алчедары // Актуальные проблемы археологических исследований. Киев.

Хахеу В. П. 1990. Исследование скифских курганов у г. Тирасполя // АИМУМ. Кишинев.

Хохоровский Я. 1991. Восточные влияния на территории Средней Европы в конце эпохи бронзы и в начале железного века // Древнейшие общности земледельцев и скотоводов Северного Причерноморья V тыс. до н.э. — V в. н.э. Кишинев.

Чеботаренко Г. Ф., Щербакова Т. Ф., Щукин М. Б. 1987. Два предмета латенской и римской эпохи в Молдавии // СА, №4.

Чеботаренко Г. Ф., Яровой Е. В., Тельнов Н. П. 1989. Курганы буджакской степи. Кишинев.

Щеглов А. Н. 1998. Еще раз о позднескифской культуре в Крыму. К проблеме происхождения. // Проблемы археологии. Вып. 4. Санкт-Петербург.

Щукин М. Б. 1978. Об «узких» и «широких» датировках // Проблемы археологии. Л., вып. 2.

Щукин М. Б. 1987. О трех путях археологического поиска предков раннеисторических славян: Перспективы третьего пути // АСГЭ, №28.

Щукин М. Б. 1989. Семь миров древней Европы и проблема этногенеза славян // Славяне. Этногенез и этническая история. Л.

Щукин М. Б. 1991a. Проблема «пробелов» в археологии Молдавии эпохи Латена и римского времени // Древнейшие общности земледельцев и скотоводов Северного Причерноморья V тыс. до н.э. — V в. н.э. Кишинев.

Щукин М. Б. 1991b. Некоторые проблемы хронологии раннеримского времени. К методике историко-археологического сопоставления. // АСГЭ, вып. 31.

Щукин М. Б. 1991c. Центральная и Восточная Европа на рубеже нашей эры // Автореф. дисс. докт. ист. наук. Л.

Щукин М. Б. 1993. Проблема бастарнов и этнического определения поянешты-лукашевской и зарубинецкой культур // ПАВ, №6.

Щукин М. Б. 1995. На рубеже эр. Санкт-Петербург.

Элиаде М. 1991. От Залмоксиса до Чингисхана // Кодры. Кишинев. №7.

Alexandrescu A. 1980. La necropole gete de Zimnicea // Dacia, XXIV.

Alexandrescu P. 1974. Un art thraco-gete // Dacia, XIII.

Alexandrescu P. 1976. Pour une chronologie des VIe-IVe siècles // Thraco-Dacica, I.

Alexandrescu P. 1977. Les modeles grecs de la céramique thraces tournées // Dacia, XXI.

Alexandrescu P. 1983. Les groupes de trésors thraces du Nord de Balkans // Dacia, XXVII.

Alexandrescu P. 1984. Les groupes de trésors thraces du Nord de Balkans // Dacia, XXVIII.

Babeş M. 1970. Dacii şi bastarnii // Memoria Antiquitatis, II

Babeş M., Mihalescu-Bîrliba V. 1970-71. Germanische latenezeitlische «Fouerboke» aus der Moldova // 51-52. Bericht der Römisch-Germanichen Komission.

Babeş M. 1983. Paftale latene din sud-estul Europei // SCIVA, t. 34, N3.

Babeş M. 1985. Date arheologice şi istorice privind partea de Nord-Est a Daciei in ultemele secole inaintea erei noastre // SCIVA, t. 36, N3

Babeş M. 1988. Descoperirile funerare şi semnificatia lor in contextul cultiri geto-dace clasice // SCIVA, t. 39, N1.

Barfield L. 1971. Northen Italy befor Rome. London

Bazarciuc V. 1980. Cetatea geto-daca de la Buneşti, Dealulu Bobului // Materiale şi Cercetări Arheologice. Tulcea.

Bazarciuc V. 1983. Cetatea geto-dacică de la Buneşti, jud. Vaslui // SCIVA, t. 34, N3.

Becker C. J. 1961. Forromersk jernalder i Sud-og Midjytland. København.

Berciu D., Preda C. 1961. Săpăturile de la Tariverde // MCA, VII.

Berciu D. 1969. Arta traco-getică // Biblioteca de arheologie. Bucureşti.

Boroneant V., Davidescu M. 1968. Doua bordeiele dacice la Schela Cladovei, Turnu Severin // Apulum, VII/I.

Bujna J. 1982. Spiegelung der Sozialstruktur auf latenezeitlichen Graberfeldern im Karpatenbecken // Pamatky archeologicke, LXXIII.

Bujor E. 1955. Săpăturile de la Murigiol // SCIV, t. VI NN3, 4.

Bujor E. 1957. Săpăturile de salvare de la Murigiol // Materiale şi cercetării arheologice, III.

Bujor E. 1959. Săpăturile de salvare de la Murigiol // Materiale şi cercetării arheologice, V.

Buzdugan C. 1976. Pumnale hallstattiene tîrzii pe teritoriul României // Cercetarii arheologice. t. 11, N4.

Capitanu V. 1968. Un mormînt Hallstattian, descoperit la Cimbala // Carpica, I.

Capitanu V. 1984a. O spadă de tip akinakes descoperită la Gaiceana, jud. Bacău // Carpica, XVI.

Capitanu V. 1984b. Fibule de tip Latene descoperite în aşezarea de tip «dava» de la Răcătău // Carpica, XVI

Capitanu V. 1987. Ceramica geto-dacică de la Răcătău // Carpica, XVIII-XIX.

Chochorowski J. 1984. Die Vekerzug-Kultur — Fragen ihrer Genese und Chronologie // Acta Archaeologica Carpatica, t. 23.

Chochorowski J. 1987. Rola Sigynnóv Herodota w środowisku kulturowym wcześniej żelaza na nizinie Węgierściej // Przegląd Archeologiczny, vol. 34.

Crişan I. H. 1969. Ceramica geto-dacica cu speciala privire la Transilvania. Bucureşti.

Crişan I. H. 1973. Aşa numitul mormînt de la Selivaş şi problema celui mai veche grup celtic din Transilvania // Sargeta. Acta musei Devencis. X. Deva.

Crişan I. H. 1977. Burebista, şi epoca sa. Bucureşti.

Daicoviciu C. 1969. Dacii din munti Orăştie şi începutului statului sclavagist dac // Dacica. Cluj.

Daicoviciu H. 1972. Dacia de la Burebista la cucerirea romană. Cluj.

Domanski G. 1975. Studia z dziejów środkovego Nadodrza w III-I wieku p. n. e. Ossolineum.

Florescu A. C., Melinte G. 1968. Cetatea traco-getică din a două jumătate a mil. I î. e. n. de la Moşna jud. Iaşi. // SCIV, t. XIX, N1.

Florescu A. C., Rața S. 1969. Complexul de cetăți traco-getice sec. VI-III î. e. n. de la Stînceşti-Botoşana // Studii şi materiale. Suceava.

Fol A., Nicolov B., Mashov S., Ivanov P. 1988. The thracian treasure from Rogozen, Bulgaria. Sofia.

Fologary G. 1960. San Zeno nella Anaunia. Civilta del ferro. Bologna

Franga L. 1992. Les daces et la «mort symbolique». Á propos d'un fragment de Justin. // Symposia thracologica, N9.

Frey O. H. 1960. Die Enstehung der Situlenkunst. Berlin.

Hachmann R. 1961. Die Chronologie der Jüngeren

Vorrömische Eisenzeit // 41. Bericht der Römisch-Germanischen Komission 1960. Frankfurt.
Hachmann R., Kossak G., Kuhn H. 1962. Völker zwischen Germanen und Kelten. Neumünster.
Hansel B. 1974. Zur Chronologie der 7. bis 5. Jahrhunderts v. Chr. in Hinterland von Odessos an der westlichen Schwarzmeerkuste // PZ, Band 49.
Hoddinott R. 1989. Rogozen and Thracian Religion: the Indo-European Factor // The Rogozen Treasure. British Museum Publications.
Horedt K. 1965. Mittlatenzeitliche Siedlungen aus Sieberbürgen // Studien aus Alteuropa: teil II. Böhlau-Verlag. Köln-Graz.
Horedt K, Seraphin C. 1971. Die prähistorische Ansiedlung auf dem Wietenberg dei Sighişoara-Schasburg. Bonn.
Ignat M. 1976. Decouvertes du Hallstatt thrace dans le département Suceava // Thraco-Dacica. I.
Irimia M. 1968. Cimitirele de incenerație geto-dacice de la Bugeac-Ostrov // Pontice. Constanța.
Irimia M. 1992. Descoperiri noi in necropola getica de la Bugeac, jud. Constanța // MCA. Bucureşti.
Kukoc S. 1987. Histarsca stela u kontekstu srodnih zapadnojadranskih spomenica // Arheoloska istrazivania u Istru i Hrvatscom Primorju. Pula.
Levitchi O. 1992. La situation culturelle et historique dans l'éspace carpato-dnistrien a l'époque du Hallstatt // Symposia Thracologica. N9.
Leviţki O. 1996. Considerations sur les monuments funerairs du Hallstattt tardif sur le territoire de la Moldavie // Der Basarabi-Complex in Mittel- und Smdosteuropa. Bukarest.
Lucke W., Frey O. H. 1962. Die situla in Providens. Berlin.
Macrea M., Russu M. 1960. Der dakische Friedhof von Porolissum // Dacia, IV.
Macrea M., Floca O., Lupu N., Berciu D. 1968. Cetăți dacice din sudul Transilvaniei. Bucureşti.
Macrea M., Glodariu I. 1976. Aşezarea dacică de la Arpasu de sus. Bucureşti.
Mihailescu-Bîrliba V. 1976. The Akinakai of Moldavia. A new discovery // Thraco-Dacica. I.
Morinț S. 1957. Săpăturile de la Bîrseşti // MCA, III.
Morinț S. 1961. Săpăturile de la Bîrseşti // MCA, VI.
Morinț S. 1962. Săpăturile de la Bîrseşti // MCA, VII.
Moscalu E. 1983. Ceramica traco-getică. Bucureşti.
Moscalu E. 1989. Das thraco-getische Fürstengrab von Peretu in Rumänien // Bericht der römisch-germanischen Komission. Band 70.
Palada V. 1976. Un mormînt scitic la Rediu-Vaslui // SCIVA, t. 27, N1.
Palada V., Ciuca N. 1972. Noi descoperiri scitice in județul Vaslui // SCIV, t. 23, N2.
Pârvan V. 1926. Getica. Bucureşti.
Polaschec E. 1938. Peuce // Paulys Real-Encyclopedie der classishen Alterthumswissenschaft, Stuttgart.
Porada E. 1963. Iran Ancien. Paris.
Preda K. 1972. Tariverde — aşezare baştinaşă sau «factorie» histriană? // Pontica, V.
Romanovscaja M. A. 1987. Aşezarea de la Ulmu // Arheologia Moldovei, XI.
Shchukin M. B. 1989. Rome and barbarians in Central and Easten Europe. 1-st century B. C. — 1-st century A. D. // BAR 542 I-II. Oxford.
Simion G. 1974. Quelques remarques sur la civilisation gétique des centres et forteresses autochtones de la Dobroudja à la fin du Hallstatt et au commencement du La Tène // Colloque — Mostar.
Simion G. 1976. Gétes de la Dobroudja septentrionale VI-I-er ss. // Thraco-Dacica. Bucureşti.
Simion G. 1992. Geții de la Dunărea de Jos şi civilizația lor. // Probleme actuale ale istoriei naționale şi universale. Chişinău.
Strang D. E. 1964. A greek silver Head-Vase // British Museum Quorterly, XXVIII, N3-4.
Tcaciuc M. E. 1992. Beginning of Dacia // Simposia Thracologica. No 9. Bucureşti
Tcaciuc M. E. 1994. Manifestările culturale din sec. V-I A. Chr. // Thraco-Dacica, XV, 1-2, 1994, Bucureşti.
Tkaciuc M. E. 1996. Du faciès culturel de la dynastie royale de Triballes au Bas-Danube aux V-e — IV-e siècles av. J. C. // The thracian world at the crossroads oa civilisations. Bucharest.
Teodor S. 1967. Contribuții la cunoaşterea ceramicii din secolele III-II in e. n. din Moldova // SCIV, t. 18, N1.
Teodor S. 1969. Aşezarea din sec. III-II î. e. n. de la Şorogari // Arheologia Moldovei, VI.
Teodor S. 1980. Aşezarea de epoca Latene de la Botoşana, jud. Suceava // SCIVA, t. 31, N2.
Teodor S. 1987. Cercetările arheologice de la Ciurea, jud. Iaşi // Arheologia Moldovei, XI.
Teodor S. 1989. Civilizația geto-dacică la Est de Carpați considerații topografice // Simposia Tracologica. Tulcea. N7.
Vasiliev V. 1980. Sciții-agatirşi pe teritoriul României. Cluj-Napoca.
Venedicov I. 1965. Les trésors d'art des terres bulgares. Sofia.
Vulpe A. 1965. Zur mittleren Hallstattzeit in Rumänien Die Basarabi-Kultur. // Dacia, IX.
Vulpe A. 1967. Necropola hallstattiana de la Ferigile. Bucureşti.
Vulpe A. 1970. Archäologische Forschungen und historishe Betrachtungen über das 7 bis 5 Jh. in Donau-Karpatenraum // Memoria Antiquitatis, II.
Vulpe A. 1977. Zur Chronologie der Feridgile-gruppe // Dacia, XXI.
Vulpe R. 1952. Şantierul Poiana // SCIV, III.
Vulpe R. 1953. Săpăturile de la Poieneşti din 1949 // Materiale şi cercetări arheologice privind istoria veche a RPR. Bucureşti. vol. I.
Vulpe R. 1955. Le problème des bastarnes à la lumiere des decouvertes archéologiques en Moldavie // Nouvelles etudes d'histoire. Bucarest. I.
Wozniak Z. 1974. Wschodnie Pogranicze kultury latenskiej. Ossolineum.
Zirra V. 1975. Influence des Geto-Daces et leurs voisins sur l'habitat celtique de Transylvanie // Alba Regia. Szekesfehervar. XIV.

Зуев В.Ю.

О ПУТЯХ РЕШЕНИЯ «ПРОБЛЕМЫ III В. ДО Н.Э.» В ПЕРИОДИЗАЦИИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКОВ САРМАТСКОЙ ЭПОХИ

Zuev V.Yu. About the ways of solving «the problem of the III-rd **century B.C.» in the periodization of archaeological monuments of** the Sarmatian **Age.**

Changing of the date of the Prohorov burial mounds made not only reconsider the question of the basis of the relative and absolute date of the monuments of the Prohorov culture but also made the problem of the III century B.C. in the Sarmatian archaeology topical. The essence of this problem consists in the fact that among the monuments of early nomads of the South Urals area we cannot single out those that are definitely dated by the III-rd c B.C. This conclusion is grounded today by a number of researchers, the author of the article inclusive. In my works I suggested the conception of a discrete development of the cultures of early nomads of this region.^However, some researchers still prefer the traditional conception of continuous development of the «early Sarmatian culture» and try to fill the gap of the III-rd c.B.C. In particular, this path is taken by V.M.Klepikov and A.S.Skripkin, and by doing this they subject to revision their earlier conclusions. However, the analysis of the suggested solution made by the author reveals its groundless III c B.C. still must be completely excluded from the chronology of monuments of early nomads of South Urals region.

Проведенная в 1997-1998 гг. источниковедческая работа, посвященная анализу археологических комплексов Прохоровского курганного могильника, привела к новому распределению погребального инвентаря и к передатировке этого памятника, состоявшего, как выяснилось, из двух разновременных групп курганов - северной (рубежа V-IV вв. до н.э.) и южной (конца II-I вв. до н.э.) (Зуев 1998: 26-29; Зуев 1998а: 143-150; Зуев 19986: 45-50; Зуев 1999: 24; Зуев 1999а). Передатировка эпонимного памятника раннесарматской культуры потребовала ответа на вопрос: на каких основаниях вообще построена традиционная относительная и абсолютная датировка памятников прохоровской культуры? Поиски ответа на этот вопрос актуализировали в сарматской археологии «проблему III в. до н.э.», которая была намечена ранее в работах А. С. Скрипкина и С. В. Полина (Скрипкин 1990: 105-117; Скрипкин 1992: 46; Скрипкин 1992а: 3-24; Скрипкин 1994:28-31; Скрипкин 1994а: 14-19; Полин 1992: 200). «Проблема III в. до н.э.» - чи-, сто археологическая проблема. Суть ее сводит-[ся к тому, что мы не можем выделить среди памятников ранних кочевников Южного Приуралья и Нижнего Поволжья те из них, которые можно обоснованно и надежно датировать III в. до н.э.

С такой постановкой этой проблемы согласны все сарматологи. Споры и разногласия возникают лишь при попытках объяснения этого факта, как в сугубо археологической плоскости, так и на уровне исторической интерпретации данного явления.

Обращаясь к истории изучения сарматских памятников, можно хорошо проследить, как проблема выделения памятников III в. до н.э. решалась в прошлом и сколько таких памятников вообще выделялось в системе периодизации «савромато-сарматских» древностей.

Намечая основные этапы эволюции единой савромато-сарматской культуры Поволжья и Приуралья, Б. Н. Граков датировал Прохоровские курганы Ш—I вв. до н. э., а всю определяемую этим памятником культуру - IV-II вв. до н.э. Высказывая мнение о том, что прохоровский «могильник, исчерпанный полностью, заключал почти одновременные погребения» (Граков 1947:118), Граков опирался на мнение М. И. Ростовцева. При этом он не задавался вообще вопросом о количестве памятников этого времени в Поволжье и Приуралье.

Готовя к изданию в 1963 г. Свод памятников прохоровской культуры, М. Г Мошкова разделила все известные ей памятники на три хронологические группы (IV, IV-III и III-II вв. до н.э.). Наиболее ранних памятников прохоровской культуры IV в. до н.э. в своде 1963 г. значится сорок шесть (Мошкова 1963: 17-18). К числу памятников IV-III в. до н.э. Мошкова отнесла семьдесят одно погребение, в число которых она включила все прохоровские курганы, удревнив этот памятник почти на столетие, по сравне-

'ЗуевВ.Ю., 1999.

нию с датировками М. И. Ростовцева и Б. Н. Гракова (Мошкова 1963: 18). К третьей группе памятников III—II вв. до н.э. она отнесла триста сорок шесть комплексов (Мошкова 1963: 8). Интересна картина соотношения памятников по трем указанным периодам в регионах Поволжья и Приуралья, какой она получалась поданным Мошковой.

регион\время	IV	IV—III	III-II	Итого
Приуралье	37	,35	20	92
Поволжье	9	36	326	371
Итого	46	71	346	463

Эта статистика была использована М. Г. Мошковой для доказательства тезиса о зарождении прохоровской культуры в Приуралье и ее последующем распространении в Поволжье, начиная с III в. до н.э. Однако диспропорции между распределением памятников единой прохоровской культуры Поволжья и Приуралья не могут не вызвать удивления, поскольку памятники третьей хронологической группы, по признанию самой Мошковой, в подавляющем своем числе относятся ко II в. до н.э.

С годами статистический разрыв между памятниками, датировавшимися IV-III и III—II вв. до н.э., только увеличивался (Полин 1992: 20Q). В 1997 г. А. С. Скрипкин констатировал, что для региона Поволжья и Подонья статистика Мошковой пропорционально должна быть изменена в сторону еще большего уменьшения памятников IV-III вв. до н.э. «Что касается ранних погребений, - пишет он, - то их число должно быть, видимо, меньшим, так как в отдельных случаях датировка в рамках этого времени (IV-III вв. до н.э. - В. З.) проблематична, в других - ранние даты определены на основании нахождения в них бронзовых наконечников, или сочетанием бронзовых и железных наконечников, или железных втульчатых, или железных трехлопастных с длинными черешками. Не во всех случаях эти находки могут абсолютно гарантировать ранний возраст комплексов в рамках прохоровской культуры» (Скрипкин 1997: 17).

Проделав самостоятельное статистическое исследование памятников прохоровской культуры, А. С. Скрипкин пришел к выводам, абсолютно пересматривающим их периодизацию. В отличие от Мошковой, он выделил в истории раннесарматской культуры два периода: IV-III и IIИ вв. до н.э., — оговаривая при этом, что второй период фактически охватывает лишь памятники II-I вв. до н.э., а III век присутствует в его периодизации дважды лишь условно [1]. По общим подсчетам Скрипкина, к 1997 г. науке известно на территории от Дона до Приуралья более двух тысяч памятников прохоровской культуры IV-I вв. до н.э., из которых более полутора тысяч памятников должны датироваться временем II-I вв. до н.э. Определить более точно пропорцию памятников IV-III и II-I вв. до н.э. должна была статистическая работа Б. Ф. Железчикова, с которой он, к сожалению, не справился. В опубликованной им Базе данных по погребальным памятникам Азиатской Сарматии IV-III в$_м$до н.э. Железчиков привел данные о 462 памятниках IV-III вв. до н.э. Не разделяя никак эти памятники, он ограничился лишь заявлением о том, что «памятники III в. до н.э. несомненно есть» (Железчиков 1997: 43). Однако проведенный мною критический анализ Базы данных Железчикова вскрыл в ней сотни ошибок и грубейших искажений исходных данных. Выяснилось, в частности, что в Базу данных для увеличения числа памятников Железчиков ввел комплексы VI, V, II, I вв. до н.э. и даже первых трех веков н.э. (Зуев 1998в: 42). Следует также отметить, что для решения проблемы III в. до н.э. статистическое исследование Железчикова ничего не могло дать изначально, поскольку еще в предисловии к нему он признается читателям, что не «в состоянии выделить памятники II! в. до н.э.» из контекста древностей VI-II вв. до н.э (Железчиков 1997: 43).

Такова в основных ее вехах история возникновения «проблемы III в. до н.э.» в сарматской археологии. Современное положение науки определяется возникшими практически одновременно двумя противоположными тенденциями, которые, подобно векторам, задают разные направления, намечающие пути решения данной проблемы.

В своих работах по хронологии прохоровской культуры я выступаю за констатацию полного отсутствия памятников III - первой половины II вв. до н.э. в Волго-Уральском регионе, называя этот период разграничительным между «скифской» и «сарматской» эпохами (Зуев 19986: 45-50). Для памятников V-IV вв. до н.э. Южного Приуралья я предлагаю ввести новое определение - памятники филипповской культуры, которая прекращает свое существование на рубеже IV-III вв. до н.э. Памятники собственно прохоровской культуры я предлагаю датировать временем последней трети 11-1 вв. до н.э. Хронологический хиатус между памятниками филипповской и прохоровской культур, на мой взгляд, опровергает господствующую в нашей литературе гипотезу эволюционного развития единой «савромато-сарматской» общности Поволжья и Приуралья. На смену ей должна придти концепция дискретного хронологического напластования культур ранних кочевников центральной части степной Евразии, которая должна базироваться на признании большой роли миграционных процессов в генезисе этих культур. Историческая интерпретация «темного» (с

[1] Скрипкин 1997а: 45. Любопытно отметить, что ученик и соавтор Скрипкина - В. М. Клепиков в своем автореферате 1998 г. прямо указывает, что Скрипкиным «предложено выделение в рамках этой культуры двух периодов, датируемых IV-III и 1И вв. до н.э.» (Клепиков 1998: 6).

археологической точки зрения) периода II 1-И вв. до н.э. имеет в этом отношении ряд перспектив, о которых следует говорить подробно в другой работе.

Следует особо подчеркнуть, что, пока прохоровские курганы датировались совокупно рубежом IV-III вв. до н.э., у сторонников традиционной периодизации существовали достаточно убедительные объяснения археологической и исторической ситуации, сложившейся в центральной части Евразийских степей к началу III в. до н.э. Небольшое число памятников, типологически сходных с прохоровскими курганами, считалось памятниками рубежа IV-III и III вв. до н.э. Этими памятниками определялся момент окончательного формирования раннесарматской (прохоровской) культуры, которая, по мнению ряда исследователей, до этого «вызревала» в недрах предшествующей «савроматской» культуры, начиная с рубежа VI-V вв. до н.э. Небольшое число памятников IV-III вв. до н.э. в районе Южного Урала (и их полное отсутствие в III в. до н.э.) объяснялось исследователями в историческом аспекте как свидетельство стремительного продвижения «сарматов-прохоровцев» в Нижнее Поволжье и далее на запад, где их подвижные, хорошо вооруженные новыми видами оружия отряды сокрушили скифские орды и уничтожили степную скифскую культуру [2].

Поскольку начало сарматской истории принято связывать с моментом вторжения сарматских племен в Скифию, то и существование археологической культуры «ранних сарматов» к востоку от Скифии по логике вроде бы должно было определяться синхронным этому завоеванию временем. И действительно, начиная от рубежа IV-III вв. до *н.э.,* когда в степном Причерноморье практически исчезают памятники живших здесь номадов, когда на греческих поселениях выявляются следы регресса и разрушений (Виноградов, Марченко, Рогов 1997: 93-103), когда в лесостепном Подонье на городищах находят десятки погибших (Медведев 1997: 50-66), мы имеем все "основания говорить о вторжении азиатских кочевников в Скифию. Существующая периодизация единой савроматосарматской культуры заставляла исследователей видеть в этих пришельцах-сарматах исключительно носителей прохоровской археологической культуры. Но при таком раскладе исторических сведений и археологических материалов постоянно оставался необъяснимым факт практически полного отсутствия памятников прохоровской культуры III в. до н.э. в Нижнем Поволжье, которое должно было быть не только первым обширным регионом, оккупированным южноуральскими «сарматами-прохоровцами» в начале этого бурного века, но и плацдармом их походов далее на запад.

Связанные с этим вопросом трудности и противоречия приводят сторонников версии прямого отождествления прохоровской культуры с самыми «ранними сарматами» к поиску косвенных решений «проблемы III в. до н.э.».

Это направление, альтернативное предложенному мной пути решения проблемы, нацелено на поиск памятников III в. до н.э. в Поволжье. Его разрабатывают в настоящее время волгоградские археологи А. С. Скрипкин и В. М. Клепиков. Следует отметить, что в этом отношении А. С. Скрипкин, сделавший очень много для постановки «проблемы III в. до н.э.», явно идет по пути ревизии собственных взглядов, о чем еще будет речь. В качестве альтернативы он избрал разработки по хронологии памятников IV-III вв. до н.э. Подонья и Поволжья, предложенные в специальной диссертационной работе В. М. Клепиковым (Клепиков 1998: 26). Вот что пишут они об основном противоречии современной реконструкции ранней сарматской истории, которая непосредственно связана с археологической «проблемой III в. до н.э.»:

«Вероятная гипотеза о сарматском вторжении <в Скифию> имеет два уязвимых пункта. Во-первых, пребывание сарматов в Северном Причерноморье, начиная с первой половины III в. до н.э., не фиксируется археологически; во-вторых, сами раннесарматские памятники III в. до н.э. на их исконной территории достаточно убедительно не выделены, традиционно их датируют IV-III вв. до н.э. или III-II вв. до н.э., либо III-I вв. до н.э.

...Сложность второй проблемы заключается в отсутствии опорных памятников III в. до н.э., с которыми можно было бы сопоставить сарматские погребальные комплексы, а также отсутствием в самих комплексах категорий вещей, убедительно датируемых этим временем. И все же в настоящее время можно попытаться выделить сарматские памятники III в. до н.э. на основе встречаемости в погребениях вещей, с одной стороны, которые уже не встречаются в памятниках II-I вв. до н.э., а с другой - появление которых может быть датировано не ранее III в. до н.э. В первом случае следует, прежде всего, учитывать бронзовые наконечники стрел, широко представленные в савроматских и в раннепрохоровских погребениях и практически не встречающихся в памятниках, ч^тко датируемых II-I вв. до н.э. (выделено мной - В. З.). Бронзовые ворворки, служившие, вероятно, окончаниями портупейных рем-

[2] Вот как описывает эту ситуацию для восточного Приуралья А.Х.Пшеничнюк: «Среди памятников юго-восточной Башкирии не известно ни одного погребения развитой прохоровской культуры. Примерно на рубеже IV-III вв. до н.э. все известные могильники прекращают свое существование. Подобная картина характерна и для могильников восточного Оренбуржья. Эти факты, как отмечает М. Г. Мошкова, свидетельствуют об отливе сарматского населения на запад» (Пшеничнюк. 1983: 130). Об «отливе сарматского населения на запад» см. также: Мошкова. 1972: 72; Мошкова. 1997: 67-78.

ней, известны в памятниках того же времени, что и бронзовые наконечники стрел, и со II в. до н.э. они также не встречаются. То же самое можно сказать о глиняной посуде с примесью талька в тесте. К другой группе вещей, начинающих встречаться, как правило, не ранее III в. до н.э., относятся мечи с прямым перекрестьем и серповидным навершием, железные черешковые наконечники стрел, зеркала с валиком по краю диска и ручкой-штырем, костяные полированные проколки, лепные горшки с орнаментом в виде вертикальных пучков линий. С III в. до н.э. получают распространение стеклянные бусы с внутренней позолотой и гешировые дисковидные бусы. В данном случае речь идет о более или менее массовом распространении этих категорий вещей, не исключено, что отдельные их находки могут датироваться и более ранним временем.

Следует также отметить полное отсутствие гробовищ в погребениях IV в. до н.э. в Нижнем Поволжье, причем в погребениях с набором бронзовых и железных черешковых наконечников стрел и другими сочетаниями вещей, дающих вероятную дату III в. до н.э., они достаточно хорошо известны.

...Эти погребальные комплексы характеризуются всеми основными чертами сложившейся раннесарматской культуры. Незначительное число вещей-определителей и еще меньшая вероятность их нахождения вместе делает выборку погребений, датируемых III в. до н.э., относительно небольшой. Однако следует подчеркнуть такой немаловажный факт, **как нахождение этих погребений, в отличие от комплексов IV в. до н.э., вместе со многими другими погребениями раннесарматской культуры в одном кургане, но зачастую датируемых совокупно ИМ вв. до н.э. Вероятно, какая-то часть их должна относиться только к III в. до н.э.** (выделено мной - В. З.)» (Клепиков, Скрипкин 1997:32-33).

Констатируя невозможность прямого выделения памятников III в. до н.э. А. С. Скрипкин и В. М. Клепиков предложили методику косвенного выделения таких памятников методом «зажатых» датировок. Суть методики сводится к тому, что необходимо выделить в памятниках II в. до н.э. такие признаки, которые были бы характерны и для комплексов IV в. до н.э. Затем должны быть определены те признаки, которых нет в памятниках IV в. до н.э., но которые уже представлены в комплексах II в. до н.э. Взаимная корреляция этих двух групп признаков является, по мысли В. М. Клепикова (написавшего под руководством А. С. Скрипкина диссертационное исследование на эту тему) надежным критерием, на основании которого можно выделять памятники III в. до н.э.

Метод «зажатых» датировок для поиска памятников III в. до н.э. можно образно назвать методом поиска черной кошки в темной комнате при условии, что этой кошки может и не быть там вовсе. Ведь процесс зажатия датировки археологических памятников по методике, которую предлагает В. М. Клепиков, возможен только при одном условии. Мы должны быть абсолютно уверены в том, что памятники IV и II вв. до н.э. принадлежат единой культуре, которая непрерывно существовала и развивалась на всем протяжении данного отрезка времени. В историческом аспекте это означает, что мы должны быть абсолютно уверены в том, что на протяжении трехсотлетней истории (начиная с IV в. до н.э.) более десяти поколений кочевников Нижнего Поволжья и Южного Приуралья сохраняли единый этносоциальный организм с присущими ему культурными традициями, которые, эволюционно видоизменяясь во времени, не пресекались на длительный срок. Без таких гарантий все рассуждения о корреляции пережиточных и новационных признаков не могут доказать главного - в данном случае, существования памятников iII в. до н.э. как продолжающих традицию предшествующей культуры и являющихся прообразом для памятников последующих времен. При этом условии констатация факта, что мы не можем выявить надежных археологических следов жизнедеятельности четырех-пяти поколений, живших на протяжении iII - первой половины II вв. до н.э. заставляет серьезно усомниться в реальности непрерывной линии культурной истории «ранних сармат-прохоровцев».

Проделанная В. М. Клепиковым работа по выявлению памятников III в. до н.э. дала следующие статистические результаты по Волго-Донскому и Заволжскому регионам. «Предложенная методика, - пишет он, - позволила выделить 72 комплекса из 51 кургана IV в. до н.э. и 62 комплекса из 41 кургана преимущественно III в. до н.э., **включая погребения, не имеющие «узкой» датировки, но стратиграфически определяемые как одновременные** (выделено мной - В. З)» (Клепиков 1998: 16).

Следует отметить сразу же два момента, которые не могут не насторожить в данном серьезном вопросе. Во-первых, в автореферате диссертации В. М. Клепикова вообще не названо ни одного археологического комплекса - автор приводит только данные о количестве использованных в работе памятников, списки признаков-«хроноиндикаторов» и проценты их сраа=. нения. Ни одного памятника не определено в качестве примера, что вообще-то странно для археологической работы.

Во-вторых, общее число памятников III в. до н.э. определено автором не в результате исследования, проведенного по методу «зажатых» датировок, **а** на комбинации этого метода со стратиграфическими наблюдениями. Причем из автореферата Клепикова неясно, сколько же памятников он выделил при помощи своего метода, а сколько погребений в его выборке не

имеют «узкой» датировки, но стратиграфически определены как комплексы III в. до н.э. (кстати, в автореферате нет ни слова о том, как автор это делал).

Какую же картину в хронологическом разрезе мы имеем для территории Поволжского региона по результатам работ волгоградских исследователей? Если верить результатам их статистических исследований, то получается следующая пропорция. В Волго-Донском и Заволжском регионах выявлено более двухсот памятников Vi-IV вв. до н.э.[3] (из которых 71 погребение относится к IV в. до н.э.), шестьдесят два комплекса III в. до н.э. (с учетом точно недатируемого, численно неопределенного «стратиграфического довеска»), и более полутысячи погребений II-I вв. до н.э [4].

При всей условности этих цифр, картина получается впечатляющая. Выделенные при помощи косвенного «зажатия» дат памятники Поволжья III в. до н.э. образуют некое подобие узкого места стеклянной колбы песочных часов. Причем тоненькая нить, связующая, по предположению В. М. Клепикова и А. С. Скрипкина, памятники IV и II вв. до н.э. должна демонстрировать непрерывающееся единство «раннесарматской (прохоровской) культуры».данной эпохи в целом.

Посмотрим же визуально хотя бы на часть неуловимых «памятников III в. до н.э.», краткий список которых был опубликован этими авторами в 1997 г (Клепиков, Скрипкин 1997: 33). Они перечисляют следующие «памятники III в. до н.э.»: а) в Заволжье и б) в междуречье Волги и Дона:

а) Визенмиллер II. к. 4, п. 3 (Рыков 1926: 89-134); Усатово. к; Gj5, в. 11; Усатово. к. F 19, п. 2; Усатово. к. F 19, п. 3 (?);Усатово. к. F 19, п. 4 (?);Усатово. к. F 19, п. 5 (?) (Синицын 1947: 3-134); Ровное, к. 4, п. 15 (Синицын 1966: 3-62); Калиновка. к 19, п. 17 (Шилов 1959: 323-523); Березновка II. к. 14, п. 21; Березновка II. к. 85, п. 2 (Синицын 1960: 10-168); Березновка. Южная гр. к. 2, п. 11 (Синицын 1959: 39-205); Венгеловка. к. 2, п. 10; Венгеловка. к. 2, п. 11[5]; Эльтон, к. 13, п. 2; Торгунское. к. 1, п. 1[6]; Джангала (Сарайдин). к. 4 п. 2; Джангала (Сарайдин). к. 4 п. 3 (Синицын 1956: 87-139); Могута. к. 11, п. 2; Могута. к. 14, п. 2[7]; Киляковка. к. 4, п. 4[8]; Белокаменка. к. 1, п. 3; Белокаменка. к. 3, п. 7; Журов курган. п. 2[9].

б) Терновский. к. 9, п. 7[10]; Старица, к. 4, п. 9; Старица, к. 42, п. 2; Старица, к. 42, п. 3[11]; Кривая Лука XVI. к. 1, п. 11; Кривая Лука XVI. к. 1, п. 18; Кривая Лука XVI. к. 1, п. 20; Кривая Лука XVI. к. 6, п. 4[12].

Ознакомление с литературой показывает, что из двадцати трех упомянутых погребений III в. до н.э. Заволжья введено в научный оборот лишь тринадцать комплексов (три из которых вызывают сомнение в правильности датировки у самих авторов), семь комплексов описаны лишь в архивных отчетах, хранящихся в Институте археологии РАН и три комплекса известны лишь самим авторам, поскольку сведений о них нет даже в сводке по раннесарматской культуре 1997 г. (РОК 1997). Из междуречья Волги и Дона ни одно из погребений III в. до н.э. (по В. М. Клепикову и А. С. Скрипкину) не опубликовано. Рассмотрим внимательнее доступный для анализа материал.

Визенмиллер II. Курган 4. Погребение 3. Погребение раскопано в 1925 г. экспедицией под руководством П. С. Рыкова. Опубликованное в 1926 г. описание не сопровождалось иллюстрациями. Сохранившиеся в Саратовском музее находки были зарисованы несколько десятилетий спустя и частично опубликованы в 1963 г. М. Г. Мошковой без каких-либо комментариев (Рыков 1926: 29-30; Мошкова 1963: 12. Рис. 6). Впускное погребение, частично потревожив основное центральное погребение № 2 скифской эпохи, было совершено в глубокой катакомбе. Стенки камеры были огорожены досками, которые создавали квадратный склеп. Он был разделен на три части двумя поставленными на ребро досками. Справа в склепе лежал костяк в липовом долбленом гробу в виде корыта, но с вделанными в него при помощи пазов дощатыми стенками в головах и ногах погребенного. Сверху гроб был покрыт тонкой липовой доской. Такой же гроб был и у второго покойника, лежавшего в левом отсеке. Оба покойника лежали на спине в вытянутом положении головами к югу. Оба костяка были мужскими, причем

[3] Железчиков 1994:127. (В статистическом исследовании Железчикова выборочно использовано 199 комплексов VI—IV вв. до н.э., происходящих из Поволжья).

[4] Скрипкин 19976: 132. (В статистическом исследовании Скрипкина с территории Заволжья, Правобережья Волги, Нижнего Дона и Калмыкии выборочно использовано 594 комплекса III-I вв. до н.э. За вычетом 62 комплексов III в. до н.э. мы имеем 532 памятника II-I вв. до н.э., отобранных для исследования. В действительности, по словам авторов, памятников VI—IV и II-I вв до н.э. в регионе Поволжьяначительно больше).

[5] А. В. Лукашов. Отчет о работе Заволжской экспедиции ВГПИ за 1984 г. // Архив ИА РАН. Р-I. № 10840.

[6] А. В. Лукашов. Отчет о работе Заволжской археологической экспедиции ВГПИ за 1983 г. //Архив ИА РАН. Р-I.№9853.

[7] А. С. Скрипкин. Отчет об археологических раскопках экспедиции ВГПИ в 1976 г. //Архив ИА РАН. Р-I. №6458.

[8] Е. П. Мыськов. Отчет о раскопках курганов у с. Киляковка Среднеахтубинского района Волгоградской области в 1984 г. //Архив ИА РАН. Р-I. № 10256.

[9] Сведениями о том, где и когда раскапывались последние три комплекса, а также о том, где хранятся описания этих комплексов, я не располагаю.

[10] Об этом комплексе мне также не удалось разыскать каких-либо сведений.

[11] В. П. Шилов. Отчет о раскопках Астраханской экспедиции в 1960 г. //Архив ИАРАН. Р-I. №2155.

[12] Г. А. Федоров-Давыдов, В. В. Дворниченко, Н. В. Малиновская. Отчет о раскопках курганов в урочище «Кривая Лука» в Черноярском районе Астраханской области в 1974 г. // Архив ИА РАН, Р-I. № 5315.

правый принадлежал пожилому мужчине, а левый - юноше. Правый погребенный имел у правой руки длинный железный меч (1 м) со стержневидной рукоятью без навершия и прямым перекрестьем (Рис. 1,1). Меч был в деревянных ножнах, конец которых имел прямоугольный срез. Около меча, близ руки, лежали два костяных резных костылька для прикрепления к петлям ножен (Рис. 1,4). Эти костыльки были ошибочно названы М. Г. Мошковой в 1963 г. «костяными колчанными застежками». У левой руки лежал нож, обломки бронзового тонкого зеркала в кожаном мешочке (Рис. 1, 2). У пояса - точильный цилиндрический камень (Рис. 1, 3). У левого бока лежал колчан со стрелами, длина которого достигала 0,7, ширина - 0,16 м. К колчану была прикреплена железная пластинка, помещавшаяся острым ребром вверх, благодаря которой часть древков стрел окислилась до твердости железа. Возможно, что здесь лежал нож, часть которого была найдена у кисти руки (Рис. 1, 5). Бронзовые трехгранные наконечники лежали остриями к ногам погребенного (Рис. 1, 6). Один-два наконечника были железными трехгранными, черешковыми (Рис. 1, 7). Хвосты древков стрел имели вырез для тетивы, причем окрашены они были в красный цвет внутри выреза и в зеленый снаружи. Второй (левый) покойный имел вдоль правой руки и ноги длинный железный меч также без навершия и с прямым перекрестьем. Меч дошел во фрагментах, и удалось лишь зафиксировать его длину — около 0,7 м (Рис. 1, 10). Вдоль левого бока погребенного лежал кожаный колчан длиной до 0,6 м, заполненный стрелами лишь с железными черешковыми наконечниками (Рис. 1. 9). Колчан крепился к поясу при помощи бронзовой восьмеркообразной пряжки, с перпендикулярным штырьком сверху (Рис. 1, 8). У левой кисти, судя по пятну ржавчины, лежал железный нож.

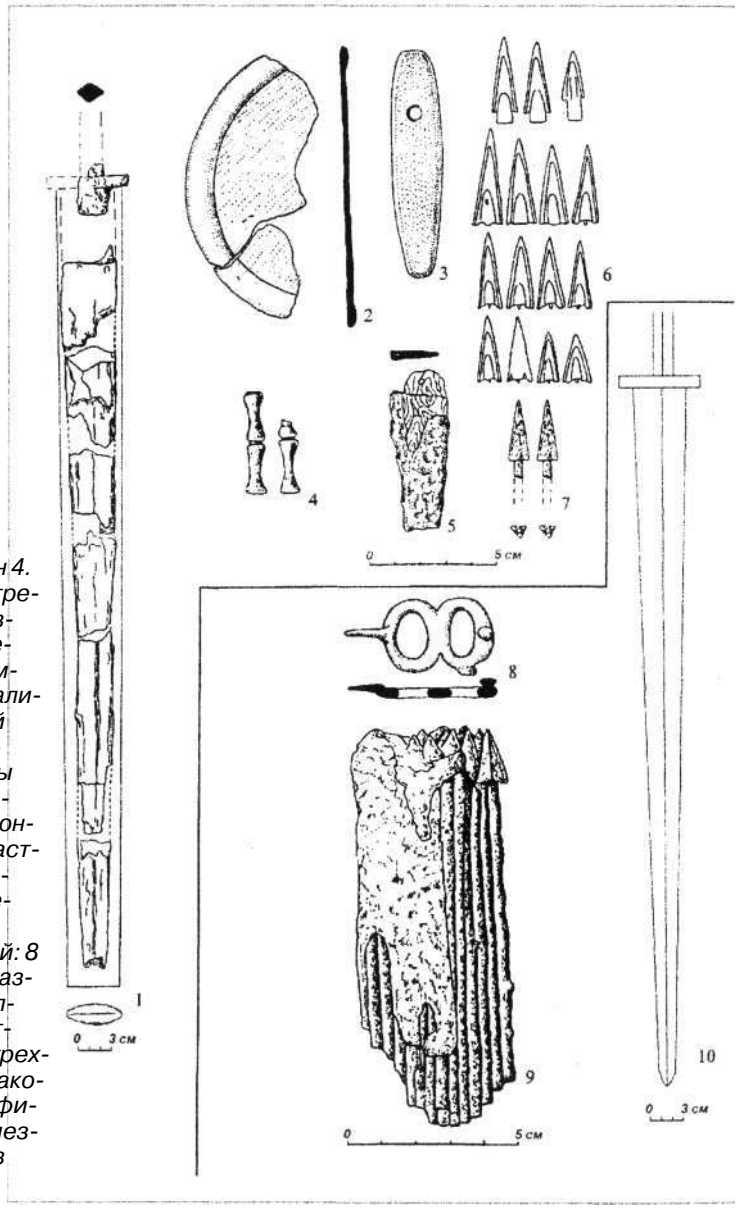


Рис. 1. Визенмиллер II. Курган 4. Погребение 3. Правый погребенный: 1 - длинный железный меч без навершия в деревянных ножнах; 2 - обломки бронзового зеркала с валиком по краю; 3 - точильный камень; 4 - костяные костыльки, крепившие ножны меча на портупее; 5 - обломок железного ножа; 6 - бронзовые базисные трехлопастные наконечники стрел; 7 - железные трехгранные черешковые наконечники стрел. Левый погребенный: 8 - бронзовая восьмеркообразная пряжка, крепившая колчан к поясу воина; 9 - остатки колчана с железными трехгранными черешковыми наконечниками стрел; 10- графическая реконструкция железного меча длиной 0,7 м без навершия.

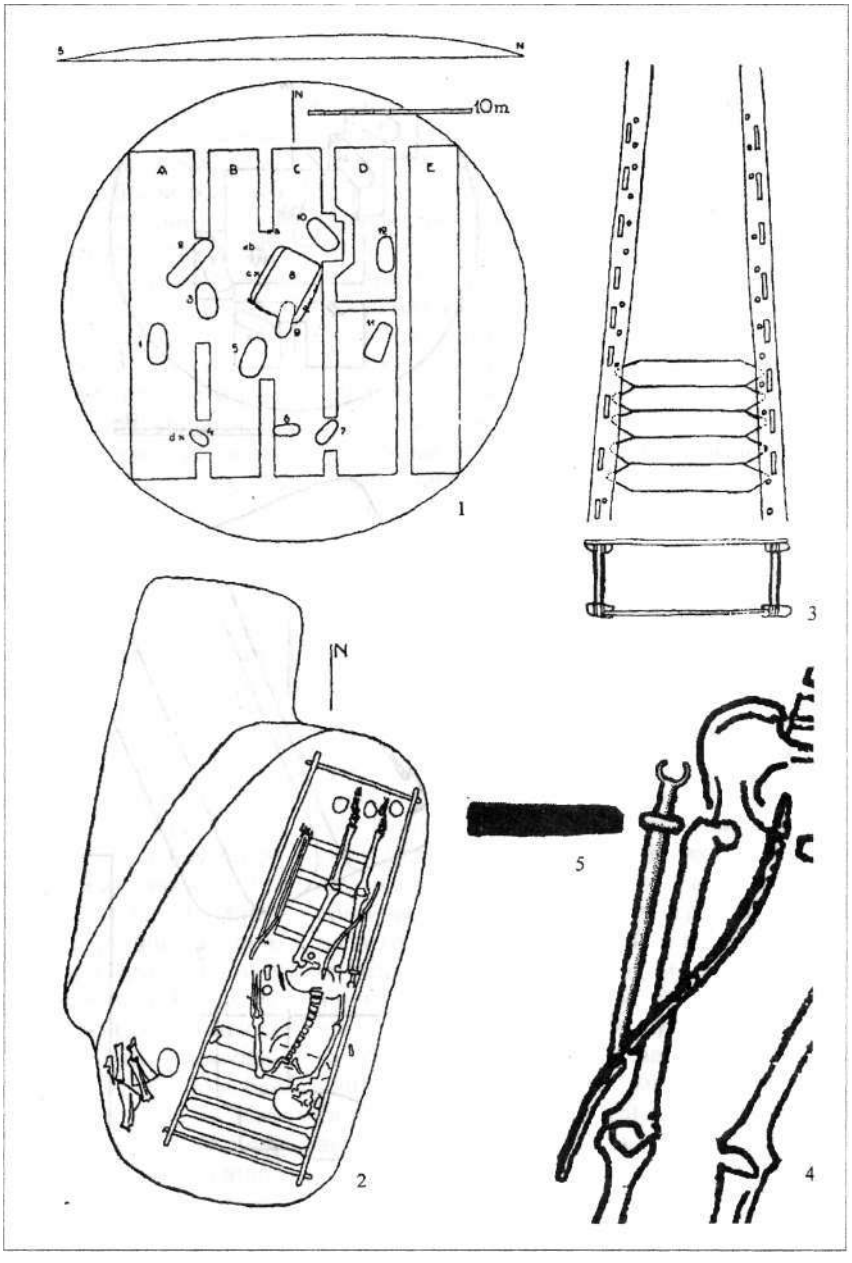


Рис. 2. Усатово. Курган G 5. Погребение 11. 1 - план кургана; 2 - план катакомбы № 11; 3- графическая реконструкция П. Д. Рау гробов ища из данного погребения; 4 - схема расположения остатков лука, железного меча без перекрестья и костяной трубочки, лежавшей поверх меча в области перекрестья; 5 *- полая костяная трубочка.*

Вывод. Принципиальное значение имеет совстречаемость двух разных колчанов в одной катакомбе, которая указывает в сочетании с другими признаками на более молодой возраст всего комплекса. Во-первых, бронзовые наконечники найдены в гробовище вместе с обломками зеркала с валиком. Интересно также и то, что воин с бронзовыми наконечниками стрел был пожилой, а с железными наконечниками стрел - юноша. Во-вторых, мечи обоих погребенных имеют не прохоровскую, а типичную для I в. до н.э. форму клинков с перекрестьями, но без наверший. В-третьих, описанные Рыковым гробовища также весьма характерны для погребений II-I вв. до н.э.

Усатово. Курган G 5. Погребение 11. Курган был исследован в 1928 г. П. Д. Рау, материалы раскопок которого были изданы в 1947 г. И. В. Синицыным (Синицын 1947: 37-106). Следует отметить, что в распоряжении И. В. Синицына имелись лишь дневники и зарисовки, а также незначительная часть находок, сохранившаяся в Саратовском музее после самоубийства П. Д. Рау.

Погребение 11 было впускным (Рис. 2, 1). Погребение было совершено в катакомбе (Рис. 2, 2). На дне камеры лежал среди обломков деревянного гроба костяк подростка в вытянутом положении на спине, головой на ЮЗЮ. В гробу, около скелета, найдены следующие предметы: под правым предплечьем - обломки деревянной плошки; под кистью правой руки и дальше к колену — железный кинжал с брусковидным перекрестьем и серповидным навершием (Рис. 2, 4). Длина кинжала - около 45 см. На перекрестьи меча лежал полый костяной пред-

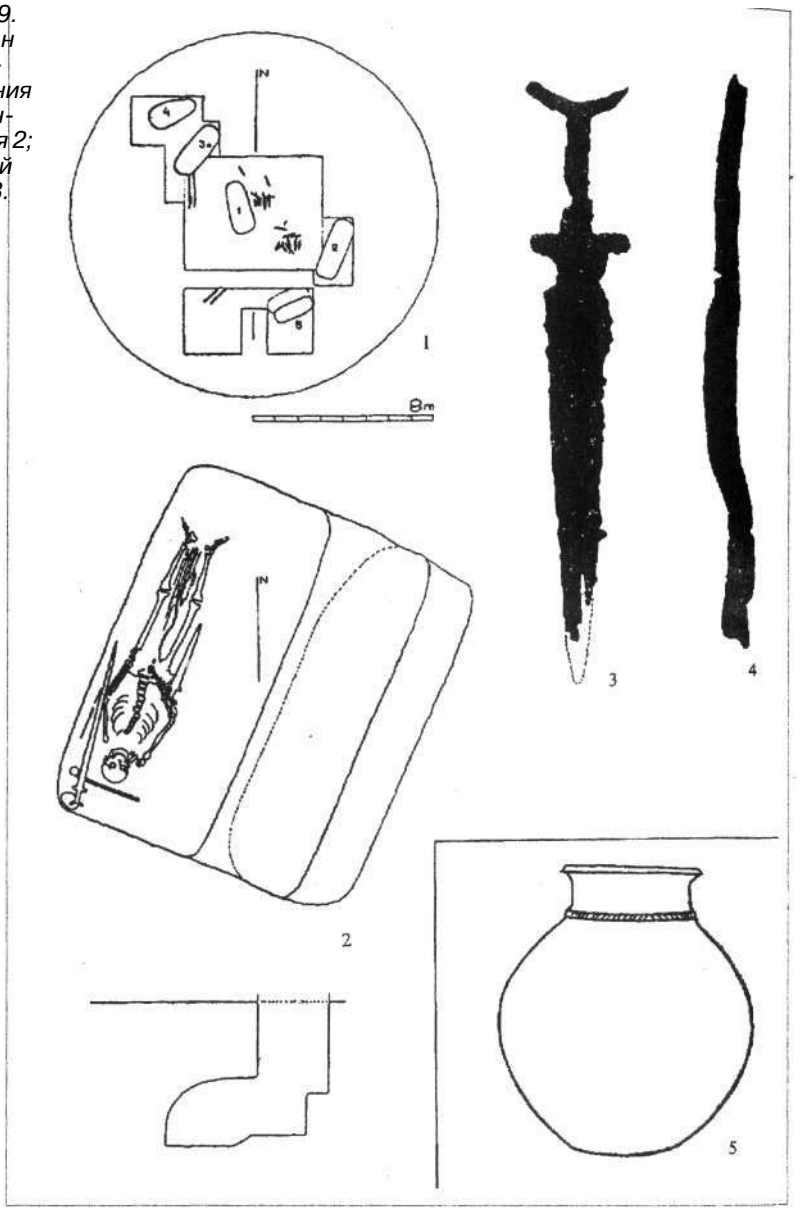


Рис. 3. Усатово. Курган F 19. 1 - план кургана; 2 - план катакомбы 2; 3 - железный кинжал из погребения 2; 4 - фрагмент деревянного лука из погребения 2; 5 - сероглиняный лепной горшок из погребения 3.

мет (Рис. 2, 5) и рядом с ним камешек. У левого бедра найдены железное кольцо, обломки сильно окисленного железного предмета и железный нож с остатками костяной ручки. Под левой подвздошной костью - кусок серы и точилка. Рядом с головкой левого бедра - железное кольцо небольших размеров. Вдоль западной стенки гроба, на высоте ног, - пучок стрел: древки с железными трехперыми наконечниками. Длина стрел измерена в 0,62 м. Задние концы имеют утолщение и вырез для тетивы, часть этих шишек окрашена в цвет киновари. В области, где лежали сплошной кучей железные наконечники, находились также три трехгранные втульчатые бронзовые стрелки. В гробу остатки двух луков: один, из сплошного куска дерева, лежал на покойнике, ближе к восточной стороне гроба (Рис. 2, 4); другой склеен из двух слоев дерева и обтянут какой-то тонкой, темного цвета пленкой. Между гробом и восточной стенкой камеры лежало железное острие, которым была выкопана могила. В юго-западном углу камеры лежали кучкой бараньи кости: две лопатки и два предплечья и кучка желтого порошкообразного вещества/

Гроб, в котором был похоронен покойник, представлял собой прямоугольный плоский ящик 1,88 м в длину и 0,58 (в головах) и 0,47 м (в ногах) в ширину, бока и концы которого состояли из долевых досок, причем концевые входили одним шипом в соответствующие пазы боковых. На дне удалось зафиксировать поперечные дощечки, на некотором расстоянии впущенные заостренными концами в вырезы у нижнего ребра боковых стенок. В головной половине дощечки эти имели до 12 см ширины и 3-4 мм толщины. В северной половине гроба поперечные дощечки, образовавшие остов дна, были

гораздо уже, и соответственно с этим расстояние между ними было больше. На поперечных дощечках лежал слой продольных, остатки которых были чрезвычайно тонки (Рис. 2, 3). Под остатками дна лежал порошок мела. Не совсем выяснена конструкция верхней половины гроба и крышки. В грани верхних ребер боковых и концевых досок были впущены заостренные концы обструганных лозин, образовавших над долевой нижней частью гроба остов какого-то сооружения в виде шатра.

Вывод. Судя по рисунку П. Д. Рау (Рис. 2, 4), в этом погребении мог находиться и короткий кинжал со сломанным кольцевидным навершием. Такие же по конструкции деревянные гробовища были найдены в этом же кургане в погребениях 1, 2, 3, 5, 7, 10, 12, материалы которых не противоречат дате II-I вв. до н.э. Кроме того, И. В. Синицын справедливо указывает в предисловии к публикации материалов раскопок П. Д. Рау на то, что деревянные конструкции гробовищ, аналогичных найденному в данном погребении, хорошо зафиксированы при раскопках Кенкольского могильника (Синицын 1947: 13-14; Бернштам 1940: Табл. XXIII и др.; Заднепровский, Лубо-Лесниченко 1992: 53-55). Все это говорит в пользу отнесения этого погребения к числу памятников II-I вв. до н.э.

Усатово. Курган F 19. Погребения 2, 3, 4, 5. Курган был исследован в 1928 г. П. Д. Рау, материалы раскопок которого были изданы в 1947 г. И. В. Синицыным (Синицын 1947: 60-65). Интересующие нас погребения были впускными в курган с деревянным шатровым погребением из березовых плах скифской эпохи, сожженным на древнем горизонте, которое из-за сегментарной системы раскопок П. Д. Рау осталось недокопанным (Рис. 3, 1). Основное катакомбное погребение № 1 этого кургана относится к эпохе бронзы. Следует отметить, что в публикации В. М. Клепикова и А. С. Скрипкина погребения 3-5 этого кургана отнесены к памятникам III в. до н.э. условно, так как в датировке этих могил авторы остались неуверенными.

Погребение 2 было совершено в катакомбе. У задней стенки подбоя камеры лежал в долбленой колоде вытянутый костяк мужчины, головой на ЮЮЗ (Рис. 3, 2). Сверху колода была закрыта доской 6-8 мм толщины. Порода дерева не установлена. Дно подбоя посыпано мелом. В головах покойника лежали вне колоды кости овцы: передняя нога с лопаткой и рядом с ними кучка желтоватого порошкообразного вещества. Вокруг черепа скелета были рассыпаны мелкие кругловатые кусочки зеленой и синей краски. У правого плеча - небольшой кожаный мешочек, туго завязанный ремешком, хорошо сохранившийся благодаря выделениям окиси содержащегося в нем медного предмета. Рядом с мешочком точильный брусок с начатой сверлиной, кусок мела и кусок реальгара. В головах же угла колоды лежали рыхлые черепки рассыпавшегося глиняного сосуда, высота его - 6,8 см, диаметр горла - 5,7 см, дно - 3,5 см. Вдоль левого бока покойника лежал длинный меч сбрусковидным перекрестием и серповидным набалдашником. Общая длина меча - 107 см, ширина клинка - 5 см, высота ручки с перекрестием и набалдашником - 11 см, ширина перекрестия - 10 см, ширина рожков - 9,5 см. У правого бедра лежал кинжал того же типа, общая длина его 47 см, ширина клинка у перекрестья - 6,5 см (Рис. 3, 3). Рядом с его ручкой лежала кучка рыхлого светло-желтого вещества (сера? охра?), кусок кремня и точильный брусок со сверлиной. Между ног - пучок стрел с железными и бронзовыми трехгранными втульчатыми наконечниками, остриями к ступням. Длина древок стрел - 70 см, многие хорошей сохранности. На них деревянные части короткого составного лука (Рис. 3, 4). Общая длина лука не установлена, однако она не превышала 80 см. Рядом с луком, на стрелах же, - деревянная палочка с железным стержнем внутри. Под луком и стрелами лежала пила с деревянной ручкой, распавшаяся на куски.

Погребение 3 было совершено в яме. На дне лежал среди остатков деревянного гроба вытянутый скелет мужчины старческого возраста, головой на юго-запад. На костях замечены остатки березовых веток, лежавших вдоль. Под костями замечены остатки дощечек. В головах покойника - кости овцы: две передние ноги с лопатками. В южном углу могилы лежали обломки разрушенного сосуда, грубой работы, шаровидной формы, округлое дно (Рис. 3, 5). Высота его - 17,5 см, диаметр по верху - 10 см, дно - 7 см. У левой руки, в сурчине, два бронзовых трехгранных наконечника стрел, между ног еще два таких же наконечника. Пятый экземпляр найден выше костей, в засыпи ямы.

Погребение 4 также было совершено в яме. На дне - мужской костяк на спине, головой на ЮЗЗ. Влево от черепа, на дне могилы, вдоль северо-западной стенки, расположены кости овцы: ноги, лопатки. У правого колена лежал железный кинжал с прямым перекрестием и серповидным навершием. Общая длина кинжала - 0,32 м, клинок - 0,22 м. Рост покойника - 1,72 м. Возраст - 25-30 лет.

Погребение 5 было совершено в подбойной могиле. Подбой углублен в северную стенку. На дне подбоя - костяк ребенка головой на ЮЗЗ. В головах кости овцы: задняя нога, лопатки.

Вывод. Сохранившийся материал, опубликованный И. В. Синицыным, не дает никаких оснований для датировки всех погребений этого кургана III в. до н.э. Наконечники стрел из погребения 2 не дошли до наших дней. Облик короткого набедренного кинжала типичен для прохоровскихформ, датирующихся рубежом II-I вв. до н.э.

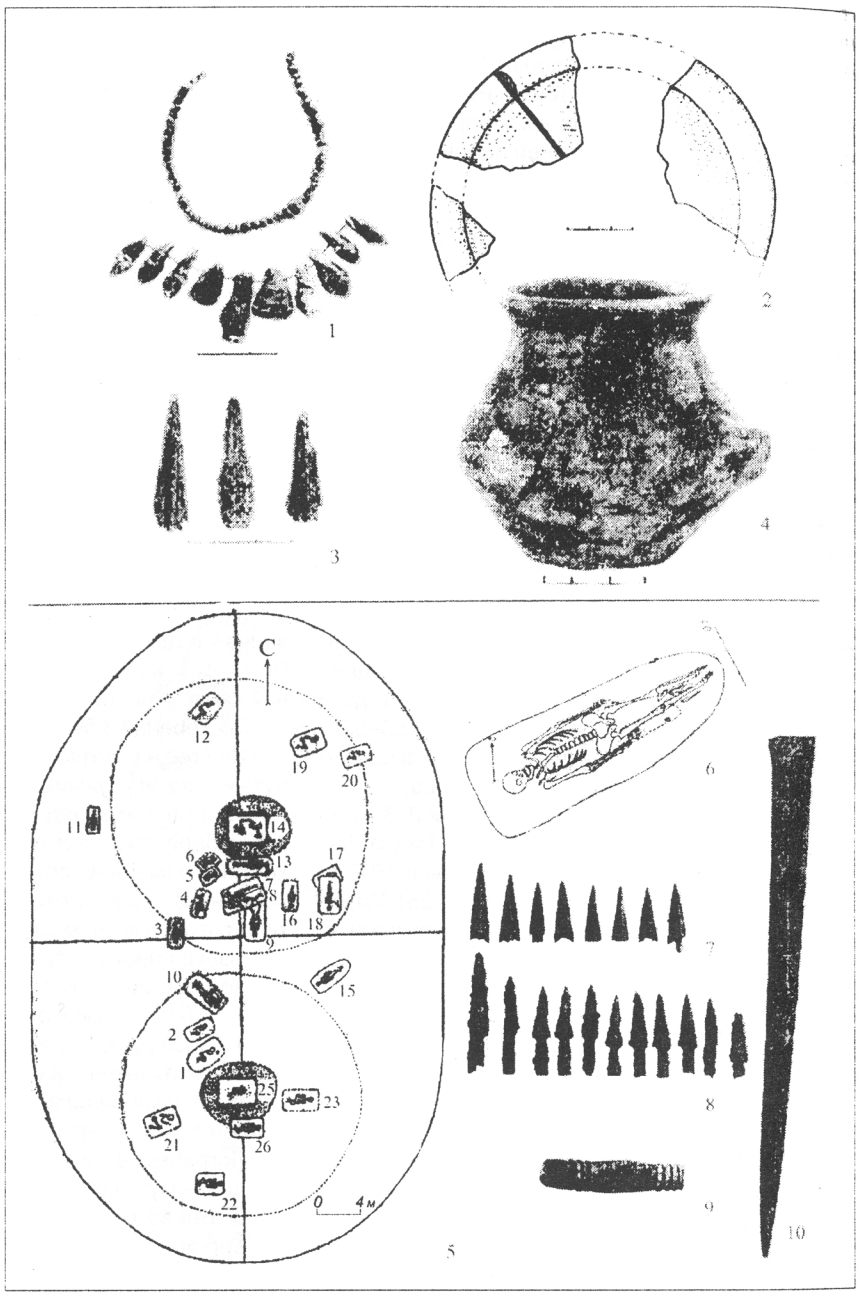


Рис. 4. 1–4 – Бережновка II. Курган 85. Погребение 2. 1 – около 70 экземпляров бус разных типов; 2 – фрагменты бронзового зеркала с валиком по краю; 3 – бронзовые базисные трехлопастные наконечники стрел; 4 – темно-серый лощеный сосуд с отбитой ручкой.

5–10 – Ровное. Курган 4. Погребение 15. 5 – план кургана; 6 – план погребения в яме № 15; 7 – восемь экземпляров бронзовых трехгранных втульчатых наконечников стрел; 8 – одиннадцать экземпляров железных втульчатых трехлопастных наконечников стрел; 9 – костяная трубочка, орнаментированная нарезками; 10 – костяная проколка с заполированным острым концом.

Бережновка II. Курган 85. Поргебение 2. Погребение раскопано в 1955 г. экспедицией под руководством И. В. Синицына (Синицын 1960: 86). Оно располагалось в юго-восточном секторе кургана. Погребение было совершено в яме прямоугольной формы. На дне лежал скелет женщины, на спине, вытянуто, головой на ЮЗ. Вокруг шейных позвонков и на груди – около 70 разнообразных стеклянных бус от ожерелья. Среди них имелись мелкие плоские, округлые, семь штук крупных продолговатых, с утолщенной серединой и конусовидным концом, две пирамидальной и одна бутылкообразной формы (Рис. 4, 1). Около правого колена находилось глиняное пряслице конусовидной формы и куски разбитого бронзового зеркала с широким овальным ободком по краю. Диаметр диска 15,5 см (Рис. 4, 2). Рядом с обломками зеркала лежало три бронзовых трехгранных втульчатых наконечника стрел (Рис. 4, 3). Между ног, около пяток, стоял глиняный лепной горшок (Рис. 4, 4), поверхность его темно-серая, лощеная. На одной стороне была ручка, утраченная в древности. Высота горшка – 8,5 см, диаметр устья – 6 см, диаметр дна – 4 см.

Вывод. Определяющим в этом комплексе являются не бронзовые наконечники стрел (они могли быть украшением несохранившегося мешочка, в котором лежали фрагменты разбитого зеркала вместе с пряслицем), а форма бронзового зеркала с валиком по краю. Она весьма характерна для зеркал конца II – I вв. до н.э. и

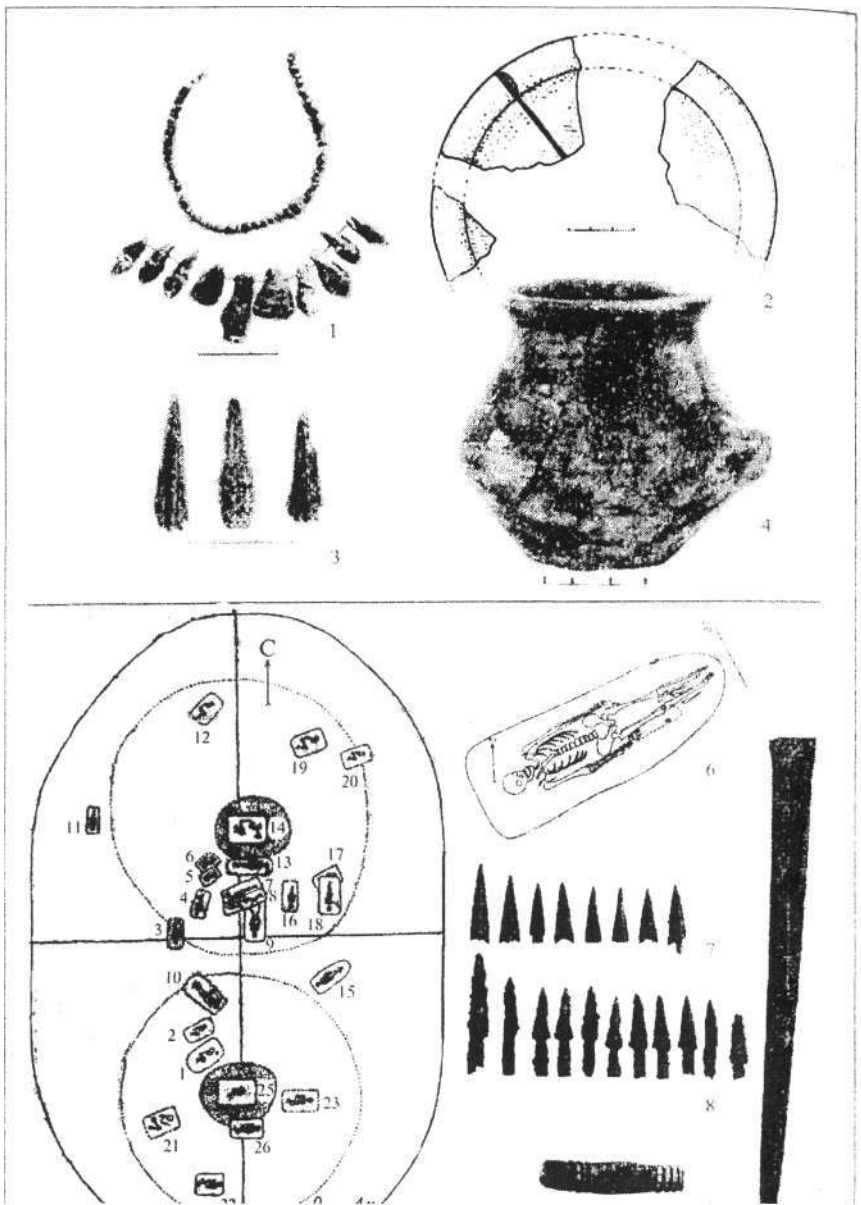


Рис. 4. 1-4 - Бережновка II. Курган 85. Погребение 2. 1-около 70 экземпляров бус разных типов; 2 - фрагменты бронзового зеркала с валиком по краю; 3 - бронзовые базисные трехлопастные наконечники стрел; 4 - темно-серый лощеный сосуд с отбитой ручкой.

5-10- Ровное. Курган 4. Погребение 15.5 - план кургана; 6 - план погребения в яме № 15; 7 - восемь экземпляров бронзовых трехгранных втульчатых наконечников стрел; 8 - одиннадцать экземпляров железных втульчатых трехлопастных наконечников стрел; 9 - костяная трубочка, орнаментированная нарезками; 10 - костяная проколка с заполированным острым концом.

исключена для памятников более раннего времени. Судя по форме зеркала и темно-серого лощеного сосуда с ручкой, данное погребение вряд ли древнее II в. до н.э.

Ровное. Курган 4. Погребение 15. Курган был раскопан Волгоградской археологической экспедицией в 1957 г. под руководством И. В. Синицына (Синицын 1966: 41-42).

Погребение № 15 было расположено в восточной половине кургана, за границей насыпей древних курганов (Рис. 4, 5). Узкая грунтовая могила прямоугольной формы с округлыми углами, ориентирована по линии юго-запад - северо-восток. На дне могилы скелет мужчины лежал на спине, вытянуто, головой на юго-запад (Рис. 4, 6). С правой стороны около бедра, был найден колчан, в котором помещалось 8 бронзовых втульчатых трехгранных (Рис. 4, 7) и 11 железных трехгранных с длинными втулками наконечников стрел (Рис. 4, 8), а около колена правой ноги кусок кремня. Вдоль берцовой кости правой ноги лежала костяная проколка с острым заполированным концом. Утолщенный ее конец просверлен сбоку в край среза (Рис. 4,10). Длина проколки 18,5 см, толщина в средней части 1 см. Ниже колен между ног находились кости овцы (передняя нога с лопаткой) и железный однолезвийный нож. У кисти левой руки лежал костяной предмет в виде полой трубочки, орнаментированной желобчатыми нарезками, расположенными по концам (Рис. 4, 9). С правой стороны, под лучевыми костями, лежал небольшой кусок реальгара.

Вывод. Судя по наконечникам стрел (железным с длинной выступающей втулкой), данное погребение должно датироваться временем не позднее IV в. до н.э. В. М. Клепиков и А. С. Скрипкин упускают из виду характер всего погребального комплекса, каким являлся данный курган. Он был сооружен на базе двух стоявших рядом курганов эпохи бронзы (Рис. 4, 5). В южной части этого комплекса к эпохе бронзы относятся погребения №1,2, 21-25. В северной части к эпохе бронзы относятся погребения 5, 6, 12, 14, 17, 19, 20. К моменту сооружения общей насыпи относятся погре-

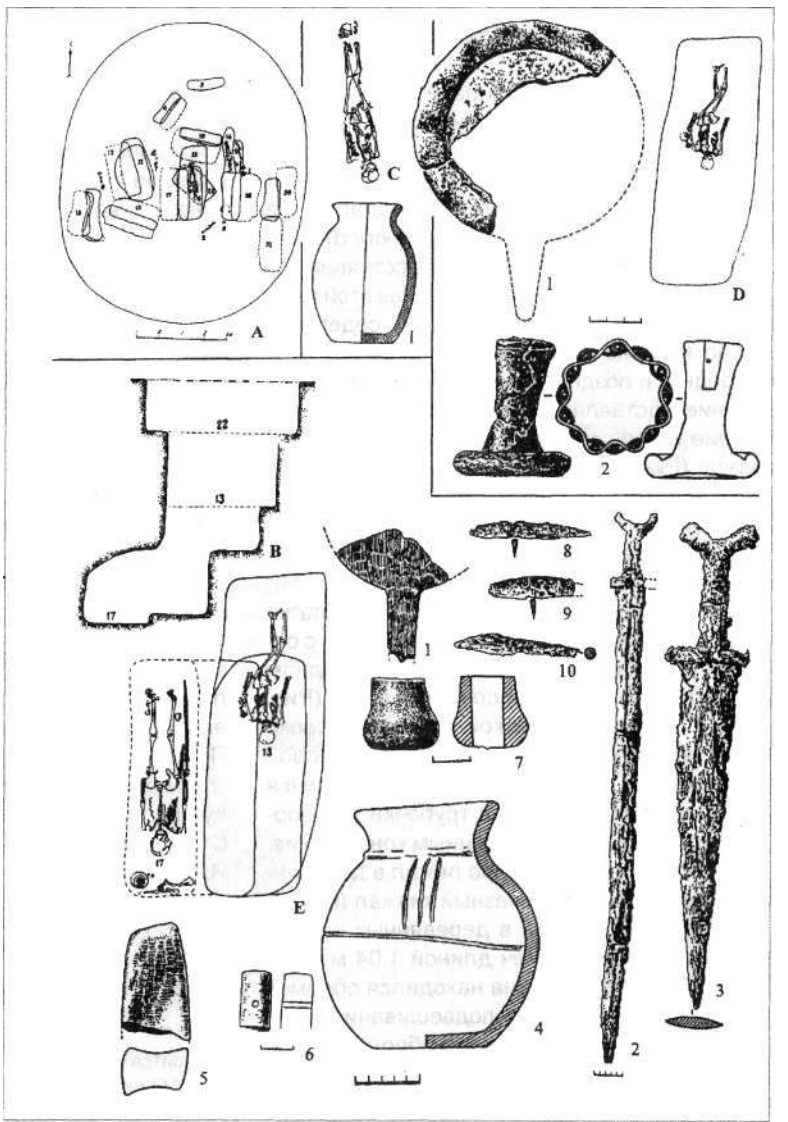


Рис. 5. Калиновка. Курган 19. А - план кургана; В - разрез и план катакомбы № 17: 1 - обломок плоского бронзового зеркала с боковой рукояткой; 2 - длинный железный меч; 3 - железный короткий набедренный кинжал; 4 - лепной лощеный сосудик; 5 - песчаниковая плитка; 6 - обломок точильного камня; 7 - костяная ворворка; 8-10 - железные черешковые ножи; С - план впускного погребения № 6: 1 - лепной горшок; D, E - план впускного погребения № 13: 1 - фрагменты бронзового зеркала «бактрийского» типа; 2 - деревянная орнаментированная подставка для зеркала.

бения, инвентарь которых может быть датирован в пределах V-IV вв. до н.э. Стратиграфически они располагаются между полами древних курганов под центром новой насыпи. К ним относятся погребения 3, 4, 9, 10, 15, 16, 18. К числу хроноиндикаторов V-IV в. до н.э. относятся лепной глиняный кувшин с орнаментом в виде когтей птицы из погребения 3 (Синицын 1966: 36. Рис. 9, 1), плоскодонные сосуды из погребений 4 и 10 (Синицын 1966: 36. Рис. 9: 3, 4), бусы, пряслице, золотая височная подвеска и массивные втульчатые с выступающей втулкой трехгранные железные наконечники стрел из погребения 9 (Синицын 1966: 39. Рис. 11, 9-12). Лишь позднее в центр кургана последовательно были впущены погребения 8 и 7, которые перекрыли погребение 9. Показательно, что погребение 7, самое позднее в кургане, содержало в инвентаре колчанный набор, состоящий только из сарматских железных черешковых наконечников стрел. Судя по всему, это погребение может быть датировано II-I вв. до н.э. Такое распределение комплексов в данном кургане не позволяет вырвать погребение 15 из общего контекста и датировать его III в. до н.э.

Калиновка. Курган 19. Погребение 17. Курган раскопан в 1952 г. Калиновским отрядом Сталинградской экспедиции под руководством 8. П. Шилова (Шилов 1959: 370-378). Следует отметить, что данный курган располагался в обособленной группе, отстоящей к югу от края основного ядра могильника на расстоянии 0,5 км (Шилов 1959:325, рис. 2). В состав этой группы входят курганы № 19, 39-41, 44, содержавшие, по мнению В. П. Шилова, лишь погребения средне- и позднесарматского времени. Исключение составляет курган 19, основное погребение которого (№ 22) относится к срубной культуре (Рис. 5, А).

Погребение 17 (Рис. 5, В, Е) открыто под погребениями 6, 13 и 22. Это была катакомбная могила. На дне лежал костяк мужчины, на спине, вытянуто, головой на Ю.

В изголовье найдены кости 2 ног и лопатка барана, целый железный нож (Рис. 5, Е, 8) с остатками деревянной рукоятки. В юго-западном углу подбоя стоял лепной лощеный сосуд (Рис. 5, Е, 4). Под правой лопаткой костяка человека найден обломок плоского зеркала с боковой рукояткой (Рис. 5, Е, 1). У левого предплечья была обнаружена костяная трубочка (ворворка?) с валикообразно утолщенным концом (Рис. 5, Е, 7), Вдоль правого бедра лежал в деревянных ножнах, плашмя, железный кинжал (Рис. 5, Е, 3). Рядом обнаружен в деревянных ножнах массивный железный меч длиной 1,04 м (Рис. 5, Е, 2). Возле острия меча находился обломок оселка с отверстием для подвешивания (Рис. 5, Е, 6). У правой голени лежал обломок плиты песчаника (Рис. 5, Е, 5), а у левой —найдены: кусок серы, брусочек мела со следами сквозного отверстия и обработки; обломок массивного железного шила (?) с деревянной рукояткой (Рис. 5, Е, 10); осколок гальки, обломок железного ножичка (Рис. 5, Е, 9), несколько трехперых черешковых железных наконечников стрел, мелкие кусочки дерева.

Поскольку в рассуждениях В. М. Клепикова большое внимание уделяется стратиграфическим наблюдениям, позволяющим относить погребение 17 к III в. до н.э., рассмотрим внимательней описания погребений № 13 и 6 [13].

Погребение 13 (Рис. 5, D, Е) найдено в центре кургана. Прямоугольная могильная яма в южном конце нарушена колодцем более ранней подбойной могилы 17. На дне могилы лежал скелет женщины, на спине, вытянуто, головой на Ю. У левого плеча встречена деревянная орнаментированная ручка зеркала (Рис. 5, D, 2). Рядом лежали 3 обломка зеркала диаметром 13,2 см. Зеркало хранилось в деревянном футляре, остатки которого обнаружены рядом (Рис. 5, D, 1). Слева от костяка, напротив бедра, найдены кости передней ноги барана и лопатка, лежавшие в анатомическом порядке. На лопатке барана находились 2 фрагмента небольшого железного ножичка со следами деревянной рукоятки.

Погребение 6 (Рис. 5, С) обнаружено в юго-восточном секторе, на глубине 1,15 м. Яма прослежена только в области ног; размеры ее установить не удалось. Мужской костяк положен на спине, вытянуто, головой на ЮЮВ. Часть ребер и фаланги рук и ног растащены грызунами. В ногах лежал на боку лепной горшок (Рис. 5, С, 1).

Вывод. Соотношение погребений 17 и 13 не производит впечатления случайного попадания поздней могилы в более раннее погребальное сооружение (Рис. 5, Е). Прямоугольная яма погребения 13 достаточно точно повторяет пропорции входной ямы катакомбы 17. Скорее всего, мы имеем дело с подзахоронением женщины в могилу мужа спустя некоторое время. В этом отношении датировка рубежом II-I вв. до н.э. зеркала бактрийского типа из погребения 13 хорошо согласуется с таким предположением [14]. Что касается плоского бронзового зеркала из погребения 17, то оно имеет точнейшую аналогию в инвентаре погребения кургана 2 Прохоровского могильника.

Бережновка II. Курган 14. Погребение 21. Курган раскопан в 1954 г. Заволжским отрядом Сталинградской экспедиции под руководством И. В. Синицына (Синицын 1960:22-30). Парное погребение 21 было впущено в северо-западный сектор кургана (Рис. 6, А).

Могила прямоугольно-удлиненной формы, ориентирована по линии С-Ю (Рис. 6, В). На дне

[13] Погребение 22 было основным в этом кургане и относится к эпохе бронзы.

[14] О типологии и датировке зеркал бактрийского типа см.: Горбунова 1998:283-296.

могилы - коллективное захоронение: мужчина, женщина и ребенок. Вдоль восточной стенки лежал скелет мужчины на спине. Около черепа с левой стороны находилось большое зеркало с деревянной ручкой с резным орнаментом. По краю диска с одной стороны имеется широкий овальный ободок (Рис. 6, В, 1).

Рядом с костяком мужчины лежал скелет молодой женщины, также на спине, вытянуто, головой на Ю, кисть правой руки помещалась на бедре правой ноги, левой - на тазовой кости. На средних пальцах надеты золотые перстни, сделанные из тонкого листа. Они имеют круглый выпуклый щиток с двумя узкими полосками, заходящими друг на друга концами (Рис. 6, В, 2). Между черепом женского скелета и южной стенкой стоял глиняный кувшин темно-оранжевого цвета с округлыми боками, слабо выраженным дном, высоким горлом и несколько отогнутым наружу венчиком. Вокруг горла и по плечикам горшка прочерчены параллельно в два ряда горизонтально расположенные линии (Рис. 6, В, 3). Глина содержит много примесей шамота, черепок в изломе черный, легко крошится. Рядом с женским скелетом, в ногах, вдоль западной стенки лежал скелет ребенка лет 7-8, на спине, вытянуто, головой на С. Вдоль северной стенки могилы, в ногах погребенных, находились кости овцы - ноги, ребра. Дно покрыто темно-коричневым слоем перегноя от подстилки.

Как в случае с предшествующим курганом, здесь также имело место стратиграфическое напластование погребений. Могила 20 задела южную стенку погребения 21. Приведу здесь описание этого погребения.

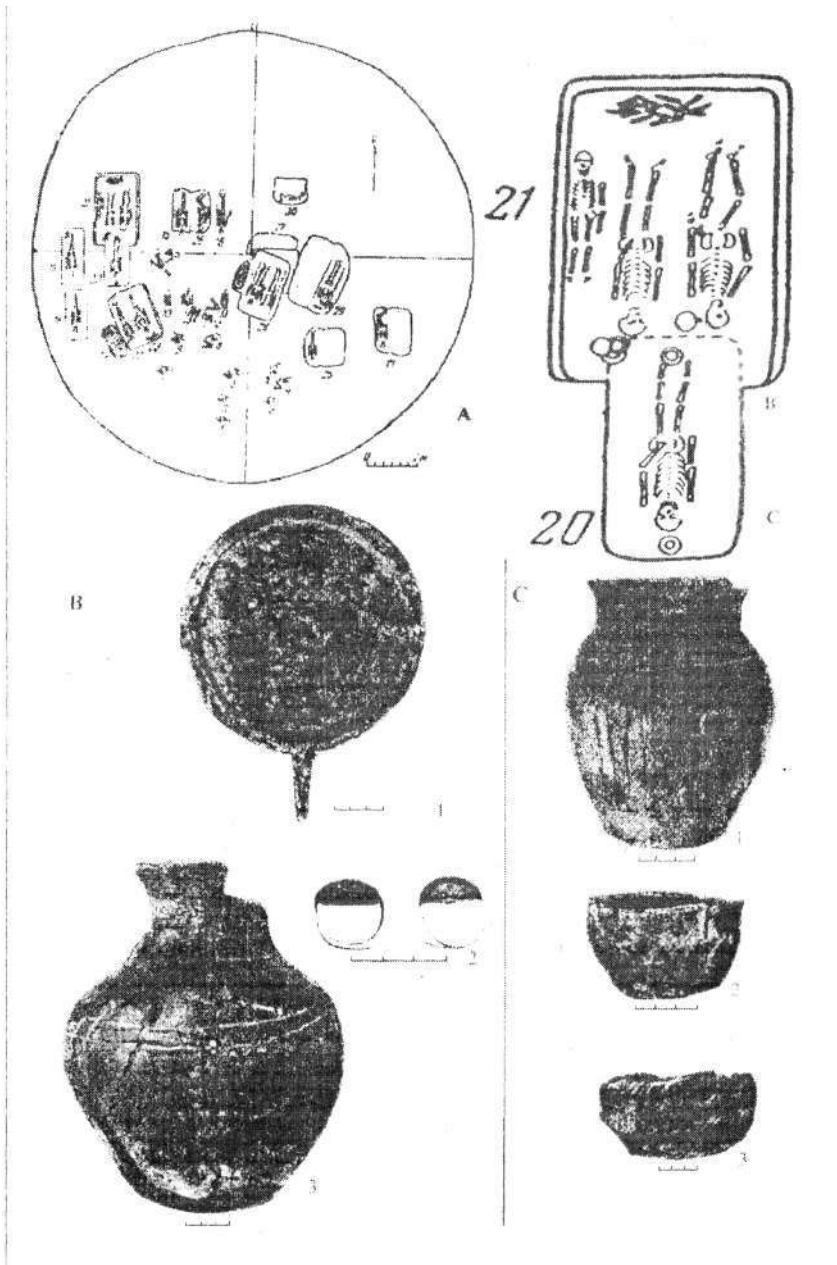


Рис. 6. Бережновка II Курган 14. А- план кургана; В - погребение 21: 1 - бронзовое зеркало с валиком по краю и штырем-рукояткой; 2 - золотые перстни из листового золота; 3 - темно-оранжевый лепной сосуд с высоким горлом и отогнутым венчиком; С - впускное погребение 20:1 -лепной сосуд с плавно выпуклыми боками и резко отогнутым венчиком; 2 - глиняная курильница; 3 - глиняная курильница, орнаментированная косыми нарезками.

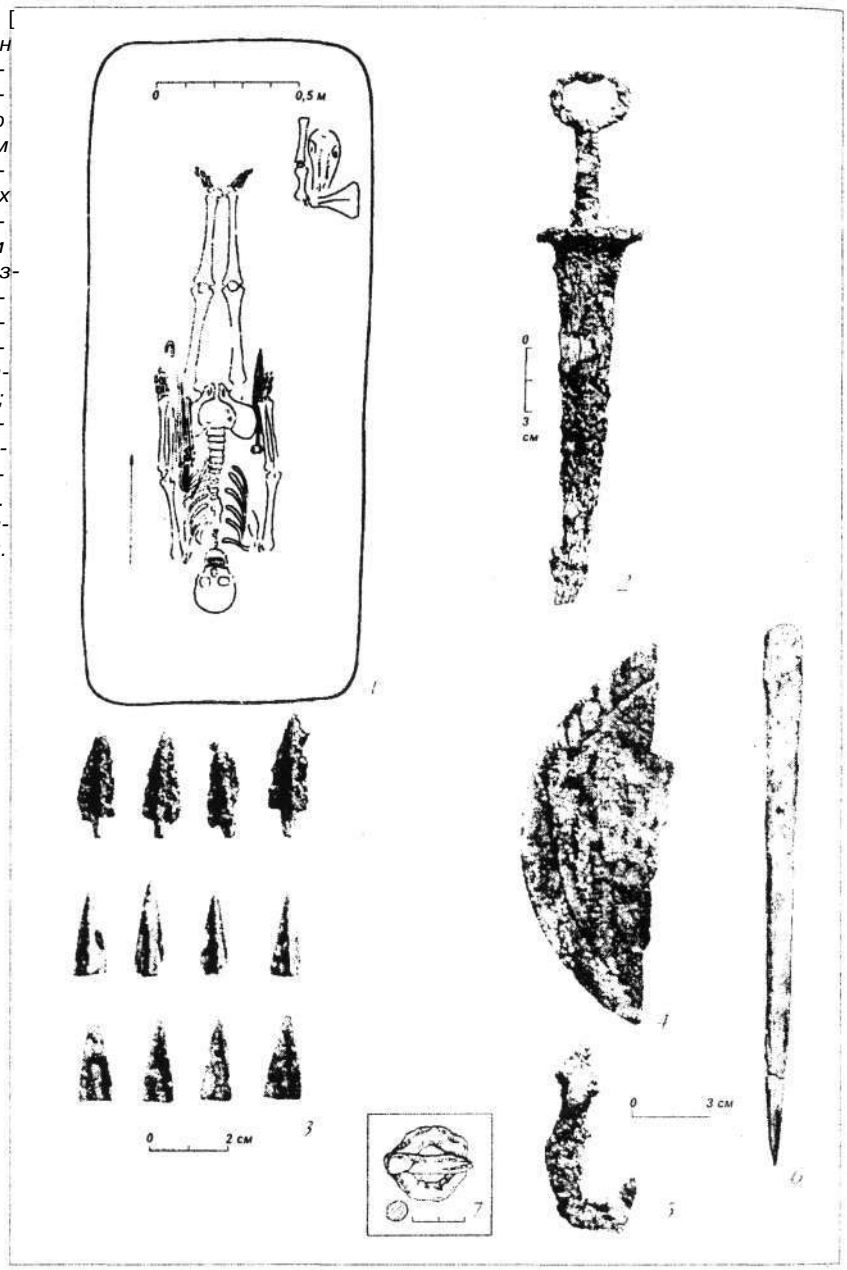


Рис. 7. 1-6 - Бережновка. Южная группа. Курган 2. Погребение 11. 1 - план погребения; 2 - кинжал сусловского типа с кольцевидным навершием; 3 - образцы девяти бронзовых базисных трехлопастных втульчатых и двадцати трех железных трехгранных черешковых наконечников стрел; 4 - обломок бронзового зеркала с валиком по краю; 5 - железный колчанный крючок; 6 - костяная проколка; 7 - Джангала. Курган 4. Погребение 2. Железная пряжка с язычком.

Погребение № 20 расположено в яме прямоугольной формы, ориентированной по линии С-Ю. Своим северным концом она срезала южный край могилы № 21 (Рис. 6, С). В могиле лежал скелет женщины на спине, вытянуто, головой на Ю. Около черепа стоял глиняный сосуд цилиндрической формы с валиками по краю и в середине, орнаментированными косыми нарезками. (Рис. 6, С, 3). Внутри его стояла курильница, также цилиндрической формы, с несколько выпуклыми боками (Рис. 6, С, 2). Около сосуда находились: глиняное пряслице конусовидной формы и кусок реальгара. Между ног у колен лежали кости овцы - нога с лопаткой. У ступней ног - глиняный сосуд с плавно выпуклыми боками, невысокой шейкой и резко отогнутым краем венчика. По плечикам - горизонтальная желобчатая линия, ниже которой по стенкам прочерченные линии, вертикально опускающиеся сверху вниз (Рис. 6, С, 1).

Вывод. В инвентаре обоих погребений нет никаких находок, которые могли бы указать на дату ранее II-I вв. до н.э.

Бережновка. Южная группа. Курган 2. Погребение 11. Погребение было раскопано в 1952 г. экспедицией под руководством И. В. Синицына (Синицын 1959: 115-116). Погребение было совершено в яме, ориентированной с севера на юг (Рис. 7, 1). В могиле был погребен мужчина на спине вытянуто головой на юг. Справа между тазом и рукой находился короткий железный кинжал. Кинжал имел кольцевое навершие и прямое перекрестие (Рис. 7, 2). На левом боку у локтя находились 9 трехгранных

втульчатых бронзовых и 23 трехгранных черешковых железных наконечников стрел (Рис. 7, 3). Стрелы лежали так, что острия были направлены вверх. Здесь же находилась часть разбитого бронзового зеркала (Рис. 7, 4) с широким овальным ободком по краю. Над зеркалом и наконечниками находилась костяная проколка (Рис. 7, 6) с острым отполированным концом и продольным отверстием на другом конце (верхняя часть предмета распалась). Длина проколки - 20 см. Ниже кисти руки, около левого бедра, лежал железный крючок, по-видимому, от колчана (Рис. 7, 5). Справа у стенки, на уровне колен, находились череп барана и передняя нога с лопаткой. Дно было покрыто темно-серым слоем перегноя от подстилки. И. В. Синицын датировал это погребение в пределах IV-II вв. до н.э. на основании факта находки бронзовых втульчатых наконечников стрел, отметив при этом как параллель, что «в прежних раскопках в Заволжье меч с кольцевидным навершием однажды был обнаружен вместе с мечом прохоровского типа» (Синицын 1952: 68. Рис. 27: 4, 5).

Вывод. То, что казалось в 1952 г. уникальным, позже сделалось довольно распространенным явлением при раскопках сарматских памятников, о чем еще будет далее речь. Однако во всех случаях нахождения мечей и кинжалов с кольцевым навершием практически все эти комплексы датируются не ранее рубежа II-I вв. до н.э.

Джангала. Курган 4. Погребение 2, 3. В. М. Клепиков и А.С.Скрипкин, вслед за М.Г.Мошковой (Мошкова 1963:15. № 15), указывают, что они имеют в виду курган, раскопанный в 1948 г. И. В. Синицыным у озера Сары-Айдин (Сарайдин, по Мошковой). Но это совершенно не так, поскольку развеянный курган 4 у этого озера содержал лишь безынвентарное погребение эпохи бронзы (Синицын 1956: 120-121). Судя по данным Свода памятников прохоровской культуры, эти исследователи имеют в виду погребения, раскопанные тогда же И. В. Синицыным в могильнике, который он назвал Джангала (Новая Казанка). В публикации материалов этих раскопок Синицын не приводит никаких графических иллюстраций, относящихся к материалам кургана 4. В 1963 г. М. Г. Мошкова опубликовала только рисунок железной пряжки из погребения 2 кургана 4, ошибочно связав его с вышеупомянутым курганом у озера Сары-Айдин.

И. В. Синицын указывал, что курган 4 могильника Джангала (Новая Казанка) был развеян, но до этого имел диаметр около 15 м. В нем он расчистил три погребения, из которых погребение 2, вероятнее всего, было основным. Приведу описание погребений этого кургана по И. В. Синицыну.

Погребение № 1 являлось впускным и было расположено выше остальных двух. В процессе развевания песка положение скелета было нарушено: кости опустились ниже их первоначального захоронения и в значительной части перемешались. Среди костей находились обломки железного кольца, остатки сильно разложившегося железного ножа и каких-то других железных предметов.

Погребение № 2 расположено на расстоянии 1 м от первого, с южной его стороны. Скелет мужчины лежал на спине, вытянуто, головою на юг, руки несколько согнуты в локтях. Около левого плеча помещался глиняный толстостенный горшок ручной формовки с плоским дном. Стенки горшка несколько выпуклые, невысокое горло с отогнутым венчиком наружу. Выше локтя левой руки погребенного лежал бронзовый трехгранный втульчатый наконечник стрелы. С правой стороны, на животе, рядом с тазовой костью, помещалась сильно скипевшаяся небольшая железная пряжка с железным язычком (Рис. 7, 7). У правого бедра, ниже кисти руки, находились кости овцы - лопатка, часть передней ноги. Здесь же лежал железный однолезвийный нож (в обломках) длиною до 12 см.

Погребение № 3 расположено на расстоянии 2 м от погребения № 2 с юго-восточной стороны. Мужской скелет юношеского возраста лежал на спине с вытянутыми конечностями, головою на юг. У кисти левой руки находился трехгранный с выступающей втулкой наконечник стрелы. В ногах, около ступни правой ноги, помещался скелет обезглавленного барана.

Вывод. Совершенно очевидно, что В. М. Клепиков и А. С. Скрипкин, не разобравшись как следует с источниковедческой путаницей в Своде памятников 1963 г., ошибочно внесли в свой список памятников iII в. до н.э. курган 4 у с. Джангала. Сказать что-либо о хронологической позиции погребений из этого кургана, к сожалению, невозможно из-за малочисленности и плохой опубликованности материала.

Приведенные примеры наглядно показывают, насколько слабо выглядят аргументы в пользу существования памятников III в. до н.э. в Поволжье. Собранные Клепиковым и Скрипкиным комплексы бедны инвентарем и маловыразительны. Часть их внесена в список памятников явно ошибочно. Большая часть комплексов до сих пор не введена в научный оборот и недоступна для критического анализа. Но даже если мы признаем a priori, что какая-то часть этих комплексов действительно относится к III в. до н.э., мы сталкиваемся с парадоксальной ситуацией. Эти невзрачные и бедные комплексы, которые разительно отличаются от памятников IV в. до н.э., являются прототипами для всей прохоровской культуры II в. до н.э. и служат прототипами для собственно прохоровских погребений южной группы этого могильника. Доказать такой тезис, я думаю, будет еще труднее, чем отсутствие памятников III в. до н.э. - ведь иначе нельзя интерпретировать эту картину, если признавать правильность дат, предло-

женных мной для Прохоровки.

По поводу методики определения памятников III в. до н.э. мне хотелось бы сделать несколько замечаний. Отмечая еще во введении к своей работе проблематичность выделения памятников III в. до н.э., Клепиков, тем не менее, начинает свою работу не со сравнения комплексов IV|H II-I вв. до н.э., а с перечисления выхваченных из контекста отдельных категорий находок, которым он придает статус хроноиндикаторов. При этом Клепиков совершенно забывает о том, что оперирует с датировками, характер которых определяется традиционной концепцией общности «савромато-сарматской» культуры, согласно которой III в. до н.э. являлся временем расцвета памятников прохоровского типа. Не устранив этого противоречия между этим обстоятельством и тезисом А. С. Скрипкина, предложившего разделять раннесарматские древности на две группы — IV-III и U-I вв. до н.э. [15], В. М. Клепиков, на мой взгляд, допускает серьезную ошибку, которая изначально ставит его списки хроноиндикаторов под сомнение.

Исследовательский прием Клепикова был бы оправдан, если для анализа отдельных категорий инвентаря он попытался бы представить новое обоснование дат. Но этого, самого важного, хода Клепиков как раз и не делает. Он пользуется традиционными датировками, полностью полагаясь на них.

Приведу пример с типологией клинкового оружия. Речь идет об общеизвестной гипотезе эволюции скифских форм акинака через так называемые «переходные» формы к мечам и кинжалам прохоровского типа. Полностью разделяя эту традиционную точку зрения, Клепиков пишет: «Мечи с перекрестиями в виде сломанного под тупым углом или изогнутого в виде дуги бруска традиционно характеризуются как переходные между савроматскими акинаками с брусковидным навершием и крыловидным или узким бабочковидным перекрестием и классическими прохоровскими образцами с серповидным навершием и прямым перекрестием» (Клепиков 1998: 8).

В одной из своих работ я уже достаточно подробно разбирал вопрос об аргументированности гипотезы, которую Клепиков целиком принимает на веру. Основные выводы, к которым пришел я, сводятся к следующему:

1. Клинковое оружие так называемых «переходных» и прохоровского типов не совстречается ни в одном из известных науке комплексов.

2. Мечи и кинжалы «переходных» типов встречаются в комплексах, инвентарь которых датируется в пределах V- начала IV вв. до н.э., в то время как мечи и кинжалы прохоровского типа неизвестны в комплексах ранее II в. до н.э.

3. Идея трансформации «переходных» типов мечей и кинжалов в прохоровские основывается лишь на формальной близости их внешнего облика и ничем более не подтверждается (Зуев 1998а: 143-150).

Любопытно отметить, что в работе Клепикова эти выводы находят полное подтверждение. Для своей диссертации он разработал новую типологическую схему клинкового оружия IV-I вв. до н.э., у которой, «вопреки традиции, в основу выделения четырех отделов была положена форма перекрестия». Первый отдел образуют мечи синдо-меотских типов, у которых отсутствует перекрестье. Второй отдел представлен клинками с фигурными перекрестьями. Третий отдел составляют мечи и кинжалы «переходных» типов. Четвертый - мечи и кинжалы с прямым перекрестьем. По формам наверший клинков Клепиков подразделяет свои отделы по типам. Хронологически распределяя мечи и кинжалы IV-I вв. до н.э. по методу «зажатых» датировок, Клепиков рисует следующую картину: «Список вещей IV-III вв. до н.э., неизвестных в хорошо **датированных памятниках II-I** вв. **до н.э.,** может быть представлен следующей номенклатурой: 1) мечи и кинжалы 1 и 2 типов I отдела, все типы мечей II и III отделов и 1 типа IV отдела. ...Список вещей, известных в датированных комплексах II-I вв. до н.э., **которые могли появиться и в** III **в. до н.э., но не представлены в погребениях IV в. до н.э.** (выделено мной - В. З.): 1) мечи и кинжалы 3 типа I отдела, 2, 3 и 4 типов IV отдела» (Клепиков 1998: 15). Если представить выводы Клепикова в виде таблицы (Рис. 8), то мы получим наглядное подтверждение тезиса о несовстречаемости мечей и кинжалов прохоровского типа с клинками «переходных» типов. Правда, этому вроде бы противоречат мечи и кинжалы 1 типа IV отдела, о которых Клепиков пишет: «Исключение составляют мечи с прямым навершием и прямым перекрестием (1 тип), появившиеся в IV в. до н.э. и получившие распространение на рубеже IV-III вв. до н.э.» (Клепиков 1998: 9). Однако здесь он допускает серьезную передержку. Дело в том, что кинжал такого типа найден в закрытом археологическом комплексе, который относили к рубежу IV-III в. до н.э., всего лишь один раз и происходит из кургана 2 у дер. Прохоровки (что в Южном Приуралье), который в действительности датируется как раз рубежом II-I вв. до н.э. Перенеся этот кинжал на рисунке 8 в группу клинков прохоровского типа, мы получим реальный отрыв клинков V-IV до н.э. от клинков II-I вв. до н.э., причем хронологическая лакуна между ними падает как раз на III в. до н.э.

Другим примером слабости исходных позиций Клепикова в вопросе о категориях инвентаря, имеющего статус хроноиндикатора, является чрезвычайно распространенное мнение о том, что бронзовые втульчатые наконечники

[15] Именно такого разграничения хронологических групп придерживается Клепиков, излагая взгляды Скрипкина. См.: Клепиков 1998:6.

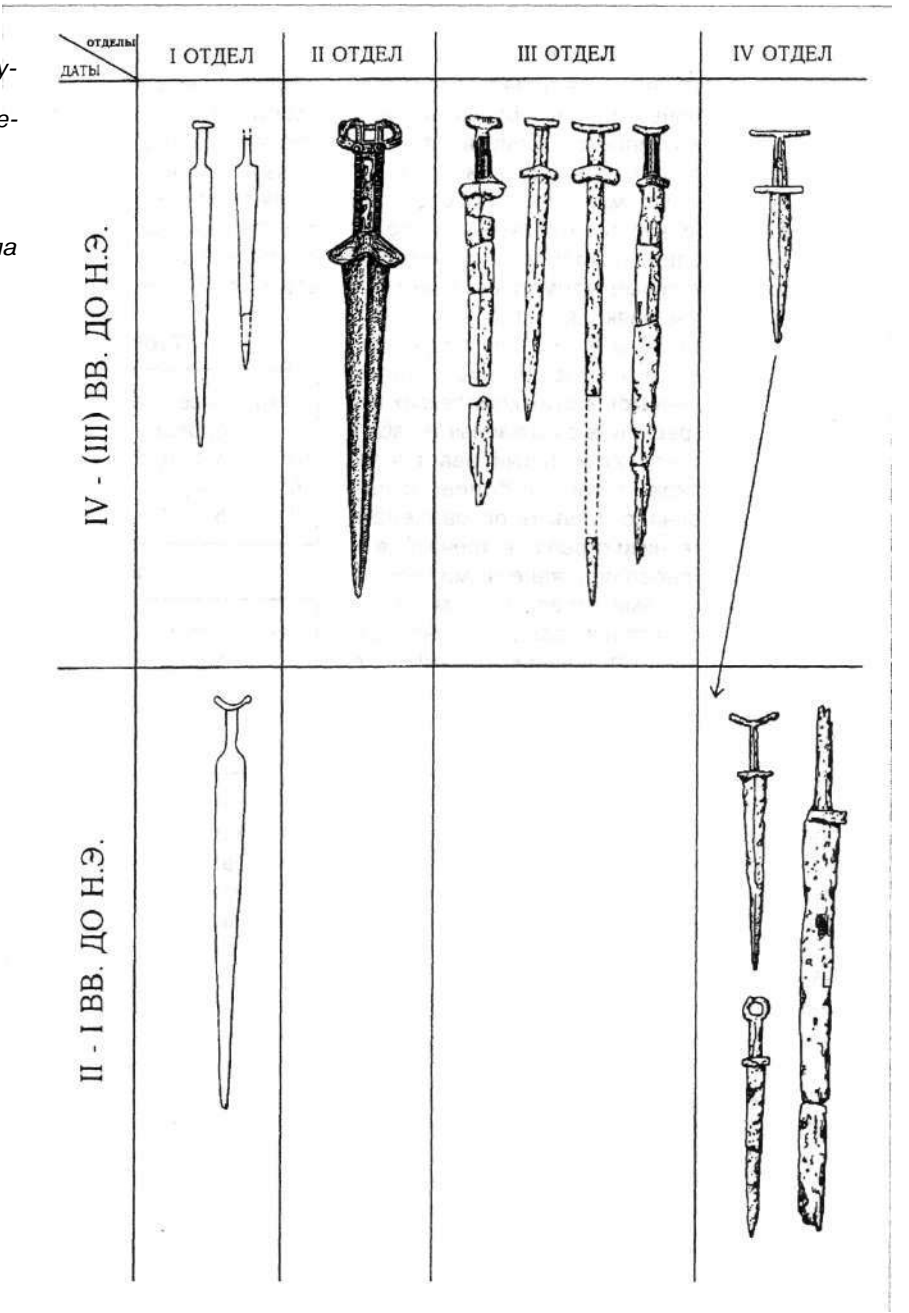


Рис. 8. Типологическая схема клинкового оружия IV-I вв. до н.э. по В. М. Клепикову с корректировкой хронологической позиции кинжала 1 типа IV отдела.

стрел не встречаются в памятниках II-! вв. до н.э. Приведенных выше примеров, на мой взгляд, достаточно для того, чтобы, как минимум, усомниться в правомерности этого тезиса.

Следует отметить, что по этому вопросу нет единства во мнении и у В. М. Клепикова и А. С. Скрипкина. Если первый из них просто уверен в справедливости данного тезиса, то позиция А. С. Скрипкина лишена определенности. В работе, опубликованной в 1997 г. совместно с В. М. Клепиковым, Скрипкин вроде бы тоже разделяет этот тезис [16]. Но в своей книге, также вышедшей в 1997 г., Скрипкин высказывает однозначно противоположную точку зрения о времени бытования бронзовых наконечников стрел. «**Бронзовые наконечники** - пишет он, - **доживают до II в. до н.э., то есть по старой дате практически до конца прохоровской культуры** (выделено мной - В. З.)» (Скрипкин 1997: 17).

Упорное повторение тезиса о том, что «бронзовые наконечники стрел практически отсутствуют в датированных комплексах II-I вв. до н.э.», приводит Клепикова к необходимости передатировать многие поздние категории инвентаря, удревняя их дату. Так, на основании совстречаемости подобных наконечников стрел с мечами и кинжалами, у которых имеется кольцевидное навершие, Клепиков вынужден писать о клинках сусловского типа как о «сформировавших-

[!] См. приведенную выше цитату и комментарий.

ся к рубежу IV-III вв. до н.э. и бытующих в течении веков в сарматском наборе оружия» [17].

Указанные противоречия только усиливают аргументацию в пользу того, что бронзовые наконечники стрел в комплексах Приуралья и Поволжья доживают практически до конца II в. до н.э. Точнее говоря, в памятниках этого времени мы встречаем бронзовые наконечники стрел совершенно определенного типа. Это треугольные по форме базисные экземпляры. Они достаточно хорошо выделяются в отдельную группу на фоне эклектичных по составу колчанных наборов V-IV вв. до н.э. Общее число таких бронзовых наконечников в этих комплексах не идет ни в какое сравнение с колчанными наборами V-IV вв. до н.э., где их насчитывается по несколько десятков (зачастую более сотни) штук в одном колчане. Мелкие по размерам бронзовые наконечники стрел совстречаются в прохоровских погребениях с железными черешковыми наконечниками стрел, причем число последних значительно превосходит бронзовые экземпляры. В этом отношении заслуживают внимания случаи, когда бронзовые наконечники в могилах N-I вв. до н.э. находят воткнутыми в тела погребенных (Красногорский курган, п. 2; Белокаменка II, к. 7, п. 3). Во всяком случае, совстречаемость этих наконечников с такими несомненно поздними элементами сарматской паноплии, как мечи с кольцевидным навершием, позволяет уверенно относить этот вариант трехлопастных бронзовых наконечников стрел к рубежу II-I вв. до н.э [18].

Обратимся к перечням так называемых «вещей-определителей» памятников III в. до н.э., предложенным в диссертации В. М. Клепикова. Перечни эти он получает в результате анализа большого списка категорий находок IV-I вв. до н.э., в который входят различные по типам мечи и кинжалы, наконечники копий, наконечники стрел, посуда, конское снаряжение, зеркала, различные орудия труда (ножи, оселки, пряслица, костяные проколки, каменные плитки, молоточки), костяные ложки, портупейная гарнитура и украшения. На основании хронологического распределения этих находок Клепиков составляет перечень из двадцати двух типов вещей «IV-III вв. до н.э., неизвестных в хорошо датированных памятниках II-I вв. до н.э.» и перечень из восьми типов «вещей, известных в датированных комплексах II-I вв. до н.э., которые могли появиться и в III в. до н.э., но не представлены в погребениях IV в. до н.э.» (Клепиков 1998:15). Весьма любопытно, что из всего списка категорий инвентаря IV-I вв. до н.э., только некоторые виды орудий труда (железные ножи, оселки, пряслица) встречаются в том и другом перечне и, следовательно, существуют без сбоев на всем протяжении существования «единой раннесарматскои культуры IV-I вв. до н.э.». Уже это одно наблюдение приводит разработки Клепикова к непреодолимому логическому противоречию (Таблица 1 и 2).

Таблица 1 (вариант а)

века	*инвентарный набор комплексов (типы - признаки культуры)*
7\7	а, б, *в, г, д, ж, з, и, к, л, м*
Ш	} „ .
//	**Ь**, с, *d,* **e, *f,*** *ж, /*с, /, *т, п, о*

Таблица 2 (вариант б)

века	*инвентарный набор комплексов (типы - признаки культуры)*
IV	а, *б, в, г, д, ж, з, и, к, л, м*
III	*?, ?, ?, ?, ?, ?, ж, ?, ?. ?, ?, ?*
II	*Ь, с, d, е, f, ж, к, l, т, п, о*

После того как В.М.Клепиков сравнил составы комплексов IV и II-I вв. до н.э. и получил столь разительный контраст «на входе» и «выходе» при прохождении раннесарматскои культуры сквозь «темный III век», ему ничего другого не остается, как признать либо отсутствие единой линии эволюционного развития раннесарматскои культуры (варианта), либо выделить и реально обосновать для III в. до н.э. особый этап этой культуры, на котором происходит столь значительная ее мутация (вариант б).

В. М. Клепиков вместе с А. С. Скрипкиным попытались в докладе на конференции в Ростове-на-Дону в 1997 г. обосновать третий вариант решения «проблемы III в. до н.э.»: раннесарматская культура едина с IV по I вв. до н.э.; хронологического хиатуса нет; памятники III в. до н.э. выделяются путем сопоставления разновременных признаков (Клепиков, Скрипкин 1997: 28-40).

По их мнению, с начала II в. до н.э. в погребениях раннесарматскои культуры не встречаются:

1) бронзовые наконечники стрел;

2) бронзовые ворворки, служившие, вероятно, окончаниями портупейных ремней;

3) глиняная посуда с примесью талька в тесте.

Где-то в HI в. до н.э. (неопределенно), но никак не в IV в. до н.э. (уже точно) в погребениях раннесарматскои культуры начинают встречаться:

1) мечи с прямым перекрестьем и серповидным навершием;

2) железные черешковые наконечники стрел;

3) зеркала с валиком по краю диска и руч-

[17] Клепиков. 1998: 8-9. Это положение, кстати, полностью противоречит собственному выводу Клепикова, когда он пишет во второй главе своей диссертации о том, что мечи и кинжалы с кольцевидным навершием и прямым перекрестьем (3 типа IV отдела) «известны в датированных комплексах II-I вв. до н.э., ... могли появиться и в III в. до н.э., но не представлены в погребениях IV в. до н.э.» (Клепиков. 1998: 15).

[18] См. об этом подробнее: Зуев 1998а: 143-150.

кой-штырем;

4) костяные полированные проколки;

5) лепные горшки с орнаментом в виде вертикальных пучков линий;

6) стеклянные бусы с внутренней позолотой;

7) гешировые дисковидные бусы.

Спрашивается, что же мешает исключить III в. до н.э. из хронологической периодизации, констатировав полное отсутствие памятников этого столетия в Приуралье и Поволжье? Ведь бронзовые ворворки действительно исчезают в Приуралье и Поволжье в конце IV в. до н.э. То же следует пока сказать и о керамике с примесью талька в тесте, которая, правда, может и не иметь вовсе «узкой» археологической даты [19]. Это относится и к бронзовым базисным подтреугольной формы втульчатым наконечникам стрел, поскольку они достаточно хорошо известны в ряде погребений рубежа II-I вв. до н.э. Поскольку семь других «вещей-определителей» из второй группы хронологических индикаторов III в. до н.э. не встречаются в Поволжье и Приуралье в памятниках IV в. до н.э. (а выделенные по другим признакам комплексы III в. до н.э. нам неизвестны), то на основании этих признаков невозможно датировать погребальные комплексы III в. до н.э. Более того, в эволюции наконечников копий, посуды, конской упряжи, зеркал, костяных ложечек, каменных блюд и плиток, портупейной гарнитуре и украшениях, судя по данным диссертации Клепикова, III в. до н.э. предстает либо непреодолимой преградой, либо на это время приходится ощутимый сбой традиции, после которого в этих категориях инвентаря появляются совершенно новые типы. Не противоречит этому выводу и стратиграфические наблюдения самих авторов. Согласно им, выделяемые погребения (как памятники III в. до н.э.) в большинстве случаев встречаются в одном кургане с комплексами II-I вв. до н.э.

Все сказанное здесь свидетельствует о том, что единственным препятствием возможности полного исключения III в. до н.э. из хронологии памятников Приуралья и Поволжья являются лишь старая система периодизации, основанная на идее непрерывно-эволюционного перерастания «савроматской» культуры в раннесарматскую (прохоровскую), и твердая убежденность в том, что прохоровская культура должна существовать в Приуралье и Поволжье с рубежа IV-III вв. до н.э., поскольку ее памятники оставлены «ранними сарматами» - разрушителями Скифии. Но эти препятствия на деле легко устранимы при корректировке датировок и создании новой хронологической системы, для чего необходимо вновь тщательно сопоставить археологические комплексы, сравнив их с теми памятниками, которые взяты «за точку отсчета» при проведении этой работы.

ЛИТЕРАТУРА

Бернштам А.Н. 1940. Кенкольский могильник. Л. - (Археологические экспедиции Эрмитажа. Вып. II)

Виноградов Ю.А., Марченко К.К., Рогов Е.Я. 1997. Сарматы и гибель «Великой Скифии» // ВДИ. № 3.

Горбунова Н. Г. 1998. Об одном типе бронзовых зеркал («бактрийские»? «сарматские»?) //Археологические вести. СПб., Вып. 5.

Граков Б.Н. 1947. Гиччпкокрспобцеуог (Пережитки матриархата у сарматов) // ВДИ. № 3.

Железчиков Б.Ф. 1994. Общая характеристика исходных признаков погребального обряда савроматского времени // Статистическая обработка погребальных памятников Азиатской Сарматии. Выпуск I. Савроматская эпоха. М.

Железчиков Б.Ф. 1997. Памятники IV-III вв. до н.э. // Статистическая обработка погребальных памятников Азиатской Сарматии. Выпуск II. Раннесарматская культура. М.

Заднепровский Ю.А., Лубо-Лесниченко Е.И. 1992. Чавухугоу III — памятник номадов Синьцзяна хунно-сарматского периода // Средняя Азия и мировая цивилизация. Ташкент.

Зуев В.Ю. 1998. Прохоровские курганы в контексте проблем хронологии раннесарматской (Прохоровской) культуры // Эрмитажные чтения памяти Б. Б. Пиотровского. К 90-летию со дня рождения. СПб.

Зуев В.Ю. 1998а. К истории сарматской паноплии. Мечи и кинжалы прохоровского типа // Военная археология: оружие и военное дело в исторической перспективе. Материалы Международной конференции. СПб.

Зуев В.Ю. 1998б. Периодизация археологических памятников центральной части Евразийского пояса степей I тыс. до н.э. (по материалам Южного Приуралья) // Скифы. Хазары. Славяне. Древняя Русь. Материалы Международной конференции, посвященной 100-летию со дня рождения профессора М. И. Артамонова. 9-12 декабря 1998г. СПб.*

Зуев В.Ю. 1998в. Раннесарматская культура IV-III вв. до н.э. Статистический феномен и археологическая реальность. СПб.

Зуев В.Ю. 1999. Прохоровские курганы в Южном Приуралье и проблема хронологии раннесарматской культуры. Автореферат дисс. …к.и.н. СПб.

Зуев В.Ю. 1999а. Вотивный кинжал из первого кургана у дер. Прохоровки // Ювелирное искусство и материальная культура. Тезисы докладов шестого семинара. СПб.

Клепиков В.М. 1998. Сарматы IV-III вв. до н.э. в Заволжье и Волго-Донском междуречье. Автореферат дисс... к.и.н. Волгоград.

Клепиков В.М.,Скрипкин А.С. 1997. Ранние сарматы в контексте исторических событий Восточной Европы // Сарматы и Скифия. Сборник научных трудов III международной конференции «Проблемы сар-

[19] Согласно устному сообщению И В. Сергацкова, в Нижнем Поволжье имеется ряд комплексов, где керамика с тальком в тесте совстречается с железными мечами и кинжалами прохоровскоготипа. Данное сообщение ставит под сомнение категоричный вывод В. М. Клепикова о том, что керамика с тальком в тесте неизвестна в памятниках II в. до н.э. Материал этот остается пока неопубликованным, но требует к себе самого пристального внимания.

матской археологии и истории», посвященной памяти Константина Федоровича Смирнова. Азов. - (Донские древности. Вып. 5).

Медведев А.П. 1997. Новые материалы о финале лесостепной Скифии // Сарматы и Скифия. Сборник научных трудов II! международной конференции «Проблемы сарматской археологии и истории», посвященной памяти Константина Федоровича Смирнова. Азов. - (Донские древности. Вып. 5).

Мошкова М.Г. 1963. Памятники прохоровской культуры. М. - (Археология СССР. Свод археологических источников. Серия Д 1-10).

Мошкова М.Г. 1972. Савроматские памятники северо-восточного Оренбуржья // Памятники Южного Приуралья и Западной Сибири сарматского времени. М. - (МИА № 153).

Мошкова М.Г. 1997. Проблема миграций в сарматской археологии и работах К. Ф. Смирнова // Сарматы и Скифия. Сборник научных трудов III международной конференции «Проблемы сарматской археологии и истории», посвященной памяти Константина Федоровича Смирнова. Азов. - (Донские древности. Вып. 5).

Полин СВ. 1992. От Скифии к Сарматии. Киев.

Пшеничнюк А.Х. 1983. Культура ранних кочевников Южного Урала. М.

РСК. 1997. Статистическая обработка погребальных памятников Азиатской Сарматии. Выпуск II. Раннесарматская культура. М.

Рыков П.С. 1926. Археологические раскопки и разведки в Нижнем Поволжье и Уральском крае летом 1925 г. (Предварительный отчет) // Известия Краеведческого института изучения Южно-Волжской области при Саратовском гос. Университете. Саратов. Т. 1.

Синицын И.В. 1947. Археологические раскопки на территории Нижнего Поволжья // Ученые записки Саратовского государственного университета. Саратов. Т. 17.

Синицын И.В. 1952. Археологические исследования в Саратовской области и Западном Казахстане // КСИИМК. Вып. 45.

Синицын И.В. 1956. Археологические исследования в Западном Казахстане [1948-1950 гг.] // Труды Института истории, археологии и Этнографии АН Каз. ССР. Алма-Ата. Т. 1.

Синицын И.В. 1959. Археологические исследования Заволжского отряда (1951-1953) // Памятники Нижнего Поволжья. М. Т. 1. - (МИА. № 60).

Синицын И.В. 1960. Древние памятники в низовьях Еруслана (по раскопкам 1954-1955 гг.) // Памятники Нижнего Поволжья. М. Т. 2. - (МИА. № 78).

Синицын И.В. 1966. Древние памятники Саратовского Заволжья //Археологический сборник. Саратов.

Скрипкин А.С. 1990. О конечной дате раннесарматской культуры в Нижнем Поволжье // Вопросы археологии юга Восточной Европы. Элиста.

Скрипкин А.С. 1992. Азиатская Сарматия. Проблемы хронологии, периодизации и этнополитической истории. Научный доклад, представленный в качестве дисс.... д.и.н. М.

Скрипкин А.С. 1992 а. Об уточнении хронологии сарматских культур // Проблемы хронологии сарматской культуры. Саратов.

Скрипкин А.С. 1994. К определению понятия «сарматская эпоха» // Проблемы истории и культуры сарматов. Тезисы докладов международной научной конференции 13-16 сентября 1994 г. Волгоград.

Скрипкин А.С. 1994 а. Сарматский феномен // Проблемы всеобщей истории. Волгоград.

Скрипкин А.С. 1997. Этюды по истории и культуре сарматов. Учебное пособие. Волгоград.

Скрипкин А.С. 1997 а. История археологического изучения раннесарматской культуры. 2. Памятники ИМ вв. до н.э. // Статистическая обработка погребальных памятников Азиатской Сарматии. Выпуск II. Раннесарматская культура. М.

Скрипкин А.С. 1997 б. Анализ сарматских погребальных памятников III-I вв. до н.э. // Статистическая обработка погребальных памятников Азиатской Сарматии. Выпуск II. Раннесарматская культура. М.

Шилов В.П. 1959. Калиновский курганный могильник //Памятники Нижнего Поволжья. М. Т. 1. - (МИА. № 60).

Бруяко И. В.

ОТ ДИОРАМЫ К ПАНОРАМЕ

(О перспективах на пути решения проблемы северопонтийского кризиса III в. до Р. Х.)

Bruyako I.V. From diorama to panorama (about the perspectives on the way of solving the problem of the Northern Pont crisis of the III c.B.C.)

The article is dedicated to the analyses of the 4 exiting today conceptions of the death of Great Scythia: «Sarmatian», «Celtic-Galatian», «economic» and «climate». The author thinks that in the works of last years the preference is given to the hybrid of «Sarmatian-Celtic» version of the explanation of events of III c.B.C. Pointing out to the possibility of such a variant the author thinks its necessary to remind that it is contradicted by some facts. Thus, the traces of ruin in early III c.B.C. are noted only at the rural settlements of Low Bug area. These traces are absent at the settlements of Low Dniester area and are practically absent in the Low Dnieper area.

There are no Sarmatian burials of III c.B.C. in the Northern Black Sea area. In general, in author's opinion, the modern interpretation does not take into account that in the western, Dniester-Danube area of the steppe Scythia in the III c.B.C. there continued to exist some kind of Scythian isolated community. Evidently it did not experience the attacks of Sarmatians.

Besides in the late III c.B.C. there appeared Scythian fortress on the Low Dnieper. This contradicts the idea that in early III c.B.C. Sarmatians «exterminated» the population of the steppe Scythia. In such a situation the author thinks its necessary to address again his conception that he develops about the economic reasons of the crisis of the III c.B.C. and to bring new arguments in its favor. The author believes that in future the most perspective approach to the solution of the problem is a synthesized one based on all 4 conceptions.

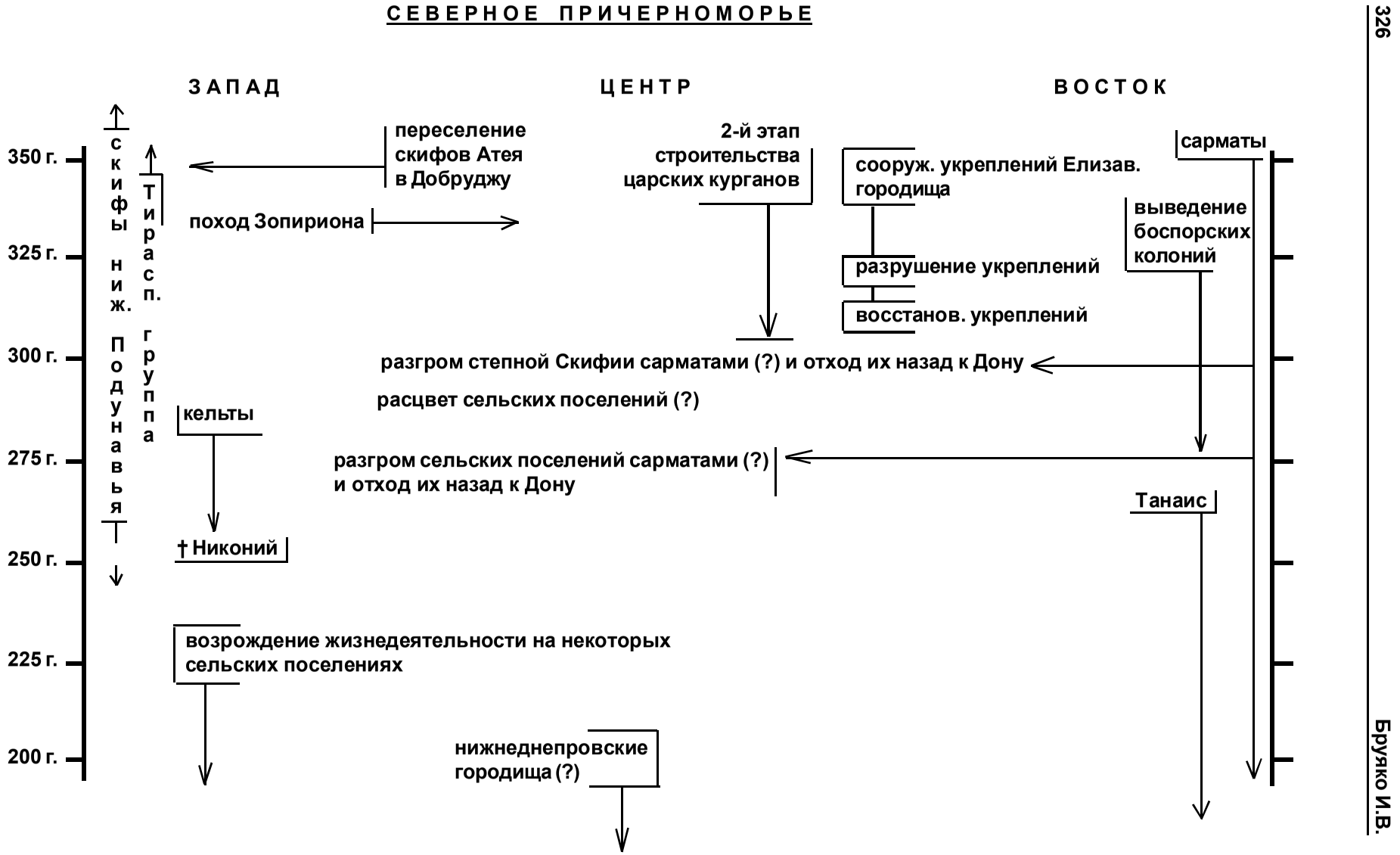
The premise of the solution of the problem is the solution of the following tasks: elaboration of chronology of rural settlements of Low Bug area and Dniester area, chronology of mounds, chronology of Scythian and Thracian monuments of III-II c. B.C. in Low Danube area and the solution of the problem of death of Getica.

Эту проблему можно с уверенностью причислить к разряду «вечных» проблем археологии и древней истории. В настоящее время все возможные варианты ее решения, так или иначе, сводимы к четырем концепциям: сарматской, кельто-галатской, экономической и климатической (Brujako 1997). За исключением последней, остальные обрели статус концепций еще в первой половине XX века, главным образом, на основе фактических данных античной письменной традиции. Интенсивное накопление и разработка археологических источников во второй половине столетия, как и следовало ожидать, создали известные трудности для дальнейшей жизнеспособности каждой из них в той трактовке, которая была присуща им изначально. Тем самым необходимость в обсуждении этой темы, корректировке основных положений концепций, становилась в последние годы все более очевидной.

И действительно, рамки сарматской концепции уже как будто бы почти не выдерживают напора археологических фактов, которые, казалось бы, вопиют о непричастности этих кочевников к гибели Великой Скифии. При всех неувязках хронологического плана, «неубиенной картой» в пользу кельто-галатской концепции остается текст декрета в честь Протогена. Однако явно разочаровывают опять-таки данные археологии, которые, с одной стороны, вроде бы и подтверждают кратковременное пребывание кельтов в Северо-Западном Причерноморье (или, по крайней мере, не противоречат этому), а с другой — очевидность этого не столь уж и очевидна. Относительная стагнация в развитии экономической концепции во многом объясняется тем, что для ее эволюции археологические источники мало что дают. Основой здесь остаются все те же литературные памятники и давно известные эпиграфические документы. Впрочем, фрагментарность последних сохраняет довольно значительные возможности для их периодического переосмысления. Наконец, успехи естественных наук и их внедрение в область ведения древней истории и археологии привели совсем недавно к оформлению новой, четвертой по счету, климатической концепции.

Все это не осталось незамеченным для редколлегии ВДИ, которая в 1997 году открыла дискуссию по проблеме северопонтийского кризиса III в. до Р. Х. двумя статьями, имеющими

© Бруяко И.В., 1999.


СЕВЕРНОЕ ПРИЧЕРНОМОРЬЕ
ЗАПАД
ЦЕНТР
ВОСТОК
350 г.
325 г.
300 г.
275 г.
250 г.
225 г.
200 г.
скифы ниж. Подунавья
Тирасп. группа
переселение скифов Атея в Добруджу
поход Зопириона
2-й этап строительства царских курганов
сарматы
сооруж. укреплений Елизав. городища
выведение боспорских колоний
разрушение укреплений
восстанов. укреплений
разгром степной Скифии сарматами (?) и отход их назад к Дону
расцвет сельских поселений (?)
кельты
разгром сельских поселений сарматами (?) и отход их назад к Дону
Танаис
† Никоний
возрождение жизнедеятельности на некоторых сельских поселениях
нижнеднепровские городища (?)

Бруяко И.В.

очевидную «просарматскую» направленность (Виноградов, Марченко, Рогов 1997; Виноградов I997). Историко-археологический очерк в первой работе подкреплен новым прочтением старого эпиграфического документа во второй. Отправной точкой всех последующих рассуждений в статье Ю. А. Виноградова, К. К. Марченко, Е. Я. Рогова является детальная хронология событий на восточном рубеже степной Скифии во второй пол. IV — нач. III вв. до Р. Х., где опорным археологическим объектом является Елизаветовское городище. Именно здесь археологические данные с наибольшей очевидностью позволяют зафиксировать начальную фазу сарматской экспансии в Северном Причерноморье (условно 350-300 гг.). Около середины IV века первые признаки надвигающейся опасности стали ощущаться и в глубинных районах степной Скифии.

Реакцией на это было, в частности, переселение скифов во главе с Атеем за Дунай (Виноградов, Марченко, Рогов I997: 97)[1]. Последующие этапы сарматской экспансии, вплоть до середины II в. до Р.Х., не могут быть истолкованы однозначно, исходя только лишь из данных археологии, и реконструируются в основном по косвенным сведениям, содержащимся в письменных источниках, и соображениям общеисторического характера (таблица).

Новым в трактовке сарматской концепции является обозначение двух последовательных ударов — по степным скифам и по эллинскому населению округи греческих городов. После истребления скифов в Причерноморье устанавливается период относительного затишья. Этот период длится приблизительно 30 лет. Именно на него приходится расцвет хозяйственно-экономической деятельности сельских поселений, прерванный теми же сарматами на рубеже 70 — 60 гг. III в., когда они нанесли второй удар, направленный теперь уже непосредственно против поселений округи античных центров. Поскольку и в первом, и во втором случае сарматы возвращались на исходные позиции в Подонье, то этим и объясняется отсутствие в Причерноморье III в. до Р.Х, полноценных сарматских комплексов (Виноградов, Марченко, Рогов 1997: 94,101).

Чем было вызвано такое разделение целей при единой стратегической задаче — овладении Северным Причерноморьем? Скифы попали под удар первыми, поскольку они издавна являлись хозяевами причерноморских степей, на владение которыми теперь претендовали амбициозные сарматы.

Антиэллинские настроения последних, возобладавшие спустя несколько десятилетий, были вызваны последовательной переменой в отношениях между сарматами Прикубанья и Боспором, от союзнических до враждебных. Последние, судя по всему, распространились и на греческое население Побужья и Поднестровья (Виноградов, Марченко, Рогов 1997: 97, 101).

Итак, первый удар сарматов пришелся по степным обитателям Причерноморья — скифам. Произошло это около 300 г. Вполне зримое, хотя, наверное, все же косвенное археологическое подтверждение этому — прекращение столетней эры строительства царских курганов[2]. То же самое касается исчезновения большинства скифских степных памятников в начале III в. Хотя мера постепенности (два-три десятилетия) или внезапности (несколько лет) этого процесса трудноуловима. Внезапное исчезновение предполагает военный разгром. Вопрос — разгром чего? Удар, направленный против скифов, должен был иметь конкретные физико-географические точки своего приложения. Когда таких опорных точек нет, то удар приходится практически в пустоту, поскольку гоняться за мобильными конными группами по степи — затея заведомо безнадежная, что наглядно продемонстрировал скифский поход Дария I.

---

[1] Переселение какой-то части скифов во главе с Атеем на запад в Добруджу, как реакцию на зримую сарматскую опасность можно рассматривать лишь в том случае, если видеть в Атее либо царя всей Великой Скифии, либо, по крайней мере, предводителя какой-то племенной группировки, достаточно крупной, обитавшей где-то в Приазовье или Поднепровье. Уход большой орды скифов во главе со своим предводителем не очень хорошо согласуется с тем, что вскоре после этого (середина IV в. до Р.Х.) начинается второй и наиболее интенсивный этап строительства царских курганов. Скорее всего, Атей мог возглавлять некое региональное объединение скифов, основным районом обитания которых была Буджакская степь. Если это так, то тогда влияние сарматского фактора на переселение именно этой группы номадов в Добруджу с географической точки зрения выглядит, по меньшей мере, не вполне логичным.

Историография вопроса о ранге Атея в иерархии Великой Скифии достаточно обширна и потому, как бы того ни хотелось, высказать на этот счет какое-то принципиально новое суждение практически невозможно. Одной из последних работ, где еще раз рассмотрены все имеющиеся по этому вопросу мнения, является монография С.И.Андрух (I995: 75 и сл.). Я лишь присоединяюсь к ее точке зрения.

[2] Эта дата (ЗОО г. до Р.Х.), впрочем, целиком зависит от согласованности мнений по поводу хронологии клейменой тары из самых поздних степных погребальных комплексов скифской знати, к которым обычно относят Александрополь, Огуз и Деев курган. Пока такая согласованность отсутствует. Так, в одной из последних работ С.Ю.Монахов предлагает датировать оба гераклейских клейма из Александрополя 30-ми гг. IV в. до Р.Х. К этому же времени он относит и сооружение двух других курганов. Для Деева кургана возможна чуть более поздняя дата — рубеж 3-й — 4-й четвертей IV в. Тем самым некоторая лакуна, которая существовала между временем сооружения основной массы царских курганов и указанных трех, вроде бы ликвидируется (Monahov 1995/1996: 46 et suiv.)

Но к рубежу IV-III вв. до Р.Х. скифское общество в социально-экономическом отношении выглядит уже совершенно иначе, нежели в архаическую эпоху. Кочевое скотоводство как социально-престижный показатель остается уделом немногочисленной в общей массе аристократической (номовой) верхушки, образующей своеобразную категорию «номадов-помещиков». Подавляющее большинство экс-номадов перешло к полуоседлому и оседлому образу жизни со всей присущей ему экономической и урбанистической атрибутикой. В первую очередь, это политико-административный центр (или центры), а также сеть долговременных поселенческих структур с самыми разнообразными функциями. Тесные двухсотлетние греко-варварские взаимоотношения привели не только к оригинальному симбиозу материальной культуры, но и к смешению на этническом уровне, когда через 6-7 поколений какой-либо отдельно взятый индивидуум вряд ли толком мог осознавать себя как «чистого» скифа, или столь же «чистого» эллина. Воплощением упомянутого культурного симбиоза как раз и выступают сельские поселения округи античных центров со своей материальной культурой, слагаемые которой вряд ли можно будет когда-либо вычленить с помощью универсальной процедуры подсчета процентного соотношения чего бы то ни было. То же самое, но еще более наглядно демонстрирует погребальный обряд могильников таких поселений.

Таким образом, нападению сарматов должны были подвергнуться не абстрактные скифы-кочевники, а конкретные точки поселенческой инфраструктуры Скифии, в которых была сосредоточена значительная часть хозяйственно-экономического потенциала общества. Помимо «чисто» скифских поселений, мера «чистоты» которых определяется обычно степенью их удаленности от того или иного античного центра, сюда, вероятно, следует отнести и какую-то (на мой взгляд, большую) часть сельских поселений так называемой ближней хоры.

Совершенно определенно можно говорить о том, что на тех сельских поселениях Нижнего Поднестровья, где проводились стационарные раскопки (их, правда, немного) нет никаких следов разгрома в первой половине III в. до Р.Х., когда они прекращают свое существование. Это довольно существенное ситуативное отличие от области Нижнего Побужья, где такие следы зафиксированы археологически. Хотя, говорить о тотальном разгроме сельской округи нельзя, по-видимому, и здесь (Снытко 1997: 245). Создается как раз впечатление не планомерной акции военного уничтожения, а кратковременных набеговых операций, в результате которых пострадали лишь некоторые, оказавшиеся на пути агрессора поселения. Практически нет следов разрушений и на поселениях Нижнего Поднепровья, оставленных жителями также в первой трети III в. (Былкова 1997: 188), в том числе и на Каменском городище, которое, будучи признанным (не всеми, правда) политико-административным центром Скифии вообще, должно было подвергнуться разгрому едва ли не в первую очередь. Вероятнее всего, большинство поселений было оставлено заблаговременно, ввиду какой-то угрозы, и лишь некоторые погибли внезапно, в результате ее осуществления.

К сожалению, мы имеем то, что имеем, и поэтому для верификации восточного, сарматского фактора используются такие далекие западные материалы, что, располагая декретом в честь Протогена, трудно не учитывать совершенно реальный и гораздо более близкий территориально кельтский фактор. Тем более что исключительная военная активность кельтов в областях, непосредственно прилегающих к Северному Причерноморью с запада и юго-запада, благодаря литературным источникам известна достаточно хорошо. Впрочем, и для кельтской, и для сарматской концепций по-прежнему актуально их археологическое обоснование. В особенности это касается сарматов, поскольку географическая и временная протяженность их предполагаемой экспансии вряд ли сопоставима с масштабами кельтских набегов, столь же, правда, предполагаемыми. Ситуативное сходство между эпохой архаики и раннего эллинизма, которое, по мнению Ю.Г.Виноградова, объясняет отсутствие сарматских памятников в степном Причерноморье III и большей части II веков (Виноградов 1997: 123-124), все же не является абсолютным. Погребения ранних скифов, хотя и довольно редко, но все же встречаются в Северном Причерноморье практически повсеместно. Сарматских памятников соответствующего периода нет вообще.

Целостному восприятию сарматской концепции в новой трактовке мешает, на мой взгляд, и одна, вроде бы несущественная, натяжка, присутствующая в интерпретационной части вновь публикуемого текста херсонесского декрета (Виноградов 1997: I20). Речь идет о локализации рынка сбыта потенциальных рабов в лице граждан Херсонеса, который предложил Ю.Г.Виноградов. Во-первых, операция по захвату пленников происходила, судя по всему, в августе-сентябре, а сарматы, по заключению автора, появлялись в северной Таврии только зимой. Значит, пленных в этот период времени необходимо было где-то содержать, причем не в самых плохих условиях, если продавцы хотели получить за них приличное вознаграждение. Во-вторых, поскольку сарматы после очередного набега отходили на восток к Дону, то, вероятно, и всю добычу, включая пленных, они уводили с собой. Тогда такой многосоткилометровый переход в условиях зимней степи вряд ли был бы под силу толпе пеших пленных, среди которых, вероятно, должны

были находиться женщины и дети.

Довольно часто на выбор той или иной концепции данного кризиса влияли степень изученности той или иной области степной Скифии (в данном случае — восточной или западной), а также то, насколько одинаково владел археологической ситуацией в этих двух областях конкретный исследователь[3]. Отсюда, по-видимому, и частые взаимные обвинения в «узколокальных» подходах при решении данной проблемы. Один из компромиссных вариантов такого решения, как мне кажется, присутствует в статье Ю.А.Виноградова, К.К.Марченко и Е.Я.Рогова. Смысл его заключается в том, что к гибели Скифии могли быть одновременно причастны и кельты, и сарматы. Авторы фактически уравновесили влияние сарматского и кельтского факторов, отведя каждому из них ту область степной Скифии, в которой их активность выглядела бы вполне правдоподобной хотя бы по соображениям географического порядка (Виноградов, Марченко, Рогов 1997: 102; см.также Симоненко 1987). В целом синхронное продвижение кельтов и сарматов соответственно на восток (юго-восток) и на запад вполне могло привести к их открытому столкновению где-нибудь на рубеже Нижнего Поднепровья или Побужья. Когда мог произойти этот предполагаемый конфликт? По всей видимости, еще до того, как в последней четверти III в. до Р.Х. на отдельных поселениях Побужья и Поднестровья после некоторого перерыва наблюдается возврат к оседлой жизни, о чем свидетельствует соответствующий археологический материал. Это, в свою очередь, означает наступление периода какой-то (пускай относительной) стабильности. Причем стабильность эта распространилась, вероятно, не только на колонизационные анклавы, но и на более отдаленные степные районы Барбарикума. В Нижнем Поднепровье на исходе III века появляется цепочка городищ[4]. В Нижнем Поднестровье от района Тирасполя и далее на юг расположены довольно крупные могильники и ряд поселений. Культурная принадлежность населения этих областей к скифскому миру в целом сомнений не вызывает. Зато можно усомниться в том, что в первой половине III в. до Р.Х. имело место поголовное истребление степных скифов. Довольно весомые основания для этого дают продолжающиеся исследования в Приднестровье (Яровой, Субботин, Четвериков 1997). Здесь вполне может статься так, что материалы т.н. Тираспольской группы обеспечат осязаемый, зримый переход от классических степных к позднескифским древностям. Раскопками Т.А.Щербаковой в 1993 г. здесь же, у с. Чобручи (на левом берегу Днестра) открыто какое-то очень крупное многослойное поселение, возможно, торжище, в том числе и с материалами III—II вв. до Р.Х., среди которых прежде всего поражает обилие клейм. За четыре сезона их найдено свыше 80 экз. (приблизительно половина принадлежит поздним синопским группам, два десятка — Родосу). Помимо клейм, в Чобручах представлен и другой импорт эллинистического периода — терракоты, расписная керамика (Щербакова 1994, 1997; Кайдаш, Тащи 1997). Конечно, пока мы располагаем лишь предварительными результатами этих исследований. Тем не менее, согласимся, что наличие подобного скифского, или скифо-эллинского, анклава в Нижнем Поднестровье, существование которого подтверждается теперь уже и новыми материалами эллинистического времени, не способствует восприятию сарматов как пресловутого универсального дестабилизирующего фактора для всего Северного Причерноморья. Какие-то аргументы contra наверняка появятся и после полной публикации скифских могильников левобережья Нижнего Дуная, среди материалов, которых, опять-таки, судя по предварительным сообщениям тезисного плана, есть хроноиндикаторы «хорошего» III века (см., напр., Редина 1993). Ждет своего объясне-

[3] При чтении отечественных работ по скифо-античной археологии, вышедших до конца 70-х — 80-х гг., трудно отделаться от мысли, что западной границей степной Скифии на самом деле являлось нижнее течение Днепра или, в крайнем случае, Южного Буга. И несмотря на то, что ошибочность этого представления в конце концов стала очевидной, такой довольно своеобразный исследовательский стереотип оказался весьма устойчивым, что и проявилось теперь уже для III в. до Р.Х. Очевидно, что рассматривать историческое развитие региона, игнорируя какую-то его часть (в данном случае северо-западную), единую с ним по историко-культурным, да и (что немаловажно) ландшафтно-географическим характеристикам — невозможно. Поэтому район Нижнего Поднестровья и Буджакская степь все время как бы «пристегиваются» к хронологии остальной части Северного Причерноморья и, по-видимому, не вполне обоснованно, поскольку этих самых оснований пока и нет. Конечно, возможно, что кризисные явления III века в Побужье и Поднестровье синхронны. Возможно и то, что на первую треть III в. приходится пик хозяйственно-экономического расцвета на всех сельских поселениях Северного Причерноморья. Но пока такая возможность остается гипотетической, поскольку не подтверждается соответствующим анализом фактического материала, который на памятниках западной периферии попросту еще не проделан.

Понятно, что информационный голод порождает стремление задействовать любые источники, в т. ч. краткие тезисные сведения, устные сообщения и т. п. Иногда это приводит к недоразумениям, подобным печальному известию о гибели Надлиманского городища в начале III в. до Р.Х. (Мошкова 1997: 75). Повторюсь, может быть, это и так, однако дело в том, что, не считая двух-трех небольших заметок, посвященных этому, безусловно, неординарному памятнику, к тому же вышедших 30 лет назад, никаких публикаций по Надлиманскому городищу нет.

[4] Эта дата не является общепринятой. Предлагается, в частности, вторая половина II в. до Р.Х. (Полин 1992: 107-108; Былкова 1997: 191).

ния и следующий, весьма любопытный факт. На некоторых скифских могильниках Днестро-Дунайского междуречья, которые прекратили использовать в начале III в., в конце столетия и следующем, II в. до Р.Х. периодически происходят какие-то события, в результате которых в насыпях отдельных курганов оказались клейма Родоса времени пергамского комплекса и позднее[5].

Возвращаясь к проблеме нижнеднепровских позднескифских городищ, можно отметить следующий интересный факт. А именно, наличие здесь в лепном керамическом комплексе явных фракоидных форм, причем в таком количестве, которое, по-видимому, исключает всякие диффузивные теории. Объясняя это явление, М.Е.Ткачук, мнение которого я разделяю, предполагает такой вариант развития событий. Удар по Гетике с севера и северо-запада из районов Прикарпатья, который нанесли кельты в III в. до Р.Х., привел к тому, что монолитный культурный блок фракийских древностей в молдавской части Бессарабии раскололся на два. Один из них (условно западный) перебрался в Трансильванию, где в течение II в. до Р.Х. трансформировался в раннедакийскую культуру. Вторая волна двинулась на восток и, достигнув берегов Нижнего Днепра, вошла в состав населения позднескифских городищ (Tkaciuc 1994: 235-237). Примечательна топография этих городищ. Они рассредоточены по обоим берегам реки примерно поровну. Создается впечатление, что обитатели городищ вынуждены были считаться с потенциальной угрозой как с востока, так и с запада. Причем, вероятнее всего, такая угроза была реальной несколько раньше, а система городищ, возникшая (а отчасти, может быть, и восстановленная), так сказать, post factum, продолжает существовать во II и I вв. до Р.Х.

Меньше всего энтузиазма вызывают попытки развития экономической концепции кризиса (Brujako 1997: 75 и сл.). Быть может, проблема торговой конкуренции в античном мире сама по себе и не являлась актуальной. Однако экономический аспект вряд ли может быть полностью оторван от политических событий. В конце концов, в любой военно-политической акции целью, которой было подчинение или уничтожение противника, во все времена использовался такой мощный принудительный фактор, как экономическая блокада. Черноморские проливы — одно из самых подходящих мест средиземноморско-понтийского региона, где подобные акции могли проводиться с максимальным эффектом. Впервые о блокаде понтийских проливов как факторе военно-экономического давления сообщает Геродот, описывая события, связанные с ионийским восстанием середины 90-х гг. V в. до Р.Х. (VI.26). Ситуация повторяется чуть позднее, после захвата Византия персами и разгрома, учиненного союзным финикийским флотом в Пропонтиде. В 480 г. Ксеркс запрещает своим военачальникам захватывать идущие через Геллеспонт греческие торговые суда с грузом хлеба для Эгины и Пелопоннеса, самонадеянно предполагая воспользоваться этим же хлебом после покорения Эллады (Her.,VII. 147). Неизвестно, насколько достоверен этот диалог Ксеркса с приближенными, однако согласимся, что тема «проливы — хлеб» озвучена Геродотом вполне определенно. Любопытно и то, что эти события 90 — 80-х гг. V в. до Р.Х. удивительным образом совпали с первым глобальным кризисом хоры греческих городов Северного Понта, главной причиной которого нужно, конечно же, считать резко возросшую активность новой волны скифов — кочевников (среднескифская культура), появившихся в Северном Причерноморье во второй половине VI в. до Р. Х. (Алексеев 1992: 111-112; Бруяко 1990: 10-12). Понятно, что такое положение дел совершенно не устраивало греков, и они, после относительной стабилизации военно-политического положения в Центральной Греции в 477/6 г., взяв Византий, восстановили контроль над проливами. Экспедиция Перикла в Понт (438/7 г.) также, судя по всему, не была мероприятием исключительно краеведческого характера и среди прочего преследовала цель интенсифицировать экспорт понтийского зерна после потери Афинами египетского аграрного района в середине 50-х гг. И вновь совпадение. Вскоре после посещения афинским флотом Понта начинается постепенное восстановление сельской округи античных центров Северного Причерноморья[6]. Борьба за проливы являлась одним из ключевых моментов на завершающем этапе Пелопоннесской войны в 411-404 гг., после сицилийской катастрофы (учреждение Афинами Хрисопольской таможни, захват Византия Алкивиадом и т.п.). Поражение афинского флота при Эгоспотамах и взятие Византия Лисандром в 404 г. до Р.Х. окончательно лишили Афины доступа к понтийскому рынку. В трудах античных авторов, повествующих о событиях первой половины IV в. до Р. Х. в Эгеиде, Византий, Пропонтида и Геллеспонт постоянно фигурируют как районы жизненно важных интересов Афин.

[5] В могильнике Курчи найдено 2 эпонимных клейма 220-180 гг.; в кургане эпохи бронзы у с. Холмское — верхняя часть амфоры с двумя клеймами 180-108 гг.; в кургане №2 группы «Цыганка» — 2 родосских клейма II в. Любопытно, что в последнем случае эпонимное клеймо Горгона оттиснуто тем же штампом, что и клеймо, найденное в 10 км южнее, на фракийском городище Новосельское-11. Это же имя, но другого штампа, содержится и на амфоре из Холмского (Brujako I997: 81; Brujako, Noviţki 1997: 168; Самойлова, Редина I997).

[6] Хотя пик этого процесса, по-видимому, приходится на более позднее время — самое начало IV в., когда после Пелопоннесской войны Афины вернули себе контроль над проливами.

Это, в частности, все время подчеркивает Ксенофонт в своей «Греческой истории» (I.22; II.17; 4.28,61). В 389 г. афинский стратег Фрасибул, захватив в очередной раз Византий, восстанавливает 10%-ную пошлину на понтийские товары. В следующем году военные корабли Диотима конвоируют афинские хлебные транспорты в Пропонтиде[7], однако лакедемонская эскадра Анталкида перехватывает эти же торговые суда на переходе от Геллеспонта в Афины.

Если судить по выдержкам из речи Лисия против хлебных торговцев (XXII.14), то подобные акции со стороны спартанцев и их союзников предпринимались неоднократно. Согласно Демосфену (XVII.20), определенные трудности с хлебными поставками возникли у Афин и в 40-е гг. IV в. до Р.Х. в связи с осадой Византия Филиппом II. Наконец, наша ситуация первой половины III в. до Р.Х., когда в коалиционные конфликты оказалось втянутым едва ли не большинство городов Пропонтиды, крупнейшие центры Западного и Южного Понта, галаты, Македония, Селевкиды, птолемеевский Египет, позволяет думать, что торговый фактор играл здесь не последнюю роль. Египет, как известно, проводил активную «хлебную» политику, в результате которой египетское зерно ввозится даже в южно-понтийские города (Гераклея; Сапрыкин 1986: 165, I74), а в северо-понтийских центрах (Ольвия) появляется продукция египетских керамических мастерских (Шургая I972). Кстати, в первой половине III в. до Р.Х. в составе керамического импорта в городах Северного Причерноморья происходят существенные изменения. Так, аттический импорт окончательно утрачивает свое бесспорное для V и IV вв. первенство. Его место занимает, или, по крайней мере, делит, продукция малоазийских центров-экспортеров (Пергам). Вновь заметной становится доля островных керамических центров (Самос, Родос; Забелина 1992: 294). Весьма примечателен также рост объема внутрипонтийской торговли, основными агентами в которой выступали Херсонес, Синопа, Боспор. Все это может свидетельствовать, в том числе, и о снижении в Эгеиде интереса к понтийскому хлебу.

Эскиз, представленный здесь, страдает одним существенным недостатком — отсутствием четких хронологических сцепок, при помощи которых из отдельных этюдов можно было бы выстроить последовательно разворачивающуюся картину событий панорамного типа. Концептуальные варианты решения проблемы кризиса III века определены, и вряд ли, по крайней мере, в обозримом будущем оформится какая-то принципиально новая точка зрения. Возможно лишь гибридное развитие отмеченных концепций. Поэтому сейчас разработка проблемы должна, по-видимому, идти вглубь — от уточнения хронологии отдельных памятников, групп материала к региональным культурно-хронологическим схемам и, в конечном итоге, к увязке их с событиями, о которых повествуют письменные источники. Аналитическая часть программы должна в первую очередь включать вопрос о состоянии хронологических индикаторов для III в. в целом. Здесь, к сожалению, не все может быть проделано на базе наших, причерноморских материалов. Это действительно достойно сожаления, так как последующие задачи со всей очевидностью вытекают из первой:

— хронология сельских поселений Нижнего Побужья и Поднестровья (памятники первой половины и последней трети /четверти III в. до Р.Х.);

— хронология нижнеднепровских городищ;

— хронология Тираспольской группы;

— скифские и фракийские памятники Нижнего Подунавья III — II вв. до Р.Х.;

— гибель Гетики.[8]

Очевидно, что для решения такой проблемы необходимы коллективные усилия, ибо разнообразие вопросов, ее формирующих, не позволяет отдельному исследователю одинаково свободно ориентироваться в каждом из них. Ведь скажем, если специалисты по эпиграфике, проанализировав в очередной раз тот или иной документ, заявляют, что его археологическое обоснование зависит теперь от археологов, то это вряд ли следует считать лишь похвальной скромностью. Для археологов, в свою очередь, эпоха энциклопедистов прошла безвозвратно по совершенно объективным причинам.

---

[7] Лисий. Речи. М., 1994. прим. 67 к речи XIX. пер. и коммент. С.И. Соболевского.

[8] Не все благополучно оказывается и в «сарматском королевстве». Здесь те же проблемы, связанные с выделением памятников III в. до Р.Х., т.е. отсутствием для этого периода надежных хроноиндикаторов (Клепиков, Скрипкин 1997: 3I).

ЛИТЕРАТУРА

Алексеев А.Ю. 1992. Скифская хроника. СПб.

Андрух С.И. 1995. Нижнедунайская Скифия в VI — начале I вв. до н.э. (этнополитический аспект). Запорожье.

Бруяко И.В. 1990. О двух этапах пространственного становления хоры греческих городов Нижнего Поднестровья // Проблемы истории и археологии Нижнего Поднестровья. Ч.II. Белгород-Днестровский.

Былкова В.П. 1997. О хронологии поселений Нижнего Поднепровья античной эпохи // Никоний и античный мир Северного Причерноморья. Одесса.

Виноградов Ю.А., Марченко К.К., Рогов Е.Я. 1997. Сарматы и гибель Великой Скифии // ВДИ №3.

Виноградов Ю.Г. 1997. Херсонесский декрет о «несении Диониса» IOSPE I 343 и вторжение сарматов в Скифию // ВДИ №3.

Забелина В.С. 1992. Расписная керамика эллинистического времени из раскопок Пантикапея 1945-1974 гг. // Сообщ. ГМИИ. Вып.10.

Кайдаш А.Е., Тащи Е.Ф. 1997. Синопские амфорные клейма второй половины III в. до н.э. Поселение Чобручи // Никоний и античный мир Северного Причерноморья. Одесса.

Клепиков В.М., Скрипкин А.С. 1997. Ранние сарматы в контексте исторических событий Восточной Европы // Донские древности. Вып.5.Азов.

Мошкова М.Г. 1997. Проблема миграций в сарматской археологии и работах К.Ф.Смирнова // Донские древности. Вып.5. Азов.

Полин С. В. 1992. От Скифии к Сарматии. Киев.

Редина Е.Ф. 1993. Классификация фибул из скифских погребений Северо-западного Причерноморья // Краткие сообщения Одесского археологического общества. Одесса.

Самойлова Т.Л. Редина Е.Ф. 1997. Клейма из Скифских курганов Днестро-Дунайского междуречья // Чобручский археологический комплекс и вопросы взаимовлияния античной и варварских культур (IV в. до н.э. — IV в. н. э.). // Материалы полевого семинара. Тирасполь.

Сапрыкин С.Ю. 1986. Гераклея Понтийская и Херсонес Таврический. М.

Симоненко А.В. 1987. Кельто-италийские шлемы на территории Восточной Европы // Памятники бронзового и раннего железного века Поднепровья. Днепропетровск.

Снытко И..А. 1997. К вопросу о причинах прекращения жизни на хоре Ольвии во второй половине III в. до н.э. // Никоний и античный мир Северного Причерноморья. Одесса.

Шургая И.Г. 1972. О торговых сношениях Ольвии с Александрией Египетской в эллинистическую эпоху // ВДИ №3.

Щербакова Т.А. 1994. Новые материалы по археологии Нижнего Поднестровья // Древнейшие общности земледельцев и скотоводов Северного Причерноморья (V тыс. до н. э. — V в. н. э.). Материалы Международной конференции. Тирасполь.

Щербакова Т.А. 1997. К вопросу о населении Нижнего Поднестровья в III-первой четверти II в. до н.э. // Чобручский археологический комплекс и вопросы взаимовлияния античной и варварских культур (IV в. до н. э. — IV в. н. э.). Материалы полевого семинара. Тирасполь.

Яровой Е.В., Субботин А.В., Четвериков И.А. 1997. Новый курганный могильник скифской культуры в Нижнем Поднестровье. // Никоний и античный мир Северного Причерноморья. Одесса.

Brujako I.V. 1997. Despre evenimentele din sec.III a. Chr. în Nord-Vestul Mării Negre (patru concepţii despre criza) // Istros VIII. Brăila.

Brujako I.V., Noviţki E.Jy. 1997. Gradiştea Novoselskoe II (Satu-Nou) — un nou complex tracic la Dunărea de Jos // Cercetări arheologice în aria Nord-Thraca. II. Bucureşti.

Monahov S.Jy. 1995/1996. La chronologie de quelques kourganes de la noblesse scythe du littoral septentrionale de la Mer Noir // Il Mar Nero II

Tkaciuc M. 1994. Manifestări culturale din sec. V-I a. Chr // Thraco-Dacica t. XV

ИСТОРИЯ НАУКИ И ИСТОРИОГРАФИЯ

Марченко К.К.

ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ГРЕКО-ВАРВАРСКИХ КОНТАКТОВ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ В СЕВЕРНОМ ПРИЧЕРНОМОРЬЕ СКИФСКОЙ ЭПОХИ

Marchenko C.C. The basic aspects and the results of the studying of the Greek-Barbarian contacts and interactions in the Northern Black Sea region of the Scythian Age.

The article is devoted to the analysis by the home historiography of the problem of the Great Greek colonization and the Greek-Barbarian contacts in the Northern Black Sea region. In the studying of this the author distinguishes 4 basic periods the first of which embraces XIX — the 1st quarter of XX c.; the second — 20s-50s of the XX c.; the third — 50s-early 70s; the fourth — since 70s — to present. Defining the main ideas and approaches, that comprise the theoretic base of each period, the author did a great generalizing work. This allowed him to offer a very capacious and informative picture of the development of views of the home scientists to this problem. Summing up more than a century old researches, the author notes that, unfortunately, they have not been crowned till present with some complete and coordinated in time and space picture of the relations between Greeks and Barbarians of the Northern Black Sea region. In the author's opinion the cause of this should be considered a fatal imperfectiveness of the initial theoretical principles.

Хорошо известно, что без изучения истории контактов отдельных этносов друг с другом немыслимо изучение истории их культур. Равным образом очевидно и обратное. Одно из наиболее ярких подтверждений наличия такой взаимообусловленности дает, по всей видимости, историография Великой греческой колонизации. В самом деле, нет ни малейших сомнений в том, что сравнительно немногочисленные эллинские общины, вынесенные на окраины античной ойкумены мощным социально-экономическим процессом, имманентно протекавшим в VIII-VI вв. до н.э. в самых глубинах древнегреческого общества южной части Балканского полуострова, островов Эгейского моря и западного побережья Малой Азии, не могли не вступать и вступали на протяжении всего тысячелетнего периода своего существования в разнообразные экономические, политические и культурные связи с варварским миром Средиземноморья и Причерноморья. Социальная структура, политическое и экономическое положение, культурный облик, более того — само существование таких общин во многом зависели от характера этих контактов.

Начиная с 60-х гг. XX в. в исторической науке наметился поворот к комплексному изучению основных проблем истории античного мира и его варварской периферии. Их стали рассматривать как тесно связанные между собой звенья единой системы взаимодействия этносов, находящихся на разных уровнях исторического развития, и их культур. Такой подход, что само собой разумеется, потребовал объединения усилий историков античности, преимущественно исследователей экономической истории Древней Греции и Рима и археологов, изучающих так называемые «доисторические культуры» Евразии и Северной Африки.

Теперь стало ясно, что история эллинских колоний была, выражаясь словами Э.Лепоре, «пограничной историей», т.е. историей отношений и взаимодействий античной цивилизации с окружающим эти колонии туземным населением (Lepore 1968: 42). Именно в этом, основном своем значении ей, пожалуй, нет равных для изучения адаптационных механизмов, действовавших ранее и в том или ином виде продолжающих действовать и поныне в сфере межобщинных (национальных) отношений разноформационных человеческих коллективов.

Огромная работа, проделанная отечественными и зарубежными антиковедами, позволяет в настоящее время достаточно объективно оценивать общий характер, генеральную тенденцию и основные формы указанных отношений в рамках античного «пограничья», дает понимание той роли, которую они сыграли в культурном и социально-экономическом развитии населения Европы, Ближнего Востока и севера Африканского континента.

Вместе с тем к значительным достижениям антиковедения в целом нужно отнести и признание исключительной сложности, многогранно-

© Марченко К.К., 1999.

ти и противоречивости самого процесса взаимодействия двух миров — эллинского и местного, варварского, находившихся зачастую на разных ступенях общественного развития и развивавшихся по своим собственным законам. Именно эта сложность, равно как недостаток и специфика историко-археологических источников, их эклектичность, объективно создавали ранее и до сих пор создают значительные трудности в разработке ряда кардинальных проблем «пограничной истории» отдельных частей античной ойкумены. Не является, к сожалению, исключением в этом смысле и Северное Причерноморье.

Впрочем, нельзя не видеть, что изменение представлений о характере греко-варварских контактов и взаимодействий вообще и для района Северного Причерноморья, в частности, оказалось изначально самым теснейшим образом связанным с трансформацией взглядов на причины, условия и характер самой греческой колонизации. В становлении торговой концепции, в борьбе идей о так называемом эмпориальном этапе развития колоний и временном торжестве аграрной модели, с переходом к признанию многофакторности колонизации («полиморфности при доминанте») и требованию конкретно-исторического подхода к исследованию возможных поводов и условий выведения отдельных эллинских апойкий создавались, конкурировали, видоизменялись и представления антиковедов об основных формах становления греко-варварских отношений в Северном Причерноморье. Конечно же, сама по себе проблема этих отношений фактически никогда не сводилась только к изучению отдельных сторон истории собственно греческой колонизации. Нет, разумеется, она, как правило, рассматривалась значительно шире и в той или иной степени охватывала сложнейшие вопросы этно-культурного, экономического, демографического и социально-политического устройства самого туземного населения колонизируемых районов. Однако совершенно очевидно и то, что существенная часть аспектов в изучении этой проблемы появилась, разрабатывалась и трансформировалась во времени именно благодаря изменению во времени научного восприятия самого феномена Великой греческой колонизации.

На своем пути это изучение прошло, по меньшей мере, четыре отдельных периода.

Первый период охватывает большую часть XIX и первую четверть XX столетий. Среди основных работ, наиболее полно характеризующих главные направления и результаты исследований этого периода в области греко-варварских взаимодействий, в первую очередь необходимо назвать труды К.Неймана (1855), В.Н.Юргевича (1872), Л.Бюрхнера (1885), А.С.Лаппо-Данилевского (1887), В.В.Латышева (1887), Э.Р.Штерна (1900), Е.Минза (1913), Б.В.Фармаковского (1914) и особенно М.И.Ростовцева (1912; 1913; 1918; 1925; 1993).[1] Следует заметить сразу, что, хотя научная значимость указанных работ в настоящее время выглядит весьма различно, практически всем им присуща примерно одинаковая трактовка причин, условий и характера греческой колонизации северных берегов Черного моря и, как следствие, практически одинаковая реконструкция основных черт греко-варварских отношений в этом регионе.

Одной из главных предпосылок отмеченного единообразия и к тому же по большей части крайней схематичности важнейших выводов являлось, несомненно, совершенно неудовлетворительное положение дел в области археологии раннего железного века: отсутствие сколько-нибудь репрезентативных материалов полевых исследований из античных апойкий и контактных зон греческой колонизации Северного Причерноморья. В этих условиях основной центр тяжести исследований объективно перемещался на анализ данных письменной традиции, что в свою очередь неизбежно вело к перенапряжению этого источника.

Важнейшие итоги разработок XIX — начала XX столетий оказались, впрочем, весьма интересными и, что весьма показательно, по большей части были восприняты и получили свое дальнейшее развитие в последующее время. Вкратце их содержание сводится к следующему.

Как показывает анализ литературы вопроса, единственной реальной движущей силой колонизации северных берегов Черного моря в представлениях подавляющего большинства антиковедов этого времени являлись торговые устремления греков. Роль остальных факторов, например, поиск плодородных земель, сырья и богатых рыбных угодий, при этом полностью не отрицалась, однако им отводилось явно второстепенное место. В целом превалировало понимание колонизации как двух-трехступенчатого процесса.

В соответствии с таким пониманием, исходным пунктом греко-варварских контактов счита-

---

[1] Существование целой серии обобщающих исследований, в пределах которых в свое время были практически исчерпывающе учтены и оценены весьма многочисленные конкретно-исторические разработки и замечания по проблеме греко-варварских отношений в Северном Причерноморье (см.например: Латышев 1887; Minns 1913; Ростовцев 1925; Иессен 1947; Каллистов 1949; Лапин 1966; Доманский 1965; Яйленко 1990; Виноградов 1989; Марченко 1988; Охотников 1990), избавляет меня от необходимости детального рассмотрения такого рода исследований. В силу этого в настоящем обзоре я буду преимущественно касаться лишь этапных работ, определявших ранее или определяющих ныне развитие или главные направления научного поиска. Современная зарубежная литература вопроса нашла свое почти полное отражение в монографиях В.И.Козловской (1984) и В.П.Яйленко (1990).

лись сначала эпизодические ознакомительные, а затем и относительно регулярные сезонные плавания эллинских купцов и рыболовов к берегам Северного Причерноморья без создания там постоянных поселений. Продолжительность такого рода контактов греческих торговцев с туземцами оценивалась как весьма значительная. Одновременно было констатировано, впрочем, что конкретные форма и характер этих контактов в целом остаются неизвестными.

По мере знакомства с местными природными условиями, характером туземцев, налаживанием дружеских отношений с ними и постепенного осознания выгод прямого товарообмена как со стороны греческих мореходов, так и варварами в пунктах, наиболее удобных для развития торговых отношений стали возникать постоянные греческие колонии или фактории. Одновременно считалось, что в ряде случаев эти фактории были инкорпорированы в структуру действующих туземных поселений, зачастую расположенных к тому же в исходных пунктах крупнейших торговых путей местных жителей. В силу этого население таких колоний-факторий в этнокультурном отношении представлялось по большей части смешанным, поскольку здесь поначалу вместе с греческими колонистами, якобы, проживало и довольно большое количество туземцев, в том числе и выходцев из различных частей обширной Скифии, привлеченных сюда главным образом выгодами непосредственной торговли. Далее следовало естественное предположение, согласно которому совместное проживание эллинов и варваров в этих пунктах вело их к культурному сближению и ассимиляции.

Последним, третьим, этапом колонизации оказывалось либо постепенное, растянутое во времени, преобразование наиболее удачно контактирующих с аборигенами факторий в большие торговые города, либо одноразовое выведение на территорию таких торговых поселений относительно крупных контингентов эпойков с теми же последствиями.

Вместе с тем утвердилось мнение, что сама по себе торговая по преимуществу ориентация колонизационного потока на берега Северного Понта вела к развитию здесь в основном мирных отношений греков с туземным населением. Не без основания считалось, что главный интерес к торговле с эллинами проявляла местная племенная знать. Основа мирных отношений, таким образом, мыслилась как взаимная экономическая заинтересованность.

При превалировании мирных отношений на начальной фазе контактов допускалось все-таки существование различных вариантов занятия колонистами мест под заселение, а именно: в форме свободного, т.е. не отягощенного внешними факторами, выбора, либо на основании специального договора с местными правителями и даже выплатой им какой-то одноразовой компенсации или даже постоянного трибута. Попытки декларирования обширных военных конфликтов с туземцами при освоении новых колоний в целом не получили поддержки у исследователей или даже просто отвергались.

Существенным достижением антиковедов XIX — начала XX столетий стало довольно-таки дробное определение видов товаров, которыми, как полагали, греческие купцы обменивались с местным населением. Как было установлено, торговые поселения, а позднее и торговые города эллинов поставляли племенной знати разного рода утварь, вино, масло, оружие, ткани и предметы роскоши. Основными статьями вывоза греков из хинтерланда, по мнению исследователей, являлся хлеб, скот, рабы и т.д. Примечательно также и то, что особая роль в завязывании и распространении торговых контактов отводилась одному из основных греческих центров Северо-Западного Причерноморья — Ольвии, коммерческие интересы которой прослеживались далеко за пределами собственно Нижнего Побужья — в лесостепной зоне Украины вплоть до района Киева и даже в Приуралье. Активная роль в такого рода обменных операциях, впрочем, приписывалась прежде всего самим эллинам, но никак не скифам.

Едва ли не общим местом была убежденность исследователей в значительном воздействии более передовой греческой культуры на северопричерноморских варваров. Главным проводником этого воздействия мыслилась, разумеется, все усиливающаяся во времени торговля. Среди наиболее наглядных, разительных примеров такого воздействия указывалось не только на сильную эллинизацию части скифской верхушки и возникновение греко-варварской культуры на Боспоре, но и на образование греко-скифского или сильно грецизированного варварского населения в окрестностях эмпория Борисфенитов. Более того, тогда же было высказано еще одно очень важное суждение, согласно которому культурное и экономическое воздействие со стороны эллинов в какой-то степени затронуло и хозяйственный уклад туземцев, постепенно начавших переходить под их влиянием от кочевого к оседлому образу жизни и занятию земледелием.

Что же касается собственно греческих колоний Северного и особенно Северо-Западного Причерноморья, то они, хотя и приобрели в период своего расцвета (V-IV вв. до н.э.) типично эллинский облик, однако в той или иной степени постоянно находились под контролем туземных правителей. Их экономика, в значительной мере ориентированная на местный рынок, все более и более испытывала его облагораживающее воздействие, заставляя всемерно развивать свое собственное ремесло для производства разнообразных и подчас весьма дорогих изделий, учитывающих потребности и вполне специфические вкусы варваров, для продажи

их в хинтерланде. Таким образом, города в конечном счете оказывались не только простыми посредниками в торговле между метрополией и Скифией, но и сами под влиянием благоприятной конъюнктуры довольно быстро превращались в крупные центры производства.

Одним из важнейших достижений исследователей этого времени стало, наконец, и осознание дискретности характера отношений греков и варваров во времени, вылившееся в отдельные попытки создания общей периодизации контактов. Так, отмечалось, к примеру, что наибольшего развития торговые связи между эллинскими городами и варварским хинтерландом достигли только в V-IV вв. до н.э. Сопутствовавший этому развитию экономический и культурный расцвет городов правомерно ставился в зависимость от дружеских связей эллинов со скифами. С другой стороны, отмечалось и то, что в III-I вв. до н.э. торговый обмен греков с туземцами резко сократился. Более того, непременно подчеркивалось, что в это время наступила совершенно иная эра взаимодействий: из преимущественно мирных они стали главным образом враждебными. Именно такой поворот событий, по мнению антиковедов, являлся одной из основных причин экономического и культурного упадка северопонтийских колоний. Не без основания предполагалось далее, что часть из них — и прежде всего Ольвия — попала под власть скифских царей.

Таковы важнейшие черты картины греко-варварских взаимодействий в Северном Причерноморье второй половины VII-I вв. до н.э. в представлениях исследователей XIX — начала XX столетий.

Несмотря на очевидную статичность этой картины во времени, было бы все-таки ошибочным утверждать, что первый период изучения греко-варварских отношений оказался напрочь лишенным каких бы то ни было элементов развития. Выше уже отмечалось, что при всем сходстве основных воззрений большинства ученых научная значимость их работ, несомненно, весьма различна. Именно в этом смысле мы можем уверенно констатировать неуклонное расширение поля исследований, все более и более углубленную проработку источников и, как результат, появление новой положительной информации. Более того, первый период в историографии вопроса знал и настоящие прорывы в будущее. Достаточно вспомнить, к примеру, одну из наиболее блистательных разработок В.В.Латышева, которой утверждалась прямая зависимость от варваров экономического, а вместе с тем и культурного состояния крупнейшего эллинского центра Северного Причерноморья — Ольвии в III-II вв. до н.э. (Латышев 1887: 66 сл.), намного опередившую свою эпоху и оставшуюся непревзойденной до самых последних дней.

Впрочем, наиболее ярким свидетельством прогресса в данной области знаний является сам факт создания М.И.Ростовцевым в конце первого периода сразу двух фундаментальных исследований, специально посвященных рассмотрению греко-варварских взаимодействий в Северном Причерноморье и отдельно на Боспоре (1918; 1925; 1993). Нет никаких сомнений в том, что именно эти работы стали самым большим достижением отечественного антиковедения XIX — начала XX столетий. Они как бы подвели итоги предшествующих исследований, вобрав в себя наиболее интересные мысли и наблюдения этого времени.

Одним из наиболее важных, отправных пунктов данных разработок стало, в частности, уверенное выделение сразу трех основных факторов развития культурной жизни Северного Понта античного времени: эллинского, так называемого «алародийско-иранского» и среднеевропейского. При этом, по мнению М.И.Ростовцева, решающую роль в формировании исторического облика указанного региона должны были играть, прежде всего, греческая составляющая и пришедшие с Востока орды номадов. Как бы то ни было, но именно М.И.Ростовцеву принадлежит плодотворная идея решительного отказа от господствовавшего ранее в науке подхода — рассматривать эллинство и иранство в Северном Причерноморье изолированно или в чисто механическом соединении, и уж во всяком случае, вне связи с историей окружавшего их мира варваров (Ростовцев 1918: VI).

Поставив своей основной задачей восстановить эту естественно-историческую связь и хотя бы в первом приближении проследить сложнейший механизм взаимодействий всех трех вышепоименованных факторов, М.И.Ростовцев открыл перед своими последователями совершенно новые перспективы научного моделирования. В этом смысле появление названных работ являлось началом не только превращения изучения греко-варварских отношений во вполне самостоятельное направление исследований культурного развития населения раннего железного века юга Северного Причерноморья, но и отчетливого понимания необходимости такого изучения как единственной серьезной основы для надежной реконструкции истории этого региона.

К сожалению, приходится констатировать, однако, что значительные возможности, заложенные в самой концепции и в новом, синтетическом по своей сути, методе М.И.Ростовцева, были в дальнейшем реализованы лишь отчасти. Виной тому оказался последовавший вскоре после Октябрьской революции переход к прямой идеологизации и политизации науки. В данной связи нельзя не заметить, что отныне специфика греко-варварских контактов в Северном Причерноморье стала определяться исследователями не только на основании анализа историко-культурного своеобразия этой части

античного «пограничья», но и в силу особого, деформированного сознательным идеологическим нажимом, подхода к самой теме общественных отношений.

Одно из непосредственных проявлений этого нажима на первых порах вылилось в кардинальную трансформацию оценки культурной значимости выделенных М.И.Ростовцевым факторов исторического развития Северного Понта скифской эпохи: на главную роль в отечественной историографии впервые выдвигается местный -среднеевропейский, по терминологии ученого, — племенной мир варваров. Начался принципиально иной, второй по счету, период истории изучения греко-туземных отношений на территории Северного Причерноморья.

Второй период исследований в интересующей нас области классической археологии охватил отрезок времени от второй половины 20-х до начала 50-х гг. Среди отдельных работ этого периода наиболее значительную, подчас даже определяющую роль в формировании конкретных представлений на характер взаимодействий греческой и туземной культур в Северном Причерноморье призваны были сыграть труды Н.Я.Марра (см., например: 1925; 1926; 1933; 1934; 1935), М.Ф.Болтенко (1930), С.А.Жебелева (1933; 1953), С.И.Капошиной (1933; 1937; 1941; 1950 а, б), Т.Н.Книпович (1934; 1940 а, б), Г.Д.Белова (1938), Л.М.Славина (1938), О.А.Артамоновой (1940). Д.И.Нудельман (1946), А.А.Иессена (1947), Б.Н.Гракова (1947 а-в), В.Ф.Гайдукевича (1949), Д.П.Каллистова (1949; 1952), В.Д.Блаватского (1950 а, б), Д.Б.Шелова (1950), В.Ф.Гайдукевича и С.И.Капошиной (1951).

Как уже отмечалось выше, уже в самом начале второго периода последовала существенная переоценка роли отдельных факторов культурно-исторического развития населения Северного Причерноморья раннего железного века: на первом месте по своей значимости неожиданно оказалась местная составляющая. Нет никаких сомнений также, что указанная трансформация во взглядах подавляющей части археологов произошла под прямым воздействием идей, выдвинутых крупнейшим отечественным языковедом конца XIX — первой трети XX столетия Н.Я.Марром в рамках его так называемой яфетической теории, впоследствии переименованной им же в «новое учение о языке».

Одним из основных постулатов этого учения стало практически полное отрицание сколь-либо значительных влияний миграций на формирование исторического процесса. Отказ от миграций и связанных с ними культурных заимствований сопровождался постановкой новой задачи перед археологией: «... утверждать смену форм, эволюцию в результате часто революционных взрывов накопившихся сил, открывать законы таких смен мутационного порядка, перевоплощения, да и самого происхождения, с поисками их не во внешних, а в развитии внутренних данных» (Марр 1933: 246). Таким образом, в науке утверждались принципы эволюционизма, автохтонности и даже отчасти этнической непрерывности.

Вторым, не менее важным положением «яфетидологии» был отказ и от «атавистических предрассудков» касательно превосходства какого то бы ни было народа над другим. Весь ход прогресса, а с ним развитие культуры, по мнению Н.Я.Марра, происходили «не от внешних явлений, а от внутренней работы накопляющихся материальных сил в процессе их диалектического развития. Никаких изначально-расовых факторов творчества» (Марр 1933: 241). Тем самым вполне логичными оказывались и неоднократные решительные выступления ученого против «греческого чуда» и какой-то особой роли эллинов в формировании местной культуры Северного Причерноморья античной эпохи. Более того, была выражена одновременно и полная уверенность в том, что в доколонизационный период в Причерноморье уже существовала своя большая историческая культура с городами, в число которых прежде всего входили Ольвия и Пантикапей. При этом наиболее активными строителями такого рода городов (торговых факторий и военных пунктов) объявлялись так называемые этруско-киммеры, «известные мореходы-разбойники-купцы». Именно поэтому, констатировал Н.Я.Марр, «греки являлись на готовые места. Они не строили городов, переселяясь сюда для своих торговых дел, а устраивались в существующих городах» (1933: 242).

При всей кажущейся оригинальности этих исключительно важных утверждений «яфетидологии» нельзя не видеть того, что они в своей основе имеют явные и прямые связи с идеями историков предшествующего периода, равным образом убежденных в безусловно торговом характере греческой колонизации берегов Северного Понта и существовании местной подосновы у ряда первых поселений эллинов этого региона. В этом смысле нарисованная Н.Я.Марром картина являлась не более чем блеклой копией базовых сюжетов, созданных в более раннее время. Принципиально новым тут оказывалось иное — постулируемая непрерывность культурного развития местного населения, существование здесь большой городской культуры в канун греческого переселения, совершенно неожиданное истолкование самих создателей туземных городов в качестве неких западных яфетидов с Апеннинского полуострова и, как следствие, принижение значения воздействия греческой цивилизации на формирование культурного облика региона

Вполне логичные в рамках самой «яфетидологии», эти «элементы» новизны явно вступали в серьезное противоречие со всем ранее накопленным багажом исторических знаний

по проблеме греко-варварских контактов в Северном Причерноморье и, казалось бы, должны были встретить по меньшей мере весьма настороженное, если не сказать большего — отрицательное, отношение со стороны хотя бы части антиковедов и скифологов. Однако в действительности этого не произошло. Напротив. Как показывает анализ соответствующей литературы, практически все вышеозначенные представления Н.Я.Марра были вскоре и почти безоговорочно восприняты подавляющим большинством советских археологов.[2] Среди причин, способствовавших этому, поистине феноменальному успеху идей «нового учения о языке» в истории, на первое место следует, по всей видимости, поставить нечто, лишь отдаленно связанное с естественным развитием науки как таковой. Все дело в том, что, пройдя довольнотаки длительный путь развития, неприятия и структурных трансформаций, «яфетическая теория» с конца 20-х и вплоть до самого начала 50-х годов становится одним из официально признанных и полностью одобренных столпов материалистического учения об историческом процессе и превращается, по собственному признанию ее создателя, в своего рода «политическое учение», основанное якобы на марксистском методе научного познания законов развития человеческого общества (Марр 1933: 268, 274).

Совершенно очевидно, что данное обстоятельство, как впрочем, и завоеванный к тому времени огромный научно-политический авторитет самого Н.Я.Марра, создали поистине патовую ситуацию в археологии, при которой любое открытое нападение «снизу» на одну из базовых установок «яфетидологии» в конечном счете могло быть легко истолковано в качестве критики безраздельно господствовавшей в стране идеологии. Вполне понятно также, что в этих условиях дальнейшее изучение греко-варварских отношений в Северном Причерноморье до поры до времени должно было проходить главным образом в русле конкретизации основополагающих принципов «нового учения о языке». И именно такое развитие событий в археологии не заставило себя ждать.

Одной из важнейших сторон продиктованного «яфетической теорией» подхода к проблеме отныне становится поиск всевозможных свидетельств жизнедеятельности туземцев Северного Причерноморья в зонах, охваченных прямой греческой колонизацией. Уже в наиболее ранних работах второго периода на этом пути были достигнуты первые впечатляющие успехи. В материалах Березани, Ольвии, их округи и в Херсонесе впервые выделяются и в ряде случаев детально описываются целые серии своеобразных погребальных комплексов, примитивные земляночные сооружения и так называемая лепная керамика, свидетельствующие, по мнению исследователей, о присутствии в составе жителей этих колоний и в их окрестностях весьма заметного контингента аборигенного населения; делаются предварительные попытки оценить удельный вес этого населения, его социальный и имущественный статус и, естественно, этническую принадлежность. Практически общим местом становится подтверждение выводов более раннего периода исследований, вполне согласующихся, впрочем, с вышеупомянутыми высказываниями Н.Я.Марра, — о безусловно торговом характере устремлений греков к северным берегам Черного моря и внедрении последних в уже давно существовавшие здесь поселения или даже города туземцев.

Одновременно с этими конкретно-историческими разработками материалов в среде археологов начинает укрепляться мнение и об активной роли варваров в их взаимодействиях с колонистами. Более того, тогда же была высказана твердая убежденность в том, что «и Боспор, и Херсонес, и Ольвия без тесных связей с туземным миром не могли бы существовать, поскольку они были зависимы от него в значительной степени во всех направлениях своей экономической жизни» (Жебелев 1953: 271). Как полагали при этом, относительно близкие уровни социально-экономического развития аборигенов и пришельцев будто бы вполне обеспечивали в местных условиях сращивание их общественных верхов, в результате чего в Северном Причерноморье античной эпохи и возникла своеобразная, ни на что не похожая греко-варварская культура.

Утверждение активной роли варварского компонента в формировании так называемой греко-скифской культуры Северного Понта и ее относительного своеобразия остается лейтмотивом историков и в послевоенное время. Однако при этом происходит явное расширение спектра разрабатываемых сюжетов. Помимо продолжения рассмотрения материалов некрополей, строительных комплексов и лепной керамики, результаты которого в основном лишь подтверждали сделанные ранее выводы об этнической неоднородности состава населения отдельных эллинских центров, внимание исследователей все больше начинают привлекать и вопросы более глубокого исторического звучания: характер взаимодействий греческих и местных культов в Северном Причерноморье, военно-политическая составляющая контактов, социальное положение различных групп варваров, втянутых в политическую и экономическую орбиты пришельцев, важнейшие результаты воздействия греческой культуры и экономики на верхний слой туземного общества и, наконец, периодизация истории региона, основанная на изменениях этнического состава населения эл-

[2] Исключение, разве что, составляет идея видеть в строителях догреческих городов на берегах Северного Понта непременно западных яфетидов (см. например: Капошина 1933: 386-387).

линских колоний и характера их культуры.

Среди очередных задач античной археологии на первое место в это время выдвигается требование «изучать те памятники прежде всего, где может быть вскрыт стык греческой колонизации и догреческой культуры местного населения» (Капошина 1946: 221). Следует заметить также, что постановка такой задачи неизбежно вела к необходимости рассмотрения всего комплекса вопросов, связанных с развитием самого туземного общества Северного Причерноморья и его контактов со Средиземноморьем.

Одним из наиболее интересных и, казалось, вполне обоснованных вариантов решения этой проблемы в целом стало исследование А.А.Иессена, предложившего, по существу, совершенно новый подход к изучению греко-варварских взаимодействий в регионе (Иессен 1947).

Основным отправным пунктом этого изучения, по убеждению ученого, отныне должно являться представление о феномене греческой колонизации Северного Причерноморья как выражении двустороннего по своему содержанию исторического процесса, поскольку она, якобы, «была обусловлена всем предшествующим развитием как самих греков, в первую очередь — ионийцев, так и местного населения наших степей» (Иессен 1947: 89). Следует подчеркнуть сразу же, что в концептуальном плане идея «двусторонности», в конечном счете, оказалась не более чем предельно расширенным вариантом уже давно существующей теории торговой колонизации. Методологической базой такого расширения, однако, на этот раз стали основополагающие принципы построения «нового учения о языке» Н.Я.Марра. В соответствии с ними, все археологически фиксируемые изменения местной культуры расценивались как результат поступательного, эволюционного по своей сути, процесса, приведшего в самый канун греческой колонизации к мутациям «революционного характера», выразившимся в переходе туземного населения степей от преимущественно оседлого образа жизни к номадизму.

Сложение «скифской стадии» в Северном Причерноморье, т.е. достижение аборигенами высшей ступени варварства, оказывалось, таким образом, закономерным этапом в историческом развитии местного населения. Именно с этого времени, по мнению А.А.Иессена, племенная знать начинает предъявлять спрос на предметы роскоши, и именно в это же самое время здесь закономерно появляются первые торговые фактории эллинов. Призванное подчеркнуть особую, безусловно активную, роль местного фактора в истории Северного Причерноморья, указанное заключение явно элиминировало из исторических расчетов сугубо имманентный по своей природе характер самого греческого колонизационного движения.

В еще большей мере ошибочными оказались на поверку и некоторые другие, впрочем, не столь существенные выводы исследователя. В их числе в первую очередь следует назвать суждение о существовании в северо-западной части Причерноморья вплоть до VII в. до н.э. крупного очага местной металлообработки и представление о специфике раннего этапа торговых контактов туземной знати с греческими купцами, разменной «валютой» в которых, якобы, выступали захваченные в плен рабы.

В остальном же картина развития греческой колонизации в Северном Причерноморье, нарисованная А.А.Иессеном, мало чем отличалась от реконструкций, созданных в свое время исследователями первого периода. Нельзя не заметить, однако, что именно в этом, последнем, качестве ученый делал свое единственное, но достаточно серьезное отступление от директивной линии «яфетидологии», однозначно приписывая греческим апойкиям, а отнюдь не туземным племенам, определяющую роль в дальнейшем развитии всей культуры населения Северного Причерноморья.

Значительно более последовательную реализацию на историческом уровне представлений Н.Я.Марра содержат два других крупных монографических исследования этого времени, принадлежащих перу Д.П.Каллистова (1947; 1952). В них, пожалуй, впервые в историографии было поставлено под сомнение одно из, казалось бы, совершенно незыблемых достижений отечественного антиковедения — идея о возникновении в Северном Причерноморье особой синкретической греко-скифской культуры. Само появление такого сомнения не случайно. Оно явно базировалось на уже не раз упоминавшемся постулате «нового учения о языке» — об эволюционном характере развития автохтонного населения и социологизаторском по своей сути анализе общественных отношений в раннем железном веке.

Как бы то ни было, но практически одновременно с представлением о двусторонности колонизационного процесса в науке зарождается и постепенно крепнет тенденция рассматривать пришельцев из Эгеиды и аборигенов Северного Понта с позиции вульгаризированного классового подхода. В концептуальном плане взаимоотношениям этих двух сил начали придавать вид все более и более решительной оппозиции.

Именно в силу этого антагонистического противопоставления греков и варваров Северное Причерноморье отныне представало перед взором исследователей не только как место, «где пришли в соприкосновение два различных мира, две различные системы экономических и культурных взаимоотношений, две исторические силы, из которых каждая к моменту их встречи уже успела приобрести в достаточной мере определенные, явные и устойчивые очертания», но и как место, где в принципе «не произошло слияния двух разных культур и не возникла новая, третья, не похожая на две предшествую-

щие». Более того, тогда же было высказано суждение, что здесь «на протяжении почти всей античной эпохи наблюдается не слияние, а своеобразная борьба двух различных укладов, которая протекала с переменным успехом» (Каллистов 1952: 5, 80).

Завершающим и, заметим, вполне логичным следствием такого видения стало почти огульное отрицание самого факта существования сколь-либо широких исторических контактов между этими двумя, якобы, совершенно чуждыми по своей природе мирами. Впрочем, столь радикальная трансформация взглядов на греко-варварские отношения в регионе произошла далеко не сразу. На начальной фазе своего развития она, пожалуй, была расценена просто как чересчур упрощенная, и в силу этого —неприемлемая, попытка охарактеризовать многоликий процесс взаимоотношений местного населения и эллинских общин немногими словами (Блаватский 1950 а: 116; Ленцман 1952: 194-195).

Характеризуя исследования второго периода как протекавшие во время почти безраздельного господства в истории идей «нового учения о языке» и связанного с этим господством вполне специфического набора представлений о роли варваров в Северном Причерноморье, нельзя не заметить все-таки, что и в этих условиях в историографии нашлось место для более взвешенного и вполне независимого восприятия археологических материалов, обычно привлекаемых для иллюстрации того или иного положения этих представлений. В данной связи, в частности, будет вполне уместным напомнить одну из сравнительно ранних работ Б.Н.Гракова, в которой была выражена твердая убежденность в том, что используемые до сих пор памятники для доказательства самодовлеющего значения варварского компонента в составе населения некоторых городов явно недостаточны и однобоки, а их толкование подчас произвольно (Граков 1947 а: 84). Не затрагивая в общем и целом основ «яфетидологии» и их проявлений в области археологии раннего железного века, такое восприятие, тем не менее, ставило определенные ограничители на пути излишне прямолинейного применения ее метода и воззрений в области конкретно-исторических разработок.

Смертельный удар учению Н.Я.Марра был нанесен в начале 50-х годов, как известно, извне, на политико-идеологическом уровне. Равным образом известно, что тотальное разрушение теоретических основ «яфетидологии» привело к полному отказу от использования идей Н.Я.Марра в области исторических знаний и сопровождалось резкой критикой в адрес исследователей, создававших свои труды с позиций «нового учения о языке». Именно в этот переходный момент вынужденного, мучительного переосмысления учеными своих взглядов и ломки стереотипов произошло и полное отторжение ставших теперь одиозными представлений о безусловно решающей роли местного населения в культуротворческом процессе. В археологии, казалось, впервые за многие годы появилась возможность вполне сбалансированного решения проблемы. Начался третий по счету период изучения греко-варварских контактов на территории Северного Причерноморья.

Есть веские аргументы полагать, что этот новый, третий по счету, период охватил время от начала 50-х до самого начала 70-х годов. В числе основных работ этого времени в первую очередь следует назвать труды Н.В.Шафранской (1951; 1956), В.Д.Блаватского (1953; 1954 а, б; 1955; 1959; 1964 а-в), А.И.Фурманской (1953; 1963), И.Т.Кругликовой (1954; 1959), Л.М.Славнина (1954; 1956; 1959), Б.Н.Гракова (1954; 1959), Ф.М.Штительман (1954; 1956), В.М.Скудновой (1954; 1960; 1962), Т.Н.Книпович (1955; 1956), В.Ф.Гайдукевича (1955; 1959), Е.О.Прушевской (1955), Н.Н.Бондарь (1955), Я.В.Доманского (1955; 1961; 1965; 1970), С.И.Капошиной (1956 а, б; 1959), Д.Б.Шелова (1956; 1967), А.А.Белецкого (1957; 1958), Н.И.Сокольского и Д.Б.Шелова (1959), М.Ф.Болтенко, И.Д.Головко и Ф.М.Гудимовича (1959), Н.А.Пятышевой (1959), М.Ф.Болтенко (1960 а, б), Н.А.Онайко (1960; 1966; 1970), Ю.И.Козуб (1960; 1962), Н.И.Сокольского (1961 а, б), В.Л.Зуца (1965) и особенно В.В.Лапина (1963; 1966).

Одним из наиболее существенных отличий этого времени от предшествующего периода явилось то, что вскоре после разгрома марризма идеологическое давление на археологию заметно пошло на убыль. Разумеется, это вовсе не значит, что оно исчезло полностью. Нет, конечно. Однако степень контроля конкретно-исторических разработок в конечном счете существенно ослабла. Тем не менее приходится констатировать крайнюю медлительность науки в реализации открывающихся в связи с этим возможностей. Дело, пожалуй, следует объяснять тем, что продолжительное воздействие идеологического пресса и мощный всплеск шоковой «терапии» в годы низвержения «яфетической теории» создали устойчивое ощущение опасности и даже после ее коллапса долгое время сковывали сознание и творческие потенции части ученых. Именно поэтому, можно думать, подавляющее большинство исследований третьего периода может быть вполне определенно отнесено к разряду чисто эмпирических разработок проблемы греко-варварских отношений.

Непосредственным результатом борьбы с теоретическими заблуждениями «нового учения о языке» стало, по всей видимости, в целом и более осторожное, если не сказать скептическое, отношение к интерпретационным возможностям археологических материалов, с одной стороны, и заметное сокращение объемов полевых исследований рядовых памятников кон-

тактных зон Северного Причерноморья (за исключением района Керченского полуострова, пожалуй), с другой. Вполне очевидно также, что в силу этого последнего обстоятельства ученые третьего периода по существу были вынуждены в своих разработках оперировать, за небольшими дополнениями, уже накопленным ранее багажом первичной информации.

Тем не менее следует признать, что и постепенное ослабление идеологического давления, и более углубленное изучение наличествующего банка данных, и, наконец, успехи антиковедения в целом — все это в конечном счете привело к серьезным, подчас даже радикальным, изменениям во взглядах исследователей как на движущие силы самой греческой колонизации, так, соответственно, и на облик взаимодействий эллинов и варваров в Северном Причерноморье.

Впрочем, на начальной фазе третьего периода большинство отечественных антиковедов продолжало оставаться приверженцами чисто торговой модели греческой колонизации этого региона. Более того, создается впечатление, что в 50-е годы происходит почти полная реанимация суждений на сей счет, более всего характерных для работ первого периода исследований. Как ранее, так и теперь, сам процесс освоения берегов Черного моря делится на три взаимосвязанных этапа, в числе которых особое значение придается второму — возникновению постоянных эмпориев. Почти в обычном стиле трактуются и основные линии развития взаимодействий греческих переселенцев с туземным населением. При этом, однако, на первых порах практически общим местом становится отрицание превалирующей, активной роли аборигенов в этих взаимодействиях. Речь теперь скорее идет о другом — не столько о возникновении в регионе сколь-либо обширной синкретической греко-варварской культуры, сколько о проникновении сильных культурных элементов в духовную сферу и материальный быт скифской аристократии и какой-то части сравнительно небольших местных общественных образований, проживавших главным образом в ближайших окрестностях греческих центров.

Основным, если не единственным, проводником такого проникновения по-прежнему мыслится торговая активность греков. Не случайно поэтому, что именно во время третьего периода ученые предпринимают новую серьезную попытку предметного рассмотрения всей совокупности свидетельств экономических связей колонистов с варварским хинтерландом.

Углубленный качественный, количественный и хронологический анализ материалов самих греческих центров и находок импорта в степной и лесостепной зонах Северного Причерноморья позволил тогда же значительно более рельефно, чем когда-либо раньше, оценить характер, реальные масштабы и пути торговых сношений Ольвии и Боспора со Скифией, дал возможность примерно проследить динамику указанных отношений во времени и определил основную номенклатуру ввозимых и вывозимых товаров. Следует отметить, впрочем, что главные выводы такого рода анализа оказались в общем и целом весьма созвучными с уже отмеченными выше результатами исследований XIX — начала XX столетий. Однако, помимо подкрепления, уточнения и расширения прежних наблюдений, новые разработки имели и другое, более важное значение: они создали вполне фундированную базу для реконструкции достаточно взвешенной картины воздействия коммерческой деятельности эллинов на социальное и культурное развитие местного общества.

Было установлено, в частности, что торговля оказалась не в состоянии создать в Скифии новый способ производства. Она в лучшем случае способствовала ускорению имущественной дифференциации в среде отдельных варварских племен и стимулировала здесь развитие собственных производительных сил, подрывая тем самым устои первобытно-общинных отношений, что в конечном счете не могло не содействовать формированию в Северном Причерноморье первых государственных образований.

Более взвешенный подход к проблеме греко-варварских отношений наблюдается в это время и в плане оценки местного вклада в развитие греческих колоний региона. Как полагали, этот вклад в значительной мере был опосредованным. Через приводной ремень торговли с хинтерландом в ряде городов довольно быстро возникло и развилось собственное производство всевозможных предметов потребления, предназначенных для продажи во внутренние районы Скифии. При этом вполне допустимым считалось и довольно масштабное участие туземных металлургов и мастеров в непосредственном производстве на экспорт.

Вместе с тем, сам факт наличия автохтонного элемента в составе населения греческих городов начинает вполне справедливо рассматриваться в первую очередь как одно из следствий естественного стремления эллинских, раннеклассовых по своей структуре, общин колонистов использовать местные людские ресурсы для создания здесь слоя социально зависимого населения, призванного содействовать обогащению переселенцев. Впрочем, в среде самих туземцев апойкий усматривается присутствие и какого-то числа полностью свободных и вполне зажиточных лиц, например, ремесленников, торговцев и даже отдельных представителей скифской знати. Однако основной контингент аборигенной прослойки в городах Северного Причерноморья начиная уже с позднеархаического времени состоял, по мнению большинства ученых, все-таки из рабов и зависимых. Интересно отметить, наконец, что попутно с таким представлением о социальном составе и вполне специфическом предназначении боль-

шей части туземного населения античных центров было высказано убеждение, что ее формированию в интересах эллинов могла содействовать местная племенная верхушка, стремившаяся к всемерному развитию своих экономических контактов с греками (Гайдукевич 1955: 25).

Вернемся, однако, снова к началу третьего периода исследований. Как уже отмечалось выше, большинство антиковедов этого времени продолжало оставаться истыми приверженцами идеи исключительно торговых устремлений греков на северные берега Черного моря. Вместе с тем тогда же в отечественной историографии появились и первые признаки надвигающегося кризиса этой концепции. На фоне критического переосмысления итогов работ 20-х — начала 50-х годов и более углубленного изучения фонда накопленных материалов и данных античной литературной традиции среди специалистов вскоре стали раздаваться отдельные голоса предостережения против чрезмерного преувеличения роли чисто коммерческих интересов эллинов как во всех случаях единственной движущей силы колонизации. Любопытно заметить также, что основанием для такого рода заявлений в первую очередь послужили наблюдения, проведенные в сфере археологических фактов Нижнего Побужья — общепринятого оплота торговой теории переселений. Более того, тогда же было высказано суждение, что северопонтийские города возникли прежде всего как центры производства и, в частности, «если Ольвия и поддерживала со Скифией оживленные торговые сношения, то все же по значению для ее экономики они не могли сравняться с ролью собственного производства» (Доманский 1955: 6). Впрочем, реальных данных для подтверждения этого тезиса было в то время все-таки явно недостаточно. Как бы там ни было, но начало принципиально новому для отечественной историографии подходу к восприятию непосредственных побудительных мотивов создания греками собственных апойкий на северных берегах Черного моря было положено.

Есть веские основания полагать, что уже со второй половины 50-х годов число сторонников главным образом коммерческой ориентации местных эллинских городов резко пошло на убыль. Отсутствие бесспорных материальных свидетельств в пользу существования эмпориев на территории Нижнего Побужья, прежде всего Ольвии, и Боспора, с одной стороны, и появление дополнительных данных о развитии здесь разного рода ремесел и особенно сельского хозяйства, с другой, способствовали возникновению нового информационного поля. Именно поэтому, надо думать, исследователи все чаще начинают обращать внимание на более сложный, нежели это казалось раньше, профессиональный состав населения отдельных северопонтийских колоний и соответственно — на более сложный характер их экономической базы.

Кульминационным моментом новой волны критики источников стало вполне оправданное предположение, согласно которому греческая колонизация Северного Причерноморья являлась по своей природе не только торговой и ремесленной, но и земледельческой, «причем в разных центрах первоначально преобладал тот или иной вид хозяйственной деятельности» (Сокольский, Шелов 1959: 51-52). Словом, уже для этого времени можно констатировать нарастание явных предпосылок к постепенному переходу от преимущественно торговой модели к совершенно новой и более адекватной теоретической концепции греческой колонизации — ее многофакторности или полиморфности при доминанте. Впрочем, до вполне реальной и окончательной трансформации взглядов большинства отечественных антиковедов в указанном направлении было еще достаточно далеко. В начальной фазе грядущих радикальных перемен на роль единственной нормы, объясняющей все основные черты эллинской миграции на северные берега Понта, стала претендовать так называемая аграрная теория колонизации.

Анализ существующей литературы вопроса показывает, что практически одновременно с изменениями во взглядах на причины появления греческих апойкий в регионе и в тесной взаимосвязи с этими изменениями происходит и заметная переоценка ценностей в сфере интерпретации контактов пришельцев с аборигенным населением. В данном отношении необходимо отметить постепенное усиление понимания исключительной сложности и внутренней противоречивости самого процесса взаимодействий античных государств с отдельными племенами Северного Причерноморья в различные периоды их истории. Важной составной частью такого рода переоценки становится, кстати, и осознание невозможности слишком уж прямолинейной и узкой этнической атрибуции большинства исторических материалов и фактов, происходящих из зон непосредственных и, вероятнее всего, наиболее продолжительных контактов различных культурных элементов.

Со все возрастающим упорством и последовательностью делаются попытки поставить под сомнение, а затем и полностью исключить из использования один за другим буквально все виды историко-археологических источников, обычно привлекаемых для освещения проблемы взаимодействий колонистов с туземным населением Понта, в том числе: погребальную обрядность, продукцию литейных и костерезных мастерских, строительные комплексы — так называемые землянки и полуземлянки и даже в значительной мере лепную керамику. Наконец, и сама идея преемственности местных культур до- и колонизационного периодов начинает вызывать все большее предубеждение, выливающееся зачастую в крайне негативное отношение к, казалось бы, раз и навсегда установлен-

ному факту наличия отчетливых следов догреческих поселений на территории античных апойкий. Иными словами, есть все основания полагать, что одновременно с изменениями во взглядах заметной части исследователей на причины появления эллинов в Северном Причерноморье в отечественной историографии постепенно зарождались условия для очередного решительного пересмотра всего комплекса вопросов, связанных с решением проблемы греко-варварских контактов в названном регионе.

Последний, решающий аргумент для создания новой концепции отношений был неожиданно получен извне — в сфере археологии позднебронзового века. В результате кардинальной передатировки блока памятников так называемого позднесрубного периода истории Северного Причерноморья — сабатиновского и белозерского этапов — в подавляющем большинстве районов степной зоны этого региона возник весьма обширный хронологический разрыв между местными земледельчеко-скотоводческими культурами эпохи бронзы и временем создания здесь самых первых греческих поселений, совершенно не заполненный археологически фиксируемыми следами жизнедеятельности в виде стационарных поселений (Тереножкин 1965). Таким образом, как бы сами собой однозначно отрицательно решались сразу два важнейших вопроса историографии раннего железного века Северного Причерноморья: о преемственности туземной традиции до- и раннеколонизационного периодов и наличии оседлого населения в степи в момент проникновения в прибрежные районы Понта наиболее ранней волны переселенцев из Средиземноморья. Тем самым под прямым ударом оказывалась и идея так называемой двусторонности колонизационного процесса, причем в первую очередь как раз в своей наиболее значимой части — представлении о последовательном нарастании в регионе предпосылок переселения.

Заключительным этапом движения по пути полного переосмысления всего спектра взглядов на проблему контактов греков с аборигенами стало для этого времени монографическое исследование В.В.Лапина (1966). В нем впервые был аккумулирован и подвергнут последовательной ревизии буквально весь существовавший на тот день банк информации. Главным результатом этой обширной работы стало устойчивое и, как представляется до сих пор части антиковедов, полностью доказанное мнение, согласно которому для раннего периода колонизации северных берегов Черного моря варварский родоплеменной мир почти не улавливается и, следовательно, «связи с так называемым «местным населением» — это всего лишь область чистых гипотез, никак пока не подкрепленных конкретными данными» (Лапин 1966: 142).

Отправной точкой отсчета проведенной В.В.Лапиным ревизии материалов являлось окончательное утверждение аграрной модели переселения как единственно возможной и методологически допустимой формы разработки всего комплекса вопросов культурного развития античных центров Северного Причерноморья, в том числе, разумеется, и их взаимоотношений с местными обитателями. В качестве необходимого подспорья такой разработки на теоретическом уровне интерпретации основного блока конкретно-исторических документов была использована к тому же уже упоминавшаяся ранее установка исследований Д.П.Каллистова, в соответствии с которой мир варваров и мир античной цивилизации изначально должны рассматриваться в качестве особых, обособленных сил, развивавшихся по своим собственным закономерностям и в силу этого способных на совершенно независимое друг от друга и вполне самостоятельное существование (Лапин 1966: 184-185). Данное положение, по мнению В.В.Лапина, хорошо объясняет надежно зафиксированное им, якобы, отсутствие сколь-либо видимых следов проникновения туземных элементов в культуру населения районов греческой колонизации Северного Понта. На поверку получалось, что такое проникновение оказывалось как бы даже противоестественным: в нем не было ни особой нужды, ни смысла.

Конечно же, тем самым В.В.Лапин ни в коем случае не отрицал сам факт существования в древности каких-то контактов между пришельцами и местными жителями, однако все проявления этих неизбежных взаимодействий он по существу был склонен сводить только к постепенному и неуклонному возрастанию коренной враждебности этих двух миров (Лапин 1966: 186).

Завершая, таким образом, краткую характеристику этого фундаментального исследования, следует подчеркнуть, что в целом отрицательное, по собственному замечанию его автора, решение вопроса о взаимоотношениях греков с местным родоплеменным миром было, по всей видимости, в значительной степени предопределено сразу двумя основными причинами: назревшим кризисом чисто торговой модели колонизации, уже не способной дать адекватное объяснение всему многообразию зафиксированных к тому времени, подчас весьма противоречивых фактов развития античной и туземной культур в Северном Причерноморье, с одной стороны, и явно неудовлетворительным положением дел в области самой археологии, где, за редким исключением, все еще продолжалось игнорирование изучения рядовых памятников сельской округи греческих городов и поселений варваров хинтерланда. Кроме того, в этой же связи следует обратить внимание и на отсутствие в распоряжении исследователя хотя бы более или менее достаточной серии вполне надежных аналитических разработок первоис-

точников. Система рассуждений, логичная сама по себе, была в значительной мере построена на общих, оторванных от археологических реалий заключениях. Совершенно очевидно, однако, что при решении вопросов этнокультурной атрибуции чисто археологических материалов одной логики мало. В основе любого сколь-либо серьезного построения такого рода, кроме логических, пусть даже вполне разумных, выкладок и допущений, должна находится солидная внутренняя критика источника. Только на такой базе возможна, да и то далеко не всегда, историческая интерпретация. Именно такой работы В.В.Лапин, к сожалению, в ряде случаев и не проделал.

Впрочем, несмотря на первоначально сугубо отрицательную реакцию значительной части отечественных историков на исследование В.В.Лапина, следует заметить все же, что оно вскоре нашло и своих верных сторонников, окончательно поделив тем самым ученых как бы на два противоположных лагеря. В целом же указанное сочинение сыграло скорее положительную, нежели отрицательную роль в дальнейшем развитии знаний, наглядно продемонстрировав наличие ряда узких и весьма уязвимых для критики мест в историографии раннего железного века Северного Причерноморья, требующих своего скорейшего устранения. Оно стало своего рода катализатором нового подъема исследований в области классической археологии этого региона. Начался новый, четвертый, период в истории изучения греко-варварских взаимодействий в Северном Причерноморье скифской эпохи.

Хронологические рамки последнего, четвертого периода — от начала 70-х годов до наших дней. Среди весьма многочисленных и весьма разнообразных исследований этого времени отметим работы Т.М.Арсеньевой (1970), В.В.Лапина (1975; 1978), И.Т.Кругликовой (1975), А.С.Островерхова (1978; 1980; 1981), Я.В.Доманского (1979; 1981; 1985), А.С.Русяевой и М.В.Скржинской (1979), Н.А.Лейпунской (1979; 1981), Ю.Г.Виноградова (1980; 1981; 1983; 1989), Е.С.Голубцовой, Г.А.Кошеленко (1980). Е.Г.Кастанаян (1981), А.А.Масленникова (1981; 1998). Л.В.Копейкиной (1981), В.М.Отрешко (1981; 1990); М.Ю.Вахтиной (1984), В.П.Толстикова (1984), С.Б.Охотникова (1984; 1987; 1990), Э.В.Яковенко (1985), Ф.В.Шелова-Коведяева (1985), С.Д.Крыжицкого, В.М.Отрешко (1986), Марченко (1988; 1991), С.Д.Крыжицкого, С.Б.Буйских, А.В.Буракова, В.М.Отрешко (1989), С.Л.Соловьева (1989; 1995 а, б), Ю.А.Виноградова (1990), Ю.А.Виноградова, К.К.Марченко (1991), И.В.Бруяко (1993 а, б) и, пожалуй, С.А.Андрух (1995).

Судя по их содержанию, важнейшим направлением творческих устремлений большинства ученых отныне становится поиск преодоления отмеченных выше разногласий в сфере создания исторически сбалансированной концепции греческой колонизации и моделирования картины отношений античных центров с аборигенным населением Северного Понта. Наиболее значительные усилия при этом, как было очевидно, предстояло приложить прежде всего на уровне критического переосмысления всей совокупности накопленных историко-археологических документов. Только новый виток серьезной ревизии первоисточников мог, по всей видимости, позволить хотя бы частично устранить самые одиозные противоречия в историографии. Необходимо отметить также, что непосредственная реализация этой задачи на практике первоначально вылилась, главным образом, в новую попытку улучшить аргументацию уже ранее определившихся на сей счет позиций и представлений. В этом смысле четвертый период может расцениваться в качестве прямого и вполне логичного продолжения предшествующего времени.

Впрочем, конкретные исследования развернулись сразу в двух взаимосвязанных плоскостях: более углубленного системного анализа уже имеющихся фактов и сбора дополнительной информации Особое внимание в последнем случае было вновь обращено на необходимость всемерного расширения изучения материальной культуры рядовых памятников сельскохозяйственной округи греческих апойкий региона, и прежде всего его северо-западной части. Следует подчеркнуть также, что эта работа вскоре приобрела здесь впервые характер систематических и широкомасштабных исследований. Конечным результатом такого развития дел стало постепенное выдвижение археологических материалов на первое место при изучении вопросов взаимодействий эллинского и туземного миров в Причерноморье. Тем самым у антиковедов впервые появилась реальная возможность вполне сбалансированного подхода к моделированию греко-варварских отношений на основе действительно комплексного использования всей совокупности исторических документов и наблюдений.

Вернемся, однако, непосредственно к самим исследованиям четвертого периода. Как уже упоминалось выше, разработки этого времени продолжают вестись сразу в двух основных направлениях, а именно: в плане дальнейшей адаптации к новым археологическим фактам идеи противоположности двух миров — эллинского и туземного, отрицающей в принципе сколь-либо значительное влияние варваров на формирование истории и этнокультурного облика населения зон непосредственного проживания греков и, во-вторых, по линии совершенствования аргументации в пользу наличия самых разнообразных, подчас даже определяющих основные стороны экономического и политического развития отдельных апойкий, взаимодействий греков и варваров уже на самых ранних стадиях колонизации северных берегов Пон-

та. Вполне очевидно также, что сама разработка названных направлений проходит в рамках дальнейшей трансформации взглядов исследователей на непосредственные причины, характер и условия осуществления колонизационного движения в Северном Причерноморье. При этом первое из них традиционно остается тесно связанным прежде всего с развитием аграрной концепцией переселений, а второе — с так называемой многофакторной или полиморфной при доминанте.

В числе наиболее ярких, своего рода установочных работ сторонников аграрной концепции следует в первую очередь назвать труды В.В.Лапина (1975; 1978), творческой энергии которого историография обязана очередной попыткой создания принципиально нового подхода к восприятию исторического процесса в Северном Причерноморье античной эпохи. Само собой разумеется, что в целом эта попытка, если иметь в виду саму идею исключительно аграрной направленности колонизации, оказалась вполне созвучной взглядам, высказанным этим ученым ранее. Однако в ее облике на сей раз появились весьма существенные «усовершенствования», обусловленные необходимостью усилить аргументацию в пользу закономерности присутствия в материальной культуре северопонтийских поселений греков целой серии относительно примитивных, «реликтовых», черт, например: лепной керамики, землянок и т.п., т.е. всего того, что постоянно вызывало у части исследователей большие сомнения в принадлежности собственно античной цивилизации.

В стремлении парировать критические замечания в адрес своей работы 1966 года В.В.Лапин, опираясь на собственное толкование соответствующих фактов археологии Нижнего Побужья архаического времени, предложил оригинальное, но, по-видимому, неоправданно смелое решение этого явно наиболее уязвимого с точки зрения оппонентов вопроса. По его мнению, такие «реликтовые» черты ни в коей мере не могут быть связаны с туземным населением Понта, поскольку они, якобы, органически присущи некой особой, но, к сожалению, до сих пор все еще не выделенной этнографической общности Средиземноморья, характеризующейся своей относительной изолированностью, оторванностью от эпицентра греческой культуры.

Согласно скорректированным таким образом воззрениям, Северное Причерноморье раннего железного века представало перед мысленным взором этого разработчика и его сторонников в качестве объекта массовой, преимущественно стихийной, т.е. нерегламентированной, миграции социально и культурно однородной группы прото- и раннегреческих крестьян из каких-то периферийных областей античной ойкумены. Именно этой группой крестьян, в конечном счете, и были созданы все мало-мальски известные по археологическим данным поселения в прибрежных районах этого региона (Лапин 1975: 100; 1978: 366). Отсутствие же следов оседлости аборигенов в степной зоне в канун переселения туда «беднейших трудовых слоев Греции» и сама масштабность такого переселения не оставляли в рамках данной картины места для сколько-нибудь заметного участия варваров в сложении культуры античных центров Северного Причерноморья. Тем самым большинство вопросов взаимодействия колонистов с туземным миром в этом отрезке «пограничья» как бы естественным образом перемещалось в плоскость хотя и чрезвычайно острой, но по сути своей в общем схоластической полемики.

Последующее совершенствование этой картины, продолженное сторонниками аграрной по преимуществу модели колонизации, в принципе мало что изменило в ее облике. Налицо лишь заметная модификация ее отдельных разделов в соответствии с требованиями новейших археологических открытий, в частности, «стихийности» характера застройки ранней Ольвии и рядовых поселений позднеархаического времени Нижнего Побужья. Впрочем, справедливости ради следует отметить, что в настоящее время приверженцы указанной или же близкой ей точки зрения все же вполне допускают существование и другой, по их мнению, скорее всего второстепенной по своим масштабам, формы колонизации региона, а именно: организованной и целенаправленной. Более того, большинство из них ныне вынуждено признать и наличие некоторого, правда, в целом явно весьма скромного и к тому же главным образом пассивного или даже опосредованного влияния варварского хинтерланда на культурную, хозяйственную и демографическую стороны развития ранних греческих общественно-политических образований (см. например: Крыжицкий, Бураков, Буйских, Отрешко, Рубан 1980: 6; Крижицький, Буйських 1988: 7). Однако, как представляется, такое признание само по себе вряд ли может быть расценено в качестве кардинальной трансформации взглядов этих ученых на саму проблему греко-варварских отношений. Оно в лучшем случае свидетельствует о заметной подвижке в сторону контакта с разработками своих «идейных противников». Именно в силу данного положения дел, надо думать, в их исследованиях регулярно проявляется неодолимое стремление объяснять буквально все наиболее значительные изменения в ранней истории населения колонизованных районов прежде всего за счет внутриэкономических, демографических или политических трансформаций собственно эллинских гражданских коллективов, практически полностью отрицая при этом возможность воздействия на такого рода события со стороны туземного мира региона.

Принципиально иные, более конструктив-

ные, хотя равным образом во многих случаях далеко не бесспорные результаты исследований проблемы греко-варварских взаимодействий в Северном Причерноморье получены ныне сторонниками многофакторной модели колонизации. Сразу же заметим, что разброс мнений в этом лагере ученых на поверку оказывается, пожалуй, на порядок больше, нежели в среде адептов аграрной теории. И это вполне понятно даже в первом приближении, поскольку сам-то переход к вышеозначенной концепции переселений на сей раз не повлек за собой огульного отрицания результатов предшествовавших ей разработок. Отбросив лишь их притязания на исключительное право объяснять все возможные формы выведения апойкий и отношений с туземцами, новая концепция естественным образом включила в себя и торговый, и аграрный стимулы колонизации в качестве действительно необходимых и наиболее существенных, но все же отнюдь не единственных элементов своей структуры (см. например: Доманский 1972: 41; Блаватский, Кошеленко, Кругликова 1979; Брашинский, Щеглов 1979). Вполне закономерно также, что в соответствии с таким развитием теоретической мысли в составе приверженцев многофакторной модели оказались специалисты, исповедующие довольно широкий спектр взглядов на греко-варварские контакты и взаимодействия.

Впрочем, сам по себе процесс перехода к более сложному, неоднозначному восприятию характера переселений, окончательно завершившийся в отечественном антиковедении лишь ко второй половине 70-х годов, безусловно, создал дополнительные мотивы для разработки всего комплекса вопросов отношений колонистов с окружавшим их миром аборигенов. Весьма примечательно также, что необходимость проведения дополнительных работ в этом направлении была продиктована на сей раз, прежде всего, одним из методологических требований самой многофакторной теории, согласно которому для вполне адекватного понимания конкретных целей выведения и изначального характера той или иной апойкии предварительно необходимо углубленное изучение исторической, демографической и палеогеографической ситуации в каждом отдельно взятом районе переселения.

Одним из главных аспектов исследований при этом становиться опять-таки определение форм экономических контактов самых первых греческих колонистов с туземным миром Северного Причерноморья. В стремлении найти адекватное решение указанного вопроса антиковеды вновь и вновь обращаются к рассмотрению всего комплекса археологических материалов, так или иначе характеризующих хозяйственную сторону жизнедеятельности наиболее ранних поселений этого региона. В результате всесторонней ревизии фактов в научной среде довольно быстро распространяется убеждение в отсутствии на сегодняшний день надежных доказательств существования регулярной доколонизационной торговли. По мнению ряда специалистов, речь в данном случае может идти скорее лишь о предколонизационных плаваниях греков в Черном море с ознакомительными или полуторговыми-полупиратскими целями. Одновременно с этим в историографии с повестки дня, по существу, снимается и вопрос о функционировании здесь, в регионе, целой серии факторий, предшествовавших, якобы, возникновению собственно греческих колоний. Вполне закономерным следствием такого видения исторического процесса явилось, наконец, и полное отрицание самой идеи сложения какой-то особой, т.е. специфической в этом отношении, предколонизационной ситуации в Северном Причерноморье (Доманский 1982: 38).

Вместе с тем, отказ от признания права на существование регулярной доколонизационной торговли и обязательности наличия эмпориального этапа в развитии колонизационного движения сам по себе отнюдь не привел сторонников многофакторной концепции к полному смыканию на сей счет с «аграриями». По сути дела, он лишь совершенно по-новому и в видимом соответствии с накопленными историческими фактами расставлял акценты в восприятии динамики торговой активности первых колонистов. Более того, в конструируемой таким образом картине развития экономики наиболее ранних поселений эллинов оказалось достаточно места не только для констатации насущной заинтересованности пришельцев из Эгеиды во всемерном расширении коммерческих связей с варварами хинтерланда, но и для допущения возможности функционирования в архаический период на северных берегах Черного моря отдельных торговых факторий (Доманский 1979: 84-85).

Впрочем, что касается факторий, то следует признать, что мнения исследователей в последнем случае все-таки явно разделились. И если одни из них до сих пор продолжают отстаивать историческую реальность существования северопонтийских эмпориев, упорно причисляя к данной категории прежде всего греческое поселение на острове Березань (см. например: Яйленко 1983: 140, 147; Соловьев 1989: 15-16), то другие столь же настойчиво возражают против этого (Виноградов 1989: 62, 67).

Тем не менее нетрудно заметить, что отмеченное выше несовпадение взглядов на природу и политико-правовой статус наиболее ранних греческих поселений этого региона, по существу, ничего не меняет в уже давно устоявшемся представлении о базовой функции самой Березани. Как ранее, так и теперь этот своеобразный памятник Нижнего Побужья в глазах целого ряда специалистов предстает в качестве торговой по преимуществу колонии эллинов. В полном соответствии с таким представлением

среди причин колонизации хотя бы и отдельных районов Северного Причерноморья предпочтение отдается прежде всего «доминанте торговых интересов» ионийцев (Виноградов 1989: 55).

Как бы то ни было, но именно коммерческие устремления первых переселенцев, обусловленные, по мнению целого ряда ученых, главным образом поисками надежных источников сырья и сельскохозяйственных продуктов для метрополии и собственных нужд, стали в конечном счете в этой части «пограничья» основной движущей силой установления непосредственных и по возможности мирных контактов эллинов с туземными племенами Причерноморья буквально с момента появления здесь самой ранней постоянной колонии на острове Березань (ср.: Карышковский, Клейман 1985: 37-38). Они же, как полагают, в значительной мере и подпитывали эти контакты в дальнейшем, способствуя их всемерному расширению во времени и пространстве. При этом главным источником начальной иррадизации экономического воздействия на местные общественные образования хинтерланда продолжают считаться античные центры Нижнего Побужья; другим районам эллинской колонизации Северного Понта в этом смысле придается гораздо меньшее значение.

Вернемся, однако, снова к краткому обзору изменений, происшедших во взглядах хотя бы и части исследователей четвертого периода относительно самого облика греко-варварских экономических отношений. В их числе в первую очередь нужно назвать, пожалуй, иное, нежели прежде, представление о характере ранних торговых связей колонистов с кочевниками, поскольку, как полагают ныне, эти связи были, скорее всего, завязаны не греками, а номадами и служили для эллинов одним из действенных способов обеспечения собственной безопасности (Вахтина 1984: 16). Весьма интересной в этом же плане, хотя, по-видимому, также далеко не бесспорной, является и попытка поставить под сомнение самую возможность вывоза греческими купцами из большинства районов обитания местного земледельческого населения сколь-либо значительных для реэкспорта в метрополию объемов товарного хлеба (Щеглов 1990). Столь же двойственное впечатление вызывает, наконец, новая классификация «торговых центров» Побужья и связанная с ней необычно дробная периодизация греко-скифских экономических контактов в Поднепровье VII-II вв. до н.э. (Островерхов 1980).

Вторым из основных аспектов исследований четвертого периода на пути создания исторически полноценной модели греко-варварских взаимодействий в Северном Причерноморье стала разработка вопросов этнической и социальной атрибуции конкретных проявлений так называемых реликтовых — по образному выражению В.В.Лапина — черт культуры в зонах непосредственной колонизации этой территории. Важнейшим итогом разработок в этой сфере явилось подтверждение самого факта присутствия среди населения таких зон буквально с момента появления там первых переселенцев и какого-то контингента туземцев, в составе которого к тому же было впервые отмечено наличие выходцев из самых различных частей Причерноморья. Дополнительные исследования по выяснению динамики численности разноэтничных туземцев во времени в предварительном плане установили заметные причинно-следственные связи ее изменений с наиболее существенными сторонами экономической, военно-политической и демографической истории как самих эллинских центров отдельных районов, так и обитателей Северного Причерноморья в целом.

Следует заметить сразу, что указанные выводы и наблюдения, сделанные прежде всего на основании анализа лепной керамики, обнаруженной в культурных слоях и комплексах античных памятников Северо-Западного Понта и получившие ныне самое широкое признание антиковедов, в том числе отчасти и среди сторонников аграрной модели колонизации, были еще раз подкреплены независимыми данными антропонимического фонда самого крупного эллинского центра этого района — города Ольвии. Более того, изучение эпиграфических документов и свидетельств древних авторов позволило тогда же констатировать и весьма сложный социально-имущественный состав варварского компонента населения Нижнего Побужья, значительная часть которого, по всей видимости, уже в V в. до н.э. испытала на себе «сильное влияние процесса эллинизации» (Виноградов 1981 б: 135).

Что же касается причин, обусловивших появление разноэтничных варваров среди постоянных жителей не только сельских, но и городских поселений греков Северного Причерноморья, то на сей счет у исследователей в настоящее время существует довольно заметный разброс мнений. Впрочем, почти все они в первом приближении могут быть сведены к признанию экономической заинтересованности туземцев — кочевников и земледельцев — в установлении самых тесных контактов с колонистами, с одной стороны, и потребностью самих греческих общин в дополнительных трудовых ресурсах, с другой. Именно это последнее обстоятельство заставляло города-колонии вскоре после своего появления втягивать «в свою среду и сферу действия туземное население разной этнической принадлежности» (Мелюкова 1979: 181).

В числе конкретных факторов, способствовавших формированию указанного контингента аборигенов в контролируемых эллинами зонах колонизации, обычно называют несколько, а именно: более высокий, сравнительно с туземным, уровень жизни в греческих центрах, привлекавший местные элементы, продажу кочев-

никами Северного Причерноморья своих пленников переселенцам с последующим превращением проданных в частных рабов, прямой захват рабов из числа местных жителей самими эллинами, оседание части кочевников в результате пауперизации и, наконец, взаимные браки первой волны колонистов, состоявшей преимущественно из молодых неженатых людей, с туземными женщинами. Как полагает далее значительная часть исследователей, в результате действия всех вышеперечисленных сил и интересов здесь, на территории Боспора, в Нижнем Побужье и Поднестровье во всяком случае, уже в VI-V вв. до н.э. возник слой социально зависимого от греков, гетерогенного по своему происхождению варварского населения, сознательно включенного эллинами в процесс сельскохозяйственного производства для удовлетворения насущных потребностей гражданских коллективов в продукции земледелия и скотоводства. Заметим также, что аналогичной точки зрения в настоящее время придерживаются, по всей видимости, и сторонники аграрной теории колонизации.

Вместе с тем, как показывает анализ соответствующей литературы, большинство специалистов, причем безотносительно к их приверженности к той или иной концепции переселений, считает ныне, что величина удельного веса слоя туземцев в общем балансе населения районов, охваченных колонизацией, была все-таки сравнительно небольшой и уж во всяком случае значительно уступала эллинскому компоненту, поскольку-де практически все многочисленные аграрные поселения этих районов были основаны самими греками, и подавляющее число проявлений материальной и духовной культуры жителей этих поселений носит явно греческую окраску. Едва ли не единственная предметная попытка показать гораздо более существенную роль аборигенов в развитии демографической и культурной ситуации в таких районах с момента появления там первых колонистов, основанная на новой разработке обширных материалов строительных комплексах Нижнего Побужья, Березани прежде всего (Соловьев 1990), не получила положительной оценки у антиковедов.

Третьим из важнейших аспектов исследований четвертого периода стало изучение политической сферы отношений северо-западной части Понта с варварским миром Причерноморья. Несмотря на относительную новизну или, лучше сказать, вопиющую неразработанность большинства узловых вопросов этнополитической истории этой части региона, именно здесь, в этой области знаний, ныне может быть зафиксирован весьма заметный прогресс в получении дополнительной информации по проблеме контактов и взаимодействий. Более того, по сути, речь в данном случае должна идти скорее о своего рода качественном скачке в историографии. При этом нельзя не заметить, что основная заслуга в подготовке, да и реализации этого скачка на практике по праву принадлежит Ю.Г.Виноградову, проделавшему поистине впечатляющую работу по изучению наиболее запутанных страниц политической истории греко-варварских отношений в Северном и специально Северо-Западном Причерноморье интересующего нас времени (Vinogradov 1997). Одним из основных результатов этой исключительно плодотворной и целенаправленной работы к тому же стало создание исследователем необычайно широкой, но главное — целостной картины политических столкновений одного из крупнейших греческих государств региона — Ольвии с туземным миром Причерноморья, характер отношений с которым, по его мнению, «и определял на протяжении веков судьбы как самого полиса, так в значительной степени и его окружения» (Виноградов 1989: 273).

Здесь не время и не место подвергать эту картину столкновений детальному рассмотрению. В настоящий момент в ее облике следует выделить, пожалуй, лишь главный для понимания существа проделанной работы сюжет — состояние зависимости греческих колоний северо-западной части Понта, Ольвии прежде всего, от наиболее мощных в военном отношении общественно-политических объединений туземных жителей Причерноморья.

Сама мысль о существовании каких-то форм политического контроля или состояния господства со стороны туземных правителей хотя бы и над частью эллинских апойкий региона была, как это уже отмечалось выше, высказана еще антиковедами первого периода исследований и неоднократно повторялась впоследствии. Однако на сей раз усилиями Ю.Г.Виноградова она получила совершенно новое звучание, постепенно трансформировавшись в целую систему взаимосвязанных и, как правило, хорошо аргументированных взглядов и представлений о самом механизме зарождения, функционирования и содержании такого рода состояний.

Центральным структурообразующим элементом указанной картины при этом является, по всей видимости, идея «варварского протектората», наиболее точно отражающая, по убеждению ее автора, историческую суть совершенно особого, специфического и вместе с тем вполне универсального для всего Северо-Западного района Причерноморья типа отношений подчинения греческих городов. В сформулированном Ю.Г.Виноградовым виде данный тип отношений предстает ныне как «установление определенных форм зависимости греческих полисов от того или иного варварского политического образования без интегрирования их в структуру последнего, выразившихся в контроле варваров в лице верховного правителя или его наместников и ставленников над экономической сферой жизни полисов и во внеэкономичес-

кой эксплуатации различных видов; взамен этого — определенные, в той или иной мере соблюдавшиеся гарантии варварских протекторов по обороне полисов» (Виноградов 1989: 274).

Скрупулезно проанализировав практически всю совокупность историко-эпиграфических материалов под определенным углом зрения, этот ученый в конечном счете впервые в историографии указанного района Причерноморья вполне уверенно выделил сразу три последовательно сменявших друг друга во времени периода «варварского протектората» над эллинами, а именно: фактически весь V в. до н.э., теснейшим образом связанный с активной военно-политической и экономической деятельностью таких «царей» кочевых скифов, как Ариапиф, Скил и Октамасад; затем — вторую половину III — начало II вв. до н.э. — время зависимости Ольвии от регулярно покупаемого ею с помощью дорогих «подарков» покровительства Сайтафарна и, вполне возможно, «дружелюбия» других более мелких вождей туземных, главным образом сарматских, кочевых орд; и, наконец, — вторую половину II в. до н.э., охватывающую годы контроля и внеэкономической эксплуатации Ольвии правителем позднескифского государства в Крыму — Скилуром. При этом, как очевидно даже в первом приближении, каждый из выделенных периодов «варварского протектората» получил в работе Ю.Г.Виноградова почти исчерпывающую на сегодняшний день и, за некоторым исключением, вполне сбалансированную характеристику (см. также: Марченко 1993).

Вместе с тем, оценивая работу Ю.Г.Виноградова в целом как несомненно крупный вклад в дело создания исторически полнокровной и внутренне непротиворечивой модели взаимоотношений колонистов северо-западной части Понта с аборигенным миром Причерноморья, необходимо подчеркнуть, что основная задача, стоявшая перед ее автором, была изначально ограничена все же изучением лишь одного — политического аспекта этих взаимоотношений и что, следовательно, целый спектр вопросов этнокультурной, демографической, да и экономической сторон их истории, к сожалению, остался за пределами поля зрения ученого и, таким образом, все еще во многом ожидает своего разрешения. Более того, продолжают ожидать своего разрешения и отдельные вопросы политической сферы отношений греков и варваров Северо-Западного Причерноморья, по тем или иным причинам также не получившие своего освещения в рассматриваемой работе.

В этой связи, кстати сказать, нельзя не отметить и некоторую ограниченность или, точнее, негибкость самого метода исследователя, отдающего во всех случаях без каких-либо колебаний и сомнений «приоритет перед остальными документами эпиграфическим» (Виноградов 1989: 4-5), поскольку, как известно из практики антиковедения, при разработке проблемы греко-варварских контактов ведущим типом источников обычно являются все-таки археологические материалы (см., например; Vallet 1973: 64). Неукоснительное соблюдение указанной ранжировки документов, продиктованное, скорее всего, чересчур уж скептическим отношением автора к фактам «молчаливой» археологии, не позволило ему в полной мере использовать информационные возможности последних и в итоге негативно отразилось на отдельных результатах работы. Не случайно поэтому, быть может, «Политическая история Ольвийского полиса» и обнаруживает в себе наиболее обширные и крайне досадные пробелы как раз на уровне истории отношений ольвиополитов с аборигенным населением, охватывающие порой довольно значительные отрезки времени функционирования этого государства, например, практически весь IV и первую половину III вв. до н.э.

Впрочем, указанное замечание в адрес методической установки исследователя ни в коей мере не бросает тень на основное содержание упомянутой выше картины зависимости — идею «варварского протектората». Встреченная частью специалистов в момент своего зарождения с известной долей настороженности и даже неприятия, эта идея по мере своего совершенствования по праву начинает получать все большее признание и поддержку со стороны научной общественности.

В заключение сказанного остается лишь добавить, что солидным подспорьем успешного формирования системы представлений о «протекторате» стали в первую очередь, несомненно, научные изыскания, проведенные в области развития монетного дела греческих центров Северного Причерноморья крупнейшим украинским нумизматом и знатоком античной истории П.О.Карышковским (см., например: Карышковский 1984; 1987).

В числе иных, к сожалению, крайне немногочисленных попыток предметного анализа отдельных событий военно-политической истории контактов греков с туземным населением Понта особо следует выделить работу А.Н.Щеглова, которому в условиях развернувшейся ныне в археологии радикальной ревизии причин, вызвавших закат «Великой Скифии», удалось, как кажется, вполне надежно подтвердить большую часть ранее установленных фактов хронологии, характера и наиболее существенных последствий нападения первых сарматских кочевых орд на эллинские колонии Северного Причерноморья (Щеглов 1985: 190-195; ср.: Виноградов, Марченко, Рогов 1997).

Четвертым и, пожалуй, последним из важнейших аспектов исследований в области греко-варварских отношений настоящего времени стала разработка принципиально новой периодизации истории Северного Причерноморья скифской эпохи (Виноградов, Марченко 1991; Марченко 1991; см. также: Алексеев 1992.). Сра-

зу же следует подчеркнуть, что само по себе создание указанной периодизации оказалось возможным только на основе последних впечатляющих достижений античной и скифо-сарматской археологии: массовых раскопок скифских курганных некрополей степной зоны, существенного сужения датировок целого ряда опорных памятников VIII-III вв. до н.э., но прежде всего — результатов широких исследований хоры античных государств. Создание небывало обширной базы археологических данных и наблюдений позволило, наконец, вплотную подойти и к осознанию единства и одновременно цикличности культурно-исторического развития Северного Причерноморья скифской эпохи в целом. Отныне этот регион вновь стал рассматриваться в виде своеобразной, динамично менявшейся во времени системы отношений, связей и взаимодействий по меньшей мере сразу трех различных по своему происхождению компонентов населения: кочевых сообществ степей, эллинских государств и оседлых и полуоседлых потестарных образований лесостепной зоны (ср.: Ростовцев 1918: 6-7). Именно при таком подходе к историческому процессу в этой части античного «пограничья» впервые стало возможным создание и достаточно дробной хронологической схемы контактов, включившей в себя, по меньшей мере, шесть отдельных периодов: 1. Раннескифский период, связанный с появлением нескольких групп кочевников: середина VIII — середина VII вв.до н.э.; 2. Конец VII — первая четверть V вв. до н.э.: период стабильных отношений в регионе; 3. Конец первой четверти V в. до н.э. — последняя треть этого же столетия: период дестабилизации; 4. Последняя четверть V — рубеж IV-III вв. до н.э.: период расцвета; 5. Рубеж IV-III — первая треть III вв. до н.э.; период дестабилизации, исчезновения «Великой Скифии», появления сарматов; 6. Вторая половина-конец III — первая половина II вв. до н.э.: период очередной относительной стабилизации и образования «Малых Скифий».

На этом, собственно говоря, и можно завершить рассмотрение важнейших аспектов и результатов изучения проблемы греко-варварских взаимодействий в интересующем нас районе античного «пограничья». В резюмирующей части краткого экскурса в историографию мне остается лишь еще раз констатировать отсутствие на сегодняшний день сколь-либо целостной и в своих основных частях согласованной во времени и пространстве картины отношений эллинских центров Северного Причерноморья скифской эпохи с окружавшим их туземным миром. Несмотря на большой и довольно напряженный путь исканий, которым шли исследователи к созданию общей концепции таких отношений, несмотря на очевидные достижения в деле решения целого ряда сложнейших вопросов, особенно в области экономических и политических контактов, несмотря, наконец, на появление в последний период в распоряжении антиковедов новых обширных и разнообразных археологических материалов из самих греческих центров и, что важнее, из контактных зон этого региона, — несмотря на все это, специалисты все еще вынуждены довольствоваться по большей части более или менее удачными набросками отдельных, хотя подчас и довольно значительных, сюжетов.

Наиболее существенным препятствием на пути разрешения создавшейся ситуации в настоящее время является, по всей видимости, наличие в среде ученых принципиальных разногласий в оценке роли, характера и масштабов участия варварского хинтерланда в формировании культурной, социальной и демографической сфер жизнедеятельности эллинских апойкий, что, в свою очередь, в конечном счете обусловлено отсутствием единого подхода к самой концепции отношений. Таким образом, можно думать, что основная причина указанных разногласий находится за пределами непосредственного восприятия интерпретационных возможностей собственно источниковедческой базы. Ее корни уходят глубже и должны быть связаны, прежде всего, с фатальным несовершенством исходных теоретических установок и только как следствие — методическим обеспечением конкретно-исторических разработок чисто археологических фактов.

ЛИТЕРАТУРА

Алексеев А.Ю. 1992. Скифская хроника. СПб.

Андрух С.А. 1995. Нижнедунайская Скифия в VI — начале I в. до н.э. Запорожье.

Арсеньев Т.М. 1970. Лепная керамика Танаиса как источник для этнической истории Нижнего Дона: Автореф. дис. ... канд. ист. наук. М.

Артамонова О.А. 1940. Древнейшее поселение на острове Березань // КСИИМК — V.

Білецький А.О. 1957. Про власні імена з ольвійських написів // Археологія — XI.

Белецкий А.А. 1958. О собственных именах в новонайденных ольвийских надписях // СА — XXVIII.

Белов Г.Д. 1938. Отчет о раскопках Херсонеса за 1935-36 гг. Гос. изд-во Крымской АССР.

Блаватский В.Д. 1950 а. Рец. на кн.: Каллистов Д.П. Очерки по истории Северного Причерноморья античной эпохи. Л.: Изд-во ЛГУ. 1949 // ВДИ — 3.

Блаватский В.Д. 1950 б. Античная культура в Северном Причерноморье // КСИИМК — XXXV.

Блаватский В.Д. 1953. Земледелие в античных государствах Северного Причерноморья. М.

Блаватский В.Д. 1954 а. Рабство и его источники в античных государствах Северного Причерноморья // СА — XX.

Блаватский В.Д. 1954 б. Архаический Боспор // МИА — 33.

Блаватский В.Д. 1955. О происхождении боспорских склепов с уступчатыми перекрытиями // СА — XXIV.

Блаватский В.Д. 1959. Процесс исторического развития античных государств в Северном Причерноморье // Проблемы истории Северного Причерноморья в античную эпоху. М.

Блаватский В.Д. 1964 а. Воздействие античной культуры на страны Северного Причерноморья (в VII-V вв.до н.э.) // СА — 2.

Блаватский В.Д. 1964 б. Воздействие античной культуры на страны Северного Причерноморья (IV-III вв.до н.э.) // СА — 4.

Блаватский В.Д. 1964 в. Пантикапей. М.

Блаватский В.Д., Кошеленко Г.А., Кругликова И.Т. 1979. Полис и миграции греков // Проблемы греческой колонизации Северного и Восточного Причерноморья. Тбилиси.

Болтенко М.Ф. 1930. До питання про час виникнення та назву давнішої йонійскої оселі над Бористеном // Віс.ОКК. — 4-5.

Болтенко М.Ф. 1960 а. Herodoteanes // МАСП — 3.

Болтенко М.Ф. 1960 б. Исторические судьбы острова Березань // ЗОАО — 1 (34).

Болтенко М.Ф. Головко И.Д., Гудимович Ф.М. 1959. Рец. на кн.: Ольвия и Нижнее Побужье в античную эпоху. МИА. 1956. № 50 // ПОДУ — 149. Вип.7.

Бондарь Н.Н. 1955. Торговые отношения Ольвии со Скифией в VI-V вв.до н.э. // СА -XXIII.

Брашинский И.Б., Щеглов А.Н. 1979. Некоторые проблемы греческой колонизации // Проблемы греческой колонизации Северного и Восточного Причерноморья. Тбилиси.

Бруяко И.В. 1993 а. Демография и экономика населения Северо-Западного Причерноморья во второй половине VII-начале III вв.до н.э.: Автореф. дис. ... канд. ист. наук. СПб.

Бруяко И.В. 1993 б. Лепная керамика греческого Никония // Древности Причерноморских степей. Киев.

Вахтина М.Ю. 1984. Греко-варварские контакты VII-VI вв.до н.э. по материалам степной и лесостепной зон Северо-Западного Причерноморья и Крыма: Автореф. дис. ... канд. ист. наук. Л.

Виноградов Ю.А. 1990. Особенности греко-варварских взаимоотношений на Боспоре в VI-III вв. до н.э.: Автореф. дис. ... канд. ист. наук. Л.

Виноградов Ю.А., Марченко К.К. 1991. Северное Причерноморье в скифскую эпоху. Опыт периодизации истории // СА — 1.

Виноградов Ю.А., Марченко К.К., Рогов Е.Я. 1997. Сарматы и гибель «Великой» Скифии // ВДИ — 3.

Виноградов Ю.Г. 1980. Перстень царя Скила. Политическая и династическая история скифов первой половины V в. до н.э. // СА — 3.

Виноградов Ю.Г. 1981. Варвары в просопографии Ольвии в VI-V вв. до н.э. // Демографическая ситуация в Причерноморье в период Великой греческой колонизации. Тбилиси.

Виноградов Ю.Г. 1983. Полис в Северном Причерноморье // Античная Греция. М.

Виноградов Ю.Г. 1989. Политическая история Ольвийского полиса VII-I вв. до н.э. Историко-эпиграфическое исследование. М.

Гайдукевич В.Ф. 1949. Боспорское царство. М.-Л.

Гайдукевич В.Ф. 1955. История античных государств Северного Причерноморья // АГСП. М.-Л.

Гайдукевич В.Ф. 1959. Боспор и скифы // Проблемы истории Северного Причерноморья в античную эпоху. М.

Гайдукевич В.Ф., Капошина С.И. 1951. К вопросу о местных элементах в культуре античных городов Северного Причерноморья // СА — XV.

Голубцова Е.С., Кошеленко Г.А. 1980. Взаимодействие греческого и местного элементов в Причерноморье // XV МКИН. М.

Граков Б.Н. 1947 а. Термин «Σκὺθαι» и его производные в надписях Северного Причерноморья // КСИИМК — XVI.

Граков Б.Н. 1947 б. Чи мала Ольвия торговельні зносини з Поволжям і Приуралля в архаічну та класичну эпохи? // Археологія — 1.

Граков Б.Н. 1947 в. Скіфи. Київ.

Граков Б.Н. 1954. Каменское городище на Днепре // МИА — 36.

Граков Б.Н. 1959. Греческое граффито из Немировского городища // СА — 1.

Доманский Я.В. 1955. Нижнее Побужье в VII-V вв.до н.э.: Автореф. дис. ... канд. ист. наук. Л.

Доманский Я.В. 1961. Из истории населения Нижнего Побужья в VII-V вв.до н.э. // АСГЭ — 2.

Доманский Я.В. 1965. О начальном периоде существования греческих городов Северного Причерноморья // АСГЭ — 7.

Доманский Я.В. 1970. Заметки о характере торговых связей городов с туземным миром Северного Причерноморья в VII в.до н.э. // АСГЭ — 12.

Доманский Я.В. 1972. О характере ранних миграционных движений в античном мире // АСГЭ — 14.

Доманский Я.В. 1979. О характере греческой колонизации и послеколонизационном периоде в Северном Причерноморье // Проблемы греческой колонизации Северного и Восточного Причерноморья. Тбилиси.

Доманский Я.В. 1981. Ольвия и варвары в V в.до н.э. // Демографическая ситуация в Причерноморье в период Великой греческой колонизации . Тбилиси.

Доманский Я.В. 1985. Ольвия и Скифия в раннеэллинистическое время // Причерноморье в эпоху эллинизма. Тбилиси.

Жебелев С.А. Счастливые города // ИГАИМК — 100.

Жебелев С.А. 1953. Северное Причерноморье. М.-Л.

Зуц В.Л. 1965. До питання про утворення Ольвійськоі держави // Археологія — XIX..

Иессен А.А. 1947. Греческая колонизация Северного Причерноморья. Л.

Каллистов Д.П. 1949. Очерки по истории Северного Причерноморья античной эпохи. Л.

Каллистов Д.П. 1952. Северное Причерноморье в античную эпоху. М.

Капошина С.И. 1933. Оборонительные сооружения Ольвии как исторический источник // ИГАИМК — 100.

Капошина С.И. 1937. Проблема состава населения Ольвии по материалам архаического некрополя: Тез. канд. дис. Л.

Капошина С.И. 1941. Скорченные погребения Ольвии и Херсонеса // СА -VII.

Капошина С.И. 1946. Пленум ЛОИИМК, посвященный Северному Причерноморью // ВДИ — 3.

Капошина С.И. 1950 а. Памятники звериного стиля из Ольвии // КСИИМК — XXXIV.

Капошина С.И. 1950 б. Погребения скифского типа из Ольвии // СА — XIII.

Капошина С.И. 1956 а. О скифских элементах в культуре Ольвии // МИА — 50.

Капошина С.И. 1956 б. Из истории греческой колонизации Нижнего Побужья // МИА — 50.

Капошина С.И. 1959. Ранние этапы греческой колонизации Нижнего Побужья // Проблемы истории Северного Причерноморья в античную эпоху. М.

Карышковский П.О. 1984. Новые материалы о монетах Эминака // Ранний железный век Северо-Западного Причерноморья. Киев.
Карышковский П.О. 1987. Монеты скифского царя Скила // Киммерийцы и скифы: Тез. докл. семинара — Ч.1. Кировоград.
Кастанаян Е.Г. 1981 Лепная керамика Боспорских городов. Л.
Книпович Т.Н. 1934. К вопросу о торговых отношениях греков с областью реки Танаис в VII-V вв.до н.э. // ИГАИМК — 104.
Книпович Т.Н. 1940 а. Керамика местного производства из раскопа «И» // Ольвия — Т.1. Киев.
Книпович Т.Н. 1940 б. Некрополь северо-западной части Ольвийского городища // СА -VI.
Книпович Т.Н. 1955. Основные линии развития искусства городов Северного Причерноморья в античную эпоху // АГСП.
Книпович Т.Н. 1956. Население Ольвии в VI-I вв.до н.э. по данным эпиграфических источников // МИА — 50.
Козловская В.И. 1984. Греческая колонизация Западного Средиземноморья в современной зарубежной историографии. М.
Козуб Ю.И. 1960. Погребальный обряд ольвийского некрополя V-IV вв.до н.э. // ЗОАО — 1 (34).
Козуб Ю.І. 1962.Поховальні споруди ольвійського некрополя V-IV ст.до н.е. // АП УРСР — XI.
Копейкина Л.В. 1981. Элементы местного характера в культуре Березанского поселения архаического периода // Демографическая ситуация в Причерноморье в период Великой греческой колонизации. Тбилиси.
Крижицкий С.Д., Буйських С.Б. 1988. Структура архаічного поселення Нижнього Побужжя // Археологія — 63.
Крижыцкий СД, Буйских С.Б., Бураков А.В., Отрешко В.М. 1989 Сельская округа Ольвии. Киев.
Крыжицкий С.Д., Бураков А.В., Буйских С.Б., Отрешко В.М., Рубан В.В. 1980. К истории Ольвийской сельской округи // Исследования по античной археологии Северного Причерноморья. Киев.
Крыжицкий С.Д., Отрешко В.М. 1986. К проблеме формирования Ольвийского полиса // Ольвия и ее округа. Киев.
Кругликова И.Т. 1954. О местной керамике Пантикапея и ее значении для изучения состава населения этого города // МИА — 33.
Кругликова И.Т. 1959. Сельская территория Боспора // Проблемы истории Северного Причерноморья в античную эпоху. М.
Кругликова И.Т. 1975. Сельское хозяйство Боспора. М.
Лапин В.В. 1963. Экономическая характеристика Березанского поселения // Античный город. М.
Лапин В.В. 1966. Греческая колонизация Северного Причерноморья. Киев.
Лапин В.В. 1975. Проблемы генезиса античной северопричерноморской цивилизации // 150 лет Одесскому археологическому музею АН УССР: Тез. докл. юбил. конф. Киев.
Лапин В.В. 1988. Березань и проблемы генезиса античной северопричерноморской цивилизации. Киев. // Научный архив ИА АН Украины. ф.24. № 1.
Лаппо-Данилевский А.С. 1887. Скифские древности // ЗОРСО — IV.
Латышев В.В. 1887. Исследованияе об истории и государственном строе города Ольвии. СПб.
Лейпунская Н.А. 1979. О роли торгово-ремесленных отношений в экономике Ольвии второй половины VI в.до н.э. // Проблемы греческой колонизации Северного и Восточного Причерноморья. Тбилиси.
Лейпунская Н.А. 1981. Экономические основы взаимоотношений Ольвии с местными племенами Северного Причерноморья // Демографическая ситуация в Причерноморье в период Великой греческой колонизации. Тбилиси.
Ленцман Я.А. 1952. Сессия Отделения истории и философии и Крымского филиала АН СССР по истории Крыма // ВДИ — 4.
Марр Н.Я. 1925. Ольвия и Альба Лонга // Изв. АН СССР.
Марр Н.Я. 1926. Лингвистически намечаемые эпохи развития человека и их увязка с историей материальной культуры // СГАИМК — 1.
Марр Н.Я. 1933. Избранные работы. Т.1. М.-Л.
Марр Н.Я. 1934. Избранные работы. Т.3. М.-Л.
Марр Н.Я. 1935. Избранные работы. Т.5. М.
Марченко К.К. 1988. Варвары в составе населения Березани и Ольвии во второй половине VII-первой половине I вв.до н.э. Л.
Марченко К.К. 1991. Греки и варвары Северо-Западного Причерноморья VII-I вв.до н.э. (Проблемы, контакты , взаимодействия): Автореф. дис. ... док. ист. наук. Л.
Масленников А.А. 1981. Население Боспорского государства в VII-II вв.до н.э. М.
Масленников А.А. 1998. Эллинская хора на краю Ойкумены. Сельская территория европейского Боспора в античную эпоху. М.
Мелюкова А.И. 1979. Скифия и фракийский мир. М.
Нудельман Д.И. 1946. Древнегреческое поселение в Северном Причерноморье // Уч. зап. МГПИ — XXXVII. Вып.3.
Онайко Н.А. 1960. Античный импорт на территории Среднего Поднепровья (VII-V вв.до н.э.) // СА — 2.
Онайко Н.А. 1966. Античный импорт в Приднепровье и Побужье в VII-V вв.до н.э. // САИ — Д1-27.
Онайко Н.А. 1970. Античный импорт в Приднепровье и Побужье в IV-II вв.до н.э. // САИ — Д1-27.
Островерхов А.С. 1978. Экономические связи Ольвии, Березани и Ягорлыцкого поселения со Скифией (VII-середина V вв. до н.э.): Автореф. дис. ... канд. ист. наук. Киев.
Островерхов А.С. 1980. Этапы и характер греко-скифских экономических связей в Поднепровье и Побужье // Исследования по античной археологии Юго-Запада Украинской ССР. Киев.
Островерхов А.С. 1981. Ольвия и торговые пути Скифии // Древности Северо-Западного Причерноморья. Киев.
Отрешко В.М. 1981. Каллипиды, алазоны и поселения Нижнего Побужья // СА — 1.
Отрешко В.М. 1990. Ольвийская хора VI-V вв.до н.э.: Автореф. дис. ... канд. ист. наук. Киев.
Охотников С.Б. 1984. О характере греко-варварских взаимоотношений в Нижнем Поднестровье в VI-V вв.до н.э. // Ранний железный век Северо-Западного Причерноморья. Киев.
Охотников С.Б. 1987. Сельские поселения Нижнего Поднестровья в VI-V вв.до н.э.: Автореф. дис. ... канд. ист. наук. Киев.
Охотников С.Б. 1990. Нижнее Поднестровье в VI-V вв.до н.э. Киев.
Прушевская Е.О. 1955. Художественная обработка металла (торевтика) // АГСП. М.-Л.
Пятышева Н.В. 1959. Рец. на кн.: Ольвия и Нижнее Побужье в античную эпоху. МИА. 1956. № 50. //

СА — 3.
Ростовцев М.И. 1912. Боспорское царство и южнорусские курганы // ВЕ.
Ростовцев М.И. 1913. Рец. на кн.: Ellis H. Minns. Scythians and Greeks. Cambridge. 1913. // ЖМНП.
Ростовцев М.И. 1918. Эллинство и иранство на юге России. Пг.
Ростовцев М.И. 1925. Скифия и Боспор. Л.
Русяева А.С., Скржинская М.В. 1979. Ольвийский полис и каллипиды // ВДИ — 4.
Скуднова В.М. 1954. Скифские памятники из Нимфея // СА — XXI.
Скуднова В.М. 1960. Погребения с оружием из архаического некрополя Ольвии // ЗОАО — 1 (34).
Скуднова В.М. 1962. Скифские зеркала из архаического некрополя Ольвии // ТГЭ — III.
Славін Л.М. 1938. Ольвия. Київ.
Славін Л.М. 1954. До питання про ольвійсько-скіфські відносини // ІЗКДУ — 13. Вып.10. № 5.
Славін Л.М. 1956. Древньогрецьке поселення на острові Березань // ІЗКДУ — 16. Вып.6. № 7.
Славин Л.М. 1959. Периодизация исторического развития Ольвии // Проблемы истории Северного Причерноморья в античную эпоху. М.
Сокольский Н.И. 1961 а. Взаимоотношения античных государств и племен Северного Причерноморья // DAWSA -23.
Сокольский Н.И. 1961 б. Античный город // ВДИ — 2.
Сокольский Н.И., Шелов Д.Б. 1959. Историческая роль античных государств Северного Причерноморья // Проблемы истории Северного Причерноморья в античную эпоху. М.
Соловьев С.Л. 1989. Строительные комплексы архаической Березани (анализ архитектурно-строительных традиций): Автореф. дис. ... канд. ист. наук. Л.
Соловьев С.Л. 1995 а. Новые данные о типологии жилищ Березанского поселения в классическую эпоху // РА — 1.
Соловьев С.Л. 1995 б. Лепная керамика с резным геометрическим орнаментом Березанского поселения // АСГЭ — 32.
Тереножкин А.И. 1965. Основы хронологии предскифского периода // СА — 2.
Толстиков В.П. 1984. К проблеме образования Боспорского государства (Опыт реконструкции военно-политической ситуации на Боспоре в конце VI-первой половине V в.до н.э.) // ВДИ — 3.
Фармаковский Б.В. 1914. Архаический период в России // МАР. Пг.
Фурманская А.И. 1953. Меднолитейное ремесло в Ольвии: Автореф. дис. ... канд. ист. наук. Киев.
Фурманьска А.І.1963. Бронзоливарне ремесло в Ольвіі // Археологія — XV.
Шафранская Н.В. 1951. К вопросу о кризисе Ольвии в III в.до н.э. // ВДИ — 3.
Шафранская Н.В. 1956. О миксэллинах // ВДИ — 3.
Шелов Д.Б. 1950. К вопросу о взаимодействии греческих и местных культов в Северном Причерноморье // КСИИМК — 34.
Шелов Д.Б. 1956. Античный мир в Северном Причерноморье. М.
Шелов Д.Б. 1967. Западное и Северное Причерноморье в античную эпоху // Античное общество. М.
Шелов-Коведяев Ф.В. 1985. История Боспора в VI-IV вв.до н.э. // Древнейшие государства на территории СССР . М.
Штительман Ф.М. 1954. Городища, поселения и могильники Бугского лимана VII-II вв.до н.э. // КСИА — 3.
Штительман Ф.М. 1956. Поселения античного периода на побережье Бугского лимана // МИА — 50.
Штерн Э.Р. 1900. Значение керамических находок на юге России для выяснения культурной истории Черноморской колонизации // ЗООИД — XXII.
Щеглов А.Н. 1985. О греко-варварских взаимодействиях на периферии эллинистического мира // Причерноморье в эпоху эллинизма. Тбилиси.
Щеглов А.Н. 1990. Северопонтийская торговля хлебом во второй половине VII-V вв.до н.э. Письменные источники и археология // Причерномрье в VII-V вв.до н.э. Письменные источники и археология. Тбилиси.
Юргевич В.Н. 1872. О именах иностранных на надписях Ольвии, Боспора и других греческих городов Северного побережья Понта Евксинского // ЗООИД — VIII.
Яйленко В.П.1983. Архаическая Греция // Античная Греция — Т.1. М.
Яйленко В.П. 1990. Архаическая Греция и Ближний Восток.М.
Яковенко Э.В. 1985. Скифы на Боспоре: Автореф. дис. ... док. ист. наук. М.
Burchner L. 1885. Die Besiedlung der Kusten des Pontes Euxeinos durch die Milesier. Kemton.
Lepore E. 1968 (1970). Per una fenomenologia storica del rapporto citta-territorio in Magna Crecia // La citta e il suo territorio. Napoli.
Minns E.H. 1913. Scythians and Greeks. Cambridge.
Neumman K. 1855. Die Hellenen im Skythenlande — 1. Berlin.
Rostovzew M. 1993. Skythien und der Bosporus — II. Stuttgart.
Vallet G. 1973. La colonisation grecque en Occident // Докл. XIII МКИН 1 — 3.
Vinogradov Y.G. Pontische Studien. Mainz.

Тункина И.В.

К ИСТОРИИ ИЗУЧЕНИЯ АНТИЧНЫХ ПАМЯТНИКОВ ЗАПАДНОГО ПРИЧЕРНОМОРЬЯ В 1828-1829 ГГ.

Tunkina I.V. To the history of studying of antique monuments of Western Black Sea region in 1828-29 years.

The article is dedicated to the activity of Teplyakov V.G. By the order of the Russian government he was in search of classic antiquities in the area of actions of Russian army on the Balcans in the time of Russian-Turkish war of 1828-29. Thanks to his efforts and to the efforts of other researchers a certain number of ancient monuments was taken out to Russia and was introduced into the scientific usage.

Во время русско-турецкой войны 1828-1829 гг. на Дунай была отправлена 95-тысячная армия фельдмаршала П. Х. Витгенштейна с задачей взять Молдову, Валахию, Добруджу, овладеть Шумлой и Варной. В течение 1828 г. русские войска заняли Дунайские княжества и блокировали многие крепости за Дунаем, овладели Варной, а в 1829 г. Силистрией и Адрианополем. В начале второго года войны командующий П. Х. Витгенштейн был сменен графом И. И. Дибичем.

Военные действия были использованы русским правительством для поиска античных древностей. По согласованию с директором Одесского городского музея древностей И. П. Бларамбергом генерал-губернатор Новороссийского края и Бессарабской области граф М. С. Воронцов поручил отставному поручику Павлоградского гусарского полка В. Г. Теплякову отправиться в Варну и другие завоеванные места для «разыскания к открытию разных памятников древности».

Виктор Григорьевич Тепляков (1805-1842),[1] известный в свое время поэт пушкинского круга, своим знакомством с И. П. Бларамбергом был обязан командировкой в Болгарию и Румелию. В марте 1829 г. Тепляков начал энергично готовиться к выполнению поручения, в течение пяти дней проводя долгие беседы с директором Одесского музея, которые, однако, «возбуждали его внутреннюю усмешку», читал французский перевод Страбона (Бруханский 1963: 314). Однако позднее он сам с иронией признавался, что «импровизированный антиквари» покинул Одессу, «будучи столь безусловно чужд точных и основательных сведений о странах, в коих почти каждый шаг освещен каким-нибудь славным историческим событием» (Тепляков 1833: 3).

Бларамберг снабдил его инструкцией, в которой советовал по прибытии в Варну запросить у военного губернатора Румелии генерал-адъютанта Е. А. Головина сведения о возможности приобретения древних монет у частных лиц и попросить «смышленого и знающего страну» проводника. «Так как изыскание барельефов и

[1] В. Г. Тепляков — уроженец Твери, первоначальное образование получил дома, затем в благородном пансионе при Московском университете. В 1820 г. поступил юнкером в Павлоградский гусарский полк. Друг А. С. Пушкина П. П. Каверин ввел его в масонскую ложу. В 1824 г. (по другим данным, в марте 1825 г.) оставил службу и переехал в Петербург, где познакомился с членами Северного общества декабристов. За уклонение от присяги Николаю I он был обвинен в политической неблагонадежности, после подавления восстания арестован и заключен в Петропавловскую крепость, где заболел и был отправлен в военный госпиталь. По распоряжению императора его перевели в Александро-Невскую лавру на церковное покаяние. В конце 1826 г. обратился к Николаю I с прошением о переводе из лавры и о разрешении переселиться на юг в связи с плохим состоянием здоровья. Местом жительства под надзором полиции ему был определен Херсон, куда его перевезли под конвоем жандармов. Здесь Теплякова дважды ограбили, ранили, после чего он обратился с покаянным письмом к императору. Николай I простил его, приказал возвратить Теплякову права, принять на государственную службу и прислал 2 тыс. рублей. Виктор Григорьевич был определен в Таганрогскую таможню, но прослужил там недолго: с 1827 г. (по другим данным, с 1829 г.) по 1835 г. состоял в штате канцелярии Новороссийского и Бессарабского генерал-губернатора графа М. С. Воронцова в Одессе как чиновник по особым поручениям. В 1828 г. вместе с семьей своего московского знакомого Г. А. Римского-Корсакова путешествовал по Кавказу. В 1829 г. отправлен на Балканы для архео-

© Тункина Л.В., 1999.

других мраморных античных фрагментов, а главное остатков греческих и... латинских надписей представляет не меньший интерес, чем предметы, относящиеся к нумизматике, — писал И. П. Бларамберг в инструкции, — г. Тепляков, познакомившись с кем-нибудь из офицеров флота, приобрел бы более возможности открыть остатки древностей, найденные во время последней кампании, так же как и их употребление, будь то в стенах крепостей, или по другую сторону. Необходимо сделать последовательные розыски в домах, церквях и в хижинах жителей, с целью найти какие-либо медали для покупки, или какие-либо мраморные фрагменты, вделанные в стены упомянутых построек и жилищ. То, что будет возможно приобрести, можно будет переправить морем, а остальное скопировать так точно, как возможно, в соответствии с наставлениями, которые я имел честь устно сообщить г-ну Теплякову, касающиеся точных измерений промежутков между стертыми буквами, как это встречается в античных надписях. Указание места, где находятся эти фрагменты, является необходимым пунктом в сообщениях г-на Теплякова, которые будут представлены в конце его поездки».

И. П. Бларамберг просил В. Г. Теплякова не покупать монеты с латинскими надписями (позднеримские серебряные денарии, медь римских императоров) и уделить особое внимание поиску монет автономной чеканки и императорских — за медные платить в пределах от 2 до 5 руб., за серебряные от 5 до 10 руб., за «медальон Одиссос» от 50 до 75 руб. (РО ИРЛИ 9201: 3-3 об.; Шидловский 1896: 441-443).

В. Г. Теплякову выделили 1 тыс. руб., и 20 марта он отправился в путь с заданием посетить Варну, Анхиал, Созополь и Месемврию. Проплывая на корабле близ мыса Калиакрия, путешественник вспоминает рассказ главного командира Черноморского флота и портов адмирала А. С. Грейга об остатках древности, сохранившихся на вершине мыса. Две найденные там греческие надписи на мраморе по приказу Грейга были доставлены в Кабинет редкостей Черноморского депо карт в Николаеве и позднее попали в собрание Одесского общества истории и древностей. 27 марта 1829 г. Тепляков прибыл в Варну (Тепляков 1833: 23). Для достижения успеха своей миссии он стал искать содействия высших военных чинов русской армии. Путешественник начал покупку античных монет у купцов, цены на которые порой доходили до 800-1000 левов за экземпляр. Наиболее часто встречались серебряные монеты чекана Истрии. Стены крепости в Варне по приказу военных властей были укреплены «обломками мраморных карнизов, великолепных капителей и резных других украшений изящного греческого зодчества». Законы войны и законы науки оказались противоположны. «Война не наперстница археологии», — цитирует Тепляков высказывание генерала Е. А. Головина (Тепляков 1833: 28).

Местные жители суеверно верили в магическую силу «писаных камней» (эпиграфических памятников), хранили их как талисманы от несчастий и с неохотой расставались с ними (Тепляков 1833: 60-61). Несмотря на противодействие, Тепляков все же сумел собрать и отправить в Одессу первую партию древностей — «9 или 10 кусков мрамора с разными изображениями», прибывшую в пункт назначения 12 апреля (ИР ЦНБ V, 1224-1516. Л. 287, 288-289 об., 302, 313; ОВ 1829: 123). И. П. Бларамберг немедленно поставил об этом в известность М. С. Воронцова (РСА СПбФ ИРИ. Ф. 36. Оп. 2. Д. 253. Л. 13) и приступил к изучению лапидарных памятников (ИР ЦНБ. V, 1224-1516. Л. 315). М. С. Воронцов был доволен результатами поисков В. Г. Теплякова и, вдохновленный быстрым успехом, возложил аналогичное задание на чиновников Гнедича и Соколовского, находившихся в Кюстендже (ныне Констанца, Румыния) (ИР ЦНБ. V, 1224-1516. Л. 316-316 об.).

Первые письма В. Г. Теплякова к брату красноречиво свидетельствуют, что воображение поэта целиком было занято картинами классической древности (Тепляков 1830). В инструкции И. П. Бларамберга ему поручалось обратить особое внимание на местности Варны (древний Одессос), Мангалии (Каллатии) и Кюстендже (Томы), где антикварии того времени локализовали легендарную гробницу Овидия. В одном из писем к директору Одесского музея Виктор Григорьевич выразил сомнение, сумеет ли он добраться до Кюстендже. Бларамберг же настойчиво советовал не пренебрегать возможностью открыть гробницу автора «Науки люб-

логических исследований. Живя в Одессе, являлся одним из деятельных сотрудников «Одесского вестника», печатался в «Одесском альманахе». Со времени путешествия по Болгарии стал заниматься изучением Востока, выучил турецкий язык. В 1834 г. командирован в Константинополь и Смирну, в октябре 1834 — апреле 1835 г. предпринял научное путешествие в Константинополь, Грецию и Малую Азию. В 1835 г. уехал из Одессы в Петербург хлопотать о переводе на службу при русском посольстве в Константинополе, сблизился с ведущими русскими литераторами. Как чиновник МИД состоял при русской миссии в Константинополе, в 1837 г. в качестве дипломатического курьера ездил в Афины, в начале 1838 г. отправился в путешествие по Египту, Сирии и Палестине. Вернувшись, просил перевода в одно из западноевропейских посольств, но получил отказ и вышел в отставку. В мае 1840 г. за собственный счет посетил Западную Европу (Франция, Швейцария, Италия). Из-за многочисленных путешествий получил прозвище «Мельмот-Скиталец». В 1842 г. скончался «от удара» в Париже. О нем см.: Бычков 1877; Шидловский 1896: 178; Л[ернер] 1912; Вацуро 1983; Черейский 1989; Булатович 1997:17-23.

ви». «Если эти соображения не проникнут до глубины вашего сердца, — писал он Теплякову, — мне остается только сожалеть, что вы были так близко к цели, не достигнув ее» (Шидловский 1896. № 3: 443-444).

В июне 1829 г. В. Г. Тепляков переправил в Одессу еще 10 кусков мрамора с греческими надписями, найденными в Варне и Созополе. «Кроме того, успел я открыть в сем последнем городе древнюю могилу, как по двум находившимся в ней урнам заключать должно. Разные же другие следы и остатки древности, замеченные мною в Созополе, требуют особого описания, которое вместе с отчетом о путешествии своем в Гебеджи, Девно и Проводы буду иметь честь представить в свое время лично Вашему Сиятельству», — докладывал он М. С. Воронцову (ИР ЦНБ. V, 1224-1516. Л.334).

Русские офицеры, оказавшиеся на Балканах, также обращали внимание на древности, приобретали их для собственных коллекций. Тепляков пишет, что командир 38 егерского полка при строительстве укреплений в Девно обнаружил огромное число монет, большая часть которых была отправлена бригадному командиру, остатки розданы офицерам и отправлены к жене полковника в его имение (Тепляков 1833: 128). Генерал Понсе скупал монеты и платил дороже Теплякова, поручик 19 егерского полка Должиков приобрел 171 античную монету и представил свое собрание Воронцову, за что был поощрен 500 руб. ассигнациями. Главнокомандующий Второй армией И. И. Дибич-Забалканский даже предложил Новороссийскому генерал-губернатору откомандировать еще одного человека для поиска древностей. В августе на главную квартиру русских войск был отправлен сын И. П. Бларамберга, Михаил, получивший 1 тыс. руб. на покупку памятников и привезший из Адрианополя 26 монет, которые также поступили в Одесский городской музей древностей (ИР ЦНБ. V, 1224-1516. Л.347, 360, 415).

Вернувшись из поездки, 2 сентября 1829 г. В. Г. Тепляков представил М. С. Воронцову опись древностей, «с коих сняты копии, по невозможности обогатиться подлинниками» — 13 памятников, найденных им в Анхиало и Месембрии. Среди них великолепный мраморный саркофаг из Анхиало, четыре мраморных фрагмента с надписями и барельефами и т. п. (ИР ЦНБ. V, 1224-1516. Л. 367-368 об.; Album [1834] Livr. 1. Pl. 47). Всего за время путешествия В. Г. Тепляков собрал 36 мраморов с надписями и барельефами, 89 монет (из них более 50 древнегреческих), две вазы, найденные в Созополе, небольшую бронзовую статую «амура» и мраморный женский бюст, купленные в Анхиало. Им были срисованы виды некоторых мест и составлена карта Фаросского залива. Почти все приобретенные памятники поступили в Одесский городской музей древностей (Тепляков 1829; 1833: VIII; Шидловский 1896: 659-660). Вскоре М. С. Воронцов добился у царя разрешения для Теплякова остаться в Одессе.

С. А. Булатович недавно попыталась выделить в фондах Одесского археологического музея Национальной Академии наук Украины греческие монеты, приобретенные В. Г. Тепляковым. По ее мнению, это небольшая группа крупных серебряных тетрадрахм, выпущенных западнопонтийскими городами в подражание монетам Александра Македонского и фракийского царя Лисимаха (Булатович 1997: 21). Надписи, привезенные В. Г. Тепляковым в Одессу, впоследствии частично оказались депаспортизованы, но их происхождение легко восстанавливается по сохранившимся в архивах рисункам с аннотациями Бларамберга (РСА СПбФ ИРИ. Ф. 36. Оп. 1. Д. 779. Л. 8; Оп. 2. Д. 253. Л. 13-16-IPE, I2,333-336-IGBulg, I2, 476-479 и др.). Многие надписи были изданы В. В. Латышевым шестьдесят лет спустя с ошибочными указаниями на места их находок (Latischew 1884-1885), в наши дни они переизданы в корпусе греческих надписей Болгарии Г. Михайлова также с неверными паспортными данными (Mihailov 1970). Эту тему мы затронем в самостоятельном исследовании.

На наш взгляд, не следует преувеличивать научное значение путешествия В. Г. Теплякова, т. к. специальными знаниями он не обладал и, судя по тексту книги, древнегреческого языка не знал, а латынью владел слабо (РО ИРЛИ. № 9276/1. Л. 10.). Основной итог его путешествия скорее литературный, чем археологический — знаменитые «Фракийские элегии», получившие благожелательный отзыв А. С. Пушкина, и прозаические «Письма из Болгарии», которые он сам охарактеризовал как «очерки впечатлений, возбужденных в его сердце ярким разнообразием предметов», как «поэтические воспоминания перед грудами вековых развалин» (Тепляков 1833: III). Касаясь вопроса о локализации древних Том, «импровизированный антикварий» ссылается на античных авторов — Страбона, Аполлодора, Помпония Мелу и Овидия, разбирает гипотезы современных ему иностранных ученых (Тепляков 1833: 12-18; 1836. Т. 2: 11—21, 85-87), однако все его размышления носят компилятивный, вторичный характер. В этом он признавался сам: «Я вменяю себе между прочим в обязанность объявить, что ученое руководство г. Бларамберга, почтенного моего вожатая в деле археологии, есть главнейший источник предлагаемой компиляции» (Тепляков 1833: 45). Вывезенные из Болгарии древности он призывал изучить «почтенным адептам археологии», «что же касается до меня, то смиренный профан может только пожелать сим господам счастливых успехов в их ученых трудах...» (Тепляков 1833: 52). Главным информатором Теплякова в вопросах античной истории и археологической топографии Западного Причерноморья являлся И. П. Бларамберг. Бесстрастная

позиция ученого была чужда Теплякову-поэту, любознательному, пытливому, но слишком восторженному человеку. Этим, вероятно, и объясняются его археологические ошибки, подмеченные А. А. Формозовым (Формозов 1977: 158). Результат игры природы — Гебеджинские «развалины» — он принял за сооружение рук человеческих, безуспешно пытаясь откопать основание одной из «колонн». «Совершенное отсутствие капителей, правильных карнизов и разных других украшений зодчества уничтожает, по крайней мере для меня, всякую возможность рассуждать об архитектурном ордене, по коему бы можно было загадывать о начале сих исполинских развалин», — писал поэт (Тепляков 1833: 107).

Спустя почти 10 лет, в путевом дневнике по Сирии и Египту, В. Г. Тепляков с раздражением напишет о себе: «... Чума и варварство, лишения и развалины Малой Азии и Греции до того мне наскучили, что право нет [большей] охоты тащиться за тридевять земель на знакомство с новой чумой, с новым варварством,... с новыми развалинами. И на какой ... вся эта возня и скитания? Я не химик, я не ботаник, я не археолог и, надеюсь, не сентиментальный шарлатан с пошлым энтузиазмом и пустоцветами, ради почтеннейшей публики, фразами» (РО ИРЛИ. № 9274/2. Л. 4-4 об.).

К поиску древностей в завоеванных областях подключились и петербургские антикварии. 25 июля 1829 г. главнокомандующий Второй армией генерал-адъютант граф И. И. Дибич-Забалканский обратился к управляющему Главным штабом графу А. И. Чернышеву с просьбой прислать «сведующего по части древностей... человека, который мог бы исследовать, описать или даже вывести находящиеся ныне в нашем владении памятники». Император Николай I одобрил идею и командировал на место боевых действий библиотекаря Эрмитажной библиотеки Карла Седжера,[2] академика живописи А. О. Дезарно[3] и унтер-офицера Нозерева, ассигновав на расходы 1500 червонцев серебром. В обязанности К. Седжера входили: 1) поиск и подробное описание различных предметов искусств и древностей, снятие рисунков с тех из них, перевозка которых в Россию была бы затруднительна или невозможна; 2) собирание древнего оружия и медалей (монет) для арсеналов и личных коллекций императорской семьи, а также сбор рукописей, книг и других «любопытных» предметов; 3) составление рисунков достопримечательных мест и исторических памятников с подробным их описанием (РГВИА. Ф. 35. Оп. 3/246. Св. 332. Д. 2843. Л. 1-9).

При содействии М. С. Воронцова столичная экспедиция была отправлена морем из Одессы на место дислокации русских войск, где она подчинялась непосредственно главнокомандующему. Участник событий, известный военный историк А. И. Михайловский-Данилевский в сентябре 1829 г. записал в своем дневнике: «Появление Седжера в нашей главной квартире с подобным поручением было для меня радостно, ибо такового рода поручение есть конечно первое в российской армии. Где не бывали наши войска? Но для ученого света от беспрерывных войн наших не произошло никакой выгоды. Теперь впервые мы являемся на поприще [науки и искусства]; не спорю, успех не будет блистательным, но мы скажем в извинении, что это нам первый опыт. И при сем обстоятельстве виден ход просвещения нашего века. Давно ли были войны Александровы? Но тогда не находилось с нами художников» (ОР РНБ. Ф. 488. Оп. 1. Д. 25. Л. 110 об.-111 об.).

Спустя семь дней после приезда Седжера и Дезарно война закончилась подписанием Адрианопольского мирного договора с Турцией. Успехи экспедиции были бы не велики, но помог случай. Через посредство бывшего секретаря М. С. Воронцова А. И. Левшина Новороссийский генерал-губернатор поручил одесскому купцу, греку Константину Коккиносу, отправлявшемуся в Месембрию по торговым делам, заняться поиском древностей. Свои донесения с описанием памятников и рисунками купец отправил А. И. Левшину и военному губернатору Румелии генерал-адъютанту Е. А. Головину. Представители военной администрации познакомили К. Коккиноса с К. Седжером. Помимо монет, из Месембрии были доставлены мраморные барельефы, постаменты статуй, 4 псефизмы и ряд других надписей. За содействие в приобретении древностей К. Коккинос был награжден бриллиантовым перстнем из Кабинета императора (РГВИА. Ф. 35. Оп. 2/243. Св. 98. Д. 1361. Л. 1-8).

В Эрмитаж поступили античные монеты, купленные К. Седжером в Бургасе и Адрианополе, а также перечисленные выше памятники из Месембрии (АГЭ. Ф. 1. Оп. 1-1829. Д. 14,15,17; Ф. 1. Оп. 1-1830. Д. 4). По приказу Николая I Академии художеств были «пожалованы» двадцать два мрамора, «взятых по праву войны» в «Демотике, Неолохосе, Айдосе, Месембрии и Ахи-

[2] Седжер Карл Иванович (Sagger Charles, 1777-1840), управляющий библиотекой Имп. Эрмитажа (1837-1840). Начал карьеру в России в качестве придворного учителя английского языка, затем служил библиотекарем при царскосельских библиотеках и библиотекарем Имп. Эрмитажа.

[3] Дезарно Август Осипович (Desarnod August Joseph, 1788-1840), французский художник-баталист и гравер. Ученик Гро. Участвовал в походе армии Наполеона 1812 г. на Россию, взят в плен. Живя в России, снова обратился к живописи. С 1815 г. назначенный в академики, в 1827 г. удостоен звания академика Академии художеств в Петербурге. В 1829-1830 гг. находился при войсках И. И. Дибича-Забалканского в Европейской Турции. Пользовался расположением императоров Александра I и Николая I, великого князя Михаила Павловича. См. о нем: Греков Вл. Дезарно Август Осипович // РБС. 1905. Т.: Дабелов-Дядьковский. С. 166-167.

оле». В отчете Академии за 1831 г. как самые «примечательные» отмечены лежащий Силен (Album [1834]: Livr. 1. Pl. 5), какая-то «потерпевшая» (то есть поврежденная) «небольшая фигура» и две капители (Отчет 1831: 15-16). Император Николай I предложил издать исследования Седжера с рисунками Дезарно в Лондоне или Париже «со всею возможною типографическою роскошью». Атлас вышел в Париже, вероятно, в 1834 г. (Album [1834]). В Отделе гравюр Государственного Эрмитажа хранится альбом с рисунками А. Дезарно, выполненными в Варне, Браиле и Балчике в 1828 г.

Болгарская исследовательница Живка Выжарова опубликовала значительное число документов из российских и болгарских архивов о собирании древностей в Болгарии во время русско-турецкой войны 1828-1829 гг., в том числе переписку о командировании Седжера и Дезарно, списки древностей, привезенные из Болгарии, а также выдержки из сочинения В. Г. Теплякова «Письма из Болгарии», из составленного полковником И. П. Липранди «Краткого извлечения из составляющегося исторического и географического описания болгарского царства в Мизии» и др., к которым мы и отсылаем заинтересованного читателя за более подробной информацией (Вьжарова I960: 37-98).

Несмотря на кратковременность пребывания в Болгарии и Румынии, русские исследователи вывезли в Россию и спасли от уничтожения определенное число античных памятников Западного Причерноморья. Этот материал сразу же стал вводиться в научный оборот. Анализируя надписи, привезенные В. Г. Тепляковым из Болгарии и Румелии, И. П. Бларамберг открыл существование пятисоюзия городов Западного Причерноморья — античных Том (ныне Констанца), Каллатиса (ныне Мангалия), Одессоса (ныне Варна), Месембрии (ныне Несебыр), Аполлонии (ныне Созополь) ([Соколов]: 103). Многие из лапидарных памятников, благодаря И. П. Бларамбергу, в списках стали известны основателю греческой эпиграфики Августу Бёку и вскоре вошли в знаменитый «Corpus inscriptiones Graecarum».

СПИСОК АРХИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

АГЭ. Ф. 1. Оп. 1-1829. Д. 14,15,17.

АГЭ. Ф.1. Оп. 1-1830. Д. 4.

ИР ЦНБ. V, 1224-1516.

ОР РНБ. Ф. 488. Оп. 1. Д. 25.

РГВИА. Ф. 35. Оп. 2/243. Св. 98. Д. 1361.

РГВИА. Ф. 35. Оп. 3/246. Св. 332. Д. 2843.

РО ИРЛИ. № 9201. LII6. 67.

РО ИРЛИ. № 9274/2.

РО ИРЛИ. №9276/1.

РСА СПбФ ИРИ. Ф. 36. Оп. 2. Д. 253. Л. 13.

Бруханский А. Н. 1963. «Письма из Болгарии» В. Г. Теплякова // Из истории русско-славянских литературных связей XIX в. С. 312-323. М.; Л.

Булатович С. А. 1997. К истории формирования фондов Одесского археологического музея: В. Г. Тепляков // ЗИФОГУ. Вып. 5. С. 17-23. Одесса.

Бычков Ф. А. 1877. Виктор Григорьевич Тепляков // ИВ. № 7. С. 5-23. СПб.

Вацуро В. Э. 1983. К биографии В. Г. Теплякова // Пушкин: Исследования и материалы. Т. 11. С. 192-212. Л.

Вьжарова Ж. Н. I960. Руските учени и българските старини: Изследване, материали и документи. София.

Л[ернер] Н. 1912. Тепляков Виктор Григорьевич // РБС. Т.: Суворова - Ткачев. С. 479-484. СПб.

0В. 1829. 20 апреля. № 31-32:123. Одесса

Отчет 1831. Отчет Императорской Академии художеств за 1831 год. СПб.

[Соколов Г. И.] 1836. Бларамберг Иван Павлович // Энциклопедический лексикон [Плюшара]. Т. 6: Бин-Бра. С, 102-103. СПб.

Тепляков В. Г. 1829. Отчет о разных памятниках древности, открытых и приобретенных в некоторых местах Болгарии и Румелии. Одесса.

Тепляков В. Г. 1830. Письмо русского путешественника из Варны // Литературная газета. 26 января. Т. 1. № 6: 41-43. СПб.

Тепляков В. Г. 1830. Письмо второе из Варны // Литературная газета. № 29: 227-232. СПб.

Тепляков В. Г. 1833. Письма из Болгарии (писаны во время кампании 1829 года). М.

Тепляков В. Г. 1836. Стихотворения. Т. 2. СПб.

Формозов А. А. 1977. Две страницы из истории формирования представлений о первобытном обществе в России // Природа. № 5:157-160.

Черейский Л. А. 1989. Тепляков В. Г. // Пушкин и его окружение: 431-432. Л.

Шидловский А. Ф. 1896. Из бумаг В. Г. Теплякова // РС. Т. 85: 177-189,425-447, 659-677. Т. 86:191-212. СПб.

Album [1834]. Album d'un voyage en Turquie fait par ordre de sa majestй l'Empereur ел 1829 et 1830 par C. Sayger et A. Desarnod. Livr. 1-8. 50 Pl. Paris.

Latischew B. 1884-1885. Die in Russland befindlichen griechischen Inschriften // MDAI AA. Bd. 9: 209-231; Bd. 10:113-130.

Пармакли С.И., Руссев Н.Д.

К ИСТОРИИ ИЗУЧЕНИЯ АНТИЧНЫХ ПАМЯТНИКОВ БЕССАРАБИИ

(по документам Императорского Одесского общества истории древностей)

Parmakli S.I., Russev N.D. To the history of studying of ancient monuments of Bessarabia (by the documents of the Imperial Society of history of antiquities of Odessa [ISHAO]).

The interest to the "classic antiquity", flared up in Russia of XVIII c. With the subjugation of the Northern coast of the Black Sea, for the first time was put onto scientific base after the foundation of the Imperial Society of history of antiquities of Odessa [ISHAO] (1839). It was first in its own way regional organization and in the course of eighty years it ensured close relations between people connected with antiquities – from occasional possessors to professional researchers. As a result finds from personal collections got into the field of vision of scientists and found their places on the pages of thirty volumes of Notes ISHAO. By the efforts of the society there was organized a scientific base of research of classic monuments in the south of the empire, while Odessa became the biggest center of Russian historical science.

Documents of archives, that are being stored today in different countries show that in accordance to the tastes of XIX c., predilections of ISHAO were concentrated around the discoveries of ancient time. There are revealed 2 main zones of appearance of relics of ancient Greek and Roman civilizations: Low Dniester area with Akkerman (Tyra) and the lower reaches of Danube, island Zmeinyi inclusive. Materials of ISHAO, related to an ancient monuments of Bessarabia, hide the information that is compared with that that is still in the ground.

In the concentrated from they contain the information not only about the finds of original things, but also about the intensive scientific activity of historic- archaeological intellectual circle of the whole South –West Russian empire of XIX – early XX c. The publication of the information from the archives is able to transmit a positive impulse to the modern collaboration for new searches and undertakings in the field of studying of monuments of the past.

Живой интерес к предметам старины, зародившийся в России XVIII в., особенно вырос в правление «просвещенной» императрицы Екатерины II. С покорением Тавриды и других районов причерноморского юга «классические древности» стали регулярно поступать в Петербург, Москву, многократно усилив пришедшее ранее с Запада поклонение перед античной культурой. В следующем столетии поначалу любительское собирательство памятников эллиноримской эпохи приобрело небывалый размах, дав первые ростки научного подхода к материальной культуре Древней Греции и Рима.

В 1839 г. в Одессе создается Общество истории древностей, которому в 1872 г. Александр II даровал «в воздаяние заслуг, оказанных отечественной науке», наименование Императорского (ИВ 1914: 555). Императорское Одесское общество истории древностей (далее ИООИД или Общество) было первой в своем роде организацией в причерноморском регионе. Его деятельностью на протяжении восьми десятков лет обеспечивалась тесная связь людей, имевших то или иное отношение к древностям, — от случайных обладателей ими до профессиональных исследователей. В результате всевозможные находки и раритеты из частных коллекций закономерно попадали в поле зрения ученых, публикации и выводы которых находили свое место на страницах объемистых «Записок ИООИД». Так усилиями Общества создавалась солидная научная база исследования памятников античной и средневековой эпох на юге империи, а Одесса становилась крупнейшим центром российской исторической науки.

В полном соответствии со вкусами XIX в., отвечавшими реальным археологическим возможностям края, включая и Бессарабию, пристрастия ИООИД концентрировались вокруг открытий материальных остатков античного времени. В этом легко убеждают публикации трех десятков томов «Записок», дающие одновременно и ясные представления для составления топографии бессарабских привязанностей Общества. Здесь выделяются две основные географические зоны происхождения реликтов древнегреческой и римской цивилизаций: Нижнее Поднестровье с Аккерманом и низовья Дуная, включая и известный своими античными реликтами остров Змеиный (=Фидониси, Левка). История изыскания памятников античности в каждой из них складывалось по-своему в связи

© Пармакли С.И., Руссев Н.Д., 1999.

с политической судьбой земель Дунайско-Днестровского района и положением в пространстве по отношению к местонахождению штаб-квартиры ИООИД.

Прочное пребывание приднестровских территорий под властью России с 1812 г., их относительная отдаленность от государственной границы империи на западе и сравнительная близость к Одессе при возможностях транспортных средств XIX — начала XX вв. имели большое значение в качестве объективных условий для полевых изысканий. Они были в этих местах сравнительно более плодотворными и систематическими.

Иной была ситуация в Придунавье. Кроме того, что Одесса отстояла более чем на 200 верст, район не раз оказывался вовлеченным в театр военных действий, а после бесславной Крымской кампании на два десятилетия был потерян российской короной. Разумеется, в условиях нестабильного существования, когда неоднократно изменялся политический статус края, а отчасти и состав населения, трудно вести речь об изучении древностей. Складывавшиеся не лучшим образом обстоятельства заметно сказались как на степени исследованности памятников материальной культуры, так и на сохранности добытых вещей. О некоторых из находок известно порой только из кратких и весьма невнятных упоминаний того давнего времени.

Изучение документов из фонда 93 Государственного архива Одесской области, а также Одесской государственной научной библиотеки им. А.М.Горького и Национального архива Республики Молдова (далее соответственно — ГАОО, ОГНБ, НАРМ) в определенной мере открывает историю исследования обществом античных памятников Бессарабии со слабо освещенной до сих пор в историографии стороны. Их анализ целиком подтверждает районирование деятельности Общества, легко устанавливаемое по данной публикации. Вовсе не удивляет то, что преобладающее количество материалов касается находок в Аккермане и его округе. Эта традиция одесских археологов-античников, уходящая корнями в прошлое столетие, продолжает господствовать и теперь. Преемственность можно усмотреть и в широком использовании современными исследователями древней Тиры достижений российской науки минувшего века и, особенно, результатов работ ИООИД (Карышковский, Клейман 1985: 18-25 и др.). Среди пионеров в деле привлечения к поиску в области античной истории Северо-Западного Причерноморья архивных материалов, хранящихся в Одессе, следует по праву признать П.О.Карышковского. Отдавая дань высокому авторитету ученого, можно еще раз подчеркнуть: именно благодаря обращению к документам, ему удалось вернуть исторической науке казалось бы навсегда утраченные эпиграфические и нумизматические памятники Ольвии и Тиры (Виноградов 1990: 6-7).

В продолжение давно и четко обозначившихся линий изучения памятников античной цивилизации в крае хотелось бы предложить сведения из ряда архивных документов, касающихся изысканий Общества 1840-1904 гг. в Бессарабии. Не исключено, что приводимые сообщения будут полезны для уточнения мест находок известных образцов древностей греко-римской эпохи, способствовать успеху в поиске новых археологических памятников в приморской части междуречья Дуная и Днестра, вопрос о которых ставится учеными (Гудкова 1989: 69-70). Может представлять интерес и то, что сведения некоторых архивных источников при сопоставлении с накопленными за последние десятилетия знаниями об открытии остатков материальной культуры античности дают основания для любопытных выводов уже в рамках настоящей статьи. Подборку данных по районам мы открываем наиболее ранними сведениями, придерживаясь и далее проблемно-хронологического принципа изложения.

Первая удача пришла Обществу из Аккермана летом 1860 г., когда в Одессу поступили памятники, присланные стараниями заведующего работами гавани на Днестровском лимане, любителя старины статского советника Струкова. Приложенное письмо из Инспекции сельского хозяйства южных губерний сообщало, что при строительстве каменной пристани, которое вел от Общества пароходства и торговли инженер Аркадий Антонович Дьяченко, в прибрежном обрыве сделаны замечательные открытия. Расчищая берег, рабочие нашли «мраморную статую с отбитыми частями, мраморный торс и мраморную надгробную плиту с рельефными изображениями и надписями». Со ссылкой на слова инженера указывалось: «Над обрывом существуют мраморные остатки значительного строения, которые вероятно будут уничтожены при производстве местной копки камня на пристань, если не придет кто-либо опытный в древностях для определения важности такого открытия». Вместе с указанными вещами в Одессу были отправлены «две головы, найденные в земле того же обрыва» (ГАОО 93-1-52: 57 — здесь и далее обозначения архивных документов даны в последовательности: архив, фонд, опись, дело, лист/страница).

Аккерманские находки вызвали в Одессе большой научный интерес, и в Бессарабию направился Николай Николаевич Мурзакевич, профессор Ришельевского лицея, первый секретарь Общества (1839-1875 гг.), а затем его вице-президент — с 10 марта 1875 г. по день кончины 15 сентября 1883 г. О результатах поездки секретаря 14-15 августа известно из датированного 18 августа отчета, представленного в ИООИД и заслушанного на 110-м заседании 25 октября 1860 г. Из текста этого документа следует, что предметы, принадлежавшие «к древ-

ней эллинской эпохе», найдены в переложенном слое и, скорее всего, «заброшены» на берег в средние века. Прекрасные вещи имели особенную важность для общества еще и потому, что такие находки случились «в Аккермане в первый раз» со времени возникновения ИООИД.

Кроме того, при осмотре обрыва берега Н.Н.Мурзакевич заметил «на каменном грунте, прикрытые черноземом и мусором три древнейшие гробницы, выкопанные в земле в виде верхнего полушария, внутри вымазанного слоем извести». В обнажившихся в срезе берега погребальных сооружениях полусферического профиля ученый отметил следы огня и пережженных человеческих костей. Неподалеку обнаружились еще две «земляные гробницы, но не круглые, а сложенные из глиняных черепиц на угол». Эти погребальные камеры, имевшие в разрезе треугольную форму, также содержали кальцинированные кости людей. Автор написал в отчете: «По всей видимости, открывшиеся гробницы принадлежат к отдаленной эпохе, быть может к той, когда эллины здесь, за 600 лет до Р.Х. начали заводить торговые притоны». Чтобы в будущем возможные древние вещи не попадали в частные руки, секретарь Общества обратился в Одесскую контору пароходства и торговли, а также к Бессарабскому губернатору с прошением сделать распоряжение «к собранию находок» для последующей передачи в ИООИД. В обоих случаях на просьбы были даны удовлетворительные ответы. Таким образом, находки 1860 г. повернули лицом к науке о древностях не только дотошных ученых и вездесущих антикваров, но и администрацию края — от аккерманского городничего до начальника Бессарабской области генерал-лейтенанта Фантон де Веррайона. Именно поэтому весть об аккерманских античных памятниках нашла отражение во многих документах общества (ГАОО 93-1-4: 7; 93-1-52: 60-61; 93-1-158: 126, 133, 141; НАРМ 2-1-6975: 3-11).

В известной мере следствием событий 1860 г., взбудораживших сформировавшуюся вокруг ИООИД научную и околонаучную общественность, является поездка в Аккерман спустя шесть лет Ф.А.Струве. Результаты этого посещения правобережья Днестровского лимана изложены в «Археологических заметках», представленных автором на 134-м заседании 21 сентября 1866 г. (ГАОО 93-1-4: 102, 149; 93-1-159: 3). На наш взгляд, не менее важную роль в деле охраны памятников старины сыграло письмо, направленное после доклада Ф.А.Струве губернатору Бессарабии от имени Общества уже 28 сентября. Его оригинал за подписью Н.Н.Мурзакевича, сохранившийся в НАРМ, трактует древности как достояние науки и всей страны. В этой связи констатировалось: «Великая утрата сделана для местной истории тем, что случайно находимые памятники попадали в руки людей несведущих, пропадали, к сожалению, бесследно, между тем как такие находки, своевременно осмотренные и знающими людьми обстоятельно описанные, доставили бы богатый материал для истории страны». Впрочем, помимо упования на то, что «дальнейшие открытия в Бессарабской области не останутся безвестными», письмо указывало и на некоторые случайные находки в Аккермане. Среди античных остатков в документе упоминается об открытии древних погребений. «При копании фундамента для паровой мельницы на берегу Днестра были видны человеческие остовы, глиняная слезница, наверное, греческого происхождения» (НАРМ 2-1-7864: 1, 2).

Несмотря на то, что реакция в Кишиневе была положительной и 5 октября был разослан по всей Бессарабии циркуляр, предписывавший местным органам власти доставлять в Общество находимые в земле предметы древности, новые значительные открытия в течение последовавших двух десятилетий стали редкостью. Одна из самых важных находок этого периода, дошедших в ИООИД, — римская надпись, обнаруженная на винограднике близ города в 1890 г. членом Общества А.А.Матвеевым. С сообщением о ее содержании выступил на одном из заседаний профессор Новороссийского университета Владимир Норбертович Юргевич, вице-президент ИООИД в 1883-1898 гг. На основании названных в тексте надписи имен правивших тогда в Римской империи особ — Септимия Севера, Каракаллы, Геты и их титулов исследователь датировал памятник 198 г. н.э. Он рассматривал его в качестве еще одного доказательства своего мнения о тождестве местности, занимаемой Аккерманом, с древней Тирой (ГАОО 93-1-7: 26, 27; ОГНБ. Отчет 1889/1890: 4, 7). Тем не менее, надписи осталась едва ли не единичным археологическим фактом, вырванным из античного культурного слоя. Гораздо важнее — открытие древних комплексов, происшедшее в следующем десятилетии.

На 289-м заседании 16 сентября 1895 г. Общество заслушало составленное четырьмя днями ранее отношение аккерманского полицмейстера о новой находке на днестровском берегу. Сообщалось о раскопанном на даче Ицки Вольфовича Зисьмана (в другом случае дана фамилия Зусман) песчаном холме, в котором на глубине 1,5 саженей — более 3 м — открылась «полуразрушенная катакомба». Это сооружение, сложенное из крупных блоков известняка и оштукатуренное изнутри, как будто бы имело разрисованные арабесками внутренние стены. Длина усыпальницы составляла 5,5 аршин — почти 4 м; перекрытие было арочным; а в каменном полу, которым служила «природная скала», обнаружились две «гробницы» — погребальные камеры — длиной 3 аршина и 4 вершка, глубиной 13 вершков (примерно 2,2 и 0,6 м). Находившийся случайно в Аккермане профес-

сор Новороссийского университета Александр Александрович Кочубинский отнес раскопанную И.В.Зисьманом катакомбу «к периоду до Р.Х.» Поскольку тут ожидались исторически ценные находки, полицмейстер принял меры для охраны памятника.

После получения сведений из Аккермана, Общество по предложению вице-президента командировало туда своего эксперта. Им был Эрнест Ромуальдович фон Штерн, человек, более других сделавший в конце XIX — первых десятилетиях XX вв. для археологического изучения Тиры. Уже 26 сентября два профессора — А.А.Кочубинский и Э.Р.фон Штерн — представили подробный отчет «О поездке по поручению общества в Аккерман для исследования открытой там гробницы». Из этого текста видно, что наблюдения, связанные с вновь обнаруженным памятником, были самым тщательным образом задокументированы. Кроме точных сведений о характере сооружения и выводов о его древности, находку зарисовали и сфотографировали. Состоявший из двух камер склеп находился под песчаной насыпью высотой 5,32 м. Сложенную на скале из массивных плит усыпальницу открыли в двух верстах от центра города, справа от дороги, ведущей вдоль лимана к колонии Шабо. Это произошло случайно, когда владелец участка, решив устроить каменоломню, снес часть большого кургана. Полные сведения о памятнике исследователи доложили для обсуждения на 290-м заседании ИООИД (ГАОО 93-1-106: 76, 76 об., 82-84).

Интерес к склепу не ослабевал достаточно долго. Об этом говорит один пассаж из письма Э.Р. фон Штерну от 17 февраля 1896 г. Автор послания — член Общества, аккерманский нотариус Владимир Исаакович Штулькерц, ставший летом того же года первым заведующим крепости. В.И. Штулькерц писал: «Сарматская могила стоит спокойно и не разрушается. Не можете ли Вы мне о ней сообщить кое-что для иностранного журнала?» (ГАОО 93-1-107: 13 об.). Обратил внимание на гробницу и известный архитектор Александр Львович Бертье-Делагард, принявший на себя с 22 января 1899 г. обязанности вице-президента ИООИД. Посетив Аккерман 14 апреля, он вскоре завершил «Доклад ИООИД о состоянии Аккерманской крепости и мерах необходимых для ее поддержания в возможной сохранности». В нем, помимо освещения основного вопроса, говорится и об открытом тремя годами ранее каменном склепе: «Посетили редкую и большую могилу, найденную при разборе кургана в 1895 г.» Автор высказывал сожаление, что «роскошный» погребальный памятник, в котором, по всей видимости, находилось «огромное количество вещей», был «частно разрушен и разграблен до его нахождения». По мнению А.Л.Бертье-Делагарда наиболее вероятной датой сооружения гробницы следует считать I-II вв. н.э. Вице-президенту Общества удалось разгадать тайну «арабесок» — «это продукты атмосферных влияний на гладкую штукатурку, а не дело умысла человеческого» (ГАОО 93-1-114: 8, 8 об.).

В отличие от находки 1895 г., изученной тогда же профессионалами, склепу, открытому в Аккермане в 1904 г., повезло куда меньше. Информацию об этом памятнике мы почерпнули из писем в адрес Общества, посланных Ферапонтом Михайловичем Кречуном, заведовавшим аккерманской крепостью с 23 октября 1900 г. В письме от 3 августа 1904 г. он впервые сообщал, что во дворе купца Литвина при земляных работах, проводившихся «для устройства водосточной ямы», рабочие вышли на «огромную квадратную каменную плиту аршина три в ширину и длину» — более 2 м. Когда они стали углубляться в землю рядом с находкой, выяснилось, что одна «сторона плиты лежит на каменной стене, сложенной из огромных камней». По сообщению Ф.М.Кречуна аккерманский полицмейстер вроде бы разрешил владельцу усадьбы разбить плиту и продолжать работу. И все же Литвина удалось уговорить прекратить дело до получения вестей из Одессы. Уже в этом письме автор недоумевает как вовсе остановить разрушение памятника, а в следующем — от 13 августа он писал, что камни во дворе Литвина разбиты якобы с ведома властей. В ходе дальнейших варварских раскопок из гробницы было «вынуто 7 скелетов». Между тем из Одессы никакой реакции не последовало. В новом письме из Аккермана от 16 августа сказано: «Раскопка во дворе Литвина сделана и открыта яма, построенная стенами наподобие гробницы, и в конце ее отверстие для двери, за этим отверстием снова видны плиты». Ф.М.Кречуну вроде бы удалось вторично упросить хозяина приостановить работы на несколько дней, но тот требовал действовать быстрее, поскольку «яма среди двора» не позволяла складывать на усадьбе «земледельческие машины», которыми Литвин торговал. Впрочем, появившиеся было надежды не принесли желаемого результата. Это видно из письма заведующего крепостью от 25 августа: «Гробница во дворе г. Литвина разрыта. Говорят, что нашли кости людей и верблюда, древностей, по их заявлению не было». Наконец, прямо указывалось, что торговец «от раскопки уклоняется», хотя отправитель письма еще надеялся добиться согласия провести «хоть на день раскопку для наших кладоискателей-любителей». В итоге, обещая сообщать ИООИД, «если что отыщется», почти отчаявшийся Ф.М.Кречун добавил: «Приезжать нет надобности» (ГАОО 93-1-121: 63-65, 72).

Этим ограничиваются сведения о находках в Аккермане и его окрестностях, которые нам удалось обнаружить в архивных документах Общества. Как можно легко увидеть, информация об античных памятниках касается главным образом погребальных сооружений, что особенно

интересно в связи с нерешенностью вопроса о некрополе Тиры и находками в последние десятилетия захоронений греко-римской эпохи, в том числе и склепов.

Сообщения об открытиях в землях, прилегающих к левому берегу Дуная в его низовьях, гораздо в большей мере рассеяны на географической плоскости. На первый взгляд, памятники этой зоны могут показаться не столь впечатляющими, но нельзя не отметить, что их слабая изученность скрывает возможности новых трактовок на основе архивных материалов. В этом отношении мы и рассматриваем документальные данные о древностях из Нижнего Подунавья.

Своего рода мостиками между двумя зонами интересов ИООИД в Бессарабии несомненно являются знаменитые «змиевы» валы, которые традиция издавна относила ко времени римских завоеваний. На эти достопримечательности края Общество обратило внимание едва ли не сразу после своего создания. По известным нам документам, уже на 4-м заседании 14 марта 1840 г. по предложению президента, попечителя Одесского учебного округа Дмитрия Максимовича Княжевича было принято решение сделать съемку наиболее выдающихся древних объектов в междуречье Дуная и Днестра, в том числе «римских Траяновых валов». Для реализации этой задачи на имя Бессарабского Военного губернатора Павла Ивановича Федорова было направлено письмо за подписями Д.М.Княжевича и Н.Н.Мурзакевича. В нем среди ряда «немых памятников древностей», которые подлежали топосъемке речь шла и о составлении планов Верхнего и Нижнего Траяновых валов. Тогда же член-корреспондент Общества Нелидов сообщал из Кишинева, что «приступил к собиранию сведений о так называемых Траяновых валах». Он предлагал, взяв план у губернского землемера, изучить валы на местности и провести раскопки во рвах — «не отыщется ли какая-нибудь монета, могущая, хотя бы приблизительно, показать эпоху возведения столь огромной насыпи». Нелидов обещал сделать для Общества рисунки разрезов вала, собрать информацию у жителей. Кроме того, в письме подчеркивается: «Очень замечательно, что все валы, находящиеся в Бессарабии, имеют ров с северной стороны» (ГАОО 93-1-1: 21-23; 93-1-55: 20, 20 об.; НАРМ 2-1-3441: 7-8).

К Нижнему Подунавью примыкает и остров Змеиный, документы о находках античных реликтов на котором относятся к 1843 г. В деле по 1-му столу канцелярии Измаильского градоначальника имеются сведения о находках на Змеином, называвшемся тогда Фидониси; рапорт об этом Бессарабскому военному губернатору. Сохранился список предметов древности, представленных генерал-лейтенанту П.И.Федорову, в котором значатся 73 экземпляра античных монет — в основном римских, а также причерноморских городов, в том числе Ольвии, Одессоса, Том, Эпира, Калатианы, «царей Тракии и Босфора Киммерийского»; глиняные обломки в виде человеческих и конских голов; металлические изображения, среди которых Купидон и мышь; «5 камушков с вырезанными на них фигурами». Все эти находки губернатор направил Обществу вместе с подписанным им посланием, в котором говорилось: «Командированный на о.Фидониси для содержания оного в практическом положении на время производства там работ маяка комиссар измаильского карантина Алексеев имел случай отыскать на сем острове разные древние монеты и другие вещи в прилагаемом у него списке значащиеся. Препровождая при сем древности эти, имею честь покорнейше просить общество принять их и известить меня о получении уведомлением» (НАРМ 2-1-3777: 1-3).

Другие имеющиеся в наших руках данные свидетельствуют о древностях, непосредственно связанных с Нижним Дунаем. Например, 1845-1846 гг. датируются документы о находках поблизости от болгарской колонии Картал (ныне с. Орловка Ренийского района Одесской области, Украина). Вопрос о них обсуждался на 39-м заседании Общества 18 октября 1845 г., когда рассматривалось помеченное 10 августа отношение попечительского комитета об иностранных поселенцах Южного края России за № 5399. Речь шла об открытии крестьянами из Картала 10 камней с римскими надписями и барельефами. По распоряжению Министерства государственных имуществ эпиграфические памятники до поры хранились на месте обнаружения, но по желанию ИООИД могли быть переданы в его «музеум». Когда таковое было изъявлено, начальник Черноморского флота и портов предписал Николаевской кораблестроительной экспедиции перевезти находки из Измаила в Одессу. О положительном решении вопроса стало известно на заседании 30 мая 1846 г. На следующем 44-м заседании 16 октября члены Общества узнали, что «14 кусков камней» препровождены из Картала в Измаил еще распоряжением от 25 апреля. Из записи в журнале заседаний Общества 18 декабря можно узнать, что передача камней с надписями и барельефами разрешена министром государственных имуществ, а найдены они в 1840 г. (ГАОО 93-1-2: 18, 32, 37, 49).

Среди изученных нами документов Общества другие данные об античных памятниках на Дунае отстоят от предыдущих на пол века. В бумагах, касающихся переписки, хранится протокол, составленный 2 февраля 1895 г. приставом Рени. Согласно его содержанию, в этот день в полицейское управление пришел ренийский житель М.В.Мыйна и заявил о нахождении им 29 января на собственном винограднике в урочище Бужор клада золотых монет — всего 500 экз., «которые находились в земле без всякой посуды». В документе имеется и определение: «Все

монеты древнегреческие, в числе которых 364 штуки под названием золотой статир Филиппа Архидея, типа Александра Великого и 130 штук тетрадрахма Александра Великого и 6 штук статир Тарента». Сокровище весом 10 фунтов и 30 золотников (свыше 4,2 кг) с протоколом представили «на дальнейшее распоряжение в Измаильское уездное полицейское управление» (ГАОО 93-1-101: 34). К сожалению, других архивных материалов по поводу этой чрезвычайно интересной тезаврации мы не обнаружили.

Еще более не ясны данные о другой серии, возможно, также античных монет, связанных с Нижним Подунавьем. Они сохранились в переписке Общества осени 1896 г. В письме инспектора Килийского городского трехклассного училища А.Шиманского от 24 сентября привлекает внимание фраза: «Мастер сапожной мастерской при вверенном мне училище Янко Попандопуло просит меня предложить обществу не пожелает ли оно приобрести принадлежащие ему древние монеты». Вместе с письмом, как следует из того же текста, многолетний член-корреспондент ИООИД отправил посылкой монеты — 9 золотых, 60 серебряных и 3 медных. Автор от имени владельца спрашивал сколько монет и за какую сумму Общество может купить у мастера, упомянув, что за один из золотых экземпляров будто бы уже предлагают 15 рублей. О реакции из ИООИД приходится только догадываться по другому посланию, направленному из Килии в Одессу полтора месяца спустя самим Я.Попандопуло. В нем говорится: «Так как до настоящего времени общество ничего не ответило на письмо, то я прошу общество сообщить в возможно скором времени, желает ли общество и за сколько могло бы приобрести принадлежащие мне монеты или же в самом непродолжительном времени возвратить их мне обратно» (ГАОО 93-1-101: 39; 93-1-107: 76). Следов дальнейшей переписки на сей счет мы также не нашли.

* * *

Обобщая сообщения архивных материалов нельзя не видеть, что находки в районе Аккермана касаются главным образом ряда погребальных памятников. Публикации подавляющей части этих данных в «Записках ИООИД», большой интерес археологов к проблематике, открытие и изучение новых объектов такого рода избавляет нас от необходимости говорить далее очень подробно. Тем не менее, на отдельных моментах остановиться специально следует.

Давно справедливо отмечается, что находки захоронений античного времени фиксируются как вблизи кварталов древней Тиры, так и на значительном удалении от нее — вдоль лимана в направлении Шабо. Такая двойственность с локализацией при отсутствии широкомасштабных полевых работ обусловили нерешенность проблемы местонахождения тирского некрополя. Наиболее обстоятельно этот вопрос изучил И.Б.Клейман, собравший и проанализировавший большинство имеющихся в литературе сообщений об обнаруженных здесь захоронениях греко-римской эпохи. Информация, приведенная исследователем в специальной статье и затем совместно с П.О.Карышковским в монографии о Тире (Клейман 1978: 99-107; Карышковский, Клейман 1985: 31-33), особенно ценна для нас сопоставимостью с описанными материалами 1860, 1866, 1890, 1895 и 1904 гг.

Хотя идентификация известий о памятниках, обнаруженных в эти годы, не вызывает больших сомнений в принципе, существуют реальные трудности их датировок и атрибуций, являющиеся следствием отсутствия однозначных трактовок. Это хорошо видно на примере наиболее ранних сведений. Вполне вероятно, что в 1866 г. Ф.А.Струве и сопровождавший его инженер А.И.Панкратьев в самом деле нашли на месте строительства паровой мельницы — на территории, занятой теперь заводом медицинского оборудования — древнегреческие грунтовые захоронения: трупоположения, ориентированные в основном на восток (Струве 1867: 606-607). Еще менее понятна, на наш взгляд, ситуация, зафиксированная в 1860 г. в районе обнаружения небольшой статуи отдыхающего от охоты на калидонского вепря-гиганта Мелеагра(?) и эллинского надгробия. В обрыве лимана, ниже переотложенного слоя с этими находками Н.Н.Мурзакевич видел, зарисовал и коротко описал остатки погребальных сооружений, которые И.Б.Клейман, опирающийся на тот же документ из 93-го фонда ГАОО, склонен связывать с позднесредневековым могильником (Клейман 1978: 105). С такой оценкой можно было бы согласиться, однако вызывает недоумение указание на наличие в захоронениях вместо ожидаемых скелетов следов пережженных человеческих костей. Если это действительно остатки кремации, то датировать их столетиями османского господства в Аккермане опрометчиво, ибо погребальная обрядность этого хронологического периода на северо-западе Причерноморья, мусульманская да и любая другая, трупосожжений не знала. Впрочем, уровень изучения археологических объектов второй половины XIX в., не позволяет положиться на документальные свидетельства прошлого столетия без риска допустить грубую ошибку. В этом смысле вопрос о принадлежности отмеченных в 1860 г. захоронений при отсутствии полноценных современных данных не имеет пока точного ответа.

Иными являются другие находки из-под Аккермана. Сохранившаяся и по сей день «Скифская могила» (подкурганный склеп 1895 г.), в сравнительной близости от которой после второй мировой войны обнаружены три каменные гробницы, подобно им, скорее всего, сооруже-

на в первые века н.э. (Кочубинский, Штерн 1896: 13-16, табл. VII-VIII; Дмитров 1955: 117; Клейман 1978: 105; Сон 1979: 100-105; Росохацкий, Штербуль 78-80). Очень возможно, что отысканный в 1890 г. на винограднике близ города А.А.Матвеевым римский эпиграфический памятник прямо связан с погребением той же эпохи. Похоже, оно было совершено в каменной усыпальнице, находившейся где-то в «зыбучих песках», подступающих к Белгороду со стороны Шабо (Клейман 1978: 104). Наконец, наиболее гипотетическим является отождествление каменной гробницы, раскрытой в 1904 г. на аккерманской усадьбе торговца Литвина. По известиям, собранным И.Б.Клейманом, с ним можно соотнести склеп, найденный в городе «в период между раскопками Э.Р. фон Штерна в 1900 и 1912 гг.» (Клейман 1978: 104). Как выяснилось, связь с этим именем данной находки не исчерпывается примечанием в отчете на 419-м заседании о раскопках Тиры 1912 г. Оно указывает на произошедшее ранее «открытие склепа римского периода недалеко от базара» (419 заседание 1913: 93). Нельзя обойти молчанием факт рассмотрения на 361-м заседании ИООИД 16 сентября 1904 г. не иначе как вопроса «о случайных находках и раскопках Э.Р. фон Штерна в Аккермане, в усадьбе Литвина». К сожалению, кроме повестки дня, «Записки» опубликовали лишь принятое Обществом на этом собрании постановление: «Просить Э.Р. фон Штерна при первой возможности продолжать раскопки» (361 заседание 1906: 39). Становится очевидным, что усилия Ф.М.Кречуна не были напрасными, а находки представляли немалую ценность. Других сведений о работах во дворе Литвина в архивных документах или публикациях пока не обнаружено. О том, почему это события не нашло освещения в «Записках», кажется, удается создать довольно стройную версию. Из информации о заседании 16 сентября 1904 г. следует, что работы на усадьбе Литвина еще не были завершены и возможность их продолжать в тот момент отсутствовала. Только ли дело в том, что хронически недоставало средств? Кажется, в данном случае так сталось по другой причине и раскопки вообще не были продолжены Обществом. О происшедшем судить трудно, но причина неожиданного хода событий видится нам в могуществе торговца Литвина, владевшего на правах частной собственности злополучным участком. Дело не в одних самоуправных и в чем-то явно противозаконных действиях хозяина, на которые смотрел сквозь пальцы аккерманский полицмейстер. Имеется однозначное свидетельство о прямой конфронтации ИООИД с Литвиным. В письме от 1 февраля 1905 г. Ф.М.Кречун сообщает в Одессу, что подан иск о выдворении купца из крепости (ГАОО 93-1-163: 144). Будучи собственником крепости, Общество сдавало ее сооружения и дворы в аренду торговцам для хранения их товаров за мощными стенами. Известный нам торговец, очевидно, также держал там складские помещения. Удивительное в другом: небывалый по остроте конфликт, когда дело дошло до суда, возник в отношениях с человеком, на чьей усадьбе был открыт важный античный памятник. Невозможно допустить случайного совпадения, ведь речь идет о двух сторонах, заинтересованных друг в друге, одновременно выступающих в разных ипостасях и потом, как по роковому стечению обстоятельств, рвущих отношения! Думается, что за этими дрязгами как раз и стоит трагическая судьба едва ли не единственного склепа римской эпохи, найденного столь близко к кварталам древней Тиры и разрушенного столь безотчетно быстро. Хотя основная часть данных о гробнице безвозвратно утеряна, место находки установить легко, локализуя усадьбу Литвина — человека без сомнения видного в городе в начале уходящего века. Возможно, выяснение местоположения этого памятника даст новый надежный ориентир для топографического определения тирского некрополя.

Материал о случаях находок предметов старины на Нижнем Дунае и интересах ИООИД в этом районе показывает большую, нежели в Аккермане и его окрестностях, разнородность памятников. Сначала остановимся на сообщениях о трех группах монет, отличающихся друг от друга по происхождению, составу и месту обнаружения. Хотя почти всегда эта категория древних вещей бывает окружена повышенным вниманием коллекционеров, и именно металлические деньги в глазах любителей реликтов и знатоков антиквариата являются носителями истинной ценности, проследить судьбу находок, известных по документам Общества, непросто. Дело в том, что из таких первоначально случайно открытых источников формировались (часто путем покупки) крупные коллекции, в числе обладателей которых пользовавшееся высочайшим покровительством Общество было далеко не самым состоятельным. Нужно ли удивляться, что находки, о которых сообщалось в Одессу, зачастую попадали в частные владение — в 60-х гг. XIX в. в городе насчитывалось пять широко известных личных нумизматических собраний, составленных главным образом из монет античных центров Северного Причерноморья (Мурзакевич 1867: 474-476).

Найденные на Змеином комиссаром Алексеевым античные монеты и мелкие украшения непременно должны были поступить в распоряжение ИООИД. Это заключение, основанное на документальных записях, позволяет ставить вопрос об идентификации по материалам фондов Одесского археологического музея и сохранившейся краткой описи одной из первых коллекций с памятника. Этому делу могут послужить как публикации в «Записках», так и новейшие исследования неизвестных до сих пор науке монет V в. до н.э. — III в. н.э., гемм и перст-

ней, происходящих из района святилища Ахилла (Мурзакевич 1844: 549-562; он же 1848: 413-415; он же 1853: 237-245; Карышковский 1983: 158-173; Охотников, Островерхов 1991: 69-71).

Открытая в 1895 г. ренийская тезаврация не упоминается в нумизматических сводках, отмечающих даже вовсе сомнительные сообщения о найденных кладах. Между тем не верить полицейскому протоколу так же трудно, как и доискиваться, почему монеты, попавшие в поле зрения властей, не стали достоянием науки. В попытке выйти за пределы внешне замкнутого круга, мы рассмотрели данные о всех опубликованных монетных кладах античной эпохи левобережья Нижнего Дуная. Как оказалось, близкие состав и историю имеет лишь золотое монетное сокровище из села Анадол (ныне Долинское Ренийского района Одесской области, Украина). В январе 1895 г. при добыче камня крестьяне Никита Куку и Захар Черниан обнаружили клад, схороненный в медном кувшине. Всего насчитывалось свыше тысячи или даже двух тысяч статеров македонских царей IV — III вв. до н.э. — от Филиппа II до Лисимаха и Селевка I. Осмелимся утверждать, что совпавшие или сходные характеристики — не воля случая, ведь и имя ренийского мещанина, скупившего золотые монеты, — Михаил Миня (он же М.В.Мыйна). Очевидно, этот человек поначалу хотел утаить правду о кладе, сочинив легенду, запротоколированную местным приставом. Однако затем власти все же добились большего, и в итоге не 500, а 979 экз. попали в Эрмитаж (Нудельман 1985: 158). Отсутствие в ГАОО других сведений о находке, видимо, объясняет документ, рассмотренный на 48-м заседании Общества 12 марта 1847 г. В отношении Херсонской палаты государственных имуществ № 1661 сообщается о Государя императора высочайшей воле: «Древности передавать в Одесский музеум, которые не поступят в санктпетебургские подобные хранилища» (ГАОО 93-1-2: 55). Разумеется, об этом знало законопослушное уездное начальство, и его усердием богатый Анадольский клад, минуя Одессу, прибыл в столицу империи.

Странна история монетного комплекса из Килии, ни о происхождении, ни о составе которого данных нет. Впрочем, даже скудные известия позволяют высказать некоторые суждения. Причастность А.Шиманского, человека образованного, долгие годы связанного с ИООИД, читавшего его «Записки», заставляет думать, что определение «древние монеты», имеющие в его письме, соответствовало действительному положению вещей. Судя по разнообразию присланных в Одессу 72 экз. (золото, серебро, медь), они не могли принадлежать одному кладу. Пожалуй, хотя бы часть из них, в частности медные деньги, происходит из культурного слоя какого-то античного памятника, близкого к Килии территориально. О существовании такового как будто бы свидетельствуют и мнения специалистов, и находки римских монет, и средневековая письменная традиция, возводившая топоним «Килия» к легендарной эллинской Ахилее (Гудкова 1989: 69-70; Нудельман 1985: 165-166; Кантемир 1973: 27). Кстати, не стоит отвергать и вероятности доставки их с острова Змеиный или даже из других относительно отдаленных мест. Что произошло с монетами Я.Попандопуло, остается загадкой. В сентябре — ноябре 1896 г. Общество явно тянуло со сделкой. Похоже, это собрание так и не куплено, из чего следует по меньшей мере два правдоподобных вывода. По первому из них килийские древности признали поддельными. Фальсификаты в то время были настолько обычным делом, что не раз приходилось предостерегать незадачливых коллекционеров, а в существовавшем в 1921-1922 гг. Одесском археологическом институте студентам даже преподавали «Историю подделок археологических памятников» (Извещение 1868: 320-321; Бертье-Делагард 1896: 27-68; Боровой 1975: 6). Однако если иметь в виду попытку сбыта такого большого количества искусных имитаций (иначе отказ приобрести их был бы незамедлительным), скромный сапожник должен претендовать не более чем на роль посредника в афере, да и то заодно с А.Шиманским! Едва ли это так уже потому, что объектом мистификации избрано Общество, а не какой-либо богатый дилетант. Второе возможное заключение, по всей видимости, ближе к реальности и объясняет медлительность ИООИД его неплатежеспособностью в то время. В письме косвенно говорится о запрашиваемой цене одного золотого экземпляра — 15 рублей. Отсюда очевидно, что владелец запрашивал за все монеты примерно две-три сотни рублей серебром. Тогда это была значительная сумма (см. Жуков 1975: 211 и др.), и Общество, надо думать, умышленно задерживалось с ответом, надеясь, быть может, найти иные пути к монетам. Судя по всему, так не случилось, ибо располагавшие антиквариатом люди всегда действовали осторожно. В Бессарабии и в начале XX в. извлекаемые из земли старинные монеты прятали, так как их «забирала полиция за очень невыгодные цены» (Эбергардт 1916: 43). В этой ситуации вполне понятно, что монеты Я.Попандопуло могли пополнить одну из частных коллекций.

Определенное значение для истории археологического изучения края имеют памятники из Картала-Орловки. Их открытие в 1844 г. положило начало исследованию остатков римского предмостного укрепления — одного из наиболее замечательных объектов античной эпохи на юге Бессарабии. К сожалению, находки, тогда же опубликованные Н.Н.Мурзакевичем, немногое дали для исторического познания. «Остатки римских надписей» с отдельными читаемыми словами и буквами, а также камни, на которых «сохранились одни только украшения», как бы противостоят единственному довольно круп-

ному обломку с сюжетным рельефом. Он представлял собой «рисунок Аполлона и Дианы, занимающихся звериною охотою» (Мурзакевич 1844а: 627-628). Монетные находки датируют римскую крепость у Орловки второй половиной I — первыми десятилетиями III вв. н.э. Данные хронологии и назначение этого стратегически важного сооружения позволяют устанавливать гипотетическую связь с Нижним Траяновым валом, нередко относимым учеными к системе пограничных укреплений Римской империи.

С той поры, как о вале писал Димитрий Кантемир и через 125 лет брался исследовать его упомянутый выше Нелидов, о грандиозной земляной насыпи, протянувшейся на 126 км от реки Прут до озера Сасык, написано много (см. Кантемир 1973: 29; Федоров 1960: 71-73; Вулпе 1960: 259-278; Чеботаренко, Субботин 1991: 124-145). Сложившаяся теперь историографическая ситуация характеризуется широким разбросом довольно хорошо аргументированных точек зрения, интеграция которых осуществима только в случае признания возможности многократного использования вала в античную и средневековую эпохи. Рвы по обе стороны сооружения, а также некоторые общеисторические соображения подтверждают перспективность такой трактовки (Федоров 1960: 72; Добролюбский 1991: 52). На время возведения первоначального укрепления в контексте специфики регионального исторического развития может указывать дата, полученная при анализе мощности и темпов образования гумусового слоя над валом, — II в. н.э. (Дзиговский, Лисецкий 1991: 42-43). В систему приграничных барьеров империи у Дуная входила и Орловка, подавляющее число находок римских монет которой приходится именно на II в. н.э. (Бондарь 1991: 9; Нудельман 1985: 168). Вместе с тем конкретное исследование вала указывает на возможность других вариантов датировки.

Ретроспективный обзор документов ИООИД, относящихся к античным памятникам Бессарабии, позволим себе завершить небольшой ремаркой. Данные по археологии из материалов Общества, хранящиеся теперь в архивах разных странах, конечно, несопоставимы с теми, что находятся еще в земле. Однако если полевые исследования дают археологу дают возможность увидеть своими глазами и самому описать открытые древности, то «кабинетный» археограф обладает преимуществом охватить сведения, накопленные в течение многих десятилетий. Исписанные витиеватыми почерками пожелтевшие от времени бумаги содержат в концентрированном виде сообщения о научной жизни историко-археологической интеллектуальной среды всего юго-запада Российской империи XIX — начала XX вв. Соединить достоинства обоих направлений исследования — дело будущего, ведь многие из затронутых нами и оставшихся за рамками работы вопросов еще ожидают более глубокого, в том числе и монографического, изучения.

ЛИТЕРАТУРА.

Бертье-Делагард А.Л. 1896. Подделка греческих древностей на юге России // ЗООИД. Т. 19. С. 27-68.

Бондарь Р.Д. 1991. О дунайском лимесе провинции Нижняя Мезия // Древнее Причерноморье. II чтения памяти проф. П.О.Карышковского. Одесса.

Боровой С.Я. 1975. Одесский археологический институт // 150 лет Одесскому археологическому музею АН УССР. Киев.

Виноградов Ю.Г. 1990. Слово об ученом, человеке, друге // Древнее Причерноморье. Материалы I Всесоюзных чтений памяти проф. П.О.Карышковского. Одесса.

Вулпе Р. 1960. Верхний вал Бессарабии и проблема гревтунгов к западу от Днестра // Материалы и исследования по археологии юго-запада СССР и Румынской Народной Республики. Кишинев. С. 259-278.

Гудкова А.В. 1989. Об изучении римских памятников на юге Буджака // История и археология Нижнего Подунавья. Рени.

Дзиговский А.Н., Лисецкий Ф.Н. 1991. Новые данные по истории и палеографической обстановке создания Нижнего Траянова вала // История и археология Нижнего Подунавья. Т. II. Рени. С. 42-43.

Дмитров Л.Д. 1955. Основні підсумки Ізмаільскоі археологічноі експедиції 1949-1950 рр. // Археологічні пам'ятки УРСР. Т. V.

Добролюбский А.О. 1991. Кочевой мир и население Юго-Восточного Прикарпатья в средние века (типология взаимодействия) // История и археология Нижнего Подунавья. Т. II. Рени.

Жуков В.И. 1975. Города Бессарабии (1861-1900). Кишинев.

Извещение 1867. — Извещение собирателям древних монет // ЗООИД. Т. 7. С. 320-321.

ИВ 1914. Исторический вестник. Кн. II. СПб.

Кантемир Д. 1973. Описание Молдавии. Кишинев.

Карышковский П.О. 1983. Ольвийские монеты, найденные на острове Левке // Материалы по археологии Северо-Западного Причерноморья. Киев. С. 158-173.

Карышковский П.О., Клейман И.Б. 1985. Древний город Тира. Историко-археологический очерк. Киев.

Клейман И.Б. 1978. Новая гробница в районе Белгорода-Днестровского и вопрос о местоположении некрополя Тиры // Археологические исследования Северо-Западного Причерноморья. Киев.

Мурзакевич Н. 1844. Поезка на о. Левки или Фидониси в 1841 г. // ЗООИД. Т. 1. С. 549-562.

Мурзакевич Н. 1844а. Открытие древностей близ селения Картал // ЗООИД. Т. 1. С. 627-628.

Мурзакевич Н. 1848. Монеты, отысканные на острове Фидониси // ЗООИД. Т. 2. С. 413-415.

Мурзакевич Н. 1853. Монеты, отысканные на острове Левки или Фидониси // ЗООИД. Т. 3. С. 237-245.

Мурзакевич Н. 1867. О некоторых малоизвестных монетах // ЗООИД. Т.6.

Кочубинский А.А., Штерн Э.Р. 1896. — Отчет проф. А.А.Кочубинского и проф. Э.Р. фон Штерна о поездке в Аккерман // ЗООИД. Т. 19.

Охотников С.Б., Островерхов А.С. 1991. Геммы и перстни из святилища на Левке // Древнее Причерноморье. II чтения памяти проф. П.О.Карышковского. Одесса. С. 69-71.

Нудельман А.А. 1985. Очерки истории монетного обращения в Днестровско-Прутском регионе (с древнейших времен до образования феодального Молдавского государства). Кишинев.

Росохацкий А.А., Штербуль Н.А. 1991. Каменный склеп из окрестностей Тиры // Древнее Причерноморье. II чтения памяти проф. П.О.Карышковского. Одесса.

Сон Н.А. 1979. Склеп первых веков н.э. из окрестностей Тиры // Памятники древних культур Северного Причерноморья. Киев.

Струве Ф. 1867. Археологические заметки по поводу посещения Аккермана и его окрестностей в летнее время 1866 года // ЗООИД. Т. 6.

361 заседание 1906. — 361 заседание ИООИД 16 сентября 1906 года // ЗООИД. Т. 26.

Федоров Г.Б. 1960. Население Прутско-Днестровского междуречья в I тысячелетии н.э. // МИА. № 89.

Чеботаренко Г.Ф., Субботин Л.В. 1991. Исследования Трояновых валов в Днестровско-Дунайском междуречье // Древности юго-запада СССР (I — середина II тысячелетия н.э.). Кишинев.

419 заседание 1913. — 419 заседание ИООИД 14 ноября 1912 года // ЗООИД. Т. 31.

Эбергардт Я. 1916. Памятники старины и археологические находки в Бессарабии. Кишинев.

КРИТИКА

Кашуба М.Т.

«ДРУГАЯ» ЧЕРНОЛЕССКАЯ КУЛЬТУРА СРЕДНЕГО ДНЕСТРА ПО Л.И.КРУШЕЛЬНИЦКОЙ

Kashuba M.T. "Another" Chernolesskaya culture of the Middle Dniester according to L.I.Krušelnicka.

The work is dedicated to the criticism of the conception of L.I.Krušelnicka, who thinks that the culture of Saharna-Solonceni has appeared in the result of the expansion to the South-West of the bearers of the Chernolesskaya culture, group Neporotovo in particular. The author supports the idea of migration of the bearers of the culture of Saharna-Solonceni from the Low Danube regions in the second half – in the end of the X c. B.C. The work contains a quite full critical overview of the historiography on the problem up till now.

В истории исследования предскифского периода Северного Причерноморья безусловно дискуссионным в течение уже полувека остается вопрос о направленности культурных влияний (соответственно, происхождения культур) в лесостепной части междуречья Днепра-Днестра.

Еще в 40-50-е годы XX в. на уровне первоначального обобщения и культурно-исторической интерпретации предскифских памятников лесостепной Молдовы и Правобережной Украины складываются две противоположные гипотезы относительно их формирования. Ряд отечественных и зарубежных исследователей (в первую очередь, А.И.Мелюкова и С.Моринц) связывают происхождение культуры Сахарна-Солончень (далее — Сахарна) с миграцией южнофракийского населения из Добруджи в Прут-Днестровское междуречье. Впоследствии культура Сахарна повлияла на развитое Чернолесье (Чернолесье II) Правобережной Украины, в первую очередь, в области производства высококачественной орнаментированной столовой посуды (Мелюкова 1958: 5-102; она же 1960: 129-150; она же 1972:57-72; она же 1975: 54-68; она же 1979: 21-31; Покровська 1952: 36, 37; она же 1953; она же 1973: 169-188; Смирнова 1977: 94-107; она же 1980: 121-143; она же 1983: 68-71; она же 1986: 23-25; Малеев 1987: 11-13; Кашуба 1986: 80; Morintz 1964: 101-118; он же 1974: 897-906; он же 1977: 1465-1488; он же 1978; Morintz, Roman 1969: 393-422; Laszlo 1969: 319-326; он же 1972: 207-222; он же 1976: 57-75; Kossack 1980: 109-141 и др.). Согласно этой точке зрения, культурные воздействия в лесостепи Днепро-Поднестровья предскифского времени постулируются с запада (юго-запада) на восток (северо-восток).

На противоположных позициях оказалась другая часть ученых, отмечая культурные трансляции с востока на запад, со стороны Чернолесья на культуру Сахарна. А.И.Тереножкин акцентировал «неожиданное появление в совершенно готовом виде» в лесостепной Молдове богато орнаментированной посуды культуры Сахарна, а также более раннюю датировку (на тот момент) белогрудовских и чернолесских памятников (где такая керамика известна) по сравнению с культурой Сахарна. Соответственно, он пришел к заключению о проникновении такой керамики с востока на запад, с Правобережья Днепра на Днестр (Тереножкин 1961: 215-217). Несколько позднее оформляется концепция о «мощном продвижении населения из Среднего Поднепровья и Побужья в область Поднестровья», в результате чего и формируется культура Сахарна (Ильинская, Тереножкин 1983: 290-303; Kruselnicka 1979: 89-93). Согласно этой второй гипотезе, культура Сахарна имеет восточное «чернолесское» происхождение.

Благодаря особенностям расположения отдельное место и важное значение в этой дискуссии имеют предскифские памятники Юго-Западной Подолии и Левобережья Среднего Днестра (украинская часть). При открытии последних (тогда же, в 50-е годы) сразу был поставлен вопрос об их специфике и своеобразии в силу связующего положения между одновременными памятниками лесостепной Молдовы и Правобережной Украины (Шовкопляс 1952: 5-10; он же 1954: 98-105; он же 1956: 29-37; Шовкопляс, Максимов 1952: 89-108; Мелюкова 1953: 60-73; она же 1954: 59-68; она же 1958: 12-37; Артамонов 1948: 177-181; он же 1949: 257-262; он же 1955: 100-117; Смирнова 1954: 1-15). При этом предскифские древности Юго-Западной

© Кашуба М.Т., 1999.

Подолии были выделены в особую локальную группу (Смирнова 1954: 14, 15), а сама черно-лесская культура всей территории распространения была разделена на две локальные группы: среднеднепровскую и среднеднестровскую (или югозападноподольскую) (Мелюкова 1954: 68; она же 1958: 19; Смирнова 1954: 6-9, 14, 15).

В 70-90-е годы произошло существенное расширение источниковой базы предскифского периода Среднего Поднестровья: были открыты новые местонахождения (Гуцал 1979: 65-75; Довідник 1984: 3-171); проведены масштабные раскопки на Рудковецком городище (Гуцал 1987: 20, 21; Довідник 1984: 15, 26, 70, рис.6:3, 7, 9, 10, 13-18; 10); комплексе памятников Непоротово (Крушельницкая 1975: 28, 29; она же 1979: 73-96; она же 1985: 105-130; она же 1990: 135-140), поселениях Днестровка-Лука (Смирнова 1982: 30-53; она же 1984: 43-60; она же 1985: 5-29; она же 1986: 8-26) и Комаров (Ковпаненко 1998: 33, 34), а также Бернашевском могильнике (Гуцал 1994: 54, 55; он же 1998: 34, 35). Новые открытия не только не принизили значения достижений 50-х годов (например, Смирнова 1987: 18-20), но совокупный анализ всего накопленного материала позволил более детально оконтурить культурно-историческую обстановку на Среднем Днестре в предскифское время. Так, была выявлена неоднородность позднечерно-лесской культуры (Чернолесья II) в пределах среднеднестровского ареала, что обусловлено разной степенью участия в ее формировании (при безусловном белогрудовском субстрате, наличие которого на Среднем Днестре уже не вызывает сомнений: Рыбалова 1999) соседствующих раннегальштатских культур Гава-Голиграды и Сахарна (Смирнова 1981: 52, 53; она же 1984: 55; она же 1985: 26; она же 1990: 34-37; Смирнова, Кашуба 1988: 18-28). В эти же годы к сторонникам южнофракийских влияний на украинскую лесостепь предскифского времени присоединилась и Л.И.Крушельницкая (Крушельницька 1985: 126, 127; она же 1990: 135-140). Таким образом, разрешение известной дискуссии стало склоняться в пользу приоритета сахарнянского воздействия на чернолесскую культуру (по крайней мере, в ее среднеднестровском распространении).

Казалось, что в конце 80-х — 90-е годы обозначенная проблема утрачивает свой полемический характер и вследствие целого ряда других доказательств. Это и достижения в изучении раннего гальштата Балкано-Подунавья, где был четко обозначен родственный культуре Сахарна восточнобалканский круг памятников или орнаментированный гальштат (Hansel 1976: 122-164; Morintz 1974: 897-906; он же 1977: 1465-1488; он же 1987: 39-71; Laszlo 1985: 1-15; он же 1986а: 1-12; он же 1989: 111-129; Guma 1995: 99-137); и уточнение хронологии предскифского периода Северного Причерноморья, с датировкой культуры Сахарна, в том числе в пределах конца X-начала VIII вв. до н.э. (Смирнова 1985а: 33-53; она же 1990: 1-40; Кашуба, Гольцева 1991: 197-209); и выявление нового раннегальштатского горизонта XI-X вв. до н.э. с прочерченной керамикой типа Тэмэоань-Холеркань-Балта, явившегося местным субстратом культуры Сахарна в Пруто-Днестровском междуречье (Laszlo 1986: 65-91; Левицкий 1990: 6-8; он же 1992: 120; он же 1994: 219-256; Ванчугов 1992: 36; он же 1993: 28-39; Кашуба 1992: 35, 36), а также важные и принципиально новые источники по культуре Сахарна как таковой (Кашуба 1989: 59, 60; она же 1996: 394-397; она же 1998: 29-31; Гольцева, Кашуба 1991: 150, 151; они же 1995: 7-37). Тем не менее гипотеза о восточном происхождении культуры Сахарна и, соответственно, приоритетных влияниях с востока на запад в лесостепи предскифского времени Днепро-Поднестровья была с некоторыми оговорками возрождена в последней монографии Л.И.Крушельницкой «Чернолесская культура Среднего Приднестровья», на рассмотрении которой остановимся подробнее (Крушельницька 1998).

Безусловным достоинством монографии Л.И.Крушельницкой является полноценная публикация археологических материалов чернолесской культуры Среднего Днестра, полученных ею при раскопках комплекса памятников возле с. Непоротово. В археологической литературе не раз поднимался вопрос о важности публикации самих вещей, когда необходимо присутствующая в описании объективность и конкретность (что наиболее полно соответствует самому миру вещей) не заменяется типологией, дающей вместо материалов результат их изучения в обработанном и обобщенном виде (Щапова 1994: 81-92). В данной монографии присутствуют и описание конкретных вещей и комплексов, и типология этих вещей, и построенная автором концепция. И если публикация источников составляет большую и лучшую часть книги Л.И.Крушельницкой (Крушельницька 1998: 13-137), то результаты их изучения и особенно концепция автора (Крушельницька 1998: 138-178 и 179-208) вызывают закономерные вопросы и иные суждения.

В первую очередь, удивляет и весьма смущает ярко выраженный полемический задор этой монографии, который иногда выходит за принятые в научной среде академические рамки (например, Крушельницька 1998: 5, 6, 133, 189 прим.). Автор монографии увлекается пылом дискуссии, допуская порой неточности определенного смысла. Так, по Л.И.Крушельницкой, своеобразие днестровских памятников (с выделением их в локальную группу) в ряду предскифских древностей лесостепи Днепро-Поднестровья было выявлено только после проведения первых сезонов возле с. Непоротово (Крушельницька 1998: 201). В действительности, как это тщательным образом показано выше, сред-

неднестровская локальная группа позднечернолесской культуры была обозначена еще в середине 50-х годов. Л.И.Крушельницкая противоречит здесь сама себе, что ясно вытекает из параграфа по истории исследований памятников предскифского периода в Среднем Поднестровье к началу раскопок возле с. Непоротово (Крушельницька 1998: 7-12). Такого рода примеров из указанной монографии можно привести еще несколько, но имеются и более серьезные расхождения.

В предложенной классификации керамики из памятников Непоротово Л.И.Крушельницкая применяет иные термины вместо принятых и широко употребляемых в отечественной археологической литературе, что расширяет и без того усложненный понятийный ряд: «амфоры» вместо «корчаг», «вазы» вместо «кубков» (Крушельницька 1998: 151-161). Добавим здесь, что не только А.И.Мелюкова называет вазы кубками (Крушельницька 1998: 157), но и большинство отечественных и зарубежных археологов. Кстати, среди сосудов, отнесенных Л.И.Крушельницкой к вазам (Крушельницька 1998: 160, рис.97), присутствуют также чаши (Крушельницька 1998: 160, рис.97: 3, 7, 11, 12), а несколько из них вообще могут являться и черпаками (Крушельницька 1998: 160, рис.97: 2, 6, 8, 9). В таком случае, утверждение автора этой работы, что на сегодняшний день на чернолесских памятниках нет такого разнообразия форм ваз (Крушельницька 1998: 157), не имеет под собой почвы. Что могут дать, например, основные формы ручек черпаков (Крушельницька 1998: 164, рис.100) без соотнесения их с архитектоникой сосудов? В таблицах с орнаментальными мотивами на керамике из Непоротово вообще не выделен средний горизонт (Крушельницька 1998: 158, 159, рис.95, 96), который, по утверждениям автора, является наиболее богато представленным в орнаментации посуды (Крушельницька 1998: 185). Три группы мисок оказываются составленными из сосудов разных типов (Крушельницька 1998: 167, рис.102). Классификация керамики дана ею для всех пяти памятников возле с. Непоротово в целом, при этом напрашивается вопрос об отличиях (в массовом материале) между поселениями одного горизонта, учитывая некоторые особенности отдельных памятников (наличие культовых сооружений и прочее).

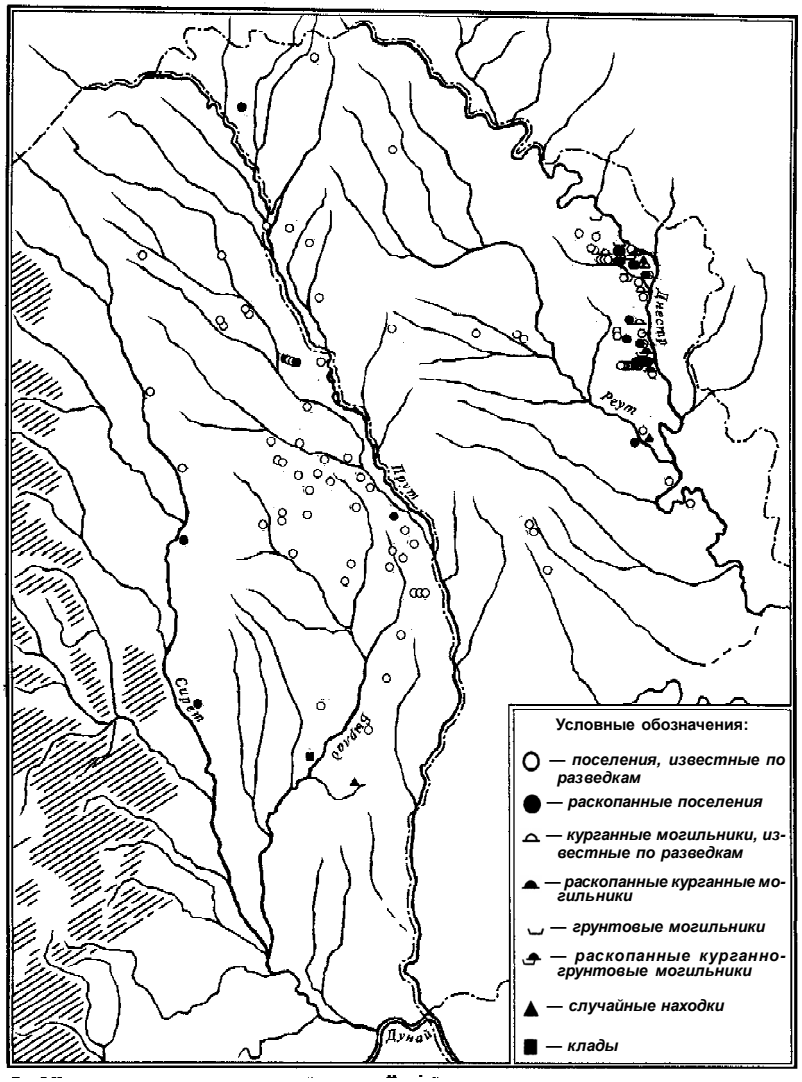
Как будто более ясны предложенные Л.И.Крушельницкой три хронологических горизонта X-VII вв. до н.э. Непоротово, из которых нижний (предкиммерийский) датируется X в. до н.э., средний (киммерийский) — IX-VIII вв. до н.э. и верхний (раннескифский) — VII в. до н.э. (Крушельницька 1998: 179-189). При этом желательны отсутствующие в данной работе сводные таблицы этих горизонтов с маркирующими хроноиндикаторами и характерным массовым материалом, а датировка нижнего горизонта Непоротово X в. до н.э. должна быть подкреплена более весомыми аргументами.

В целом же затронутые выше вопросы относятся к проделанному Л.И.Крушельницкой анализу источников. Как известно, «видение» материалов (даже неким образом формализованное) разными исследователями не бывает одинаковым, а зачастую и вовсе не совпадает. Поэтому не исключено, что высказанное здесь мнение может остаться не воспринятым и «параллельным» предложениям Л.И.Крушельницкой. Но вот в основу ряда суждений, на которых зиждется ее концепция, положены факты, далекие от уже существующих археологических реалий. В чем же заключается предложенная Л.И.Крушельницкой новая концепция относительно чернолесской культуры Среднего Днестра?

Чернолесская культура среднеднестровского ареала, по ее мнению, — это непоротовская группа памятников. Сам же памятник Непоротово (на основе присутствия скорченных погребений с западной ориентировкой, уникального комплекса из кургана Лоевцы и трех последовательных культурно-хронологических горизонтов) является эталонным и эпонимным для обозначения всей среднеднестровской группы в целом.

Население Среднего Днестра в предскифское время, по мнению Л.И.Крушельницкой, приступило к активному натиску не только на соседние с ним на западе племена высоцкой и голиградской культур, но и начало продвигаться на юго-восток, вниз по течению Днестра, в лесостепные районы молдавского Поднестровья, где известны сахарнянские памятники. Основной же причиной такой подвижки населения явилось наличие в местной среднеднестровской среде полувоенного социоорганизма ранних кочевников, само развитие которого потребовало активных действий за пределами своей территории (Крушельницька 1998: 179-200; Бандрівський, Крушельницька 1998: 201-208).

В свете обозначенной выше дискуссии оставим в стороне отдельные положения концепции Л.И.Крушельницкой, само провозглашение которых уже не бесспорно (например, выделение в лесостепном Буго-Днестровском междуречье позднебронзовой культуры типа Гордеевки; наличие на Среднем Днестре в предскифское время полувоенного социоорганизма ранних кочевников; специфический раннекочевнический налет здесь уже в черногоровское время и прочее). Но вывод о частичном оттоке населения из украинской лесостепи на юг означает, как отмечает сама Л.И.Крушельницкая, возврат к гипотезе В.А.Ильинской о происхождении группы Сахарна под влиянием чернолесско-жаботинских памятников с той лишь разницей, что на юг и юго-восток продвигалось не все население Правобережной лесостепи, а только из Среднего Поднестровья (Бандрівський, Кру-



ис.1. Карта памятников раннегальштатской культуры Козия-Сахарна

шельницька 1998: 205).

В основе такой гипотезы находятся следующие положения. Во-первых, акцент на очень небольшую территорию (70 × 30 км), занимаемую группой Сахарна в лесостепной Молдове, которая в 20 раз меньше, чем среднеднестровская группа чернолесской культуры. Во-вторых, анализ известного сходства погребальной обрядности чернолесской культуры Среднего Днестра и группы Сахарна приводит к выводу об их одновременном происхождении из общего источника. Последний невозможно выделить из-за почти полного отсутствия на Среднем Днестре материалов На А1-А2. В-третьих, в дискуссии со сторонниками южнофракийского происхождения группы Сахарна абсолютизируется отсутствие в Нижнем Подунавье (на гипотетичной первоначальной территории) грунтовых и курганных могильников, аналогичных обнаруженным в лесостепных районах поречья Днестра. В-четвертых, при анализе массового материала из Непоротово подчеркивается его сходство именно с ранним памятником Цахнэуць группы Сахарна, а не с поздними (по А.И.Мелюковой) поселениями Солончень-Хлиная и Сахарна. При этом используются датировки родственной группы Козия (Запрутской Молдовы) в пределах X-IX вв. до н.э. и устаревшие даты группы Сахарна, когда даже ранние памятники последней датируются концом IX в. до н.э. (вместо реальной даты — вторая половина X в. до н.э.). В действительности все перечисленные постулаты являются не столь абсолютными и не выдерживают критики, а археологические реалии конца 90-х годов дают принципиально иную картину культурно-исторической обстановки на Среднем Днестре в предскифский период.

Исходя из современного уровня исследований, необходимо отказаться не только от положения об ограниченности и компактности занимаемой группой Сахарна территории (Днестро-Реутское междуречье), но и от разделения родственных раннегальштатских памятников на две группы: типа Козия (в Запрутской Молдове) и типа Сахарна (в Молдове).

Границы ареалов групп Козия и Сахарна рассматривались румынскими и отечественными исследователями раздельно, без связи друг

с другом. Такое раздельное изучение памятников (в лесостепной части Пруто-Днестровского междуречья и лесостепи Запрутской Молдовы, а также запоздалое (через 20-25 лет) открытие последних) повлекло мнение о компактности занимаемой группой Сахарна территории, концентрации ее местонахождений в Резинском и Шолдэнештском районах Республики Молдова, а также отсутствию промежуточных памятников между Козией и Сахарной. При этом подчеркивалось, что западнее Реута не существует ни одного памятника типа Сахарна (Мелюкова 1972: 66-70; она же 1979: 31, 32; она же 1989: 20-23; Лапушнян и др. 1974: 8). Все это нашло полное отражение в своде памятников 1974 года группы Сахарна, в котором даже на момент его публикации присутствовал ряд неточностей (Лапушнян и др. 1974: 5-32).

Пересмотр сведений о разведках 50-60-х годов и данные новых разведок 80-90-х годов в северных и центральных районах Республики Молдова (Смирнов 1949: 189-202; Пассек 1949: 58, 59, 65-67; Маркевич 1955: 131-145; Федоров 1957: 247, 254, 294, 295, 302; Кетрару 1961: 115, 116; Бырня, Чеботаренко 1964: 276; Свод 1987: 465; Кашуба 1989: 59; она же 1990: 107-111; Levinschi, Borziak 1990: 50-54; Leviţki 1994a: 155, 156, 254, fig.77; Гольцева, Кашуба 1995: 3-37; Niculiţă 1996: 139-167; Haheu 1998: 111), а также широкое привлечение всего корпуса румынских источников (Cronica 1994-1995; Cercetări arheologice 1995 и 1997; Laszlo 1989: 115, карта; он же 1994: 168-184, карты 2, 3) позволяют считать всю лесостепную часть Днестро-Сиретского междуречья территорией распространения одной культуры Козия-Сахарна. К последней на сегодняшний день относятся 123 памятника (рис.1).

Отметим, что памятникам типа Козия и типа Сахарна присущи все признаки, характеризующие археологическую культуру как таковую (Классификация 1990: 53-61). Это общность территории (с двумя областями наибольшей концентрации памятников — в Днестро-Реутском междуречье и лесостепных районах бассейнов Бырлада и Жижии); устойчивое сочетание типов: жилых и хозяйственных сооружений, основных форм и орнаментации посуды (при фактически одинаковой субстратной кухонной керамике), вещевого инвентаря; единый раннегальштатский субстрат, которым явился горизонт с прочерченной керамикой Тэмэоань-Холерканъ-Балта, а также миграционный характер происхождения (рис.2). Последний обозначился еще на момент открытия этих памятников (Мелюкова 1960: 145; она же 1961: 48; Laszlo 1972: 200-222) и хорошо подтверждается применением, например, к сахарнянским древностям главных критериев, на основе которых по археологическим данным реконструируются миграции как таковые (Титов 1982: 92-139; Городенко 1990: 47, 48). Все вышеперечисленное, по нашему мнению, позволяет уверенно объединить эти памятники в одну (единую) культуру Козия-Сахарна, отказавшись от обособленных групп — типа Козия и типа Сахарна.

В таком случае культурно-историческая обстановка начала I тыс. до н.э. в южной лесостепи Днестро-Сиретского междуречья реконструируется следующим образом. Во второй половине-конце X в. до н.э. носители культуры Козия-Сахарна мигрируют к северу — северо-востоку из Среднего и Нижнего Подунавья в лесостепную часть Днестро-Сиретского междуречья. Но в течение еще всего X в. до н.э. этот регион оставался густо заселенным племенами культуры Кишинэу-Корлэтэнь (Laszlo 1989: 115; он же 1994: 105-141, карта 2; Левицкий 1990а: 2, 8, 9; он же 1994а: 51-53, fig. 1,2). Поэтому носители Козия-Сахарна «просачивались» на местности демографической разреженности и «пустоты» — мигранты разделились на два потока.

Один поток переселенцев обошел эту густо заселенную область с юго-запада и, таким образом, в лесостепных районах бассейнов Бырлада и Жижии оформилась «группа» Козия. Второй поток обходил эту территорию с юго-востока, сформировав в междуречье Днестра и Реута «группу» Сахарна (рис.1; 2).

Но дальнейшее продвижение населения не закончилось: часть переселенцев закрепилась в местах прибытия, основав, например, в южной лесостепи Пруто-Днестровского междуречья долговременные местонахождения, непрерывное функционирование некоторых из них (Хлижень II-Ла Шанц, Солончень-Хлиная) можно проследить от X до III вв. до н.э. (Гольцева, Кашуба 1995: 7-44, табл.VI-XCVIII; Kashuba, Haheu, Leviţki 1999). Остальное население продолжило освоение новых земель и расселилось вверх по Днестру и Пруту, смыкаясь в северной части ареала культуры Кишинэу-Корлэтэнь — тем самым была сформирована отчетливо выделяемая территория одной культуры Козия-Сахарна (рис.1; 2).

Характер наблюдаемых передвижений культуры Козия-Сахарна, исходя из существующих разработок по типологии миграций (Клейн 1999: 66-68), свидетельствует, что с самого начала имело место переселение достаточно большой фракции народа, в данном случае южнофракийских групп на Дунае. Такое переселение фиксируется, например, ранними памятниками второй половины X в. до н.э. Днестро-Реутского междуречья — поселениями Цахнэуць, Солончень-Хлиная и, отчасти, Матеуць-Ла Башнэ. Затем продолжилась «ползучая» экспансия («волна передвижения») на север и северо-восток (вверх по Днестру и Пруту), в ходе которой были возможны и дополнительные притоки населения из Добруджи еще в IX-VIII вв. до н.э.

Таким образом, тезис о небольшой территории группы Сахарна снимается как не соответствующий действительности. Но возникает дру-

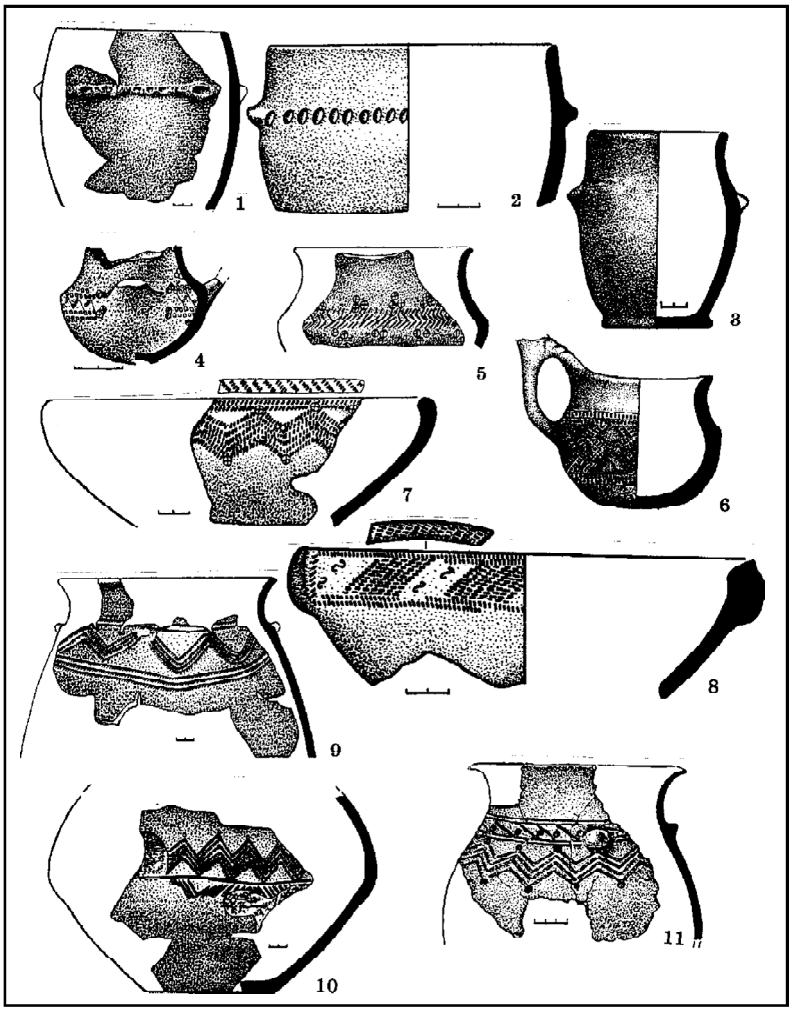


Рис.2. Керамика единой культуры Козия-Сахарна: 1, 4, 5, 7, 9, 10 – поселения Козия и Покреака-Четецуэ группы Козия (по А.Ласло 1972 и К.Иконому 1996); 2, 3, 6, 8, 11 — поселения Главан V, Алчедар III и Бутучень (по М.Т.Кашуба и И.Т.Никулицэ 1996)

гой закономерный вопрос: почему миграция носителей группы Сахарна (даже не культуры Козия-Сахарна) может постулироваться из Нижнего Подунавья, а не с территории Среднего Поднестровья, как это предлагает Л.И.Крушельницкая?

В этом случае, как раз и работают основные критерии (территориальный, хронологический и лекальности), характеризующие миграции по археологическим данным (Титов 1982: 92-139). От этих трех критериев, в конечном итоге, не отказывается и Л.С.Клейн, предлагая вопрос об археологичесих критериях миграций на первых порах для каждого класса миграций решать отдельно. Так, комплексный (лекальный) критерий наиболее часто применяется наряду с критериями неподготовленности (внезапности) и стыка, а в последнем имеются два аспекта — хронологический и территориальный (Клейн 1999: 52-71). И если территориальный критерий одинаково применим как для Нижнего Подунавья, так и для Среднего Днестра (культуры занимают соседние ареалы и соединены промежуточными памятниками), то хронологический критерий и критерий лекальности однозначно указывают на Нижнее Подунавье как первоначальную территорию, откуда мигрировали насельники Козия-Сахарна.

Хроноиндикаторами второй половины X в. до н.э. как момента появления «группы» Сахарна в лесостепной Молдове являются бронзовые пластинчатые рифленые браслеты и железные двухпетельчатые смычковые фибулы из курганов III и IV Сахарнянского могильника I (Цыглэу), бронзовые пластинчатые рифленые браслеты из кургана III (I по А.И.Мелюковой) Сахарнянского могильника II (Гура Хлубоака), а также фрагмент бронзовой пилки с поселения Матеуць-Ла Башнэ (рис.3).

Хронология бронзовых пластинчатых браслетов с рифлением, особенно финал их бытования в Пруто-Днестровском междуречье, детально была рассмотрена в работе Г.И.Смирновой. В целом, их бытование охватывает BrD-Ha A, конечные даты — Ha A2-B1, а для Северо-Западного Причерноморья — в пределах второй половины-конца X в. до н.э. (Смирнова 1985а: 38, 39). Такая датировка (в пределах второй половины X в. до н.э.) может быть принята и сегодня, несмотря на существующую тенденцию удревнения отдельных фаз европейской бронзы и раннего гальштата и особенно ограничение Ha B 3 IX — серединой VIII вв. до н.э. (Бочкарев 1992: 22).

Четыре из сахарнянских браслетов отличает от типичных пластинчатых с рифлением наличие перехвата посередине, из которых два имеют по две выпуклости (шишечки) на концах (рис.3: 8, 11, 12, 14). Точные аналогии им пока не известны. Можно упомянуть золотые рифленые браслеты с 10 выпуклостями на концах из клада Хинова в Юго-Западной Олтении (Davidescu 1981: 8, 11; fig.2: 2; 9:1; Guma 1995: 108, 109, pl.X.B: 9-35). Первоначально клад Хинова был датирован «концом бронзового века и началом раннего железного века» и отнесен к группе Инсула Банулуй (Davidescu 1981: 20; Guma 1993: 178). Затем датировка и культурная принадлежность клада пересматривались (Chicideanu 1992: 52, note 14), и он был соотнесен с горизонтом кладов Михалков-Фокору-Дали (Terzan 1987: 10). В настоящее время клад Хинова относится к одноименной культурной группе и датируется На А2-В1 (вторая половина XI — первая половина X вв. до н.э.) (Guma 1995: 108, 109). Несмотря на аргументированное мнение О.Г.Левицкого, что датировка этого клада несколько завышена и период На В1 может быть полностью исключен, для аналогии браслетам из Сахарнянского могильника I важен факт существования браслетов с выпуклостями уже в период раннего гальштата.

Двухпетельчатые фибулы аналогичны по схеме двум вариантам ранних смычковых фибул с дужкой, параллельной или непараллельной ножке — белозерским фибулам из Струмка и Лукьяновки. Несмотря на то, что фибула из Струмка оказалась несколько иной схемы, чем ранние фибулы XII в. до н.э. (Vancugov 1996: 300, abb. 10:3), весь массив дуговидных (-?) белозерских фибул Северного Причерноморья по аналогиям с Эгейских островов и Югославии датируется XI-X вв. до н.э. (Sapouna-Sakellarakis 1978: 41-45; taf.1: 1, 2, 15, 21; 3: 51A-69; Vinski-Gasparini 1973: 115, 116, 204; tabl.89: 4, 6; 90: 1; 91:6; Vasic 1982: 280, 281). Сахарнянские фибулы крупнее белозерских и изготовлены из железа, поэтому их можно поставить последними в ряду собственно белозерских фибул и датировать второй половиной X в. до н.э. (рис.3: 10, 13). Отметим здесь еще одну железную фибулу (фрагмент), обнаруженную на городище Покреака-Четэцуэ группы Козия Запрутской Молдовы (Iconomu 1996: 28, 47; fig.14:3). Важным является и наличие фрагмента железной фибулы в погребении 55 белозерского могильника Казаклия в Буджаке, которое датируется второй половиной X в. до н.э. (Agulnikov 1996: 43, 65, 107; fig.19:4). Наконец, датировка — вторая половина X в. до н.э. — подтверждается и совместным

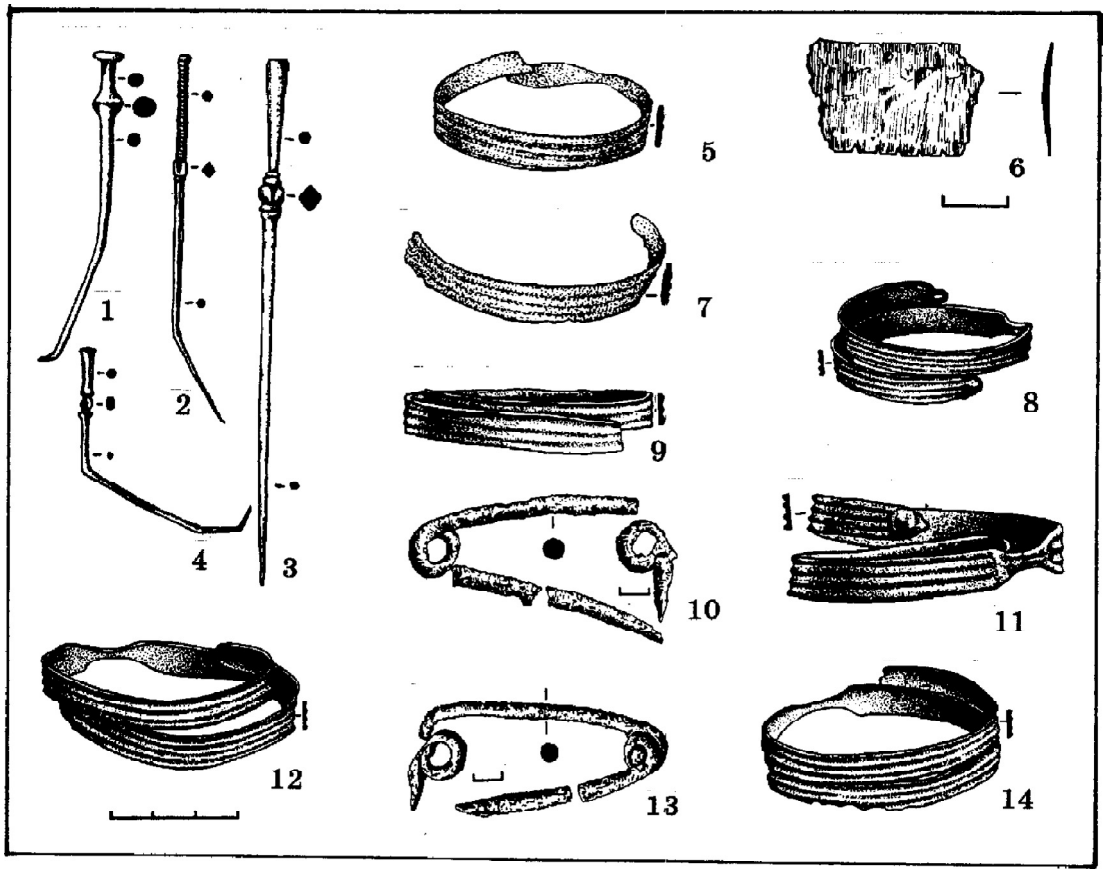


Рис.3. Хроноиндикаторы нижних хронологических границ развитого Чернолесья Среднего Днестра (1-4) и Сахарны (5-14): 1-Комаров, 2-4 — Днестровка-Лука, 5,7-Сахарнянский могильник II (Гура Хлубоака), 6-Матеуць-Ла Башнэ, 8-14 — Сахарнянский могильник I (Цыглэу)

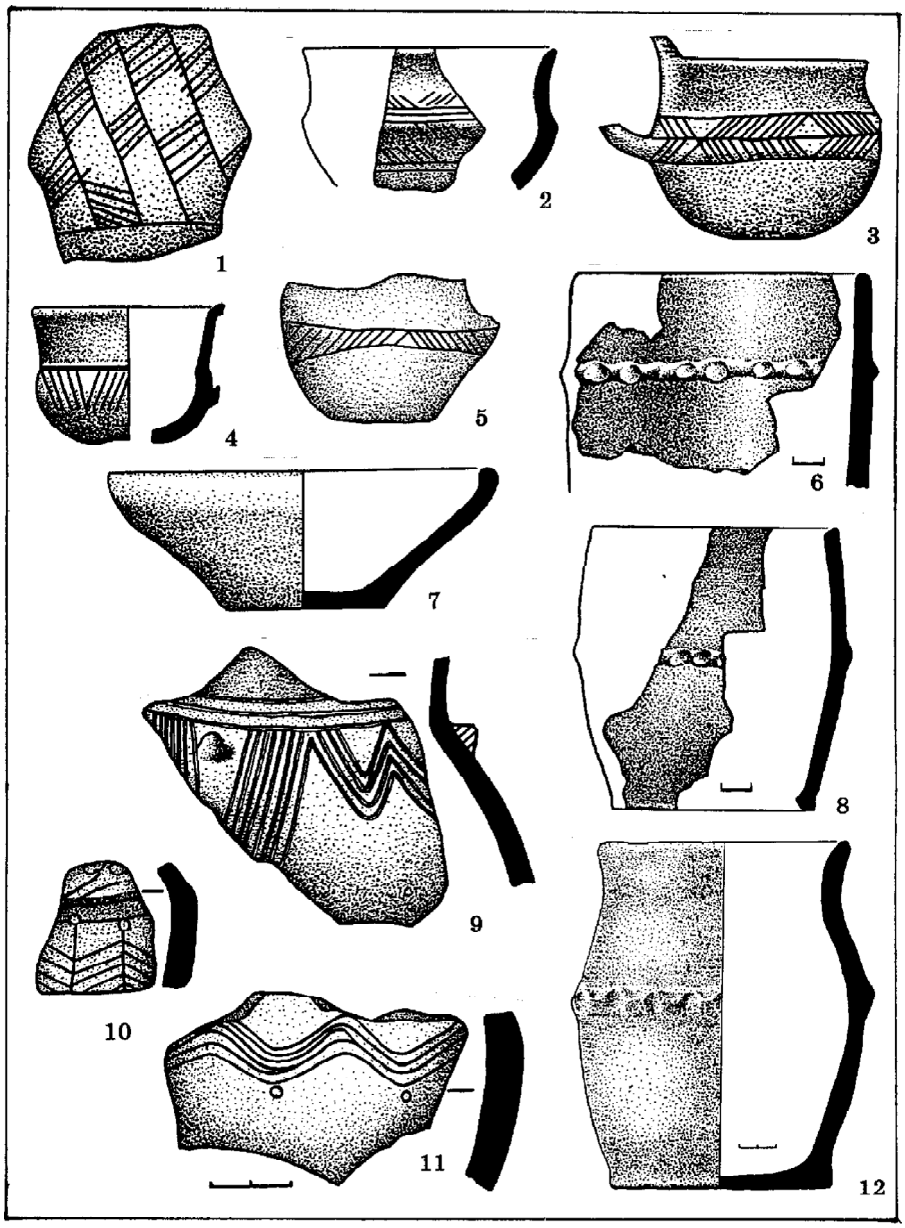


Рис.4. Керамика раннего сахарнянского поселения Солончень-Хлиная

нахождением в одном погребении кургана III Сахарнянского могильника I (Цыглэу) железной фибулы и бронзовых рифленых браслетов (рис.3: 8-12, 14).

Фрагмент пилки с поселения Матеуць-Ла Башнэ относится к типу изделий с узким плоским полотном в виде продолговатой пластины с утолщением в средней части, с покрытыми зубчатой насечкой краями (рис.3: 6). Ареал таких изделий довольно широк — они представлены, преимущественно, в кладах Венгрии, Югославии, Словакии и Трансильвании. На территории Днестро-Сиретского междуречья в раннегальштатской культуре с каннелированной керамикой Кишинэу-Корлэтэнь известно 6 экземпляров этого типа (Leviţki 1994a: 126, 127, 235; fig.58: 15-20). Основное время их бытования приходится на период На А-В1. В отечественной археологической литературе хронология этих изделий достаточно широко обсуждалась, мы придерживаемся аргументированного мнения, что в Днестро-Реутское междуречье бронзовые пилки попадали в XI-X вв. до н.э. (Смирнова 1985: 47; Leviţki 1994a: 126, 127). Что же касается фрагмента пилки с сахарнянского поселения Матеуць-Ла Башнэ, то она, возможно, одна из позднейших и должна датироваться конечным периодом времени бытования здесь таких изделий, то есть второй половиной — концом X в. до н.э.

Все приведенные аналогии хроноиндикаторам культуры Сахарна убедительно свидетельствуют в пользу датировки ее нижней хронологической границы в пределах второй половины X в. до н.э. Массовый же материал ранних памятников культуры Сахарна также подтвержда-

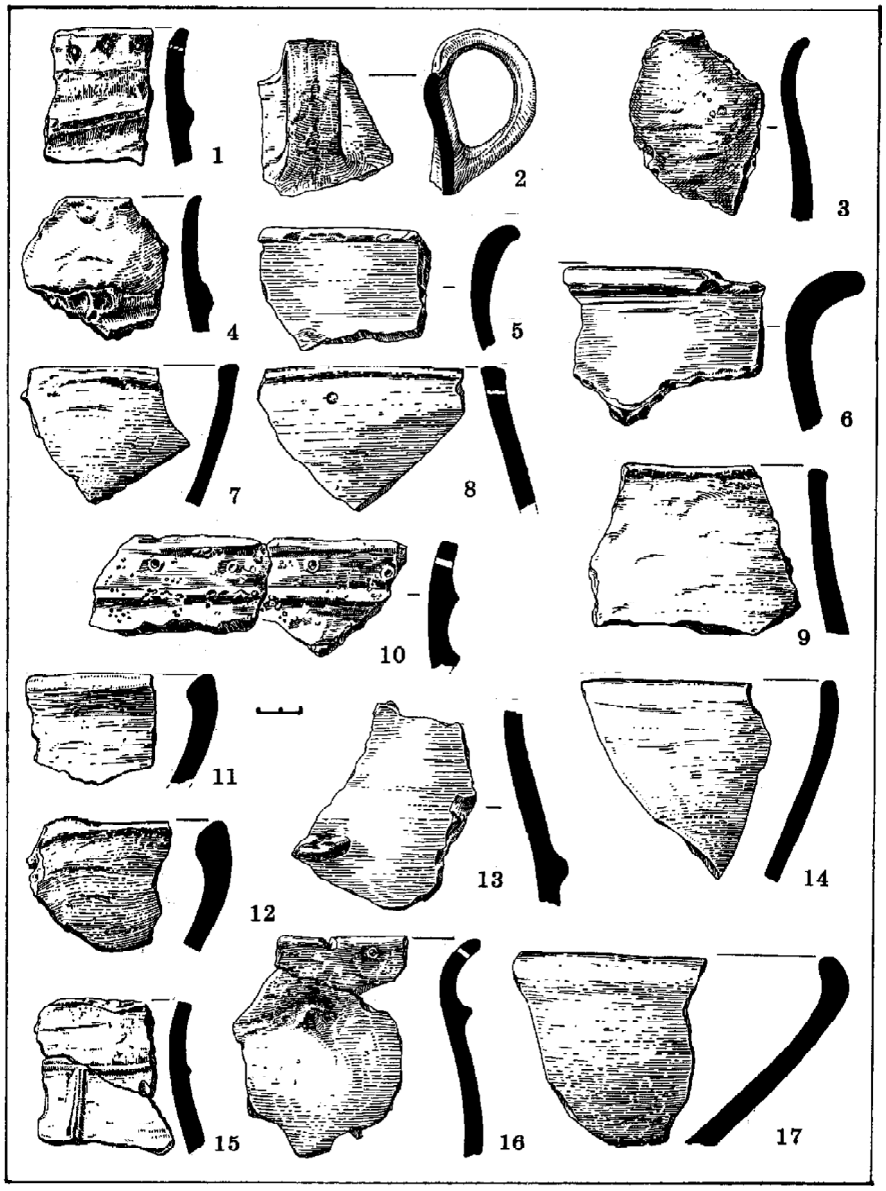


Рис.5. Керамика белогрудовских поселений Суботовка и Яруга-Фигура Среднего Днестра (по В.Д.Рыбаловой 1999)

ет такую дату (рис.4).

Последнее опровергает суждение Л.И.Крушельницкой о сходстве керамики из нижнего горизонта Непоротово с ранними памятниками группы Сахарна. В керамическом комплексе раннего сахарнянского поселения Цахнэуць (по А.И.Мелюковой) преобладает резной орнамент и выделяется пласт керамики с прочерченным и резным узором, аналогичный материалам раннего слоя Бабадага (Бабадаг I) XI в. до н.э. (Мелюкова 1982: 3-12; Morintz 1964: 101-118; он же 1987: 39-71; Hansel 1976: 122-134).

К числу ранних композиций орнамента на столовой керамике культуры Сахарна в целом, по аналогиям с узором раннегальштатских комплексов с прочерченной керамикой Тэмэоань-Холеркань-Балта (Laszlo 1986: 65-91; Ванчугов 1983: 88-101; он же 1993: 28-39; Левицкий 1990: 6-8; он же 1994: 219-256), относятся группы параллельных косых линий, чередующихся под углом друг к другу (одинарные и двойные ряды), горизонтальные и вертикальные зигзаги, а также простые косозаштрихованные горизонтальные ленты. К ранним мотивам ленточного построения сахарнянского орнамента относятся также полосы одинарных заштрихованных треугольников, прямоугольников или ромбов, сочетающихся в простейших комбинациях, иногда образующих сетки в средней части тулова сосудов (Гольцева, Кашуба 1995: 23). Все это хорошо прослеживается на столовой посуде еще одного раннего сахарнянского памятника — поселения Солончень-Хлиная (рис.4).

При анализе материалов поселения Солончень-Хлиная, исследованном в 1952-53 гг. А.И.Мелюковой, (Мелюкова 1954: 59-68; она же 1955: 51-64) мною выделяется культурно-хронологическая колонка раннего железного века,

охватывающая период второй половины X-III вв. до н.э. Древности типа Холеркань на этом памятнике были зафиксированы исключительно в сахарнянском контексте. Это позволяет считать, что поселение Солончень-Хлиная было основано во второй половине X в. до н.э. совместно носителями групп Холеркань и Сахарна, либо носители типа Сахарна появились в уже функционирующем поселении типа Холеркань, где продолжилось их совместное проживание с «растворением» последних в инокультурной среде. В любом случае, сам факт наличия древностей типа Холеркань позволяет нижнюю границу горизонта культуры Сахарна этого памятника отнести ко второй половине X в. до н.э.

Анализ керамического комплекса Солончень-Хлиная показывает, что ведущими в кухонной посуде являются сосуды выраженных раннегальштатских типов, а среди столовой посуды отсутствуют поздние типы черпаков с низкой чашечкой, и буквально несколькими фрагментами представлены и поздние мисковидные сосуды. Большой процент (39%) столовой посуды этого сахарнянского поселения украшен орнаментом, среди которого преобладают ранние мотивы резного узора (рис.4: 1-5, 9-11).

Керамика нижнего горизонта Непоротово (X в. до н.э. по Л.И.Крушельницкой) существенно отличается от ранней сахарнянской посуды. Кухонная керамика Непоротово имеет субстратный белогрудовский облик — ведущим типом здесь выступает тюльпановидный горшок с проколами (рис.6: 15, 16). В орнаментации столовой посуды из нижнего горизонта Непоротово преобладает резной узор, но усложненных мотивов и комбинаций (рис.6: 1-4, 8, 11-14, 17).

При сравнении керамических комплексов Непоротово (даже не всей чернолесской культуры Среднего Днестра) и группы Сахарна на первый план выступает их различная субстратная основа: в первом случае — белогрудовско-раннечернолесская, во втором — раннегальштатская Балкано-Подунавья. Даже если принимать во внимание, как считает Л.И.Крушельницкая, что вопрос о формах и орнаментации керамики сильно абсолютизируется и при помощи его пытаются решить большинство этнических проблем, а это всего лишь распространение стиля или творческие заимствования (Бандрівський, Крушельницька 1998: 205), то последние и вовсе не могли быть восприняты от носителей чернолесской культуры Среднего Днестра. В том самом субстратном белогрудовском керамическом комплексе (рис.5) отсутствуют потенциальные возможности для творческого развития форм и орнаментации столовой посуды, которые мы наблюдаем здесь уже на чернолесском этапе (рис.6). В раннегальштатском же керамическом комплексе Балкано-Подунавья в целом, напротив, имеется мощная основа для дальнейшего развития уже бытующих наработок форм и орнаментации столовой посуды (Hansel 1976: 122-164). Но и в последнем случае, а в чернолесско-сахарнянском симбиозе особенно, можно говорить не столько об отдельных формах и орнаментации столовой посуды, сколько о своеобразной раннегальштатской посудной триаде (корчага-черпак-миска), которая проявляется в устойчивом сочетании этих основных разновидностей.

Возвращаясь к абсолютным датам Чернолесья II Среднего Днестра, отметим, что датировка его в целом X в. до н.э. проблематична. Даты: конец X в. до н.э., рубеж X-IX вв. до н.э., — фиксируются исключительно по керамике, имеющей аналогии в белогрудовско-раннечернолесских комплексах (например, Смирнова 1977: 97-99) или в поздней Белогрудовке, которая, по мнению В.Д.Рыбаловой, является фактически ранним Чернолесьем (Рыбалова 1999). Можно констатировать, что надежные хроноиндикаторы X в. до н.э. для развитого Чернолесья Среднего Днестра отсутствуют.

В качестве границы между ранним и поздним Чернолесьем (на всей территории распространения этой культуры) А.И.Тереножкиным был предложен рубеж X-IX вв. до н.э. в свете общего удревнения синхронных между собой предскифских степных и лесостепных культур Северного Причерноморья (Тереножкин 1976: 208; Ильинская, Тереножкин 1983: 229). Такую датировку поддержала и Г.И.Смирнова, подчеркивая, что для развитого Чернолесья пока нет убедительных данных для отнесения нижнего хронологического рубежа к X в. до н.э., все ранние материалы относятся исключительно к IX в. до н.э., либо дают широкие расплывчатые даты (Смирнова 1985а:41).

Для развитого Чернолесья Среднего Днестра хроноиндикаторами IX в. до н.э. выступают 4 бронзовые узелковые булавки (рис.3: 1-4). Одну из них с поселения Комаров — с плоской гвоздевидной головкой и выступом на шейке — по аналогиям с моравскими и западновенгерскими экземплярами можно отнести к На В2 (рис.3:1). Уникальными оказались 3 булавки из погребения и насыпи кургана Днестровка-Лука — они с посоховидной головкой (две — с гладкой, одна — с накольчатой) и кубическим расширением на стержне (рис.3: 2-4). Прямые аналогии им отсутствуют, но их можно связывать, как отмечает Г.И.Смирнова, с одним из вариантов узелковых булавок с посоховидной (палицевидной) головкой. Булавки из Днестровки-Луки вместе с другими вариантами узелковых булавок датируются На В1-В2, но не позднее конца IX в. до н.э. (Смирнова 1985а: 41, 42).

Остается один из самых сложных вопросов и главных «козырей» концепции Л.И.Крушельницкой — это близость погребального обряда чернолесской культуры Среднего Днестра и группы Сахарна, а также отсутствие раннегальштатских погребальных памятников в Нижнем Подунавье, на гипотетической первоначальной территории

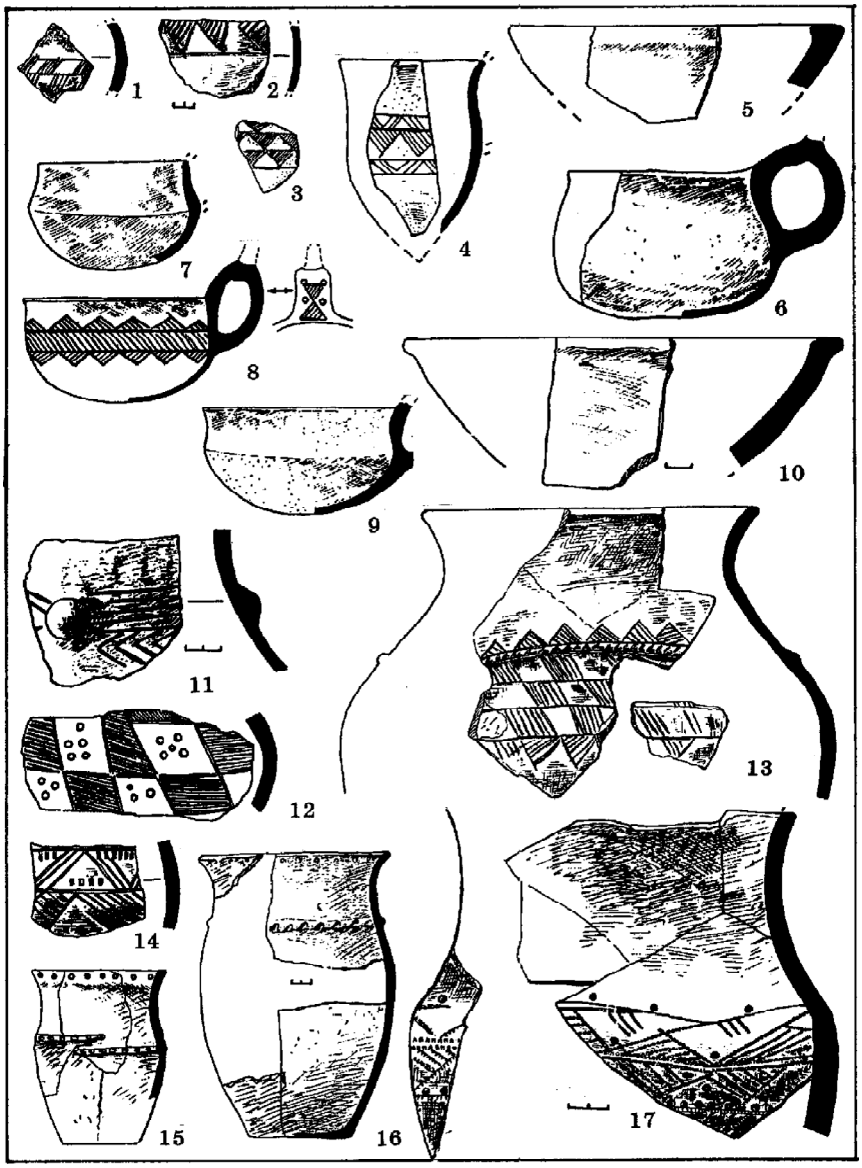


Рис.6. Керамика нижнего горизонта чернолесского комплекса Непоротово Среднего Днестра (по Л.И.Крушельницкой 1998)

обитания последней. Но и в этом случае возможен другой путь решения проблемы.

При констатации общего сходства погребальной обрядности чернолесской культуры Среднего Днестра и культуры Сахарна необходимо, в первую очередь, отказаться от его абсолютизации. Так, все спорящие стороны провозглашают лишь общие черты этой близости (Мелюкова 1979: 87; Смирнова 1977: 100; она же 1984: 56, 57; Бандрівський, Крушельницька 1998: 203), что вовсе не означает полной идентичности погребальных обычаев этих двух культур. Видимо, отсутствовал и общий источник происхождения этих погребальных обрядов. Поэтому вопрос о близости погребальных обрядов Чернолесья II Среднего Днестра и культуры Сахарна не должен решаться в пользу признания одного доминирующего вклада: исключительно чернолесского или сахарнянского. Погребальный обряд этих культур в равной степени являлся как чернолесским, так и сахарнянским.

Как известно, свойственная культурному процессу конвергенция неизбежно ведет к общим явлениям в развитии одновременных археологических культур, к определенной нивелировке и близости материальной и духовной культуры различных групп населения одной эпохи (Массон 1995: 5-7). Не исключено поэтому, что имело место параллельное, совпадающее в самых общих чертах, развитие погребальной обрядности в эпоху поздней бронзы — раннего гальштата на Среднем Днестре и Балкано-Подунавье (собственно, это единый Карпатский регион со свойственными ему ритмами культурогенеза). Итогами обозначенного развития явились «совпадающие» погребальные обряды Чернолесья II Среднего Днестра и Сахарны, контакты и взаимодействия между которыми только усилили и укрепили это совпадение. В таком случае, общими чертами в развитии погребальной обрядности отмеченных областей этого единого

региона являлись: ингумация, использование камня в надмогильных конструкциях (панцирь, обкладка погребенного или каменный ящик), скорченное положение погребенных и, может быть, специфика погребального инвентаря, для которого типичны посуда и украшения и полностью отсутствуют предметы вооружения. В какой степени эти общие черты можно проследить на Среднем Днестре и Балкано-Подунавье в эпоху поздней бронзы — раннего гальштата?

На Среднем Днестре ингумация, скорченная поза погребенных, специфический погребальный инвентарь и курганные насыпи являются местными признаками, восходящими к белогрудовско-раннечернолесской культуре. Здесь отметим курганы у с. Печоры на Южном Буге и ранний курган №2 у с. Мервинцы в Юго-Западной Подолии (Рыбалова 1961: 21-23; Смирнова 1977: 97-99; она же 1984: 57). Генезис же погребального обряда белогрудовской культуры этого региона может рассматриваться в русле вопроса происхождения этой культуры всей территории ее распространения, в том числе и Поднестровья.

Публикуя материалы поселений Суботовка и Яруга-Фигура Левобережья Среднего Днестра и, тем самым, подтверждая территорию распространения белогрудовской культуры на запад вплоть до Днестра, В.Д.Рыбалова рассматривает и происхождение Белогрудовки этого региона. По ее мнению, белогрудовская культура Поднестровья сложилась на основе юго-восточного ответвления комаровско-тшинецкой культуры, которая проникла с Юго-Западной Волыни через притоки Припяти (Рыбалова 1999). Комаровско-тшинецкий (или комаровский, с учетом выделения И.К.Свешниковым только комаровской культуры с 8 локальными группами — Свешников 1990: 86) субстрат белогрудовской культуры лесостепного Буго-Днестровского междуречья подтверждают и материалы Войцеховского (современного Колосовского) курганного могильника (Лагодовська 1948: 62-77; Лагодовська, Захарук 1956: 69-74), основные черты погребального обряда которого (невысокие насыпи, скорченное положение погребенных, ориентировка головой на запад) отчетливо проступают уже в последующих белогрудовских памятниках, например, в могильнике Печоры (Рыбалова 1961: 21).

Обычай употребления камня в надмогильных конструкциях известен в белопотоцкой группе комаровской культуры, которая локализуется в южной части Верхнего Днестра, преимущественно по его левому притоку Серету (Swiesznikow 1967: 46, 47; rys.1: 33-36, 41, 42). Отличительной чертой этой локальной группы является погребальный обряд, характеризующийся каменными ящиками со скорченным положением скелетов, ориентированных преимущественно головой на запад (Swiesznikow 1967: 53-55; rys. 3: III, IV; он же 1969: 42, 43).

Любопытны в связи с этим каменные конструкции раннего могильника Бедрэжий Векь (Старые Бедражи) культуры Ноуа бассейна Прута. Особенностью погребального обряда этого могильника является применение камня для засыпки могил и устройства могильных сооружений (такие захоронения в могильнике составляют 15%) (Смирнова 1969: 61). Такое же сравнительно широкое использование камня в погребениях (ящики, обкладка) зафиксировано и в курганно-грунтовом могильинке Бурлэнешть Пруто-Днестровского междуречья (Levițki, Demcenko 1997: 117-120; fig.2; 3: 1, 6; 4: 8, 11, 12; 5: 1, 8, 9). Каменные обкладки погребений, но в меньшем количестве, в культуре Ноуа известны также в могильнике Островец в Прикарпатье (Балагури 1964: 7) и ряде могильников Румынии (Florescu 1991: 94, 133 и сл.). В поисках истоков обычая применения камня в могильнике Бедрэжей Векь Г.И.Смирнова предложила в качестве возможного варианта считать белопотоцкую группу комаровской культуры (Смирнова 1969: 63, сн.40). Последующие разработки по культуре Ноуа подтверждают вклад комаровских древностей в ее формирование (Смирнова 1976: 118-135; она же 1993: 57-73), что не исключает и определенных заимствований в погребальном обряде.

В таком случае, обычай использования камня в надмогильных сооружениях (в том числе и каменные ящики) на Среднем Днестре в предскифское время может являться и своего рода постноуской традицией, что не должно исключаться по двум обстоятельствам. Во-первых, между культурой Ноуа и Белогрудовкой возможен хронологический стык. Последние принятые датировки культуры Ноуа показывают, что ее верхняя хронологическая граница приходится на конец XIII в. до н.э. или рубеж XIII-XII вв. до н.э. (Laszlo 1993: 33; он же 1994: 125-130; Смирнова 1990: 26-28; Левицкий 1990а: 20-23; Крушельницкая 1991: 22-24 и др.). Что же касается хронологии Белогрудовки, то в своей посмертно опубликованной статье В.Д.Рыбалова подошла к этому весьма осторожно, определяя ее нижнюю хронологическую границу не ранее рубежа XII-XI вв. до н.э. (Рыбалова 1999). В послесловии к ее статье Г.И.Смирнова справедливо отметила, что нижний хронологический рубеж развитых белогрудовских памятников должен уходить в XII в. до н.э., что вытекает даже из приводимых самой В.Д.Рыбаловой аргументов (Смирнова 1999). Во-вторых, необходимо учитывать особенности формирования белогрудовской культуры Среднего Днестра — отсутствие в этом процессе влияний степной культуры (хотя связи с балтской группой прослеживаются) и, соответственно, значительный вклад лесостепных культур, в частности, каннелированного гальштата типа Кишинэу-Корлэтэнь (Рыбалова 1999). Так, на Правобережье Среднего Днестра (в северных районах Республики Молдова) выделя-

ется ряд памятников типа Тринка, сочетающих элементы Кишинэу-Корлэтэнь и Белогрудовки-раннего Чернолесья (Leviţki 1992: 120, 121). Такой акцент в сторону лесостепного компонента при формировании белогрудовской культуры поречья Среднего Днестра, возможно, способствовал стойкости известных традиций культуры Ноуа в этом регионе.

Подтверждается и существенный вклад культуры Ноуа в формирование белозерской культуры Северо-Западного Причерноморья. Такие признаки погребального обряда белозерской культуры, как южная ориентировка, появление грунтовых могильников, смешанные курганно-грунтовые могильники и принципы их планировки, связывают с наследием культуры Ноуа (Ванчугов 1990: 129-131). Традиции культуры Ноуа в указанном регионе прослеживаются вплоть до эпохи среднего гальштата (до VIII в. до н.э.) — этим временем датируется могильник Стойкань в Запрутской Молдове, все 60 погребений которого представлены скорченными на боку трупоположениями с преимущественно южной ориентировкой (Petrescu-Dimboviţa 1953: 157-212; Petrescu-Dimboviţa, Dinu 1974: 71-97). А.И.Мелюкова предполагает, что стойканский могильник был оставлен потомками культуры Ноуа (Мелюкова 1979: 35).

Обычаи использования камня в надмогильных конструкциях, наряду с ингумацией, скорченной позой погребенных и, отчасти, ориентировкой, возможно, появились в белогрудовской культуре Среднего Днестра, с одной стороны, от субстратной для нее комаровской культуры (белопотоцкая группа), а с другой, в качестве и постноуских элементов.

Что касается ситуации в Нижнем и Среднем Подунавье, то и на сегодняшний день можно констатировать, что пока не обнаружены могильники раннегальштатских групп Бабадаг и Инсула Банулуй, родственных культуре Сахарна.

Пытаясь разрешить возникшую ситуацию, Г.Джуганару обращает внимание на целые и фрагментированные человеческие скелеты, обнаруженные на 5 поселениях культуры Бабадаг, в том числе и на эпонимном памятнике (рис. 7: 3). Целые человеческие скелеты (около 10 случаев) зафиксированы в скорченном положении на боку, в ямах округлой формы и колоколовидных в сечении (Juganaru 1997a: 99-110). При находке такого скелета в 1996 г. на поселении Бабадаг были прослежены все ритуальные признаки погребального характера: очищение ямы огнем, поломка сосуда над умершим, обкладка тела (нижней части) каменными плиточками и засыпка ямы стерильным грунтом. Г.Джуганару считает, что в эпоху раннего и среднего гальштата зафиксированные на поселениях ритуальные действия погребального характера заменяли собой отсутствие могильников. В качестве аналогий он приводит ритуальные скопления на сахарнянском культовом памятнике Хлижень II и аналогичные находки на городище Телеак культуры Гава (Juganaru 1997: 18, 19).

Вполне продуктивным представляется суждение о замене (или компенсации) захоронений в могильниках определенными ритуалами, зафиксированными на поселениях и культовых памятниках. Но в данном случае важен сам факт наличия ингумации (в том числе и скорченной позы погребенных) на памятниках типа Бабадаг, что достоверно свидетельствует об обряде трупоположения в этой культуре. Поэтому ингумация и скорченная поза погребенных культуры Сахарна являются не заимствованными чертами сахарнянского погребального обряда, а исконными и характерными его признаками.

Здесь можно напомнить и сложившееся мнение, что погребальным обрядом фракийцев является трупосожжение. Ко времени появления культуры Козия-Сахарна в Днестро-Сиретском междуречье эта территория оказалась занятой инородными памятниками, первоначально обозначенными как фракийский гальштат. По мере их изучения выяснилось, что они (Гава-Голиграды и Кишинэу-Корлэтэнь) представляют собой восточные ответвления культуры полей погребальных урн Карпатского бассейна. Но за фракийцами в качестве погребального обряда стали признавать исключительно кремацию. Между тем в последнее время относительно фракийства культур каннелированного гальштата высказываются сомнения (Смирнова 1990a: 28-30; она же 1993a: 94, 97; abb.2; 5; Alexianu 1996: 222, 223). А на точку зрения о фракийской принадлежности культуры Ноуа не оказывает давления и то обстоятельство, что ее западные группы (где «восточный вклад» менее ощутим) дают исключительно обряд трупоположения (Andritoiu, Vasiliev 1993: 101-123). Вполне правомерно в сложившейся ситуации в качестве погребального обряда фракийцев рассматривать в том числе и ингумацию. Тем более, когда речь идет о совершенно иной культуре — типа Сахарна, фракийство которой не вызывает сомнений — необходим и другой подход.

Последнее подтверждается и погребальным обрядом раннегальштатского горизонта (XI-X вв. до н.э.) с прочерченной керамикой типа Тэмэоань-Холеркань-Балта, который является местным субстратом культуры Козия-Сахарна (Laszlo 1986: 65-91; Левицкий 1990: 6-8; он же 1994: 219-256; Ванчугов 1992: 36; он же 1993: 28-39; Кашуба 1992: 35, 36). Исследованные могильники и погребения этого горизонта: Фолтешть и Тэмэоань группы Тэмэоань (Laszlo 1986: 67), Ханска группы Холеркань (Левицкий 1985: 125-128; он же 1994: 222, 223), а также Шершенцы и Черкасов сад группы Балта (Ванчугов 1983: 94; он же 1990: 49), — демонстрируют наличие ингумации, скорченной позы погребенных в грунтовых ямах со вторичными захоронениями (или перезахоронениями), а также «специфический» погребальный инвентарь или вообще его отсут-

ствие (рис.7: 1, 2). Считается, что основой сложения, например, группы Тэмэоань Запрутской Молдовы явились древности типа Сихлеану (или «Пребабадаг» по С.Моринцу), посредством которых были переданы элементы эпохи бронзы и особенно культуры Монтеору (Morintz 1971: 22; он же 1978: 160; он же 1987: 52; Harţuche 1972: 59-75; Hansel 1976: 144-146; Brudiu 1981: 529-536; Laszlo 1986: 70; он же 1997: 67-84). Отметим здесь, что и погребальный обряд группы Сихлеану — эта та же ингумация, что иллюстрирует Рымницеле (Anastasiu, Harţuche 1967: 19-21).

В южной Мунтении и северной Болгарии во

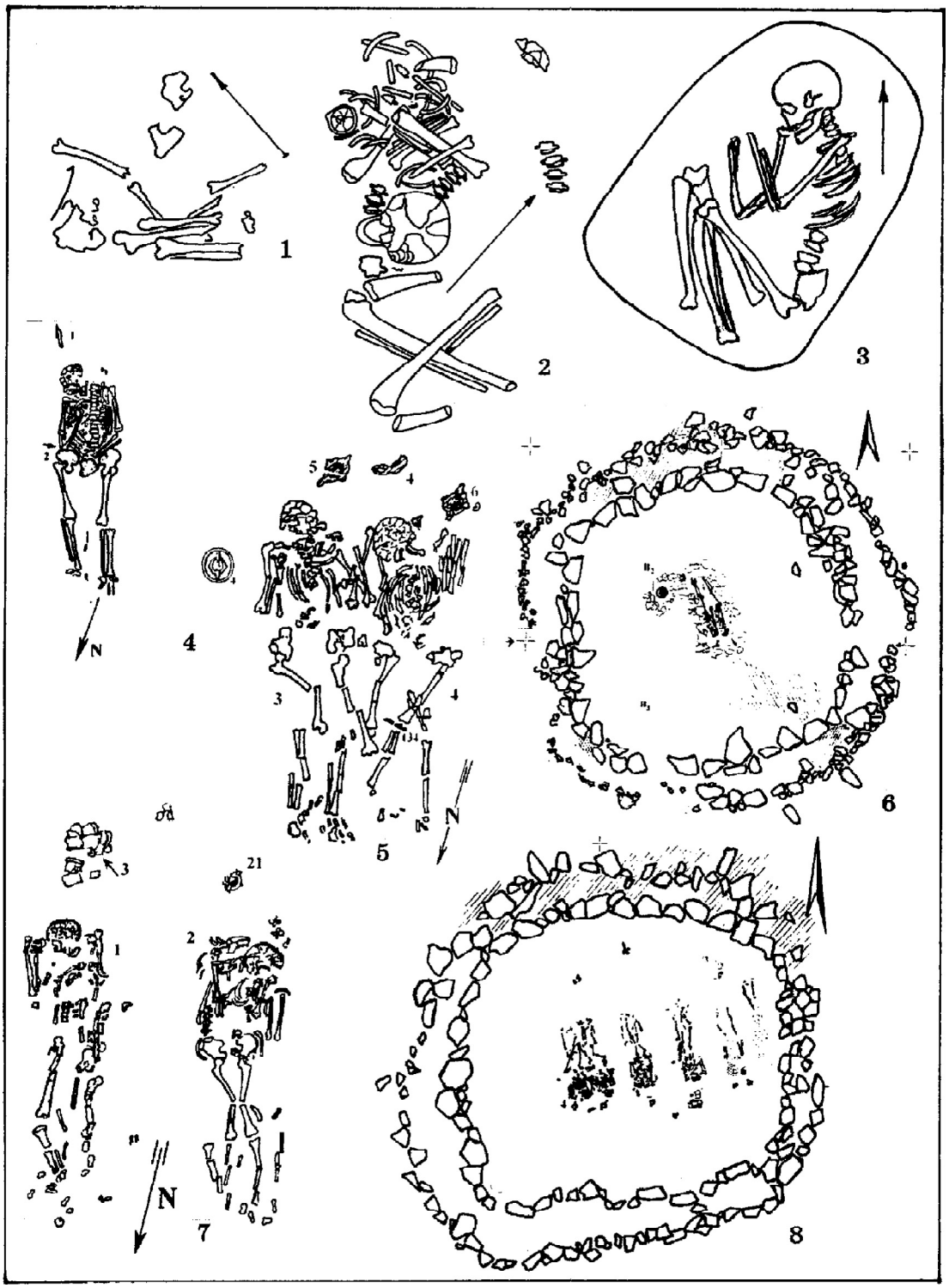


Рис. 7. Некоторые погребальные комплексы раннегальштатских групп Балкано-Подунавья: 1 — Фолтешть группы Тэмэоань (по А.Ласло 1986); 2 — Ханска группы Холеркань (по О.Г.Левицкому 1985); 3 — Гарвын-Млажитул Флорилор (по Г.Джуганару 1997); 4-8 — Сборяново (по Т.Стоянову 1997).

второй половине XII-X вв. до н.э. известна раннегальштатская группа Зимнича-Новград, отличительным признаком которой являются могильники с ингумацией. Обряд трупоположения этой группы в основном связывают с местными культурами средней и поздней бронзы (Bassa, Marqhitan 1967: 108; Ignat 1976: 103), или же предполагаются идущие с запада влияния, где наряду с ингумацией известна и кремация (Alexandrescu 1978: 124). Несмотря на свое положение на западной периферии позднейших групп культуры полей погребальных урн, группа Зимнича-Новград демонстрирует более тесные связи с горизонтом Тэмэоань-Холеркань-Балта и Бабадагом I Нижнего Подунавья (Guma 1995: 109, 110).

Значительный пласт ингумационных погребений раннегальштатского времени выявлен в северной и северо-восточной Болгарии, среди которых особый интерес в русле рассматриваемых вопросов представляет могильник Сборяново-Нивата на певеца (Стоянов 1992: 82-96; он же 1992а: 93-114; он же 1997). В пяти небольших курганах этого могильника с каменными панцирями, закладами и кромлехами, нередко состоящими из двойных и тройных рядов, было обнаружено 24 погребения (20 — по обряду трупоположения). Одиночные, парные и коллективные захоронения совершены на уровне древнего горизонта в вытянутом положении на спине или с небольшим разворотом, ориентированы преимущественно на юг (рис.7: 4-8). На основе анализа погребального инвентаря (посуда, украшения, орудия труда) Т.Стоянов датировал могильник X (концом XI) — серединой IX вв. до н.э. (Стоянов 1997: 80-85). Специфика полученных материалов на широком фоне раннего гальштата Балкано-Подунавья позволила автору раскопок поставить вопрос о выделении культурной группы Сборяново, синхронной, но не идентичной группам Чаталка и Пшеничево в Болгарии и Бабадаг в Добрудже (Стоянов 1997: 164-169).

Материалы могильника Сборяново дают убедительные аргументы в пользу присутствия ингумации и традиции использования камня в надмогильных сооружениях на Балканах в раннегальштатское время. Даже если датировка Сборяново несколько занижена и фибулы (особенно железные экземпляры) синхронны горизонту кладов Михалков-Фокору-Дали, важен сам факт наличия такого некрополя в северо-восточной Болгарии, синхронного могильникам культуры Сахарна.

Каменные панцири, захоронения на уровне древнего горизонта в каменных кромлехах, вторичные захоронения, а также ритуальные действия с покойниками (в том числе обряд очищения огнем), — все это известно в культурных группах раннего гальштата Балкано-Подунавья (Сихлеану, Тэмэоань-Холеркань-Балта, Сборяново). Все перечисленные признаки, зафиксированные в погребальном обряде культуры Сахарна, являются, скорее всего, исконными раннегальштатскими, а не привнесенными белогрудовско-раннечернолесскими заимствованиями.

Как дополнительный аргумент интересна еще одна цепочка аналогий, состоящая из нескольких предскифских погребений X в. до н.э. Северо-Западного Причерноморья, которые не вписываются в рамки известных здесь культур и традиций. Речь идет о курганах с каменными насыпями Зализничное и Брэнешть (Субботин, Черняков 1973: 238-240; Левицкий 1989: 137-149). Относительно комплекса Зализничное, видимо, более правомерна его раннегальштатская культурная принадлежность, чем отнесение к белозерской культуре (Ванчугов 1990: 47-49). Как подчеркивает и сам В.П.Ванчугов, Зализничное выпадает из погребальных комплексов белозерской культуры (Ванчугов 1990: 49). В данной ситуации предпочтительней лишь отнесение этого комплекса ко времени существования белозерской культуры, а не принадлежность его к последней. Именно в таком ключе И.В.Бруяко правомерно поставил в один ряд Зализничное и Брэнешть (Бруяко 1989: 36, 37).

В отношении комплекса Брэнешть установлена его принадлежность раннегальштатской культуре с каннелированной керамикой Кишинэу-Корлэтэнь. Отмечая отсутствие в последней курганов с каменно-земляной насыпью, О.Г.Левицкий в качестве аналогий приводит захоронения локального варианта группы Ватина в Сербии (комплекс Белотич-Бела Црква-Добрача), который является родственным культуре Сурчин-Белегиш-Дубовац (Левицкий 1989: 143, 144). С продвижением на восток и Карпаты из югославского и румынского Баната носителей культуры Кручень-Белегиш (Morintz 1978: 305-323; Laszlo 1989: 111-114; он же 1994: 125-130, 156-163) или Сурчин-Белегиш-Дубовац (Смирнова 1985: 47; она же 1990а: 20-33; Левицкий 1990: 20-23; он же 1994а: 152-156) связывают происхождение раннегальштатской культуры с каннелированной керамикой типа Кишинэу-Корлэтэнь. В этом продвижении на восток, возможно, принимали участие различные группы населения, в том числе и носители типа Белотич-Бела Црква-Добрача. Последние и могли оставить комплексы Зализничное и Брэнешть в Северо-Западном Причерноморье.

В нашем случае важен факт появления курганов с каменно-земляной насыпью и основным захоронением (или кенотафом) в период, предшествующий культуре Сахарна и независимо от нее. В русле этой «независимой» линии в Северо-Западном Причерноморье можно привести и два предскифских захоронения, совершенных в курганах с каменным панцирем: погребение № 16 кургана I близ Мокры (Яровой, Четвериков 1995) и основное погребение в кургане у с. Петродолино (Ванчугов, Островерхов 1984: 57-65).

В итоге можно констатировать, что в эпоху

поздней бронзы — раннего гальштата и на Среднем Днестре, и в Балкано-Подунавье (собственно в Карпатском басейне) присутствовали ингумация и скорченное положение погребенных, а также обычай использования камня в надмогильных конструкциях. Поэтому возможно независимое появление (сохранение традиций или субстратные основы) этих признаков в погребальных обрядах чернолесской культуры Среднего Днестра и культуры Сахарна лесостепной Молдовы.

Возвращаясь к рассматриваемой монографии Л.И.Крушельницкой, представляется необходимым ответить (как автору глав по древностям раннего железного века) на те несколько абзацев, которые она посвятила сахарнянскому памятнику Хлижень II (Крушельницька 1998: 208).

Не могу согласиться с Л.И.Крушельницкой, что материалы горизонта Сахарна Хлижень II подтверждают ее концепцию формирования культуры раннего железного века в Среднем Поднестровье. Хронологические реперы и анализ керамической коллекции Хлижень II позволили датировать этот памятник IX — первой половиной VIII вв. до н.э. и уверенно отнести к сравнительно поздним в культуре Сахарна (Гольцева, Кашуба 1995: 7-31; Kashuba 1996: 396, 397). Поэтому те многочисленные аналогии чернолесской культуре Среднего Днестра, которые Л.И.Крушельницкая увидела в Хлижень II, как раз опровергают ее утверждения о наибольшей близости среднеднестровских чернолесских материалов (и нижнего горизонта Непоротово) именно ранним сахарнянским памятникам.

Что касается массовых (по определению Л.И.Крушельницкой) находок в сахарнянском слое Хлижень II чернолесских тюльпановидных горшков, то они там составляют порядка 18 %, тогда как горшки гальштатского облика — 82 % (Гольцева, Кашуба 1995: 20, 21). Но здесь необходимо уточнить, что столь значительный процент чернолесских горшков появляется уже на последних этапах развития культуры Сахарна как результат обратных контактов и связей между ней и развитым Чернолесьем Среднего Днестра. Например, на раннем сахарнянском поселении Солончень-Хлиная чернолесские тюльпановидные горшки составляют всего 7% (без учета того, что культура Сахарна на этом памятнике доживает до середины VIII в. до н.э.). Другой, не менее убедительный пример — это сахарнянское поселение Алчедар III, где зафиксированы два периода бытования культуры Сахарна: первый связан с возникновением и существованием этого раннегальштатского поселения в IX в. до н.э.; второй — с ремонтом, расширением и дальнейшей эксплуатацией имеющихся жилых и хозяйственных построек, а также возведением новых помещений во второй половине IX — рубеже IX-VIII вв. до н.э. Именно в заполнении закрытых комплексов второго периода поселения Алчедар III обнаружена типичная позднечернолесская посуда, доля которой в кухонной керамике второго периода достигает 50% (а в целом на памятнике, в I и II периодах — около 30%). Не исключено, что произведенные на поселении Алчедар III строительные работы связаны с притоком сюда не позднее рубежа IX-VIII вв. до н.э. носителей Чернолесья II из поречья Среднего Днестра.

Горизонт древностей VII-VI (V) вв. до н.э. в Хлижень II не представляется возможным датировать VIII в. до н.э. — не позднее начала VII в. до н.э., как это предлагает Л.И.Крушельницкая (Крушельницька 1998: 208). Это четко атрибутированные материалы «фракийско-раннескифского» контекста, в том числе происходящие из закрытых комплексов Хлижень II (Гольцева, Кашуба 1995: 38-40). Сопоставление таких материалов из Хлижень II с другими аналогичными древностями южной зоны Среднего Днестра (Солончень-Хлиная, Офатинць (Выхватинцы), Алчедар-Ла Кордон) позволяет поставить вопрос о генезисе на этой территории раннегетской культуры. Особенностью последней является ее гибридный, смешанный характер, в котором органически сочетаются гальштатские (фракийские) и скифские (раннескифские лесостепные) элементы. Перекрестные аналогии: восточные (раннескифские памятники Подолии и Побужья) — для кухонной посуды и западные (поздняя Басарабь и Фериджеле) — для столовой, — подтверждают датировку выделенного керамического комплекса в пределах второй половины VII-V вв. до н.э. (Kashuba, Haheu, Leviţki 1999).

Если выделенный керамический комплекс VII-VI вв. до н.э. в Хлижень II, как подчеркивает Л.И.Крушельницкая, наиболее типичен для культуры, развивающейся в Западной Подолии и Верхнем Поднестровье в более раннее время, в VIII-начале VII вв. до н.э., то ситуация в лесостепи Пруто-Днестровского междуречья принципиально иная. Здесь речь идет о фракийском культурном контексте не только для VIII в. до н.э., но и всего VII в. до н.э. В южной зоне Среднего Днестра, на восточной периферии фракийского мира в лице носителей культуры Басарабь-Шолдэнешть при контактах и взаимосвязях (и, возможно, частичном слиянии) со скифизированным населением лесостепи Западной Подолии и Побужья произошел генезис раннегетской культуры во второй половине-конце VII в. до н.э., обусловленный и давлением кочевого скифского фактора (Kashuba, Haheu, Leviţki 1999). В более ранний период в южной зоне Среднего Днестра такие процессы не фиксируются.

В целом же возврат Л.И.Крушельницкой к гипотезе о восточном происхождении культуры Сахарна, по нашему мнению, не отвечает объективным археологическим реалиям. Также непродуктивным представляется ее отказ от призна-

ния двух локальных вариантов Чернолесья II Среднего Днестра (Крушельницкая 1991: 32-34). Единая (объединенная) культура развитого Чернолесья Среднего Днестра, которая, по Л.И.Крушельницкой, представлена непоротовской группой памятников, в конечном итоге лишена специфики и особенностей, выделяющих ее из «классической» чернолесской культуры лесостепного Правобережного Поднепровья. Культурно-историческая обстановка на Среднем Днестре в предскифское время, таким образом, теряет свою конкретику, мало чем отличаясь от ситуации на Днепровском Правобережье.

Отмеченные локальные варианты культуры развитого Чернолесья Среднего Днестра, наличие которых подтверждено и применением статистического анализа, напротив, позволяют наиболее полно обрисовать всех участников контактов и взаимодействий, имевших здесь место в предскифское время. Такая полновесная картина, в конечном итоге, ведет к признанию Среднего Поднестровья первой половины I тыс. до н.э. в качестве культурогенетического центра, импульсы которого задавали тон культурному развитию лесостепи поречий Днепра, Днестра и Прута. Одним из первых ярких проявлений этого центра явилась трансформация Белогрудовки в культуру развитого Чернолесья, что знаменовало начало раннего железного века на Среднем Днестре.

ЛИТЕРАТУРА

Артамонов М.И. 1948. Археологические исследования в Южной Подолии (Винницкая область) в 1948 году. // Вестник ЛГУ, № 11. Л. 177-181.

Артамонов М.І. 1949. Південноподільська експедиція. // АП УССР. І. К. 257-262.

Артамонов М.И. 1955. Археологические исследования в Южной Подолии в 1952-53 гг. // КСИИМК, вып. 59. 100-117.

Балагури Э.А. 1964. История племен позднебронзового периода в Среднем Поднестровье (культура Ноа). // Автореферат дисс. ... канд.ист.наук. К.

Бандрівський М., Крушельницька Л. 1998. Поховальный обряд непоротіськоі группи пам’яток. // Л.Крушельницька. Чорноліська культура Середнього Придністров’я. Львів. 201-208.

Бочкарев В.С. 1992. Новые абсолютные даты для бронзового века Европы. // Северная Евразия от древности до средневековья. АИ, вып.2. СПб. 21-23.

Бруяко И.В. 1989. Еще раз о погребении у с. Зализничное. // История и археология Нижнего Подунавья (чтения памяти проф. А.И.Доватура). ТД. Рени. 36, 37.

Бырня П.П., Чеботаренко Г.Ф. 1964. Материалы к археологической карте Молдавии. // МИАЭМ. Кишинев. 248-254.

Ванчугов В.П. 1983. Балтская группа памятников эпохи поздней бронзы. // Материалы по археологии Северного Причерноморья. К. 88-101.

Ванчугов В.П. 1990. Белозерские памятники в Северо-Западном Причерноморье. К. 168 с.

Ванчугов В.П. 1992. Нижнедунайский горизонт с прочерченной керамикой и белозерская культура. // Северо-Западное Причерноморье. Ритмы культурогенеза. ТД. Одесса. 34-37.

Ванчугов В.П. 1993. Керамика с прочерченным орнаментом из памятников поздней бронзы Северо-Западного Причерноморья. // Древности причерноморских степей. К. 28-39.

Ванчугов В.П., Островерхов А.С. 1984. Позднекиммерийский курган близ Одессы. // Новые археологические исследования на Одесчине. К. 57-65.

Гольцева Н.В., Кашуба М.Т. 1991. Раннегальштатский горизонт типа Сахарна-Солончены на городище Глинжень II. // ДОЗССП-I. ТД. К. 150, 151.

Гольцева Н.В., Кашуба М.Т. 1995. Глинжень II. Многослойный памятник Среднего Поднестровья. Тирасполь. 272 с.

Городенко А.П. 1990. Об источниках некоторых культурных традиций эпохи раннего железа. // АИМУМ. Кишинев. 46-51.

Гуцал А.Ф. 1979. Нові пам’ятки раннього залізного віку в Середньому Подністровіі (розвідки 1968-1969 рр.). // Археология, № 31. К. 65-75.

Гуцал А.Ф. 1987. Рудковецкое городище в ряду пам’яток чорноліcько-жаботинського типу. // VII Подільска історико-краезнавча конференція (секція археологіі). ТД. Кам’янець-Подільский. 20, 21.

Гуцал А.Ф. 1994. Могильник предскифского времени на Среднем Днестре. // ПССАСП-II. Запорожье. 54, 55.

Гуцал А.Ф. 1998. Бернашевский могильник из Среднего Поднестровья в системе памятников раннего железного века. // Скифы. Хазары. Славяне. Древняя Русь. К 100-летию со дня рождения М.И-.Артамонова. ТД. СПб. 34, 35.

Довідник з археологіі Украіни: Хмельницька, Чернівецбка, Закарпатська області / 1984. К. 222с.

Ильинская В.А. 1975. Раннескифские курганы бассейна р.Тясмин (VII-VI вв. до н.э.). К. 223 с.

Ильинская В.А., Тереножкин А.И. 1983. Скифия VII-IV вв. до н.э. К. 379 с.

Кашуба М.Т. 1986. Памятники типа Сахарна-Солончены и позднее Чернолесье на Среднем Днестре (к постановке вопроса). // Молодежь, наука, производство. ТД. Кишинев. 80.

Кашуба М.Т. 1989. Новое поселение типа Сахарна-Солончены в лесостепной Молдавии. // ПССАСП-I. ТД. Запорожье. 59, 60.

Кашуба М.Т. 1990. Погребение культурной группы Сахарна-Солончены у с.Пояна. // АИМУМ. Кишинев. 107-111.

Кашуба М.Т. 1992. Соотношение культур Сахарна и Чернолесье. // Киммерийцы и скифы — II. ТД. Мелитополь. 35, 36.

Кашуба М.Т. 1998. Начало раннего железного века на Среднем Днестре и культура Сахарна. // Скифы. Хазары. Славяне. Древняя Русь. К 100-летию со дня рождения М.И.Артамонова. ТД. СПб. 29-31.

Кашуба М.Т., Гольцева Н.В. 1991. Сахарнянский могильник I (Цыглэу). // СА, №1. 197-209.

Кетрару Н.А. 1961. Материалы к археологической карте Молдавии. // Труды ГИКМ. Т.II. Кишинев. 113-128.

Классификация в археологии. Терминологический словарь-справочник. 1990.М. 156с.

Клейн Л.С. 1999. Миграция: археологические признаки. // Stratum plus, № 1.СПб-Кишинев-Одесса. 52-71.

Ковпаненко Г.Т. 1998. Поселение предскифского вре-

мени у с.Комаров на Днестре. // Скифы. Хазары. Славяне. Древняя Русь. К 100-летию со дня рождения М.И.Артамонова. ТД. СПб. 33, 34.
Крушельницкая Л.И. 1975. Памятник раннежелезного времени на Среднем Днестре. // Новейшие открытия советских археологов. ТД. Ч. 2. К. 28, 29.
Крушельницька Л.І. 1985. Взаємозв'зки населення Прикарпаття і Волині з племенами Східної і Центральної Эвропи (рубіж епох бронзи і заліза). К.
Крушельницкая Л.И. 1990. Группа памятников Среднего Поднестровья: Чернолесская культура. // Археология Прикарпатья, Волыни и Закарпатья. К. 135-140.
Крушельницька Л. 1998. Чорноліська культура Середнього Придністров'я (за матеріалами непоротівськоі групи пам'яток). Львів. 224с.
Лагодовська О. 1948. Войцехівський могильник бронзовоі доби на Волині. // Археологія, 2. К. 62-77.
Лагодовська О.Ф., Захарук С.П. 1956. Нові дослідження Войцехівського могильника. // АП, VI. К. 69-74.
Лапушнян В.Л., Никулицэ И.Т., Романовская М.А. 1974. Памятники раннего железного века. // АКМ, вып. 4. Кишинев.
Левицкий О.Г. 1985. Погребение раннего железного века у с.Ганск. // АИМ в 1981 г. Кишинев. 125-128.
Левицкий О.Г. 1989. Курган у с.Бранешты и некоторые вопросы погребального обряда раннегальштатской культуры лесостпной Молдавии. // АИМ в 1984 году. Кишинев. 137-149.
Левицкий О.Г. 1990. К вопросу о раннегальштатском горизонте с прочерченной керамикой в Днестровско-Прутском междуречье. // Проблемы археологии Северного Причерноморья. ТД. Ч.II. Херсон. 6-8.
Левицкий О.Г. 1990а. Культура Днестровско-Сиретского междуречья на рубеже II-I тыс. до н.э. (памятники каннелированного гальштата). // Автореферат дис. ... канд.ист.наук. Л. 23с.
Малеев Ю.Н. 1987. Чернолесская культура и гальштат. // Киммерийцы и скифы-I. ТД. Ч.II. Кировоград. 11-13.
Маркевич В.И. 1955. Археологические памятники в бассейне нижнего течения реки Чорна. // Изв. МФ АН СССР, № 5 (25). Кишинев. 131-145.
Массон В.М. 1995. Конвергенция и дивергенция в процессе разивтия древних культур. // Конвергенция и дивергенция в развитии культур эпохи энеолита-бронзы Срезней Азии и Восточной Европы. СПб. 5-7.
Мелюкова А.И. 1953. Памятники скифского времени на Среднем Днестре. // КСИИМК, вып. 54. 60-73.
Мелюкова А.И. 1954. Результаты раскопок на двух поселения скифского времени в Молдавии. // КСИИМК, вып. 56. 59-68.
Мелюкова А.И. 1955. Итоги изучения памятников скифского времени в Молдавии в 1952-1953 гг. // Изв. МФ АН СССР, № 5 (25). Кишинев. 51-70.
Мелюкова А.И. 1958. Памятники скифского времени лесостепного Среднего Поднестровья. // МИА, № 64. 5-102.
Мелюкова А.И. 1960. Исследование памятников предскифской и скифской эпох в лесостепной Молдавии. // МИА ЮЗ СССР и РНР. Кишинев. 129-150.
Мелюкова А.И. 1961. Культуры предскифского периода в лесостепной Молдавии. // МИА, № 96. 5-52.
Мелюкова А.И. 1972. О датировке и соотношении памятников начала железного века в лесостепной Молдавии. // СА, № 1. 57-72.
Мелюкова А.И. 1975. Итоги и задачи изучения взаимосвязей киммерийских племен с фракийцами в советской науке. // Studia Thracica. Кн.1. София. 54-68.
Мелюкова А.И. 1979. Скифия и фракийский мир. М. 256 с.
Мелюкова А.И. 1982. Новые данные о керамике типа Сахарна-Солончены в Молдавии. // КСИА, вып. 170. 3-12.
Мелюкова А.И. 1989. Культуры предскифского периода в лесостепной зоне. // Степи европейской части СССР в скифо-сарматское время. Археология СССР. М. 16-29.
Пассек Т.С. 1949. Археологические разведки в Молдавии. // КСИИМК, вып. 26. 57-68.
Покровська Э.Ф. 1952. Поселення VIII-VII вв. до н.э. на Тясьмині. // Археологія, VII. К. 43-64.
Покровская Э.Ф. 1953. К вопросу о сложении культуры земледельческих племен Правобережного Поднепровья (бассейн р.Тясмин). // Автореферат дисс. ... канд.ист. наук. К. 15с.
Покровская Э.Ф. 1973. Предскифское поселение у с.Жаботин. // СА, № 4. 169-188.
Рыбалова В.Д. 1961. К вопросу о хронологии некоторых групп памятников эпохи бронзы и раннего железа на Украине. // АСГЭ, № 2. 9-25.
Рыбалова В.Д. 1966. Еще раз о начальной дате железного века на Днепре. // ВЛУ, № 2. Серия истории, языка и литературы, вып.2. Л. 74-82.
Рыбалова В.Д. 1999. Два поселения предскифского времени на Левобережье Среднего Днестра (по материалам разведки Юго-Подольской экспедиции в 1953-1954 гг.) и некоторые проблемы белогрудовской культуры. // Археологические вести, № 6. СПб. — в печати.
Свешников И.К. 1969. К вопросу о племенном составе населения Прикарпатья и Волыни в конце II и в начале I тысячелетия до н.э. // I międzynarodowy Kongres archeologii Słowiańskiej. T. II. 42-64.
Свод памятников истории и культуры Молдавской ССР. 1987. Северная зона. Макет. Кишинев. 605с.
Смирнов Г.Д. 1949. Итоги археологических исследований в Молдавии в 1946 г. // Уч.зап. ИИЯиЛ МФ АН СССР. Т.II. Кишинев. 189-202.
Смирнова Г.И. 1954. Археологические культуры лесостепной Правобережной Украины и Молдавии в VII-VI вв. до н.э. // Автореферат дисс. ... канд.ист-.наук. Л. 15 с.
Смирнова Г.И. 1969. Новый могильник культуры Ноа у с.Старые Бедражи на Пруте. // АСГЭ, вып. 11. Л. 48-71.
Смирнова Г.И. 1976. Магала I и некоторые вопросы хронологии позднекомаровской культуры в Прикарпатье. // Энеолит и бронзовый век Украины. К. 118-135.
Смирнова Г.И. 1977. О хронологическом соотношении памятников типа Сахарна-Солончены и Жаботин (по материалам раскопок курганов у с.Мервинцы). // СА, № 4. 94-108.
Смирнова Г.И. 1980. Среднее Поднестровье и Нижнее Подунавье в предскифское время (контакты и хронологическое соотношение). // Thracia, V. София. 121-143.
Смирнова Г.И. 1981. Предскифский период на Буковине (контакты и взаимодействия). // Краткие тезисы докладов научной конференции Отдела истории первобытной культуры. Л. 52, 53.
Смирнова Г.И. 1982. Закрытые предскифские комплексы у с.Днестровка-Лука. // Древние памятники культуры на территории СССР. Л. 30-53.

Смирнова Г.И. 1983. Материальная культура Григоровского городища (к вопросу о формировании чернолесско-жаботинских памятников). // АСГЭ, № 23. 60-71.

Смирнова Г.И. 1984. О формировании позднечернолесской культуры на Среднем Днестре (по материалам поселения Днестровка-Лука). // АСГЭ, № 25. 43-60.

Смирнова Г.И. 1985. Поселение у с.Днестровка — памятник чернолесской культуры на Днестре. // АСГЭ, вып. 26. Л. 5-29.

Смирнова Г.И. 1985а. Основы хронологии предскифских памятников Юго-Запада СССР. // СА, № 4. 33-53.

Смирнова Г.И. 1986. Последний сезон работ на чернолесском поселении Днестровка-Лука и вопросы хронологии позднего Чернолесья. // АСГЭ, № 27. 8-26.

Смирнова Г.І. 1987. Поділля у передскіфський час (за наслідками робіт Південно-Подільскої експедиції). // VII Подільська історико-краэзнавча конференція. ТД. Кам’янець-Подільский. 18-20.

Смирнова Г.И. 1990. Культурно-исторические процессы в бассейне Среднего Днестра в конце II-первой половине I тыс. до н.э. // Дисс. докт.ист.наук в форме научного доклада. К. 40с.

Смирнова Г.И. 1990а. Памятники типа Кишинев-Корлатень в Днестро-Сиретском междуречье и группа Белегиш II в югославском Подунавье. // АСГЭ, вып. 30. Л. 20-33.

Смирнова Г.И. 1999. Послесловие к статье В.Д.Рыбаловой «Два поселения предскифского времени на Левобережье Среднего Днестра и некоторые проблемы белогрудовской культуры». // Археологические вести, № 6 . СПб. — в печати.

Смирнова Г.И., Кашуба М.Т. 1988. О двух локальных группах культуры позднего Чернолесья на Среднем Днестре. // АСГЭ, № 29. 18-28.

Стоянов Т. 1992. Погребалните обичаи в Североизточна Тракия през раножелязната епоха в светлина на новите проучвания. // Хелис I. София. 82-96.

Стоянов Т. 1997. Могилен некропол от ранножелязната епоха. Сборяново I. София. 239с.

Субботин Л.В., Черняков И.Т. 1973. Фракийский кенотаф у с.Зализничное на Левобережье Нижнего Придунавья. // СА, № 2. 238-240.

Тереножкин А.И. 1961. Предскифский период на Днепровском Правобережье. К. 248с.

Тереножкин А.И. 1976. Киммерийцы. К. 223с.

Титов В.С. 1982. К изучению миграций бронзового века. // Археология Старого и Нового света. М. 92-139.

Федоров Г.Б. 1957. Древние славяне и их соседи в Молдавии (краткое описание памятников I-начала II тыс. до н.э.). // Уч.зап. ИИЯиЛ МФ АН СССР. Т.VI (серия историческая). Кишинев. 237-311.

Шовкопляс І.Г. 1952. Курганний могильник передскіфського часу на Середньому Дністрі. // АП УССР, IV. К. 5-10.

Шовкопляс І.Г. 1954. Поселення ранньоскіфського часу на Середньому Дністрі. // Археологія, IX. К. 98-105.

Шовкопляс І.Г. 1956. Середньодністровська експедиція 1949-1951 рр. // АП УССР, VI. К. 29-37.

Шовкопляс І.Г., Максимов Э.В. 1952. Дослідження курганного могильника передскіфського часу на Середньому Дністрі. // Археологія, VII. К. 89-108.

Щапова Ю.Л. 1994. Описание, классификация и эволюционные закономерности в развитии древних вещей. // РА, № 2. 81-92.

Яровой Е.В., Четвериков И.Ф. 1995. Полевой отчет о работах Днестровской археологической экспедиции ПГКУ им.Т.Г.Шевченко в 1994 г. // Архив нио ПГУ. Тирасполь.

Agulnikov S. 1996. Necropola culturii Belozerka de la Cazaclia. // B.Tht., XIV. Bucureşti /.115p.

Alexandrescu A. 1978. Sepultures du premier âge du fer a Zimnicea (Dep. de Teleorman). // Dacia, XXII. 115-124.

Alexianu M. 1996. La culture Corlăteni-Chişinau — thrace ou illyriene? // The Thracian World at the Crossroads of Civilisations. Thr 7th internatoinal Congress of Thracology. Bucharest. 222, 223.

Anastasiu F., Harţuche N. 1967. Cercetări şi descoperiri arheologice in raionul Brăila. // Danubius, I. 19-21.

Andritoiu I., Vasiliev V. 1993. Quelques considerations concernant la cultura Noua en Transylvanie. // Culture et civilisation au Bas Danube. X. 101-123.

Bassa B., Marqhitan I. 1967. Aşezarea hallstattiana de la Sauleşti. // Apulum, VI.

Brudiu M. 1981. Contribuţii la cunoaşterea genezei Hallstattului in sud-estul României. // SCIVA, t.32, nr.4. 529-536.

Cercetări arheologice in aria Nord-Traca. I. 1995. Bucureşti. 510p.

Cercetări arheologice in aria Nord-Traca. II. 1997. Bucureşti. 536p.

Chicideanu I. 1992. O descoperire de la începutul primei epoci a fierului la Cirna. // SCIVA, t.43, nr.1. 49-54.

Cronica cercetărilor arheologice. Campania 1994. 1995. Cluj-Napoca. 136p.

Cronica cercetărilor arheologice. Campania 1995. 1996. Brăila. 163p.

Davidescu M. 1981. Un tezaur de podoabe tracice descoperit la Hinova-Mehedinţi. // Thraco-Dacica, t.II. Bucureşti. 7-22.

Florescu A.C. 1991. Repertoriul culturii Noua-Coslogeni din România. Aşezări şi necropole. // Cultura şi civilizaţia la Dunărea de Jos. IX. Călăraşi. 414p.

Guma M. 1993. Civilizaţia primei epoci a fierului in sud-vestul României. // B.Thr.IV. Bucureşti. 421p.

Guma M. 1995. The end of the Bronze Age and the beginning of the Early Iron Age in south-western Romania, western Serbia and north-western Bulgaria. A short review. // Thraco-Dacica, t. XVI, nr. 1-2. Bucureşti. 99-137.

Haheu V. 1998. Cercetări arheologice la cetatea tracogetică Alcedar-La Cordon din raionul Şoldăneşti. // Revista Arheologică, 2. Chişinău. 111-135.

Hansel B. 1976. Beitrage zur regionalen und Gliederund der alteren Hallstattzeit an der unteren Donau. Bonn. T. 1, 2.

Harţuche A. 1972. Un nou aspect cultural de la sfîrşitul epocii bronzului la Dunărea de Jos. // Pontica, 5. 59-75.

Iconomu C. 1996. Cercetările arheologice din cetatea hallstattiană de la Pocreaca-Iaşi. // AM, XIX. Bucureşti. 21-56.

Ignat M. 1976. Decouvertes du Hallstatt thrace dans le département de Suceava. // Thraco-Dacica, I. Bucureşti. 99-108.

Juganaru G. 1997. About question of the ritual-funaral customs of the eponimical settlement of Babadag. // Funeral practices in Europe 13th-4th centuries B.C. Tulcea. 18, 19.

Juganaru G. 1997a. Manifestări timpurii ale primei epocii a fierului in Dobrogea (descoperirile de la Garvan-Mlajitul Florilor jud. Tulcea). // Prima epoca a fierului la Gurile Dunării şi in zonele circumpontice. Tulcea. 99-110.

Kashuba M.T. 1996. Hligeni II — source historique pour l'étude de la culture hallstattienne de haute — epoque Saharna. // The Thracian World at the Crossroads of Civilisations. VII Congress of Thracology. Bucharest. 394-397.

Kashuba M., Haheu V., Levițki O. 1999. Vestigii thraco-getice de la Nistru de Mijloc. // B.Thr. .... Bucureşti — in print.

Kossack G. 1980. «Kimmerische» Bronzen. Bemerkungen zur Zeitstellung in Ost- und Mitteleuropa. // Situla 20/21. Ljubljana. 109-141.

Krušelnicka L. 1979. Studien zur Besiedlung der ukrainischen Karpaten und des Karpatenvorlandes zu Beginn der Eisenzeit. // AAC, t. 19. 73-96.

Laszlo A. 1969. Cu privire la tehnica de ornamentare a ceramicii hallstattien de tip Babadag. // MA, I. Piatra-Neamț. 319-326.

Laszlo A. 1972. O aşezare hallstattiană la Cozia (jud. Iaşi). // AM, II. Iasi. 207-222.

Laszlo A. 1976. Începuturile primei vîrste a fierului pe teritoriul Moldovei. Unele rezultate şi probleme. // CI (SN), VII. Iasi. 57-75.

Laszlo A. 1985. Hallstatul timpuriu şi mijlocie pe teritoriul Moldovei. Rezumatul tezei de doctorat. Iaşi. 16p.

Laszlo A. 1986. Grupul Tamaoani. Asupra «orizontului» Hallstatian timpuriu cu ceramica incizată din sudul Moldovei. // MA, XII-XIV (1980-1982). Piatra-Niamț. 65-91.

Laszlo A. 1986a. Asupra legăturilor dintre spațiul Est-Carpatic şi zonele de stepa şi silvostepa Nord-Vest Pontice la începutui epocii fierului (sec.XII-VII î.e.n.). // Analele ştiințifice ale Universitate «Al. Cuza», din Iaşi (SM). T.XXXII, s.111A.Istorie. Iaşi. 1-12.

Laszlo A. 1989. Les groupes regionaux anciens du Hallstatt a l'est des Carpates. La Moldavie aux XII-VII siècles av. n.e. // La civilisation de Hallstatt. Etudes et Recherches Arhéologiqus de l'Université de Liège, nr.36. Liège. 111-129.

Laszlo A. 1993. Dates radiocarbones et chronologie de la civilisation Noua-Sabatinovka-Coslogeni. // Culture et civilisation au Bas Danube. X. Călăraşi. 23-41.

Laszlo A. 1994. Începuturile epocii fierului la est de Carpați. Culturile Gava-Holihrady şi Corlăteni-Chişinău pe teritoriul Moldovei. // B.Thr. VI. Bucureşti. 315 p.

Laszlo A. 1997. On the origin, development and chronology of the first Iron Age at the Lower Danube. // Prima epoca a fierului la Gurile Dunării şi în zonele circumpontice. Tulcea. 67-84.

Levinschi A.N., Borziac I.A. 1990. Necropola plana de tip Saharna-Solonceni la Climăuți de Jos. // Buletinul Academiei de Ştiințe a R.S.S. Moldova, ą 3 (95). Chişinău. 50-54.

Levițchi O. 1992. La situation culturelle et historique dans l'espace Carpato-Dniestrien a l'époque du Hallstatt. // Symposia Thracologica, 9. Bucureşti. 119-121.

Levițki O. 1994. Grupul Holercani-Hansca. Aspectul pruto-nistrean al complexului hallstattian timpuriu, cu ceramica incizată. // Relations Thraco-Ilyro-Hellenques. Bucureşti. 219-256.

Levițki O. 1994a. Cultura Hallstattului canelat la răsărit de Carpați. // B.Thr. VII. Bucureşti. 255p.

Levițki O., Demcenko T. 1997. Necropola tumulara-plana a culturii Noua de la Burlăneşti. // Angustia, 2. 103-122.

Morintz S. 1964. Quelques problemes concernat la periode ancienne du Hallstatt au Bas-Danube a la lumiene de fouilles de Babadag. // Dacia, VIII. 101-118.

Morintz S. 1971. Probleme ale hallstattului timpuriu in zona istro-pontică în lumina cercetărilor de Babadag. // Peuce, 2. 19-25.

Morintz S. 1974. Sfîrsitul epocii bronzului şi începutul epocii fierului în Carpato-Balcanic. // Revista de Istorie. T.27, № 6. Bucureşti. 897-906.

Morintz S. 1977. Probleme privind origine tracilor în lumina cercetărilor arheologice. // Revista de Istorie. T.30, № 8. Bucuresti. 1465-1488.

Morintz S. 1978. Contribuții arheologice la istoria trakilor timpurii. I. Epoca bronzului in spațiul Carpato-Balcanic. Bucureşti. 216p.

Morintz S. 1987. Noi date şi probleme privind perioadele hallstattiană timpurie şi mijlocie in zona istro-pontică (cercetările de la Babadag). // Thraco-Dacica, t.VIII, nr.1-2. Bucureşti. 39-71.

Morintz S., Roman P. 1969. Un nou grup hallstattian timpuriu in sud-vestul României — Insula Banului. // SCIV, t.20. 393-422.

Niculiță I. 1996. Habitatul traco-getic de la Butuceni. // Thraco-Dacica, t.XVII, nr.1-2. Bucureşti. 139-167.

Petrescu-Dîmbovița M. 1953. Cimitirul hallstattian de la Stoicani. // MA, I. Bucureşti. 157-212.

Petrescu-Dîmbovița M., Dinu M. 1974. Noi cercetări arheologice la Stoicanu (jud.Galați). // SCIVA, t.25, nr.1. 71-97.

Sapouna-Sakellarakis E. 1978. Die Fibeln der griechischen Inseln. // PBF XIV, 4. 208p.

Smirnova G. 1993. Die siedlung Mahala II a und II b — ein denkmal der Noua I und II kultur. // Culture et civilisation au Bas Danube. X. Călăraşi. 57-73.

Smirnova G. 1993a. Zur Frage der thrackischen und illyrischen Komponenten in der Frühhallstattkultur des Vorkarpatenraums. // Thraco-Dacica, t.XIV, nr.1-2. Bucureşti. 91-99.

Stoyanov T. 1992a. Early Iron Age tumular necropolis in the Sboryanovo reservation. // Хелис II. Sofia. 93-114.

Swiesznikow I.K. 1967. Kultura Komarowska (Na podstawie materialów z pln. Podkarpacia i zach. Wolynia). // AP, t.XII, z.1. 39-107.

Terzan B. 1987. The Early Iron Age Chronology of the Central Balkans. // Arch.Jug., 24. Belgrad. 7-27.

Vancugov V.P. 1996. Das Ender der Bronzezeit im nordlichen Schwarzmeergebiet. Die Belozerka-Kultur. // Eurasia antiqua, 2. 287-309.

Vasic R. 1982. Spätbronzezeitliche und alterhallstattzeitliche Hortfunds im ostlichen Jugoslawien. // Südosteuropa zwishcen 1600 und 1000 v.Chr. Berlin. 268-285.

Vinski-Gasparini K. 1973. Kultura polja sa zarama u sjevernoj Hrvatskoj. Zadar.

«СВОБОДНАЯ ЗОНА»

ЗАПОВЕДИ

участникам археологического семинара Л. С. Клейна
(годы чеканки 1964 – 1995)

1. Археология – это не история, вооруженная лопатой, а детектив, в котором следователь опоздал к месту происшествия на тысячу лет. Историю напишут потом судьи. Вот и смекай, чем заняться.

2. Не уподобляйся тому историку, для которого вся работа укладывается в два шага: сбор материала и написание текста. Тебе между этими двумя придется делать третий, основной – исследование.

3. Где есть закон, там нет проблемы. Во всякой раскладке фактов ищи не закон, а противоречие закону. За ним скрывается проблема, за проблемой – открытие.

4. Ставь вопрос как вопрос. Назывными предложениями определяется тема, а не проблема. Проблема поставлена лишь тогда, когда сформулирована именно в виде вопроса. Подлинный вопрос начинается словами «кто», «что», «где», «когда», «откуда», «куда», «как», «почему». При этом избегай слова «каковы» – это лишь обходной путь для ввода назывного предложения.

5. Ученый мир – не дружные ребята из детской песенки. Всякое открытие – это для кого-то закрытие. И этот кто-то – чаще всего маститый и власть имущий. Поэтому, сделав открытие, не надейся на всеобщий восторг. Будь готов к упорному сопротивлению, внезапным нападкам и затяжной изнурительной войне. Ученому нужен талант, во-вторых, и мужество – во-первых.

6. Наука – это трижды борьба: с материалом, с противниками и с самим собой. Последняя – труднее всех.

7. Всякий ученый имеет право на ошибку, если он ошибается правильно.

8. Если эксперимент не удался один раз, виноват эксперимент, два раза – экспериментатор, три – теория.

9. Пробуй факты не на язык, а на зуб: не ищи вкусные, ищи подлинные. Ведь то, что нужно распознать, – не изюм, а золото.

10. Доказывай искусно и яростно, но помни, что поверят не твоему искусству и не твоей ярости, а твоим фактам.

11. Берегись допущений. Вероятность – это лестница со скользящими ступенями, эскалатор. Не заметишь, как очутился на другом этаже. Очевидно – значит: вероятно, вероятно – значит: возможно, возможно – значит: может быть, а может не быть. А раз то ли было, то ли не было, то исходи из того, что скорее не было, чем было.

12. Забудь слово «например». Примерами можно доказать всё, что угодно. На всякий пример есть контрпример. Пример допустим лишь тогда, когда не подменяет, а представляет (репрезентирует) обобщение.

13. Классификация – как рояль: не пытайся взять аккорд одним пальцем. Нужен достаточный набор понятий и терминов.

14. Взвешивай «за» и «против» на одних весах.

15. Если сложная истина не состоит из простых истин, то она не истина.

16. Позиция в науке – это не кресло, а редут. Она – позиция, пока ее атакуют и защищают. Потом это уже не позиция, а поза. Не путай позицию с позой.

17. Не гонись за научной модой. В науке не всякое слово, сказанное последним, есть последнее слово в науке. Современность определяется не временем создания, а производительностью методов, полнотой материалов и яркостью идей.

18. Не надейся на случай и удачу. Закон всемирного тяготения родился всё-таки в голове Ньютона, а не в яблоке, которое с ней столкнулось.

19. Ничего не полагай очевидным. Собери как можно больше доказательств, тогда люди, быть может, и поймут, что твоя идея не нуждалась в доказательствах.

20. Будь краток. Но перед тем – каждый твой термин должен быть определен, каждое понятие мотивировано, каждое суждение обосновано, каждое заключение ограничено, каждый факт учтен, проверен и измерен.

21. Когда доказываешь, важно – что, еще важнее – чем, но самое важное – как.

22. Коронное доказательство – то, которое автор припрятал и позволил найти самому читателю.

23. «Золотая середина» между двумя крайностями – это всего лишь третья крайность. Ее нужно доказывать особо.

24. Не спорь до хрипоты. Противника не переспоришь, будь ты трижды прав. Задача всякого научного спора – не переубедить оппонента, а проверить себя, поверить в себя и приобрести сторонников.

25. Если золотой звенит о медяк, звон всё-таки золотой. Неравенство – не препятствие плодотворному общению.

© Клейн Л.С., 1999.

Стиг Велиндер

Четыре заповеди для конференций по теории

(Stig Welinder. Four commandments for conferences on theory. – Archaeology & Environment, Umee 1987 1991, 11: 69).

1. Не критикуй ближнего своего, не постигнув его. Ибо у него были резоны для его мнения, по крайней мере, с его точки зрения.

2. Не теоретизируй без лопаты в земле. Ибо на тебе лежит обязанность показать, как твои теории работают на практике.

3. Не говори ближнему своему, что некто выполнил его труд прежде него. Ибо не стоит хвастать своим знанием литературы.

4. Не используй кавычек. Ибо если ты не можешь своими словами изъяснить своему ближнему то, что хочешь донести до него, ты найдешь, что глаголешь впустую.

Критические комментарии Л. С. Клейна к заповедям С. Велиндера

Заповеди Велиндера изящно пародируют библейские, но, в отличие от тех, вызывают немедленные возражения. Они никак не производят впечатления непререкаемых истин и, по меньшей мере, неприменимы без существенных оговорок.

1. Ближнего ли, дальнего ли, а критиковать придется, тем более, что не всегда вообще его можно понять, а уж это явно достойно критики. Сами его резоны подвластны критике. Критика источников — необходимый этап археологической процедуры, а она подразумевает критику авторов. Конференция подразумевает дискуссию, а какая же дискуссия без критики?

2. Археологическую теорию, по крайней мере теорию источников, действительно невозможно строить адекватно реальности, если не иметь землю на лопате. Но мотивировка этой заповеди представляется ложной. Теоретическая работа требует иной подготовки и иных талантов, чем работа практика, так что не стоит требовать от одного и того же человека преуспеть в обеих отраслях. Обычно этого и не происходит.

3. Указывать на игнорирование предшественников не только можно, но и необходимо. Во-первых, чтобы восстановить справедливость по отношению к предшественнику, во-вторых, чтобы укорить того, кто проявил непростительное незнание литературы: берешься выступать с новацией, так уж будь так добр, изучи свой специальный предмет досконально. Хвастун не тот, кто укоряет, а тот, кто выступает с открытием того, что давно известно.

4. Без кавычек не обойтись, и вернее противоположная максима: «Не избегай кавычек». Во-первых, нередко мысль кем-то сформулирована ярко, кратко и четко – зачем пересказывать ее более длинно и вяло? Во-вторых, сохранение индивидуального колорита оживляет текст. В-третьих, точное приведение цитаты необходимо для документации – она есть факт, опровергать ли его в дальнейшем или подтверждать. Наконец, в отличие от пересказа, цитата требует точной и немедленной ссылки и может быть легко проверена. Дело вкуса, однако, не злоупотреблять цитированием.

А в остальном, прекрасная маркиза...

Л. С. Клейн

АФОРИЗМЫ О НАУКЕ

1. Наука противоположна искусству. Искусство ищет необыкновенное в обыкновенном, наука – обыкновенное в необыкновенном. В науке прекрасно то, что доказано; в искусстве доказано то, что прекрасно. В искусстве смел тот, кто не боится ошибаться, в науке – кто не боится исправлять ошибки. Нечто среднее невозможно. Но между ними – гуманитарное знание.

2. Знания – как вино: первая чара привлекает, вторая – вдохновляет, третья – повергает в уныние.

3. Из ста студентов, вступающих в науку, 99 заурядных и один талант. Из ста дилетантов, вторгающихся в науку, 100 сумасшедших и один гений.

4. В цеховую науку ведет много путей: если тебя не устраивает прямой, аспирантура, есть еще запасной – соискательство, а уж если и он не подходит, остается избрать третий, обходной – исследования.

5. Чтобы стать кандидатом наук, надо защитить одну диссертацию, доктором – две. Но как стать ученым? Если бы защитой трех диссертаций!

6. Кто вошел в науку с черного хода, скатится вниз по парадной лестнице.

7. Когда осла долго дрессируют, получается ученый осел. Когда ученого долго дрессируют, итог тот же. Мораль: одних дрессировка делает учеными, других ослами.

8. Щедрость ученого не измеряется розданными знаниями: это не его собственость. Ни деньгами: это не наука. Подсчитайте, сколько он роздал разрешений на публикацию.

9. Раздавая материалы и идеи, талантливый ученый становится главой школы. Если же бездарный ученый раздаст материалы (своих идей у него отродясь не бывало), он останется нищим. Поэтому первый признак бездарного: он не одаряет.

10. Бездарному ученому все вынуждены дарить: студенты – время, коллеги – мысли, государство – деньги. Как будто все виноваты, что его бог не одарил.

11. Сидячие места есть не только в трамваях или автобусах – их много и в науке. Здесь их занимают не самые проворные, как в общественном транспорте, а и вправду убогие. Не те, кому далеко ехать, а кому долго дремать

12. Гипотеза – прекрасная девица, теория – зрелая женщина. Увы, первую во вторую лишь иногда превращает законный брак с аргументом, чаще – сожительство с авторитетом и нередко – насилие.

13. Правоверность ученого – всё равно, что девичья честь: сначала вызывает гордость, потом сожаление и, наконец, смех.

14. Когда об ученом говорят, что он находится в полном расцвете творческих сил, это значит, что ему пора на пенсию: в пору его действительного расцвета его называли подающим надежды, а когда он подавал надежды, возмущались его нахальством.

15. О подлинном значении ученого мы узнаём из некролога, публикуемого – вследствие обычной медлительности издательств – посмертно.

Л. С. Клейн

КАК ПИСАТЬ ЯСНО

(двадцать правил хорошего стиля)

1. Придерживайся четкого плана и план этот выявляй многостепенным и дробным делением текста (с заголовками разделов, нумерацией в перечнях и т. п.). Почаще вводи заголовки с четкой их градацией.

2. Абзацы должны соответствовать членению мысли. Пусть их будет 4 – 5 на страницу, и не делай их одинаковыми по длине.

3. Ключевые слова и выражения выделяй другим шрифтом (полужирным, курсивом, разрядкой, подчеркиванием), причем закрепи каждый вид шрифта за определенными категориями выделенных слов. Например, за новыми для данного текста терминами – курсив, за словами, особо значительными по смыслу, – разрядку, и т. д.

4. Не старайся изложить несколько мыслей одновременно, параллельно. Сначала закончи одну мысль, потом начинай другую. Следи за тем, сколько мыслей ты пытаешься изложить в данном абзаце, в каждой фразе. Почаще подводи итоги.

5. Художественные средства не противопоказаны научному тексту – они могут сделать сухие идеи доступнее. Но не злоупотребляй эпитетами, метафорами, сравнениями и прочими фигурами. Особенно следи, чтобы их не скапливалось по нескольку в одном предложении.

Не надо, чтобы сквозь текст проглядывали пальцы, сплошь унизанные перстнями.

6. Короткие фразы выразительнее длинных. «Я люблю тебя» сильнее, чем «Я очень люблю тебя». Но речь, состоящая из одних коротких фраз, выглядит обрывистой и примитивной. Самые сжатые, афористические фразы уместнее всего как вводные и итоговые – в начале и в конце абзаца.

7. Прочти свой текст, каждую фразу, вслух. Если к концу фразы тебе необходимо сделать вдох, остановись – тут надо ставить точку. На худой конец двоеточие или тире. Дели длинные фразы (особенно сложноподчиненные, с вводными предложениями, с запутанными падежными конструкциями). Из одной длинной, как правило, нельзя сделать две коротких, но три – можно: раздели содержание на две части и вынеси наружу увязывающую их структуру в качестве третьей. Это легче сделать, если применить местоимение, повторить какое-то звено, удалить вводное предложение и т. п.

8. Не громозди (не сталкивай) разные члены предложения, выраженные в одинаковом падеже или, того хуже, в разных падежах, но со сходством падежных окончаний. Если уж так получилось, исправляй. В цепочке родительных падежей («построение части модели конструкции») замени существительные глаголами, родительный падеж – другим, вводи предлоги («строя часть модели для конструкции»). Помни: язык богат, избыточность средств – не излишество.

9. Убирай лишние слова и выражения («необходимо сказать», «но однако», «определенный момент затруднения» и т. п.). Чтобы удалить сорняки на 97%, надо прополоть статью трижды.

10. Заменяй отглагольные и абстрактные существительные (на **-ние**, **-ция**, **-ость**, **-ство**) глаголами, вместо причастий (на **-щий**, **-ющий**, **-ющийся** и т. п.) ставь глаголы или деепричастия (на **-ая**). Здесь поможет и слово «который», но в одной фразе его можно употребить только один раз.

11. Следи за тем, чтобы не возникала двоякая возможность привязать местоимения («он», «она», «чей», «который») к существительным. Проверяй, не стоит ли перед таким местоимением несколько существительных в том же числе и падеже: а вдруг последним из них окажется не то, которое ты имел в виду. Да и вообще, если они далеко отстоят от местоимения, читатель уже затруднится соотнести их точно.

12. Проверяй, не имеют ли применяемые термины и построенные тобой фразы иного смысла и не могут ли быть поняты именно в этом ином смысле. Достаточна ли определенность высказываний. Прочти собственный текст трижды: глазами редактора (с придурью), глазами рецензента (с запалом) и глазами читателя (с ехидцей).

13. Почаще поясняй абстрактные суждения конкретными примерами, близкими практике читателя.

14. Всё, что можно, выражай простым, живым, обиходным языком, без специальной терминологии, иностранных заимствований, академических и канцелярских штампов.

15. Особенно избегай академических штампов «как указано выше», «ниже мы остановимся» – они придадут речи юмористический оттенок, когда ты будешь зачитывать свой опус перед аудиторией. Невольно у слушателей мелькнет вопрос: «выше» — это где: одним или несколькими этажами выше? Или в старшей инстанции? А «ниже» где — в подвале?

16. Не говори о себе в третьем лице («автор считает»), особенно когда упоминаются и другие авторы. Задашь читателю головоломку: о котором авторе речь в данный момент.

17. Не становись в позу академика позапрошлого века, важно вещая: «в нашей книге мы описываем...». Речь надо вести от реального автора – обычно от первого лица в единственном числе: «я», «моё», и в том залоге, которого требует суть. Называть себя «мы» – фальшивая скромность. На деле это как раз нескромно и напыщенно (так и видится пышный парик). Не стилем, а смысловыми различиями определяй, когда уместно «я полагаю», когда «мы полагаем» (если авторов несколько или автор говорит от имени многих), а когда «можно полагать» или «можно было бы полагать», «принято полагать», «полагаю».

18. Лучше ввести новый термин, чем употреблять старый в новом смысле. Даже если оговоришь это, путаницы в дальнейшем не избежать.

19. Новых аббревиатур должно быть не больше двух-трех на статью. А лучше одна. А еще лучше – ни одной.

20. Просторечные выражения, афоризмы, ирония, хорошо смотрятся и в научном тексте, если не выпирают грубостью и не подавляют всё остальное.

Список сокращений

АВ — Археологические вести.
АГСП — Античные города Северного Причерноморья. М., 1984.
АГЭ — Архив Государственного Эрмитажа. Санкт-Петербург
АИ — Археологические изыскания. Санкт-Петербург
АИМ — Археологические исследования в Молдавии. Кишинев.
АИМУМ — Археологические исследования молодых ученых Молдавии. Кишинев.
АИУ — Археологические исследования на Украине.
АКМ — Археологическая карта Молдавской ССР. Кишинев.
АМА — Античный мир и археология. Саратов
АО — Археологические открытия. М.
АП УРСР — Археологічні пам'ятки Української РСР. Київ.
АСГЭ — Археологический сборник Государственного Эрмитажа. Л. (СПб)
Віс.ОКК — Вісник Одеськоі комісіі краезнавства.
ВДИ – Вестник древней истории. М.
ВЕ — Вестник Европы.
ВИ — Вопросы истории. М.
ВЛУ — Вестник Ленинградского университета. Ленинград.
ВССА — Воросы скифо-сарматской археологии.
ДОЗССП-I — Древнейшие общности земледельцев и скотоводов Северного Причерноморья. Тезисы докладов. I. 1991. Киев.
ДОЗССП-II — Древнейшие общности земледельцев и скотоводов СП (5 тыс. до н. э. – 5 века н. э.). Тезисы докладов. II. 1994. Тирасполь.
ЖМНП — Журнал Министерства народного просвещения
ЗБГ — Західне Більске городище в контексті вівчення пам"яток ранього зілізного віку Европи.
ЗИФОГУ — Записки Исторического факультета Одесского государственного университета. Одесса
ЗОАО — Записки Одесского археологического общества.
ЗООИД — Записки Одесского общества истории и древностей
ЗОРСО — Записки Отделения русской и славянской археологии русского археологического общества.
ИА АН УССР — Институт археологии Академии наук УССР.
ИАК – Известия Императорской археологической комиссии. СПб.
ИВ — Исторический вестник. СПб.
ИГАИМК – Известия Государственной Академии истории материальной культуры. М.-Л.
ИИМК РАН — Институт истории материальной культуры Российской Академии наук. Санкт-Петербург
ИР ЦНБ — Институт рукописей Центральной научной библиотеки им. В. И. Вернадского Национальной Академии наук Украины. Киев
ИРАИМК — Известия Российской Академии материальной культуры
ИТУАК — Известия Таврической ученой архивной комиссии
ІЗКИДУ — Історичний збірник Київського Державного Університету.
КБН – Корпус боспорских надписей. М.-Л. 1965.
КСИА — Краткие сообщения Института археологии АН СССР.
КСИА АН УССР— Краткие сообщения Института археологии АН Украинской ССР.
КСИИМК — Краткие сообщения Института истории материальной культуры. Москва-Ленинград.
КСОГАМ — Краткие сообщения Одесского Государственного археологического музея.
МАР — Материалы по археологии России.
МАСП — Материалы по археологии Северного Причерноморья
МГПИ — Московский Государственный педагогический Институт.
МИА — Материалы и исследования по археологии СССР. Москва.
МКИН — Международная конференция исторических наук.
НЭ — Нумизматика и эпиграфика
ОАК — Отчет Императорской археологической комиссии
ОАМ НАНУ — Одесский археологический музей Национальной Академии наук Украины
ОВ — Одесский вестник. Одесса.
ОЗ — Отечественные записки. СПб.
ОР РНБ — Отдел рукописей Российской национальной библиотеки. СПб.
ПАВ — Петербургский археологический вестник
ПОДУ — Праці Одеського Державного Університету.
ПСА — Проблемы скифской археологии
ПССА — Проблемы скифо-сарматской археологии.
ПССАСП-II — Проблемы скифо-сарматской археологии Северного Причерноморья. Тезисы докладов. II- 1994. Запорожье.
РА — Российская археология. Москва.
РБС — Русский биографический словарь. СПб.
РГВИА — Российский государственный военно-исторический архив. М.
РО ИРЛИ — Рукописный отдел Института русской литературы (Пушкинский дом) Российской Академии наук. СПб.

РС — Русская старина. СПб.
РСА СПбФ ИРИ — Русская секция архива Санкт-Петербургского филиала Института российской истории Российской Академии наук. Санкт-Петербург
СА — Советская археология. Москва.
САИ — Свод археологических источников
СГАИМК — Сообщения Государственной Академии истории материальной культуры.
СГМИИ — Сообщения Государственного музея изобразительных искусств им. А.С.Пушкина
СГЭ — Сообщения Государственного Эрмитажа
ТГИМ — Труды Государственного исторического музея
ТГЭ — Труды Государственного Эрмитажа
ТОАМ — Труды Отдела античного мира Государственного Эрмитажа
Труды ГИКМ — Труды Государственного историко-краеведческого музея. Кишинев.
ТСП – Терракоты Северного Причерноморья. М.
ХС — Херсонесский сборник
AAC — Acta Archaeologica Carpatica
AM — Arheologia Moldovei. Bucureşti.
AP — Archeologia Polski
B.Thr. — Biblioteca Thracologi. Bucureşti.
Bericht — Bericht Römisch-Germanischen Kommischen.
CI — Cercetării Istorice. Iaşi.
DAWSA — Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlinschriften der Section für Altertumswissenschaft.
EA — Eurasia Antiqua
IGBulg, I2 — Mihailov G. Inscriptiones Graecae in Bulgaria repertae. I2. Serdica, 1970.
IOSPE — Inscriptiones orae septentrionalis Ponti Euxini
IPE — Latyschev B. Inscriptiones antiquae orae septentrionalis Ponti Euxini graecae et latinae. Petropoli, 1916. Vol. I2
JDI – Jahrbuch des Deutschen Archäologischen Instituts.
MA — Memoria Antiquitatis. Piatra Neamț.
MCA — Materiale şi cercetări arheologice. Bucureşti.
MDAI AA — Mittheilungen des Kaiserlich Deutschen Archaeologischen Instituts: Athenische Abteilung.
PBF — Prähistorische Bronzefunde. München.
PZ — Prähistorlsche Zeitschrift.
RE — Pauly-Wissowa-Kroll. Realencyclopädie der classischen Altertumwissenschaft
SC – Scythica et Caucasica / Ed. B. Latyschev. Petropoli. 1900-1906. Vol. 1-2.
SCIV (A) — Studii şi cercetări de istorie veche (şi Arheologie). Bucureşti.

CONTENTS

Only archaeology! (Editorial comments) 6

DE PRINCIPIIS

Klejn L.S. *(S.Petersburg, Russia)*. **Functions of archaeological theory** 8

MONOGRAPH IN THE JOURNAL

Marchenko C.C., Domansky J.V. *(S.Petersburg, Russia)*. **Two settlements of Low Bug area of the archaic time (The experience of the comparative characteristics of the material culture of monuments)** 26

INVESTIGATIONS AND PUBLICATIONS

Redina E.F. *(Odessa, Ukraine)*. **The Scythian burial by the village of Nedelkovo in the North of Odessa region.** 75

Gavrilov A.V. *(Simferopol, Ukraine).* **Amphorae import on the antique site of Novopokrovka in the south-east Crimea** 81

Kamenetsky I.S. *(Krasnodar, Russia)*. **To the date of the site of Novo-Djerelievskaia III** 96

«EPISTULAE EX PONTO»

Vinogradov Yu.A. *(S.Petersburg, Russia)*. **Greek colonization and Greek urbanization of the Northern Black Sea region.** 101

Rogov E.I. *(S.Petersburg, Russia)*. **Some problems of foundation and development of the Chersonesus state.** 116

Marchenko K.K. *(S.Petersburg, Russia)*. **To the problem of Greek-Barbarian contacts in the North-Western Black Sea region of the V-IV c. B.C. (rural settlements of the Low Bug area).** 145

Nefiodkin A.K. *(S.Petersburg, Russia)*. **Arrian's campaign against the Alans' foray in Cappadocia in 135 AD.** 173

Sharov O.V. *(S.Petersburg, Russia)*. **About the time of appearance of T-shape hinge fibulas in the Northern Black Sea region** 189

THE ARCHAEOLOGY OF IMAGES

Shaub I.Yu. *(S.Petersburg, Russia)*. **The Cult of the Great Goddess among the local population of the Northern Black Sea region.** 207

Goroncharovsky V.A. *(S.Petersburg, Russia)*. **To the question of the cult of Kybele on Bosporos in the first centuries A.D.** 224

Reabtseva S.S. *(S.Petersburg, Russia)*. **Snakes and dragons. About the continuation of one antique tradition in the jewelry craft in the Middle Ages. 228**

MODERN ANTIQUITY

Dobrolubsky A.O. *(S.Petersburg, Russia)*. **About searchings of ancient Odessa. 241**

CHANGING OF CULTURES AND CULTURAL CATASTROPHS

Romanchuk A.A. *(Kishinev, Moldavia)*. **Three whales of Early Scythian Culture on the waves of Illirian expansion. 260**

Tkachuk M.E. *(Kishinev, Moldavia)*. **Getica that we have lost. (From the antology of chronological breaks). 274**

Zuev V.Yu. *(S.Petersburg, Russia)*. **About the ways of solving «the problem of the III-rd century B.C.» in the periodization of archaeological monuments of the Sarmatian Age. 305**

Bruyako I.V. *(Odessa, Ukraine)*. **From diorama to panorama (about the perspectives on the way of solving the problem of the Northern Pont crisis of the III c.B.C.) 325**

HISTORY OF SCIENCE AND HISTORIOGRAPHY

Marchenko C.C. *(S.Petersburg, Russia)*. **The basic aspects and the results of the studying of the Greek-Barbarian contacts and interactions in the Northern Black Sea region of the Scythian Age. 333**

Tunkina I.V. *(S.Petersburg, Russia)*. **To the history of studying of antique monuments of Western Black Sea region in 1828-29 years. 354**

Parmakli S.I., Russev N.D. *(Kishinev, Moldavia)*. **To the history of studying of ancient monuments of Bessarabia (by the documents of the Imperial Society of history of antiquities of Odessa [ISHAO]). 359**

CRITIQUE

Kashuba M.T. *(S.Petersburg, Russia)*. **"Another" Chernolesskaya culture of the Middle Dniester according to L.I.Krušelnicka. 369**

«FREE ZONE»

Klejn L.S. *(S.Petersburg, Russia)*. **Precepts. Aphorisms about science 389**

LIST OF ABBREVIATIONS 393

Stratum plus. ВАШ археологический журнал.
Кишинев. Высшая Антропологическая школа. 1999. — 398 стр.

Высшая Антропологическая школа.
MD 2024, Республика Молдова, г. Кишинев, ул. Зимбрулуй 10а.
Подписано к печати 25.05.1999. Формат 60×84 1/8. Бумага офсет №1. Печать офсетная.
Гарнитура «гельветика». Усл. печ. л. 47. Тираж 750 экз. Заказ 198.
Отпечатано АО «Бизнес-Элита». Кишинев, ул. Щусева 106, оф. 23.